

Э. М. А. Гофман

КРЕЙСЛЕРИАНА
ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
КОТА МУРРА
ДНЕВНИКИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



**ERNST THEODOR AMADEUS
HOFFMANN**



**KREISLERIANA
•
LEBENSANSICHTEN
DES KATERS MURR
•
TAGEBÜCHER**



ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН



КРЕЙСЛЕРИАНА • ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КОТА МУРРА • ДНЕВНИКИ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ:

И. Ф. БЭЛЗА, А. С. ГОЛЕМБА, О. К. ЛОГИНОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1972

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой,
И. С. Брагинский, А. Л. Гришунин, Б. Ф. Егоров,
А. А. Елистратова, Д. С. Лихачев (председатель),
А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),
Ф. А. Петровский, Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов,
С. Д. Сказкин, С. Л. Утченко, Г. В. Церетели*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

И. Ф. БЭЛЗА



Э. Т. А. ГОФМАН.
Портрет работы Вильгельма Гензеля (1821)



ОТ РЕДАКЦИИ

В историю культуры человечества Эрнст Теодор Амадей Гофман вошел прежде всего как великий писатель-романтик. Но нет ни одного писателя в мире, в творчестве которого музыка имела бы такое громадное значение, как в произведениях Гофмана. Разносторонне одаренный и энциклопедически образованный, он был выдающимся юристом, своеобразным художником, театральным режиссером и декоратором. Не будет, однако, преувеличением сказать, что внутренне он чувствовал себя прежде всего музыкантом. Он играл на клавесине и скрипке, дирижировал, писал статьи о музыке и музыкантах, пел, сочинял оперы, симфонии, сонаты, мессы, романсы и камерные ансамбли. Многие сочинения его, видимо, утеряны. Но возрождение Гофмана как композитора, автора первой романтической оперы, которой суждено было стать «Ундиной» (1813—1814), началось в нашем столетии, когда, как указывают немецкие исследователи, именно благородная возвышенность романтической музыки противодействовала мутным потокам додекафонии и разным видам «авангардизма». Одним из наиболее важных событий года, в котором отмечается столетие со дня смерти Гофмана, конечно, нужно считать выход в свет двенадцатитомного собрания его произведений, подготовленного музыкальным издательством Шютт к этой памятной дате.

Музыка и литература так же гармонически сочетались у Гофмана, как образы его произведений и его личные переживания, о которых мы узнаем, читая его дневники, впервые публикуемые на русском языке, с комментариями, дополняющими биографию мастера. В таком сочетании убеждает нас сопоставление дневников с «Крейслерианой», необычайно интересное хотя бы наглядностью преломления реальных впечатлений в развитии художественных произведений. Знаменитые музыкальные новеллы Гофмана также включены в этот том, дающий, как можно думать, представление о музыке, наполнявшей жизнь и произведения писателя, который был, вместе с тем, музыкантом-профессионалом в полном смысле этого слова.

Было бы ошибочным, впрочем, объяснять только этим профессионализмом художественную силу образов Гофмана, свидетельствующих прежде всего о его поразительной чуткости. Он не мог примириться с человеческим бессердечием и бюргерской тупостью, которую обличал во многих своих произведениях, именно потому вызывавших гнев и пресле-

дования со стороны правящей верхушки. Социально-обличительную силу произведений Гофмана не раз отмечали советские исследователи. Русские писатели высоко ценили творчество Гофмана, полное собрание сочинений которого (на французском языке) имелось, как известно, в библиотеке Пушкина. О гениальном немецком романтике не раз писали Белинский (этот эпитет принадлежит именно ему) и Герцен. Высоко ценили Гофмана Гоголь, а в наши дни Луначарский, Булгаков и другие.

Состав публикуемого тома требует некоторых пояснений, так как, по существу говоря, автобиографичны не только дневники писателя, не предназначавшиеся, разумеется, для публикации, но и образ капельмейстера Крейсера, вдохновенного музыканта и, в то же время, мудрого и прозорливого мыслителя, видящего полную дегенерацию феодальной иерархии. Что же касается «Крейслерианы», то уже название цикла говорит о его органической связи с незаконченным романом Гофмана. Цикл этот как бы развивает взгляды героя романа, имя которого давно уже, со времен «Крейслерианы» Шумана, стало нарицательным. Присутствие Иоганнеса Крейсера как бы незримо чувствуется в «Кавалере Глюке» и в «Дон Жуане». «Кавалер Глюк» был, как известно, первым опубликованным литературным произведением Гофмана, своеобразно откликнувшегося на это издание в своем дневнике. Но, помимо всего прочего, — и это, пожалуй, едва ли не самое главное, «Кавалеру Глюку» и «Дон Жуану» суждено было стать первыми блистательными образцами жанра музыкальной новеллы, получившего развитие не только в немецкой литературе, примером чему могут служить новеллы «Ненавистник музыки» Густава Николаи и «Моцарт на пути в Прагу» Эдуарда Мерике, — но и русской, — достаточно вспомнить «Петербургские ночи» В. Ф. Одоевского. Впрочем, наиболее высоким образцом сочетания музыкальных образов с литературными, бесспорно, навсегда останется трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери».

«Житейские воззрения кота Мурра» свидетельствуют, что Гофман, даже завоевав признание и славу как писатель, продолжал верить в непобедимую художественную силу музыки, в ее воздействие на строй мыслей и чувств человека. Эта вера объединяет «Крейслериану» с «Воззрениями Кота Мурра», где сатира перемежается с фантастикой, а дневники автора этих произведений, дошедшие до нас, к сожалению, не полностью, помогают понять отдельные этапы его героической борьбы с «низкой жизнью», с непониманием его художественного творчества, насыщенного обличительными мотивами и поэтическим благородством, поныне не утратившим своего обаяния.

Вместе с тем, обширный комментарий к дневникам Гофмана, впервые публикуемым на русском языке, содержит весьма существенный фактический материал, помогающий читателю разобраться в сложном процессе развития европейской культуры начала прошлого века, в первой четверти которого развивалась многосторонняя деятельность Эрнста Теодора Амадея Гофмана, далеко еще не полностью изученная даже у него на родине.

КАВАЛЕР ГЛЮК



ДОН ЖУАН



КРЕЙСЛЕРИАНА

КАВАЛЕР ГЛЮК ¹

ВОСПОМИНАНИЕ 1809 ГОДА

Поздней осенью в Берлине обычно выпадают отдельные ясные дни. Солнце ласково проглядывает из облаков, и сырость мигом испаряется с теплым ветерком, овевающим улицы. И вот уже по Унтер ден Линден, разодетые по-праздничному, к Тиргартену пестрой вереницей тянутся вперемежку щеголи, бюргеры всем семейством, с женами и детками, духовные особы, еврейки, референдарии, гулящие девицы, ученые, модистки, танцоры, военные и так далее. Столики у Клауса и Вебера ² нарасхват; дымится морковный кофе ³, щеголи закуривают сигары, завсегдатаи беседуют, спорят о войне и мире, о том, какие в последний раз были на мадам Бетман ⁴ башмачки — серые или зеленые, о «замкнутом торговом государстве» ⁵, о том, как туго с деньгами, и так далее, пока все это не потонет в арии из «Фаншон» ⁶, которой принимаются терзать себя и слушателей расстроенная арфа, две ненастроенные скрипки, чахоточная флейта и астматический фагот.

У балюстрады, отделяющей веберовские владения от проезжей дороги, расставлены круглые столики и садовые стулья; здесь можно дышать свежим воздухом, видеть, кто входит и выходит, и здесь не слышно неблагозвучного шума, производимого окаянными оркестром; тут я и расположился и предался легкой игре воображения, которое сзывает ко мне дружественные тени, и я беседую с ними о науке, об искусстве, словом, обо всем, что должно быть особенно дорого человеку. Все пестрее и пестрее поток гуляющих, который катится мимо меня, но ничто не в силах мне помешать, не в силах спугнуть моих воображаемых собеседников. Но вот проклятое трио пошленького вальса вырвало меня из мира грез. Теперь уж я слышу только визгливые верхние голоса скрипок и флейты да хриплый основной бас фагота; они повышаются и понижаются, неуклонно держась раздрающих слух параллельных октав, и у меня невольно вырывается точно вопль жгучей боли:

— Вот уж дикая музыка! Несносные октавы!

— Злосчастная моя судьба! Повсюду гонители октав! — слышу я рядом негромкий голос.

Я поднимаю голову и только тут вижу, что за моим столиком сидит незнакомый человек и пристально смотрит на меня; и я, раз взглянув, уже не могу отвести от него глаз.

Никогда в жизни ничье лицо и весь облик не производили на меня с первой минуты столь глубокого впечатления. Чуть изогнутая линия носа плавно переходит в широкий открытый лоб с приметными выпуклостями над кустистыми седеющими бровями, из-под которых глаза сверкают каким-то буйным юношеским огнем (на вид ему было за пятьдесят). Многие очертания подбородка удивительным образом противоречили плотно сжатым губам, а ехидная усмешка — следствие странной игры мускулов на впалых щеках, казалось, бросала вызов глубокой, скорбной задумчивости, запечатленной на его челе. Редкие седые прядки вились за большими оттопыренными ушами. Очень широкий, по моде скроенный редингот прикрывал сухощавую фигуру. Как только я встретился взглядом с незнакомцем, он потупил глаза и возобновил то занятие, от которого его, очевидно, оторвал мой возглас. Он с явным удовольствием высыпал табак из мелких бумажных фунтиков в большую табакерку, стоящую перед ним, и смачивал все это красным вином из небольшой бутылки. Когда музыка смолкла, я почувствовал, что мне следует заговорить с ним.

— Хорошо, что кончили играть, — сказал я, — это было нестерпимо.

Старик окинул меня беглым взглядом и высыпал последний фунтик.

— Лучше бы и не начинали, — снова заговорил я. — Думаю, вы такового же мнения?

— У меня нет никакого мнения, — отрезал он. — Вы, верно, музыкант и, стало быть, знаток. . .

— Ошибаетесь, я не музыкант и не знаток. Когда-то я учился игре на фортепьяно и генерал-басу⁷ как предмету, который входит в порядочное воспитание; среди прочего мне внушили, что хуже нет, когда бас и верхний голос идут в октаву. Тогда я принял это утверждение на веру и с тех пор не раз убеждался в его правоте.

— Неужели? — перебил он меня, поднялся и в раздумье, не спеша направился к музыкантам, то и дело вскидывая взгляд кверху и хлопая себя ладонью по лбу, будто силясь что-то припомнить.

Я увидел, как он повелительно, с исполненным достоинства видом что-то сказал музыкантам. Затем вернулся на прежнее место, и не успел он сесть, как оркестр заиграл увертюру к «Ифигении в Авлиде»⁸.

Полузакрыв глаза и положив скрещенные руки на стол, слушал он анданте и чуть заметным движением левой ноги отмечал вступление инструментов; но вот он поднял голову, огляделся по сторонам — левую руку с растопыренными пальцами опустил на стол, словно на клавиатуру фортепьяно, правую поднял вверх — передо мной был капельмейстер, который указывал оркестру переход в другой темп, — правая рука падает, и начинается аллегро! Жгучий румянец вспыхивает на его бледных щеках, лоб нахмурился, и брови сдвинулись, внутреннее неистовство зажигает буйный взор огнем, мало-помалу стирающим улыбку, которая еще мелькала на полуоткрытых губах. Минута — и он откидывается назад; лоб разгладился, игра мускулов на щеках возобновилась, глаза снова сияют; глубоко затаенная скорбь разрешается ликованием, от которого судорожно тре-

пещет каждая жилка; грудь вздымается глубокими вздохами, на лбу проступили капли пота; он указывает вступление тутти и другие важнейшие места; его правая рука не переставая отбивает такт, левой он достает носовой платок и утирает лоб. Так облакался плотью и приобрел краски тот остов увертюры, какой только и могли дать две убогие скрипки. Я же слышал, как поднялась трогательно-нежная жалоба флейты, когда отшумела буря скрипок и басов и стихнул звон литавр; я слышал, как зазвучали тихие голоса виолончелей и фагота, вселяя в сердце неизъяснимую грусть; а вот и снова тутти, точно исполин величаво и мощно идет унисон, своей сокрушительной поступью заглушая невнятную жалобу.

Увертюра окончилась; незнакомец уронил обе руки и сидел, закрыв глаза, видимо обессиленный чрезмерным напряжением. Бутылка его была пуста. Я наполнил его стакан бургундским, которое тем временем велел подать. Он глубоко вздохнул, словно очнувшись от сна. Я предложил ему подкрепиться; он без долгих церемоний залпом осушил полный стакан и воскликнул:

— Исполнение хоть куда! Оркестр держался молодецом!

— Тем не менее это было лишь слабое подобие гениального творения, написанного живыми красками, — вернул я.

— Я верно угадал? Вы не берлинец?

— Совершенно верно; я бываю здесь только наездами.

— Бургундское превосходное. Однако становится свежо.

— Так пойдемте в залу и там допьем бутылку.

— Разумное предложение. Я вас не знаю, но и вы меня не знаете. Незачем допытываться, как чье имя; имена порой обременительны. Я пью даровое бургундское, мы друг другу по душе — и отлично.

Все это он говорил с благодушной искренностью. Мы вошли в залу; садясь, он распахнул редингот, и я был удивлен, увидев, что на нем — шитый длиннополый камзол, черные бархатные панталоны, а на боку миниатюрная серебряная шпага. Он тщательно вновь застегнул редингот.

— Почему вы спросили, берлинец ли я?

— Потому что в этом случае мне пришлось бы расстаться с вами.

— Вы говорите загадками.

— Нимало. Попросту, я... ну, словом, я композитор.

— Это мне ничего не разъясняет.

— Ну так простите мне давешний возглас — я вижу, вы не имеете ни малейшего понятия о Берлине и берлинцах.

Он встал и раз-другой быстрым шагом прошелся по зале, потом остановился у окна и еле слышно стал напевать хор жриц из «Ифигении в Тавриде»⁹, постукивая по стеклу всякий раз, как вступают тутти. Я был озадачен, заметив, что он вносит в мелодические ходы изменения, поразительные по силе и новизне. Но не стал его прерывать. Кончив, он воротился на прежнее место. Я молчал, ошеломленный странными повадками незнакомца и причудливыми проявлениями его редкого музыкального дарования.

— Вы когда-нибудь сочиняли музыку? — спросил он немного погодя.

— Да. Я пытал свои силы на этом поприще; однако все, что словно бы писалось в порыве вдохновения, я потом находил вялым и нудным и в конце концов бросил это занятие.

— И поступили неправильно: уже одно то, что вы отвергли собственные попытки, свидетельствует в пользу вашего дарования. В детстве обучаешься музыке потому, что так хочется папе и маме, — бренчишь и пиликаешь напропалую, но неприметно делаешься восприимчивее к мелодии. Иногда полузабытая тема песенки, напетая по-своему, становится первой самостоятельной мыслью, и этот зародыш, старательно вскормленный за счет чужих сил, вырастает в великана и, поглощая все кругом, претворяет в свой мозг, свою кровь! Да что там! Разве можно даже перечислить те пути, какими приходишь к сочинению музыки? Это широкая проезжая дорога, и все, кому не лень, суетятся на ней и торжественно вопят: «Мы посвященные! Мы у цели!» А между тем в царство грез проникают через ворота из слоновой кости; мало кому дано узреть эти ворота, еще меньше — вступить в них! Причудливое зрелище открывается вошедшим. Странные видения мелькают здесь и там, одно своеобразнее другого. На проезжей дороге они не показываются, только за воротами слоновой кости можно увидеть их. Трудно вырваться из этого царства; точно к замку Альцины¹⁰, путь преграждают чудовища; все здесь кружит, мелькает, вертится; многие так и прогрезят свою грезу в царстве грез — они растекаются в грезах и перестают отбрасывать тень, иначе они по тени увидели бы луч, пронизывающий все царство; но лишь немногие, пробудясь от своей грезы, поднимаются вверх и, пройдя через царство грез, достигают истины. Это и есть вершина — соприкосновение с предвечным, неизреченным! Взгляните на солнце — оно трезвучие, из него сыплются аккорды подобно звездам и опутывают вас огненными нитями. Вы покоитесь в огненном коконе до той минуты, когда Психея вспорхнет к солнцу.

С этими словами он вскочил, вскинул к небу взор, вскинул руку. Затем снова сел и разом осушил налитый ему стакан. Наступило молчание, я поостерегся прервать его и тем нарушить ход мыслей своего необыкновенного собеседника.

Наконец он заговорил снова, уже спокойнее:

— Когда я пребывал в царстве грез, меня терзали скорби и страхи без числа. Это было во тьме ночи, и я пугался чудовищ с оскаленными образами, то швырявших меня на дно морское, то поднимавших высоко над землей. Но вдруг лучи света прорезали ночной мрак, и лучи эти были звуки, которые окутали меня пленительным сиянием. Я очнулся от своих скорбей и увидел огромное светлое око, оно глядело на орган, и этот взгляд извлекал из органа звуки, которые искрились и сплетались в такие чудесные аккорды, какие никогда даже не грезились мне. Мелодия лилась волнами, и я качался на этих волнах и жаждал, чтобы они меня захлестнули; но око обратилось на меня и подняло над шумящей стремниной. Снова надвинулась ночь, и тут ко мне подступили два гиганта в сверкающих доспехах: основной тон и квинта! Они попытались притянуть меня к себе,

но око усмехнулось: «Я знаю, о чем тоскует твоя душа; ласковая, нежная дева — терция — встанет между гигантами; ты услышишь ее сладкий голос, снова узришь меня, и мои мелодии станут твоими».

Он замолчал.

— И вам довелось снова узреть око?

— Да, довелось! Долгие годы томился я в царстве грез. Там, именно там! Я обретался в роскошной долине и слушал, о чем поют друг другу цветы. Только подсолнечник молчал и грустно клонился долу закрытым венчиком. Незримые узы влекли меня к нему. Он поднял головку — венчик раскрылся, а оттуда мне навстречу засияло око. И звуки, как лучи света, потянулись из моей головы к цветам, а те жадно впитывали их. Все шире и шире раскрывались лепестки подсолнечника — потоки пламени полились из них, охватили меня, — око исчезло, а в чашечке цветка очутился я.

С этими словами он вскочил и по-юношески стремительно выбежал из комнаты. Я тщетно прождал его возвращения и наконец решил направиться в город.

Только вблизи Бранденбургских ворот я увидел шагающую впереди долговязую фигуру и, несмотря на темноту, тотчас узнал моего чудака. Я окликнул его:

— Почему вы так внезапно покинули меня?

— Стало слишком жарко, да к тому же зазвучал Эвфон ¹¹.

— Не понимаю вас.

— Тем лучше.

— Тем хуже, — мне очень бы хотелось вас понять.

— Неужто вы ничего не слышите?

— Ничего.

— Уже все кончилось! Пойдемте вместе. Вообще-то я недолюбливаю общество; но... вы не сочиняете музыки... и вы не берлинец.

— Ума не приложу, чем перед вами провинились берлинцы. Казалось бы, в Берлине так чтут искусство и столь усердно им занимаются, что вам, человеку с душой артиста, здесь особенно хорошо!

— Ошибаетесь! Я обречен, себе на горе, блуждать здесь в пустоте, как душа, отторгнутая от тела.

— Пустота — здесь, в Берлине?

— Да, вокруг меня все пусто, ибо мне не суждено встретить родную душу. Я вполне одинок.

— Как же — а художники? Композиторы?

— Ну их! Они только и знают что крохоборствуют. Вдаются в излишние тонкости, все переворачивают вверх дном, лишь бы откопать хоть одну жалкую мыслишку. За болтовней об искусстве, о любви к искусству и еще невесть о чем не успевают добраться до самого искусства, а если невзначай разрешатся двумя-тремя мыслями, то от их стряпни повеет ледящим холодом, показывающим, сколь далеки они от солнца, — поистине лапландская кухня.

— На мой взгляд, вы судите чересчур строго. А превосходные театральные представления!.. Неужто и они не удовлетворяют вас?

— Однажды я пересилил себя и решился снова побывать в театре. Мне хотелось послушать оперу моего молодого друга; как бишь она называется? О, в этой опере целый мир! Среди суетливой и пестрой толпы разряженных людей мелькают духи Орка — у всего здесь свой голос, свое всемогущее звучание, — а, черт, ну конечно же я имею в виду «Дон Жуана». Но я не вытерпел даже увертюры, которую отмахали престоиссимо, без всякого толка и смысла, а ведь я перед тем предавался посту и молитве, ибо знал, что Эвфон, потрясенный этой громадой, обычно звучит не так, как нужно.

— Да, сознаюсь, к гениальным творениям Моцарта здесь, как это ни странно, относятся без должной бережности, зато уж творения Глюка, разумеется, находят себе достойных исполнителей.

— Вы так полагаете? Однажды мне захотелось послушать «Ифигению в Тавриде». Вхожу я в театр и слышу, что играют увертюру «Ифигении в Авлиде». «Гм! — думаю я, — должно быть, я ошибся; сегодня ставят эту Ифигению». К моему изумлению, далее следует анданте, которым начинается «Ифигения в Тавриде», и сразу же идет буря! Между тем сочинения эти разделяет целых двадцать лет. Весь эффект, вся строго продуманная экспозиция трагедии окончательно пропадают. Спокойное море — буря — греки выброшены на берег, — вся опера тут! Как? Значит, композитор всунул увертюру наобум, если можно продудеть ее, точно пустую пьеску, как и где заблагорассудится?

— Согласен, это досадный промах. И все-таки произведения Глюка подаются в самом выгодном свете.

— Как же! — только и промолвил он, потом горько усмехнулся, и чем дальше, тем больше горечи было в его улыбке.

Внезапно он сорвался с места, и никакими силами нельзя было его удержать. В один миг он словно сгинул, и много дней кряду я тщетно искал его в Тиргартене...

Несколько месяцев спустя холодным дождливым вечером я замешкался в отдаленной части города и теперь спешил на Фридрихштрассе, где квартировал. Путь мой лежал мимо театра; услышав гром труб и литавр, я вспомнил, что нынче дают «Армиду» Глюка, и уже собрался войти, когда мое внимание привлек странный монолог у самых окон, где слышна почти каждая нота оркестра.

— Сейчас выход короля — играют марш, — громче, громче, литавры. Так, так, живет, сегодня они должны ударить одиннадцать раз — иначе торжественный марш обернется похоронным маршем. Ого, маэстозо, подтягивайтесь, детки. Ну, вот статист зацепился за что-то бантом на башмаке. Так и есть, ударили в двенадцатый раз! И все на доминанте! Силы небесные, этому конца не будет! Вот он приветствует Армиду. Она смиренно благодарит. Еще раз! Ну, конечно, не успели добежать двое солдат!

Что за дикий грохот? А-а, это они так переходят к речитативу. Какой злой дух приковал меня к этому месту?

— Чары разрушены! Идемте! — воскликнул я.

Подхватив под руку моего тиргартенского чудака — ибо монолог проносил не кто иной, как он, — я увлек его с собой. Он, видно, не успел опомниться и шел за мной молча. Мы уже вышли на Фридрихштрассе, когда он остановился.

— Я вас узнал, — начал он, — мы встретились в Тиргартене и много говорили, — я выпил вина — разгорячился, — после этого Эвфон звучал два дня без перерыва — я немало настрадался, теперь это прошло!

— Я очень рад, что случай свел нас снова. Давайте же короче познакомимся друг с другом. Я живу здесь поблизости; почему бы...

— Мне нельзя ни у кого бывать.

— Нет, нет, вы от меня не ускользнете. Я пойду с вами.

— Тогда вам придется пробежаться со мною еще немного — сотню другую шагов. Да вы ведь собирались в театр?

— Мне хотелось послушать «Армиду», но теперь...

— Так вы и услышите «Армиду». Пойдемте!

Молча пошли мы по Фридрихштрассе¹²; вдруг он круто свернул в переулок, я еле поспевал за ним, — так быстро он бежал. Но вот он остановился перед ничем не приметным домом. Ему довольно долго пришлось стучать, пока нам наконец не открыли. Ощупью, в темноте, добрались мы сперва до лестницы, а затем до комнаты во втором этаже, и провожатый мой тщательно запер дверь. Я услышал, как отворяется еще одна дверь; вскоре он вошел с зажженной свечой, и меня немало поразило странное убранство комнаты. Старомодные вычурные стулья, стенные часы в позолоченном футляре и широкое неуклюжее зеркало накладывали на комнату мрачный отпечаток устарелой роскоши. Посередине стояло небольшое фортепьяно, на нем огромная фарфоровая чернильница, а рядом лежало несколько листов нотной бумаги. Однако, пристальней взглядевшись в эти принадлежности композитора, я убедился, что ими не пользовались уже давно, — бумага совсем пожелтела, а чернильница была густо затянута паутиной. Незнакомец подошел к шкафу в углу комнаты, сперва не замеченному мною, и, когда он отдернул занавеску, я увидел целый ряд книг в богатых переплетах; на корешках золотом было написано: «Орфей», «Армида», «Альцеста», «Ифигения» и так далее, — словом, передо мной предстало полное собрание гениальных творений Глюка.

— У вас собраны все сочинения Глюка? — вскричал я.

Он не ответил, только судорожная усмешка искривила губы, а лицо игрою мускулов на впалых щеках мгновенно обратилось в страшную маску. Вперив в меня сумрачный взгляд, он вынул один из фолиантов — это была «Армида» — и торжественно понес к фортепьяно. Я поспешил открыть инструмент и поставить сложенный пюпитр; незнакомец явно этого и желал. Он раскрыл фолиант. И — как описать мое изумление! — я увидел нотную бумагу, но на ней ни единой ноты.

— Сейчас я вам сыграю увертюру, — начал он. — Перевертывайте страницы, только, чур, вовремя!

Я пообещал, и он великолепно, мастерски, полнозвучными аккордами заиграл величавый *Tempo di Marcia* *, которым начинается увертюра; здесь он почти во всем следовал оригиналу, зато аллегро было только скреплено основными мыслями Глюка. Он вносил от себя столько новых гениальных вариантов, что мое изумление неуклонно росло. Особенно яркими, но без малейшей резкости были его модуляции, а множеством мелодических мелизмов он так искусно восполнял простоту основных мыслей, что с каждым повтором они словно обновлялись и молодели. Лицо его пылало; лоб временами хмурился, и долго сдерживаемый гнев рвался наружу, а временами на глазах выступали слезы глубокой грусти. Когда обе руки были заняты замысловатыми мелизмами, он напевал тему приятным тенором; кроме того, он очень умело подражал голосом глухому звуку литавры. Следя за его взглядом, я прилежно перевертывал страницы. Увертюра окончилась, и он без сил, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла, но почти сразу же выпрямился опять и, лихорадочно перелистав несколько пустых страниц, сказал глухим голосом:

— Все это, сударь мой, я написал, когда вырвался из царства грез. Но я открыл священное непосвященным, и в мое пылающее сердце впиалась ледяная рука! Оно не разбилось, я уже был обречен скитаться среди непосвященных, как дух, оторгнутый от тела, лишенный образа, дабы никто не узнавал меня, пока подсолнечник не вознесет меня вновь к предвечному! Ну, а теперь споем сцену Армиды.

И он с таким выражением спел заключительную сцену «Армиды», что я был потрясен до глубины души. Здесь он тоже заметно отклонялся от существующего подлинника; но теми изменениями, которые он вносил в глюковскую музыку, он как бы возводил ее на высшую ступень. Властно заключал он в звуки все, в чем с предельной силой выражается ненависть, любовь, отчаяние, неистовство. Голос у него был юношеский, поднимавшийся от глухого и низкого до проникновенной звучности. Когда он окончил, я бросился к нему на шею и воскликнул сдавленным голосом:

— Что это? Кто же вы?

Он поднялся и окинул меня задумчивым, проникновенным взглядом; но когда я собрался повторить вопрос, он исчез за дверью, захватив с собой свечу и оставив меня в темноте. Прошло без малого четверть часа; я уже отчаялся когда-нибудь увидеть его и пытался, ориентируясь по фортепьяно, добраться до двери, как вдруг он появился в парадном расши- том кафтане, богато камзоле и при шпаге, держа в руке зажженную свечу.

Я остолбенел; торжественно приблизился он ко мне, ласково взял меня за руку и с загадочной улыбкой произнес:

— Я — кавалер Глюк!

* Марш (ит.).

ДОН ЖУАН

НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С НЕКИМ
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ЭНТУЗИАСТОМ

Пронзительный звонок и громкий возглас: «Представление начинается!» — вслугнули мою сладкую дремоту, и я очнулся. Наперебой гудят контрабасы; удар литавр — взревели трубы; гобой тянет звонкое ля — вступили скрипки, — я протираю глаза. Неужто неугомонный сатана подхватил меня, благо я был под хмельком?.. Нет! Я лежу в комнате гостиницы, куда добрался вчера вечером, после того как из меня вытрясло душу.

Прямо над моим носом болтается внушительная кисть сонетки; я ростоно дергаю ее, появляется слуга.

— Ради бога, что это за какофония? Уж не дают ли здесь, чего доброго, концерт?

— Ваше превосходительство (я спросил себе к обеду за общим столом шампанского), ваше превосходительство, должно быть, еще не изволите знать, что наша гостиница соединена с театром¹. Через эту вот потайную дверь можно коридорчиком пройти прямо в двадцать третий номер — в ложу для приезжих.

— Что такое? Театр? Ложа для приезжих?

— Ну да, ложа для приезжих, маленькая, на двоих, в крайности на троих — для самых что ни на есть знатных постояльцев, вся обита зеленым, с решетчатыми окнами, тут же у сцены! Если вашему превосходительству благоугодно, сегодня у нас идет «Дон Жуан» знаменитого господина Моцарта из Вены. Плату за место — талер и восемь грошей — мы припишем к счету.

Договорил он это, уже отпирая дверь ложи, ибо, едва он произнес «Дон Жуан», как я поспешил через потайную дверь в коридорчик. Для города средней руки театр был достаточно вместителен, отделан со вкусом и ярко освещен. В ложах и в партере — полным-полно зрителей. С первых же аккордов увертюры я убедился, что оркестр превосходный и, если певцы будут мало-мальски сносные, по-настоящему порадует меня исполнением гениальной оперы. В анданте я был потрясен ужасами грозного подземного регно *all'rianto**; душа исполнилась трепетом от предчувствий самого страшного. Нечестивым торжеством прозвучала для меня

* Царство слез (ит.).

ликующая фанфара в седьмом такте аллегро — я увидел, как из непроглядной тьмы огненные демоны протягивают раскаленные когти, чтобы схватить беспечных людей, которые весело отпльсывают на тонкой оболочке, прикрывающей бездонную пропасть. Моему духовному взору явственно представилось столкновение человека с неведомыми, злокозненными силами, которые его окружают, готовя ему погибель. Наконец буря улеглась; взвился занавес. Темная ночь; зябко и сердито кутаясь в плащ, шагает перед павильоном Лепорелло: «Notte e giorno faticar...» * Вот как, по-итальянски! Здесь, в немецком городке, по-итальянски! Ah, che risparmio! ** Значит, я услышу и речитативы и все остальное так, как их задумал и воплотил великий художник! Из павильона выбегает Дон Жуан; следом — донна Анна, удерживая нечестивца за плащ. Какое явление! Пожалуй, она недостаточно высока ростом, статна и величава, зато какое лицо! Глаза, из которых, как из единого фокуса, снопом сыплются пылающие искры любви, гнева, ненависти, отчаяния и, словно греческий огонь, зажигают душу неугасимым пламенем! Рассыпавшиеся пряди темных волос волнистыми локонами вьются по спине, белое ночное одеяние предательски обнажает прелести, всегда небезопасные для нескромного взора. Сердце судорожно бьется, в него когтями впилась мысль о страшном деянии. И вот — что за голос! «Non sperar se non m'uccidi» *** Подобно сверкающим молниям, пронизывают гром инструментов отлитые из неземного металла звуки!

Дон Жуан тщетно старается вырваться. Да и хочет ли он вырваться? Почему не оттолкнет он эту женщину ударом кулака и не бросится бежать? Злое ли дело подкосило его или же лишил сил и воли внутренний поединок между любовью и ненавистью? Старик-отец поплатился жизнью за то, что безрассудно набросился в темноте на сильного противника; Дон Жуан и Лепорелло, речитативом беседуя между собой, выходят на авансцену. Дон Жуан откидывает плащ и предстает во всем блеске затканного серебром наряда из красного бархата с разрезами. Великолепная, исполненная мощи фигура, мужественная красота черт: благородный нос, пронзительный взгляд, нежно очерченные губы; странная игра надбровных мускулов на какой-то миг придает лицу мефистофельское выражение и, хотя не вредит красоте, все же возбуждает безотчетную дрожь. Так и кажется, будто он владеет магическими чарами гремучей змеи; так и кажется, что женщины, на которых он бросил взгляд, навсегда обречены ему и, покорствуя недоброй силе, стремятся навстречу собственной гибели. Вокруг него суетится Лепорелло, долговязый и тощий, в полосатом красном с белым камзоле, коротком красном плаще и белой шляпе с красным пером. На лице слуги удивительным образом сочетается выражение добродушия, лукавства, сластолюбия и насмешливой наглости; черные

* День и ночь изволь служить... (ит.).

** Ах, какая радость! (ит.).

*** Не надейся! Все напрасно... (ит.).

брови никак не вяжутся с седоватыми волосами и бородой. Сразу видно, что старый плут — достойный слуга и помощник Дон Жуана. Оба благополучно скрылись, перепрыгнув через ограду.

Факелы — появляются донна Анна и дон Оттавио², жеманный, разряженный, вылощенный человек; на вид ему не больше двадцати одного года. В качестве нареченного Анны он, должно быть, живет тут же в доме и потому явился, как только его позвали; а мог бы и без зова, едва услышав шум, прибежать на помощь отцу невесты; но ему надо было сперва принарядиться, и вдобавок он побаивается выходить на улицу ночью. «Ma qual mai s'offre, o dei, spettacolo funesto agli occhi miei» *

В мучительных, душераздирающих звуках этого речитатива и дуэта чувствуется нечто большее, нежели отчаяние перед лицом нечестивейшего злодейства. Одно преступное деяние Дон Жуана, ему только грозившее гибелью, отцу же стоившее жизни, не могло исторгнуть такие звуки из стесненной груди, — нет, они порождены пагубной, убийственной внутренней борьбой.

Только что донна Эльвира — высокая, сухопарая, с явными следами замечательной, но поблекшей красоты, — принялась поносить вероломного Дон Жуана: «Tu nido d'inganni!..» ** — а жалостливый Лепорелло очень верно заметил: «Parla come un libro stampato» *** — как вдруг я ощутил рядом или позади себя чье-то присутствие. Кто-нибудь свободно мог отворить дверь за моей спиной и прошмыгнуть в ложу, — эта мысль больно кольнула меня в сердце. Я так радовался, что, кроме меня, никого нет в ложе и никто не мешает мне всеми фибрами души, точно щупальцами полипа, охватывать и вбирать в себя исполняемое с таким совершенством великое творение! Одно замечание, да еще, чего доброго, глупое, могло самым болезненным образом спугнуть чудесный миг музыкально-поэтического восторга! Я решил вовсе не замечать соседа по ложе и, всецело углубившись в представление, избегать малейшего слова или взгляда. Склонив голову на руку и повернувшись спиной к соседу, смотрел я на сцену. Дальнейший ход представления гармонировал с превосходным началом.

Похотливая, влюбленная крошка Церлина сладкозвучными напевами утешала добродушного простофилю Мазетто³. В бурной арии «Fin ch'han dal vino...» **** Дон Жуан, нимало не таясь, раскрыл свою мятущуюся душу, свое презрение к окружающим его людишкам, созданным лишь для того, чтобы он, себе на потеху, пагубно вторгался в их тусклое бытие. И мускул на лбу дергался сильнее прежнего. Появляются маски. Их терзет — это молитва, чистыми, сияющими лучами возносящаяся к небесам.

Звывается средний занавес. Здесь идет пир горой, звон кубков, веселая толкотня поселян и разнообразных масок, которых привлекло

* Но что там? Боже мой! Как все ужасно, глазам не верю! (ит.).

** Наглый обманщик!.. (ит.).

*** Говорит, словно пишет (ит.).

**** Чтобы кипела кровь горячее... (ит.).

празднество Дон Жуана. Но вот приходят трое мстителей. Торжественность нарастает вплоть до начала танцев. Церлина спасена, и в мощном громе финала Дон Жуан с обнаженным мечом выступает навстречу своим противникам. Выбив из рук жениха щегольскую стальную шпажонку, он расчищает себе дорогу через толпу черни и, как отважный Роланд войско тирана Циморка⁴, направо и налево раскидывает всех, кто ему подвернется, и те презабавно летят кувырком.

Несколько раз я как будто ощущал позади легкое теплое дыхание и улавливал шелест шелкового платья, что говорило о присутствии в ложе женщины. Но я не обращал на это внимания, всецело погрузившись в мир поэзии, который открывала мне опера. Когда же занавес упал, я оглянулся на свою соседку. Нет, словами не выразить моего изумления. Донна Анна в том самом костюме, в каком я только что видел ее на подмостках, стояла за мной, устремив на меня свой проникновенный взор. Онемев, смотрел я на нее; на ее губах (так мне померещилось) мелькнула чуть заметная насмешливая улыбка, в которой я увидел отражение своей собственной нелепой фигуры. Я понимал, что мне необходимо заговорить с ней, но язык не слушался меня, парализованный изумлением или, вернее, испугом. Наконец-то, наконец у меня почти произвольно вырвался вопрос:

— Как это может быть, что вы здесь?

Она не замедлила ответить на чистейшем тосканском наречии, что будет лишена удовольствия беседовать со мной, ежели я не разумею по-итальянски, она же ни на каком другом языке не говорит. Ее речь звучала как чарующее пение. Во время разговора ее синий взор становился еще выразительней, и молнии, которыми он сверкал, вливали мне в грудь пламень, отчего сильнее стучала в сердце кровь и трепетала каждая жилка. Я не ошибся — это была донна Анна. Мне не приходило в голову раздумывать над тем, как могла она в одно и то же время находиться на сцене и в моей ложе. Как в блаженном сне сочетаются самые несоединимые явления, но чистая вера постигает сверхчувственное и без усилия включает его в круг так называемых естественных жизненных явлений, так и я близ этой удивительной женщины впал в своего рода сомнамбулическое состояние, и мне стало ясно, что мы с ней связаны тесными, таинственными узами, которые не позволяют ей, даже появляясь на сцене, разлучаться со мной.

Как бы мне хотелось, друг Теодор⁵, пересказать тебе каждое слово примечательной беседы, завязавшейся теперь между синьорой и мной. Стоит мне, однако, записать по-немецки все сказанное ею, и каждое слово представляется мне фальшивым, бледным, каждая фраза слишком нескладной, чтобы передать непринужденность и обаяние ее тосканской речи.

Когда она заговорила о Дон Жуане и о своей роли, мне будто сейчас лишь открылись все глубины гениального творения, и, заглянув в них,

я с полной ясностью увидел фантастические образы неведомого мира. Она призналась, что для нее вся жизнь — в музыке, и порою ей чудится, будто то заповедное, что замкнуто в тайниках души и не поддается выражению словами, она постигает, когда поет.

— Да, тогда я все постигаю до конца, — продолжала она, возвысив голос, с пламенем во взоре, — но вокруг меня все остается холодно и мертво. И когда мне рукоплещут за трудную руладу или искусный прием, мое пылающее сердце сжимают ледяные руки! Но ты... ты меня понял, ибо я знаю — тебе тоже открылась чудесная романтическая страна, где царят нежные чары звуков!

— Как! Ты знаешь меня? Ты... ты, божественная, изумительная женщина?

— А разве у тебя в последней опере, в партии *** не вылилось прямо из души пленительное безумие вечно неутоленной любви? ⁶ Я разгадала тебя: твой духовный мир раскрылся мне в пении! Да (и она назвала меня по имени), то, что я пела, был ты, а твои мелодии — это я.

Зазвонил театральный колокольчик; с незагримированного лица Анны мгновенно сбежали краски; помертвев, схватилась она рукой за сердце, как от внезапной боли, и, тихо промолвив: «Несчастливая Анна, настали самые страшные для тебя минуты», — исчезла из ложи.

Если первым действием я был восхищен, то теперь, после удивительного происшествия в ложе, музыка производила на меня совсем особое, непостижимое впечатление. Словно давно обещанное исполнение прекраснейших снов нездешнего мира сбывалось наяву; словно затаенные чаяния восхищенной души через волшебство звуков сулили чудесным образом превратиться в поразительное откровение. В сцене донны Анны меня овеяло мягким теплым дыханием, и я затрепетал от упоительного блаженства; глаза у меня закрылись сами собой, и пылкий поцелуй как будто ожег мне губы, но поцелуй этот был точно исторгнутая неутолимым желанием долго звенящая нота.

Финал начался с нечестивого ликования «*Cià la mensa è preparata!*» * Дон Жуан балагурил, сидя между двумя девицами, и откупоривал бутылку за бутылкой, чтобы дать над собою полную волю накрепко запертым бурливым духам. Сцена изображала неглубокую комнату с большим готическим окном на заднем плане, в которое виднелось ночное небо.

Пока Эльвира напоминала вероломному о его клятвах, в окне уже полыхали частые молнии и слышались глухие раскаты надвигающейся бури. Но вот — грозный стук. Эльвира и девицы убегают; и под зловеющие аккорды подземного царства духов появляется грозный мраморный гигант, перед которым Дон Жуан представляется пигмеем. Пол дрожит под громоподобной поступью великана. Сквозь бурю и гром, сквозь вой демонов Дон Жуан выкрикивает свое страшное «*No!*» — пробил роковой час. Статуя исчезает; комнату заволочло густым дымом; в нем возникают

* Вот и ужин приготовлен! (ит.).

страшные образины. Среди демонов виден Дон Жуан, извивающийся в адских муках. Взрыв, — будто куда-то ударили тысячи молний. Дон Жуан и демоны исчезли, испарились вмиг. Лепорелло лежит без чувств в углу комнаты. Как освежающе действует появление прочих действующих лиц, которые тщетно ищут Дон Жуана, вмешательством подземных сил избавленного от земного мщениия! Только сейчас словно вырывается из заколдованного круга адских сил.

Донна Анна неузнаваемо изменилась — смертельная бледность покрывает теперь ее лицо, глаза угасли, голос дрожит и срывается, но именно потому производит потрясающее впечатление в маленьком дуэте с любезным женихом, который спешит сыграть свадьбу, после того как небеса сняли с него опасный долг мстителя.

Фугированный хор⁷ превосходно завершил произведение, сведя его в одно гармоническое целое. Я поспешил к себе в комнату в таком восторженном состоянии духа, в каком никогда дотоле не бывал. Слуга пришел звать меня к общему столу, и я машинально последовал за ним. По случаю ярмарки общество собралось отменное, а разговор шел о сегодняшнем представлении «Дон Жуана». В общем одобряли итальянцев за то, что их исполнение хватает за душу; однако из мелких замечаний, брошенных кое-кем в самом игривом тоне, явствовало, что никто и отдаленно не понимает всей глубины этой величайшей из опер. Очень понравился дон Оттавио. Донна Анна, на взгляд одного из собеседников, проявила чрезмерную страстность. На театре, по его словам, следует должным образом себя сдерживать, избегая волнующих крайностей. Рассказ о дерзком посягательстве порядком шокировал его. При этих словах он взял понюшку табаку и с неописуемо глупым глубокомыслием поглядел на своего соседа, который возразил, что итальянке никак нельзя отказать в красоте. Жаль только, что она мало заботится о нарядах и прикрасах; как раз в той самой сцене у нее развился локон и на лицо вполоборота легла тень! Тут кто-то принялся под сурдинку напевать: «Fin ch'han dal vivo», — на что одна из дам заметила, что ей пришлось совсем не по вкусу Дон Жуан: слишком уж итальянец был мрачен, слишком уж серьезен и вообще недостаточно легко подошел к игривому и ветреному образу героя. Зато финальный взрыв всех привел в восторг. Пресытившись этим вздором, я поспешил к себе в комнату.

В ЛОЖЕ ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ № 23

Мне было душно, я задыхался взаперти, в тесной комнате! Около полуночи мне почудился твой голос, друг Теодор! Ты явственно произнес мое имя, и что-то зашелестело за потайной дверью. Почему бы мне не посетить еще раз место моего удивительного приключения? Может статься, я увижу тебя и ее, ту, коей полно все мое существо! Ничего не стоит перенести туда столик, две свечи, письменные принадлежности!

Слуга является с заказанным мною пуншем. Он видит, что комната пуста, а потайная дверь отворена; он идет ко мне в ложу и смотрит на меня весьма неодобрительно. По моему знаку он ставит напиток на стол и удаляется, но оглядывается еще раз — с языка у него готов сорваться вопрос. Я уже поворачиваюсь к нему спиной и, перегнувшись через барьер ложи, всматриваюсь в опустевший зал, — призрачный свет двух моих свечей, бросая причудливые блики, придает его очертаниям нереальный, фантастический вид. Занавес колеблется от гуляющего по всему зданию сквозняка.

А вдруг он сейчас взвьется? Вдруг, испугавшись мерзких образов, выбежит донна Анна? «Донна Анна», — невольно позвал я; мой зов потерялся в пустом зале, зато пробудились души инструментов, над оркестром задрожал странный звук, словно прошестело милое сердцу имя! Я был не в силах подавить затаенный ужас, который блаженным трепетом пронизал мои нервы.

Наконец я обуздал свое смятение и почитаю долгом хотя бы в общих чертах изложить тебе, друг Теодор, как я — кажется, впервые правильно, во всей его глубине — понимаю чудесное создание божественного мастера. Лишь поэт способен постичь поэта; лишь душе романтика доступно романтическое; лишь окрыленный поэзией дух, принявший посвящение посреди храма, способен постичь то, что изречено посвященным в порыве вдохновения. Если смотреть на поэму («Дон Жуана») с чисто повествовательной точки зрения, не вкладывая в нее более глубокого смысла, покажется непостижимым, как мог Моцарт задумать и сочинить к ней такую музыку. Кутила, приверженный к вину и женщинам, из озорства приглашающий на свою разгульную пирушку каменного истукана вместо старика отца, которого он заколол, защищая собственную жизнь, — право же, в этом маловато поэзии, и, по чести говоря, подобная личность не стоит того, чтобы подземные духи остановили на нем свой выбор как на особо редкостном экземпляре для адской коллекции; чтобы каменный истукан по внушению своего просветленного духа поторопился сойти с коня, дабы подвинуть грешника к покаянию, прежде чем для него пробьет последний час, и, наконец, чтобы дьявол выслал самых ловких из своих подручных доставить его в преисподнюю, нагромоздив при этом как можно больше ужасов.

Верь мне, Теодор, Дон Жуан — любимейшее детище природы, и она наделила его всем тем, что роднит человека с божественным началом, что возвышает его над посредственностью, над фабричными изделиями, которые пакками выпускаются из мастерской и перестают быть нулями, только когда перед ними ставят цифру; итак, он был рожден победителем и властелином. Мощное, прекрасное тело, образ, в котором светится искра божия и, как залог совершенного, зажигает упование в груди; душа, умеющая глубоко чувствовать, живой восприимчивый ум. Но в том-то вся трагедия грехопадения, что, как следствие его, за врагом осталась власть подстергать человека и расставлять ему коварные ловушки, даже когда

он, повинаясь своей божественной природе, стремится к совершенному. Из столкновения божественного начала с сатанинским проистекает понятие земной жизни, из победы в этом споре — понятие жизни небесной. Дон Жуан с жаром требовал от жизни всего того, на что ему давала право его телесная и душевная организация, а неутолимая жгучая жажда, от которой бурливо бежит по жилам кровь, побуждала его неустанно и алчно набрасываться на все соблазны здешнего мира, напрасно чая найти в них удовлетворение.

Пожалуй, ничто здесь, на земле, не возвышает так человека в самой его сокровенной сущности, как любовь. Да, любовь — та могучая таинственная сила, что потирает и преобразует глубочайшие основы бытия; что же за диво, если Дон Жуан в любви искал утolenия той страстной тоски, которая теснила ему грудь, а дьявол именно тут и накинуд ему петлю на шею? Враг рода человеческого внушил Дон Жуану лукавую мысль, что через любовь, через наслаждение женщиной уже здесь, на земле, может сбыться то, что живет в нашей душе как предвкушение неземного блаженства и порождает неизбывную страстную тоску, связующую нас с небесами. Без устали стремясь от прекрасной женщины к прекраснейшей; с пламенным сладострастием до пресыщения, до губительного дурмана наслаждаясь ее прелестями; неизменно досадуя на неудачный выбор; неизменно надеясь обрести воплощение своего идеала, Дон Жуан дошел до того, что вся земная жизнь стала ему казаться тусклой и мелкой. Он издавна презирал человека, а теперь восстал и на то чувство, что было для него выше всего в жизни и так горько его разочаровало. Наслаждаясь женщиной, он теперь не только удовлетворял свою похоть, но и нечестиво глумился над природой и творцом. Глубоко презирал он общепринятые житейские понятия, чувствуя себя выше их, и язвил насмешкой тех людей, которые надеялись во взаимной любви, законенной мещанской моралью, найти хотя бы частичное исполнение высоких желаний, коварно заложенных в нас природой, — а потому-то он и спешил дерзновенно и беспощадно вмешаться именно там, где речь шла о подобном союзе, и бросал вызов неведомому вершителю судеб, в котором видел злорадное чудовище, ведущее жестокую игру с жалкими порождениями своей насмешливой прихоти. Соблазнить чью-то любимую невесту, сокрушительным, причиняющим неисцелимое зло ударом разрушить счастье любящей четы — вот в чем видел он величайшее торжество над враждебной ему властью, расширяющее тесные пределы жизни, торжество над природой, над творцом!

Он и в самом деле преступает положенные жизнью пределы, но лишь затем, чтобы низвергнуться в Орк. Обольщение Анны со всеми сопутствующими обстоятельствами — вот кульминация, которой он достигает.

Донна Анна недаром противопоставлена Дон Жуану — она тоже щедро одарена природой: как Дон Жуан в основе своей — на диво мощный, великолепный образец мужчины, так она — божественная женщина, и над ее чистой душой дьявол оказался не властен. Все ухищрения ада

могли погубить лишь ее земную плоть. Едва сатана довершил пагубное дело, как, выполняя волю небес, ад не посмел медлить и с возмездием. Дон Жуан в насмешку приглашает на веселый ужин статую заколотого старца, и просветленный дух убитого, прозрев наконец сущность этого падшего человека и скорбя о нем, не гнушается явиться в страшном облике, чтобы подвигнуть его на покаяние. Но Дон Жуан так растлен, так смятен духом, что даже небесная благодать не заронит ему в сердце луч надежды и не возродит его для лучшего бытия!

Конечно, ты запомнил, друг Теодор, что я раньше вскользь коснулся обольщения донны Анны; насколько мне удастся сейчас, когда мысли и представления, поднимаясь из недр души, опережают слова, постараюсь объяснить тебе, какими вырисовываются передо мной в музыке, независимо от текста, все перипетии борьбы этих двух натур (Дон Жуана и донны Анны). Выше я уже сказал, что Анна противопоставлена Жуану. Ну, а если само небо избрало Анну, чтобы именно в любви, происками дьявола сгубившей его, открыть ему божественную сущность его природы и спасти от безысходности пустых стремлений? Но он встретил ее слишком поздно, когда нечестие его достигло вершины, и только бесовский соблазн погубить ее мог проснуться в нем. Она не избежала своей участи! Когда он спасался бегством, нечестивое дело уже свершилось. Огонь сверхчеловеческой страсти, адский пламень проник ей в душу, и всякое сопротивление стало тщетно. То сладострастное безумие, какое бросило Анну в его объятия, мог зажечь только он, только Дон Жуан, ибо, когда он грешил, в нем бушевало сокрушительное неистовство адских сил. После того как, свершив злое дело, он собрался бежать, в нее, точно мерзкое, изрыгающее смертельный яд чудовище, впилося сознание, что она погибла. Смерть отца от руки Дон Жуана, брачный союз с холодным, вялым, ничтожным доном Оттавио, которого она прежде, как ей казалось, любила, и даже ненасытным пламенем бушующая в тайниках ее души любовь, что вспыхнула в минуту величайшего упоения, а ныне жжет, как огонь беспощадной ненависти, — все, все это раздирает ей грудь. Она чувствует: лишь гибель Дон Жуана даст покой душе, истерзанной смертными муками; но этот покой означает конец ее собственного земного бытия. Поэтому она неотступно понуждает своего слабодушного жениха к мщению, сама преследует нечестивца. Но вот подземные силы низринули его в Орк, и она как будто успокаивается, однако не может уступить жениху, которому не терпится сыграть свадьбу: «Lascia, o sago, un anno ango, allo sfogo del mio cor!» * Ей не суждено пережить этот год; дон Оттавио никогда не заключит в свои объятия ту, которую избрал своей невестой сатана, но чистота души избавила от его власти.

Как живо, как глубоко ощущаю я все это в потрясающих аккордах первого речитатива и рассказа о ночном нападении! И даже сцена донны

* Друг мой милый, тебя прошу я
Год один лишь подождать! (ит.).

Анны во втором действии: «Crudele» *, с виду обращенная только к дону Оттавио, на самом деле скрытыми созвучиями, искуснейшими переходами выражает то состояние души, когда на земном счастье поставлен крест. Что бы иначе означала странная, даже, может быть, бессознательно брошенная поэтом под конец фраза: «Forse un giorno il cielo ancora sentirà pietà di me!» **

Бьет два часа! Теплое, насыщенное электричеством дуновение коснулось меня — я слышу слабый аромат тонких итальянских духов, по которым вчера прежде всего ощутил присутствие соседки; мною овладевает блаженное состояние, которое я, пожалуй, мог бы выразить только в звуках. Ветер сильнее свищет по залу — вот в оркестре зазвенели фортепьянные струны. Мне почудился голос Анны: «Non me dir bell'idol mio!» *** Словно откуда-то очень издалека на крыльях нарастающих звуков призрачного оркестра долетел он до меня. Раскройся, далекое неведомое царство духов, край чудес — Джиннистан⁸, где в неизъяснимой благодатной скорби, как в величайшей радости, для восхищенной души с переизбытком исполняется все обещанное на земле! Позволь мне вступить в круг твоих пленительных видений. Пусть сон, твой вестник, которого ты посылаешь навевать на смертных ужас или осчастливить их, — пусть, когда я усну и тело будет сковано свинцовыми путами, пусть унесет он мой дух в эфирные селения!

РАЗГОВОР В ПОЛДЕНЬ ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ, В ВИДЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ

Умник с табакеркой (*громко стуча по ее крышке*). Какая досада! Не скоро доведется нам теперь услышать порядочную оперу! Вот что значит потерять всякую меру!

Смуглолицый. Верно, верно! Я без конца твердил ей то же самое! Роль донны Анны всегда ее порядком утомляла. А вчера она и вовсе была как одержимая. Весь антракт, говорят, пролежала без чувств⁹, а сцену второго действия будто бы провела в нервическом припадке.

Незначительный. Скажите на милость!

Смуглолицый. Да, да, в нервическом припадке! И ее никак нельзя было увести из театра.

Я. Бога ради, припадок был не опасный? И мы скоро вновь услышим синьору?

Умник с табакеркой (*беря понюшку*). Навряд ли — нынче под утро, ровно в два часа, синьора скончалась.

* Жестока (ит.).

** Верь мне, верь, любовь восторжествует (ит.).

*** Нет, жестокой, милый друг мой, ты меня не называй! (ит.).

КРЕЙСЛЕРИАНА

(ИЗ ПЕРВОЙ ЧАСТИ «ФАНТАЗИЙ В МАНЕРЕ КАЛЛО»)

Откуда он? — Никто не знает. Кто были его родители? — Неизвестно. Чей он ученик? — Должно быть, большого мастера, потому что играет превосходно; а так как у него есть и ум и образование, то его терпят в обществе и даже доверяют ему преподавание музыки. Нет сомнения, что он действительно был капельмейстером, — прибавляли к этому дипломатические особы, которым он однажды, в хорошем расположении духа, представил документ, выданный дирекцией . . . ского придворного театра. Там значилось, что он, капельмейстер Иоганнес Крейслер, только потому был отставлен от своей должности, что решительно отказался написать музыку для оперы, сочиненной придворным поэтом; кроме того, за обедами в гостинице, в присутствии публики, он много раз пренебрежительно отзывался о первом теноре и в совершенно восторженных, хотя и непонятных, выражениях оказывал предпочтение перед примадонною одной молодой девице, которую обучал пению¹. Впрочем, он мог бы сохранить за собою титул придворного капельмейстера и даже возвратиться к своей должности, если бы совершенно отказался от некоторых странностей и смешных предрассудков, — как, например, от своего убеждения, что подлинной итальянской музыки более не существует, — и если бы добровольно признал превосходные качества придворного поэта, которого все считали вторым *Метастазиио*². Друзья утверждали, что природа, создавая его, испробовала новый рецепт и что опыт не удался, ибо к его чрезмерно чувствительному характеру и фантазии, вспыхивающей разрушительным пламенем, было примешано слишком мало флегмы, и таким образом было нарушено равновесие, совершенно необходимое художнику, чтобы жить в свете и создавать для него такие произведения, в которых он, даже в высшем смысле этого слова, нуждается. Как бы то ни было, достаточно сказать, что Иоганнес носился то туда, то сюда, будто по вечно бурному морю, увлекаемый своими видениями и грезами, и, по-видимому, тщетно искал той пристани, где мог бы наконец обрести спокойствие и ясность, без которых художник не в состоянии ничего создавать. Оттого-то друзья никак не могли добиться, чтобы он написал какое-нибудь сочинение или не уничтожил уже написанного. Иногда он сочинял ночью, в самом возбужденном состоянии; он будил жившего рядом с ним друга, чтобы в порыве величайшего вдохновения сыграть

то, что он написал с невероятною быстротою, проливал слезы радости над удавшимся произведением, провозглашая себя счастливейшим человеком... Но на другой день превосходное творение бросалось в огонь. Пение действовало на него почти губительно, так как при этом его фантазия чересчур воспламенялась и дух уносился в неведомое царство, куда никто не отваживался за ним последовать; напротив, он часто целыми часами разрабатывал на фортепьяно самые странные темы в замысловатых контрапунктических оборотах и имитациях и самых искусных пассажах. Когда это ему удавалось, он несколько дней кряду пребывал в веселом расположении духа, и особая лукавая ирония уснащала тогда его разговор на радость небольшому задушевному кружку его друзей.

Но вдруг, неизвестно как и почему, он исчез. Многие стали уверять, что замечали в нем признаки помешательства. И действительно, люди видели, как он в двух нахлобученных одна на другую шляпах и с двумя нотными раштрами³, засунутыми, словно два кинжала, за красный пояс, весело напевая, вприпрыжку бежал за городские ворота. Однако ближайшие его друзья не усматривали в этом ничего особенного, так как Крейслеру вообще были свойственны буйные порывы под влиянием внезапного раздражения. Когда все розыски оказались напрасными и друзья стали советовать о том, как быть с оставшимся после него небольшим собранием музыкальных и других сочинений, явилась фрейлейн фон Б.⁴ и объяснила, что только ей одной надлежит хранить это наследие дорогого учителя и друга, которого она ни в коем случае не считает погибшим. Друзья с радостной готовностью отдали ей все, что нашли, а когда оказалось, что на чистой оборотной стороне многих нотных листков находятся небольшие, преимущественно юмористические заметки, наскоро набросанные карандашом в благоприятные минуты, верная ученица Иоганнеса разрешила верному другу списать их и предать гласности как неприязнательные плоды минутного вдохновения.

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ КАПЕЛЬМЕИСТЕРА ИОГАННЕСА КРЕЙСЛЕРА

Наконец все разошлись. Я мог бы заметить это по шушуканью, шарканью, кашлю, гудению во всевозможных тональностях; это был настоящий пчелиный рой, вылетающий из улья. Готлиб поставил мне на фортепьяно новые свечи и бутылку бургонского. Играть я уже не могу, потому что совсем обессилел; в том повинен стоящий здесь на пюпитре мой старый друг¹, вновь носивший меня в поднебесье, как Мефистофель Фауста на своем плаще, так высоко, что я уже не видел и не замечал под собою этих человечков, хоть они, кажется, и производили довольно-таки изрядный шум. Гнусный потерянный вечер! Но теперь мне хорошо и легко. Ведь во время игры я достал карандаш и правой рукой набросал

Fantasiestücke

in Callot's Manier.

Blätter aus dem Tagebuche
eines reisenden Enthusiasten.



Mit einer Vorrede von Jean Paul.

Hamburg, 1814.
Neues Verlagsbureau von C. F. Kunz.

*Титульный лист первого издания „Фантазий в манере Калло“
работы Гофмана*

цифрами на странице 63 под последней вариацией несколько удачных отклонений, в то время как левая рука не переставала бороться с потоком звуков!.. Я продолжаю писать на оборотной пустой стороне. Оставляю цифры и звуки и с истинной радостью, как выздоровевший больной, не перестающий рассказывать о том, что он вытерпел, подробно описываю здесь адские мучения сегодняшнего чайного вечера. И не только для себя одного, но и для всех тех, кто когда-нибудь, наслаждаясь и поучаясь по моему экземпляру фортепьянных вариаций Иоганна-Себастьяна Баха, изданных у Негели в Цюрихе, найдет в конце тридцатой вариации мои цифры и, руководствуясь крупным латинским *verte** (я напишу его тотчас же, как только будет окончена моя жалоба), перевернет страницу и станет читать. Эти читатели сейчас же поймут, в чем дело: они знают, что у тайного советника Редерлейна здесь очаровательный дом и две дочери, о которых весь высший свет с восторгом твердит, что они танцуют, как богини, говорят по-французски, как ангелы, а играют, поют и рисуют, как музы. Тайный советник Редерлейн — богатый человек; за обедами, которые он устраивает четыре раза в год, подаются прекраснейшие вина, тончайшие кушанья, все обставлено на самый изящный манер, и у того, кто не испытывает райского блаженства на его чайных вечерах, нет ни хорошего вкуса, ни ума и в особенности никакого понимания искусства. Последнее здесь тоже не забыто: наряду с чаем, пуншем, вином, мороженым и проч. всегда подается немножко музыки, которая поглощается изящным обществом с таким же удовольствием, как и все остальное. Порядок таков: после того как у каждого гостя было достаточно времени, чтобы выпить сколько угодно чашек чаю, и уже два раза разносили пунш и мороженое, слуги приготавливают игорные столы для старшей, более солидной части общества, предпочитающей музыкальной игре игру в карты, которая и впрямь не производит такого бесполезного шума и при которой звенят разве что деньги. Это служит сигналом для младшей части общества: она приступает к девицам Редерлейн; поднимается шум, в котором можно разобрать слова: «Прелестная барышня, не отказывайте нам в наслаждении вашим небесным талантом». — «О, спой что-нибудь, моя дорогая!» — «Не могу — простуда — последний бал — ничего не разучила». — «О, пожалуйста, пожалуйста! Мы умоляем!» и т. д.

Готлиб уже успел открыть фортепьяно и поставить на пюпитр хорошо знакомую нотную тетрадь. Сидящая за картами мамаша восклицает:

— *Chantez donc, mes enfants!***

Эта реплика отмечает начало моей роли: я сажусь за фортепьяно, а барышня Редерлейн с торжеством подводит к инструменту. Тут опять начинается спор: ни одна не хочет петь первой.

— Ведь ты знаешь, милая Нанетта, я ужасно охрипла.

* Переверни (лат.).

** Пойте же, дети! (фр.).

- А я разве меньше, милая Мари?
 — Я так плохо пою.
 — О, милочка, только начни... — и т. д.

Мой совет (подаваемый всякий раз), что они могли бы начать с дуэта, вызывает рукоплескания; принимаются перелистывать ноты, находят наконец тщательно заложенный лист, и начинается: «Dolce dell'anima» * и проч. Талант же у барышень Редерлейн отнюдь не малый. Вот уже пять лет, как я здесь, из них три с половиной года — учителем в редерлейновском доме; за это короткое время фрейлейн Ханетта кое-чего достигла: мелодию, слышанную всего раз десять в театре и затем не более десяти раз повторенную на фортепьяно, она в состоянии спеть так, что сразу можно догадаться, что это такое. Фрейлейн Мари схватывает мелодию даже с восьмого раза, и если часто поет на четверть тона ниже строя фортепьяно, то при ее миленьком личике и недурных розовых губках с этим легко можно примириться. После дуэта — дружный хор похвал. Затем начинают чередоваться ариетты и дуэттино, а я заново отбарабаниваю уже тысячу раз играный аккомпанемент. Во время пения финансовая советница Эберштейн, покашливая и тихонько подпевая, дает понять: «И я ведь тоже пою». Фрейлейн Ханетта говорит:

— Милая советница, теперь и ты должна дать нам послушать твой божественный голос!

Опять поднимается шум. У нее простуда, и она ничего не может спеть наизусть. Готлиб притаскивает две охалки нот; начинается перелистывание. Сперва она хочет петь «Мщение ада»² и т. д., потом «Геба, смотри»³ и т. д., затем «Ах, я любила»⁴ и т. д. В испуге я предлагаю: «Фиалка на лугу»⁵ и т. д. Но советница — за высокое искусство, она хочет показать себя и останавливается на Констанце. О, кричи, квакай, мяукай, издавай гортанные звуки, стонай, охай, тремолируй, дребезжи сколько тебе угодно; я взял правую педаль и грохочу fortissimo, дабы оглушить себя. О сатана, сатана! Какой из твоих адских духов вселился в эту глотку, чтобы терзать, душить и рвать исторгаемые ею звуки? Четыре струны уже лопнули, один молоточек сломался. В ушах у меня звон, голова трещит, дрожит каждый нерв. Неужели все фальшивые звуки пронзительной трубы ярмарочного шарлатана собрались в этом маленьком горле? Ее пение меня измучило — пью стакан бургонского. Рукоплескали неистово, и кто-то заметил, что финансовая советница и Моцарт сильно меня воспламенили. Я улыбался, потупив глаза, и, как сам заметил, это выходило очень глупо. Тут зашевелились все таланты, процветавшие до сих пор под спудом, и стали выступать наперебой. Задумываются музыкальные сумасбродства — ансамбли, финалы, хоры. Каноник Кратцер, как известно, божественно поет басом, уверяет господин в прическе à la Titus **⁶, скромно заявляющий о самом себе, что он всего только второй

* Услада души (ит.).
 ** Как у Тита (фр.).

тенор, хотя и состоит членом нескольких певческих академий. Быстро устраивается все для первого хора из «Тита»⁷. Великолепно! Каноник, стоя вплотную позади меня, гремит над моей головой таким басом, словно поет в соборе под аккомпанемент труб и литавр; он прекрасно попадал в тон, но второпях почти вдвое затягивал темп. Но он по крайней мере оставался верен себе настолько, что в продолжение всей пьесы постоянно тащился на полтакта позади. У остальных же певцов обнаружилась решительная склонность к древнегреческой музыке, которая, как известно, не знала гармонии и шла в унисон; все они пели верхний голос с небольшими вариантами в виде случайных повышений и понижений примерно на четверть тона. Это несколько шумливое исполнение вызвало общий трагический трепет, можно сказать, ужас, даже у сидящих за картами, теперь они уже не могли, как раньше, мелодраматически вторить музыке, вплетая в нее декламационные фразы, как, например: «Я любила — сорок восемь — беззаботно — пас — я не знала — вист — мук любви — козырь» и т. д. Выходило очень недурно. Наливаю себе вина. «И это была вершина сегодняшней музыкальной выставки. Ну, теперь конец!» — подумал я, встал и закрыл ноты. Но тут ко мне подходит барон, мой античный тенор, и говорит:

— О дорогой господин капельмейстер! Говорят, вы божественно импровизируете; о, пофантазируйте же для нас! Хоть немножко! Пожалуйста!

Я сухо возражаю, что сегодня фантазия мне решительно отказала; но, пока мы беседуем, какой-то дьявол в образе щеголя в двух жилетах унюхивает под моей шляпой в соседней комнате баховские вариации: он думает, что это так себе, пустячные вариации, вроде: «Nel cor mi non più sento» *⁸ — «Ah, vous dirai-je, maman!» **⁹ и проч., и непременно желает, чтобы я сыграл их. Я отказываюсь; тогда все обступают меня. «Ну, так слушайте же и лопайтесь от скуки!» — думаю я и начинаю играть. Во время № 3 удаляется несколько дам в сопровождении причесок à la Titus. Девуцы Редерлейн не без мучений продержались до № 12, так как играл их учитель. № 15 обратил в бегство двухжилетного франта. Барон из преувеличенной вежливости оставался до № 30 и только выпил весь пунш, который Готлиб поставил мне на фортепьяно. Я благополучно и окончил бы, но тема этого № 30 неудержимо увлекла меня. Листы in quarto *** внезапно выросли в гигантское folio ****, где были написаны тысячи имитаций и разработок той же темы, которых я не мог не сыграть. Ноты ожили, засверкали и запрыгали вокруг меня, — электрический ток побежал сквозь пальцы к клавишам, — дух, его пославший, открыл мои мысли, — вся зала наполнилась густым туманом, в котором все больше

* Сердце мое не чувствует больше (ит.).

** Ах, скажу вам, маменька! (фр.).

*** В четвертую долю (лат.).

**** В полный лист (лат.).

и больше тускнели свечи, — иногда из него выглядывал какой-то нос, иногда — пара глаз; но они тотчас же исчезали. Вышло так, что я остался наедине с моим Себастьяном Бахом, а Готлиб прислуживал мне, точно какой-то *spiritus familiaris* *.

Я пью! Можно ли так мучить музыкою честных музыкантов, как мучили меня сегодня и как мучают весьма часто? Поистине ни одно искусство не подвергается столь бесконечному и гнусному злоупотреблению, как дивная, святая музыка, нежное существо которой так легко осквернить! Если у вас есть настоящий талант, настоящее понимание искусства, — хорошо, учитесь музыке, создавайте нечто, достойное искусства, и в должной мере служите своим талантом посвященному. А если вы лишены таланта и хотите просто брэнчать, то делайте это для себя и про себя и не мучьте этим капельмейстера Крейсlera и других.

Теперь я мог бы пойти домой и окончить свою новую сонату для фортепьяно, но еще нет одиннадцати часов, и на дворе прекрасная летняя ночь. Бьюсь об заклад, что по соседству со мной у обер-егермейстера сидят возле открытого окна девицы и резкими, визгливыми, пронзительными голосами двадцать раз выкрикивают во всю мочь: «Когда меня твой взор манит»¹⁰, — одну только первую строфу. Нанискосок, через улицу, кто-то терзает флейту; легкие у него, как у племянника Рамо¹¹; а мой сосед-валторнист делает акустические опыты, издавая протяжные-протяжные звуки. Бесчисленные собаки в околотке начинают тревожиться, а кот моего хозяина, возбужденный этим сладостным дуэтом, вопит у моего окна (само собой разумеется, что моя музыкально-поэтическая лаборатория находится под самой крышей); карабкаясь вверх по хроматической гамме, он делает жалобно-нежные признания соседской кошке, в которую влюблен с марта месяца. После одиннадцати часов становится тише; я и сижу до этого времени, тем более что осталась еще чистая бумага и бургонское — я с наслаждением его потягиваю.

Я слышал, что существует старинный закон, который запрещает ремесленникам, производящим шум, селиться рядом с учеными; неужели же бедные притесняемые композиторы, которым вдобавок приходится еще чеканить из своего вдохновения золото, чтобы дольше протянуть нить своего существования, не могли бы применить к себе этот закон и изгнать из своего окружения дударей и все крикливые глотки? Что сказал бы живописец, если бы к нему в то время, когда он пишет идеальный образ, стали беспрестанно соваться разные скверные рожи? Закрой он глаза, — он по крайней мере мог бы без помехи дописывать картину в своей фантазии. Но вата в ушах не помогает — кошачий концерт все-таки слышен; и стоит только подумать, только подумать: вот теперь они поют, вот вступает валторна, — как самые возвышенные мысли летят к черту!

Лист исписан полностью; я хочу только еще отметить на белом поле, окружающем заглавие, почему я сто раз зарекался ходить в дом тайного

* Домашний дух (лат.).

советника и почему сто раз нарушал этот зарок. Виновата в этом, конечно, восхитительная племянница Редерлейна, привязывающая меня к этому дому узами, свитыми искусством¹². На чью долю выпало счастье хоть раз слышать в исполнении фрейлейн Амалии финальную сцену «Армиды» Глюка или большую сцену донны Анны из «Дон Жуана», тот поймет, что один час, проведенный с нею у фортепьяно, проливает небесный бальзам на раны, которые целый день наносились мне, измученному учителю музыки, всевозможными диссонансами. Редерлейн, не верующий ни в бессмертие души, ни в ритм, считает ее совершенно непригодною для пребывания в высоком обществе его гостей, ибо в этом собрании она решительно не хочет петь, а между тем перед людьми совсем низкого звания, например, перед простыми музыкантами, поет с таким старанием, какое ей вовсе не к лицу; по мнению Редерлейна, эти долгие, ровные, звенящие гармонические звуки, которые возносят меня на небо, она явно переняла у соловья — неразумной твари, что живет только в лесах и отнюдь не может служить образцом для человека, разумного царя природы. Она доходит в своей бестактности до того, что иногда даже заставляет аккомпанировать себе на скрипке Готлиба, разыгрывая на фортепьяно бетховенские или моцартовские сонаты, которые ничего не говорят ни одному чайному или карточному господину.

Я выпил последний стакан бургонского. Готлиб снимает нагар со свечей и, по-видимому, удивляется, что я так усердно пишу. Хорошо делают, что ценят этого Готлиба, которому только шестнадцать лет. Это превосходный, глубокий талант. Но зачем так рано умер его папаша, заставный писец, и для чего понадобилось опекуну одевать юношу в ливрею? Когда здесь был Роде¹³, Готлиб слушал из передней, прижавшись ухом к дверям залы, и потом играл целые ночи напролет, а днем ходил задумчивый, погруженный в себя, и красное пятно, горевшее на его левой щеке, было точным отпечатком солитера с руки Редерлейна: как нежным поглаживанием можно вызвать сомнамбулическое состояние, так эта рука вознамерилась сильным ударом произвести прямо противоположное действие. Вместе с другими вещами я дал ему сонаты Корелли¹⁴; тогда он стал неистовствовать на старом эстерлейновском фортепьяно¹⁵, вынесенном на чердак, пока не истребил всех поселившихся в нем мышей и, с позволения Редерлейна, не перетащил инструмент в свою комнатку. «Сбрось с себя это ненавистное лакейское платье, честный Готлиб, чтобы через несколько лет я мог прижать тебя к своей груди как настоящего артиста, каким ты можешь сделаться при твоём прекрасном таланте, при твоём глубоком понимании искусства!» Готлиб стоял сзади меня и утирал слезы, когда я громко выговорил эти слова. Я молча пожал ему руку; мы пошли наверх и стали играть вместе сонаты Корелли.

2. OMBRA ADORATA *

Какое все же удивительное, чудесное искусство музыка, и как мало человек сумел проникнуть в ее глубокие тайны! Но разве не живет она в груди самого человека, так наполняя его внутренний мир благодатными образами, что все его мысли обращаются к ним, и новая, просветленная жизнь еще здесь, на земле, отрешает его от суеты и гнетущей муки земного? Да, некая божественная сила проникает в него, и с детски-набожным чувством отдаваясь тому, что возбуждает в нем дух, он обретает способность говорить на языке неведомого романтического царства духов; бессознательно, как ученик, громко читающий волшебную книгу учителя, вызывает он из своей души все дивные образы, которые сияющими хороводами несутся через жизнь и наполняют всякого, кто только может их созерцать, бесконечным, несказанным томлением.

Как сжималась моя грудь, когда я входил в концертную залу! Как я был подавлен гнетом всех тех ничтожных, презренных мелочей, которые, как ядовитые жалящие насекомые, преследуют и мучат в этой жалкой жизни человека, а в особенности — художника, до такой степени, что он часто готов предпочесть этой вечно язвящей муке жестокий удар, могущий навсегда избавить его и от этой, и от всякой иной земной скорби! Ты понял горестный взгляд, который я бросил на тебя, верный друг мой! Сто раз благодарю тебя за то, что ты занял мое место за фортепьяно в то время, как я старался скрыться в самом отдаленном углу залы. Какую ты придумал отговорку, как удалось тебе устроить, что сыграна была не большая симфония Бетховена *c-moll*, а лишь коротенькая, незначительная увертюра какого-то еще не достигшего мастера композитора? И за это от всего сердца благодарю тебя. Что случилось бы со мною, если бы ко мне, почти раздавленному всеми земными бедствиями, которые с недавнего времени беспрестанно обрушиваются на меня, вдруг устремился могучий дух Бетховена, схватил меня в свои пылающие, как расплавленный металл, объятия и унес в то царство беспредельного, неизмеримого, что открывается в его громовых звуках? Когда увертюра закончилась детским ликованием труб и литавр, наступила глубокая пауза, словно ждали чего-то действительно важного. Это принесло мне облегчение, я закрыл глаза и, стараясь найти в своей душе образы более приятные, нежели те, какие меня только что окружали, забыл о концерте, а вместе с тем, конечно, обо всей его программе, которая была мне известна, — ведь я должен был аккомпанировать. Пауза, вероятно, длилась долго; наконец заиграли ритурнель какой-то арии. Он был выдержан в очень нежных тонах и простыми, но глубоко проникающими в душу звуками, казалось, говорил о томлении, с которым набожная душа возно-

* Кто не знает великолепной арии Крешентини «Ombra adorata» [Возлюбленная тень], которую он сочинил для оперы Цингарелли «Ромео и Юлия» и сам исполнял с необыкновенным чувством. (Прим. Гофмана.)

сится к небу и там обретает все любимое, отнятое у нее здесь, на земле. И вот, словно небесный луч, просиял из оркестра чистый, звенящий женский голос: «*Tranquillo io sono, fra poco teco sarò mia vita!*» *

Кто может описать пронизавшее меня ощущение? Боль, которая грызла мою душу, разрешилась скорбным томлением, излившимся небесный бальзам на все мои раны. Все было позабыто, и я в восхищении внимал только звукам, которые, словно нисходя из иного мира, утешительно осеняли меня.

С такой же простотою, как речитатив, выдержана и тема следующей за ним арии: «*Ombra adorata*» но, столь же задушевно и так же проникая в самое сердце, она выражает то состояние духа, когда он возносится превыше земных скорбей в блаженной надежде скоро увидеть в высшем и лучшем мире исполнение всех обетований. Как безыскусственно, как естественно все связывается между собою в этой простой композиции: предложения развиваются только на тонике и доминанте; никаких резких отступлений, никаких вычурных фигур; мелодия струится, как серебристый ручей среди сияющих цветов. Но не в этом ли именно и заключается таинственное волшебство, которым обладал художник, сумевший придать простейшей мелодии, самому безыскусственному построению неописуемую мощь неодолимого воздействия на всякое чувствительное сердце? В удивительно светло и ясно звучащих мелизмах душа на быстрых крыльях несется среди лучезарных облаков; это громкое ликование просветленных духов! Как всякое сочинение, столь глубоко внутренне прочувствованное художником, эта композиция требует подлинного понимания и должна исполняться с ощущением — я сказал бы: с ясно выраженным предчувствием сверхчувственного, заключающимся в самой мелодии. Согласно правилам итальянского пения как в речитативе, так и в самой арии предполагаются известные украшения; но разве не прекрасно, что нам, как бы по традиции, передается та манера, в какой композитор и высокий мастер пения, Крешентини, исполнял и украшал эту арию, так что, наверное, никто не отважится безнаказанно прибавлять к ней по крайней мере чуждые ее духу завитки? Как тонки, как оживляют целое эти случайно придуманные Крешентини украшения? Это блестящий убор, делающий еще более прекрасным милое лицо возлюбленной, убор, от которого ярче лучатся ее глаза и сильнее алеют уста и ланиты.

Но что мне сказать о тебе, превосходная певица! С пламенным восторгом итальянцев я восклицаю: благословенна ты небом! ** О да, должно быть, благословенно искренней душе изливать ощущаемое в глубине сердца в таких ясных и столь дивно звенящих звуках. Эти звуки, как благодатные духи, осенили меня, и каждый из них говорил: «Подними голову, угнетенный! Иди с нами, иди с нами в далекую страну, где скорбь

* Я спокоен, ибо скоро я буду с тобою, жизнь моя! (ит.).

** Нашей немецкой певице Гезер, которая, к сожалению, теперь совсем оставила искусство, итальянцы кричали: «*Che sei benedetta dal cielo*». (Прим. Гофмана.)

не наносит кровавых ран, но грудь, точно в высшем восторге, наполняется несказанным томлением!»

Я никогда больше не услышу тебя; но, когда меня станет осаждать ничтожество и, считая равным себе, вступит со мною в пошлую борьбу, когда глупость захочет ошеломить меня, а отвратительная насмешка черни — уязвить своим ядовитым жалом, тогда утешающий голос духа шепнет мне твоими звуками: «Tranquillo io sono, fra poco teco sarò mia vita!»

И вот тогда, в небывалом вдохновении, я на мощных крыльях поднимусь над ничтожеством земного; все звуки, застывшие в израненной груди, в крови страдания, оживут, зашевелиятся и вспыхнут, как искрометные саламандры, — у меня достанет сил схватить их, и тогда они, соединившись как бы в огненный сноп, образуют пламенеющую картину, которая прославит и возвеличит твое пение — и тебя!

3. МЫСЛИ О ВЫСОКОМ ЗНАЧЕНИИ МУЗЫКИ

Нельзя отрицать, что в последнее время вкус к музыке, слава богу, распространяется все больше и больше, так что теперь считается в некотором роде признаком хорошего воспитания учить детей музыке; поэтому в каждом мало-мальски приличном доме найдется фортепьяно или по крайней мере гитара. Кое-где встречаются еще немногие ненавистники этого, несомненно, прекрасного искусства, и мое намерение и призвание именно в том и заключается, чтобы преподать им хороший урок.

Цель искусства вообще — доставлять человеку приятное развлечение и отвращать его от более серьезных или, вернее, единственно подходящих ему занятий, то есть от таких, которые обеспечивают ему хлеб и почет в государстве, чтобы он потом с удвоенным вниманием и старательностью мог вернуться к настоящей цели своего существования — быть хорошим зубчатым колесом в государственной мельнице и (продолжаю свою метафору) снова начать мотаться и вертеться. И надо сказать, что ни одно искусство не пригодно для этой цели в большей степени, чем музыка. Чтение романа или поэтического произведения, даже в том случае, когда выбор его настолько удачен, что в нем не оказалось ничего фантастически безвкусного (как часто бывает в новейших книгах) и, стало быть, фантазия, представляющая, собственно, наихудшую часть нашего первородного греха, каковую мы всеми силами должны подавлять, нисколько не станет возбуждаться, — такое чтение, говорю я, все-таки имеет неприятную сторону — оно до некоторой степени заставляя думать о том, что читаешь; это же явно противоречит развлекательной цели. То же надо сказать и о чтении вслух, так как, совершенно отклонив от него свое внимание, легко можно заснуть или погрузиться в серьезные мысли, от которых, согласно соблюдаемой всеми порядочными деловыми людьми умственной диете, время от времени следует давать себе отдых. Рассматривание какой-нибудь кар-

тины может продолжаться лишь очень недолго, ибо интерес к ней теряется, как только вы угадали, что именно эта картина изображает. Что же касается музыки, то только неизлечимые ненавистники этого благородного искусства могут отрицать, что удачная композиция, то есть такая, которая не переступает надлежащих границ и где одна приятная мелодия следует за другою, не бушуя и не извиваясь глупым образом в разного рода контрапунктических ходах и оборотах,— представляет удивительно спокойное развлечение: оно совершенно избавляет от необходимости утруждать себя умственно или по крайней мере не наводит ни на какие серьезные мысли, а только вызывает веселую череду совсем легких, приятных дум, и человек даже не успевает осознать, что они, собственно, в себе заключают. Но можно пойти еще дальше и задать вопрос: кому запрещается даже во время музыки завязать с соседом разговор на какие угодно темы из области политики и морали, и таким приятным образом достигнуть двойной цели? Наоборот, последнее следует даже особенно рекомендовать, ибо музыка, как это легко заметить на всех концертах и музыкальных собраниях, чрезвычайно способствует беседе. Во время пауз все тихо, но как только начинается музыка, сейчас же вскипает поток речей, поднимающийся все выше и выше вместе с падающими в него звуками. Иная девица, чья речь, согласно известному изречению, содержит лишь «Да, да!» и «Нет, нет!»¹, во время музыки находит и прочие слова, которые, следуя тому же евангельскому тексту, суть зло, но здесь, видимо, служат ко благу, так как с их помощью в ее сети иногда попадается возлюбленный или даже законный муж, опьяненный сладостью непривычной речи. Боже мой, сколь необозримы преимущества прекрасной музыки! Вас, неисправимых ненавистников благородного искусства, я введу в семейный круг, где отец, утомленный важными дневными делами, в халате и туфлях, весело и добродушно покуривает трубочку под мурлыканье своего старшего сына. Разве не для него благонравная Резхен разучила Дессауский марш и «Цвети, милая фиалка»², и разве не играет она их так прекрасно, что мать проливает светлые слезы радости на чулок, который она в это время штопает? Наконец, разве не показался бы ему тягостным хоть и подающий надежды, но робкий писк младшего отпрыска, если бы звуки милой детской музыки не удерживали всего в пределах тона и такта? Но если тебе ничего не говорит эта семейная идиллия — торжество простодушия, — то последуй за мною в этот дом с ярко освещенными зеркальными окнами. Тыходишь в залу; дымящийся самовар — вот тот фокус, вокруг которого движутся кавалеры и дамы; приготовлены игорные столы, но вместе с тем поднята и крышка фортепьяно, — и здесь музыка служит для приятного времяпрепровождения и развлечения. При хорошем выборе она никому не мешает, так как ее благосклонно допускают даже карточные игроки, хотя и занятые более важным делом — выигрышем и проигрышем.

Что же мне сказать, наконец, о больших публичных концертах, дающих превосходнейший случай поговорить с тем или иным приятелем под аккомпанемент музыки или — если человек еще не вышел из шаловливого

возраста — обменяться нежными словами с той или другой дамой, для чего музыка может дать и подходящую тему? Эти концерты самое удобное место для развлечения делового человека и гораздо предпочтительнее театра, где иногда даются представления, непопулярным образом направляющие ум на что-нибудь ничтожное и фальшивое, так что человек подвергается опасности впасть в поэзию, чего, конечно, должен остерегаться всякий, кому дорога честь бюргера! Одним словом, как я уже сказал в самом начале, решительным признаком того, как хорошо понято теперь истинное назначение музыки, служат то усердие и серьезность, с коими ею занимаются и преподают ее. Разве не целесообразно, что детей, хотя бы у них не было ни малейшей способности к искусству — чем, собственно говоря, вовсе не интересуются, — все-таки обучают музыке? Ведь это делается для того, чтобы они, в случае если им и не представится возможности выступить публично, по крайней мере могли содействовать общему удовольствию и развлечению. Блестящее преимущество музыки перед всяким другим искусством заключается также в том, что она, в своем чистом виде (без примеси поэзии), совершенно нравственна, и потому ни в коем случае не может иметь вредного влияния на восприимчивые юные души. Некий полицмейстер смело выдал изобретателю нового музыкального инструмента удостоверение в том, что в этом инструменте не содержится ничего противного государству, религии и добрым нравам; столь же смело и всякий учитель музыки может заранее уверить папашу и мамашу, что в новой сонате не содержится ни единой безнравственной мысли. Когда дети подрастут, тогда, само собою понятно, их следует отвлекать от занятий искусством, потому что подобные занятия, конечно, не под стать серьезным мужчинам, а дамы легко могли бы из-за них пренебречь более высокими светскими обязанностями и т. д. Таким образом, взрослые лишь пассивно наслаждаются музыкой, заставляя играть детей или профессиональных музыкантов. Из правильного понятия о назначении искусства также само собою следует, что художники, то есть те люди, кои (довольно-таки глупо!) посвящают всю свою жизнь делу, служащему только целям удовольствия и развлечения, должны почитаться низшими существами, и их можно терпеть только потому, что они вводят обычай *miscere utili dulci* *³. Ни один человек в здравом уме и с зрелыми понятиями не станет столь же высоко ценить наилучшего художника, столь хорошего канцеляриста или даже ремесленника, набившего подушку, на которой сидит советник в податном присутствии или купец в конторе, ибо здесь имелось в виду доставить необходимое, а там — только приятное! Поэтому если мы и обходимся с художником вежливо и приветливо, то такое обхождение проистекает лишь из нашей образованности или нашего добродушного нрава, который побуждает нас ласкать и баловать детей и других лиц, нас забавляющих. Некоторые из этих несчастных мечтателей слишком поздно излечиваются от своего заблуждения и впрямь впадают

* Соединять приятное с полезным (лат.).

в своего рода безумие, которое легко можно усмотреть в их суждениях об искусстве. А именно, они полагают, что искусство позволяет человеку почувствовать свое высшее назначение и из пошлой суеты повседневной жизни ведет его в храм Изиды⁴, где природа говорит с ним священными, никогда не слышанными, но тем не менее понятными звуками. О музыке эти безумцы высказывают удивительнейшее мнение. Они называют ее самым романтическим из всех искусств, так как она имеет своим предметом только бесконечное; таинственным, выражаемым в звуках праязыком природы, наполняющим душу человека бесконечным томлением; только благодаря ей, говорят они, постигает человек песнь песней деревьев, цветов, животных, камней и вод. Совершенно бесполезные забавы контрапункта, которые вовсе не веселят слушателя, а стало быть, не достигают и подлинной цели музыки, они называют устрашающими, таинственными комбинациями и готовы сравнить их с причудливо переплетающимися мхами, травами и цветами. Талант, или, говоря словами этих глупцов, гений музыки, горит в душах людей, занимающихся искусством и лелеющих его в себе, и пожирает их неугасимым пламенем, когда более низменные начала пытаются загасить или искусственно отклонить в сторону эту искру. Тех же, кто, как я уже показал в начале, совершенно верно судит об истинном назначении искусства, и в особенности музыки, они называют дерзкими невеждами, перед которыми вечно будет закрыто святилище высшего бытия, — и этим доказывают свою глупость. И я имею право спросить, кто же лучше: чиновник, купец, живущий на свои деньги, который хорошо ест и пьет, катается в подобающем экипаже и с которым все почтительно раскланиваются, или художник, принужденный влачить жалкое существование в своем фантастическом мире? Правда, эти глупцы утверждают, что поэтическое парение над повседневностью есть нечто необыкновенное и что при этом многие лишения обращаются в радости; но в таком случае и те императоры и короли, что сидят в сумасшедшем доме с соломенными венцами на головах, также счастливы! Во всех этих цветах красноречия нет ровно ничего; эти люди хотят только заглушить упреки совести за то, что сами не стремились к чему-нибудь солидному, и лучшее тому доказательство — что почти нет художников, которые сделались таковыми по свободному выбору: все они выходили и теперь еще выходят из неимущего класса. Они рождаются у бедных и невежественных родителей или у таких же художников; нужда, случайность, невозможность надеяться на удачу среди действительно полезных классов общества делает их тем, чем они становятся. Так оно всегда и будет, — назло этим фантазерам. Если в какой-нибудь достаточной семье высшего сословия родится ребенок с особенными способностями к искусству, или, по смехотворному выражению этих сумасшедших, носящий в своей груди ту божественную искру, которая при противодействии становится разрушительной, если он в самом деле начнет пускаться в фантазии об искусстве и артистической жизни, то хороший воспитатель с помощью разумной умственной диеты, как, например, совершенного устранения всего фантастического и чрезмерно-

возбуждающего (стихов, а равно так называемых сильных композиций, вроде Моцарта, Бетховена и т. п.), а также с помощью усердно повторяемых разъяснений относительно совершенно подчиненного назначения всякого искусства и зависящего положения художников, лишенных чинов, титулов, и богатства, — очень легко может вывести заблудшего молодого субъекта на путь истины. И он почувствует наконец справедливое презрение к искусству и художникам, которое, служа лучшим лекарством против всякой эксцентричности, никогда не может быть чрезмерным. А тем бедным художникам, которые еще не впали в вышеописанное безумие, по моему мнению, не повредит мой совет — изучить какое-нибудь легкое ремесло для того, чтобы хоть несколько отклониться от своих бесцельных стремлений. Тогда они, конечно, будут что-то значить как полезные члены государства. Один знаток сказал мне, что мои руки весьма пригодны для изготовления туфель, — и я вполне склонен, дабы послужить примером другим, пойти в ученье к здешнему туфельному мастеру Шнаблеру, который к тому же мой крестный отец.

Перечитывая написанное, я нахожу, что очень метко обрисовал безумие многих музыкантов, и с тайным ужасом чувствую, что они мне сродни. Сатана шепчет мне на ухо, что многое, столь прямодушно мною высказанное, может показаться им нечестивой иронией; но я еще раз уверяю: против вас, презирающих музыку, называющих поучительное пение и игру детей ненужным вздором и желающих слушать только музыку тех, кто достоин ее, как таинственного, высокого искусства, — да, против вас были направлены мои слова, и с серьезным оружием в руках доказывал я вам, что музыка есть прекрасное, полезное изобретение пробужденного Тувалкаина⁵, веселящее и развлекающее людей, и что она приятным и мирным образом способствует семейному счастью, составляющему самую возвышенную цель всякого образованного человека.

4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА БЕТХОВЕНА

Когда идет речь о музыке как о самостоятельном искусстве, не следует ли иметь в виду одну только музыку инструментальную, которая, отказываясь от всякого содействия или примеси какого-либо искусства (например, поэзии), выражает в чистом виде своеобразную, лишь из нее познаваемую, сущность свою? Музыка — самое романтическое из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать, единственное подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное. Лира Орфея отворила врата ада. Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним, чувственным миром, который его окружает и в котором он оставляет все свои определенные чувства, чтобы предаться несказанному томлению.

Догадывались ли вы об этой своеобразной сущности музыки, вы, бедные инструментальные композиторы, мучительно старавшиеся изобре-

жать в звуках определенные ощущения и даже события? Да и как могло прийти вам в голову пластически разрабатывать искусство, прямо противоположное пластике? Ведь ваши восходы солнца, ваши бури, ваши *Batailles des trois Empereurs**¹ и т. д. были, несомненно, только смешными ошибками и по заслугам наказаны полным забвением.

В пении, где поэзия выражает словами определенные аффекты, волшебная сила музыки действует, как чудный философский эликсир, коего несколько капель делают всякий напиток вкуснее и приятнее. Всякая страсть, — любовь, ненависть, гнев, отчаяние и проч., — как ее представляет опера, облекается музыкою в блестящий романтический пурпур, и даже обычные наши чувствования уводят нас из действительной жизни в царство бесконечного.

Столь сильно очарование музыки, и, становясь все более и более могущественным, должно было бы оно разорвать узы всякого иного искусства.

Конечно, не только улучшение выразительных средств (усовершенствование инструментов, возрастающая виртуозность исполнителей) позволило гениальным композиторам поднять инструментальную музыку до ее нынешней высоты, — причина кроется и в более глубоком проникновении в своеобразную сущность музыки.

Творцы современной инструментальной музыки, Моцарт и Гайдн, впервые показали нам это искусство в полном его блеске; но кто взглянул на него с безграничной любовью и проник в глубочайшую его сущность — это Бетховен. Инструментальные творения всех трех мастеров дышат одинаково романтическим духом, источник коего — одинаковое понимание своеобразных особенностей искусства; но произведения их по своему характеру все-таки существенно отличны друг от друга. В сочинениях Гайдна раскрывается детски радостная душа. Его симфонии ведут нас в необозримые зеленые рощи, в веселую, пеструю толпу счастливых людей. Юноши и девушки проносятся перед нами в хороводах; смеющиеся дети прячутся за деревьями, за розовыми кустами, шуточно перебрасываясь цветами. Жизнь, полная любви, полная блаженства и вечной юности, как до грехопадения; ни страдания, ни скорби — одно только томительно-сладостное стремление к любимому образу, который парит вдали, в пламени заката, не приближаясь и не исчезая; и пока он там, ночь медлит, ибо он — вечерняя заря, горящая над горою и над рощею.

Моцарт вводит нас в глубины царства духов. Нами овладевает страх, но без мучений, — это скорее предчувствие бесконечного.

Любовь и печаль звучат в дивных голосах духов; ночь растворяется в ярком, пурпурном сиянии, и невыразимое томление влечет нас к образам, которые, ласково маня нас в свои хороводы, летят сквозь облака в вечном танце сфер (симфония Моцарта в *Es-dur*, известная под названием «Лебединой песни»²).

* Битвы трех императоров (фр.).

Инструментальная музыка Бетховена также открывает перед нами царство необъятного и беспредельного. Огненные лучи пронизывают глубокий мрак этого царства, и мы видим гигантские тени, которые колеблются, поднимаются и опускаются, все теснее обступают нас и, наконец, уничтожают нас самих, но не ту муку бесконечного томления, в которой никнет и погибает всякая радость, быстро вспыхивающая в победных звуках. И только в ней — в этой муке, что, поглощая, но не разрушая любовь, надежду и радость, стремится переполнить нашу грудь совершенным созвучием всех страстей, продолжаем мы жить и становимся восторженными духовидцами.

Романтический вкус — явление редкое; еще реже — романтический талант; поэтому так мало людей, способных играть на лире, звуки которой открывают полное чудес царство романтического.

Гайдн романтически изображает человеческое в обыденной жизни; он ближе, доступнее большинству.

Моцарта больше занимает сверхчеловеческое, чудесное, обитающее в глубине нашей души.

Музыка Бетховена движет рычагами страха, трепета, ужаса, скорби и пробуждает именно то бесконечное томление, в котором заключается сущность романтизма. Поэтому он чисто романтический композитор; не оттого ли ему меньше удается вокальная музыка, которая не допускает неясного томления, а передает лишь выражаемые словами эффекты, но отнюдь не то, что ощущается в царстве бесконечного?

Могучий гений Бетховена угнетает музыкальную чернь, тщетно пытается она ему противиться. Но мудрые судьи, озираясь, с важным видом уверяют: им-де, как людям великого ума и глубокой проницательности, можно поверить на слово, что у доброго Бетховена вовсе нет недостатка в богатой и живой фантазии, — он только не умеет ею управлять. Поэтому, дескать, здесь не может быть и речи о выборе и разработке идей: по так называемой гениальной методе, он набрасывает все так, как оно в данную минуту рисуется его воспламененной фантазии. А что, если только от *вашего* близорукого взора ускользает глубокое внутреннее единство всякого бетховенского сочинения? Если только в *вас* самих заключается причина того, что вы не разумеете понятного посвященному языку художника, что перед вами закрыты двери сокровенного душевного святилища? На самом деле художник, которого по обдуманности его творений с полным правом можно поставить рядом с Гайдном и Моцартом, отделяет свое «я» от внутреннего царства звуков и распоряжается ими, как полноправный властелин. Геометры от эстетики часто жаловались на Шекспира за полное отсутствие внутреннего единства и внутренней связи, тогда как более проникновенному взору его творения предстают как выросшее из одного зерна прекрасное дерево с листьями, цветами и плодами; точно так же только при глубоком проникновении в инструментальную музыку Бетховена раскрывается ее высокая обдуманность, всегда присущая истинному гению и подкрепляемая изучением искусства. Какое из инструмен-

тальных произведений Бетховена подтверждает все это в большей мере, чем бесконечно прекрасная и глубокомысленная симфония в *C-moll*? Как не удержимо влечет слушателя это дивное творение все выше и выше по лестнице звуков в духовное царство бесконечного! Ничего не может быть проще основной мысли первого *Allegro*, состоящей только из двух тактов³, причем в ее начальном унисоне не определяется даже тональность. Характер тревожного, беспокойного томления, которым отличается это предложение, лучше разъясняется мелодичной побочной темой. Грудь, стесненная и встревоженная предчувствием чего-то огромного, грозящего гибелью, как бы силится вздохнуть в резких звуках, но вскоре, сияя, выступает приветливый образ и озаряет глубокую, полную ужаса ночь. (Прелестная тема в *G-dur*, затронутая сначала валторной в *Es-dur*⁴.) Как проста — скажу еще раз — тема, положенная художником в основу целого, но как чудно присоединяются к ней все побочные и вводные предложения, служа в своем ритмическом соотношении только для того, чтобы все более и более раскрыть характер *Allegro*, едва намеченный главной темой. Все периоды кратки, почти все состоят только из двух-трех тактов и при этом еще строятся на беспрестанном чередовании духовых и струнных инструментов; казалось бы, из таких элементов может возникнуть только нечто раздробленное, неуловимое, но вместо того именно такое построение целого, а также постоянно следующие одно за другим повторения предложений и отдельных аккордов и возносят на высшую ступень чувство невыразимого томления.

Не говоря уже о том, что контрапунктическая разработка свидетельствует о глубоком знании искусства, — вводные предложения и постоянные намеки на главную тему показывают, как великий мастер охватывал и продумывал в своем уме все произведение в целом, со всеми его страстными оттенками. Не звучит ли как благодатный голос духа, наполняющий нашу грудь надеждою и утешением, прелестная тема *Andante con moto* в *As-dur*? Но и здесь выступает тот страшный дух, что пленил и встревожил нашу душу в *Allegro*, ежеминутно угрожая из грозовой тучи, в которой он скрылся, и перед его молниями быстро разлетаются окружающие нас дружественные образы. А что сказать о менуэте⁵? Прислушайтесь к его особым модуляциям, к мажорным заключениям в доминантаккорде, основной тон которого служит тоникой для следующей затем минорной темы, — это все та же тема, распространенная лишь на несколько тактов. Не охватывает ли вас опять то беспокойное, невыразимое томление, то предчувствие чудесного мира духов, в котором владычествует художник? Но точно ослепительный луч солнца, сияет великолепная тема заключительной части в ликующем торжестве всего оркестра. Какие удивительные контрапунктические сплетения снова соединяются здесь в одно целое! Иному все это может показаться только гениальной рапсодией, но душа всякого вдумчивого слушателя, конечно, будет глубоко захвачена именно этим невыразимым и полным предчувствий томлением и до самого заключительного аккорда — даже несколько мгновений после него —

не в силах будет покинуть чудное царство духов, где ее окружали скорбь и радость, облеченные в звуки. Все предложения по внутреннему своему строю, их исполнение, инструментовка, способ сочетания одного с другим — все это устремлено к одной цели; но близкое взаимное сродство тем вернее всего приводит к тому единству, которое только и может прочно удержать слушателя в едином настроении. Это сродство часто раскрывается слушателю, когда он слышит его в соединении двух предложений или в двух различных предложениях открывает общий основной бас; но сродство более глубокое, которое не обнаруживает себя таким образом, часто сообщается только от духа к духу, а именно они-то и господствуют в предложениях обоих *Allegro* и менуэта, превосходно свидетельствуя о гениальной вдумчивости композитора.

Но как глубоко запечатлелись в моем сердце, о высокий мастер, твои дивные фортепьянные сочинения! Каким пустым и ничтожным представляется мне теперь все, что не принадлежит тебе, глубокомысленному Моцарту и могучему гению Себастьяна Баха! С какой радостью стал я изучать твой семидесятый опус, два превосходных трио: ведь я знал, что после немногих упражнений вскоре совершенно ими овладею. И так хорошо было мне сегодня вечером! Как человек, гуляющий по запутанным дорожкам фантастического парка, где переплетаются всевозможные редкостные деревья, кустарники и чудные цветы, и углубляющийся все дальше и дальше, не в силах был я выйти из волшебных поворотов и сплетений твоих трио. Все глубже и глубже заманивают меня обольстительные голоса сирен, звучащие в пестром разнообразии твоих блистательных страниц. Просвещенная дама, которая сегодня превосходно сыграла мне, капельмейстеру Крейслеру, трио № 1⁶ нарочно для того, чтобы оказать мне честь, — дама, у которой я до сих пор сижу и пишу за фортепьяно, — очень ясно показала мне, что ценить следует лишь то, что породил дух, все ж остальное — от лукавого.

Я только что повторил наизусть на фортепьяно некоторые поразительные гармонические обороты из обоих трио. Совершенно верно, что фортепьяно — инструмент, более подходящий для гармонии, нежели для мелодии. Наивысшая степень выразительности, на которую способен этот инструмент, не в силах дать мелодии той жизни, какую могут воспроизвести в тысячах тончайших оттенков смычок скрипача или дыхание играющего на духовом инструменте. Пианист тщетно борется с непреодолимой трудностью, представляемой самим механизмом инструмента, который заставляет струны дрожать и звучать посредством удара. Но зато (не считая, впрочем, гораздо более ограниченной по звучанию арфы), пожалуй, не существует другого инструмента, который мог бы в таких полных аккордах, как фортепьяно, обнять все царство гармонии и в самых дивных формах и образах развернуть перед знатоком ее сокровища. Если фантазия художника охватывает целую звуковую картину с многочисленными группами, светлыми бликами и глубокими тенями, то он может вызвать ее к жизни на фортепьяно, и она выступит из его внутреннего мира во

всех своих красках и блеске. Многоголосая партитура, эта поистине волшебная книга музыки, заключающая в своих знаках все чудеса звукового искусства и таинственный хор разнообразнейших инструментов, оживает на фортепьяно под руками мастера; пьесу, полно и точно воспроизведенную таким образом по партитуре, можно сравнить с хорошей гравюрой, снятой с большой картины. Поэтому фортепьяно удивительно подходит для фантазирования, для воспроизведения партитуры, для отдельных сонат, аккордов и т. п., точно так же, как и для трио, квартетов, квинтетов и т. д., в которые входят обыкновенные струнные инструменты. Эти пьесы вполне принадлежат к области фортепьянных сочинений, ибо если они написаны должным образом, то есть действительно для четырех, пяти и проч. голосов, то здесь все дело в гармонической разработке, которая сама по себе исключает выступление отдельных инструментов в блестящих пассажах.

Истинное отвращение чувствую я ко всем собственно фортепьянным концертам (моцартовские и бетховенские не столько концерты, сколько симфонии с аккомпанементом фортепьяно). Говорят, что здесь-то именно и должна проявляться виртуозность отдельного исполнителя в пассажах и в выявлении мелодии; но и самый лучший исполнитель на прекраснейшем инструменте тщетно будут стремиться к тому, что, например, легко достигается скрипачом.

После полного tutti скрипок и духовых инструментов, всякое соло звучит сухо и бледно; мы удивляемся только беглости пальцев и т. п., между тем как душа наша остается незатронутой.

Но как хорошо постиг художник самый дух инструмента и как умело его использовал!

Простая, но плодотворная, удобная для разнообразнейших контрапунктических оборотов, сокращений и т. д. певучая тема лежит в основании каждой фразы, а все остальные побочные темы и фигуры находятся в близком родстве с главной идеей, так что с помощью всех инструментов все стремится и приводится к высшему единству. Таково построение целого, но и в этой искусной постройке сменяются в неустанном движении самые удивительные картины, в которых то соседствуют, то сплетаются радость и скорбь, печаль и блаженство. Причудливые образы заводят веселую пляску; они то устремляются к светлой точке, то, сверкая и искрясь, разлетаются в разные стороны и гоняются друг за другом в многоликих сочетаниях; восхищенная душа прислушивается посреди открывшегося ей царства духов к неведомому глаголу и начинает понимать самые таинственные предчувствия, ее охватившие.

Только тот композитор действительно проник в тайны гармонии, который умеет действовать через нее на человеческую душу; числовые соотношения, остающиеся для бездарного грамматика лишь мертвыми, неподвижными цифровыми примерами, для композитора являются чародейными препаратами, из которых он творит волшебный мир.

Несмотря на задушевность, преобладающую в первом трио, не исключая и полного грусти Largo, гений Бетховена все-таки остается торжественным и строгим. Художник словно полагал, что о глубоких, таинственных предметах даже и тогда, когда внутренне сроднившийся с ними дух чувствует радостный и веселый подъем, никак не следует говорить на повседневном языке, а должно изъясняться лишь словами возвышенными и торжественными; танец жрецов Изиды может быть только ликующим гимном.

Инструментальная музыка там, где она действует только сама по себе, как музыка, не служа какой-либо определенной драматической цели, должна избегать всего незначительно-шутливого, всяких пустых побрякушек. Она должна пробуждать в глубине души предчувствие той радости, которая, будучи выше и прекраснее всего, что есть в нашем замкнутом мире, и приходя из неведомой страны, воспламеняет сердце полною блаженства жизнью; должна найти для нее более высокое выражение, нежели те ничтожные слова, которые свойственны только робкому земному счастью. Уже одна эта строгость всей инструментальной и фортепьянной музыки Бетховена исключает все головоломные пассажи вверх и вниз по клавиатуре, все странные скачки и смешные причуды, ноты, высоко забирающиеся по лесенке из пяти или шести черточек, которыми переполнены фортепьянные сочинения новейшего образца. Если речь идет об одной только беглости пальцев, то фортепьянные сочинения нашего мастера не заключают в себе никакой особенной трудности, потому что их немногие гаммы, триоли и т. п., конечно, доступны всякому опытному исполнителю; но передать их как следует все-таки очень трудно. Многие так называемые виртуозы отказываются от фортепьянных сочинений Бетховена, присоединяя к упреку: «Очень трудно!» — еще слова: «И очень неблагоприятно!». Но что касается трудности, то для правильного и уверенного исполнения бетховеновских сочинений нужно только одно — постигнуть их, глубоко проникнуть в их сущность и, в сознании собственной посвященности, отважно вступить в круг волшебных явлений, вызываемых его могучими чарами. Кто не чувствует в себе этой посвященности, кто полагает, что священная музыка есть только забава, пригодная лишь для времяпрепровождения в свободные часы, для минутного услаждения тупых ушей или для хвастовства своим умением, тот пусть лучше ее оставит. Только такой исполнитель и может сказать, что она «в высшей степени неблагоприятна». Настоящий художник весь живет творением, которое он воспринял в духе мастера и в том же духе исполняет. Он пренебрегает желанием так или иначе выставить свою личность; все его творчество и изобретательность направлены лишь к тому, чтобы в тысяче блестящих красок вызвать к жизни все те прекрасные, благодатные картины и явления, которые мастер волшебной силой заключил в свое детище, и сделать это так, чтобы они охватили человека светлыми, сияющими кругами и, воспламеняя его фантазию и глубочайшее внутреннее чувство, в стремительном полете унесли его в далекое царство духов.

5. КРАЙНЕ БЕССВЯЗНЫЕ МЫСЛИ

Когда я еще учился в школе, у меня уже была привычка записывать все, что приходило мне в голову при чтении той или иной книги, при слушании музыки, при рассматривании картины, а также и все, что случилось со мною достойного внимания. Для этой цели я сшил себе небольшую тетрадку и озаглавил ее «Бессвязные мысли». Мой двоюродный брат¹, живший со мною в одной комнате и с поистине злою иронией преследовавший мои эстетические старания, нашел эту тетрадку и к заглавию «Бессвязные» прибавил еще одно словцо: «Крайне». Когда я досыта насердился на моего родственника и еще раз перечитал то, что мною было написано, я, к немалой своей досаде, нашел, что многие из этих бессвязных мыслей и в самом деле были «крайне» бессвязны; затем я бросил тетрадку в огонь и дал себе слово впредь ничего не записывать, а все, как оно есть, хранить и переваривать в душе. Но, перебирая свои ноты, я к немалому своему ужасу нахожу, что и в гораздо более поздние и, как можно было бы подумать, более разумные годы, я сильнее чем когда-либо предаюсь этой дурной привычке. Ведь чуть ли не все пустые страницы, чуть ли не все обложки исцарапаны «крайне» бессвязными мыслями. Итак, если со временем, когда я тем или иным способом покину этот мир, какой-либо верный друг найдет в этом моем наследии что-нибудь путное или даже (как это иногда бывает) кое-что из него выпишет и отдаст в печать, то я прошу его, милосердия ради, без милосердия бросить в огонь «крайне, крайне» бессвязные мысли, а к остальным, в известной степени для *carptatio benevolentiae* * присоединить ученическое заглавие вместе с злобным добавлением моего двоюродного брата.

Сегодня много спорили о нашем Себастьяне Бахе, о старых итальянцах и не могли сговориться о том, кому следует отдать предпочтение. Тогда мой остроумный друг сказал: «Музыка Себастьяна Баха относится к музыке старых итальянцев, как Страсбургский собор — к церкви святого Петра в Риме».

Как глубоко поразил меня этот правдивый, жизненный образ! Я вижу в восьмиголосных мотетах² Баха смелое, чудесное, романтическое зодчество собора со всеми фантастическими украшениями, искусно соединенными в одно целое, которое горделиво и великолепно возносится к небу, а в благочестивых песнопениях Беневолли³ и Перти⁴ — чистые и грандиозные формы храма святого Петра, где даже громадным массам придана соразмерность и душа возвышается, преисполняясь священным трепетом.

Не столько во сне⁵, сколько в том бредовом состоянии, которое предшествует забвению, в особенности, если перед тем я долго слушал музыку,

* Чтобы заслужить благорасположение (лат.).

я нахожу известное соответствие между цветами, звуками и запахами. Мне представляется, что все они одинаково таинственным образом произошли из светового луча и потому должны объединиться в чудесной гармонии. Особенно странную, волшебную власть имеет надо мною запах темно-красной гвоздики; я непроизвольно впадаю в мечтательное состояние и слышу словно издалека нарастающие и снова меркнущие звуки бассет-горна.

Бывают минуты, — особенно когда я слишком зачитываюсь великим Себастьяном Бахом, — что числовые соотношения в музыке и таинственные правила контрапункта вызывают во мне какой-то глубокий ужас. О музыка! С неизъяснимым трепетом, даже страхом, произношу я твое имя! Ты — выраженный в звуках праязык природы! Непосвященный лепечет на нем детские звуки, дерзкий хулиитель гибнет, сраженный собственной насмешкой.

О великих художниках часто рассказывают анекдоты, придуманные так по-детски и повторяемые с таким глупым невежеством, что всякий раз, когда мне приходится их слышать, они меня оскорбляют и сердят. Так, например, история об увертюре Моцарта к «Дон Жуану» до такой степени глупа и прозаична, что я удивляюсь, как могут ее повторять даже музыканты, которым нельзя отказать в некоторой сообразительности, а меж тем это случилось и сегодня. Говорят, когда опера была уже давно готова, Моцарт день ото дня все откладывал сочинение увертюры и еще накануне премьеры, когда озабоченные друзья думали, что он сидит за письменным столом, превесело отправился гулять. Наконец, в самый день представления, рано поутру, он в несколько часов сочинил увертюру, и листы отдельных партий были отнесены в театр еще не просохшими. Тогда все пришли в изумление и восторг, как это Моцарт так быстро сочинил свою увертюру, а между тем такого же удивления заслуживал бы и всякий искусный и проворный переписчик нот. Да неужели же вы не понимаете, что художник уже давно носил в душе своего «Дон Жуана»⁶, свое глубочайшее творение, сочиненное им для его друзей, то есть для тех, кто вполне понимал его душу; неужели вы не понимаете, что он обдумал и закруглил в уме все целое со всеми его характерными неповторимыми чертами, так что оно уже словно было отлито в безупречную форму? Неужели вы не понимаете, что увертюра из увертюр, в которой так великолепно, так живо обозначены все мотивы оперы, была точно так же готова, как и все остальное произведение, когда великий художник взялся за перо, чтобы записать ее? Если этот анекдот верен, то надо думать, что Моцарт, откладывая писание увертюры, просто дразнил своих друзей, все время говоривших об ее сочинении, и ему должна была показаться смешной их боязнь, что он, пожалуй, не найдет благоприятного времени для работы, ставшей теперь механической и состоящей в том, чтобы записать созданное в минуту вдохновения и уже запечатленное в душе. Иные желали видеть в Аллегро пробуждение Моцарта, невольно заснувшего во время сочине-

ния. Бывают же такие глупые люди! Я припоминаю, как во время представления «Дон Жуана» один из подобных людей горько жаловался мне, что ведь все эти эпизоды со статуей и чертями ужасно неестественны! Я, улыбаясь, отвечал ему: да разве он не рассмотрел, что мраморный человек — на самом деле продувной плут, полицейский комиссар, а черти — не что иное, как переодетые судейские служители; что же касается ада, то это не более как тюрьма, куда должны были засадить Дон Жуана за его бесчинства; таким образом, все это следует понимать аллегорически. Тогда он в полном удовольствии щелкнул два раза пальцами, стал смеяться и радоваться и жалеть других людей, которые так грубо ошибались. И впоследствии, когда речь заходила о подземных силах, вызванных Моцартом из ада, он очень лукаво мне улыбался — и я отвечал ему тем же.

Он думал про себя: «Мы знаем, что знаем!» И он поистине был прав.

Давно уже я так не веселился и не радовался, как сегодня вечером. Мой друг, ликуя, вошел ко мне в комнату и объявил, что он открыл в какой-то харчевне, в предместье, группу комедиантов, которая каждый вечер играет перед собравшимися гостями самые лучшие драмы и трагедии. Мы сейчас же пошли туда и на дверях харчевни нашли писаное объявление, в котором после нижайшей и всепокорнейшей рекомендации достойной актерской братии было сказано, что выбор пьесы всякий раз зависит от собравшейся почтенной публики и что хозяин постарается прежде всего услужить высоким посетителям хорошим пивом и табаком. На этот раз, по предложению директора, была выбрана «Жанна де Монфокон»⁷, и я убедился, что в таком представлении эта пьеса производит неопишное действие. Ведь здесь ясно видно, что автор, собственно, имел целью пошутить над поэзией, или, лучше сказать, над ложным пафосом, хотел сделать смешною поэзию, которая не поэтична; в этом отношении «Жанна» — один из забавнейших фарсов, когда-либо им написанных. Актеры и актрисы очень хорошо поняли глубокий смысл пьесы и хорошо поставили спектакль. Разве не счастливая, например, находка, что при вырывающихся у Жанны в минуту комического отчаяния слова: «Быть грозе!» — директор, не пожалевший денег на канифоль, и в самом деле два раза заставил блеснуть молнию? В первой сцене случилось маленькое несчастье: картонный замок, футов в шесть вышиною, обрушился без особого шума, и стало видно пивную бочку, с которой вместо балкона или окна Жанна очень сердечно разговаривала с добрыми поселянами. Но вообще декорации были превосходны; особенно хороши были швейцарские горы, изображенные с тою же удачною иронией, какою проникнута вся пьеса. Костюмы также очень хорошо поясняли тот урок, который автор желал преподать позднейшим поэтам, выводя своих героев. Он как бы говорил: «Глядите — вот ваши герои! Вместо сильных, отважных рыцарей далекой, прекрасной старины перед вами плаксивые, жалкие неженки нашего века, которые непристойно кривляются и думают, что так тому и быть должно». Все выступавшие в пьесе рыцари — Эстафайель, Лазарра и др. — были

в обыкновенных фраках и только навесили на себя шарфы и прикрепили к шляпам по несколько перьев. Тут же применялось одно превосходное устройство, которое заслуживало бы подражания и на большой сцене. Я его опишу, чтобы оно не выпало из памяти. А именно — я не мог достаточно надивиться на чрезвычайную точность выходов и уходов и на общую согласованность всего представления, — ведь выбор пьесы был предоставлен публике, а потому труппе приходилось играть множество пьес без всякой подготовки. Наконец по одному немножко смешному и, по-видимому, невольному движению одного актера в кулисе я подметил вооруженным глазом, что от ног актеров и актрис были протянуты к суфлерской будке тоненькие веревочки, за которые и дергали, когда им приходилось входить или уходить. Хороший директор, более всего стремящийся к тому, чтобы на сцене все шло сообразно с его собственными личными взглядами и пожеланиями, мог бы пойти еще дальше: подобно тому как в кавалерии для различных маневров существуют так называемые «призывы» (трубные сигналы), которых мгновенно слушаются даже лошади, так и он мог бы для самых различных поз, возгласов, крика, повышений и понижений голоса и т. п. изобрести разные движения веревочек и с пользою применять их, сидя рядом с суфлером.

В этом случае величайшим проступком актера, влекущим за собою немедленное увольнение, равносильное гражданской смерти, был бы проступок, за который директор мог справедливо упрекнуть его, что он не ходит по струнке, а величайшей похвалою целому представлению явилось бы признание, что все ходили по струнке.

Великие поэты и художники чувствительны также и к порицанию, высказываемому низменными натурами. Они слишком охотно позволяют себя хвалить, носить на руках, баловать. Неужели вы думаете, что то же самое тщеславие, которое так часто овладевает вами, может гнездиться и в высоких умах? Однако всякое приветливое слово, всякое доброжелательное усилие заглушает внутренний голос, который беспрестанно твердит истинному художнику: «Как еще низок твой полет, как он еще скован силами земного! Скорее взмахни крыльями и вознесись к сияющим звездам!» И художник, побуждаемый этим голосом, часто блуждает во мраке и не может найти своей отчизны, пока приветный клич друзей не выведет его снова на правильный путь.

Когда я читаю в «Музыкальной библиотеке» Форкеля низкий, презрительный отзыв об «Ифигении в Авлиде» Глюка⁸, душу мою переполняют самые странные чувства. Если бы великий, превосходный художник прочел эту нелепую болтовню, то его, вероятно, охватило бы такое же неприятное ощущение, как человека, который, прогуливаясь в прекрасном парке среди цветущих растений, вдруг натолкнулся бы на крикливо лающих собачонок, — эти твари не могли бы причинить ему сколько-нибудь значительного вреда, и все-таки были бы ему невыносимы. Но подобно

тому как после одержанной победы мы охотно слушаем рассказ о предшествовавших ей затруднениях и опасностях, именно оттого, что они еще более возвеличивают эту победу, — так возвышается и наша душа, взирая на те чудовища, над коими гений развернул свой победный стяг, обрекая их на позор и гибель. Утешьтесь, вы, непризнанные, вы, сраженные легкомыслием и несправедливостью духа времени: вам суждена верная победа, и она будет вечною, между тем как ваша изнурительная борьба была только временною!

Рассказывают, что, когда распря между глюкистами и пиччинистами несколько поостыла, одному знатному почитателю искусства удалось свети на одном вечере Глюка и Пиччини⁹. Тогда прямодушный немец, довольный тем, что этот неприятный спор наконец прекратился, в веселом расположении духа, за вином, раскрыл итальянцу весь механизм своей композиции, свой секрет, благодаря которому ему удавалось просветлять и трогать людей, в особенности избалованных французов. Секрет этот заключался будто бы в том, чтобы мелодии в старофранцузском стиле обрабатывать на немецкий лад. Но умный, добродушный, в своем роде великий Пиччини, чей хор жрецов ночи в «Дидоне» отдается в глубине моей души ужасными звуками, не написал, однако, такой «Армиды» и такой «Ифигении», как Глюк. Разве довольно в точности знать, как Рафаэль задумывал и создавал свои картины, для того чтобы самому сделаться Рафаэлем?

Сегодня нельзя было завести никакого разговора об искусстве; не удавалась даже и та пустая болтовня обо всем и ни о чем, которую я так охотно завожу с женщинами, потому что тогда мне кажется, будто все это — случайное сопровождение таинственной, но всеми ясно улавливаемой мелодии: все поглотила политика. Вдруг кто-то сказал: «Министр такой-то остался глух к представлениям такого-то двора». Я знаю, что этот министр действительно глух на одно ухо, и в ту же минуту глазам моим представилась смешная картина, уже не покидавшая меня весь вечер: мне показалось, что этот самый министр неподвижно стоит посреди комнаты, ...ский посланник находится, но несчастью, со стороны глухого уха, другой дипломат — со стороны здорового, и оба пускают в ход всевозможные способы, шутки и прибаутки, один — чтобы его превосходительство повернулся, другой — чтобы его превосходительство остался на месте, ибо только от этого и зависит успех дела. Но его превосходительство, как немецкий дуб, стоит, твердо укоренившись на своем месте, и счастье благоприятствует тому, кто угадает, на какой стороне здоровое ухо.

Какого художника занимали когда-либо политические события дня? Он жил только своим искусством и только с ним шел по жизни. Но тяжелое, роковое время зажало человека в железный кулак, и боль исторгает из него звуки, которые прежде были ему чужды.

Много говорят о вдохновении, которое художники вызывают в себе употреблением крепких напитков, — называют музыкантов и поэтов, которые только так и могут работать (живописцы, сколько я знаю, свободны от этого упрека). Я этому не верю, — хотя несомненно, что даже в счастливом состоянии духа, можно сказать, при том благоприятном положении созвездий, когда ум от грез переходит к творчеству, спиртные напитки способствуют усиленному движению мыслей. Приведу здесь один образ, хотя и не изысканный: мне представляется, как набухающий поток заставляет быстрее двигаться мельничное колесо; так и в этом случае — человек подливает вина, и его внутренний механизм начинает вращаться быстрее. Конечно, прекрасно, что благородный плод заключает в себе тайную силу чудесным образом вызывать самые яркие проявления человеческого духа. Но напиток, что в эту минуту дымит в стакане здесь, передо мною, подобен таинственному чужеземцу, всюду меняющему свое имя, чтобы оставаться неузнанным. Он не имеет общего названия и производится таким способом: зажигают коньяк, ром или арак и кладут над огнем, на решетку, сахар, который каплями стекает в жидкость. Приготовление и умеренное употребление этого напитка оказывает на меня действие благотворное и увеселяющее. Когда вспыхивает голубое пламя, я вижу, как из него, пылая и искрясь, вылетают саламандры и начинают сражаться с духами земли, обитающими в сахаре. Те держатся храбро, треща, осыпают врагов желтыми искрами, но сила саламандр неодолима, — духи земли с треском и шипением падают вниз. Духи воды взмывают вверх и кружатся, обратившись в пар, меж тем как духи земли увлекают за собою обессиленных саламандр и пожирают их в собственном царстве. Но и сами они также погибают, а отважные новорожденные маленькие духи начинают сиять в пылающем пурпуре, и то, что породили, погибая в борьбе, саламандр и дух земли, соединяет в себе жар огня и стойкость духа земли. Если бы в самом деле было желательно подливать спиртное на колесо фантазии (что я считаю желательным, ибо это не только ускоряет полет мыслей художника, но также сообщает ему известное благорасположение и веселость, облегчающие труд), то по отношению к напиткам можно было бы установить некоторые общие правила¹⁰. Так, я, например, посоветовал бы при сочинении церковной музыки употреблять старые рейнские и французские вина, для серьезной оперы — очень тонкое бургонское, для комической оперы — шампанское, для канцонетт — итальянские огненные вина, для произведения в высшей степени романтического, вроде «Дон Жуана», — умеренное количество напитка, создаваемого саламандрами и духами земли. Впрочем, я предоставляю всякому держаться своего личного мнения и нахожу нужным лишь тихонько заметить для самого себя, что дух порожденный светом и подземным огнем и так смело овладевающий человеком, очень опасен и что не следует доверяться его приветливости, ибо он быстро меняет свой лик и из благодетельного ласкового друга превращается в страшного тирана.

Сегодня рассказывали известный анекдот про старика Рамо¹¹. Лежа

на одре смерти, он серьезно сказал священнику, который в самых суровых и резких выражениях, без отдыха надсаживая горло, увещевал его покаяться: «Как можете вы так фальшиво петь, ваше преподобие?» Я не мог вторить громкому смеху общества, потому что для меня в этой истории есть что-то необыкновенно трогательное. Когда старый мастер музыкального искусства уже почти отрешился от всего земного, дух его был всецело обращен к божественной музыке, и всякое чувственное впечатление извне являлось диссонансом, который мучил его и затруднял ему полет в царство света, нарушая ту чистую гармонию, коей исполнилась его душа.

Ни в одном искусстве теория не является до такой степени слабой и недостаточной, как в музыке; правила контрапункта, естественно, касаются только гармонического построения, и музыкальное предложение, разработанное в точном соответствии с ними, есть то же, что верно набросанный по законам пропорции рисунок живописца. Но в колорите музыкант совершенно предоставлен самому себе; ибо здесь все дело в инструментовке. Уже вследствие безграничного разнообразия музыкальных предложений невозможно держаться какого-либо одного правила. Однако, опираясь на живую, изощренную наблюдением фантазию, можно дать некоторые указания, кои, объединив их, я назвал бы мистикой инструментов. Искусство заставлять звучать в надлежащих местах то целый оркестр, то отдельные инструменты — есть музыкальная перспектива; равным образом, музыка могла бы снова возвратит себе заимствованное у нее живописью выражение «тон», отличая его от «тональности». При этом «тон пьесы», в ином, высшем смысле слова, глубже раскрывал бы ее характер, выражаемый особой трактовкой мелодии и сопровождающих ее фигур и украшений.

Написать хороший последний акт оперы так же трудно, как искусно заключить пьесу. И то и другое обыкновенно перегружено украшениями, и упрек: «Он никак не может закончить», слишком часто бывает справедлив. Поэту и музыканту не бесполезно посоветовать сочинять последний акт и финал до всего остального. Но увертюра, так же как и пролог, безусловно должна писаться в самом конце работы.

6. СОВЕРШЕННЫЙ МАШИНИСТ

Когда я еще дирижировал оперою в ***¹, настроение и прихоть часто влекли меня на сцену; я много занимался декорациями и машинами², и поскольку я долго размышлял про себя обо всем виденном, то и пришел к таким заключениям, которые с охотою опубликовал бы на пользу и на потребу декораторам и машинистам, а равно и всей публике, в виде собственного небольшого трактата под заглавием «Иоганнеса Крейслера совершенный машинист» и т. д. Но, как часто бывает на свете, время при-

тупляет и самые острые желания; кто знает, придет ли мне охота в самом деле написать это, даже при надлежащем досуге, которого требует важное теоретическое сочинение? А потому, чтобы спасти от гибели хотя бы первые положения изобретенной мною прекрасной теории и ее главнейшие идеи, я, как могу, совершенно рапсодически записываю их, думая при этом: «Sapienti sat»*.

Во-первых, моему пребыванию в*** я обязан тем, что совершенно исцелился от многих опасных заблуждений, в коих до того времени пребывал, а также вполне утратил детское почтение к особам, которых прежде считал великими и гениальными. Кроме вынужденной, но весьма целительной умственной диеты, укреплению моего здоровья содействовало также предписанное мне усердное потребление чрезвычайно прозрачной, чистой воды, которая отнюдь не бьет фонтаном, — нет! — а спокойно и тихо течет в*** из многих источников, особенно вблизи театра.

Я еще до сих пор с поистине глубоким стыдом вспоминаю о том почтении, даже ребяческом благоговении, какое я питал к декоратору и к машинисту*** театра. Оба они исходили из того глупого принципа, что декорации и машины должны незаметно участвовать в представлении и что зритель, под впечатлением всего спектакля, должен словно на невидимых крыльях совершенно унести из театра в фантастический мир поэзии. Они полагали, что мало еще с глубоким знанием дела и тонким вкусом создать декорации, предназначенные для высшей иллюзии, и машины, действующие с волшебною, необъяснимою для зрителя силою, — самое важное, дескать, заключается в том, чтобы избегать всего, даже мельчайших деталей, противоречащих задуманному общему впечатлению. Не только декорация, поставленная вопреки замыслу автора, нет, часто одно какое-нибудь не вовремя выглянувшее дерево и даже одна свесившаяся веревка разрушают всю иллюзию!

Кроме того, говорили они, благодаря точно выдержанным пропорциям, благородной простоте, искусственному устранению всех вспомогательных средств очень трудно соотнести принятые размеры декораций с действительными (например, с выходящими на сцену лицами) и таким образом обнаружить тот обман, с помощью которого зритель, при полном сокрытии механизмов, поддерживается в приятном для него заблуждении. Если поэты, вообще столь охотно вступающие в царство фантазии, и восклицали: «Неужели вы думаете, что ваши холщовые горы и дворцы, ваши падающие размалеванные доски могут хоть на минуту обмануть нас, как бы ни были они грандиозны?» — то виною тому была лишь ограниченность и неумелость их коллег — рисовальщиков и строителей. Они, вместо того чтобы вести свои работы в высоком поэтическом духе, низводили театр до жалкого панорамного ящика, хотя бы и очень обширного, что вовсе не имеет такого важного значения, как думают. На самом же деле страшные дремучие леса, необозримые ряды колонн, готические со-

* Мудрому довольно (лат.).

боры упомянутого декоратора производили превосходное впечатление: конечно, никому не приходила в голову и мысль о живописи и холсте; подземный гром и обвалы, устраиваемые машинистом, наполняли душу страхом и ужасом, а его летательные снаряды весело и легко порхали. Но — боже мой! — как могли эти добрые люди, несмотря на свои познания, придерживаться таких ложных воззрений? Быть может, если им приведется прочесть эти строки, они откажутся от своих явно вредных фантазий и, подобно мне, хоть немного войдут в разум. Поэтому лучше мне обратиться прямо к ним и поговорить о том роде театральных представлений, в котором их искусство всего более находит себе применение: я имею в виду оперу. Хотя мне, собственно, придется иметь дело только с машинистом, но и декоратор также может здесь кое-чему поучиться. Итак:

Милостивые государи!

Если вы, быть может, еще не заметили этого сами, то я в настоящем письме открою вам, что поэты и музыканты образовали весьма опасный союз против публики. А именно — они задумали ни больше ни меньше, как вытеснить зрителя из действительного мира, в котором он чувствует себя очень уютно, и, совершенно оторвав его от всего знакомого и привычного, мучить его всевозможными ощущениями и страстями, в высшей степени вредными для здоровья. Он должен смеяться, плакать, страшиться, ужасаться, как им будет угодно, словом, как говорится, плясать под их дудку. Этот пагубный умысел слишком часто им удается, и уже нередко можно было видеть печальные последствия их злокозненных затей. Ведь многие зрители в театре сейчас же начинали верить фантастическим бредням, даже не обратив внимания на то, что актеры не разговаривают, как все порядочные люди, а поют; и многие девушки спустя целую ночь и даже еще дня два после представления не в силах были выкинуть из головы все образы, вызванные чародейством поэта и музыканта, и спокойно заняться вязанием или вышиванием. Кто же должен предупредить это бесчинство, кто должен позаботиться о том, чтобы театр стал разумным развлечением, чтобы все в нем было тихо и спокойно, чтобы не возбуждались никакие психически и физически нездоровые страсти? Кто должен это сделать? Не кто иной, как вы, господа! На вас лежит приятная обязанность совместно выступить против поэтов и музыкантов на благо образованному человечеству.

Смело вступайте в борьбу, — победа несомненна, у вас в руках все средства. Первый и основной принцип, из которого вам следует исходить во всех ваших начинаниях, гласит: война поэтам и музыкантам! Разружьте их злой умысел — окружить зрителя обманчивыми образами и отвлечь его от действительного мира! Из этого следует, что в той же мере, в какой эти господа делают все возможное, чтобы заставить зрителя забыть, что он находится в театре, вы при помощи целесообразного устройства декораций и машин должны постоянно напоминать ему о театре. Хорошо ли

вы меня поняли, или мне нужно сказать вам еще больше? Но я знаю, что вы до такой степени прониклись своими фантазиями, что, даже признав мое основное положение справедливым, не найдете самых обыкновенных средств, кои отлично привели бы к намеченной цели. Уже в силу одного этого я должен, как говорится, немножко помочь вам прыгнуть. Вы не поверите, например, какое непреодолимое действие часто оказывает одна только не к месту выдвинутая кулиса. Ведь если в мрачную темницу въедет угол комнаты или залы в то время, когда примадонна в трогательнейших звуках жалуется на заточение, то зритель непременно тихонько рассмеется, ибо ему ведь известно, что машинисту стоит только позвонить — и тюрьма исчезнет, а за нею уже готова приветливая зала. Но еще лучше фальшивые софиты и выглядывающие сверху промежуточные занавесы, так как они лишают декорацию так называемой правдивости, каковая именно здесь является самым гнусным обманом. Бывают, однако, случаи, когда поэту и музыканту удастся так ошеломить зрителей своими дьявольскими ухищрениями, что те вовсе ничего этого не замечают, но, будто перенесенные в некий чуждый мир, поддаются обманчивым соблазнам фантазии; это случается преимущественно в самых драматических сценах, особенно с участием хора. В таком отчаянном положении есть одно средство, которым всегда можно достигнуть намеченной цели. Для этого следует совершенно неожиданно, — например, когда зловеще звучит хор, обступающий главных действующих лиц в момент высшего аффекта, — вдруг спустить средний занавес: это произведет замешательство среди действующих лиц и разъединит их таким образом, что многие, стоящие на заднем плане, будут совершенно отрезаны от находящихся на просцениуме. Я помню, что это средство было пущено в ход в одном балете; но хотя оно и возымело свое действие, однако все-таки было применено недостаточно правильно. А именно — первая танцовщица исполнила прекрасное соло в то время, как в стороне находилась группа фигуранток; и вот, когда танцовщица застыла на заднем плане в превосходной позиции и зрители стали выражать шумный восторг, машинист внезапно опустил средний занавес, который скрыл танцовщицу от глаз публики. На беду, этот занавес изображал комнату с большою дверью посредине, и потому решительная танцовщица, прежде чем все успели опомниться, грациозно выпорхнула из этой двери и стала продолжать свое соло; в это время средний занавес, к удовольствию фигуранток, опять подняли вверх. Это да послужит вам уроком, что промежуточный занавес не должен иметь дверей; вообще же ему надлежит резко отличаться от стоящих на сцене декораций: в скалистой пустыне большую пользу приносит вид улицы, в храме — дремучий лес. Очень помогает также, особенно во время монологов или замысловатых арий, когда на сцену угрожает свалиться, а не то и в самом деле свалится софит или какая-нибудь кулиса, не говоря уже о том, что этим внимание зрителя совершенно отвлекается от содержания пьесы, примадонна или первый тенор, может быть, как раз в эту минуту находящиеся на сцене и подвергающиеся серьезной опасно-

сти, возбуждают в публике живейшее участие, и если оба они после этого запоят фальшиво, то все станут говорить: «Ах, бедный! ах, бедняжка! Это — со страху!» — и станут неистово рукоплескать. Для достижения той же цели, то есть для того, чтобы отвлечь зрителя от действующих лиц пьесы и направить его внимание на самих актеров, бесполезно также опрокидывать и целые воздвигнутые на сцене сооружения. Так, я припоминаю, как однажды в «Камилле»³ галерея и лестница, ведущая в подземную темницу, обрушились как раз в ту минуту, когда на них находились люди, прибежавшие для спасения Камиллы. В публике послышались возгласы, крики сожаления, а когда со сцены было объявлено, что никто серьезно не пострадал и что представление будет продолжаться, — с каким сочувствием был прослушан конец оперы! Но, что само собой разумеется, сочувствие это относилось уже не к действующим лицам пьесы, а к актерам, испытавшим страх и ужас. Поэтому неправильно было бы подвергать актеров опасности за кулисами, так как все впечатление пропадает, если событие происходит не на глазах у публики. Соответственно этому дома, из окон которых приходится выглядывать, балконы, откуда произносятся речи, должны устраиваться как можно ниже, чтобы не было надобности подниматься на них по высокой лестнице или становиться на высокие подмости. Обыкновенно тот, кто говорил сперва из окна, выходит потом из двери внизу. Чтобы доказать вам свою готовность поделиться всеми собранными мною сведениями ради вашей же пользы, я укажу вам размеры одного такого бутафорского дома с окном и дверью, записанные мною на сцене*** театра. Высота двери — 5 футов; промежуток между дверью и окном — $\frac{1}{2}$ фута; высота окна — 3 фута; расстояние до крыши — $\frac{1}{4}$ фута и крыша — $\frac{1}{2}$ фута, а всего $9\frac{1}{4}$ футов. У нас был один довольно высокий актер, которому в роли Бартоло в «Севильском цирюльнике»⁴ достаточно было стать на скамеечку, чтобы выглянуть в окно; однажды нижняя дверь случайно отворилась, и публика увидела длинные красные ноги; тогда все стали беспокоиться о том, как он пройдет в эту дверь. Разве не удобнее было бы делать дома, башни, городские стены по мерке актеров? Очень нехорошо пугать зрителей внезапным громом, выстрелом или каким-нибудь другим неожиданным шумом. Я до сих пор хорошо помню, господин машинист, ваш проклятый гром, который прокатился глухо и страшно, словно среди высоких гор; ну к чему это? Разве вы не знаете, что натянутая на раму телячья шкура, по которой колотят обоими кулаками, производит очень приятный гром? Вместо того чтобы пользоваться так называемыми пушечными машинами или в самом деле стрелять, можно просто сильно хлопнуть дверью уборной; этим никого особенно не напугаешь. Но для того чтобы избавить зрителя от малейшего страха, — а это составляет одну из высших и священнейших обязанностей машиниста, — есть одно средство, совершенно безошибочное. А именно: когда раздастся выстрел или слышится гром, на сцене обыкновенно говорят: «Что я слышу — Какой шум! Какой гром!» Так вот, машинист

должен сначала дожидаться этих слов, а потом уже произвести выстрел или гром. Таким образом не только публика будет достаточно предупреждена этими словами, но получит еще то удобство, что рабочие сцены могут спокойно смотреть представление, и им не понадобится никакого особого знака для выполнения должных операций: знаком этим послужит восклицание актера или певца, и тогда они в надлежащее время захлопнут дверь уборной или начнут обрабатывать кулаками телячью шкуру. Гром, в свою очередь, подает знак тому рабочему, который, как *Jupiter fulgans* *, стоит наготове с жестяной трубкой для производства молнии; а поскольку шнурок легко воспламеняется, то этот рабочий должен выступить из-за кулис так, чтобы публике хорошо было видно пламя, а по возможности — и самая трубка, дабы не оставалось никакого сомнения касательно того, каким манером устраивается эта штука с молниєю.

То, что я говорил выше о выстрелах, относится также и к трубным сигналам, к музыкальным номерам и т. п. О ваших метательных и летательных снарядах, господин машинист, я уже говорил раньше. Хорошо ли тратить столько выдумки, столько искусства ради того, чтобы придать обману такое правдоподобие, что зритель невольно начинает верить в небесные явления, нисходящие на землю в ореоле блестящих облаков? Но даже и те машинисты, которые руководятся более верными правилами, тоже впадают в ошибку. Они хотя и дают возможность видеть веревки, но веревки эти так тонки, что публика начинает бояться, как бы божества, гении и т. д. не свалились и не переломали себе руки и ноги. Поэтому небесная колесница или облако должны висеть на четырех очень толстых веревках, выкрашенных черной краской, и подниматься и опускаться как можно тише; тогда зритель даже с самого дальнего места ясно рассмотрит эти меры предосторожности, убедится в их прочности и будет уже совершенно спокоен относительно воздушного полета.

Вы гордитесь своими волнующимися и пенящимися морями, озерами с оптическим отражением и, конечно, считаете торжеством своего искусства, когда вам удается создать движущееся отражение идущих через озеро по мосту людей. Правда, это доставило вам одобрение удивленной публики; но все-таки, как я уже доказал, ваше стремление было ошибкой в самой своей основе. Море, озеро, реку, словом — всякую воду лучше всего изображать так: берут две доски длиною в ширину сцены, выпиливают на верхней их стороне зубцы, расписывают на них голубой и белой краской маленькие волны и подвешивают обе доски, одну за другой, на веревках так, чтобы их нижняя сторона чуть касалась пола. Затем эти доски слегка раскачивают, и скрипящий звук, производимый ими, когда они касаются пола, означает плеск волн.

Что мне сказать, господин декоратор, о ваших таинственных и жутких лунных пейзажах? Ведь ловкий машинист сумеет обратить в лунный пейзаж любую декорацию. А именно — в четырехугольной доске прорезы-

* Юпитер-громовержец (лат.).

вается круглая дыра, заклеивается бумагой а сзади нее ставится свечка в ящике, выкрашенном красной краской. Это приспособление подвешивается на двух толстых, выкрашенных в черное веревках — вот вам и лунный свет! Разве не будет вполне соответствовать намеченной цели, если машинист, при слишком сильном волнении в публике, заставит нечаянно провалиться того или иного из главных злодеев и таким образом сразу пресечет все слова, которыми он мог бы еще больше взволновать зрителя? Относительно провалов я должен, однако, заметить, что подвергать актера опасности можно лишь в том крайнем случае, когда дело идет о спасении публики. Вообще же его следует всемерно щадить и только тогда пускаться в ход провал, когда актер находится в надлежащей позиции и равновесии. А так как этого никто не может знать лучше самого актера, то и не следует подавать сигнал к провалу от суфлера проведенным под сценой звонком; лучше, если актер, которого должны поглотить подземные силы или который должен превратиться в духа, подаст надлежащий знак тремя или четырьмя сильными ударами в пол и затем медленно и безопасно опустится на руки подоспевших рабочих. Надеюсь, что теперь вы уже вполне меня поняли и станете действовать в полном соответствии с правильными принципами и приведенными мною примерами, ибо каждое представление дает тысячу поводов к борьбе с поэтом и музыкантом.

А вам, господин декоратор, я посоветую еще, мимоходом, рассматривать кулисы не как неизбежное зло, а, напротив, как главное дело, и каждую из них по возможности считать самодовлеющим целым да выписывать на ней побольше подробностей. Так, например, в декорации улицы каждая кулиса должна бы изображать выдающийся вперед трех- или четырехэтажный дом, потому что в этом случае окошечки и дверцы на первом плане сцены будут очень малы, и для всех станет очевидно, что ни одно из выступающих на сцене лиц, доходящих ростом до второго этажа, не может жить в этих домах и что только племя лилипутов могло бы входить в эти дверцы и выглядывать из этих окошечек; таким разрушением всякой иллюзии легче и приятнее всего будет достигнута та великая цель, которую всегда должен иметь в виду декоратор.

Но, господа, если, паче чаяния, вам все-таки будет неясно основное начало, на котором я строю всю свою теорию декораций и машин, то я должен буду обратить ваше внимание, что еще ранее меня его in писе* предлагал один весьма достойный уважения человек. Я разумею доброго ткача Основу⁵, который в высокопатетической трагедии «Пирам и Фисба» считал свою обязанностью предостеречь публику от всякого страха, опасений и проч., словом, от всякой экзальтации; разница только в одном: все то, что должно, главным образом, лежать на вашей обязанности, он навязал на шею прологу, где сразу же объявляется, что мечи не причиняют никакого вреда, что Пирам не будет убит по-настоящему и что на самом

* В зародыше (лат.).

деле этот Пирам вовсе и не Пирам, а ткач Основа. Итак, пусть до самого сердца вашего дойдут золотые слова мудрого Основы, сказанные им про столяра Бурава, который должен был представлять ужасного льва:

«Да, вы должны будете назвать его по имени, и пускай его лицо будет видно из шеи льва, да и сам он должен заговорить и рекомендовать себя примерно так: «Милостивые государыни или прекрасные госпожи, я хотел бы пожелать, или я хотел бы попробовать, или я хотел бы просить вас, — не бойтесь ничего, не трепещите! Я ручаюсь за вашу жизнь собственной моею жизнью. Если вы подумали, что я являюсь сюда как лев, то виною этому только моя шкура. Нет, я вовсе не лев, — я человек, как и все прочие». И потом пусть он назовет свое имя и напрямки скажет им, что он — столяр Бурав».

Смею надеяться, что вы до некоторой степени понимаете аллегорию и потому легко найдете возможность последовать в своем искусстве основному правилу, высказанному ткачом Основою. Этот авторитет, на который я ссылаюсь, ограждает меня от всякого недоразумения, и я надеюсь, что посеял доброе семя, из которого, может быть, вырастет древо познания.



*Виньетка работы Гофмана
для первого издания „Фантазий в манере Калло“*

КРЕЙСЛЕРИАНА

(ИЗ ВТОРОЙ ЧАСТИ «ФАНТАЗИИ В МАНЕРЕ КАЛЛО»)

Осенью прошлого года издатель этих страниц приятно проводил время в Берлине с титулованным автором «Сигурда», «Волшебного кольца», «Ундины», «Короны» и др.¹ Было много разговоров об удивительном Иоганнесе Крейслере и оказалось, что Крейслеру привелось весьма необычайным образом встретиться с человеком, глубоко родственным ему по духу, хоть и совсем иначе проведшим свою жизнь. Между бумагами барона Вальборна — молодого поэта, потерявшего рассудок от несчастной любви и нашедшего успокоение в смерти, — его историю де ла Мотт Фуке еще раньше описал в новелле, озаглавленной «Иксион»², — было найдено письмо, адресованное Вальборном Крейслеру, но не отосланное. Оставил перед своим исчезновением письмо и Крейслер. С ним произошли следующие события. Уже давно все считали бедного Иоганнеса безумным. И в самом деле, все его поступки и действия, в особенности имевшие отношение к искусству, так резко переходили границы разумного и пристойного, что едва ли было возможно сомневаться в его умственном расстройстве. Образ его мыслей становился все необычайнее, все запутаннее. Так, например, незадолго до своего бегства из города он часто говорил о несчастной любви соловья к алой гвоздике. Все это было (так он полагал) не что иное, как *Adagio*, которое в свою очередь, собственно, оказалось всего-навсего протяжным звуком голоса Юлии, умчавшим в небеса исполненного любви и блаженства Ромео. Наконец Крейслер признался мне, что задумал покончить с собой и что он в соседнем лесу заколет себя увеличенной квинтой. Так величайшие его страдания иногда приобретали шутовской характер. В ночь, предшествующую вечной разлуке, он принес своему ближайшему другу Гофману тщательно запечатанное письмо с настоятельной просьбой тотчас же отослать его по адресу. Но сделать это было невозможно. На письме был написан необычайный адрес:

Другу и товарищу в любви, страдании и смерти!
Для передачи в мир, рядом с большим терновым кустом, на границе
рассудка.
Cito par bonté.*

* Пожалуйста, срочно (смесь лат. и фр.).

Fantasiestücke

in Callot's Manier.

Blätter aus dem Tagebuche
eines reisenden Enthusiasten.



Mit einer Vorrede von Jean Paul.

Zweiter Band.

Bamberg, 1814.

Neues Leseinstitut von C. F. Kunz.

*Титульный лист первого издания „Фантазий в манере Калло“
(том второй) работы Гофмана*

Письмо хранилось запечатанным и ждало, чтобы случай точнее указал неведомого друга и товарища. Так и случилось. Письмо Вальборна, любезно доставленное де ла Мотт Фуке³, уничтожило всякие сомнения в том, что другом своим Крейслер называл именно барона Вальборна. Оба письма были напечатаны в третьей и последней книгах «Муз» с предисловием Фуке и Гофмана; письма эти должны быть предпосланы и «Крейслериане», включенной в последний том «Фантазий», ибо если благосклонный читатель хоть немного расположен к удивительному Иоганнесу, то он не может остаться равнодушным к необычайной встрече Вальборна и Крейслера.

Подобно тому как Вальборн сошел с ума от несчастной любви, так и Крейслера, по-видимому, довела до крайней степени безумия совершенно фантастическая любовь к одной певице⁴ — по крайней мере на это указывает одна оставленная им рукопись, озаглавленная «Любовь артиста». Это сочинение и некоторые другие, составляющие цикл чисто духовных толкований музыки, может быть, скоро появятся, объединенные в книгу под названием «Проблески сознания безумного музыканта»⁵.

1. ПИСЬМО БАРОНА ВАЛЬБОРНА КАПЕЛЬМЕЙСТЕРУ КРЕЙСЛЕРУ

Милостивый государь! Как мне довелось узнать, Вы с некоторых пор пребываете в одинаковом со мною положении. А именно: уже давно подозревают, что Вас сделала безумным любовь к искусству, чересчур заметно превысившая меру, установленную для подобных чувств так называемым благорассудительным обществом. Не хватало только одного, чтобы сделать нас обоих настоящими товарищами. Вам, милостивый государь, уже давно надоела вся эта история, и Вы решились обратиться в бегство, я же, напротив, все медлил и оставался на месте, позволяя мучить себя и высмеивать, и, что хуже всего, осаждать советами. Все это время лучшей моей услугой были оставленные Вами записки, которые фрейлейн фон Б.¹ — о звезда в ночи! — иногда разрешала мне просматривать. Мне стало казаться, что когда-то, где-то я уже Вас видел. Не Вы ли, милостивый государь, тот маленький странный человек, лицом несколько похожий на Сократа, которого прославил Алкивиад², сказав, что, если бог и скрывается за причудливой маской, он все же, внезапно показываясь, мечет молнии, задорный, влекущий, устрашающий. Не носите ли Вы, милостивый государь, сюртук, цвет которого можно было бы назвать самым необычайным, если бы воротник его не был цвета еще более необычайного? И не заставляет ли покрой этого платья сомневаться — сюртук ли это, переделанный в верхнее платье, или верхнее платье, обращенное в сюртук? Человек с такой внешностью однажды стоял рядом со мной в театре, в то время как на сцене кто-то тщательно пытался подражать итальянскому buffo*. Остроумные и живые речи моего соседа превратили

* Комику (ит.).

плачевное зрелище в комическое. На мой вопрос, он назвал себя доктором Шульцем из Ратенова³, но странная шутовская усмешка, скривившая его рот, помешала мне этому поверить. Не сомневаюсь — это были Вы.

Прежде всего позволю себе сообщить Вам, что я вскоре последовал за Вами и ушел туда же, куда и Вы, — в широкий мир, где, без всякого сомнения, мы с Вами встретимся. Ибо хотя этот мир и кажется огромным, благоразумные люди сделали его страшно тесным для таких людей, как мы, так что где-нибудь мы непременно должны друг с другом столкнуться. Это может случиться в тот момент, когда мы будем спасаться бегством от какого-нибудь рассудительного человека или от упомянутых выше дружеских советов, которые следовало бы короче и без обиняков назвать медленной пыткой.

Сейчас мои усилия направлены к тому, чтобы сделать небольшое добавление к описанным Вами музыкальным страданиям.

Не было ли с Вами таких случаев: желая прослушать или самому сыграть какое-нибудь музыкальное произведение, Вы удалились от занятого разговором общества за шесть или семь комнат. Несмотря на это, люди следовали за Вами по пятам и принимались слушать; это значит — что есть мочи болтать. Я лично полагаю, что для достижения этой цели они не убоятся никакой окольной, дальней, тяжелой дороги, никакой высокой лестницы или крутой горы.

Далее: разве не заметили Вы, милостивый государь, что у музыки нет врагов более заклятых, антиподов более жестоких, нежели слуги? Исполняют ли они когда-нибудь приказание не хлопать дверьми, двигаться без шума, ничего не ронять, когда находятся в комнате, где какой-нибудь инструмент или голос издают упоительные звуки? Эти люди поступают еще хуже! В тот момент, когда душа уносится в волнах звуков, какая-то дьявольская сила заставляет их появляться, чтобы взять ту или иную вещь, пошепаться или, если они глупы, с веселой и дерзкой развязностью задать какой-нибудь пошлый вопрос. И это случается не во время антракта, не в момент равнодушия. Нет, именно в разгар восторга, когда хочется затаить дыхание, чтобы не сдунуть им ни одного золотого звука, когда тихие, чуть слышные аккорды открывают перед Вами рай... Да, именно тогда! О владыка земли и неба!

Нельзя умолчать о том, что есть прекрасные дети, одержимые тем же лакейским духом. Они, за отсутствием только что описанных субъектов, могут очень успешно и удачно их заменить. Ах, до чего нужно дойти, чтобы так воспитать детей! Я очень, очень серьезно задумываюсь над этим и едва решаюсь заметить, что подобные милые существа могут быть приятны и близки читателю.

И разве слеза, выступившая сейчас у меня на глазах, капля крови, вылившаяся из пронзенного сердца, вызваны мыслью об одних только детях?

Ах, быть может, Вам еще ни разу не приходило желание спеть какую-нибудь песню перед очами, взирающими на Вас будто с небес, перед

очами, из которых глядит на Вас собственный Ваш преображенный лик? И Вы начинаете петь и думаете, о Иоганнес, что Ваш голос проник в любимую душу, что сейчас, именно сейчас высокий взлет звуков исторгнет росный жемчуг из двух этих звезд, смягчая и украшая блаженный их блеск... как вдруг эти звезды спокойно обращаются на какую-нибудь дребедень, на спущенную петлю, и ангельские уста кривой, принужденной улыбкой пытаются скрыть неодолимую зевоту. Боже мой, оказывается, Вы просто наскучили уважаемой даме!

Не смейтесь, милый Иоганнес! Нет в жизни ничего более скорбного, более губительно-ужасного, чем Юнона, превратившаяся в облако⁴.

Ах, облако, облако! Прекрасное облако!

По правде говоря, милостивый государь, по этой причине я и сделался, как утверждают люди, безумным. Но припадки бешенства случаются со мною очень редко. Большею частью я тихо плачу. Не бойся меня, Иоганнес, но и не смейся надо мной. Поговорим лучше о чем-нибудь другом, о том, что нас ближе всего касается и что я хотел бы высказать тебе со всей искренностью.

Знаешь, Иоганнес, иногда мне кажется, что, бичуя бездарную музыку, ты бываешь чересчур строг. Разве существует совершенно бездарная музыка? И, с другой стороны, разве совершенно прекрасная музыка доступна кому-нибудь, кроме ангелов? Может быть, мне это кажется, потому что слух у меня не такой острый и чувствительный, как у тебя. Но я честно тебе признаюсь: даже звук самой жалкой расстроенной скрипки мне приятнее, чем полное отсутствие музыки. Надеюсь, что ты не станешь презирать меня за это. Любое пиликанье — пусть это будет марш или какой-нибудь танец — все-таки напоминает о заложенной в нас любви к прекрасному, легко заставляет забыть свое несовершенство и нежно-любковыми или воинственными звуками уносит меня к блаженному своему прообразу. Мои стихотворения, те, которые считают удачными, — какое глупое выражение! — нет, те, что сердцем говорят сердцу, обязаны своим зарожждением, своим существованием очень расстроенным струнам, очень неловким пальцам, очень неисккусным голосам.

И потом, милый Иоганнес, разве одно только желание заняться музыкой само по себе не есть нечто умиленное и трогательное? И разве не прекрасна уверенность, направляющая странствующих музыкантов и в замки и в хижины, — уверенность в том, что музыка и пение всюду проложат себе путь, — ее лишь изредка нарушают ворчливо настроенные хозяева и злые собаки! Я так же не способен затоптать цветочную клумбу, как и прервать только что зазвучавший вальс криком: «Убирайтесь вон отсюда!» Вдобавок со всех домов, куда долетают звуки музыки, сбегается веселая детвора, совсем не похожая на упомянутые мною лакейские натуры, и на исполненных ожидания ангельских лицах написано: «Музыканты правы».

Нечто худшее зачастую наблюдается в высших кругах, где занимаются так называемым музицированием, но и здесь каждый звук струны, флейты,

голоса оваян божественным дуновением, и все они нужнее любой болтовни, каковой они в известной мере перебивают дорогу.

Ты, Крейслер, говоришь о радости, испытываемой отцом и матерью в тихом семейном кругу от брэнчания на рояле и пискливого пенья их детей; уверяю тебя, Йоганнес, что в этом брэнчанье мне подлинно и действительно слышится некий отзвук ангельской гармонии, заглушающей все нечистые земные звуки.

Я написал гораздо больше, чем следовало, и хотел бы откланяться по всем правилам приличия, которым намеревался следовать, начиная это письмо. Но мне это не удастся. Так удовольствуйся этим, Йоганнес. Да благословит бог тебя и меня. Пусть милостью своей даст развиваться тому, что тебе и мне вложил он в душу, ему на славу, нашим ближним на радость

Одинокий Вальборн.

2. ПИСЬМО КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА КРЕЙСЛЕРА БАРОНУ ВАЛЬБОРНУ

Я только что вернулся из театра в свою каморку, с большим трудом высек огонь и сейчас же принимаюсь писать Вашему сиятельству обстоятельное письмо. Не пеняйте на меня, Ваше сиятельство, если я стану чересчур музыкально выражаться, ведь Вам уже, наверное, известно, что люди утверждают, будто музыка, заключенная в моей душе, слишком мощно и непреодолимо пробирается наружу. Она так меня обволокла и опутала, что мне никак не освободиться. Все, решительно все представляется мне в виде музыки. Быть может, люди в самом деле правы? Но как бы то ни было, я должен написать Вашему сиятельству. Как же иначе смогу я снять бремя, тяжелым гнетом упавшее мне на грудь в тот момент, когда опустился занавес и Ваше сиятельство непонятным образом исчезли?

Как много мне хотелось еще сказать! Неразрешившиеся диссонансы отвратительно вопили во мне, однако в ту минуту, когда ядовитые, словно змеи, септимы проскальзывали в светлый мир приветливых терций, Ваше сиятельство ушли прочь, прочь — змеиные жала стали язвить и колоть меня! Ваше сиятельство, Вы, кого хочу я воспеть этими приветливыми терциями, ведь не кто иной, как барон Вальборн, — его образ я ношу давно в своем сердце, в него, дерзновенно и мощно струясь, воплощаются все мои мелодии, и мне чудится: я — то же самое, что и он. Когда сегодня в театре ко мне подошел статный юноша в военной форме, звеня оружием, с мужественным и рыцарственным видом, душу мою пронзило знакомое и вместе с тем неизведанное чувство, и я сам не мог разобрать, что за диковинная смена аккордов нарастала во мне, поднимаясь все выше и выше. Молодой рыцарь делался мне все более близким. В его глазах открылся мне чудесный мир: целое Эльдорадо сладостных, блаженных мечтаний. Дикая смена аккордов разрешилась нежной, райской гармо-

нией — она чудодейственным образом говорила о жизни и бытии поэта. Благодаря тому, что у меня большая практика в музыке, — в этом я могу заверить Ваше сиятельство, — я тотчас же выяснил тональность, породившую все это. Я хочу сказать, что в молодом военном я тотчас узнал Ваше сиятельство — барона Вальборна. Я попытался сочинить несколько отклонений, и когда музыка моей души, по-детски веселясь и ребячливо радуясь, излилась бодрыми напевами, веселыми мурки и вальсами, Ваше сиятельство так хорошо попали мне в такт и в тон, что у меня не оставалось никаких сомнений: Вы узнали во мне капельмейстера Иоганнеса Крейслера и не поверили обманной игре, которую сегодня вечером затеяли со мной эльф Пэк¹ и его приспешники. В тех особых случаях, когда меня вовлекают в колдовскую игру, я начинаю строить всевозможные гримасы, — я сам это знаю, — к тому же на мне как раз было платье, купленное в момент глубочайшего уныния после неудачно сочиненного трио. Цвет платья был выдержан в *cis-moll*², а для некоторого успокоения наблюдателей я велел пришить к нему воротник цвета *E-dur*³. Надеюсь, что это не раздражило Ваше сиятельство? К тому же в этот вечер я назывался другим именем — я был доктором Шульцем из Ратенова, так как лишь под этим именем дерзал стоять возле самого фортепьяно и слушать пение двух сестер⁴, двух состязавшихся соловьев, чьи сердца исторгали из самой своей глубины великолепные, сверкающие звуки. Сестры боялись безумного, тоскующего Крейслера, а доктор Шульц, очутившись в музыкальном раю, открытом ему сестрами, был кроток, мягок, полон восхищения, и они примирились с Крейслером, когда доктор Шульц внезапно в него превратился. Ах, барон Вальборн! Говоря о самом священном, что горит в моем сердце, я и Вам показался суровым и гневным. Ах, барон Вальборн, и к моей короне тянутся враждебные руки, и передо мной растаял в тумане небесный образ, проникший в глубину моего существа, затронув сокровеннейшие фибры моей души. Невыразимая скорбь разрывает мне грудь, и каждый унылый вздох вечно алчущей тоски превращается в неистовую боль гнева, вспыхнувшего от жестокой муки. Но, барон Вальборн! Разве сам ты не знаешь, что на растерзанную дьявольскими когтями кровоточащую грудь особенно сильно и благотворно действует каждая капля целебного бальзама? Ты знаешь, барон Вальборн, что я сделался злобным и бешеным, главным образом потому, что видел, как чернь оскверняет музыку. Но случается, что меня, совсем разбитого, раздавленного бездарными бравурными ариями, концертами, сонатами, утешает и исцеляет коротенькая, пустячная мелодия, пропетая посредственным голосом или же неуверенно, неумело сыгранная, но верно, тонко понятая и глубоко прочувствованная. Если ты, барон Вальборн, встретишь на своем пути такие звуки и мелодии или, возносясь к своему облаку, увидишь, как они с благоговейной тоской взирают на тебя снизу, скажи им, что будешь беречь и лелеять их, как милых детей, и что ты не кто иной, как капельмейстер Иоганнес Крейслер. Ибо я свято обещаю тебе, барон Вальборн, что тогда я стану тобой и так же, как ты, исполнюсь любовью, крото-

стью, благочестием. Ах, я и без того полон ими! Всему виной колдовская игра — ее часто заводят со мной мои собственные ноты. Они оживают и в виде маленьких черных хвостатых чертиков прыгают с белых листов, увлекая меня в дикое, бессмысленное кружение. Я делаю странные козлиные прыжки, корчу непристойные рожи; но один-единственный звук — луч священного огня, прерывает беснование, и я снова кроток, терпелив и добр. Ты видишь, барон Вальборн, что все это настоящие терции, в которых растворились септимы, и я пишу тебе для того, чтобы ты как можно яснее расслышал эти терции!

Дай бог, чтобы мы, уже с давних пор мысленно видя и зная друг друга, почаще встречались и в жизни, как это было сегодня вечером. Твои взгляды, барон Вальборн, проникают в глубину моего сердца, а ведь часто взгляды звучат как чудесные слова, как заветные мелодии, вспыхнувшие в недрах души. Но мы еще часто будем с тобою встречаться, ибо завтра я надолго отправлюсь странствовать по свету и потому уже надел новые сапоги.

Не думаешь ли ты, барон Вальборн, что твои слова могут стать моими мелодиями, а мои мелодии — твоими словами? Я только что сочинил песню на прекрасные слова, написанные тобою когда-то давно, но мне все-таки кажется, что уже в ту самую минуту, когда в тебе зародилась песня, и во мне должна была зажечься ее мелодия. Иногда мне представляется, что песня — это целая опера. Да! Дай бог, чтобы я поскорее снова увидел тебя телесными очами, приветливый, кроткий рыцарь, таким же, каким ты всегда живо стоишь перед моим духовным взором. Да благословит тебя бог и да просветит он людей, чтобы они достойно оценили тебя по прекрасным делам твоим и поступкам. Пусть это будет радостно-успокоительным заключительным аккордом в тонике.

Иоганнес Крейслер,
капельмейстер, а также сумасшедший музыкант
par excellence *

3. МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ КРЕЙСЛЕРА

Все часы, даже самые ленивые, уже пробили восемь; свечи были зажжены, рояль — открыт, и хозяйская дочка, служащая Крейслеру, уже два раза объявляла, что вода в чайнике выкипает. Наконец в дверь постучали, и вошли Верный Друг вместе с Рассудительным. За ними вскоре явились Недовольный, Веселый и Равнодушный. Члены клуба были в сборе, Крейслер, как обычно, старался с помощью симфониеподобной фантазии подогнать все под один тон и размер, а также дать подышать чистым воздухом всем членам клуба, лелеявшим в себе музыкальный дух, но принужден-

* Прежде всего (лат.).

ным целый день суетиться среди пыли и мусора¹. Рассудительный был очень серьезен, почти глубокомыслен, и сказал:

— Как это неприятно, что в последний раз вам пришлось прервать игру из-за испорченного молоточка. Надеюсь, вы починили его?

— Кажется, да, — ответил Крейслер.

— Надо в этом убедиться, — продолжал Рассудительный, нарочно зажег свечу, стоявшую в широком подсвечнике, и, держа ее над струнами, стал внимательно рассматривать поврежденный молоточек. Вдруг лежавшие на подсвечнике тяжелые щипцы для снятия нагара упали на струны, и двенадцать или пятнадцать из них, резко прозвенев, лопнули. Рассудительный только промолвил:

— Вот тебе раз!

У Крейслера покривилось лицо, как будто он поел лимона.

— Черт возьми, — закричал Недовольный. — А я-то радовался, что Крейслер сегодня будет импровизировать! Как раз сегодня. За всю свою жизнь я так не жаждал музыки!

— В сущности говоря, — вмешался Равнодушный, — совсем не так важно, начнем мы сегодня с музыки или нет.

Верный Друг сказал:

— Конечно, очень жаль, что Крейслер не сможет играть, но из-за этого не стоит волноваться.

— У нас и без того будет довольно развлечений, — добавил Веселый, придавая своим словам особый смысл.

— И все-таки я буду импровизировать, — сказал Крейслер. — Басы в полном порядке, и мне этого достаточно.

Крейслер надел свою красную ермолку, китайский халат² и сел за рояль. Члены клуба разместились на диване и на стульях; по знаку Крейслера Верный Друг потушил все свечи, и воцарилась густая черная тьма.

Крейслер взял в басу *pianissimo* полный аккорд *As-dur*³ с обеими педалями. Когда звуки замерли, он заговорил:

— Какой чудесный и странный шум! Невидимые крылья реют надо мною... Я плыву в душистом эфире... Аромат его сверкает огненными, таинственно переплетенными кругами. То дивные духи носятся на золотых крыльях среди безмерно прекрасных аккордов и созвучий.

Аккорд *as-moll*⁴ (*mezzo-forte*)

Ах! Они уносят меня в страну вечного томления. Когда я их слышу, оживает моя скорбь, хочет вырваться из сердца и безжалостно его разрывает.

Секстаккорд *E-dur*⁵ (*ancora più forte*)

Крепись, мое сердце! Не разорвись от прикосновения опаляющего луча, пронзившего мне грудь. Вперед, мужественный дух мой! Воспрянь и устремись ввысь, в стихию, тебя породившую, — там твоя отчина.

Терцаккорд E-dur (forte)

Они дали мне роскошную корону, но в алмазах ее сверкают и блещут тысячи слезинок, пролитых мною, в золоте ее тлеет испепелившее меня пламя. Мужество и власть, вера и сила да придут на помощь тому, кто призван владычествовать в царстве духов!

a-moll (harpeggiando-dolce)

Куда ты, прекрасная дева? Разве можешь ты убежать, если всюду держат тебя незримые пути? ⁶ Ты не умеешь пожаловаться и объяснить, почему твое сердце гложет печаль, и все-таки оно трепещет от сладостного блаженства. Но ты все поймешь, когда я поговорю с тобою, когда утешу тебя на языке духов, — ведь он мне знаком, да и тебе хорошо понятен.

E-dur

Ах, как замирает твое сердце от томления и любви, когда в пылу восторга я заключаю тебя в мелодии, словно в нежные объятия. Теперь ты не уйдешь от меня, потому что сбылись тайные предчувствия, теснившие тебе грудь. Как благовестительный оракул взывала к тебе музыка из глубины моего существа.

B-dur (accentuato)

Как весела жизнь в полях и лесах в прекрасную весеннюю пору! Пробудились свирели и флейты, долгую зиму, словно мертвые, костеневшие в пыльных углах, вспомнили свои заветные песни и радостно заливаются, как птицы в поднебесье.

B-dur с малой септимой ⁷ (smanioso)

Жалобно вздыхая, теплый западный ветер веет по лесу, словно мрачная тайна, и когда он пролетает, шепчутся березы и сосны: «Почему так печален наш друг?! Ждешь ли ты его, прекрасная пастушка?»

Es-dur (forte)

«Беги ему вслед! Беги ему вслед! Как темный лес, зелена его одежда! Грустные речи его, как нежный звук рога. Слышишь шорох в кустах? Слышишь звук рога? В нем радость и мука. Это он! Скорее! Ему навстречу!»

Терцквартсектаккорд D⁸ (piano)

Жизнь ведет на разные лады свою дразнящую игру. Зачем желать? Зачем надеяться? Куда стремиться?

Терцаккорд C-dur ⁹ (fortissimo)

В диком, бешеном веселье пляшем мы над раскрытыми могилами? Так будем же ликовать! Те, что спят здесь, не услышат нас. Веселее, веселее! Танцы, клики — это шествует дьявол с трубами и литаврами.

Аккорды c-moll (fortissimo друг за другом)

Знаете вы его? Знаете вы его? Смотрите, он впивается мне в сердце раскаленными когтями! Он принимает диковинные личины то волшебного стрелка, то концертмейстера, то буквоеда, то *risso mercante* *. Он роняет на струны щипцы, чтобы помешать мне играть! Крейслер, Крейслер! Возьми себя в руки! Смотри, вон притаилось бледное привидение с горящими красными глазами, из разорванного плаща оно тянет к тебе когтистые костлявые руки, на его голом черепе покачивается соломенный венец. Это — безумие! Храбро держись, Иоганнес! Нелепая, нелепая игра в жизнь! Зачем завлекаешь ты меня в свой круг? Разве не могу я убежать от тебя? Разве нет во вселенной такой пылинки, где бы, превратившись в комара, мог я спастись от тебя, зловеющий, мучительный дух? Оставь меня! Я буду послушен! Я поверю, что дьявол — хорошо воспитанный *galantuomo* — *honny soit qui mal у pense* **¹⁰. Я прокляну музыку, пение, буду лизать тебе ноги, как пьяный Калибан¹¹, — только избавь меня от пытки! О нечестивец, ты растоптал все мои цветы! В ужасающей пустыне не зеленеет ни травинки — повсюду смерть, смерть, смерть! . . .»

Тут затрещал вспыхнувший огонек: Верный Друг, желая прервать импровизацию Крейслера, быстро вынул химическое огниво и зажег обе свечи. Он знал, что Крейслер дошел до той точки, с которой он обычно низвергался в бездну беспросветного отчаяния. В этот миг хозяйская дочь внесла дымящийся чай. Крейслер вскочил с места.

— Что это ты играл? — спросил Недовольный. — Признаться, благопрстойное *Allegro* Гайдна куда приятнее этой дикой какофонии.

— Все-таки это было неплохо, — вмешался Равнодушный.

— Но очень мрачно, слишком мрачно, — заговорил Веселый. — Нашу сегодняшнюю встречу необходимо оживить чем-нибудь игривым и веселым.

Члены клуба постарались последовать совету Веселого, но жуткие аккорды Крейслера, его ужасные слова все еще носились в воздухе, как далекое глухое эхо, и поддерживали навеянное ими напряженное настроение. Недовольный действительно был очень недоволен вечером, испорченным, как он выразился, глупой импровизацией Крейслера, и ушел вместе с Рассудительным. За ними последовал Веселый. Остались только Энтузиаст и Верный Друг (оба они, как здесь ясно дается понять, представляют собою одно лицо). Скрестив руки, Крейслер молча сидел на диване.

— Не понимаю, что с тобой сегодня, Крейслер, — сказал Верный Друг. — Ты очень возбужден и, против обыкновения, без капли юмора.

— Ах, друг мой, — ответил Крейслер. — Мрачная туча нависла над моей жизнью. Не думаешь ли ты, что бедной, невинной мелодии, не нашедшей себе на земле никакого-никакого места, должно быть дозволено свободно, безмятежно умчаться в небесное пространство? Я бы тотчас улетел в это окно на своем китайском халате, как на плаще Мефистофеля.

* Богатый купец (ит.).

** Дворянин (ит.). — Да будет стыдно тому, кто подумает дурно (фр.).



Капельмейстер Иоганнес Крейслер дома.
Рисунок Гофмана (1815)

— В виде безмятежной мелодии? — улыбаясь, перебил Верный Друг.
 — Или, если хочешь, в виде basso ostinato¹², — возразил Крейслер.—
 Но каким-то образом я вот-вот должен исчезнуть.
 И то, что он сказал, вскоре исполнилось.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОДНОМ ОБРАЗОВАННОМ МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Сердце умиляется, когда видишь, как широко распространяется у нас культура! Даже среди классов, которым до сих пор было недоступно высшее образование, появляются таланты и достигают пышного расцвета. В доме тайного советника Р. я познакомился с одним молодым человеком, соединявшим в себе выдающиеся способности с любезностью и добродушием. Когда я однажды случайно упомянул при нем о постоянной моей переписке с моим другом Чарльзом Эвсоном из Филадельфии, молодой человек с полным доверием передал мне незапечатанное письмо к своей подруге с просьбой переслать его по адресу. Письмо отослано. Но разве не должен был я, любезный юноша, переписать и сохранить его как свидетельство твоей высокой мудрости, добродетели и подлинной любви к искусству? Не могу утаить, что редкостный молодой человек по своему рождению и изначальному занятию, собственно говоря, не что иное, как обезьяна, выучившаяся говорить, читать, писать, музицировать и т. д. в доме тайного советника. Короче говоря, этот юноша достиг такой высокой культуры, благодаря своему знанию искусств и наук, а также приятному обращению приобрел множество друзей и охотно был принят в просвещенном обществе. Ничто не выдает его необычайного происхождения за исключением нескольких мелочей: например, на *thés dansants**, танцую английский галоп, он иногда делает немного странные прыжки; слыша, как щелкают орехи, не может подавить некоторого внутреннего волнения, а также (но это, быть может, приписывает ему людская зависть, преследующая всех гениев) он хоть и носит перчатки, но, целуя дамам руки, немножко их царапает. Те маленькие шалости, которые он вытворял в юные годы, — например, ловко срывал шляпы с входивших гостей и прятался за бочонок с сахаром, — обратились теперь в остроумные *bon-mots*** , которым громко и восторженно аплодируют. Привожу достопримечательное письмо, характеризующее прекрасные душевные качества и превосходное образование обезьяны Мило.

*Письмо Мило, образованной обезьяны, к подруге Пипи
 в Северную Америку*

С ужасом вспоминаю я те горестные времена, любимая подруга, когда нежнейшие чувства моего сердца я выражал только нечленораздельными звуками, непонятными цивилизованному существу. Как мог резкий, плак-

* Чайных балах (фр.).

** Словечки (фр.).

сивый звук «э, э», какой я издавал тогда, хотя и поощряемый нежными взглядами, сколько-нибудь выразить глубокую, искреннюю нежность, жившую в моей мужественной волосатой груди? И даже ласки мои — ты, маленькая, прелестная подруга, выносила их с молчаливой покорностью, — были так неловки, что теперь, когда я в этом отношении могу сравняться с лучшими primo amoroso * и умею целовать ручки à la Dupont **, заставили бы меня краснеть, если бы этому не мешал свойственный мне несколько темноватый цвет лица. Несмотря на приятное чувство глубокого внутреннего удовлетворения, порожденное образованием, каковое я получил от людей, бывают минуты, когда я очень сильно тоскую, хоть и знаю, что подобные припадки в корне противоречат благовоспитанности, привитой нам культурой, и являются пережитком того дикого состояния, которое удерживало меня среди существ, ныне бесконечно мною презираемых. Тогда я бываю настолько глуп, что вспоминаю о наших несчастных сородичах, которые до сих пор прыгают по деревьям в густом девственном лесу, питаются сырыми плодами, не приправленными поварским искусством, а по вечерам преимущественно поют гимны, коих каждый звук фальшив, а о каком-нибудь счете — даже о вновь изобретенном на $7/8$ или $13/14^2$ — нет и речи. Об этих несчастных, по правде говоря, теперь мне совершенно чужды существах, я иногда вспоминаю, и готов проникнуться глубоким состраданием к ним. Особенно часто приходит мне на ум мой старый дядюшка (сколько помню, с материнской стороны). Он воспитал нас на свой дурацкий манер и применял все мыслимые способы, чтобы держать нас вдалеке от людей. Это был серьезный мужчина; ни разу не пожелавший надеть сапог. Мне до сих пор слышится его предостерегающий, испуганный крик, когда я с вожделием взглянул на красивые, новенькие ботфорты: хитрый охотник поставил их под деревом, где в ту минуту я с большим аппетитом грыз кокосовый орех. Еще не скрылся из виду удалявшийся охотник, на ком прекрасно сидели ботфорты, в точности похожие на те, что стояли под деревом. Благодаря этим начищенным ботфортам человек вырос в моих глазах во что-то внушительное, грандиозное, — нет, я не выдержал искушения! Всем моим существом овладело желание столь же горделиво выступать в ботфортах. И разве не доказывает моих блестящих способностей к науке и искусству, коим ныне суждено было пробудиться, что, спрыгнув с дерева, я при помощи стальных крючков так ловко и непринужденно втиснул свои стройные ноги в непривычную обувь, будто носил ее всю жизнь. Что двигаться в них я не мог, что подошедший охотник схватил меня за шиворот и потащил за собой, что старый дядюшка отчаянно закричал и стал бросать нам вдогонку кокосовые орехи, что один из них больно ударил меня около левого уха и, помимо воли злого старика, быть может, вызвал к жизни задатки новых талантов, — все это ты знаешь, моя кра-

* Первыми любовниками (ит.).

** Как Дюпор¹ (фр.).

савица, потому что ты сама, жалобно крича, побежала вслед за своим возлюбленным и таким образом добровольно пошла в плен.

Что я говорю — плен! Разве не дал нам этот плен величайшей свободы? Есть ли что-нибудь прекраснее духовного совершенствования, достигаемого нами в общении с людьми? Я не сомневаюсь, что ты, дорогая Пипи, при врожденной твоей живости и сметливости также сможешь немного заняться искусством и науками, и, принимая это во внимание, я не приравниваю тебя к злым сородичам, обитающим в лесах. Среди них еще царит безнравственность и варварство, они не умеют плакать, и глубокие чувства им совершенно недоступны.

Конечно, я допускаю, что ты не достигнешь такой образованности, как я, потому что я, как говорится, человек вполне законченный. Я знаю решительно все, поэтому я здесь вроде оракула и полновластно законодательствую в области наук и искусств. Ты, пожалуй,образишь, милая крошка, что мне стоило бесконечно много труда подняться на такую высокую ступень культуры. Могу тебя уверить, что, напротив, ничего не могло быть легче этого. Да, я часто посмеиваюсь, вспоминая, как в ранней юности, упражняясь в проклятых прыжках с одного дерева на другое, я обливался потом, — ничего подобного не случилось со мной, когда я приобрел ученость и мудрость. Все произошло как-то само собой, и, пожалуй, гораздо труднее было уразуметь, что я действительно достиг высшей ступени мудрости, чем на нее вскарабкаться. Возблагодарим же мое блестящее дарование и меткий удар дядюшки! Надо тебе сказать, милая Пипи, что задатки душевных качеств и талантов помещаются в голове и торчат в виде шишек³ — их можно прощупать руками. Мой затылок прощупывается, как мешок с кокосовыми орехами, а после удара дядюшки, там, по всей вероятности, появилась новая шишечка и, следовательно, какой-нибудь новый талант. В самом деле — сметливости у меня хоть отбавляй! Склонность к подражанию, свойственная нашей породе и несправедливо осмеянная людьми, есть не что иное, как непреодолимое стремление не столько приобрести новую культуру, сколько показать уже приобретенную. Люди уже давно следуют этому правилу, и настоящие мудрецы, которым я всегда подражал, делают это следующим образом: предположим, что кто-нибудь создал какое-то произведение искусства. Все находят его превосходным. Воодушевившись, мудрец тотчас же старательно ему подражает. Правда, у него получается нечто совершенно иное. Но мудрец утверждает: «Именно так и надо творить, а произведение, которое вы считали превосходным, лишь вдохновило меня к созданию действительно безудумного творения, уже давно задуманного мною». Это похоже на то, милая Пипи, когда один из наших собратьев, бреясь, порежет себе нос и этим придаст усам несколько своеобразный вид, недостижимый для того, кого он копировал. Именно эта потребность в подражании, с давних пор мне присущая, сблизила меня с одним профессором эстетики, милейшим человеком; впоследствии он дал мне начальные сведения обо мне самом и научил меня говорить. Еще до того, как я обрел эту способ-

ность, я часто посещал общество людей начитанных, остроумных, просвещенных. Я внимательно изучил их лица, манеры и ловко им подражал. Эта моя способность и приличный костюм — им снабдил меня тогдашний мой покровитель — не только открыли предо мною все двери, но и создали мне славу молодого человека тонкого, светского обхождения. Как страстно хотелось мне научиться говорить! Но про себя я думал: «О небо! даже если ты сумеешь говорить, откуда ты возьмешь тысячи мыслей и острот, что слетают с уст этих людей? Как сумеешь ты говорить о тысяче вещей, едва известных тебе по имени? Как сумеешь ты, не будучи сведущим, судить о предметах искусства, науки столь же решительно, как эти люди?» Едва научившись связно произносить несколько слов, я поделился своими сомнениями и соображениями со своим дорогим учителем, профессором эстетики. Тот рассмеялся мне в лицо и сказал: «О чем вы беспокоитесь, monsieur Мило? Вы должны научиться говорить, говорить, говорить — все остальное придет само собой. Говорить ловко, свободно, красноречиво! В этом весь секрет. Вы сами удивитесь тому, что именно в разговоре вас будут осенять мысли, в вас будет загораться мудрость, что божественный дар речи приведет вас в тайники науки и искусства, — а вам уже казалось, что вы заблудились в лабиринтах. Часто вы сами себя не будете понимать, но это как раз и есть признак настоящего вдохновения, вызванного собственным красноречием. Легкое чтение, пожалуй, вам будет полезно: заметьте себе несколько звучных фраз и вставляйте их при каждом удобном случае, применяйте их в виде рефрена. Побольше говорите о тенденциях нашего века, о том, что собой представляет то или иное явление, о глубине чувств, о чувствительности, о безчувственности и т. д.» О моя Пипи! Как был прав этот человек! Мудрость пришла ко мне вместе с даром речи. Счастливая выразительность моей физиономии придавала вес моим словам. Я наблюдал в зеркале, как прекрасно выглядит мой лоб, немного морщинистый от природы, в то время когда я начисто отказываю в глубине чувств какому-нибудь поэту, вовсе не понимая, чего он стоит на самом деле. Вообще глубокая убежденность в собственной высокой культуре побуждает меня строго судить о каждой новинке искусства и науки. Суждение мое непререкаемо, ибо произвольно выливается из глубины души, как у оракула. Я занимался разными видами искусства — живописью, скульптурой, а также лепкой. Тебя, прелестная моя малютка, я изваял в виде Дианы по античному образцу. Но мне скоро наскучил весь этот вздор. Сильнее всего я тяготел к музыке, ибо она дает возможность без особого труда приводить толпу в изумление и восторг. Благодаря моим природным особенностям фортепьяно скоро сделалось моим любимым инструментом. Ты знаешь, дорогая, что у меня от природы довольно длинные пальцы — я легко беру квартдециму, даже две октавы, а это в соединении с необычайной беглостью и гибкостью пальцев и составляет весь секрет фортепьянной игры. Преподаватель музыки проливал слезы радости, открыв у своего ученика великолепные прирожденные способности. За короткий срок я достиг того, что без за-

пинки играю обеими руками пассажи тридцать вторыми, шестьдесят четвертыми, сто двадцать восьмыми, одинаково хорошо делаю трели всеми пальцами, перескакиваю вверх и вниз через три, четыре октавы так же ловко, как прежде с дерева на дерево, и потому считаюсь величайшим в мире виртуозом. Все существующие фортепьянные произведения слишком легки для меня, поэтому я сам сочиняю сонаты и концерты. Писать за меня tutti для концертов⁴ все-таки приходится моему учителю музыки, ибо кто же еще станет возиться со всей этой массой инструментов и прочей дребеденью! Ведь tutti в концертах — это неизбежное зло и, кроме того — паузы, позволяющие солисту передохнуть или набраться сил для новых трюков. Я уже договорился с одним фортепьянным мастером об изготовлении нового рояля с девятью или десятью октавами. Разве гений может ограничивать себя жалким пространством в семь октав? Кроме обыкновенных струн, турецкого барабана и литавр, он должен пристроить к роялю трубу, а также и флажолетный регистр, насколько возможно подражающий щебетанию птиц. Ты видишь, милая Пипи, до каких возвышенных мыслей додумывается человек с образованием и вкусом! Прислушав много певцов, имевших большой успех, я почувствовал непреодолимое желание петь, хотя мне и казалось, что природа, к несчастью, лишила меня необходимых для этого качеств. Но я не мог не рассказать о своем желании одному известному певцу, моему близкому другу, и пожаловался ему на свой неблагоприятный голос. Певец заключил меня в объятия и восторженно воскликнул: «Вы счастливейший человек! С вашими музыкальными способностями, с такой гибкостью голоса, давно мною замеченными, вы рождены быть величайшим певцом, — ведь самое большое затруднение устранено! Знайте же: ничто так не противно подлинному вокальному искусству, как хороший, естественно звучащий голос. Мне стоит многих трудов устранить этот недостаток у молодых учеников, действительно обладающих голосом. Через некоторое время я обычно и добиваюсь этого, заставляя их избегать протяжного пения, прилежно упражняться в труднейших руладах, далеко превосходящих диапазон человеческого голоса, и, главным образом, усиленно разрабатывать фальцет, являющийся основой настоящего художественного пения. Самый сильный голос не выдерживает такого трудного испытания. Но на вашем пути, многоуважаемый, нет никаких преград. Через короткий срок вы будете величайшим певцом из всех существующих!» Этот человек был прав. Понадобилось очень немного упражнений, чтобы развить великолепный фальцет и высокую технику, позволявшую мне на одном дыхании издавать сто звуков, чем я завоевал шумный успех у настоящих знатоков и затмил ничтожных теноров: они кичились своими грудными голосами, а сами едва умели сделать один мордент⁵! Мой маэстро сначала обучил меня трем довольно сложным методам пения. Они заключают в себе всю премудрость художественного исполнения, так что их можно применять на разные лады, целиком или по частям, повторять бесчисленное множество раз, подгоняя к генерал-басу⁶ различных арий, и вместо созданных ком-

позиторами мелодий преподносить в различных видоизменениях только эти методы. Я не в состоянии описать тебе, дорогая, какой оглушительный успех выпал на мою долю именно благодаря применению этих методов, но ты, конечно, поймешь, что мои врожденные, природные музыкальные способности необыкновенно облегчили мою трудную задачу. О моих сочинениях я уже говорил тебе; однако, исключая те случаи, когда я хочу создать для себя произведения, достойные моего гения, я охотно предоставляю композиторский труд всякой мелкой сошке, существующей лишь для того, чтобы служить виртуозам, — то есть изготавливать произведения, в которых мы можем блеснуть нашим искусством. Должен признаться, что партия — вещь совсем особого рода. Многообразные инструменты, их гармоническое созвучие имеют свои законы; но для гения, для виртуоза все это слишком пошло и скучно. Однако, чтобы заслужить всеобщее уважение, — а в этом и заключается высшая жизненная мудрость, — следует если не быть, то хоть слыть за композитора — этого довольно. Если, например, в каком-нибудь обществе я с большим успехом исполняю арию композитора, в этот момент здесь присутствующего, и если публика готова приписать ему часть моего успеха, то, глядя мрачным проникновенным взглядом, — при моем своеобразном облике такие взгляды мне чрезвычайно хорошо удаются, — я небрежно бросаю фразу: «В самом деле, пора и мне заканчивать мою новую оперу». Это замечание снова возбуждает общий восторг, и композитор, создатель действительно законченного произведения, забыт. Вообще гению следует как можно больше выставлять себя напоказ, заявлять, что все в искусстве кажется ему незначительным и жалким в сравнении с тем, что он лично мог бы создать во всех его видах, а также в науке, если бы только захотел и если бы люди были достойны его усилий. Полное презрение к стремлениям других, убежденность, что далеко-далеко оставляешь позади тех, кто творит в тишине, не возвещая об этом громогласно, величайшее самодовольство, вызываемое тем, что все дается без малейшего напряжения! Все это — неоспоримые признаки высокой гениальности, и я счастлив, что ежедневно, ежечасно их в себе наблюдаю.

Теперь, нежная подруга, ты можешь ясно себе представить мое счастливое состояние, вызванное высокой моей образованностью. Но могу ли я скрыть от тебя хоть малейшую сердечную заботу? Могу ли я умолчать о том, что совершенно неожиданно со мною случаются известного рода припадки и выводят меня из блаженного покоя, улаждающего мои дни? Праведное небо, какое огромное влияние оказывает на всю нашу жизнь воспитание в ранние годы жизни! Справедливо утверждают: трудно искоренить то, что ты воссал с молоком матери. Какой вред нанесло мне дикое скаканье по горам и лесам! Недавно, изысканно одетый, я гулял по парку с друзьями. Останавливаемся перед великолепным, высоким, стройным ореховым деревом. Непреодолимое желание затуманивает мой рассудок... Несколько ловких прыжков — и я на самой верхушке, качаюсь на ветках и рву орехи. Мой отчаянный поступок встречен возгласами

удивления присутствующих. Когда я, вспомнив о приобретенной культуре, которая не позволяет подобной несдержанности, спустился вниз, один молодой человек, очень меня уважающий, сказал: «Э, милейший господин Мило, какие у вас проворные ноги!» Мне было очень стыдно. Иногда я с трудом преодолеваю желание показать свою ловкость и поупражняться в метании. Представь себе, милая малютка, что недавно за одним званым ужином это желание столь властно овладело мною, что я вдруг швырнул яблоко на другой конец стола и попал прямо в парик сидевшего там коммерции советника, старого моего покровителя, что навлекло на меня тысячу неприятностей. Все-таки я надеюсь понемногу освободиться от этих пережитков прежнего дикого состояния.

Если ты еще не настолько овладела культурой, нежная моя подруга, чтобы прочесть это письмо, то пусть благородный, уверенный почерк твоего возлюбленного побудит тебя научиться читать. Тогда содержание этих строк послужит тебе мудрым наставлением, как за это дело приняться и как достичь душевного покоя и удовлетворения, кои способна породить только высокая культура, а она, в свою очередь, приобретается благодаря врожденному уму и общению с образованными и мудрыми людьми. Тысячу раз шлю тебе привет, дорогая подруга.

Не верь, что солнце землю греет,
 Не верь, что звезды светят нам.
 Не верь, что правда лгать не смеет,
 Но верь любви моей словам! ⁷

*Твой
 верный до гроба
 Мило.*

Бывшая обезьяна, ныне частный артист и ученый.

5. ВРАГ МУЗЫКИ

Как чудесно, когда человек до такой степени весь проникнут музыкой, что, словно вооруженный нездешней силой, легко и весело овладевает самыми громоздкими музыкальными сооружениями, построенными композитором из бесчисленного количества нот и звуков разнообразнейших инструментов, воспринимает эту музыку умом и рассудком, но без особого душевного волнения, без всяких болезненных приступов страстного восторга и душераздирающей тоски. Как горячо может он тогда восхищаться виртуозностью исполнителя и даже без опаски громко выражать эту рвущуюся наружу радость. О великом счастье самому быть виртуозом лучше не думать, иначе я еще сильнее начну горевать о том, что совершенно лишен способностей к музыке, отчего и проистекает моя невероятная беспомощность в этом дивном искусстве, к сожалению, высказанная мною с самого детства.

Отец мой несомненно был хорошим музыкантом. Зачастую он просиживал за большим роялем до глубокой ночи, и когда в нашем доме устраивались концерты, он играл очень длинные вещи, а другие кое-как ему аккомпанировали на скрипках, контрабасах, флейтах и валторнах. Когда доигрывали одну из таких длинных пьес, все очень громко кричали: «Браво, браво! Какой прекрасный концерт! Какое совершенное, искусное исполнение!» — и с благоговением произносили имя Эммануила Баха¹. Однако отец всегда так гремел и барабанил, что мне казалось, будто это вовсе не музыка, — она представлялась мне трогательной мелодией, — будто отец играет просто ради забавы и другие тоже забавляются. В таких случаях меня всегда одевали в праздничное платье, я сидел на высоком стульчике рядом с матерью и слушал, стараясь не шевелиться. Время тянулось невыносимо медленно; я бы не мог этого выдержать, если бы меня не развлекали странные гримасы и смешные движения музыкантов. Особенно хорошо запомнился мне один старый адвокат, который всегда сидел рядом с отцом и играл на скрипке; говорили, что он необычайный энтузиаст, что музыка доводит его до умопомешательства, что гениальные произведения Эммануила Баха, Вольфа², Бенды³ вызывают у него безумную экзальтацию и потому он не попадает в тон и не держит такта. Этот человек и сейчас стоит у меня перед глазами. Он носил сюртук цвета сливы с золочеными пуговицами, маленькую серебряную шпагу и рыжеватый, слегка напудренный парик, на конце которого болтался маленький кошелек. Адвокат все делал с неопишуемой комической серьезностью. «Ad opus!»^{*}, — любил он восклицать в тот момент, когда отец расставлял на пюпитрах ноты. Потом брал скрипку правой рукой, левой снимал парик и вешал его на гвоздь. Играя, он всё ниже и ниже склонялся к нотам; красные глаза его сверкали и выкатывались из орбит, на лбу выступали капли пота. Случалось, что он кончал играть раньше остальных, чему крайне удивлялся, и очень злобно на всех поглядывал. Мне часто казалось, что скрипка его издает звуки, похожие на те, которые соседский Петер, испытывая с естественнонаучной целью музыкальные способности кошек, извлекал из нашего домашнего кота, ловко прищемляя ему хвост, за что и бывал бит отцом (я разумею Петера). Словом, сливоцветный адвокат — звали его Музевий — вполне вознаграждал меня за смиренное сидение: меня крайне забавляли его гримасы, смешные прыжки и даже его пиликанье.

Однажды он произвел настоящий переполох. Все бросились к нему, отец выскочил из-за рояля, — думали, что с адвокатом страшный припадок: дело в том, что он сначала стал слегка трясти головой, потом в нарастающем *crescendo* продолжал дергать ею все сильнее и сильнее и при этом, водя смычком по струнам, производил неприятнейшие звуки, щелкал языком и топал ногами. Оказалось, что виною всему была маленькая назойливая муха: жужжа и кружась на одном месте с невозмутимой на-

* За дело! (лат.).

стойчивостью, она садилась на нос адвокату, хотя он и отгонял ее тысячу раз. Это и привело его в дикое бешенство.

Иногда сестра моей матери⁴ пела какую-нибудь арию. Ах, как я радовался этому! Я очень любил тетушку. Она много со мной возилась и часто прекрасным своим голосом, проникавшим мне в душу, пела мне чудесные песни. Они так запечатлелись у меня в уме и сердце, что я и теперь могу тихонько их напеть. Те вечера, когда тетушка исполняла арии Гассе⁵, Траэтты⁶ или какого-нибудь другого композитора, были особенно праздничными — в этих случаях адвокату не разрешали играть. Когда играли вступление и тетушка еще не начинала петь, у меня уже замирало сердце, необычайное — и радостное и печальное — чувство охватывало меня с такою силой, что я едва сдерживал себя. Но стоило тетушке пропеть одну только фразу, как я принимался горько плакать и, напутствуемый отцовской бранью, изгонялся из залы. Часто отец спорил с тетушкой: она утверждала, что мое поведение объясняется вовсе не тем, что музыка действует на меня неприятным, отталкивающим образом, а скорее чрезмерной моей впечатлительностью. Но отец называл меня глупым мальчишкой, который выражает свое неудовольствие воем, словно какой-нибудь антимузыкальный пес. Защищая меня и даже приписывая мне глубоко сокрытое музыкальное чувство, тетушка главным образом основывалась на том обстоятельстве, что очень часто, когда отец случайно оставлял рояль открытым, я целыми часами подбирал благозвучные аккорды и находил в этом удовольствие. Если мне удавалось нажать обеими руками три, четыре даже шесть клавиш, издававших чудесные, нежные звуки, то я без устали повторял эти полюбившиеся мне аккорды. Я клал голову на крышку рояля, закрывал глаза и переселялся в другой мир; но потом начинал горько плакать, сам не зная — от радости или от горя. Тетушка часто меня подслушивала и умилялась, отец же считал все это детской шалостью. По-видимому, оба они, не только в отношении меня, но и по другим вопросам, в особенности, касающимся музыки, держались противоположных мнений. Тетушке очень нравились музыкальные произведения, написанные преимущественно итальянскими композиторами — просто и безо всякой пышности. Отец, будучи человеком резким, считал такую музыку пустозвонной и неспособной завладеть вниманием слушателя. Отец все время толковал о рассудке, тетушка — о чувстве. Наконец она добилась того, что отец взял мне в учителя музыки старого кантора, исполнявшего партию альты на наших домашних концертах. Но — праведное небо! Скоро выяснилось, что тетушка меня переоценила, отец, напротив, оказалась прав. Как утверждал кантор, мне никак нельзя было отказать в чувстве ритма, в способности усваивать мелодию. Но все портила моя необычайная неповоротливость. Когда надо было разучить упражнение, я садился за рояль с твердым намерением быть прилежным, но очень скоро заводил свою игру в аккорды и дальше этого не шел. С неописуемым трудом разучил я несколько тональностей, пока не дошел до безнадежно трудной с четырьмя диезами. До сих пор отлично помню, что она

называется E-dur! На нотном листе большими буквами было написано: «Scherzando presto»⁷. Кантор проиграл эту пьеску, и мне очень не понравился ее какой-то подпрыгивающий, отрывистый характер. Ах, сколько слез, сколько поощрительных шлепков злополучного кантора стоило мне это проклятое presto! Наконец наступил страшный для меня день, когда я должен был блеснуть приобретенными мною познаниями и сыграть все разученные пьески перед отцом и его музыкальными друзьями. Я все знал хорошо, кроме ужасного E-dur'ного presto. Накануне вечером, я, ожесточившись, сел за рояль и решил во что бы то ни стало сыграть эту вещь без ошибки. Сам не знаю, как случилось, что я стал играть на клавишах, находившихся совсем рядом с теми, которые мне полагалось нажимать. Это мне удалось, — пьеса сразу сделалась легче, и я не пропустил ни одной ноты, хотя играл на других клавишах. Мне даже показалось, что вещь стала звучать гораздо красивее, чем когда ее играл мне кантор. На сердце у меня стало легко и весело. На следующий день я смело сел за рояль и бодро заиграл свои пьески. Отец по временам восклицал: «Не ожидал, не ожидал этого!» Когда Scherzo было сыграно, кантор очень ласково сказал: «Это трудная тональность E-dur»; а отец обратился к присутствующему здесь приятелю: «Посмотрите, как хорошо усвоил мальчик трудную тональность E-dur». — «Извините, уважаемый, — возразил приятель. — Это F-dur». — «Да нет же, нет», — спорил отец. «Конечно да, — настаивал приятель. — Сейчас мы это проверим». Оба подошли к роялю. «Смотрите», — торжествуя воскликнул отец, указывая на четыре диеза. «А все-таки мальчик играл в F-dur», — твердил приятель. Я должен был еще раз сыграть пьесу и сделал это очень непринужденно. Мне было не совсем ясно, о чем они так серьезно спорили. Отец взглянул на клавиши, и едва я взял несколько нот, как отцовская рука схватила меня за ухо. «Сумасбродный, глупый мальчишка», — закричал он вне себя от гнева. Крича и плача, я убежал прочь, и этим навсегда закончились мои занятия музыкой. Тетушка находила, что, сыграв пьесу без оплошности в другой тональности, я выказал подлинный музыкальный талант. Но я и сам теперь думаю, что отец был прав, отказавшись учить меня играть на каком бы то ни было инструменте, ибо моя неповоротливость, отсутствие гибкости и ловкости пальцев все равно не привели бы ни к чему.

Кажется, это отсутствие гибкости свойственно и моим умственным способностям. Очень часто, слушая игру признанных виртуозов, вызывающую общий шумный восторг, я испытываю скуку, отвращение, тоску, и, поелику я не могу удержаться и честно высказываю свое мнение, вернее, ясно выражаю мое внутреннее ощущение, я предаю себя на осмеяние благонамеренной, упоенной музыкой толпы. Разве так не случилось совсем недавно, когда один знаменитый пианист проездом посетил наш город и должен был играть у одного моего приятеля? «Сегодня, дорогой мой, — сказал он мне, — вы, наверное, излечитесь от неприязни к музыке. Вы будете восхищены, потрясены игрой знаменитого Y!» По нечаянности на

концерте я оказался возле самого рояля. Знаменитый виртуоз принялся раскатывать звуки вверх и вниз по клавишам, поднял страшный грохот, и это длилось так долго, что мне стало дурно, у меня закружилась голова. Вскоре мое внимание привлекло нечто другое: совсем не слушая исполнителя, я, должно быть, очень пристально смотрел на рояль, потому что, как только пианист перестал греметь и бесноваться, приятель схватил меня за руку и воскликнул: «Да вы совсем окаменели! Ну что, голубчик, чувствуете вы наконец глубокое, пленительное воздействие небесной музыки?» Тогда я честно признался, что, собственно говоря, очень мало слушал пианиста, а от души забавлялся, глядя, как быстро опускались и поднимались молоточки, как пробежал по их суставам резвый огонь. В ответ на мое признание все разразились хохотом.

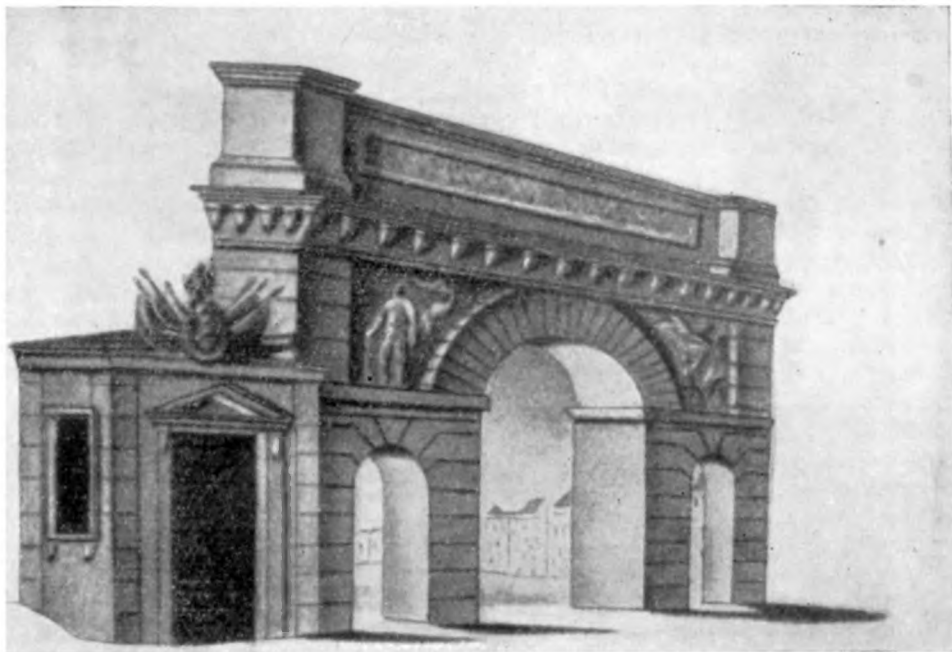
Сколько часто называют меня бесчувственным, бессердечным, бездушным, замечая, что я тотчас убегаю вон из комнаты, как только открывают крышку рояля или какая-нибудь дама берет в руки гитару и, откашливаясь, собирается запеть, ибо я наверное знаю, что от обычной домашней музыки мне становится дурно, и у меня на самом деле расстраивается желудок. Это сущее наказание, и за это меня презирают в изысканном обществе. Я хорошо знаю, что такой голос, как у моей тетушки, такое пение глубоко проникают мне в сердце и будят в нем невыразимое чувство: оно кажется мне неземным блаженством, и потому я не могу определить его земными словами. Но именно потому, слушая такую певицу, я не в силах выразить свое восхищение громогласно, как другие. Я молчу, прислушиваясь к своему сердцу, в котором еще звучит пенье замолкнувшей певицы. И за это меня обвиняют в холодности, бесчувствии, называют врагом музыки!

Через дорогу от меня живет концертмейстер. Каждый четверг у него играют квартеты. В летнее время до меня доносится малейший звук: обычно играют по вечерам, когда затихает улица, и при раскрытых окнах. Я сажусь на диван, слушаю с закрытыми глазами и блаженствую. Но только во время исполнения первого квартета. Звуки следующего начинают смешиваться, как будто борются с еще живущими во мне мелодиями первого квартета. Третий я уже не в состоянии слушать и бегу прочь. Концертмейстер не один раз меня высмеивал за то, что музыка обращает меня в бегство. Я слышал, что они играют подряд по шесть-восемь таких квартетов, и искренне удивлялся необычайной крепости их духа, внутренней музыкальной силе, которые необходимы для одновременного восприятия такого большого количества музыки и для того, чтобы в своем исполнении воплотить в жизнь все глубоко прочувствованное и продуманное. То же самое случается со мною на концертах, где очень часто первая прослушанная симфония вызывает во мне такое смятение, что для всего остального я перестаю существовать. Да, иногда первая часть так меня возбуждает, так мощно потрясает, что мне хочется уйти от людей, чтобы пристальнее взглядеться в причудливые, пленительные видения, примкнуть к их диковинному танцу и, очутившись среди них, стать им

подобным. Тогда мне чудится, что прослушанная музыка — это я сам. Поэтому я никогда не справляюсь об имени композитора: это мне совершенно безразлично. Мне представляется, будто где-то очень высоко движется бесплотное нечто и будто я сам участвовал в создании этого чуда.

Все это я пишу только для себя. И вдруг мне делается жутко, страшно: что, если мое природное простодушие и откровенность заставят меня об этом проговориться? Как жестоко буду я осмеян! Некоторые отъявленные музыкальные головорезы станут, пожалуй, сомневаться, в здравом ли я уме? Когда я после первой симфонии спешу выйти вон из зала, мне кричат вслед: «Вот он бежит, враг музыки!» — и жалеют меня, ибо в наше время общество вправе требовать, чтобы каждый образованный человек не только умел изящно раскланиваться и рассуждать о том, чего он не понимает, но и любил музыку и занимался ею. Несчастье мое в том, что от этих занятий я принужден спасаться бегством в одиночество, где вечно бушующая стихия извлекает чудесные звуки из шелеста дубовых листьев над моей головой, из журчания ручья; они таинственно переплетаются с мелодиями, живущими в глубине моего существа, и, внезапно загораясь, воплощаются в дивную музыку. В опере мне также весьма сильно вредит моя ужасная неспособность быстро усваивать музыку. Иногда мне кажется, что все это не более, как приятный музыкальный шум, — он прекрасно разгоняет скуку, еще лучше — грустное настроение, наподобие того, как отгоняют от каравана диких зверей, изо всех сил ударяя в литавры и цимбалы. Но когда чувствуешь, что действующие лица оперы не могут говорить иначе, как могучим языком музыки, что волшебное царство открывается перед тобою, как восходящая звезда, тогда я не в силах противиться урагану — он подхватывает меня, грозя швырнуть в бесконечность. Такие оперы я слушаю по нескольку раз, и все светлее и лучезарнее становится у меня на душе, образы выплывают из густого тумана, обступают меня, и я чувствую их дружескую ласку, и мы вместе уносимся куда-то в блаженном порыве. «Ифигению» Глюка я прослушал, пожалуй, раз пятьдесят. Настоящие знатоки музыки справедливо смеются над этим и говорят: «Эту оперу мы раскусили с первого раза, а прослушав в третий, пресытились ею».

Злой демон преследует меня, принуждает невольно делаться смешным и выставлять в комическом виде свое враждебное отношение к музыке. На днях, желая сделать любезность приезжему другу, я пошел с ним в театр. Давая оперу, и в то время как на сцене производили ничего не говорящий музыкальный шум, я стоял в глубокой задумчивости. В эту минуту сосед толкнул меня и сказал: «Какое превосходное место!» Я подумал, — да в тот момент я и не мог подумать ничего другого, — что сосед говорит о месте в партере, где мы как раз находились, и совершенно чистосердечно ответил: «Да, место хорошее, хотя немножко сквозит!» Собеседник мой долго смеялся, и анекдот о враге музыки облетел весь город. Всюду меня поддразнивали сквозняком в опере, а ведь я был прав.



Эскиз декорации к „Водоносу“ Керубини работы Гофмана

Кто поверит, что все-таки на свете существует настоящий, истинный музыкант и сейчас разделяющий мнение тетушки о моих музыкальных способностях?

В самом деле, никто не придаст большого значения приговору этого музыканта, если я объявлю, что это не кто иной, как капельмейстер Иоганнес Крейслер, которого достаточно славили за его чудачества. Но я-то сам немало горжусь тем, что он не гнушается петь и играть, повинуюсь велению моего внутреннего чувства, и музыка его радует и возвышает меня. На днях, когда я пожаловался ему на свою музыкальную беспомощность, он сравнил меня с тем учеником в храме Саисском, который хоть и казался более неловким, чем остальные ученики, все-таки нашел чудесный камень, столь усердно, но тщетно разыскиваемый другими. Я не понял его, так как он ссылался на сочинения Новалиса, а я их не читал. Сегодня я послал за ними в библиотеку, но, должно быть, не получу их: они замечательны, и, следовательно, ими зачитываются.

Нет, я все-таки получил Новалиса, — два небольших тома. Библиотекарь просил передать мне, что я могу держать их сколько угодно, так как

на них совсем нет спроса. Он не мог сразу найти этих книг потому, что куда-то заложил их, считая никому не нужными. Посмотрю-ка я сейчас, что такое случилось с учениками в Саисе⁸.

6. ОБ ОДНОМ ИЗРЕЧЕНИИ САККИНИ¹ И ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЭФФЕКТАХ

Вот что рассказывается в музыкальном словаре Гербера² о знаменитом Саккини. Когда Саккини был в Лондоне и обедал у известного гобоиста Лебрена³, кто-то повторил обвинение, которое немцы и французы часто предъявляют итальянским композиторам, — что последние недостаточно модулируют⁴. «Мы модулируем в церковной музыке, — сказал Саккини. — Здесь внимание не рассеивается сценическим действием, как это бывает в театре, и слушатель может легче следить за искусными изменениями тональности. Но писать музыку для театра надо проще и понятнее, надо умилять сердце, а не поражать ум. Надо быть понятным самому неискушенному слушателю. Тот, кто, не меняя тональности, подает мелодию в измененном виде, выказывает больше таланта, нежели тот, кто меняет тональность ежеминутно».

Этим своим удивительным изречением Саккини определяет все направление итальянской оперной музыки того времени. Итальянцы не додумались до того, что слово, действие и музыка в опере должны сливаться в одно целое и это нераздельное целое должно производить на слушателя единое, общее впечатление. Музыка была для них скорее случайной спутницей представления и лишь иногда выступала в виде самостоятельного и самодовлеющего искусства. Потому и случилось, что в итальянских операх, несмотря на развитие действия, музыка оставалась невыразительной и бледной, и только партии примадонны и первого тенора в их так называемых сценах можно было счесть выразительной, вернее, настоящей музыкой. Здесь опять-таки требовалось, нисколько не сообразуясь с ходом театрального действия, блеснуть только пением, часто даже одним только вокальным мастерством.

Саккини не признает за оперной музыкой права волновать и потрясать слушателя. Он предоставляет это церковной музыке. В театре, по его мнению, должны иметь место только приятные или хотя бы не слишком захватывающие чувства. Не удивление хочет он возбуждать, а тихую умиленность. Как будто опера, уже по самой своей природе, соединяющей индивидуализированную речь с всеобщим музыкальным языком, не производит величайшего и чрезвычайно глубокого впечатления на человеческую душу. Необычайной простотой, а вернее — монотонностью, Саккини хочет сделаться понятным даже неискушенному слушателю. Но ведь именно в том и заключается поистине высшее искусство композитора, что правдивостью выраженных чувств он трогает и потрясает всякого слушателя, как того требует тот или иной момент действия, и что сам

он, подобно поэту, создает такие моменты. Все средства, предоставленные ему неисчерпаемым богатством музыки, находятся в его распоряжении, и он пользуется ими, поскольку они нужны ему для художественной правды. И в этом случае искуснейшие модуляции, их быстрая смена в надлежащий момент, будут совершенно понятны самому неискушенному слушателю, ибо он воспримет не техническую структуру, что вовсе и не важно, а будет мощно захвачен самим развитием действия. В «Дон Жуане» статуя Командора произносит свое страшное «да» в основном тоне E^5 , а композитор берет это E как терцию от C и таким образом модулирует в C -dur. Тон этот подхватывает Лепорелло. Ни один профан не поймет технической структуры этого перехода, но содрогнется душою вместе с Лепорелло. Так же мало будет думать об этой структуре в минуту глубочайшего волнения и музыкант, стоящий на высокой ступени искусства, ибо ему она раскрылась сразу и теперь он оказывается в одинаковом положении с профаном.

Настоящая церковная музыка, то есть сопровождающая церковное богослужение или, можно сказать, сама по себе являющаяся культом, кажется нам неземной — глаголом небес. Предчувствие высшего существа, зажженное священными звуками в человеческом сердце, уже есть присутствие самого высшего существа: понятным языком музыки говорит оно о беспредельно прекрасном царстве веры и любви. Слова, сопутствующие мелодии, случайны и содержат, как, например, в мессе, большую частью образные представления. Семена зла, породившие людские страсти, остались в земной жизни, — мы отрешились от нее, и сама скорбь преобразилась в страстное томление о вечной любви. Не следует ли из этого само собой, что простые модуляции, выражающие тревожные, смятенные чувства, должны быть прежде всего изгнаны из церковной музыки, ибо они подавляют душу и отягощают ее мирскими, земными помыслами? Таким образом, изречение Саккини следует понимать в обратном смысле, хотя он, ссылаясь, главным образом, на мастеров своей родины и, конечно, имея в виду старейших, под модулированием в церковной музыке разумеет только изобилие гармонического материала. Услышав в Париже произведения Глюка, он, должно, быть, переменил свое мнение, иначе не написал бы, противореча им самим высказанному положению, сильную, глубоко захватывающую сцену проклятия в своей опере «Эдип в Колоне»⁶.

Ту истину, что слова, действие и музыка в опере должны составлять единое целое, впервые ясно доказал своими произведениями Глюк. Но какая истина не истолковывается ложно и не порождает самых странных недоразумений? Существует ли мастерское произведение, не породившее смехотворных, нелепых подражаний? Близорукие умы, неспособные постичь сущность творений великого гения, воспринимают их как изуродованную картину: они или подражают ей, или высмеивают отдельные ее части. Гетевский Вертер породил в свое время слезливую чувствительность. «Гец фон Берлихинген» вызвал неуклюжие подражания, подобные пустым

доспехам, — они гулко звучат грубой наглостью и прозаически тупой глупостью. Сам Гете говорит («Из моей жизни»⁷, третья часть): «Действие этих сочинений большей частью было только формальным». Можно утверждать, что впечатление от сочинений Глюка и Моцарта, независимо от текста в чисто музыкальном смысле было также формальным. Внимание было устремлено на форму музыкального сооружения, высокая мудрость, одухотворявшая эту форму, не была воспринята. В результате наблюдений такого рода открыли, что удивительное действие сочинений Моцарта обусловлено, помимо разнообразных, поразительных модуляций, также и частым применением духовых инструментов. Вот почему и стали бессмысленно усложнять инструментовку и прибегать к странным, необоснованным модуляциям. Эффектность сделалась лозунгом композиторов. Во что бы то ни стало произвести эффект — было их единственным стремлением и целью. Но это стремление к эффекту доказывает, что эффект как раз тогда и отсутствует, когда он нужен композитору, и что достичь его вообще нелегко. Одним словом, чтобы растрогать и властно захватить слушателя, художник сам должен быть проникнут глубоким чувством, и только умение с величайшей силой запечатлеть в звуковых иероглифах (в нотах) то, что бессознательно воспринято душой в минуту экстаза, есть подлинное искусство композитора. Если молодой композитор спрашивает, что надлежит сделать, чтобы написать выдающуюся оперу, то ему можно ответить только одно: прочти поэтическое произведение, устрями к нему все свои умственные силы, со всей мощью воображения вникни в развитие событий, воплотись в действующих лиц, стань сам тираном, героем, возлюбленным. Восчувствуй горе, любовный восторг, стыд, страх, ужас, неописуемые смертные муки, радость блаженного просветления! Гневайся, надейся! Приходи в бешенство, в отчаянье. Пусть кровь кипит у тебя в жилах, быстрее бьется сердце. От огня вдохновения, воспламенившего твою грудь, загорятся звуки, мелодии, аккорды, и тогда из глубины твоей души, говоря чудесным языком музыки, выльется твое произведение. Достигая технического совершенства изучением гармонии и творений великих мастеров, а также собственными творческими упражнениями, ты будешь все яснее чувствовать звучащую в тебе музыку, и от тебя не ускользнет ни одна мелодия, ни одна модуляция, ни один инструмент. Таким образом ты одновременно научишься воздействовать на слушателя, обретишь необходимые для этого средства и заключишь их, как подвластных твоему могуществу духов, в волшебную книгу партитуры. В сущности говоря, это значит: «Будь любезен, милый, постарайся стать истинным музыкальным гением! Остальное приложится». Но ведь это действительно так, а не иначе!

Несмотря на это думается, что многие заглушают в себе живую искру таланта, когда, не доверяя собственным силам, пренебрегая зарождающимися в душе мыслями, стремятся использовать все наиболее блестящее в сочинениях великих мастеров. Таким образом они впадают в слепое подражание форме, которая никак не может породить из себя



*Человек в сером.
Рисунок Гофмана к повести Шамиссо
„Необычайные приключения Петера Шлемиля“ (январь. 1815 ?)*



Автопортрет Гофмана с физиономическими пояснениями (1815—1816)

- | | |
|---|---|
| <p>a. Нос.
 b. Лоб.
 c. Глаза.
 d. Бифштекс по-даллахски и портвейн.
 e. Ироническая складка, или сказочная мышца.
 f. Выдающийся подбородок, отклоненные псы („Бландина“).
 g. Новоприобретенные волосы, или в некотором роде призрачные видения.
 h. Галстук.
 i. Воротничок.</p> | <p>k. Рукав со своевольными складками.
 l. Бакенбарды, или неочнувшиеся мысли лунатика.
 m. Мефистофельский мускул, или мстительность и кровожадность — „Эликсиры сатаны“.
 n. Отсутствует.
 o. Ухо, или же „Аттестат Крейсlera“, который не был никем ни услышан, ни понят.
 p. И так далее.</p> |
|---|---|



*Автопортрет Гофмана,
выполненный по предыдущему наброску*



*Карл Фридрих Кунц.
Рисунок Гофмана*

дух, ибо только дух создает форму: «Дайте нам что-нибудь эффектное!» Этот вечный вопль театральных директоров, желающих, выражаясь обычным языком подмостков, схватить публику за шиворот, а также требования так называемых привередливых знатоков, для которых и перец недостаточно едок, — все это часто приводит в малодушное отчаянье музыкантов, мечтающих елико возможно перещеголять эффектностью настоящих мастеров. Таким образом создаются удивительные сочинения, где без всякого основания, то есть без согласованности с соответствующими местами поэтического произведения, нагромождены резкие отклонения, мощные аккорды всевозможных духовых инструментов, словно пестрые краски, из которых никогда не возникнет целой картины. Композитор похож на заспанного человека: каждую минуту его будят удары молота, но он тотчас засыпает снова. Такие музыканты крайне удивляются, что, несмотря на их мучительные усилия, творения их отнюдь не производят ожидаемого впечатления. При сем эти авторы забывают, что музыка, созданная их собственным гением, вылившаяся из глубины их существа и казавшаяся им чересчур незатейливой, чересчур бессодержательной, быть может, произвела бы бесконечно большее действие. Робость и малодушие ослепили их, помешали правильно понять взятые за образец мастерские произведения, потому-то они и ухватились за внешние средства, полагая, что именно в них заключен секрет успеха. Но, как было сказано выше, один только дух, по произволу своему повелевая внешней формой, безраздельно господствует в этих произведениях. Только искренне и мощно вылившееся из глубины души произведение проникает в душу слушателя. Духу понятен только язык духа.

Поэтому невозможно установить правила, как добиваться эффекта в музыкальном произведении. Но когда композитор, потеряв согласие с самим собой, теряет направление, словно ослепленный блуждающими огнями, некоторые руководящие намеки могут вывести его на правильный путь.

Первое и самое главное в музыке — мелодия. Чудесной волшебной силой потрясает она человеческую душу. Нечего и говорить, что без выразительной, певучей мелодии всякие ухищрения инструментовки и т. д. — только мишурная отделка: она не служит украшением живого тела, а, как в шекспировской «Буре», висит на веревке и влечет за собою глупую толпу⁸. Певучесть в высшем смысле слова есть синоним подлинной мелодии. Мелодия должна быть песней и свободно, непринужденно струиться непосредственно из груди человека. Ведь он тоже инструмент, из которого природа извлекает чудеснейшие, таинственнейшие звуки. Мелодия, не обладающая певучестью, остается рядом разрозненных звуков, напрасно пытающихся стать музыкой. Непостижимо, до какой степени в последнее время пренебрегают мелодией, особенно с легкой руки одного непонятого музыканта (Керубини⁹). Мучительные попытки поражать и быть оригинальным во что бы то ни стало совершенно лишили певучести многие музыкальные произведения. Отчего незатейливые песни старых

итальянских композиторов, иногда с аккомпанементом одного только баса. так глубоко нас трогают и вдохновляют? Не в великолепной ли певучести здесь дело? Вообще песня — неотъемлемое, прирожденное достояние этого воспламененного музыкой народа. Немецкий композитор, даже если он достиг высшего, то есть истинного понимания оперной музыки, должен всячески сближаться с творцами итальянской музыки для того, чтобы они могли тайной волшебной силой обогащать его внутренний мир и зарождать в нем мелодии. Превосходный пример этого искреннего содружества дает высокий мастер музыкального искусства Моцарт, в чьем сердце зажглась итальянская песня. Какой другой композитор создал такие певучие произведения? Даже без оркестрового оформления каждая его мелодия глубоко потрясает, и этим-то и объясняется чудесное действие его творений.

Что же касается модуляций, то поводом для них может быть только содержание самого произведения, они должны проистекать из движения чувств, и в той же мере как чувства эти могут быть спокойны, сильны, величественны, зарождаются постепенно или нахлынуть внезапно, так и композитор, в котором заложен дивный природный дар — чудесное искусство гармонизации, лишь усовершенствованное изучением техники, — композитор легко сможет установить, когда надо переходить в родственные тональности¹⁰, когда в отдаленные, когда делать это постепенно, когда неожиданно смело. Настоящий гений не стремится к тому, чтобы поразить своими лжеискусными ухищрениями, превращающими искусство в отвратительную искусственность. Он только закрепляет на бумаге звуки, какими говорило с ним вдохновение. Пусть же музыкальные грамматисты, приняв такие творения за образец, пользуются ими для своих упражнений. Мы далеко бы зашли, заговорив здесь о глубоком искусстве гармонии, заложенном в нашем сознании, о том, как ищущему открываются таинственные законы этого искусства, коих не найти ни в одном учебнике. Указывая лишь на одно явление, замечу, что резкие модуляции только тогда производят сильное действие, когда, невзирая на свою разнородность, тональности все же находятся в тайном, но понятном музыканту родстве. Пусть вышеупомянутое место в дуэте из «Дон Жуана» послужит этому примером. Сюда относятся и энгармонизмы¹¹, — неумелое употребление их часто высмеивают, но именно они заключают в себе это скрытое родство, и во многих случаях нельзя сомневаться в их могущественном воздействии на слушателя. Иногда будто некая таинственная симпатическая нить связывает тональности, далеко отстоящие друг от друга, а при известных обстоятельствах будто некая неопределимая идиосинкразия разъединяет даже родственные тональности. Обыкновенная, наиболее часто встречающаяся модуляция, именно из тоники в доминанту и наоборот, иногда кажется неожиданной и неуместной и даже невыносимой.

Конечно, поражающее впечатление, производимое гениальным творением великого мастера, в значительной мере зависит также от инструментовки. Но мы едва ли возьмем на себя смелость установить здесь хотя бы

одно-единственное правило: этот раздел музыкального искусства окутан мистическим мраком. Каждый инструмент, производя в каждом отдельном случае то или иное впечатление, заключает в себе сотню других возможностей. Смешно и бессмысленно думать, что только совместное их звучание может быть выразительным и мощным. Иногда единственный звук, изданный тем или иным инструментом, вызывает внутренний трепет. Ярким примером тому служат многие места в операх Глюка; а чтобы оценить все разнообразие впечатлений, какое способен создать каждый инструмент, стоит только вспомнить, как многообразно и эффектно использует Моцарт один и тот же инструмент, например гобой. Об этом нельзя сказать ничего определенного. Если сравнивать музыку с живописью, то музыкальная поэма предстанет в душе художника в виде законченной картины, и, глядя на нее, он сам найдет верную перспективу, без которой невозможно правдивое изображение. К инструментовке относятся и различные фигуры сопровождающих инструментов¹². Как часто такая правильно осознанная фигура придает величайшую силу правдивому музыкальному выражению. Как глубоко потрясает, например, проходящая в октавах фигура второй скрипки и альты в арии Моцарта «Non mi dir bel idol mio»^{* 13} и т. д. Фигуры также нельзя придумывать и вставлять искусственно. Живые краски музыкального творения ярко оттеняют мельчайшие его подробности, и всякое лишнее украшение только искажает, а не улучшает целое. То же самое можно сказать о выборе тональности, о forte и piano — смена их должна определяться внутренним содержанием произведения, их нельзя применять произвольно, для одного лишь разнообразия, так же как и другие второстепенные выразительные средства, находящиеся в распоряжении музыканта.

Пусть утешится композитор, снедаемый сомнениями, павший духом, гонящийся за эффектами: если только он талантлив, то, по-настоящему глубоко проникаясь творениями мастеров, он войдет в таинственное соприкосновение с их духом, и дух этот воспламенит его дремлющие силы, доведет его до экстаза. Тогда, пробужденный от смутного сна к новой жизни, услышит он чудесные звуки своей внутренней музыки. Изучение гармонии, технические упражнения дадут ему силу запечатлеть эту музыку, не дать ей ускользнуть. Вдохновение, породившее его детище, чудодейным своим отзвуком мощно захватит слушателя, и он разделит блаженство, объявшее музыканта в минуту творчества. В этом подлинный эффект вылившегося из глубины души музыкального произведения.

7. АТТЕСТАТ ИОГАННЕСА КРЕЙСЛЕРА

Милый мой Иоганнес! Так как ты задумал бросить ученье и пуститься в странствие по белу свету, то мне, твоему учителю, полагается положить тебе в дорожный мешок аттестат, который ты вместо паспорта можешь

* Нет, [жестоккой,] милый друг мой, ты меня не называй (ит.).

предъявлять любым музыкальным гильдиям и обществам. Я бы мог это сделать без долгих рассуждений. Но вот гляжу я на тебя в зеркало, и у меня сжимается сердце. Мне еще раз хочется высказать тебе все, что мы вместе передумали и перечувствовали за время твоего учения, когда выдавались минуты раздумья. Ты понимаешь, о чем я говорю. Мы оба грешим тем, что, когда один из нас говорит, другой тоже не держит язык за зубами. Поэтому, пожалуй, будет лучше, если я выражу свои мысли письменно, в виде некоей увертюры, которую при случае тебе будет полезно и поучительно перечесть. Ах, милый Иоганнес! Кто знает тебя лучше, чем я, не только заглядывавший тебе в душу, но даже в нее вселившийся? Полагаю, что и ты изучил меня в совершенстве: именно потому наши отношения всегда были натянутыми, хоть мы и обменивались друг о друге самыми разнообразными мнениями. Иногда мы казались себе необычайно мудрыми, даже гениальными, иногда немножко взбалмошными и глупыми, даже бестолковыми. Видишь ли, дорогой мой ученик, в предыдущих строках я употреблял местоимение «мы». Но, пользуясь множественным числом из вежливости и скромности, я полагал, что говорю только о себе самом в единственном числе и что в конце концов мы оба представляем одно лицо. Отрешимся от этой безумной фантазии! Еще раз скажу тебе, милый Иоганнес: кто знает тебя лучше, чем я, и кто имеет больше права и основания утверждать, что теперь ты настолько искушен в своем мастерстве, что можешь начать настоящее ученье.

Ты и в самом деле обладаешь ныне тем, что, по всей видимости, для этого необходимо. А именно: ты так обострил свой слух, что порой слышишь голос поэта, скрытого в твоей душе, выражаясь словами Шуберта¹, и не можешь сказать наверно, кому он принадлежит — тебе ли самому или другому.

Теплой июльской ночью сидел я в одиночестве на замшелой скамье в знакомой тебе жасминовой беседке, когда ко мне подошел молчаливый, приветливый юноша по имени Хризостом² и рассказал о диковинном происшествии, случившемся с ним в дни его ранней юности.

«У моего отца был небольшой сад, — начал он, — примыкавший к лесу, исполненному звуков и песен, где из года в год соловей вил свое гнездо на старом развесистом дереве. У подножья его лежал большой камень, пронизанный красноватыми жилками, поросший каким-то диковинным мхом. То, что отец рассказал об этом камне, походило на сказку. Много, много лет назад, говорил он, в здешний дворянский замок явился неизвестный, статный человек диковинного вида и в диковинном платье. Пришелец всем показался странным. На него нельзя было долго смотреть без тайного страха, но вместе с тем было невозможно отвести от него очарованный взор. За короткое время хозяин замка сильно полюбил его, хотя и признался, что в присутствии незнакомца он как-то странно себя чувствует. Леденящий ужас охватывал его, когда, наполнив кубок, чужестранец рассказывал о далеких неизведанных странах, о диковинных людях и животных, встреченных им в долгих странствиях. Речь незнакомца

вдруг переходила в чудесное пенье, и оно без слов выражало Неведомое, Таинственное. Никто не в силах был отойти от чужестранца, вдоволь не наслушавшись его рассказов. Непонятным образом вызывали они перед духовным взором слушателя смутные, необъяснимые предчувствия, облеченные в ясную, доступную познанию форму. И когда чужестранец, аккомпанируя себе на лютне, пел на незнакомом языке непостижимо звучащие песни, то, зачарованные неземной силой, слушатели думали: не человек это, а, должно быть, ангел, принесший на землю райские песни херувимов и серафимов. Прекрасную юную дочь владельца замка чужестранец опутал незримыми вечными цепями. Он обучал ее пению, игре на лютне, и через короткое время они так тесно сблизились, что в полночь незнакомец часто прокрадывался к старому дереву, где его ожидала девушка. Далеко разносилось ее пение и приглушенные звуки лютни, но так необычайно, так жутко звучали они, что никто не решался приблизиться к месту свидания и тем менее выдать влюбленных. Однажды утром чужестранец внезапно исчез. Напрасно искали девушку по всему замку. Томимый ужасным предчувствием, мучительным страхом, отец вскочил на коня и помчался в лес, в безутешном горе громко выкликая имя дочери. Едва подъехал он к камню, где так часто сходились на тайное свидание незнакомец и девушка, как грива резвого коня встала дыбом, он зафыркал, захрапел и, как заколдованный злым духом, прирос к месту. Думая, что конь испугался диковинного камня, дворянин соскочил с коня, чтобы провести его на поводу, но тут ужас пресек дыханье несчастного отца, и он застыл на месте, увидев яркие капли крови, обильно сочившиеся из-под камня. Егеря и крестьяне, сопутствовавшие владельцу замка, словно одержимые нездешней силой, с превеликим трудом сдвинули камень и нашли под ним несчастную девушку, убитую ударами кинжала, а рядом с ней — разбитую лютню чужестранца. С той поры каждый год соловей вьет гнездо на старом дереве и в полночь поет жалобные, хватающие за сердце песни. А из девичьей крови выросли диковинные мхи и травы, разукрасившие камень необычайными красками. Будучи совсем еще мальчиком, я не смел ходить в лес без отцовского разрешения, но дерево и особенно камень неудержимо влекли меня к себе. Как только калитка в садовой ограде оставалась незапертой, я прокрадывался к моему любимому камню и не мог досыта насмотреться на его мхи и травы, сплетавшиеся в причудливые узоры. Иногда мне казалось, будто я понимаю их тайное значение, вижу запечатленные в них чудесные истории и приключения, похоже на те, что рассказывала мне мать. И, глядя на камень, я снова вспоминал о прекрасной песне, которую почти ежедневно пел отец, аккомпанируя себе на клавичембало³. Эта песня всегда так глубоко меня трогала, что, бросив любимые игры, я готов был без конца слушать ее со слезами на глазах. В те минуты мне приходил на ум мой любимый мох. Понемногу оба они — песня и мох — слились в моем воображении, и мысленно я едва мог отделить одно от другого. В это самое время, с каждым днем сильнее, во мне стала развиваться склонность к музыке, и отец мой,

сам прекрасный музыкант, принялся ревностно заниматься моим обучением. Он думал сделать из меня не только хорошего пианиста, но и композитора, так как я усердно подбирал на фортепьяно мелодии и аккорды, подчас не лишённые смысла и выразительности. Но часто я горько плакал и в безутешной печали не хотел подходить к фортепьяно, потому что, нажимая клавиши, всегда слышал не те звуки, какие хотел услышать. В моей душе струились незнакомые, никогда не слышанные напевы, и я чувствовал, что не отцовская песня, а именно эти напевы, звучавшие мне как голоса духов, и были заключены во мхах заветного камня, словно в таинственных чудесных письменах. Стоит только взглянуть на них с великой любовью, как из них польются песни, и я услышу сияющие звуки прекрасного голоса девушки. И действительно, случалось, что, глядя на камень, я впадал в глубокую мечтательность и слышал чудесное пенье девушки, томившее мое сердце неизъяснимой блаженной печалью. Но когда я сам хотел пропеть или сыграть на фортепьяно так ясно слышанные мелодии, они расплывались и исчезали. Охваченный какой-то детски сумасбродной жаждой чудесного, я закрывал инструмент и прислушивался: не польются ли теперь заветные напевы яснее и полнозвучнее; я думал, что заколдованные звуки живут внутри фортепьяно. Горе мое было безутешно. Разучивая пьесы и упражнения, заданные отцом и мне невыносимо опротивевшие, я изнемогал от нетерпения. Кончилось тем, что я совсем перестал упражняться, и отец, разуверившись в моих способностях, бросил со мною заниматься. Позднее, в городском лицее, любовь к музыке снова пробудилась во мне, но теперь совсем по-иному. Техническое совершенство других учеников побуждало меня с ними сравняться. Я усердно трудился, но чем больше овладевал техникой, тем реже удавалось мне слышать чудесные мелодии, когда-то звучавшие в моей душе. Профессор, преподававший в лицее музыку, старый человек и, как говорили, великий контрапунктист, обучал меня генерал-басу, композиции. Он даже давал указания, как следует сочинять мелодии, и я немало гордился собой, когда мне удавалось выдумать тему, подчинявшуюся всем контрапунктическим правилам⁴. Вернувшись через несколько лет в родную деревню, я почитал себя настоящим музыкантом. В моей комнатке еще стояло старое маленькое фортепьяно, за которым я некогда просидел много ночей, проливая слезы досады. Увидел я и заветный камень, но, набравшись ума, посмеивался теперь над ребяческим сумасбродством, заставлявшим меня высматривать во мху мелодии. Однако я не мог не признаться себе, что уединенное таинственное место под сенью дерева наваяло на меня необычайное настроение. Да, лежа в траве, облокотясь на камень, я услышал в шелесте листьев под ветром дивно-прекрасные голоса духов, и мелодии их песен, давно замолкнувшие в моей груди, снова проснулись и ожили. Каким безвкусным и плоским показалось мне все, что я сочинил! Я понял, что это вовсе не музыка, что все мои старания — бессмысленные потуги бездарности. Мечты ввели меня в свое сверкающее роскошное царство, и я утешился. Я смотрел на камень —

красные жилки проступали на нем, как пурпурные гвоздики, аромат их струился вверх, претворяясь в яркие, звучащие лучи. В протяжном, залихватом соловьином пенье лучи эти уплотнялись, сливались в образ прекрасной женщины, а он, в свою очередь, превращался в чудесную райскую музыку».

Как видишь, милый Иоганнес, в истории Хризостома много поучительного, потому ей и отведено в аттестате почетное место. Сколь явно вмешалась в жизнь Хризостома, разбудив его, высшая сила, наследие далекой сказочной старины! «Наше царство — не от мира сего⁵, — говорят музыканты, — ибо мы не можем найти в природе прообраза нашего искусства, как это делают живописцы и скульпторы». Звук живет везде. Звуки, слитые в мелодию, говорящие священным языком царства духов, заложены только в человеческом сердце. Но разве дух музыки не пронизывает всю природу, подобно духу звуков? Механически раздражаемое, пробуждаемое к жизни звучащее тело заявляет о своем бытии, или, вернее, осознав себя, выявляет свою сущность. Что, если и дух музыки, пробужденный избранником, выражает себя в мелодии и гармонии только тайными, одному этому избраннику понятными звуками? Музыкант, то есть тот, в душе которого музыка воплощается в ясно осознанное чувство, вечно одержим мелодией и гармонией. Не для красного словца, не в виде аллегории утверждают музыканты, что цвета, запахи, лучи представляются им в виде звуков, а сочетание их воспринимается ими как чудесный концерт. Подобно тому как, по остроумному выражению одного физика⁶, слух есть внутреннее зрение, так и у музыканта зрение становится внутренним слухом, способствующим проникновенному осознанию музыки. Она созвучна его духу и исходит от всего, что человек может охватить взглядом. Поэтому внезапное возникновение в его душе мелодий, бессознательное, вернее, невыразимое словами познание и восприятие таинственной музыки природы и является основой жизни и деятельности музыканта. Слышимые звуки природы, завывание ветра, журчание ручья и т. п. представляются музыканту сначала отдельными выдержанными аккордами, затем мелодиями с гармоническим сопровождением. Вместе с познанием крепнет и воля, и разве не может тогда музыкант относиться к окружающей природе, как магнетизер к сомнамбуле: неотступное его хотение будет как бы вопросом, и природа никогда не оставит его без ответа. Чем живее и глубже познание, тем выше значение музыканта как композитора. Способность особой духовной силой овладеть вдохновением, закреплять его в нотных знаках, словах и есть искусство композиции. Это могущество достигается музыкальным образованием, дарующим умение бегло и свободно распоряжаться знаками (нотами). В индивидуализированной речи между словом и звуком существует такая тесная связь, что ни единая мысль не рождается в нас без соответствующего иероглифа (буквы в письме). Музыка остается всеобщим языком природы. Она говорит с нами чудесными таинственными звуками, но напрасно мы стремимся запечатлеть их в знаках. Искусно составленная че-

реда музыкальных иероглифов сохраняет нам лишь слабый намек на то, что мы подслушали. С этим кратким напутствием, милый Иоганнес, подвожу я тебя к воротам храма Изиды, для того чтобы ты прилежно начал свои штудии, и скоро ты очень хорошо поймешь, почему я действительно считаю тебя способным заняться музыкальным усовершенствованием. Покажи этот аттестат тем, кто вместе с тобою стоит у ворот храма, быть может, сам того не сознавая. Объясни также тем, кто не понял рассказа о жестоком чужестранце и дочери владельца замка, что необычайное происшествие, имевшее такое влияние на жизнь Хризостома, есть верная картина телесной гибели, вызванной злой волей враждебных сил и демоническим злоупотреблением музыкой, но вместе с тем и устремления в горные выси, преобразования в звук и песню.

А теперь вы, любезные мастера и подмастерья, собравшиеся у ворот великой мастерской, радушно примите в ваш круг Иоганнеса и не пеняйте ему за то, что пока вы только еще прислушиваетесь, он, быть может, осмелится тихо постучаться в эти ворота. Не гневайтесь, если к вашим четко и красиво начертанным иероглифам примешаются и его каракули: он ведь еще собирается учиться у вас чистописанию.

Будь счастлив, милый Иоганнес Крейслер! Сдается мне, что больше мы с тобой не увидимся. Если тебе не доведется меня встретить, то, надлежащим образом оплавав меня, как Гамлет блаженной памяти Иорика, поставь надо мной мирное *Nic jaset* *.



Пусть этот крест послужит и большой печатью моему аттестату, а я под ним подписываюсь — я, как и ты,

Иоганнес Крейслер
ci-devant ** капальмейстер.

* Здесь поконится (лат.).

** Бывший (фр.).

ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КОТА МУРРА

С ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМ МАКУЛАТУРНЫХ ЛИСТОВ
ИЗ БИОГРАФИИ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА
ИОГАННЕСА КРЕЙСЛЕРА



ТОМ ПЕРВЫЙ



ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Едва ли есть на свете книга, которая нуждается в предисловии больше, чем эта, ибо следует все-таки объяснить, почему она выходит в свет в таком запутанном и странном виде.

Посему издатель умоляет благосклонного читателя во что бы то ни стало прочесть это предисловие.

У вышесказанного издателя есть один приятель, которого можно назвать в полном смысле этого слова закадычным, и каждый из нас знает своего друга буквально как себя самого. И вот этот друг сказал однажды издателю примерно следующее:

«Так как ты, дорогой мой, уже напечатал несколько книг и привык иметь дело с книгопродавцами, то тебе нетрудно будет отыскать среди этих милых господ такого, который по твоей просьбе возьмет на себя труд напечатать нечто, сочиненное одним молодым автором, обладателем блистательного таланта и прочих великолепных качеств. Удостой его своим покровительством, так как он, право, заслуживает этого».

Издатель пообещал сделать все, что только в его силах, для коллегилитератора. Впрочем, он был весьма и весьма удивлен, когда его друг признался ему, что рукопись сия вышла из-под пера некоего кота, отзывающегося на кличку Мурр, и что в манускрипте этом изложены житейские воззрения этого кота; однако ничего не поделаешь, слово было дано, и так как вводные страницы показались ему написанными вполне сносно, то он тотчас, побежал с манускриптом в кармане к господину Дюммлеру¹ на Унтер ден Линден и предложил ему издать кошачье произведение.

Господин Дюммлер высказался в том смысле, что, по правде говоря, до сего времени среди его авторов не было котов, и что ему вообще неизвестно, чтобы кто-нибудь из его дражайших коллег когда-либо имел дело с авторами, принадлежащими к этой породе, но, впрочем, — отчего бы и не попробовать.

Книга пошла в печать, и вскоре к издателю пришли на просмотр первые оттиски набранных страниц. Представьте себе, однако, до чего испуган был издатель, когда убедился, что история Мурра прерывается во многих местах и перемежается с какими-то иными эпизодами, с фрагментами совершенно иной книги, содержащей повествование о жизни капельмейстера Иоганнеса Крейсера.

После тщательного расследования обнаружилось следующее: когда кот Мурр принялся излагать свои житейские воззрения, то он без долгих разговоров растерзал уже напечатанную книгу, которую нашел у своего хозяина, и попросту употребил часть ее листов вместо закладок, а другую часть — в качестве своего рода промокательной бумаги. Эти листы, однако, по недосмотру остались в рукописи и пошли в печать как составляющие с ней единое целое!

Издатель смиренно и с грустью признается, что пестрая смесь чужеродных материалов, к великому сожалению, вызвана к жизни его собственным легкомыслием, поскольку ему следовало внимательно просмотреть рукопись кота, прежде чем отправлять ее в печать. Но все-таки у него остается некоторое утешение.

Во-первых, благосклонный читатель легко найдет выход из создавшегося положения, если примет во внимание замечания в скобках *Мак. л.* («макулатурный лист») и *Мурр пр.* («Мурр продолжает»), да к тому же еще вспомнит, что, по'всей вероятности, книга, растерзанная котом, так и не поступила в продажу, — во всяком случае, никто решительно ничего не знает о ее судьбе. По крайней мере, друзьям капельмейстера будет весьма приятно, хотя бы даже вследствие литературного вандализма кота, получить некоторые сведения о претранных жизненных обстоятельствах человека в своем роде весьма и весьма достопримечательного.

Издатель надеется, что его милостиво простят.

Наконец, разве не правда, что порой авторы обязаны экстравагантностью своего стиля благосклонным наборщикам, которые спешествуют вдохновенному приливу идей своими так называемыми опечатками?

Так, например, издатель во второй части своих «Ночных рассказов»² на стр. 326 говорит о пространных *боскетах*, расположенных в некоем саду. Это показалось наборщику недостаточно гениальным и он превратил поэтому слово «боскеты» в «каскеты».

А вот, например, в рассказе «Мадемуазель де Скюдери»^{*3} хитроумный наборщик заставил вышеупомянутую мадемуазель вместо того, чтобы явиться в черном — тяжелого шелка — «платье», — явиться в черном — тяжелого шелка — «салате» и т. д.

Впрочем, каждому свое! Ни кот Мурр, ни оставшийся неизвестным биограф капельмейстера Крейсера отнюдь не нуждаются в том, чтобы рядиться в чужие перья, и издатель умоляет поэтому благосклонного читателя — более того, настоятельно просит его — прежде чем прочесть эту книжицу — внести в текст некоторые исправления, дабы ему не пришлось думать об обоих авторах лучше или хуже, чем они того заслуживают.

Правда, здесь отмечены лишь главные опечатки, что же касается остальных, то тут мы уповаем на снисходительность нашего благосклонного читателя.

* Карманный альманах для приятного времяпрепровождения в светском обществе. Изд. Гледича, 1820.

страница	строка	напечатано	следует читать
21	17	веселый	невесомый
23	4	задушевный	задушенный
23	21	имя	моими
29	6	пуддинг	пудель
80	20	мышь	лишь
80	24	мой	твой
81	6	новинок	невинных
81	8	методичный	медоточивый
92	5	ватный	важный
107	13	эвфония	какофония
132	3	ухо	эхо
160	13	ощениться	очевидца
160	19	пеликаном	деликатно
166	6	проспектом	прозектор

В заключение издатель считает своим долгом заверить, что он лично познакомился с котом Мурром и нашел его чрезвычайно приятным молодым человеком, пресимпатичным и благовоспитанным. Портрет его, открывающий эту книгу⁴, отличается необыкновенным сходством.

Берлин, ноябрь 1819

Э. Т. А. Гофман

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Робко — с трепетом в груди — передаю я свету кое-какие страницы моей жизни, страницы моих страданий, моих упований, моей тоски, которые в сладостные праздные часы, в часы поэтических вдохновений, вылились из недр души моей.

Устою ли я, смогу ли устоять перед строгим судом критики? Но ведь именно для вас, о чувствительные души, для ваших по-детски чистых сердец, для вас, родственных мне прямодушных и верных натур писал я эти строки, и одна-единственная чудная слеза, пролившаяся из ваших очей, утешит меня, исцелит мои раны, нанесенные мне холодными порицаниями, ледяными укорами бесчувственных рецензентов!

Берлин, май (18—)

Мурр
(*Étudiant en belles lettres* *)⁵

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА, ДЛЯ ПЕЧАТИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ

С уверенностью и спокойствием, неотъемлемо присущим истинному гению, передаю я свету мою биографию, дабы свет научился тому, как можно стать воистину великим котом, дабы свет признал, до чего я великолепен, и стал бы меня любить, ценить, почитать и даже благоговеть передо мной.

* Начинаящий литератор (фр.).

Ежели бы отыскался кто-нибудь, кто решился бы хоть немного усомниться в неоспоримых достоинствах этой из ряда вон выходящей книги, то пусть он не упускает из виду, что имеет дело с котом, обладающим острым рассудком, острым разумом и не менее острыми когтями.

Берлин, май (18—)

Мурр
(*Homme de lettres très renommé*)*

ПРИМЕЧАНИЕ

Вот так история! — Даже предисловие автора, которое отнюдь не предназначалось для печати, взяли и тиснули, как ни в чем не бывало!

Увы, мне больше ничего не остается, кроме того, чтобы просить благосклонного читателя извинить коту-сочинителю уж слишком заносчивый тон этого предисловия и по возможности принять во внимание, что, ежели вникнуть в самоуничтожительные выражения, коими изобилуют предисловия иных стеснительных авторов, тщательно скрывающих свое сомнение, то они не столь уж разительно будут отличаться от предисловия нашего зазнавшегося котика.

Издатель.

* Весьма прославленный сочинитель (фр.).

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ОЩУЩЕНИЯ БЫТИЯ, МЕСЯЦЫ МЛАДОСТИ



Есть все-таки в нашей жизни нечто необычайно красивое, великолепное и возвышенное! «О ты, сладчайший навык бытия!» — восклицает пресловутый героический нидерландец в общеизвестной трагедии¹. Вот так и я, однако не в мгновение горестного расставания с юдолью сей, как вышеупомянутый герой, а совершенно напротив, в тот самый миг, когда меня всего, с головы до пят, пронизывает отраднейшая мысль, что наконец-то этот сладчайший навык бытия вполне пришелся мне по душе, я внезапно ощутил, что бытие, что земное существование вполне пришлось мне впору и, стало быть, мне решительно неохота когда бы то ни было расставаться с дольным миром!

Итак, я полагаю, что та духовная сила, та неведомая мощь, или как там еще именуют распоряжающуюся нашими судьбами первопричину, — одним словом, та неведомая мощь, которая, в известном роде, навязала мне, без моего на то согласия, вышеупомянутый навык, едва ли имела при этом намерения более мрачные, чем тот премилый и преблагодушный добрячок, к коему я пошел в услужение и который никогда не вырывает у меня из-под носа — подсунутую им же — миску с жареной рыбой, в тот самый миг, когда я, вполне уже войдя во вкус, с отменным удовольствием упиваюсь оную рыбу.

О природа, священная и величественная природа! С какою силою наполняют мою взволнованную грудь все твоё очарование и весь твой трепет жизни, — сколь таинственно овеивает меня шелестящее твоё дыхание! Ночь несколько прохладна, и мне хотелось бы... но каждый — читающий ли или же вовсе не читающий сии строки, увь, не сможет постичь все могущество высочайшего моего воодушевления, ибо ему, читателю, или же любому другому человеку, не может быть известно, какой высочайшей точки я достиг, в какие заоблачные выси я воспарил, взлетел и взмыл! — Собственно говоря, правильнее было сказать — вполз и влез — но ведь ни один поэт на свете не считает возможным говорить о ногах своих, даже ежели он четвероног, как я, грешный; стихотворцы предпочитают упоминать о своих крыльях, даже ежели оные крылья отнюдь не дарованы им природой, а являют собой лишь хитроумное приспособление, сооруженное толковым и расторопным механиком. Надо мною небосвод: бездонный звездный купол, весь в замороженно мерцающих лучах полной луны; в се-

ребристо-огненным сиянии высятся вокруг меня крутые крыши и башни. Все больше и больше стихает уличный гомон, все тише и тише становится ночь — надо мною проплывают облака — одинокая голубка, воркуя и как бы испуская страстные стоны, порхает вокруг колокольни! — Ах! — что если бы эта прелестная малютка решилась приблизиться ко мне? — Во мне явно растет и ширится некое, неведомое мне прежде, волшебное чувство, некое восхитительное сочетание мечты и аппетита пронизывает все мое существо с непреодолимою силою! О, ежели бы невинная горлица сия приблизилась ко мне, — я прижал бы ее крепко-накрепко к моему уязвленному любовью сердцу, и никогда, никогда не отпустил бы ее больше! Ах, изменница, она возвращается в голубятню и покидает меня, сидящего на крыше, в полнейшей безнадежности! Увы, до чего же редка в наши скудные, закоснелые, безлюбивные времена истинная симпатия душ!

Так неужели же прямохождение на двух ногах является чем-то настолько величественным, что некий род, именующий себя человеческим, вправе присвоить себе господство над нами всеми, разгуливающими на четвереньках, но зато с куда более развитым чувством равновесия? Впрочем, я знаю, они, человеки, воображают, что сии особые права дает им нечто великое, якобы угнездившееся у них в голове, а именно то, что они называют *разумом*. Я не в силах составить себе точное представление о том, что они, собственно, под этим подразумевают, однако же вполне уверен в том, что, как я могу заключить из кое-каких замечаний моего хозяина и покровителя, разум — это всего лишь способность действовать обдуманно и сознательно, не вытворяя глупостей, — ну да что там, — ведь по части благоразумия и осмотрительности я ни одному человеку решительно не уступаю! — Вообще, я полагаю, что сознание есть дело привычки; все мы вступаем в жизнь и скитаемся затем по оной — сами не ведая как. Во всяком случае, именно так обстояло дело со мной, и, как я полагаю, на всей земле не сыщется ни одного человека, который бы по собственному опыту знал — *как и где* он рожден; все, что он знает на этот счет, основано на традиции, которая к тому же еще сплошь и рядом бывает весьма и весьма недостоверной. Города спорят друг с другом о том, в каком именно из них явился на свет тот или иной великий муж, — итак, вполне понятно, что поскольку мне самому абсолютно ничего определенного не известно по этой части, то так навсегда и останется неустановленным — увидел ли я свет в погребе, на чердаке или же в сарае; или, вернее, не увидел света, а попросту меня впервые заметила моя драгоценнейшая матушка. Ибо, как это свойственно всем моим сородичам, глаза мои в миг рождения были затянуты пленкой. Во мне живет некое смутное и темное воспоминание о каких-то звуках, напоминающих, как я теперь понимаю, рычание и фырканье, — эти-то звуки я теперь и воспроизвожу — почти что против собственной воли, — когда меня разбирает злость. Более четким и, пожалуй, почти уже сознательным мне представляется следующее воспоминание: я нахожусь в каком-то необыкновенно тесном помещении (кладовке, что ли?), стенки коего обиты чем-то мягким; я с тру-

дом ловлю воздух, еле дышу и, опечаленный и уstraшенный, поднимаю жалобный визг. Засим я ощущаю, как нечто проникает в упомянутое тесное помещение и весьма грубо хватает меня за животик, что и дает мне повод впервые осознать и применить на деле ту чудесную силу, которая дарована мне самой природою. Из моих пушистых передних лапок я без малейшего промедления выпустил острые и поворотливые коготки и впился ими в ту самую штуку, которая так грубо схватила меня, и которая, как я впоследствии узнал, не могла быть не чем иным, как человеческой рукою. Тем не менее эта рука извлекла меня-таки из моего тесного закута и швырнула на пол, и сразу же после этого я ощутил два полновесных удара по обеим сторонам моей физиономии, по тем самым местам, где теперь, да будет мне позволено упомянуть об этом, — выросли весьма и весьма благопристойные бакенбарды! Рука, которая, как я теперь могу судить, несколько пострадала из-за вышеупомянутой мышечной игры моих когтистых лапок, отвесила мне несколько оплеух, — вот так я и узнал впервые о моральной причине и о следствии оной моральной причины, и, конечно же, все тот же нравственный инстинкт заставил меня убрать коготки с тем же проворством, с которым я было выпустил их. В дальнейшем эта моя удивительная способность молниеносно втягивать коготки была совершенно справедливо признана актом величайшей *bonhomie** и воистину несравненной учтивости, а самого меня ласково прозвали «бархатной лапочкой»!

Как уже сказано, рука швырнула меня наземь. Вскоре, однако, после этого она вновь схватила меня за голову и так сильно придавила ее, что я угодил мордочкой в жидкость, которую я, сам уж не знаю, как я до этого дошел, — по-видимому, тут действовал какой-то физиологический инстинкт, — начал лакать, что вызвало во мне удивительное внутреннее довольство. Это было, как я теперь знаю, сладкое молоко, — его-то я и пил; я был голоден и насыщался по мере того, как пил его. Вот так и наступила, после познания первичных начал, блаженная пора моего физического воспитания.

Снова, но уже куда ласковей, чем прежде, меня схватили чьи-то руки и уложили на тепленькую подстилку. На душе у меня становилось все лучше и яснее; и я стал выражать испытываемое мною внутреннее удовлетворение, издавая странные звуки, свойственные одним только моим сородичам, а именно те звуки, которые люди довольно удачно именуют «мурлыканьем». Вот так я и шествовал исполинскими шагами вперед в своем светском воспитании и образовании. Какое необычайное преимущество, какой бесценный дар небес — умение выражать свое внутреннее физическое удовлетворение посредством звука и жеста! — Сперва я мурлыкал, затем во мне проснулся совершенно неподражаемый талант — я стал распускать свой хвост преизящнейшим образом, а затем — воистину чудесный дар: одним-единственным словом «мяу» выражать радость и скорбь,

* Благодушности (фр.).

блаженство и ужас, страх и отчаяние; короче говоря, все жизненные впечатления и страсти со всеми многообразными оттенками. Что стоит человеческая речь в сравнении с этим простейшим из всех простых средств передачи своих мыслей! — Но движемся дальше в изложении достопамятной и высокопоучительной истории моей богатой событиями юности.

Я пробудился от глубокого сна, ослепительное сияние лучилось, мерцало и переливалось передо мной; я был испуган донельзя; пелена спала с моих глаз — я прозрел!

Однако прежде, чем я смог привыкнуть к свету, прежде, чем я смог привыкнуть к пестрейшему разнообразию, которое он, этот свет, являл глазам моим, я был вынужден зачихать, издать многократное и отчаянное чихание; впрочем, вскоре после этого зрение мое совершеннейшим образом наладилось, как будто я уже с незапамятных пор взирал на белый свет.

О Зрение! Это волшебное, это великолепное обыкновение — обыкновение, без коего было бы чрезвычайно трудно вообще существовать в этом мире! — Сколь счастливы те высокоодаренные личности, коим столь же легко, как мне, удалось привыкнуть к зрению!

Не стану отрицать, что все же я необычайно испугался и опять жалобно возопил, как прежде, в памятном тесном помещении. Тотчас же явился маленький худощавый старичок, которого я никогда не забуду, ибо мне, невзирая на то, что круг моих знакомых весьма широк, никогда больше не приходилось видеть никого, кого я мог бы назвать равным ему или хотя бы несколько схожим с ним. Среди моих сородичей нередко случается, что тот или иной из них носит шкурку в белых и черных пятнах, но, пожалуй, нелегко отыскать человека, у которого были бы белоснежные волосы, брови же — цвета воронова крыла, а ведь именно таков был мой воспитатель! У себя дома он расхаживал в куце ярко-желтом шлафроке, — шлафрок этот, помнится, очень испугал меня, и я, хотя и был тогда еще чрезвычайно беспомощен, предпринял попытку к бегству: то есть сполз с белой подушки вниз и вместе с тем немного вбок. Старичок склонился ко мне, движения и жесты его показались мне благодушными; он сумел вселить в мое сердце доверие. Засим он схватил меня, и я благо-разумно воздержался от размахивания лапками и выпускания коготков, ибо идеи царапанья и последующего получения оплеух сами собою связались в некое единое целое, — да и в самом деле — почтенный человек этот явно решил ласково обойтись со мной: он посадил меня на пол перед самой миской сладкого молока, каковое я жадно вылакал. Это, как мне показалось, очень и очень обрадовало его. Старичок долго и пространно разговаривал со мной, но, увы, я ничего не понял из его пространных разглагольствований, ибо мне тогда — мне — юному, младенчески неопытному котенку — еще не было свойственно понимание человеческого языка. Вообще я лишь немного могу сказать о моем хозяине и покровителе. Однако я вполне уверен в том, что он непременно должен был быть во многих вещах крайне искусен и ловок — и вообще многоопытен по части всяческих наук и художеств, ибо все, которые его навещали (а я замечал

среди них людей, у коих именно там, где природа украсила мою шкуру желтоватым пятном, то есть на самой груди, — мерцали орденская звезда или крест), относились к нему с исключительным почетом, а порою даже с известного рода робким и благоговейным уважением (именно так, как я впоследствии относился к пуделю Скарамушу), и называли его не иначе, как «мой достопочтеннейший», «мой дражайший», «драгоценнейший мой маэстро Абрагам!» — И только двое называли его просто «милейший»! Это были — долговязый сухопарый господин в штанах цвета зеленого попугайчика и белых шелковых чулках, а также маленькая толстуха — черноволосая, со множеством колец и перстней на всех пальцах. Господин сей, впрочем, был князем, а толстуха — всего лишь еврейской дамою.

Невзирая на то, что маэстро Абрагама посещали столь знатные персоны, он обитал в крохотной каморке, расположенной где-то на самом верху здания, так что я совершал первые свои променады с величайшим удобством: из окошка — прямо на крышу, а оттуда — на чердак!

О да! Конечно же — не иначе, как я был рожден на чердаке! — Что там погреб, что там дровяной сарай — я решительно высказываюсь в пользу чердака! — Климат, отечество, нравы, обычаи — сколь неизгладимо их влияние; да, не они ли оказывают решающее воздействие на внутреннее и внешнее формирование истинного космополита, подлинного гражданина мира! Откуда исходит ко мне это поразительное чувство высокого, это непреодолимое стремление к возвышенному? Откуда эта достойная восхищения поразительная, редкостная ловкость в лазании, это завидное искусство, проявляемое мною в самых рискованных, в самых отважных и самых гениальных прыжках? — Ах! Сладостное томление переполняет грудь мою! Тоска по отеческому чердаку, чувство неизъяснимо-почвенное, мощно вздымается во мне! Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная отчизна моя, — тебе эти душераздирающие, страстные мяуканья! В честь твою совершаю я эти прыжки, эти скачки и пируэты, исполненные добродетели и патриотического духа! Ты, о чердак, поставляешь мне от щедрот своих то мышонка, то кусочек колбасы или ломтик сала, — ты порою позволяешь мне извлечь их из чрева дымохода, — о, да, порою даже ты позволяешь мне изловить, скажем, зазевавшегося воробушка, а порою даже подкараулить и сцапать жирного голубка. «О, сколь безмерна нежность к тебе, родимый край!»²

Но мне еще следует сказать кое-что относительно моего...

(Мак. л.) :.. разве вы не вспоминаете, всемиловитивейший повелитель мой, о сильнейшей буре³, сорвавшей шляпу с головы адвоката, проходившего ночью по Пон-Неф, и сбросившей оную шляпу прямо в непроглядно-мутные воды Сены? — Нечто подобное описал Рабле, но, собственно говоря, отнюдь не буря сорвала с головы адвоката ту самую шляпу, которую он, предав свой плащ на волю ветров, крепчайшим образом прижал к макушке своей, а некий гренадер с отчаянным возгласом: «Поднялся сильный ветер, мсье!», — пробегая мимо, молниеносно сорвал великолепную кастровую шляпу с адвокатского парика, не-

взвизывая на то, что адвокат всячески придерживал ее, и вовсе не эта касторовая шляпа была сброшена в мутные воды Сены, а подлейшую шляпочку бессовестного служивого буйный вихрь повлек в лоно влажной гибели! Итак, вы знаете теперь, всемиловитивейший мой повелитель, что в то самое мгновение, когда господин адвокат, совершенно сбитый с толку, остановился, как вкопанный, другой прощелыга-солдат с тем же самым возгласом «Поднялся сильный ветер, мсье!», — пробегая мимо, ухватил плащ адвоката за воротник и сорвал его с плеч, и что сразу же после этого третий солдат с тем же возгласом: «Поднялся сильный ветер, мсье!» — набегу вырвал у него из рук бамбуковую трость с золотым набалдашником. Адвокат завопил благим матом, швырнул вслед этому третьему жулику свой парик, и поплелся затем, с непокрытым теменем, без плаща и без трости, домой, дабы там, дома, составить удивительнейшее из всех завещаний и узнать о поразительнейшем из всех приключений. Все это вам, конечно, известно, мой всемиловитивейший повелитель!»

— Мне решительно ничего не известно, — возразил князь, когда я высказал ему все это, — мне решительно ничего не известно, и я вообще не в силах понять, как это вы, маэстро Абрагам, способны наболтать такую кучу вздора. Впрочем, я знаю Пон-Неф, он находится в Париже, и хотя я никогда не переходил его пешком, я, однако же, частенько переезжал его в экипаже, как это и причислует моему сану. Адвоката Рабле я никогда в жизни не видал, а что до солдатских проделок, то они никогда меня не заботили. Когда я, будучи помоложе, еще командовал своей армией, я велел раз в неделю угощать фухтелями всех юнкеров без изъятия за те глупости, которые они уже совершили или еще только намерены были совершить в будущем; что же касается до вояк из простонародья, то наказывать их я предоставлял поручикам, каковые, беря пример с меня, также проделывали это еженедельно, а именно в субботу — словом, в воскресный день во всей моей армии не было уже ни одного юнкера и ни одного рядового, который бы уже не получил надлежащую взбучку, вследствие чего мои войска, благодаря вколоченной в них высокой нравственности, вообще уже настолько привыкли к тому, чтобы быть битыми, еще ни разу не видав в глаза неприятеля, что, оказавшись с оным лицом к лицу, они вынуждены бывали в свою очередь бить сего супостата. Это для вас должно быть совершенно очевидно, маэстро Абрагам, ну а теперь скажите мне, ради всего святого, к чему это вы наплели мне с три короба про вашу бурю, про этого вашего адвоката Рабле, злодейски ограбленного на Пон-Неф, и почему это вы не принесли мне извинений за то, что празднество не удалось и завершилось всеобщим смятением, и за то, что в самый разгар фейерверка некая ракета угодила прямо в мой тупей, и за то, что августейший мой сын угодил прямо в бассейн, где и был обрызган с головы до пят изменниками-дельфинами, а принцесса — без вуали и задрав юбки — побежала через весь парк, как Ата-ланта⁴, — и за то... — но кто способен перечислить все несчастья и злополучия этой роковой ночи! — Ну, что же вы теперь скажете, маэстрс Абрагам?

— Всемиловейший мой повелитель, — возразил я, отвесив низжайший, смиренный поклон. — Кто же был повинен во всех несчастьях, если не буря — ужасающая буря, которая поднялась именно тогда, когда все уже было как нельзя лучше. Увы, разве я сам при этом не пал жертвою самого отчаянного невезения, — разве я, подобно тому самому адвокату, которого я всеподданнейше умоляю не путать со знаменитым французским сочинителем Рабле, не потерял шляпу, фрак и плащ? Разве я не...

— Послушай, — прервал здесь мастера Абрагама Йоганнес Крейслер, — послушай, друг, еще и нынче, невзирая на то, что прошло уже довольно много времени с тех пор, идут разговоры о дне рождения княгини, то есть о том празднике, распорядителем которого ты был, как о чем-то в высшей степени таинственном и мрачном, и, конечно же, ты, как это тебе вообще свойственно, натворил тогда немало скандального и даже авантюрного! Народ ведь и без того считал тебя своего рода чародеем, а из-за достопамятного празднества вера эта, по-видимому, еще более усилилась и окрепла. Ты ведь знаешь, я тогда как раз был в отлучке.

— Вот именно поэтому, — перебил своего друга маэстро Абрагам, — вот именно потому, что тебя тогда не было здесь, что ты, гонимый — одному небу известно, какими фуриями ада, — умчался отсюда, как безумный, именно поэтому я закусил удила, именно поэтому я стал заклинать стихи, чтобы они помешали празднеству, ибо праздник этот терзал мою грудь, потому что ты, а ведь ты-то и был, собственно, героем спектакля, и ты отсутствовал; о, это был праздник, который сперва влачился тягостно и утомительно, затем, однако же, не принес влюбленным ничего, кроме бесчисленных мук, ужасающих сновидений — боли — ужаса! — Узнай же теперь, Йоганнес, что я заглянул в самую глубину твоей души и постиг опасную — нет, грозную тайну, которая в ней таится, бушующий вулкан, в любое мгновение способный исторгнуть губительное пламя, беспощадно поглощающее все вокруг. Затаеннейшие муки должны были ожить в тебе, и фурии, как бы пробудившиеся ото сна, должны были с удвоенной силой терзать твою грудь. Как человеку умирающему, истончающему, чахнущему — те лекарства, которые вырваны из пасти самого Орка, — ибо сильнейших пароксизмов, вызываемых этими снадобьями, отнюдь не должен страшиться мудрый врач, — именно эти лекарства должны были принести тебе гибель или исцеление! Да будет тебе известно, Йоганнес, что тезоименитство княгини совпадает с именами Юлии, ведь Юлия, так же, как и ее повелительница, наречена Марией!

— Ах, — вскричал Крейслер, он вскочил, глаза его пылали гневным огнем. — Ах! Маэстро! Разве тебе дано право затеять со мной столь дерзкую и издевательскую игру? Ужели ты — сам рок, способный проникнуть в заповедные глубины моей души?

— О безрассудный, опрометчивый дикарь, — спокойно возразил маэстро Абрагам, — когда же наконец опустошительный пожар, бушующий в твоей груди, превратится в чистейшее пламя, питаемое глубочайшим чувством прекрасного, истинным пониманием того возвышенного и чудесного,

что живет в твоей груди! Ты требовал от меня описания этого рокового праздника — так выслушай меня теперь спокойно. Но ежели силы твои надорваны и ты не в состоянии слушать меня, то не лучше ли нам будет расстаться, не тратя времени даром?

— Рассказывай, — приглушенно и невнятно произнес Крейслер; он снова сел, закрыв лицо руками. — Мне не хочется, — сказал маэстро Абрагам, с внезапной веселостью. — Мне вовсе не хочется утомлять тебя, Иоганнес, описанием всяческих хитроумных устройств и приспособлений, которые в большей своей части обязаны были своим происхождением изобретательному разуму нашего сиятельного повелителя. Поскольку праздник началось поздно вечером, то, само собой разумеется, что весь прекрасный парк, окружавший потешный замок, был ярчайшим образом иллюминирован. Я старался в этой иллюминации достичь необычайного эффекта, однако же это удалось мне лишь отчасти, ибо по настоящему повелению князя во всех аллеях на больших черных дощатых щитах были установлены пестрые площадки, составляющие вместе вензель княгини, а над оным вензелем — изображение княжеской короны. Поскольку щиты эти были приколочены гвоздями к высоким столбам, то они очень и очень напоминали те ярко освещенные дорожные знаки, которые запрещают курить или, скажем, объезжать мытный двор. Главный спектакль должен был состояться на театральных подмостках посреди парка между кустарником и искусственными руинами, впрочем, тебе отлично знакомы эти места. На этом театре актеры, приглашенные из города, должны были представить нечто аллегорическое — аллегория сия была достаточно нелепой, чтобы понравиться до чрезвычайности, даже если бы ее автором, собственноручно ее накропавшим, не был сам наш сиятельный повелитель, и ежели бы посему она, я уж воспользуюсь здесь остроумным выражением театрального директора, которому было доверено поставить сию княжескую пьесу, — не вылилась из-под августейшего пера. Кстати, от дворца до театра не так уж близко. Согласно высокопоэтической идее самого князя, гений, витающий в облаках, должен был двумя факелами озарять шествующему княжескому семейству путь в театр, вокруг же не должно было быть никакого освещения, лишь когда княжеское семейство и свита займут свои места, театр мгновенно должен был озариться ярким светом. Потому-то вышеупомянутый путь в театр и оставался погруженным в полумрак. Я тщетно пытался объяснить его сиятельству всю сложность машинерии, которая потребна для осуществления его замысла, — все дело в том, что дорога от дворца до театра была слишком уж длинна, но князь вычитал нечто подобное в «Fêtes de Versailles» *⁵, и так как он еще к тому же самолично набрел на эту поэтическую мысль, ему заблагорассудилось настоять на ее осуществлении. Во избежание каких бы то ни было незаслуженных упреков я предоставил сооружение одного гения вкупе с парой факелов заботам театрального машиниста, специально приглашен-

* «Версальских празднествах» (фр.).

ного из города. И вот, едва лишь княжеская чета, а за нею следом и вся свита вышли из дверей салона, пузатый коротышка с надутыми щеками, облаченный в платье цветов княжеского дома с двумя пылающими факелами в растопыренных ручонках был спущен с крыши потешного замка. Кукла, однако, оказалась чрезмерно тяжелой, а ко всему еще, успев проволочить ее шагов двадцать, машина застопорилась, так что светозарный ангел-хранитель княжеского семейства повис без движения, и когда подручные театрального машиниста дернули немного сильнее, и вовсе перекувырнулся. Итак, пылающие факелы (а это были попросту восковые свечи), будучи обращены к земле, стали все заливать расплавленным воском. Первая из этих жгучих капель упала на парик самого князя. Семилюстивейший государь стойчески скрыл причиненную ему боль, но, увы, походка его утратила прежнюю размеренную важность, и он заметно ускорил шаг. Теперь злополучный гений колыхался над группой, которую образовывали гофмаршал и камер-юнкеры вместе с прочими придворными чинами, — ножками кверху, головой вниз, так что огненный дождь, льющийся из обращенных книзу факелов, — попадал то тому, то другому то на голову, то на нос. Показать, что им больно, и таким образом нарушить радость праздника, придворные не решались: это было бы неуважительно и нереспектабельно; вот потому-то и было презабавно наблюдать, как эти несчастные, делая когорта стойческих Муциев Сцевола⁶, с пружасно и преотчаянно искаженными физиономиями изю всех своих сил пытались преодолеть, побороть и скрыть свои мучения, и даже более того, выдавливая из себя улыбки, которые казались как бы исторгнутыми из ада, продолжали вышагивать, не издавая ни звука, стараясь во что бы то ни стало не выдать себя произвольными стенаниями, каковые могли бы обличить в них весьма непохвальную робость. К тому же еще литавры громыхали, трубы гремели и сотни уст провозглашали: «Виват, виват всемилюстивейшей княгине! Виват нашему всемилюстивейшему государю и повелителю!» Так что благодаря поразительному контрасту этих искаженных, воистину лаокооновских физиономий⁷ со всеобщим радостным ликованием окружающих возникал некий особенно трагический пафос, придававший всей сцене своего рода величие и торжественность, да к тому же такого удивительного рода, что лучше и придумать невозможно!

Старый толстый гофмаршал все же не выдержал, терпение его лопнуло, когда пылающая капля угодила ему прямехонько в щеку, он в ярости и отчаянии прыгнул в бок, однако же запутался в веревках, принадлежавших к устройству нашего летательного аппарата, веревки эти были как раз на этой стороне туго натянуты над самой землей; итак, с громким воплем «Сто тысяч дьяволов!» тучный гофмаршал грохнулся наземь. В то же самое мгновение витающий в эмпиреях паж последовал за ним. Увесистый гофмаршал всей своей шестипудовой тушей увлек его вниз; кукла упала в самую гущу свиты, придворные разбежались с отчаянными воплями. Факелы погасли, все оказались в непрогляднейшей мгле. Все это случилось почти перед самым театром. Я отнюдь не стал мгновенно зажигать шнур,

который должен был в единый миг воспламенить все лампы и плашки вокруг театра, нет, я решил выждать несколько минут, чтобы дать всем собравшимся время хорошенько заблудиться в непроглядной мгле среди деревьев и кустов. «Огня! Огня!» — возопил князь, подобно королю в «Гамлете»⁸, «Огня! Огня!» — завопило великое множество нестройных и охрипших голосов. Когда площадь осветилась, разбежавшаяся толпа напоминала разгромленное воинство, которое с величайшим трудом пытается заткнуть брешь, пробитые в его рядах. Обер-камергер проявил себя человеком, которому не чуждо присутствие духа, он казался хитроумнейшим тактиком своей эпохи, ибо именно его усилиями в кратчайший срок был восстановлен порядок. Князь вместе со свитой взвошел на своего рода помост, возведенный посреди партера и густо усыпанный цветами. Едва лишь княжеская чета уселась, как благодаря чрезвычайно хитроумному приспособлению, придуманному тем же машинистом, целая груда цветов посыпалась на этот необыкновенный помост. Но увы, сумрачный рок пожелал, чтобы крупная огненная лилия упала князю не куда-нибудь, а на самый нос и покрыла всю его физиономию огненно-красной пылью, благодаря чему наш повелитель приобрел необыкновенно маэстозный вид, явно достойный столь торжественного праздника.

— Это уж слишком — это уж слишком, — вскричал Крейслер, пытаюсь подавить смех, и все-таки расхохотался, да так, что стены задрожали.

— Не смейся столь судорожно, — сказал маэстро Абрагам, — ведь и я смеялся в ту ночь куда больше, чем когда-либо прежде, ибо я чувствовал себя, подобно эльфу Пэку, готовым учинить любое сумасбродство, чтобы только усилить переполох⁹. Но те самые стрелы, которые я направил против других, все глубже впивались в мою собственную грудь. И вот! — дай мне только все это высказать! В самый разгар этого нелепого цветочного дождя я намеревался привести в действие ту невидимую нить, что должна была протянуться теперь через все празднество и, подобно электрической цепи, всколыхнуть самые потаенные душевные глубины тех людей, с какими я посредством таинственного душевного аппарата, в который входила и с коим сливалась вышеупомянутая нить, был, как мне думалось, в гипнотическом общении. Не перебивай меня, Иоганнес, спокойно выслушай меня. — Юлия с принцессой сидели позади княгини, немного в стороне, я не сводил глаз с них обеих. Как только литавры и трубы смолкли, на грудь Юлии упал спрятанный среди душистых ночных фиалок распускающийся бутон розы, и, как струящиеся порывы ночного ветра, поплыли звуки твоей песни: «Mi lagnerò tacendo della mia sorte ataga»¹⁰. Юлия испугалась, но когда песня, которую я, признаюсь, для того, чтобы тебе не пришлось потом краснеть, где-то совсем в отдалении заставил играть четырех наших лучших басетгорнистов, — итак, когда песня началась, легкое «ах» слетело с ее уст, и я превосходно расслышал, как она сказала принцессе: «Конечно, он снова здесь!» — Принцесса крепко сжала Юлию в объятиях и громко вскричала: «Нет, нет, — ах, никогда!», — так что князь обратил к ним свою огненно-красную физио-

номию и бросил ей гневное «Silence!» * Наш государь, видимо, отнюдь не желал слишком уж гневаться на милое свое дитя, но мне хочется здесь заметить, что чудесный грим, грим оперного «tiganno ingrato» **, не мог бы придать ему более гневного вида; у него и в самом деле в лице было нечто характерное для непрестанного и нерасточающегося гнева, так что самые трогательные речи, самые чувствительные ситуации, аллегорически представлявшие семейное счастье в тесном кругу венценосцев, пропали, увы, совершенно понапрасну! А посему актеры и зрители впади в немалое смущение. Ведь даже и тогда, когда князь в местах, которые он заранее в особом экземпляре отметил красным карандашом, целовал княгине руку и платочком осушал слезы на глазах, всем казалось, что он по-прежнему пребывает в гневе и раздражении; так что камергеры, которые, находясь при исполнении служебных обязанностей, стояли рядом с ним, перешептывались: «О Иисусе, что это такое творится с нашим всемилоостивейшим государем!» — Я хочу тебе еще только рассказать, Иоганнес, что в то время как актеры — впереди на театре — представляли дурацкую пьесу, я посредством магических зеркал и прочих сложных приспособлений позади — на облачном фоне, представил игру духов во славу божественного создания, кроткой Юлии, так что мелодии, которые ты сочинил в величайшем воодушевлении, звучали одна за другой и даже часто то дальше, то ближе; как некий робкий, преисполненный предчувствий возглас духов, звучало имя: «Юлия». — Но тебя не было, тебя не было с нами, мой Иоганнес! И если я даже, после того как представление окончилось, восхвалял моего Ариэля, как шекспировский Просперо восхвалял своего ¹¹, если бы я даже сказал, что он все устроил самым удачным образом, тем не менее моя глубокомысленная затея показалась мне, увы, необыкновенно безвкусной, пресной и вялой! Юлия по свойственной ей тонкости души поняла все. Но мне казалось, что она только взволнована, как будто некой приятной мечтой, приятным сновидением, которому вообще-то мы не склонны придавать особого значения в подлинной жизни, в жизни наяву. Принцесса же, напротив, совершенно ушла в себя. Под руку с Юлией бродила она по освещенным аллеям парка, в то время как придворные в особом павильоне утоляли жажду дивным освежающим напитком. В этот миг я собирался нанести решающий удар, но тебя не было, мой Иоганнес. — Преисполненный негодования и гнева, я обыскал весь парк, я должен был узнать, все ли приготовления к исполинскому фейерверку, каким должно было завершиться празднество, произведены соответствующим образом. И вдруг я заметил, взглянув на небо, над отдаленным Гейерштейном, в сиянии ночи, маленькое нежное облачко, которое всегда предвещает непогоду: сперва оно тихо поднимается и потом уже здесь, над нами, все завершается ужасающей грозой. В какое именно время должен совершиться этот взрыв, я, как тебе известно, рассчиты-

* Тише! (фр.)

** Злобный тиран (ит.).

ваю, по состоянию облака, с точностью до секунды. До грозы оставалось меньше часа, и я решил поэтому поспешить с фейерверком. В это мгновение я услышал, что мой Ариэль начал ту самую фантазмагорию, которая должна была все, все разрешить, ибо в конце парка, в маленькой часовне пресвятой девы Марии, хор запел твоё «Ave maris stella» * 12, и пение это донеслось до моих ушей. Я поспешил туда. Юлия и принцесса стояли, преклонив колени перед налоем, который был вынесен из капеллы под сень деревьев. Едва я оказался на месте, как — но тебя не было, мой Иоганнес! — позволь мне умолчать о том, что случилось потом, — увы! Тщетным осталось то, что я считал истинным шедевром своего искусства, и я узнал то, о чем я, простофиля, вовсе и не подозревал.

— Говори, говори, — вскричал Крейслер, — все выскажи, маэстро! Расскажи мне, как это случилось!

— Нет, нет, — возразил маэстро Абрагам, — теперь это тебе ни к чему, Иоганнес, а мне это терзает душу, ведь духи, вызванные мною, устроили и заставили затрепетать мое же сердце! — Облачко! — о, счастливая мысль. — «Так пусть же, — дико воскликнул я, — так пусть же все завершится безумной суматохой», — и побежал к месту, где затевался фейерверк. Князь велел мне сказать, чтобы, когда все будет готово, я подал знак. Не отрывая глаз от облака, которое, приближаясь со стороны Гейерштейна, поднималось все выше и выше, я, когда мне показалось, что оно поднялось достаточно высоко, выпалил из мортирки. Вскоре весь двор, все придворное общество было в сборе. После обычной игры огненных колес, ракет, светящихся шаров и всяких прочих незамысловатых фокусов, возник, наконец, веңзель княгини в китайских бриллиантовых огнях, но высоко над ним плавало и расплывалось в молочно-белом свете имя Юлии. — Наконец, пробил час. — Я зажег снап ракет и, когда они, шипя и потрескивая, взвились ввысь, разразилась непогода, гроза — с расплавленно-алыми молниями, с грохочущими громами, сотрясавшими лес и горы. И ураган ринулся в парк, и тысячеголосые жалобы его зазвучали в дебрях кустарника. Я вырвал у убегающего трубача из рук его инструмент и подул в него, и на душе у меня было необычайно весело, а артиллерийские залпы огненных горшков, выстрелы из пушек и мортир отчаянно гремели, как бы катясь навстречу надвигающимся раскатам грома.

В то время как маэстро Абрагам вел таким образом свой рассказ, Крейслер вскочил, зашагал взад-вперед по комнате, размахивая руками, и, наконец, воскликнул в полнейшем восторге: «Да, это красиво, это великолепно, по этому я узнаю моего маэстро Абрагама, ведь у нас с ним одно сердце и единая душа!»

— О, — сказал маэстро Абрагам, — да, я знаю это: тебе по душе все самое дикое, самое ужасное, и все-таки я забыл о том, что тебя всецело сделало бы игральным адских сил. Я велел настроить эолову арфу, ко-

* «Привет тебе, звезда морей» (лат.).

тору, как ты знаешь, образуют струны, натянутые над большим бассейном. Я велел их натянуть посильнее, дабы буря, как недурной исполнитель, с изяществом помузицировала на них. В реве урагана, в раскатах грома устрашающе звучали аккорды исполнительского органа. Все быстрее и быстрее чередовались звуки, и можно было бы, пожалуй, прослушать балет фурий, балет необыкновенно величественный. Подобного рода балеты не часто ставятся в полотняных театральных кулисах. — Ну что ж! — за полчаса все прошло. Луна вышла из-за туч. Ночной ветер гудел, утешая, сквозь ветви испуганного леса и осушал слезы темных ветвей. А между тем время от времени раздавались стенания эоловой арфы, подобно отдаленному и приглушенному перезвону колоколов. Ты, мой Иоганнес, заполнил всю мою душу, заполнил настолько, что мне подумалось, что ты вот-вот встанешь передо мной, воспрянешь над могильным холмом утраченных упований, невоплотившихся мечтаний, несбывшихся грез — и упадешь мне на грудь. И вот теперь — в ночной тиши — я понял и постиг, наконец, что за игру я затеял, когда изо всех сил пытался разорвать узел, стянутый сумрачным роком, я захотел его разорвать, захотел как бы вырваться из собственной груди, и — став чуждым себе, как бы в ином образе — наброситься на себя же. И притом я весь сотрясаясь от леденящего ужаса, но кто вселил в меня этот ужас, если не я сам? Множество блуждающих огней плясало и прыгало по всему парку, но это были попросту всего лишь челядинцы с фонарями, искавшие и собиравшие утерянны при поспешном бегстве шляпы, парики, кошельки для волос, шпаги, туфли, шали. Я поскорее убрался прочь. Посреди большого моста перед въездом в наш город я остановился и еще раз оглянулся на парк: залитый магическим сиянием луны, он высился, подобно волшебному саду, в котором уже завели свою веселую игру резвые и проворные эльфы. И вдруг я услышал тоненький протяжный писк, в моих ушах зазвучало нечто похожее на крик новорожденного. Я предположил, что кто-то совершил злодеяние, склонился низко над перилами — и обнаружил в ярком лунном свете котенка, который изо всех сил цеплялся за столб, дабы избежать верной гибели. Должно быть, кто-то утопил здесь кошачий выводок, но один зверек ухитрился выкарабкаться. Ну что ж, подумал я, хоть это и не дитя человеческое, а всего лишь несчастное животное, которое умоляет тебя спасти его, ты обязан его спасти.

— О ты, чувствительный Юст!¹³ — смеясь, вскричал Крейслер. — Скажи, где твой Тельгейм?

— Позволь, — продолжал маэстро, — позволь, мой Иоганнес, с Юстом ты меня едва ли вправе сравнивать. Я переюстил самого чувствительного Юста. Ибо он спас пуделя, животное, которое каждый охотник терпит около себя, от которого ожидают также приятных услуг, — скажем, поноски — пудель приносит перчатки, кiset и трубку и прочее, а я спас kota, зверька, который многих выводит из себя, которого принято считать коварным предателем, далеким от сладостных и благодетельных чувств, нисколько не способным к сердечной дружбе, вот ведь какие скверные ка-

чества приписывают ему! Говорят, что кошки никогда совсем не отказываются от враждебности к человеку, и, стало быть, я спас kota из чистейшего самоотверженного человеколюбия. Я перелез через перила, но без некоторой опасности спустился к самой воде, схватил жалобно мяукавшего котенка, вытащил его наверх и сунул в карман. Придя домой, я поспешно разделся и упал, усталый и обессиленный, как был, — на постель. Однако, едва я заснул, как меня разбудили жалостный писк и повизгивание, которые, как мне почему-то показалось, доносились из платяного шкафа. Оказывается, позабыв о котенке, я оставил его в кармане сюртука. Итак, я освободил зверька из его темницы, за что он меня так исцарапал, что вся моя рука оказалась в крови. Я уже собирался было вышвырнуть kota в окошко, но вскоре, однако, одумался и устыдился своей мелочности и глупости, своей мстительности, обращенной — добро бы еще на человека, а то ведь на неразумную тварь. Одним словом, я со всем тщанием и старанием воспитал и вырастил этого kota. Это умнейшее, учтивейшее, остроумнейшее животное среди всех своих сородичей, думается, что ему недостает разве что утонченного воспитания, известного лоска, которые ты, дорогой мой Иоганнес, конечно же, без особого труда сможешь ему дать. Ты сможешь привить ему эти качества и поймешь, почему я намерен передать тебе вскорости kota Мурра, ибо именно так я назвал его. Невзирая на то, что Мурр в настоящее время, как выражаются юристы, еще не *homo sui juris* *, я все же спросил у него согласия — то есть, желает ли он поступить к тебе в услужение. Он вполне согласен, и его весьма устраивает эта перспектива.

— Ты мелешь вздор, — сказал Крейслер. — Ты мелешь вздор, маэстро Абрагам! Ты знаешь, что я не слишком люблю кошек, более того — я недолюбливаю их и в гораздо большей степени отдаю предпочтение собачьему племени.

— Я прошу, — возразил маэстро Абрагам, — я прошу тебя, дражайший Иоганнес, от всей души прошу — возьми моего многообещающего kota Мурра и поддержи его у себя по крайней мере до тех пор, пока я не возвращусь из путешествия. Поэтому-то я его и захватил с собой, он тут за дверью и ожидает благожелательного ответа. Ну взгляни же на него, по крайней мере.

С этими словами маэстро Абрагам распахнул дверь, за дверьми на соломенной подстилке, свернувшись клубочком, спал кот, которого и в самом деле можно было назвать чудом кошачьей красоты. Серые и черные полосы, идущие вдоль спины, сливались вместе на темени между ушами, на лбу образуя грациознейшие гиероглифы. Такой же полосатостью и к тому же совершенно необыкновенной длиной и толщиной отличался и воистину роскошный хвост. К тому же пестрая шкурка kota поразительно блестела и переливалась в солнечных лучах, так что между черными и серыми полосами еще можно было приметить узенькие золотисто-желтые

* Не обладает самостоятельной правоспособностью (лат.).

полоски. «Мурр! Мурр!» — воскликнул маэстро Абрагам. — «Мурр... Мурр...», — отозвался кот почти членораздельно, потянулся, встал, изогнулся восхитительной дугою и широко раскрыл свои глаза цвета вешней травы. В глазах этих сверкали ум и смекалка, они как бы метали искры, — целый сноп огненных искр! Во всяком случае, согласившись с маэстро Абрагамом, Крейслер должен был признать, что в облике кота было нечто необычное, из ряда вон выходящее; что голова его весьма крупна, настолько крупна, что в ней без труда могут вместиться самые разнообразные науки, а усы его, уже и теперь, в юности, настолько длинны и посеребрены столь солидной сединой, что придают коту несомненную авторитетность, одним словом, вид истинного греческого мудреца.

— Ну, можно ли так, мгновенно развалившись, спать где попало! — обратился маэстро Абрагам к своему хвостатому питомцу, — этаким манером ты только утратишь всю свою веселость и живость и преждевременно превратишься в унылого ворчуна! Умойся как следует, дражайший Мурр!

Тотчас же феноменальный кот уселся на задние лапы, а передними, бархатными, нежнейшим образом провел по лбу и щекам и затем издал необыкновенно явственное бодрое и радостное «мяу».

— Перед тобой, — продолжал маэстро Абрагам, — не кто иной, как сам господин капельмейстер Иоганнес Крейслер, к которому ты поступишь отныне в услужение. — Кот пристально взглянул на капельмейстера, громадные глаза его сверкали, искрились. Он замурлыкал, вскочил на стол рядом с Крейслером, а оттуда, нисколько не жеманясь, прыгнул на капельмейстерское плечо, как будто желая ему что-то этакое сказать на ухо. Засим кот соскочил на пол, потом обошел, то поднимая, то распуская хвост, вокруг нового своего хозяина, как бы желая свести с ним более близкое знакомство.

— Прости меня, боже, — воскликнул Крейслер, — я готов даже подумать, что этот серый плутишка отнюдь не лишен разума и происходит из прославленного семейства Кота в сапогах!

— Я вполне уверен, — заявил маэстро Абрагам, — что кот Мурр — самая забавная на свете тварь, истинный полишинель; и притом он благонаравен и хорошо воспитан, скромн и нисколько не навязчив, совсем не то, что псы, которые нередко надоедают нам своими неуклюжими собачьими нежностями.

— Когда я гляжу на этого премудрого кота, — сказал Крейслер, — то с огорчением думаю о том, сколь узок круг наших познаний. Кто может сказать, кто может определить пределы способностей, присущих животным? Если для нас многое или скорее даже почти все в природе остается недоступным исследованию, то у нас всегда под рукой готовые ярлычки, так что мы неизменно кичимся своей пустопорожней школярской премудростью, хотя с ее помощью видим не дальше собственного носа. И разве мы не наклеили ярлык «инстинкта» на все духовные проявления жизни животных, а ведь проявления эти порою совершенно удивительны! Я хо-

тел бы, однако, получить ответ всего лишь на один-единственный вопрос: совмещается ли с инстинктом, то есть со слепым произвольным стремлением, — способность к сновидениям? А ведь, например, собакам снятся чрезвычайно живые сны, это знает всякий, кто наблюдал спящего охотничьего пса. Собака ищет, обнюхивает, сучит лапами, как будто бежит во всю прыть; она задыхается, обливается потом... Впрочем, о котках, видящих сны, я пока ничего не слышал.

— Коту Мурру, — прервал своего друга маэстро Абрагам, — бесспорно снятся живейшие сны, — и, более того, он погружается в те сладчайшие грезы, в то созерцательное состояние, представляющее собой нечто среднее между сном и бдением, свойственное истинно поэтическим личностям в те чудные мгновения, когда у них зарождаются истинно гениальные замыслы. В этом состоянии он отчаянно вздыхает и охает: с недавнего времени он ведет себя настолько странно, что я вынужден думать, что мой драгоценный Мурр либо влюблен по уши, либо трудится над какой-нибудь трагедией.

Крейслер рассмеялся от души и воскликнул: «Так иди же скорей сюда, мой разумный, мой преблаговоспитанный, преостроумный, высокопоэтический кот Мурр, и давай...»



(Мурр пр.) ... первоначального воспитания, вообще относительно первых месяцев моей юности рассказать еще многое.

В высшей степени замечательно и поучительно, когда великий ум в автобиографии своей распространяется обо всем, что случилось с ним в его юности, обо всем, каким бы незначительным все это ни казалось. — Впрочем, разве в жизни высокого гения может когда-либо произойти хоть что-либо незначительное? Все, что он затевал — или же не затевал в дни своей ранней юности, обладает исключительной важностью, озаряет ярким светом глубочайшую внутреннюю суть и замыслы его бессмертных творений. Прекрасным мужеством наполняется грудь юноши, устремляющегося к высокой цели, юноши, которого терзают робкие сомнения: достаточно ли внутренних сил в его груди, в особенности когда он читает, что великий муж в бытность мальчиком также играл в солдатики, чрезвычайно любил сласти и порою даже бывал бит за леность, невоспитанность и полнейшую бестолковость. «Точь в точь, как я, точь в точь, как я», — в восторге восклицает юноша и более не сомневается в том, что и он тоже является величайшим гением, подобно своему обожаемому кумиру.

Иной читывал Плутарха¹⁴ или, пожалуй, всего лишь Корнелия Непота¹⁵ и стал великим героем, иной — трагических поэтов древности в переводах, а наряду с ними — Кальдерона¹⁶ и Шекспира, даже Гете и Шиллера, и стал, ну, ежели и не великим поэтом, то, во всяком случае, скромным, но приятным всем и каждому стихотворцем, а ведь людям нередко бывают по душе и такого рода стихослагатели. Итак, мои творения также безусловно зажгут в груди у иного, юного, одаренного незаурядным разумом и чувствами кота, — непременно зажгут высокое

пламя поэзии, и ежели этот благородный кот-юноша примется за такие же биографические забавы¹⁷, как и я, вот здесь, на крыше, если он всецело вникнет в суть вдохновенных идей той моей книги, которая нынче как раз находится в моих когтях, то он непременно воскликнет в пылу восторга: «Мурр, божественный Мурр, величайший, гениальнейший из всех котов! Тебе, тебе одному я всем обязан, только твой пример сделал меня великим!»

Похвально, что маэстро Абрагам, занимаясь моим воспитанием, отнюдь не придерживался забытых уже принципов Базедова¹⁸, не следовал также и методу Песталоцци¹⁹, нет; напротив, он предоставил мне ничем не ограниченную свободу, дабы я воспитывал себя сам, с тем лишь, чтобы я непременно придерживался определенных основополагающих принципов, каковые маэстро Абрагам считал совершенно необходимыми для жизни в обществе, где положено подчиняться властям предержавшим, ибо, если бы я слепо и безо всяческих размышлений бегал бы взад и вперед, носясь как угорелый, и собирал бы везде унижительные толчки в бок и мерзкие шишки, то общество вообще не поблагодарило бы меня за это. Сутью этих начал мой маэстро считал естественную учтивость в противоположность условной, конвенциональной, согласно которой непременно следует говорить: «Простите великодушно», когда вас толкает какой-нибудь бездельник или же когда вам отдавили лапу. Пускай даже учтивость такого рода и необходима человеку, но я все-таки не в силах уразуметь, почему это ей должно подчиняться также мое свободорожденное племя, и если даже главным инструментом, посредством коего маэстро приобщил меня к этим основополагающим принципам, и был некий чрезвычайно фатальный березовый прут, то я, разумеется, все же вправе с полнейшим основанием посетовать на чрезмерную твердость, проявленную моим воспитателем. Я, конечно, сбежал бы от него, если бы меня не удерживало и не привязывало накрепко к моему маэстро мое врожденное тяготение к высшей культуре. — Чем больше культуры, тем меньше свободы, вот непреложная истина! Вместе с ростом культуры возрастают потребности, вместе с потребностями...

Одним словом, именно мгновенное и безотлагательное удовлетворение естественных потребностей без учета места и времени — это было первое, от чего мой маэстро, действуя посредством вышеупомянутого рокового и ужасного березового прута, меня весьма успешно отучил. Затем пришла очередь страстных влечений, которые, как я впоследствии убедился, обвязаны своим возникновением некоему неестественному состоянию души. Именно эти странные настроения, которые, возможно, были порождены самой моей душевной организацией как таковой, словно бы приказывали мне не прикасаться к молоку, да что там к молоку — даже и к жаркому, которое маэстро оставлял для меня — нет, они побуждали меня прыгать на стол и лакомиться тем, что он намеревался вкушать сам. Я постиг всю силу и неотвратимость березовой розги, после чего оставил эту привычку. И я вижу, что маэстро был прав, когда старался отвлечь мои помыслы от

подобных соблазнов, ибо мне известно, что многие из моих добрых собратьев, менее причастные к культуре, менее благовоспитанные, чем я, угодили благодаря этому в ужаснейшие передрыги, да более того — попали в самое печальное положение — и увы, до конца дней своих. Кстати сказать, мне стало известно, что один подающий большие надежды юношакот, не обладая достаточной внутренней духовной закалкой, дабы противостоять своему влечению, вылакал кувшин молока, искупив свою вину потерей хвоста и, всеми презираемый и осмеиваемый, вынужден был удалиться от света и коротать свои дни в одиночестве. Следовательно, мой маэстро был прав, когда отучал меня от подобного рода поступков: однако я не могу простить ему того, что он противился моему тяготению к наукам и искусствам.

Ничто не привлекало меня в комнату маэстро больше, чем заваленный книгами, рукописями и всяческого рода диковинными инструментами письменный стол. Я могу смело сказать, что этот стол был чем-то вроде заколдованного круга, в который я был ввергнут как бы силою некоего заклятия, и все-таки я испытывал при виде его своего рода священный ужас, удерживающий меня от того, чтобы вполне предаться моим пагубным влечениям. Но наконец, в один прекрасный день, когда маэстро отсутствовал, я преодолел свою робость и вспрыгнул на стол. Что за сладострастное чувство, что за наслаждение я испытал, восседая на столе среди книг и рукописей и роясь в них. Не озорство, нет, только жадность, жгучий голод, пылакая жажда ученых познаний привели меня к тому, что я ухватил лапой одну рукопись и так долго ворошил ее, таскал взад-вперед, пока она не оказалась растерзанной в клочья. Маэстро вошел в кабинет и, увидя, что случилось, набросился на меня с обидным для меня возгласом: «Ах ты, бессовестная бестия!» — и угостил меня такой порцией березовой каши, что я, стаяя и повизгивая от боли, заполз под печку и целый день меня невозможно было выманить оттуда самыми дружелюбными словами и уговорами. Кого бы это событие не отпугнуло навсегда, не отвратило бы от того пути, следовать по которому ему предписано самой природой! Но едва я оправился после всех своих страданий, как, следуя своему непреодолимому стремлению, снова вспрыгнул на письменный стол. Конечно, достаточно было моему маэстро чуть прикрикнуть на меня, достаточно было воскликнуть, скажем, «Ишь чего захотел!» — чтобы вновь согнать меня со стола, так что покамест до ученых занятий дело не доходило; тем не менее я стал спокойно дожидаться благоприятного момента, чтобы вновь приступить к занятиям, и этот момент, кстати сказать, вскоре наступил. В один прекрасный день, когда маэстро собирался уходить, я тотчас же хорошенько спрятался в комнате, да так хорошо спрятался, что он никак не мог меня отыскать, когда, помня о растерзанном манускрипте, вознамерился выдворить меня из комнаты. Едва маэстро удалился, как я одним прыжком вскочил на письменный стол и разлегся посреди рукописей, что наполнило мою душу неопишым наслаждением. Я ловко раскрыл лапой одну довольно толстую

книгу, лежавшую передо мной, и попробовал, не смогу ли уразуметь письменна, заключающиеся в ней. По правде сказать, сперва мне это вовсе не удавалось, но я отнюдь не оставил своих попыток, а продолжал сма-триваться в книгу, ожидая, что на меня снизойдет какое-то особое озаре-ние и что, вдохновленный им, я научусь читать. Вот в этом положении, углубившимся в размышления над книгой, и застал меня неожиданно мой маэстро. С криком: «Гляди-ка, что он творит — проклятая bestia!» — он накинулся на меня. Было уже поздно спастись бегством — я прижал уши, согнулся в три погибели, как только мог, чувствуя, что розга вот-вот за-гуляет по моей спине. Но уже занеся было руку, мой маэстро внезапно застыл, расхохотался и воскликнул: «Котик-котик, неужто ты читаешь? Ну этого я не могу, да и не хочу тебе запретить. Глядите-ка, что за стремление к наукам засело в нем!» Он вытащил книгу из-под моих лап, заглянул в нее и засмеялся еще громче, чем прежде. — «Я сказал бы даже, — произнес он затем, — я полагаю даже, что ты составил себе не-большую, так сказать, подручную библиотеку, потому что я вовсе и не ведаю, каким бы еще образом эта книга могла очутиться на моем пись-менном столе? Ну, что же, читай, — учись и штудируй прилежно, мой котик, во всяком случае, если даже ты станешь подчеркивать наиболее важные места в книге неглубокими царапинками — я охотно тебе это разрешаю!» С этими словами он вновь подsunул мне эту книжку, предва-рительно раскрыв ее. Это было, как я узнал впоследствии, сочинение Книгге²⁰ «Об обхождении с людьми», и я почерпнул из этого замечатель-ного сочинения великое множество житейской мудрости. Она, книга эта, заключает в себе мысли, как бы излившиеся из моей собственной души, да и вообще чрезвычайно подходит для котов, которые желают каким-то образом приспособиться к обществу людей. Эта тенденция данной книги, насколько мне известно, до сих пор упускалась из виду ее читателями, и поэтому порою высказывалось ошибочное суждение, что, дескать, чело-век, который пожелает слишком твердо придерживаться начертанных в этой книге правил, непременно и повсеместно прослышет самым что ни на есть заскорузлым и даже, более того, — бездушным педантом.

С этих самых пор маэстро не только терпел мое присутствие на его письменном столе, но ему даже нравилось, когда я, застав его за работой, вспрыгивал на стол и располагался в свое удовольствие среди его ру-кописей.

Маэстро Абрагам имел обыкновение нередко читать вслух всякую всячину. Я старался в подобных случаях принять такую позу, чтобы удобнее было заглядывать через его плечо в книгу, что, благодаря отлич-ному зрению, каким наградила меня природа, мне вполне удавалось, при-чем я несколько не мешал моему маэстро и не был ему в тягость. Таким образом я, сличая письменные знаки со словами, которые он произносил, вскоре выучился читать, и ежели это кому покажется маловероятным и недостоверным, то я могу только сказать, что такой скептик не имеет ни малейшего понятия о том совершенно особенном врожденном даре, кото-

рым меня наградила природа. Истинные гении, которые меня понимают и воздают мне должное, не станут испытывать никаких сомнений касательно такого рода образования, которое, быть может, весьма напоминает их собственное. При этом я не премину поделиться с читателями сделанным многозначительным наблюдением касательно совершенного понимания человеческой речи. А именно — я вполне сознательно установил, что знать не знаю и ведать не ведаю, каким именно образом достиг этого понимания. По-видимому, нечто подобное бывает и с людьми, впрочем, меня это несколько не удивляет, ибо племя это в свои детские годы заметно глупее и беспомощнее, чем мы, кошки. Даже когда я был крохотным котенком, со мной никогда не случалось, чтобы я попадал себе лапой в глаз, лез в огонь, хватался за луч света или уплетал сапожную вакуу вместо вишневого повидла, как это нередко бывает с малыми детишками.

И вот теперь, когда я научился читать и с каждым днем все больше набивал себе голову чужими мыслями, я ощутил непреодолимое стремление уберечь от забвения свои собственные мысли в том виде, в каком породил их обитающий во мне гений, а для этого мне, конечно, непременно надо было овладеть весьма трудным искусством письма. С какой внимательностью я ни следил за рукою моего маэстро, когда он писал, как тщательно я ни наблюдал за ее движениями, мне все же никак не удавалось уразуметь всю доподлинную механику движений этой руки. Я проштудировал почтенного Гильмара Кураса²¹, единственное руководство по каллиграфии, которое имелось в библиотеке моего маэстро, и чуть было не напал на мысль, что таинственная трудность писания может быть устранена лишь посредством той большой манжеты, которая надета на изображенную там пишущую руку, и что только благоприобретенной особой ловкостью моего маэстро можно объяснить то, что он, мой маэстро, пишет безо всякой манжеты, так же, впрочем, как опытный канатоходец в конце концов вполне научается обходиться без шеста-балансира. Я жадно всматривался — не найдется ли где подходящей манжетки, и уже собирался было оторвать лоскуток от ночного чепца нашей престарелой экономки, дабы изготовить из него сию манжетку для моей правой лапки и приладить ее, как вдруг в момент неожиданного озарения, какое, как я полагаю, случается у особо гениальных личностей, меня осенила великолепная мысль, которая все разрешила. А именно — я уразумел, что решительно невозможно держать перо или карандаш так, как держат их мой маэстро; все, надо полагать, зависит от различия в анатомическом строении наших рук — и эта гипотеза оказалась справедливой. Я должен был придумать иной способ писания, соответствующий строению моей правой лапки, и я в самом деле изобрел такой способ, как этого и следовало ожидать. Вот так, из особой организации отдельных индивидуумов возникают новые системы.

Другое пренеприятное затруднение было обнаружено мною в процессе окунания пера в чернильницу. Дело в том, что мне все никак не удавалось при окунании уберечь от чернил мою лапку: она вечно попадала вместе

с пером в чернила, и посему первые мои пробы пера оказывались сделаны не столько пером, сколько лапой, — они выходили великоваты и широковаты и несколько размазаны. Поэтому профаны и прочие недоумки могут счесть мои первые манускрипты попросту бумагой, испещренной кляксами. Впрочем, гении легко угадают гениального кота и в его первых творениях и поразятся глубине и полноте ума, изначально, даже на самых первых порах хлынувшего из неиссякаемого источника, и не только поразятся, а попросту даже будут потрясены! И вот, дабы потомки когда-нибудь не начали спорить и пререкаться, дискутируя о хронологическом порядке появления моих бессмертных творений, я должен здесь сказать, что прежде всего я написал философически-сентиментально-дидактический роман: «Мысль и чутье, или Кот и пес». Уже эта вещь могла бы произвести необычайный фурор. Затем, чувствуя себя уверенно в любом седле, я сочинил политический трактат, озаглавленный «К вопросу о мышеловках и об их влиянии на образ мыслей и жизненную энергию кошачества»; засим я ощутил вдохновение в драматическом роде и подарил миру трагедию «Кавдаллор — король крысиный». Также и эта трагедия могла быть играна несчетное количество раз на всех мыслимых и немыслимых сценах, с самым потрясающим успехом. Череду моих сочинений в их будущем полном собрании должны будут открыть эти творения моего вознесшегося в поднебесье духа, а о тех поводах, которые побудили меня написать их, я еще при случае расскажу в надлежащем месте.

Когда я научился ловчее держать перо, так, чтобы моя лапка не оказывалась заляпанной чернилами, естественно, что и стиль мой сделался куда приятнее, симпатичнее, прозрачнее и светлее, я стал ориентироваться предпочтительнее всего на альманахи муз, сочинял различные приятные отрывки и пьесы и вообще весьма скоро сделался тем достойным и пресимпатичным господином, каким я ныне являюсь. Я чуть было не сотворил тогда героико-эпическую поэму в двадцати четырех песнях, но, право, если бы я ее завершил, она оказалась бы вовсе не похожа на иные произведения этого жанра, за что Тассо²² и Ариосто²³ еще могли бы возблагодарить небеса в своих могилах, ибо, ежели и в самом деле из-под моих когтей выпорхнула бы героическая поэма, то никто в мире никогда больше не стал бы читать этих поэтов.

А теперь я перехожу к...

(Мак. л.):.. для лучшего понимания следует, однако, изложить и разъяснить тебе, любезный читатель, — ясно, четко и недвусмысленно положение вещей.

Всякий, кто хоть раз останавливался в очаровательном городишке Зигхартсвейлере, безусловно, слышал разговоры о князе Иринее. Скажем, если он заказывал трактирщику форелей — блюдо воистину замечательное в этой местности, — как последний непременно отвечал ему: «Вы правы, сударь! Наш всемилостивейший князь также с величайшим наслаждением кушают форелей, и я постараюсь приготовить эту превкусную рыбу именно так, как это принято при дворе». Впрочем, из новейших

географий, ландкарт, статистических сведений просвещенный путешественник узнавал лишь то, что городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном и всей прочей округой давным-давно сделался неотъемлемой частью великого герцогства, через которое вышеупомянутый путешественник только что проезжал; итак, его в немалой мере изумляло то, что здесь он обнаруживал всемилостивейшего князя и весь его княжеский двор. Вот в чем, однако, заключалось дело. Князь Ириней и впрямь некогда правил пресимпатичным миниатюрным княжеством неподалеку от Зигхартсвейлера²⁴, и, так как он с помощью хорошей доллондовской подзорной трубы с бельведера своего дворца в местечке, которое он сделал своей резиденцией, мог обозреть все свои владения, конечно же, он никогда не забывал о благополучии своих возлюбленных подданных, так же как и о всех отрадах и горестях, выпадавших на долю его крохотной страны. В любую минуту он мог без малейшего труда узнать, каковы виды на урожай, скажем, у Петера, посеявшего пшеницу в отдаленнейшей части его страны, и столь же отлично наблюдать за тем, хорошо ли и прилежно ли трудятся Ганс и Кунц на виноградниках своих! Говорят, что князь Ириней однажды, прогулявшись в сопредельное государство, ненароком потерял свою страну²⁵ — она выпала у него из кармана, и все тут; — однако же доподлинно известно, что в новом, значительно дополненном издании вышеупомянутого великого герцогства также и владения князя Ириней вписаны, впечатаны и внесены в общую опись. Светлейшего князя освободили от забот, свойственных правителю, выплачивая ему из доходов его бывших владений вполне приемлемый апанаж, который ему как раз и полагалось проедать в очаровательном Зигхартсвейлере.

Кроме этой крохотной страны князь Ириней обладал еще вполне солидным состоянием в наличных деньгах, состояние это ни в коей мере не было сокращено или урезано: таким образом он и глазом не успел моргнуть, как из маленького правителя внезапно сделался всеми уважаемым частным лицом, которое без всякого принуждения со стороны, по собственному своему изволению вправе жить так, как ему заблагорассудится.

У князя Ириней была репутация тонко образованного властелина, большого ценителя наук и искусств. Следует еще добавить, что бремя правления издавна казалось ему тягостным и причиняющим боль, и даже более того: о нем поговаривали, будто он изложил в изящной стихотворной форме романтическое желание вести уединенное идиллическое существование в маленьком домике близ журчащего ручья; разделяя свое уединение с несколькими домашними животными, так сказать, *procul negotiis**; итак, следовало думать, что теперь он, позабыв о том, что он правитель и властелин, устроит свою жизнь уютно и по-домашнему, что, кстати, для столь богатого и независимого частного лица более чем осуществимо. Однако на деле все обстояло совершенно иначе!

* Уйдя от дел (лат.).

Очень может быть, что любовь великих мира сего ко всяческим искусствам и наукам следует рассматривать лишь как неотъемлемую часть собственно придворного существования. Приличия требуют, чтоб великие мира сего обладали произведениями живописного искусства, слушали музыку, и было бы весьма неприлично и даже странно, если бы придворный переплетчик бил баклуши, а не переплетал бы непрестанно замечательнейшие творения новейшей литературы в кожу с золотым тиснением, заодно снабжая их золотым обрезом. Однако если эта любовь является непреложной составной частью придворного существования, то вместе с ним любовь эта должна исчезнуть и как таковая отнюдь не может составлять предмет непрекращающихся забот для того, кто утратил престол или хотя бы даже скромный регентский стульчик, на котором быломu правителю восседалось так приятно.

Князь Ириней, однако, старательно сохранил и то и другое, и придворный церемониал и любовь к искусствам и наукам, благодаря тому, что он воплотил свои сладостные грезы, превратив их в некий сон наяву, реальными персонажами которого оказались как он сам со всем своим окружением, так и весь Зигхартсвейлер.

А именно — князь делал вид, что он никогда и не переставал быть правящим государем и сувереном, он сохранил весь свой придворный штат: государственного секретаря, финансовую коллегию и т. д. и т. п., он по-прежнему награждал своих бывлых верноподданных доморощенными фамильными орденами, давал аудиенции, устраивал придворные балы, в которых обычно принимало участие от двенадцати до пятнадцати персон, однако этикет соблюдался здесь куда строже, чем при крупнейших дворах; благо обитатели городка были достаточно благодушны и охотно делали вид, что ложный блеск этого сугубо призрачного двора приносит им и их городку необыкновенную славу и чрезвычайную честь. Таким образом, добрые зигхартсвейлерцы называли князя Ириня милостивым своим государем, иллюминировали город в дни тезоименитств и вообще охотно жертвовали собой ради того, чтобы позабавить и потешить князя и его двор, точь в точь как афинские горожане в шекспировском «Сне в летнюю ночь»²⁶.

Конечно, невозможно было отрицать, что князь играет свою роль эффектно и не без пафоса и превосходно умеет заражать этим пафосом все свое окружение. Вот, скажем, зигхартсвейлерский клуб. Является финансовый советник князя Ириня, советник этот мрачен, погружен в свои мысли, из него и слова не вытянешь! Тучи омрачают его чело, он погружен в глубокомысленные размышления, и когда его отвлекают от них, вздрагивает всем телом, как бы внезапно пробуждаясь! Добрые зигхартсвейлерцы в его присутствии беседуют шепотом, ходят на цыпочках. Но вот пробило девять, финансист вскакивает, хватается за шляпу, и тщетны все попытки удержать его, заставить его остаться, ибо он с горделивой и в высшей степени значительной миной заявляет, что его ожидают целые груды актов, что он вынужден будет посвятить всю ночь пригото-

лениям к завтрашнему, необыкновенно важному, последнему в данном квартале заседанию коллегии и спешит домой, оставляя общество в состоянии благоговейного оцепенения и вполне искреннего изумления перед важностью и необычайной трудностью исполняемых им обязанностей. Но что же это за глубокомысленный доклад, который сей изнуренный неусыпными трудами подвижник должен будет готовить всю ночь напролет? Оказывается, к нему стекаются счета за стирку из всех департаментов — кухни, столовой, гардеробной — за истекший квартал — и именно он и не кто иной должен делать доклад относительно всех обстоятельств, связанных со стиркой! — Вот так же весь Зигхартсвейлер сочувствует и соболезнует несчастному княжескому кучеру, однако восклицает, изумленный премудрым решением княжеской коллегии: «Строго, но справедливо!» Все дело заключается в том, что этот придворный кучер согласно полученной им инструкции продал пришедшую в негодность коляску, так называемую полукарету, однако финансовая коллегия обязала его, под угрозой незамедлительного отрешения от должности, в трехдневный срок доказать, где он оставил другую половину оной кареты, каковая, весьма возможно, была еще вполне пригодна к употреблению.

Необыкновенной звездой, сиявшей при дворе князя Иринея, была советница Бенцон²⁷, вдова, уже на четвертом десятке; некогда замечательная красавица, еще и ныне, впрочем, не лишенная привлекательности, единственная из придворных, чья принадлежность к дворянству представлялась сомнительной, и которую, однако, князь навсегда допустил ко двору. Ясный и пронизательный рассудок советницы, ее живой ум, ее светская опытность и житейская мудрость, а также — прежде всего и больше всего — известная холодность ее характера, совершенно необходимая тем, кто желает повелевать себе подобными, — все это содействовало тому, что она сделалась весьма влиятельной особой, так что, собственно говоря, именно она была той личностью, которая держала в своих руках и дергала все ниточки кукольной комедии сего миниатюрного двора. Дочь ее Юлия, выросла вместе с принцессой Гедвигой, и на духовное развитие принцессы советница оказывала такое заметное влияние, что принцесса казалась чужой в княжеском семействе, особенно разительно отличаясь от своего брата. Дело в том, что принц Игнатий был обречен на вечное младенчество: его почти можно было назвать слабоумным.

Советнице Бенцон противостоял столь же влиятельный, столь же глубоко проникающий в самые интимные детали существования сиятельного семейства, хотя и на совершенно иной лад, чем она, престранный господин, который тебе, о любезный читатель, уже известен в качестве *maître de plaisir* * при дворе князя Иринея, а также в качестве иронического иллюзиониста и чернокнижника.

Маэстро Абрагам стал своим человеком в княжеском семействе при весьма странных обстоятельствах.

* Устроитель празднеств (фр.).

Почивший в бозе батюшка князя Ириня был государем простых и скромных правил. Он отлично разумел, что излишние потрясения, чрезмерные усилия реформировать что бы то ни было непременно разрушат хилый и хрупкий государственный механизм, вместо того, чтобы придать этому механизму бóльший размах и ускоренный ход. Поэтому он в своем крохотном княжестве пустил все идти так, как оно шло и до него, испокон веков, и хотя такого рода отношение к делам правительственным лишало его случая и возможности явить во всем блеске свой государственный ум или же какие-либо иные дары небес, доставшиеся на его долю, он вполне удовлетворялся тем, что в его княжестве все чувствовали себя отлично, что же касается отношений с другими государствами, то тут дело обстояло так, как оно обычно обстоит с женщинами, ибо лишь ту из них можно признать вполне безупречной, о которой не говорят вовсе. И если миниатюрный двор старого князя был церемонным, старомодным, чопорным и если старый князь никоим образом не был способен постичь суть целого ряда либеральных идей, созданных самой нашей современностью, то причина этому была в неизменности того одеревеневшего остова, который обергофмейстер, гофмаршалы и камергеры поддерживали с таким трудом и тщанием. Однако же на этом остове был утверждён и вращался некий маховик, который ни один гофмейстер, ни один гофмаршал никогда и не пытались остановить. Этим маховиком, этим маховым колесом было собственное престарелому князю чуть ли не с пеленок непреодолимое тяготение ко всему странному, таинственному и загадочному. — Старый князь пробовал иногда, по примеру прославленного калифа Гарун аль Рашида, переодевшись, ходить по городу и по прилегающим селениям, чтобы удовлетворять ту тягу, которая находилась в пристрастном противоречии со всеми прочими тенденциями его существования, дабы удовлетворить это влечение или же для того, чтобы отыскать ему применение, чтобы насытить его чем-то. Когда на него находил подобный стих, старый князь надевал круглую шляпу и облачался в серый редингот, так что всякий прохожий, лишь мельком взглянув на его сиятельную персону, мгновенно соображал, что князь вышел инкогнито и узнавать его отнюдь не следует.

Итак, однажды случилось, что старый князь — переодетый и якобы неузнаваемый — шагал по аллее, ведущей от его дверей в ту отдаленную территорию парка, где поодаль от других стоял уединенный домик, в котором обитала безутешная вдова княжеского лейб-повара. Подойдя к этому домику, князь увидел двух незнакомцев, закутанных в плащи. Люди эти только вышли из вышеупомянутого домика. Его сиятельство отошел в сторону, и историограф княжеского семейства, из писаний коего я извлек эти подробности, замечает, что старый князь остался бы неузнанным даже и тогда, если бы на нем вместо серого редингота был надет сверкающий мундир с ярко блестящей орденской звездой; неузнанным по той простой причине, что был уже поздний вечер и тьма кругом стояла — хоть глаза выколи! Когда же сии закутанные господа проходили мимо князя, он с исключительной явственностью услышал следующий диалог. Один сказал:

«Благородный брат мой, умоляю тебя, возьми себя в руки, не сглуми хоть на этот раз! — Этот субъект непременно должен убраться, прежде чем князь что-нибудь о нем узнает, ибо в противном случае этот проклятый чудодей сядет нам на шею и сатанинскими своими чарами всех нас погубит». Другой ответил: «*Mon cher frère **, не стоит так горячиться, ты знаешь мою проницательность, мою *savoir faire ***. Завтра я швырну этому опасному пройдохе несколько карлино, и пусть отправляется дурачить людей своими фокусами туда, куда хочет. Здесь ему нельзя оставаться. Князь ведь и без того...».

Голоса отзвучали, и посему князь так и не узнал, кем именно считает его гофмаршал, ибо это был не кто иной, как гофмаршал со своим братом, обер-егермейстером; они-то и выскользнули из домика и вели эту странную беседу. Однако князь сразу узнал обоих по голосу.

Ясное дело, что князь счел чрезвычайно важным и безотлагательным немедленно разыскать того самого человека, того самого опасного чудодея, знакомство которого с князем пытались во что бы то ни стало предотвратить. Он постучался, вдова вышла на крыльцо со свечой в руке и, узрев пресловутую круглую шляпу и серый сюртук, с холодной учтивостью осведомилась: «Чем могу служить, *monsieur? ****» Ибо именно так обращались к князю, когда он был переодет и, следовательно, неузнаваем. Князь стал расспрашивать о чужеземце, который, по слухам, обитает в доме вдовы, и узнал, что этот чужеземец именно и есть весьма ловкий и расторопный, знаменитый, снабженный множеством аттестатов, рекомендаций и привилегий фокусник, собирающийся продемонстрировать здесь свое удивительное искусство. Только что, — рассказала вдова, — двое придворных побывали у него и он посредством совершенно необъяснимых фокусов привел их в такое изумление, что они, бледные как смерть, сбитые с толку и в совершеннейшей растерянности покинули ее скромный домик.

Прекратив свои расспросы, князь велел ввести себя в комнату чудотворца, маэстро Абрагама (ибо прославленный фокусник был маэстро Абрагам собственной персоной), тот принял его как долгожданного гостя и запер за ним дверь.

Никто не знает, что тогда проделал маэстро Абрагам, доподлинно известно лишь, что князь оставался у него всю ночь и что на следующее утро во дворце были обставлены покои, в которые перебрался маэстро Абрагам; в покои эти князь мог попадать из своего кабинета незамеченным — а именно, потайным ходом. Помимо того, доподлинно известно, что князь перестал называть своего гофмаршала «*mon cher ami *****», и больше никогда не высказывал желания выслушать из уст обер-егермейстера удивительно живописный рассказ о рогатом зайце-беляке, которого он (т. е. обер-егермейстер) во время первой своей охотничьей вылазки в лес по-

* Дорогой мой брат (фр.).

** Эд.: тактичность (фр.).

*** Сударь (фр.).

**** Мой дорогой друг (фр.).

чему-то никак не мог застрелить; подобное обхождение повергло сановных братьев, т. е. гофмаршала с обер-егермейстером, в такую грусть и отчаяние, что оба они и очень вскоре вовсе удалились от двора. Наконец достоверно известно, что маэстро Абрагам приводил в изумление весь двор, весь город и даже все окрестности оною не только своими фантазмагориями, но также и тем необычайным уважением и благожелательным расположением, которыми к нему все больше и больше проникался старый князь. Относительно фокусов, которые якобы показывал маэстро Абрагам, упомянутый историограф княжеского рода сообщает столько невероятного, что трудно решиться всерьез пересказывать все эти рассказы, дабы не подорвать доверие, которое, конечно, питает к нам благосклонный читатель. Впрочем, тот фокус, который наш историограф склонен считать чудеснейшим из всех прочих и, более того, о котором он замечает, что фокус этот служит несомненным доказательством тесных связей маэстро Абрагама с потусторонними духами, попросту говоря, — с нечистой силой, есть не что иное, как акустический обман чувств, который впоследствии под названием «Невидимая девушка» вызывал такую сенсацию. Так вот, этот фокус маэстро Абрагам уже тогда умел проделывать более выразительно, остроумно и фантастично и куда более поражая душу, чем это впоследствии кому бы то ни было удалось осуществить.

Мимоходом следует заметить, что князь собственной персоной производил вместе с маэстро Абрагамом некие магические операции, относительно сути и назначения которых в тесном кругу придворных дам, камергеров и прочей придворной братии возникла приятнейшая перепалка, прелестнейший обмен глупейшими и бессмысленнейшими предположениями. Все сходились в одном, — а именно в том, что маэстро Абрагам демонстрирует князю процесс изготовления золота, о чем можно было заключить по дыму, который по временам валил из трубы лаборатории, и что он, Абрагам, знакомит князя со всяческими весьма полезными для его светлости духами. Кроме того, все были убеждены в том, что князь не выдаст патент новому бургомистру и не соблаговолит дать прибавку к жалованию даже придворному лейб-истопнику, предварительно не испросив на это дозволения у своего агатодемона, у доброго домашнего духа или даже у самих созвездий.

Когда старый князь скончался и Ириней унаследовал его престол и его прерогативы, маэстро Абрагам покинул страну. Юный князь, абсолютно не разделявший пристрастия своего батюшки к загадочному и чудесному, разрешил маэстро уехать, однако вскоре обнаружил, что магическая сила, присущая Абрагаму, заключается преимущественно в том, что он ухитряется заклинать некоего злого духа, с превеликой охотой гнездящегося при миниатюрных княжеских дворах, а именно адского Духа Скуки. Помимо этого, также и уважение, которым пользовался маэстро Абрагам у его отца, глубоко укоренилось в душе юного князя. Бывали мгновения, когда князю Иринею казалось вдруг, что маэстро Абрагам является каким-то сверхъестественным созданием, стоящим превыше

всего человеческого, да и только ли человеческого?! Говорят, что это странное впечатление возникло у князя в результате одного трагического и абсолютно забываемого происшествия, случившегося с Иринеем в дни его золотого детства. Будучи еще мальчуганом, он забрался однажды, побуждаемый чрезмерным ребяческим любопытством, в комнату маэстро Абрагама и по неловкости своей сломал некий крохотный механизм, который маэстро только что с величайшими трудами, тщанием и искусством соорудил, однако же маэстро, разгневавшись по случаю такой разрушительной неловкости сиятельного сорванца и шалунишки, украшенного княжеским званием, вlepил ему пречувствительную и полновесную оплеуху, а затем с некоторой, не совсем приятной, поспешностью выставил его из комнаты своей в коридор. Заливаясь слезами, юный принц с величайшим трудом выдавил из себя «Abraham — soufflet»*, так что оробевший обергофмейстер счел за благо воздержаться от дальнейшего проникновения в княжескую, должно быть ужасающую, тайну. Смелости его хватило лишь на то, чтобы подозревать о существовании некой страшной тайны.

Князь Иринея чувствовал жгучую необходимость удержать у себя маэстро Абрагама, как животворящее начало всей придворной машинерии; тщетными оказались, однако, все его попытки вернуть фокусника и чудадея в свое княжество. Лишь после той роковой прогулки, когда князь Иринея утратил все свои владения; лишь тогда, когда он ограничился сугубо призрачным двором в Зигхартсвейлере, — лишь тогда маэстро Абрагам отыскался, всплыл, да и в самом деле, более подходящего времени для возвращения нельзя было и придумать. Ибо, кроме того, что...



(Мурр пр.):.. тому достопамятному происшествию, которое, если воспользоваться испытанным выражением утонченно мыслящих биографов, составило важнейшую главу в моей жизни. — О, читатель! — Юноши, мужчины, дамы, под чьей шкуркой бьется чувствительное сердце: ежели вы не чужды добродетели, ежели вы ощущаете и приемлете воистину сладостные узы, связующие нас с природой, — вы непременно поймете и возлюбите меня!

День выдался жаркий, я провел его, подремывая под печкой. Наконец настали сумерки, и живительный ветерок проник сквозь раскрытое в кабинете моего маэстро окно. Я пробудился от сна, грудь моя блаженно расширилась, в нее влилось некое неизъяснимое упование, которое, будучи в одно и то же время страданием и радостью, воспаляет в груди нашей сладчайшие предчувствия. Весь во власти этих упоительных предчувствий, я вскочил и преизящно выгнул спинку, — движение это холодные и рассудочные люди именуют «кошачьим горбом». — На волю, на волю захотелось мне — на лоно природы, и я устремился на крышу и стал неспешно прогуливаться там в лучах заходящего солнца. Вот тут я и услышал какие-то звуки, доносящиеся с чердака; такие кроткие, приятные, уютные, нежные, такие знакомые, такие призывные: нечто неведомое повлекло меня вниз с непреодолимой силой. Я покинул прелестную природу,

* Абрагам — пощечина (фр.).

пролез в узенькое слуховое окно и оказался на чердаке. Спрыгнув с окна, я сразу заметил крупную, необычайно красивую кошку — белую в черных пятнах; кошка эта, со спокойным изяществом восседая на задних лапах, как раз и издавала те неизъяснимо влекущие звуки; я был замечен ею, и меня буквально пронзил ее молниеносный испытующий взор. Мгновенно я уселся против нее и попытался, подчиняясь внутреннему влечению, подпевать той песенке, которую завела пятнистая особа. Это удалось мне, готов признаться, сверх всякой меры превосходно, и с этого-то мгновения (делаю это замечание для психологов, которым предстоит фундаментально изучить меня и жизнь мою) я и уверовал в свой скрытый музыкальный талант, мне думается, что именно с этой верой возник и самый талант. Тут пятнистая дама, еще внимательней и пристальней взглянув на меня, внезапно сильным прыжком метнулась ко мне. Я, не ожидая от нее ничего хорошего, счел за благо показать свои коготки, но в этот миг пятнистая, проливая светлые слезы, вскричала: «Сын мой, — о, сын мой! Поспеши! — приди в объятия мои!» — И затем, пылко прижимая меня к своей груди, она пролепетала: «Да, это ты, ты мое дитя, мой добрый сынок, коего я породила — нельзя сказать, чтобы в особых муках!»

Я ощутил глубочайшее волнение, затрепетали наискровеннейшие недра моего естества, и уже самое это чувство должно было убедить меня, что пятнистая и впрямь — моя матушка, однако, невзирая на все это, я все же спросил ее, вполне ли она в этом уверена.

— О, это сходство, — воскликнула пятнистая, — это разительное сходство, эти глаза, эти черты, эти пышные бакенбарды, эта полосатая шкурка, все это живо, даже с чрезмерной живостью напоминает мне того неверного, того неблагодарного, который так зверски покинул меня! — Ты истинный портрет своего папеньки, мой милый Мурр (ведь тебя так зовут, не правда ли?), я надеюсь, однако, что ты вместе с красотой отца унаследовал более мягкий характер, более кроткий нрав своей матери Мины. Отец твой обладал весьма внушительными манерами и горделивой осанкой, чело его блистало чувством собственного достоинства, необыкновенным глубокомыслием сверкали его зеленые глаза, и обворожительная усмешка нередко играла на его устах. Эти несомненные телесные преимущества, а также его живой и резвый ум, не говоря уже о грациозности, с которой он проворно ловил мышей, мгновенно покорили мое женское сердце. Вскоре, однако, обнаружился его жестокий тиранический характер, а ведь поначалу он его так ловко скрывал! — С ужасом произношу я эти слова! — Едва ты родился, как твой отец ощутил роковое желание сожрать тебя вкупе с твоими ни в чем не повинными братцами и сестричками. . .

— Дражайшая матушка, — прервал я тираду моей пятнистой собеседницы, — дражайшая матушка, не стоит так уж проклинать эти папенькины порывы! Разве эллины — просвещеннейшие люди — не приписывали своим богам престранной склонности к пожиранию собственных детей²⁸, но Юпитер был спасен, вот и я тоже!

— Я не понимаю тебя, сын мой, — возразила Мина, — но мне кажется, что ты либо мелешь чушь, либо вознамерился защищать своего отца. Не проявляй черной неблагодарности: ты непременно был бы задушен и сожран кровожаднейшим тираном, если бы я не защищала тебя с неописуемой отвагой этими вот самыми преострыми когтями; если бы я, обегав подвалы, чердаки и конюшни, не уберегла бы тебя от коварных преследований этого извращенного варвара. — Наконец он бросил меня, и с тех пор я ни разу его не видала! И все-таки сердце мое еще сладостно трепещет при одном воспоминании о нем! Какой это был великолепный кот! Многие — по его осанке, по его утонченным манерам — принимали его за путешествующего графа. . . — Теперь-то, думалось мне, я поведу, наконец, тихое, спокойное существование в тесном семейном кругу, выполняя свой материнский долг, но ужасающий удар должен был вот-вот поразить меня. — Однажды, вернувшись домой после небольшого променада, я обнаружила, что ты исчез, исчез бесследно вместе с твоими братьями и сестрицами! — Некая старуха, отыскав меня за день до того в моем укромном убежище, стала плести что-то о том, чтобы, дескать, пошвырять весь этот выводок в пруд — и так далее, и тому подобное! Ах, какое счастье, что ты, сынок, спасся! Приди же снова на грудь мою, любимый отпрыск мой!

Пятнистая матушка обласкала меня со всей нежностью и сердечностью и потом стала с пристрастием допытываться у меня о прочих подробностях моей жизни. Я рассказал ей все и не преминул упомянуть при этом о моей незаурядной образованности и о том, как я дошел до такой ученой жизни.

Однако пятнистую маменьку Мину мои редкостные достоинства тронули куда меньше, чем я предполагал. И более того! Она ясно дала мне понять, что я — с моим из ряда вон выходящим умом, с моей глубокой ученостью — сошел с пути истинного и что это может даже погубить меня. И еще она предупредила меня, что я не должен открывать моих новообретенных познаний моему хозяину — маэстро Абрагаму, ибо этот последний непременно воспользуется ими лишь затем, чтобы обратить меня в тягчайшую и безысходнейшую холопскую зависимость.

— Я, конечно, не могу похвалиться, — говорила мне Мина, — такой образованностью, как твоя, но тем не менее я отнюдь не лишена природных способностей и чрезвычайно приятных, самой природою мне дарованных талантов. К ним я причисляю, скажем, способность извлекать из шкурки моей потрескивающие искры, когда люди меня гладят по спинке. И каких только неприятностей не испытала я из-за одного лишь этого единственного дарования! Детвора и взрослые непрерывно терзают и торжуют мне спинку ради такого фейерверка, немилосердно мучая меня при этом. А тогда, когда я малодушно отпрыгиваю или показываю когти, мне приходится выслушивать всякого рода обидные замечания, меня называют строптивой и дикой тварью, а порой даже и колотят слегка. — Так вот, как только маэстро Абрагам удостоверится, что ты умеешь пи-

сать, милейший Мурр, он закабалит тебя, превратит тебя в безропотного писца и копииста, и тягчайшею повинностью твоею станет то, что ты теперь делаешь с радостью и наслаждением, по собственной своей охоте!

Мина еще долго распространялась о моих взаимоотношениях с маэстро Абрагамом и о моей высокой образованности и начитанности. Лишь много позже я уразумел, что то, что я считал в ней отвращением к наукам и знаниям, было на самом деле истинной житейской мудростью, неистощимым кладезем которой являлась моя пятнистая маменька.

Я узнал, что Мина живет у престарелой соседки, узнал, что родительница моя очень и очень нуждается и что ей порою стоит немалых трудов утолить голод. Это глубоко тронуло меня, сыновняя любовь мощно пробудилась в моей груди, я вспомнил о великолепной селедочной голове, припрятанной мною от вчерашней трапезы, и твердо решил презентовать ее моей новообретенной родительнице.

Но кто сможет измерить все сердечное непостоянство, всю изменчивость тех, которые блуждают под луной, озаряемые ее неверным светом! Почему судьба не замкнула нашу грудь, дабы не превратить ее в игралище роковых и пагубных страстей. Почему мы, подобно хрупкому, колышущемуся тростнику, вынуждены покорно склоняться под житейским ураганом? О, враждебный, о, неумолимый рок! «О, аппетит, — тебя котом зову я!»²⁹. Итак, с селедочной головой в зубах взобрался я, словно *pius Aeneas** на крышу и уже вознамерился было пролезть в чердачное оконце.

Вот тут-то я и испытал совершенно своеобразное ощущение: мое «я» было решительно чуждо моему истинному «я», но в то же время вернейшим образом отображало некие затаенные порывы моего сокровеннейшего «я».

Полагаю, что выразился вполне вразумительно и четко, так что в этом описании моего удивительного состояния всякий сможет увидеть, с каким необычайным рвением, свойственным разве что прирожденным психологам, я отважно проникаю в заветные пучины и бездны нашей души. — Стало быть, я продолжаю!

Поразительное чувство, как бы сотканное из пылкого желания и вялой неохоты, овладело мною, оно пересилило меня — ни о каком сопротивлении не могло быть и речи, увы, я сожрал, я слопал эту дивную селедочную голову!


Робко прислушивался я к трогательному мяуканью Мины, боязливо слушал, как она, бедняжка, звала меня по имени. Раскаяние и стыд охватили меня; я влетел в кабинет моего маэстро и забрался под печку. И тут меня стали терзать самые ужасающие видения, самые жуткие призраки. Перед моими очами была Мина, вновь обретенная пятнистая маменька, покинутая мною в полном отчаянии, голодная, безутешная,

* *Благочестивый Эней*³⁰ (лат.).

жаждущая дивного, необдуманно обещанного мною лакомства. Мина, готовая лишиться чувств... — Чу! — это ветер, завывающий в дымоходе, произнес имя Мины; — Мина, Мина — шелестело и шушало в бумагах моего маэстро. Мина, — поскрипывали хрупкие бамбуковые стулья. Ах, Мина-Мина — всхлипывала печная заслонка. О! Это было горестное душераздирающее чувство, и это чувство пронизывало меня! Я решил, как только представится возможность, пригласить как-нибудь поутру мою бедную матушку полакать со мной молочка. Ах, что за освежающая, что за благодатная и благодетельная мысль осенила меня, какое восхитительное успокоение ощутил я вдруг. Я прижал уши и заснул блаженным сном!

О вы, тончайшие, о вы, чувствительные души, вы, всецело понимающие меня; вы увидите еще, ежели вы, конечно, не ослы, а истинные добропорядочные коты, вы увидите и постигнете, говорю я, что эта буря в груди моей прояснила небеса моей юности, — не так ли благодетельный ураган разгоняет мрачные тучи и открывает взору беспредельные лазурные дали?! Роковая селедочная голова тяжко обременила мою душу и совесть, но зато я постиг, что есть аппетит, какова его сила, и до чего же кощунственно и святотатственно противиться зову матери-природы! Итак, пусть каждый ищет свою селедочную голову и не пытается перебежать дорогу другим расторопным и сообразительным собратьям своим, каковые, ведомые инстинктивным чутьем и здоровым аппетитом, припасают оные головы для собственного употребления!

Вот так я и заканчиваю рассказ об этом незабвенном эпизоде моей жизни, который...

 (Мак. л.):... нет ничего более несносного для историографа или биографа, чем, когда он, как бы мчась на необъезженном скакуне, вынужден лететь по ухабам и буеракам, по пашням и лугам в безуспешных поисках надежного пути. Нечто подобное происходит и с тем, кто вознамерился, о, благосклонный читатель, запечатлеть на бумаге то, что ему известно о необыкновенной жизни капельмейстера Иоганна Крейсlera. С превеликой охотой биограф начал бы следующим образом: В маленьком городке Н. или Б. или К. в Троицын день или на пасху в таком-то и таком-то году явился на свет Иоганнес Крейслер! Но такого рода образцовый хронологический порядок весьма нелегко соблюсти, ибо злополучный повествователь располагает лишь известными, да и то сугубо отрывочными сведениями, которые непременно следует подвергнуть литературной обработке, покамест они окончательно не выветрились из его памяти. Как, собственно, собирались и накапливались эти драгоценные крохи, ты, любезный мой читатель, непременно узнаешь еще до конца этой книги, и тогда, быть может, не вменишь в вину составителю ее несколько рапсодический характер и, пожалуй даже, удивишься в том, что она лишь на первый взгляд представляется несколько отрывочной и хаотичной, а на деле все ее фрагменты связаны некоей крепкой и прочной нитью,

Пока что продолжаю: не слишком много времени прошло с тех пор, как князь Ириней поселился в Зигхартсвейлере, и вот однажды вечером, чудным летним вечером — принцесса Гедвига и Юлия гуляла в прелестном зигхартсгофском парке. Словно золотая пелена, расстилась и искрилось над деревьями сияние заходящего солнца. Листва была совершенно недвижима. В молчании, исполненном предчувствий, деревья и кусты словно обращались с немой мольбой к вечернему ветру, будто умоляя его прилететь и обласкать их. Одно только журчание лесного ручейка, прыгающего по белеющим камешкам, нарушало эту очарованную тишину. Девушки молча бродили, взявшись за руки, по узеньким аллеям, вьющимся между цветочными клумбами, перебирались по узеньким мостикам, переброшенным через капризные извилины ручья, покамест не дошли до конца парка, до большого озера, в котором отражался отдаленный утес Гейерштейн и венчающие его живописные руины.

— Какая красота! — от всей души воскликнула Юлия. — «Давай, — сказала Гедвига, — зайдем в рыбацкую хижину. Вечернее солнце печет немилосердно, а изнутри сквозь среднее окно — вид на Гейерштейн еще лучше, чем отсюда, ибо весь окрестный пейзаж предстает оттуда не в виде панорамы, а как бы отдельными группами, вместе образующими настоящую картину».

Юлия пошла вслед за принцессой, а принцесса, едва войдя в хижину, бросив взгляд в окно, стала сожалеть, что у нее нет с собой карандаша и бумаги, чтобы запечатлеть пейзаж в том освещении, которое она называла необыкновенно эффектным и, более того, — дразнящим воображение.

— Мне почти хочется, — сказала Юлия, — мне почти хочется позавидовать твоей способности с таким искусством запечатлеть деревья и кусты, горы, холмы и озера, точь-в-точь такими, каковы они в природе. Но я знаю уже, что если бы я тоже умела так чудно рисовать, как ты, то все-таки мне никогда не удалось бы изобразить пейзаж таким, каков он в натуре, и чем прекраснее пейзаж, тем труднее мне приняться за него. Я созерцала бы его с таким восторгом и радостью, что, пожалуй, так и не смогла бы приняться за дело! — При этих простодушных словах Юлии лицо принцессы озарила некая странная для шестнадцатилетней девушки усмешка, и усмешка эта была просто поразительной, чтобы не сказать более. Маэстро Абрагам, который порой выражался несколько витиевато, говаривал, что подобного рода смену выражения лица можно сравнить разве что с престранной рябью, возникающей на поверхности тогда, когда в пучине движется нечто опасное и грозное. Так или иначе, принцесса Гедвига улыбнулась: она чуть приоткрыла розовые уста, чтобы что-то возразить кроткой и прямодушной Юлии, как вдруг совсем рядом зазвучали аккорды — удары по струнам были так громогласны и наносились с такой дерзновенной силой, что невозможно было поверить, что это самая обычная гитара!

Принцесса онемела от неожиданности и вместе с Юлией выбежала из рыбацкой хижины.

Теперь зазвучали одна за другой поистине чудесные мелодии, связанные удивительнейшими переходами, необычайнейшими последовательностями аккордов.

В музыку влетался звучный мужской голос, а в нем то звучала вся сладость напевов Италии, то, внезапно прервав эти нежные рулады, певец начинал серьезную и грустную мелодию; порою он вдруг переходил на речитатив, особенно выразительно акцентируя в нем отдельные слова.

Певец настраивал гитару, потом снова брал аккорды — затем вновь прерывал и вновь настраивал, — потом раздавались гневные, словно бы в ярости вырвавшиеся слова, — потом вновь мелодии — и вновь звуки настройки.

Заинтересованные тем, что это за удивительный виртуоз, Гедвига и Юлия подкрадывались все ближе и ближе, пока не увидели человека в черном, который сидел спиной к ним на обломке скалы, у самого озера; он играл замечательно и вдохновенно; порою же начинал петь и даже разговаривать с самим собою.

Вдруг он перестроил гитару на какой-то необыкновенный лад и, беря отдельные аккорды, восклицал в паузах между ними: «Опять не так — нет чистоты — то чуть-чуть ниже, то чуть-чуть выше, чем следует!»

Засим он высвободил инструмент, распустив голубую ленту, на которой у него через плечо висела гитара, схватил ни в чем не повинную певунью обеими руками и, держа ее перед собой, заговорил: «Скажи мне, ты, своевольница, где же, собственно, укрылось твоё благозвучие, в каком уголке твоего нутра прячется чистая гамма? Или, быть может, ты хочешь восстать против своего хозяина, дерзко уверяя, будто уши его заколочены наглухо увесистыми кувалдами хорошо темперированного клавира³¹ и что энгармонизм его всего лишь ребячья забава? Мне почему-то кажется, что ты измываешься надо мной, невзирая на то, что я выбрит куда тщательней, чем твой мастер Стефано Пачини³² «detto il Venetiano»*, он-то и вдохнул в твою грудь дар гармонии и благозвучия, остающийся для меня неразгаданной тайной. Запомни, пожалуйста, милочка, ежели ты не позволишь мне взять в унисон C_{is} и A_s или E_s и D_{is}, да и решительно все другие тональности, то я найшу на тебя девять учнейших немецких мастеров, пусть они тебя выбранят, пусть они усмирят тебя и укротят своими довольно-таки негармоничными словечками! И не бросайся, пожалуйста, в объятия этому твоему Стефано Пачини, и не старайся, как всякая сварливая баба, чтобы за тобой непременно осталось последнее слово! — Или, может быть, ты даже столь дерзка и горделива, что полагаешь, будто все пленительные колдовские духи, которые живут в тебе, повинуются только чарам могущественных чудодеев, которые давно уже покинули юдоль сию и что в руках робкого недоучки...»

* Именуемый венецианцем (ит.).

Сказав это, незнакомец внезапно смолк, встал, выпрямился и весьма глубокомысленно стал глядеть в озеро. Девушки, заинтригованные странным поведением этого человека, застыли за кустами, как вкопанные и едва решались дышать.

— Гитара, — наконец вырвалось у него, — да ведь это же самый ничемный, самый несовершенный инструмент, годный разве что на то только, чтобы служить при случае воркующим пастушкам, ежели те, скажем, потеряли амбушюр³³ к свирели, в противном случае они бы, конечно, предпочли дуть в свои дудочки, пробуждая эхо, посылая жалобные мелодии горы, туда, к своим эммелинам³⁴, которые сгоняют милых овечек, пощелкивая сентиментальными бичами своими! О господи! пастушкы, которые «вздыхают словно печи, своих любимых грустно воспевая»³⁵ — научите их, что трезвучие состоит не из чего иного, как всего лишь из трех звуков и его закалывают насмерть кинжальным ударом септимы, а уж затем вручите им, пожалуйста, печальницу-гитару! Но серьезным господам, весьма образованным и эрудированным, прекрасно разбирающимся в греческом любомудрии и отлично знающим, как идут дела при пекинском или нанкинском дворе, но ровно ничего не смыслящим в пастушеском ремесле и в откорме баранов, что им все эти вздохи и бряцания? Ах, жалкий скоморох, ну что ты затеял?! Вспомни о покойном Гиппеле³⁶, который уверял, что, когда он видит педагога, дающего уроки колочения по клавиатуре, ему кажется, что помянутый педагог варит яйца всмятку — окунул и вытащил, сунул и вытащил — и вот теперь — бряцание гитары — ах ты, шут гороховый — тьфу дьявол! Ко всем чертям ее!» Сказав это, престранный человек швырнул гитару в кусты как можно дальше и удалился, так и не заметив девушек.

— Ну, — смеясь, вскричала Юлия после непродолжительного молчания, — ну Гедвига, что скажешь ты об этом поразительном явлении? Откуда он, этот престранный господин, который сперва так прелестно беседовал со своим инструментом, а потом с таким пренебрежением отшвырнул его, будто сломанный коробок?

— Это невозможно, — сказала Гедвига как бы в приступе внезапного гнева, причем щеки ее вдруг заалели, как кровь. — Это недопустимо, что ворота парка стоят открытые настежь и что любой проходимец, любой встречный может проникнуть сюда.

— Как, — возразила Юлия, — князю следовало бы, ты полагаешь, запереть ворота перед зигхартсвейлерцами — нет, не только перед ними одними, но и перед каждым, кто идет по дороге, — скрыть от людских глаз прелестнейшие уголки всей здешней местности! Неужто ты и в самом деле думаешь так? — «Ты не представляешь, — продолжала принцесса живее, — ты не представляешь себе опасности, которая вследствие этого возникает для нас. Как часто бродим мы здесь так, одни, как сегодня, одни и вдали от какой бы то ни было челяди, в отдаленнейших аллеях этого леса. А что если вдруг какой-нибудь злоумышленник...»

— Вот именно! — прервала Юлия принцессу. — Мне даже чудится уже, что из этого или вон того куста возьмет да и выглянет какой-нибудь неотесанный сказочный великан или выпрыгнет вдруг некий сказочный рыцарь-разбойник, чтобы похитить нас и уволочь в свой замок! Нет, нет! Упаси боже! Об этом не стоит и думать! Но я все-таки должна тебе признаться, что какое-нибудь небольшое приключение здесь — в таком уединенном романтическом лесу, показалось бы весьма заманчивым, красивым, даже прелестным! Мне вспомнилось, кстати, шекспировское «Как вам это понравится?» — помнишь, матушка так долго не разрешала нам читать эту пьесу, которую нам в конце концов прочитал Лотарио? Сознайся, ты с превеликой охотой сыграла бы роль Селии, а я стала бы твоей верной Розалиндой? Ну, а какую роль мы предложим нашему таинственному виртуозу?

— О, — воскликнула принцесса, — все дело именно в этом незнакомце! Поверишь ли ты, Юлия, весь его облик, его удивительные речи возбудили во мне ужас, необъяснимый ужас. Еще и нынче я трепещу от страха, я во власти темного чувства, странного и ужасного в одно и то же время, и чувство это будто сковало меня. В сокровенных глубинах моей души таится некое неясное воспоминание, тщетно пытаюсь обрести четкие контуры. Я уже видела некогда этого человека, и облик его сочетается в моей памяти с каким-то ужасным событием, истерзавшим мое сердце, — быть может, это был лишь призрачный сон, воспоминание о котором доселе таится в памяти моей, — но довольно — человек этот с его диковинным поведением, с его несуразными речами напомнил мне какое-то опасное призрачное существо, которое, быть может, пытается вовлечь нас в свои пагубные волшебные круги!

— Что за капризы воображения, — воскликнула Юлия. — Я с моей стороны сочла бы этот черный призрак с гитарой мосье Жаком или даже достопочтенным Оселком, философия коего живо напоминает чудаческую болтовню некоего незнакомца. — Но теперь нам следует прежде всего спасти эту прелестную вещицу, которую этот варвар с такой враждебностью и неприязнью швырнул в кусты!

— Юлия, ради всего святого, что ты делаешь? — воскликнула принцесса, но Юлия, не обращая на нее внимания, рванулась в самую гущу кустарника и несколько мгновений спустя, торжествуя, вернулась с гитарой в руках — с той самой гитарой, которую швырнул в кусты чудак-незнакомец!

Принцесса преодолела свой страх и стала чрезвычайно внимательно рассматривать инструмент, необычная форма которого уже сама по себе свидетельствовала о его старинности, о его почтенном возрасте, если бы даже эти обстоятельства не подтверждались датой и именем мастера, которые были видны сквозь отверстие в деке. А именно — черным — были отчетливо вытравлены слова: «Stefano Pacini, fec. Venet. 1532»*.

* Сделал Стефано Пачини, Венеция, 1532 (ит.).

Юлия не смогла удержаться, взяла аккорд на этом дивном, изящном инструменте и почти испугалась, услышав, какой полный и сильный звук издает эта маленькая гитара. — «Какая прелесть!» — воскликнула она, продолжая музицировать. Но, так как она привыкла играть на гитаре, лишь аккомпанируя собственному пению, то вскоре невольно запела, идя по аллеям парка. Принцесса молча следовала за ней, Юлия замедлила шаг и тут заговорила Гедвига: «Пой, играй на этом волшебном инструменте, — быть может, тебе удастся вновь загнать в преисподнюю злых духов, которые хотят приобрести власть надо мной!»

— Ах, ты опять об этой нечисти! — возразила Юлия. — Она должна быть чужда нам обeim и останется чужда. Ну, а мне нынче хочется петь и играть, ибо я не думала, что когда-нибудь какой-нибудь инструмент мне так придется по руке. Да и вообще так придется по душе, как этот. Мне кажется даже, что и голос мой под его аккомпанемент звучит куда лучше, чем обычно. — Она запела знаменитую итальянскую канцонетту и чуть было не заблудилась во всяческих прелестных мелизмах, головокружительных пассажах и каденцах, давая волю великолепному богатству звуков, так долго таившихся в ее груди.

Если принцесса испугалась при первом появлении незнакомца, то Юлия оцепенела, как будто превратившись в кариатиду, когда он внезапно вырос перед ней, собиравшейся свернуть в другую аллею.

Незнакомцу на вид было около тридцати. Он был весь в черном, платье его было сшито по последней моде. Во всем его наряде не было ничего необычного, и все же он выглядел несколько странно, чужаковато. Одет он был тщательно, но в нем была заметна какая-то небрежность, проистекающая, быть может, не столько от отсутствия заботливости и внимания, сколько от того, что незнакомцу пришлось проделать немалый путь, на который его наряд отнюдь не был рассчитан. Жилет его был расстегнут, галстук распустился, туфли густо покрыты пылью, да так, что золотые пряжки на них были едва видны; он стоял перед ними и выглядел при этом весьма сумасбродно и странно; особенно забавным было то, что он на маленькой треугольной шляпе, явно предназначенной лишь для того, чтобы носить ее подмышкой, опустил заднюю кромку, желая защитить себя от солнца. Должно быть, он пробился сквозь глубочайшие дебри парка, ибо его густые, всклокоченные черные волосы были полны хвойных игл. Он мельком взглянул на принцессу и затем направил одухотворенный, сверкающий взгляд своих больших черных глаз на Юлию, которая смутилась от этого еще более, так что у нее, как это всегда бывало с ней в такого рода случаях, слезы выступили на глазах.

— И эти небесные звуки, — начал наконец незнакомец мягким, кротким голосом, — и эти небесные звуки смолкают при моем появлении и растворяются в слезах?

Принцесса, борясь с первым впечатлением, которое незнакомец произвел на нее, надменно взглянула на него и довольно резко сказала:

«Во всяком случае нас поражает ваше внезапное появление здесь, сударь! В такую пору в княжеском парке никто уже не ожидает встретить посторонних! Я — принцесса Гедвига».

Как только принцесса заговорила, незнакомец мгновенно повернулся к ней и посмотрел ей прямо в глаза, но весь его облик, казалось, преобразился. — Исчезло выражение печали и тоски, растаял всякий след глубокого душевного волнения, диковато-искаженная усмешка усугубляла выражение горестной иронии — в лице этом было что-то потешное, даже более того, шутовское. Принцесса запнулась. Как будто электрический удар поразил ее; она не проронила больше ни слова, все лицо ее запылало, и она стыдливо потупилась.

Казалось, будто незнакомец хочет что-то сказать, но в этот миг заговорила Юлия: «Разве я не глупое, бестолковое создание, что пугаюсь, плачу, будто маленькая проказница, которую застали поедаящей сласти! — Да, сударь, я лакомилась, и лакомством моим были восхитительные аккорды вашей гитары — во всем виноваты гитара и наше девичье любопытство! Мы слушали вас, мы слышали, как вы вели прекрасные беседы с этой гитарой, и как вы ее потом гневно швырнули в кусты, так что ваша гитара издала громкий и жалобный вздох. И это меня так глубоко поразило, что я устремилась в чащу, чтобы поднять ваш прекрасный и милый инструмент. Теперь вы знаете, каковы мы, девушки: я немножко поигрываю на гитаре, а теперь вдруг пальцы мои слились с инструментом, и — я не могла выпустить гитару из рук. — Простите меня, сударь мой, и примите ваш инструмент».

Юлия протянула гитару незнакомцу.

— Это, — сказал незнакомец, — редкостный и чрезвычайно звучный инструмент еще добрых былых времен, который сейчас лишь в моих неловких руках, но что руки, что руки! Не в них дело!

Волшебный дух Гармонии, дружный с этой удивительной вещицей, живет также и в моей груди, но как бы запертый, не имеющий возможности сделать ни одного движения; но из ее нутра, о, сударыня, он, этот дух, взмывает ввысь к осиянным небесным чертогам, переливаясь тысячами красок, подобно сверкающему павлиньему глазу!

О, сударыня, когда вы пели, вся томительная боль любви, весь восторг сладостных упований, надежд, желаний пролетел, колыхаясь, по лесу и проник освежающей живительной росой в благоухающие цветочные венчики, в грудь чутко внемлющих соловьев! Возьмите эту гитару, только вы повелеваете чудесами, которые заключены в ней!

— Но ведь вы отбросили гитару прочь, — возразила Юлия, зарумянившись.

— Это правда, — сказал незнакомец, порывисто схватив гитару и прижав ее к груди. — Это правда, я отшвырнул ее и принимаю назад исцеленной; никогда больше я не выпущу ее из рук.

Внезапно лицо незнакомца вновь превратилось в некую капризную маску, и он произнес высоким и резким тоном: «Собственно, моя судьба

или же мой злой демон сыграли со мною презлую шутку, что я здесь так, *ex abrupto* *, как выражаются латинисты и прочие высокоученые и добродетельные люди, принужден предстать перед вами, мои глубокоуважаемые дамы! О, всемилостивейшая принцесса, соблаговолите, бога ради, оглядеть меня с головы до пят! Ведь, оглядев меня, вы обратите внимание на тщательность моего туалета и сможете сделать вывод, что я как раз собираюсь делать визиты. Я как раз намеревался заглянуть в Зигхартсвейлер и оставить в этом милом городе если не себя, то во всяком случае, свою визитную карточку. О, господи, — разве у меня мало светских знакомств и связей, милостивейшая принцесса? Разве гофмаршал вашего батюшки не был моим сердечным другом? Я уверен, что если бы он увидел меня здесь, то непременно прижал бы меня к своей атласной груди и промолвил бы, глубоко растроганный, раскрыв передо мною свою табакерку: «Здесь мы одни, дорогой мой друг, здесь вольно моему сердцу и чувствам моим!» Я обязательно получил бы аудиенцию у всемилостивейшего повелителя, князя Ириня — и, конечно же, был бы представлен также и вам, о принцесса! Был бы представлен таким образом, что — ставлю мою лучшую упряжку септакордов против одной оплеухи, — сумел бы завоевать вашу благосклонность! Но, что поделаешь! — здесь, в саду, в самом неподходящем месте, между утиным прудом и лягушечьей канавкой, я вынужден сам представиться вам, к вечному моему несчастью! О, господи, если бы я имел храбрость хоть чуточку колдовать, если бы только мог *subito* ** превратить эту вот благородную зубочистку в наряднейшего камергера из числа придворных сиятельного князя Ириня, в камергера, который взял бы меня за полу и сказал бы: «Всемилоостивейшая принцесса, перед вами — господин такой-то и такой-то!» — Но теперь *che far, che dir!* *** Сжальтесь — сжальтесь надо мною, о принцесса, о глубокоуважаемые дамы и господа!»

С этими словами незнакомец бросился на колени перед принцессой и пронзительно закричал «Ah, pietà, pietà signora!» **** 37

Принцесса схватила Юлию за руку и пустилась во весь дух бежать вместе с ней, громко восклицая: «Он сумасшедший, сумасшедший, он сбегал из дома помешанных!»

Почти перед самым замком появилась советница Бенцон, шедшая навстречу девушкам, которые так запыхались, что чуть не упали к ее ногам. «Что случилось, ради всего святого, что случилось, от кого это вы пустились бежать?» — вопрошала советница. Принцесса была так взволнована, что смогла лишь пролепетать несколько слов о каком-то сумасшедшем, который набросился на них. Юлия спокойно и сдержанно рассказала, как произошла эта встреча, и закончила тем, что она отнюдь не считает незнакомца сумасшедшим, а разве что каким-то насмешливым проказником,

* Внезапно (*лат.*).

** Вдруг (*лат.*).

*** Что делать, что говорить! (*ит.*).

**** Ах, сжальтесь, сжальтесь, синьора! (*ит.*).

что она сочла его чем-то вроде месье Жака, персонажем, вполне пригодным для комедии, действие которой происходит в Арденнском лесу.

Советница Бенцон велела повторить ей все как было, она расспрашивала о мельчайших подробностях, заставила подробно описать ей незнакомца — его походку, осанку, ухватки — даже тон речей и т. д. «Да, — воскликнула она, — да, конечно, это он, несомненно, он, — не похожий ни на кого другого».

— Кто он — кто это такой? — нетерпеливо спросила принцесса.

— Не волнуйся, милая Гедвига, — ответила Бенцон, — вы напрасно сбились с ног, этот незнакомец, который показался вам таким грозным и опасным, вовсе не сумасшедший. Хотя он, в присущей ему чудаческой манере позволил себе с вами пошутить, я полагаю все же, что вы с ним еще непременно помиритесь!

— Никогда, — воскликнула принцесса, — никогда не пожелаю видеть его, этого нелепого и несуразного шута!

— Ах, Гедвига, — смеясь проговорила советница Бенцон. — Какой поразительный дух подсунил вам это «несуразного» — словечко, которое ко всему этому происшествию подходит гораздо более, чем вы, пожалуй, сами думаете и предполагаете! — «Я тоже не понимаю, — сказала Юлия, — как ты можешь так дуться на незнакомца, милая Гедвига! — Даже в самых его нелепых поступках, в самых его бессвязных речах было что-то странное, но вовсе не противное». — «Счастливая ты, — возразила принцесса, — и слезы хлынули у нее из глаз, — счастье твое, что ты способна оставаться такой спокойной и рассудительной, а мою душу терзают насмешки этого ужасного человека. Ах, Бенцон! Кто же он такой, кто он, этот безумец?» — «Я вам все объясню в двух словах, — сказала Бенцон. — Когда пять лет тому назад я находилась...



(Мурр пр.):.. который убедил меня, что в бездонной душе настоящего поэта чистота, свойственная ребенку, уживается с состраданием к бедствиям ближних.

Меланхолическая грусть, нередко омрачающая душу юных романтиков, когда в груди у них идет титаническая борьба великих и возвышенных помыслов, заставляла меня искать уединения. В течение длительного времени я не бывал ни на крыше, ни в погребе, ни на чердаке. Подобно незабвенному поэту, захотелось мне вкусить приятность идиллических радостей жизни в скромной хижине³⁸, — в маленьком домике, осененном сумрачной листвой плакучих ив и берез, — поэтому я предавался мечтаньям и грезам, не вылезая из-под печки. Вот так и вышло, что мне не доводилось больше видаться с Миной, моей грациозной пятнистой маменькой. Науки утешили и успокоили меня! О, есть нечто чудесное, нечто великодушное в науках! Да славится, веки славится тот благородный муж, который изобрел их. — Насколько прекраснее, насколько полезнее сие изобретение, чем выдумка того монаха, который первым стал изготавливать порох, вещь, которая мне по природе своей и действию своему противна досмерти. Справедливый суд потомства казнит презрением этого

гносного варвара, этого адского злодея Бертольда³⁹, ведь еще в наши дни, желая восхвалить и превознести какого-либо особо пронизательного ученого, историка с широким кругозором, одним словом всякого высокообразованного индивида, к нему применяют вошедшие в поговорку слова: «Этот, мол, пороха не выдумает!»

В поучение подающему большие надежды кошачьему юношеству, я не могу не упомянуть о том, что, когда мне приходила охота что-нибудь проштудировать, я, зажмурившись, прыгал прямо в книжный шкаф моего маэстро и, вцепившись когтями в какую-нибудь книгу, вытаскивал ее и прочитывал, причем мне было совершенно безразлично, каково ее содержание. Благодаря такому методу обучения, разум мой приобрел ту гибкость и многосторонность, а мои знания — то дивное богатство и ослепительную пестроту, которым будет удивиться благородное потомство. Я не стану здесь упоминать названия множества книг, которые я перечитал в этот период поэтической грусти, отчасти потому, что для этого, пожалуй, отыщется более подходящее место, а отчасти потому, что я совершенно забыл названия этих книг, а это, в свою очередь, до некоторой степени вызвано было тем, что я, как правило, никогда не утруждал себя чтением заглавий, следовательно, никогда их не знал.

Всякий, думается, удовольствуется этим объяснением и не станет винить меня в биографическом легкомыслии.

Мне предстояли новые опыты и передраги.

В один прекрасный день, когда мой маэстро как раз углубился в некий внушительный фолиант, раскрытый перед ним, а я, расположившись у самых его ног и лежа под письменным столом на листе прекрасной королевской бумаги, пытался писать по-гречески (а греческая пропись превосходно была усвоена мною, и я, так сказать, набил на ней лапу), в кабинет стремительно вошел молодой человек, которого я уже неоднократно видел у моего маэстро и который всегда обращался ко мне с дружеским уважением, более того, с весьма лестным почтением, как и следует обращаться к экстраординарному таланту и решительному гению. Он не только приветствовал маэстро, но и обращался ко мне: «Доброе утро, котик!» и каждый раз легонько при этом щекотал меня за ушами и нежно гладил по спине. Подобное его поведение воистину ободряло меня — мне хотелось извлечь свои внутренние дарования и озарить их сиянием вселенную!

Однако нынче все должно было принять иной оборот!

А именно, чего никогда не бывало прежде, вслед за молодым человеком в комнату впрыгнуло какое-то черное, лохматое чудовище с пылающими глазами и, завидя меня, подскочило прямо ко мне. Мной овладел приступ неопишемого страха, одним прыжком я оказался на письменном столе моего маэстро и возопил от ужаса и отчаяния, чудовище же, совершив неимоверно высокий прыжок, также оказалось на столе и при этом произвело отчаянный шум. Мой добрый маэстро, которому сделалось боязно за меня, взял меня на руки и сунул под свой шлафрок. Однако молодой человек сказал: «Не тревожьтесь, милый маэстро Абрагам. Мой

пудель вовсе не трогает кошек, просто ему хочется поиграть. Если вы посадите кота обратно на пол, вас очень позабавит, как эти зверушки, мой пудель и ваш кот, сведут знакомство друг с другом».

Мой маэстро и в самом деле хотел спустить меня на пол, но я накрепко вцепился в него и стал горестно мяукать, благодаря чему я по крайней мере добился того, что маэстро, усевшись вновь, стал терпеливо сносить мое присутствие рядом с ним на стуле.

Воодушевленный тем, что меня защищает мой маэстро, я принял, сидя на задних лапах и обернувшись хвостом, достойную позу, благородная гордость которой должна была импонировать моему предполагаемому черному недругу. Пудель уселся передо мной на пол, уставился мне прямо в глаза и обратился ко мне с отрывочными словами, смысл которых для меня, естественно, остался тайной. Страх мой постепенно проходил и, вполне успокоившись, я заметил, что во взгляде пуделя светились добродушие и честность. Невольно я начал проявлять свое доверчивое настроение кротким помахиванием хвостом — вверх и вниз — тотчас же также и пудель стал вилять своим коротким хвостиком на самый престельный манер.

О! Сердце мое обратилось к нему, симпатии наших душ не подлежали сомнению! — «Как, — сказал я сам себе, — как могло так устроить и испугать тебя непривычное поведение этого чужака? Чем иным были эти прыжки, это тьякканье, это волнение, это беганье, эти вопли и завывания, как не проявлениями сильно и мощно возбужденной юношеской души, души, возбужденной страстью и чувством радостной свободы жизни? О! нет сомнения, что добродетель, истинная благородная пуделичность обитает в этой черной, покрытой косматым мехом груди!» Ободренный этими мыслями, я решил сделать первый шаг с целью более близкого, более энергичного единения наших душ и спуститься на пол со стула маэстро.

Едва лишь я поднялся и потянулся, пудель вскочил и стал носиться по комнате с громким тьякканьем.

Проявления характера, обладающего великолепной жизненной силой! — Больше нечего было бояться, и я сразу же спустился на пол и тихим шагом приблизился к новому другу. Мы приступили к церемонии, которая символизирует более близкое знакомство родственных натур, заключение союза, обусловленного внутренним взаимным тяготением, тот самый акт, который близорукий и к тому же святотатствующий человек определяет неблагородным словцом «обнюхивание». Мой черный друг проявил охоту отведать куриных косточек, которые лежали в моей мисочке. Я тонко намекнул ему, что светская воспитанность и учтивость поведевают мне принимать его как своего гостя. Он уплетал с поразительным аппетитом, а я внимательно приглядывался к нему. — Однако, все же хорошо, что я убрал жареную рыбу и припрятал ее про запас под моей постелькой! Откушав, мы затеяли веселую игру и, наконец, став единими сердцем и душою, обнялись, и, тесно прижавшись друг к другу и переку-

вырнувшись разок-другой, поклялись друг другу в искренней и сердечной верности и дружбе.

Не знаю, что может быть забавного в этой встрече прекрасных душ, в этом взаимном узнавании двух юношеских характеров. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что оба, мой маэстро и посторонний молодой человек, все время весело хохотали, к немалому моему огорчению.

Новое знакомство произвело на меня настолько глубокое впечатление, что с тех пор на солнце и в тени, на крыше и под печью, я ни о чем другом не думал, ни о чем другом не мечтал, ничего другого не чувствовал, кроме как — ПУДЕЛЬ-ПУДЕЛЬ-ПУДЕЛЬ! Не потому ли внутренняя суть пуделячества предстала передо мной в ярчайших красках, и благодаря этому внезапному озарению явился на свет глубокомысленный опус, о котором я уже упоминал, а именно: «Мысль и чутье, или Кот и пес». В нем я излагаю мнение, согласно коему нравы, обычаи, язык обеих пород глубоко обусловлены своеобразной сущностью их, убедительно доказывая, впрочем, что обе породы подобны различным лучам, отброшенным одною и тою же призмой. Но особенно тонко удалось мне уловить самый сокровенный характер языка и доказать, что, поскольку язык как таковой является лишь символическим выражением природного начала в образе звуков, то, следовательно, язык есть нечто единое, и таким образом, и кошачий и собачий — в особой форме — пуделянского наречия — являются лишь ветвями единого древа, а посему — вдохновленные свыше, кот и пудель вполне способны понять друг друга. Чтобы еще более подкрепить свою мысль, я привел целый ряд примеров из обоих языков, обращая внимание на несомненное сходство их, как гав-гав, мяу-мяу-бляф-аувау-корр-курр-птси-пщрци и т. д.

Завершив этот труд, я ощутил непреодолимое желание всерьез изучить пуделянский язык, что мне и удалось благодаря содействию новообретенного друга, пуделя Понто, хотя и не без некоторых усилий, поскольку пуделянский для нас, котов, и впрямь весьма труден. Впрочем, гении без труда выходят из любого положения, и именно гениальность подобного рода отказывается признавать некий прославленный человеческий писатель⁴⁰, уверяя, что для того, чтобы говорить на каком-нибудь иностранном языке, воспроизводя все особенности произношения, свойственные данному народу, нужно быть немножечко шутом гороховым.

Мой маэстро был, впрочем, того же мнения и склонен был признавать лишь ученое знание иностранного языка, противопоставляя это знание болтовне или «парлеканью», под каковым термином он подразумевал живую готовность говорить на чужом языке обо всем сразу и ни о чем в частности: вполне беспредметно и бесцельно. Он заходил даже настолько далеко, что был склонен считать французскую речь наших придворных кавалеров и дам своего рода недугом, подобным приступам каталепсии, — недугом, симптомы коего носят самый ужасающий характер, и я слышал, как он развивал эти абсурдные соображения перед самим гофмаршалом.

— Сделайте милость, — говорил маэстро Абрагам, — ваше превосходительство, и понаблюдайте, пожалуйста, за самим собою. Разве небеса не наделили вас прекрасным полнзвучным органом речи, но когда на вас накатывает приступ французского, вы внезапно начинаете шипеть, шепелявить, пришепetyвать, картавить — и при этом ваши, впрочем, весьма приятные, черты лица искажаются самым пугающим образом. Весь ваш красивый, строгий, серьезный облик нарушается, уродуемый всяческими удивительными судорогами. Что все это может значить, если не то, что где-то в вашем нутре начинает шевелиться некий проказливый кобольд рокового недуга?

Гофмаршал превесело смеялся, да и в самом деле — гипотеза маэстро Абрагама о заблуждении иностранными языками казалась мне совершенно нелепой.

Некий чрезвычайно эрудированный ученый советует в какой-то книге, что следует стараться думать на чужом языке, если хочешь его быстро изучить. Совет сей превосходен, хотя выполнение его сопряжено с известной опасностью. А именно, мне удалось очень скоро начать думать по-пуделянски, однако я настолько увяз в этих пуделиных мыслях, что почти утратил способность бегло выражаться на родном языке и чуть было не перестал соображать, о чем это я, собственно, думаю.

Эти маловразумительные мысли я большей частью запечатлел в письменной форме (они составили сборник, озаглавленный «Листья аканта»⁴¹), и, признаться, я и сам был поражен необычной глубиной этих афоризмов и максим, смысл их и доселе для меня непостижим!

Я полагаю, что этого короткого описания месяцев моей юности вполне достаточно, чтобы читатель получил ясную картину того, что я собой представляю и как я стал тем, чем я стал.

Впрочем, я никак не могу распространиться с цветущей порой моей замечательной, богатой событиями жизни, не упомянув об одном случае, который в известной степени знаменует собой мой переход в годы большей зрелости. Кошачье юношество узнает из моего повествования о том, что, увы, нет розы без шипов и что могущественно стремящемуся вперед и ввысь разуму положено столкнуться со множеством препятствий, многие камни преткновения покрывают его стезю и о камни сии случается ранить лапки, ранить до крови! А ведь боль от подобных ран весьма и весьма чувствительна, нестерпима даже!

Конечно же ты, о мой благосклонный читатель, склонен завидовать мне, завидовать счастливой поре моей юности, завидовать благосклонной звезде, которая неугасимо сияла надо мною! — Рожденный в скудости, от бедных, но благородных родителей, едва избегнув позорной гибели, я внезапно попадаю в роскошное лоно изобилия, в подлиннные перуанские копи изящной словесности. Ничто не препятствует моему образованию, никто не противится моим склонностям. Семимильными шагами иду я навстречу совершенству, высоко возносящему меня над моей

эпохой. И тут меня внезапно останавливает докучный таможенник и требует дани, какую обязаны платить все в нашей земной юдоли!

Кто бы мог подумать, что под роскошными цветами сладчайшей, нежнейшей дружбы сокрыты тайные тернии. Коварные шипы, которые должны были исцарапать меня, изранить и к тому же изранить до крови!

Всякий, в чьей груди, как и в моей, трепещет чувствительное сердце, сможет из того, что я сказал о своих отношениях с пуделем Понто, легко сделать вывод, сколь дорог он был мне, и все-таки именно он стал причиной катастрофы, которая могла бы погубить меня, если бы дух моего великого предка не оберегал меня. Да, мой читатель, у меня был предок, без которого я, в известном смысле, вовсе не мог бы существовать. Моим пра-родителем был великий муж — человек знатный, уважаемый, богатый, широко образованный, обладавший высокими добродетелями, любвеобильный и пламенный человеколюбец, воплощенная эlegantность и утонченность, человек, который — но все это я теперь говорю лишь вскользь, в будущем же я скажу больше об этом достойном муже — является не кем иным, как всемирно известным премьер-министром Гинцем фон Гинценфельдом, всеобщим любимцем рода человеческого, высоко превознесенным и прославленным под именем Кота в сапогах⁴².

Как уже говорилось — впрямь я расскажу подробнее об этом благороднейшем из всех котов!

И разве могло быть иначе: разве я, как только я научился легко и изящно изъясняться по-пуделянски, мог бы не говорить с моим другом Понто о том, что для меня было высочайшим в жизни предметом, а именно — о себе самом и о своих творениях? Так и случилось, что он познакомился с моей необыкновенной умственной одаренностью, с моей гениальностью, с моими талантами, и я, к немалому своему огорчению, открыл, что непреодолимое легкомыслие и — более того — известная заносчивость лишают юного Понто возможности совершить нечто в области науки и искусства. Вместо того, чтобы изумиться моим познаниям, он стал уверять меня, что совершенно не в состоянии постичь, как это я решил заняться такого рода делами, и что он, со своей стороны, в области искусства ограничивается исключительно тем, что прыгает через палку и вытаскивает шляпу своего хозяина из воды. Что же касается наук, то тут, как ему думается, особы, подобные мне и ему, способны только испортить себе желудок, занимаясь науками, и окончательно утратить аппетит.

Во время одного из таких разговоров, когда я старался наставить на путь истинный моего юного легкомысленного друга, случилось нечто ужасное. Ибо, прежде чем ожидал я, юный...

المرحوم (Мак. л.): ... и всегда-то вы, — возразила Бенцон, — с этой вашей фантастической восторженностью, с этой душераздирающей иронией — неспособной вызвать ничего другого, кроме тревоги, смятения и замешательства, ибо вы вносите полнейший диссонанс во все общепринятые человеческие взаимоотношения, какими они некогда сложились и существуют донныне.

— О, удивительный музыкант, — смеясь воскликнул Иоганнес Крейслер, — способный на такие диссонансы! — «Сохраняйте серьезность, — продолжала советница, — сохраняйте серьезность, вы не отделаетесь от меня, ваши горькие шутки на меня не действуют! Я держу вас крепко, милый Иоганнес! Да, так я хочу называть вас, этим нежным именем, звать вас Иоганном, Иоганнесом, чтобы я по крайней мере вправе была уповать, что под маской сатира все-таки скрывается кроткая мягкая душа. И потом я никогда не поверю, что странное имя Крейслер не подсунуто контрабандой, что им не подменена какая-нибудь совершенно иная родовая фамилия!»

— Госпожа советница, — заговорил Крейслер, между тем как все его лицо в престранной мышечной игре завибрировало тысячами складочек и морщинок, — дражайшая советница, что вы имеете против моего честного имени? Быть может, прежде я и носил иное имя, но было это давным-давно, и со мною произошло то же, что с пресловутым советчиком из тиковской «Синей бороды»⁴³, если помните, он говорит там: «У меня было некогда превосходное имя, но со временем я его почти забыл, у меня сохранилось о нем лишь смутное воспоминание!»

— Постарайтесь вспомнить, Иоганнес! — воскликнула советница, пронызывая его пылающим взглядом, — полузабытое имя непременно всплывет в вашей памяти.

— Отнюдь нет, дражайшая, — возразил Крейслер, — это невозможно, и я подозреваю, что это смутное воспоминание, как и вообще все, что касается моей внешней жизни и моего имени, как своего рода вида на жительство, дошло ко мне из более приятной эпохи, а именно — из тех времен, когда меня, собственно, еще и вовсе на свете не было! Окажите же мне такую милость, достопочтенная, сообразовите рассматривать мое простое имя в соответствующем свете, и вы его найдете во всем, что касается абриса, контура, колорита и физиогномии, — чрезвычайно милым. И, более того, выверните его наизнанку, рассеките его анатомическим скальпелем грамматики, и что же? — лишь более прекрасным покажется вам его внутреннее содержание. Это совершенно невозможно, замечательная моя, чтобы мое имя происходило от слова Kraus, как вы полагаете, и меня, по аналогии со словом Naarkräusler, т. е. Завивальщик волос, считаете Tonkräusler'ом, т. е. Завивальщиком звуков, или даже вообще Kräusler'ом, ибо мне в подобном случае пришлось бы писаться именно так — Kräusler! Вы не сможете отвлечься от слова Kreis, т. е. круг, и дай боже, чтобы вы при этом сразу же подумали о заколдованных кругах, в которых движется все наше существование и из которых мы не находим выхода! В этих вот кругах и кружится Крейслер, и очень может быть, что нередко, устав от пляски святого Витта, он принужден бывает, единоборствуя с темной и непостижимой силой, которая начертала эти круги, устав от них больше, чем это может вытерпеть его — без того уже расстроенный желудок, — устремиться на вольный воздух! И глубокая боль, которую причиняет ему этот страстный порыв, опять-таки непременно

должна преобразиться в ту иронию, которую вы, уважаемая, так горько упрекаете, не обращая внимания на то, что ведь эта крепкая родительница произвела на свет сына, который вступил в жизнь, как король-властелин. Говоря о короле-властелине, я имею в виду юмор, у которого нет ничего общего с его злополучным сводным братцем — сарказмом. — «Да, — сказала советница Бенцон, — именно этот юмор, именно этот подкидывш, рожденный на свет развратной и капризной фантазией, этот юмор, о котором вы, жестокие мужчины, сами не знаете, за кого вы должны его выдавать, — быть может, за человека влиятельного и знатного, преисполненного всяческих достоинств; итак, именно этот юмор, который вы охотно стремитесь нам подsunуть, как нечто великое, прекрасное, в тот самый миг, когда все, что нам мило и дорого, вы же стремитесь изничтожить язвительной издевкой! — Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гедвига еще и до сих пор не пришла в себя после вашего появления и после вашего странного паясничества там, в парке? Она настолько чувствительна, что воспринимает, как болезненную рану, любую шутку, в которой она склонна заподозрить хотя бы малейшую насмешку над ее особой, но, помимо этого, вы еще сочли нужным, любезный Иоганнес, прикинуться совершеннейшим сумасшедшим и возбудить в ней такой ужас, что она чуть было не расхворалась. Можно ли извинить такое?»

— Это столь же непростительно, — возразил Крейслер, — как и желание некой принцессочки обольстить прелестной миниатюрностью своей, а затем жестоко покарать некоего незнакомца, человека на вид абсолютно пристойного и совершенно случайно попавшего в открытый для всех парк ее сиятельного папеньки.

— Незнакомец пусть поступает как хочет, — продолжала советница, — довольно и того, что ваше скандальное появление в нашем парке могло иметь дурные последствия. То, что ее разубедили, то, что принцесса, по крайней мере, привыкла к мысли о том, что ей придется вновь увидеть вас, всему этому вы обязаны моей Юлии. Она одна защищает вас, ибо она во всем, что вы предприняли, во всем, что вы наговорили, видит всего лишь проявления некой сумасбродной фантазии, нередко свойственной глубоко уязвленным или же чрезмерно чувствительным душам. Одним словом, Юлия, которая лишь недавно познакомилась с шекспировской комедией «Как вам это понравится», сравнивает вас с меланхолическим мосье Жаком.

— О вдохновенное дитя небес! — воскликнул Крейслер, и слезы выступили у него на глазах.

— Кроме того, — продолжала Бенцон, — моя Юлия увидела в вас, когда вы импровизировали на гитаре, и, как она рассказывает, при этом пели, а порой и разговаривали, итак, она узнала в вас возвышенного музыканта, утонченного композитора. Она полагает, что в то мгновение ею овладел совершенно особенный дух музыки, как будто бы некая незримая сила велела ей петь и играть; и пение, и игра удались ей необыкновенно,

как никогда прежде. — Узнайте также, что Юлия никак не могла привыкнуть к мысли, что она больше уже не увидит того престранного человека, что он должен будет остаться для нее всего лишь каким-то изумительным и чарующим музыкальным призраком; на что принцесса Гедвига, со всей ей свойственной запальчивостью, возразила, что новый визит этого призрачного сумасброда умертвит ее.

Так как девушки наши всегда нежно дружили и между ними никогда не было никаких раздоров, то я могла бы с полным правом заметить, что в данном случае — только навыворот — повторилась та сцена из времен их раннего детства, когда Юлия хотела без долгих разговоров швырнуть в камин несколько причудливого Скарамуша⁴⁴, которого ей смастерили, принцесса же взяла его под свою защиту, сказав, что он — ее любимец.

— Я позволю принцессе, — громко смеясь, перебил Крейслер речь госпожи Бенцон, — я позволю принцессе швырнуть меня в камин, как второго Скарамуша, полагаясь, впрочем, на сладостное заступничество милой Юлии. — «Вы должны, — продолжала Бенцон, — счесть воспоминание о Скарамуше попросту своего рода юмористической причудой, а ведь, согласно вашей же собственной теории, на шутку сердиться грешно. Кстати, вы, конечно, не усомнитесь в том, что я, выслушав рассказ девушек о вашем появлении и обо всем происшествии в парке, мгновенно узнала, что это были вы и что в стремлении Юлии вновь увидеть вас я никоим образом не повинна; и все-таки я в следующее же мгновение привела в движение всех людей, которые были тогда в моем распоряжении; велела им обыскать весь парк, весь Зигхартсвейлер, чтобы всенепременно отыскать вас, ведь вы мне стали так дороги после первого нашего непродолжительного знакомства! Но все поиски были тщетными, я полагала, что утратила вас, тем более должна была я изумиться, когда вы нынче утром предстали передо мной. Юлия моя сейчас у принцессы Гедвиги, — ах, какая буря противоречивых чувств истерзала бы их души, если бы девушки вдруг узнали о вашем прибытии! — Что же так внезапно привело вас, которого я считала капельмейстером на отличном месте при дворе великого герцога, что же так внезапно привело вас сюда, об этом я теперь не требую от вас ответа. Вы когда-нибудь расскажете об этом сами, если, конечно, захотите».

Когда советница все это говорила, Крейслер, казалось, был — сама задумчивость. Он устремил взор в землю и даже стал потирать лоб, как человек, тщетно пытающийся вспомнить нечто позабытое.

— Ах, — начал он, когда советница смолкла, — ах, это удивительно дурацкая история, и ее едва ли вообще стоит рассказывать. Я знаю только одно, что то, что ваша принцессочка склонна была считать дикими речами безумца, на самом деле вполне обоснованно. Я и в самом деле вояжировал тогда, когда имел несчастье испугать маленькую чувствительную принцессочку в парке, и явился-то я в парк непосредственно с визита, который нанес не кому иному, как самому его сиятельству великому герцогу, и здесь,

в Зигхартсвейлере, я хотел только продолжать свои необыкновенно приятные визиты.

— О, Крейслер, — воскликнула советница с тихим смехом (никогда она не смеялась громко, в голос), — о, Крейслер, это, конечно же, снова какая-нибудь причудливая шутка, которой вы дали волю! Если я не ошибаюсь, городская резиденция находится, по крайней мере, в тридцати часах ходьбы от Зигхартсвейлера?

— Это именно так, — возразил Крейслер, — но дорога-то идет садами. Садами настолько стильными, настолько великолепными, что сам знаменитый Ленотр⁴⁵ пришел бы в восторг, увидев их! Итак, если вы полагаете, уважаемая, что я не нанес визиты, то вообразите, что чувствительный капельмейстер, с певческим голосом в груди, с гитарой в руках, блуждает по благоуханным лесам, плурует по зеленым лугам, карабкается на дико нагроможденные гранитные скалы, перепрыгивает через расселины, идет по узким тропкам, под которыми, пенясь, журчат лесные ручейки, да и что вот такой капельмейстер, подобно певцу-солисту, вплетает свой голос в согласные хоры природы, которые звучат везде и всюду вокруг него; так вот, такому капельмейстеру весьма легко попасть в отдаленные аллеи сада, нисколько того не желая, отнюдь не преднамеренно. Вот так-то я, должно быть, и попал в княжеский парк в Зигхартсвейлере, а ведь парк этот представляет собой не что иное, как малую часть того исполинского парка, который заложен самой природой. — Но нет, дело обстоит вовсе не так! — Когда вы только что говорили о том, что подняли на ноги целую ораву веселых егерей, дабы изловить меня, как дичь, на которую не возбраняется охотиться, как дичь, которая почему-то сбежала от охотников, тогда я впервые обрел внутреннее твердое убеждение в необходимости моего здешнего пребывания. Необходимость, которая меня, если бы я даже и хотел продолжать свой дикий бег, загнала в ловушку. — Вы были так милы, вы упомянули, что знакомство со мной радовало вас. Так могу ли я забыть те роковые дни всеобщего смятения и всеобщего горя, те дни, в какие нас свела судьба? Вы нашли меня тогда мечущимся без толку, неспособным принять определенное решение; я был тогда человеком с истерзанной душой! Вы приняли меня радушно и дружелюбно, вы осенили меня ясным и безоблачным небом спокойной, замкнутой в себе женственности, вы думали утешить меня, вы одновременно упрекали меня и прощали мои сумасбродные дерзости, буйства шалости, которые вы приписывали безутешному отчаянию, в какое я впал под бременем обстоятельств. Вы исторгли меня из окружения, которое я и сам вынужден был признать двусмысленным, ваш дом стал для меня мирным и дружеским убежищем, где я, почитая вашу тихую боль, забывал о своей печали. Ваши беседы, исполненные веселости и кротости, действовали на меня, как благодетельное лекарство; хотя вы и не ведали, в чем состоит мой недуг. Нет, не одни только грозные события, которые могли подорвать мое положение в жизни, нет, не они оказали на меня такое пагубное влияние! Мне давно уже хотелось порвать связи, которые так угнетали и

устрашали меня, и я не вправе был сетовать на судьбу, которая совершила то, что сам я так долго не мог совершить, потому что у меня на это не доставало мужества и сил. Нет! — Когда я ощутил себя свободным, мною овладела та неописуемая тревога, которая, начиная с моих ранних юношеских лет, так часто вызывала в моей душе раздор с самим собою. Это не было то пламенное стремление, которое, как прекрасно сказал один глубокий поэт⁴⁶, будучи «порождено высшей жизнью, вечно длится, оставаясь вечно неутоленным и невоплощенным» — однако оно не оказывается обманутым, обойденным, — оно попросту не исполняется, ибо, исполнившись, оно погибнет! Нет, дикое, безумное желание возникло во мне, желание, заставившее меня устремиться к чему-то, что я в неустанном порыве ищу где-то вовне, в то время, как оно сокрыто в моей собственной душе, как некая темная тайна, как дикий и загадочный сон о каком-то эдеме высочайших отрад и наслаждений; впрочем, его и сновидением не назовешь, — это было скорее какое-то неясное предчувствие, и предчувствие это устрашало меня и заставляло меня испытывать воистину танталовы муки! Это чувство овладевало мною уже тогда, когда я был еще ребенком, и овладевало оно мною настолько внезапно, что в самом разгаре веселой игры со сверстниками моими я убегал от них в лес или в горы, а там бросался наземь и рыдал безутешно и всхлипывал, хотя я как будто только что был самым яростным и самым сумасбродным среди них всех! Позже я научился владеть собой, побеждать, обуздывать себя, но я никак не мог высказать, какие муки причиняло мне мое состояние, когда мне в самом веселом и милом обществе, среди добрых и благожелательных друзей в минуты наслаждений искусством, даже — более того — в мгновения, когда тщеславие мое было весьма и весьма польщено, мне вдруг начинало казаться, будто я внезапно перенесся в какую-то унылую пустыню. Есть один лишь ангел света, способный осилить демона зла. Этот светлый ангел — дух музыки, который часто и победоносно вздымался из души моей, при звуках его мощного голоса немеют все земные печали.

— Я всегда, — заговорила советница — я всегда полагала, что музыка действует на вас слишком сильно, более того, — почти пагубно; ибо во время исполнения какого-нибудь замечательного творения казалось, что все ваше существо пронизано музыкой, искажались даже и черты вашего лица. Вы бледнели, вы были не в силах вымолвить ни слова, вы только вздыхали и проливали слезы и нападали затем, вооружась горчайшей издевкой, глубоко уязвляющей иронией, на каждого, кто хотел сказать хоть слово о творении мастера. И даже, когда...

— О дражайшая моя советница, — прервал Крейслер речи Бенцон, — он говорил вначале серьезно и глубоко взволнованно, но вскоре снова впал в особенно ему свойственный иронический тон, — о, дражайшая моя советница, теперь все это совершенно переменялось. Вы не можете себе представить, уважаемая, до чего благонаравным и разумным сделался я при дворе великого герцога. Я способен теперь с величайшим душевным спо-

койствием и приятностью дирижировать «Дон Жуаном» или «Армидой», я способен дружески кивать примадонне, когда она в головокружительной каденции резко скачет по перекладинам звуковой лестницы, я могу, когда гафмаршал после гайдновских «Времен года»⁴⁷ шепчет мне: «С' étoit bien ennuyant, mon cher maître de chapelle!»* — улыбаясь, кивать ему и со значительным видом брать щепотку табака, о да, я способен вполне терпеливо слушать, когда камергер, ответственный за придворные спектакли и мнящий себя глубоким знатоком искусств, красноречиво уверяет меня, что Моцарт и Бетховен решительно ничего не смыслили в пении и что Россини, Пучитта, и — имена их господи веси! — достигли самых высот того, что именуется оперной музыкой⁴⁸! — О да, уважаемая, вы не поверите, какую необыкновенную пользу извлек я для себя за время моего капельмейстерства! Прежде всего, однако, я вполне убедился в том, до чего же хорошо, когда художники, люди искусства, поступают в услужение, ибо кто кроме самого черта и чертовой бабушки мог бы в противном случае справиться с этим гордым и надменным артистическим народцем! Сделайте такого дерзновенного композитора капельмейстером или музыкальным директором, сделайте стихотворца — придворным поэтом, живописца — придворным портретистом, скульптора — придворным ваятелем, и вскоре в вашем государстве исчезнут все бесполезные фантазеры, останутся одни только полезные граждане, преблаговоспитанные и преблагонаравные!

— Постойте, постойте, — воскликнула советница с явным неудовольствием, — постойте, Крейслер, ваш любимый конек вновь, как это ему привычно, становится на дыбы! Помимо всего прочего я заподозрила нечто неладное, и теперь мне отчаянно хочется на самом деле узнать, что за нежелательное событие заставило вас так поспешно бежать из резиденции великого герцога. Ибо именно о таком побеге свидетельствуют все обстоятельства вашего появления в зигхартсвейлерском парке.

— А я, — спокойно заговорил Крейслер, твердо взглянув в глаза советнице, — а я могу заверить вас, что то скверное событие, которое изгнало меня из резиденции, нисколько не зависело от каких-либо внешних обстоятельств, ибо оно заключено во мне самом.

Именно та самая тревога, о которой я сперва наговорил, быть может, несколько больше и в более серьезном тоне, чем, пожалуй, следовало, овладела мною с гораздо большей силой, чем когда-либо прежде, и я не мог больше оставаться на прежнем месте. — Вы знаете, конечно, как я радовался, когда получил место капельмейстера у великого герцога. Ах, глупец, я думал, что, когда я буду жить непрестанно в искусстве, мое новое положение заставит меня вполне уговориться, — что демон, который живет в груди моей, будет побежден! Из того немногого, что я могу рассказать о своем воспитании при дворе великого герцога, вы, достопочтенная, узнаете, однако, как много я настрадался из-за этой пошлой игры со святым искусством, в которой отчасти был повинен и я, из-за глупостей без-

* Это было довольно скучно, мой милый капельмейстер! (фр.).

душных горе-артистов, бестолковых дилетантов; из-за всей безумной суматохи марионеток и манекенов от искусства! Все это меня все больше и больше заставляло постигать жалкую никчемность моего существования. В одно прекрасное утро я должен был явиться на прием к великому герцогу, чтобы узнать о том, какие обязанности возлагаются на меня во время предстоящих торжеств. Мне пришлось выслушать от церемониймейстера всяческие бессмысленные и безвкусные распоряжения, которым я вынужден был подчиниться. Прежде всего речь шла о прологе, слова коего он сам и сочинил, пролог этот должен был составить собой высшую точку, кульминацию всех театральных празднеств, — вот музыку этого пролога я и должен был сочинить! — Поскольку на сей раз, — так сказал он государю, не преминув бросить на меня колкий взгляд через плечо, — речь идет не об ученой тевтонской музыке, а о итальянской вокальной безвкусице, то он сам подобрал и сочинил несколько нежных мелодиек, которые мне следовало покорно аранжировать. Великий герцог не только одобрил все распоряжения, но и воспользовался случаем, дабы заявить, что моему дальнейшему усовершенствованию — как он ожидает и надеется — будет содействовать ревностное изучение музыки новейших итальянцев. — Боже, какую жалкую фигуру являл я собой, стоя навзглад перед великим герцогом! Я глубоко презирал себя — все эти унижения казались мне более чем справедливой карой за мое ребяческое безумное долготерпение! — Я покинул дворец, чтобы никогда больше не возвращаться туда. Еще в тот же самый вечер я хотел потребовать моей отставки, но и это решение не успокоило бы мою душу, ибо я уже чувствовал, что подвергнусь некоему тайному остракизму. Гитару, которую я захватил для иной цели, я взял из кареты — гитару — и ничего более; как только экипаж оказался за воротами, карету отослал, а сам бежал на волю, все дальше и дальше! Уже смеркалось, все шире и все чернее становились тени гор, тени леса. Невыносимой, и, более того, — губительной — была для меня мысль о возвращении в резиденцию великого герцога. «Какая сила может вынудить меня пуститься в обратный путь?» — восторженно воскликнул я. Я знал, что нахожусь на дороге в Зигхартсвейлер, вспомнил о моем старом маэстро Абрагаме, от коего я за день до того получил послание, в котором он, догадываясь о том, каково мое положение в герцогской резиденции, уговаривал меня уехать оттуда и приглашал меня к себе.

— Как, — прервала капельмейстера советница Бенцон, — как, вы знакомы с этим старым чудачком?

— Маэстро Абрагам, — продолжал Крейслер, — был ближайшим другом моего отца, моим учителем, даже отчасти моим воспитателем! — Итак, достойнейшая, теперь вы знаете все и подробно, — о том, как я попал в парк высокопочтенного князя Иринея, и не станете больше сомневаться в том, что я, когда дело заходит довольно далеко, оказываюсь в состоянии повествовать обо всем спокойно, с необходимой исторической точностью во всех деталях и до того приятно и занимательно, что от этого живого,

повествовательного тона меня самого тошнит! Вообще вся история моего бегства из резиденции, как уже сказано, представляется мне теперь настолько глупой и преисполненной такой безнадежной прозы, что я, толкуя об этом, непременно слабею духом! — Если бы вы захотели, однако, дражайшая советница, преподнести это пустопорожнее событие как лекарство, прекращающее спазмы у испуганной принцессы, дабы она успокоилась и уразумела, каково честному немецкому музыканту, которого именно тогда, когда он, натянув шелковые чулки, с достойным видом расположился в элегантном экипаже, вытолкнули из этого экипажа и обратили в бегство всяческие Россини, и Пучитта, и Павези⁴⁹, и Фьораванти⁵⁰, и одному богу известно, сколько еще других *ини* и *итта*; она поймет, конечно, что после такого афронта он едва ли способен вести себя достаточно ловко и обходительно. Итак, я могу надеяться на прощение, во всяком случае — хочу надеяться на прощение! — Что же до поэтического завершения моей прескучной истории, то да будет вам известно, прекраснейшая советница, что в тот самый миг, когда я, гонимый моим демоном, вознамерился убежать, меня остановило некое сладчайшее волшебство. Злорадный демон хотел как раз выдать всем глубочайшую тайну, погребенную в моей груди, но тут могучий дух музыки распростер надо мной свои крылья, и от их мелодического шелеста в груди моей пробудилось чувство утешения, упования и — более того — то самое пылкое томление, в котором всё — бессмертная любовь и восторг вечной юности. — Юлия пела!

Крейслер смолк. Бенцон слушала, напряженно ожидая, что же последует дальше. Но, так как капельмейстер казался погруженным в глубокое раздумье, она осведомилась у него с холодной учтивостью: «Вы и в самом деле находите пение моей дочери таким приятным, милый Иоганнес?»

Крейслер хотел было высказать все, что думал, но промолчал и только глубоко вздохнул.

— Ну что ж, — продолжала советница, — это мне весьма по душе. Юлия сможет от вас научиться многому, милый Крейслер, по части истинного пения, ибо то, что вы здесь останетесь, я считаю делом решенным и законченным.

— Достопочтенная, — начал было Крейслер, но в этот миг раскрылась дверь и вошла Юлия.

Когда она увидела капельмейстера, ее милое лицо просветлело — оно озарилось нежной улыбкой, и тихое «Ах!» слетело с ее уст.

Бенцон поднялась, взяла капельмейстера под руку и повела его навстречу Юлии, говоря при этом: «Вот, дитя мое, это и есть тот самый престранный...»



(*Мурр. пр.*):... юный Понто набросился на мой новейший манускрипт, лежавший рядом со мною, вцепился в него зубами, прежде чем я мог это предотвратить, и мгновенно унесся прочь вместе с рукописью. При этом он злорадно хохотал, и уже это обстоятельство должно было заставить меня заподозрить, что злодеяние это совершено им не из простого мальчишеского озорства, но что нечто

гораздо большее было поставлено на карту. Вскоре все это вполне разъяснилось.

Спустя несколько дней человек, у коего юный Понто находился в услужении, вошел в комнату моего маэстро. Это был, я потом узнал, некий господин Лотарио, профессор эстетики в зигхарствейлерской гимназии. После обычных приветствий профессор внимательно осмотрел комнату и сказал, увидев меня: «Вы не хотите, милый маэстро, удалить из комнаты этого малыша?» — «Но почему? — спросил маэстро. — Почему? Вы же, как мне известно, охотно терпите и даже любите кошек, и прежде всего моего любимца, пригожего и разумного кота Мурра!» — «О, да, — сказал профессор с язвительной усмешкой. — Да, да, он весьма пригож и приятлив, все это чистая правда! Но сделайте мне одолжение, маэстро, и удалите отсюда вашего любимца, ибо я должен поговорить с вами о вещах, о которых ему решительно не следует слушать». — «Кому не следует? — воскликнул маэстро Абрагам, уставившись на профессора. — «Ну, — продолжал его собеседник, — вашему коту, конечно. Прошу вас, не спрашивайте больше ни о чем, а сделайте то, о чем я вас прошу». — «Забавно, презабавно даже», — проговорил маэстро, приотворив двери кабинета и зазвав меня туда. Я последовал его зову, чего он, впрочем, не заметил, однако вскоре вновь проскользнул обратно и спрятался на нижней полке книжного шкафа, так что мог, оставаясь незамеченным, осматривать комнату и слышать каждое слово, произнесенное собеседниками.

— Ну, теперь я хотел бы, — сказал маэстро Абрагам, усаживаясь против профессора в свое кресло, — ну теперь я хотел бы, ради всего святого, узнать, что за тайну вы мне собираетесь открыть и почему это необходимо утаить ее от моего честного и добропорядочного кота Мурра?

— Скажите мне, — начал профессор самым серьезным тоном, с некоторым раздумьем в голосе, — скажите мне прежде всего, любезный маэстро, какого вы мнения о принципе, согласно коему, конечно при непрременном наличии телесного здоровья, во всем остальном же совершенно безотносительно к наличию или отсутствию природных умственных способностей, таланта, гения, посредством одного лишь особого целенаправленного воспитания, возможно любого ребенка за короткий срок, следовательно, еще в отроческие годы, сделать истинным светилом науки или замечательным художником⁵¹?

— Э-э, — возразил маэстро, — что я могу думать относительно этого принципа, кроме того, что это величайший вздор и нелепица. Вполне возможно и даже не слишком трудно ребенку, который отличается сообразительностью, примерно такой, какая встречается у обезьян, и обладает притом еще и хорошей памятью, такому ребенку можно систематически вдолбить в голову целую кучу познаний, которыми он потом сможет похвастаться перед людьми; только у этого ребенка, как непрременное условие, должен вовсе отсутствовать всякий природный дар, ибо в противном случае лучшая часть внутренней души воспротивится ужасной и пагубной процедуре. Однако кто осмелится назвать такого туповатого мальчугана,

напичканного всеми крохами знания, какие только можно проглотить, — кто осмелится назвать его ученым в подлинном смысле этого слова?

— Весь свет, — в сердцах воскликнул профессор, — весь белый свет! О, это ужасно! Всякая вера в некую внутреннюю, высшую, природную умственную силу, ту силу, которая одна только способна создать ученого, создать художника, всякую веру в это умерщвляет сей пагубный, идиотский принцип — и все летит к чертям!

— Не стоит так распалаться, — с улыбкой произнес маэстро. — Ведь, насколько мне известно, до сих пор в нашем добром германском отечестве был выставлен напоказ всего лишь один-единственный продукт подобного воспитательного метода, о котором свет некоторое время поговорил и вскоре, впрочем, перестал говорить, когда убедился, что экспонат-то ведь не из особенно удачных⁵². К тому же пора расцвета этого феномена пришла на период, когда как раз вошли в моду вундеркинды и прочие чудо-дети, которые, впрочем, так же, как старательно выдрессированные собаки и обезьяны, охотно демонстрируют свое искусство в обмен за невысокую входную плату.

— Вот как вы теперь говорите, — молвил профессор, — вот как вы теперь говорите, маэстро Абрагам, и вам бы, конечно, поверили, если бы не знали, что в душе вы — превеликий хитрец, если бы всем не было известно, что вся ваша жизнь представляет собой некую цепь самых удивительных опытов и экспериментов. Признайтесь же, маэстро Абрагам, признайтесь же, ведь вы, так вот тихонько, в самой глубокой тайне экспериментировали согласно этому принципу, а ведь вы хотите превзойти того человека, создателя того экспоната, о котором мы только что говорили с вами. Вы собирались, конечно, когда все будет уже вполне готово, выступить с вашим воспитанником, чтобы изумить и привести в отчаяние всех профессоров во всем мире. Вы хотите совершенно опозорить великолепный принцип: «*Non ex quovis ligno fit Mercurius*»*. Короче говоря, *quovis*** налицо, но только он никакой не Меркурий, а попросту — кот!

— Что вы говорите, — воскликнул маэстро и громко расхохотался, — что вы говорите, да неужели кот?!

— Только не отпирайтесь, — продолжал профессор, — на этом малыше, там в каморке, вы испробовали те самые абстрактные методы воспитания, вы научили его читать и писать, вы преподали и внушили ему всяческие познания и науки, так что он уже теперь возомнил себя сочинителем и даже кропает стихи.

— Ну, — проговорил маэстро, — ничего подобного со мной никогда не случилось! Чтобы я так воспитал своего кота и обучил его всяческим наукам и прочим познаниям? Скажите-ка, что это у вас за беспокойное, чрезмерно разыгравшееся воображение. Не бредите ли вы, господин профессор?

* Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия (лат.).

** Всякий (лат.).

— Смею заверить вас, что мне ровно ничего неизвестно касательно воспитания и образования моего кота, да и более того — все, о чем вы тут говорили, я считаю совершенно невозможным!

— Ах, так? — преспокойно произнес профессор, вытащил из кармана тетрадку, в которой я мгновенно узнал украденную у меня юным Понтом рукопись, и стал читать:

УСТРЕМЛЕНИЕ К ВОЗВЫШЕННОМУ

Чу, что за чувство в сердце воцарилось⁵⁸,
 Откуда этот вихрь тревоги краткой?
 Зачем мне прыгнуть хочется украдкой?
 Иль гениальность впрямь в меня вселилась?
 Какой душа любовью окрылилась?
 В чем суть вещей? Костер надежды шаткой?
 Откуда это чувство жажды сладкой?
 Что с трепетным сердечком приключилось?
 В волшебных стран неведомом просторе,
 Безгласный, бессловесный, безъязыкий,
 Влачусь, — но свежесть вешнюю почую,
 От тяжких уз освобожусь я вскоре!
 Дичь отыскав в листве густой и дикой,
 Взыграв душой, за крылышко схвачу я!

Я надеюсь, что каждый из моих любезных и благосклонных читателей оценит истинную образцовость этого великолепного сонета, который излился из глубочайших недр моей души, и тем более будет восторгаться, если я заверю его, что сонет этот принадлежит к числу самых первых из изготовленных мною. Однако же, профессор, злобствуя, прочел его настолько невыразительно, настолько гнусно, что я сам едва узнал собственное свое творение и в приступе внезапного гнева, по-видимому, присущего юным поэтам, готов был уже выпрыгнуть из своего убежища, вцепиться господину профессору в физиономию и испробовать на ней остроту своих когтей. Тем не менее — здравая мысль, что я всенепременно останусь в накладе, если оба они, маэстро и профессор, накинутся на меня и зададут мне трепку, заставила меня подавить свой гнев, я испустил сердитое «мяу», которое меня безусловно выдало бы, если бы маэстро, как только профессор завершил чтение сонета, вновь не расхохотался и притом самым шумным образом, и хохот этот уязвил мой слух куда более, чем злополучная бестактность профессора.

— Ха-ха! — воскликнул маэстро, — и впрямь этот сонет вполне достоин кота, но я все еще не понимаю вашей шутки... Профессор, скажите мне лучше напрямик — куда вы клоните?

Профессор, не отвечая моему маэстро, продолжал листать мою рукопись и затем прочел:

ГЛОССА ⁵⁴

У любви дорог немало,
Дружба прячется от глаз.
Глянь, любовь в душе взыграла,
Снова пробил дружбы час!

Стоны жалоб боязливых
Слышу я везде и всюду;
Скорбью ль я охвачен буду
Иль отрадой дней счастливых?
Сам себя в словах пытливых
Я спросил бы, сном иль тишью
Нежность в сердце расцветала?
Сердце, будь словес превыше;
Ах, в подвале и на крыше
У любви дорог немало!

Но забудутся томленья,
Сопряженные с любовью:
Тихий, чуждый суесловью,
Встречу утро исцеленья!
Сладок миг выздоровленья!
С киской я носиться буду ль?
Нет, решенья пробил час!
На досуге милый пудель
Мне свою покажет удаль...
Дружба прячется от глаз!

Впрочем, как сопро...

— Нет, нет, — так мой маэстро прервал на этом самом месте декламирующего профессора, — нет, друг мой, вы и в самом деле испытываете мое терпение; вы сами или какой-то другой забавник шуточки ради сочинили стихи, так сказать, в духе кота, а котом-то этим как раз оказался мой ни в чем не повинный, симпатичный котик Мурр, и вот теперь вы все утро дурачите меня этими виршами. Вообще-то говоря, это не столь уж злая шуточка и, должно быть, она очень понравилась бы Крейслеру, который, пожалуй, не преминул бы устроить из всего этого нечто вроде малой парфорсной охоты, в которой под конец вы сами можете оказаться в роли затравленной дичи. Ну, а теперь кончайте ваш остроумный маскарад и скажите мне, вполне честно и сухо, безо всяких уверток, как, собственно, обстоит дело с вашей несколько необычной шуточкой?

Профессор захлопнул рукопись, серьезно взглянул в глаза маэстро и засим повел такую речь: «Эти листки доставил мне несколько дней тому назад мой пудель Понто, который, да будет вам известно, состоит в весьма дружеских отношениях с вашим котом Мурром. Правда, он принес мне

этот манускрипт в зубах, поскольку он, впрочем, именно таким образом привык носить любые предметы, тем не менее, он положил его передо мной — в абсолютно неповрежденном виде, и дал мне при этом ясно понять, что получил его не от кого иного, как от своего закадычного друга Мурра. Я наскоро пробежал этот манускрипт, и мне сразу же бросился в глаза совершенно особенный, необыкновенно своеобразный почерк: когда же я ознакомился с некоторыми фрагментами, во мне возникла, я и сам не знаю почему и каким непостижимым образом, престранная мысль, что Мурр мог собственной персоной насочинять все эти творения! Сколько бы меня ни разуверял мой разум, и, более того, известный жизненный опыт, приобретения которого мы все никак не можем избежать и который, в конечном счете, является не чем иным, как опять-таки разумом, что эта мысль невероятна, ибо кот абсолютно не в состоянии ни писать, ни, тем паче, сочинять стихи, все-таки я не в силах совершенно избавиться от этой мысли. Я решил вести наблюдения за вашим котом, и поскольку я знал от моего верного Понто, что Мурр много времени проводит на вашем чердаке, то я залез на свой чердак и снял со стропил несколько черепиц, так что мне открылся свободный вид на ваше слуховое оконце. И что предстало глазам моим! Слушайте и изумляйтесь. В самом дальнем углу чердака сидит ваш кот! Сидит выпрямившись, будто аршин проглотил, перед маленьким столиком, на котором разложены всякого рода письменные принадлежности и бумага; сидит — и порой потирает лапкой лоб и затылок, проводит по морде, засим окунает перо в чернила, пишет, потом перестает писать, снова пишет, перечитывает написанное, да при этом еще явственно мурлычет, мурлычет и урчит, выражая чувство удовлетворения. А вокруг него навалены всякого рода книги, которые, судя по корешкам, он утащил из вашей библиотеки».

— Что за чертовщина, — воскликнул маэстро. — А ну, пойду-ка я удостоверюсь, все ли мои книги на месте? Нет ли какой пропажи?

С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу. Как только он увидел меня, он отступил на три шага и уставился на меня в полнейшем изумлении. Но профессор воскликнул:

— Вот видите, маэстро! Вы думали, что малыш, существо вполне безвредное, обретается себе в каморке, где вы его изволили запереть, а он между тем прокрался в книжный шкаф, чтобы на досуге штудировать изящную словесность или — что еще более вероятно — чтобы подслушать наш разговор! Ну что же, он слышал все, о чем мы с вами говорили, и после этого вполне может принять свои меры предосторожности.

— Котик, — начал маэстро, взирая на меня с величайшим изумлением, — котик, если бы я знал, что ты, совершенно отрекшись от своей добропорядочной, честной и естественной природы, и впрямь занимаешься тем, что стал кропать такие странные вирши, как те, которые прочел профессор; если бы я мог подумать, что ты действительно занялся науками, а не мышами, я полагаю, я мог бы тебе здорово надрать уши или даже более того.

Меня охватил ужасающий страх, я зажмурился и прикинулся, будто я крепко сплю.

— Но нет, нет, — продолжал мой маэстро, — взгляните только, уважаемый профессор, как мой добропорядочный котик беспечно спит, и скажите сами — неужели в его простодушном облике есть нечто, что могло бы служить подтверждением тех тайных и сугубо удивительных плутовских проделок, в которых вы его обвиняете, — а ну-ка, Мурр! Мурр!

Так позвал меня мой маэстро, и я не преминул, как обычно, ответить ему своим благозвучным «мрр, мрр», открыть глаза, подняться и необыкновенно изящно выгнуть спинку.

Профессор, разгневанный, запустил мне в голову моим же манускриптом, я, однако, сделал вид (природная хитрость мне это подсказала), что мне кажется, будто он решил попросту поиграть со мной, и разбросал, прыгая и приплясывая, бумаги туда и сюда, так что отдельные фрагменты рукописи стали летать по комнате вокруг меня.

— Ну что же, — проговорил маэстро, — вот теперь окончательно ясно, что вы, профессор, совершенно неправы и что ваш пудель Понто попросту ввел вас в заблуждение. Взгляните только, как Мурр забавляется этими стихами, — какой поэт стал бы обращаться со своей рукописью подобным образом?

— Мое дело вас предостеречь, любезный маэстро, а теперь поступайте, как вам будет угодно, — возразил профессор и покинул комнату.

Тут я вообразил, что буря пронеслась мимо, и как же велико было мое заблуждение! Маэстро Абрагам, к величайшему моему неудовольствию, воспротивился моему научному образованию, и хотя он сделал вид, что не поверил ни единому слову профессора Лотарио, но я вскоре вполне убедился в том, что он следит за мной при всех моих прогулках и променадах и преграждает мне доступ к своей библиотеке, с некоторых пор тщательно запирая свой книжный шкаф, и к тому же вовсе перестал терпеть мое присутствие на его письменном столе, где я имел обыкновение уютно располагаться посреди целого вороха бумаг.

Так горе и забота омрачили начальные дни моего юношеского созревания. Что может причинить гению большую боль, чем видеть себя непризнанным и неоцененным и — более того — осмеянным; что может повергнуть великий дух в большее огорчение, чем внезапное обнаружение всяческих препон именно там, где он имел все основания ожидать всевозможного содействия. Однако чем больше гнет, тем могущественней сила освобождения, чем туже натянута тетива, тем сильнее и дальше устремляется стрела! Если доступ к чтению оказался для меня закрыт, то тем вольнее стал работать мой собственный разум, творя из собственного материала.

Недовольный и разгневанный, ибо таким я был тогда, я провел немало дней и ночей в подвалах нашего дома, где было выставлено несколько мышеловок и где собиралось великое множество котов различного возраста и общественного положения.

От смело мыслящего философа никогда и нигде не ускользают таинственнейшие из житейских взаимосвязей, и он, как раз исходя из этих взаимоотношений мышеловок и кошек в их обоюдном взаимодействии. У меня, как у кота, наделенного высокой и благородной душой, сердце кровью обливалось, когда мне приходилось наблюдать, как эти неживые машины в их пунктуальном действии вызывали все большую лень у лучших представителей кошачьего юношества. И вот я взялся за перо и создал бессмертное творение, о котором я уже упомянул выше, а именно: «О мышеловках и об их влиянии на умонастроение и энергию кошачества». В этой брошюре я как бы поставил перед глазами изнеженных юношей-котов зеркало, в котором они непременно должны были увидеть и узнать себя, лишенных каких бы то ни было собственных сил, ко всему безразличных, инертных, вялых, равнодушно взирающих на то, как дерзкие и проворные мыши, ничтоже сумняшеся, устремлялись за ломтиком сала! Я пытался растормошить юношей-котов, согнать с них дремоту, оперируя словами, подобными раскату грома. Помимо той пользы, которую должна была принести эта моя вещица, написание ее было полезно для меня еще и в том отношении, что я сам, будучи занят ею, имел право вовсе не ловить мышей, а также и потому что, поскольку я так сильно и выразительно написал свою брошюру, никому, пожалуй, и в голову не придет требовать от меня, чтобы я сам, своею собственной персоной, подавал другим пример превознесенного мною героизма, так сказать, в конкретных делах!

На этом я, пожалуй, мог бы и завершить повествование о первом периоде моей жизни и перейти к месяцам моей юности, составляющим переход к возрасту мужества, однако я не в силах утаить от благосклонного читателя две завершающие строфы той великолепной глоссы, которые мой маэстро не пожелал выслушать. Вот они:

Впрочем, как сопротивляться
Ласкам сладостным и нежным,
Если к розам безмятежным
Вздохи нежности примчатся?
Взоры счастьем опьянятся,
Коль прелестница, вприпрыжку
Прибежав, прильнет устало
К травам; страсти зов иль мышку
Услыхав... Лобзай малышку,
Глянь, любовь в душе выграла!

Эти страстные томленья,
Этих чувств очарованья, —
Счастливы будь, познав желанья
И прыжки без утомленья!
Милой дружбы пробужденья

Под звездой, звездой вечерней
 В золотой заветный час!
 К другу мчусь я шагом скорым,
 Разузнав: за чьим забором
 Снова пробил дружбы час!



(Мак. л.): . . . именно в тот вечер он поражал всех необыкновенно веселым и милым расположением духа: давно уже его не видели таким. И именно благодаря этому настроению, должно быть, и случилось неслыханное. Ибо вместо того, чтобы дико вскочить и убежать оттуда, как он непременно поступил бы в подобном случае прежде, он совершенно спокойно и даже с добродушной улыбкой выслушал очень длинный и еще более скучный первый акт ужасающей трагедии, сочиненной юным, подающим большие надежды краснощеким лейтенантом с прелестно завитыми волосами — лейтенант этот прочел свою трагедию вслух — весьма претенциозно и с немалым воодушевлением, как это и подобает счастливому автору. И более того: когда вышесказанный лейтенант, отчитав свое, напористо осведомился у капельмейстера, что он думает об этом поэтическом произведении, Крейслер ограничился тем, что, восхищенно просяя, стал уверять юного героя войны и виршеплетства, что пробный акт — воистину лакомый кусочек, предложенный алчным эстетическим гурманам — и в самом деле содержит совершенно замечательные и превосходные мысли, в пользу самобытной гениальности которых говорит уже то обстоятельство, что мысли эти некогда уже приходили в голову общепризнанным великим поэтам, как, например, Кальдерону, Шекспиру, а в наши дни — Шиллеру. Лейтенант заключил его в объятия с величайшей признательностью и, словно разглашая величайшую тайну, сообщил, что он намерен еще и нынче вечером осчастливить целый цветник отменнейших барышен, среди которых имеется даже одна графиня, которая читает по-испански и пишет маслом, итак — осчастливить их замечательнейшим из всех первых актов, кем бы и когда бы они ни были сочинены. Услышав заверение в том, что, поступив таким образом, он совершит необыкновенно благородный поступок, лейтенант преисполнился энтузиазма и убежал.

— Я поражаюсь тебе нынче, милый Иоганнес, и в особенности поражаюсь твоей неописуемой кротости! — Как это ты смог выслушать сию невероятную ахиною так спокойно и с таким необыкновенным вниманием! — У меня пошел мороз по коже, когда этот лейтенант напал на нас врасплох, а мы-то — не оповещенные никем — и не подозревали ни о какой опасности, — напал, а затем безжалостно заманил нас в западню, в бесчисленные петли, арканы и силки своих нескончаемых виршей. Я все время ждал, что ты вот-вот вмешаешься в течение событий, ты ведь порой именно так и поступаешь даже и с гораздо меньшим основанием; но ты оставался спокоен, и, более того, взор твой сиял удовольствием, и под конец, после того, как я совершенно пал духом и уже испытывал к себе

неописуемую жалость, ты начал подтрунивать над несчастным виршеплетом с иронией, которую он попросту не в состоянии понять, а ведь ты, по крайней мере, мог сказать ему, дабы предостеречь его на все грядущие случаи, что трагедия его слишком длинна и нисколько не пострадала бы от препорядочной ампутации!

— Ах, — возразил Крейслер, — ах, ну чего бы я добился этим вялым и жалким советом. Ведь разве такой плодовитый автор, как наш лейтенант, способен с пользой предпринять какую бы то ни было ампутацию? Разве он решится отделить хоть кусочек от животрепещущего тела своих стихов, разве не растут они у него прямо под рукой, как сорная трава? И разве ты не знаешь, что и вообще стихи наших юных поэтов обладают способностью к воспроизведению, подобной той, которая свойственна ящерицам, у коих, как известно, хвосты как ни в чем ни бывало отрастают снова, будучи оторваны начисто. Если ты, однако, полагаешь, что я спокойно выслушал завывания лейтенанта, то ты чрезвычайно заблуждаешься!.. Пронеслась гроза, все цветы и травы в саду подняли головки и жадно стали впивать небесный нектар, редкими каплями ниспадавший из облачной завесы. Я стоял под величавой цветущей яблоней и прислушивался к затихающим раскатам грома в отдаленных горах, и раскаты эти отзвучивались в моей душе, словно пророчествуя, словно предсказывая то неисповедимое, что еще свершится, — и я взирал ввысь, в небесную лазурь, чьи сияющие очи блаженно сверкали там и сям в разрывах редящих туч. — Но тут меня позвал дядя, он крикнул мне, чтобы я сейчас же возвращался в комнату, чтобы я не смел портить новый шлафрок в цветочках — ведь такая мокреть и сырость непременно испортят его, — и чтобы я не подцепил насморк, разгуливая по сырой траве. И вдруг оказалось, что это вовсе и не дядюшка, что это какой-то чрезмерно разговорчивый попугай или не в меру болтливый скворец за кустом или в кустах, или бог знает где... Переменчивая тишина эта отчаянно дразнила меня, выкрикивая на свой лад чудеснейшие тирады из Шекспира. И это опять-таки был все тот же лейтенант со своей нескончаемой трагедией! — Ты, тайный советник, дай-ка себе труд заметить, что именно отроческие воспоминания отвлекли меня от тебя и от лейтенанта. Мне почудилось, что я и впрямь стою в дядином саду, а отроду мне лет двенадцать, никак не больше, — стою и кутаюсь в ситцевый шлафрок необычайно красивой расцветки — этакий взлет фантазии у обезумевшего фабриканта ситцев! — и тщетно ты, о, тайный советник, расточал нынче королевские фирмиамы своей курительной смеси, — ибо я ничего не почувял, кроме аромата моей цветущей яблони, не почувял даже запаха масла, которым мажет свои пышные кудри этот самый виршеплет, кудри, которые, увы, никогда не будут увенчаны лаврами, надежно защищающими от ветра и дождя; бедняга ничего не вправе нахлобучить на голову свою, разве что фетр и кожу, выработанные в форме кивера, согласно соответствующим параграфам воинского устава. Но довольно, милейший, ты был из нас троих единственным жертвенным агнцем, единственным агнцем, обречен-

ным на заклание, покорно подставившим шею свою под inferнальный нож трагедии нашего героического поэта. Ибо в то время как я, старательно избегая всех крайностей, закутался в пестренький шлафрок и с невообразимой резвостью подростка прыгнул в много раз уже упомянутый садик, наш маэстро Абрагам, как видишь, успел извести целых три, а быть может, и все четыре листа отличнейшей нотной бумаги, вырезая из нее всяческие забавные фигурки. Стало быть, и он ускользнул от лейтенанта.

Крейслер был прав, маэстро Абрагам умел с изумительным искусством вырезать различные силуэты, неопытному глазу они поначалу казались некоей хаотической путаницей линий; но стоило поместить свечу за этой ажурной ширмой, как в тени, отбрасываемой на стену, обнаруживались удивительные фигурки, сплетающиеся в разнообразнейшие замысловатые группы. Поскольку маэстро Абрагам всегда отличался решительным отвращением к каким бы то ни было чтениям вслух, то не могло быть и речи о том, чтобы потуги поэта-лейтенанта составили в этом смысле исключение. Понятно, что он, как только лейтенант начал скандировать свои вирши, жадно схватил лист упругой нотной бумаги, почему-то лежавшей на столе у господина тайного советника, извлек из кармана маленькие ножницы и приступил к невинному занятию, которое совершенно отвлекло его от лейтенантских посягательств.

— Послушай, — начал тут тайный советник, — послушай, Крейслер, — этому воспоминанию о твоих отроческих годах, внезапно овладевшему твоей душой, я, пожалуй, должен приписать то, что нынче ты такой кроткий, такой милый... Но послушай, мой искренний друг. Мне, как и всем твоим верным друзьям и искренним почитателям, досадно, что я абсолютно ничего не знаю о начальных годах жизни твоей; ты всегда так неучтиво избегаешь отвечать на подобного рода вопросы; пусть даже и самые скромные, порою кажется даже, что ты намеренно стараешься набросить некую таинственную вуаль на свое прошлое; впрочем, эта таинственная вуаль порою оказывается довольно прозрачной, и причудливо искаженные картины, просвечивающие сквозь нее, пробуждают наше любопытство и искушают нашу фантазию. Так будь же откровенен с теми, кого ты удостоил доверием своим!

Крейслер уставился на тайного советника, глаза его были широко раскрыты и полны удивления, как у человека, который, пробудившись от глубокого сна, увидел перед собой чье-то чужое, чье-то незнакомое лицо и начал затем самым серьезным тоном рассказывать:

— В день святого Иоанна Златоуста, стало быть, двадцать четвертого января⁵⁵ года одна тысяча такого-то и такого-то, в полдень явился себе на свет мальчуган с носиком, с глазками, с ручками и ножками. Папенька его хлебал как раз гороховый суп и от превеликой радости пролил полную ложку прямо себе на подбородок, отчего родильница, хотя она и не видела этого происшествия собственными глазами, покатила со смеху, а смеялась она до того раскатисто, что, к большому неудовольствию лют-

ниста, который как раз играл младенцу свою новейшую инструментальную пиесу, так называемую *мурки*⁵⁶, — так вот, на лютне вышесказанного лютниста от сотрясения, вызванного хохотом, лопнули все струны, и он, лютнист, поклялся атласным ночным чепцом своей бабушки, что во всем, что касается музыки, маленький Гансик-дуралей навсегда и по гроб жизни своей останется жалчайшим пентюхом! Папенька же, обтерев свой подбородок, патетически произнес: «И в самом деле он будет наречен Иоанном, но дуралеем он отнюдь не будет». Лютнист же...

— Умоляю, тебя, — прервал капельмейстера маленький тайный советник, — умоляю тебя, Крейслер, не впадай, ради всего святого, в тот проклятый род юмора, который мне, да будет позволено мне это сказать, поперек горла становится. Да разве я требую от тебя, чтобы ты преподнес мне свою прагматическую автобиографию? Многого ли я от тебя прошу, много ли хочу? Да всего лишь заглянуть разок-другой в твое прошлое, в те времена, когда мы еще вовсе не были знакомы! Неужели тебя так раздражает мое любопытство? Ведь единственный источник его — моя глубочайшая к тебе привязанность, привязанность искренняя и чистосердечная! И к тому же ты вынужден будешь согласиться, что ведешь себя довольно странно, тем самым заставляя всех думать, что только необычайно пестрая жизнь, только вереница фантастических приключений повинны в том, что личность твоя отлилась в такой своеобразной психической форме!». — «О, это величайшее заблуждение, — проговорил Крейслер, глубоко вздохнув, — о, это глубочайшее заблуждение, — ибо юность моя подобна выжженной степи, где нет ни бутонов, ни цветов, подобна выжженной степи, усыпляющей разум и душу своим безутешным дремотным однообразием.

— Нет, нет, — воскликнул тайный советник, — это вовсе не так, ибо я, по крайней мере, знаю, что в этой степи зеленеет прехорошенький садик, а в нем — цветущая яблоня, которая благоухает куда приятней и сильнее, чем мой тончайший и замечательнейший королевский табак. Что ж! Я думаю, Иоганнес, что ты извлечешь из кладезя своей ранней юности то самое воспоминание, которое нынче, как ты только что сказал, овладело всей твоей душой.

— Мне тоже, — проговорил маэстро Абрагам, занятый окончательной отделкой тонзуры только что изготовленного капуцина, — мне тоже думается, Крейслер, что вы в вашем нынешнем вполне терпимом настроении превосходно поступили бы, если бы открыли ваше сердце или душу, или, как вы там еще называете, эту вашу заветную шкатулку с драгоценностями, — и извлекли бы из нее кое-что! Одним словом, если уж вы сболтнули, как вы однажды вопреки воле озабоченного дядюшки выбежали под дождь и суеверно внимали пророчествам умирающего грома, то вы, конечно, можете подробнее рассказать нам о том, как все это тогда происходило. Только не выдумывайте, Иоганнес, ведь вам превосходно известно, что, во всяком случае в ту пору, когда вы носили свои первые

штаны, и потом, когда вам в волосы вплели первую косицу, вы находились под моим бдительным присмотром.

Крейслер хотел что-то возразить, но маэстро Абрагам быстро обратился к маленькому тайному советнику и сказал: «Вы даже не поверите, драгоценнейший мой, сколь беззаветно наш Иоганнес предается злему духу лжи, когда он, — что, впрочем, случается с ним весьма редко — рассказывает о том, что происходило с ним давным-давно, где-то на заре его юных дней! В том милом возрасте, когда дети еще лепечут «бе-бе» и «ме-ме» и пытаются схватить пламя свечи, в этом милом возрасте он уже будто бы все сопоставил и постиг и успел проникнуть взором в заповедные глубины сердца человеческого».

— Вы несправедливы ко мне, — произнес Крейслер, самым нежным тоном и кротко улыбнулся при этом. — Вы очень несправедливы ко мне, маэстро! Ну, неужели я решился бы уверять вас, что я еще в раннем детстве отличался необыкновенными умственными способностями? Неужели же я пытался бы наговорить вам об этом с три короба, как обычно поступают тщеславные хвастуны и бахвалы?! Но я спрашиваю тебя, тайный советник, не случается ли порою и с тобой так, что перед тобой, перед твоею душой, будто выхваченные из мрака, возникают вдруг мгновения того времени, той эпохи, которую иные изумительные умники склонны считать эпохой чистейшего прозябания? В ней они не видят ничего, кроме сугубо инстинктивных проявлений, а ведь по части инстинктов мы, люди, далеко уступаем животным! Полагаю, что все это необыкновенно сложная материя. Мгновение, когда в нашей душе впервые пробуждается ясное сознание, — неустановимо и едва ли когда-либо будет установлено и исследовано. Если бы такое пробуждение происходило сразу, мгновенно, одним рывком, мы с вами, я полагаю, попросту умерли бы от ужаса. — Кто в жизни не испытал первых мгновений пробуждения от глубокого сна, от бессознательного сонного забвения, когда человек, вновь ощутив свое собственное существование, как бы заново вспоминает о самом себе. — Однако, чтобы не забираться в особые дебри, я полагаю, что всякое сильное физическое впечатление, полученное на заре этой эпохи развития, оставляет после себя как бы некое семячко, некое зернышко, которое именно и заключает в себе дальнейшую возможность духовного развития; и таким образом всякая боль, всякая радость тех изначальных мгновений утреннего тумана продолжает жить в нас: это те сладостно-печальные голоса любимых, которые, когда они пробуждают нас ото сна, кажутся нам всего лишь приснившимися, всего лишь сновидениями нашими и которые на самом деле продолжают жить и звучать в наших душах наяву.

Я знаю, однако, на что намекает маэстро. Не на что иное, как на историю с моей покойной тетушкой, историю, которую он пытается оспорить и которую я, дабы его позлить, сейчас расскажу, но, впрочем, расскажу ее именно тебе, драгоценный советник, конечно, если ты пообещаешь не вменять мне в вину некоторую чрезмерную, ребяческую чувствитель-

ность. Итак, то, что я поведал тебе о гороховом супе и о лютнисте... — «О, — прервал капельмейстера маленький тайный советник, — о, молчи, теперь-то я прекрасно вижу, что ты намерен водить меня за нос, а это ведь и неучтиво и даже крайне безнравственно!»

— Никким образом, — воскликнул Крейслер, — никким образом, душа моя! Но я все-таки должен начать с лютниста, ибо он образует естественнейший переход к лютне, райские звуки которой убаюкивали младенца в его золотых снах. Младшая сестра моей матушки была истинной виртуозкой на этом инструменте, сосланном теперь в музыкальные чуланы. Сolidные люди, умевшие писать и считать и еще кое в чем понимавшие толк, проливали слезы в моем присутствии, вспоминая, как дивно играла на лютне покойная барышня Софи. Поэтому можно ли винить меня в том, что я, младенец, томимый жаждой, еще совершенно бессознательно и безотчетно, ибо сознание является на свет лишь вместе со словами и связной речью, пил жадными глотками и блаженно впитывал всю печаль изумительного волшебства звуков, всю колдовскую печаль, которую лютнистка изливала из глубины души своей! Лютнист, игравший над моей колыбелью, как раз и был учителем покойной тетушки Фюсхен⁵⁷; он был приземистый, довольно кривоногий, а звали его мосье Туртель. Мне памятен еще его аккуратнейший белый парик с широким кошельком на затылке и его, мосье Туртеля, алый плащ.

Я перечисляю все эти подробности для того лишь, чтобы доказать, сколь ясно вспоминаются мне образы тех времен, и чтобы ни маэстро Абрагам, ни еще кто-нибудь не усомнились в правоте моих слов, когда я стану уверять вас, что крохотным карапузом, которому еще и трех не исполнилось, я вижу себя на коленях юной девушки, чьи кроткие очи озаряют душу мою; что я и доселе слышу ее голос: ведь она говорила со мной, пела мне; и ей, этому небесному созданию, дарил я всю свою любовь и всю свою младенческую нежность! А это как раз и была моя тетя Софи, которую родичи называли пристрастным уменьшительным именем «Фюсхен». Однажды я очень огорчился, рыдал и хныкал оттого, что тетушка Фюсхен куда-то запропастилась и чуть ли не до вечера не показывалась мне. Нянюшка взяла меня на руки, и мы с ней отправились в комнату, где моя милая тетушка Фюсхен лежала в постели, но какой-то старик (он сидел у постели) мгновенно вскочил на ноги, распек мою воспитательницу и выпроводил нас.

Вскоре затем меня одели, тщательно закутали в толстые платки и потащили в какой-то чужой дом к совершенно незнакомым людям: все они тут же начали уверять меня, что они тоже мои дядюшки и тетушки. а тетенька Фюсхен очень больна, и я, если бы только я у нее остался, непременно заболел бы тоже. Прошло несколько недель, и меня вернули туда, где я жил прежде. Я плакал, я вопил, я хотел к тете Фюсхен. Как только я пришел в ту комнату, я засеменял к постели, в которой лежала некогда тетя Фюсхен, и раздвинул занавески. Постель была пуста, и некая

особа, опять-таки моя тетка, сказала, заплавав: «Ты не найдешь ее больше, Иоганнес, она умерла и лежит в земле».

Я прекрасно знаю, что не мог тогда понять смысл этих слов, но еще и нынче, вспоминая то мгновение, я весь дрожу от неведомого чувства, которое меня охватило тогда.

Сама Смерть сдавила меня своим ледяным панцирем, смертельный ужас проник в мою душу, и от него окоченела и застыла вся радость начальных лет отрочества. — Что я стал делать, я теперь уже не помню, я, должно быть, никогда бы и не узнал об этом, но мне частенько рассказывали, что я медленно опустил занавеси полога и, совершенно серьезный и тихий, простоял несколько мгновений, но потом, как бы глубоко погруженный в себя и раздумывая над тем, что мне только что сказали, сел на маленький бамбуковый стульчик, который как раз подвернулся мне под руку.

Рассказывали еще, что в этой тихой печали у ребенка, привыкшего к живейшим проявлениям чувств, было нечто неопишимо трогательное и что родные мои опасались даже вредного воздействия на душу мою, так как: я несколько недель не смеялся, оставался в таком же состоянии, не плакал, ни во что не играл, не откликался ни на какие ласковые слова и ничего вокруг себя не замечал.

В это мгновение маэстро Абрагам взял в руки лист, прихотливо изрезанный вкривь и вкось, подержал его перед горящими свечами, и на стене отразился целый хор монахинь, играющих на престранных инструментах.

— Ха-ха, — воскликнул Крейслер, увидя великолепно скомпанованную группу сестер-монахинь, — ха-ха, маэстро, я прекрасно знаю, что именно вы мне хотите напомнить! Я и нынче еще дерзко полагаю, что вы были неправы, ругая меня, называя меня упрямым, непонятливым мальчуганом, который своим глухим, диссонирующим голосом способен нарушить гармонию и сбить с такта целый поющий и играющий монастырь. Разве я не был в то время, когда вы меня повели за двадцать или тридцать миль от моего родного города в монастырь святой Клариссы послушать первую подлинно католическую церковную музыку, разве я тогда, говорю я, был не в праве с полным основанием притязать на самое пленительное озорство и самое восхитительное безделье, ибо я тогда был как раз в расцвете своих лентяйских и озорных лет? Разве это не было тем прекраснее, что, несмотря на все это, давно зарубцевавшаяся боль трехлетнего мальчика пробудилась с новой силой и породила безумие, которое наполнило мою грудь убийственным восторгом и душераздирающей грустью.

И разве мне не следует заметить и вопреки всем возражениям настаивать, что на том удивительном инструменте, который назывался *trompette marine* *⁵⁸, играла именно тетя Фюскен, хотя она давно уже умерла? По-

* Тромбомарина (фр.).

чему вы мне не дали ворваться в хор, где я вновь обрел бы ее, в ее зеленом платье с розовыми бантами!

И тут Крейслер устался в стену и заговорил взволнованным, дрожащим голосом: «И в самом деле! — тетья Фюксен выделяется среди монахинь! Она поднялась на скамеечку, чтобы удобнее было управляться с тяжелым инструментом». Но тайный советник подошел к нему, схватил его за плечи и начал: «И в самом деле, Иоганнес, было бы разумнее, если бы ты не поддавался своему капризному воображению и не толковал бы об инструментах, которые вовсе не существуют в природе, ибо ни разу в жизни своей я ничего не слышал о тромбомарине!».

— О, — смеясь воскликнул маэстро Абрагам, бросая под стол лист бумаги, — вернее, весь женский монастырь, который быстро исчез где-то под столом вместе с химерической тетей Фюксен и ее тромбомариной, — о мой достойнейший тайный советник, господин капельмейстер сегодня, как и всегда, остается разумным и спокойным человеком, а отнюдь не фантастом или шутником, каким его многие хотели бы представить. Разве невероятно, что лютнистка после своей кончины успешно занялась игрой на необычайном инструменте, который, пожалуй, еще и нынче можно обнаружить кое-где в женских монастырях? Так стоит ли удивляться этому? — Как, неужто *trompette marine* не существует? — Соблаговолите только просмотреть соответствующую статью в «Музыкальном лексиконе» Коха⁵⁹, который, кстати, есть и в вашей библиотеке.

Тайный советник тут же раскрыл словарь и прочел вслух: «Этот старинный, весьма примитивный смычковый инструмент состоит из трех тонких дощечек в семь футов длиной, которые внизу, там, где инструмент опирается на пол, имеют от шести до семи вершков ширины, наверху же, однако, не более двух вершков; доски эти склеены в форме треугольника, так что корпус, который наверху оснащен чем-то вроде колкового ящика, резко сужается кверху. Одна из этих трех досок служит декой, она снабжена несколькими резонансными отверстиями, и на ней натянута одна-единственная довольно толстая жильная струна. При игре инструмент ставят наискось перед собой и упирают верхнюю часть его в грудь. Большим пальцем левой руки играющий прижимает струну, очень мягко, примерно так, как при флейтино или флажолетах на скрипке, в то время как правая рука водит смычком по струне. Своеобразный звук этого инструмента, подобный звуку приглушенной трубы, создается особой подставкой, на которой покоится струна внизу на резонаторе. Эта подставка несколько напоминает по форме маленький башмачок, — спереди она совсем низенькая и тонкая, сзади же, напротив, выше и толще. К задней части ее и примыкает струна, чем и обуславливается то, что когда по ней водят смычком, она своими колебаниями двигает вверх и вниз переднюю легкую часть подставки на резонаторе, благодаря чему и возникает звук, имеющий носовой оттенок, несколько напоминающий звучание приглушенной трубы».

— Сделайте мне такой инструмент, — воскликнул тайный советник.

и глаза его засверкали. — Сделайте мне такой инструмент, маэстро Абрагам, и я заброшу в угол скрипку, не прикоснусь больше к эфону⁶⁰, а стану приводить двор и город в изумление, играя удивительнейшие пьесы на тромбонарине!

— Я непременно сделаю его, — ответил маэстро, — и да снидет к вам, лучший из тайных советников, дух тети Фюсхен в платье из зеленой тафты — и да вдохновит он и одухотворит вас, как это и положено духу.

Тайный советник в восторге обнял маэстро Абрагама, но Крейслер развел их, выговаривая им даже с некоторой злостью: «Ах, ну разве вы не худшие шутники, чем я был когда-то, да еще и лишенные жалости к тому, кого вы будто бы любите? — Довольно и того, что вы, подробно и детально описав музыкальный инструмент, звуки которого некогда потрясли мою душу, как бы ледяной водой остудили мое разгоряченное тело... Итак, ни слова более, ни слова более о лютнистке! — Ну, что ж! Ты ведь хотел, о, тайный советник, чтобы я рассказал о своей юности, а поскольку маэстро даже специально вырезал целую кучу силуэтов, соответствующих тем или иным моментам этой незабвенной поры, ты вправе теперь наслаждаться, так сказать, роскошным изданием материалов к моей биографии, снабженным великолепными иллюстрациями работы маэстро Абрагама!

Однако, когда ты читал статью из коховского лексикона, мне вспомнился коллега почтенного Коха — лексикограф Гербер⁶¹, и мне привиделся мой собственный труп, распростертый на секционном столе в морге и вполне готовый к биографическому вскрытию, к жизнеописательному потрошению. — Прозектор мог бы сказать: «Нет ничего удивительного, что во внутренностях этого молодого человека по тысячам жил и жилочек струится одна только музыкальная кровь, она одна — и ничто иное, ибо именно так обстояло дело со многими его кровными родственниками, чьим кровным родственником он именно потому и является». — Я хочу именно сказать, что большинство моих дядей и теток, которые, как это с давних пор известно маэстро Абрагаму и как ты только что узнал, имелись у меня в превеликом множестве, итак, что все эти родичи музицировали, да к тому же еще на таких диковинных инструментах, какие и тогда были большой редкостью, а в наши дни уже почти исчезли, так что я теперь лишь в мечтах и сновидениях внемлю тем изумительно звучащим концертам, коим я внимал некогда наяву, — а было мне тогда отроду лет десять-одиннадцать! — Очень может быть, что именно поэтому мой музыкальный талант уже при первом своем проявлении, еще, так сказать, в зачаточном состоянии, принял своеобразное направление, выражающееся в присущем мне характере инструментовки; направление это нередко отвергают как чрезмерно фантастическое! — Если ты можешь, тайный советник, удержаться от слез, слушая прекрасную игру на благороднейшем и стариннейшем инструменте — на *viola d'amore**⁶², то возблаговари соз-

* Виольдамура (ит.).

дателя за твою крепкую конституцию! — я же всегда утирал слезы, слушая, как на виольдамуре играет кавалер Эссер⁶³, а в прежние дни я плакал даже еще сильнее, когда рослый человек почтенной наружности, которому духовное платье было чрезвычайно к лицу и который опять-таки был одним из моих дядюшек, играл мне на этом инструменте. Вот, кстати, игра другого моего родича на *viola di gamba*⁶⁴ была весьма приятной, благозвучной и даже увлекательной, хотя тот самый дядюшка, который меня воспитывал или, вернее сказать, вовсе не воспитывал и который с варварской виртуозностью терзал клавиши спинета, упрекал вышеупомянутого виольдегамбиста в полнейшем непопадании в такт. Этого моего родича, беднягу, глубоко презирала вся родня, ведь семейству моему стало известно, что он превесело сплясал под звуки сарабанды — менуэт *à la Pompadour*. Я мог бы вам вообще очень много поведать о музыкальных развлечениях и уладах в моем семействе, которые нередко бывали единственными в своем роде, но со всем этим неразрывно связано множество гротескных подробностей, стало быть, вы непременно будете смеяться, а выставлять моих дражайших родственников на посмеяние я никак не могу, ибо я свято чту принцип *respectus parentelae**. . .

— Иоганнес, — начал тайный советник, — Иоганнес, ты по кротости своей не рассердишься на меня, если я затрону в твоей душе струну, прикосновение к которой, быть может, причиняет тебе боль. — Ты всегда говоришь о дядях, о тетках и никогда не упоминаешь об отце и матери.

— О, мой друг, — возразил Крейслер (чувствовалось, что он глубоко взволнован). — О, мой друг, как раз нынче я вспомнил. Но нет, ни слова более о воспоминаниях, о мечтах: ничего о том мгновении, которое пробудило сегодня всю перечувствованную, но так и не понятую боль моей ранней отроческой поры, но покой сошел потом в мою душу, — покой, напоминающий ту пророческую лесную тишину, когда гроза и буря уже пронеслись, уже миновали! Да, маэстро, вы правы, я стоял под яблоней, внемля пророческому голосу уплывающего грома. — А ты, о мой тайный советник, сможешь яснее представить то бесчувственное, тягостное оупение, в котором я пребывал, должно быть, несколько лет подряд, после того как утратил тетю Фюсхен, ежели я признаюсь тебе, что кончина моей матери, происшедшая вскоре после описанных мною событий, не произвела на меня особенного впечатления, не потрясла меня. Ну, о том, почему мой отец отдал меня на воспитание брату моей матери⁶⁵, — или, пожалуй, вынужден был отдать, я ничего тебе не скажу, — впрочем, все это до нельзя похоже на зачитанные до дыр романы из семейной жизни или на ифландовские комедии⁶⁶ о всякого рода семейных дразгах! Достаточно сказать, что если все мои отроческие годы, да и почти вся юность моя прошли в безутешном однообразии, то это следует приписать именно тому обстоятельству, что я, подрастая, был лишен родительской опеки. Самый никудышный отец, я полагаю, все же много лучше, чем самый

* Уважение к родственникам (лат.).

превосходный воспитатель, и мороз подирает по коже, когда я вижу, как родители с холодным равнодушием удаляют своих детей от себя и отдают во всякого рода воспитательные заведения, где их, бедных, кроют согласно опеределенной мерке, нисколько не учитывая при этом их индивидуальности, а ведь именно их родителям она должна быть вполне ясна, как никому другому. Ну, а что касается воспитания как такового, то едва ли кто на свете удивится тому, что я остался невоспитанным, ибо мой дядюшка отнюдь не воспитывал меня, а попросту отдал меня на произвол учителей, которые приходили на дом, ибо я не посещал школы и не водился с моими сверстниками, дабы ничем не нарушить спокойствия, царившего под кровом уединенного дома, где обитал мой дядя-холостяк со своим престарелым меланхолическим лакеем. Я вспоминаю только три различных случая, когда мой почти до тупоумия равнодушный дядюшка предпринял некое лаконичное воспитательное действие, вклепив мне пощечину. Таким образом за все мои отроческие лета я в общей сложности получил всего лишь три оплеухи. Я мог бы тебе, мой тайный советник, раз уж я нынче в таком болтливом настроении, изложить историю этих трех пощечин в виде некоего романтического триптиха, но я, пожалуй, извлеку из них лишь среднюю оплеуху, ибо знаю, что ни на что другое ты так не падаешь, как на историю моих музыкальных занятий, и тебе будет не безразлично узнать, как я впервые в жизни занялся сочинением музыки. У дядюшки моего была довольно большая библиотека, в которой мне было дозволено рыться сколько моей душе угодно; там-то мне в руки и попала «Исповедь» Руссо в немецком переводе. Я залпом прочел эту книгу, написанную отнюдь не для двенадцатилетнего мальчишки; книга эта, конечно же, могла заронить в мою душу семена многих грядущих зол. Впрочем, только один-единственный момент из всех описанных там порою весьма сомнительных и рискованных происшествий настолько завладел моей душой, что я, занятый им, забыл обо всем прочем. А именно: будто электрический удар поразила меня история о том, как отрок Руссо, побуждаемый мощным духом музыки, проснувшись в его груди, во всем же прочем — без малейших познаний по части гармонии, контрапункта и всех прочих необходимых сведений и навыков, — решил сочинить оперу⁶⁷; и как он опускает занавеси на окнах, как бросается в постель, чтобы всецело предаться вдохновенной силе своего воображения и как его творение возникает в нем, подобно волшебной мечте или сновидению. Днем и ночью меня не оставляла мысль об этом мгновении, в которое, как мне казалось, на мальчика Руссо снизошло высшее блаженство! Порою мне уже чудилось, что и сам я тоже стал сопричастен этому блаженству, стало быть, лишь от моего собственного твердого решения зависело, воспарю ли я в этот рай, ибо ведь Дух Музыки несомненно столь же мощно окрыляет меня, как окрылял он некогда незабвенного автора «Исповеди»»

Одним словом, я решил попытаться подражать тому, кого я взял в пример. Итак, когда в один ненастный осенний вечер мой дядюшка,

вопреки своему обыкновению, ушел из дому, я тотчас же опустил занавеси и бросился на дядюшкину постель, чтобы, как Руссо, душою своей воспринять нисходящую свыше оперу. Исходные условия были, казалось, совершенно благоприятны, но как я ни пытался привлечь к себе творческий дух, он упорно и своенравно не желал нисходить на меня. В ушах моих вместо всех несравненных мелодий, вместо всех музыкальных идей, которые должны были озарить меня, звучала одна только старая-престарая и довольно убогая песенка. Плаксивый текст этого шедевра начинался следующим образом: «Любил я лишь Исмену⁶⁸, Исмена лишь меня!», и песенка эта никак не желала от меня отвязаться, хотя я и всячески отбивался от нее. — «Теперь пусть прозвучит возвышенный хор жрецов: «С высот заоблачных Олимп», — воскликнул я, но «Любил я лишь Исмену» продолжало жужжать, как ни в чем ни бывало, и все это длилось непрестанно, пока я напоследок не заснул самым крепким сном. Меня разбудили громкие голоса, нестерпимое зловоние, которое било в нос, а в груди у меня спирало дыхание. Вся комната была полна густого дыма, и в клубах его стоял дядюшка; он швырнул на пол и стал топтать остатки пылающей гардины, которой был прикрыт платяной шкаф, крича при этом: «Воды сюда, воды, воды!», пока старик-слуга не натаскал воды в достаточном количестве и не вылил ее на пол, после чего огонь погас. Дым медленно поползал в окно.

— Где этот несчастный? — спросил дядюшка, топчась в комнате со свечой в руках.

Я прекрасно знал, кого именно он имеет в виду, но оставался в постели: я лежал тихо, как мышь, пока дядя не подошел к своему ложу и не заставил меня спуститься на пол, гневно воскликнув: «А не угодно ли вам будет немедленно выбраться отсюда? Этот злодей сожжет до тла весь мой дом!» — продолжал дядюшка. Отвечая на вопросы, следовавшие затем, я преспокойно заявил, что хотел поступить точно так же, как мальчик Руссо, если верить содержанию его «Исповеди», — сочинить в постели целую *opera seria**, и что я знать не знаю и ведать не ведаю, отчего, собственно, возник пожар. — «Руссо? Сочинить? *Opera seria*. . . Ах, каналья», — так заикался дядюшка в гневе и залепил мне здоровенную оплеуху, которую я заприходовал как вторую в отрочестве своем, так что я, окаменев от ужаса, застыл, как бы лишившись дара речи, и в этот миг мне, как отзвук оплеухи, послышалось совершенно явственно: «Любил я лишь Исмену etc. etc.». . . С этого мгновения я начал испытывать живейшее отвращение как к этой песенке, так и к восторгам музыкального сочинительства.

— Да, но как же возник пожар? — спросил тайный советник.

— Еще и нынче, — ответил Крейслер, — еще и в это мгновение, я никак не могу постичь, из-за какой, собственно, случайности загорелась гардина, причем погиб прекрасный шлафрок моего дядюшки, а также три

* Серьезную оперу (ит.).

или четыре великолепно завитых тупея, которыми дядюшка, как бы отдельными париковыми фрагментами уснащал свою величественную прическу. Мне всегда казалось также, что я получил пощечину не из-за пожара, в котором вовсе не был повинен, но только лишь за то, что занялся сочинением музыки. Это было странно, потому что дядюшка усиленно заставлял меня музицировать, несмотря на то, что учитель, введенный в заблуждение временной неохотой, которую я тогда проявлял, считал меня совершенно бездарным по этой части. Ко всему тому, что я ревностно изучал или не учил вовсе, мой дядюшка относился с полнейшим равнодушием: это его нисколько не занимало. Так как он иногда выражал живейшее неудовольствие тем, что меня так трудно приохотить к музыкальным занятиям, можно было бы подумать, что он чрезвычайно возрадовался, когда несколько лет спустя Дух Музыки проявился во мне с такой силой, что заглушил все прочие мои дарования. Однако же ничего подобного не произошло. Дядюшка только чуточку посмеивался, заметив, что я вскоре стал играть на нескольких инструментах с известной виртуозностью, да и, более того, стал сочинять кое-какие маленькие пьески к вящему удовольствию своих наставников и других знатоков. Да, да, он лишь слегка улыбался, когда ему восхваляли меня до небес, он лишь замечал с хитровой усмешкой: «Да, племянник мой — форменный сумасброд!»

— Но все-таки, — заговорил тайный советник, — но все-таки мне совершенно непонятно, почему твой дядюшка не дал воли твоему стремлению, а, напротив, заставил тебя избрать себе другое поприще. Ибо, насколько я знаю, ты капельмейстерствуешь с не слишком давних пор.

— И также не слишком далеко зашел в этом занятии! — смеясь воскликнул маэстро Абрагам и, отбросив на стену силуэт маленького человечка странного телосложения, продолжал: Однако же, теперь следует вступить за добропорядочного дядюшку, которого некий нечестивый племянничек называл дядюшкой Огорченцием⁶⁹, потому что его звали Оттфрид Венцель: да, да, теперь я должен вступить за него и уверить весь белый свет, что если капельмейстер Иоганнес Крейслер вбил себе в голову сделаться советником посольства и самоотверженно заняться вещами, глубоко противными его внутренней природе, то никто не повинен в этом меньше, чем помянутый дядюшка Огорченций». — «О, ни слова более, — сказал Крейслер, — о, ни слова об этом, маэстро, и снимите скорее моего дядюшку со стены, ибо если он и впрямь выглядит достаточно смехотворно, то мне не хотелось бы именно сегодня смеяться над стариком, который уже давно покоится в могиле».

— Вы нынче в чрезвычайно чувствительном настроении, — возразил маэстро, но Крейслер не обратил внимания на его слова, а сказал, обращаясь к маленькому тайному советнику.

— Ты еще пожалеешь, что заставил меня разболтаться, ибо тебе, по-видимому, ожидающему чего-то экстраординарного, я могу поведать лишь то, что бывает в жизни тысячи раз, самое обычное и не более того!

— Так вот и вышло, что не по воспитательному принуждению, не по особенному упрямству судьбы, нет, обыкновенным ходом вещей я был поставлен в такое положение, что невольно угодил туда, куда вовсе не хотел попасть. Не замечал ли ты, что в каждом семействе бывает обычно этакий кумир, который из-за особой гениальности или же просто благодаря особо благоприятному стечению обстоятельств возносится на известную высоту, и, как герой или полубог, стоит в центре круга, а милые родичи смиренно взирают на него снизу вверх: на героя, чей повелительный голос, чьи решительные речи выслушиваются без возражений, чьи приказы и решения окончательны и обжалованию не подлежат? Так именно и обстояло дело с младшим братом моего дядюшки⁷⁰, который выпорхнул из музыкального семейного гнездышка и стал в столице тайным советником посольства, довольно значительной персоной в ближайшем окружении князя. Его карьера, история его непрерывного повышения привели всю мою родню в изумление и восторг, и чувства эти нисколько не ослабели от времени. Имя советника посольства упоминалось с торжественной серьезностью, и когда кто-либо произносил: «Тайный советник посольства написал то-то и то-то» или «Тайный советник посольства сказал так-то и так-то», то все внимали этим словам в немом благоговении. Из-за этого уже с самого раннего моего детства я привык к тому, чтобы считать дядю, обитающего в столице, кумиром, который достиг высшей цели всех человеческих стремлений, и, конечно же, я должен был находить естественным, что мне ничего другого не остается, кроме как пойти по его стопам. Портрет моего знатного родственника висел в парадной комнате, и у меня не было большего желания, чем ходить одетым и причесанным так, как дядя на картине. Воспитатель мой узнал и исполнил это мое желание, и, должно быть, я, десятилетний мальчуган, премило выглядел в завитом тупее, устремленном в небеса, с маленьким совершенно круглым кошельком для волос и во фраке светлозеленого цвета — с узеньким серебряным шитьем; в шелковых чулках, при маленькой шпаге. Это ребяческое желание делалось тем глубже, чем старше я становился, и для того, чтобы приохотить меня к зубрежке скучнейших наук, достаточно было сказать мне, что изучение их настоятельно необходимо для того, чтобы я, подобно дяде, мог когда-нибудь стать советником посольства. То, что искусство, которым была полна моя душа, вправе стать моим единственным устремлением, единственной подлинной целью моей жизни — тем менее приходило мне в голову, что я привык слушать, как о музыке, живописи, поэзии говорили, что это, мол, весьма приятные вещи, служащие для нашего развлечения и увеселения, но не более. Быстрота, с которой я, ни разу не встретив ни единого препятствия благодаря приобретенным мною познаниям и дядиной поддержке, делал карьеру в столице на том поприще, которое я в известной мере избрал сам себе, не оставила мне ни единого лишнего мгновения, чтобы осмотреться, чтобы увидеть и осознать, что избранный мною путь заводит меня совсем не туда, куда мне хотелось попасть.

Цель была достигнута, обратиться вспять не было уже никакой возможности, когда в один неожиданный момент искусство, которому я изменил, стало мне мстить, когда мысль о том, что я напрасно потратил свою жизнь, наполнила меня безутешной болью, когда я увидел, что на мне оковы, казавшиеся мне несокрушимыми⁷¹.

— Какое счастье, — воскликнул тайный советник, — какое счастье; так значит катастрофа, вызволившая тебя из этих оков, принесла тебе исцеление?

— Не говори так, — возразил Крейслер, — освобождение пришло слишком поздно. Я похож на того узника, который так отвык от мирского шума, суматохи и дневного света, что, когда, наконец, пробил час освобождения, будучи не в силах вкушать златые плоды вольности, вновь пожелал вернуться в свою темницу.

— Ну это, — сказал маэстро Абрагам, — лишь одна из ваших сумасбродных идей, которыми вы терзаете себя и других! Идите, идите! — судьба всегда благоприятствовала вам, но то, что вы никогда не можете оставаться в привычной колее, то, что вы вечно скачете то вправо, то влево, то вовсе сбиваетесь с пути — в этом вам некого винить, кроме себя самого. Впрочем, вы правы в том, что в ваши отроческие годы звезда ваша была к вам особенно благосклонна и...

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ЮНОШИ, И Я РОЖДЕН В АРКАДИИ¹ СЧАСТЛИВОЙ



(*Мурр. пр.*):.. Было бы весьма нелепо и в то же время совершенно замечательно, — сказал в один прекрасный день мой маэстро, обращаясь к себе самому, — если бы тот добрячок-серячок из-под печки и впрямь обладал бы всеми теми свойствами, которые ему приписывает мой любезный профессор! — Гм! Я полагаю, он мог бы озолотить меня куда лучше, чем даже незримая девушка. Я запер бы его в клетку и заставил бы показывать штуки всему свету, а люди охотно и щедро платили бы мне за это. Ученый и высокообразованный кот — это нечто куда более занятное, чем развившийся не по годам малыш, которому вбивают в голову всяческие грамматические премудрости. Помимо всего прочего, я сэкономил бы на писце! — Итак, следует получше присматривать за этим шустрым малым.

Услышав коварные слова моего маэстро, я вспомнил предостережение моей незабвенной матушки Мины и, стараясь никоим образом не выдать, что я понял, о чем говорит маэстро, твердо решил в дальнейшем тщательно скрывать свою образованность. Посему с этих пор я стал читать и писать только по ночам и, кстати сказать, возблагодарил доброту и благосклонность провидения, давшего моему презираемому племени многие преимущества перед двуногими, которые, бог знает почему, называют себя царями природы. Смело могу заверить, что в часы своих ученых бдений я ничем не обязан ни мастерам, льющим свечи, ни фабрикантам светильного масла, ибо фосфор моих глаз ярко светит в самые мрачные ночи! Несомненно также, что мои произведения не заслуживают того упрека, который был сделан некоему античному автору, а именно, что продукты его разума папахивают ламповым маслом.

Но, глубоко убежденный в величайших преимуществах, какими меня наделила природа, я должен, однако, признать, что на этом свете решительно все несовершенно, а все мы во многом сами себя закабалили. О склонностях нашего грешного тела, которые врачи именуют противостественными, невзирая на то, что они мне кажутся, напротив, более чем натуральными, я совсем не хочу говорить, а скажу только, что в психике нашей взаимозависимости с телом проявляются более чем ясно. Все согласны с тем, что наш полет нередко сдерживают те свинцовые

грузила, о которых мы и сами не ведаем, что они собой представляют, откуда они взялись и кто их нам привесил?!

Но лучше и правильнее, пожалуй, будет, если я замечу, что все зло происходит от дурного примера и что слабости нашей природы происходят только лишь от того, что мы вынуждены следовать дурному примеру. Я убежден также, что род человеческий, собственно говоря, именно к тому и предназначен, чтобы подавать дурной пример.

Разве ты, о милый юноша-кот, перечитывающий эти строки, в жизни своей не попадал в положение, которое, необъяснимое тебе самому, везде и всюду превращало тебя в мишень для горчайших упреков, и, быть может, даже приходилось тебе при этом терпеливо сносить неучтивость твоих сотоварищей-коллег, которые иногда покусывали тебя — и прельбно к тому же! Ты делался ленив, драчлив, малопривлекателен, прожорлив, ты ни в чем не находил удовольствия, ты оказывался там, где тебе не следовало быть, становился всем в тягость, короче говоря, ты делался совершенно невыносимым малым! — Утешься, о кот! Не в твоей собственной глубокой душе таятся корни сего ужасного периода твоей жизни. О, нет, это была дань, которую ты платил управляющему нами принципу, тем самым, что и ты следовал дурному примеру людей, а ведь именно они и ввели в жизнь это вот преходящее состояние. Утешься, о, котик! Ведь и у меня самого дела обстояли несколько не лучше!

В самый разгар моих полуночных трудов на меня вдруг напала некая удивительная апатия, словно бы я пресытился какими-то неудобоваримыми яствами. Я свертывался в клубочек и засыпал на той самой книге, которую только что перелистывал, на том самом манускрипте, который я писал. Эта леность возрастала все более и более, так что в конце концов я больше не мог писать, читать, бегать, прыгать, больше не мог развлекаться и обмениваться мнениями со своими коллегами в погребке и на крыше. Вместо всего этого я ощущал непреодолимое стремление делать все то, что моему маэстро и его друзьям никак не могло быть приятно, очень докучая им своим поведением. Что касается моего маэстро, то долгое время он ограничивался лишь тем, что гнал меня, когда я избирал своим ложем именно те места, где он меня заведомо не желал терпеть, пока он в конце концов не оказывался вынужденным устроить мне маленькую нахлобучку. А именно, я неоднократно вспрыгивал на письменный стол моего маэстро и так долго махал хвостом туда и сюда, покамест кончик оного не попадал в большую чернильницу, после чего я кончиком хвоста начинал на полу и на канаве создавать замечательные живописные творения. Это приводило моего маэстро, у которого, видимо, не было ни малейшего пристрастия к этому жанру живописного искусства, в ярость. Я убегал во двор, но там мне приходилось, пожалуй, еще хуже. Громадный кот необычайно почтенной наружности давно уже выражал неудовольствие моим поведением; и теперь, когда я, впрочем, весьма неловко, попытался стащить у него прямо из-под носа лакомый кусок, который вышеуказанный кот как раз намередвался слопать, он мне без дальнейших око-

личностей закатил такие пощечины с обеих сторон, что я оказался совершенно оглушен и из моих ушей хлынула кровь.

Если я не ошибаюсь, сей достопочтенный господин приходился мне дядюшкой, ибо черты мининой физиономии проглядывали и в его внешности, а фамильное сходство усов — его и Мины — невозможно было отрицать... Короче говоря, я повторяю, что я в ту пору чуть было не превзошел себя по части всяческих шалостей, так что мой маэстро сказал: «Я прямо-таки не знаю, Мурр, что с тобой творится, вероятнее всего, что ты теперь вступил в отроческий возраст и посему озорничаешь, как малолетний правонарушитель!»

Маэстро был прав, это была моя роковая пора дерзновенности, которую я должен был во что бы то ни стало преодолеть, следуя дурному примеру людей, которые, как уже сказано, ввели в жизнь это ужасное состояние, обусловленное якобы некими заповедными глубинами их природы. Этот период они называют отроческим или годами озорства, хотя, вообще говоря, некоторые до гробовой доски не выходят из этого состояния, что же касается до нас, котов, то у нас может идти речь всего лишь о недолгих неделях озорства, и я, со своей стороны, вышел из этого положения раз и навсегда сильнейшим рывком, который мог стоять мне лапы или нескольких ребер. Собственно говоря, я выскочил из недель озорства самым стремительным образом.

Я должен рассказать о том, как это случилось.

Во дворе дома, где была квартира моего маэстро, стояла некая машина на четырех колесах с чрезвычайно богатой обивкой внутри: это была, как я впоследствии узнал, английская коляска. Естественно, что мне, в моем тогдашнем состоянии, мгновенно пришла охота вскарабкаться на эту самую махину и забраться затем глубже, в самое ее нутро. Я нашел подушки, находящиеся там, настолько приятными, настолько влекущими и притягательными, что с этих самых пор большую часть своего времени проводил, подремывая, в упоительно-мягких недрах сего экипажа.

Сильный толчок, за которым последовал какой-то треск, дребезжание и дикий шум, разбудил меня в тот самый миг, когда перед моим умственным взором проплывали сладостные видения: мне мерещилось жаркое из зайца и тому подобное.

Кто опишет мой внезапный ужас, когда я уразумел, что вся машина с оглушающим уши грохотом покатила куда-то, увлекая с собой и меня, катающегося по стеганым подушкам. Все возрастающий и возрастающий страх превратился в отчаяние, я решился на отчаянейший прыжок — наружу — из недр этой махины; я слышал издевательский хохот адских демонов, я слышал их варварские голоса: «Кошка... кошка, у-лю-лю!» Голоса эти пронзительно визжали, а я, как безумный, понесся напрямик. Камни летели мне вслед, пока я, наконец, не попал в какое-то темное сводчатое помещение, где и свалился без чувств.

Наконец, я услышал, как кто-то расхаживает взад-вперед над самой моей головой, и заключил по звуку шагов, ибо мне, пожалуй, уже некогда

приходилось слышать нечто подобное, что я, по-видимому, нахожусь под лестницей. Именно так оно и было!

Когда же, наконец, я выкарабкался оттуда, о небо! — тогда передо мной протянулись во все стороны необозримые улицы, великое множество людей, как на грех, решительно мне незнакомых, шло мимо меня. Если еще прибавить к этому, что оглушительно громыхали экипажи, громко лаяли собаки и, более того, что в конце концов целая орава людей, сверкая оружием на солнце, заняла улицу во всю ширь, так что на ней стало совсем тесно, а почти рядом со мной совершенно внезапно и пугающе кто-то стал бить в большой барабан, так что я невольно подпрыгнул на три аршина вверх, о, да, разумеется же, грудь моя исполнилась глубочайшим ужасом. — Вот тут-то я и заметил, что нахожусь в самом средоточии людской толчеи, в том самом мире, на который я взирал издали, с моей крыши, из прекрасного далека, взирал с тоскою и любопытством, да, и вот теперь посреди этого мира я и застыл, как неискушенный чужеземец.

Из осторожности я прогуливался вдоль улицы, держась поближе к стенам домов, и повстречал в конце концов нескольких моих юных единоплеменников. Я остановился и попытался вступить с ними в беседу, но они ограничились тем, что оглядели меня сверкающими своими глазницами и отправились вприпрыжку дальше. «Легкомысленное юношество, — подумал я о них, — ты не знаешь, кто был тот, кто повстречался тебе на пути! — вот так великие умы проходят по свету, никем не признанные и никем не замеченные. Но таков уж удел любого мудреца в нашей земной юдоли!» Ну, что ж, рассчитывая найти большее участие в людях, я вспрыгнул на заметно выступающий выход из погреба и стал издавать приветливое и, как мне казалось, манящее мяуканье, но до чего же холодно и безучастно, с каким безразличием, едва взглянув на меня, все проходило мимо. Наконец, я увидел хорошенького, беленького, кудрявого мальчугана, который глядел на меня дружелюбно, и вскорости, пощелкивая пальцами, воскликнул: «кис-кис!» — «Прекрасная душа, ты понимаешь меня», — подумал я, спрыгнул вниз и приблизился к нему, дружелюбно мурлыкая. Он стал гладить меня, но, когда я уже полагал, что могу всецело предаться приятному чувству наслаждения, злобный мальчишка так ущипнул меня за хвост, что я взвыл от ужасающей боли. Вот это-то самое, видимо, и обрадовало до чрезвычайности этого юного, но коварного злодея, ибо он громко рассмеялся, крепко схватил меня и попытался повторить свой адский маневр. Тут мною овладела невероятная злость, и, воспламененный чувством мести, я выпустил когти и стал так царапать его руки и лицо, что он, завизжав, отпустил меня. Но в этот миг я услышал крики: «Тирас — Картуш — ату, ату его!» — И с громким тьяканьем две собаки понеслись за мною вслед. Я бежал, что есть духу, они настигали меня по пятам — нет, спасение было невозможно! — Не взвидев света от ужаса, я влетел в окно цокольного этажа, так что стекла зазвенели и несколько цветочных горшков, стоявших на подоконнике, с грохотом по-

летели в комнату. Женщина, работавшая за столом, вскочила с криком: «Глядите, что за отвратительная bestия!» — схватила палку и напустилась на меня. Но мои глаза, пылающие гневом, мои выпущенные когти, тот вопль отчаяния, который я испустил, — все это удержало ее от дальнейших действий, таким образом, как говорится в прославленной трагедии, палка, занесенная для удара, застыла в воздухе², и женщина тоже окаменела — явная фурия, несомненная злодейка, но безвольная и в полнейшем изнеможении!

В этот самый миг распахнулась дверь, и, приняв быстрое решение, я проскользнул между ног у входящего мужчины, безмерно счастливый тем, что выбрался из этого проклятого логова и вновь очутился на улице.

Совершенно измученный, совершенно обессиленный, я, наконец, попал в некое уединенное местечко, где смог прилечь и немножко передохнуть.

Однако тут меня начал терзать отчаянный голод, и тогда лишь я вспомнил с глубокой печалью доброго маэстро Абрагама, с которым меня разлучила жестокая судьба. — Но как же вновь найти его?

Я печально осмотрелся, и, не усмотрев решительно никакой возможности отыскать дорогу домой, внезапно прослезился, жгучая влага оросила мои глаза.

Впрочем, новая надежда озарила меня, когда на углу улицы я заметил молоденькую девицу: она сидела перед маленьким лотком, на котором разложены были аппетитнейшие булочки и колбаски. Я не спеша приблизился к ней, она улыбнулась мне, и чтобы сразу показать, что я юноша благовоспитанный, не чуждый галантных манер, изогнул спину дугой — много выше и куда обаятельней, чем когда бы то ни было прежде. Она уже не улыбалась, а хохотала во весь рот. «Наконец, я нашел прекрасную душу, участливое сердечко! О, небо, какой елей проливает это в мою уязвленную грудь!» — так подумалось мне, и я стащил вниз одну из колбас, но в тот же миг девица закричала в голос и, если бы меня настиг удар, который она намеревалась нанести мне здоровенным поленом, то едва ли мне пришлось бы еще когда-нибудь лакомиться той самой колбасой, которую я стащил в искреннем доверии к порядочности и доброжелательному человеколюбию этой особы, а также какими-либо иными колбасами!

Собрав остаток своих сил, я во всю прыть побежал от этой ведьмы, а она преследовала меня. Мне удалось ускользнуть от нее, и я, наконец, добрался до укромного места, где смог преспокойно съесть вышеупомянутую колбасу.

Подкрепившись этой нехитрой снедью, я повеселел, и так как к тому же солнышко грело мне шкуру, то я почувствовал, как все-таки хорошо жить на этой земле!

Однако, когда затем наступила холодная сырая ночь, когда я так и не нашел себе мягкого ложа, как у моего доброго маэстро, когда я, коченея от холода, стужи, вновь терзаемый голодом, проснулся на следующее утро,

мною снова овладело чувство безутешности, граничащее с полным отчаянием.

— Таков (так высказал я вслух свои жалобы), таков, стало быть, этот мир, в который ты так жаждал вступить, сойдя с родимой крыши? Мир, где ты уповал обрести добродетель и мудрость и нравственность высшего порядка!

— О, эти бессердечные варвары! В чем состоит их сила, если не в побоях? В чем состоит их разум, если не в измывающейся издевке? В чем состоит все их существование, если не в завистливом преследовании чувствительных душ? О, прочь, прочь из этого мира, полного лицемерия и обмана! Заклучи меня в свои прохладные объятия, о ты, сладостный, родимый отеческий подвал! О, чердак! — печка, о, уединение, которое радует меня, к которому болезненно стремится сердце мое!

Мысль о моем жалком состоянии, моем безнадежном положении одолела меня. Я зажмурился и горестно заплакал.

И вдруг я услышал знакомый голос: «Мурр, Мурр — милый друг, откуда ты взялся? Что с тобой стряслось?»

Я открыл глаза — передо мной стоял юный пудель Понто!


Как ни обижен я был на Понто, все же его внезапное появление очень утешило меня. Я забыл о его несправедливом обращении со мной, рассказал ему, как все это со мной произошло, изъяснил ему, плача в три ручья, мое печальное и беспомощное положение, и закончил тем, что меня терзает смертельный голод.

Вместо того чтобы, как я ожидал, выразить мне свое участие, юный Понто прегромко расхохотался.

— Разве ты, — сказал он потом, — не совершеннейший сумасброд, милейший Мурр? Сперва ты, чудак, садишься в коляску, к которой не имеешь ни малейшего отношения, потом ты засыпаешь, пугаешься, когда коляска трогается, выпрыгиваешь из нее прямо в уличную давку, чрезвычайно удивляешься, что тебя, который прежде едва решался высухнуть из дверей собственного дома, здесь ни одна живая душа не знает, удивляешься тому, что ты, с твоими дурацкими проделками, везде встречаешь прескверный прием, да к тому же еще оказываешься таким простофилей, что не знаешь даже, как отыскать дорогу домой, к своему господину и маэстро. Видишь, дружок мой Мурр, всегда-то ты кичился и похвалялся своими необыкновенными учеными познаниями, своей образованностью, всегда ты передо мной корчил необыкновенно знатную персону, и вот ты томишься здесь, всеми покинутый, безутешный, и все великопнейшие качества твоего ума и души оказываются совершенно недостаточными, чтобы научить тебя, как приступить к делу, дабы утолить твой голод и найти дорогу домой, к твоему маэстро! И вот, если теперь некто, кого ты считаешь куда ниже тебя, не примет в тебе участия, ты непременно умрешь с голоду жалчайшей смертью, и ни одна живая душа не спросит о том, какими великими познаниями ты обладал, какими отличался талантами; и ни один из стихотворцев, которых ты считал сво-

ими друзьями, не поставит камня с дружеским: «Nis jacet» * на том самом месте, где ты изнываешь теперь от голода по собственной своей недалеко-видности и близорукости! Вот видишь, я тоже ходил в школу и умею при случае ввертывать латинские словечки. Но ты изголодался, бедный котик, и эта твоя потребность должна быть прежде всего удовлетворена, а ну-ка, пойдем со мной, пойдем!

Юный Понто радостно бежал передо мной вприпрыжку, я следовал за ним, как побитый, совершенно удрученный его речами, которые мне, сокрушенному и изголодавшемуся, представлялись довольно-таки справедливыми. Но как же я испугался, когда...

 (Мак. л.)... издателя этих листов необыкновенно обрадовало то, что он сразу же узнал, о чем шла речь во время беседы Крейсlera с маленьким тайным советником, беседы весьма примечательной. Таким образом, он оказался в состоянии провести перед твоими глазами, любезный читатель, хотя бы несколько картин из ранних юношеских дней того странного человека, чью биографию написать он в некотором роде обязан, и полагает, что во всем, что касается рисунка и колорита, эти картины, пожалуй, следует признать достаточно характерными и значительными.

По крайней мере, после того, что Крейслер рассказал о тете Фюксен и ее лютне, можно не сомневаться в том, что музыка со всей ее волшебной грустью, со всем ее райским восторгом истинно проникла в грудь мальчика и срослась там с тысячью кровеносных жил, и, стало быть, несколько не удивительно, что именно из этой груди, даже если она лишь слегка задета, сразу же хлынет жаркая алая кровь.

Двумя моментами из жизни любимого капельмейстера упомянутый издатель был особенно заинтересован, даже, более того, как принято говорить, совершенно одержим. А именно: каким образом маэстро Абрагам попал в семейство маленького Иоганна и какое влияние он оказал на отрока; что за катастрофа вышвырнула добропорядочного юриста Крейсlera из столичного города и превратила его в капельмейстера, каким он, собственно говоря, и должен был стать с самого начала; впрочем, разве не должны мы доверять той вечной силе, которая в должное время помещает нас в должное место?!

Многое по этой части было обнаружено издателем и тебе, о читатель, непременно будет сообщено и пересказано.

Во-первых, не следует сомневаться в том, что в Гёнионесмюле, где Иоганн Крейслер родился и получил воспитание, обитал человек, который, судя по всему, что он предпринимал, был необыкновенно странным и своеобразным. Вообще говоря, городок Гёнионесмюль с незапамятных времен был истинным раем всяческих чудаков, и Крейслер рос, окруженный престранными фигурами, которые должны были оказать на него тем

* Здесь покоится (лат.).

большее влияние, что он, по крайней мере в дни отрочества, вовсе не водился со своими сверстниками.

Тот человек, однако, был однофамильцем известного юмориста³, ибо его звали Абрагам Лисков, и был он строителем органов, каковое ремесло он порой глубоко презирал, в другие же времена, напротив, превозносил до небес, так что нелегко было сказать, чего же он, собственно, хочет.

Согласно рассказам Крейслера, в семействе его всегда с чрезвычайным восхищением говорили о господине Лискове. Его называли изящнейшим и искуснейшим художником, какого только можно сыскать, и огорчались лишь тем, что его безумные капризы, его сумасбродные выходки отпугивают от него всех прочих гёнионесмюльцев.

В качестве особенного счастья и везения тот или иной горожанин похвалялся тем, что господин Лисков действительно побывал у него и настроил его рояль, предварительно натянув новые струны. Кстати, и о фантастических проделках Лискова тогда немало рассказывали, и эти рассказы оказывали совершенно особенное влияние на маленького Иоганна, так что он, не будучи знаком с господином Лисковым, составил уже совершенно определенное представление об этом человеке. Иоганн жаждал увидеть господина Лискова, и, когда дядюшка стал уверять его, что господин Лисков, может быть, зайдет к ним, чтобы наладить расстроенный рояль, мальчик стал каждое утро осведомляться, не придет ли нынче наконец господин Лисков.

Этот интерес мальчика к незнакомому ему человеку превратился, однако, в своего рода благоговейное изумление, когда он в соборе, который дядюшка, как правило, не удаивал своими посещениями, впервые услышал могучие звуки большого красивого органа и когда дядюшка сказал ему, что не кто иной, как именно господин Абрагам Лисков, соорудил этот великолепный инструмент.

Начиная с этого момента исчез и развеялся тот образ господина Лискова, который Иоганн создал в своем воображении, и совершенно иной образ занял его место. Теперь Лисков, по мнению мальчика, должен был быть рослым, красивым человеком солидной наружности, говорить звонко и громко и прежде всего прочего носить сюртук сливового цвета с широкими золотыми галунами, совсем как крестный мальчика — коммерции советник, который всегда ходил одетый именно таким образом и к богатому наряду которого маленький Иоганнес питал глубочайшее уважение.

Однажды, когда дядя с Иоганнесом стояли у открытого окна, мимо их дома стремительно прошел маленький, худощавый человек в сюртуке из светло-зеленого сукна, причем отстегнутые клапаны рукавов странным образом трепетали, поднимаясь вверх и опускаясь вниз вместе с порывами ветра. К тому же маленькая треугольная шляпчонка была у него воинственно нахлобучена на пудренный белый парик, и слишком длинная косица трепыхалась на спине.

Он ступал так твердо, что от его поступи дрожали плиты, и при каждом втором шаге пристукивал по земле длинной бамбуковой тростью.

Проходя мимо окна, человек этот метнул пронизывающий взгляд, глаза его были черны и к тому же искрились и сверкали; дядюшка поклонился ему, но странный человек не удостоил его ответом.

Маленький Иоганн почувствовал, что все его тело насквозь пронизывает знобящий холод, и в то же время ему показалось, что следовало бы смеяться над этим человеком, но что он не в силах смеяться лишь потому, что грудь его так стеснена.

— Вот это и есть господин Лисков, — проговорил дядя. «Я так и знал», — ответил Иоганнес, и он был прав. Господин Лисков отнюдь не был крупным, представительным мужчиной в сюртуке сливового цвета с золотыми галунами, вроде крестного отца — коммерции советника; однако же страшно и, более того, поразительно было то, что господин Лисков выглядел точь-в-точь так, как мальчик воображал его себе еще прежде, чем услышал игру соборного органа.

Иоганн еще не оправился от своего чувства, которое можно было сравнить с внезапным испугом, как господин Лисков внезапно остановился, повернулся, с топотом пробежал вверх по улице до самого их окна, где отвесил дядюшке глубокий поклон, и убежал прочь с громким хохотом.

— Разве это, — сказал дядюшка, — разве это поведение, достойное образованного человека, который приобрел немалый опыт в ученых занятиях и который как дипломированный строитель органов причислен к деятелям искусства, коим законы страны предписывают носить шпагу? Не следует ли предположить, что он уже с утра пораньше приложился к рюмочке или же только что сбежал из желтого дома? Но я знаю, теперь-то он уже придет к нам и приведет наш рояль в порядок.

Дядюшка был прав. Уже на следующий день господин Лисков пришел к ним, но, вместо того чтобы приступить к настройке рояля, потребовал, чтобы маленький Иоганнес сыграл ему что-нибудь.

Маленького Иоганнеса посадили на стул, на сиденье которого предварительно было положено несколько толстых книг, господин Лисков уселся напротив него — возле узкого конца рояля, оперся обеими руками на инструмент и уставился малышу прямо в лицо, настолько смутив его этим, что менуэты и арии из ветхой нотной тетради, разыгранные бедным мальчуганом, прозвучали довольно плачевно.

Господин Лисков остался невозмутимо серьезен, но внезапно мальчик съехал вниз и забарахтался где-то между ножками рояля, по какому случаю строитель органов, который одним рывком выдернул у него из-под ног особую скамеечку, расхохотался необыкновенно громогласно.

Мальчик, пристыженный, выкарабкался на свет божий, но в это же самое мгновение господин Лисков сидел уже за роялем, он вытащил молоток и заколотил им по злополучному инструменту, да так немилосердно, как будто он хотел разбить его, расколоть, превратить в тысячу осколков!

— Господин Лисков, в своем уме ли вы? — вскричал дядюшка, но маленький Иоганнес, совершенно пораженный и выведенный из себя тем,

как начал осуществлять свою миссию славный строитель органов, налег изо всех силенок на крышку инструмента, так что она с ужасным грохотом захлопнулась, и господину Лискову пришлось мгновенно отпрянуть, чтобы избежать рокового удара.

И тут мальчик воскликнул: «Ах, милый дядюшка, это вовсе не ловкий и проворный мастер, который построил столько красивых органов, не может быть, чтобы это был он, потому что тот, кто здесь, — преглупый человек, который ведет себя, как невоспитанный сорванец!»

Дядюшка подивился дерзости мальчика, но господин Лисков долго и неподвижно глядел на него, а потом, сказав: «Ай-яй-яй, да он у вас прекурьезный господин!» — тихо и бережно поднял крышку рояля, вытащил свои инструменты и приступил к работе, которую и завершил за несколько часов, не проронив во все это время ни единого слова.

С этого самого мгновения строитель органов стал проявлять решительную симпатию к малышу. Почти ежедневно он бывал у них дома, сумел привлечь мальчика на свою сторону тем, что раскрыл перед ним некий совершенно иной, новый, яркий и пестрый мир, в котором его оживленный ум мог развиваться куда смелей, отважней и свободней.

Не слишком похвально, конечно, что Лисков — правда, когда Иоганнес стал уже несколько постарше, — охотно побуждал мальчика к странным проделкам, частенько задевающим самого дядюшку, который, впрочем, будучи человеком ограниченного ума и к тому же преисполненным всяческих забавных свойств, давал бесчисленные поводы к подобного рода шуткам.

Впрочем, остается несомненным, что когда Крейслер жалуется на безотрадное одиночество в свои отроческие годы, когда он именно в этой поре своей жизни видит истоки той раздвоенности своего существа, которая столь часто тревожит его в глубине души, то причиной всего этого являются, пожалуй, именно его отношения с дядюшкой.

Иоганнес был не в состоянии уважать человека, призванного занять место отца, ибо все поступки и вся суть этого человека непременно должны были казаться ему смехотворными.

Лисков хотел всецело привлечь Иоганнеса к себе, на свою сторону, и это удалось бы ему, однако все благородное, что было в натуре отрока, лучшая часть его души воспротивилась этому. Проницательный рассудок, глубоко чувствующая душа, необыкновенная впечатлительность ума — все это были истинные и несомненные качества строителя органов, этого у него нельзя было отнять.

Что же касается того, что обычно называют юмором, то это чувство у него отнюдь не было той редкостной душевной настроенностью, которая проистекает из глубокого и проникновенного взгляда на жизнь, во всех ее потребностях и обстоятельствах, из столкновения противоборствующих начал, — нет, это было только решительное чувство ненадлежащего и неуместного вместе с удивительной способностью воплощать это

самое ненадлежащее и неуместное в жизнь, отсюда и неизбежное и неистребимое чудачество его собственной персоны.

В этом-то и заключалась основа всеизмывающейся беспощадной издевки, которая сквозила в речах Лискова, та радость по случаю чужого горя, то злорадство, с которыми он неустанно преследовал все, что он находил неуместным, — преследовал, не зная устали, вплоть до самых отдаленных, вплоть до самых таинственных тупиков и закоулков.

Именно это злорадное высмеивание всех и вся уязвляло и ранило нежную душу мальчика и противостояло той воистину душевной привязанности, которая, казалось, должна была возникнуть между ними, между отроком и его старшим другом, по-отчески полюбившим его.

Однако же невозможно отрицать, что чудакватый строитель органов был как бы создан для того, чтобы пестовать тот зародыш сокровенного юмора, который таился в душе мальчика, ибо зародыш этот непрестанно созрел и рос.

Господин Лисков немало рассказывал Иоганнесу о его отце — а он был закадычным другом отца Иоганнеса в свои юные годы — к великому неудовольствию дядюшки-воспитателя, который в этих рассказах явно отступал в тень, в то время как его родич — отец Иоганнеса — предстал как бы в ярком солнечном сиянии.

Так, однажды строитель органов превозносил глубокое музыкальное чутье и чувство, свойственные отцу Иоганнеса, и высмеивал то извращенное понимание первооснов музыки, которое дядюшка пытался преподать племяннику своему.

Иоганнес, который был полон думами о том, кто был ему самым близким человеком и кого он так никогда и не знал, жадно слушал эти рассказы господина Лискова.

Но тут внезапно господин Лисков смолк, как бы лишился языка, подобно тому, в чьей душе возникла какая-то мысль, овладевшая всем его существом, — итак, он смолк и застыл, потупившись.

— Что с вами, маэстро? — спросил Иоганнес. — Что вас так взволновало?

Лисков, как бы пробудившись от сна, заговорил, посмеиваясь:

— Ты еще не забыл, Иоганнес, как я выдернул у тебя из-под ног скамеечку и ты соскользнул прямехонько под рояль, после того как тебе пришлось сыграть мне все тошнотворные мурки и менуэты, все коронные номера твоего дядюшки?

— Ах, — отвечал Иоганнес, — когда я увидел вас впервые, я вовсе не думал, что вы так позабавитесь тем, что смутили и огорчили ребенка!

— А ребенок-то, — сказал Лисков, — был, кстати говоря, препорядочным грубияном!

Но ни за что бы я тогда не подумал, что в вас, душа моя, таится такой преотличный музыкант, а посему, сынок, сделай-ка мне удовольствие — сыграй-ка мне прославленный хорал на маленьком позитиве. А я уж буду раздувать меха.

Следует сказать, а мы об этом чуть не забыли, что Лискову доставляла великую радость фабрикация всякого рода замысловатых игрушек, а игрушки эти порой приводили Иоганнеса в восхищение.

Когда Иоганнес был еще совсем ребенком, Лисков при каждом визите старался захватить с собой и преподнести ему нечто поразительное и удивительное.

Например, он дарил мальчику яблоко, и яблоко это мгновенно распадалось на сто кусочков, как только с него снимали кожуру; или, скажем, приносил какой-нибудь пирожок необыкновенной формы; а теперь вот — подростшему мальчугану — он доставлял великое развлечение, поражая его теми или иными потрясающими фокусами из области природной магии, — вскоре Иоганнес начал помогать ему строить оптические приборы, варить симпатические чернила и т. п.

Но венцом всех этих механических самоделок, которые изготовлял строитель органов для Иоганнеса, был орган-позитив с восьмифунтовым гедактом⁴ и трубами из папье-маше, чрезвычайно похожий на тот шедевр старинного строителя органов XVII столетия, которого звали Евгений Каспарини⁵, на тот самый орган, который и сейчас можно увидеть в императорской кунсткамере в Вене.

Странный инструмент этот, изготовленный Лисковым, отличался необычайным тоном, сила и прелесть которого увлекали совершенно непреодолимо, и Иоганнес уверяет еще и теперь, что он никогда не мог играть на нем без глубочайшего волнения и что при этом многие воистину благочестивые церковные мелодии светло всплывали в его душе.

Вот на этом-то картонном позитиве и должен был теперь Иоганнес сыграть перед строителем органов.

После того как он по требованию Лискова исполнил несколько хоралов, он перешел к гимну «*Misericordias domini cantabo*»*, сочиненному им самим всего лишь несколько дней тому назад.

Едва Иоганнес окончил, как Лисков вскочил, бурно прижал его к груди, расхохотался и воскликнул:

— Ах, озорник, да ты же дурачишь меня своей слезливой кантиленой? Право, ты никогда не сочинил бы ничего стоящего, если бы я не раздувал меха с таким постоянством и усердием! Ну а теперь я удаляюсь совсем, и поищи-ка себе раздувальщика мехов, который будет о тебе столь же хорошего мнения, как я!

И в глазах его при этом стояли светлые слезы. Он в два прыжка оказался у дверей и сильно захлопнул их за собой. Впрочем, затем он вновь приоткрыл створки, просунул меж них голову и сказал очень мягко и кротко:

— Что же, ничего больше я поделывать не могу. Адье, Иоганнес! Ежели твой дядюшка хватится своей жилетки из гродетур в красненьких цветочках, ты скажи ему только, что я ее украл и закажу себе из нее тюрбан,

* Воспою милосердие господне (лат.).

чтобы представиться в оном тюрбане великому султану! Адье, Иоганнес, прощай!

Ни одна живая душа не могла понять, почему это господин Лисков столь внезапно покинул пресимпатичный городок Гёнионесмюль и почему он это никому не объявил, куда решил направить стопы свои.

Дядюшка сказал:

— Давно уже я чуял, что этот непоседа покинет нас, ведь он, хоть и строит такие великолепные органы, все-таки не склонен следовать отличной поговорке: оставайся в своем краю и честно добывай средства к пропитанию своему!

Хорошо, однако, что он привел наш рояль в порядок, до него же самого — до сумасброда этакого — мне нет особого дела!

Иоганнес думал, впрочем, совершенно иначе, везде ему не доставало Лискова, и весь Гёнионесмюль казался ему теперь мертвой и мрачной тюрьмой.

Так вот и случилось, что он последовал совету строителя органов и пожелал искать себе на свете другого помощника, другого раздувальщика мехов.

Дядюшка полагал, что, завершив свои занятия, он сможет отправиться в столицу и устроиться там под крылышком тайного советника посольства, дабы вполне там созреть и определиться. Так оно и вышло!

В этот миг биограф Иоганнеса и ваш покорный слуга опечален сверх всякой меры, ибо именно теперь он переходит ко второму моменту из жизни Крейсlera, о каковом периоде он тебе, любезный читатель, обещал поведать, а именно о том, как Иоганнес Крейслер утратил столь возжеланный пост советника посольства и вынужден был убраться, по сути дела был почти что изгнан из столицы. Ему, биографу, становится ясно, что все сведения касательно этих событий, которые имеются в его распоряжении, чрезвычайно бедны, недостаточны, сухи, и, более того, — лишены взаимосвязи.

Именно поэтому в заключение следует, пожалуй, сказать, что вскоре после того как Крейслер занял место своего покойного дяди и сделался советником посольства, прежде чем он, так сказать, осмотрелся, явился некий могущественный коронованный колосс⁶, отыскал князя в его резиденции и с такою нежностью и задушевностью заключил его, как своего лучшего друга, в свои железные объятия, что князь от объятий этих чуть было не отдал душу всевышнему.

Во всех деяниях и во всей сущности и сути могущественного было нечто совершенно непреодолимое; таким образом и получалось, что все его желания приходилось удовлетворять, хотя бы даже при этом, как это и происходило на самом деле, все, так сказать, распадалось в прах и приходило в состояние полнейшей неразберихи.

Иные находили дружбу могущественного несколько тягостной, даже, пожалуй, предпочли бы от нее уклониться, однако в итоге перед ними самими возникала щекотливейшая дилемма: либо признать великолепие и замеча-

тельность этой не столь уж давней дружбы, либо искать вне рубежей своего отечества некую иную точку зрения, даже, быть может, постараться увидеть могущественного в ином — более правильном свете.

Иоганнес Крейслер находился среди этих последних.

Вопреки своему дипломатическому характеру, Иоганнес Крейслер сохранил в себе известную благоприличную невинность, и именно поэтому бывали мгновения, когда он не знал и не ведал, на что же ему все-таки решиться!

Именно в одно из подобных мгновений он осведомился у одной очень хорошенькой дамы в глубоком трауре, что она вообще думает о советниках посольства.

Она наговорила ему великое множество красивых, учтивых и преостроумных слов, в конце концов, однако, выяснилось, что она не слишком высокого мнения о таком советнике посольства, который, самым восторженным образом занимаясь изящными искусствами, не решается все же всецело предаться им.

— Прекраснейшая из вдов, — возразил на это Крейслер, — я удаляюсь!

Когда он уже натянул дорожные сапоги и со шляпой в руке собирался откланяться, не без выражения трогательных чувств и не без приличествующего случаю огорчения по поводу предстоящей разлуки, вдова эта сунула ему в карман приглашение занять место капельмейстера при дворе великого герцога, того самого великого герцога, который спокойно переварили миниатюрную державу князя Иринея.

Едва ли следует растолковывать, что хорошенькая дама в трауре была не кто иная, как уже известная нам советница Бенцон, которая только что утратила своего супруга-советника, ибо он, супруг этот, отошел в лучший мир.

Престранным образом оказалось, что Бенцон именно в то самое время, когда...



(Мурр. пр.): . . . Понто большими скачками приблизился к вышеупомянутой девушке, продающей хлеб и колбасы, той самой, что чуть не убила меня до смерти, когда я в простоте душевной покусился на ее яства. — «Пудель Понто, мой милый пудель

Понто, что ты делаешь? Будь на чеку! Берегись варварской и жестокосердной особы, остерегайся этого мстительного божества колбас!» — крикнул я вслед опрометчивому пуделю, но он, не обращая на меня ни малейшего внимания, стрелой летел вперед, а я поспешал за ним в некотором отдалении, дабы в том случае, ежели он подвергнется опасности, успеть вовремя исчезнуть. Приблизившись к столику, Понто встал на задние лапы и заюлил вокруг девушки, прыгая и приплясывая с поразительной ловкостью и изяществом, что ее очень обрадовало и развеселило. Она подозвала его к себе, он подошел, положил голову к ней на колени, снова вскочил на ноги с превеселым тьявканьем и поскакал вокруг благовонного рундучка, смиренно обнюхивая его и льстиво заглядывая в глаза вышеупомянутой девице.

— Не хочешь ли колбаски, милый песик? — спросила девушка, и когда Понто, прелестно виляя хвостом, громко изъявил свою радость, она, взяв, к моему немалому удивлению, одну из самых соблазнительных и самых крупных колбас, подала ему ее. Понто, как бы в знак благодарности, исполнил еще один коротенький балетный номер, а потом, подбежав ко мне с колбасой, положил ее передо мной, сказав при этом дружеским тоном: «Ну-ка, возьми, покушай и подкрепишься, драгоценный мой!» Когда я слопал колбасу, Понто велел мне следовать за ним, чтобы проводить меня домой, к маэстро Абрагаму.

Мы пошли рядом, нисколько не спеша, чтобы нам удобнее было на ходу обмениваться мнениями, столь же благоразумными, сколь и рассудительными.

— Я прекрасно вижу, милый Понто, — завел я разговор, — что ты куда лучше знаешь свет, чем я, грешный. Никогда мне не удалось бы пожалобить эту жестокосердную дикарку, а ты проделал это, ничуть не затрудняясь. Но ты уж прости меня! Во всем твоём обращении с этой колбасной особой было нечто такое, против чего справедливо восстают все мои врожденные чувства и понятия. Во всем этом мне чудилось какое-то униженное подхалимство, явно противоречащее чувству собственного достоинства, полнейшее пренебрежение всеми лучшими сторонами собственной природы. Нет, милый мой пудель, так подлизываться, чуть ли не высунув язык от усердия, напрягаться, предпринимая всяческие льстивые маневры, так покорно клянчить, как это делал ты! Даже когда я ужасно голоден или же когда мне приходит охота отведать каких-нибудь разносолов, я ограничиваюсь тем, что вспрыгиваю на стул за спиной моего маэстро и выражаю свое желание ласковым мурлыканьем. И это даже не столько назойливая просьба, не столько попытка заставить моего хозяина облагодетельствовать меня, сколько справедливое напоминание, что забота об удовлетворении моих потребностей — его прямой долг!

Понто громко рассмеялся при этих моих словах, после чего повел такую речь: «О Мурр, мой достолюбезный кот! Быть может, ты и в самом деле высокоталантливый литератор и отлично разбираешься в проблемах, о которых я и понятия не имею, но о реальной жизни ты ничего не знаешь и всенепременно окошел бы, лишившись моей поддержки, ибо у тебя нет житейской мудрости ни на грош! Прежде всего, очень может быть, что, перед тем как управиться с колбасой, ты был другого мнения на этот счет, ибо голодные, как правило, куда более послушны и куда более сговорчивы, нежели сытые. Засим ты очень ошибаешься, толкуя о моей якобы униженности, о моем унижительном подхалимстве. Ты ведь знаешь, что пляски и прыжки доставляют мне великое удовольствие, так что я нередко танцую и прыгаю просто так, ради собственного развлечения, без всякой корысти. Поскольку же, однако, я демонстрирую свои искусства людям и то, собственно говоря, только по своей же охоте, то меня необычайно развлекает мысль, что эти глупцы полагают, будто я делаю это только из симпатии к их особам, то есть только ради их увеселения и им на радость. Да, они

и впрямь так думают, хотя совершенно ясно, что намерения мои диаметрально противоположны этому. Минуту назад, дружок, ты видел тому живой пример! Разве колбасница не должна была сразу же понять, что я проделал все это ради колбасы и только? И, однако, она радовалась, что ей, незнакомой, я показываю мои штуки, радовалась, что я вижу в ней особу, способную по достоинству оценить их! Вот в таком радостном состоянии духа она и совершила то, чего я заведомо добивался. Тот, кто обладает житейской мудростью, умеет все, что он делает, использовать в своих интересах, но придавая всему этакий альтруистический оттенок — пусть думают, что он совершает это для других. А эти, другие, потом чувствуют, что они ему премного обязаны, и охотно исполняют все, чего он ни пожелает. Многие, кстати, представляются необыкновенно учтивыми, услужливыми, скромными и живущими на свете лишь для того, чтобы удовлетворять чужие желания, на самом же деле для них превыше всего их собственное возлюбленное «я», которому те, другие, жалкие простофили, и служат, сами о том не ведая. А посему то, что ты изволил назвать униженным подхалимством, на самом деле есть не что иное, как мудрое поведение, основанное на житейском опыте, краеугольным камнем которого является циничное использование непроходимой глупости ближних своих».

— О Понто, — возразил я, — ты человек светский, в этом я абсолютно уверен и повторяю, что ты лучше меня знаешь жизнь, однако я никак не могу поверить, чтобы твои вычурные проделки могли быть приятны тебе самому. Во всяком случае, мурашки у меня пробежали по коже при виде того ужасного кунштштюка, когда ты в моем присутствии поднес своему господину поноску — отличнейший кусочек жаркого, грациозно держа его в зубах и не отдавая даже малости, пока твой хозяин не кивнул, разрешая тебе полакомиться жарким!

— А скажи-ка мне, любезный Мурр, — осведомился Понто, — что произошло потом?

— Потом, — ответил я, — они оба, твой хозяин и маэстро Абрагам, превозносили тебя до небес и презентовали тебе полную тарелку жаркого, каковую ты и опустошил с завидным аппетитом.

— Стало быть, драгоценнейший ты мой котик, — продолжал Понто, — допускаешь ли ты, что ежели бы, доставляя поноску, я съел хотя бы крохотный ломтик мяса, то получил бы потом такую солидную порцию, да и вообще еще вопрос, получил ли бы я жаркое вообще? Учись, о неопытный юноша, что не следует бояться малых жертв, ежели хочешь добиться ощутительных выгод. Меня удивляет, что при всей твоей начитанности ты не знаешь, что это значит — жертвовать малым в надежде на большее. Положа лапу на сердце, откровенно признаюсь тебе, что если бы где-нибудь в каком-нибудь уединенном уголке обнаружилась бы в нерушимой целости большая порция вкусного жаркого, то я прикончил бы ее, несколько не колеблясь и не ожидая, разрешит ли мне хозяин приступить к трапезе, если бы, конечно, мне удалось совершить это, ускользнув от внимания посторонних. Но это уже в порядке вещей, что в уединенном

уголке мы ведем себя совершенно иначе, чем в общественном месте. Кроме того, существует также принцип, основанный на глубочайшем знании света, согласно каковому принципу необыкновенно полезно и выгодно быть честным и порядочным в мелочах!

Я некоторое время молчал, размышляя о принципах, провозглашенных пуделем Понто. Мне вспомнилось где-то вычитанное положение, согласно которому каждый должен поступать так, чтобы его поступки могли считаться общим принципом, или же, другими словами, так, как бы он хотел, чтобы все поступали с ним самим. Увы, я старался согласовать эти принципы с житейской мудростью Понто! И тут меня вдруг осенило: а что если вся дружба, проявляемая по отношению ко мне пуделем Понто, в эту минуту идет мне вовсе во вред, а что ежели все его заигрывания со мной направлены к одной-единственной цели — его же собственной выгоде? Все эти соображения я ему тут же и высказал, нисколько не чинясь.

— Ах, какой шутник! — смеясь, воскликнул Понто. — О тебе вообще речи нет. Ты для меня столь же бесполезен, сколь и безвреден! Я не завидую твоей напыщенной учености, мы с тобой действуем в разных сферах, ну а если ты в каком-нибудь случае и решился бы проявить по отношению ко мне хотя бы тень враждебности, то учти, милый, что я превосхожу тебя силой и ловкостью. Стоит мне прыгнуть разок да впиться тебе зубами в горло — а они у меня острые-преострые — и тебе, дорогой, аминь!

Меня охватил страх перед моим собственным другом, и этот страх еще больше усилился, когда какой-то довольно крупный черный пудель любезно поздоровался с моим Понто, как это принято у собачьего племени, и оба они, взирая на меня горящими глазами, стали тихонько шушукаться о чем-то.

Я прижал уши и бочком-бочком собирался уже было ретироваться подобру-поздорову, но Понто, расставшись вскоре с черным пуделем, вновь подскочил ко мне, восклицая: «Ну, идем же, идем же, дружок!»

— О великое небо! — вопросил я, пораженный. — Кто был этот маститый господин, быть может обладающий столь же глубокой житейской мудростью, как и ты?

— Мне кажется почему-то, — возразил Понто, — что ты боишься моего достойного дядюшки — пуделя Скарамуша. Довольно и того, что ты — кот, так неужели ты хочешь прослыть еще зайцем?

— Но почему, — сказал я, — дядюшка бросал на меня такие искрящиеся, пылающие взгляды и о чем это вы так таинственно, так подозрительно шептались? — «Не стану скрывать, милый мой Мурр, — ответил Понто, — что мой престарелый дядюшка немножко ворчун и, как обыкновенно бывает с такими стариками, отдает дань старинным предрассудкам. Дядюшка Скарамуш удивился, что мы идем вместе, поскольку мы с тобой не одного круга и сословные предрассудки возбраняют нам какое бы то ни было сближение. Я заверил его, что ты юноша весьма образованный и благовоспитанный, премилого нрава и большой забавник. Дядюшка Скарамуш сказал мне на это, что я вправе время от времени беседовать с тобой на-

едине, но чтобы я не отважился, боже меня упаси, привести тебя с собой на ассамблею пуделей, поскольку ты никогда, никогда не дорастешь до них, ну хотя бы потому, что у тебя такие маленькие уши... Они, эти уши, несомненно выдают твое низкое происхождение, а посему отважные длинноухие пуделя считают подобные уши чем-то абсолютно непристойным. Я поклялся поступать так, как он меня просил».

Если бы я уже тогда что-нибудь знал о своем великом предке, о Коте в Сапогах, который занимал высочайшие посты и вообще был блистательным сановником, о Коте в Сапогах, друге-приятеле самого короля Готлиба⁷, то я весьма легко доказал бы своему другу пуделю Понто, что любая ассамблея пуделей могла бы только гордиться присутствием на ней потомка столь знатного рода, однако, поскольку я в описываемое время еще не вполне вышел из тьмы невежества, мне пришлось, скрепя сердце, стерпеть то, что оба они, Скарамуш и Понто, считали невозможным быть со мною на равной ноге. Мы пошли дальше. Тут же перед нами шел какой-то молодой человек. С громким возгласом радости он отступил столь внезапно, что сильно изувечил бы меня, если бы я не отскочил в сторону. Так же громко воскликнул другой молодой человек, шедший в противоположном направлении. Оба бросились друг к другу в объятия, как друзья-приятели, которые давно не видались, после чего некоторое время шли, взявшись за руки, перед нами, пока не остановились и столь же нежно не попрощались и не разошлись потом в разные стороны. Тот, который шел перед нами, долго глядел вслед другу, а потом быстро исчез в подъезде какого-то дома. Понто остановился, я тоже. Затем в верхнем этаже дома, в который только что вошел молодой человек, раскрылось окно. Из него выглянула прехорошенькая девушка, а за ней стоял тот самый молодой человек, и они очень смеялись, глядя вслед приятелю, с которым молодой человек расстался с минуту назад. Понто взглянул вверх и проворчал сквозь зубы нечто, непонятное для меня.

— Отчего ты задержался, дражайший Понто? — спросил я. — Пойдем-ка лучше дальше. Но Понто не обращал на меня ни малейшего внимания. Только некоторое время спустя он внезапно тряхнул головой и молча двинулся в дальнейший путь.

— Мой милый Мурр, — сказал он, когда мы дошли до красивой площади, украшенной статуями и обсаженной деревьями, — давай-ка минуточку побудем здесь. Эти два молодых человека, которые так сердечно обнимались на улице, никак не выходят у меня из головы. Они друзья, ну как Дамон и Пилад.

— Дамон и Пифий⁸, — поправил я его. — Пилад был другом Ореста, которого всегда с неизменной верностью укладывал, предварительно закутав в шлафрок, в постель и подавал ему настой ромашки, когда беднягу слишком уж терзали демоны и фурии⁹. Весьма заметно, почтенный дружище Понто, что ты не столь уж сведущ в истории!

— Это меня несколько не волнует, — возразил пудель, — зато историю этих двоих друзей я знаю преотлично и расскажу тебе ее со всеми подроб-

ностями, именно так, как я выслушал ее по крайней мере двадцать раз из уст моего хозяина. Быть может, ты наряду с Дамоном и Пифием, Орестом и Пиладом назовешь также третью пару — Вальтера и Формозуса. Ибо Формозус — это именно тот молодой человек, который чуть не растоптал тебя от радости, что встретил своего любезного Вальтера. А вон там, в том красивом доме с великолепными зеркальными стеклами, живет старый и невероятно богатый президент. Формозус, юноша необыкновенно разумный и сообразительный, благовоспитанный и блестяще образованный, сумел так ловко подольститься к старику, что тот полюбил его, как собственного сына. Случилось так, что Формозус утратил внезапно всю свою веселость, побледнел и исхудал, как будто его терзает какая-то непонятная хворь, — на протяжении какой-нибудь четверти часа он раз десять вздыхал от глубины души, словно расставаясь с жизнью; он весь ушел в себя и замкнулся, одним словом казалось, что его уже ничто на свете не занимает. Старик долго и безуспешно пытался заставить юношу рассказать ему, в чем причина его тайного огорчения. Наконец, оказалось, что Формозус до смерти влюблен в единственную дочку президента. Старик поначалу испугался, у него явно были другие намерения, он вовсе не собирался выдавать свою дочь за Формозуса, которого никак нельзя было назвать ни знатным, ни чиновным. Но, увидя, что молодой человек сохнет и чахнет с каждым днем, старый президент решился спросить Ульрику, нравится ли ей юный Формозус, а также говорил ли он ей о своей любви. Ульрика потупилась и ответила, что юный Формозус, по правде сказать, еще не признался ей в своих чувствах по причине чрезмерной своей сдержанности и скромности, но она давно уже догадалась, что он любит ее, ибо, кстати сказать, это нетрудно заметить. Впрочем, юный Формозус ей по душе, и если ничто иное им не препятствует, и если дражайший папенька не имеет ничего против этого, и — одним словом, Ульрика говорила все то, что в подобных случаях обычно говорят барышни, которые уже пережили пору первого цветения и весьма глубокомысленно размышляют: «А возьмет ли меня кто-нибудь в жены?» Выслушав ее, президент сказал Формозусу: «Голову выше, мальчик мой! Моя Ульрика будет твоей!» Таким образом, Ульрика сделалась невестой юного господина Формозуса. Все желали счастья красивому и скромному юноше, один только человек впал по этому поводу в отчаяние и грусть, а был это не кто иной, как Вальтер, тот самый Вальтер, которого все считали закадычным другом Формозуса. Вальтеру неоднократно случалось видеть Ульрику, он даже разговаривал с ней и влюбился в нее, быть может, еще более пылко, чем Формозус. Но я непременно толкую о любви и влюбленности, а ведь я и не знаю, был ли ты, котик мой, когда-нибудь влюблен и знакомо ли тебе это чувство?» — «Что касается меня, милый Понто, — возразил я, — то не думаю, чтобы я уже когда-либо прежде был влюблен или теперь влюблен в кого-нибудь, ибо вполне отдаю себе отчет в том, что еще не впал в сие состояние, описанное, впрочем, многими поэтами. Поэтам не следует чрезмерно доверять, в свете же того, что я, помимо поэзии, знаю и читал

на эту тему, любовь есть, собственно говоря, не что иное, как весьма болезненное психическое состояние, своего рода частичное безумие, выражающееся именно в том, что мы начинаем принимать какой-нибудь предмет совсем не за то, чем он является на самом деле; вот, скажем, приземистую и корпулентную барышню, штопающую чулки, начинаем считать богиней. Но продолжай, дорогой мой, твой рассказ о двух друзьях-приятелях, о Вальтере и Формозусе!»

— Вальтер, — продолжал Понто, — бросился Формозусу на шею и признался ему, проливая слезы в три ручья: «Ты похищаешь у меня счастье всей моей жизни; единственное мое утешение, что это ты, что ты будешь счастлив. Прощай, драгоценнейший мой, прощай навек!» С этими словами Вальтер бросился в чашу, в самые дебри, и хотел застрелиться. До этого, однако, не дошло, поскольку он в отчаянии своим позабыл зарядить пистолет, посему он удовольствовался несколькими приступами безумия, повторяющимися ежедневно. В один прекрасный день, когда он стоял на коленях перед писанным пастелью портретом Ульрики (а портрет этот висел на стене в застекленной рамочке), итак, когда он стоял на коленях и терзался самым ужасающим образом, весьма неожиданно к нему вошел Формозус, а следует заметить, что они вот уже несколько недель совершенно не выдались. «Нет, — воскликнул Формозус, прижимая Вальтера к груди, — я не мог бы перенести твоей боли, твоего отчаяния и поэтому жертвую тебе счастьем своим. Я отрекся от Ульрики, а ее старика-отца убедил взять в зятя тебя! Ульрика любит тебя, быть может, и сама не ведая об этом. Добивайся ее руки! Я ухожу! Прощай!» После чего он хотел удалиться. Вальтер задержал его. Ему казалось, что все это пригрезилось ему во сне. И он не хотел верить своему счастью, пока Формозус не извлек из кармана собственноручной записочки старого президента, содержание которой звучало примерно следующим образом: «Благородный юноша, ты победил! Я неохотно освобождаю тебя от твоего обещания, но я уважаю в тебе чувство дружбы воистину героической, чувство, о котором мы читаем у античных авторов. Пусть господин Вальтер, человек достойных качеств, занимающий к тому же отличное доходное место, добивается благосклонности моей дочери Ульрики. Если она пожелает вступить с ним в брак, я лично не стану противиться этому». Формозус и в самом деле уехал, Вальтер начал добиваться благосклонности Ульрики, и Ульрика стала женой Вальтера. Старик-президент снова написал Формозусу, осыпая его похвалами, и спросил, не доставило ли бы ему удовольствия принять (не как возмещение, ибо ему отлично известно, что в данном случае не может быть и речи о возмещении, а только как скромный дар в знак его искренней привязанности) — сумму в три тысячи талеров. Формозус отвечал, что старику известно, сколь ничтожны его, Формозуса, потребности; деньги не могут, деньги не в силах его осчастливить и одно лишь время утешит его в той утрате, в которой никто не повинен, кроме судьбы, каковая разожгла в груди его дорогого друга любовь к Ульрике; он, Формозус, всего лишь уступил судьбе, таким образом,


едва ли стоит говорить о каком-то благородном поступке. Впрочем, он готов принять эти деньги при условии, что старик отдаст их несчастной вдове, проживающей вместе с добродетельной дочерью там-то и там-то в большой нужде. Вдову нашли и вручили ей три тысячи талеров, предназначавшихся ранее для Формозуса. Вскоре затем Вальтер написал Формозусу: «Я не в силах больше жить без тебя, вернись в мои объятия!» Формозус внял его призыву и узнал по возвращении, что Вальтер оставил свою прекрасную доходную должность с тем условием, что ее получит Формозус, который, кстати сказать, с давних пор мечтал о ней. Формозус и в самом деле получил эту должность и оказался теперь, ежели не считать рухнувших надежд на обручение с Ульрикой, в чрезвычайно приятной ситуации. Город и вся страна дивились благородному соперничеству обоих друзей; их поступок считали эхом давно отзвучавших — более прекрасных, чем нынешние, — времен; поступок этот ставили в пример, в пример героизма, на который способны лишь высокие души.

— В самом деле, — сказал я, когда Понто замолк. — Судя по всему тому, что я читал, Вальтер и Формозус непременно должны быть людьми благородными, людьми твердых правил, которые в жертвенной дружбе своей далеки от провозглашенных тобою принципов твоей пресловутой житейской мудрости.

— Гм, — возразил Понто, злорадно усмехаясь, — ну это еще как сказать! Вот, кстати, несколько подробностей, на которые горожане не обратили внимания и о которых я узнал отчасти от моего хозяина, а отчасти сам подслушал их. С любовью господина Формозуса к богатой дочке престарелого президента дело обстояло отнюдь не так скверно, как полагал старик: ибо в самой ужасающей стадии этой смертоубийственной страсти молодой человек, пребывая целый день в глубочайшем отчаянии, каждый вечер, как ни в чем не бывало, наносил визиты одной прехорошенькой юной модистке. После того как Ульрика стала его невестой, он вскорости убедился, что ангельски кроткая барышня при малейшей оказии моментально превращается в сварливого дьяволенка. Кроме того, к нему дошла из вполне надежного источника предосадная весть, что барышня Ульрика в бытность свою в столице приобрела весьма солидный опыт по части любви и везения в оной. Именно тогда и ощутил он внезапный и непреодолимый порыв великодушия, заставивший его уступить другу свою богатую невесту. Вальтер и впрямь в миг странного смятения чувств влюбился в Ульрику. Это и понятно: ему случалось видеть ее в общественных местах, она была ослепительно одета, это был шедевр туалетного искусства. Что же до самой Ульрики, то ей опять-таки было, пожалуй, вполне безразлично, кто именно из двоих юношей станет ее супругом, Формозус или Вальтер. Кстати сказать, Вальтер и в самом деле занимал прекрасную доходную должность, но, исправляя ее, до того запутал дела, что вскорости его должны были непременно сместить. Вот он и предпочел сам отказаться от должности в пользу своего друга и таким образом, совершив поступок, абсолютно благородный с виду, спасти свою честь. Три тысячи

талеров в надежных бумагах были вручены некоей старушке, очень пристойной, игравшей роль то матери, то тетки, то служанки вышеупомянутой хорошей модистки. В данном случае она выступила в двойной роли: сперва в качестве матери при получении денег, потом — передав деньги кому следует и получив хорошую сумму за комиссию — в качестве прислуги той самой девушки, которая тебе отлично знакома, милый Мурр, ибо с минуту тому назад ты видел ее в окне вместе с господином Формозусом. Кстати, оба друга, Формозус и Вальтер, давно уже знают, как, собственно, обстояло дело с этим их соревнованием в благородстве характеров. Они долго избегали встреч, до смерти не желая восхвалять друг друга. Вот почему их состоявшаяся по воле случая встреча на улице и была такой сердечной!

В этот миг поднялся ужасный шум. Люди бегали взад и вперед, крича: «Пожар! Пожар!» Верховые скакали по улицам, гремели экипажи. Из окон дома неподалеку от нас вырывались клубы дыма и языки пламени. Понто кинулся вперед, я же от страха забрался на высокую лестницу, прислоненную к стене, и вскоре оказался в полнейшей безопасности на крыше. Внезапно мне показалось. . .

 (Мак. л.): . . свалился как снег на голову, — чуть не заикался князь Иринея, — не подумав даже обратиться к гофмаршалу, более того, он даже не счел нужным, чтобы дежурный камергер предупредил о его приходе! почти что — пусть это останется между нами, маэстро Абрагам, не распространяйтесь об этом, пожалуйста, — почти что без доклада, и, как на грех, — ни одного ливрейного лакея не было в передней! Оказалось, что все они в вестибюле. Представьте себе, эти ослы дулись в бразубебарт, картежники этакие! — а ведь азартная игра — воистину — смертный грех! К счастью, уже в дверях его схватил за полу официант, который проходил мимо и осведомился, как зовут господина и как он должен доложить о нем князю. Впрочем, он мне чрезвычайно понравился, он вполне порядочный и достойный человек. Разве вы не говорили, что прежде он отнюдь не был обыкновенным музыкантом? Он как будто довольно родовит?

Маэстро Абрагам заверил князя, что Крейслер и в самом деле жил некогда в совсем иных обстоятельствах, а это позволяло ему даже в прежние дни есть за княжеским столом и что только всеистребляющая буря недавней эпохи изгнала его из насиженных мест. Что же касается всего остального, то Крейслер предпочел бы, чтобы завеса, наброшенная на его прошлое, осталась по-прежнему нетронутой.

— Итак, — молвил князь, — итак, из знати, быть может, барон — граф — быть может, даже . . . впрочем, стоит ли добиваться, не следует заходить чрезмерно далеко в наших мечтах и упованиях. Однако же я питаю слабость к подобного рода загадочным обстоятельствам! Прекрасное было времечко после французской революции, когда маркизы фабриковали сургуч, а графы занимались вязанием ночных колпаков и заветнейшим их желанием было слыть простым «ситуайеном», вот уж,

право, развеселый был бал-маскарад! — Ах да, так как же быть с нашим господином фон Крейслером! — Госпожа Бенцон отлично разбирается в подобного рода делах, она тоже превозносила его до небес, рекомендовала мне его, и она, конечно, права. По манере держать шляпу подмышкой я сразу же распознал в нем человека образованного, и к тому же самого изящного, самого утонченного тона.

Князь присовокупил еще кое-какие похвальные замечания касательно приятной наружности Крейслера, так что маэстро Абрагам все более убеждался, что его планы вполне могут увенчаться успехом. А именно он намеревался зачислить своего закадычного друга в этот полупризрачный придворный штат в качестве капельмейстера и таким образом удержать его в Зигхартсвейлере. Когда же, однако, он вновь заговорил об этом, князь весьма решительно возразил ему, что из этого ровным счетом ничего не выйдет.

— Посудите сами, — продолжал он, — посудите сами, маэстро Абрагам, возможно ли будет ввести этого приятного человека в мой интимный семейный круг, если я сделаю его своим капельмейстером, и тем самым своим прислужником? Я мог бы возложить на него исполнение придворной должности, ну, предположим, *maître de plaisir* или *maître des spectacles* * но, увы, человек этот превосходно разбирается в музыке и к тому же, как вы говорите, весьма опытен по театральной части. А посему, да будет вам известно, что я не склонен ни на йоту отклоняться от основного принципа, которым руководствовался мой в бозе почивший батюшка, а он всегда говорил, что вышесказанный мэтр должен, ради всего святого, ничего не смыслить в делах, управлять коими ему доверено, ибо он, в противном случае, будет слишком печься о них и слишком вникать в заботы и делишки людей, которые заняты в данной области, т. е. слишком интересоваться интригами и дрызгами актеров, музыкантов и прочей тому подобной челяди. Итак, пусть господин фон Крейслер как бы носит маску постороннего капельмейстера и вступит в ней во внутренние покои княжеского дома, по примеру одного весьма знатного человека, который некоторое время назад в недостойной личине презренного гаера развлекал самое избранное общество презабавнейшими кунштштюками ¹⁰.

— И, — воскликнул князь, обращаясь к маэстро Абрагаму, которому уже хотел было откланяться, — и, поскольку вы в известной мере, как мне кажется, являетесь *chargé d'affaires* ** господина Крейслера, то я не скрою от вас, что только две особенности мне не слишком нравятся в нем, особенности, которые, быть может, являются скорее застарелыми привычками, чем истинными пороками. Вы, бесспорно, понимаете уже, что я хочу сказать. Во-первых, он, когда я с ним говорю, смотрит мне прямо в лицо. А у меня ведь такие необыкновенные глаза; я умею сверкать ими самым устрашающим образом, точь-в-точь как блаженной памяти Фрид-

* Устроителя зрелищ, представлений (фр.).

** Поверенным в делах (фр.).

рих Великий; нет такого камер-юнкера, нет такого пажа, который решился бы взглянуть мне в глаза, когда я, испепеляя их взором, допытываюсь: «Ну что, mauvais sujet *, снова наделал долгов или сожрал все марципаны?» но, однако, господин фон Крейслера я могу испепелять сколько моей душе угодно, с него как с гуся вода, он даже, напротив, — улыбается мне, да к тому же еще и так своеобразно, что мне самому делается как-то неловко. Когда у человека такая странная манера говорить, отвечать, поддерживать беседу, то собеседник его может порой и в самом деле подумать, что он сам, т. е. собеседник, произнес что-то не слишком умное, одним словом, в известной мере, маэстро, кля-кля-клянусь святым Януарием, это совершенно невыносимо, и вам следует позаботиться, чтобы господин фон Крейслер отучился от этих своих пагубных привычек.

Маэстро Абрагам обещал сделать то, что от него требовал князь Ириней, и вновь собирался откланяться, но тут князь упомянул еще о странной антипатии, которую питает к Крейслеру принцесса Гедвига, и выразил мнение, что* девочка с некоторых пор терзаема престранными сновидениями и воображение ее чрезмерно разыгралось, почему лейб-медик и прописал ей лечение молоком — впрочем, не сейчас, а будущей весной. А именно: Гедвига как раз теперь вообразила, что Крейслер сбежал из сумасшедшего дома и при малейшей возможности натворит множество всяких зол и бед.

— Ну, скажите, — допытывался князь, — ну скажите, маэстро Абрагам, неужели в этом здравомыслящем юноше замечается хотя бы малейший след душевного расстройства. Маэстро возразил, что Крейслер, конечно, не более сумасшедший, чем он сам, однако время от времени ведет себя несколько странно, впадая в состояние, которое почти можно сравнить с состоянием принца Гамлета, но это, впрочем, еще прибавляет господину Крейслеру интересности и таинственности.

— Насколько мне известно, — заговорил князь, — юный Гамлет был превосходным принцем из древнего и уважаемого царствующего дома, однако он порой носился со странной идеей о том, что все его придворные непременно должны играть на флейте! Впрочем, высокородным особам к лицу, пожалуй, кое-какие странные капризы, ведь от этого они становятся еще почтенней. То, что у человека незнатного и безродного сочли бы абсурдом и нелепицей, то у них всего лишь — приятный каприз необыкновенного ума, вызывающий изумление и восхищение. Господину Крейслеру, конечно, следовало бы обуздывать свои капризы, но, впрочем, если он желает подражать принцу Гамлету, то это с его стороны можно считать прекрасным устремлением к высшему; порыв же этот в свою очередь обусловлен его преобладающей над всеми прочими склонностью к усиленным занятиям музыкой. Ему, пожалуй, следует простить, ежели он по временам склонен вести себя несколько странно.

* Бездельник (фр.).

Казалось, что маэстро Абрагам так и не выйдет нынче из княжеских покоев, ибо князь снова позвал его, когда маэстро уже приоткрыл дверь и взялся за ручку, и пожелал узнать, откуда, собственно, могла произойти удивительная антипатия принцессы Гедвиги к Крейслеру? Маэстро Абрагам рассказал о том, как Крейслер в первый раз явился принцессе и Юлии в парке Зигхартсгофа, и выдвинул гипотезу, что возбужденное состояние, в котором тогда находился капельмейстер, быть может, могло произвести неприятное впечатление на столь нежную и столь нервическую особу, как сиятельная барышня.

Князь несколько аффектированно дал понять, что, как он надеется, господин фон Крейслер все же не явился в Зигхартсгоф пешком, но что его экипаж задержался где-нибудь в одной из широких аллей парка, ибо только презренные авантюристы имеют обыкновение странствовать пешим образом.

Маэстро Абрагам возразил, что, правда, у нас перед глазами есть пример некоего храброго офицера, который пробежался от Лейпцига до Сиракуз¹¹, ни разу не сменив подметок, что же касается господина Крейслера, то он вполне убежден, что экипаж его, несомненно, оставался где-то в парке. — Князь был вполне удовлетворен этим разъяснением.

В то время как все это происходило в покоях князя, Иоганнес сидел у советницы Бенцон за прелестнейшим из роялей, когда-либо созданных преискусной Нанеттой Штрейхер¹², и аккомпанировал Юлии, исполнявшей большой страстный речитатив Клитемнестры¹³ из «Ифигении в Авлиде» Глюка.

Биограф Крейслера, к великому сожалению, вынужден изображать своего героя, ради того чтобы портрет его был верен, человеком экстравагантным, преимущественно по части всего того, что касается музыкальных восторгов, человеком, который спокойному наблюдателю даже может показаться почти сумасшедшим. Он, т. е. биограф, был уже вынужден дословно передать тот нелепый оборот, что, «когда Юлия пела, вся страстная боль любви, все восторги сладостных грез, упований, желаний, надежд — колыхались, проплывая над вершинами леса и живительной росой ниспадая в цветочные венчики, в грудь чутко внемлющих соловьев». А посему суждения Крейслера о пении Юлии, думается, лишены какой бы то ни было ценности. Однако же упомянутый биограф может при случае заверить благосклонного читателя, что пение Юлии, которого он, к величайшему сожалению, никогда не слышал, заключало в себе нечто таинственное, нечто совершенно волшебное. Необычайно солидные люди, которые лишь недавно дали отрезать себе косу, солиднейшие юристы, эскулапы и гурманы, которые, досконально разобравшись в хитросплетениях какого-нибудь путаного процесса, насладившись изучением какой-нибудь зловещей хвори или отведав страсбургского паштета, могли общаться с Глюком, Моцартом, Бетховеном, Спонтини, причем такого рода общение никогда не выводило их из душевного равновесия, так вот именно эти люди упорно уверяют, что, когда им пела мадмуазель Юлия

Бенцон, им всегда становилось как-то не по себе, они даже и вовсе не могут выразить, что именно они при этом испытывали. Какая-то тоска, которая вызывала в душе неопишное наслаждение, всецело овладевала ими, заставляла их, как только наступал этот миг, совершать необыкновенные глупости и вообще вести себя, подобно юным фантазерам и версификаторам! Следует далее упомянуть и о том, что однажды, когда Юлия пела при дворе, князь Ириней явственно вздыхал, и, когда пение было окончено, подошел прямо к Юлии, прижал ее руку к своим губам и при этом весьма плаксиво произнес: «Милая мадмуазель!» Гофмаршал осмелился заметить, что князь Ириней и впрямь поцеловал руку маленькой Юлии, и при этом из очей его выкатилось несколько слез. По желанию обергофмейстерины, однако, это замечание, как неприличествующее сану князя и противоречащее благу двора, было решительно опровергнуто.

Юлия, обладавшая полновзвучным звонким, серебристым, чистым, как колокольчик, голосом, пела с воодушевлением, которое как бы изливалось из глубочайших недр ее души, и, пожалуй, именно в этом и заключалось необыкновенное и непреоборимое чудо, которое она сотворила нынче. У каждого слушателя захватывало дух, когда она пела, — каждый чувствовал, что грудь его стесняет некая сладкая неизъяснимая грусть, лишь несколько мгновений спустя, после того как она окончила, восторг слушателей провалился — это была истинная лавина громогласных похвал и комплиментов. Только Крейслер сидел за роялем, немой и недвижимый, откинувшись в кресле; затем он тихо и медленно поднялся, Юлия обратила к нему взор, явственно вопрошавший: «Это и впрямь было так хорошо?» Однако она, краснея, потупилась, когда Крейслер, положив руку на сердце, дрожащим голосом прошептал: «Юлия!» — и потом, склонив голову, скорее выскользнул, чем вышел, из тесного кружка милейших дам, суевившихся у рояля.

Не без труда советница Бенцон заставила принцессу Гедвигу появиться на званом вечере, где ей непременно предстояло встретиться с капельмейстером Крейслером. Принцесса Гедвига сдалась и подчинилась лишь тогда, когда советница весьма серьезно доказала ей, какое это ребячество стремиться избегать человека потому только, что он не принадлежит к числу тех, которые похожи друг на друга, как монеты одного достоинства, отчеканенные на одном и том же монетном дворе, если даже человеку этому порой и присущи известные странности, вполне забавные, конечно. К тому же Крейслер также нашел доступ к князю, и поэтому совершенно невозможно было проявлять такое своеобразие по отношению к господину капельмейстеру.

Принцесса Гедвига весь вечер так ловко маневрировала, избегая капельмейстера, что, хотя Крейслеру, беспечному и уступчивому, действительно хотелось помириться с ней, он, несмотря на все старания, никак не мог приблизиться к ней. Всем его ухищрениям она противопоставляла еще более хитрую тактику. Тем больше поразило советницу Бенцон, которая за всем этим тщательно следила, что принцесса, внезапно вырвав-

шись из круга дам, устремилась прямо к капельмейстеру. Однако же Крейслер настолько углубился в свои раздумья, что лишь настоящий вопрос принцессы, неужели же ему нечего сказать о блистательном успехе Юлии, — только этот вопрос принцессы дошел, наконец, до его сознания, развеив пелену видений.

— Ваша светлость, — возразил Крейслер тоном, выдававшим его внутреннее волнение. — Ваша светлость, согласно авторитетному мнению именитейших авторов, блаженные обходятся без слов — одними только помыслами и взглядом. Я был, как полагаю, в полях блаженных!

— Стало быть, — смеясь возразила принцесса, — наша Юлия — ангел света, ибо она сумела отверзнуть перед вами врата Эдема, причем теперь я попрошу вас на несколько мгновений спуститься с небес на грешную землю и благосклонно выслушать меня, дитя земли!

Принцесса запнулась, как бы ожидая, что Крейслер скажет что-нибудь еще. Но так как он глядел на нее молча и глаза его сияли, она потупилась и быстро обернулась, так что легко наброшенная ей на плечи шаль соскользнула с плеч. Крейслер на лету подхватил ее. Принцесса остановилась. «Давайте, — сказала она неуверенным тоном, голос ее прерывался, как будто ей нелегко было высказать то, на что она уже внутренне решила, — давайте будем вполне прозаически беседовать о поэтических предметах. Я знаю, что вы даете Юлии уроки пения, и я охотно признаю, что, с тех пор как она занимается с вами, ее голос и дикция необычайно выиграли. Это дает мне надежду, что вы способны возвысить даже и посредственное дарование, подобное моему. Я полагаю, что...»

Тут принцесса мучительно покраснела и запнулась, Бенцон подошла к ним и стала уверять, что принцесса несправедливо судит о себе самой, называя свой музыкальный талант посредственным, ибо она прекрасно играет на фортепьяно и очень выразительно поет.

Крейслер, которому принцесса в ее смущении вдруг показалась необычайно милой, наговорил ей великое множество комплиментов и кончил тем, что он будет совершенно счастливым, если принцесса даст ему возможность помогать ей советом и делом в изучении музыки.

Принцесса слушала капельмейстера с явным удовольствием, и, когда он окончил и взгляд Бенцон укорил ее в странном страхе перед столь любезным человеком, она сама вполголоса заговорила: «Да, да, Бенцон, вы правы, я и в самом деле нередко бываю совершеннейшим ребенком!» В то же мгновение она, не глядя, протянула руку за шалью, которую капельмейстер все еще держал в руках и которую он ей теперь наконец отдал. Крейслер, собственно, не знал, как случилось, что он при этом притронулся к руке принцессы. Но сильные удары ее пульса прошли по всем его нервам, и ему вдруг показалось, что он лишается чувств.

Подобно лучу света, прорывающемуся сквозь темные тучи, прозвучал для Крейслера голос Юлии. «Я должна, — сказала она, — я должна еще что-нибудь спеть, милый Крейслер, меня не отпускают. Я хотела бы, пожалуй, попробовать тот прелестный, красивый дуэт, который вы принесли

мне в последний раз!» — «Вы не вправе отказать в этом, — вмешалась Бенцон. — Вы не вправе отказывать в этом моей Юлии, милый капельмейстер, садитесь за рояль!»

Крейслер, который был не в силах произнести ни слова, сел за рояль, взял первые аккорды дуэта, как будто захваченный и оглушенный неким странным чувством, Юлия начала: «Ah che mi manca l'anima in si fatal momento...» *. Следует сказать, что слова этого дуэта, составленные в обычной итальянской манере, описывали попросту расставание любящих и что с «momento» рифмовались «sento» и «tormento»; что, так же как и в сотне других дуэтов подобного рода, не ощущалось недостатка ни в «Abbi pietade, o cielo» **, ни в «pena di morir» ***. Однако Крейслер положил эти слова на музыку в миг высочайшего душевного восторга, и он сделал это с таким пылом, что при исполнении этого дуэта всякий, кого небеса наделили сносным слухом, должен был непременно увлечься. Сочинение это далеко превосходило самые страстные дуэты подобного рода, и так как Крейслер стремился только к высочайшему выражению этого мига, к величайшей выразительности, а вовсе не к тому, чтобы певиде было совершенно приятно и удобно петь, то в интонационном смысле дуэт этот звучал вначале несколько тяжеловато. Поэтому Юлия начала робко, почти неуверенно, и Крейслер также вступил не лучшим образом. Вскоре, однако, голоса их устремились в мерцающую высь на волнах напева, будто блаженные белокрылые лебеди, то возносящиеся к облакам, то замирающие в сладостном любовном объятии, нисходя к стремительному потоку аккордов, пока глубокие вздохи не возвестили приближение гибели, и пока последнее «Addio» возгласом дикой боли не вырвалось, словно кровавый фонтан, хлынувший из растерзанной груди.

Во всем кружке не было никого, кого бы не захватил глубоко этот дуэт, — у многих на глазах сверкали светлые слезы, что же до Бенцон, то она уверяла, что даже в театре во время какой-нибудь искусно представленной сцены прощания, она ничего подобного не испытывала. Юлию и капельмейстера осыпали комплиментами, говорили об истинном вдохновении, которое снизошло на них, и восхваляли исполненное сочинение, пожалуй даже больше, чем оно того заслуживало.

Во время пения, кажется, было все же замечено внутреннее волнение принцессы Гедвиги, несмотря на то что она старалась казаться спокойной и даже вообще пыталась скрыть свое внимание к происходящему. Рядом с ней сидела молоденькая придворная дама, краснощекая, равно расположенная и рыдать и смеяться; принцесса Гедвига что-то говорила ей, но, впрочем, ей не удалось получить от фрейлины какого-либо другого ответа, кроме отрывочных слов, произнесенных в страхе перед придворными приличиями. Однако и Бенцон, сидевшей с другой стороны, принцесса

* Ах, как я теряюсь в этот роковой миг (ит.).

** Смилуйся, небо (ит.).

*** Кара смерти (ит.).

шептала все те же безразличные вещи, как будто она вовсе не слушает дуэта; Бенцон же со свойственной ей строгостью попросила ее милостивую светлость воздержаться от дальнейшей беседы впредь до окончания дуэта. Теперь, однако, принцесса заговорила иначе, все лицо ее запылало, глаза сверкали, голос ее звучал так громко, что заглушил комплименты всех присутствующих. «Да будет также и мне теперь позволено высказать свое мнение. Я признаю, что дуэт как сочинение представляет собой известную ценность, что моя Юлия великолепно пела, но правильно ли, верно ли, что в уютном кружке, где превыше всего следует ставить радушие и развлечение, где музыка и речь должны струиться, как сладко журчащий ручей среди цветочных клумб, правильно ли, что нам тут исполняют столь экстравагантные мелодии? Они ведь так терзают душу, впечатление от них настолько сильно, что нам лишь с величайшим трудом удается его развеять? Я старалась не слушать, старалась не впускать в грудь свою дикую боль преисподней, которую Крейслер со свойственной ему иронией, легко уязвляющей нашу чуткую душу, воплотил в звуках, но никто не разделял моего страха. Я охотно выставляю напоказ свои слабости, чтобы вы, как обычно, посмеялись над ними, господин капельмейстер, я охотно признаю, что неприятное впечатление, произведенное вашим дуэтом, сделало меня совершенно больной. Но неужели же не было Чимарозы или Паэзиелло, чьи сочинения писаны именно для увеселения общества?»

— О боже! — воскликнул Крейслер, причем физиономия его начала буквально вибрировать от разнообразнейшей мышечной игры, что происходило всегда, когда юмор просыпался в его душе, — о боже, милостивейшая принцесса! Насколько же, я, ничтожный капельмейстер, разделяю ваше милое, благородное мнение! Разве это не идет против всех и всяческих распоряжений по части нравственности и платьев, когда душу свою, полную восторга, исполненную боли и печали, мы склонны нести в общество не иначе, нежели надежно закутанной в пышную шаль великосветской учтивости и условного этикета? Неужели же все пожарные команды пресловутого хорошего тона не в силах погасить всепожирающее пламя, которое то здесь, то там хочет вырваться наружу? И хотя туда, в огонь, подливают еще пропасть чаю, великое множество сахарной водички, уйму вежливых разговоров и целую кучу приятнейших пустяков и прочего тра-ля-ля, все-таки то тому, то другому кощунственному поджигателю удается метнуть зажигательную ракету — ракету Конгрива — в душу, и вот оттуда вздымается непокорное пламя и — вот те на! — оно светит и даже жжет, чего с неподдельным лунным светом никогда не случается.

О, да! Всемиловейшая принцесса! О, да! я — жалчайший и самый несчастный из всех капельмейстеров, я совершил позорное кощунство, исполнив ужасающий дуэт, который, как адский фейерверк со всяческого рода световыми шарами, хвостатыми ракетами, шутихами и пушечными выстрелами, проехался по всей гостиной и, с сожалением замечаю это,

почти везде совершил поджог! Эй! Пожар! Пожар! Караул! Горим! Пожарные трубы сюда! Воды, воды, воды, на помощь! Спасите!

Крейслер бросился к ящику с нотами, вытащил его из-под рояля, открыл его, стал рыться в нотах, извлек из них одну партитуру — это была «Molinara» * Паэзиелло, сел за инструмент и начал ритуфель знаменитой прелестной ариетты: «La Rachelina molinarina» **, с которой по-является мельничиха.

— Но милый Крейслер! — воскликнула Юлия в испуге.

Но Крейслер упал перед Юлией на колени и стал умолять: «Дражайшая, благороднейшая Юлия! Сжальтесь над высокочтимым обществом, пролейте утешение в безнадежные души, спойте «La Rachelina». Если вы не сделаете этого, то мне не останется ничего другого, кроме того, чтобы здесь, на ваших глазах, низвергнуться в бездну отчаяния, на краю коей я уже обретаюсь, и вы напрасно удерживаете безвозвратно погибшего *maître de la chapelle* за фалды фрака, добродушно призывая: «Останься с нами, о Иоганнес!» Он, капельмейстер, по сути дела давно уже низвергся в преисподнюю и вот-вот закружится над берегом Ахерона в демоническом танце с шаялями, совершая изящнейшие прыжки: так посему — спойте же, драгоценнейшая!»

Юлия повиновалась, хотя и с некоторым неудовольствием, ей было неприятно, что Крейслер умолял ее запеть.

Как только Ариетта окончилась, Крейслер тотчас же начал известный комический дуэт нотариуса и мельничихи.

Пение Юлии в смысле голоса и методы всецело носило серьезный, патетический характер. Однако, несмотря на это, шаловливое настроение ее проявлялось, когда она воспроизводила забавные комические вещицы, и это выходило прелестно и грациозно. Крейслер приучил себя к своеобразному, несколько странному, но непреодолимо увлекательному исполнению итальянских *buffi* ***, нынче он даже почти утрировал их манеру, ибо голос Крейслера казался иным, когда он к высочайшей драматической выразительности добавлял тысячи нюансов, при этом он корчил такие невообразимые рожи, которые и самого Катона могли бы заставить расхохотаться.

И, конечно же, все зашумели и раскатисто захохотали.

Крейслер в восторге поцеловал Юлию руку, которую она у него по совершеннейшему малодушию тут же отняла. «Ах, — сказала Юлия, — ах, капельмейстер, я никак не могу привыкнуть к вашим странным капризам, причудами я не хотела бы их называть, я не могу совладать с ними! Эти сальто-мортале из одной крайности в другую разрывают мне грудь! Я прошу вас, милый Крейслер, не требуйте от меня больше, чтобы я, глубоко потрясенная, когда еще слезы искренней печали отзываются в моей груди, пела комическое, хотя бы все это и было так изящно и кра-

* Мельничиха ¹⁴ (ит.).

** Ракелина-мельничиха (ит.).

*** Певцов-комиков, буффионов (ит.).

сиво. Я знаю это — я совладаю с этим, я исполню это, но после этого я делаюсь совершенно разбитой, усталой и больной. Не требуйте этого от меня больше! Не правда ли, вы обещаете мне это, милый Крейслер?»

Капельмейстер хотел ответить, однако в это самое мгновение принцесса обняла Юлию, смеясь громче и безудержней, чем это какая-либо обергофмейстерина могла бы счесть приличным или что сия обергофмейстерина сочла бы возможным взять на свою совесть.

— Приди на грудь мою, — воскликнула она, — ты, милейшая из всех мельничих, самая голосистая, самая капризная! Ты дурачишь всех баронов, всех чиновников, всех нотариусов Вселенной, и, пожалуй, еще даже... Прочее, что она еще хотела сказать, заглушил ее раскатистый хохот.

И затем, поспешно обернувшись к капельмейстеру: «Вы меня совершенно примирили с собой, милый Крейслер! Это прекрасно, в самом деле — прекрасно! Только в разладе, в противоборстве разнообразнейших впечатлений, разноречивейших чувств возникает высшая жизнь! Благодарю вас, от души благодарю и разрешаю вам поцеловать мою руку!»

Крейслер схватил протянутую ему руку, и снова, хотя и не столь сильно, как прежде, его пронзили удары пульса, так что одно мгновение он вынужден был помедлить, прежде чем прижать, наконец, к губам нежные пальцы, с которых была снята перчатка, затем он поклонился с такой учтивостью, как будто он еще и теперь по-прежнему оставался советником посольства. Он и сам не знал, как это произошло, но почему-то это физическое ощущение, возникшее в нем, когда он прикоснулся к пальцам принцессы, — вдруг показалось ему чрезвычайно забавным. «В конце концов, — сказал он самому себе, когда принцесса покинула его, — в конце концов ее светлость есть не что иное, как лейденская банка, она валит с ног порядочных людей, сражает их электрическими разрядами, чуть ли не наповал, одним словом, как уж их светлости заблагорассудится!»

Принцесса, вприпрыжку бегала по залу, смеялась, напевала «La Rachelina molinarina» и прижимала к сердцу и целовала то ту, то другую даму, уверяя, что никогда еще в ее жизни ей не было так весело и что этим она обязана премилому капельмейстеру. Серьезной и чопорной Бенцон все это претило до чрезвычайности, и она не могла удержаться, чтобы в конце концов не увлечь принцессу в сторону и не шепнуть ей на ухо: «Гедвига, умоляю вас, что за поведение!»

— Я полагаю, — возразила принцесса, сверкая глазами, — я полагаю, любезная Бенцон, мы не станем нынче выражаться тоном обергофмейстерины и отправимся спать! Да! в постель — в постель! Спать пора! — После этого она попросила позвать ее карету.

Если принцесса вся была судорожная веселость, то Юлия, напротив, затихла и погрузилась в грусть. Подпирая голову рукой, она сидела у рояля, явственная бледность, затуманенный взор свидетельствовали, что ее неудовольствие дошло до такой степени, что причиняет ей чуть ли не физическую боль.

Впрочем, искрометные бриллианты крейслеровского юмора также отсверкали. Избегая всяких разговоров, капельмейстер тихонько пробиравался к дверям. Бенцон загородила ему дорогу. «Я не знаю, — сказала она, — что за странная хандра вынуждает меня нынче. . .



(Мурр пр.): . . . все было таким знакомым, таким уютным, таким родным, сладчайший аромат — ах, я и сам не ведаю, какого изумительного жаркого, — синеватыми тучками вздымался над крышами, туда, туда — ввысь; и как будто бы из какой-то дальней, дальней дали, в шелестах и стенаниях вечернего ветра шептали какие-то кроткие голоса: «Мурр, возлюбленный мой котик Мурр, куда это ты запропастился?»

Почто в груди моей стесненной
Вновь ожила блаженства дрожь;
Иль, с небожителями схож,
Взмывает ввысь мой дух плененный?
О, сердце, — в упованья миг
Вступаю на неслышных лапах!
Былая боль скорбей моих
Исчезла! Счастья я достиг:
Я чую жареного запах!

Так я пел и, невзирая на отчаянный шум пожара, погружался в прелестьнейшие грезы. Но, увы, и здесь, на крыше, меня по-прежнему преследовали ужасающие проявления донельзя причудливой светской жизни, той самой, в которую я так внезапно впрыгнул. Ибо, прежде чем я успел оглянуться, из ближайшего дымохода вылезло одно из тех удивительных чудовищ, которых люди именуют трубочистами. Едва заметив меня, этот чумазый прощельга завопил:

— Кошка, брысь! — и швырнул в меня свою метелку. Увернувшись от метелки, я перепрыгнул на соседнюю крышу и попал в водосточный желоб. Но кто опишет мое веселое удивление, более того, мой радостный испуг, когда я уразумел, что нахожусь на крыше дома моего дорогого хозяина. Проворно карабкался я от одного слухового окна к другому, но все они были заперты. Я заголосил, но напрасно, никто меня не услышал. А между тем клубы дыма с пылающего дома уже поднялись высоко, водяные струи шипели в этих клубах, тысячи голосов вопили, смешиваясь; пожар становился все более устрашающим. Внезапно слуховое окно отворилось, и из него выглянул мой маэстро Абрагам в своем желтом шлафроке. «Мурр, милый мой котик Мурр, вот, стало быть, где ты, иди сюда, иди сюда, серенький!» — так радостно воскликнул маэстро, увидев меня. Я не преминул всеми теми средствами, которые были в моем распоряжении, выразить ему свою радость: это был чудесный, великолепный миг встречи, мгновение истинного торжества.

Маэстро стал гладить меня, когда я прыгнул к нему на чердак, так что я от истинного наслаждения стал издавать те нежные, сладостные

звуки, которые люди насмешливо обозначают словом «мурлыкание». — «Ха, ха, — посмеиваясь, сказал маэстро, — ха-ха, мальчик мой, тебе хорошо, так как ты возвратился, должно быть, из дальних странствий, на родину, ты не сознаешь опасности, в которой мы все находимся. Я почти хотел бы быть, как ты, счастливым, простодушным котом, которому нет никакого дела до пожара и до всех брандмейстеров и у которого не может сгореть никакое движимое имущество, поскольку единственная движимость, коей располагает его бессмертная душа, это — он сам».

С этими словами мой маэстро взял меня на руки и спустился вниз, в свою комнату.

Едва мы вошли в нее, как вслед за нами ворвался профессор Лотарио, а вслед за ним еще двое.

— Я прошу вас, — вскричал профессор, — я прошу вас, ради всего святого, маэстро. Вы в чрезвычайной опасности, огонь лижет уже вашу крышу. Позвольте нам вынести ваши вещи.

Маэстро объявил очень сухо, что в подобной опасности чрезмерное рвение друзей может оказаться гораздо более пагубным, чем самая опасность, так как то, что избегает огня, обыкновенно летит в тартарары, хотя и более деликатным образом. Он сам в былые времена, спасая на пожаре вещи одного приятеля, в порыве благодетельного энтузиазма вышвырнул в окошко весьма красивый и ценный китайский сервиз, для того чтобы он, чего доброго, не сгорел! Если же они спокойно уложат в чемодан три ночных колпака, пару серых сюртуков и еще кое-что из платья, среди коего следует особо бережно отнестись к шелковым штанам, а также кое-какое белье; а книги и рукописи упакуют в корзины, машины же его и аппараты пусть и пальцем не тронут, тогда он на это охотно согласится. Ну а если пламя охватит и крышу, то он также уберется отсюда вместе со всем своим движимым имуществом.

— Но прежде, однако, — заключил он, — прежде, однако, разрешите мне пищей и питьем подкрепить и освежить моего сотоварища и соседа по комнате, который только что вернулся домой после долгих скитаний и очень устал и измучен, а затем вы можете распоряжаться здесь по своему усмотрению!

Все очень смеялись, ибо знали, что мой маэстро имеет в виду не кого иного, как меня.

Я с аппетитом поел, и прекрасная надежда, которую я высказал на крыше в звуках, сладостных и исполненных жажды и томления, буквально исполнилась.

Когда я подкрепился, маэстро посадил меня в корзинку: рядом со мной, ибо для этого оставалось место, он поставил маленькую мисочку с молоком и тщательно прикрыл корзинку.

— В этом темном помещении, мой котик, — сказал маэстро, — спокойно дождайся того, что с нами будет. Для развлечения же лакай свой любимый напиток! Если ты, однако, станешь скакать или метаться по комнате, тебе отдавят хвост или лапы в переполохе спасения, а когда нужно будет

бежать, я сам заберу тебя, чтобы ты опять не заблудился, как это недавно случилось. Вы не поверите, милостивые государи мои и спасители в беде, до чего необыкновенный, премудрый кот — этот вот самый серенький сударик в корзинке. Естествоиспытатели, придерживающиеся теории Галля¹⁵, утверждают, что коты, обладающие кое-каким воспитанием и образованием, отличаются, кроме того, замечательнейшими добродетелями, как, например: жадой убийства, явной злодейской жилкой, отчаянным шельмовством и тому подобным. Но тем не менее начисто лишены чувства ориентации, так что, однажды заблудившись, они уже никогда не отыщут дороги домой. Однако мой добрый Мурр являет собою похвальное исключение. Несколько дней он отсутствовал, и я вполне искренне был озабочен его исчезновением, впрочем, нынче он вернулся, воспользовавшись, как я могу предположить, в качестве удобной дороги крышами. Уважаемый котик доказал не только мудрость свою и рассудительность, но также и вернейшую привязанность к своему хозяину, за что я его люблю теперь еще больше, чем прежде.

Меня чрезвычайно обрадовали похвалы и комплименты моего хозяина. Не без внутреннего удовлетворения я согласился с мыслью о превосходстве над всеми своими сородичами, над прочими заблуждающимися котами, лишенными чувства ориентировки в пространстве, и дивился тому, что прежде сам не замечал необыкновенности моего разума. Правда, я помнил о том, что, собственно говоря, на истинный путь меня вывел юный пудель Понто, а удар метелки, которым меня наградил трубочист, привел меня на надлежащую крышу, но, невзирая на это, я считал, что не должен несколько сомневаться в моей проницательности и в справедливости похвалы, провозглашенной моим маэстро. Как сказано, я ощущал свою внутреннюю мощь, и чувство это было для меня установлением истины. Остается фактом, что незаслуженные похвалы намного больше радуют, чем заслуженные, и что восхваляемый гордится ими куда больше, чем заслуженными. Это, впрочем, верно лишь применительно к людям. Нас, мудрых котов, такого рода глупости несколько не занимают, и я вполне убежден, что нашел бы, пожалуй, и без Понто и без трубочиста дорогу домой и что оба они даже нарушили и направили в ошибочную сторону естественный ход моих мыслей. Крохи же житейской мудрости, которыми так гордился юный Понто, я, должно быть, также обрел бы каким-нибудь иным способом, хотя разнообразные приключения, которые я испытал с любезным пуделем, с моим «*aimable roué*»*, подсказали мне превосходные темы для дружеских писем, в форму которых я облек бы мои путевые записи. Письма эти могли бы с успехом быть обнародованы во всех элегантных и свободомыслящих журналах, ибо я остроумно и проницательно изобразил бы в них там замечательнейшие черты моего характера, что, собственно говоря, более всего занимает читателей. Но я уже знаю, господа редакторы и издатели непременно осведомятся: «А кто он, собственно, такой этот Мурр?» и когда узнают, что я — кот,

* Любезным бездельником (фр.).

хотя и замечательнейший на всем белом свете, скажут с презрением: «Кот, а хочет сочинять!» И если бы я даже обладал юмором Лихтенберга и глубокомыслием Гаманна — о них обоих я слышал немало хорошего: они как будто недурно писали для людей, но померли, что для всякого писателя и поэта, который жаждет жить, есть штука пренеприятная — итак, я повторяю, хотя бы я обладал юмором Лихтенберга и глубокомыслием Гаманна¹⁶, рукопись мою раскрыли бы лишь затем, чтобы подивиться, как это я могу так остроумно писать коготками своими?! Подобное положение вещей удручает меня! О, предрассудок, предрассудок, вопиющий к небу о мщении — предрассудок, сколь же глубоко корнишься ты в людях, а особенно в тех, которые именуют себя издателями!

Профессор, а также и те, которые пришли с ним, подняли страшный шум, который, по моему мнению, был абсолютно излишен при упаковке спальных колпаков и серых сюртуков. Вдруг чей-то глухой голос за дверьми произнес: «Дом горит!» — «Ха! Ха!» — сказал маэстро Абрагам, — без меня там не обойдется! Спокойно оставайтесь здесь, господа! Если опасность и в самом деле близка, то я вернусь и мы вынесем вещи», — с этими словами он поспешно вышел из комнаты.

Я в моей корзинке перепугался не на шутку. Дикая шум и визг, дым, проникавший теперь уже и в комнату, — это чрезвычайно увеличивало мою тревогу. Мне приходили в голову всяческие черные мысли: а вдруг маэстро забудет обо мне и я жалчайшим образом погибну в пламени? Я ощущал — безусловно от ужасающего страха — особенно неприятное сжатие в животике. — «О! — подумалось мне, — что если криводушный мой маэстро, завидуя моим глубоким знаниям и тщась себя избавить от забот, решил меня коварно сжечь со света? Затем-то он, видать, меня и запер в корзинке этой! Вдруг сие питье — невинно-белое — есть гнусный яд, отравы, приготовленная им с искусством хитроумным, чтоб меня, безвинного, убрать с пути земного? — Великолепный Мурр, даже в смертельной тревоге ты оперируешь ямбами, не забывая ничего из того, что вычитал некогда у Шекспира и у Шлегеля!»¹⁷

В этот миг маэстро Абрагам приоткрыл дверь и, просунув голову, возгласил: «Опасность миновала, господа! Садитесь спокойно за стол и осушите те несколько бутылок вина, которые я обнаружил в стенном шкафу! Я отправлюсь еще ненадолго на крышу, чтобы полить ее водой. Но стойте! Сперва я должен взглянуть, что подельывает мой уважаемый котик».

Маэстро вошел в комнату, поднял крышку корзинки, в которой я сидел, любезно заговорил со мной, осведомляясь о моем самочувствии, спросил, не хотел ли бы я еще скушать жареную птичку, на что я ответил многократным нежным мяуканьем, лениво потягиваясь, что мой маэстро правильно счел условным знаком того, что я сыт и желаю остаться в корзинке, почему он вновь прикрыл меня крышкой.

Теперь я убедился в его доброте и доброжелательности, в искренних чувствах, которые питал ко мне маэстро Абрагам. Я должен был усты-

даться своих низменных подозрений, если бы существу разумному вообще подобало стыдиться! В конце концов, подумал я, быть может, именно этот животный страх, вся эта подозрительность, вечно предполагающая все самое-самое худшее, были не чем иным, как поэтическими грезами, нередко свойственными юным, гениальным энтузиастам; более того, а что, если они необходимы им почти так же, как одуряющий опиум? Эти мысли совершенно успокоили меня.

Едва лишь маэстро покинул комнату, профессор, как я мог заметить сквозь узенькую щель меж прутьев, взглянул недоверчиво на корзинку и кивнул другим людям, как будто хотел им сообщить нечто важное. Потом он заговорил таким тихим голосом, что я не понял бы ни словечка, если бы небо не одарило мои заостренные уши необыкновенно чутким слухом: «Знаете ли вы, что бы мне хотелось сейчас совершить? Знаете ли вы, что я хотел бы сейчас подойти к корзинке, открыть ее и вонзить вот этот самый острый нож в горло проклятому коту, который сидит в ней и в это мгновение, быть может, смеется над нами всеми в своей дерзкой самоуверенности?»

— Что вам взбредает в голову, Лотарио? — воскликнул кто-то. — Вы хотели бы умертвить красивейшего кота, любимца нашего достойного маэстро? И почему вы говорите так тихо?

Профессор тем же приглушенным голосом объяснил им, что маэстро Абрагам каким-то действительно таинственным и необъяснимым образом сумел так обучить и натаскать меня, что я теперь уже пишу стихами и прозой, как это ему сообщил верный пудель Понто, и что фигляр-маэстро всенепременно воспользуется этим чудом для того, чтобы выставлять в смехотворном виде знаменитейших ученых и поэтов.

— О, — говорил Лотарио, с трудом подавляя ярость, — я уже вижу, как маэстро Абрагам, который уже и так всецело втерся в доверие к светлейшему князю, с помощью несчастного кота присвоит себе все, что только захочет. Эта проклятая тварь украсится титулом *magister legens**, получит степень доктора и в конце концов в качестве профессора эстетики станет читать лекции об Эсхиле¹⁸, Корнеле¹⁹, Шекспире — о, я выхожу из себя. Кот запустит лапы в самое мое нутро, а у него преподлые когти!

Всех охватило величайшее изумление при этих словах Лотарио, профессора эстетики. Кто-то считал невозможным, чтобы кот выучился читать и писать, поскольку эти элементарные познания помимо пунктуальности, на которую способен только человек, требуют также известного разума, можно было бы даже сказать известной способности отвлеченно мыслить, отнюдь не всегда встречающейся даже и у человека, венца творения, и еще гораздо менее вероятной у заурядного четвероногого.

— Дорогой мой, — прозвучал какой-то иной голос, это был некий весьма строгий господин, как я мог заключить, выглянув из своей корзинки, — дорогой мой, что вы, собственно, называете заурядным четверо-

* Магистр, после открытого диспута получивший разрешение читать лекции (лат.).

ногим? Заурядных четвероногих вообще не существует. Неоднократно предаваясь тихому самосозерцанию, я испытываю глубочайшее уважение к ослам, а также к другим полезным тварям. Я не понимаю, почему симпатичному домашнему животному, обладающему счастливыми природными способностями, нельзя было бы привить умения читать и писать, и даже — почему бы такое животное не могло бы стать ученым и поэтом? Разве это было бы таким уж беспримерным фактом? Я не хочу даже упоминать о «Тысяче и одной ночи», как наилучшем историческом источнике, обладающем несомненной прагматической достоверностью, но только напомню вам, драгоценнейший мой, Кота в Сапогах, кота, исполненного благородства, необыкновенно пронизательного и обладающего к тому же глубочайшими научными познаниями.

Обрадованный этой похвалой коту, который, как мне это ясно говорил внутренний голос, непременно должен был быть моим достойным предком, я не мог удержаться, чтобы не чихнуть дважды или трижды с немалой пылкостью и горячностью. Оратор остановился, все прочие обернулись и довольно испуганно уставились на мою корзинку.

— Contentement, mon cher *, — вскричал, наконец, тот серьезный господин, который говорил последним, после чего продолжал: «Если мне память не изменяет, дорогой эстетик, вы упоминали только что о пуделе Понто. Именно он доложил вам о поэтических и научных интересах кота. Это напоминает мне историю прославленного еще Сервантесом превосходного пса Берганцы, последние приключения которого описывает новая, необычайно занятная книга!²⁰ Именно этот пес являл собой убедительный пример наличия у животных немалых природных способностей, а также и того, что четвероногим явно присуща восприимчивость к наукам.

— Но, мой дражайший друг, — вмешался другой, — какие ты, собственно, приводишь примеры? О псе Берганце упоминает Сервантес, который был, как известно, сочинителем романов, а история про Кота в Сапогах — это детская сказка, правда столь живо представленная нам господином Тиком, что, пожалуй, можно было бы сдуру и впрямь поверить ей. Итак, вы привлекаете двух поэтов, как будто это серьезные естествоиспытатели и психологи. Поэты, однако, не имеют ничего общего с ними, ибо являются законченными фантастами, плодящими и провозглашающими одни только вымыслы и глупости. Скажите же, как такой неглупый человек, как вы, способен ссылаться на поэтов, чтобы доказать истинность того, что противоречит здравому смыслу и разуму? Лотарио, конечно, профессор эстетики и, как таковой, имеет право иногда несколько перегибать палку, но вы...

— Постойте! — возразил серьезный собеседник. — Не горячись, дорогой, не горячись, мой милый. Не следует забывать, что, когда речь идет о предметах недостоверных, мы вправе ссылаться на поэтов, ибо обычные историки ни черта в этом не смыслят. Однако, если даже то, что яв-

* Будьте здоровы, дорогой! (фр.).

ляется чудом, возможно заключить в какие-то грани и представить в формах чисто научных, то все равно доказательства, требующие каких-либо уточнений и дефиниций, предпочтительнее черпать из прославленных поэтов, на слова которых можно положиться. Я приведу вам — и вы этим, пожалуй, удовлетворитесь, будучи сами ученым врачом, — повторяю, итак, я приведу вам пример знаменитого врача, который в своем ученом рассуждении о животном магнетизме хотел непременно выявить наши связи с мировым духом, доказать существование чудесной интуиции, и ради этого ссылается на Шиллера, вложившего в уста Валленштейна всем известные слова: «Есть в жизни человеческой мгновенья...» и далее — «Вещанья существуют несомненно»²¹ и еще что-то в этом роде. Впрочем, вы сами можете прочесть остальное в шиллеровской трагедии! — «Ха! Ха!» — засмеялся доктор. — Вы уклоняетесь от темы — переходите на магнетизм и в конце концов готовы утверждать, что помимо всех чудес он может также сыграть роль репетитора для особо понятливых котов».

— Ну и что же, — возразил серьезный собеседник, — кто знает, какое действие оказывает магнетизм на животных? Коты, заключающие в себе электрической флюид, как вы сейчас сможете убедиться...

Внезапно вспомнив свою мамочку Мину, которая горько жаловалась мне на такого рода исследования, жертвой коих она становилась, я так ужасно испугался, что громко замыкал.

— Клянусь Орком и всеми его ужасами! — воскликнул профессор, пораженный. — Чертов кот слышит нас и понимает. Нет, я не утрушусь! Этими вот руками я задушу его!

— Вы глупец, — заговорил строгий собеседник. — Вы и в самом деле — глупец, профессор. Нет, я не потерплю, чтобы коту, которого я уже успел полюбить от души, не имея еще удовольствия ближе познакомиться с ним, причинили хотя бы малейший вред. В конце концов я готов поверить, что вы завидуете ему, поскольку он пишет стихи. Этот серенький плутишка никогда не станет профессором эстетики, в этом смысле вы, Лотарио, можете быть совершенно спокойны! Разве не начертано черным по белому в старинных академических статутах, что вследствие злоупотреблений, которые имели место ранее, ни один осел не вправе стать профессором, и разве этого установления нельзя распространить также и на животных всех прочих родов и видов, не исключая котов?

— Возможно, — неохотно признал профессор, — что кот никогда не станет *magister legens* или профессором эстетики. В качестве литератора, однако, раньше или позже он всплывет в мире изящной словесности и из-за прелести новизны найдет себе издателя и читателей и выхватит у нас из-под носа солидный гонорар...

— Я не вижу ни малейшего повода, — возразил серьезный собеседник, — почему добропорядочному коту, любимцу нашего маэстро, следует закрыть путь, по которому шествует столько людей, безотносительно к их дарованиям и положению? Самая естественная мера предосторожности, которую следовало бы принять в данном случае, это заставить его остричь

свои острые когти, и это, пожалуй, единственное, что можно предпринять уже сейчас, дабы иметь уверенность в том, что он нас не исцарапает, когда станет литератором.

Все встали. Профессор потянулся за ножницами. Можно представить себе мое положение. Я решил со львиной отвагой сразиться с тем, кто намеревался опозорить меня. Первого, который решится приблизиться ко мне, я решил исцарапать так, что по гроб жизни будет помнить! Я готовился выпрыгнуть, как только откроют корзинку.

В это самое мгновение вошел маэстро Абрагам, и страх мой, который был готов уже превратиться в отчаяние, миновал. Маэстро приподнял крышку, и я, еще не придя в себя, выскочил из корзинки, как молния, и прошмыгнул мимо маэстро под печку.

— Что стряслось с Мурром? — вскричал маэстро, подозрительно оглядывая присутствующих, которые смутились и, терзаемые угрызениями совести, не решались отвечать ему.

Хотя положение мое в темнице было весьма ужасным, я ощущал, однако, глубокое удовлетворение при мысли о том, что профессор говорил о моей гипотетической карьере, так же, как, впрочем, меня очень обрадовала столь явно проявляемая им зависть. Я ощущал уже на челе своем мягкость докторского берета, видел себя уже на кафедре. Разве лекции мои не посещались бы самым ревностным образом любознательным юношеством, пламенно жаждущим познаний? Разве среди воспитанных юношей отыскался бы такой грубиян, который не исполнил бы скромную просьбу профессора — не приводить собак в аудиторию? Не все пудели питают к нам столь приятные чувства, как мой Понто, а вислоухим охотничьим собакам вообще невозможно доверять, поскольку они всегда и везде вступают в ненужную свару с наиболее образованными из моих сородичей, силой вынуждая их выражать свой гнев самым неучтивым образом, как-то: кусаньем, царапаньем, фырканьем и т. д., и т. п.

Какие роковые последствия имели бы место, если бы...

(Мак. л.): .. относилось к румяной фрейлине, которую Крейслер уже как-то видел у Бенцон.

— Сделайте мне одолжение, Нанетта, — сказала принцесса, — сойдите, пожалуйста, вниз и позаботьтесь, чтобы гвоздики в горшках снесли ко мне в павильон, — люди так обленились, что даже пальцем не шевельнут! — Фрейлина вскочила, отвесила необыкновенно церемонный поклон, а затем выпорхнула из комнаты, как птичка, перед которой отворили дверь клетку.

— Я не могу, — обратилась принцесса к Крейслеру, — не могу ничего извлечь из урока, если я не остаюсь с учителем наедине, с таким учителем, как бы воплощающим в себе отца-исповедника, чтобы ему можно было безбоязненно поведать обо всех своих прегрешениях. Вообще вам, любезный Крейслер, наш церемонный этикет покажется несколько странным, вам покажется обременительным, что я везде окружена придворными дамами, которые стерегут меня, будто королеву испанскую!

По крайней мере здесь, в нашем очаровательном Зигхартсгофе, нам следовало бы пользоваться большей свободой. Если бы князь находился в замке, я не имела бы права отослать Нанетту прочь, а ведь она во время наших музыкальных занятий ужасно скучает, томится и столь же ужасно стесняет меня. — Ну, а теперь давайте все сначала. Теперь у нас пойдет куда лучше. — Крейслер-преподаватель являл собой воплощенное терпение: он вновь начал арию, которую принцесса решила выучить наизусть, но, сколько ни старалась Гедвига и какие героические усилия ни прилагал капельмейстер, пытаюсь ей помочь, она запуталась, сбилась с такта и тона, делала ошибку за ошибкой, пока с пылающим лицом не вскочила, не бросилась к окну и не стала высматривать что-то в парке. Крейслеру вдруг отчего-то показалось, что принцесса плачет, право же, весь этот первый урок, вся эта история — все это становилось довольно-таки неприятным. Принцессу явно расстроил некий антимузыкальный дух, и Крейслера вдруг осенило — а нельзя ли изгнать его все той же музыкой, гением музыки? Поэтому он начал наигрывать всяческие приятные мелодии, варьировал общеизвестные любовные песни, развивая их такими сложными оборотами, такими контрапунктами и мелизматическими арабесками, что наконец сам стал изумляться тому, до чего же он великолепно играет на рояле, и забыл о принцессе, вместе с ее арией и со всем ее нетерпением.

— Как прекрасен Гейерштейн в лучах заходящего солнца, — проговорила принцесса, не оборачиваясь.

Крейслер как раз был занят каким-то головоломным диссонансом, а диссонанс этот, естественно, следовало разрешить, и поэтому он не смог вместе с принцессой восхититься Гейерштейном и заходящим солнцем. «Едва ли на свете есть место более прекрасное, чем наш Зигхартсгоф», — сказала Гедвига громче и настойчивее, чем прежде. И теперь Крейслеру, естественно, пришлось, предварительно взяв мощный заключительный аккорд, подойти к окну, где стояла принцесса, и учтиво вступить в беседу, повинувшись ее столь явно выраженному желанию.

— И в самом деле, — сказал капельмейстер, — и в самом деле, милостивая принцесса, парк прекрасен, и мне в особенности приятно, что все деревья одеты зеленой листвой, зеленью, каковою я вообще во всех деревьях, кустах и травах необыкновенно восхищаюсь и каковую очень почитаю, и каждую весну благодарю всевышнего, что они снова стали зелеными, а не алыми, ибо этот оттенок достоин порицания в любом пейзаже и у наилучших мастеров ландшафтной живописи, как, например, у Клода Лоррена или Берхема и даже у самого Гаккерта²², не встречается вовсе — Гаккерт, впрочем, самую малость припудривает зелень своих луговин.

Крейслер намеревался продолжать свою речь, однако, когда он в маленьком зеркальце, которое было прикреплено сбоку от окна, увидел странно преобразившееся, бледное, как смерть, лицо принцессы, онемел от ужаса, будто железными тисками сжавшего его сердце.

Наконец принцесса, не поворачиваясь и продолжая что-то высматривать за окном, трогательно и чрезвычайно грустно произнесла: «Крейслер, судьбе угодно почему-то, чтобы я везде казалась вам особой, страдающей расстройством воображения. Боюсь, что могу вам показаться слишком возбужденной и даже глупой, словно бы специально поставляющей пищу для вашего язвительного юмора. Но теперь пришла пора объяснить вам, отчего и почему. Ведь именно вы — тот человек, глядя на которого я прихожу в состояние, подобное приступу некой лихорадки. Итак, узнайте все. Откровенное признание облегчит мою душу и позволит мне переносить ваш вид, да и самое ваше присутствие. Когда я впервые увидела вас там в парке, тогда вы, да и все ваше поведение вселили в меня глубочайший ужас, я и сама не знаю почему! Но всему было виной одно воспоминание моих самых ранних детских лет, воспоминание, которое внезапно вместе со всеми своими страхами пробудилось во мне и только гораздо позднее четко оформилось в одном престранном видении. При нашем дворе находился живописец, по фамилии Этлингер, которого князь и княгиня ценили очень высоко, ибо у него и в самом деле был чудесный талант. Вы найдете в галерее великолепные полотна его кисти, на них вы увидите княгиню, Этлингер написал ее в разных обликах во всякого рода исторических композициях. Но самое прекрасное полотно, вызывающее величайшее изумление у всех знатоков, висит в кабинете князя. Это портрет княгини, когда она была в самом расцвете юности. Живописец написал этот портрет, хотя княгиня ни разу не позировала ему, с таким сходством, как будто похитил ее отражение в зеркале. Леонгард — так звали Этлингера — был человек добрый и кроткий. Со всей любовью, на которую была способна моя детская душа, ибо мне тогда, должно быть, не было еще и трех лет отроду, я к нему привязалась, мне так хотелось, чтобы он никогда не покидал меня. Впрочем, он никогда не уставал играть со мной, рисовал мне маленькие пестрые картинки, вырезал мне из бумаги всяческие фигурки. Внезапно, должно быть год спустя, он исчез. Женищина, которой было доверено мое начальное воспитание, сказала мне, плача, что господин Леонгард умер. Я была безутешна, я не хотела больше оставаться в комнате, где Леонгард играл со мной. И как только мне выдавался случай, я, ускользнув от надзора моей воспитательницы и камеристок, бегала по всему замку, громко призывая Леонгарда! Нет, я не верила, что он умер, он, верно, прячется от меня где-то в замке. Вот так и случилось, что однажды вечером, когда воспитательница моя отлучилась на миг, я выскользнула из комнаты, надеясь отыскать княгиню. Она непременно должна была сказать мне, где находится господин Леонгард, и вернуть его мне. Двери коридора были раскрыты, и таким образом я и в самом деле очутилась на главной лестнице, по которой побежала наверх, и наверху, недолго думая, влетела в первую попавшуюся комнату. И вот, когда я огляделась, оказалось, что двери, которые, как я полагала, должны были вести в покои княгини и в которые я как раз собиралась постучаться, с силой распахнулись, и в комнату вбежал человек

в изодранном платье, с всклокоченными волосами. Это был Леонгард, который дико уставился на меня пылающими глазами. Лицо его было смертельно бледно, он осунулся, щеки его ввалились, он был почти совершенно неузнаваем. «Ах, господин Леонгард, — воскликнула я. — Как ты выглядишь, почему ты такой бледный, почему у тебя такие пылающие глаза, почему ты так уставился на меня? Я боюсь тебя! О, будь же таким добрым, как прежде, — нарисуй мне снова хорошенькие пестренькие картинки!» — И тут Леонгард с диким хохотом, похожим на рыдание, набросился на меня, цепь, которая, видимо, была укреплена вокруг его тела, бряцала, волочась вслед за ним, — он упал на пол и забормотал каким-то полузадушенным голосом: «Ха-ха, маленькая принцессочка, пестренькие картинки? Да, вот теперь-то я, наконец, по-настоящему стану рисовать, рисовать — теперь я напишу тебе картину, тебе и твоей красивой маме, не правда ли — у тебя красивая мама? Но, пожалуйста, пусть она меня только снова не превращает в прежнее состояние: я больше не хочу быть жалким человечком Леонгардом Этлингером — Леонгард этот давным-давно скончался! Я — алый коршун, вот кто я, и я могу рисовать и писать, когда я наемся ярких лучей! Да, да, я умею писать, когда у меня вместо олифы и лака есть жаркая сердечная кровь, кровь сердца, и кровь твоего сердца нужна мне, о маленькая принцессочка!» С этими словами он схватил меня, рванул к себе, оголил мне шею, и мне показалось, что я вижу, как в его руке сверкнул маленький нож. Я издала пронзительный крик ужаса, на этот крик сбежались слуги и бросились на безумного. Однако тот с исполинской силой швырнул их наземь. В то же мгновение что-то вдруг застучало и загромыхало на лестнице, кто-то мчался наверх, и в комнату с громким возгласом: «Иисусе, он убежал от меня! Иисусе, какое несчастье! Погоди, погоди, исчадь ада!» — вбежал, вернее, впрыгнул здоровенный, могучий малый. Как только безумец увидел этого гренадера, как будто все силы мгновенно покинули его, и он, завывая, упал на пол. На него надели цепи, которые стражник принес с собой, и увели, причем он испускал ужасающие вопли, словно скованный дикий зверь.

Вы можете представить себе, с какой потрясающей силой должен был подействовать этот ужасный случай на четырехлетнего ребенка. Меня утешали, как могли, пытались растолковать мне, что такое сумасшествие. Конечно, я тогда не могла этого вполне понять, и все-таки какое-то глубокое, невыразимое чувство ужаса овладело всей моей душой; чувство, которое порою возвращается еще и теперь, когда я вижу сумасшедшего, да, когда я только вспоминаю об этом ужасающем состоянии, сравнимом лишь с непрестанной и страшной смертельной мукой. — Вот на этого несчастного вы и похожи, Крейслер, как будто вы братья. В особенности живо напоминает мне Леонгарда ваш взгляд, который мне часто хочется назвать странным, и вот из-за этого я, когда увидела вас впервые, и впрямь вышла из себя, да и теперь еще в вашем присутствии сходство это меня тревожит и утрашает!»

Крейслер стоял у окна, глубоко потрясенный, не в состоянии вымолвить ни слова. С незапамятных времен его терзала *idée fixe* *, что безумие подстерегает его, как хищный зверь, жаждущий жертвы, и что зверь этот его внезапно растерзает; и вот он содрогнулся от того же ужаса, которых охватил принцессу при его появлении в парке, и он стал бороться с кошмарными мыслями, что его, именно его, испугалась принцесса, что это был он, именно он сам, тот, который хотел в приступе бешенства убить принцессу.

После нескольких мгновений молчания принцесса стала продолжать: «Несчастный Леонгард втайне любил мою мать, и любовь эта, бывшая уже сама по себе безумием, проявилась в конце концов в ярости и бешенстве».

— Так, — произнес Крейслер необыкновенно мягко и кротко, как это у него получалось всегда, когда буря в груди улеглась, — так, стало быть, в душе Леонгарда не было места для любви артиста.

— Что вы этим хотите сказать, Крейслер? — спросила принцесса, мгновенно обернувшись к нему.

— Когда, — сказал Крейслер, мило улыбаясь, — когда я однажды услышал, как в одной довольно-таки забавной комедии этакий шутник-слуга обращается к музыкантам с такими словами, вполне приятными и даже ласковыми: «Вы хорошие люди, но плохие музыканты»²³, я разделил, как верховный судья, все племя человеческое на два разных разряда: один из них состоял из хороших людей, которые являются плохими музыкантами или вовсе не являются музыкантами, а другой разряд составили собственно музыканты. Но никто не должен был быть проклят, напротив, все должны были обрести блаженство, хотя, впрочем, и на разный лад, неодинаковым образом. Хорошие люди чрезвычайно легко влюбляются в чьи-нибудь прелестные глазки, они простирают руки к столь приятной им особе, на чьей физиономии и сияют, и лучатся вышеуказанные глазки, они заключают свою любимую в круги, которые, делаясь все уже и уже, в конце концов сужаются в обручальное кольцо, каковое они и надевают своей возлюбленной на пальчик, как *pars pro toto* **. Вы немного знаете латынь, милостивейшая принцесса, — в качестве *pars pro toto* говорю я, т. е. как звено цепи, на которой они и отводят взятую под любовный арест особу к себе домой в семейный острог, в темницу брачного состояния. При этом они вопяют самым немилосердным образом: «О боже!» или «О небо!» или, ежели они предаются астрономическим занятиям, «О вы, звезды!» или, если у них имеется известная склонность к языческому мировосприятию, «О боги, она моя, она, которая всех прекрасней, все мои блаженные упования исполнились и осуществились!» Производя подобного рода шум, хорошие люди пытаются подражать музыкантам, но все их попытки напрасны и тщетны, ибо с любовью этих последних,

* Навязчивая идея (фр.).

** Часть за целое (лат.).

т. е. с любовью музыкантов, все обстоит совершенно иным образом. В том-то все и дело, что с глаз вышесказанных музыкантов незримые руки внезапно срывают пелену, и они, т. е. музыканты, здесь в земной юдоли, замечают вдруг ангельский образ, который, подобно сладостной неисповедимой тайне, тихо покоился в их груди. И вот теперь чистейшим небесным пламенем, которое только светит и греет, но не уничтожает, не испепеляет, итак, чистейшим небесным пламенем вспыхивает весь восторг, все неизъяснимое небесное блаженство высшей жизни, жизни, возрастающей в душевной глубине, и тысячи чутких нитей простирает дух в жгучем порыве, и оплетает, словно сетью, ту²⁴, которую он увидел, и он увлекает ее, и он не может ее увлечь, она — его и не его, ибо вечно жаждущая тоска продолжает существовать, ибо страстное желание вечно и неутолимо! И это она сама, она сама — это великолепное, созданное для жизни предчувствие, она сама — эта мечта, излучающаяся из самой души художника, как его песня — его картина — его поэма! Ах, милостивейшая принцесса, поверьте мне и не сомневайтесь в том, что истинные музыканты, своими плотскими руками и перстами, которые произросли на руках этих, ничего иного не делают, кроме того, что вполне сносно музицируют, будь то пером, кистью или еще чем-нибудь, и в суровой действительности к подлинной возлюбленной не протягивают ничего другого, кроме своего рода духовных нитей, на которых нет ни рук, ни пальцев, тех самых пальцев, которые с надлежащей нежностью и изяществом могли бы схватить обручальное кольцо и надеть его на очаровательный пальчик возлюбленной. Посему здесь отнюдь и не следует опасаться пошлых мезальянсов, и кажется совершенно неважным, является ли возлюбленная, которая живет в душе художника, княгиней или дочкой пекаря, лишь бы только эта последняя не была окончательно гусыней. Вышеупомянутые музыканты создают, уж когда они влюбляются, вдохновленные небесами великолепные шедевры и не умирают при этом жалким образом от чохотки, и не становятся при этом безумными. Вот поэтому я и упрекаю господина Этлингера за то, что он дошел до умопомрачения и обезумел, а ведь ему следовало бы, по образу и подобию истинных музыкантов, возлюбить сиятельную княгиню безо всякого ущерба, именно так, как ему было угодно!

Чуть насмешливые нотки, прозвучавшие в речах капельмейстера, прошли мимо ушей принцессы, она не восприняла их или же их искажил в ее ушах отзвук струны, которую задел Иоганнес, струна эта в женской душе должна была быть натянутой сильнее прочих и, стало быть, должна была и звучать сильнее и громче прочих.

— Любовь артиста, — заговорила она, опустившись в кресло и как бы в раздумье подперев голову рукою, — любовь артиста! — быть так любимой! — О, это прекрасный, великолепный, небесный сон — но только сон, только тщетная мечта!

— Мне думается, — произнес Крейслер, — мне думается, что вы, милостивейшая принцесса, не слишком расположены к мечтаниям и снам, и все-таки это только лишь сны и мечтания, в сновидениях у нас и в самом

деле вырастают мотыльковые крылышки, так что мы вырываемся из самой тесной и самой прочной и нерушимой тюрьмы и подымаемся ввысь, в почти недостижимые заоблачные сферы. У всякого человека в конце концов есть врожденное стремление к полету, и я знавал серьезных и порядочных людей, которые поздно вечером налегали на шампанское как полезный и весьма пригодный к делу газ, ночью же, являя собой, так сказать, в одно и то же время воздушный шар и пассажира, получали возможность вздыматься с постели.

— Знать, что ты так любима, — повторяла принцесса еще взволнованней, чем прежде.

— И к тому же, — заговорил Крейслер, когда Гедвига смолкла, — что касается любви художника, о какой, я и старался повествовать, то вы, милостивейшая принцесса, имеете, конечно, перед глазами дурной пример г-на Леонгарда, который был музыкантом, но хотел любить, как любят хорошие люди. Вот именно на этом-то он и свихнулся, здесь-то и пошатнулся его рассудок! Однако именно поэтому я и полагаю, что г-н Леонгард вовсе не был подлинным музыкантом. Ибо эти последние носят возлюбленную ими даму в сердце своем и не желают ничего другого, кроме как петь в ее честь, сочинять для нее поэмы, живописать ее в ярчайших красках, и этих музыкантов, этих артистов с их преисполненной достоинств куртуазностью можно сравнить с галантейшими рыцарями и кавалерами, только помыслы их куда невинней, — и посему артистов наших дней можно даже предпочесть тем стародавним рыцарям и кавалерам, ибо они не ведут себя, подобно этим последним, на кровожадный лад, потому что рыцари, если им под руку не подвертывались великаны или же драконы, охотно втапывали в пыль наидостойнейших господ, дабы этими деяниями прославить избранницу!

— Нет, — воскликнула принцесса, как бы пробуждаясь ото сна, — нет, это невозможно, чтобы в груди мужчины возжегся такой чистейший пламень восторга! Чем иным является любовь мужчины, как не предательским оружием, позволяющим мужчине добиться победы, которая губит женщину, не принося счастья ему самому!

Крейслер собрался уже немало подивиться таким престранным мыслям совсем еще юной принцессы (ей было лет семнадцать, — ну, самое большее — восемнадцать), но тут раскрылась дверь, и в комнату вошел принц Игнатий.

Капельмейстер был рад закончить разговор, который он очень удачно сравнил с хитроумным дуэтом, в коем каждый голос должен сохранять верность своему своеобразному характеру. В то время как принцесса пребывала в печальном *adagio* и лишь кое-где вставляла *moderato* или какую-либо украшающую трель, он, капельмейстер, как преимущественно *buffo** и аркикомический вокалист, вставлял в паузах между

* Комический певец (ит.).

речами Гедвиги великое множество коротких нот parlando*, вследствие чего весь их разговор в целом представлял собой истинный шедевр композиторского искусства и исполнения, именно так его можно было бы назвать, и он, Крейслер, не желал бы ничего иного, кроме как послушать пение свое и принцессы в качестве меломана со стороны; иметь возможность это услышать из какой-нибудь логи или же с приличного места в первых рядах партера.

Итак, принц Игнатий вошел в комнату с разбитой чашкой в руках, плача и всхлипывая.

Здесь непременно следует сказать, что принц, хотя ему было уже больше двадцати, все еще не мог расстаться с любимыми играми детских лет. Более всего на свете он любил красивые чашки, был способен играть целыми часами, расставляя их каждый раз все в ином порядке, так что то желтенькая чашка оказывалась возле красненькой, то зелененькая около красненькой и т. д. При этом он радовался так искренне, так чистосердечно, так от всей души, будто веселое и довольное дитя.

Несчастье, по случаю которого он теперь так расстроился, состояло в том, что дерзкий мопсик неожиданно вскочил на стол и сбросил красивейшую из чашек.

Принцесса обещала позаботиться о том, чтобы милый братец получил из Парижа чайную чашку в новейшем вкусе. Принц Игнатий необыкновенно возрадовался и заулыбался. Видимо, только теперь он заметил капельмейстера. Он обратился к нему с вопросом, есть ли у господина капельмейстера тоже такое великое множество красивых чашек. Крейслер знал, что делать, ибо маэстро Абрагам научил его, как следует отвечать на этот вопрос. А именно, он заверил, что, конечно, у него нет таких красивых чашек, как у сиятельного принца, и что, более того, он совершенно не в состоянии тратить на это столько денег, сколько тратит его сиятельство.

— Вот видите, — чрезвычайно довольный, заявил Игнатий, — вот видите, я принц — и могу поэтому иметь сколько мне угодно красивых чашек, а вы этого не можете, потому что вы не принц, ибо, если я, например, бесспорный, несомненный принц, то, значит, красивые чашки... Чашки и принцы, принцы и чашки все время перемешивались во все более спутанных речах, и при этом Игнатий смеялся, и прыгал, и хлопал в ладоши в полнейшем блаженном удовольствии! Гедвига, краснея, опустила глаза, она стыдилась брата-полудиота, и хотя без всякого основания, впрочем, страшилась издевок со стороны Крейслера. Однако при его тогдашнем настроении полнейшая глупость принца — как состояние истинного безумия — вызывала у Крейслера одно лишь чувство сострадания. Но чувство это не могло теперь быть во благо, напротив, оно только увеличивало напряженность мгновения. Чтобы каким бы то ни было образом отвлечь несчастного от злополучных чашек, принцесса попросила

* Речитатив (ит.).

его привести в порядок маленькую библиотечку в изящном стенном шкафу. Чрезвычайно довольный, с радостным смехом принц тотчас же начал вытаскивать из шкафа красиво переплетенные книги и, тщательно расставляя их по формату, располагал их так, чтобы они стояли золотым обрезом наружу, образуя блистающий строй, что радовало его сверх всякой меры.

Фрейлина Нанетта ворвалась в комнату с громким криком: «Князь, князь с принцем!» — О, боже, — вскричала принцесса, — мой туалет не в порядке, в самом деле, Крейслер, мы проболтали с вами целые часы, а об этом и не подумали. Я совсем обо всем забыла! Забыла и о себе, и о князе, и о принце! — и она исчезла вместе с Нанеттой в соседней комнате. Принц Игнатий невозмутимо продолжал свою библиофильскую деятельность.

Парадная карета князя подкатила, когда Крейслер находился уже внизу, близ главной парадной лестницы, два скорохода в ливреях сошли с линейки. Кстати, это обстоятельство следует разъяснить более подробно.

Князь Ириней придерживался старинных обычаев, и так как в нынешние времена уже не положено, чтобы быстроногий шут в пестрой куртке бежал перед лошадыми, как загнанный зверь, то среди многочисленной челяди князя Иринея, среди слуг, так сказать всякого рода и вида, числились и два скорохода, весьма пристойные люди приятной наружности и почтенных лет, прекрасно откормленные, упитанные и лишь время от времени терзаемые затрудненным пищеварением из-за чрезмерно сидячего образа жизни. Все дело в том, что князь был настроен слишком человеколюбиво, чтобы решиться намекнуть кому-нибудь из слуг, чтобы тот по временам превращался в борзую или проворную дворняжку, и поэтому для того, чтобы как-то соблюсти требования этикета, оба скорохода, когда князь выезжал на полном параде, непременно ехали перед ним на вполне сносной линейке и в соответствующих местах, например там, где наблюдалось некоторое скопление зевак, чуточку перебирали ногами, как бы намекая на то, что они и впрямь бегут. Это было воистину великолепное зрелище.

Итак, скороходы только что слезли с линейки, камергеры вступили под сень портала, а за ними последовал собственной персоной князь Ириней, рядом с которым выступал молодой человек благородного вида, в раззолоченном мундире неаполитанской гвардии; на груди его сверкали кресты и звезды. «Je vous salue, monsieur de Krösel»*, — проговорил князь, увидев Крейслера. Ему было угодно произносить «Крёзель» вместо «Крейслер», потому что в торжественных обстоятельствах он говорил по-французски и немецкая фамилия звучала бы в его устах недостаточно уместно. Иноземный принц, — ибо именно этого молодого и красивого господина имела, должно быть, в виду фрейлина Нанетта, когда она закричала, что приближаются князь с принцем, — мимоходом слегка кивнул Крейслеру — род приветствия, которое Крейслеру даже со стороны знат-

* Здравствуйте, господин де Крёзель (фр.).

нейших особ казалось совершенно невыносимым. Посему Крейслер склонился чуть не до земли столь комическим и даже буффонным образом, что толстый гофмаршал, который и вообще-то считал Крейслера отчаянным шутником и который все речи и дела Крейслера воспринимал как шуточные, не утерпел и даже слегка захихикал. Молодой принц метнул на Крейслера пламенный взгляд, темные очи его пылали, он пробормотал сквозь зубы «скоморох» и быстро зашагал вслед за князем, который, учтиво, но не без важности оглянулся, дабы убедиться, идет ли он за ним. «Для итальянского гвардейца, — хохотнув, сказал Крейслер толстому гофмаршалу, — этот сиятельный господин вполне прилично говорит по-немецки, скажите ему, ваше превосходительство, что я в благодарность за это готов ему служить, говоря с ним на изысканнейшем неаполитанском диалекте, безо всякой примеси северно-итальянского, и уж во всяком случае я не стану, уподобясь персонажу из комедии масок Гоцци²⁵, изъясняться на пошлейшем венецианском диалекте, пытаюсь ввести его в заблуждение; одним словом, скажите же ему это, ваше превосходительство». Но его превосходительство уже поднимался вверх по лестнице, так высоко пожимая плечами, что они служили его ушам как бы оплотом и защитными флешами.

Княжеский экипаж, в котором Крейслер обычно ездил в Зигхартсхоф, остановился, старый егерь открыл дверцу и спросил, не угодно ли будет сесть. В этот момент, однако, мимо промчался поваренок, заливаясь слезами и крича: «Ах, несчастье, ах, горе!» — «Что случилось?» — закричал Крейслер ему вслед.

— Ах, несчастье! — повторил поваренок, плача еще безутешней, — там внизу лежат сами господин оберкухмистер в отчаянии, в полнейшем бешенстве и желают непременно вонзить себе в живот нож для приготовления рагу²⁶, потому что его светлость внезапно заказали ужин, а у господина оберкухмистера нет устриц к итальянскому салату. Они хотели самолично отправиться в город, но господин обершталмейстер сомневаются, можно ли запрягать, так как на этот счет отсутствует распоряжение его светлости. «Делу можно помочь, — сказал Крейслер, — пусть господин оберкухмистер сядет в этот вот экипаж и раздобудет наилучшие устрицы в Зигхартсвейлере, а я уж пешком совершу променады в вышеупомянутый город». Сказав это, он поспешно направился в парк.

— Великая душа, благородное сердце, прелюбезный господин! — закричал ему вслед старый егерь, прослезившись от избытка чувств.

В пламени заката стояли дальние горы, и золотой пылающий отблеск, играя, скользил по лугам, проникая сквозь ветви деревьев, сквозь кусты, как бы гонимый тихонько посивистывающим вечерним ветерком.

Крейслер остановился посреди мостика, который через широкий рукав озера вел к рыбацкой хижине, и глядел вниз, в воду, где, магически мерцая, отражался парк с чудесными купами деревьев, с его надменно возвышающимся надо всем утесом Гейерштейном, странно увенчанным белесовато посверкивающими руинами. Ручной лебедь, охотно отзывав-

шийся на кличку Бланш, проплывал по озеру, гордо вздымая красивую шею, шурша белоснежными крыльями. «Бланш, Бланш! — воскликнул Крейслер, простирая к нему руки. — Спой твою прекраснейшую песню, не верю я, что после этого ты непременно умрешь! Ты должен только, распевая, прильнуть к моей груди, тогда твои великолепнейшие звуки станут моими и я умру в жгучей печали, в то время как ты — полный любви и жизни — ускользнешь от меня по ласковым волнам!» Крейслер и сам не знал, что это его вдруг так глубоко взволновало, он оперся на перила, закрыл невольно глаза, и тут он услышал пение Юлии, и несказанно-сладостная печаль пронзила все его существо.

Мрачные тучи уплывали куда-то вдалеку, отбрасывая широкие тени на горы, на лес, будто черные покрывала. Глухой гром рокотал на востоке, сильнее стали завывания ночного ветра, журчали ручьи, и время от времени раздавались унылые звуки золотой арфы, похожие на дальние аккорды органа; испуганно вспорхнули ночные птицы и, стелая, заматались в лесных тропках.

Крейслер очнулся, мечтания его развеялись, он вдруг увидел в воде свое темное отражение. Ему почудилось, будто на него смотрит из глубины Этлингер, безумный живописец. «Эй, — крикнул он вниз, — эй, да ты ли это, любезный мой двойник, милый мой дружок? Послушай-ка, старина, для живописца, который немного спятил, который вознамерился вместо олифы и лака в гордом тщеславии применить княжескую кровь, ты выглядишь довольно сносно! Я думаю, в конце концов, мой милый Этлингер, что ты дурачишь знатнейшие семейства своим сумасбродным поведением. Чем дальше я гляжу на тебя, тем больше я замечаю в тебе изысканнейшие манеры, и таким образом ты мог быть, в этом я, конечно, вправе заверить княгиню Марию, ты мог быть в том, что касается твоего сословия, или в том, что касается твоей позы в воде, человеком достойнейшего ранга, и она вполне могла бы тебя любить, невзирая ни на какие привходящие обстоятельства. Если же ты хочешь, приятель, чтобы княгиня еще и теперь была похожа на портрет твоих кисти, то тебе придется пойти по стопам того сиятельного дилетанта, который добивался поразительного сходства писанных им портретов с оригиналами необычайно простым способом: он попросту гримировал физиономии портретируемых под портрет. Что же! Ежели однажды они незаслуженно спроводили тебя в преисподнюю, то я приношу тебе теперь всяческие свежие новости! Узнай же, достопочтенный обитатель желтого дома, что та рана, которую ты нанес бедному ребенку, прекрасной принцессе Гедвиге, все еще не вполне зарубцевалась, так что она, принцесса, мучимая болью, порою начинает выкидывать всевозможные удивительные коленца! Ведь ты уязвил ее сердце так жестоко, так болезненно, что из него еще и теперь сочится жаркая кровь, когда она видит твой призрак, так же точно, как исходят кровью трупы, когда к ним приближается убийца. Не вменяй мне, пожалуйста, в вину, что она считает меня призраком, и — более того — твоим призраком. Но как только я пытаюсь доказать ей, что я от-

нюдь не гнусное привидение, а капельмейстер Крейслер, собственной персоной, тут мне и пересекает дорогу принц Игнатий, который явно страдает паранойей, страдает *fatuitas, stoliditas* *, каковые, согласно Клуге, являются очаровательнейшими разновидностями полнейшей безмозглости как таковой! Не подражай всем моим жестам, живописец, когда я серьезно с тобой разговариваю! Ты опять за свое? Если бы я не боялся схватить насморк, я спрыгнул бы к тебе вниз и, ей-богу, вздул бы тебя как следует! Убирайся к дьяволу, презренный кривляка!» Крейслер быстро отпрянул прочь.

Теперь все кругом померкло, только молнии вспыхивали в черных тучах; гром рокотал, и наземь падали первые крупные капли. Но из рыбацкой хижины струился ослепительный свет, и на этот свет, очертя голу, помчался капельмейстер Крейслер.

Неподалеку от дверей, в ярком сиянии увидел Крейслер свое полнейшее подобие, свое собственное «я», которое шагало рядом с ним. Охваченный глубочайшим ужасом, Крейслер бросился в домик и бездыханным упал в кресло, побледнев, как смерть.

Маэстро Абрагам сидел перед маленьким столиком, озаренным астральной лампой²⁷, струящей вокруг свои ослепительные лучи. Перелистывая громадный фолиант, он испуганно поднялся, приблизился к Крейслеру, воскликнул: «Ради всего святого, что это с вами, Иоганнес? Откуда вы явились сюда в такой поздний час и что привело вас в такой ужас?»

Крейслер преодолел себя, собрал все свое мужество и потом глухо молвил: «Ничего теперь не поделаешь, нас теперь двое — я имею в виду себя и моего двойника, который выпрыгнул из озера и преследовал меня вплоть до самых здешних мест. Сжальтесь надо мной, маэстро, возьмите вашу палку со стилетом и заколите этого мерзавца, он сумасшедший, поверьте мне, и может погубить нас обоих. Он там снаружи заклил грозу. Духи движутся в воздухе, и хорал их разрывает душу человеческую! Маэстро, маэстро, приманите сюда лебедя, пусть он запоет, ибо моя песня очоченела, ибо то мое второе «я» положило свою холодную белую мертвую руку на мою грудь, оно должно будет отвести ее, снять ее, когда лебедь запоет, и тогда ему — этому второму «я» — придется вновь скрыться под волнами озера». Маэстро Абрагам не дал больше Крейслеру говорить, он обратился к нему с самыми радушными, самыми дружескими словами, налил ему несколько рюмок пламенного итальянского вина, которое у него как раз оказалось под рукой, и стал потом вновь и вновь расспрашивать капельмейстера, как же это все случилось?

Но едва Крейслер кончил, как маэстро Абрагам, громко смеясь, воскликнул: «Сразу видно воплощенного фантаста, законченного духовидца! Что касается органиста, который играл вам там в парке ужасные, душе-раздирающие хоралы, то это не кто иной, как неугомонный ночной ветер,

* Придурковатостью, тупоумием (лат.).

он устремился вниз, соскользнул и заставил звучать струны погодной арфы. Да, да, Крейслер, ведь вы забыли об эоловой, или погодной, арфе, которая натянута в конце парка между двумя павильонами *. Что же касается вашего двойника, который в сиянии моей астральной лампы бежал рядом с вами, то я хочу вам тотчас же доказать, что, как только я выйду из комнаты и стану перед дверьми, то сразу же появится и мой двойник, да и, более того, что всякий человек, который войдет ко мне, приобретет такого *chevalier d'honneur* ** своего «я» и вынужден будет терпеть его неотвязное присутствие бок о бок с самим собою».

Маэстро Абрагам вышел на крыльцо, и тотчас же рядом с ним в сиянии возник второй маэстро Абрагам.

Крейслер уразумел, что это всего лишь эффект замаскированного вогнутого зеркала, и рассердился, как сердится всякий, когда чудо, в которое он было поверил, внезапно оказывается простым фокусом. Человеку куда более приятно состояние глубочайшего ужаса, чем естественное объяснение того, что показалось ему призрачным; он отнюдь не хочет больше мириться со здешним миром; он требует, чтобы ему показали нечто из другого мира, нечто потустороннее, отнюдь не нуждающееся в осязаемости и телесности, дабы представиться его очам в виде некоего откровения.

— Я не могу, — заговорил Крейслер, — я все-таки никак не могу, маэстро, постичь вашей странной склонности к подобному рода дурачествам. Вы готовите чудо, как ловкий кулинар, из всяких острых ингредиентов, и полагаете, что люди, фантазия которых ослабела и увяла, как желудок кутилы и гурмана, непременно должны будут несколько оживляться после подобного рода бесчинств. Нет ничего нелепее, чем, насмотревшись на подобного рода проклятые фокусы, которые способны ужаснуть нас до глубины души, узнать потом, что все это произошло самым естественным путем.

— Естественным! Естественным! — воскликнул маэстро Абрагам, — как человек, не лишенный известного разума, вы должны были бы понять, что ничто на свете не совершается естественным образом, решительно ничего! Или же вы полагаете, дражайший капельмейстер, что потому только, что мы посредством имеющихся в нашем распоряжении средств способны вызвать определенный эффект, то и таинственнейшая органическая причина подобного эффекта становится нам настолько ясной и очевидной, что как бы возникает перед нашими глазами? Вы ведь прежде с большим уважением относились к моим фокусам, хотя никогда и не видали того из них, который был как бы венцом моего искусства по этой части. . .

— Вы имеете в виду невидимую девушку²⁸? — осведомился Крейслер.

* Аббат Гаттони в Милане натянул с одной башни на другую пятнадцать железных струн и настроил их таким образом, что они воспроизводили диатоническую гамму. При каждом изменении в атмосфере эти струны звучали сильнее или слабее, пропорционально соответствующим изменениям погоды. Эту эолову арфу назвали «исполнительской» или «погодной» арфой (*Примечание Гофмана*).

** Благородного телохранителя (*фр.*).

— Во всяком случае, — продолжал маэстро, — именно этот фокус, — впрочем, это, пожалуй, несколько больше, чем просто фокус, — доказал бы вам, что простейшая, легчайшим образом рассчитываемая механика нередко вступает во взаимодействие с таинственнейшими чудесами природы и затем может вызвать последствия, которые должны будут оставаться необъяснимыми, даже самое это слово нужно будет применить здесь в самом буквальном смысле.

— Гм, — сказал Крейслер, — ежели вы действовали согласно общеизвестной теории звука да еще сумели ловко спрятать ваш аппарат, да еще к тому же имели под рукой хитрое, находчивое и изворотливое создание...

— О, Кьяра! — воскликнул маэстро Абрагам, и слезы жемчужинами засверкали у него на глазах, — о, Кьяра, сладостное мое, милое мое дитя!

Крейслер еще никогда не видел старика в таком глубоком волнении, ибо почтенный маэстро никогда не хотел уступать места в своей душе каким бы то ни было печалям и горестям, а всегда старался лишь высмеивать такого рода дела и обстоятельства.

— Ну, что это еще за Кьяра? — спросил капельмейстер.

— Это, пожалуй, глупо, — сказал маэстро, улыбаясь, — это глупо, пожалуй, что я вам нынче должен показаться старым плаксивым болваном, но созвездья пожелали, чтобы я поведал вам одну историю из моей жизни, историю, о которой я так долго молчал. Идите сюда, Крейслер, взгляните на эту исполнинскую книгу, — это самое замечательное изо всего, что у меня есть, наследство некоего искусника и волшебника по имени Северино, и вот теперь сижу я здесь и читаю об удивительнейших вещах и рассматриваю маленькую Кьяру, которая здесь изображена, и тут вы врываетесь ко мне, совершенно вне себя, и презрительно отзываетесь о моей магии в тот самый миг, когда я как раз погрузился в воспоминания о ее прекраснейшем чуде, которое было и моим в цветущие годы моей жизни!

— Ну расскажите только, — воскликнул Крейслер, — чтобы я немедленно смог зарыдать вместе с вами.

— Это, — начал маэстро Абрагам, — это, впрочем, не столь уж удивительно, что я, в те времена молодой, сильный человек весьма пригожей наружности из преувеличенного рвения и от величайшей жажды славы доработался до полного безумия и почти недуга, возясь с большим органом в соборной церкви Гёнионесмоля. Вот врачи и сказали мне: «Поостранствуйте, милый органист, поостранствуйте по горам и долам, подальше от здешних мест». Я и в самом деле поступил именно таким образом, причем, так сказать, забавы ради выступал везде как механик и проде-львал перед зеваками удивительнейшие фокусы. Все шло у меня самым замечательным образом и принесло мне кучу денег, пока мне не встретился человек по имени Северино, который грубо высмеял меня со всеми моими фокусами и всяческими штуками довел почти до того, что я вместе с простонародьем чуть было не уверовал, что он находится в союзе с дьяволом или, по крайней мере, с другими, более честными, добросовестными

и приличными духами. Величайший восторг и интерес возбуждал его номер — женщина-оракул, тот самый фокус, который несколько позднее и стал известен под названием «незримой девушки». Посреди комнаты к потолку был свободно подвешен шар из прекраснейшего чистейшего стекла, и из этого шара струились, как нежное дыхание, ответы на вопросы, обращенные к невидимому существу. Не одно только непостижимо кажущееся в этом феномене, но также и проникающий в сердце, охватывающий все наше существо, духовидческий голос незримого создания, меткость его ответов и — более того — его истинный пророческий дар обеспечивали артисту огромнейший успех. Я пристал к нему, я много говорил о моих механических кунштштуках, он, однако, отнесся с презрением, правда, на иной лад, чем вы, Крейслер, ко всем моим познаниям и настоял на том, чтобы я построил ему водяной орган для домашнего употребления, невзирая на то, что я вполне доказал ему, что, так же, как уверял покойный господин надворный советник Мейстер из Геттингена²⁹ в своем трактате: «*De veterum hydraulo*»*, на таком вот гидравлическом органе решительно ничего нельзя сберечь и не получается никакой экономии, если не считать сбережения нескольких фунтов воздуха, который, впрочем, слава всевышнему, мы везде можем иметь совершенно даром. Наконец Северино стал уверять, что ему необходимы более сладостные, чем у обычного органа, звуки гидравлического инструмента, дабы помогать и содействовать невидимой особе, и он хочет открыть мне тайну, если я поклонюсь святым причастием ни самому не проделывать этот фокус и не открывать, в чем суть его, другим людям, хотя он и полагает, что будет весьма и весьма нелегко перенять исполнение его шедевра без — здесь он запнулся и сделал таинственную и сладкую мину, как покойный Калиостро³⁰, когда он рассказывал о своих колдовских экстазах. Исполненный жажды узреть невидимую, я пообещал ему изготовить водяной орган в самом наилучшем виде, и вот он, наконец, даровал мне свое доверие, даже полюбил меня, когда я стал добровольно помогать ему в его трудах. В один прекрасный день, когда я как раз собирался направиться к Северино, на улице сбежалась толпа народу. Мне сказали, что прилично одетый человек, лишившись чувств, упал наземь. Я пробился сквозь толпу и узнал Северино, которого как раз подняли и понесли в соседний дом. Врач, проходивший мимо, занялся им. Северино, после того как были применены различные средства, с глубоким вздохом открыл глаза. Взгляд, который он из-под сведенных судорогой век устремил на меня, был ужасен. Все страхи и муки борьбы со смертью сверкали из него мрачным огнем. Губы его дрожали, он попытался говорить — и не смог. Наконец он несколько раз сильно ударил рукой по жилетному карману. Я сунул туда пальцы и вытащил связку ключей. «Это ключи от вашей квартиры», — сказал я, он кивнул на это. «Это, — продолжал я, держа перед его глазами один из ключей, — это ключ от кабинета, в который вы меня никогда не желали впускать».

* «О водяных органах в древности» (лат.).

Он вновь кивнул. Но когда я хотел продолжать расспросы, он начал вздыхать и стонать в ужасном испуге, капли холодного пота выступили у него на челе, он распростер руки и потом сомкнул их в виде колыбца, как если бы он хотел обнять нечто, и указал на меня. «Он хочет, — вопросительно произнес врач, — чтобы вы привели в порядок его вещи и аппараты, а если он, быть может, умрет, то чтобы вы это сохранили за собой». Северино сильнее кивнул головой, прокричал наконец: «Согге!»* и вновь лишился чувств. И вот я со всех ног поспешил в квартиру Северино; исполненный любопытства, дрожа от ожидания, я отпер кабинет, в котором должна была быть заключена таинственная Невидимка, и чрезвычайно удивился, что кабинет был совершенно пуст. Единственное окно было плотно завешено, так что свет (сумеречный свет!) лишь еле просачивался; на стене висело большое зеркало, как раз напротив двери. Как только я случайно подошел к этому зеркалу и увидел свою фигуру в слабом мерцании, меня пронзило странное чувство, как будто я нахожусь на изолирующем стуле электрической машины. В то же самое мгновение я услышал голос Невидимой девушки, она лепетала по-итальянски: «Пощадите меня только нынче, отец! Не бейте меня так ужасно, ведь вы же, наконец, все-таки умерли». Я быстро распахнул двери комнаты, так что в нее ворвался яркий свет, но ни одной живой души так и не смог увидеть. «Это хорошо, — прозвучал голос, — это хорошо, отец, что вы прислали господина Лискова, но он больше не позволит, чтобы вы меня бичевали, он сломает магнит, и вы не сможете больше выйти из могилы, в которую он вас положит. Вы можете упираться и противиться сколько угодно, ведь вы теперь всего лишь мертвец и не принадлежите больше к царству живых». Вы можете, конечно, понять, Крейслер, что я задрожал от глубочайшего страха, ведь я никого не видел, а голос звучал, так сказать, у самых моих ушей. «О, дьявол, — заговорил я громко, чтобы вернуть себе мужество, — если бы я только увидел где-нибудь хоть самую никчемную бутылочку или флажку какую, я немедленно разбил бы ее на мелкие кусочки и *diable boiteux*** , освобожденный из темницы своей, предстал бы предо мной³¹ наяву, но так...». Тут мне внезапно почудилось, будто тихие вздохи, которые витали по кабинету, исходят из-за выгородки, которая стояла в углу и казалась мне слишком маленькой, чтобы скрывать в себе человеческое существо. Итак, я прыгаю туда, сдвигаю задвижку — и что же: свернувшись, как змейка, лежит там девушка, смотрит на меня большими, удивительно прекрасными глазами, наконец, протягивает ко мне руку, когда я восклицаю: «Выходи-ка, овечка моя, вылезай, моя маленькая невидимочка!» — и я хватаю, наконец, ее за руку, которую она держит протянутой ко мне, и электрический удар пронизывает все мое тело. — «Постой! — воскликнул Крейслер, — постой, маэстро Абрагам, что это такое, ведь когда я впервые случайно притронулся к руке принцессы

* Беги (ит.).

** Хромой бес (фр.).

Гедвиги, со мной было точно так же, и я все еще, хотя и слабее, ощущаю то же действие, когда она мне весьма милостиво протягивает руку». «Ха-ха, — подхватил маэстро Абрагам, — хо-хо, в конце концов, принцессочка наша является чем-то вроде *Gymnotus electricus* *, или *Raja torpedo* **, или *Trichiurus indicus* ***, такой в известной степени была моя сладостная Кьяра, или, пожалуй, может быть, она всего лишь — миленькая домашняя мышка, совсем как та, которая вlepила здоровенную оплеуху милейшему синьору Котуньо ³², когда этот последний схватил ее за спинку, дабы подвергнуть вскрытию, что вы, конечно, не могли иметь в виду в случае с принцессой! Но поговорим о принцессе в другой раз, а теперь вернемся к моей невидимке! Когда я отпрянул, испуганный неожиданным ударом маленькой торпеды, девушка проговорила по-немецки удивительно прелестным голосом: «Ах, не поймите, пожалуйста, этого превратно, господин Лисков, но я не могу иначе, боль слишком велика». — Перестав предаваться изумлению своему, я нежно схватил малютку за плечи, вытащил ее из ее отвратительной темницы и увидел изящного телосложения милую девушку — ростом с двенадцатилетнюю, но если судить по телесному развитию, то по крайней мере шестнадцатилетнюю, так она стояла передо мной. Загляните в эту книгу, здесь на картинке она похожа, и вы должны будете признать, что невозможно и представить себе более милое, более выразительное личико; не забывайте, однако, что чудесный, воспламеняющий душу огонь прекраснейших черных глаз невозможно передать ни в каком рисунке. Каждый, кто не привержен непременно к белоснежной коже и льняным волосам, должен был бы признать это личико совершенством красоты, хотя кожа моей Кьяры была несколько смугловата и волосы ее были черны, как смоль. — Кьяра — вы ведь уже знаете, что так звали маленькую невидимочку — Кьяра упала передо мной, вся печаль и мука, поток слез хлынул из ее очей, и она проговорила с неизъяснимым выражением: «*Je suis sauvée!*» **** Я был весь охвачен чувством глубочайшего сострадания к ней, я не без основания предполагал, что здесь происходили ужасающие вещи! И вот внесли труп Северино, — второй приступ удара убил его сразу же после того, как я его покинул. Как только Кьяра увидела труп, слезы ее высохли, она серьезно смотрела на мертвого Северино и удалилась лишь тогда, когда пришедшие стали ее с любопытством разглядывать и, посмеиваясь, высказывать мнение, что это, пожалуй, и есть та самая невидимая девушка из кабинета. Я счел невозможным оставить девушку одну подле трупа, и добрые хозяева объявили, что готовы поселить ее у себя. Однако когда я, после того как все удалились, вошел в кабинет, Кьяра сидела перед зеркалом в удивительнейшем состоянии. Взор ее был прикован к зеркалу, она, должно быть, ни

* Электрический угорь (лат.).

** Электрический скат (лат.).

*** Меч-рыба (лат.).

**** Я спасена! (фр.).

чего не замечала, подобно сомнамбуле. Она шептала невнятные слова, которые, впрочем, становились все четче и явственней, пока она, мешая немецкий, французский, итальянский, испанский, не заговорила о делах, которые, по-видимому, имели отношение к весьма отдаленным лицам. Я заметил, к своему немалому изумлению, что наступило именно то время дня, когда Северино обычно заставлял прорицать свою женщину-оракула. — Наконец, Кьяра сомкнула веки и, казалось, впала в глубокий сон. Взяв бедное дитя на руки, я снес ее вниз, к хозяевам. На другое утро я нашел малютку веселой и спокойной, только теперь, по-видимому, она вполне постигла, что обрела свободу, и рассказала все, что мне хотелось узнать. Вас, конечно, не раздосадует, капельмейстер, хотя вы прежде были несколько помешаны на родовитости, что моя малютка Кьяра была не кем иным, как цыганочкой, которая с целой бандой своих немых сородичей, охраняемая сыщиками, жарилась на солнцепеке, на рынке в каком-то большом городе, в тот самый миг, когда мимо проходил Северино. «Погадать тебе, мое золотце?» — крикнула ему она, тогда ей было восемь лет. Северино долго смотрел в глаза малютке и в самом деле протянул ей ладонь, чтобы она погадала ему по линиям руки, и выразил потом величайшее изумление. По-видимому, он нашел в девочке нечто совершенно необычайное, ибо он тотчас же обратился к лейтенанту полиции, который вел весь караван взятых под стражу бродяг, и заявил, что он дал бы значительную сумму, если бы ему было дозволено взять цыганочку с собой. Полицейский чин грубовато сказал, что здесь, дескать, не невольничий рынок, однако прибавил к этому, что, так как малышку, собственно, нельзя еще считать настоящим человеком и что в тюрьме она будет всем только в тягость, то он отдаст ее в полное распоряжение господина, ежели господин пожелает внести в городскую кассу по вспомоществованию недвижимым сумму в десять дукатов. Северино тотчас же извлек свой кошелек и выложил требуемое количество дукатов. Кьяра и ее престарелая бабушка слышали всю беседу, связанную с этой сделкой, и подняли было крик и вой, — они ни за что не хотели расставаться. Тут-то к ним и приблизились сыщики-охранники, взгромоздили старуху на телегу, которая уже стояла готовая к отправлению, а лейтенант полиции, который, пожалуй, в это мгновение счел собственный кошелек городской кассой по вспомоществованию бедным, сунул туда весело блистающие дукаты, и Северино потащил прочь маленькую Кьяру, которую он пытался утешить тем, что на том же самом рынке, где он ее отыскал, купил ей прехорошенькое новенькое платьице и, помимо этого, еще напичкал ее всяческими сладостями. Не подлежит сомнению, что Северино уже тогда подумывал о фокусе с невидимой девушкой и в маленькой цыганочке нашел все данные, необходимые для того, чтобы играть роль невидимки. Наряду с тщательным обучением и воспитанием, он искал средств воздействия на ее организм, который, впрочем, и так был весьма склонен к взвинченным состояниям. С помощью всяческих искусственных средств он вызывал такое состояние, при коем в девушке пробуждался пророческий дар (вспомните Месмера³³

и его ужасающие операции!) — и приводил ее всякий раз, когда она должна была пророчествовать, в это состояние. Несчастная случайность показала ему, что малютка после испытанной ею боли становилась особенно восприимчивой и проникательной и что тогда ее дар проникать взором в чужое «я» достигал необычайной высоты, так что она казалась совершенно одухотворенной. И вот этот отвратительный субъект стал бичевать ее всякий раз перед операцией, которая обращала ее в состояние ясновидения, бичевать самым жесточайшим образом. К этой попытке прибавлялось еще и то, что Кьяра, бедняжка, часто по целым дням, когда Северино отсутствовал, должна была проводить, скорчившись в своем чулане за перегородкой, на тот случай, что если бы даже кто-нибудь ворвался в кабинет, присутствие Кьяры все равно осталось бы тайной. Точно так же во время странствий с Северино, она находилась в ящике. Судьба Кьяры была еще несчастней и ужаснее, чем судьба того карлика, которого знаменитый Кемпелен³⁴ возил с собою, и который, спрятанный в манекене, изображающем турка, принужден был играть в шахматы, имитируя действие автомата. Я нашел в столе у Северино немалую сумму в золоте и ассигнациях, и мне удалось благодаря этому обеспечить малютке Кьяре сносную жизнь, всю же аппаратуру для оракула-предсказателя, т. е. акустические приспособления в комнате и в кабинете я уничтожил, а также и кой-какие иные устройства, сооруженные этим искусником, которые невозможно было перевозить. Но, согласно явственно высказанному завещанию Северино, я усвоил кое-какие секреты из его наследия. Закончив, все эти дела, я чуть не плача, распрощался с малюткой Кьярой, которую добрые хозяева полюбили, как собственное дитя, и покинул город. — Прошел год, я хотел вернуться в Гёнионесмюль, где достохвальный магистрат требовал от меня ремонта и восстановления городского органа, но небесам было угодно все еще видеть меня фигляром и фокусником. Вот они и позволили одному гнуснейшему подлецу выкрасть у меня кошелек, в котором были все мои деньги. Таким образом, мне и пришлось уже, будучи знаменитым механикусом, имеющим всяческие патенты и аттестаты, проделывать различные кунштштюки ради хлеба насущного. Это случилось в одном местечке неподалеку от Зигхартсвейлера. Однажды вечером я сижу, колочу и выпиливаю, мастерю волшебный ларец, и вдруг дверь раскрывается, входит женщина, восклицает: «Нет, я не могла этого больше вынести, я должна была последовать за вами, господин Лисков, я умерла бы от тоски! Вы — мой господин, распоряжайтесь мною!» — И она бросается ко мне, хочет упасть к моим ногам, я удерживаю ее в объятиях своих — это Кьяра! Я едва узнал девушку, она стала выше чуть ли не на целый фут, сильнее, крепче, причем нисколько не в ущерб ее нежнейшим формам! «Милая, сладостная Кьяра» — воскликнул я в глубоком волнении и прижал ее к своей груди! — «Не правда ли, — сказала Кьяра, — вы будете терпеть меня у себя, господин Лисков, вы не отвергнете бедную Кьяру, которая обязана вам свободой и жизнью?» И с этими словами она быстро прыгает к сундуку, только что внесенному почталь-

оном в мои апартаменты, сует этому парню такую кучу денег, что тот, громадным кошачьим прыжком выскочив за дверь, громко вопит: «Ах, дьявольщина, ну что за разлюбезная цыганочка!», открывает сундучок, извлекает из него вот эту книгу и подает ее мне, говоря: «Возьмите, господин Лисков, здесь лучшее из наследия Северино, что вы забыли», — и начинает в то время, как я листаю книгу, совершенно беспечно распаковывать платья и белье, — вы можете себе представить, Крейслер, что малютка Кьяра повергла меня в немалое смущение, но теперь самое время, дружище, чтобы ты научился полагаться на меня, потому что я тебе бескорыстно помогал лакомиться спелыми грушами в дядюшкином саду, подвешивая взамен съеденных деревянные, чудно размалеванные по всем правилам живописного искусства! А разве я не помогал тебе наполнить дядюшкину лейку чуть прокишшей померанцевой водой, каковую он затем, второпях, оросил свои чудные канифасовые штаны, растянутые на газоне на предмет беления, — отчего эти последние, то есть штаны, превратились в нечто, живо напоминающее благородный мрамор — весь в разводах и прожилочках! Так что я, чего уж греха таить, казался тебе истинным шутом гороховым, у которого либо никогда не было сердца, либо чей шутовской кафтан настолько плотен, что старый гаер не чувствует ударов, сыплющихся на него градом! Но не хвались, дружище, своей необыкновенной чувствительностью, слезами своими, ибо нет, взгляни, я снова разнюнился, вот я снова хнычу и пускаю слезу, как, впрочем, нередко поступаешь и ты, но, черт побери все на свете, ежели нам на склоне лет приходится распахивать свою душу перед всяким желторотым птенцом — душа нараспашку, открыта для всех, словно меблированные комнаты какие-то!» Маэстро Абрагам подошел к окну и уставился во тьму. Гроза прошла, в шелесте леса слышалось падение редких капель, стращиваемых наземь ночным ветром. Издали, со стороны замка, доносились звуки веселой танцевальной музыки.

— Принцу Гектору перед своей *partie de chasse** вздумалось немножечко попрыгать, так я полагаю, — проговорил маэстро Абрагам.

— Ну, а Кьяра? — спросил Крейслер.

— Ты, прав, — продолжал маэстро Абрагам, в изнеможении опускаясь в кресло. — Ты прав, сын мой, что напоминаешь мне о Кьяре, ибо я должен в эту роковую ночь испытать до последней капли чашу горчайших воспоминаний. Ах! Когда Кьяра с милой озабоченностью разбирала свои пожитки, когда из ее глаз лучилась чистейшая радость, я ощутил вдруг, что для меня будет совершенно невозможным когда-нибудь расстаться с ней, что она непременно должна будет стать моей женой. И все-таки я сказал: «Но Кьяра, как я должен буду поступать с тобой, ежели ты останешься здесь?» — Кьяра подошла ко мне и произнесла совершенно серьезно: «Маэстро, вы найдете в книге, которую я вам принесла, точное описание оракула, да ведь вы и без того видели все приспособления, не-

* Охота (фр.).

обходимые для этого. Я хочу быть вашей невидимой девушкой!» — «Кьяра, — воскликнул я в совершеннейшем замешательстве. — Кьяра, что ты говоришь? Неужели ты можешь считать меня таким же, как Северино?» — «Ах, помолчите о Северино», — возразила Кьяра. — Ну, что же, стоит ли подробно и обстоятельно рассказывать вам все, Крейслер, вы же ведь и без того знаете уже, что я изумлял весь свет моей невидимой девушкой, и, верьте мне, Крейслер, что я с отвращением избегал того, чтобы какими-либо искусственными средствами возбуждать мою милую Кьяру перед сеансом или каким-либо иным способом ограничивать ее свободу. — Она сама указывала мне время и час, когда она чувствовала себя в состоянии или вернее, будет чувствовать себя в состоянии сыграть роль невидимой, и только тогда начинал вещать мой оракул. — Кроме того для моей малютки эта роль сделалась потребностью. Известные обстоятельства, о которых вы скоро узнаете, привели меня в Зигхартсвейлер. В моих планах было выступить, окружив себя особой таинственностью. Я снял уединенную квартирку у вдовы княжеского лейб-повара, через нее я незамедлительно распустил слухи о моих чудесных фокусах, и слухи эти дошли до двора. То, чего я ожидал, случилось. Князь — я имею в виду отца князя Иринея — разыскал меня, и моя пророчица Кьяра была та волшебница, которая, как бы вдохновленная сверхъестественной силою, часто отверзала ему его собственную душу, так что он прозревал многое, что прежде для него оставалось тайной. Кьяра стала моей женой, я поселил ее у одного верного мне человека в Зигхартсхофе, она приходила ко мне под покровом ночи, так что ее существование оставалось тайной. Ибо, видите ли, Крейслер, люди так жаждут чудес, что, хотя всем понятно, что фокус с невидимой девушкой никак не может быть совершен, если наряду с фокусником в нем не участвует некое живое человеческое существо, то все-таки люди непременно стали бы считать все это глупейшим шарлатанством и дурачеством, воочию убедившись в том, что невидимая девушка является точь в точь таким же существом из крови и плоти, как и они сами. Вот именно поэтому в том самом городе, где выступал Северино, незадолго до смерти своей, все, едва он умер, стали называть его обманщиком, ибо казалось вполне очевидным, что говорила-то в его кабинете маленькая цыганочка, — никто из этих дурней не желал оценить по достоинству то искуснейшее акустическое устройство, которое и заставляло ее голос исходить как бы из подвешенного к потолку стеклянного шара. Старый князь скончался, я был сыт по горло фокусами и всей этой таинственной возней, необходимостью прятать мою Кьяру от посторонних глаз. Я хотел с моей любимой женой переселиться в Гёнионесмюль и вновь заняться сооружением органов. Но однажды ночью Кьяра, которая должна была в последний раз сыграть роль невидимой девушки, исчезла, и мне пришлось отослать любопытствующих ни с чем. Сердце мое громко билось от ужасных предчувствий. Утром я побежал в Зигхартсхоф. Кьяра ушла из дому в обычное время. Ну, дружище, что ты так вытаращился на меня? Надеюсь, ты не станешь за-

давать мне глупых вопросов! Ты знаешь ведь — Кьяра исчезла бесследно, никогда — никогда уже я не видал ее больше!»

Маэстро Абрагам вскочил и бросился к окну. Он глубоко вздохнул, чувствовалось, что рана его все еще сочится кровью. Крейслер молчанием почтил глубокую скорбь престарелого маэстро.

— Теперь вам, — начал наконец маэстро Абрагам, — теперь вам нельзя уже в город, капельмейстер. Вот-вот наступит полночь, в парке, как вам известно, шляются злобные двойники, да и всякая прочая нечисть может сбить вас с толку! Оставайтесь у меня! Безумием, совершеннейшим безумием было бы ведь...



(Мурр пр.) :... если бы такая непристойность произошла в храме науки, я имею в виду аудиторию. А! что-то сердце защемило, грудь как-то стеснена, — обуреваемый возвышеннейшими помыслами, я не в состоянии писать дальше — я должен сделать перерыв, должен немного прогуляться! —

Мне полегчало, я возвращаюсь к письменному столу. Но все то, чем сердце полно, о том вещают уста, а, пожалуй, также и гусиное перо поэта! — Я слышал как-то рассказ маэстро Абрагама, будто в какой-то старой книге были некоторые подробности об одном курьезном человеке, в чьем теле шумела некая особая *materia reppans* *, которая могла выйти на свет божий только сквозь его пальцы. Человек этот умудрился подкладывать под правую руку листы незапятнанной писчей бумаги таким образом, чтобы на них запечатлевались все его злобные и пагубные побуждения, а затем стал называть эти презренные отходы стихами, которые создало его сердце. Я считаю этот рассказ злобной сатирой, но должен признаться, что порою мною овладевает своеобразное чувство, я почти мог бы его назвать духовным зудом, вплоть до передних лап, которые рвутся записать все, что я думаю. — Именно теперь я нахожусь в подобном состоянии — это может причинить мне вред, ибо одураченные коты могут в ослеплении своем даже испытать на мне остроту своих когтей, но все равно — помыслы мои непременно должны вырваться наружу!

Мой маэстро нынче все время с утра и до обеда читал какой-то переплетенный в свиную кожу том *in quarto*, и когда он, наконец, в обычный час удалился из дому, я нашел эту книгу лежащей на столе в раскрытом виде. Я немедленно вспрыгнул на стол, дабы с присущим мне страстным стремлением к наукам, вынюхать, что же, собственно, содержится в книге, которую мой маэстро штудирует столь ревностно. Это был прекрасный, великолепный труд почтенного Иоганнеса Куниспергера³⁵ относительно естественного влияния планет и созвездий, и в частности, двенадцати знаков Зодиака на всю нашу жизнь. О да, я с полнейшим правом называю этот труд прекрасным и великолепным, ибо, когда я читал его, разве мне не становилось вполне ясным чудо моего существования и моего преображения? Ах, в то время, как я пишу это, над моей

* Греховное вещество (лат.).

головой пылает великолепное созвездие, которое поистине находится в родстве со мною и светит мне прямо в душу, а из души моей свет его устремляется в небеса. О да, я чувствую пылающий, жгучий и палящий луч длиннохвостой кометы на челе моем, — я чувствую, что я сам — словно эта сверкающая хвостатая звезда или небесный метеор, который в ослепительной славе своей, пророчески-грозно, витает над вселенной! И точно так же, как комета затмевает все прочие звезды, так исчезли бы вы все, если бы я только не скрывал своих дарований и талантов, а позволил бы светочу сиять надлежащим образом, а ведь все это зависит всецело от меня самого — да, вот так вы и сокроетесь все во мраке ночи, вы, коты и прочие четвероногие твари — и вы — люди!

Но вопреки моей божественной природе, которая излучается из меня, хвостатого духа света, разве я все-таки не разделяю участь всех прочих смертных? У меня слишком доброе сердце, я слишком чувствительный кот, душа моя с готовностью и охотой разделяет печали и горести слабейших, и я легко впадаю поэтому в грусть и сердечную тоску. Ибо разве я не замечаю везде, что я один, как в безлюдной глуши, ибо я не принадлежу нынешней эпохе, нет, я всецело принадлежу грядущему веку высочайшей образованности и воспитанности, ибо нет ни единой живой души, которая в надлежащей мере пришла бы от меня в восторг.

И все-таки меня чрезвычайно радует, когда мною искренне восхищаются, даже и похвала из уст юных, простых, необразованных котов мне неопишимо приятна. Конечно, я знаю, как поразить их воображение, но к чему это, ведь как бы они ни силились, им не попасть в тон с трубными звуками похвал, они только завопят, как всегда, изо всех сил «мяу, мяу!» — Я должен подумать о потомках, которые оценят меня по достоинству. Ну вот, скажем, напиши я сейчас философский труд, кто сможет оценить мою глубокомысленность? А ежели я опущусь до того, что сочиню пьесу, то где отыщутся актеры, способные ее сыграть? Ну, а ежели я займусь иного рода литературными трудами, если, например, я стану писать критические статьи, которые мне пристало писать хотя бы уже потому, что я витаю над всеми, которые именуются поэтами, писателями, художниками, — везде и всюду сразу же выставя себя в качестве образца, недостижимого, впрочем, в качестве идеала совершенства, и поэтому также именно я только и способен всегда высказывать, я — и никто другой — достаточно компетентное суждение; найдется ли еще кто-нибудь, кто сможет, подобно мне, взмыть, словно на крыльях, ввысь, дабы уразуметь мою точку зрения, кто сможет разделить мой взгляд? — Да и существуют ли, право же, лапы или руки, которые могли бы увенчать чело мое заслуженным мною лавровым венком? — Но на этот случай имеется хороший совет, это сделаю я сам, да еще впридачу исцарапаю тех, кто осмелился бы дернуть за этот венок! — Пожалуй, и существуют такого рода завистливые бестии, и мне нередко снится, как они нападают на меня, и я, вообразив, что вынужден защищаться, царапаю спросонья собственную физиономию своими острыми коготками и

плачевно уязвляю свой прелестный лик. Правда, в нашем благородном чувстве собственного достоинства мы порою становимся чрезмерно недоверчивы, но это и не может быть иначе. Считал же я еще на днях замаскированным покушением на мою добродетель и превосходство, когда юный Понто с несколькими юношами-пуделями на улице беседовал о современных явлениях без того, чтобы упомянуть обо мне, невзирая на то, что я сидел от него не более чем в шести шагах возле входа в подвал, у самого моего родного дома. Меня весьма разозлило, что этот фат, когда я стал упрекать его, пытался меня уверить, что он и впрямь меня не заметил.

Но все-таки самое время поведать вам, о родственные мои души в грядущем потомстве, что я хотел бы, чтобы это будущее поколение находилось уже нынче в самой что ни на есть современности, толково обдумывало бы самый факт величия Мурра и громко высказывало бы эти мысли такими звонкими голосами, чтобы ничего нельзя было слышать от сплошного визга. Хочу, однако, чтобы вы подробнее узнали о том, что происходило с вашим Мурром в его юные годы. Итак, слушайте внимательно, добрые души, наступил замечательнейший момент моей жизни.

Наступили мартовские иды, теплые, нежные лучи вешнего солнца упали на крышу, и сладостно кроткий огонь воспламенил мое сердце. Уже в течение нескольких дней меня терзала неопишуемая тревога, я был мучим какой-то неведомой, но чудесной печалью, а теперь я сделался спокойней — впрочем, лишь затем, чтобы вскоре перейти в состояние, о котором я никогда и не подозревал!

Из слухового окна неподалеку от меня вышло мягко и неслышно некое создание, — о, если бы я сумел описать свою милую! Она была вся в белом, только маленькая черная бархатная шапочка покрывала ее изящную головку, а на ее нежных ножках были чулочки, тоже черные. В ее прелестнейших глазках цвета очаровательной травяной зелени сверкал сладчайший огонь, изящные движения нежно заостренных ушек позволяли предполагать, что в ней обитают добродетель и разум, точно так же, как волнообразные движения хвоста выражали высочайшую прелесть и нежнейшую женственность!

Милое дитя как будто не заметило меня, оно глядело на солнце, хмурилось и чихало. О, этот нежный звук заставил мое сердце встрепенуться от сладостного ужаса, мой пульс отчаянно бился — моя кровь, кипя и бурля, неслась по всем бесчисленным жилам и прожилочкам, сердце мое хотело разорваться, весь несказанно сладкий восторг, овладевший мною, вырвался наружу в долго сдерживаемом «мяу!», которое я испустил. — Малютка быстро повернула голову в мою сторону, взглянула на меня, — испуг, детская, кротчайшая робость в глазах. — Незримые лапы рванули меня к ней с непреодолимой силою — но как только я устремился к прелестнице, чтобы схватить ее, она со скоростью мысли исчезла за дымовой трубой! В ярости и отчаянии я обегал всю крышу, издавая при этом скорбные звуки, увы, все тщетно, все напрасно — она не вернулась! Ах,

что за состояние! — лакомые кусочки казались мне невкусными, от наук меня попросту тошнило, я не мог ни читать, ни писать. «О, небо!» — вскричал я на следующий день, безрезультатно пытаюсь найти прелестницу на крыше, на чердаке, во всех ходах и переходах нашего дома, и вот возвратился, безутешный, поскольку малютка все время была и оставалась в помыслах моих, даже жареная рыба, которую мне дал маэстро, даже сама жареная рыба из мисочки взирала на меня ее глазами, глазами моей прелестницы, так что я громко воскликнул в безумном восторге: «Ты ли это, столь вожденная?» и проглотил ее буквально в единый миг; итак, я воскликнул: «О, небо, небо! Неужели это и есть любовь?» — Я стал спокойней, я решил действовать, как юноша глубоко эрудированный, дабы окончательно уяснить себе свое состояние, и посему начал, хотя и не без некоторых усилий, штудировать «*De arte amandi*»*³⁶ Овидия, а также «Искусство любить» Мансо³⁷, но ни один из симптомов влюбленности, какие приводятся в этих трудах, никак не приходился мне впору. Наконец, меня внезапно осенило, что я читал в какой-то пьесе**, что равнодушные и всклокоченные усы служат верным признаком влюбленности! — Я взглянул в зеркало, о, небо! — усы мои были всклокочены! О, небо, душа моя была исполнена равнодушия ко всему на свете, кроме любимого существа.

Одним словом, поскольку я теперь узнал, что и в самом деле нахожусь в состоянии истинной влюбленности, душа моя утешилась. Я решил основательно подкрепиться едой и питьем и потом отыскать малютку, к которой устремилось все мое сердце. Сладкое предчувствие подсказывало мне, что она сидит у парадной двери, я сошел вниз по лестнице и в самом деле нашел ее!

О, что за свидание! Как бурлил в моей груди восторг невыразимо блаженного любовного чувства! — Мисмис — так звали милочку, как я узнал впоследствии от нее самой, — Мисмис сидела там в преизящной позе на задних лапках и умывалась, многократно проводя передними лапками по щекам и ушкам. С какой неописуемой прелестью выполняла она у меня на глазах то, чего требуют элегантность и чистоплотность! О, ей не нужны были презренные ухищрения, чтобы возвысить те прелести, которые ей даровала природа! Решительнее, чем в первый раз, я приблизился к ней, и сел рядом с нею! Она не убежала, а взглянула на меня испытующе и затем потупилась. — «Прелестнейшая, — начал я тихо, — будь моей!» — «Отважный кот, — сказала она в смущении, — кто ты?»³⁸ Разве ты меня знаешь? Если ты будешь столь же искренен и откровенен, как я, и столь же правдив, то скажи и поклянись мне, что ты меня и вправду любишь». — «О! — воскликнул я в восторге, — да, клянусь ужасами Орка, клянусь священной луною, клянусь всеми прочими звездами

* «Об искусстве любви» (лат.).

** Кот имеет в виду «Как вам это понравится» Шекспира, третий акт, явление второе (Примечание Э. Т. А. Гофмана).

и планетами, которые заблещут нынешней ночью, едва расточится пелена туч, — клянусь тебе, что я люблю тебя!»

— И я тебя тоже, — прошептала малютка и в сладостной стыдливости прижала ко мне свою головку. Я хотел, исполненный жарчайшего пыла, обнять ее, но тут на меня с дьявольским визгом набросились два исполинских кота, отчаянно искусали и исцарапали меня, и, вдобавок ко всему, еще швырнули меня в канаву, так что гнусные помои сомкнулись над моей головой. С превеликим трудом спасся я от когтей этих кровожадных убийц, этих смертоубийственных бестий, которые не проявили ни малейшего уважения к моей образованности и знатности. Вопя от ужаса, взбежал я по лестнице. Когда маэстро увидел меня, он воскликнул с громким смехом: «Мурр, Мурр, что за вид у тебя, мой милый котик? Ха, ха! Я уже смеаю, что струсилось, ты начал выкидывать штучки, как истинный «Кавалер, блуждающий в лабиринте любви»³⁹, и при этом тебе здорово не повезло!» — После этих слов маэстро, к немалому моему неудовольствию, опять-таки громко расхохотался. Затем он велел налить в таз воды и без дальних разговоров несколько раз окунул меня в нее, так что я от чихания и фырканья почти утратил слух и зрение, потом крепко завернул меня в кусок фланели и уложил в мою корзинку. Я почти лишился чувств от ярости и боли, не мог двинуть ни лапами, ни хвостом. Наконец тепло оказало на меня свое благодетельное влияние, и я ощутил, что мысли мои приходят в порядок. «Ах, — стал жаловаться я, — что за новое горькое заблуждение на жизненном пути! Такова, стало быть, любовь, которую я уже так великолепно воспевал, — любовь, которая является высочайшим чувством, которая наполняет нас неизъяснимым блаженством, любовь, которая словно бы возносит нас в небеса! — Ах! Меня она низвергла в сточную канаву! Ах, я отрекаюсь от чувства, которое не принесло мне ничего, кроме укусов, омерзительного купанья и гнусного закутывания в презренную фланель!» Но едва лишь я вновь оказался свободным и здоровым, как Мисмис вновь возникла перед моими глазами, как некое неотвязное видение, и, еще не забыв пережитого позора, я, к великому своему ужасу, обнаружил, что все еще влюблен. С яростью я вновь попытался взять себя в лапы и, как подобает рассудительному коту, приступил к чтению Овидия. Как мне явственно вспоминается, именно в «*De arte amandi*»* я наткнулся на рецепт от любви, противомурное средство. Я прочел стихи.

Venus otia amat. Qui finem quaeris amoris,
Cedit amor rebus, res age, tutus eris! ** 40.

С новым рвением вознамерился я углубиться в науки, согласно этому предписанию, но на каждой странице перед глазами моими прыгала Мис-

* «Об искусстве любви» (лат.).

** Праздность Венере мила. Если хочешь покончить с любовью —
Страсть убеждает от дел. Действуй — и ты исцелен! (лат.).

мис, я думал о Мисмис, я читал и писал ее имя! — Автор вышеупомянутых стихов, подумалось мне, должно быть, имел в виду иную работу, и так как я слышал от других котов, что охота на мышей представляет собой необыкновенно приятное развлечение и вообще отличный способ поразвлекаться, то очень возможно, что под словом *gebis** следует иметь в виду охоту на мышей. Поэтому, едва стемнело, я отправился в погреб, где блуждал по мрачным ходам и переходам, распевая: «Сквозь чашу крался я, угрюм, с ружьем наперевес»⁴¹.

Но, ах! — вместо дичи, которую я собирался затравить, я вновь узрел ее милый образ: на темном фоне сумрачного подвала он вырисовывался особенно явственно. И к тому же прежестокая любовная боль вновь стала яростно терзать мое слишком чувствительное и слишком легко ранимое сердце! И я сказал: «Взоры девственной денницы устремитесь кротко вниз: Мурр-жених блаженно ходит там с невестою Мисмис!» Так мечтал я о победе, кот отрадный, горд собой, но, зажмурив очи, киска робко скрылась за трубой!

Таким образом, я, достойный всяческого сожаления, все больше и больше погружался в омут любви, в омут жестокой страсти, которую, должно быть, на погибель мне воспламенила в груди моей некая враждебная звезда. Весь трясясь от ярости, гневно восставая против моей судьбы, я вновь набросился на Овидия и прочел там следующие строки:

*Exige, quod cantet, si qua est sine voce puella,
Non didicit chordas tangere, posce lyram***⁴².

— Ах, воскликнул я, — к ней, к ней, ввысь, на крышу! Ах, я вновь отыщу ее, сладостную прелестницу, там, где я узрел ее впервые, но она должна будет петь, о да, петь, и, ежели она издаст лишь одну-единственную фальшивую ноту, я буду исцелен и спасен! Небо было ясно, и луна, при свете которой я поклялся в любви прелестной Мисмис, сияла, когда я взобрался на крышу, чтобы подстеречь мою красотку. Я долго не обретаю ее, и вздохи мои преобразились в громогласные любовные жалобы.

И, наконец, я запел песенку, которая в самом печальном и грустном тоне звучала примерно следующим образом:

Шумные рощи, ручьи говорливые,
В мощи предчувствий, о, волны игривые,
Со мною вместе
Плач о невесте
Вы поднимите — о Мисмис-прелестнице!
Пылкий юнец, где я обнял впервые
Стан ее, ах! Не на черной ли лестнице

* Дело (лат.).

** Голоса нет у подруги, так требуй, чтоб песню запела.
Если не трогала струн, деву сыграть попроси (лат.).

Нежной кудеснице
Котик излил свои чувства живые?!
Может быть, месяц, что в небе скитается
Мне объяснит, где теперь обретается
Милая детка, колдунья любимая!
Боль моя жуткая, неисцелимая!
Мудрый Назон, светоч суетной младости,
Ты помоги мне в печали и в радости:
Я от укулов любовного дротика
Скорчился весь в несказанном отчаянье...
Небо,
Ужели не сбудутся чаянья
И упования влюбленного котика?!

Уразумей же, любезный читатель, что славный поэт, находится ли он в блаженно-шелестящем лесу или же сидит, скажем, у о чем-то там шепчущего ручейка, все равно внимает струящимся к нему волнам, и они наполняют его всяческими предчувствиями, и вот в этих самых волнах он способен разглядеть все, чего только его душе угодно, и может спеть об этом так, как ему заблагорассудится. Однако же на тот случай, если кто-нибудь чрезмерно изумится по поводу поистине достойной удивления примечательности вышеприведенных стихов, мне хочется смиренно обратиться его внимание на то обстоятельство, что всякий человек, охваченный любовной лихорадкой, если даже он прежде едва мог срифмовать «блаженство» и «совершенство» или «любовь» — «кровь», если даже он прежде с превеликим трудом справлялся с этими довольно-таки заурядными рифмами, невзирая на самые отчаянные усилия, то теперь на влюбленного внезапно находит своего рода стихотворческий стих, и ему приходится прямо-таки изливаться великолепнейшими стихами, точно так же, как человек, пораженный насморком, неотвратимо раздражается ужасающим чиханием. Вот этому экстазу, овладевающему буднично-прозаическими натурами, мы уже обязаны многими великолепными творениями, и разве не прекрасно, что нередко именно благодаря этому иные двуногие Мисмис, не обладающие от природы чрезмерной *beauté* *, на некоторое время приобретают чудесную репутацию? И ежели такое случается с засохшими деревьями, то что же должно произойти с зеленым, с живым деревом? — Я полагаю, что ежели даже псы-прозаики, влюбившись, превращаются в поэтов, то что же должно происходить с истинными поэтами на этой стадии жизненного процесса?

Что же! Я не сидел ни в блаженно-шелестящем лесу, ни у журчащего ручейка, я сидел на голой крутой крыше; малую толику лунного света можно совсем при этом не принимать в расчет, и все-таки я в вышеприведенных мастерских стихах умолял леса, ручьи и волны и под конец

* Красота, прелесть (фр.).

моего приятеля Овидия Назона прийти ко мне, помочь мне, стать на мою сторону в титанической борьбе с любовной напастью! Мне несколько трудно было подыскать рифму к названию моего рода в родительном падеже: самую заурядную и банальную рифму «дротика» мне почему-то не очень-то захотелось применять, даже в минуты вдохновения. Но то, что я и в самом деле стал находить рифмы, вновь доказало мне преимущество моего кошачьего рода над человеческим, так как слово «человечий», как известно, рифмуется самым пренелепым образом, разве что с «овечий» и «предтечей», почему, как уже некогда заметил один шутник-комедиограф, — человек, стало быть, пренелепое животное⁴³. Я же напротив — животное *лепое*, и до чего еще *лепое!* Нет, не напрасно ударил я по струнам болезненной печали, не напрасно заклинал леса, ручьи, лунный свет и все прочее — привести ко мне даму моих помыслов, ибо вскоре из-за трубы вышла моя прогуливающаяся там прелестница — легчайшими, воистину волшебными шажками! «Ты ли это, милый Мурр, так чудесно распеваешь?» — так воскликнула Мисмис, увидав меня. «Как, — возразил я ей с радостным изумлением, — как, ты знаешь меня, сладчайшее существо?!» «Ах, — проговорила она, — ах, ну, конечно же, ты понравился мне сразу, с первого же взгляда, и душе моей причинило величайшую боль, что мои неблагоприятные двоюродные братьцы сбросили тебя в сточную канаву...» «Умолчим, — прервал я ее, — милое мое дитя, умолчим о сточной канаве, о, скажи мне, скажи мне — любишь ли ты меня?!» «Я навела справки, — невозмутимо продолжала Мисмис, — о твоих житейских и прочих обстоятельствах, и узнала, что тебя зовут Мурр и что ты, живя у необыкновенно доброго и хорошего человека, не только имеешь массу провизии, но также и наслаждаешься всеми удобствами и роскошествами бытия, вкушаешь их, так сказать: о да, ты, пожалуй, даже мог бы разделить все эти блага с нежной супругою! О, я люблю тебя, мой любезный Мурр». «О, небо, — воскликнул я в высочайшем восторге. — О, небо, возможно ли это, сон ли это или истинная правда? О, постой, постой, разум мой, не хватай, бога ради, через край! Ах, на земле ли я еще? Сажу ли я еще на крыше? Не витаю ли я уже в облаках? Все ли еще я кот Мурр? Может, я и впрямь счастливчик необыкновенный?! Приди на грудь мою, любимая, но назови мне сперва твое имя, прекраснейшая!» — «Меня зовут Мисмис», — ответила малютка, сладостно пришепывая в прелестной стыдливости, и доверчиво уселась возле меня. До чего же очаровательна она была! Серебром сверкала ее белая шубка в лунном сиянии, сладчайшим нежным огнем пылали ее зелененькие глазки.

О, ты...

استغنى

(Мак. л.):... Ты мог, конечно, любезный читатель, уже прежде узнать кое-что, но, да будет угодно небесам, чтобы мне не пришлось больше перескакивать с пятого на десятое, как это бывало до сих пор. Итак, как уже сказано, с отцом принца Гектора произошло то же самое, что с князем Иринеем, он выронил из кар-

мана свое миниатюрное княжество и сам не ведая как. Принц Гектор, менее всего на свете расположенный к тихому и мирному существованию, принц, который, невзирая на то, что из-под него вырвали княжеский престол, все же продолжал стоять непоколебимо и уж если нельзя было править, желал по крайней мере начальствовать. Итак, принц Гектор поступил на французскую службу, проявил отвагу необыкновенную, затем, услышав, как некая девица, играющая на цитре, поет ему: «Ты знаешь край, где апельсины зреют»⁴⁴, отправился в тот самый край, где действительно зреют вышеозначенные апельсины, то есть именно в Неаполь, сменив там французский мундир на неаполитанский. Там он сделался генералом с такой молниеносностью, как это случается только с принцами. Когда же родитель принца Гектора скончался, князь Ириней распахнул огромную книгу, в коей собственноручно перечислил коронованных лиц решительно всех царствующих фамилий Европы, где и отметил только что последовавшую кончину своего друга-князя и, так сказать, товарища по несчастью. Совершив этот акт, он долго рассматривал имя принца Гектора, после чего громогласно воскликнул: «Принц Гектор!» и захлопнул фолиант с такой силой и яростью, что присутствовавший при сем гофмаршал в ужасе отскочил на целых три шага. Итак, князь поднялся, неторопливо прошелся по комнате взад и вперед и втянул в себя гигантскую понюшку испанского табака, которой, право же, было более чем достаточно, дабы упорядочить все его помыслы. Гофмаршал наговорил с три короба об усопшем властелине, который помимо множества богатств обладал еще и любвеобильным сердцем, а заодно и о молодом принце Гекторе, которого попросту боготворит неаполитанский король и вся неаполитанская нация и т. д. и т. п. Князь Ириней, как будто даже не обращавший внимания на все эти разглагольствования, внезапно встал, как вкопанный, лицом к лицу с гофмаршалом, окинул его своим всееляющим страх и ужас взором Фридриха Великого, промолвил весьма выразительно «peut-être»* и уединился в соседнем кабинете.

— О, господи, воскликнул гофмаршал, — у его сиятельства, должно быть, возникли важнейшие идеи, а чего доброго — даже и планы!

Впрочем, все именно так и было. Князь Ириней размышлял о богатстве принца, о его родстве с могущественными владыками, в его душе оживилась даже давняя уверенность, что принц Гектор когда-нибудь все-непременно и обязательно сменит шпагу на скипетр, и ему пришла в голову мысль, что женитьба принца на принцессе Гедвиге может повлечь за собой благотворнейшие последствия. Камергер, которого князь тотчас же послал, чтобы со своей стороны выразить принцу глубокое соболезнование по случаю кончины его родителя, получил поручение сунуть принцу в карман, соблюдая полнейшую тайну, чрезвычайно удачный и схожий вплоть до цвета лица миниатюрный портрет принцессы. Следует заметить здесь, что принцессу и в самом деле можно было бы назвать

* Быть может! (фр.).

совершенной красавицей, если бы ее кожа была менее желтоватого оттенка. Именно поэтому ей весьма благоприятствовало вечернее освещение — она хорошела при свечах.

Камергер выполнил тайное поручение князя (который никому, даже княгине, не доверил ничего из своих намерений) и, следует сказать, выполнил весьма ловко. Когда принц увидел миниатюру, он пришел почти в такой же экстаз, как его коллега — принц из «Волшебной флейты». Подобно Тамино он если и не спел, то воскликнул: «В портрете прелесть нежных чар»⁴⁵ и затем далее «Ужель в душе любовный жар?», «Да, то любви волшебный дар!» Что касается принцев, то не одна лишь любовь заставляет их энергично стремиться к прекрасному, впрочем, принц Гектор вовсе и не думал о каких-либо других выгодах, когда, присев к столу, он безотлагательно написал князю Иринею, прося у него дозволения добиваться руки и сердца принцессы Гедвиги.

Князь Иринею ответил, что поскольку он охотно даст согласие на бракосочетание, которого он от всего сердца желает, в знак уважения к памяти своего покойного друга-князя, то, собственно говоря, никакие дальнейшие домогательства вовсе и не требуются. Но так как, однако, необходимо соблюсти форму, то пусть принц соизволит направить в Зигхартсвейлер благопристойного человека соответствующего звания, которого принц мог бы уполномочить обвенчаться с принцессой, дабы по старинному прекрасному обыкновению сам принц уже направился бы при всех регалиях в постель. Принц отписал ему в ответ: «Прибуду сам лично, мой благодетель!»

Князю это не слишком понравилось; ибо он считал венчание при посредничестве уполномоченного прекрасным, возвышенным, воистину княжеским, в глубине души радовался той великолепной церемонии, которая состоялась бы по этому поводу; утешило его разве то обстоятельство, что перед бракосочетанием можно будет устроить великий придворный праздник. Дело в том, что ему очень хотелось наградить принца большим крестом собственного княжеского ордена, учрежденного его отцом, крестом, который больше никто не имел права носить. Вот этот почти всеми забытый орден он и мечтал нацепить на мундир молодого принца и при этом самым торжественным образом.

Итак, принц Гектор прибыл в Зигхартсвейлер, чтобы взять в жены принцессу Гедвигу, а заодно и получить также большой крест этого самого пропавшего без вести ордена. Он, считая желательным, чтобы князь держал свое намерение в тайне, просил, преимущественно из-за Гедвиги, хранить молчание, ибо ему хотелось, прежде чем по всей форме добиваться ее руки, удостовериться в том, что Гедвига и впрямь любит его.

Князь не вполне уразумел, что именно хочет принц этим сказать, и высказал мнение, что, насколько ему известно, а также памятно, этой формы, то есть именно того, что касается необходимости убедиться в наличии любви перед бракосочетанием, в сиятельных домах никогда и в помине не было. Если же принц понимает под этим лишь не что иное, как

только выражение известной *attachement**, то, хотя, конечно, это до совершения обряда, пожалуй, собственно говоря, вовсе не должно иметь места, однако же, поскольку легкомысленная юность склонна перескакивать через всякие препоны, имеющие отношение к этикету, то все это отлично может быть проделано в самый краткий срок, минуты за три до обмена обручальными кольцами. Великолепным и возвышенным было бы, конечно, если бы сиятельные жених с невестой в этот незабвенный миг проявили бы некоторую взаимную антипатию, но, к величайшему сожалению, эти правила высочайшего благоприличия в новейшие времена совершенно утратили свое былое значение!

Когда принц впервые увидел Гедвигу, он шепнул своему адъютанту на непонятном для посторонних неаполитанском диалекте: «Ради всего святого! Она — хороша, но появилась на свет неподалеку от Везувия, и пламя его сверкает в ее глазах!»

Принц Игнатий успел уже весьма деловито осведомиться, есть ли в Неаполе красивые чашки и сколько из них принадлежит принцу Гектору, после чего этот последний, отвесив множество поклонов, хотел было вновь обратиться к Гедвиге, но тут растворились двери, и князь пригласил принца проследовать в парадную залу и принять там участие в роскошной церемонии, присутствовать на которой сочли необходимым все особы и персоны, которые, хотя бы в незначительной степени, так сказать для себя, как вещь в себе, имели нечто общее с княжеским двором. На сей раз отбор производился с гораздо меньшей строгостью, чем прежде, когда зигхартсгофский придворный круг был столь избранным, что людей собиралось не больше, чем на скромный пикник. Госпожа Бенцон с Юлией присутствовали также.

Принцесса Гедвига была тиха, погружена в себя, безучастна, казалось, что она уделяет красивому южанину несколько не больше внимания, чем всякому другому новому явлению при дворе, и спросила довольно брюзгливо свою приближенную фрейлину, краснощекую Нанетту, не сошла ли она, Нанетта, с ума, ибо та непрестанно нашептывала ей на ухо, что чужеземный принц такой красавчик, такой душка, и что более прекрасного мундира она в жизни своей не видывала.

Принц Гектор теперь широко развернул перед принцессой пестрый и кичливый павлиний хвост своей галантности, она же, почти уязвленная чрезмерной буйностью его слащавой экзальтации, расспрашивала его об Италии, о Неаполе. Принц описал ей тот эдем, в который она войдет как повелительница и богиня. Он доказал на деле свое искусство беседовать с дамой таким образом, что все слагается в гимн, восхваляющий ее красоту и прелесть. Но, не дослушав этого гимна, принцесса вырвалась и бросилась к Юлии, которую она увидела невдалеке. Она прижала ее к своей груди, назвала ее тысячью нежных имен, восклицая: «Это моя милая, любимая сестра, моя прекрасная, чудная Юлия!» Принц, несколько

* Привязанность. (фр.).

смущенный внезапным бегством Гедвиги, подошел к ним и устремил свой взор на Юлию, однако, он глядел так долго и так странно, что юная девушка, все больше и больше заливаясь краской, потупилась и робко повернулась к матери, стоявшей за нею. Но принцесса вновь обняла ее и воскликнула: «Моя милая, милая Юлия», и при этом у нее на глазах выступили слезы. «Принцесса, — тихонько проговорила Бенцон, — принцесса, что это с вами творится?» Принцесса, не обращая внимания на Бенцон, обратилась к принцу, пораженному настолько, что все его красноречие улетучилось неизвестно куда, и если Гедвига сперва казалась тихой, серьезной и сдержанной, то теперь она почти переступала границы дозволенного в какой-то странной, судорожной веселости. Наконец сильно натянутые струны сдали, и мелодии, которые теперь звучали из ее души, сделались более мягкими, кроткими, девичьи-нежными. Она была учтивей, чем когда-либо прежде, и принц был, должно быть, совершенно увлечен. Наконец, начались танцы. Принц после нескольких танцев попросил разрешения исполнить неаполитанскую народную пляску, и ему вскоре удалось дать о ней полнейшее представление всем танцующим так, что все шло как нельзя лучше и собравшиеся прекрасно переняли страстно-чувственный характер пляски.

Впрочем, никто не уловил этот характер танца лучше Гедвиги, которая танцевала с принцем. Она потребовала повторения и, когда танец был закончен во второй раз, настояла, не обращая внимания на предостережения советницы Бенцон, заметившей, что принцесса подозрительно бледна, — настояла на том, чтобы исполнить пляску в третий раз, ибо лишь на этот раз пляска ей по-настоящему удастся. Принц был вне себя от восторга. Он уносился в танце с Гедвигой, которая в каждом движении своем казалась воплощенной прелестью. Во время одной из фигур, которыми изобиловал танец, принц прижал прекрасную Гедвигу к своей груди, но в то же самое мгновение она без чувств поникла в его объятиях.

По мнению князя, более неловкого нарушения придворного этикета невозможно было себе представить, и только то, что бал происходит почти что на лоне природы, извиняет многое.

Принц Гектор сам отнес лишившуюся чувств в соседнюю комнату и уложил на софу, где Бенцон натерла ей лоб какой-то крепкой жидкостью, оказавшейся под рукой у лейб-медика. Этот последний, впрочем, объяснил обморок попросту приступом нервной слабости, вызванной разгорячением во время танца, и сказал, что состояние это очень скоро пройдет.

Врач был прав, несколько секунд спустя принцесса с глубоким вздохом раскрыла глаза. Принц, едва узнав, что принцесса очнулась, пробился сквозь плотное дамское окружение, в которое она была заключена, преклонил колени перед софой, стал горько сетовать на то, что он один виноват во всем случившемся и что сердце у него разрывается от боли. Однако же, как только принцесса увидела его, она воскликнула в явном ужасе: «Прочь, прочь!» — и вновь лишилась чувств.

— Пойдемте, — проговорил князь, хватая принца за руку, — пойдемте, дражайший принц, вы не знаете, что принцесса нередко страдает от пре-
странных грез. Одному небу известно, в каком удивительном виде вы
представились ей в этот миг! Вообразите себе только, дражайший принц,
уже дитятей — *entre nous soit dit** — уже дитятей она однажды целый
день подряд принимала меня за Великого Могола и требовала, чтобы
я выезжал верхом в бархатных домашних туфлях, на что я в конце кон-
цов и вынужден был согласиться, хотя, впрочем, только в саду.

Принц Гектор без дальнейших околичностей расхохотался князю прямо
в лицо и велел подавать экипаж.

Бенцон вынуждена была, чтобы ухаживать за Гедвигой, вместе
с Юлией остаться в замке, ибо так хотела княгиня.

Княгиня знала, каким могуществом психического воздействия на прин-
цессу прежде обладала Бенцон, ей было известно также, что этому психи-
ческому воздействию уступали также болезненные приступы подобного
рода. И впрямь и на этот раз случилось так, что принцесса вскоре пришла
в себя, после того как Бенцон неустанно обращалась к ней с нежными
словами. Принцесса призналась ни более, ни менее в том, что во время
танца принц превратился в драконоподобное чудовище и острым пылаю-
щим языком уколол ее в сердце. «Боже упаси! — воскликнула Бенцон, —
в конце концов принц Гектор оказывается чем-то вроде *mostro turchino***
из сказки Гоцци! Что за фантазии, ведь в конце концов все произойдет
точно так же, как с Крейслером, которого вы сочли опасным сумасшед-
шим!» «Никогда в жизни, — яростно воскликнула принцесса и прибавила
затем, смеясь, — и в самом деле мне не хотелось бы, чтобы мой добрый
Крейслер столь внезапно превратился в *mostro turchino*, как принц
Гектор!»

Когда ранним утром Бенцон, которая бодрствовала над ложем прин-
цессы, вошла в комнату Юлии, последняя пошла ей навстречу, бледная,
невыспавшаяся, свесив головку, как недужная горлица. «Что с тобой,
Юлия?» — испуганно воскликнула Бенцон, не привыкшая видеть свою
дочь в подобном состоянии. «Ах, матушка, — проговорила Юлия, совер-
шенно безутешно, — мне так не хочется больше бывать при дворе! Сердце
мое трепещет, когда я думаю о вчерашней ночи. Есть что-то отвратитель-
ное в этом принце; когда он взглянул на меня, я не в силах тебе описать,
что произошло в моей душе. Его мрачные и жуткие глаза метали молнии,
и я, несчастная, едва не погибла, сожженная ими! Не поднимай меня
насмех, маменька, но это был взгляд убийцы, избравшего свою жертву,
жертву, которой суждено погибнуть от ужаса прежде, чем будет обнажен
кинжал! Я повторяю, это совершенно необычное чувство, я не в состоянии
назвать его, но оно, подобно судороге, свело мои руки и ноги! Толкуют
о василисках, чей взгляд, как отравленный огненный луч, мгновенно

* Между нами говоря (фр.).

** Синее чудовище (ит.).

умерщвляет тех, кто решается заглянуть им в глаза. Принц кажется мне похожим на такое грозное чудовище».

— Ну вот теперь, — воскликнула Бенцон с громким смехом, — я и в самом деле вынуждена подумать, что вся история с *mostro turchino* — чистейшая правда, ибо принц, хотя он прекраснейший, прелюбезнейший, преучтивейший человек, показался двум девушкам одновременно драконом, василиском. Принцессе я готова простить безумнейшие фантазии, но ты, моя спокойная, нежная Юлия, милое дитя мое, неужели и ты стала воображать такую отчаянную чепуху. «А что творится с Гедвигой, — прервала Юлия речь советницы Бенцон, — я не знаю, что за злая, что за враждебная сила хочет оторвать ее от сердца моего, о да, и хочет бросить меня в борьбу с ужасным недугом, который свирепствует в ее душе! Да, недугом называю я это состояние, против которого бедняжка бессильна. Когда она вчера мгновенно отвернулась от принца, когда она меня ласкала, обнимала, я вдруг ощутила, что от нее так и пышет лихорадочным жаром. И к тому же еще эти танцы, ужасные танцы! Ты знаешь, матушка, как я ненавижу танцы, в которых мужчинам дозволено заключать нас в объятия. Мне кажется, что нас вынуждают расстаться в этот миг со всем, чего требуют нравственность и приличие, чтобы мужчинам предоставить перевес, который, по крайней мере самым чувствительным из них, отнюдь не доставляет радости. И вот Гедвига, которая не в силах была прервать этот полуденный танец, который казался мне отвратительным, с таким увлечением танцует его, хотя истинно дьявольское злорадство сверкало в глазах принца!»

— Дурочка, — сказала Бенцон, — чего ты только необразишь! И все-таки! Я не могу порицать твои убеждения, оберегай их, но не будь несправедлива по отношению к Гедвиге, вообще лучше не думай больше о том, что происходит с ней и с принцем, выкинь это из головы! Если хочешь, я позабочусь о том, чтобы ты некоторое время не видела ни Гедвигу, ни принца. Нет, твой покой не должен быть нарушен, милое мое, дорогое мое дитя! Прильни к сердцу моему! — И Бенцон обняла Юлию со всей материнской нежностью. «А что, если, — продолжала Юлия, прижав свое пылающее лицо к груди матери, — от этой ужасной тревоги, которая охватила меня, и произошли те странные фантазии, которые меня совсем расстроили?»

— Что же это за такие фантазии? — спросила Бенцон.

— Мне казалось, — продолжала Юлия, — мне казалось, что я блуждаю в волшебном саду, в котором среди густого темного кустарника там и сям цвели ночные фиалки и розы, расточая в воздухе сладостный аромат. Волшебное мерцание, подобное лунному свету, преобразалось в музыку и напевы, — когда оно золотым лучом прикасалось к деревьям и цветам, они трепетали от восторга, и кусты шелестели, и ручьи шептали и вздыхали тихо и горестно. Но тут, однако, я заметила, что я сама — та песня, которая звучит в саду, и так же, как тускнеет блеск звуков, так и я сама должна погибнуть в болезненной печали! Но вдруг кроткий голос

произнес: «Нет! Звук это блаженство, а вовсе не гибель, и я держу тебя крепко, держу тебя сильными руками, — и в твоём существе покоится мой напев, а ведь он вечен, словно страстная тоска!» Это был Крейслер, который стоял передо мной и говорил эти слова. Небесное чувство утешения и надежды охватило мою душу, и я сама не знаю — я говорю тебе все, матушка, — да, я сама не знаю, как случилось, что я упала на грудь Крейслеру. И тут внезапно я ощутила, как меня крепко обвили железные руки и ужасный насмешливый голос возвестил: «Что ты противишься, жалкая, ты ведь уже убита и отныне должна быть моей». Это был принц, который крепко держал меня. С громким криком ужаса я проснулась, накинула ночное платье и, подбежав к окну, распахнула его, так как в комнате было душно. Вдалеке я увидела человека, который сквозь подзорную трубу смотрел на окна замка, потом, однако, побежал по аллее, странным, я бы сказала, пожалуй, дурашливым образом, скача то туда, то сюда, и выделявая при этом всякие антраша и прочие театральные балетные па, загибая в воздухе руками и, как мне казалось, громко при этом подпевая. Я узнала Крейслера, и, хотя я вынуждена была рассмеяться от души, мне показалось все же, что он — благодетельный дух, который оградит меня от принца. И вот я поняла, наконец, что передо мной раскрылась внутренняя сущность Крейслера, что я впервые вижу теперь, как его лукавый едкий юмор, который нередко кое-кого уязвлял, исходит из верхней и прекраснейшей души! Я могла бы побегать вниз, в парк, я могла бы пожаловаться Крейслеру на это страшное дикое сновидение!

— Это, — серьезно сказала Бенцон, — это преглупое сновидение, а эпилог еще глупее! Тебе нужен покой, Юлия, легкая утренняя дрема будет тебе полезна, да и мне следовало бы поспать еще несколько часов.

С этими словами Бенцон покинула комнату, а Юлия так и поступила, как ей было велено.

Когда она проснулась, солнце полудня сияло сквозь окно, и сильное благоухание ночных фиалок и роз струилось по комнате. «Что это, — воскликнула Юлия, исполненная изумления, — что это! Разве это сон наяву?» Но когда она огляделась, над ней — на спинке софы, где она спала, — лежал чудесный букет тех самых цветов — роз и ночных фиалок!

— Крейслер, мой милый Крейслер, — нежно воскликнула Юлия и погружилась в мечтательные грезы.

Принц Игнатий изволил осведомиться, не будет ли позволено ему часок повидаться с Юлией. Юлия быстро оделась и поспешила в комнату, где Игнатий уже ожидал ее с целой корзиной, полной фарфоровых чашек и китайских болванчиков. Юлии, предоброму дитяти, нравилось по целым часам играть с принцем, к которому она относилась с чувством глубокого соболезнования. Ни одного слова издевки и презрения не слетало с ее губ, как это, пожалуй, могло бы произойти с кем-нибудь другим порою, и прежде всего — с принцессой Гедвигой, — вот поэтому-то так и выходило, что принц Игнатий больше всего предпочитал общество Юлии и очень часто даже называл ее своею маленькой невестой. Чашки были расстав-

лены, куклы расположены в должном порядке, и Юлия как раз держала речь от имени арлекинчика к самому японскому императору (обе куклолки стояли друг против друга), когда в комнату вошла советница Бензон.

После того, как она некоторое время следила за игрой, она поцеловала Юлию в лоб и проговорила: «Ты все-таки мое милое, доброе дитя!»

В этот день смеркалось поздно. Юлия, которая по своему желанию, получила дозволение не присутствовать за обедом, сидела одиноко в своей комнате, дожидаясь матери. Вдруг послышались тихие шаги, дверь раскрылась и, смертельно бледная, с остановившимися глазами, подобная привидению в своем белом платье, вошла в комнату принцесса. «Юлия, — молвила она тихо и глухо, — Юлия! Назови меня безумной, распушенной, сумасшедшей, но не отвращай от меня сердца своего, я нуждаюсь в твоём сострадании, твоём утешении! Все это не более чем чрезмерное раздражение, невероятное утомление от ужасного танца, из-за которого я расхворалась, но теперь это уже прошло, мне лучше! Принц отбыл в Зигхартсвейлер! Мне нужно на воздух, пойдем в парк!»

Когда обе они, Юлия и принцесса, находились в конце аллеи, яркий свет стал струиться им навстречу из глубины зарослей, и до слуха их донесли божественные песнопения. «Это вечерняя литания в часовне Девы Марии», — воскликнула Юлия.

— Да, — сказала принцесса, — войдем туда, давай будем молиться! Молись и ты за меня, Юлия!

→ Мы будем молиться, — сказала Юлия, охваченная глубочайшей болью за свою подругу, — мы станем молиться, чтобы злой дух никогда не возымел власти над нами, чтобы наша чистая душа не была бы растроена кознями недруга рода человеческого.

Когда девушки подошли к капелле, находившейся в дальнем конце парка, поселяне шли оттуда, некоторые пели литанию перед украшенным цветами и озаренным множеством лампад образом девы Марии. Они преклонили колени на молитвенной скамеечке. Тут певчие на маленьких хорах, расположенных сбоку от алтаря, запели «Ave maris stella» * 46, гимн, который лишь совсем недавно сочинил Крейслер.

Пение началось тихо, затем становилось все сильнее и сильнее в «dei mater alma» **, пока звуки, устремлявшиеся в «felix coeli porta» ***, не улетели прочь на крыльях вечернего ветра.

Девушки все еще стояли на коленях, испытывая глубочайшее благоговение. Священник бормотал молитвы, и издали, будто хор ангельских голосов с ночного окутанного тучами неба, звучал гимн: «O sanctissima» ****, который затянули возвращающиеся домой певчие.

Наконец священник благословил их. Тогда девушки встали и бросились друг другу в объятия. Неизъяснимое горе, слияние восторга и

* Привет тебе, звезда морей (лат.).

** Владычица-богоматерь (лат.).

*** Блаженные врата небесные (лат.).

**** О пресвятая (лат.).

боли, казалось вот-вот вырвется из груди, и кровавые капли, сочащиеся из уязвленного сердца, превратились в жаркие слезы, хлынувшие из очей. «Это был он», — тихо прошептала принцесса. «Это был он», — ответила Юлия. Они поняли друг друга. Лес, в исполненном предчувствия молчании, ожидал, когда взойдет месяц и рассыплет над ним свое мерцающее золото. Хорал певчих, все еще звучавший в ночной тишине, казалось, тянется навстречу облакам, которые вспыхнули, пылая, и растеклись над горами, обозначая путь сверкающего светила, перед которым бледнели и меркли звезды.

— Ах, — заговорила Юлия, — что же это такое, что так нас волнует, что как бы тысячами болей терзает нашу душу? Прислушайся только, как утешительно звучит отдаленный напев, слетая к нам вниз! Мы молились, и из золотых облаков кроткие духи говорили с нами о небесном блаженстве. «Да, моя Юлия, — серьезно и твердо ответила принцесса, — да, моя Юлия, над облаками счастье и блаженство, и мне хотелось бы, чтобы ангел небесный вознес меня к звездам, прежде чем мною овладеет темная сила. Я хотела бы, пожалуй, умереть, но я знаю, что тогда меня снесли бы в княжеский склеп, и предки мои, погребенные там, не поверили бы, что я умерла, и пробудились бы от своего смертного сна — и стали бы жуткими призраками и изгнали бы меня! Тогда я перестала бы принадлежать к мертвым и перестала бы принадлежать к живым — и нигде не нашла бы приюта и крова».

— Что ты говоришь, Гедвига, ради всего святого, что ты говоришь? — в испуге воскликнула Юлия.

— Мне как-то, — продолжала принцесса все тем же твердым, почти что равнодушным тоном, как бы упорствуя в этом тоне, — приснилось нечто подобное. Очень может быть, впрочем, что какой-нибудь мой грозный предок в могиле сделался вампиром, и вот он теперь сосет мою кровь. Не в этом ли причина моих частых обмороков?

— Ты больна, — воскликнула Юлия, — ты совершенно больна, Гедвига, ночной воздух вредит тебе, идем, идем, поспешим скорее домой.

С этими словами она обняла принцессу, которая молча позволила себя увести.

Луна всплыла и висела теперь высоко над Гейерштейном; в магическом озарении, в таинственном сиянии стояли кусты и деревья и шептали о чем-то и шелестели, ласкаясь к полуночному ветру на тысячи ладов.

— Как все-таки прекрасно, — сказала Юлия, — жить на земле, — разве природа не предлагает нам все прекраснейшие свои чудеса, будто добрая мать своим любимым детям? «Ты так думаешь?» — спросила принцесса, — и продолжала мгновение спустя. — Мне не хотелось бы, чтобы ты меня слишком глубоко поняла, и я прошу тебя считать все это лишь проявлением некоего дурного настроения. Ты еще ничего не знаешь о всеистребляющей боли жизни. Природа жестока к нам, она печется и заботится лишь о своих здоровых детях, а больных она покидает, и более того — обращает все виды грозного оружия против самого их существова-

ния. Ах! Ты знаешь, что для меня прежде природа казалась не чем иным, как картинной галереей, созданной для того, чтобы упражнять силы ума и рук, но теперь все иначе, ибо я ничего не чувствую и нечего не ощущаю, кроме ужаса этой природы. Я предпочла бы скорее бродить по ярко освещенным залам среди пестрой толпы гостей, званых и незваных, чем одиноко, лишь с тобой одной, плутать в этой яркой лунной ночи.

Юлии становилось страшно, она заметила, что Гедвига слабеет, что силы ее почти на исходе, так что бедняжке Юлии пришлось с трудом поддерживать Гедвигу и не давать ей упасть.

Наконец они достигли замка. Неподалеку от последнего, на каменной лавке, стоящей под кустом бузины, сидела какая-то женщина, закутанная в темные ткани. Как только Гедвига увидела ее, она воскликнула, полная радости:

— Спасибо тебе, приснодева, и спасибо всем святым, она здесь! — и пошла, будто к ней внезапно вернулись силы, пошла, высвободившись от Юлии, к этой женщине, которая поднялась и глухо сказала. «Гедвига, бедное мое дитя!».

Юлия увидела, что особа эта, закутанная с головы до ног в какие-то темнобурые ткани, оказалась пожилой женщиной, она была в тени, глубокие тени мешали разглядеть черты ее лица. Объятая дрожью, Юлия остановилась, как вкопанная.

Обе они, незнакомка и принцесса, опустили на скамью. Женщина нежно убрала пряди волос со лба Гедвиги, затем ласково прижала к нему руки и заговорила медленно и тихо на каком-то языке, которого Юлия никогда не слыхала, нет, она не помнила, чтобы когда-нибудь слышала звуки этого языка! Это продолжалось несколько минут, и затем незнакомка крикнула, обращаясь к Юлии: «Девочка, поспеши в замок, позаботься, чтобы принцессу внесли туда. Она погрузилась в сладостный сон, от которого пробудится здоровой и радостной!»

Юлия, ни на мгновение не проявляя своего изумления, поступила так, как ей было велено.

Когда она вернулась вместе с камерфрейлинами, они нашли принцессу, заботливо закутанную в шаль: она и в самом деле сладко спала, незнакомка же — исчезла бесследно.

— Признайся, — молвила Юлия на следующее утро, когда принцесса пробудилась вполне исцеленная, не проявляя ни малейших следов вчерашнего потрясения, чего очень опасалась Юлия, — признайся мне, бога ради, кто была эта удивительная женщина?

— Я не знаю этого, — возразила принцесса, — один-единственный раз в моей жизни видела я ее до сих пор. Ты помнишь, как я однажды, еще ребенком, тяжело заболела и врачи приговорили меня к смерти. И вот тогда она сидела ночью у моей постели и убаюкивала меня, как давеча, и я погрузилась в сладкую дрему, из которой пробудилась совершенно здоровой. Прошлой ночью образ этой женщины впервые вновь возник у меня перед глазами, мне показалось, что она вновь должна появиться и спасти

меня, так и случилось на самом деле. Сделай это ради меня и не говори ни слова о том, что она явилась ко мне, и не дай ни словом, ни жестом заметить, что с нами случилось нечто чудесное. Вспомни Гамлета — и будь моим верным Горацио! Несомненно, что с этой женщиной связана какая-то тайна, но пусть эта тайна останется для нас с тобой как бы за семью печатями — мне думается, что углубляться в нее попросту опасно! Разве не довольно того, что я исцелена и весела, что я избавилась от всех призраков и привидений, которые преследовали меня? — Все изумлялись столь внезапному выздоровлению принцессы. Лейб-медик заметил даже, что ночная прогулка в часовню Девы Марии оказала на впечатлительную принцессу потрясающее и благотворное воздействие и что он попросту забыл четко и определенно предписать совершение подобного рода прогулки. Однако же советница Бенцон пробормотала себе под нос. «Гм! Старуха приходила к ней — ну, что ж, пусть на этот раз это ей сойдет с рук!» Ну а теперь самое время, чтобы тот роковой вопрос биографа: «Ты...



(Мурр пр.): .. итак, ты любишь меня, милая Мисмис? О, повторяй мне это, повторяй тысячекратно, чтобы я пришел в еще больший восторг и смог бы наболтать столько вздора, сколько положено любовнику, созданному воображением величайшего романиста! Но, дражайшая моя, ты ведь успела уже заметить мою поразительную склонность к вокальному искусству, так же как и мою необыкновенную искусность во всем, что касается пения, — так, может быть, тебе угодно будет, драгоценнейшая моя, спеть мне хоть коротенькую песенку? «Ах, — возразила Мисмис, — ах, возлюбленный мой котик Мурр, конечно же, и я отнюдь не совсем неопытна в вокальном искусстве, но ты же знаешь, как обстоит дело с юными певицами, когда им впервые в жизни приходится выступать перед ценителями и знатоками! Страх и ужас, трепет и отчаяние настолько сдавливают им горло, что они оказываются не в состоянии петь, и прекраснейшие звуки, трели, морденты и прочие музыкальные украшения самым что ни на есть роковым и фатальным образом застревают у них в горле, как рыба кость! — Спеть арию в подобных случаях оказывается совершенно невозможным, почему и вошло в правило открывать такого рода концерты дуэтом. Давай-ка, милый, попробуем исполнить с тобой хотя бы небольшой дуэт, ежели ты в настроении!» Это пришлось мне по сердцу. Мы сразу же запели нежнейший дуэт: «Узрев тебя лишь раз, к тебе всем сердцем льну я» и т. д. и т. п. Мисмис начала несколько боязливо, но вскоре в нее вселил бодрость мой уверенный фальцет. Голос ее был чрезвычайно мил, исполнение оказалось уравновешенным, мягким, нежным — короче говоря, она показала себя с лучшей стороны, как отличная вокалистка. Я был в полном восторге, хотя и сознавал, что мой приятель Овидий вновь подвел меня. Ибо с *cantare** у Мисмис все обстояло как нельзя лучше, по-

* Петь (лат.).

этому обошлось вовсе без *chordas tangere* * и мне незачем было аккомпанировать ей на гитаре. Итак, Мисмис пела с исключительной легкостью, с небывалой выразительностью и с высочайшей эlegantностью популярное «*Di tanti palpiti*» **⁴⁷ и т. д. и т. п. От героически напряженного речитатива она великолепно перешла к анданте воистину кошачьей сладости. Казалось, что ария написана специально для нее, так что мое сердце переполнилось и я испустил восторженный вопль. Ах! Мисмис непременно должна будет покорить этой арией души всех наших чувствительных котов! — Ну, что ж, — мы спели с ней еще один дуэт из новейшей оперы, — и этот дуэт удался как нельзя лучше, казалось даже, что он нарочно написан для нас с ней — и только для нас! Райские рулады с небывалым блеском вырывались из нашей души, так как они по большей части состояли из хроматических гамм. Вообще следует заметить, что наше кошачье племя хроматично от природы и что всякий композитор, который вздумает сочинять для нас, превосходно поступит, ежели построит мелодии именно на хроматической основе. К сожалению, я запомнил имя замечательного маэстро, который сочинил этот дуэт, — это прекрасный и милый человек, просто чудесный человек, композитор в моем вкусе!

Во время этого нашего концерта на крыше появился черный кот, который начал сверкать на нас своими пылающими глазами. «Убирайтесь-ка отсюда подобру-поздорову, дружище, — крикнул я ему, — не то я выцарапаю вам глаза и сброшу вас с крыши, — ну, а если, впрочем, у вас явилась охота спеть вместе с нами, то против этого у меня нет возражений!» Я знал этого молодого человека в черном, знал, что у него из ряда вон выходящий бас — почему и предложил ему спеть одну вещь, которая мне, правда, не слишком нравится, но которая, однако, чрезвычайно подходила к предстоящей мне разлуке с Мисмис. Мы пели: «Ужели, мой дражайший друг, тебя я не увижу боле!»⁴⁸ Однако, едва я заверил черного кота в том, что боги будут охранять меня, как здоровенный обломок кирпича упал на крышу, едва не задев нас, и ужасающий голос проорал: «Да замолчите же, проклятушие коты!» И мы, гонимые смертельным страхом, устремились на чердак. — О, бессердечные варвары, начисто лишённые чувства изящного, остающиеся невосприимчивыми к трогательнейшим жалобам и пениям неизъяснимой любовной тоски — и порождающие одну лишь месть, одну лишь смерть и гибель!

Как уже сказано, то, что должно было освободить меня от моей любовной муки, лишь глубже ввергало меня в нее. Мисмис отличалась такой редкостной музыкальностью, что мы с ней вместе фантазировали преизящным образом. Напоследок она очаровательно спела мои собственные мелодии — из-за этого я чуть было совсем не потерял голову и ужасно терзался и мучился в моей любовной печали, так что совершенно побледнел, исхудал и вообще стал выглядеть самым отчаянным образом. И вот,

* Перебирать струны (лат.).

** От такого трепета (ит.).

наконец, после того как я достаточно пребывал в ярости, мне пришло в голову последнее, хотя, скажем прямо, — крайнее средство; оно, думалось мне, способно радикально исцелить меня от моих амурных терзаний. Я решил предложить моей Мисмис лапу и сердце. Она согласилась, и, как только мы стали парой, я заметил, что мои любовные горести совершенно исчезли. Молочный суп и жаркое вновь стали казаться мне чрезвычайно вкусными, ко мне вернулось веселое расположение духа, усы распушились, шерсть приобрела прежний прелестный глянец, ибо я теперь больше, чем прежде, стал уделять внимание туалету, и, напротив, — моя Мисмис теперь вовсе не желала умываться. Но, невзирая на это, я сочинил на прежний лад еще несколько стихотворений в честь моей Мисмис, еще красивей, чем прежде, еще возвышенной, ибо я все более и более взвизгивал в них неизъяснимое чувство нежности, пока оно не достигло величайшей высоты, выше было уже просто некуда! Наконец, я посвятил своей возлюбленной еще целую объемистую книгу и таким образом также и в литературно-эстетическом отношении сделал все, что только можно требовать от честного и по уши влюбленного кота. Впрочем, мы, я и моя Мисмис, вели спокойную, счастливую семейную жизнь на соломенной подстилке у дверей моего маэстро. Но есть ли на этом свете счастье, которое было бы хотя бы сколько-нибудь прочно! Вскоре я заметил, что Мисмис в моем присутствии нередко бывает рассеянной, что, говоря со мной, она отвечает порой истую чушь; что с ее уст срываются глубокие вздохи, что она предпочитает томные любовные романсы, — да, да, в конце концов она стала выглядеть ужасно слабой, утомленной и больной. Когда же я допытывался у нее, что с ней такое, то она трепала меня по щеке и отвечала: «Ничего, ровно ничего, мой милый, добрый папочка!», но что-то с ней явно происходило. Нередко случалось, что я тщетно ожидал ее на нашей соломенной подстилке, тщетно искал ее в подвале, на чердаке, — и когда я ее там наконец находил и начинал нежно укорять ее, она старалась извинить свое поведение тем, что состояние ее здоровья требует длительных прогулок и даже, что один кот-медик посоветовал ей совершить поездку на воды. Все это опять-таки заставило меня усомниться в ней. Она, видимо, заметила мое скрытое раздражение и всячески старалась ублажать меня любовными ласками, но даже и в этом проглядывало нечто странное, — я, право, не знаю, как назвать это? — но ласки эти вызывали во мне озноб, вместо того чтобы согреть меня, — и все это было мне не по душе и казалось до крайности подозрительным. Я, впрочем, отнюдь не предполагал, что поведение моей Мисмис могло иметь свои особые причины, но понимал только, что с каждым мигом угасали даже и последние искорки моей любви к прекрасной подруге и что, когда мы оставались наедине, меня вдруг охватывало чувство смертельной скуки. Посему я пошел своим путем, а она — своим; если же мы случайно встречались на соломенной подстилке, то немножечко упрекали друг друга, хотя и с величайшей любовью, а затем вели себя как нежнейшие супруги и дружно воспевали тот домашний уют, который окружал нас.

Случилось так, что однажды тот самый басовитый черный кот посетил комнату моего мастера. Он ронял какие-то отрывочные, исполненные таинственности слова, потом без обиняков спросил, как мне живется с моей Мисмис, — короче говоря, я отлично заметил, что у Черного было на душе нечто, что ему безумно хотелось бы открыть мне! Наконец, впрочем, все обнаружилось. Некий юноша, служивший в войсках и участвовавший в боевых действиях, вернулся с поля брани и жил по соседству с нами на скромную пенсию, которую ему вышвыривал проживавший там же хозяин харчевни в виде рыбьих костей и объедков. Юноша этот отличался прекрасной фигурой, он был сложен, как Геркулес, да к тому же еще носил богатый чужеземный черно-серо-желтый мундир, а за проявленную им отвагу, а именно за то, что он с немногими сотоварищами очистил от мышей целый амбар, носил на груди почетный Знак Жареного Сала и, естественно, привлекал к себе взоры всех девушек и женщин в нашем околотке.

Все женские сердца сильнее бились при его приближении, когда он шествовал — воплощенная отвага и дерзновенность — с высоко поднятой головой, бросая вокруг себя пламенные взоры! Вот именно он-то, как уверял Черный, влюбился в мою Мисмис, она в свою очередь ответила ему полнейшей взаимностью, и было слишком явно, вполне даже несомненно, что они тайно видятся с бесспорно амурными целями каждую ночь за дымовой трубой, на крыше или же в подвале.

— Меня удивляет, мой дражайший друг, — говорил Черный, — что вы, при всей свойственной вам в прежние дни пронизательности, вовсе не замечаете этих отношений, — но влюбленные мужья нередко бывают слепы, и мне очень жаль, что долг дружбы обязывает меня безжалостно открыть вам глаза, ибо я знаю, что вы влюблены по уши в вашу несравненную супругу.

— О, Муций, — так звали Черного, — о, Муций, — воскликнул я, — мало сказать, что я люблю ее, мало сказать, что я обожаю мою очаровательную изменницу! Я поклоняюсь ей, все мое существо принадлежит ей! Нет, она не может совершить такую подлость, это верная душа! Муций, черный клеветник, вот тебе плата за твой отвратительный навет! — Я выпустил когти и уже занес было лапу, но Муций дружелюбно взглянул на меня и молвил самым спокойным тоном: «Не горячитесь так, милейший, — вы разделяете судьбу многих весьма порядочных людей — везде царит пошлейшее непостоянство в делах семейных, — везде, и преимущественно у наших сородичей!» Я опустил занесенную было лапу, в полнейшем отчаянии несколько раз подпрыгнул и вскричал затем, вне себя от ярости: «О, небо! О земля! Кого ж еще призвать на помощь? Ад, быть может?»⁴⁹ — Кто причинил мне такую боль, кто, как не черно-серо-желтый кот?! А она, сладостная моя супруга, прежде такая верная и милая, как она могла, исполненная адского обмана, пренебречь всем и предать того, кто так часто, убаюканный, засыпал на ее груди и утопал в нежнейших любовных мечтаниях? О, лейтесь слезы, лейтесь слезы по

неблагодарной! О, небо, тысячу проклятий, черт побери этого пестрого ловеласа, там, за трубой!»

— Успокойтесь, пожалуйста, — сказал Муций, — успокойтесь только, ради всего святого, — вы слишком разъярились от внезапного огорчения! Будучи вашим истинным другом, я не хочу вам мешать теперь в вашем самоусладительном отчаянии. Впрочем, ежели бы вы, в вашей безутешности, пожелали бы наложить на себя лапы, то я мог бы вам, пожалуй, услужить, предложив вам воспользоваться надежнейшим крысиным ядом, — однако я этого не сделаю, ибо вы ведь являетесь премилым, очаровательнейшим котом, не лишенным известного обаяния, и мне было бы донельзя жаль вашей молодой жизни! Утешьтесь, пускай эта Мисмис бежит, куда ей вздумается, — на свете еще великое множество прелестнейших кошек. — Адью, милейший! — И с этими словами Муций выпрыгнул в раскрытую дверь.

Но когда я, тихонько полеживая под печкой, подлее поразмышлял относительно открытий, преподнесенных мне обязательным котом Муцием, я ощутил, что в душе моей, пожалуй, даже взыграло нечто — вроде бы даже напоминающее затаенную радость. Теперь-то я определенно знал, как обстоят дела с Мисмис, я перестал терзаться неизвестностью, этот огорчительный этап был мною пройден! Впрочем, если я, приличия ради, проявил надлежащее отчаяние, то я полагаю, что то же самое приличие требует со всей возможной энергией приняться за треклятого черно-серо-желтого: вступить с ним в решительную схватку!

Ночью я подстерег влюбленную пару за трубой и со словами: «Ах ты, адская bestия! Ах ты, гнусный предатель!» — самым яростным образом набросился на моего соперника. Однако соперник мой, как я, увы, слишком поздно заметил, далеко превосходящий меня силой, вцепился в меня, надавал мне оплеух и пощечин самым мерзопакостным образом, — так что он выдрал у меня несколько ключев шерсти, — затем же этот негодяй поспешно прыгнул с крыши, после чего его и след простыл! Мисмис лежала в обмороке, однако же, едва я приблизился к ней, вскочила столь же проворно, как и ее кавалер, и скрылась вслед за ним на чердаке.

Весь разбитый, истерзанный, с расцарапанными в кровь ушами, я пополз вниз к моему маэстро, проклиная самую мысль о том, чтобы оставить все как есть и, так сказать, подвергнуть мой брак известного рода консервации; теперь мне уже ничуть не казалось позорным — попросту махнуть лапой на все и уступить мою крошку Мисмис черно-серо-желтому прощелыге!

«Что за враждебная судьба, — так думалось мне, — из-за возвышенно-романтической любви меня швыряют в сточную канаву, а семейное счастье приводит к тому, что я подвергаюсь самым гнусным побоям!» На следующее утро я весьма изумился, когда, выходя из комнаты маэстро, увидел на соломенной подстилке мою Мисмис. «Милейший Мурр, — нежно и притом совершенно как ни в чем не бывало прогово-

рила она, — мне кажется, я, знаешь ли, чувствую, что больше не люблю тебя, как прежде, и мне от этого, поверь, чрезвычайно больно».

— О, драгоценная моя Мисмис, — возразил я нежно, — это терзает мне сердце, но я должен признаться тебе, что со времени, когда случились известные вещи, я тоже к тебе охладел.

— Не обижайся, Мурр, — продолжала Мисмис, — не обижайся, мой сладостный дружок, но мне все кажется, что ты давным-давно уже совершенно несносен, совершенно невыносим.

— О, всемогущее небо, — воскликнул я в полнейшем восторге, — что за родство душ, какая необыкновенная родственность натур, — ведь я испытываю то же самое, что и ты ко мне.

После того как мы, таким образом, пришли к единому мнению, что мы друг друга терпеть не можем и что нам по необходимости придется расстаться навеки, мы обнялись на самый нежный лад и пролили жаркие слезы радости и восхищения.

Засим мы расстались — и она и я были отныне убеждены в превосходных качествах, в величии души другого и охотно превозносили эти наши взаимные качества перед всеми, кто только проявлял охоту слушать об этом.

— И я рожден в Аркадии счастливой! — воскликнул я и стал налегать на изящные искусства и науки куда ревностней, чем когда бы то ни было доселе.

استغناء (Мак. л.): . . вам, — сказал Крейслер, — да, я говорю это вам в глубокой душевной убежденности, эта тишина должна казаться более опасной, чем самая яростная буря. Это тягостное, глухое, влажное удушье перед всеразрушающей грозой, вот в этом глухом затишье все сейчас и движется при том самом дворе, который наш князь Ириней выпустил на свет божий в формате duodecimo* да еще с золотым обрезом, подобно роскошному альманаху. Но напрасно сей сиятельный властелин, подобно второму Франклину⁵⁰, устраивает блистательные празднества, видя в них своего рода громоотвод: молнии все-таки ударят и, быть может, опалят его собственное державное облачение. Это истинная правда, принцесса Гедвига подобна теперь светлой и ясно льющейся мелодии, а ведь прежде дикие, тревожные аккорды, перемешанные друг с другом, вырывались из ее израненной груди, но... Вот! И Гедвига выступает теперь, просветленно и горделиво, опираясь на руку симпатичного неаполитанца, — она идет с ним, и Юлия улыбается ему мило и душевно, и охотно принимает его комплименты и прочие знаки внимания, которые принц, не отрывая глаз от уже избранной невесты, так ловко умеет адресовать Юлии, что вся ее юная, неопытная душа должна становиться жертвой этих выстрелов, уязвляющих ее рикошетом еще надежней, чем если бы опасное оружие было обращено прямо против нее! И все-таки думалось, как мне рассказала Бенцон, что прежде

* В двенадцатую долю листа (лат.).

Гедвига была подавлена появлением *mostro turchino*, а нежной, спокойной Юлии, этому дитяти небес, сей нарядный и смазливый *général en chef* * тоже показался мерзостным василиском! — О, вы предчувствующие души, вы не обманулись! Ах, дьявольщина, разве я не читывал во всемирной истории Баумгартена⁵¹, что змий, который лишил нас рая, роскошествовал и важничал в фуфайке из раззолоченной чешуи? Это вспоминается мне, когда я вижу сего Гектора в расшитом золотом мундире. Впрочем, Гектором звали также чрезвычайно достойного бульдога, который питал ко мне неописуемую любовь и был верен мне необычайно. Мне хотелось бы, чтобы этот верный пес был неподалеку и чтобы я натравил его на его сиятельного тезку, дабы он вцепился в полы его мундира, когда он, важничая, вышагивает между двумя милыми сестрицами! Или скажите, маэстро, ведь вы знаете такое множество всяческих кунштштюков и фокусов, — скажите мне, с чего бы мне начать, как бы мне в надлежащий миг превратиться в осу и настолько растормошить этого сиятельного кобеля, чтобы вывести его из равновесия, сбить с него весь этот его проклятый гонор!

— Я позволил вам выговориться, Крейслер, — сказал маэстро Абрагам, — и вот теперь я спрашиваю вас, способны ли вы спокойно выслушать меня, если я вам открою кое-какие обстоятельства, которые вполне оправдывают ваши предположения и предчувствия?

— Разве я не степенный капельмейстер, — ответил Иоганнес, — я полагаю это не в философском смысле, что вот, мол, я постулировал свое «я» в степени капельмейстера⁵², — о, нет, я ссылаюсь здесь исключительно на свою душевную способность сохранять спокойствие в порядочном обществе, когда меня, например, кусают блохи.

— Итак, — продолжал маэстро Абрагам, — да будет вам известно, Крейслер, что удивительный случай позволил мне основательно заглянуть в прежнюю жизнь принца. Вы правы, когда вы сравниваете его со змием в раю. Под красивой оболочкой, — а в том, что она такова, вы ему не откажете, — скрывается гнусная развращенность, я бы даже сказал нечестивость. Он замыслил недоброе, у него — из многого, что здесь случилось, я знаю это, — у него есть виды на милую Юлию.

— Ха-ха, — воскликнул Крейслер, бегая взад-вперед по комнате, — ха-ха, вот какой гусь выискался: и распелся-то как, распелся сладко! Черт возьми, принц — дельный парень, он хватает сразу обеими лапами всякого рода плоды — и дозволенные ему, и запретные! Ай-яй-яй, слащавый неаполитанишка, ты не ведаешь, что рядом с Юлией стоит отважный капельмейстер: музыка вошла в его кровь и плоть — и он способен принять тебя, как только ты приблизишься к ней, за проклятый аккорд — кварт-квинт-аккорд, который следует разрешить! И капельмейстер сделает то, что ему надлежит сделать, согласно его роду занятий: разрешит он тебя, вогнав тебе пулю в лоб или вонзив тебе в брюхо эту вот шпагу, спрятанную

* Генерал-аншеф (фр.).

в трости! — С этими словами Крейслер вытащил свою палку со спрятанным в ней клинком, принял позу фехтовальщика и спросил маэстро, достаточно ли у него, Крейслера, пристойности, чтобы проткнуть некоего сиятельного пса?» «Вы только успокойтесь, — сказал маэстро Абрагам, — пожалуйста, Крейслер, такого рода героические поступки от вас вовсе и не требуются, чтобы испортить принцу игру. Для этого существует другое оружие, и его я вложу в ваши руки. Вчера я был в рыбацкой хижине, принц шел мимо со своим адъютантом. Они меня не заметили. «Принцесса хороша, — сказал принц, — но маленькая Бенцон совершенно божественна! — вся кровь вскипела в моих жилах, когда я увидел ее, — о, да, она должна стать моей, еще прежде, чем я вручу принцессе руку свою. — Думаешь ли ты, что она будет непреклонна?» — «Какая женщина способна устоять перед вами, ваша светлость», — ответил адъютант. — «Но, черт бы меня взял, — продолжал принц, — она, видимо, не из таких». — «Она простодушна, доверчива, — смеясь подхватил адъютант, — и вот такие кроткие, доверчивые девочки — это как раз именно те, которых может захватить врасплох атака мужчины, привычного к победам, а затем — все остальное в руке божийей, — быть может, девчонка даже влюбится по уши в своего победителя. — Это и у вас может так получиться, сиятельный принц». — «Это было бы славно, — воскликнул принц. — Но мог ли бы я ее увидеть наедине, как этого добиться?» — «Ничего, ответил адъютант, — ничего нет проще, чем это. Я заметил, что малютка часто гуляет одна по парку. Вот если...» — Затем голоса утихли в отдалении, больше я ничего не смог разобрать. По всей вероятности, какой-то адский план будет осуществлен уже сегодня, и этот план мы должны расстроить. Я смог бы сделать это и сам, но по некоторым обстоятельствам я пока не хотел бы показываться принцу, поэтому вы, Крейслер, должны будете немедленно отправиться в Зигхартсгоф и ждать, пока Юлия в сумерках, как она это обычно делает, пойдет к озеру, чтобы покормить ручного лебедя. Вот об этих ее прогулках, вероятно, и проведal чертов неаполитанец. Но я вам дам оружие, Крейслер, и в высшей степени необходимые инструкции, затем, чтобы в борьбе против принца — противника весьма опасного — вы показали себя с наилучшей стороны, как отличный полководец».

Биограф опять-таки страшится чрезвычайной отрывочности сведений, фрагменты которых он должен с величайшим трудом объединить в настоящую историю. — Разве не было бы здесь уместно упомянуть о том, какую именно инструкцию дал маэстро Абрагам нашему капельмейстеру? Ибо если позднее и выявится самое оружие, то тебе, любезный читатель, все же не представится возможность постичь, о чем, собственно, была речь. Но пока злополучному биографу неизвестно ни слова из той самой инструкции, с помощью которой (это представляется несомненным) отважный Крейслер был посвящен в какую-то совершенно особенную тайну. И все-таки! Терпение, благосклонный читатель, подожди еще немного, — вышесказанный биограф готов отдать в залог свой большой палец (а ведь

без него — попробуй, попиши!), — что еще до окончания этой книги и сия глубочайшая тайна непременно всплывет на свет божий! А теперь следует рассказать о том, как, едва лишь начало смеркаться, Юлия, надев на руку корзиночку с белым хлебом, напевая, пошла по парку к озеру и остановилась на мосту, неподалеку от рыбацкой хижинки. Но предусмотрительный Крейслер лежал уже в засаде, в кустах, держа перед глазами отличный доллонд, с помощью которого он четко видел все, сам будучи скрыт кустарником от посторонних глаз. Лебедь подплыл к мостику, и Юлия стала бросать ему кусочки хлеба, которые он жадно проглатывал. Она продолжала громко петь, так что вовсе и не заметила, как к ней неспешно приблизился принц Гектор. Когда он внезапно вырос рядом с ней, она вздрогнула, как от сильного испуга. Принц схватил ее за руку, прижал ее к груди, к губам и оперся затем на перила, совсем рядом с Юлией. Юлия кормила лебедя, потупившись, глядя вниз, в озеро, а принц между тем все говорил и говорил, убежденно, настойчиво и пылко. «Не строй такие рожи, такие слащавые, нечестиво-сладкие рожи, синьор! Ах, разве ты не замечаешь, что я сижу почти рядом с тобой на перилах моста и вполне в состоянии предерзко надавать тебе пощечин?! — О, господи! Почему щеки твои окрашиваются все более жарким пурпуром, о, милое дитя небес? — Почему ты теперь так странно смотришь на этого злодея? Ты смеешься? Да, это знойное отравленное дыхание, перед которым должна раскрыться твоя грудь, как перед благословляющим солнечным лучом раскрывается почка и превращается в прекраснейшие листья, чтобы тем скорее погибнуть!» — так говорил Крейслер, осматривая парк, который линзы отличного доллонда придвинули к самым его глазам. Принц тоже стал теперь бросать кусочки хлеба вниз, лебедь, однако, пренебрег ими и издал громкий и весьма противный крик.

Затем принц обвил свою руку вокруг стана Юлии и стал бросать вниз кусочки хлеба таким образом, чтобы лебедь поверил, что кормит его Юлия. При этом щека его почти касалась щеки Юлии. «Так, так, — говорил Крейслер, — именно так, сиятельный подлец, схвати ее когтями своими, высокочтимый коршун, только покрепче держи свою жертву, ведь здесь в кустах залег некто, который уже целит в тебя и вот-вот отстрелит тебе твое сверкающее крылышко, и, в общем, дела с твоей вольной охотой обстоят, право же, самым жалким образом». Теперь принц схватил руку Юлии, и они пошли по направлению к рыбацкой хижинке. Однако, когда они уже приблизились к ней, из кустов вышел Крейслер и заговорил, отвесив принцу глубокий поклон: «Чудесный ветерок, не правда ли, необычайно приятный воздух, — в нем такой живительный аромат, вы, мой сиятельный повелитель, должны чувствовать себя здесь совершенно как в вашем прелестном Неаполе». «Кто вы такой, мсье?» — грубо оборвал его принц. Но в то же самое мгновение Юлия сбросила его руку с плеча, дружески подошла к Крейслеру, пожала ему руку и сказала: «О, как чудесно, милый Крейслер, что вы снова здесь! Знаете ли, что я всем сердцем соскучилась по вас? — и в самом деле, мама бранит меня за то, что

я веду себя, как плаксивое и невоспитанное дитя, когда вы хоть один-единственный день не бываете у нас. Я могла бы, право, захворать с досады, если бы поверила, что вы перестали обращать внимание на меня и на мое пение!» «Ба, — вскричал принц, бросая на Юлию и на Крейсlera ядовитые взгляды. — Ба, да это вы, мсье де Крэзель! Князь весьма благосклонно отзывался о вас!» «Да благословит господь вашу светлость, — сказал Крейслер, — причем все его лицо странно завибрировало сотней складок и складочек. — Да благословит господь вашу светлость за это, ибо хоть таким образом мне, быть может, удастся получить то, о чем я хотел умолять вас, всемиловейший принц, а именно о благосклоннейшей протекции с вашей стороны! Я осмеливаюсь предполагать, что вы с первого же взгляда сразу же обратили на меня свое благосклонное внимание, а именно когда вы мимоходом изволили прозвать меня шутком, — и так как шуты на многое горазды, то, стало быть...» «Вы презабавный, — прервал его принц, — вы презабавный субъект». «О, нет, никоим образом, — продолжал Крейслер, — правда, я люблю шутки, но только скверные, а скверные шутки — опять-таки не смешны! В настоящее время я охотно отправился бы в Неаполь и там, на набережной, записал бы кое-какие очаровательные рыбацьи и разбойничьи песенки — *ad usum delphini**. Вы, дражайший принц, человек добродушный, ну что вам стоит, скажем, помочь мне кое-какими рекомендациями...» «Вы, — вновь прервал его принц, — вы презабавный субъект, *monsieur de Krösel*, я люблю это, и впрямь мне это по душе, но теперь мне не хотелось бы задерживать вас, мешать вам совершать прогулку. *Adieu!*» «О, нет, ваша светлость, — воскликнул Крейслер, — я не могу упустить возможность показать вам себя в наилучшем свете. Вы хотели зайти в рыбацью хижину, там стоит маленькое фортепьяно, фрейлейн Юлия будет так добра, что согласится спеть со мной дуэт!» «С величайшим удовольствием», — воскликнула Юлия и повисла на руке Крейслера. Принц стиснул зубы и гордо зашагал, опережая их. На ходу Юлия шепнула Крейслеру на ухо: «Крейслер, что это вдруг взбрело вам в голову?» — «О, господи, — так же тихо ответил Крейслер, — о, господи, и ты убаюкана дурманящими сновидениями, когда змий приближается, чтобы умертвить тебя своим ядом?» Юлия взглянула на него, глубоко изумленная. Только один-единственный раз до этого случая, в миг высочайшего музыкального воодушевления, Крейслер обратился к ней на ты.

Когда дуэт был окончен, принц, который уже во время пения неоднократно восклицал «браво, брависсимо!» — разразился бурными восторгами. Он покрывал руки Юлии пламенными поцелуями, он клялся, что никогда пение так не потрясало все его существо, и просил Юлию разрешить ему запечатлеть поцелуй на тех воистину божественных устах, с которых сладчайшим нектаром стекали эти божественные звуки!

* Для учеников (лат.).

Юлия робко отстранилась. Крейслер подошел к принцу и сказал: «Поскольку мне, ваше сиятельство, вы не пожелали сказать ни одного похвального слова, которое я — как композитор и недурной певец, думается мне, столь же заслужил, как и фрейлейн Юлия, то заметно, что я с моими слабыми музыкальными познаниями не произвожу на вас достаточно сильного впечатления. Но должен заметить, что я обладаю также и некоторым опытом по живописной части, и я буду иметь честь показать вам занятнейшую миниатюру, которая представляет некую персону, чья необыкновенная жизнь и поразительный финал известны мне в таких подробностях, что я могу их преобстоятельно изложить каждому, кто только пожелает меня выслушать». «До чего же вы назойливы!» — пробормотал принц. Крейслер вытащил из кармана шкатулочку, извлек из нее миниатюрный портрет и поднес его к глазам принца. Принц взглянул, вся кровь отхлынула от его лица, глаза его остановились, губы задрожали и, бормоча сквозь зубы: «Maledetto!»* — он убежал прочь.

— Что все это значит? — спросила перепуганная насмерть Юлия, — что все это значит, Крейслер, — скажите мне все!

— Совершенные пустяки, — ответил Крейслер, — развеселые проказы, заклинания бесов и всякая прочая чертовщина! Взгляните-ка, милая фрейлейн, как этот симпатичный принц бежит через мостик, делая самые крупные шаги, на которые только способны его сиятельные нижние конечности. О, боже! — он полностью отрешивается от своей сладчайшей идиллической природы, ему даже не хочется хоть искоса взглянуть на озеро, он больше не жаждет кормить ручного лебедя, — ах, ну что за милейший бес, бес, бес!

— Крейслер, — молвила Юлия, — самый тон вашей речи леденит мою душу, я предчувствую недоброе, — что у вас за счеты с принцем?

Капельмейстер отошел от окна, с глубоким волнением взглянул на Юлию, которая стояла перед ним, молитвенно сложа руки, как будто заклинала доброго духа, чтобы он снял с нее бремя ужаса, бремя, заставлявшее ее проливать слезы. «Нет, — сказал Крейслер, — никакой враждебный диссонанс не должен нарушить то небесное благозвучие, которое живет в твоей душе, о, кроткое дитя! Под разными личинами, прикрываясь капюшонами, шествуют духи ада по белу свету, но у них нет власти над тобой, и ты не должна узнать их, узнать их черные поступки и деяния! Успокойтесь, Юлия! — позвольте мне молчать, ведь теперь уже все прошло, все миновало!»

В этот миг, чрезвычайно взволнованная, вошла Бенцон. «Что случилось, — воскликнула она. — Принц, как безумный, промчался мимо, так и не заметив меня? А у самого замка ему навстречу шел адъютант, они о чем-то весьма шумно поговорили, потом принц, мне кажется я это верно заметила, отдал адъютанту какие-то важные приказания, ибо, едва принц вступил на порог замка, адъютант с величайшей поспешностью бросился

* Проклятый! (ит.).

в павильон, в котором он живет. Садовник сказал мне, что ты стояла с принцем на мосту, и тут меня охватило, сама не ведаю почему, предчувствие чего-то ужасного, и я поспешила сюда, — скажите же, что стряслось?»

Юлия рассказала все. «Тайны, да!» — резко спросила Бенцон, метнув на Крейсlera пронизывающий взгляд. — «Дражайшая советница, — возразил Крейслер, — бывают мгновения — положения, более того, ситуации, когда, как я полагаю, человеку непременно следует держать язык за зубами, ибо, ежели он распустит язык и раскроет рот, то из этого рта не выйдет на свет ничего, кроме решительной чуши, которая способна только вызвать раздражение в душах людей разумных и добропорядочных!»

Тем он и ограничился, невзирая на то что Бенцон казалась глубоко уязвленной его молчанием.

Капельмейстер проводил советницу с Юлией до замка, а затем отправился в обратный путь, в Зигхартсвейлер.

Едва лишь он скрылся в тенистых аллеях парка, адъютант принца вышел из павильона и пошел той же дорогой, что и Крейслер, ему вслед. Вскоре после этого в чаще леса раздался выстрел!

Той же ночью принц покинул Зигхартсвейлер; он написал князю Иринею и засвидетельствовал ему свое почтение, обещая вскорости вернуться. Когда на следующее утро садовник с подручными своими обходил парк, он нашел шляпу Крейсlera, на которой были следы крови. Сам Крейслер исчез, о нем ничего не было слышно. Поговаривали. . .

ТОМ ВТОРОЙ

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

МЕСЯЦЫ УЧЕНИЯ, КАПРИЗНАЯ ИГРА СЛУЧАЯ



(*Мурр пр.*): .. тоска, пылкое желание наполняют нашу грудь, но когда мы, наконец, обретаем то, чего добивались, не щадя трудов, то сразу же всякий порыв угасает и превращается в мертвенно-холодное равнодушие, и мы бросаем все, что приобрели, словно опостылевшую игрушку. Впрочем, стоит только этому случиться, как сразу же вслед за поспешным поступком наступает горькое разочарование, и жизнь наша продолжается в непрерывной смене влечения и отвращения. Таковы мы, кошки, — название это чрезвычайно правильно определяет наше племя, к коему причисляет себя и надменный лев, которого поэтому даже прославленный Горнвилла у Тика в «Октавиане»¹ называет большой кошкой. Да, повторяю я, таковы кошки, и они не могут быть другими, и кошачье сердце — штука весьма переменчивая.

Первейший долг добропорядочного биографа состоит в том, чтобы быть искренним и откровенным, никоим образом не щадя себя самого. Вполне искренне, положив лапу на сердце, признаюсь, что, несмотря на несказанное рвение, с каким я налег на искусства и науки, очень часто мысль о прекрасной Мисмис всплывала все же — абсолютно внезапно — в моем мозгу и решительно прерывала мои ученые занятия.

Мне казалось, что мне не следовало оставлять ее, казалось, будто я пренебрег верным, любящим сердцем, лишь на миг ослепленным и обезумевшим. Ах! Часто, когда я хотел усладить себя великим Пифагором (я нынче много занимаюсь математикой), внезапно случилось так, что нежная лапка в черном чулочке сдвигала все катеты и гипотенузы, и передо мной возникала она сама, милая и прелестная Мисмис, в прелестнейшей бархатной шапочке, и из чудной травяной зелени ее прекрасных очей на меня устремлялся сверкающий взгляд. — Что за миловидные прыжки в сторону, какие кружения и извивы хвоста! Я хотел прижать ее к себе в восторге вновь всплывшей любви, но дразнящее видение исчезало.

Конечно же, такого рода воспоминания о любовной Аркадии погружали меня в своего рода грусть, которая должна была повредить поэти-

ческим и ученым занятиям, ибо я был не в силах ей противостоять. Я пытался вырваться из этого досадного состояния, чего бы то ни стоило, принять какое-либо быстрое решение, вновь отыскать Мисмис. Но едва лишь я ставил лапу на первую ступеньку лестницы, чтобы подняться в горние пределы, где я мог питать надежду вновь отыскать свою милую, как стыд и робость охватывали меня, я отдергивал лапу и в унынии отправлялся под печку.

Впрочем, невзирая на это печальное душевное состояние, я в то же время пользовался исключительным телесным здоровьем, значительно окреп и стал если не ученым, то во всяком случае увесистей и с удовольствием замечал, разглядывая себя в зеркало, что моя круглощекая физиономия помимо юношеской свежести начинала приобретать еще нечто неизъяснимое, но явно вселяющее уважение.

Даже сам мой маэстро заметил решительную перемену в моем расположении духа. И впрямь: прежде я урчал и весело прыгал, когда он протягивал мне вкусные кусочки, прежде я катался у его ног, становился на задние лапки и прыгал порою даже к нему на колени, когда он, встав поутру от сна, приветствовал меня возгласом: «С добрым утром, Мурр!» Теперь я оставил все это и ограничивался одним лишь только радушным «Мяу!» и тем грациозно-надменным изгибом спины, который, как это, конечно, безызвестно благосклонному читателю, составляет неперемнное отличие нашего и только нашего кошачьего племени. О да, я пренебрегал теперь даже столь любимой мною прежде игрой в птичку. Думается, что юным гимнастам и прочим лицам, занимающимся телесными упражнениями из числа моих сородичей весьма полезно и поучительно будет узнать, в чем, собственно, состояла эта игра. А вот в чем: мой маэстро привязывал к длинной нитке одно или несколько гусиных перьев, вздергивал их быстро в воздух и чуточку опускал — одним словом, хорошенько заставлял их летать! А я, находясь в углу, подстерегал их из засады, улавливал подходящий темп, вскакивал и достигал эти перышки, хватал их и терзал в свое удовольствие. Игра эта нередко настолько увлекала меня, что я был готов и в самом деле счесть эти перья настоящей живой птичкой, я весь разгорался, буквально пылал и пламенел, так что если учесть одновременно запросы ума и тела, то игра эта содействовала образованию ума и укреплению тела. Увы, даже и этой игрой пренебрегал я теперь и преспокойно валялся на тюфячке, сколько бы мой маэстро ни взмахивал своими перышками перед моим носом! «Котинька, — обратился ко мне однажды мой маэстро, когда перья, пощекотав меня по носу, залетели на мою подушку, причем я, почти что не сморгнув, протянул за ними лапу, — котинька, ты стал совсем не таким, как прежде, становишься с каждым днем все более вялым. Я полагаю, ты слишком много лопаешь и спишь». Луч света озарил мою душу при этих словах маэстро, ведь я все время приписывал свою вялую грусть лишь воспоминанию о Мисмис, об утраченном по легкомыслию любовном эдеме, и теперь только вдруг я постиг и уразумел, насколько мое

земное существование, существование в земной юдоли, поссорило меня с моими — устремляющими душу ввысь — учеными занятиями и настолько это земное существование вынуждает меня считаться со своими запросами и требованиями! В природе существуют вещи, ясно показывающие нам, как именно наша скованная душа вынуждена приносить свою свободу в жертву безжалостному тирану, именуемому нашим телом. Вот к этим вещам я и причисляю прежде всего вкуснейшую манную кашу, а также широкий стеганный тюфячок, отлично набитый конским волосом. Эту самую сладкую кашу великолепно умела варить домоправительница моего маэстро, так что я каждое утро на завтрак опустошал две полные большие тарелки этого кушанья, о, да, я поглощал его с величайшим аппетитом! Однако после столь плотного завтрака науки попросту переставали мне быть по вкусу, теряли для меня всякий интерес, они казались мне какой-то едой всухомятку, чем-то неудобоваримым и, увы, ничуть не помогали, когда я, покидая на время сухую материю наук, поспешно обращался к поэзии. Превознесенные до небес творения новейших авторов, знаменитейшие трагедии прославленных и высокочтимых поэтов ничем не увлекали меня, я оказывался пленником развратной игры помыслов, совершенно произвольно искусная домоправительница и кухарка моего маэстро заставляла меня вступать в конфликт с автором изучаемого мною поэтического произведения, и я никак не мог отделаться от мысли, что кухарка куда лучше знает, в какой пропорции и как именно следует смешивать жир, сладость и крепость, чем вышеупомянутый автор и поэт. О это злосчастное смешение умственных и телесных усад и наслаждений! Да, мечтательным и сновидческим могу я назвать это смешение, эту явную подмену, ибо мечты и сновидения настигали меня и заставляли меня искать вторую крайне опасную штуку а именно тот самый пресловутый набитый конским волосом тюфячок, дабы погрузиться на оном в сладчайшую дрему. Вот тут-то предо мною и возникал сладостный образ чаровницы Мисмис! О, небо, итак все это находилось в некоей роковой взаимосвязи: манная каша, пренебрежение науками, меланхолия, подушка-тюфяк, моя непоэтическая натура, воспоминания о любви! Да, маэстро был совершенно прав: воистину я обжирался, воистину я спал без просыпу! А ведь с какой стоической серьезностью я неоднократно принимал решение стать умеренней, но кошачья натура слаба, и самые лучшие, попросту великолепнейшие решения разбиваются вдребезги, едва только наши ноздри пощекочет сладчайший аромат манной каши, едва только перед нами замаячит призывно-пухляя подушка-тюфячок! В один прекрасный день я услышал, как мой маэстро, войдя в комнату, говорил, обращаясь к кому-то: «Ну да, естественно, пожалуй, он и в самом деле развлечется и рассеется несколько в вашем обществе. Но ежели вы станете проделывать всякие дурацкие штуки, прыгать ко мне на стол, ежели вы перевернете мою чернильницу или еще что грохнется на пол по вашей милости, то я вас обоих выставлю за дверь, вышвырну на улицу».

Засим маэстро немножечко приотворил дверь и впустил кого-то в комнату. Однако же этот кто-то был не кто иной, как мой друг Муций. Я с трудом узнал его. Шерсть его, прежде гладкая и лоснящаяся, была теперь растрепана и крайне неприглядна, глаза глубоко запали, и его прежде несколько, правда, грубоватый, чуть неотесанный, ненужно суровый, но все же вполне сносный облик приобрел какие-то новые черты: в нем появилось нечто высокомерно-заносчивое и даже, я сказал бы, хищно-жестокое. «Здорово, Мурр! — фыркнул он, — все-таки я отыскал вас! Куда же это вы запропастились? Неужели же я должен специально являться сюда, чтобы извлекать вас из-под вашей проклятушей печки? Но, с вашего разрешения!» — Он приблизился вплотную к моей тарелке и без остатка сожрал всю жареную рыбу, которую я благоразумно приберег к ужину. «Скажите-ка, — говорил он, улетаая рыбу, — скажите мне, черт возьми, где это вы пропадаете, почему это вы больше не являетесь к нам на крышу, почему это вас не видать нигде в веселой компании?!»

Я объяснил ему, что, распровившись с любовью к прелестной Мисмис, я всецело и без остатка погрузился в науки, почему о прогулках больше не могло быть и речи: о них я и думать не в состоянии! И вообще я ни в малейшей степени не стремлюсь к обществу и не нуждаюсь в обществе, ибо здесь, у моего маэстро, есть все, чего только моей душе угодно: и манная каша-то у меня есть (на молоке!), и мясо есть, и рыбка, и мягкий тюфячок — и так далее, и тому подобное! Спокойное, мирное, беззаботное существование, это я, полагаю, для кота моих склонностей и способностей — величайшее благо и ценнейшее достояние, и тем более мне приходилось страшиться и опасаться, что все это, чем я обладаю, могло бы быть расстроено и разрушено, ежели бы я опрометчиво стал выходить на прогулки, так как, увы, я убедился, что моя пылкая склонность к юной Мисмис еще не вполне угасла, и, увидев ее вновь, я легко мог бы снова увлечься и вследствие этого совершить новые опрометчивые поступки, в которых мне впоследствии, быть может, пришлось бы очень долго и очень тяжело раскаиваться.

— Вы имеете полнейшую возможность чуть попозже снова попотчевать меня жареной рыбкой! — так молвил Муций, а затем, изогнувшись, — так, наспех обмахнул лапой морду, усы и уши, — и занял место на моем тюфячке бок о бок со мною.

— Согласитесь, — начал Муций, после того как он в знак своего удовлетворения помурлыкал в течение нескольких секунд и говорил теперь мягко и вразумительно, — поймите и намотайте себе это на ус, милый мой брат Мурр, вам здорово повезло, что мне пришла в голову отличная идея посетить вас в вашей уединенной келье, о, отшельник и пустынножитель Мурр, и что ваш маэстро впустил меня к вам, не слишком прекословя. Вы находитесь теперь в величайшей опасности, в какую только может попасть толковый и даровитый парень, этаким кот-молодец, у которого и котелок, что называется, варит, да и силы не занимать. Одним словом, вы находитесь в величайшей опасности! В чем же эта

опасность? А вот в чем: вы вот-вот превратитесь в прескверного и презлобного отвратного филистера. Ну, вы скажете, конечно, что вы слишком погрузились в науки и слишком заняты ими, чтобы у вас оставалось время осмотреться, так сказать, среди себе подобных, побывать в нашем обществе, в обществе котов! Простите, брат, но я не приму всерьез ваши уверения, ибо они, конечно же, не соответствуют действительности: вот ведь как вы отъелись, стали круглый, жирный, шерсть сверкает, как зеркало, ух, гладкий какой! — вот таким, вот в таком чудном виде я теперь нахожу вас. Клянусь небом, вы несколько не похожи на книжного червя, на полуношника, который, не зная сна, корпит над учеными фолиантами! Поверьте мне, Мурр, проклятая удобная жизнь — она-то как раз и превращает вас в ленивого и вялого лежебоку! Совершенно иначе было бы у вас на душе, если бы вам пришлось потрудиться с нами, чтобы подцепить несколько рыбьих костей или, к примеру, пташку какую изловить!

— Я полагал, — прервал я друга, — что ваше положение можно было назвать прекрасным и счастливым, ведь прежде вы были. . .

— Ну, об этом — почти гневно перебил меня Муций, — об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. И что это все «вы», да «вы»! Не задавайся, брат! Филистер ты и только, и в наших студенческих правилах ты ровно ничего не смыслишь!

После того как я попросил прощения у моего разгневанного друга, он продолжал уже куда более мягким и кротким тоном: «Итак, как я уже сказал, ваш образ жизни, милый брат Мурр, так сказать, ни на что не похож. На свежий воздух вам надо, вот что, проветриться, других погладить и себя показать!»

— О, небо! — воскликнул я в полнейшем страхе и ужасе, — что вы говорите, брат Муций, — неужели я и в самом деле должен, что называется, выйти в широкий мир?! Неужели же вы забыли, что я вам несколько месяцев назад в погребке рассказывал о том, как я однажды выпрыгнул из английской коляски вот в этот самый широкий мир? Разве я не описывал вам, какие опасности угрожали мне со всех сторон? И разве я не рассказал вам, как добрый пудель Понто спас меня и привел домой к моему маэстро?» Муций злорадно рассмеялся: «О, да, — сказал он потом, — о, да, в этом-то все дело, в этом-то и зарыта собака, — ну, конечно, добрый Понто, милый пудель Понто!» «Да ведь этот Понто, этот щеголь и вертопрах, этот чрезмерно умничающий и даже суемудрый пес, этот надменный и горделивый лицемер позаботился о вас потому только, что ему ничего более интересного, ничего лучшего в тот миг не подвернулось, он попросту не знал, простите, чем ему заняться, а эта история его несколько развлекла, а вот теперь — можете искать его во всех ассамблеях, дружеских компаниях и прочих сборищах, и ежели найдете, он вовсе вас и не узнает, отвернет от вас свою собачью морду, более того, он попросту разорвет вас на куски, потому что вы не из его содичей, он не считает вас равным себе! Ох, этот добрый Понто, кото-

рый, вместо того чтобы ввести вас в истинную светскую жизнь, занимал вас преглупыми человеческими историями! Нет, нет, дражайший Мурр, это событие с Понто показало вам совсем иной мир, нежели тот, к которому вы действительно принадлежите! Поверьте мне на слово, все ваши уединенные ученые занятия ровным счетом ничем вам не помогут, и более того, скорее даже и вовсе повредят. Ибо вы все-таки остаетесь филистером, а на всем белом свете, на всей земле нет более скучного и более глупого создания, чем ученый филистер!»

Я откровенно признался другу моему Мудию, что это выражение «филистер», так же как и его оригинальное мнение по этой части, мне, собственно говоря, не вполне понятны, я не вполне улавливаю их смысл. «О, брат мой, — молвил Муций и улыбнулся при этом такой обворожительной и такой грациозной улыбкой, что в это мгновение он выглядел очень приятно и мило и живо напомнил мне прежнего — опрятного и безукоризненного Муция, — о, брат мой Мурр, напрасны были бы все попытки растолковать тебе, что это такое и в чем суть и смысл этого термина, потому что вы никогда не сможете понять, что такое филистер, пока вы сами являетесь им. Впрочем, ежели вы готовы удовольствоваться некоторыми основными признаками, определяющими принадлежность к числу котов-филистеров, то я могу...»

Княгиня (Мак. л.):.. весьма удивительное зрелище. Посреди комнаты стояла принцесса Гедвига; ее лицо было смертельно бледно, взгляд застыл, как у мертвой. Принц Игнатий играл с ней, словно с механической куклой. Он поднимал ее руку, рука оставалась поднятой и опускалась, когда он тянул ее вниз. Он легонько толкал ее вперед, она шла, он останавливал ее, она стояла, он усаживал ее в кресло, она сидела. Принц до того увлекся этой игрой, что вовсе не заметил вошедших.

— Что вы делаете тут, принц! — воскликнула княгиня, и он стал уверять ее, блаженно хихикая и весело потирая руки, что сестрица Гедвига теперь стала доброй и послушной, не противится ему, не бранит его и не журит, как прежде. И после этого он вновь начал, командуя на военный лад, придавать принцессе различные позы, и всякий раз, когда она, как зачарованная, оставалась в том положении, которое он ей придал, он хохотал, прыгая от восторга. «Это невыносимо», — тихо сказала княгиня дрожащим голосом, и слезы блеснули в глазах ее, а лейб-медик подошел к принцу и крикнул ему повелительным тоном: «Прекратите это, милостивый государь!» Затем он взял принцессу на руки, опустил нежно ее на оттоманку, задернул занавеси. «Сейчас, — обратился он затем к княгине, — сейчас принцессе всего нужнее полнейший покой, и я настоятельно требую, чтобы принц покинул комнату».

Принц Игнатий стал упираться и все причитал, всхлипывая, что вот теперь всякого рода люди — не только не принцы, но даже и не дворяне, и вообще — неизвестно кто: так, мелкота, какая-то! осмеливаются ему перечесть. А он хочет остаться у сестрицы-принцессы, она сделалась ему



*Кот Мурр трудится над своими записками.
Рисунок Гофмана (1819)*



Иоаннес Крейслер



Мурр и Мисмис



Приор Канцгеймского аббатства

милее, чем прекраснейшие из его чашек, и господин лейб-медик никакого такого права не имеет приказывать ему.

— Идите, идите, милый принц, — мягко сказала княгиня, — идите в ваши апартаменты, принцесса должна теперь спать, а после обеда придет фрейлейн Юлия.

— Фрейлейн Юлия! — воскликнул принц, ребячески смеясь и прыгая, — фрейлейн Юлия! Ах, вот это чудесно, я покажу ей мои новые гравюры и как меня изобразили в истории речного царя в виде принца Лосося, с большим-пребольшим орденом! — засим он церемонно поцеловал руку княгине и, надменно уставившись на лейб-медика, протянул ему свою руку для поцелуя. Но лейб-медик схватил принца за эту самую руку и подвел его к дверям, которые и распахнул перед ним с необычайно учтивым и церемонным поклоном. Принц не противился и милостиво снес, что его таким способом выставили за дверь.

Княгиня — вся боль и изнеможение — опустила в кресло, подперла голову рукой и, глубоко опечаленная, произнесла почти про себя: «За какой смертный грех небо так жестоко карает меня? — Этот сын, обреченный на вечное младенчество, — и вот теперь Гедвига, моя Гедвига!» — И княгиня погрузилась в горестные раздумья.

Между тем придворный врач с трудом заставил принцессу принять несколько капель какой-то целительной микстуры и позвал камеристок, которые унесли Гедвигу, по-прежнему пребывавшую в состоянии автоматизма, в ее комнату, предварительно получив от лейб-медика предписание при малейшей перемене, которая может произойти с принцессой, немедленно позвать его к ней.

— Ваша светлость, — обратился лейб-медик к княгине, — невзирая на то что состояние принцессы может показаться в высшей степени странным и в высшей степени вызывающим опасения, я полагаю все же, что могу вас обнадежить, ибо оно, это состояние, вскоре пройдет, не оставя после себя ни малейших осложнений. Принцесса страдает тем совершенно особенным видом каталепсии, который во врачебной практике встречается настолько редко, что иным прославленным врачам ни разу в жизни не случалось наблюдать такого рода приступ. Посему я и в самом деле должен счесть себя воистину счастливым». Тут лейб-медик запнулся: «Ах, — с горечью молвила княгиня, — как не узнать по этим словам практического врача, которому нет никакого дела до безграничных мук, лишь бы только данный случай обогатил его ученые познания».

— Еще совсем недавно, — продолжал лейб-медик, пропуская мимо ушей упрек княгини, — я нашел в одной ученой книге пример удивительного состояния, совершенно подобного тому, в какое впала принцесса. Некая дама (так повествует мой автор) прибыла из Везуля в Безансон, чтобы заняться тяжбой. Особая важность этого предприятия, мысль, что проигрыш процесса — последняя, решающая ступень ощути- тельнейших превратностей, испытанных ею, — проигрыш, который должен был швырнуть ее самое и все ее семейство в пучину нищеты и бед-

ствий, — эта мысль наполнила ее живой тревогой, возросшей до величайшей душевной экзальтации. Она проводила ночи без сна, почти ничего не ела, в церкви прихожане видели, как она совершенно вне себя падает на колени и молится, одним словом, на разные лады проявлялось ее ненормальное состояние. В конце концов, однако, в тот самый день, когда должен был решиться ее процесс, ее поразили припадок, который присутствовавшие сочли апоплексическим ударом. Призванные врачи нашли эту даму неподвижной в кресле, с обращенными к небу пылающими глазами, немигающим, недвижным взором; руки ее были воздеты к небесам, ладони сложены, как для молитвы. Ее прежде печальное лицо теперь выглядело более цветущим, оно казалось веселее, как будто чуть даже радостнее, чем прежде, ее дыхание было неестественным и равномерным, пульс мягким, медленным, хорошего наполнения, почти как у спокойно спящей. Ее конечности легко сгибались, и их без малейшего сопротивления нетрудно было привести в любые положения. Но в том-то и выражался недуг и невозможность обмануться в нем, что конечности ее сами по себе не выходили из положения, в которое они были приведены. Ей оттягивали подбородок вниз, рот открывался и так и оставался открытым. Ей поднимали одну руку, потом — другую, они не падали вниз, их отводили за спину, поднимали их вверх, так что каждому было невозможно долго пребывать в этом положении, и все-таки — именно так это и происходило, руки оставались поднятыми. Можно было пригнуть туловище книзу — настолько, насколько это было угодно, тело всегда оставалось в полнейшем равновесии. Она казалась совершенно бесчувственной — ее трясали, щипали, мучили ее, ставили ее ступни на раскаленную жаровню, кричали ей в уши, что она выиграет свой процесс, — все напрасно, она продолжала оставаться в бессознательном состоянии. Постепенно она начала сама приходить в себя, но лепетала нечто бессвязное. Наконец...

— Продолжайте, — велела княгиня, когда лейб-медик запнулся, — продолжайте, ни о чем не умалчивайте, пусть будет самое ужасное! Не правда ли? Дама впадала в безумие!

— Достаточно, — продолжал лейб-медик, — достаточно прибавить, что чрезвычайно тяжелое состояние этой дамы продолжалось лишь четыре дня, что в Везуле, куда она вернулась, она совершенно оправилась и не ощущала более ни малейших коварных последствий своей тяжелой и необыкновенной болезнью.

В то время как княгиня вновь погрузилась в мрачные размышления, лейб-медик многоречиво распространялся о врачебных средствах, какие он намерен применить, и в конце-концов стал нагромождать такие высокоученые доводы, детали, тонкости, как будто он держал речь на некоем врачебном консилиуме перед опытнейшими коллегами.

— Что толку, — прервала, наконец, княгиня словоохотливого лейб-медика, — что толку во всех средствах, которые предлагает спекулятивная наука, когда благо, здоровье души находится под угрозой?

Лейб-медик помолчал несколько мгновений и затем продолжал: «Ваша светлость, пример удивительного состояния у этой безансонской дамы показывает, что причиной ее болезни было какое-то душевное потрясение. Лечение, когда она несколько пришла в себя, начали с того, что ободряли ее, сделав вид, что она выиграла свою злосчастную тяжбу. Опытнейшие врачи в один голос признают, что именно какое-либо внезапное сильное движение души прежде всего вызывает подобное состояние. Принцесса Гедвига возбудима до крайней степени, да, я склонен порой рассматривать организацию ее нервной системы как явно отклоняющуюся от нормы. Представляется несомненным, что какое-то необычайно сильное душевное потрясение вызвало также и ее болезненное состояние. Следует попытаться найти и исследовать эту причину, дабы иметь возможность успешно воздействовать на нее! — Скорый отъезд принца Гектора... — что ж, ваша светлость, мать порой видит куда глубже, чем любой врач, — и, естественно, могла бы дать этому последнему лучшие средства в руки для успешного лечения».

Княгиня поднялась и сказала гордо и надменно: «Даже последняя мещанка строго хранит тайны женского сердца, княжеское же семейство открывает свои интимные тайны только церкви и ее служителям, к которым врач не вправе причислять себя!»

— Как, — живо воскликнул лейб-медик, — кто вправе так резко ограничивать телесное благо от душевного? Врач — это второй исповедник, ему должно быть дозволено заглянуть в глубины психической жизни, если он не желает отсутствовать в миг опасности. Подумайте об истории больного принца, ваша светлость!

— Довольно! — прервала княгиня врача почти с неприкрытым негодованием, — довольно! Никогда вы не заставите меня совершить нечто недостойное, точно так же как я не могу поверить, что какое бы то ни было неприличие, хотя бы только в помыслах и ощущениях, могло быть причиной этого странного недуга. «Удивительная, — произнес последний, обращаясь к себе самому, — удивительная женщина эта княгиня! Ей непременно хочется уговорить себя, что та благородная глина, из которой природа лепит душу и тело, когда приходит пора создать нечто княжеское, нечто сиятельное, совершенно особого рода — и не идет ни в какое сравнение с той замазкой, которая применяется, когда творят нас — так сказать, бедных сынов земли, безродных выходцев из мещан! Следует вовсе не думать о том, что у принцессы есть сердце. Это совсем похоже на историю с тем испанским придворным, отклонившим подарок — шелковые чулки, который добрые нидерландские бюргеры хотели поднести своей государыне, — вельможа этот отверг сей подарок потому только, что неприлично-де напоминать о том, что у испанской королевы тоже есть ноги, как и у всего прочего честного люда. И все-таки: я готов биться об заклад, что именно в сердце, именно в этой лаборатории всех женских горестей следует искать причину самого вельможного из всех нервных недугов, того удивительного недуга, который поразил принцессу».

Лейб-медик думал о поспешном отъезде принца Гектора, о чрезмерной болезненной возбудимости принцессы, о том, как страстно она — насколько это было ему известно — отнеслась к принцу; итак, ему казалось несомненным, что какая-нибудь внезапная амурная размолвка огорчила принцессу до того, что вызвала ее внезапное заболевание. Мы еще увидим, основательны или безосновательны были предположения лейб-медика. Что же касается княгини, то она, видимо, также подозревала нечто подобное и именно потому считала неприличными все попытки врача дознаться, в чем дело, ибо двор вообще отвергает всякое более или менее глубокое чувство как недопустимое, пошлое и вульгарное. Княгиня обладала и душой и сердцем, но странное, отчасти смехотворное, а отчасти попросту противное чудовище, именуемое этикетом, камнем легло ей на грудь — этикет это был ее вечный ужас и вечный кошмар, и ни один вздох, ни один признак внутренней жизни не смел вырваться из ее сердца. Потому-то ей и удавалось выносить сцены такого рода, как та, что только что произошла между принцем и принцессой, и выносить их и гордо отвергать тех, кто хотел всего лишь помочь ей — и ничего более. В то время как все это происходило в замке, и в парке случилось немало такого, о чем здесь следует рассказать. В кустах, слева от входа, стоял тучный гофмаршал; он извлек из кармана золотую табакерку, несколько раз вытер ее рукавом сюртука, предварительно взяв из нее понюшку табаку, а затем вручил табакерку первому камердинеру князя, присовокупив к этому нижеследующие слова: «Драгоценнейший друг мой, я знаю, что вам по душе такого рода хорошенькие безделушки, так примите же сию табакерку как скромный знак моей искренней благосклонности к вам, на каковую вы неизменно можете рассчитывать. Но скажите-ка, милейший, как было дело с этим поразительным и необычайным променадом?»

— Нижайше благодарствую, — ответил первый камердинер, засовывая золотую табакерку в карман. Засим он откашлялся и продолжал: «Я могу вас почтительнейше заверить, ваше превосходительство, что наш светлейший государь весьма встревожен с того самого мгновения, когда ее светлость принцесса Гедвига неведомо как лишилась чувств. Нынче они простояли у окна — просто-таки навтыжку — должно быть, с полчаса и изволили барабанить сиятельными пальцами правой руки-с по зеркальным стеклам, так что они задребезжали и треснули-с. Впрочем, барабанили-то они сплошь красивые марши — прелестно-мелодичные и поддерживающие бодрость духа, как говаривал мой покойный шурин — придворный трубач. Вашему превосходительству известно, что мой покойный шурин, придворный трубач, был человек расторопный и смысленый, и был он виртуозом по части тремоландо, да и низкий регистр звучал у него здорово, а фальцет — ну просто как соловьиное коленце, а что касается сольного исполнения» — «Все это я знаю, — прервал болтуна гофмаршал, — все это я отлично знаю, милейший! Ваш покойный господин шурин был, что и говорить, превосходнейший придворный трубач, но перейдем теперь к тому, что делали, что говорили его светлость, когда они прекратили ба-

рабанить марш по оконному стеклу». «Что делали, что говорили! — продолжал первый камердинер, — гм! пожалуй, не слишком много; его светлость обернулись ко мне, дернули колокольчик страшным образом и прегромко воскликнули при этом: «Франсуа, Франсуа!» — «Я уже здесь, ваша светлость», — воскликнул я. Но тут милостивый господин сказали совсем уж гневно: «Осел, почему это ты сразу не откликаешься!» И затем: «Мое платье для прогулок!» Я принес, что он сказал. Его светлость благоволили надеть зеленый шелковый сюртук без звезды и отправились в парк. Они запретили мне следовать за ними, но все же, ваше высокопревосходительство, следует же все-таки знать, где находится, где обретается его светлость, а вдруг какое-нибудь несчастье стряется. — Одним словом, я последовал за ним, так, в чрезвычайном отдалении и заметил, что их светлость отправились в рыбацью хижину».

— К маэстро Абрагаму! — воскликнул гофмаршал в совершеннейшем изумлении.

— Так точно, — сказал первый камердинер, и физиономия у него при этом сделалась вдруг необыкновенно таинственной и значительной.

— В рыбацью хижину, — повторил гофмаршал, — в рыбацью хижину, к маэстро Абрагаму. — Никогда его светлость не навещали маэстро Абрагама в рыбацкой хижине!

Последовало многозначительное молчание, потом гофмаршал продолжал:

«И больше их светлость ничего не изволили сказать, ничего не сказали?» «Ни словечка, — многозначительно возразил первый камердинер. Однако же, — продолжал он с хитрой улыбкой, — одно из окон рыбацкой хижины выходит в самую гущу кустов, и там есть этакая прогалина, откуда легко расслышать каждое слово, какое сказано в хижине, — стало быть можно было бы...» — «Лучше если бы вы сами пожелали это сделать!» — воскликнул гофмаршал в полнейшем восторге. «Я непременно, непременно», — сказал камердинер и тихонько ускользнул прочь. Но едва он вышел из кустов, как перед ним оказался князь, который как раз возвращался в замок, так что камердинер чуть не столкнулся с ним. Преисполненный робкого благоговения, камердинер отпрянул. «Vous êtes un grand* остопо!» — загремел на него князь, затем он бросил гофмаршалу ледяное «dormez bien! **» и удалился вместе с камердинером, который привычно последовал за ним в замок.

Гофмаршал постоял в совершеннейшем замешательстве, пробормотал: «Рыбацья хижина — маэстро Абрагам — dormez bien» и решил тотчас же съездить к самому канцлеру, дабы обсудить сие экстраординарное происшествие и по возможности определить, какая именно придворная констелляция, то есть какое именно сочетание придворных светил может быть вызвано этим событием.

* Вы большой остопо! (фр.).

** Покойной ночи! (фр.).

Маэстро Абрагам сопровождал князя вплоть до того самого кустарника, в котором обретались гофмаршал и камердинер, здесь же он повернулся и пошел обратно к себе, согласно желанию князя, которому не хотелось, чтобы любопытные из окон замка заметили его в обществе маэстро. Благосклонному читателю известно, насколько удалось князю утаить свой приватный и весьма секретный визит к маэстро Абрагаму в его рыбацкой хижине. Но еще одна особа, кроме камердинера, подслушала князя, хотя он этого отнюдь не подозревал.

Маэстро Абрагам почти дошел до своего жилища, когда совершенно неожиданно для него из вечернего сумрака, сгустившегося в аллеях, навстречу ему вышла советница Бенцон.

— Ах, — воскликнула Бенцон с горьким смехом, — князь советовался с вами, маэстро Абрагам. Да и впрямь вы — истинная опора княжеского дома, отцу и сыну передаете вы свою мудрость и опытность. Ну, а если добрый совет дать трудненько, а положение безвыходное? — «То, подхватил маэстро Абрагам, — то на этот случай существует советница, которая, собственно, является неким ярко блистающим светилом, озаряющим здесь всех и вся, светилом, под покровительством которого также и бедный старый органый мастер сумеет, кое-как перебиваясь, завершить свое неприглядное существование.

— Не шутите, — проговорила Бенцон, — не шутите так горько, маэстро Абрагам, — светило, которое столь блистательно озаряло здесь все и вся, очень может, исчезая с нашего небосклона, быстро побледнеть и в конце концов вовсе закатиться навсегда. Престранные события, видимо, произойдут в этом уединенном семейном кружке, который жители одного маленького местечка и еще несколько десятков человек, сверх тех, что в нем обитают, привыкли называть *двором*. Поспешный отъезд страстно ожидавшегося жениха — опасное состояние Гедвиги! И в самом деле, все это должно было глубоко потрясти душу князя, если бы он не был совершенно бесчувственным человеком». — «Не всегда вы были такого мнения. Госпожа советница», — прервал маэстро Абрагам речи советницы Бенцон. «Я не понимаю вас», — сказала Бенцон презрительным тоном, бросив маэстро язвительный взгляд, и затем быстро отвернулась от него.

Князь Ириней, побуждаемый доверием, которое он питал к маэстро Абрагаму, и, более того, вынужденный признавать за ним бесспорное духовное и нравственное превосходство, отбросил в сторону какие бы то ни было сиятельные сомнения и колебания и в рыбацкой хижине выложил ему все, что было у него на сердце. Напротив, на все замечания советницы Бенцон касательно внушающих тревогу событий дня он никак не откликнулся, предпочел отмолчаться. Маэстро знал об этом, и поэтому его несколько не удивляла явная раздражительность советницы, хотя он и дивился тому, что она, обычно такая холодная и замкнутая, не сумела лучше скрыть своего раздражения.

Но, конечно же, советница должна была чувствовать себя глубоко уязвленной тем, что монополия опеки над князем, которую она присвоила

себе, вновь оказывается под угрозой, и к тому же еще в столь критическое, в столь роковое мгновение.

По причинам, которые, быть может, чуть позже гораздо более проявятся, бракосочетание Гедвиги и принца Гектора было пламеннейшим желанием советницы. И вот теперь ей должно было казаться, что самое это бракосочетание поставлено на карту, поэтому она, конечно, полагала, что какое бы то ни было вмешательство третьего лица в столь интимные обстоятельства чревато опасностью и крайне нежелательно. Кроме того, она впервые чувствовала, что окружена необъяснимыми тайнами; впервые князь молчал; так могла ли она, привыкшая управлять всей игрой при этом фантазмагорическом, при этом почти что воображаемом дворе, не считать себя уязвленной глубочайшим образом?

Маэстро Абрагам знал, что разъяренной женщине нельзя противопоставить ничего лучшего, нежели непреодолимое спокойствие, посему он и не проронил ни словечка — шагал себе молча рядом с Бенцон, а та, углубившись в раздумье, направилась к тому самому мостику, который уже известен нашему благосклонному читателю. Опершись на перила, советница смотрела на далекие заросли, озаренные прощальным сиянием заходящего солнца. «Прекрасный вечер», — сказала советница, не оборачиваясь.

— Бесспорно, — ответил маэстро Абрагам, — бесспорно, тихий, радостный, ясный, как ни в чем не повинная, ничем не смущенная душа.

— Мсье Лисков, — продолжала советница, отказываясь от более доверительного «маэстро Абрагам», которое прежде было ее обычным обращением к органному мастеру, — вы не вините меня, мой дорогой маэстро, что я вынуждена ощутить себя больно задетой, когда князь внезапно делает своим доверенным только вас одного, только у вас просит совета в обстоятельствах, относительно которых многоопытная женщина способна подсказать наилучшее решение. Но нет, та мелочная обида, которую я не сумела скрыть, уже прошла. Меня вполне утешило то, что теперь, собственно говоря, нарушена только форма. Князю самому следовало сказать мне все то, что теперь пришлось узнать иным способом, и я и в самом деле могу лишь в высшей степени одобрить все, что вы, любезный маэстро, ему ответили. — Я даже охотно признаюсь, что я совершила нечто, что, может быть, и не вполне похвально. Да будет мне извинением отнюдь не женское любопытство, а то глубочайшее участие во всем, что происходит в этом княжеском семействе. Да будет вам известно, маэстро, что я подслушала вас, весь ваш разговор с князем, и я расслышала все-все до последнего словечка.

Душу маэстро Абрагама охватило при этих словах Бенцон престранное чувство: смесь саркастической иронии и глубокой горечи. Нисколько не хуже, чем камердинер князя, маэстро Абрагам знал, что, притаившись в прогалине под самым окном рыбацьеи хижины, можно услышать каждое слово, произнесенное там, внутри. Однако с помощью хитроумного акустического приспособления ему удалось добиться того, что всякий разго-

вор внутри домика доходил до ушей человека, стоящего вне хижины, только лишь как непонятный и невнятный рокот, и он был глубоко убежден, что решительно невозможно различить хотя бы один членораздельный слог. Поэтому маэстро непременно должны были показаться жалкими попытки Бенцон прибегнуть ко лжи, чтобы проникнуть в тайны, о существовании которых она сама могла догадываться, но о существовании которых князь, безусловно, не знал, а следовательно, и не мог доверить их маэстро Абрагаму. Впрочем, читатели узнают еще, о чем беседовал князь с маэстро Абрагамом в рыбацьем домике.

— О, — воскликнул маэстро, — о, моя почтеннейшая, не что иное, как именно оживленный ум житейски опытной и предприимчивой женщины, привел вас к стенам рыбацьеи хижины! Как мог бы я, бедный, старый и все же неопытный мужчина, разобраться во всех этих делах без вашей помощи? Я как раз хотел подробно пересказать вам все, что мне доверил князь, но теперь уже нет необходимости в пространных разъяснениях, поскольку вам и без того уже все известно. Но, может быть, вы, почтеннейшая, сочтете меня достойным и выскажетесь искренне и от всей души обо всех тех делах, которые, быть может, представляются вам в худшем свете, чем они обстоят на самом деле.

Маэстро Абрагам настолько удачно усвоил тон прямодушной доверчивости, что советница Бенцон, невзирая на всю ее проницательность, не сразу поняла, мистифицирует ли он ее или нет, и смущение, вызванное этим обстоятельством, лишило ее возможности за что-то ухватиться, и всякий узелок, за который она могла бы ухватиться, превратить в петлю, чрезвычайно опасную для маэстро. Вот так и вышло, что она, напрасно ища слов, безмолвно застыла, будто скованная заклятьем, на мостике, взглядываясь в озеро.

Маэстро несколько мгновений любовался ее мучениями, однако вскоре помыслы его вновь обратились к событиям дня. Он хорошо знал, что Крейслер находился в самом средоточии этих событий, и глубокая боль об утрате самого дорогого друга охватила его и невольно он воскликнул: «Бедный Иоганнес!»

Тогда Бенцон быстро обернулась к маэстро и сказала с жаром: «Как, маэстро Абрагам, ведь вы же не настолько безумны, чтобы поверить в гибель Крейслера? Шляпа, забрызганная кровью, еще ничего не доказывает! Что же должно было с такой внезапностью привести его к ужасному решению — покончить с собой — да к тому же — его бы нашли!»

Маэстро был весьма удивлен тем, что Бенцон говорит о самоубийстве, здесь, где скорее возникало совершенно иное подозрение; однако, прежде чем он успел что-либо ответить, советница стала продолжать свою речь: «Тем лучше для нас, что он исчез, этот несчастный, который всюду, куда он только является, приносит лишь несчастье да всеобщее замешательство. Его страстный характер, его горчайшее ожесточение — никак иначе я не могу определить его столь высокопревознесенный юмор — за-

ражает каждую впечатлительную душу, которую он затем превращает в игрушку свою, в нечто вроде фишки в своей ужасной игре. Ежели глумливое пренебрежение всеми общепринятыми светскими условностями, если — более того — склонность действовать наперекор всем общепринятым формам общения может считаться свидетельством умственного превосходства, то нам всем пришлось бы преклонить колени перед этим капельмейстером, но пусть лучше он оставит нас в покое и не восстает против всего, что обусловлено правильным взглядом на действительную жизнь и позволяет нам быть довольными нашей судьбой. А посему — благодарю небо за то, что он исчез, и надеюсь его никогда не встретить больше».

— И все-таки, — мягко сказал маэстро, — некогда вы, госпожа советница, были на его стороне, и к тому же в весьма критическую пору — вы сами направили его на ту стезю, с которой его заставили свернуть именно те самые светские условности, которые вы теперь столь рьяно защищаете? В чем же вы можете теперь упрекнуть моего доброго Крейсlera? А какое зло порождено его душою? Можно ли возненавидеть его за то, что в первые мгновения, когда случай забросил его в новую сферу, жизнь враждебно обошлась с ним, потому что злодеяние поджидало его в за-саде, потому что итальянский бандит крался за ним по пятам.

Советница явственно содрогнулась при этих словах. «Что за адскую мысль, — заговорила она трепещущим голосом, — что за адскую мысль таите вы в своей груди, маэстро Абрагам! Но если бы все это так и было, если Крейслер и в самом деле погиб, то тогда была бы отмщена невеста, которую он погубил. Внутренний голос говорит мне, что Крейслер, и никто другой, виноват в ужасающем состоянии принцессы. Безжалостно напрягал он нежные струны в душе больной, пока они не лопнули». — «Итак, — язвительно возразил маэстро, — сей итальянский господин был человеком быстрых решений, ибо месть у него опередила поступок, требующий отмщения. Ведь вы же сами, милостивая государыня, слышали все, о чем я беседовал с князем в рыбацкой хижине; стало быть, вам из этого источника должно быть известно и то, что принцесса Гедвига в то самое мгновение, когда в лесу раздался выстрел, впала в состояние безжизненного оцепенения».

— И в самом деле, — сказала Бенцон, — можно было бы поверить во все те химерические истории, которыми нас теперь потчуют, — в родство общающихся душ и прочую ересь. И все-таки еще раз скажу — счастье наше, что он убрался восвояси, ибо состояние принцессы может и должно измениться. Судьба изгнала нарушителя нашего спокойствия и — скажите сами, маэстро Абрагам, разве душа нашего друга не растерзана так, что жизнь больше не приносит ему мира и покоя? Предположим затем, что и в самом деле...

Советница не закончила фразы, но маэстро Абрагам ощутил, что гнев, который он до сих пор с трудом подавлял, внезапно вспыхнул в его душе.

— Что, — воскликнул он, возвысив голос, — что вы все имеете против

Иоганнеса, какое он причинил вам зло, что вы не даете ему вольно дышать, не даете ни клочка земли на этом свете? Вы не знаете, в чем дело? Ну так я вам все изложу. Видите ли, Крейслер не выступает под вашим флагом, он не понимает ваших пышных и витиеватых оборотов, тот стульчик, что вы ему подсовываете, дабы он занял место среди вас, для него слишком мал, слишком узковат, что ли; вы отнюдь не можете считать его своим и равным вам, таким же, как вы, — вот это и злит вас! Он не желает признавать нерушимыми те договоры, которые вы заключили между собой, договоры касательно принятых вами житейских форм, о да, он полагает, что некое злобное наваждение, завладевшее вами, не дает вам вообще видеть жизнь в ее реальном облике и что торжественность, с какой вы пытаетесь распоряжаться и управлять в областях, для вас недоступных и вами не исследованных, кажется ему смешной, смехотворной — вот это-то вы и именуете горечью и ожесточенностью! Больше всего и превыше всего любит он шутку, порожденную глубочайшим постижением бытия человеческого, и шутку эту следует назвать прекраснейшим даром природы, даром, сотворенным ею из чистейшего источника ее существования. Но вы — люди порядочные и серьезные, и вы не склонны к шуткам. Дух истинной любви обитает в нем, но сумеет ли он отогреть женское сердце, которое навеки оледенело, в котором никогда не было искры, какую этот дух способен раздуть в пламя? Вы терпеть не можете Крейслера, потому что то чувство превосходства, какое вы вынуждены за ним признать, вам неприятно, поскольку вы страшитесь его, занятого более высокими материями, нежели те, что соответствуют вашему тесному кругу.

— Маэстро Абрагам, — глухо сказала Бенцон, — пыл, с которым ты говоришь о своем друге, заводит тебя слишком далеко. Тебе хотелось уязвить меня? Ну что же, это тебе удалось, ибо ты пробудил во мне помыслы, которые долго, очень долго дремали! Смертельно оледеневшим называешь ты мое сердце? А знаешь ли ты, внимало ли оно когда-нибудь участливому голосу любви; знаешь ли ты, что я, быть может, именно в тех условностях житейских отношений, которые эксцентричный Крейслер мог считать презренными, обрела утешение и покой? Неужели ты, старик, также, должно быть, испытывавший немало горестей, вообще не знаешь, что это опасная игра — восставать против этих житейских взаимоотношений и условностей — и пытаться подойти поближе к мировому духу, мистифицируя собственное бытие? Я знаю, что самой холодной, самой малоподвижной житейской прозой корил меня Крейслер, и это его суждение, которое выражается и в твоём, когда ты называешь меня безжизненно окоченелой, но разве вы когда-нибудь сумели проникнуть взором сквозь слой этого льда, который уже давно стал для груди моей защитным панцирем? Пускай у мужчин жизнь не творится любовью, пусть у них любовь только вздымает жизнь на вершину, с которой вниз еще ведут надежные пути, нашим высочайшим светоносным пунктом, который сперва создает и формирует все наше бытие, является мгновение первой

любви. Ежели враждебной судьбе угодно, чтобы мы разминулись с этим мгновением, то тогда для слабой женщины теряется смысл вся жизнь, ибо женщина эта пребывает в безутешной ничтожности, в то время как другая, одаренная большей духовной силой, яростно восстает против всего этого, и именно в обстоятельствах обыденной жизни приобретает то, что только и приносит ей покой и мир. Позволь мне сказать тебе это, старик, здесь, во тьме ночной, которая окутывает наши признания, позволь мне высказать тебе это! Когда наступил тот момент в моей жизни, когда я увидела того, который зажег во мне пламя глубочайшей любви, на какую только способна женская душа, — тогда я уже стояла перед алтарем с тем самым Бенценом, которому суждено было стать прекраснейшим супругом. Его полнейшая незначительность доставила мне все, чего я только могла пожелать для спокойной жизни, и никогда ни единая жалоба, ни единый упрек не сорвались с моих уст. Только тесный круг обыденного принимала я во внимание, и если потом, именно в этом кругу случалось многое, что неотвратимо сводило меня с правильного пути, если я многое, что могло показаться наказуемым, не умела извинять не чем иным, как давлением преходящих обстоятельств, то пусть меня прежде всего проклянет такая женщина, которая, как и я, испытала тяжкую борьбу, ведущую к полнейшему отказу от какого бы то ни было высшего, истинного счастья, если бы даже это высшее, истинное счастье не оказалось бы в конце концов мнимым, не чем иным, кроме как сладостной мечтательной иллюзией. Князь Ириней познакомился со мной. Но я молчу о том, что давно прошло, только о настоящем времени следует еще говорить. Я позволила тебе заглянуть в мое сердце, маэстро Абрагам, и теперь ты знаешь, почему я, при том, как теперь сложились обстоятельства, вынуждена бояться всякого вторжения чужеродного загадочного начала, считая его угрожающим и опасным. Моя собственная судьба в тот роковой час зловеще улыбается мне, как некий ужасный и предостерегающий призрак. Я должна спасти тех, кто дорог мне, и у меня есть свои планы. Маэстро Абрагам, не идите мне наперекор, или ежели вы пожелаете вступить со мной в борьбу, то смотрите, как бы я не расстроила все ваши непревосходнейшие кунштютюки, все ваши ухищрения престижиста и иллюзиониста!

— Несчастливая женщина, — воскликнул маэстро Абрагам.

— Несчастной называешь ты меня, — возразила Бенцон, — меня, которая сумела победить враждебную судьбу и тогда, когда уже, казалось бы, все погибло, обрела довольство и покой.

— Несчастливая женщина, — снова воскликнул маэстро Абрагам тоном, который свидетельствовал о его внутреннем волнении, — бедная, несчастная женщина! Ты мнишь, что обрела покой и довольство, а не предполагаешь даже, что это было отчаяние, которое, подобно вулкану, выбрасывало из твоей души все пламенеющее, горящее и пылающее, и что ты теперь всего лишь мертвая зола, мертвенный пепел, на котором не цветут деревья и не растут цветы; вот эту мертвую золу ты в оконечной

иллюзии своей считаешь щедрой новой жизнью, которая еще должна принести тебе плоды. Ты хочешь возвести искусственное строение на фундаменте, расколотом молнией, и не страшишься при этом, что оно рухнет в то мгновение, когда веселые пестрые ленты зашелестят на цветочном венке, возвещающем победу зодчего... — Юлия-Гедвига — я знаю это, для них были так искусно сотканы эти планы. Несчастливая женщина, остерегайся, чтобы то роковое чувство, то ожесточение, в котором ты весьма несправедливо упрекаешь моего Иоганнеса, не вырвалось из глубины собственной твоей души, потому что все твои мудрые планы — суть не что иное, как дьявольский мятеж против счастья, каким ты никогда не наслаждалась сама и в коем ты теперь отказываешь даже тем, кого ты любишь. Я больше знаю о твоих проектах, чем ты можешь думать, больше знаю о твоих пресловутых планах устройства жизни, которые должны принести тебе покой, но увлекли тебя на путь позора, позора, позора, достойного кары!

Глухой, нечленораздельный вопль, вырвавшийся из груди Бенцон при всех этих последних словах маэстро, выдал ее внутреннее потрясение. Органный мастер помолчал немного, но, так как Бенцон тоже молчала, не двигаясь с места, он стал спокойно продолжать: «Менее всего мне хочется вступать с вами в какую бы то ни было борьбу, милостивая государыня! Что же касается до моего так называемого фокусничества и притязаний таторства, то вы же, дражайшая госпожа советница, превосходно знаете, что, с тех пор как моя Невидимая девушка покинула меня...»

В это мгновение мысль об утраченной Кьяре охватила душу маэстро с такой силой, как давно уже не бывало, — он думал уже, что вот-вот увидит ее фигуру в темной дали, ему уже казалось, что он слышит ее сладостный голос. «О, Кьяра! Кьяра моя!» — так воскликнул он в болезненной тоске.

— Что с вами? — проговорила Бенцон, быстро оборачиваясь к нему, — Что с вами, маэстро Абрагам? Чье имя вы назвали? Но еще раз, давайте оставим в покое все прошлое, судите меня не по тем странным взглядам на жизнь, которые вы разделяете с Крейслером, обещайте мне не злоупотреблять доверием, которым почтил вас князь Ириней, обещайте не идти мне наперекор.

Но настолько углублен был маэстро Абрагам в горестные раздумья о своей Кьяре, что он едва слышал то, что говорила советница, и мог отвечать лишь совсем невнятно.

— Не отталкивайте, — продолжала советница, — не отталкивайте меня, маэстро Абрагам, ведь вам, как мне кажется, и в самом деле многое известно лучше, чем я могла предполагать, и все-таки возможно, что и я еще берегу тайны, знакомство с которыми было бы для вас необычайно ценным, да, весьма возможно, что я, пожалуй, из чувства симпатии оказала бы вам такую услугу, о какой вы даже и не думали. Давайте вместе овладеем этим маленьким двором, который и впрямь следует водить на помочах. «Кьяра!» — воскликнули вы с такой болью, что...» Сильный

шум в замке прервал речи советницы Бензон. Маэстро Абрагам очнулся от своих мечтаний. . .



(Мурр пр.): . . . то я могу сообщить тебе следующее. Кот-филистер, если даже его мучит жажда, начинает лакать из миски с молоком вокруг по краям, чтобы не замочить молоком усы и мордочку и сохранить благопристойность, ибо благопристойность волнует его больше, чем жажда. Если ты наносишь коту-филистеру визит, то он предлагает тебе все, что только возможно, однако, когда ты прощаешься с ним, ограничивается только тем, что заверяет тебя в своей дружбе и пожирает потом тайком и в одиночку все те лакомые кусочки и разносолы, которые он только что тебе предлагал. Кот-филистер умеет — ибо ему свойственно уверенное и непогрешимое чутье — везде: на чердаке, в подвале и т. д. находить наилучшее местечко, где он растягивается с такой приятностью и так удобно, как это только возможно. Он много говорит о своих превосходных качествах и о том, что ему, слава богу, не приходится жаловаться на то, что судьба не заметила этих прекрасных качеств. Весьма многословно распространяется он перед тобой о том, как он занял то прекрасное место, которое он заполучил, и что он еще намерен предпринять, чтобы улучшить свое положение. Если же тебе захочется, наконец, вернуть свое словечко и о твоей собственной, хотя и скромной, но благосклонной судьбе, то кот-филистер тут же жмурит глаза, прижимает уши, прикидываясь спящим, или начинает мурлыкать. Кот-филистер тщательно и дочиста, до блеска вылизывает свою шерсть, а когда на охоте за мышами приходится преодолевать мокрые места, то он на каждом шагу старательно отряхивает лапки, чтобы, даже если ему из-за этого придется упустить дичь, все же во всех житейских взаимоотношениях оставаться тонким, порядочным, прилично одетым субъектом.

Кот-филистер страшится и избегает малейшей опасности, но выражает соболезнование, ежели ты находишься в опасности и зовешь его на помощь, вообще же он ограничивается пламенными уверениями в своем дружеском участии, но затем присовокупляет, что как раз в это самое мгновение его обстоятельства никак не позволяют ему прийти тебе на помощь. Вообще все действия и поступки кота-филистера во всех и всяческих случаях зависят от многих тысяч привходящих обстоятельств. Даже, например, с маленьким мопсом, который укусил его за хвост самым ощутительным образом, он, кот-филистер, остается учтив и вежлив, чтобы не испортить отношения с дворовым псом, чьей протекцией он, кот-филистер, пользуется. Впрочем, ночью он устраивает засаду ради того, чтобы выцарапать глаза этому самому мопсу. День спустя он от всего сердца выражает свое соболезнование милому другу мопсиньке и бранит на все лады злобных, коварных недругов. Вообще привходящие обстоятельства напоминают благоустроенную лисью нору, которая дает коту-филистеру возможность исчезать как раз в то самое мгновение, когда ты думаешь его изловить. Кот-филистер более всего любит оставаться под родной печкой, где он чувствует себя уверенно и в безопасности, а стоит ему оказаться

на крыше, как у него начинает кружиться голова. И, обратите внимание, друг мой Мурр, это как раз ваш случай. Если же я вам теперь скажу, что кошачий бурш откровенен, честен, бескорыстен, душа нараспашку, всегда готов прийти другу на помощь в беде, если я скажу вам, что он знает не знает никаких привходящих обстоятельств, ибо руководствуется только чувством чести и чувством порядочности, — достаточно, одним словом, если я скажу, что кошачий бурш во всем является полнейшим антиподом кота-филистера, то вы ни перед чем не остановитесь, чтобы выкарабкаться из трясины филистерства, чтобы стать порядочным и дельным кошачьим буршем.

Я живо почувствовал истину в словах Муция. Я сознавал, что мне не было знакомо лишь самое слово *филистер*, однако мне был прекрасно знаком этот характер, так как мне уже встречались кое-какие филистеры, т. е. поганые коты, которых я презирал от всего сердца. Тем болезненней ощущал я поэтому заблуждение, сбитый с толку которым я мог угодить в категорию этих достойных презрения субъектов, и я решил во всем последовать совету Муция, чтобы таким образом, пожалуй, еще успеть стать дельным кошачьим буршем. Некий молодой человек рассказывал однажды моему маэстро о своем вероломном друге и определил этого последнего неким очень странным, непонятным мне выражением. Он назвал его напوماженным субъектом. И вот мне показалось, что прилагательное «напوماженный» чрезвычайно подходит для того, чтобы прибавлять его к существительному «филистер», и я стал расспрашивать своего друга Муция, что он думает на этот счет. Однако, едва только я выговорил слово «напوماженный», как Муций вскочил с громким ликующим криком и, крепко обняв меня за шею, воскликнул: «Сын мой, теперь я вижу, что ты меня вполне понял — о, да, напوماженный филистер! Это презренное создание, которое противопоставляет себя благородному буршеству и которого мы везде, где его только найдем, должны будем травить до смерти. Да, друг Мурр, в тебе уже теперь есть внутреннее непогрешимое чувство всего благородного и великого, дай я вновь прижму тебя к этой груди, в которой бьется верное немецкое сердце». И с этими словами друг Муций вновь обнял меня и объявил, что этой же ночью он намерен ввести меня в компанию буршей, мне следует только в полуночный час явиться на крышу, откуда он ответит меня на празднество, которое устраивает старшина котов, а именно — кот Пуфф.

Маэстро вошел в комнату. Я, как обычно, улегся рядом с ним, стал ласкаться, кататься по полу, дабы доказать ему свою дружбу. И Муций глядел на него довольным взглядом. После того как маэстро немножко почесал мне голову и шею, он оглядел комнату и, найдя в ней все в должном порядке, сказал: «Вот, вот, так и надо, так и надо! Вы беседовали и развлекались тихо и мирно, как это надлежит приличным, благовоспитанным людям. Стало быть, вы заслуживаете награды».

Маэстро подошел к дверям, ведущим в кухню, и мы, Муций и я, угадав его добрые намерения, побежали вслед за ним с радостным «мяу-мяу-

мяу»! И в самом деле, маэстро отворил кухонный шкаф и извлек из него необглоданные кости нескольких молодых курочек, мясо которых он вчера съел. Известно, что мы, кошки, считаем куринные косточки тончайшими из деликатесов, какие только существуют на свете, и поэтому глаза Муция запылали ослепительным огнем, он повел хвостом с очаровательной змееподобностью и замурлыкал, когда маэстро поставил миску перед нами на пол. Отлично помня о напомаженном филистере, я оставил другу Муцию лучшие кусочки, — шейки, пупочки, гузки, довольствуясь сам более грубыми костями ножек и крылышек. Когда мы разделились с курятиной, я хотел спросить друга Муция, могу ли я услужить ему чашкой сладкого молока. Однако, все еще держа перед глазами образ напомаженного филистера, я не проронил ни слова, и вместо этого вытащил чашку, которая, как мне известно, стояла под шкафом, и радушно пригласил Муция полакать вместе со мной, причем даже чокнулся с ним. Муций вылакал чашку дочиста, потом пожал мне лапу и сказал, заливаясь светлыми слезами: «Друг Мурр, ты живешь, как Лукулл, но разве ты не открыл мне твое верное, честное и благородное сердце и таким образом тщетные мирские радости не увлекут тебя в трясины пошлейшего филистерства. Спасибо тебе, спасибо от всей души». Затем мы стали прощаться, завершив нашу встречу мощным и прямодушным германским лапопожатием по доброму обычаю предков. Муций, безусловно, чтобы скрыть глубокое волнение, которое вызвало у него слезы, совершил прыжок и пулей вылетел в раскрытое окно, вскочив прямо на ближайшую примыкающую крышу. — Даже и меня, которого природа одарила из ряда вон выходящей прыгучей энергией, этот отважный прыжок привел в изумление, и я вновь восхвалил мое кошачье племя, состоявшее из прирожденных гимнастов, коим не нужны ни шесты для прыжков, ни шесты для лазания.

Впрочем, друг Муций дал мне также доказательство того, сколь часто за грубой, отталкивающей внешностью скрывается нежная, чувствительная душа.

Я возвратился в комнату к моему маэстро и забрался под печку. Здесь, в уединении, обдумывая мой образ жизни до нынешнего дня, настроения моих последних дней, взвешивая, как жил и живу, я испугался при мысли, сколь близок я был к краю бездны, и друг Муций показался мне, невзирая на его взерошенную шерсть, прекрасным ангелом-хранителем. Я должен вступить в новый мир, должен заполнить пустоту души своей, я должен сделаться другим котом, и сердце мое колотилось от боязливого и радостного ожидания.

Было еще далеко до полуночи, когда я, обратившись к маэстро с привычным «Мя-ау», попросил его выпустить меня. «Весьма охотно, — ответил он, отворив дверь, — весьма охотно, Мурр. Из вечного лежания под печкой и спанья ничего хорошего не получается. Иди, пройдишь, тебе нелишне вновь побывать в свете, потереться среди котов. Быть может, ты отыщешь родственные души среди котов-юношей, разделяй их забавы, будь с ними в серьезном деле и в шутке».



Гимн котов-буршей, сочиненный Гофманом. Автограф.

— Ах, маэстро, видимо, предчувствовал, что мне предстояла новая жизнь! Наконец, едва я дождался полуночи, передо мной предстал друг мой Муций и повел куда-то вдаль, по разным крышам, пока, наконец, на почти плоской итальянской крыше нас не встретили громким кличем ликования десять весьма видных собой, но, увы, весьма неряшливо и странно, как и Муций, одетых котов-юношей. Муций представил меня своим друзьям, он превозносил мои душевные качества и честность, повествовал о том, как гостеприимно угощал я его жареной рыбой, куриными косточками и молоком — и заключил тем, что меня следует принять в их компанию как дельного кота-юношу. Все согласились.

Засим последовал известный церемониал, известные церемониальные обряды, о которых я, однако, умолчу, ибо благосклонный читатель из числа моих сородичей, быть может, заподозрит меня в том, что я стал членом запрещенного ордена и, чего доброго, еще потребует у меня отчета. Клянусь честью, однако, что об ордене и его условиях, каковыми обычно являются статуты, тайные знаки и т. п., отнюдь не было речи, но что союз зиждился только лишь на одинаковости убеждений, на единомыслии. Ибо очень скоро выяснилось, что каждый из нас пил молоко охотней, чем воду, а жаркое ел куда охотнее, чем хлеб.

После того, как церемониальная часть была завершена, я принял от всех братский поцелуй и лапожатие, и они обратились ко мне на «ты». Потом мы сели за простую, но веселую трапезу, за коей последовала приятнейшая попойка. Муций приготовил превосходный кошачий пунш. Ежели развратный юноша испытает страстное желание узнать у меня рецепт восхитительного напитка, то я, к сожалению, не смогу в достаточной мере просветить его по этой части. Мне определенно известно только то, что чрезвычайно приятный вкус, а также и всепобеждающая сила этого напитка вызывается преимущественно здоровой примесью сельдяного рассола.

Засим голосом, который громоподобно раскатывался над множеством крыш, наш предводитель Пуфф затянул чудесный гимн «Caudeamus igi-

тур» *² — с блаженным чувством ощутил я себя духом и телом вполне замечательным «juvenis» ** и не желал вовсе и думать о «tumulus» ***, которую мрачный рок редко предоставляет нашим сородичам в тихой, мирной земле.

Исполнены были еще разные прекрасные песни, как, например, «Пусть твердят политиканы»³ и т. д., пока наш старшина Пуфф не ударил по столу увесистой лапой и не объявил, что сейчас мы должны будем спеть подлинную и настоящую песню посвящения, а именно «Ессе quam вопит...» ****⁴ и тотчас же затянул на мотив хора «Ессе» и т. д. и т. п.

Никогда еще не слышал я песни, чью композицию можно назвать столь же глубоко задуманной, столь же гармонически и мелодически правильной, сколь волшебной и таинственной. Великий маэстро, который сочинил эту песню, насколько я знаю, остался неизвестным, но многие приписывают эту песню прославленному Генделю⁵, иные же, напротив, замечают, что песня эта существовала весьма задолго до времен Генделя, ибо, согласно Виттенбергской хронике, ее пели уже тогда, когда принц Гамлет еще ходил в фуксах⁶. Но кто бы ни сочинил это великое и бессмертное творение, прежде всего следует дивиться тому, что вплетенные в общий хор сольные номера певцов оставляют вольный простор для прелестных и воистину неисчерпаемых вариаций и импровизаций. Некоторые из этих вариаций, слышанных мною в ту ночь, я свято сохранил в памяти.

Когда исполнение хора завершилось, юноша в белых и черных пятнах вдруг завел:

Шпиц концерты задает,
Пудель брешет рядом;
Пуделек — мордovorот,
Шпиц же крепок задом!
Хор: «ессе quam...» etc., etc.

Затем вступил серый кот:

Вот учтиво шапку снял
Господин филистер.
Что-то нынче просиял
Простофиля истый!
Хор: «ессе quam...» etc., etc.

Затем запел рыжий кот:

Крошка-птичка любит высь,
Глубь — для рыбки-крошки, —
Ах! по вкусу мне прилились
Плавники и ножки!
Хор: «ессе quam...» etc., etc.

* Будем веселиться (лат.).

** Юноша (лат.).

*** Могила (лат.).

**** Вот как прекрасно... (лат.)

Затем вступил белый кот:

Будь порывист и горяч,
Но не будь нахалом:
Коготки на время спрячь,
Стань учтивым малым!

Хор: «ессе quam...» etc., etc.

После этого запел друг Муций:

Пусть мартышки мерят нас
Мерой обезьяньей, —
Мы разгоним в добрый час
Свору этих дряней!

Хор: «ессе quam...» etc., etc.

Я сидел рядом с Муцием и вскоре настал мой черед проскандировать соответствующий куплет. Все куплеты, до сих пор исполненные котами-солистами, настолько разительно отличались от стихов, какие я привык сочинять, что я встревожился, опасаясь, что самый тон и стиль целого будет нарушен мною. Поэтому, вышло так, что я, когда хор завершился, все еще молчал. Кое-кто из присутствующих уже поднял бокалы и прокричал «Pro roepa» *, когда я, преодолев себя, собрался с духом и завопил:

Крепость лап, отважный взор,
Смелые идеи!
Мы, филистерам в укор,
Бурши-котофеи!

Хор: «ессе quam...» etc., etc.

Моя сольная вариация снискала величайшую хвалу и неслыханный успех. Благородные юноши бросились ко мне, прижали к своей мятежной груди, в которой громко билось пламенное сердце. Итак, свойственный мне гений и здесь удостоился признания. Это было одно из прекраснейших мгновений моей жизни. Затем была произнесена пламенная здравица в честь некоторых великих и прославленных котов, преимущественно таких, которые, невзирая на свое величие и знаменитость, держались в отдалении от всяческого филистерства и доказали это на словах и на деле, итак, мы провозгласили здравицу в честь этих котов и затем распрощались и разошлись по домам.

Пунш все же несколько ударил мне в голову, мне показалось, что крыша вертится вокруг меня, и я приложил немало усилий, чтобы с помощью хвоста, который я использовал в качестве балансира, идти, не спотыкаясь и сохраняя равновесие. Верный Муций, заметив, в каком состоянии я нахожусь, подхватил меня и без особых приключений, вполне счастливо, доставил домой, проведя через слуховое окно.

* Штраф (лат.).

В голове моей была полнейшая пустота, никогда еще я не испытывал ничего подобного и потому еще долго не мог...

(Мак. л.):.. знал так же хорошо, как проникательная госпожа Бендон, но то, что я именно сегодня, как раз теперь получу от тебя весточку, от тебя, верная душа, этого мое сердце никак не предчувствовало». Так сказал маэстро Абрагам и запер, не вскрывая, письмо, полученное им (адрес которого, как он с радостным изумлением обнаружил, был надписан рукой Крейсера). Итак, он запер это письмо в ящик своего письменного стола и вышел в парк. Маэстро Абрагам с незапамятных времен имел обыкновение — письма, которые он получал, оставлять не вскрытыми целые часы, и — более того — нередко даже целые дни. «Если содержание безразличное, — говорил он, то в промедлении нет особой беды, если же письмо содержит недобрую весть, то я выигрываю еще несколько веселых или, по крайней мере, неомраченных часов; если же в письме — радостное послание, то человеку степенному не грех и подождать, пока радость не свалится ему, как снег на голову». Такое обыкновение, свойственное нашему маэстро, следует, конечно, отвергнуть хотя бы уже потому, что человек, оставляющий адресованные ему письма не вскрытыми, совершенно не годится для того, чтобы быть негоциантом или для того, чтобы писать в газетах на политические и литературные темы, — ясно также, и впрочем, что и у лиц, каковые не являются ни негоциантами, ни газетными писаками, — подобное обыкновение вполне может привести к чрезвычайному дурным последствиям. Что же касается настоящего биографа, то он ни в коей мере даже не думает о стоическом равнодушии Абрагама, а приписывает это его обыкновение скорее некоей робости, некоей боязни узнать тайну запечатанного письма. Это ведь совершенно особенное, ни с чем не сравнимое наслаждение — получать письма, и поэтому нам особенно приятны люди, доставляющие нам такое наслаждение, а именно письмоносы, как однажды уже заметил где-то один остроумный сочинитель. Биограф вспоминает, что некогда в бытность свою студентом университета, он со страстною тоскою и болью долго и тщетно ожидал письма от некоей нежно любимой особы; он со слезами на глазах умолял письмоносца, чтобы тот поскорее принес ему письмецо из родного города, обещая ему даже за то щедро дать на водку. Письмоносец же с хитрой миной обещал совершить то, чего от него требовали, посему он и принес письмо, которое в самом деле пришло несколько дней спустя, необычайно торжествуя, как будто исключительно лишь от него одного зависело сдержать данное им слово, и, естественно, получил обещанную мзду. Биограф знает, конечно, что он, пожалуй, уделил слишком много места своего рода самомистификациям — однако ему неизвестно, как настроен ты, любезный читатель, чувствуешь ли ты то же самое, что и он, то есть некое наслаждение, смешанное со страхом, когда, едва ты решился вскрыть письмо, сильное сердцебиение мешает тебе сделать это, даже и в таких случаях, когда очень сомнительно, что данное письмо содержит нечто важное для тебя. Быть может, именно это —

сжимающее грудь чувство, чувство, с которым мы всматриваемся в непроглядную ночь своего грядущего, быть может, — чувство это гнездится и здесь и это именно потому, что достаточно легкого движения, чтобы разоблачить сокровенное, вот почему таким напряженным оказывается тревожащий нас миг! И — какое великое множество прекраснейших надежд и упований ломалось вместе с роковой сургучной печатью, и волшебные видения и мечтания, сотворенные нашей собственной душою, мечтания, казавшиеся воплощенной нашей болью и страстной печалью, развеивались в дым, и крохотный листок бумаги становился тем магическим проклятием, от которого увядал цветник, в коем мы намеревались совершать наши нежные променады, и вот уже жизнь вновь простиралась перед нами, как бесплодная и дикая пустыня! Думается, что недурно бы сперва собраться с духом, прежде чем вышеупомянутым движением пальца обнаружить сокровенное, пожалуй, этим, как раз, возможно извинить во всем прочем непохвальное обыкновение маэстро Абрагама, каковое, следует признаться, также и нынешнему биографу напоминает о некоем роковом времени, когда почти каждое письмо, которое он получал, уподоблялось ящику Пандоры, из коего, как известно, едва его отворили, посыпались тысячи бед и несчастий, зол и всяческих неудобств. — Итак, если даже маэстро Абрагам теперь запер письмо капелмейстера в свое бюро или ящик письменного стола и если он даже отправился после этого прогуляться по парку, то все же благосклонный читатель непременно должен немедленно и в точности узнать, каково было содержание данного письма. — Иоганнес Крейслер писал следующее:

«Мой сердечный друг — маэстро! «La fin couronne les oeuvres!» * 7 мог бы я воскликнуть, как лорд Клиффорд в «Генрихе VI» Шекспира, когда высокоблагородный герцог Йоркский нанес ему смертельный удар. Ибо, слава богу, моя тяжелораненая шляпа упала в кусты, и я, вслед за ней, навзничь, как некто, о котором в битве говорят: «Он падает или он пал». — Такого рода люди, увы, редко, мой милый, поднимаются вновь, однако именно так поступил ваш маэстро Иоганнес и к тому же сразу на этом самом месте. О моем тяжелораненом соратнике или скорее соратнице, павшей плечо к плечу со мной или, вернее, с моей головы, я, увы, не мог позаботиться, так как у меня и без того было много дела; мощным прыжком в сторону (я применяю здесь слово прыжок не в его философском, а также и не в его музыкальном смысле, а только и всего лишь в чисто гимнастическом смысле) я постарался избежать пистолетного дула, которое некто наставил на меня и от какового дула меня отделяло не более трех шагов.

Но я совершил и нечто большее — я внезапно перешел от обороны к нападению, накинулся на одного стрелка и без долгих разговоров вонзил ему в живот свою трость со стилетом. Вы всегда упрекали меня в том, маэстро, что я слабо владею исторически-повествовательным сло-

* Конец венчает дело (фр.).

гом и неспособен что-либо рассказать, не ввертывая при этом ненужные фразы и отступления. Что вы скажете теперь на это складное и связанное изложение моего итальянского приключения в зигхартсгофском парке, в парке того самого Зигхартсгофа, где великодушный князь правит с такой кротостью, что готов терпеть даже и бандитов, должно быть, ради приятного разнообразия?

Примите, мой милый маэстро, все вышесказанное лишь как предварительное — имеющее характер выдержек и аннотаций — изложение содержания исторической главы, которую я, если мне позволят это мое нетерпение и господин приор, напишу вам вместо ординарного письма. Относительно приключения в лесу остается добавить лишь немного. Мне сразу же стало ясно, что, когда раздался выстрел, я должен был воспользоваться этим, ибо, падая, я ощутил жгучую боль в левой половине моей головы, которую конректор заведения, в коем я обучался в Гёнионесмюле, справедливо называл *упрямой*. Так вот, именно упрямое сопротивление оказали добротные кости моего черепа гнусному и презренному свинцу, что же касается поверхностного ранения, то им, право же, можно пренебречь. Но сообщите мне, милый маэстро, сообщите мне сразу же, безотлагательно или нынче вечером или, в крайнем случае, завтра, с утра пораньше, в чье тело вонзилось лезвие моего тайного стилета. Мне было бы очень приятно узнать, что я не пролил ничьей обыкновенной человеческой крови, разве что пролил всего лишь зловонный гной, струящийся в жилах сиятельного принца; и мне почему-то кажется, что именно так и обстоит дело. Маэстро! — если это так, то, стало быть, случай заставил меня совершить деяние, которое некий мрачный дух предсказал мне у вас в рыбацкой хижине! Пожалуй, эта коротенькая шпага в трости, в то мгновение, когда я применил ее в качестве орудия необходимой обороны против убийцы, была ужасным мечом Немезиды, отмщающей кровавую вину? опишите мне все обстоятельно, маэстро, и прежде всего о том, каково положение дел с оружием, которое вы дали мне в руки, с этой пресловутой миниатюрой? Но нет, ничего мне не говорите об этом. Позвольте мне сохранить этот портрет Медузы, от одного взгляда которой застывает на месте грозное, роковое злодеяние, позвольте мне сохранить это изображение Медузы, как тайну, необъяснимую для меня самого. Мне все кажется, что этот талисман мог бы потерять всю свою силу, как только я узнал бы, какого рода сочетание созвездий превращает его в волшебное оружие! Поверите ли вы мне, маэстро, что я до сих пор еще даже не рассмотрел как следует вашу миниатюру. — Когда это будет уместно, вы расскажете мне все, что нужно знать, и тогда я верну вам этот талисман, верну его в ваши собственные руки. Стало быть, пока ни слова более об этом! — Но теперь мне хочется продолжить изложение своей исторической главы.

Когда я вонзил вышеупомянутому Некто свою шпажонку в грудь, так, что он беззвучно упал наземь, я бежал прочь с быстротой Аякса⁸, ибо слышал голоса в парке и был убежден, что нахожусь в чрезвычайной

опасности. Я хотел бежать в Зигхартсвейлер, но во тьме сбился с пути. Все быстрее и быстрее бежал я, все еще надеясь, что отыщу дорогу. Я перепрыгивал какие-то рвы и канавы в поле, вскарабкался на крутую возвышенность, и, в конце концов исчерпав свои все силы, свалился на-земь в каких-то кустах. Мне показалось, что молния сверкает прямо перед моим взором, я ощутил колющую боль в голове и пробудился от глубокого мертвецкого сна. Рана сильно кровоточила, я, приспособив от-совой платок, наложил себе повязку, которая, право, сделала бы честь опытнейшему ротному хирургу на поле брани, и теперь очень весело осматривался. Неподалеку от меня воздымались мощные руины замка. Я заметил это, маэстро, ибо я, к моему немалому изумлению, вновь ока-зался на склоне Гейерштейна.

Рана больше мне не докучала, и, почувствовав себя бодрее и веселее, я вышел из кустов, которые служили мне опочивальней; солнце подня-лось и бросало, словно радостные утренние приветы, сверкающие лучи на лес и дуга. Птицы пробудились в кустах и купались, щебеча, в про-хладной утренней росе и взвивались ввысь, в небо. Подо мной, еще оку-танный ночным туманом, лежал Зигхартсгоф, но вскоре туман рассеялся и в золотом пылании застыли деревья и кусты. Озеро в парке было подобно ослепительно сияющему зеркалу: я различал рыбачью хижину как крохотную беленькую точку — мне даже казалось, что я вижу мост. Вчерашний день вставал передо мной, но мне он казался уже давно про-шедшим временем, из коего мне не осталось ничего, кроме печального воспоминания о вечно утраченном, которое в одно и то же мгновение разрывает грудь и наполняет ее сладостным блаженством. «Чудак, что ты хочешь, собственно, этим сказать, что, собственно, ты утратил навеки в этом давно прошедшем вчера?». Так восклицал я, обращаясь к самому себе, маэстро; я и доселе слышу это. Ах, маэстро, вновь поднимаюсь я туда — на ту заоблачную вершину Гейерштейна, чтобы взмыть туда, где витало сладостное волшебство, где та любовь, которая не обуслов-лена ни временем, ни пространством, и вечна, как мировой дух, низошла ко мне в исполненных предчувствия небесных звуках, являющих страст-ную печаль и страстное желание. Я знаю, что перед самым моим носом усядется какой-нибудь голодный оппонент, который спорит, разве что ради ячменного хлеба насущного и допытывается у меня с издеватель-ской усмешкой, возможно ли, чтобы у звука были темно-синие глаза. Я привожу самое связное и толковое доказательство, что звук, собст-венно, также является взглядом, который доходит до нас из светоносного мира, проникая сквозь разорванную облачную пелену; оппонент же идет дальше и вопрошает насчет лба, волос, относительно рта и губ, о руках, о кистях рук, о ногах и ступнях, и со злобной усмешкой выска-зывает сомнение, что чистый звук может быть снабжен всеми этими сугубо человеческими органами и частями тела. О, господи, я отлично знаю, что думает этот крючкотвор, а именно — нисколько не больше

того, что, пока я являюсь *glebae adscriptus* *, т. е. привязанным к клочку земли, как он и все прочие, пока мы все не питаемся исключительно солнечными лучами, и порой вынуждены усаживаться на любое седалище, не только за кафедрой, ничего мы не имеем общего с той вечной печалью, которая не жаждет ничего иного, кроме самой себя и о которой умеет болтать любой дуралей, — о, маэстро! Я не хотел бы, чтобы вы вступили в спор на стороне голодного оппонента — это было бы мне крайне неприятно. И скажите сами, могли бы вы отыскать для этого хотя бы единственную разумную причину? — разве я когда-либо проявлял тяготение к печальной глупости школяров-недоучек? Да, разве, войдя в зрелые года, я не вел себя всегда самым трезвым образом, разве я хоть когда-нибудь высказывал безумное желание стать перчаткой⁹ — только для того, чтобы лобызать щечку Джульетты, как мой кузен Ромео? Поверьте мне, маэстро, пусть люди толкуют, что им угодно, в голове я не ношу ничего, кроме нот, а в душе и сердце — звуки к ним, ибо — тысячу чертей! — как бы я мог иначе сочинять так благопристойно и складно церковные музыкальные пьесы, как та вечерня, которую я только что закончил и которая лежит передо мной на конторке. — Но вот я уже опять отошел от моей истории — итак, продолжаю свой рассказ.

Издаലെка мне послышалась песня — звуки сильного мужского голоса, который приближался ко мне все более и более. Вскоре, кстати, я и увидел монаха-бенедиктинца, который, идя по тропе, ниже того места, где находился я, пел латинский гимн. Неподалеку от моего уединенного местечка он остановился, перестал петь и осмотрелся, предварительно сняв широкополую дорожную шляпу и, вытерев платком пот со лба, оглядел окружающую местность, а затем исчез в кустах. Мне вдруг захотелось присоединиться к нему, человек этот отличался чрезвычайной упитанностью, солнце стало припекать все сильнее и сильнее, и мне подумалось, что он, пожалуй, станет искать местечка для отдыха в тени. Я не ошибся, ибо, вступив в кустарник, я увидел этого достопочтенного господина, опустившегося на замшелый камень. Обломок скалы чуть повыше, находившийся совсем рядом, служил ему столом, он расстелил на нем белый платок, и как раз только что извлек из дорожного мешка хлеб и жареную птицу, которую и начал вкушать с явным аппетитом. «*Sed praeter omnia bibendum quid*» ** — так воскликнул он, обращаясь сам к себе, и налил себе вина из оплетенной фляги в маленький серебряный кубок, извлеченный им из кармана. Он как раз собирался приступить к возлиянию, когда я со словами «Хвала Иисусу Христу!» подошел к нему. Не отрывая кубка от губ, он взглянул вверх, и я в одно мгновение узнал моего старого и доброго друга из бенедиктинского аббатства в Канцгейме, честнейшего патера и регента хора — Гилария. «Вечная слава» — заикаясь, произнес патер Гиларий, взирая на меня широко раскрытыми оста-

* Привязанный к земле (лат.).

** И сверх того, что-нибудь выпить (лат.).

новившимися глазами. Я тотчас же подумал о своем головном уборе, который, должно быть, придавал мне диковатый и странный вид, и начал следующим образом: «О, мой весьма любимый, достопочтенный друг Гиларий, не принимайте меня, пожалуйста, за сбежавшего из дальних краев бродягу-индуса и не принимайте также и за своего земляка и сородича, ударившегося головой оземь, ибо я все же являюсь не кем иным и не хочу являться не кем иным, как вашим закадычным и сердечным другом — капельмейстером Иоганнесом Крейслером!»

— Клянусь святым Бенедиктом, — радостно воскликнул отец Гиларий, — я вас сразу же узнал, превосходный композитор и приятный друг. но *per diem* * скажите мне, откуда вы идете, и что с вами стряслось, с вами, о коем я думал, что вы *in floribus* ** при дворе великого герцога?

Не чинясь, безотлагательно и кратко я рассказал патеру Гиларию все, что со мной случилось, и как я оказался вынужденным тому, которому пришлось в голову палить по мне, как по загодя выставленной мишени, — одним словом, стрелять в меня на пробу, — итак, как я оказался вынужденным вонзить ему в тело мою трость с потайной шпагой, и как вышеупомянутый стрелок в цель, по всей вероятности, был итальянский принц, которого зовут Гектор, как многих достойнейших охотничьих псов. — «Как же мне теперь быть — вернуться в Зигхартсвейлер — или — посоветуйте мне, отче Гиларий!» —

Так заключил я свой рассказ. Патер Гиларий, который успел вернуть в мое повествование множество всяких «Гм!», «Так!», «Ай!», «О святой Бенедикт» — теперь уперся очами в землю, пробормотав: «*Vibamus!*» *** и одним глотком опустошил свой серебряный кубок.

Потом, он, смеясь, воскликнул: «И впрямь, капельмейстер, лучший совет, который я могу дать вам, во-первых, это, чтобы вы как следует уселись тут рядом со мной и разделили бы мой завтрак. Я могу порекомендовать вам этих вот куропаток, лишь вчера их настрелял наш достопочтенный брат Макарий, который, как вам, должно быть, памятно, попадает во что угодно, только не в тон во время респонзорного пения¹⁰, и ежели вам по вкусу травяной уксус, которым они смочены, то благодарите за эти заботы и попечения брата Евсевия, который собственноручно за жарил их из любви ко мне и мне на благо.

Что же касается вина, то оно вполне достойно того, чтобы оросить глотку любого беглого капельмейстера. Это самый настоящий, доподлинный боксбейтель, *carissime* **** Иоганнес, настоящий боксбейтель из монастыря святого Иоанна в Вюрцбурге, боксбейтель, который мы, недостойные слуги господя, получаем всегда самого высшего качества. — *Ergo bibamus* ¹¹!

* Вместо «*per deum*» — бога ради (лат.).

** Процветает (лат.).

*** Выпьем (лат.).

**** Дражайший (лат.).

С этими словами он наполнил кубок до краев и протянул его мне. Я не заставил себя упрашивать, я пил и ел, как человек, который чрезвычайно нуждается в подобного рода подкреплении.

Отец Гиларий выбрал прелестнейшее местечко для утренней трапезы. Это была густая березовая рощица, отбрасывающая тень на усеянный цветами дерн и хрустально чистый ручеек, который, журча, прыгал по выступающим камням, умножая живительную прохладу. Уединенная таинственность этого уголка наполнила меня приятностью и покоем, и в то время, как отец Гиларий рассказывал мне обо всем, что произошло в аббатстве с давних пор, причем он не забыл вставлять в свою речь привычные свои побасенки и прибаутки и свою мудрую кухонную латынь, а я внимал голосам леса, голосам вод, которые что-то говорили моему сердцу, обращаясь ко мне с утешительными мелодиями.

Отец Гиларий, видимо, приписал мое молчание горестным заботам, которые причиняло мне случившееся со мной происшествие.

— Мужайтесь, мужайтесь, — начал он, протягивая мне вновь наполненный кубок, — мужайтесь, не теряйте отваги, капельмейстер! Вы пролили кровь, бесспорно, это так, и проливать кровь — это грех, но *distinguendum est inter et inter...** Всякому человеку своя жизнь — дороже всего на свете, ведь живет-то он только раз. Вы защищали вашу жизнь, а это ни в коей мере не возбраняется правилами церкви, напротив, это признается достойным основанием для обороны, и ни наш достопочтенный господин аббат и никакой другой слуга господа не откажет вам в отпущении грехов, ежели даже вы неожиданно пронзили чьи-либо сиятельные потроха. *Ergo bibamus!*» *Vir sapiens non te abherrebit, domine!***

Но, дражайший Крейслер, если вы возвратитесь в Зигхартсвейлер, то у вас начнут самым мерзким образом допытываться насчет *сиг, quomodo, quando, ubi**** и если вы захотите уличить принца в смертоубийственном нападении, то поверят ли вам, вот в чем вопрос? *Ibi jacet lepus in pipege!***** — Но взгляните, капельмейстер, как все-таки *bibendum quid*». — Он опустошил полный кубок, затем продолжал: «Да, вот видите, капельмейстер, добрый совет приходит вместе с боксбейтелем! — Узнайте, что я как раз должен был отправиться в обитель Всех Святых, дабы оттуда доставить тамошнего регента к предстоящим торжествам. Я уже дважды или трижды рылся во всех ящиках, все это жалкое отчаянное старье, а что касается музыки, которую вы сочинили во время вашего пребывания в аббатстве, о, да, музыка эта вполне прекрасная и новая, но не обижайтесь на меня, капельмейстер, не поймите меня превратно, она сочинена на столь странный манер, что нечего и думать, чтобы хоть на миг оторваться от партитуры. Если хоть на минуточку взглянешь искоса

* Следует делать различие между одним и другим (лат.).

** Итак, выпьем. Разумный человек не станет пренебрегать тобой, господин! (лат.).

*** Почему, как, когда, где (лат.).

**** Вот где собака зарыта [буквально: вот где лежит заяц в перце] (лат.).

за решетку, засмотришься на ту или другую смазливую девицу — там внизу, в нефти, и уже промахнулся, все погибло и пошло прахом или еще чего в таком же роде — и ты уже отбиваешь фальшивый такт и все летит к чертям — бумм! И ты уже лежишь — и уже ди-ди-дидель-дидель! — брат Иаков жмет на клавиши органа! — *ad patibulum cum illis* *. Я мог, бы, следовательно, — но *bibamus!*»

После того, как мы оба выпили, поток речи устремился, следовательно, дальше: *Desunt* ** те, которых здесь нет, а тех, которых здесь нет, нельзя и допрашивать, вот поэтому я и полагаю, что вам следовало бы тотчас же отправиться со мною назад, в аббатство, до которого, ежели идти напрямик, отсюда не более двух часов ходу. В аббатстве вы будете избавлены от всех преследований *contra hostium insidias* ***, я доставляю вас туда как музыку, воплощенную в образе человеческого, и вы останетесь там, пока это будет вам нравиться, или же до тех пор, пока вы сочтете это нужным. Господин аббат обеспечит вас всем необходимым. Вы облачитесь в тончайшее белье, а поверх него наденете рясу бенедиктинца, которая будет вам очень к лицу. Но для того, чтобы вы дорогою не выглядели, как избитый до крови с картинки о добром самаритянине, нахлобучьте-ка мою дорожную шляпу, а я натяну на свою плешь капюшон. — *Vibendum quid* ****, драгоценнейший!»

Затем он еще раз опорожнил кубок, сполоснул его в лесном ручейке, журчащем совсем рядом, засунул все свое добро в дорожный мешок, на двинул мне на лоб шляпу и превесело воскликнул: «Милейший капельмейстер, теперь мы вправе идти медленно, неспешно перебирая ногами, и доберемся до места как раз тогда, когда они зазвонят «*Ad conventum conventuales*» *****, т. е. когда достопочтенный аббат будет садиться за стол.»

Естественно, я подумал, милый маэстро, что мне решительно нечего возразить против предложения развеселого отца Гилария, напротив, что было бы как раз очень кстати отправиться в место, которое для меня во многих отношениях могло бы оказаться безопасным и надежным убежищем. Мы спокойно шагали вперед, беседа на всяческие темы, и попали в аббатство, как и хотелось отцу Гиларию, именно тогда, когда раздался звон к трапезе.

Дабы сразу предупредить все расспросы, отец Гиларий сказал аббату, будто, случайно узнав, что я нахожусь в Зигхартсвейлере, он предпочел вместо музыки из монастыря Всех Святых доставить самого композитора, ибо он заключает в себе целый неисчерпаемый музыкальный склад.

Аббат Хризостом (мне кажется, я уже много рассказывал вам о нем) принял меня с тем спокойным радушием, которое свойственно лишь людям воинстину доброго характера, похвалил и одобрил решение отца Гилария.

* На виселицу их! (лат.).

** Отсутствуют (лат.).

*** Против козней недругов (лат.).

**** Итак, выпьем (лат.).

***** Собирайтесь, братья (лат.).

Ну вот, взгляни на меня только, маэстро Абрагам, как я, преображенный в довольно-таки сносного монаха-бенедиктинца, восседаю в высоком просторном покое в главном здании аббатства — и усердно и старательно сочиняю и отделяваю всяческие гимны и вечерни, а между делом записываю музыкальные идеи, дабы использовать их в торжественной литургии, взгляните, как собираются поющие и играющие братья, как собираются весело мальчишки-певчие, как я старательно провожу репетиции, как я из-за решетки дирижирую хором! И впрямь, увы, таким погребенным чувствую себя я в своем одиночестве, что я мог бы сравнить себя разве что с Тартини¹², который, страшась мести кардинала Корнаро, укрылся в монастыре миноритов в Ассизи, где его, наконец, многие годы спустя обнаружил некий падуанец, который находился в церкви и увидел исчезнувшего друга на хорах, когда порыв ветра на несколько мгновений приподнял занавес, скрывающий оркестр от глаз прихожан. И у вас, маэстро, со мной тоже могло бы произойти нечто подобное тому, что с тем падуанцем, но я должен вам все-таки сказать, где я пребываю, иначе вы могли бы подумать бог знает что о том, какова моя судьба. Ведь, должно быть, мою шляпу нашли и очень удивлялись тому, что голова от этой шляпы куда-то запропастилась? — Маэстро! некий несказанно благодетельный покой воцарился в душе моей; быть может, мне именно и следовало сойти на берег здесь, что если я и в самом деле обрел здесь тихую пристань?

Когда я недавно проходил мимо маленького озерца посреди нашего просторного монастырского сада и увидел в озере свое отражение, идущее рядом со мною, я сказал: «Человек, который там внизу идет рядом со мной, весьма спокойный, благоразумный и рассудительный человек, который больше не станет облетать с диким жужжанием и свистом неопределенно очерченные, даже, скорее, безграничные пространства, нет этот человек не будет сходить с пути, который он отыскал, и великое счастье для меня, что человек этот — не кто иной, как я сам». А ведь еще так недавно из другого озера взирал на меня мой фатальный двойник... Но умолчим — ни слова более обо всем этом. Маэстро, не называйте мне ничего имени, не рассказывайте мне ни о чем, ни о том даже — кого именно я проткнул своим вертелом. Однако о самом себе напишите мне побольше. Братья сходятся на спевку, я заключаю свою историческую главу и в то же время мое письмо. Прощайте, мой милый маэстро, и вспоминайте обо мне! etc.»

В дальних, густо заросших аллеях парка, одиноко блуждая, расхаживал маэстро Абрагам и обдумывал судьбу любимого друга, как он его утратил вновь, едва успев обрести. Он видел мальчика Иоганнеса, видел самого себя в Гённионесмюле возле рояля в доме старого дядюшки, малыш горделиво колотил, поглядывая на взрослых, труднейшие сонаты Себастьяна Баха почти мужской рукой, и он, Абрагам, совал ему за это в карман украдкой кулечек конфет. Ему чудилось, что с тех пор прошло всего лишь несколько дней, он дивился, что этот мальчуган собственно

не кто иной, как Крейслер, который, по-видимому, вовлечен в странную и капризную игру таинственных обстоятельств. Однако вместе с мыслями о том давно уже прошедшем времени и о роковой действительности, перед глазами его вставала картина его собственной жизни.

Отец его, человек строгий и своенравный, почти насильно заставил его заниматься искусством постройки органов, которое для самого отца было обыкновенным ремеслом. Он не выносил, чтобы кто-нибудь другой, кроме самого строителя, прилагал руку к созданию органа, и таким образом его ученикам приходилось становиться сноровистыми столярами, литейщиками металла и т. д., прежде чем они приступали к изучению внутренней механики органа. Точное исполнение, добротность и долговечность и к тому же громкость да еще удобство игры на инструменте — были для старика всем — он мало смыслил в звучании, и весьма замечательно то, что это находило выражение и в самых его органах, которые он строил, т. е. органы эти справедливо упрекали в сухом резком звучании. Кроме того, старик всей душой предавался ребяческим затеям стародавних времен. Так, к одному из органов он приделал изваяния царей Давида и Соломона, которые во время игры от изумления вертели головами, а каждое его творение непременно украшали бьющие в литавры, трубящие в трубы и отбивающие такт ангелы, кукарекающие и хлопающие крыльями петухи и т. д. Абрагам порой удавалось избежать заслуженных или незаслуженных колотушек и выманывать у старика проявления отеческой радости обыкновенно тогда, когда он, большой изобретатель и выдумщик, поражал отца какими-нибудь новыми затеями, например, заставлял новейшего петушка с органа, который они как раз соорудили, кукарекать еще пронзительней. Со страхом и тоской Абрагам жаждал наступления того часа, когда, согласно обычаю ремесленников, он отправится странствовать. Наконец, эта пора наступила, и Абрагам покинул отчий дом, чтобы уже никогда более не возвращаться.

Во время такого странствия, которое он предпринял в обществе других подмастерьев, по большей части беспутных и неотесанных парней, он попал однажды в аббатство святого Власия, что в Шварцвальде, я услышал там прославленный орган старого Иоганна Андреаса Зильбермана¹³. Он внимал мощным великолепным звукам этого органа и в его душе впервые расцвело волшебство благозвучия, он ощущал себя как бы перенесенным в иной мир, и с этого самого мгновения он весь глубоко проникся любовью к искусству, к тому самому искусству, которое он прежде тащил, как лямку, себе наперекор. Но теперь и вся его жизнь, и окружение, в котором он до сих пор ее вел, показались ему такими ничемными, что он приложил все силы, чтобы вырваться из тины, в которую, как ему думалось, он был доселе погружен. Его природный ум и необыкновенная понятливость позволили ему сделать гигантские шаги в своем образовании и приобретении учености, и все-таки часто он чувствовал свинцовые гири, которые навязало ему его прежнее воспитание и пребывание в пошлом окружении. Кьяра, союз с этим странным таинст-

венным существом, — это была другая светлая точка в его жизни, и так обстоятельство — пробуждение благозвучия в душе и любовь Кьяры — образовали ту двойственность его поэтического «я», которая благотворно подействовала на его суровую натуру. Едва он избегнул постоялых дворов и трактиров, где в густых клубах табачного дыма раздавались скабрёзные песни, случай или, вернее, искусность в механических затеях, которым он умел придавать оттенок таинственности, как это уже известно благосклонному читателю, привели юного Абрагама в кружки, которые должны были для него казаться новым светом и в которых, он, вечный чужак, сохранил себя только потому, что держался резкой манеры обращения с людьми, обусловленной складом его характера. Эта манера со временем становилась все резче, и так как она ни в коей мере не была выражением простодушной грубости, а зиждилась на ясном и здоровом человеческом рассудке, верных жизненных взглядах и порожденной ими меткой иронией, то, естественно, получилось так, что там, где юноша был всего лишь покровительствуем и терпим, там зрелый человек, казавшийся даже несколько опасным, внушал большое уважение. Нет ничего проще, чем импонировать известного рода знатым особам, которые всегда стоят ниже того уровня, который, как положено предполагать, им присущ. Об этом именно и думал теперь маэстро Абрагам в то самое мгновение, когда он вновь вернулся с прогулки в рыбацью хижину, и громко от всего сердца рассмеялся, давая облегчение своей угнетенной душе.

В глубочайшую печаль, прежде, впрочем, вовсе ему не свойственную, маэстро повергло живое воспоминание о том мгновении в церкви аббатства святого Власия и об утраченной Кьяре. «Почему, — сказал он самому себе, — рана именно теперь кровоточит так часто, а я-то ведь думал, что она давно уже зарубцевалась, почему же теперь я вновь гонюсь за пустыми грезами, в то время как, мне кажется, мне следовало бы энергично вмешаться в действие механизма, который неким злым духом направлен в ложную сторону!»

Маэстро пугала мысль, что он, неведомо как, чем-то связан в своих сокровеннейших поступках и деяниях и наткнулся на какие-то препятствия, однако мысли его устремились все к тем же знатым особам: он посмеялся над ними и сразу же ощутил заметное облегчение.

И он вошел в рыбацью хижину, чтобы, наконец, прочесть письмо Крейсера.

А в княжеском дворце происходило нечто невероятное. Лейб-медик сказал: «Поразительно! — это выходит за пределы всех практических познаний, за пределы всего нашего опыта!» — Княгиня: «Так и должно было случиться, и принцесса не скомпрометирована!» Князь: «Разве я это не запретил самым недвусмысленным образом, но у этого старуле* у этих олов-челядинцев вовсе нет ушей — что ж — обергермейстер должен поза-

* Сброта (фр.).

ботиться о том, чтобы в руки принца больше не попадал порох!» Советница Бензон: «Благодаренье небесам, она спасена!»

А во время всего этого смятения принцесса Гедвига глядела в окно своей опочивальни, время от времени беря отрывистые аккорды на той самой гитаре, которую Крейслер некогда в неудовольствии отшвырнул от себя и из рук Юлии, как он полагал, получил уже исцеленной. На софе ерзал принц Игнатий и плакал и скулил: «Больно, больно», но перед ним сидела Юлия, старательно занимавшаяся тем, что натирала сырой картофель в маленький серебряный тазик.

Все это было непосредственно связано с событием, которое лейб-медик совершенно справедливо назвал чудесным и возвышенным, выходящим за пределы практически возможного. Принц Игнатий отличался, как благосклонный читатель узнавал уже не однажды, шаловливой невинностью разума, в неприкосновенности сохранившего счастливую неопытность, свойственную шестилетнему малышу, и посему играл столь же охотно, как и шестилетний.

Среди прочих игрушек у него была также маленькая отлитая из металла пушечка, с которой он играл особенно охотно, но забавляться которой ему удавалось редко, поскольку для нее необходима была куча вещей, которые, увы, отнюдь не всегда бывали у него под рукой, а именно — несколько крупинок пороху, горстка чудесной дробы и маленькая птичка. Когда у него бывали все эти необходимые вещи, он заставлял свои войска маршировать, держал военный суд над крохотной пичужкой, которая якобы намеревалась устроить мятеж в утраченных владениях князя-папеньки, — заряжал пушку и палил в птичку, которую он, бессердечный, привязывая к подсвечнику, умерщвлял. Впрочем, порой это ему не совсем удавалось, так что он бывал вынужден прибегнуть к помощи перочинного ножика, чтобы осуществить справедливую казнь государственного преступника.

Фриц, десятилетний сынишка садовника, достал для принца прехорошенькую пеструю коноплянку и получил за нее, как обычно, крону. Тотчас же после этого принц пробрался в охотничью кладовку, именно тогда, когда охотники отсутствовали, и в самом деле нашел мешочек с дробью и рог с порохом и позаимствовал из них необходимые ему припасы. Он уже собирался приступить к экзекуции, которую, видимо, требовалось ускорить, так как пестрый щебечущий мятежник пытался, используя все доступные ему средства, улизнуть, когда ему пришло в голову, что он не может отказать принцессе Гедвиге, ставшей теперь такой послушной и хорошей, в наслаждении присутствовать при казни маленького государственного преступника. Итак, он взял коробку, в которой находилась его армия, в одну руку, пушку подмышку, птичку же сжал в горсти и тихо-тихо прокрался, так как князь настрого запретил ему видеть принцессу, в спальню Гедвиги, где он и нашел ее одетую, лежащую в том же самом каталептическом состоянии на кушетке. Скверно и, как мы уви-

дим, в то же время и хорошо было, что камеристка только что покинула комнату принцессы.

Без долгих разговоров принц привязал птичку к канделябру, велел армии выступить в сомкнутом строю, плечом к плечу, и зарядил пушку; потом он поднял принцессу с кушетки, подвел ее к столу и объявил ей, что теперь она является командующим генералом, а он, со своей стороны, остается правящим князем и распорядится по артиллерии, каковая и умертвит мятежника. Преизбыток припасов подвел принца, и он не только чрезмерно сильно зарядил пушку, но также и рассыпал порох кругом по столу. Как только он снял пушку с передка, раздался не только совершенно оглушительный взрыв, но еще и разбросанный кругом порох вспыхнул и сильно обжег ему руку, так что он громко закричал и даже вовсе не заметил, как принцесса в мгновение взрыва упала на пол. Звук выстрела прокатился по коридорам, все сбежались, предчувствуя несчастье, да и сами князь и княгиня, невзирая на свой сан, во внезапном испуге позабыв о каком бы то ни было этикете, ворвались в комнату вместе со слугами. Камеристки подняли принцессу с пола и положили ее на кушетку, а между тем послали за лейб-медиком и за хирургом. По принадлежностям, разбросанным по столу, князь мгновенно понял, что случилось, и сказал, гневно сверкая глазами, принцу, который ужасно кричал и причитал: «Смотри, Игнатий, вот что выходит из твоих дурацких ребяческих проказ. Дай наложить себе мазь от ожогов и — не вой, как уличный мальчишка! — Березовой розгой бы — следовало бы — по зад...». Губы его дрожали и речь его утратила ясность, понять его стало невозможно, и он с чопорной важностью покинул комнату. Глубокий ужас охватил челядинцев, ибо только в третий раз князь называл принца просто Игнатием, обращаясь к нему на «ты», а ведь всякий раз это было у него проявлением дичайшего и с превеликим трудом подавляемого гнева!

Когда лейб-медик объявил, что наступил кризис, и он надеется, что опасное состояние принцессы теперь уже скоро пройдет и она совершенно выздоровеет, княгиня проговорила менее участливо, чем можно было бы ожидать: «Dieu soit loué! * пусть мне сообщат о дальнейшем течении болезни».

Впрочем, она заключила в объятия плачущего принца, утешила его нежными словами и последовала затем за князем.

Тем временем Бенцон, которая собралась вместе с Юлией проведать несчастную Гедвигу, прибыла во дворец. Едва она услышала о том, что случилось, как стрелой влетела наверх, в комнату принцессы, подбежала к кушетке, опустилась перед нею на колени, схватила Гедвигу за руку и уставилась ей в глаза, в то время как Юлия проливала жаркие слезы, воображая, что, быть может, смертельный сон вскоре похитит ее сердечную подругу. Вдруг Гедвига глубоко вздохнула и произнесла глухим, почти невнятным голосом: «Он убит?». Тотчас же принц Игнатий пере-

* Хвала всевышнему! (фр.).

стал плакать, хотя ему и было больно, и воскликнул, преисполненный радости по поводу удавшейся экзекуции, смеясь и хихикая: «Да-да, сестрица-принцессочка, убит наповал, выстрелом прямо в сердце!» — «Да, — продолжала говорить принцесса, вновь опустив глаза, которые она, было, широко раскрыла, — да, я знаю это. Я видела каплю крови, которая вытекла из сердца, но она упала на грудь мою и я окоченела, сделалась кристаллом, и только она одна, только эта капля жила в моем трупе!» — «Гедвига, — начала советница тихо и нежно, — Гедвига, пробудитесь от злосчастных сновидений, Гедвига, узнаете вы меня?» — Принцесса чуть приподняла руку, как будто бы желая, чтобы ее оставили в покое. «Гедвига, — продолжала Бенцон, — Юлия здесь». Улыбка заблестала на устах Гедвиги. Юлия склонилась к ней, запечатлела тихий поцелуй на побледневших устах подруги, и тогда Гедвига еле слышно прошептала: «Вот теперь уже все прошло, за несколько минут я совсем соберусь с силами, я чувствую это».

Никто до сих пор не позаботился о маленьком государственном преступнике, который с окровавленной грудью лежал на столе. Теперь мертвая пичужка бросилась Юлии в глаза, и только в это мгновение она сообразила, что принц Игнатий вновь играл в отвратительную, ненавистную ей игру. «Принц, — молвила она, и щеки ее запылали, — принц, что сделала вам эта птичка, которую вы без жалости умертвили, здесь, в комнате? — Это поистине глупая и ужасная игра — вы давно уже обещали мне перестать играть в нее — и все-таки не сдержали слова — но! — если вы еще раз так поступите, я никогда больше не стану расставлять ваши чашки или учить ваших куколок говорить или рассказывать вам истории о короле подводного царства!» — «Только не сердитесь, — простонал принц, — только не сердитесь, фрейлейн Юлия! Но это была пестрая и предерзостная шельма! Чтобы тайно отрезать у всех солдат полы мундиров и, кроме того, — поднять мятеж! Но — ой, как больно, ой, как больно!» Бенцон взглянула на принца и потом на Юлию со странной улыбкой и потом воскликнула: «Стоит ли причитать из-за пустякового ожога! Но в самом деле, хирург так никогда и не явится со своей хваленной мазью. Правда, обычное домашнее средство отлично может помочь также знатым людям. Принесите сюда сырой картофель!» Она шагнула к дверям, но вдруг, как бы охваченная некоей мыслью, остановилась, заключила Юлию в свои объятия, поцеловала ее в лоб и сказала: «Ты мое доброе, милое дитя и всегда будешь тем, чем ты должна быть! Берегись только сумасбродных безумных глупцов, и замкни свою душу от злого волшебства их увлекательных речей!» С этими словами она вновь бросила испытующий взгляд на принцессу, которая, казалось, тихо и сладко спала, и покинула комнату.

Хирург вошел с огромным пластырем в руках, многоречиво уверяя, что он уже продолжительное время ждал в комнатах сиятельного принца, так как не мог предполагать, что сиятельный принц находится в покоях сиятельной принцессы. Он направился со своим пластырем прямо

к принцу, но камеристка, которая принесла несколько роскошных картофелин на серебряном блюде, преградила ему путь и стала уверять, что для ожогов тертый картофель — наивернейшее средство. «И я, — подхватила Юлия слова камеристки, отнимая у нее серебряное блюдо, — я сама прекрасно наложу принцу пластырь!» «Всемиловнейшая государыня, — испуганно залепетал хирург, — одумайтесь! Домашнее средство — для обожженных перстов высокой сиятельной особы! — Искусство, одно искусство может и должно здесь помочь!» — Он вновь направился было к принцу, но тот отшатнулся от него и вскричал: «Прочь, прочь! Фрейлейн Юлия пусть приготовит мне пластырь, а искусство пусть убирается!»

Искусство убралось восвояси вместе со своим заблаговременно приготовленным пластырем, испепеля камеристку неотразимо ядовитым взглядом.

Юлия заметила, что принцесса дышит все глубже и глубже, но как же она изумилась, когда...



(Мурр пр.):.. заснуть. Отчаянно метался и ворочался я на ложе моем; я перепробовал всевозможные позы и положения. То я вытягивался во всю длину, то свивался клубочком, то клал голову на свои мягкие лапки и грациозно драпировался свернутым хвостом, так что он прикрывал мне глаза; то я бросался на бок, вытягивал лапы и держал их неподвижно перед собой, причем хвост мой безжизненно свисал с ложа. Все тщетно, все напрасно! — Все спутанней и спутанней становились мои помыслы и представления, покамест я, наконец, не впал в то бредовое состояние, которое, не будучи сном, являет собою некую борьбу между сном и бодрствованием, как справедливо замечают Мориц¹⁴, Давидсон¹⁵, Нудов¹⁶, Тидеман¹⁷, Вингольт¹⁸, Райль¹⁹, Шуберт²⁰, Клуге²¹ и прочие авторы, затрагивавшие проблемы физиологии, и которых я, разумеется, не читал.

Солнце ярко светило в окна комнаты моего маэстро, когда я очнулся от этого бреда, от этой борьбы между сном и бодрствованием, в самом деле пробудился и вновь обрел ясное сознание. Но что за сознание, что за пробуждение! О юноша-кот, ты, который читаешь это, навостри уши и вчитывайся внимательно, дабы мораль не ускользнула от твоего разума! Прими близко к сердцу то, что я говорю о состоянии, неизъяснимую безутешность коего я лишь бледными красками решаюсь тебе живописать. Прими это состояние, я повторяю, близко к сердцу и сам будь, по возможности, осторожен — старайся беречься, когда ты впервые в обществе котов-буршей отведаешь кошачьего пунша! Пей умеренно, а ежели этого не захотят терпеть твои коллеги, сошлись на меня и на мой опыт: да будет кот Мурр твоим авторитетом в этом деле, ибо каждый, как я надеюсь, признает этот авторитет и станет с ним считаться!

Итак, за дело! Прежде всего — что касается моего физического состояния, то я чувствовал себя не только слабым и жалким, но, что причиняло мне совершенно особые мучения, это были дерзкие и ненормальные притязания желудка, каковые именно из-за своей ненормальности

не могли осуществиться и лишь обуславливали бесполезный шум во внутренних, которые в непрекращающемся напряжении и невозможности осуществления — дрожали и трепетали. — Это было неисцелимое состояние! —

Но, пожалуй, еще ошутительней была психическая аффектация. Вместе с горьким раскаянием и сокрушением из-за вчерашних событий, хотя я, собственно, отнюдь не мог счесть их достойными порицания, в мою душу вселилось пагубное безразличие ко всем земным благам, ко всем дарам природы, мудрости, разуму, остроумию и т. д. Величайшие философы, талантливейшие поэты казались мне нисколько не выше, чем жалкие тряпичные куклы, так называемые дергунчики, и — что было всего ужасней — на меня самого распространялось это пренебрежение и мне начинало казаться, что и сам я есть не что иное, как самый обыкновенный кот! — Трудно придумать более унижительное и никчемное состояние. Мысль, что мною овладело глубочайшее уныние, что вся земля наша вообще — сплошная ядоль скорбей, унижала меня и причиняла мне невообразимую боль. — Я зажмурился и заплакал в три ручья! —

— Ты возносился в грезах, Мурр, и вот теперь на душе у тебя от-вратно и мизерабельно? Да, да, так оно и обстоит на самом деле! — Ну, да ты проспись только, старина, и все тогда представится тебе в лучшем свете! — так воскликнул, обращаясь ко мне, мой маэстро, когда я отказался от завтрака и издал несколько чрезвычайно болезненных звуков. Маэстро — о, господи, он не знал, не ведал, он не мог понять моих страданий! — он не представлял себе, какое воздействие оказывает компания буршей и кошачий пунш на душу нежную и необыкновенно чувствительную!

Думается мне, что был уже полдень, но я еще не поднялся с ложа своего, как вдруг, внезапно, — одному небу известно, как он сумел прокрасться ко мне, — передо мной возник брат мой Муций. Я пожаловался ему на мое злополучное состояние, но, вместо того, чтобы, как я ожидал, высказать мне учтливое соболезнование и утешить меня, брат мой захохотал во все горло и воскликнул: «Хо-хо, брат Мурр, да ведь все это есть не что иное, как кризис, как переход от недостойного филистерского отрочества к достойному великопепному буршескому состоянию, — вот из-за этого-то кризиса ты и решил, что болен и вообще находишься в самом что ни на есть жалком виде! Ты попросту еще не привык к благородным нашим студенческим попойкам! Но сделай мне одолжение, милый, придержи язык за зубами и даже самому твоему маэстро не жалуйся на твои муки! Наше племя и без того уже пользуется достаточно скверной репутацией из-за этого мнимого недуга и злоречивый человек дал ему название, явно позорящее нас²², — название это мне отнюдь не хочется сейчас повторять! Но соберись с духом, возьми себя в лапы — давай пойдем, прогуляемся, свежий воздух тебе не повредит, но прежде всего тебе следует опохмелиться. Пойдем, душа моя, наконец-то ты узнаешь на деле, что это такое»

Брат Муций, с тех пор, как исторг меня из трясины филистерства, властвовал надо мной непререкаемо: я должен был делать то, что он хотел. Поэтому я не без труда поднялся с моего ложа, потянулся, насколько это можно было сделать с моими, еще скованными дремой конечностями, и последовал за верным собратом на крышу. Мы несколько раз прогулялись взад — вперед, и мне и в самом деле стало чуть легче на душе, свежее, что ли?! Засим брат Муций повел меня за трубу, и здесь мне пришлось, хотя я поначалу и противился этому, опрокинуть две-три стопки чистейшего сельдяного рассола. О, чудесней чудесного было магическое действие этого средства! Что мне еще сказать? Ненормальные позывы желудка умолкли, прекратилось бурчание в животе, нервная система успокоилась, жизнь вновь предстала передо мной в прекрасном свете, я вновь оценил земные блага, науку, мудрость, разум, остроумие и все прочее.

Я снова был возвращен самому себе, я снова стал великолепным, в высшей степени замечательным котом Мурром! О, природа, природа! Неужели это возможно, что несколько капель, которые легкомысленный кот поглощает в неукротимости своего свободного произвола, способны поднять мятеж против тебя, против того благодетельного начала, которое ты с материнской любовью вселила в его грудь, и согласно которому он должен быть убежден, что этот мир со всеми его радостями, каковыми являются жареная рыба, куриные косточки, молочная каша и так далее, является лучшим из миров²³ — и что он сам является самым лучшим существом в этом мире, поскольку сии радости сотворены лишь для него и ради него? Но кот, склонный к философии, познает это, и в этом-то и есть глубочайшая мудрость, а то безутешное и чудовищное чувство горя и жалости к самому себе есть лишь противовес, с помощью которого вызываются необходимые реакции для продолжения деятельности в условиях бытия, таким образом, это последнее состояние (т. е. жалкое похмелье) находит себе обоснование в известных помыслах вселенной. Опохмеляйтесь же, юноши-коты! И утешайте себя потом этим философски-эмпирическим рассуждением вашего ученого и пронизательного собрата.

Достаточно сказать, что я с этих пор стал в течение некоторого времени вести бодрое и радостное буршеское существование, слоняясь по крышам нашего околотка в компании с Муцием и другими честнейшими и простодушными верными парнями, белыми, рыжими и пестрыми. И вот теперь я подхожу к одному чрезвычайно важному событию моей жизни, событию, которое не осталось без последствий.

А именно, когда я однажды, едва настала ночь, в мерцании ясного месяца намеревался отправиться с братом Муцием на попойку, которую устраивали бурши, мне повстречался тот самый черно-серо-желтый предатель, который похитил у меня мою Мисмис. Очень могло случиться, что я при виде ненавистного соперника, в битве с которым к тому же еще позорным образом вынужден был признать себя побежденным, — итак, очень возможно, что я при его виде пришел в известное замешательство. А он тем временем прошел прямо передо мной, даже не поклонившись, и,

естественно, я мог подумать, что он попросту издевательски смеется надо мной, сознавая свое превосходство. Я подумал об утраченной Мисмис, о полученных мною побоях, и кровь закипела у меня в жилах! Муций заметил мое волнение, и когда я ему сообщил о том, что я думал при этом (о чем уже сказано выше), он молвил: «Ты прав, брат Мурр. Этот парень соорил такую кривую рожу и выступал при этом так дерзко, что, кажется, в конце концов, он и в самом деле хотел тебя задеть. — Ну, да это мы вскоре узнаем. Если я не ошибаюсь, этот пестрый филистер завел тут поблизости новую любовную интрижку, он каждый вечер шляется по этой крыше. Подожди немного, очень может быть, что этот хлыщ вскоре вернется, и тут-то все прочее вскорости и разъяснится».

И в самом деле, спустя недолгое время, вновь вернулся упрямый пестрый кот, уже издали меряя меня презрительным взглядом. Я храбро и дерзко преградил ему путь, мы прошли друг мимо друга так близко, что наши хвосты чуть было не сцепились. Тотчас же я остановился как вкопанный, обернулся и твердым голосом сказал: «Мяу!» — Он также остановился, обернулся и упрямо возразил: «Мяу!» — Затем каждый пошел своей дорогой.

— Это был вызов, — с чрезвычайным гневом воскликнул Муций. — Завтра я потребую объяснения от этого пестрого нахала!

На следующее утро Муций отправился к нему и спросил его от моего имени, задел ли он мой хвост? Тот попросил передать мне, что да, он задел мой хвост. На это я ответил, что если он задел мой хвост, то я вынужден считать это вызовом. Он заявил, что я могу считать это чем угодно. На это я решительно сказал: итак, и сочту это вызовом. На что он дерзко высказал суждение, что я решительно не в состоянии определить, что такое вызов. Я ему ответил на это, что знаю это отлично и даже куда лучше, чем он. Он дал понять, что не стал бы он, дескать, вызывать такого, как я. На это я опять-таки повторил, что я считаю это вызовом. На это он зашипел, что я еще юнец и болван. Ну, возразил я, дабы за мной осталось превосходство, ежели я болван и недоросль, то он подлейший шпиц! — Вслед за этим последовал формальный вызов.

(Примечание издателя на полях: О, Мурр, о, котик мой! Либо дела чести не изменились со времен Шекспира, либо я ловлю тебя на сочинительской лжи. Это значит, на такой лжи, которая должна служить тому, чтобы придать происшествию, о котором ты повествуешь, больше блеска и огня! — Не является ли история о том, как ты вызвал на дуэль пестрого кота-задиру, несомненной пародией на семижды отвергнутую ложь Оселка в «Как вам это понравится»²⁴. Разве я не нахожу в твоих препирательствах перед дуэлью все ступени лестницы, от вежливого осведомления, изящной колкости, грубого возражения, резкой отповеди вплоть до дерзновенного отпора, и разве может тебя хотя бы в какой-то мере спасти то обстоятельство, что ты с непременной и откровенной лживостью завершаешь все дело парой ругательств? — Мурр! Котик мой! На тебя непременно нападет целая свора рецензентов, но ты, по крайней мере, сможешь

доказать, что с пониманием и пользой прочел Шекспира, а за это многое можно извинить.)

Откровенно говоря, я все-таки чуть-чуть струхнул, когда получил вызов, ибо дело явно шло к дуэли на когтях. Мне подумалось, что пестрый предатель со мной обошелся преподло, когда, побуждаемый ревностью и мстью, я напал на него и стремился хотя бы сохранить перевес, который помог мне получить мой друг Муций. Муций сказал, что я, читая кроважидную записку с вызовом, побледнел, как смерть, и вообще он отлично заметил, в каком душевном настроении я нахожусь. «Брат Мурр, — сказал он, — мне кажется, что эта первая дуэль, которая тебе предстоит, тебя несколько устрасила?» Я не стал ничего скрывать перед ним, открыл другу моему все, что было у меня на сердце, и сказал обо всем, что колеблет мою отвагу.

— О, брат мой, — проговорил Муций, — о мой возлюбленный брат Мурр! Ты забываешь, что тогда, когда дерзновенный преступник тебя так отделал, ты был еще новичком, у тебя еще молоко на губах не обсохло, разве мог бы ты сравниться с тем отважным и дельным буршем, каким ты теперь являешься. Да к тому же и борьба твоя с пестрым вовсе не была истинной и настоящей дуэлью по всем правилам и по всем законам справедливости, ее нельзя даже назвать столкновением или стычкой, это была попросту драка, быть может, и идущая к лицу филистерам, но бесспорно не приличествующая нам, котам-буршам. Намотай себе на ус, братец Мурр, что люди, чрезвычайно завидующие нашим необыкновенным дарованиям, упрекают нас в склонности к дракам самого непристойного, бесчестного и даже позорного характера, и среди своих людей-собратьев нагло ругают и, измываясь, именуют иных драчливыми, как коты! Вот именно поэтому истинно порядочный кот обязан соблюдать законы чести, они должны быть у него врожденными, он непременно должен придерживаться законов хорошего тона и избегать злобно-безответственных стычек такого вот низшего разбора; так и только так можем мы устыдить людей, которые при известных обстоятельствах весьма склонны избивать и быть избитыми! Итак, возлюбленный брат мой, прочь всякий страх и робость, будь отважен, пребывай в убежденности, что в настоящей дуэли по всем правилам искусства ты сумеешь отомстить за все испытанные тобой неприятные минуты позора и что ты сам сумеешь так отделать этого пестрого бонвивана, что он хотя бы на некоторое время откажется от амурных интрижек и идиотского важничанья. Но постой! Мне как раз подумалось, что после того, что произошло между вами, поединок на когтях не может принести достаточного удовлетворения и посему вам гораздо лучше будет драться самым решительным образом, а именно на клыках. Но прежде всего нам следует выслушать мнение других наших буршей.

Итак, Муций в весьма красиво составленной речи описал собранию буршей то, что произошло между мной и Пестрым. Все согласилось с мнением, высказанным оратором, и посему я сообщил Пестрому через Муция,

что хотя я и принимаю его вызов, но, учитывая тяжесть перенесенного мною оскорбления, не хочу и не могу драться с ним иначе, как на клыках. Пестрый попытался выставить какие-то возражения, в частности, он заявил, будто зубы его окончательно притупились и т. д., однако, поскольку Муций самым серьезным и твердым образом объявил ему, что здесь может идти речь только о решительнейшей дуэли на клыках, и что, ежели он на это не изъявит согласия, ему придется до скончания своих дней зваться преподлым шпицем, Пестрый решился на предложенную ему дуэль. Наступила ночь, в которую должен был состояться поединок. В назначенный час я стоял вместе с Муцием на крыше дома, расположенного на границе нашего околотка. Вскоре явился и мой противник вместе с весьма солидным котом, который мог, пожалуй, похвастать еще более пестрой окраской, а физиономия его была еще более упрямой и дерзкой, чем у Пестрого. Это был, как мы могли предположить, его секундант, оба были товарищами по различным военным походам, оба участвовали в завоевании того самого амбара, за который Пестрый получил орден Жареного Сала. Кроме того, как я узнал впоследствии, по предложению дальновидного и осторожного Муция, была приглашена светло-серая киска, обладающая исключительными познаниями по хирургической части и замечательно вылечивающая самые тяжелые и опасные раны — целесообразнейшим способом и в самый краткий срок. Была еще достигнута договоренность о том, что вся дуэль состоится в три прыжка, и в случае, если во время третьего прыжка все еще не произойдет ничего решающего, состоится дальнейшее обсуждение того, следует ли продолжать дуэль новыми прыжками или же считать все дело улаженным. Секунданты отмерили шаги, и мы уселись друг против друга, приняв соответствующую позу. Согласно обычаю, секунданты подняли отчаяннейший вой, и мы набросились друг на друга.

В одно мгновение мой противник, еще прежде, чем я успел схватить его, впился в мое правое ухо, и укусил его настолько сильно, что я невольно испустил громкий вопль. «Разойтись!» — воскликнул Муций. Пестрый оставил меня, мы разошлись и приняли выжидательную позицию.

Новый жуткий вопль секундантов, второй прыжок. Теперь-то я решил получше ухватить моего противника, но предатель изловчился и укусил меня в левую лапу, так что кровь хлынула ручьем. «Разойтись!» — вторично воскликнул Муций. «Собственно говоря, — сказал секундант моего противника, обращая ко мне, — собственно говоря, дело улажено, так как вы, милейший, получили столь серьезное ранение лапы, поставлены тем самым в положение *hors de combat*» *. Однако гнев и глубочайшая злоба сделали свое дело — я так и не ощутил боли и возразил, что во время третьего прыжка выяснится, способен ли я еще сопротивляться противнику и можно ли, следовательно, считать инцидент исчерпанным. «Что ж, — молвил секундант с издевательской усмешкой, — ну что ж, ежели вы

* Вне битвы (фр.).

окончательно решили погибнуть от лапы вашего явно превосходящего противника, воля ваша!» Однако Муций хлопнул меня по плечу и воскликнул: «Ты храбрец, ты истинный храбрец, брат мой Мурр, — настоящий бурш пренебрегает такого рода царапиной! Держись отважно, дорогой!»

И вот — третий вопль секундантов, третий прыжок! Хотя я и был взбешен, от меня не ускользнула хитрость моего противника, который все время прыгал чуть в сторону, почему мне никак и не удавалось его ухватить, в то время как он намертво вцеплялся в меня. На сей раз я учел этот его маневр и тоже стал прыгать чуть в сторону, и когда он думал, что вот-вот вцепится в меня, я так глубоко прокусил ему шею, что он лишился способности кричать, а только тихо стонал. «Разойтись!» — закричал теперь секундант моего противника. Я тотчас же отпрыгнул назад, однако же Пестрый без чувств рухнул наземь, причем кровь так и хлестала из его глубокой раны. Тотчас же к нему поспешила светло-серая киска и постаралась, еще до перевязки, несколько утишить кровотечение, использовав для этого простейшее домашнее средство, которое, как заверил Муций, всегда было в ее распоряжении, ибо оно всегда было и оставалось при ней. А именно — она тотчас же полила рану некоей жидкостью и вообще обрызгала всего бесчувственного с ног до головы этой жидкостью, каковая, как я полагаю, основываясь на ее резком и даже, пожалуй, необычайно едком запахе, должна была действовать весьма сильно и, так сказать, — неотразимо! Запах этот нисколько не напоминал благоухание жидкости Тедена²⁵ или одеколона! — Муций пламенно прижал меня к груди своей и молвил: «Брат Мурр, ты сражался, отстаивая свою честь, как настоящий — славный, отважный и честный кот. Мурр, ты вознесешься высоко, ты станешь истинной красой нашего буршества, ты будешь нетерпим к малейшему пятнышку на совести, и будешь всегда у нас под лапой, когда пойдет речь о защите нашей чести». Секундант моего противника, который в течение длительного времени помогал светло-серой целительнице, теперь дерзко выступил вперед и заметил, что во время третьего прыжка я действовал вопреки своду студенческих правил. Однако тут брат Муций принял должную позу и заявил, причем глаза его сверкали и метали молнии, а когти были выпущены настолько это только возможно, что тот, кто осмеливается делать подобные замечания, вынужден будет иметь дело с ним, Муцием, и что все это дело может быть разрешено и улажено мгновенно и тут же, не сходя с места! Секундант счел за благо не настаивать на своем утверждении, а молча подхватил своего израненного друга, который, впрочем, уже немножко пришел в себя, взвалил его себе на спину и потащился со своей ношей прочь, через слуховое окно.

Пепельного цвета хирургесса осведомила, не следует ли ей оказать и мне услугу своим домашним средством, учитывая, что я тоже ранен. Я, однако, отклонил это предложение, хотя ухо и лапа причиняли мне сильную боль, и отправился домой, преисполненный блаженства, ибо по-

беда была достигнута мною и я отомстил за похищение Мисмис и за побой, которым подвергся некогда от лап Пестрого.

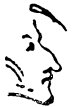
Вот для тебя, о юноша-кот, я и излагаю по зрелому размышлению историю моего единоборства, первого моего поединка — так подробно и обстоятельно, да к тому же еще и в письменной форме. Помимо того, что эта замечательная история должна тебе многое пояснить и научить тому, что есть дело чести, ты сможешь извлечь из нее также и кое-какую чрезвычайно полезную и житейски важную мораль. Например, то, что мужества и храбрости как таковых бывает совершенно недостаточно для успешной борьбы против всяческих финтов, уловок и уверток и что поэтому следует внимательнейшим образом изучить все таковые уловки коварного противника, чтобы тебя не швырнули наземь, а чтобы ты удержался на ногах и оказался, словом на высоте. «*Chi non se ajuta, se pega*»*, говорит Бригелла в «Счастливых нищих» Гоцци, и старикан этот прав, совершенно прав. Учти это, юноша-кот. И никоим образом не презирай уловок, ибо в них, как в богатейших копиях, сокрыта истинная и доподлинная житейская мудрость.

Спустившись с крыши, я нашел двери квартиры маэстро запертыми на замок и поэтому вынужден был удовольствоваться в качестве ночного ложа соломенной подстилкой, лежащей перед дверьми. Раны мои были тяжелы, я потерял много крови, поэтому я и впрямь как бы впал в бессознательное состояние. И вдруг я ощутил, что кто-то мягко и нежно взял меня на руки и куда-то уносит. Это был мой добрый маэстро, который (я, должно быть, сам того не ведая, немножечко повизгивал) услышал, что я нахожусь за дверью, отпер ее и заметил мои раны. «Бедный мой Мурр, — воскликнул он, — что они с тобой сделали? Тебя здорово искушали — ну, надеюсь, ты тоже не дал спуску своим противникам!» «Ах, маэстро, — подумалось мне, — ах, если бы ты только знал!» И вновь подумав о достойно одержанной победе и о чести, каковую я стяжал в открытом бою, я почувствовал себя гордым и окрыленным. Добрый маэстро уложил меня на мое ложе, вынул из шкафа маленькую жестянку, в которой находилась мазь, приготовил два пластыря и наложил мне их на ухо и на лапу. Спокойно и терпеливо я дал совершиться всему, что он со мной проделывал, и издал только коротенькое и тихонькое «*Mrrrr!*», когда первая повязка причинила мне некоторую боль. «Ты, — проговорил маэстро, — умный кот, мой Мурр! Ты по достоинству оцениваешь благие намерения твоего хозяина, в отличие от некоторых вечно вопящих и рычащих шалунов и сорванцов из числа твоих сородичей. Держись только спокойно, и когда придет время зализывать рану на лапе до полного исцеления, ты и сам сумеешь снять повязку. Что же касается до раненого уха, то ты, бедняга, едва ли сможешь что-нибудь сделать сам, придется тебе уж потерпеть пластырь».

* «Кто себе не помогает, тот себе вредит»²⁶ (ит.).

Я обещал моему маэстро именно так и поступать и в знак того, что я доволен его помощью мне и благодарен ему за нее, протянул ему мою здоровую лапу, которую он, как обычно, взял и тихо потряс, ни в малейшей степени не нажимая на нее и ее не сдавливая. Маэстро отлично знал, как следует обходиться с образованными котами.

Вскоре я ощутил благодетельное действие пластыря и был рад, что я не воспользовался пресловутым домашним средством пепельной маляжки-целительницы. Муций, навестивший меня, нашел меня веселым и окрепшим. Вскоре я оказался в состоянии сходить с ним на буршескую пирушку. Можно себе представить, с каким неописуемым ликованием я был принят там. Отныне все полюбили меня вдвойне! Я стал жить полной жизнью бурша, нисколько не огорчаясь тем, что при этом лишился лучших волос своей шкуры. Но разве есть в нашей земной юдоли счастье, которое по праву можно было бы назвать длительным? Разве при каждой радости, которую мы вкушаем, нас не подкарауливает уже тот...

 (Мак. л.):.. высокий и крутой холм, который, если бы его окружала равнинная местность, непременно сочли бы горой. Широкая, удобная дорога, окаймленная душистыми кустами, вела вверх; по обеим сторонам ее, чуть ли не на каждом шагу, располагались каменные скамьи и беседки, доказательства гостеприимной заботы о странствующем пилигриме. Лишь дойдя доверху, можно было заметить и оценить монументальность и великолепие здания, которое издали можно было принять лишь за одиноко стоящую церковь. Гербы, епископская митра, посох и крест, вытесанные из камня над воротами, свидетельствовали о том, что некогда здесь была резиденция епископа, и надпись: «Benedictus, qui venit in nomine Domini» * приглашала набожных гостей войти в эти врата. Но каждый, кто входил, быть может, невольно оставался стоять, как вкопанный, изумленный и пораженный обликом самой церкви, которая с ее великолепным, в стиле Палладио²⁷ сооруженным фасадом и двумя высокими воздушными колокольнями возвышалась посредице как главное здание, к которому с обеих сторон примыкали боковые крылья. В главном здании находились еще покои аббата, в боковых же пристройках — келья монахов, трапезная, прочие залы для собраний, а также комнаты для приема останавливающихся в обители паломников. Неподалеку от монастыря находились хозяйственные постройки, усадьба, дом старосты; несколько ниже в долине пестрела хорошенькая деревушка Канцгейм, пышным венком оплетая холм вместе с аббатством.

Эта долина простиралась и далее, вплоть до подножья дальних гор. Бесчисленные стада паслись на лугах, прорезанных ясными, как зеркало, ручьями, поселяне весело шли из деревень, разбросанных там и сям, по межам среди богатых хлебородных нив; ликующее пение птиц оглашало

* Благословен грядущий во имя господне (лат.).

дивные заросли; страстные манящие звуки охотничьих рогов звали сюда, на простор, из дальней темной чащи; тяжело нагруженные челны, окрыленные белыми парусами, скользили по широкой реке, струящей свои воды в долине; мгновенно пронеслись они, и до слуха долетали радостные крики корабельщиков. Везде чувствовалась роскошная полнота жизни, щедрые дары благодетельной природы, везде оживленная, бодрая, вечно кипящая, вечно текущая жизнь. Вид на эту, будто смеющуюся, местность, вид с холма — из окон аббатства — возвышал душу и в то же время вселял в нее чувство собственного достоинства.

Если даже и возможно было, невзирая на благородное, грандиозно задуманное расположение, упрекнуть внутреннее убранство храма, изобиловавшее пестрой позолоченной резьбой, деревянными скульптурами и чрезмерно выписанными картинами — итак, если бы и можно было упрекнуть это убранство в перегруженности, в некоторой монастырской безвкусице, то тем более бросалась в глаза чистота стиля, в котором были возведены и украшены покои аббата. С хоров церкви можно было попасть непосредственно в просторную залу, которая служила для собраний духовных лиц, а также и для хранения музыкальных инструментов, нот и прочих принадлежностей. Из этой залы длинный коридор, по сторонам которого тянулись ионические колоннады, вел в покои аббата. Шелковые шпалеры, изысканные полотна лучших мастеров различных школ, бюсты, статуи отцов церкви, ковры, изящно выложенные паркеты, драгоценная утварь — все здесь свидетельствовало о богатстве, впрочем, канцгеймская обитель и впрямь не прозябала в нищете.

Однако богатство, которое явно господствовало здесь во всем целом, не было тем показным, тем внешним блеском, который ослепляет взор, без того, чтобы умиротворять его, тем внешним блеском, который возбуждает изумление, а не благоговение. Все было помещено на то место, куда его и следовало поместить, ничто не пыталось кичливо привлечь внимание только к себе и развеять впечатление от других и при зрелище всего этого великолепия думалось не о драгоценности того или иного украшения, а ощущалось приятное и уютное воздействие всего этого великолепия в целом. Именно уместное, именно надлежащее в украшении и расположении вызывало это приятное чувство, и именно это воистину решающее ощущение *уместного и надлежащего*, пожалуй, и было тем, что обычно принято называть хорошим вкусом. Удобство и уют этих покоев аббата граничили с роскошью, отнюдь не становясь роскошью на самом деле, почему и не было никакого сомнения в том, что именно сам священник для себя все это устроил, достал и повелел расположить должным образом. Аббат Хризостом, когда он несколько лет тому назад прибыл в Канцгейм, обставил себе жилье по своему вкусу в таком виде, в каком оно находится и сейчас, и весь его характер, весь его образ жизни живо проявлялся во всем этом — в обстановке и в характере мебели, все это можно было уразуметь, еще не видя самого аббата и не успев убедиться в высоких качествах его ума и сердца. Ему не было

пятидесяти, он был высок, хорошо сложен, выражение ума и живости на красивом, мужественном лице, приятность и достоинство во всем поведении, одним словом, — канцгеймский аббат вселял в душу каждого, кто к нему приближался, почтение и даже благоговение, каких, впрочем, и требовал его высокий сан. Ревностный борец за дело церкви, неутомимый защитник прав своего ордена, своего монастыря, он все же производил впечатление человека уступчивого и терпимого. Но именно эта кажущаяся сговорчивость и была его оружием, которым он отлично владел и посредством которого умел побеждать любое сопротивление со стороны сильных мира сего. Быть может, кто и догадывался, что за простыми и даже душевными словами, которые, как казалось, порождены простодушием и сердечностью, скрывается монашеское лукавство, но явно заметна была только опытность и ловкость выдающегося ума, проникающего в тончайшие хитросплетения церковных дел и обстоятельств. Аббат был питомцем и воспитанником римской Конгрегации пропаганды²⁸. Сам отнюдь не склонный отказываться от радостей жизни, поскольку они уживаются с духовными нравами, обычаями и порядками, он предоставил своим многочисленным подчиненным всю свободу, которую они только могли требовать, учитывая их принадлежность к духовному сословию. Так и получилось, что в то время как некоторые из них, преданные тем или иным наукам, штудировали их в своих уединенных кельях, другие весело разгуливали в парке аббатства, увеселяя друг друга забавными рассказами; в то время как одни, склонные к благоговейным мечтаниям и молениям, проводили свое время в молитве и посте, другие лакомились, теща утробу свою, за богато накрытым общим столом, и их религиозные упражнения ограничивались теми, которые требуются монастырским уставом; в то время как одни не желали покидать аббатства, другие отправлялись из него в дальние странствия и даже, случалось, когда наступала такая пора, — сменяли длинные священнические одеяния на короткую охотничью куртку и — отважные охотники! — исхаживали всю округу в поисках добычи. Впрочем, хотя склонности братьев были весьма разнообразны и каждому из них было дозволено следовать оным склонностям, как каждому из них того хотелось, все же в одном они все сходились — всех их объединяла восторженная любовь к музыке. Почти каждый из них был образованным музыкантом, причем среди них встречались и виртуозы, которые сделали бы честь лучшей княжеской капелле. Богатое собрание нот, роскошный выбор великолепнейших инструментов давал каждому возможность заниматься искусством так, как ему того хотелось, и частые исполнения изысканнейших творений позволяли каждому развивать свои музыкальные дарования.

Прибытие Крейсера в аббатство придало теперь новый размах и окрыленность этим музыкальным устремлениям. Ученые монахи хлопнули свои фодянты, склонные к молениям сократили часы своих молитвенных бдений, все собралось вокруг Крейсера, которого они любили и чьи творения они ценили высоко, как ничьи иные. Сам аббат доставлял

его дружбой своей, как и все прочие, старался проявить к нему свое расположение и любовь. Итак, ежели местность, в которой было расположено аббатство, можно было назвать истинным раем, и если жизнь в монастыре была весьма удобной и приятной, да к тому же еще следует причесть изысканный стол и благородное вино, о котором специально заботился отец Гиларий; итак, ежели среди братьев царила непринужденная веселость, которая исходила от самого аббата, то, помимо всего этого, Крейслер, которого постоянно занимало и интересовало искусство, был здесь, так сказать, в своей стихии: одним словом, получилось так, что его беспокойная душа обрела известное успокоение, которого уже в течение длительного времени перед тем была лишена. Даже гневливая ярость его юмора несколько смягчилась, он сделался кроток и мягок, как дитя. Но еще больше, чем все это, так ему самому думалось на досуге, его радовало, что исчез и растворился тот призрачный двойник, тот самый, зародившийся и выросший в его истерзанной груди и затем исторгнутый из нее! Где-то * о капельмейстере Иоганнесе Крейслере говорится, что его друзья не могли заставить его записывать свои сочинения, впрочем, однажды, он все-таки записал какую-то свою пьесу, но, высказав всю радость по поводу того, что творение это ему так удалось, сразу же после этого швырнул его в печку. Однако это могло случиться в роковые времена, которые грозили бедному Иоганнесу гибелью, от которой нет спасения, но об этих временах нынешнему его биографу, увы, не слишком много известно. По крайней мере теперь в аббатстве Канцгейм Крейслер уже никоим образом не уничтожал свои композиции, исходившие из глубочайших недр его души, и его настроение проявлялось в сладостной, благодетельной печали, отпечаток которой несли на себе его творения. А ведь прежде даже слишком часто он могущественным волшебством вызывал из самых глубин гармонии всемогущих духов, возбуждающих страх, вселяющих ужас, порождающих все мучения безысходной печали в груди человеческой.

Однажды вечером в церковном хоре была устроена последняя спевка мессы, завершенной Крейслером, мессы, которая на следующий день должна была быть исполнена. Братья возвратились в свое кельи, Крейслер один оставался в коридоре, украшенном колоннами, и смотрел в окно на горы и доли, которые простирались перед ним в мерцании последних лучей заходящего солнца. И тут ему почудилось, будто бы он слышит доносящиеся из дальней дали звуки своего творения, которое только что было въявь исполнено монашеской братией. Когда же наступило время и зазвучал «Agnus Dei» **, то его с еще большей силой вновь охватило неизъяснимое блаженство тех мгновений, когда в нем зародилась мело-

* «Фантастические пьесы в манере Калло». Новое издание, ч. I, стр. 32. (Прим. Э. Т. А. Гофмана).

** «Агнец божий» (лат.).

дия этого агнца божия. «Нет, — воскликнул он, и глаза его наполнились жгучими слезами, — нет! Это не я, это ты одна! — ты моя единственная мысль, идея, ты — мое единственное устремление!»

Пожалуй, и впрямь чудом было то, каким образом Крейслер сотворил эту часть мессы, в которой аббат и братья находили выражение пламеннейшего благоговения, даже и самой любви небесной! Капельмейстер был весь полон своею мессой, которую он начал сочинять, но еще долго не мог завершить, и вот однажды ночью ему приснилось, что наступил праздник, день Всех Святых, для которого это сочинение было предназначено, что раздался звон, приглашающий к началу мессы, что он сам стоит за дирижерским пультом, завершенная партитура лежит перед ним, что аббат, сам читающий мессу, интонирует — вот — начинается его «Kyrie» *.

Теперь же одна музыкальная фраза следовала за другой, исполнение, удачное и исполненное силы, поразило его, увлекло его дальше, вплоть до «Agnus Dei». И тут он, к величайшему ужасу своему, обнаружил, что в партитуре одни только белые страницы, на них не было записано ни единой ноты, братия смотрела на него во все глаза, а он внезапно опустил дирижерскую палочку, братья же ожидали, что он, наконец, начнет, что пауза будет непродолжительной. Но смущение и страх легли на его плечи свинцовым бременем, они как будто придавливали его к земле, и он не мог, хотя весь «Agnus Dei» готовый, был тут, в его сердце, — не мог извлечь его оттуда, из души своей и запечатлеть его на нотных линейках партитуры! Но тут внезапно явилась некая ангельская дева, она подошла к пульту, спела «Agnus» — и это были воистину небесные звуки! и эта ангельская дева — это была Юлия! В восторге величайшего воодушевления Крейслер пробудился и написал «Agnus», написал то, что в блаженном сне пришло, возникло в нем. И этот сон приснился теперь Крейслеру снова, он слышал голос Юлии, все выше и выше вздымались волны напева, как вдруг, когда хор запел «Dona nobis pacem» **, он, Крейслер, пожелал погибнуть в море тысяч блаженных наслаждений, в пучине, смыкающей свои волны над его головой!

Легкий удар по плечу пробудил Крейслера из этого экстатического состояния. Перед ним стоял аббат, взирая на него с благосклонностью.

— Не правда ли, сын мой, — начал аббат, — что ты высоко воспрянул душой, а то, что тебе удалось, в красе и силе, вызвать к жизни, не правда ли, радуется теперь твою душу? Мне кажется, ты думал о твоей мессе, которую я причисляю к лучшим творениям, когда-либо созданным тобою.

Крейслер молча глядел на аббата, он все еще не в силах был произвести ни слова.

* «Господи, помилуй» (греч.).

** «Даруй нам мир» (лат.).

— Вот, вот, — посмеиваясь, продолжал аббат, — а теперь спустись из горних областей, в кои ты воспарил! Я думаю даже, что ты сочинишь музыку в уме и не в состоянии мгновенно оторваться от работы, которая, конечно, для тебя одно наслаждение, хотя, впрочем, и опасное наслаждение, ибо оно поглощает все твои силы. А теперь забудь, пожалуйста, ненадолго обо всех твоих творческих идеях, давай-ка походим взад-вперед по этим прохладным коридорам и немного поболтаем!

Аббат заговорил об устройстве монастыря, об образе жизни монахов, он превозносил тот и в самом деле веселый и набожный дух, который был всем им свойственен, и в конце концов спросил капельмейстера, не ошибается ли он, аббат, полагая, что, как ему кажется, дражайший капельмейстер Крейслер за недолгие месяцы, проведенные им здесь, в аббатстве, стал спокойнее и более склонен теперь к деятельному служению высокому искусству, которое, впрочем, становится еще прекрасней, когда служит церкви?

Крейслер не мог ничего сказать другого, кроме того, что он согласен с этим и, сверх того, заверяет, что аббатство открылось ему как убежище, под сенью коего он обрел приют, и что он чувствует себя здесь настолько дома, как будто он и впрямь принадлежит к числу орденских братьев и никогда больше не покинет обитель.

— Оставьте мне, достопочтенный отче, — так закончил Крейслер, — ту иллюзию, которой требует это одеяние. Оставьте мне веру в то, что мне, гонимому пагубной бурей, благосклонность радушной судьбы позволила высадиться на остров, где я нахожусь в безопасности, где мои прекрасные грезы никогда не могут быть развеяны, а ведь эти грезы, эти мои прекрасные сновидения, не что иное, как одушевление самим искусством!

— И в самом деле, — возразил аббат, причем особое дружелюбие отразилось на лице его, — и в самом деле, сын мой Иоганнес, одеяние, в которое ты облачился, чтобы выгладеть нашим братом, очень тебе идет, и мне хотелось бы, чтобы ты его никогда не снимал. Ты самый достойный бенедиктинец²⁹ из всех, каких мне только приходилось видеть.

— И все-таки, — продолжал аббат после непродолжительного молчания, схватив Крейслера за руку, — я вовсе не шучу. Вам известно, мой Иоганнес, как вы полюбились мне с тех пор, когда я познакомился с вами, как моя искренняя дружба, сочетаясь с высочайшим уважением к вашему замечательному таланту, становилась все более и более возвышенной. Мы заботимся о том, кого любим, и именно это чувство заботы заставило меня с момента вашего появления здесь, в монастыре, несколько даже боязливо наблюдать за вами. Я пришел к убеждению, о котором не могу умолчать! Я уже давно хотел вам открыть свое сердце, ожидал только благоприятного мгновения — это мгновение теперь настало! Крейслер! Отрекайтесь от света, вступайте в наш орден!

Однако, хотя Крейслеру и очень нравилось в аббатстве, хотя он и был здесь весьма желанным гостем, да и сам он был очень склонен по

возможности продлить свое пребывание здесь, ибо это пребывание давало ему мир и покой, благоприятствовавшие деятельному творчеству, однако предложение аббата все же поразило его почти неприятным образом, поскольку он никогда серьезно не думал о том, чтобы распростившись со свободой, обрести здесь приют среди монахов; впрочем, правду сказать, ему порой приходила в голову эта причудливая идея, и пронзительный аббат, конечно, вполне мог заметить это. Весьма изумленный, капельмейстер воззрелся на аббата, который, однако, отнюдь не заставляя его высказываться, продолжал свое: «Выслушайте меня спокойно, Крейслер, прежде чем ответить. Конечно, я заинтересован в том, чтобы привлечь нового, разумного и дельного слугу церкви в наш орден, тем не менее церковь отвергает всякие попытки искусственного убеждения и уговоров и желает высечь в душе искру подлинного призвания, дабы из нее возгорелось затем ярко сияющее пламя веры, которое испепелило бы и истребило всяческое оболъщение. Таким образом, я хочу лишь высвободить то, что, быть может, во мраке и небрежении таится в вашей собственной груди, и привести вас самого к подлинному самопознанию. Вправе ли я говорить с вами, мой Иоганнес, о тех странных и сумасбродных предубеждениях, которые питают миряне против монастырской жизни? О том, что монах якобы некоей чудовищной судьбою навсегда загнан в свою монастырскую келью, где он, отрекшись от всех благ мира сего, в непрерывных мучениях влачит жалкое существование! В таком случае монастырь был бы мрачной тюрьмой, куда неутолимая скорбь о навеки утраченном благе, отчаяние изобретательного самоистязания ввергает себя навек, где истосковавшиеся и изнуренные, бледные полумертвецы влачат свое жалкое существование и где ужас, раскалывающий их сердца, вырывается наружу в глухих моленьях!

Крейслер не смог удержаться от улыбки, ибо он, едва аббат заговорил об истосковавшихся и изнуренных бледных полумертвецах, подумал об упитанных бенедиктинцах, и прежде всего о благодушном румянощеким брате Гиларии, который не знал большей муки, чем утоление жажды вином от скверных лоз, и ведал лишь такие страхи и ужасы, кои были вызваны новой партитурой, в сложности каковой он еще не успел вникнуть с достаточной полнотой, дабы вполне ее уразуметь!

— Вам смешно, — продолжал аббат далее, — вас забавляет контраст между той картиной, какую я вам набросал, и той монашеской жизнью, с которой вы здесь познакомились, и, бесспорно, у вас есть к тому причина. Если бы даже и было так, что иной из нас, с душою, истерзанной скорбями земными, навсегда покидая все счастье, все радости света, бежит в монастырь, то благо ему тогда, что церковь принимает его, и он в ее лоне обретает мир, который один может утешить его во всем тягостном, что пережито им; только этот душевный мир и способен поднять его и высоко вознести над пагубным роком. Но ведь есть великое множество людей, которых истинная внутренняя склонность влечет к благоговейно молитвенному созерцательному существованию в стенах монастыря, эти

люди, неловкие и неуклюжие в миру, ежеминутно сбиваемые с толку непрестанным напором мельчайших житейских обстоятельств, всегда и непременно возникающих в нашем земном существовании, только здесь, в уединении, добровольно избранном ими же самими, чувствуют себя хорошо. Бывают и другие, которым хотя и не свойственна решительная склонность к монастырскому существованию, но в сущности они не принадлежат ни к какой другой общине, кроме как к монастырской. Я говорю о тех, которые всегда остаются чужими в мире, ибо они принадлежат некоему, более возвышенному бытию, а требования этого более высокого бытия ошибочно считают требованиями самой жизни и посему неутомимо ищут то, что здесь, в нашей земной юдоли, отыскать невозможно. Такие люди вечно жаждут, вечно томятся ничем и никогда неутолимой страстной печалью: они колеблются, и тщетно ищут покоя и мира; и в их-то обнаженную грудь и попадает всякая спущенная с титивы стрела, и для ран их нет никакого бальзама, кроме горькой издевки дьявола, который непрерывно и непрестанно вооружается против них!

Лишь уединение, лишь однообразная, монотонная жизнь, в которую не вторгаются дьявольские помехи и которую не нарушают никакие недруги и прежде всего постоянное свободное созерцание, взор, устремленный ввысь, в светоносное царство, к коему они принадлежат, — только это способно восстановить равновесие, дабы души их и впрямь ощутили небесное блаженство, которое оказывается совершенно недостижимым в мирской суматохе и суете. И вы, вы, мой Иоганнес, принадлежите к этим людям, к тем, которых Предвечная Мощь, преодолевая бремя земного, неодолимо воздымает к небесному! Ваше живое чувство собственного бытия, чувство, которое вечно будет вызывать в душе вашей раздор с пошлой суетой, и оно непременно должно будет вызывать в вашей душе такого рода раздор! Вот это самое ощущение мощно излучается в образах искусства, которое ведь принадлежит к иному миру и которое, являя собою святое таинство любви небесной, вместе с печалью и тоской — также заключено в груди вашей. А это искусство уже и само по себе есть не что иное, как самая пламенная и самая благоговейная молитва, и вы, Крейслер, вы, всецело преданный этому искусству, не имеете больше ничего общего с пестромундирным парадом житейских пустяков, которые вы с презрением отбрасываете, подобно тому, как отрок, созрев и войдя в юношеские годы, отбрасывает давно наскучившую и ненужную ему затасканную и обтрепанную игрушку! Бегите к нам — и вы навсегда избегнете сумасбродных поддразниваний издевательски-посмеивающихся глупцов, которые вас, мой бедный Иоганнес, так часто мучали и терзали, терзали до крови! Друг раскрывает вам объятья, он готов принять вас, ввести в надежную гавань, где никакие бури и грозы не станут угрожать вам!

— Глубоко, — сказал Иоганнес, когда аббат, серьезный и сумрачный, замолк, — глубоко чувствую я правду ваших слов, мой достопочтенный друг! Глубоко чувствую, что и в самом деле не гожусь для света, который

создал и сформировал меня, как вечное загадочное недоразумение. И все-таки — я охотно признаюсь в том, что испытываю ужас при мысли, что я ценю столько убеждений, всосанных мною с молоком матери, облачусь в это одеяние, подобное темнице, из которой мне никогда уже не суждено будет выйти на свободу. Мне все кажется, что для монаха Иоанна тот самый мир, в котором капельмейстер Иоганнес все же порой обретал прехорошенькие садики с множеством благоуханных цветов, внезапно превратится в унылую и невозделанную пустыню, как если бы, внезапно влетаясь в живую жизнь, отречение...

— Отречение, — прервал аббат капельмейстера, возвысив голос, — отречение? Но разве для тебя, Иоганнес, существует отречение, когда Дух Искусства в тебе становится все могущественней, когда мощные крылья вздымают тебя к сияющим облакам? Есть ли еще на свете такие житейские наслаждения, которые могли бы ослепить и обольстить тебя? И все же (так продолжал аббат более мягким тоном), должно быть, Предвечная Сила вложила в нашу грудь чувство, которое с непреодолимой мощью сотрясает все наше существо, — это те таинственные узы, которые связуют дух и тело, причем дух как будто устремляется к высочайшему (но мнимому!) идеалу химерического блаженства и все-таки хочет только того, чего тело добивается, как необходимой потребности, и таким образом возникает взаимодействие между ними, являющее собой необходимое условие продолжения рода человеческого. Да будет мне позволено не объяснять, что я говорю о плотской любви, и что я во всяком случае считаю отречение от нее немалой жертвой. Но, Иоганнес, отрекаясь, ты спасаешь себя от гибели, никогда, никогда не сможешь ты причаститься воображаемому счастью земной любви!

Аббат произнес последние слова настолько торжественно, с такой возвышенностью, как будто сама Книга Судьбы была разверста пред его очами, и он возвещал злополучному Крейслеру все несчастья, грозящие ему; все несчастья, напасти и пагубы, избегая которых он должен укрыться в стенах монастыря и обрести спасение.

Но тут, однако, на физиономии Крейслера вновь обозначилась та престранная игра мышц, возвещающая, что душою капельмейстера снова овладел дух иронии. «Хо-хо, — проговорил он, — хо-хо! Ваше высокопреподобие неправы, о да, совершенно неправы. Ваше высокопреподобие, вы явно заблуждаетесь относительно моей персоны, вас вводит в заблуждение платье, которое я надел, чтобы en masque* в течение известного времени подтрунивать над людьми, оставаясь неузнанным, запечатлеть их имена у них же на ладонях, чтобы они знали, кто они собственно такие! И разве я не самый подходящий человек для подобного рода предприятия? Ведь я еще мужчина в соку, довольно-таки приятной наружности, высокообразованный и порядочный? И разве я не могу, предварительно пройдясь щеткой по прекраснейшему черному фраку,

* Под маской (фр.).

затем облачиться в него, что же касается белья — то раздеться в шелк и дерзко обратиться к первой попавшейся румяной профессорской дочке, к любой синеокой или кареглазой дочке надворного советника, и, со всей слащавостью атогосо* в жестах, выражении лица и тоне, без всяких экивоков, спросить: «Прекраснейшая, не угодно ли вам будет отдать мне свою ручку и всю вашу драгоценную особу впридачу?» И профессорская дочка всенепременно потупит глазки и совсем-совсем тихо прошепчет «поговорите с моим папá!» или дочка надворного советника, пожалуй, даже метнет в мою сторону преисполненный мечтательности взгляд, и затем признается, как уже с давних пор она в тиши заметила необыкновенное чувство, которое я только теперь решился выразить, а мимоходом потолкует со мной и о кружевах на подвенечном платье. И, о боже! Соответствующие господа папеньки, с какой превеликой охотой расстанутся они вслед за этим со своими ненаглядными дочками, откликаясь на предложение такой необыкновенно respectable личности, как экс-капельмейстер великого герцога! — Но я мог бы также переместиться в гораздо более возвышенные области, в так сказать романтические эмпиреи и устроить там нечто вроде идиллии и предложить свои руку и сердце смазливой дочке арендатора как раз в тот самый момент, когда она готовит козий сыр или же, уподобясь нотариусу Пистофолусу³⁰, сбегать на мельницу и там отыскать свой предмет, свою богиню в идеальных облаках всепроникающей мучной пыли! Ужели было бы отвергнуто верное и благородное сердце, которое ничего не хочет, ничего не требует, кроме разве что бракосочетания, бракосочетания, бракосочетания?! Неужели мне может не повезти в любви? — Вы, выше высокопреподобие, не принимаете в расчет, что, собственно, именно я и никто другой как раз необычайно пригоден и как будто бы специально создан для того, чтобы именно в любви быть совершенно ужасающим образом счастливым, ведь я и есть тот самый человек, чья примитивная тема звучит лишь так и только так: «коль я по нраву твоему, то в жены я тебя возьму!» Ну, а последующие вариации этой темы, пройдя через неизбежное свадебное *allegro brillante*, затем уже в законном браке получают дальнейшее развитие! Далее — вы, ваше высокопреподобие, не знаете, что я уже с незапамятных времен серьезно подумываю о том, чтобы вступить в брак, обвенчаться, стало быть, с кемнибудь. Впрочем, когда я был еще совсем молодым человеком, еще малообразованным и не вполне воспитанным, а именно — семи лет отроду, некая тридцатитрехлетняя барышня, которую я избрал себе в невесты, обещала мне не только устно, но даже и пожатием руки, что она никого другого не возьмет себе в мужа, кроме меня, я и сам ума не приложу, не знаю, не ведаю, отчего все это впоследствии расстроилось?! Заметьте только, ваше высокопреподобие, что счастье в любви улыбалось мне с ребяческих лет, так сказать, от молодых ногтей, и вот теперь: скорее мне шелковые чулки — скорее туфли, чтобы я со всех своих жениховских ног кинулся

* Любownika (ит.).

очертя голову за той, которая уже протягивает изящнейший девичий пальчик, дабы на него немедленно было мною надето массивное обручальное кольцо. И если бы добропорядочному бенедиктинцу приличествовало увеселять себя заячьими прыжками, я тут же на месте, перед вашими высокопреподобными очами сплясал бы матлот³¹ или гавот или даже лихой галоп, проявляя чистейшую радость, которая всецело овладевает мной, когда я только подумаю о невесте и о бракосочетании! Ха-ха! — что касается любовного счастья и женитьбы, тут я вполне к месту! Мне очень хотелось бы, чтобы ваше высокопреподобие уразумели сие обстоятельство. — Я не хотел, — возразил аббат, когда Крейслер, наконец, перевел дух, прерывать ваши странные шуточные разглагольствования, господин капельмейстер, лишь доказывающие то, о чем я вам уже говорил. — Я прекрасно ощущаю также жало, которое должно было уязвить меня, но нет, не уязвило! Я счастлив, что никогда не верил в ту химерическую любовь, которая бестелесно витает в неких заоблачных сферах и которой никак не положено иметь ничего общего с человеческими потребностями... Как это возможно, что вы при таком болезненном напряжении духа... Но хватит об этом! — Самое время теперь поближе рассмотреть опасность, которая нависла над вами. Разве вы не слышали во время вашего пребывания в Зигхартсгофе о судьбе этого несчастного живописца, этого бедняги — Леонгарда Эттлингера?» Крейслер затрепетал от ужаса, когда аббат произнес это имя. С лица его исчез всякий след горькой иронии, которая до того владела им, и он глухо спросил: «Эттлингер? Эттлингер? Что мне до него? У меня с ним нет ничего общего! Я никогда не был с ним знаком, это было всего лишь игрой разгоряченной фантазии, когда мне однажды почудилось, будто он обращается ко мне, говорит со мной из глубины вод!»

— Успокойся, — мягко и кротко проговорил аббат, — сжимая руку Крейслера, — успокойся, сын мой Иоганнес! Ничего общего не имеешь ты с тем несчастным, которого заблуждение страсти, сделавшейся слишком могущественной, повергло в глубочайшую, погибельную пропасть. Но пусть его ужасающая судьба послужит тебе предостерегающим примером. Сын мой Иоганнес! Ты находишься на еще более скользком пути, чем тот несчастный, а посему — беги, беги! — спасайся бегством! Гедвига! Иоганнес! Злая греза опугала принцессу узами, и путы эти кажутся неразрывными, и останутся ими, ежели только некий вольный дух не разрешит их! Ну, а ты?

Тысячи помыслов пронеслись в голове Крейслера при этих словах аббата. Он убедился в том, что аббату отлично известны не только все события и обстоятельства зигхартсгофского княжеского дома, но также известно и все то, что там случилось во время его, Крейслера, пребывания. Ему стало ясно, что болезненная впечатлительность принцессы могла давать повод для опасений, что его приближение угрожает опасностью, о которой он вовсе не думал; но кто же другой мог питать такие опасения, кто другой мог питать их и потому желать, чтобы он, Крейслер, совсем

сошел со сцены, если не советница Бендон? Именно советница Бендон должна была быть как-то связана с аббатом Хризостомом, должна была знать о его, Крейсlera, пребывании в аббатстве, и таким образом она была своего рода приводной пружиной всех начинаний высокопреподобного господина аббата. Живо вспомнились ему все те мгновения, когда принцесса действительно казалась как будто бы обуреваемой некоей созревшей в ее душе страстью; но он и сам не знал почему, при одной только мысли, что он сам мог быть предметом этой страсти, его охватывало нечто, напоминавшее страх перед призраками. Ему казалось, как будто какая-то посторонняя духовная сила стремится могущественно вторгнуться в святую святых его души и похитить у него свободу мысли. Принцесса Гедвига возникла внезапно перед ним, она взирала на него тем странным недвижным взглядом, который был ей свойственен, но в это самое мгновение как бы пульсирующий удар пронзил его нервы и сердце, как тогда, когда он впервые прикоснулся к руке принцессы Гедвиги. Но только теперь у него не было того жуткого страха, он ощутил, как электрическое тепло благотельно проникло в его душу, и проговорил тихо, как во сне: «Маленькая, плутовская *Raja torpedo*, ты уже снова дразнишь меня и знаешь ведь, что не сможешь уязвлять меня безнаказанно, ежели я из одной только чистой любви к тебе оказался монахом-бenedиктинцем?»

Аббат внимательно глядел на капельмейстера, как будто хотел проникнуть взором насквозь все его «я», и начал затем серьезно и торжественно: «С кем беседуешь ты, сын мой Иоганнес?»

Однако Крейслер уже пробудился от своих грез; он понял, что аббат, поскольку он был осведомлен обо всем, что произошло в Зигхартсгофе, непременно должен был знать также и обо всех подробностях дальнейшего течения катастрофы, из-за которой ему, Крейслеру, пришлось бежать оттуда, и он подумал, что следовало бы побольше выведать у аббата обо всем этом.

— Ни с кем, — возразил он аббату, усмехаясь на шутовской лад, — ни с кем другим я не беседовал, высокопреподобный господин мой, кроме как — но, впрочем, вы ведь это слышали, конечно, с одной из плутовских *Raja torpedo*, которые никем не званные имеют обыкновение вмешиваться в наш рассудительный разговор и еще больше сбивают меня с толку, а я действительно сейчас сбит с толку! Но изо всего этого я должен, к величайшему моему сожалению, сделать вывод, что разные люди считают меня столь же великим глупцом, каким был блаженной памяти придворный портретист Леонгард Этлингер. А ведь Леонгард Этлингер непременно хотел не только писать одну высокопоставленную особу, каковая, естественно, не могла иметь с ним решительно ничего общего, но также и любить ее и к тому же любить настолько ordinarily и общепринятым образом, как, скажем, какой-нибудь там деревенщина Ганс любит свою Грету! О боже! Разве я когда-нибудь утрачивал уважение к особам высокопоставленным, смиренно сопровождая прекраснейшими аккордами пошлейшее и жалчайшее любительское пение? Разве я когда-

нибудь решался затронуть какие-либо ненадлежащие или чрезмерно капризные материи, как, например, о восторге и боли, о любви и ненависти, когда маленькая упрямецка княжеских кровей изощрялась во всякого рода необычайных душевных настроениях и пыталась дразнить порядочных людей магнетическими видениями? Разве я совершал когда-нибудь хоть нечто подобное? Ну, скажите. . .

— Однако, — прервал его аббат, — однако ты говорил однажды, мой Иоганнес, о любви артиста. . .

Крейслер неподвижно уставился на аббата, а потом воскликнул, хлопнув в ладоши и возведя очи горе: «О небо! Вы об этом! — Драгоценные мои люди, — заговорил он затем, причем та самая шутовская улыбка на его лице вновь засияла, вновь возобладала и при этом почти подавила затаенную в его голосе грусть, — драгоценные люди-человеки, все вместе и каждый порознь, разве вы никогда не слышали где-нибудь, хотя бы даже на самых заурядных балаганных подмостках, как принц Гамлет говорил, обращаясь к одному достойному господину по имени Гильденстерн³², а говорил он следующие слова: «Вы можете меня расстроить, право, но не играть на мне?» — Ах, да ведь это же как раз и есть мой случай! Почему вы подслушиваете речи совершенно ни в чем не повинного Крейслера в то время, как гармония любви, заключенная в его сердце, лишь раздражает вас как неверный звук! — О, Юлия!»

Аббат, будто внезапно пораженный чем-то совершенно неожиданным, казалось напрасно искал слов, в то время как Крейслер стоял перед ним и в полнейшем восторге глядел в море огня, прихлынувшее к его очам в этот вечерний час.

Тут с ажурных башен аббатства послышался колокольный перезвон, и чудные небесные голоса взмыли к мерцающим золотом закатным тучам.

— С вами, — воскликнул Крейслер, широко раскинув руки, — с вами хочу я улететь, о, чудесные созвучия! Пусть вся ваша безутешная скорбь, несомая вами, направит ко мне свой полет и развеется в моей собственной груди, и пусть голоса ваши, как небесные вестники мира, возвестят, что боль погибла, что скорбь миновала и растворилась в уповании, в страстной печали извечной любви.

— Звонят к вечерне, — промолвил аббат. — Я слышу, сюда идут братья. Завтра, мой любезный друг, мы, быть может, еще поговорим о кое-каких событиях в Зигхартсгофе.

— Ах! — воскликнул Крейслер, который только теперь снова вспомнил, о чем, собственно, он хотел узнать от аббата, — ах, ваше высокопреподобие, мне хочется многое узнать о веселой свадьбе и обо всем прочем тому подобном! — принц Гектор ведь не станет колебаться и мешкать, и непременно схватит ту руку, овладеть которой он стремился еще из далекого далека? Ведь со счастливым женихом не струсилось ничего худого?

Тут все торжественное выражение слетело с лица аббата, и он проговорил с тем благодушным юмором, который обычно был ему так свойствен-

венен: «Со счастливым женихом решительно ничего не приключилось, мой честный Иоганнес, но его адъютанта в лесу, должно быть, ужалила оса». «Хо-хо, — сказал Крейслер, — хо-хо, оса, которую он хотел истребить огнем и дымом!»

Братья вступили в коридор и...



(*Мурр пр.*)... злобный недруг и пытается вырвать лакомый кусок из-под носа у порядочного и вполне безобидного кота? В общем, прошло немного времени и наш милый союз на крыше получил удар, который настолько потряс его, что довел до полного распада. Одним словом, этот подлый, разрушающий все кошачьи удовольствия недруг появился перед нами в образе злобного и яростного филистера по имени Ахиллес. Со своим гомеровским тезкой он имел весьма мало общего, если только не предположить, что геройство последнего проявлялось также преимущественно в беспомощных и грубых да к тому же еще и пустопорожных оборотах речи. Ахиллес был, собственно, обыкновенной дворняжкой какого-то мясника, состоял, однако, на службе в качестве дворового пса, и его хозяин, к коему он поступил в услужение, велел посадить его на цепь, дабы укрепить его привязанность к дому, так что пса только ночью отпускали поразмяться на воле. Кое-кто из нас очень жалел его, несмотря на его невыносимый характер, он, однако, отнюдь не принимал близко к сердцу утрату своей свободы, так как был достаточно безрассуден, чтобы полагать, что тяжелая, обременяющая его цепь служит ему к чести и украшает его. Ахиллесу весьма досаждали наши ночные пирушки, когда ему полагалось бегать вокруг дома и охранять дом от всякой напасти; мы мешали ему спать, и он грозил нам смертью и гибелью как нарушителям спокойствия. Но так как он, из-за полнейшей беспомощности своей, ни разу не смог забраться даже на чердак, не говоря уже о крыше, то мы решительно не обращали ни малейшего внимания на его угрозы; напротив, мы вели такой же образ жизни, как и прежде. Ахиллес стал принимать другие меры; он начал наступление против нас, как обычно дельный генерал начинает битву, т. е. сперва замаскированными подходами, а потом уже — дерзкой атакой.

Всякого рода шпицы, которым Ахиллес порой оказывал честь поиграть с ними, хватая их своими неловкими лапами, именно они по его приказу должны были поднимать такой отчаянный лай, как только мы начинали наше пение, что мы не в силах были разобрать в нем ни одной ноты! И более того!

Некоторые из этих филистерских прислужников добирались вплоть до чердака и, не вступая с нами в бой, когда мы показывали им когти, призывая их к открытой и честной борьбе, поднимали такой ужасный шум, лая и вопя, что если прежде шум мешал спать только лишь дворовому псу, то теперь и сам хозяин не смежал глаз, и так как этот спектакль, от которого хотелось кричать «караул», никак не завершался, то домовладелец схватил арачник, чтобы выдворить озорников и прогнать их как можно дальше!

— О, кот, читающий эти строки! Если в голове у тебя истинно мужской разум, если уши у тебя не избалованные, то неужели, спрашиваю тебя я, тебе когда-нибудь удавалось услышать что-нибудь противнее, ненавистней и ничтожнее, чем визгливый, резкий и фальшивый во всех тонах звукоряда — лай раздраженных и рассерженных шпицов? — Эти маленькие, виляющие хвостами, причмокивающие и чавкающие, прикидывающиеся милыми твари, держись с ними настороже, о, кот! Не доверяй им. Поверь мне, дружба и радушие шпица опаснее, чем выпущенные когти тигра! — Умолчим о горестном опыте, который мы по этой части, увы, приобретали слишком часто, и вернемся к дальнейшему течению нашего повествования.

Итак, как уже было сказано, домовладелец схватил арапник, чтобы изгнать нарушителей спокойствия с чердака. Но что случилось? — шпицы ласково завияли хвостами при виде разгневанного хозяина, они стали лизать ему ноги и представили дело так, как будто бы они подняли весь этот шум и гам только лишь ради его покоя, невзирая на то, что именно из-за их отчаянного гама он лишился всяческого спокойствия и уюта. Они, якобы, лаяли лишь затем, чтобы прогнать нас, ибо мы, дескать, делали всяческие невыносимые гадости на крыше, а также пели песни на чрезмерно высоких нотах и т. д. Хозяин, к сожалению, поверил шkodливой болтовне подлых шпицов, поверил всему, тем более, что дворовый пес, которому хозяин тоже не преминул задать вопросы, все это подтвердил, злобно ненавидя нас. Итак, мы начали подвергаться преследованиям. Нас отовсюду прогоняли дворники — и метлами, и швыряя черепицы с крыш! Повсюду на нас были расставлены капканы и западни, в которые мы должны были попадаться, и, увы, действительно попадались. Даже мой милый друг Муций попал в беду, то есть в западню, которая ужасно размозжила ему заднюю лапу! Вот так произошло с нашей веселой дружеской жизнью, и я вернулся назад, к маэстро, под печку, оплакивая в глубоком одиночестве судьбу моего несчастного друга.

В один прекрасный день господин Лотарио, профессор эстетики, вошел в комнату моего маэстро, а вслед за ним вприпрыжку вбежал пудель Понто.

Мне трудно даже выразить, что за неприятное чувство поднялось во мне, когда я увидел Понто. Хотя он, впрочем, не был ни дворняжкой, ни шпицем, но все-таки он принадлежал к племени, чье злобное и враждебное отношение подорвало основы моего существования в веселом кошачьем обществе, и уже поэтому мне, невзирая на все чувства дружбы, которые он мне выражал, он все же казался сомнительным и двусмысленным приятелем. Кроме того, во взгляде Понто, во всем его существе мне чудилось нечто надменное и граничащее с издевкой, и я решил поэтому лучше вовсе не заговаривать с ним. Тихо сполз со своего тюфячка и одним прыжком оказался в печке, чьи дверцы были как раз открыты, — я захлопнул их за собой!

Господин Лотарио заговорил теперь с моим маэстро о том, о сем — все это тем меньше возбуждало мой интерес, что все мое внимание было приковано к юному Понто, который, после того, как он на щегольской манер напевая песенку, приплясывая, побегал кругом по комнате, вспрыгнул на подоконник, взглянул в окно, и, как это обычно делают фанфароны, покивал всем проходящим знакомым, иногда даже немножечко полаивал и притявкивал, явно для того, чтобы привлечь к себе взоры пробегающих мимо красоток его племени. Этот легкомысленный фат, казалось, вовсе и не думал обо мне, но, невзирая на то, что я, как уже сказано, вовсе не хотел беседовать с ним, мне отчего-то вовсе не нравилось, что он даже не счел нужным осведомиться обо мне.

Совсем иначе и, как мне хочется думать, куда более пристойно и разумно вел себя профессор эстетики, господин Лотарио, который, после того, как он везде в комнате осмотрелся кругом, ища, где я, сказал моему маэстро: «Но где же ваш несравненный мосье Мурр?!»

Для порядочного кота-бурша нет более низменного и подлого наименования, чем роковое словечко «мосье», однако же нам приходится много страдать от эстетиков, и таким образом, я простил профессору эту ненужную обиду.

Маэстро Абрагам стал уверять, что я с некоторых пор ходил своими собственными путями и в особенности по ночам не часто изволил бывать дома, возвращаясь же после ночных прогулок, казался усталым и измученным. Только что я, казалось бы, полеживал на подушке, и он и в самом деле не знает, куда именно я так молниеносно запропастился.

— Я предполагаю, — стал говорить профессор далее, — я почти готов предположить, маэстро Абрагам, что ваш Мурр... Но вдруг он уже здесь где-нибудь спрятался и подслушивает? Разрешите нам немного осмотреть ваши апартаменты!

Я тихонько стал углубляться в печку, но нетрудно понять, как я навострил уши, ибо речь шла обо мне! Профессор тщетно обшарил все уголки, к немалому изумлению моего маэстро, который, смеясь, воскликнул: «В самом деле, профессор, вы оказываете моему коту неслыханную честь!»

— Хо-хо! — возразил профессор, — подозрение, которое я питаю касательно вас, маэстро, относительно педагогического эксперимента, благодаря которому кот сделался поэтом и писателем, не выходит у меня из головы. Разве вы уже забыли тот сонет, ту глоссу, которые мой Понто похитил прямо из лап у вашего Мурра? Но пусть с этим все обстоит как угодно, я воспользуюсь отсутствием Мурра, чтобы поделиться с вами прескверным предчувствием и настоятельно посоветовать вам бдительно следить за поведением Мурра. Хотя меня самого кошки заботят очень мало, все же от меня не ускользнуло, что некоторые коты, которые прежде были весьма благоприличны и отличались прекрасными манерами, теперь внезапно приобрели облик, грубейшим образом нарушающий все понятия о порядке и нравственности.

Вместо того, чтобы, как прежде, склоняться и ластиться, они строптиво величаются и важничают и не страшатся искрометными взглядами и гневным рычанием выдавать свою изначальную дикую натуру, а то и выпускать когти. Столь же мало они блюдут благопристойную внешность, им не угодно уже казаться благонравными светскими людьми! Они не чистят усов, не вылизывают шерстку до глянца, они не думают о том, что им следовало бы откусывать чрезмерно длинные запущенные когти, как угорелые, непристойно и грубо, с взъерошенными, растрепанными хвостами, носятся они, вселяя ужас и отвращение в сердца всех благовоспитанных кошек. Однако то, что в особенности представляется достойным порицания и не может, не должно быть терпимо, — это тайные сборища, которые происходят в ночное время, на коих коты издают некие безумные вопли, которые они называют пением, невзирая на то, что наши человеческие уши не воспринимают при этом ничего иного, кроме бессмысленного вопля, в коем начисто отсутствует надлежащий такт, упорядоченная мелодия и гармония, даже какое бы то ни было гармоническое начало! Я сильно опасаюсь, маэстро Абрагам, что ваш Мурр попал в дурную компанию и принимает теперь живое участие в тех самых непристойных увеселениях, которые не могут ему принести ничего иного, кроме серьезной выволочки!

Мне причинило бы немалую боль, если бы все старания, которые вы приложили для того, чтобы воспитать этого серенького плута, оказались бы тщетными, и если бы он, вопреки всем своим ученым познаниям, опустился бы до уровня обыкновеннейшего пустопорожного поведения жалких и пошлых котов-плебеев! — Когда я увидел, что как меня, так и моего доброго Муция, моего великодушного брата, расписывают таким гнусным образом, из груди моей невольно вырвался возглас боли. «Что же это такое было? — воскликнул профессор. — Я готов даже подумать, что Мурр все-таки сидит где-то в комнате, спрятавшись понадежнее от наших глаз! Понто! Allons! * Ищи, ищи его!» Одним прыжком Понто соскочил с подоконника и стал обнюхивать все в комнате кругом. Перед дверцами печки он застыл, как вкопанный, зарычал и залаял. Потом вспрыгнул на печь. «Он в печке, в этом нет никакого сомнения!» — так сказал маэстро и распахнул дверцы настежь. Я спокойно остался сидеть и глядел на моего маэстро ясными, сверкающими глазами. «И в самом деле, — воскликнул маэстро, — и в самом деле, он забился туда в печку, да поглубже! Ну, как? Не соблаговолишь ли ты выйти на свет божий? Не угодно ли тебе будет осчастливить нас своим присутствием?»

Хотя у меня вовсе не было особенной охоты покидать мое убежище, я все же вынужден был, так или иначе, подчиниться повелению моего маэстро, ибо мне не хотелось, чтобы по отношению ко мне были приняты какие-либо насильственные меры, в итоге коих я же и остался бы в накладе. Посему я, отнюдь не спеша, вылез оттуда. Однако, едва я вновь

* Ну-ка! (фр.).

явился на свет божий, как оба, профессор и маэстро, громогласно воскликнули: «Мурр! Мурр! Да как же ты выглядишь! Что это еще за фокусы!»

Вообще-то говоря, я был весь в золе с головы до пят; к тому же следует еще прибавить, что и в самом деле, с некоторых пор внешность моя оставляла желать большего, она заметно пострадала, так что я в том повествовании, которое изложил профессор, т. е. в его повествовании о котараскольниках вынужден был узнать самого себя, таким образом, думается, что я и в самом деле являл собою фигуру самую что ни на есть жалкую и плачевную! И вот теперь, сравнив эту мою жалкую фигуру с роскошным обликом моего друга Понто, который в своей пресимпатичной, блистающей, прелестно завитой шубе и в самом деле выглядел необыкновенным красавцем, я устыдился глубочайшим образом и тихо и огорченно забился в угол.

— Ужели это, — воскликнул профессор, — тот самый благоразумный и благонаправленный кот Мурр? Элегантный прозаик, остроумный поэт, слагающий сонеты и глоссы?! — Нет, это вполне заурядный котофей, шатающийся по кухням, околачивающийся у печурок и умеющий разве что ловить мышей в подвалах и на чердаках! Хо-хо! Скажи-ка мне, высоконаравственный мой котофейч, скоро ли ты получишь ученую степень или даже пожелаешь занять кафедру, сделаться, скажем, профессором эстетики? В самом деле, в хорошенькую докторскую мантию ты облачился!

Он продолжал изощряться, придумывая всяческие издевательские речи и язвительные обороты; что же я мог еще сделать, кроме того, что (ибо я всегда именно так и поступал в аналогичных случаях, таков уж мой обычай) прижать уши к голове — плотно, плотно, — и застыть в подобной позе?

Оба, профессор и маэстро, язвительно захохотали, и хохот их пронзил мне сердце. Но, пожалуй, еще более уязвило и поразило меня поведение пуделя Понто. Он не ограничился тем, что всякого рода гримасами старался показать, что разделяет иронию, выраженную его хозяином, но, более того, разнообразными прыжками в сторону откровенно демонстрировал, что страшится приближаться ко мне, по-видимому, он боялся замарать свою красивую чистую шубку. А ведь это немалая обида для кота, который столь явственно сознает всю свою замечательность и необыкновенность, молчаливо стерпеть столь нестерпимое оскорбление от этого пуделя-вертопраха!

Засим профессор пустился с маэстро в пространные теоретические разглагольствования, по-видимому, не имевшие ни малейшего отношения ни ко мне, как таковому, ни ко всему моему кошачьему племени, по правде сказать, я немного уловил из этого их собеседования. Однако я постиг все же, что речь шла о том, не лучше ли насильственно воспротивиться дикому и необузданному поведению сумасбродного юношества, или следует ограничить эти явления ловким и неприметным образом, дабы дать место собственному опыту юношества, причем в рамках осознания этого собственного опыта вышесказанное дурное поведение само собой

сойдет на нет. Профессор высказался в пользу откровенного насилия, ибо всеобщее формирование вещей к крайнему и взаимному благу требует, чтобы всякий человек, невзирая на любые препятствия, как можно раньше был введен в соответствующую форму, как это обусловлено взаимоотношением и устремлением всех отдельно взятых частей — к совокупному целому, ибо в противном случае непременно возникнет чудовищная пагуба, каковая способна лишь вызвать всякого рода беды и неурядицы.

Профессор еще что-то наговорил при этом относительно битья стекла под возгласы «Regeat!»*, чего я, впрочем, совершенно не уразумел. Маэстро, напротив, высказал мнение, что с юношескими экзальтированными умами дело обстоит точно так же, как с частично сумасшедшими, обладающими известным пунктиком, которых открытое сопротивление только повергает еще глубже в пучину безумия, в то время, как опыт, испытанный на собственной шкуре, коренным образом исцеляет безумные заблуждения, причем настолько радикально, что отнюдь не приходится опасаться рецидива. «Ну что ж, — наконец воскликнул профессор, поднимаясь и берясь за шляпу и трость, — ну что ж, маэстро, что касается откровенного насилия, как противоядия от экзальтированного поведения, то вы все же признаете мое мнение справедливым в том случае, когда сие поведение оказывает губительное влияние на самые устои нашего существования, а ведь так именно и обстоит дело, ежели вновь вернуться к вашему коту Мурру, ибо ведь это даже весьма хорошо, что, как дошло до моих ушей, толковые и благоразумные шпицы разогнали проклятуших котов, каковые коты распелись самым отвратительным образом и при этом еще воображали себя виртуозами!»

— Тут все зависит от подхода, — возразил мой маэстро, — если бы им позволили петь, быть может, они и стали бы тем, чем они себя уже ошибочно полагали, то есть и впрямь несравненными виртуозами, вместо чего они теперь, по-видимому, небезосновательно усомнились в своей истинной виртуозности!

Профессор откланялся, Понто побежал за ним вприпрыжку, не удостоив меня, однако, прощальным приветом, а ведь прежде он проявлял по отношению ко мне бездну дружелюбия и радушия.

— Я и сам, — обратился теперь ко мне мой маэстро, — до сих пор был недоволен твоим поведением, Мурр, и сейчас самое время, чтобы ты вновь сделался порядочным и разумным, дабы ты вновь обрел прекрасную репутацию, более приличную, чем та, какой ты нынче, по-видимому, пользуешься. Если бы оказалось возможным, чтобы ты вполне меня понял, то я дал бы тебе благой совет: быть всегда тихим и спокойным, весело и дружелюбно настроенным, и все, что ты намереваешься предпринять, проводить без лишнего шума, ибо именно таким образом можно вполне безболезненно приобрести отличную репутацию. О, да, я в качестве примера показал бы тебе двух людей, из которых один каждый день тихо

* Да сгинет! (лат.).

и уединенно посиживает в своем укромном уголке и так долго сосет одну бутылку вина за другой, покамест не приходит в состоянии совершенного опьянения, каковое состояние он, однако, благодаря длительным практическим упражнениям научился отлично скрывать, так что никто об этом его состоянии даже и не подозревает. Другой же человек, напротив, выпивает только изредка рюмочку вина в обществе веселых и задушевных друзей: напиток этот возвеселяет его сердце и развязывает ему язык; он болтает много и пылко, а между тем его настроение поднимается все более и более, но он нисколько при этом не нарушает законов нравственности и благоприличия, но именно его-то весь свет именует законренным и неисправимым выпивохой, в то время как того тайного пьяницу все считают человеком тихим и умеренным. Ах, мой милый котик Мурр! Если бы ты разбирался в течении жизненных обстоятельств, ты постиг бы, что филистер, который всегда втягивает щупальцы, чувствует себя лучше всего. Но откуда ты можешь знать, что такое филистер, невзирая на то, что и в твоём племени также должно быть достаточно подобного рода субъектов!

При этих словах моего маэстро я, сознавая свое великолепное знание психологии котов, которое я приобрел, благодаря поучениям отважного Муция, а также и благодаря собственному опыту, не мог удержаться от громкого и радостного фыркания и урчания.

— Ах! — вскричал маэстро с громким смехом, — ах, Мурр, котик мой, я даже думаю, что ты понимаешь меня, и профессор прав, полагая, что открыл в тебе особенный разум, и даже побаивается тебя как своего соперника по эстетической части!

В доказательство того, что я и в самом деле таков, я испустил чрезвычайно явственное и благозвучное «мяу» и, не чинясь, прыгнул на колени к моему маэстро. При этом я вовсе не подумал, что маэстро как раз облачился в свой лучший шлафрок из желтого шелка в крупных цветах и что я непременно должен буду замарать этот несравненный шлафрок! С гневным: «А, ну-ка, прочь!» — маэстро яростно отшвырнул меня от себя так, что я перекувыркнулся и, в величайшем испуге и смятении, прижав уши и зажмурившись, приник к полу. Однако какой похвалы достойно благодушие моего доброго маэстро! «Ну что ты, — ласково сказал он, — ну, ну, что ты, Мурр мой, котик мой! Я вовсе не желал тебе зла! Я знаю, у тебя были самые благие намерения, ты хотел доказать мне свою любовь и благосклонность, но ты совершил это столь неловко и неуклюже, что, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут! Ну, иди же сюда, маленький шалун, трубочист ты мой, мне придется основательно почистить тебя, чтобы ты снова выглядел, как благопристойный кот!

С этими словами мой маэстро сбросил шлафрок, взял меня на руки и не побрезговал пройтись по моей шубке мягкой щеткой и оттереть оную шубку дочиста и затем до лоска причесать всю мою шерсть восхитительным маленьким гребешком!

Когда мой туалет был, наконец, завершен и я прошелся вдоль зеркала, я и сам поразился тому, что внезапно преобразился и стал совер-

шенно иным котом. Я даже был не в силах отказаться от того, чтобы восторженно не помурлыкать самому себе, так я себе приглянулся, — и я не в силах отрицать, что в этот самый миг в душе моей возникли большие сомнения относительно благопристойности и высокополезности нашего буршеского клуба. То, что я вполз в печку, казалось мне теперь истинным варварством, которое я мог приписать лишь своего рода одичанию, и поэтому мне вовсе даже и не понадобилось предостережение из уст маэстро, который воскликнул, обращаясь ко мне: «Ну посмей только снова забраться в печку!»

Следующей ночью мне почудилось, будто я слышу за дверью тихое царпанье и боязливое «Мяу!», в которых было что-то очень знакомое. Я подкрался к двери и осведомился, кто там? Тут мне ответил (я тотчас узнал его по голосу) отважный наш старшина Пуфф: «Это я, верный брат наш Мурр, и я принес тебе чрезвычайно огорчительное известие!» «О небо, что...

والمعنى (Мак. л.):.. поступила с тобой несправедливо, моя милая, нежная подруга: нет! Ты мне больше, чем подруга. Ты — моя верная сестра! Я тебя недостаточно любила, недостаточно доверяла тебе. Лишь теперь тебе открывается вся моя душа, лишь теперь, когда я знаю...

Принцесса загнулась, поток слез хлынул из ее очей, она вновь нежно прижала Юлию к сердцу.

— Гедвига, — кротко молвила Юлия, — разве ты и прежде не любила меня от всей души, разве ты когда-либо таила в себе какие-то тайны, которые ты мне не желала доверить? Что знаешь ты, что узнала ты лишь теперь? Но нет, нет! Ни слова более, пока это сердце вновь не станет биться спокойнее, пока не изменится мрачное пылание этих глаз.

— Я не знаю, — возразила принцесса, внезапно чувствительно задевая, — я не знаю, чего вы все хотите. По-вашему, я еще больна, но никогда я не чувствовала себя более сильной и здоровой. Странный случай, который поразил меня, испугал вас, и все-таки, очень может быть, что такого рода электрические удары, которые останавливают весь организм жизни, мне как раз нужнее и полезнее, чем все средства, которые скудомное искусство предлагает в злосчастном самообольщении. Каким жалким кажется мне этот лейб-медик, который полагает, что с человеческой природой можно обращаться, как с часовым механизмом, который можно очистить от пыли и вновь завести! Он вселяет в меня страх, он, вместе со всеми своими каплями и эссенциями. И от этих пустяков должно зависеть мое здоровье и мое благо? Если бы это и впрямь было так, то вся наша жизнь в юдоли сей была бы ужасающей издевкой мирового духа!

— Именно эта экзальтация, — прервала Юлия принцессу, — является доказательством того, что ты еще больна, моя Гедвига, и тебе следовало бы щадить себя много больше, чем ты это делаешь.

— И ты хочешь причинить мне боль! — воскликнула принцесса, торопливо поднялась и поспешила к окну, которое она распахнула, и выгля-

нула в парк. Юлия последовала за ней, обняла ее одной рукой и умоляла с нежнейшей грустью, чтобы она по крайней мере остерегалась резкого осеннего ветра и дала бы себе покой, который ведь сам лейб-медик счел столь целительным. Принцесса на это ответила, что именно из-за этого живительного воздуха, который врывается в открытое окно, она чувствует себя освеженной и окрепшей.

Из глубочайших глубин души стали вырываться теперь слова Юлии о недавнем прошлом, над коим витал некий мрачный и гибельный дух, о том, как они с Гедвигой должны напрячь все внутренние силы, чтобы не быть введенными в заблуждение столь многими явлениями, возбуждающими в ней чувство, которое она не может сравнить ни с чем, кроме как с истинным, умерщвляющим душу страхом перед призраками. К этому она причислила прежде всего тот таинственный раздор, который возник между принцем Гектором и Крейслером и который дает основание предполагать нечто самое ужасное, ибо ведь более чем очевидно, что несчастный Иоганнес должен был пасть от руки мстительного итальянца, и только, как заверил маэстро Абрагам, лишь чудом спасся.

— И этот ужасный человек, — говорила Юлия, — должен был стать твоим супругом? Нет — ни за что на свете! Слава всевышнему — ты спасена! Никогда не вернется он сюда. Не правда ли, Гедвига? Никогда!

— Никогда! — ответила принцесса глухо, почти невнятно. Потом она глубоко вздохнула и продолжала тихо, как сквозь сон: «Да, этот чистый, небесный огонь должен только светить и греть, а не уничтожать губительным пламенем, и из души артиста сияет предчувствие, становящееся самой жизнью, — сияет она сама — сияет его любовь! Так говорил ты здесь, на этом самом месте».

— Кто, — воскликнула Юлия в полном замешательстве, — кто говорил так? О ком ты думала, Гедвига?

Принцесса провела рукой по лбу, как бы желая вернуться к действительности, от которой она отклонилась. Потом она, шатаясь, поддерживаемая Юлией, дошла до софы и в полном изнеможении опустилась на нее. Юлия хотела позвать камеристок, но Гедвига нежно привлекла ее к себе на софу, шепча при этом: «Нет, девочка моя! Ты, ты одна должна остаться у меня, и не верь, пожалуйста, что мною вновь овладевает недуг. Нет, это была лишь мысль, преисполненная величайшего блаженства, мысль, которая хотела разорвать эту грудь; мысль, небесный восторг которой приобрел облик всеумерщвляющей боли. Останься со мной, девочка, ты и сама не знаешь, какое волшебное чудо ты творишь со мной. Дай мне заглянуть в твою душу, как в ясное, чистое зеркало, чтобы я теперь сама себя смогла узнать вновь! Юлия! Порой мне кажется, что небесное вдохновение низошло на тебя, и слова, которые, как дыхание любви, струятся с твоих сладостных уст, были многоутешающими пророчествами. Юлия! Девочка, останься со мной, не покидай меня никогда — никогда!»

С этими словами принцесса, продолжая сжимать руки Юлии, не открывая глаз, вновь опустила на софу. Юлия, правда, привыкла к мгновениям, в которые душа Гедвиги испытывала приступы болезненной экзальтации, но странным, совсем чуждым и загадочным показалась ей этот пароксизм, эти его нынешние проявления. Прежде это было страстное ожесточение, вызванное несовместимостью внутреннего чувства с формами жизни, ожесточение, которое, почти преображаясь в отвратительную ненависть, уязвляло детскую душу Юлии. И вот теперь Гедвига казалась, как никогда прежде, совершенно охваченной болью и неизъясимой печалью, для которой нет имени, и это безутешное состояние трогало Юлию тем больше, чем больше страшилась она за любимую подругу.

— Гедвига, — воскликнула она, — моя Гедвига, я ведь никогда не покину тебя, нет на свете сердца более верного и более привязанного к тебе, чем мое, но скажи только, что за мука терзает твою душу? С тобой хочу я возносить жалобы, с тобой хочу я плакать!

И тут странная улыбка озарила вдруг лицо Гедвиги, нежный румянец окрасил ее щеки, и, не открывая глаз, она тихонько прошептала: «Не правда ли, Юлия, ты не влюблена?»

Этот вопрос принцессы как-то странно уязвил Юлию — она ощутила, что ее пронизывает внезапный ужас.

В какой девичьей груди не возникают предчувствия той страсти, которая является главным условием самого женского существования, ибо ведь только любящая женщина является женщиной в полном смысле слова! Но чистая, детская, кроткая душа не старается проникнуть в эти предчувствия, не пытается исследовать их глубже, не желая в сладострастной нескромности разоблачить ту нежную тайну, тайну, проявляющуюся лишь в то мгновение, которое предвещает некую неясную истому. Именно так было с Юлией, которая внезапно услышала высказанным все, о чем даже думать не решалась, и, уstraшенная, как будто ее уличили в каком-то грехе, который она сама ясно не осознавала, силилась сама увидеть все, что творилось в ее собственной душе.

— Юлия, — повторила принцесса, — ты не влюблена? Признайся мне, будь искренней!

— Как странно, ты меня спрашиваешь об этом, — возразила Юлия. — Что я могу, что должна я тебе ответить?

— Говори, о, говори! — умоляла принцесса. И вдруг в душе Юлии сделалось так светло, как будто бы в ней взошло солнце, и она отыскала слова, чтобы высказать то, что она явственно увидела в собственной душе.

— Что, — так начала Юлия очень серьезно и сдержанно, — что происходит в твоей душе, Гедвига, когда ты меня спрашиваешь так? Что тебе любовь, о которой ты говоришь? Не правда ли, должно чувствовать себя влекомой к любимому с непреоборимой силой, чтобы существовать и жить только мыслями о нем, чтобы отказаться ради него от всего своего «я», чтобы он один казался нам всеми стремлениями, всеми упова-

ниями, всеми желаниями, всей вселенною? И эта страсть должна являть собой высочайшую степень блаженства? У меня кружится голова от этой высоты, ибо перед взором, брошенным оттуда, разверзается вдруг бездонная пропасть, угрожающая всеми ужасами неминуемой гибели. Нет, Гедвига, эта любовь, которая столь же ужасна, как и греховна, вовсе не охватила мою душу, и я твердо хочу верить, что душа моя вечно пребудет чистой, навеки свободной от всего этого! Но, может, пожалуй, случится, что один человек из всех прочих возбуждает в нас высочайшее уважение, да и при выдающейся истинно мужской силе своего ума вызывает у нас глубокое восхищение. Но еще более, что мы чувствуем при его приближении, это то, что нас пронзает некое таинственное приятное чувство, оно возвышает нас в собственных глазах, нам кажется, будто наш дух и разум только теперь впервые пробуждаются, как будто бы нам тогда только впервые воссияла жизнь, и мы радуемся, когда он приходит, и печалимся, когда он уходит. Ты называешь это любовью? Ну что ж, почему бы мне не признаться тебе, что наш исчезнувший Крейслер пробудил во мне это чувство, и что мне больно, когда его нет с нами.

— Юлия, — воскликнула принцесса, внезапно поднявшись и пронзая Юлию пылающим взором, — Юлия, можешь ли ты представлять его себе в объятиях другой, не томясь при этом несказанной мукой?

Юлия вся залилась румянцем, и тоном, по которому можно было понять, сколь глубоко уязвленной она чувствует себя, она возразила: «Никогда я не представляла его себе в моих объятиях!»

— Ах! — ты его не любишь, ты его не любишь! — так резко воскликнула принцесса и вновь опустилась на софу.

— О, — сказала Юлия, — если бы он вернулся! Чисто и безгрешно чувство, которое я питаю к этому дорогому человеку, и если я его никогда больше не увижу, все равно мысль о нем будет озарять всю мою жизнь, как прекрасная светлая звезда. Но, конечно, он вернется! Ибо, как может...

— Никогда, — прервала ее принцесса резким и пронзительным тоном, — никогда он не вернется, не вправе вернуться, ибо, по слухам, он находится в Канцгеймском аббатстве, отрекшись от света, и скоро вступает в орден святого Бенедикта.

Очи Юлии наполнились светлыми слезами, она молча поднялась и подошла к окну.

— Твоя матушка, — продолжала принцесса, — права, совершенно права. Наше счастье, что он исчез, этот безумец, который, как злой дух, нарушил покой в наших сердцах, безумец, который хотел растерзать в нас наши собственные души. И музыка была тем волшебным средством, которым он очаровал нас. Я предпочла бы не видеть его никогда больше.

Слова принцессы для Юлии были подобны ударам кинжала, она потянулась за шляпой и шалью.

— Ты хочешь покинуть меня, моя нежная подруга? — воскликнула принцесса. — Останься, утешь меня, если ты можешь! Жуткий страх идет по этим залам, по парку! Ибо знай. . .

С этими словами Гедвига подвела Юлию к окну, указала ей на павильон, в котором жил адъютант принца Гектора, и начала приглушенным тоном: «Взгляни туда, Юлия, те стены таят гибельную тайну; кастиellan и садовник клянутся, что с тех пор, как принц уехал, никто там не живет, что двери заперты накрепко, и все-таки. . . — О, взгляни только туда, взгляни только туда! Неужели ты не видишь, там у окна?»

И в самом деле, в окне, выходящем на фронтон павильона, Юлия увидела темную фигуру, которая в то же самое мгновение поспешно исчезла.

— Здесь отнюдь не может идти речь, — возразила Юлия, чувствуя, как рука Гедвиги судорожно дрожала в ее руке, — о какой-либо угрожающей тайне или даже о чем-либо, связанном с привидениями, так как очень возможно, что кто-нибудь из слуг пользуется павильоном без спроса. И вообще павильон ведь можно в одно мгновение обыскать, и таким образом сразу же разъяснилось бы, как это связано с фигурой, которую мы только что видели у окна; — принцесса в ответ на это стала уверять, что старый, верный кастиellan давно уже сделал это по ее желанию и заверил, что во всем павильоне он не обнаружил ни души.

— Позволь рассказать тебе, — сказала принцесса, — что случилось со мной три ночи тому назад! Ты знаешь, что сон часто бежит от моих глаз и что я тогда встаю и обычно так долго хожу по комнатам, пока мною не овладевает усталость, я предаюсь ей и в самом деле засыпаю. Вот так и вышло, что три ночи тому назад бессонница загнала меня в эту комнату. Внезапно блик света задрожал на стене и проскользнул по ней, я взглянула в окно и увидела четырех человек, из которых один нес потайной фонарь, они исчезли в месте, где расположен павильон, но я не смогла заметить — действительно ли они вошли туда. Вскоре, однако, осветилось именно это окно, и внутри дома туда и сюда заметались тени. Затем снова все стало темно, но по кустам вдруг протянулся ослепительный луч, который непременно должен был исходить из открытых дверей павильона. Сияние приближалось все более, пока, наконец, из кустов не вышел монах-бенедиктинец, который нес в левой руке факел, а в правой — распутье. За ним следовало четверо, они несли на плечах задрапированные черными тканями носилки. Они успели пройти лишь несколько шагов, как вдруг им преградила дорогу фигура, закутанная в широкий плащ. Они остановились, опустили носилки наземь, человек, преградивший им путь, поднял черные ткани, и стал виден труп. Я чуть было не лишилась чувств и едва успела заметить, что люди вновь подняли носилки и поспешили вслед за монахом на широкий обходный путь, который идет через парк на проезжую дорогу, ведущую к Канцгеймскому аббатству. С этих пор та фигура появляется у окна, и, быть может, это призрак убитого, который повергает меня в ужас.

Юлия была склонна считать все происшествие, как его рассказывала Гедвига, попросту сновидением, или, ежели она, Гедвига, и в самом деле стояла, бодрствуя, у окна, за обманчивую игру возбужденных чувств. Кем должен был быть тот мертвец, которого при столь таинственных обстоятельствах вынесли из павильона, когда ведь решительно никто не исчез, и кто бы поверил в то, что этот неведомый мертвец еще станет являться как призрак в жилище, из которого его унесли прочь?

Юлия высказала все это принцессе и добавила, что то явление у окна, быть может, основывается на оптическом обмане, возможно также, что оно и является, пожалуй, шуткой старого чародея, маэстро Абрагама, ибо он ведь нередко услаждает себя подобного рода забавами и, быть может, населил пустой павильон призрачными обитателями.

— Как, — сказала, нежно улыбаясь, принцесса, которая вновь вполне овладела собой, — как все же сразу у нас готово объяснение, когда происходит нечто чудесное, сверхъестественное! Что касается мертвеца, то ты позабыла то, что произошло в парке, прежде чем Крейслер покинул нас.

— Бога ради! — воскликнула Юлия, — ужели и впрямь было совершено ужасное деяние? Кто? Кем оно было совершено?

— Ты знаешь, девочка, — продолжала Гедвига, — что Крейслер жив. Но также жив и тот, кто влюблен в тебя, — не гляди на меня с таким испугом! Разве ты не предчувствовала ничего, неужели это я должна высказать тебе то, что, будучи далее скрыто, могло бы погубить тебя? — Принц Гектор любит тебя, тебя, Юлия, со всей дикой страстью, которая свойственна его нации. Я была и есть его невеста, однако, ты, Юлия, — его возлюбленная! Последние слова принцесса произнесла с особой явственностью, не придавая им, однако, того своеобразного оттенка, который свойственен чувству внутренней уязвленности.

— О, всевышний, — громко воскликнула Юлия, и слезы брызнули у нее из глаз, — Гедвига, ужели ты хочешь растерзать мое сердце? Что за мрачный дух вещает твоими устами? Нет, нет, охотно вытерплю я все, что ты, побуждаемая злыми сновидениями, которые помutilи твой дух, хочешь выместить на мне, несчастной, но как же мне поверить в истинность этих пагубных фантомов?! Гедвига! — одумайся, ты ведь теперь больше не невеста того ужасного человека, который явился нам, как сама погибель! Никогда больше он не вернется, ты никогда не будешь принадлежать ему!

— И все же, — возразила принцесса, — все же! Возьми себя в руки, девочка! Только тогда, когда церковь свяжет меня с принцем, исчезнет, пожалуй, то чудовищное смятение, которое делает меня несчастной. Тебя спасет чудесная небесная судьба. Мы расстанемся, я последую за своим супругом, ты останешься здесь! Принцесса смолкла от внутреннего волнения, и Юлия была не в силах вымолвить ни слова, обе они, молча, заливаясь слезами, бросились друг другу в объятия.

Доложили, что чай подан. Юлия была возбужденней, чем, пожалуй,

допускала ее сдержанная, мирная натура. Ей казалось невозможным оставаться в обществе, и мать охотно разрешила ей пойти домой, так как принцессе также нужен был покой.

Фрейлейн Нанетта в ответ на вопросы княгини заверила, что принцесса в послеобеденное время и вечером чувствовала себя очень хорошо, но пожелала остаться наедине с Юлией. Насколько она смогла заметить из соседней комнаты, обе они, принцесса и Юлия, рассказывали друг другу всяческие истории, а также играли комедию, то смеясь, то плача.

— Милые девушки, — тихо проговорил гофмаршал.

— Очаровательная принцесса и милая девушка! — поправил его князь, глядя на гофмаршала в упор. Этот последний, будучи в чрезвычайном замешательстве из-за ужасно неловкого выражения, допущенного им, попытался было одним глотком проглотить порядочный кусок сухарика, который он щедро пропитал чаем. Однако кусок застрял у него в глотке, и он разразился ужасающим кашлем, так что вынужден был поспешно покинуть зал и был спасен от грозившего ему удушья лишь тем, что гоф-фурьер в сенях опытной рукой исполнил прекрасно сочиненное соло на литаврах на его гофмаршальской спине!

После двух неловкостей, в которых он оказался повинен, гофмаршал страшился совершить еще третью, поэтому он не решился вернуться в зал, а попросил у князя извинения за внезапно поразивший его недуг.

Из-за отсутствия гофмаршала сорвалась партия в вист, какую обычно привык играть князь.

Итак, как только были расставлены столы, все оказалось в напряженном ожидании: как поступит князь в этом критическом случае?! Князь же, когда по его кивку все прочие уселись за игру, ограничился тем, что взял руку советницы Бенцон, повел ее к канапе и пригласил сесть, причем сам уселся рядом с нею.

— Пренеприятно, — сказал он затем нежно и тихо, как всегда, когда он обращался к Бенцон, — пренеприятно мне было бы все же, если бы гофмаршал задохся, подавившись сухариком. Но он явно проявил рассеянность, как я это уже часто замечал за ним, когда он назвал принцессу Гедвигу девушкой, и был бы посему среди вистующих в самом жалком и мизерабельном положении! Вообще, милая Бенцон, мне сегодня весьма желательно и приятно вместо игры здесь доверительно обменяться несколькими словами с вами в уединении, как прежде! Ах, как прежде! Что ж, вы знаете мою привязанность к вам, милая дама! Никогда не может она исчезнуть, княжеское сердце всегда хранит верность, пока только неотвратимые обстоятельства не велят поступить иначе.

С этими словами князь поцеловал Бенцон руку много нежнее, чем это, пожалуй, допускали сословие, возраст и окружение. Бенцон стала уверять, причем глаза ее сверкали от радости, что она давно ждала момента доверительно поговорить с князем, так как она должна сообщить ему немало такого, что не будет ему неприятно.

— Узнайте, — сказала Бенцон, — узнайте, ваша светлость, что тайный советник посольства вновь написал, что наши обстоятельства внезапно приняли более благоприятный оборот, и следовательно...

— Тише, — прервал ее князь, — тише, милейшая дама, ни слова более о делах правления — и князь носит шлафрок и нахлобучивает ночной колпак, когда он, почти удрученный бременем правления, отправляется на покой, из чего, впрочем, Фридрих Великий, король Пруссии, делал исключение, как вам — начитанной женщине, конечно, уже известно, вы же знаете, что, даже ложась в постель, он надевал фетровую шляпу! Итак, я полагаю, что и князь также далеко не чужд тому, что ну... ну, что именно, как бы это выразиться? именуется так называемыми обывательскими добродетелями, я имею в виду брак, родительские радости и т. д.; чтобы всецело освободиться от этих чувств, — и, стало быть, по меньшей мере простительно, ежели он предается им в те мгновения, когда государство, заботы о надлежащем приличии при дворе и в стране не приковывают к себе всецело его внимания. Милая Бенцон! Таковы как раз нынешние мгновения; в моем кабинете лежат семь уже подписанных мною бумаг, вот и давайте забудем теперь, что я князь, позвольте мне нынче за чаем быть вполне отцом семейства, «Немецким отцом семейства» барона фон Геммингена³³. Позвольте мне поговорить о моих — да, о моих детях, которые причиняют мне столько забот, что я часто впадаю во вполне понятную тревогу! «О ваших, — сказала Бенцон колким тоном, — о ваших детях должна идти речь, сиятельный государь. Это значит, следовательно, о принце Игнати и о принцессе Гедвиге! Говорите, ваша светлость, говорите, быть может, подобно маэстро Абрагаму, я смогу дать вам совет и утешение». «Да, — продолжал князь, — да, совет и утешение, порою я испытываю в них нужду. Видите ли, милая Бенцон, сперва что касается принца, ему, конечно же, не требуются чрезвычайные умственные дарования, каковыми природа обычно предпочитает наделять тех, которые в противном случае, происходя из низшего сословия, остались бы в темноте, невежестве и бесчувственности, однако чуть больше *esprit** ему можно было бы все-таки пожелать, он есть и навсегда останется простофилей — *un simple***! Взгляните только, как он сидит там и болтает ногами и ставит одну неверную карту за другой — и хихикает и смеется, будто семилетний малыш! Бенцон! *Entre nous soit dit****, даже умение писать в тех пределах, в коих оно ему необходимо, не удастся ему привить; его княжеская подпись выглядит так, как будто нацарапана когтем филина! Да будет с нами милость господня, что же из этого выйдет! Недавно мне помешал заниматься делами омерзительный лай под моим окном, — я выглядываю, дабы приказать прогнать докучного шпица, и что же я вижу? Вы не поверите, милейшая дама! Это был принц, который,

* Ума (фр.).

** Простаком (фр.).

*** Между нами будь сказано (фр.).

громко лая, как безумец, бегаёт вслед за сынишкой садовника! Они вместе играют в зайчика и собаку! Есть ли во всем этом хотя бы проблеск разума, приличествуют ли князю подобного рода увлечения? Да и сможет ли принц когда-нибудь возвыситься хотя бы до малейшей степени самостоятельности?

— Именно поэтому, — подхватила Бенцон, — необходимо, чтобы принц как можно скорей вступил в брак и получил бы супругу, прелесть и привлекательность и ясный разум которой разбудят его дремлющие чувства, а она будет настолько добра и мила, что всецело снизойдет к нему, чтобы затем постепенно поднять его до себя. Эти свойства непременно необходимы той особе, которая должна будет принадлежать принцу, дабы спасти его от такого душевного состояния, которое, с болью говорю я это, ваша светлость, в конце концов может выродиться в настоящее сумасшествие. Именно поэтому эти редкостные качества должны играть решающую роль — и к ее сословной принадлежности не следует подходить с чрезмерной строгостью.

— Никогда, — сказал князь, морща лоб, — никогда не было мезальянсов в нашем княжеском семействе, оставьте эту мысль, которую я не могу одобрить. Впрочем, я всегда был готов выполнять ваши желания!

— Этого, — возразила Бенцон резким тоном, — я не знала, ваша светлость! Сколь часто справедливые желания вынуждены бывали смолкать ради химерических соображений. Но бывают требования, которые превыше каких бы то ни было условностей.

— *Laissons cela* *, — прервал князь советницу Бенцон, отдышавшись и взяв щепотку табаку. После нескольких мгновений молчания он продолжал. — Еще больше забот, чем принц, причиняет мне принцесса. Скажите, Бенцон, как это было возможно, чтобы мы произвели на свет дочь с таким странным характером, и более того — с этой удивительной болезненностью, которая сбивает с толку даже самого нашего лейб-медика?! «И мне, — ответила Бенцон, — организм принцессы кажется непостижимым. — Мать всегда была здравомыслящей, разумной, свободной от всяких чрезмерно яростных и пагубных страстей». — Последние слова Бенцон произнесла тихо и глухо про себя, причем потупила взор. «Вы имеете в виду княгиню?» — спросил князь с ударением, ибо ему казалось непривычным присоединять к слову *мать* титул *княгиня*.

— Кого же еще, — напряженно возразила Бенцон, — кого же еще я могла иметь в виду?

— Разве, — продолжал князь свою речь, — разве последний фатальный случай с принцессой не развеял успеха всех моих стараний и не омрачил мою радость по поводу ее скорого замужества, а ведь замужество так соответствовало бы моим желаниям! Ибо, милая Бенцон, *entre nous soit dit* **, внезапная катаlepsия принцессы, которую я приписываю лишь

* Оставим это (фр.).

** Между нами будь сказано (фр.).

сильной простуде, была, видимо, одна лишь повинна во внезапном отъезде принца Гектора. Он хочет разрыва и, *juste ciel**, я сам должен это признать, я не могу ему вменить этого в вину, так что, если бы уже и без того приличие не запрещало бы всякое дальнейшее сближение, уже это меня, князя, должно было бы удержать от каких-либо новых шагов ради исполнения этого желания, от которого я, впрочем, отказываюсь лишь с большой неохотой и лишь под давлением чрезвычайных обстоятельств. Вы, конечно, признаете, милая дама, не правда ли, всегда есть нечто пугающее в том, чтобы иметь дело с супругой, которая подвержена подобного рода удивительным припадкам. Не окажется ли такая княжеская и в то же время каталептическая супруга вдруг посреди самого блестящего придворного приема охвачена своим недугом и не застынет ли она вдруг, как автомат, вынуждая тем самым всех прочих достойных присутствующих подражать ей и также застыть и оставаться недвижимыми? Конечно, такой придворный прием, охваченный всеобщей каталепсией, можно при желании счесть самым торжественным и возвышенным из всех, какие только бывают на белом свете, ибо малейшее нарушение надлежащего достоинства станет невозможным даже и для самого легкомысленного из приглашенных. Но все же чувство, которое овладевает мною именно в такие семейственно-отеческие мгновения, как вот здесь, за карточным столом, дает мне право заметить, что подобное состояние невесты способно возбудить в сиятельном женихе нечто вроде ужаса, брр... мороз по коже... и поэтому, Бенцон! Вы прелюбезная и необыкновенно рассудительная особа; быть может, вы сумеете найти какую-либо возможность уладить дело с принцем, какое-нибудь средство...

— В этом вовсе нет необходимости, ваша светлость! — с живостью прервала Бенцон князя. — Не болезнь принцессы так быстро прогнала принца прочь, здесь замешана другая тайна, и в эту тайну впутан капельмейстер Крейслер.

— Как, — воскликнул князь в полнейшем изумлении, — как, что вы говорите, Бенцон? Капельмейстер Крейслер? Так значит все-таки правда, что он...

— Да, — продолжала советница, — да, ваша светлость, раздор между ним и принцем Гектором, раздор, который, по всей вероятности, был улажен чрезмерно героическим образом, и был тем обстоятельством, которое удалило принца.

— Раздор, — прервал князь советницу Бенцон, — раздор — улажен — героическим образом! Выстрел в парке — шляпа, забрызганная кровью, Бенцон! Это совершенно невозможно — принц — капельмейстер — дуэль — поединок, и то и другое ведь совершенно немыслимо!

— Вполне, ваша светлость, — продолжала Бенцон, — несомненно, что Крейслер действовал на душу принцессы слишком могущественно, так что тот странный страх, да, тот ужас, который она впервые ощутила в при-

* Праведное небо (фр.).

существованию Крейсlera, стремился преобразиться в пагубную страсть. Возможно, что принц был достаточно пронзителен, чтобы заметить, что в Крейсlere, который с самого начала пошел ему наперекор, в Крейсlere, который отнесся к нему с недружелюбной иронией, он обрел противника, от коего принц считал необходимым избавиться. Не в этом ли причина того деяния, которое, собственно, можно извинить лишь тем, что принц действовал под влиянием уязвленного чувства чести; принца подстегивала ревность, но, слава всевышнему, — задуманное принцем не удалось! Я признаю, что все это вместе взятое еще не объясняет поспешного отъезда принца Гектора, и что, как уже сказано, во всем этом таится еще некая темная тайна. Принц бежал, как мне рассказала Юлия, в ужасе от миниатюры, которую Крейслер носил при себе и которую он показал принцу. А, впрочем, как бы то ни было, Крейслер исчез, и кризис у принцессы прошел! Поверьте мне, ваша светлость, если бы Крейслер оставался здесь, то в груди принцессы ярчайшим пламенем вспыхнула бы страсть к нему, и она скорее согласилась бы умереть, чем отдала бы свою руку принцу. Теперь же все сложилось иначе, принц Гектор скоро вернется, и венчание с принцессой положит предел всем нашим опасениям.

— Вы видите, — гневно воскликнул князь, — вы видите, Бенцон, всю наглость этого гнусного музыканта! В него собирается влюбиться принцесса, ради него она отказывается от руки любезнейшего принца! Ah, le coquin! * — Только теперь я понимаю вас, маэстро Абрагам, только теперь — впервые и всецело! Вы должны будете избавиться меня от этого зловещего и фатального субъекта, чтобы он никогда-никогда не посмел возвратиться!

— Всякая мера, — сказала советница, — которую премудрый маэстро Абрагам мог бы, пожалуй, предложить на сей предмет, будет вполне излишней, ибо то, что требуется совершить, уже совершилось. Крейслер находится в Канцгеймском аббатстве, и как написал мне аббат Христомом, Крейслер, весьма возможно, примет решение отречься от мира и вступить в монашеский орден. Принцесса уже узнала это от меня в подходящую минуту, и так как я при этом не заметила у нее каких-либо особых движений души, это свидетельствует, мне думается, о том, что опасный кризис, как сказано, уже миновал.

— Прекраснейшая и великолепнейшая советница, — проговорил князь. — Сколь привязаны вы ко мне и к моим детям! Как вы заботитесь о благе, о благополучии моего дома и моего семейства!

— Ужели, — с горечью проговорила Бенцон, — ужели я и в самом деле делаю это? Разве я всегда могла, разве я всегда была *вправе* заботиться о благе ваших детей?

Бенцон с особенным ударением произнесла последние слова, князь молчал, глядя в пол и играя большими пальцами сплетенных кистей.

* Ах, негодяй! (фр.).

Наконец, он негромко пробормотал: «Анджела! Все еще никаких следов? Вовсе исчезла?»

— Да, именно так, — ответила Бенцон, — и я боюсь, что несчастное дитя стало жертвой чьей-то подлости. Был слух, что ее видели в Венеции, но, несомненно, это ошибка. Сознайтесь, ваша светлость, ведь было ужасно жестоко, что вы велели оторвать ваше дитя от материнской груди, отправили его в безутешное изгнание! Эта рана, которую нанесла мне ваша суровость, никогда не перестанет причинять мне боль!

— Бенцон, — проговорил князь, — разве я вам, разве я ребенку не назначил значительное годовое содержание? Мог ли я сделать больше? Разве я не должен был бы, если бы Анджела оставалась у вас, каждое мгновение страшиться, что наши *faiblesses** всплывут и самым пренеприятным образом нарушат, быть может, покой и благоприличие при нашем дворе? Вы знаете княгиню, милая Бенцон! Вы знаете, что у нее порой бывают престранные причуды.

— Итак, — заговорила Бенцон, — итак, деньги, годовое содержание должно быть для матери вознаграждением за всю боль, за все ее муки, за все горькие сожаления об утраченном дитяти! В самом деле, ваша светлость, существует иной способ позаботиться о ребенке, способ, который способен больше удовлетворить мать ребенка, чем все золото мира!

Бенцон произнесла эти слова с таким выражением лица, таким тоном, который привел князя в известного рода замешательство.

— Всемиловнейшая госпожа, — начал он, смущенный, — к чему эти странные мысли! Неужели вы не верите, что бесследное исчезновение нашей милой Анджелы и мне также кажется чрезвычайно неприятным, чтобы не сказать — прискорбным? Она, должно быть, стала прелестной и прехорошенькой девочкой, ибо ее произвели на свет очаровательные родители. — Князь вновь и очень нежно поцеловал руку госпоже Бенцон, но она быстро отняла у него эту руку и, пронзая князя взором, шепнула ему на ухо: «Сознайтесь, ваша светлость, вы были несправедливы, жестоки, когда настояли на том, что ребенок должен быть удален! И разве не ваш долг исполнить теперь мое желание, ибо исполнение его и в самом деле можно будет рассматривать как некое возмещение мне за все мои страдания? «Бенцон, — возразил князь еще тише, чем прежде, — милая, прелестная Бенцон, неужели же нашу Анджелу невозможно отыскать вновь? Я готов совершить самые героические дела ради того, чтобы исполнить ваши желания, милая дама! Я хочу довериться маэстро Абрагаму, посоветоваться с ним. Это умнейший, опытнейший человек, быть может, он в состоянии помочь!»

— О, — прервала Бенцон князя, — многообразный маэстро Абрагам! Неужели же вы полагаете, ваша светлость, что маэстро Абрагам и впрямь

* Слабости (фр.).

расположен предпринять ради вас что-нибудь; неужели вы уверены, что он искренне предан вам и вашему семейству? Да и может ли он быть в состоянии что-нибудь выведать относительно судьбы Анджели, после того, как в Венеции, во Флоренции — все поиски оказались напрасны и — что самое скверное — у него было похищено то таинственное средство, которым он прежде пользовался, дабы исследовать неизвестное.

— Вы, — произнес князь, — имеете в виду его жену, эту злую колдунью Кьяру?

— Весьма и весьма сомнительно, — возразила Бенцон, — что эта особа, быть может, всего лишь вдохновленная чудесными горными силами, заслуживает имени колдуньи. Как бы то ни было — это было несправедливо, бесчеловечно — похищать у маэстро любимое им существо, к которому он был привязан всей душой, и более того, которое было даже некоей частью его собственного «я».

— Бенцон, — воскликнул князь в совершеннейшем испуге, — Бенцон, я вас нынче не понимаю! У меня кружится голова! Да разве вы сами не были за то, чтобы это опасное создание, посредством которого маэстро вскоре смог бы проникнуть в хитросплетения всех наших взаимоотношений, было по возможности удалено от двора? Разве вы сами не одобрили мое послание к великому герцогу, в котором я представил ему, что, поскольку всякое колдовство в стране давно уже под запретом, особы, которые упорно занимаются такого рода волшебством и чародейством, не должны быть более терпимы и что, ради всеобщего спокойствия и порядка, их надобно посадить под замок? И разве не было все проделано так, щадя чувства маэстро Абрагама, что его таинственной Кьяре не был устроен открытый процесс, а что ее без лишнего шума схватили и вывезли за пределы страны, я даже и сам не знаю куда, поскольку мне некогда было ломать себе голову по поводу всей этой истории! Так в чем же меня еще можно упрекнуть в этой истории?

— Простите, — возразила Бенцон, — простите, ваша светлость, но это и впрямь упрек в несколько по крайней мере поспешных действиях, в этом-то вас вполне справедливо можно упрекнуть! Но! — узнайте это, ваше высочество! Маэстро Абрагаму было сообщено, что его Кьяра была увезена с вашего согласия. Он ведет себя тихо, внешне кажется исполненным дружелюбия, но разве вы не думаете, ваша светлость, что ненависть и месть зреют в его душе, не думаете ли вы, что он ненавидит того, кто похитил у него то, что он любил более всего на свете? И этому человеку вы склонны доверять, именно ему вы собираетесь открыть свою душу? «Бенцон, — выдавил князь, причем он отер со лба выступившие на нем капли пота, — Бенцон, вы удивляете меня совершенно неопишимо, хотел бы я сказать! О, боже правый! Может ли князь вот так выходить из себя?! Должен, к дьяволу, о, боже, я полагаю даже, что я бранюсь, как драгун, здесь, за чаем! Бенцон! Почему вы не сказали мне этого раньше? Ему уже все известно! В рыбацкой хижине, как раз когда я был вне себя из-за недуга принцессы, я открыл ему свою душу. Я говорил об

Анджеле, открыл ему все, Бенцон, это ужасно! J'étais un * осел! Voilà tout! **

— И он сказал на это что-нибудь? — напряженно спросила Бенцон.

— Мне почти кажется, — продолжал князь, — мне почти кажется, что маэстро Абрагам сперва начал говорить о нашей прежней *attachement* *** и о том, что я мог стать счастливым отцом, вместо чего я теперь всего лишь несчастный отец!

Впрочем, верно и то, что, когда я кончил исповедоваться ему, он, улыбаясь, объявил, что он уже давно все знает и пребывает в надежде, что, быть может, в самое ближайшее время выяснится, где находится Андже́ла. Тогда развеются кое-какие обманы, исчезнут кое-какие обольщения.

— Так, — проговорила Бенцон, и губы ее дрожали, — так выразился маэстро?

— *Sur mon honneur* ****, — подтвердил князь, — так сказал он. — Тысячу проклятий — простите Бенцон, но я в гневе, если старик вдруг и в самом деле затаил злобу? Бенцон, *que faire?* *****

Оба, князь и советница Бенцон, не говоря ни слова, пристально глядели друг на друга. — Ваша светлость», — прошептал камер-лакей, подавая князю чай. Но князь вскричал «*Bêt!*» *****, вдруг вскочил и выбил невольно у лакея из рук поднос вместе с чашкой; все в ужасе засуетились за игорными столами, игра была окончена, князь, через силу овладев собою, с милой улыбкой сказал приветливо «*Adieu*» испуганным картежникам и отправился с княгиней во внутренние покои. Однако на всех физиономиях читалось даже слишком явственно: «Господи, да что же это все значит? Князь не играл, беседовал так продолжительно, так горчо с советницей и впал затем в столь ужасный гнев?!»

Невозможно, чтобы Бенцон могла бы даже отдаленно подозревать, какая сцена ожидает ее дома, в ее жилье, которое находилось в боковой пристройке, расположенной совсем рядом с замком. Едва она переступила порог, навстречу ей бросилась, совершенно вне себя, Юлия и . . . Но все же, наш биограф весьма доволен тем, что на сей раз он в состоянии рассказать о том, что случилось с Юлией во время княжеского чая, много лучше и подробнее, чем о других фактах этой, по крайней мере до сих пор, несколько запутанной и хаотической истории! — Итак, нам известно, что Юлии было разрешено раньше всех прочих вернуться домой. Лейб-егерь освещал ей дорогу факелом. Однако, едва они отошли всего лишь несколько шагов от замка, как лейб-егерь внезапно остановился как вкопанный и высоко поднял факел. «Что там такое?» — спросила Юлия. «Ах, барышня Юлия, —

* Я был (фр.).

** Вот и все! (фр.).

*** Привязанность (фр.).

**** Клянусь честью (фр.).

***** Как быть (фр.).

***** Скотина (фр.).

ответил лейб-егерь, — вы, верно, тоже заметили тень, которая там, перед нами, так быстро прошмыгнула в кусты? Я и сам не знаю, что мне об этом думать, вот уже несколько вечеров подряд здесь околачивается человек, который от всех таится и, должно быть, задумал что-то недоброе. Мы уже подстерегали и преследовали его на все лады, но он ускользает из наших рук, да, он у нас на глазах становится невидим, как призрак или даже как сам нечистый».

Юлия подумала о явлении у окна, выходящего на фронтон павильона, и ощутила, как вся она содрогнулась от жуткого страха. «Скорей, только скорей уйдем отсюда!» — крикнула она егерю, но тот с улыбкой сказал, что милой барышне не следует слишком бояться, ибо, прежде чем что-либо произойдет, привидение должно будет ему, егерю, сперва свернуть шею, а кроме того, очень даже может быть, что этот неведомый призрак, скитающийся тут, в окрестностях замка, такое же существо из крови и плоти, как и все прочие честные люди, и ко всему еще большой трус, который отчаянно боится света!

Юлия отослала свою горничную, которая жаловалась на головную боль и озноб, спать, переделась на ночь без ее помощи. Теперь, когда она осталась в одиночестве в своей комнате, в душе ее вновь возникло все, что Гедвига говорила ей, будучи в состоянии, которое она, Юлия, была склонна приписать лишь болезненной экзальтации. И все-таки ей было ясно, что эта болезненная экзальтация могла быть вызвана только душевным потрясением.

Девушки чистые и простодушные, как Юлия, в подобного рода случаях, очень редко угадывают истину. Потому-то, когда Юлия еще раз вызвала все в памяти своей, подумала только, что Гедвига охвачена сама ужасной страстью, которая пугала и ее, Юлию, ибо предчувствие давно уже таилось в ее душе, потому и решила, что принц Гектор и есть тот человек, коему принцесса принесла себя в жертву. Итак, заключила она далее, пусть, — одним небесам известно как, — в Гедвиге пробудилась ярость, ее разгневала мысль, что принц охвачен иной любовью, мысль эта терзает принцессу как ужасное, неутомимо ее преследующее привидение, вот этим, конечно, и вызывается неисцелимое расстройство в ее душе. «Ах, — сказала Юлия, обращаясь к самой себе, — добрая милая Гедвига, — пусть только принц возвратится, как скоро ты тогда убедишься в том, что твоя подруга тебе ничем не угрожает!» Но в тот миг, когда Юлия произнесла эти слова, ее осенила мысль, что принц ее любит, эта мысль так четко выступила из сокровеннейших глубин ее души, что она даже испугалась ее силы и живости — она настолько устрашилась, что почувствовала себя охваченной невыразимым страхом, — ведь и впрямь может быть правдой то, что думает принцесса, и ее гибель становится очевидной. То странное, чуждое впечатление, которое произвел на нее взор принца, все его существо, вновь вспомнилось ей, и прежний ужас вновь заставил ее затрепетать. Ей вспомнилось то мгновение на мосту, когда принц, обнимая ее, кормил лебедя, ей вспомнились все коварные слова,

которые он тогда произносил, и которые ей, каким бы невинным ни казалось ей все это происшествие тогда, теперь показались исполненными глубочайшего значения. Вспомнилось ей также и роковое свидание, когда она ощутила себя крепко охваченной железными руками — и это ведь был принц, который ее держал, когда она, проснувшись затем, увидала в саду капельмейстера и все представилось ей в ясном свете, и она подумала, что Крейслер защитит ее от принца.

— Нет, — громко воскликнула Юлия, — нет, это не так, это не может быть так, это невозможно! Это сам злой дух ада возбуждает эти греховные сомнения во мне, несчастной! Нет, он не должен одолеть меня.

Вместе с мыслью о принце, о тех исполненных опасности мгновениях, в глубине души Юлия ожило ощущение какой-то угрозы, чувство это пробуждало стыд, который заставлял пылать ее щеки, наполнял ее очи жаркими слезами. К счастью для милой и кроткой Юлии, она была достаточно сильна, чтобы заклясть злого духа, не дать ему места, на которое бы он мог прочно ступить. Здесь следует еще раз заметить, что принц Гектор был красивейшим и любезнейшим человеком изо всех, какие представали глазам Юлии, что его искусство нравиться основано было на глубоком знании женщин, и это знание доставило ему в жизни множество счастливых приключений, и что именно юная, наивная, неопытная девушка скорее всего могла бы устраситься победительной силы его взгляда, всего его существа.

— О, Иоганнес, — сказала она нежно, — ты добрый, чудесный человек, разве я не могу у тебя искать защиты, которую ты мне обещал? Не можешь ли ты сам, утешая, заговорить со мной небесными звуками, которые блаженным эхом откликаются в моей груди?

Сказав это, Юлия открыла фортепьяно и начала играть и петь самые любимые ею сочинения Крейслера. И в самом деле, она вскоре почувствовала себя утешенной, повеселевшей, песня унесла ее прочь — в иной мир, и вот уже не было больше никакого принца и никакой Гедвиги, чьи болезненные фантомы могли бы одурманить ее!

— Ну, еще мою любимую канцонетту! — так сказала Юлия и начала с сочинения на слова «*Mi lagnero tacendo*» * etc., соблазняявшие многих композиторов. И впрямь, Крейслеру эта песня удалась больше, чем всем прочим. Сладостная боль пылкой любовной печали была выражена там в простой мелодии с такой правдой и силой, что любая чувствительная душа непременно должна была быть покорена ею. Юлия окончила играть, всецело погрузившись в воспоминания о Крейслере, взяла еще несколько разрозненных аккордов, которые казались отзвуком ее внутренних чувств. Тут дверь раскрылась, она взглянула туда, и прежде чем она успела встать, принц Гектор лежал у ее ног и держал ее крепко, схватив за руки. Она громко вскрикнула от внезапного испуга, но принц стал заклинять ее ради пречистой девы и ради всех святых, оставаться спокойной и подарить

* Я жалею молча (ит.).

ему только две минуты лицемерия ее небесного облика, наслаждения ее словами. В выражениях яростнейшей страсти, которые ему могла внушить только лихорадка, он рассказал ей затем, что он поклоняется только ей одной, что мысль о бракосочетании с Гедвигой для него страшна, убийственна, что он поэтому хотел бежать, но вскоре, гонимый могуществом страсти, которая может исчезнуть только с его смертью, вернулся сюда лишь затем, чтобы видеть Юлию, говорить с ней, сказать ей, что только в ней одной вся его жизнь!

— Прочь, — крикнула Юлия в ужасающем душевном смятении, — прочь — вы убьете меня, принц!

— Никогда, — воскликнул принц, прижимая в любовном иступлении руки Юлии к своим губам. — Никогда, наступило мгновение, которое принесет мне любовь или смерть! Юлия! Дитя небес! Ты знаешь меня, можешь ли ты отвергнуть того, чьим блаженством ты являешься? Нет, ты любишь меня, Юлия, я знаю это, так скажи, что ты меня любишь, и все восторги небес отверзнутся для меня!

Сказав это, принц обнял Юлию, от ужаса и страха почти лишившуюся чувств, и пылко прижал ее к своей груди.

— О горе мне, — воскликнула она, но слова ее звучали глухо, — ужели надо мной никто не жалится?

Тут сияние факелов озарило окна, и несколько голосов послышалось у дверей. Юлия ощутила, что на губах у нее запечатлен пылающий поцелуй, и принц поспешно скрылся.

Итак, совершенно вне себя, Юлия, как уже сказано, бросилась навстречу матери, и та с ужасом узнала о том, что здесь произошло. Она начала с того, что стала утешать бедную Юлию, как только могла, и уверять ее, что она непременно вытащит принца, к его стыду, из того тайника, в котором он прячется.

— О, — сказала Юлия, — не делай этого, матушка, я погибну, если князь или Гедвига узнают, — она всхлипывая, упала на грудь матери, пряча свое лицо.

— Ты права, — сказала советница, — ты права, мое милое доброе дитя, никто пока не должен знать, ни даже подозревать, что принц находится здесь, что он подстерегает тебя, о, милая, простодушная Юлия! Те, которые участвуют в заговоре, вынуждены молчать. Ибо то, что здесь есть такие, которые в сговоре с принцем, в этом не может быть ни малейшего сомнения, так как в противном случае он не смог бы ни оставаться незамеченным здесь, в Зигхартсгофе, ни прокрасться к нам в дом! Я решительно не могу понять, как это принц ухитрился бежать из нашего дома, не встретившись со мной и с Фридрихом, который освещал мне путь?! Старого Георга мы нашли в глубоком неестественном сне, но где же Нанни? «О горе мне, — шептала Юлия, — горе мне, что она захворала и мне пришлось ее отослать!»

— Быть может, — сказала Бензон, — быть может, я смогу стать ее лекарем, — и она резко толкнула дверь в соседнюю комнату. Там стояла

Нанни, вполне одетая, она подслушивала и теперь от страха и ужаса упала наземь, к ногам советницы Бенцон.

Несколько вопросов, которые задала ей Бенцон, оказалось довольно, чтобы дознаться, что принц, подкупив старого кастеллана, которого все считали таким верным и надежным...



(Мурр пр.):... мне пришлось узнать! Муций, мой дорогой друг, мой сердечный брат, безвременно скончался от последствий злокачественной раны на задней лапе. Эта горестная весть жестоко поразила меня, теперь только я впервые почувствовал, кем и чем был для меня Муций! Ближайшей ночью, как сказал мне Пуфф, в подвале того самого дома, где жил маэстро и куда было доставлено тело, должны были состояться поминки. Я обещал не только явиться к должному времени, но и позаботиться об угощении и напитках, дабы, согласно старинному благородному обычаю, можно было устроить тризну. Я и в самом деле обеспечил все это и целый день стаскивал вниз, в подвал, мои богатые запасы рыбы, куриных косточек и овощей. — Для читателей, которым нравится, когда в книге все дотошно описано и которые, должно быть, хотели бы узнать, каким образом я перенес вниз напитки, я замечу, что без особенных хлопот мне помогла в этом одна дружелюбно настроенная ко мне кухарка. Служанка, которую я старался почаще встречать в погребе, а также нередко наносит ей визиты на кухню, казалась склонна была весьма приветливо относиться ко всему моему племени и в особенности ко мне, так что мы, всякий раз, когда с ней видались, непременно затевали прелестные игры. От нее мне порой перепадали лакомые кусочки; по правде сказать, они были хуже тех, какие я получал от моего маэстро, но я все же поглощал их с жадностью и делал вид, будто все это необыкновенно вкусно, — естественно, я поступал таким образом из чистой галантности! Кухарки очень чувствительны к таким вещам, и я добивался того, чего хотел. Я прыгал к ней на колени, и она ласково щекотала мне голову и ушки, так что я весь приходил в восторг и очень привык к той самой руке, которая «в будни лихо подметает, это, право, ей не лень, но зато уж как ласкает в золотой воскресный день»³⁴. К этой радушной особе я и обратился в то самое мгновение, когда она вознамерилась вынести из погреба, где я как раз находился, большой горшок сладкого молока, и я, на понятный для нее лад, выразил ей мое живейшее желание, чтобы она оставила молока и для меня. «Дурашка Мурр, — сказала кухарка, которая так же хорошо, как и все прочие обитатели нашего дома, да и более того, как все наши соседи в околотке, знала, как меня зовут, — дурашка Мурр, — тебе, конечно, нужно молоко не только для тебя одного, ты собираешься устроить пир горой! Так и быть, бери молоко, серенький пролаза, а я наверху должна уже позаботиться о другом!» С этими словами она поставила горшок с молоком наземь, погладила меня, причем я изящнейшими прыжками и ужимками постарался выразить ей свою радость и признательность, погладила меня еще немножко по спине, и стала подниматься по лестнице, ведущей из погреба. Намотай

себе на ус, о, юноша-кот, что короткое знакомство и — более того — даже известного рода сентиментально-душевные отношения с дружелюбно настроенной кухаркой для молодых людей нашего сословия и нашего племени столь же приятны, сколь и выгодны. В полночь я спустился вниз, в погреб. Печальное, душераздирающее зрелище! Там, посреди, лежало на смертном одре, который, из верности духу простоты, отличавшей умершего, состоял всего лишь из пучка соломы, тело моего драгоценного, моего горячо любимого друга! Все коты были уже в сборе, мы, ни слова не говоря, пожали друг другу лапы, уселись, с жгучими слезами на глазах, в кружок и затянули жалобные песнопения, душераздирающие звуки которых ужасающим эхом раскатывались под сводами подвала. Это была безутешнейшая, невыносимая скорбь, никогда никто ничего подобного прежде не слыхивал, — люди посредством своей гортани и голосовых связок не в силах изобразить ничего даже отдаленно похожего на наше пение.

После того, как песнопения были завершены, поднялся весьма пригожий и чрезвычайно благопристойно одетый — весь в белом и черном — юноша, стал у изголовья катафалка и начал держать следующую надгробную речь, каковую следует произносить стоя, и которую он мне, невзирая на то, что она была произнесена экспромтом, вручил, однако, переписанной набело.

ТРАУРНАЯ РЕЧЬ

над гробом безвременно почившего кота Муция,
кандидата философии и истории,
которую держал его верный друг и собрат
кот Гинцман,
кандидат поэзии и красноречия,
соискатель степени доктора философии.

Почтенное собрание, дорогие мои опечаленные братья!
Отважные и благородные бурши!

Что есть кот? — хрупкое и преходящее творение, как и все прочие земнородные! Если правда то, что, как замечают все знаменитейшие врачи и физиологи, смерть состоит главным образом в полнейшем прекращении дыхания, о, в таком случае, наш дорогой друг, наш верный, храбрый товарищ в радости и горе, о, в таком случае наш благородный Муций бесспорно мертв! Взгляните, как лежит сей благородный муж на холодной охапке соломы, вытянув все четыре лапы! Нет даже и малейшего признака дыхания, ничто не разомкнет его навеки сомкнувшиеся уста! Глаза его, которые прежде излучали то сладчайшее любовное пламя, то всеуничтожающий гнев, о, эти сверкающие, о эти золотисто-зеленые глаза! — увы, они закрылись! Смертельная бледность заливает лицо усопшего, вяло свисают уши, бессильно повис хвост! О, брат Муций, где нынче твои веселые прыжки, где твоя ликующая веселость и жизнерадостность, где твое благодущие, столь отчетливое и бодрое «мяу», напол-

нявшее ликованием все сердца; где твое мужество, твоя стойкость, твоя мудрость, твое остроумие? ³⁵ Все, все похитила у тебя безжалостная смерть, и ты теперь даже и не сознаешь в точности, жил ли ты и впрямь когда-то или же все это было сном, и все-таки, ты был воплощенным здоровьем, воплощенным мужеством, вооруженным и снаряженным против каких бы то ни было телесных недомоганий, — и думалось — ты будешь жить вечно! И в самом деле, ни одно, пусть даже самое малое колесико в часовом механизме, приводившем в движение неистощимые силы твоего организма, не было повреждено, и Ангел Смерти не потому взмахнул мечом над головою твоею, что кончился завод и что часы больше не удавалось завести, о, нет! Нет! И опять-таки нет! Некое враждебное начало со страшной силою вторглось в твой организм и кощунственно уничтожило то, что долго еще могло сопротивляться разрушительному действию времени. О, да! Сколь часто еще блистали бы эти очи светом дружбы, сколь часто веселые выдумки, радостные песенки еще слетали б с этих губ, вылетали из этой окоченевшей груди, — долго еще этот хвост, в радости и веселом настроении, передавая изобилие кипящей в тебе жизненной силы, свивался и развивался бы, образуя волнообразные и кольцеподобные линии; еще множество раз сии лапы доказывали бы свою силу, крепость, свою ловкость и сноровку в могущественнейших и отважнейших прыжках, — но вот! — о, как может Природа допускать, чтобы то, что она с такими невероятными усилиями конструирует ради длительного пребывания на этом свете и неусыпного служения ему, — итак, как природа допускает, чтобы все это безжалостно разрушалось, или же и впрямь существует тот мрачный дух, именуемый Случаем, который, одушевляемый деспотически-кощунственным произволом, вправе вмешиваться в те колебания, которым, согласно известному принципу бытия, по-видимому, подвержено все сущее? О ты, усопший, если бы ты мог сказать это огорченному, однако живому собранию! Но, дорогие присутствующие, любезные собратья, давайте не станем углубляться в такого рода глубокомысленные соображения и предадимся целиком и полностью горю по поводу безвременной утраты, каковой явилась для всех нас кончина нашего друга Муция. Существует обыкновение, согласно которому оратор, произносящий траурную речь, излагает присутствующим едва ли не во всех подробностях жизнеописание усопшего с присовокуплением всякого рода похвал и прочих лестных замечаний; и обычай этот очень хорош, ибо посредством такого рода детализированного изложения даже и в наиболее огорченном из слушателей пробуждается чувство тошнотворной скуки, однако же именно тошнота сия, согласно опыту и высказываниям высокоученых и заслуживающих полнейшего доверия физиологов, наилучшим образом развивает любое огорчение, благодаря чему надгробный оратор выполняет оба долга, обе обязанности, каковые налагают на него обстоятельства, — а именно — во-первых, он оказывает скончавшемуся должную честь, а во-вторых, утешает оставшихся жить, — таким образом он как бы сразу убивает двух зайцев. Существуют примеры того, что, как вполне естественно,

даже наисогбеннейший под бременем горя после такой речи уходит вполне довольный и взбодрившийся, радость, что его больше не му́чают и не терзают надоедно-скупчивыми фиоритурами траурной речи, — вытеснила скорбь от утраты того, кто покинул нас навеки! Дражайшие, собравшиеся здесь собратья мои! Сколь охотно последовал бы я сему похвальному вышеупомянутому обычаю, сколь охотно изложил бы я вам целую подробную биографию усопшего друга и брата нашего и преобразил бы вас из опечаленных котов в котов радостных и вполне удовлетворенных, но это не годится, это действительно не годится! Поймите меня, дорогие мои и любимые собратья, когда я вам скажу, что я почти ничего не знаю и не ведаю относительно течения жизни покойного, относительно того, что касается его рождения, воспитания, дальнейших жизненных событий и прочего, что посему я вынужден излагать вам одни только басни и побасенки, которые не соответствуют ни месту — здесь, над хладным телом усопшего — ибо место это слишком серьезно, — ни нашему нынешнему настроению, — ибо оно слишком торжественно! Не примите этого в худую сторону, любезные бурши, но я намерен вместо пространной и скучной проповеди в нескольких простых словах выразить, какой позорной смертью погиб бедняга, который лежит здесь перед вами вполне окоченелый и мертвый, и каким отважным и добрым, веселым и разбитным малым он был при жизни! И все же, о небо! Я снова спадаю с тона красноречия, невзирая на то, что я в нем весьма понаторел и совершенствуюсь далее, и, если так будет угодно судьбе, надеюсь стать профессором поэзии и элоквенции!

(Гинцман смолк, почистил правой лапой уши, лоб, нос и усы, оглядел долгим пристальным взором тело усопшего, перевел дух, вновь провел лапой по физиономии и продолжал в повышенном тоне:)

О горький рок! — о, ужасная смерть! Ужели ты должна была столь жестоким образом увлечь от нас усопшего юношу в самом цвете его лет? Братья! Оратор вправе вновь сказать слушателю то, что этот последний уже узнал и от чего ему, этому последнему, уже противно и тошно, вот почему я повторяю вам то, что вы уже знаете, а именно то, что покойный наш собрат пал жертвой безумной ненависти, которую питали к нему филистеры-шпицы. Туда, на ту крышу, где прежде мы веселились в мире и дружестве, где звучали радостные напевы, где, лапа к лапе и грудь к груди, мы были единым сердцем и единой душою, — туда хотел он вскарабкаться, чтобы в тишайшем уединении, наедине со старшиной Пуффом, посвятить себя воспоминаниям о тех золотых днях, воистину золотых днях Аранхуэца, которые ныне прошли³⁶, — итак он хотел торжественно отметить память этих чудных дней, но тут филистеры-шпицы, во что бы то ни стало желавшие лишить нас возможности возобновить наш веселый кошачий союз, расставили в темных углах чердака капканы, в один из которых угодил наш злосчастный Муций, ему разmozжило заднюю лапу — и он был вынужден умереть, — он погиб, погиб! Болезненны и опасны раны, которые наносят филистеры, ибо они всегда пользуются тупым зазубрен-

ным оружием, но могучий и крепкий от природы организм покойного, конечно, оправился бы, невзирая на ужасные ранения, однако скорбь и грусть, что он изранен преподлыми шпицами, скорбное чувство, охватившее того, кто увидел, что вся его прекрасная и блистательная карьера совершенно и окончательно разрушена, — неотвязная мысль о позоре, который покрыл не его лишь одного, а всех нас, — вот что подкосило и изнурило его, вот что сократило его дни! Он не желал терпеть никаких повязок, столь необходимых и наложенных по всем правилам искусства, — он не принимал лекарств, — говорят, он хотел умереть!³⁷

(Я и все мы при этих последних словах Гинцмана никак не могли отделаться от чувства ужасной боли, более того, мы подняли такой отчаянный стон и вопль, что и гранитная скала смягчилась бы от этих наших стенаний. Когда мы уже немного пришли в себя, так что оказались в состоянии снова слушать, Гинцман с пафосом продолжал:)

О, Муций! О, взгляни вниз! Взгляни на слезы, которые мы проливаем по тебе, услышь безутешные жалобы, которые мы возносим к небу, все из-за тебя, усопший кот! Да, взгляни на нас, вниз или вверх, как это тебе на сей раз удобнее; будь душой среди нас, ежели ты вообще еще распоряжаешься душою своею и та душа, которая обитает в твоей груди, уже не используется кем-либо где-нибудь в другом месте! О, сбратья мои! — как уже сказано выше, я предпочитаю умолкнуть, когда дело касается биографии покойника, ибо я решительно ничего о ней не знаю, но тем живее воскресают в моей памяти очаровательные свойства почившего, и вот их-то я и хочу вам, мои дражайшие и возлюбленнейшие друзья, ткнуть прямо в морду, дабы вы по-настоящему осознали во всей полноте и во всем объеме всю глубину ужасающей утраты, которую причинила нам гибель великолепного и незабвенного кота! Внемлите же, о, юноши, вы, которые склонны никогда не сходить со стези добродетели, внемлите же мне! Муций был, как немногие в этой жизни бывают, достойнейшим сочленом кошачьего общества, добрым и верным супругом, замечательным любящим отцом, ревностным поборником истины и права, неутомимым благотворителем, опорой бедняков, верным другом в несчастье! Достойным сочленом кошачьего общества? — О, да! Ибо всегда он выражал наилучшие убеждения и был даже готов к известного рода жертвам, когда случалось так, как он хотел, да и враждовал-то он исключительно с теми, кто ему противоречил и не повиновался его воле. Добрым верным супругом? О, да! Ибо он лишь тогда пускался со всех лап за сторонними кисками, когда они были моложе и красивее, чем его супруга, и непреодолимая жажда наслаждения влекла его к подобного рода променадам. Замечательным любящим отцом? О, да! Ибо никто никогда не слышал, чтобы он, как это, пожалуй, случается с не испытывающими чувства любви отцами нашего племени, в приступе особенного аппетита пожирал какого-либо из своих собственных малышей: напротив, ему было весьма по душе, когда ихняя маменька утаскивала их всех вместе и заодно — с глаз долой, — а он больше ничего уже не узнавал

об их дальнейшем местопребывании! Ревностным поборником истины и права? О, да! Ибо всю свою жизнь он положил бы ради них, почему он, поскольку живем-то мы на свете всего лишь раз, не слишком-то был озабочен проблемами правды и права, что ему, впрочем, нельзя и вменить в вину! Неутомимым благодетелем, опорой бедняков? О, да! Ибо непременно каждый год, а именно — в самый новый год — он сносил вниз во двор какой-нибудь селедочный хвостик или, скажем, несколько субтильных косточек — для бедных братьев, которым требовалась пища, и при этом он еще, исполняя таким образом свой долг как достойный гуманист и котофил, пожалуй, недвусмысленно рычал порой на тех жалких, немущих котов, которые, сверх того, еще чего-нибудь от него требовали! Верный друг в нужде? О, да! Ибо, когда он попадал в нужду, он не давал позабыть о себе даже тем друзьям, которыми он прежде совсем было пренебрегал, которых совсем было позабыл! О, усопший! Что мне еще сказать о твоём геройстве и мужестве, о твоём высоком и просвещенном уме, о твоём врожденном стремлении ко всему прекрасному и понимании всего благородного и возвышенного, о твоей учености, о твоём чудесном проникновении в самую суть изящных искусств, обо всех тех тысячах добродетелей, которые так чудесно сочетались в тебе! Что, повторяю, должен я сказать об этом без того, чтобы не умножить нашу справедливую боль о том, который так горестно покинул нас! — что мне сказать, чтобы еще многократно не умножить нашей столь понятной боли?! О, друзья мои, о, мои опечаленные братья! Ибо и в самом деле, по некоторым недвусмысленным жестам и движениям вашим я замечаю, к немалому моему удовлетворению, что мне удалось растрогать вас, взволновать, опечалить — итак! — о, мои опечаленные собратья! Давайте же брать пример с этого усопшего, приложим все усилия, дабы пойти по его достойным стопам! Да будем и мы сами такими, каким был завершивший дни свои, чтобы и мы смогли обрести в смерти тот воистину мудрый покой, которым наслаждаются лишь украшенные и озаренные всякого рода добродетелями, то есть коты, вполне подобные нашему незабвенному покойнику! Взгляните только сами, как он здесь тихо лежит, как он не шевелит ни единой лапой, как все мои похвалы его великолепию и замечательности не вызвали на его устах даже легчайшей улыбки удовольствия и приятства! Поверите ли вы, опечаленные! что даже горчайшие упреки, грубейшие оскорбительные клеветы — также не произведут никакого впечатления на отшедшего? Поверите ли вы, что даже и сам демонический филистершпиц, вступил он сюда, в этот наш избранный круг, — шпиц-филистер, которому усопший, будь он жив, без всякого сомнения выцарапал бы оба глаза, теперь отнюдь не смог бы вывести его из себя, нарушить его кроткий и сладостный покой?

Превыше хвалы и хулы, превыше всякого недоброжелательства, всех и всяческих насмешек, всех изымательств, издевательств и издевок, превыше всей хаотической и призрачной житейской сумятицы и суеты взмыл наш превосходный Муций; у него больше нет ни престелной

улыбки, ни пламенных объятий, ни честного и прямодушного лапопожатия для друга, но нет уже более и когтей, нет уже более и зубов — для недруга! Благодаря добродетелям своим он обрел такой покой, к которому он при жизни тщетно стремился! Правда, мне почти кажется, что мы все, все мы, которые, собравшись здесь, уселись и завопили, оплакивая друга, непременно придем к этому же самому покою, вовсе не являясь при этом таким редкостным образцом, таким вместилищем всех и всяческих добродетелей, каким был он, и что, пожалуй, должна существовать еще и другая причина для того, чтобы быть добродетельным, чем эта тоска по покою, но это, впрочем, всего лишь мимолетная мысль, которую я оставляю вам для дальнейшей разработки! Только что я хотел со всей убедительностью рекомендовать вам посвятить вашу жизнь преимущественно тому, чтобы учиться умирать столь же прекрасно, как наш друг Муций, между тем я, пожалуй, предпочту не настаивать на этом, поскольку вы можете противопоставить мне немало сомнений и затруднений на этот счет. А именно — я полагаю, что вы сможете мне возразить, что усопший-де должен был также учиться быть осмотрительным и избегать капканов и ловушек, дабы не погибнуть преждевременно! Засим я вспоминаю также, как чрезвычайно юный малыш-котенок в ответ на подобное же увещание наставника, что, дескать, кот должен всю свою жизнь употребить на то, чтобы учиться умирать, весьма дерзко заметил, что это ведь, должно быть, не так уж трудно, ибо удается всем и каждому с первой же попытки! А теперь, высокоопечаленные юноши, давайте посвятим несколько мгновений тихому созерцанию!

(Гинцман смолк и вновь провел правой лапой по ушам и физиономии, затем он, казалось, погрузился в глубокое раздумье, крепко зажмурив глаза. Наконец, когда все почувствовали, что молчанье затянулось, староста Пуфф толкнул его и тихо сказал: «Гинцман, я, право, думал, что ты заснул. Живо кончай свою проповедь, ибо всех нас терзает отчаянный голод!» Гинцман вздрогнул, выпрямился, вновь принял приличествующую позу и затем продолжал свою речь:)

— Дражайшие братья! Я надеялся набрести еще на кое-какие возвышенные мысли и блистательно заключить затем нынешнюю надгробную речь, однако, увы, мне решительно ничего не пришло в голову, и, думается мне, что величайшая скорбь, каковую я, прилагая все усилия, всячески старался испытать, стала причиной того, что я малость поглупел.

А посему позвольте мне считать мою речь, которой вы, конечно, не можете отказать в полнейшем одобрении, законченной и затянуть теперь обычное «De» или же «Ex profundis»*.

Так закончил этот уctивый и благоразумный юноша-кот свою траурную проповедь, которая хотя и показалась мне в риторическом отношении превосходно составленной и производящей прекрасное впечатление, но все же не лишенной ораторской мишуры. А именно, мне показалось, что

* Из бездны (лат.).

Гинцман держал речь скорее затем, чтобы продемонстрировать свой блистательный ораторский талант, нежели для того, чтобы почтить бедного Муция после его столь огорчительной кончины. Все, что он сказал, не слишком-то подходило для характеристики нашего друга Муция, который был простым, прямодушным котом, что называется, рубахой-котом, и, как я узнал это на собственном опыте, обладал верным сердцем и отличался истинным добродушием. Помимо всего прочего, похвалы, которые отпускал Гинцман усопшему, отличались явной двусмысленностью, так что мне, собственно, его траурная речь впоследствии вовсе не понравилась, да и во время ее произнесения меня безусловно подкупило только несомненное обаяние оратора и его и в самом деле выразительная декламация. Кстати, и старшина Пуфф, по-видимому, был того же мнения, что и я; мы обменялись взглядами, в коих выразилось наше единомыслие по поводу речи Гинцмана.

Сообразно с окончанием речи, мы затянули «*De profundis*», которое, если это только возможно, прозвучало еще жалобнее, еще более душераздирающе, чем ужасная надгробная песнь, предшествовавшая выступлению оратора. Хорошо известно, что вокалисты нашего племени великолепно овладели способами выражения глубочайшей печали, безутешнейшей скорби, независимо от того, каким именно поводом вызваны наши вопли, — являются ли они жалобами из-за чрезмерно страстной или несправедливо отвергнутой любви или же скорбью по горячо любимому покойнику, — наши вокалисты настолько виртуозны, что даже холодный и бесчувственный человек непременно ощущает, что песнопения такого рода глубоко проникают в самые недра его души и сжимают грудь с такой безумной силою, что, дабы сбросить с нее камень, ему, этому бесчувственному, приходится благим матом вопить, проклиная все на свете!

Когда «*De profundis*» было завершено, мы подняли тело покойного брата и опустили его в глубокую могилу, вырытую в углу подвала.

В это мгновение, однако, произошло нечто совершенно неожиданное и в то же время очаровательно-трогательное, так сказать, кульминация всей панихиды.

Три молоденькие барышни-киски, прелестные, как ясный день, прибежали вприпрыжку и набросали картофельную ботву и петрушку, которую они нарвали в погреб, в отверстую могилу, в то время как четвертая, самая старшая из них, затянула простенькую, но задушевную песенку. Мелодия была мне знакома; если я не ошибаюсь, то оригинальный текст песни начинается словами «*O, Tannenbaum! O Tannenbaum!*» * и т. д. Это были, как шепнул мне на ухо старина Пуфф, дочурки покойного Муция, которые, таким образом, приняли участие в поминках по родителю. Я был не в силах оторвать глаз от певицы: она была так мила, так удивительно мила, звуки ее сладкого голоса, да и сама трогательность, глубочайшая проникновенность и прочувствованность в ис-

* О елочка! О елочка! (нем.).

полнении ею мелодии задушевной песни совершенно увлекли и покорили меня; я не мог удержаться от слез. Но скорбь, которую вынудила и исторгла из моей груди юная исполнительница, была особого и прстранного рода, ибо скорбь эта возбуждала во мне глубочайшее наслаждение.

Ах, только бы я мог это правильно высказать! Все мое сердце устремлялось к певиче, мне чудилось, будто я никогда в жизни не видал кисаньки такой поразительной прелести, такого благородства в осанке и во взгляде, и притом такой неотразимой красоты!

Четверо дюжих котов, трудясь изо всех сил, нацарапали столько песку и земли, сколько только было возможно, — они засыпали отверстую могилу, погребение было окончено, и мы пошли к столу. Хорошенькие и милые дочурки Муция хотели удалиться, однако мы не потерпели этого, — им следовало непременно принять участие в тризне, и я сумел ловчайшим образом приступить к делу, поведя прекраснейшую из них к столу и усевшись бок о бок с ней. Если сперва меня ослепила ее блистательная красота, если меня околдовал ее сладостный голос, то теперь ее ясный и светлый разум, ее искренность и сердечность, нежность ее чувств, все ее женственное, кроткое существо, как бы воссиявшее из заповедных глубин ее души, — вознесли меня на седьмое небо восторга и восхищения. В ее устах, в ее сладчайших словах — все, решительно все приобретало необыкновенно своеобразное, волшебное очарование, — милые речи ее, ее нежные разговоры были преисполнены какой-то небывало трогательной идилличности. Так, например, она с большой теплотой и проникновенностью говорила о молочной каше, которой она не без удовольствия лакомялась за несколько дней до папенькиной кончины; и когда я заметил, что в доме у моего маэстро такую кашу готовят самым великолепным образом, да к тому же еще с добавкой доброго куска сливочного масла, она взглянула на меня своими кроткими лучисто-зелеными очами горлицы и спросила меня тоном, от которого затрепетало все мое сердце: «Правда, правда, глубокоуважаемый мой собеседник? Вы тоже любите манную кашу на молоке? Со сливочным маслом!» — повторила она затем, как бы погружаясь в мечтательные сновидения. Ах, кто не знает, что хорошеньких цветущих девушек — шести-восьми месяцев отроду (примерно столько исполнилось, должно быть, моей прелестнице) ничто не украшает более, чем легкий оттенок мечтательности — о, и более того, что зачастую таким юным фантазеркам мы, мужчины, не в силах противостоять?! Вот так и случилось, что я, весь пылая любовью, сильно пожимая лапу прелестницы, громко воскликнул: «Ангелочек! Ради всего святого, позавтракай со мной, отведай моей молочной каши, и это счастье я не променяю ни на какие блага жизни!» Мне показалось, что она несколько смутилась, вспыхнула, потупилась, но она не отняла своей лапки из моей, что возбудило в моей душе прекраснейшие надежды. А именно, дело в том, что однажды я слышал в доме моего маэстро, как один из его гостей, человек весьма почтенных лет и, если я не ошибаюсь, адвокат по профессии, говорил, что для юной девушки весьма опасно

оставлять свою руку в руке мужчины, ибо этот последний справедливо станет рассматривать всю ее особу с точки зрения *traditio brevis manu* * и попытается обосновать, исходя из этого факта, всевозможные претензии, которые затем лишь с трудом удастся опровергнуть. К такого рода претензиям и притязаниям я, однако, ощущал теперь большую охоту и хотел как раз заняться этим, когда вдруг беседа была прервана тостом в честь покойного. Три младших дочери покойного проявили между тем такое веселое настроение, такую плутовскую наивность, что все коты впали в невообразимый восторг. Все наелись и напились, и это заметно умерило скорбь и грусть, одним словом, с каждым мгновением общество становилось все веселее и оживленнее. Общество смеялось и шутило, и когда все встали из-за стола, староста Пуфф, собственной персоной, первый выступил с предложением немного потанцевать. Мгновенно было очищено место, три котюфея настроили свои глотки и затянули аккомпанемент, и вскоре смышленные дочурки Муция отважно запрыгали и завертелись в пляске с нашими юношами.

Я ни на шаг не отступал от моей красотки, пригласил ее танцевать, она подала мне лапку, и мы, окрыленные, влетели в ряды танцующих. Ах! Как играло ее дыхание на моей щеке! Ах, как трепетала моя грудь у ее груди! Как я обвивал своими лапами ее сладкий и гибкий стан! О, блаженные мгновения, о, миги истинного райского блаженства!

Когда мы протанцевали два, а может быть, и все три вальса, я повел красавицу в угол погреба, и, согласно галантному обычаю, угостил ее, ради освежения, тем, что оказалось под рукой, ибо отнюдь не предполагалось, что церемония завершится балом. И теперь я всецело дал волю своим чувствам. То и дело я прижимал ее лапу к моим губам и уверял ее, что я стану счастливейшим из смертных, если она изъявит желание хоть немножечко полюбить меня.

— Несчастный, — произнес внезапно чей-то голос за самой моей спиной, — несчастный, что ты делаешь! — ведь это твоя дочь Мина!

Я задрожал, ибо прекрасно узнал этот голос! Это была Мисмис! Случаю угодно было, чтобы в то самое мгновение, когда, как мне думалось, я совершенно забыл Мисмис, я узнал то, чего и не мог подозревать, что я едва ли не стал любовником собственного дитяти! Мисмис была в глубоком трауре, я и сам не знал, что мне об этом думать. «Мисмис, — сказал я нежно, — Мисмис, что привело вас сюда, отчего вы в трауре — и — о, боже! — те девушки — сестры Мины?» Я узнал престранные вещи! Мой ненавистный соперник, черно-серо-желтый, сразу же после того, как он изнемог в том смертоубийственном поединке, устранившись моей рыцарской отваги, развелся с Мисмис и убрался, как только его раны зажили, никто не ведал куда. Тогда Муций стал добиваться ее лапы, которую она ему охотно вручила, и ему делает честь и служит доказательством его такта и деликатности, что он ни слова не сказал мне о своих отношениях

* Досл. традиция короткой руки, т. е. здесь — фамильярность (лат.).

с Мисмис. Однако в таком случае те веселые и резвые наивные киски оказывались всего лишь сводными сестрицами моей Мины!

— О, Мурр, — нежно проговорила Мисмис, рассказав мне, как все это получилось. — О, Мурр! Ваша прекрасная душа ошиблась только в чувстве, которое вас охватило! Это любовь нежнейшего отца, а вовсе не похотливое желание любовника пробудилась в вашей груди, когда вы увидели нашу Мину, *нашу* Мину! О, что за сладостное слово! Мурр! Способны ли вы при этом остаться бесчувственным, разве могла вся любовь в вашей душе угаснуть, любовь к той, которая так искренне любила вас, — о небо, еще так искренне любит вас; той, которая осталась бы вам верна до гробовой доски, если бы другой кот не вторгся бы в нашу жизнь и не увлек бы меня со всем присущим ему искусством соблазнителя? О, кисаньки, — податливость вам имья!³⁸ Вот что вы думаете: я это отлично знаю, но разве к числу добродетелей истинного кота не принадлежит готовность прощать слабых и заблудших кисок? — О, Мурр! Вы видите меня согбенной под бременем горя, безутешной после утраты третьего нежного супруга, но в этой безутешности с новой силой вспыхивает и воспламеняется любовь, которая прежде была моим счастьем, моей гордостью, всей жизнью моей! Мурр! выслушайте мою исповедь, я все еще люблю вас, и я полагаю, мы позже... — Рыдания заглушили ее голос!

Во время всей этой трогательной сцены мне было мучительно неприятно, на душе у меня, как люди говорят, кошки скребли! Мина сидела, бледная и прекрасная, как первый снег, который иногда в осеннюю пору целует последние цветы, чтобы тут же растаять и превратиться в горькую влагу.

(Примечания издателя. Мурр! Мурр! Опять у тебя обнаруживается плагиат! В «Необычайных приключениях Петера Шлемиля»³⁹ герой книги описывает свою возлюбленную, которую, кстати сказать, тоже зовут Мина, точь-в-точь такими же словами).

Я молча глядел на обеих, на маменьку и дочку, — последняя нравилась мне несравненно больше, и поскольку в нашем племени даже близкое родство отнюдь не является канонической помехой для брака, — то... Быть может, меня выдал мой взгляд, ибо мне показалось, что Мисмис прочла мои тайные мысли. «Варвар!» — воскликнула она, мгновенно подпрыгнув к Мине, и, крепко обняв ее лапами, привлекла ее к своей груди. «Варвар! что ты собираешься предпринять? Как? Ты способен отвергнуть это любящее тебя сердце и нагромоздить преступление на преступление?!» Невзирая на то, что я решительно не понял, какие претензии могла иметь ко мне Мисмис и в каких преступлениях она могла бы упрекнуть меня, я все же счел за благо, дабы не нарушить ликования, в которое превратился траурный пир, сделать хорошую мину при плохой игре. Поэтому я стал уверять совершенно вышедшую из себя Мисмис, что невыразимое сходство Мины с нею ввело меня в заблуждение и что я полагал, что душу мою воспламеняет такое же самое чувство, какое я ношу в себе и питаю к ней, ко все еще прекрасной Мисмис. Мисмис

вскоре осушила свои слезы, села рядом со мной, почти прижавшись ко мне, и завела со мной такой доверительный разговор, как будто бы ничего дурного не произошло между нами. Если еще к тому же учесть, что молодой Гинцман пригласил прекрасную Мину на танец, то можно представить себе, в каком неприятном и щекотливом положении я оказался.

Счастье еще, что старшина Пуфф в конце концов пригласил Мисмис на прощальный танец, ибо в противном случае она могла бы предъявить ко мне еще всяческие престранные претензии. Я тихонько выскользнул из погреба, думая: «Ну, будь что будет! Поживем — увидим!»

Я рассматриваю это траурное торжество как поворотный пункт, в котором завершились месяцы моего учения и я вступил в иной круг жизни.

(Мак. л.):.. по этой причине Крейслер в самую рань направился в покои аббата. Он застал достопочтенного отца в тот самый миг, когда аббат, вооружившись топориком и стамеской, занимался тем, что вскрывал большой плоский ящик, в котором, судя по его форме, была упакована картина. — Ах, — воскликнул аббат, обращаясь к Крейслеру. — Хорошо, что вы пришли, капельмейстер! Вы можете помочь мне в трудной, тягостной работе. Ящик заколочен целой тысячью гвоздей, как если бы ему суждено было остаться нескрытым на веки вечные. Ящик этот доставлен ко мне прямо из Неаполя, и в нем находится картина, которую я пока намерен повесить в моем кабинете и не показывать братьям. Поэтому я и не позвал себе на помощь никого из братьев; но вы не откажетесь помочь мне, капельмейстер! Крейслер принялся, за дело, и вскоре из ящика была извлечена на свет божий большая, красивая картина, оправленная в великолепную позолоченную раму. Крейслер немало удивился, когда в кабинете аббата он нашел пустым то место над маленьким алтарем, где прежде висела изумительная картина кисти Леонардо да Винчи, представлявшая Святое Семейство. Аббат считал эту картину одной из лучших, которые были представлены в его соборании, изобиловавшим подлинниками старых мастеров, но даже и этот шедевр должен был уступить свое место картине, великую красоту которой, а также и несомненную новизну Крейслер распознал с первого же взгляда.

С большим трудом они оба, аббат и капельмейстер, укрепили картину на стене с помощью винтов и шурупов, и вот аббат стал по отношению к картине так, чтобы свет падал на нее самым выгодным образом, и начал рассматривать картину с таким искренним удовольствием, с такой явной радостью, что могло показаться, будто помимо живописи, и в самом деле достойной восхищения, его влечет к этому полотну еще и некий особый интерес. Сюжетом картины было чудо. В ореоле небесной славы предстояла пречистая дева: в левой руке она держала пучок лилий, однако же двумя средними перстами правой руки она прикасалась к обнаженной груди некоего юноши, и было видно, как под ее пальцами густая кровь крупными каплями сочится из отверстия раны. Юноша приподнялся на ложе, на котором он лежал, казалось, что он пробудился

от смертного сна, веки его еще не раскрылись, но проясненная улыбка, озарившая все его прекрасное лицо, свидетельствовала, что он видит Богоматерь в блаженном сне, что он мгновенно перестал испытывать боль, причиняемую ему раной, что смерть более не властна над ним! Любой ценитель чрезвычайно восхитился бы точным и четким рисунком, умелой и изящной композицией, необычайно верной светотенью, великолепными складками одежд, высокой прелестью облика девы Марии, но прежде всего восхитился бы чрезвычайной жизненностью колорита, что по большей части не дается современным живописцам. Однако в особенности и, как это и заключено в самой природе вещей, решительнейшим образом проявился истинный гений художника в неопишемом выражении лиц. Мария была прелестнейшая, привлекательнейшая женщина, какую только можно было вообразить, и все же на этом высоком челе был отблеск властного небесного величия, и неземным блаженством лучились эти кротко сияющие темные очи. Точно так же и небесный восторг пробуждающегося к жизни юноши был схвачен и представлен художником с редкостным могуществом творческого духа. Крейслер и в самом деле не мог бы назвать ни одной картины нового времени, которую он мог бы поставить в один ряд с этим великолепным полотном; он высказал это аббату, многоречиво распространяясь обо всех отдельных красотах этого творения живописи, и затем прибавил, что в новейшую эпоху, пожалуй, не создано ничего, что могло бы превзойти эту картину.

— На это есть весьма основательная причина, — с улыбкой сказал аббат, — которую вы, капельмейстер, тотчас же должны узнать. Странная вещь происходит с нашими юными живописцами: они штудируют и штудируют, изобретают, рисуют, создают громадные эскизы, и в конце концов у них выходит нечто мертвенное, окоченелое, нечто, не способное вторгнуться в жизнь, ибо оно само безжизненно. Вместо того чтобы тщательно копировать творения великих старых мастеров, которые они взяли себе за образец, и таким образом проникнуть в их своеобразный творческий дух, они хотят сами мгновенно сделаться мастерами и писать подобно старинным силачам; но именно из-за этих попыток и притязаний впадают в мелочную подражательность, в имитацию маловажных деталей, и поэтому наши юные живописцы производят столь же ребяческое и смехотворное впечатление, как, скажем, тот чудак, который, чтобы сравниться с великим человеком, старается точно так же покашливать, точно так же картавить, точно так же ходить, чуть горбясь, как и он! Нашим юным живописцам недостает подлинного воодушевления, исторгающего картину во всей славе ее совершенной жизненности из недр души, и ставящего ее перед их глазами. Ясно заметно, как тот или иной из них тщетно мучается, чтобы в конце концов возвыситься до того вдохновенного состояния, без которого не может быть создано никакое произведение искусства. Ну, а то, что затем эти бедняги склонны считать истинным вдохновением, какое было свойственно светлому и спокойному духу старых мастеров, на самом деле не что иное, как некое странное чувство,

смесь высокомерного удивления идеей, которую они, юные живописцы, постигли сами, и боязливой мучительной заботы: вот теперь, в самом процессе исполнения во что бы то ни стало подражать старинному примеру в самых мельчайших деталях. Таким образом, зачастую фигура, которая, сама по себе живая, должна была бы вступить в светлую и радостную жизнь, становится скверной карикатурой. Нашим молодым живописцам не удастся добиться точного изображения человека или облика, который они схватили в своей душе, и это, быть может, происходит отчасти и потому, что они, когда у них все прочее выходит почти удачно, избирают неверный колорит. Одним словом, самое большее, что они умеют, — это рисовать, но живопись как таковая им отнюдь не дается. Ведь это неверно, что знание красок и их применения утрачено, что молодым живописцам недостает прилежания. Ведь что касается первого, то это невозможно, так как искусство живописи с начала христианской эры, когда оно впервые сформировалось как истинное искусство, никогда не покоилось в неподвижности, а напротив: мастера и их ученики образуют непрерывный, все продолжающийся ряд, и смена вещей и обстоятельств, которые, конечно, мало-помалу вызывали отклонения от истины, не могли иметь влияния на унаследование чисто механического умения. Что же касается прилежания художников, то я готов упрекнуть их скорее в чрезмерности этого прилежания, чем в его недостатке. Я знаком с одним молодым живописцем, который свою картину, даже если она вполне хорошо удалась, переписывает и переписывает до такой степени, пока все не исчезает в тусклом свинцовом тоне и, пожалуй, только тогда приближается к его замыслу, так как его образы не смогли достичь совершенства подлинной жизни!

Взгляните-ка, капельмейстер, — вот картина, от которой веет истинным жизненным великолепием, а все потому, что кистью художника водела истинная набожность и истинное вдохновение! Чудо вам, конечно, ясно. Юноша, который поднимается там с ложа, сделался, в полнейшей своей беспомощности, жертвой разбойников, напавших на него и нанесших ему смертельный удар. Он, бывший прежде кощунственным безбожником, в адском безумии своем преступавшем законы церкви, громко призвал на помощь пречистую деву, и царице небесной угодно было пробудить его к жизни, дабы он, продолжая жить, узрел бы свои заблуждения и в кротком и набожном самоотвержении посвятил бы себя церкви. Этот юноша, которому дева, сошедшая с небес, уделила столько милостей своих, является в то же время и автором картины.

Крейслер выразил свое величайшее изумление по поводу того, что сказал ему аббат, и заключил, что таким образом, по-видимому, чудо-то произошло в новейшие времена.

— Стало быть, и вы, любезный мой Иоганнес, — произнес аббат мягким кротким тоном, — придерживаетесь глупого мнения, что врата райского милосердия в наши дни закрыты, так что соболезнование и милосердие в образе святого, к которому человек, находящийся в трудном положе-

нии, во всеокрушающем страхе гибели — обратился с жаркой мольбой, не может больше, перестав излучаться с неба, явиться человеку, пребывающему в беде и горе, и принести ему покой и утешение? Верьте мне, Иоганнес, кладезь чудес никогда не иссякал, но глаза человеческие сделались незрячими в преступном небрежении к высшим силам, — они не могут вытерпеть неземного сияния небес и посему не в силах узнать милость всевышнего, когда милость сия возвещает о себе в зримых проявлениях! И все же, милый мой Иоганнес, самые прекрасные, самые божественные чудеса происходят в глубинах самой человеческой души, и об этом чуде человек и должен возглашать во всеуслышание, в меру своих сил, и совершая это так, как только он способен это совершить, — словом, звуком или кистью! Вот так и тот монах, который написал эту картину, превосходно сумел возвестить чудо обращения своего, и так, Иоганнес, я должен говорить с вами, ибо эта речь вырывается из души моей — и точно так же возвещаете вы в мощных звуках великолепное чудо познания неугасимого огня, вырывающегося из глубочайших недр вашей души. И то, что вы в силах совершить это, разве это тоже, в свою очередь, не является чудом, исполненным милости и милосердия, чудом, которому всевышний повелевает совершиться — ради вашего же счастья и вашего же блага?

Крейслер ощутил, что слова аббата каким-то странным образом взволновали его; полнейшая уверенность в своей творческой мощи, как это редко случалось, живая вера проявилась в нем, и он, капельмейстер, весь затрепетал от счастья.

Между тем Крейслер не отрывал взгляда от чудесной картины, но, как это нередко случается, что мы на картинах, в особенности тогда, когда, как это и было в данном случае, на переднем или среднем плане выступают сильные световые эффекты, лишь позже обнаруживаем фигуры, расположенные на затененном заднем плане, — вот так и теперь Крейслер впервые заметил фигуру, закутанную в широкий плащ; заметил кинжал, на который падал всего лишь один луч из ореола царицы небесной, так что кинжал этот сверкал едва заметно, — эта фигура, сжимавшая кинжал в руке, спешила ускользнуть из комнаты через распахнутые двери. Несомненно, это и был убийца, убегая, он оглянулся, и лицо его отвратительно искаженное, выражало страх и ужас.

Как молнией поражен был Крейслер, узнав в лице убийцы черты принца Гектора, теперь ему показалось также, что и юношу, пробуждающегося к жизни, он уже где-то видел, хотя и очень недолго, совершенно мимолетно. Робость, непонятная ему самому, удержала его от того, чтобы высказать аббату эти свои соображения, вместо этого он спросил аббата, не кажется ли ему нарушающим общее впечатление и даже неуместным, что художник на самом переднем плане, хотя и в густейшей тени, изобразил предметы современной одежды и, как он это только сейчас заметил, также и пробуждающегося юношу, то есть самого себя, одет на современный лад?

И в самом деле, на полотне, а именно на переднем плане сбоку, был изображен маленький столик и вплотную к нему приставленный стул, со спинки которого свисала турецкая шаль, на столике же лежала офицерская треуголка с плюмажем и сабля. Юноша был в современной рубашке с модным воротником, в жилетке, совершенно расстегнутой, и в темном, точно так же совершенно расстегнутом сюртуке, покроем которого позволял, однако, с отличным изяществом изобразить расположение складок, царица небесная же была одета так, как мы привыкли видеть это на картинах старых мастеров.

— Мне думается, — возразил аббат на вопрос Крейсlera, — штаффаж на первом плане, так же как и сюртук юноши, не только не кажутся неуместными, — напротив, я полагаю даже, что художник должен был быть глубоко проникнут отнюдь не небесной благодатью, но светской глупостью и тщеславием, если бы он хотя бы в незначительнейшей, второстепенной подробности отступил от правды. Он должен был представить это чудо так, как оно действительно происходило, соблюдая верность месту, окружению, образам персонажей и т. д., — именно так он должен был запечатлеть это чудо, и теперь всякий с первого взгляда видит, что чудо это свершилось в наши дни, и, таким образом, картина, написанная набожным монахом, становится прекрасным трофеем церкви-победительницы в нынешние времена всеобщего неверия и пагубной распущенности.

— И все же, — заговорил Крейслер, — мне эта треуголка, эта сабля, этот столик, этот стул — все это мне, говорю я, представляется совершенно невыносимым, и я предпочел бы, чтобы художник убрал бы весь этот штаффаж с переднего плана и набросил бы на себя какое-нибудь неопределенное одеяние вместо этого явного и недвусмысленного сюртука. Скажите сами, достопочтенный отче, можете ли вы вообразить себе сцены священной истории в современных костюмах, святого Иосифа в байковом сюртуке, приснодеву в бальном платье с наброшенной на плечи турецкой шалью? Не кажется ли вам, что все это показалось бы недостойной или, более того, отвратительной профанацией всего прекрасного и возвышенного? И все-таки старые, преимущественно германские мастера представляли все библейские и евангельские сцены в костюмах своей эпохи, и совершенно ложным было бы мнение, что одежды того времени больше подходили для их воспроизведения в живописи, чем нынешние, которые, впрочем, за исключением иных женских нарядов, кажутся мне в достаточной степени нелепыми и вовсе не живописными по самой сути своей! И все-таки мне хочется сказать, что иные моды прежних времен доходили до невероятных преувеличений, до полнейшей чудовищности, — стоит только вспомнить эти туфли с клювоподобными носами, искривленными и задранными на целый аршин ввысь, эти похожие на буфы шаровары, эти камзолы и рукава с разрезами и т. д., и уж совершенно неуместными и искажающими лицо и фигуру были многие женские наряды, которые мы обнаруживаем на старинных полотнах, на коих юные, цветущие

и хорошенькие девушки, настоящие картинки! — только из-за своих нарядов выглядят, как пожилые и мрачные матроны. И все-таки несомненно, что эти картины никому не казались непристойными.

— Что ж, возразил аббат, — теперь я могу вам в немногих словах, мой милый Иоганнес, изобразить различие между старинными благочестивыми временами и нынешней эпохой всеобщей распущенности; я ясно представляю эту разницу вашим очам. Видите ли, в былую эпоху незабвенные евангельские образы настолько глубоко вторгались в человеческую жизнь, более того, я сказал бы даже, настолько становились одним из условий этой жизни, что каждый верил, что чудесное свершилось перед его глазами и что вечное всемогущество господне каждый день способно творить подобные чудеса.

Так благочестивый художник переносил в свою эпоху священную историю, к которой были обращены всего его чувства; среди людей, подобных тем, какие окружали его в повседневном существовании, он видел, как свершаются чудеса, как творятся деяния милосердия и благодати; и как въяве видел он их в жизни, такими он и запечатлевал их на холсте. В наши же дни все эти истории представляются нам уже чем-то совершенно отдаленным и не вступающим в современную жизнь, чем-то влачащим некое вялое существование лишь в воспоминаниях наших; с трудом берется художник за то, чтобы живо выразить все свое мироощущение, тут-то он и сам не достигает собственного уровня — его внутреннее чувство подавлено безысходной мирской суетой. Столь же безвкусным и смехотворным нахожу я, однако, в свою очередь то, что старых мастеров упрекают в незнании костюма и находят в этом причину того, почему они изображают в своих картинах только одежды своей эпохи, хотя наши нынешние юные мастера тщатся во что бы то ни стало изобразить в своих картинах на сюжеты из священного писания самые надуманные и причудливые, самые безвкусные средневековые наряды, но тем самым они только демонстрируют, что то, что они вознамерились изобразить, они наблюдали отнюдь не непосредственно в живой жизни, а удовольствовались только отражением того, как оно все изображалось в полотнах старых мастеров. Именно потому, мой милый Иоганнес, что современность слишком нечестива, чтобы не вступать в отвратительное противоречие с этими набожными легендами, потому что нынче никто не в состоянии представить себе те чудеса как происшедшие среди нас, именно поэтому; конечно, изображение чуда в наших современных костюмах кажется нам безвкусным, уродливым и даже шаржированным! Однако, если Всевышний решит, чтобы у всех нас на глазах действительно совершилось чудо, то было бы совершенно недопустимо изменять костюмы эпохи, и если молодые художники наших дней желают обрести некую единую точку опоры, — а они, конечно, желают этого, — то они должны прежде всего позаботиться о том, чтобы при изображении событий давних дней были в какой-то мере соблюдены костюмы соответствующей эпохи, — там, где возможно, установить, каковы были эти костюмы. Прав, снова повто-

ряю я, был создатель этой картины, что он дал в ней указание на современность и именно тот самый стаффаж, который вы, мой милый Иоганнес, отвергаете, находя его негодным и предосудительным. Именно этот стаффаж вселяет в меня богобоязненную священную робость, так что я сам жажду вступить в тесную комнату того дома в предместье Неаполя, где всего лишь несколько лет тому назад совершилось чудо пробуждения этого юноши.

Слова аббата пробудили Крейсlera ко всякого рода раздумьям: он вынужден был во многом признать их справедливость, однако он все же полагал, что в том, что касается величайшей набожности прежних времен и распушенности нынешних, устами аббата слишком уж говорит монах, который требует знаменит, чудес, экстазов и в самом деле видит их, монах, которого вовсе не устраивает детская набожность, благочестивая душа, которой чужды судорожные экстазы опьяняющего культа, а ведь наивное детское благочестие вовсе не нуждается в этом: оно и без того по-христиански добродетельно! А ведь именно эти добродетели никоим образом не исчезли в нашей земной юдоли, и если бы это могло действительно произойти, то тогда бы предвечная сила, отступившись от нас и отдав нас в руки мрачного демона своеволия, не стремилась бы посредством чуда вернуть нас на путь истинный!

Однако же Крейслер оставил все эти соображения при себе и молча продолжал рассматривать картину. И все более выступали перед ним тогда черты убийцы на заднем плане — они делались все более отчетливыми, и Крейслер убедился, что живым оригиналом этой фигуры не мог быть никто иной, как принц Гектор, собственной персоной.

— Думается мне, достопочтенный отче, — начал Крейслер, — я вижу там на заднем плане некоего храбрейшего вольного стрелка, который вознамерился поохотиться на самую благородную дичь, а именно — на человека, причем в этой охоте он применяет всевозможнейшие способы! На сей раз он, как я вижу, взял в руки отличный, превосходно отточенный стальной клинок и метко попал, что же касается огнестрельного оружия, то с ним дело заметно нейдет, так как лишь немного времени тому назад он мерзко промазал со стойки, метя в одного отважного оленя. В самом деле, меня очень занимает *sigillum vitae** этого решительного охотника или хотя бы даже фрагментарная выдержка из вышеназванного *sigillum vitae*, которая могла бы мне показать, где я, собственно, найду мое место и не следует ли, быть может, мне сразу же обратиться к пречистой деве по поводу одной, быть может, до зарезу необходимой мне льготной и охранной грамоты!

— Дайте только пройти немного времени, капельмейстер! — сказал аббат. — Меня даже удивит, ежели вам вскоре не станет совершенно ясно многое, что ныне еще окутано сумрачной мглой. Очень многое может еще, к вашей великой радости, подчиниться вашим желаниям, о которых

* Жизнеописание (лат.).

я лишь теперь узнал. Станным — да, столько я могу, пожалуй, вам сказать, — достаточно странным кажется мне, что в Зигхартсгофе о вас все пребывают в грубейшем заблуждении. Маэстро Абрагам, быть может, единственный, который способен проникнуть в вашу душу.

— Маэстро Абрагам! — воскликнул Крейслер. — Так вы знакомы со стариком, достопочтенный отче?

— Вы забываете, — с улыбкой возразил аббат, — что наш прекрасный орган обязан своей удивительной конструкцией искусству и ловкости маэстро Абрагама! Но будущее сулит вам больше! Подождите только терпеливо дальнейшего развития событий!

Крейслер простился с аббатом; он хотел спуститься в парк, чтобы поразмыслить обо всем, что терзало его душу, но вдруг, уже сойдя с лестницы, он слышал, как кто-то окликает его: «Domine, domine capellmeister! — raucis te volo!» * Это был отец Гиларий, который заверил его, что он с величайшим нетерпением ожидал окончания длительного собеседования с аббатом. Только что он исполнил свои обязанности хранителя винного погреба и извлек оттуда прекраснейшее франконское вино «ляйстенвейн», которое много лет пребывало во мраке. Совершенно необходимо, чтобы Крейслер тотчас же осушил бокал этого вина за завтраком, чтобы воздать должное прелести благородной лозы и убедиться в том, что это вино, которое, будучи пламенным, укрепляющим разум и сердце, как бы специально явилось на свет для того, чтобы ублажать превосходного композитора и истинного музыканта!

Крейслер прекрасно знал, что напрасной была бы попытка ускользнуть от воодушевившегося отца Гилария; да ему и самому пришла охота под настроение, которое он в себе внезапно ощутил, насладиться бокалом доброго вина, посему он и последовал за радушным хранителем погреба, который привел его в свою келью, где на маленьком, застланном чистой салфеткой столике обнаружилась бутылка благородного напитка, а также свежеспеченный белый хлеб и соль и тмин!

— Ergo bibamus! ** — воскликнул отец Гиларий, наполнил изящные зеленые стаканчики и весело чокнулся с Крейслером. — Не правда ли, капельмейстер, — начал он после того, как бокалы опустели, — наш достопочтенный отец охотно вогнал бы вас в долгополое одеяние? Не делайте этого, Крейслер! Мне хорошо в сутане, я ни за что не снял бы ее, no distinguendum est inter et inter! *** — для меня добрый стакан вина и хороший церковный напев составляют целый мир, но вы — вы! Что ж, вы созданы для совершенно иных вещей, жизнь еще улыбается вам совсем поиному, вам светят еще другие светила, а не одни только алтарные свечи! Да что там, Крейслер, стоит ли долго толковать об этих делах — чокайтесь! — Viva **** ваша возлюбленная, и когда вы устроите свадьбу, то пусть вам наш господин аббат, невзирая на все неудовольствия, пошлет

* Господин, господин капельмейстер, на минуточку! (лат.).

** Итак, выпьем! (лат.).

*** Следует делать различие (лат.).

**** Да здравствует (лат.).

через меня лучшее из вин, которые только имеются в нашем погребе!

Крейслер почувствовал, что слова Гилария задели его самым пренеприятным образом, ибо мы испытываем боль, когда видим, что нечто нежное, чистое, белоснежное схвачено неуклюжими руками. «Чего вы только не знаете, — сказал Крейслер, убирая свой бокал, — о чем вы только не узнаете в ваших четырех стенах!»

— Domine, — воскликнул отец Гиларий, — domine Kreislerre*, не обижайтесь, Video mysterium**, но ни слова больше не скажу! Не хотите за ваше здоровье — ну, что ж! Давайте позавтракаем in camera et faciemus bonum cherubium — и bibamus***, чтобы господь нас здесь, в аббатстве, поддержал в покое и уюте, каковые до сих пор царили здесь!

— Разве, — напряженно осведомился Крейслер, — разве они теперь в опасности?

— Domine, — тихонько сказал отец Гиларий, доверительно придвинувшись поближе к Крейслеру, — domine dilectissime!**** Вы достаточно давно находитесь у нас, чтобы не знать, в каком согласии мы живем, как разнообразнейшие склонности братьев сочетаются в известного рода веселости, которой благоприятствуют прежде всего наше окружение, мягкость монастырского устава и весь наш образ жизни. Быть может, все это вскоре кончится. Узнайте это, Крейслер! Как раз теперь, только что, прибыл отец Киприан, которого давно уже ждали у нас, он был настоятельнейшим образом рекомендован нашему аббату самим Римом. Это еще молодой человек, но на его иссохшем недвижимом лице не найти ни проблеска веселости, более того, в этих мрачных, как бы застывших чертах есть некая неумолимая строгость, обличающая в нем аскета, доведшего себя до высочайшей степени самоистязаний и самомучительства! При этом он всем существом своим являет некое враждебное презрение ко всему тому, что его окружает; очень возможно, что презрение это возникло из чувства некоего духовного превосходства над всеми нами. Он уже осведомлялся в отрывочных словах о монастырской дисциплине и, казалось, был весьма огорчен нашим образом жизни. Имейте в виду, Крейслер, этот пришелец еще перевернет весь наш порядок, который был нам так по душе! Имейте в виду, pupis robo!*****. Склонные к большей суровости охотно примкнут к нему, и вскоре образуется партия против аббата, партия, которая, пожалуй, одержит победу, ибо мне кажется очевидным, что отец Киприан является эмиссаром его святейшества, перед волей коего аббат вынужден будет склониться. Крейслер! Что станется с нашей музыкой, с вашим уютным пребыванием у нас! Я говорил о нашем превосходно слаженном хоре и о том, что мы в состоянии весьма

* Господин, господин Крейслер (лат.).

** Я вижу тайну (лат.).

*** В келье подкрепимся на славу! (лат.).

**** Прелюбезный господин (лат.).

***** Теперь докажу (лат.).

приятно исполнять творения величайших мастеров, но тут этот мрачный аскет соорил ужасную гримасу и сказал, что такого рода музыка годится разве что для суетного света, но никак не для церкви, из коей папа Марцелл Второй справедливо намеревался ее, оную музыку, изгнать вовсе!⁴⁰ *Per diem*, ведь если у нас больше не будет хора и если, пожалуй, даже запрут мой винный погреб, то, — однако, покамест *Vibamus!* Преждевременно не стоит слишком ломать себе голову. *Ergo* — буль-буль-буль!

Крейслер высказал мнение, что, пожалуй, с этим новым пришельцем дело обстоит так, что он кажется строже, чем есть на самом деле, и, быть может, все еще уладится ко всеобщему удовольствию, да и со своей стороны он не в состоянии поверить, что аббат, при его твердом характере, который он неоднократно проявлял, так легко поддастся воле постороннего монаха, тем паче что у него самого отнюдь нет недостатка в значительных и влиятельных связях в римских сферах.

В это мгновение раздался колокольный звон в знак того, что торжественный прием постороннего брата Киприана в орден святого Бенедикта сейчас должен будет произойти.

Крейслер поднялся вместе с отцом Гиларием, который с полуиспуганным «*bibendum quid*» * наспех проглотил последние капли из своего бокала, засим монах и капельмейстер направились в церковь. Из окон коридора, по которому они шли, можно было заглянуть в покои аббата. «Взгляните, взгляните!» — воскликнул аббат Гиларий, привлекая Крейслера к углу одного из окон. Крейслер взглянул вниз и увидел в покоях аббата некоего монаха, с которым аббат оживленно говорил, между тем как лицо его наливалось темной кровью. Наконец аббат преклонил колени перед монахом, который дал ему свое благословение.

— Разве я неправ, — сказал тихонько отец Гиларий, — когда в этом пришло монахе, который мгновенно, как снег на голову, свалился в наше аббатство, ищу и нахожу нечто особенное и странное?

— Конечно, — ответил Крейслер, — все это тесно связано с этим монахом Киприаном, и меня удивило бы, если бы определенные взаимоотношения очень скоро не проявились бы и не возвестили бы о себе.

Отец Гиларий отправился к братьям, чтобы вместе с ними принять участие в торжественной процессии: впереди несли крест, а по сторонам шли послушники с зажженными свечами и с хоругвями; процессия эта направлялась в храм.

Когда же аббат с посторонним монахом прошел совсем близко мимо Крейслера, капельмейстер с первого же взгляда узнал, что именно брат Киприан и был тем самым юношей, которого на той картине Пречистая Дева пробудила от смерти к жизни. Но тут предчувствие внезапно охватило Крейслера. Он взбежал наверх, в свою комнату, достал миниатюру, данную ему маэстро Абрагамом: не было ни малейшего сомнения! Он увидел того же самого юношу, только еще моложе, свежее лицом и изображенного к тому же в офицерском мундире. Когда же теперь...

* Итак, выпьем (*lat.*).

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

БЛАГОТВОРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСШЕЙ КУЛЬТУРЫ. ЗРЕЛЫЕ МЕСЯЦЫ МУЖЧИНЫ



(*Мурр пр.*):.. Трогательное надгробное слово, сказанное Гинцманом, встреча с Миной, новое обретение Мисмис, танец — все это возбудило в моей груди разлад противоречивейших чувств, так что я, как это принято говорить в обыденной жизни, прямо-таки не знал, как мне быть, и дошел до такой безутешной душевной робости, что предпочел бы сам лежать в погребе в могиле, как друг Муций. Это было, конечно, прескверно, и я вовсе не знал, что бы со мною стало, если бы во мне не жил истинно высокий поэтический дух, который я не преминул записать. Божественность Поэзии обнаруживается преимущественно в том, что сочинение стихов, ежели кое-какие рифмы и стоят порою нескольких капель пота, дает, однако, чудесное внутреннее удовлетворение. Оно преодолевает всякую земную скорбь, — ведь известно же, что оно уже не однажды побеждало даже голод и зубную боль! Тот, у которого смерть похитила отца, мать, жену, да и вообще при всякой кончине, будучи совершенно выбит из колеи, при мысли о великолепном траурном песнопении, которое он приемлет душою своею, непременно должен вполне утешиться и даже вновь жениться, чтобы не лишиться надежды на повторное трагическое вдохновение подобного же рода.

Итак, вот стихи, которые с поэтической мощью и правдивостью описывают мой переход от скорби к радости:

Кто бродит в сумрачном подвале,
Тревожа горестную тишь?
Кто молвит мне: «Мой клич печали
И жалобу мою услышь!»
Там друга верного гробница,
Душа его летит к моей,
Спеша от тлена отстраниться...
Я вечность обещаю ей!

Нет, то не зовом привиденья
Вдруг огласилась тишина!
О муже, полная томленья,
Рыдает верная жена!

К былым оковам, к прежней крошке
 Герой-Ринальдо рвется вспять, —
 Но как, польстив когтистой кошке,
 В ней голос ревности унять?!
 Я — пред супругою. . . Ужели
 Бежать от беспримерных нег?
 Она ж и в зрелом пышном теле
 Невинна, будто первый снег!
 Меня прелестница прельщает,
 Творя прыжки и антраша;
 От прежней страсти сердце тает
 И негой полнится душа!

Друг опочил, зато супруга
 Обретена. . . а с нею дочь!
 Вместить всю скорбь земного круга
 Мне не под силу и невмочь!
 О, этот вальс на смертной тризне:
 Фальшивы нежности дары!
 Нет, — устремлюсь я к вольной жизни
 От этой лживой мишуры!

Брысь, брысь, вы больше мне не близки!
 Я выше дочек и мамаш:
 В душе у вас, колдуньи-киски,
 Любовь и ненависть и блажь!
 Пусть вы потупились невинно,
 Лукаво глазки опустив, —
 От ваших чар, Мисмис и Мина,
 Сбегу, за Муция отмстив.

О Муций! Жертва смерти ранней!
 Я за жарким и рыбой чту
 Премудрость всех твоих деяний,
 Твоих стремлений высоту!
 И, если подлых шпицев свора
 Тебя, о Муций, извела, —
 Страдалец, я отмщу им скоро
 За все их черные дела!

Пусть скорбь и горечь в сердце бrenном,
 Но бьют фантазии крыла,
 Но, музам — девяти Каменам —
 За исцеление хвала!
 Я снова становлюсь пнитом
 И обнаруживаю вдруг,
 Что ем с не меньшим аппетитом,
 Чем Муций, мой покойный друг!

Искусство! Отпрыск сфер астральных!
В печалях ты меня утешь,
Чтоб пропасть виршей гениальных
Сложил я, гениально-свеж!
Чтоб мне, с надеждою великой
Вопили дамы и юнцы:
«Мурлычь, о, Мурр, и намурлыкай
Поэз бессмертных образцы!»

Воздействие поэтического творчества было слишком благотельным, я не смог ограничиться одним этим стихотворением, а сочинил несколько — одно за другим — с одинаковой легкостью, одинаково удачных. Наиболее удавшиеся из них я сообщил бы здесь благосклонному читателю, если бы я не имел в виду обнародовать эти наиболее удавшиеся стихотворения, вкупе с несколькими остротами и экспромтами, которые я создал в часы праздности, под общим заглавием «Что я породил на свет в часы вдохновения». Перечитывая их, я чуть не лопаюсь от смеха. К вящей славе моей, я должен сказать, что даже в месяцы юности, когда буря страстей еще не отшумела, ясный рассудок, утонченный такт главенствовали во мне, явно подавляя какое бы то ни было ненормальное опьянение чувств. Таким образом, мне удалось также совершенно подавить внезапно вспыхнувшую во мне любовь к прекрасной Мине. Ведь должна же была при спокойном размышлении эта страсть в моих нынешних обстоятельствах показаться мне несколько безрассудной; впрочем, тогда же я узнал, что Мина, невзирая на кажущуюся внешнюю детскую протость, является дерзкой, строптивой особой, которая, при известных предпосылках, может пленить самых скромных юношей-котов. Однако, чтобы избавить себя от возможного рецидива, я тщательно избегал встреч с Миной, и так как я еще больше боялся возможных притязаний Мисмис и ее странного экзальтированного поведения, то я, чтобы ни одну из них случайно не встретить, уединился в своей комнате и не посещал ни погребца, ни чердака, ни крыши. Моему маэстро такое мое поведение, по-видимому, было по душе, он, корпя над письменным столом, позволял мне садиться за его спиной на спинку кресла и, вытянув шею, заглядывать через его руку в книгу, которую он как раз в такое время перелистывал. Это были самые прекраснейшие книжки, которые мы, я и мой маэстро, таким способом проштудировали вместе, как, например, «*De prodigiosis naturae et artis operibus, Talismanes et Amuleta dictis*» * Арпе¹, «Очарованный мир» Беккера², «Книга о вещах достопамятных» Франческо Петрарки³ и т. п. Это чтение меня чрезвычайно развлекло и рассеяло и вновь открыло мою душу.

Маэстро отправился на прогулку, солнце весело сияло, весенние благоухания вливались в раскрытое окно; я забыл мои намерения и вышел погулять наверх, на крышу. Однако едва я оказался наверху, как я опять

* «О чудесных творениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами» (лат.).

вновь увидел вдову Муция, вышедшую из-за дымовой трубы. От ужаса я остался стоять на месте неподвижно как вкопанный; я уже слышал, как меня осыпают упреками и клятвенными уверениями. И, однако, я очень и очень ошибся. За ней следовал юный Гинцман, он громко называл вдову сладчайшими именами, она остановилась, встретила его милой речью, они приветствовали друг друга с решительным выражением глубочайшей нежности и затем быстро прошли мимо меня, не поздоровавшись со мной и вообще не обратив на меня ни малейшего внимания. Юный Гинцман явно стыдился меня, ибо он опустил голову и вперил очи в землю, легкомысленная же кокетка-вдова бросила на меня иронический взгляд.

Во всем том, что касается его психической сущности, кот является все же весьма сумасбродной тварью. Разве я не должен был радоваться тому, что вдова Муция нашла себе любовника, и все-таки я не мог отделаться от известного внутреннего огорчения, которое почти что могло показаться чем-то вроде пресловутой ревности. Я поклялся никогда больше не посещать крыши, где, как мне казалось, я испытал особую несправедливость судьбы. Вместо этого я теперь нередко вспрыгивал на подоконник, грелся на солнышке и смотрел, чтобы как-то рассеяться, вниз на улицу, обдумывая увиденное, сопоставляя всякого рода глубокомысленные наблюдения, и, таким образом, сочетал приятное с полезным.

Ибо предметом этих наблюдений было опять-таки одно: почему это мне еще никогда не приходило в голову — по собственному свободному желанию усесться перед дверью дома или шляться по улицам, как это делают, как мне приходилось видеть, очень многие мои соплеменники, без какой бы то ни было боязни и робости. Я представлял себе этот образ жизни как нечто в высшей степени приятное, и был убежден, что теперь, когда я вступил в более зрелые месяцы своего существования и накопил достаточный жизненный опыт, о тех опасностях, жертвой которых я становился, когда судьба меня, еще несовершеннолетнего юношу, выволакивала в свет, больше не могло быть и речи! Посему я преспокойно и с полной уверенностью спускался по лестнице и для начала усаживался на пороге в ярчайший солнечный день. То, что я принимал позу, которая каждому с первого взгляда должна была выдавать образованного, благовоспитанного кота, это само собой разумеется. Мне чрезвычайно нравилось сидеть в парадном. Между тем как жаркие лучи солнца благотворно согревали мою шкуру, я, изогнув лапу, умывал морду и усы, по какому поводу две проходившие мимо юные девчонки, которые, судя по большим, снабженным замочками папкам, которые они несли, шли из школы, не только высказали свое величайшее удовольствие, но даже вручили мне кусочек белого хлеба, который я принял с привычной мне галантностью, не преминув выразить им свою благодарность!

Я, скорее, играл с преподнесенным мне даром, отнюдь не намереваясь съесть его на самом деле, но сколь велик, однако, был мой ужас, когда совершенно внезапно низкое рычание над самым моим ухом прервало эту

игру, и могучий старик, дядюшка пуделя Понто, пудель Скарамуш, предстал передо мной. Одним прыжком хотел я отпрыгнуть от дверей, но Скарамуш крикнул мне: «Не будь таким трусом и оставайся спокойно сидеть, неужели ты думаешь, что я тебя съем?»

С униженной вежливостью я осведомился, не смогу ли я, быть может, услужить господину Скарамушу по мере моих слабых сил, но он грубо ответил: «Ничем, решительно ничем ты не можешь мне услужить, мосье Мурр, да и каким образом это могло бы быть возможным? Но я хочу спросить тебя, не знаешь ли ты, быть может, где обретается мой никчемный племянничек, юный Понто. Ведь вы уже однажды как-то шлялись вместе, и мне казалось, к моему немалому огорчению, что вы закадычные друзья — одна душа и одно сердце. Ну так как? Может, ты мне все-таки скажешь, где, собственно, околачивается этот оболтус, я его вот уже несколько дней в глаза не видал».

Уязвленный заносчивым поведением сварливого старика, я холодно заверил его, что ни о какой тесной дружбе между мной и юным Понто вовсе не может быть и речи, да, кстати сказать, никогда и не заходила речь! К тому же в последнее время Понто, которого я, кстати, отнюдь не разыскивал, вовсе отошел от меня.

— Что ж, — пробурчал старикан, — это радует меня, ибо показывает, что юноше свойственно природное чувство чести и он не склонен водиться со всяким сбродом.

Такого афронта я, однако, уже не мог стерпеть, гнев обуял меня, дерзновенное буршество вскипело во мне, я позабыл всякий страх и громогласно фыркнул подлому Скарамушу: «Старый грубиян!» прямо в рожу, быстро занес правую лапу с выпущенными когтями в направлении к левому глазу пуделя. Старик отпрыгнул шага на два назад и проговорил менее грубо, чем прежде: «Ну, ну, да что вы, Мурр! Не дуйтесь, право же! Вы, впрочем, добрый и славный кот, и я хочу вам дать совет: держите ухо востро с этим сорванцом Понто! Он, уж мне вы можете поверить, честный малый, но легкомысленный! Легкомысленный! Расположенный ко всяким сумасбродствам; нет в нем необходимой для жизни должной нравственной основы! Держите с ним ухо востро, говорю я, ибо скоро он вовлечет вас во всякого рода дурные сообщества, к которым вы вовсе не принадлежите, и вы вынуждены будете с несказанным трудом принуждать себя к такому поведению в обществе, которое противоречит вашей сокровенной натуре и придет в столкновение с вашей индивидуальностью, с вашим простым, нелицемерным нравом, приятность коего вы мне только что доказали. Смотрите, милый Мурр, вы, как я уже сказал, являетесь котом вполне достойным уважения, и к добрым поучениям у вас, что называется, благосклонно отверстое ухо! Смотрите! Столько безрассудных, неприятных, да более того — двусмысленных проказ могут свести с пути юношу, хотя он время от времени и выказывает то мягкое, зачастую даже слащавое добродушие, которое весьма свойственно людям сангвинического темперамента, ибо не зря ведь говорят

французы: «Au fond *, он все-таки добрый малый!» Но fond, в котором таится зерно доброты, лежит так глубоко, и над ним собралось столько гнусностей, необузданных склонностей, что оно, это зерно, увы, должно непременно погибнуть в зародыше. За подлинное чувство доброго нам порою выдают то дурацкое благодушие, которое пусть лучше унесет дьявол, ежели оно не способно распознать Дух Злобы под блистательной личиной. Поверь, о котик, опытности старого маститого пуделя, который кое-что повидал на своем веку, и не дай себя обмануть этим проклятым словом: «Au fond» это добрый малый! Впрочем, ежели вы увидите моего никчемного племянника, то можете ему высказать прямо в глаза все то, о чем я с вами здесь беседовал! Кстати, рекомендую вам всецело воздержаться от дальнейшей дружбы с ним. Ну, с богом! Да вы что? Не любите этого, милый Мурр?»

Сказав это, старый пудель Скарамуш проворно сцапал кусочек белого хлеба, лежавший передо мной, и спокойно убрался восвояси, понурился головой, метя по земле длинными волосатыми ушами и слегка виляя хвостом.

В раздумье смотрел я вслед старцу-пуделю, чья житейская мудрость явно стремилась овладеть моей душой. «Он ушел уже, он уже убрался?» — так пробормотал кто-то совсем рядом, и я был немало удивлен, увидав юного Понто, который проскользнул за дверь и ждал там, оказывается, когда, наконец, старик простится со мной. Внезапное появление юного Понто повергло меня в известное смущение, так как миссия, которую возложил на меня его старый дядюшка и которую мне теперь, собственно, следовало бы исполнить, казалась мне все же несколько рискованной. Я думал о тех ужасных словах, с которыми Понто однажды громогласно обратился ко мне: «Ежели ты хоть когда-нибудь решишься выражать против меня враждебные чувства, то учти, что я превосхожу тебя в силе и ловкости. Один прыжок, крепкий укус моих острых зубов — и ты умрешь, не сходя с места!» Я счел более благоразумным промолчать.

Из-за этих внутренних колебаний мое внешнее поведение могло показаться холодным и принужденным, и Понто пристально взглянул на меня. Затем он пронзительно расхохотался и воскликнул: «Я замечаю это уже, приятель Мурр! Мой старик наговорил тебе кучу всякой злобной ерунды о моем образе жизни, он представил меня в преподлом виде, приписывая мне всякие сумасбродные проделки и развратное поведение. Не будь так глуп, не верь ни единому его слову! Во-первых, взгляни-ка на меня повнимательнее и скажи, какого ты мнения о моей наружности?» Оглядев юного Понто, я нашел, что никогда он не выглядел таким упитанным, никогда он не смотрел так ясно, никогда в его наряде не чувствовалось такое изящество, такая элегантность, никогда во всем его облике не господствовала такая благотворная гармония! Я напрямик высказал ему все это.

* По сути дела (фр.).

— Ну вот, — сказал Понто, — ну вот, милейший Мурр, неужели же ты думаешь, что пудель, который вращается в дурном обществе, пре дается низменному разврату, пудель, если так можно выразиться, систе матически распутный, не находящийся во всем этом ни малейшей приятности, а занимающийся этим так только, от скуки, как это действительно случается со многими пуделями, — итак, неужели же ты полагаешь, что подобный пудель может выглядеть так, как я. Ты прежде всего удивишься гармонии во всем моем существе. Что же, это должно подсказать тебе, насколько заблуждается мой угрюмый дядюшка; вспомни, поскольку ты литературно образованный кот, о том мудреце, кладезе всяческой душевной мудрости, который тому, кто укорял порочных в особенности за дисгармоничность их внешнего облика, возразил: «Возможно ли, чтобы грех обладал единством и гармонией?» Не удивляйся дружище Мурр, пусть тебя ни на миг не удивляют черные наветы моего старикашки. Угрюмый и скупой, что вообще свойственно дядюшкам, он потому обратил на меня весь свой гнев, что он вынужден был заплатить кое-какие маленькие карточные долги *rag honneur**, которые я наделал у одного колбасника, терпевшего у себя запрещенную игру и нередко дававшего игрокам довольно крупные ссуды колбасами, а именно — сервелатом, ливерной и гороховой. К тому же старик все еще вспоминает о той эпохе моего существования, в которой, конечно, мой образ жизни отнюдь не был похвальным, но каковой период уже давно в прошлом и давным-давно уступил место великолепнейшей благопристойности.

В это мгновение мимо нас пробежал дерзкий пинчер, он взглянул на меня так, как будто никогда не видывал мне подобных, проорал мне прямо в уши грубейшие наглости и хотел было схватить меня за хвост, который я вытянул далеко от себя, что, по-видимому, и вызвало его неудовольствие. Когда же я, однако, взвился на дыбы и вознамерился обороняться, юный Понто также набросился на невоспитанного спорщика; швырнул его наземь и дважды или трижды кувырнул его так, что он жалчайшим образом, скуля и поджав хвост, умчался, куда быстрее, чем стрела, выпущенная из лука.

Это доказательство добрых намерений и деятельной дружбы, которое дал мне Понто, необычайно растрогало меня, и мне подумалось, что в данном случае именно то самое «*au fond* он добрый малый!», которым дядюшка Скарамуш хотел в моих глазах, так сказать, очернить моего друга, все же можно применить к Понто в самом лучшем смысле и его может извинить великое множество причин куда больше, чем кого-либо другого. Вообще мне все думалось, что старик чрезмерно сгустил краски и что юный Понто, конечно, мог выкидывать легкомысленные штуки, но никогда не совершал никаких скверных проказ. Все это я выразил своему другу совершенно откровенно и поблагодарил его при этом за то, что он взялся защищать меня, причем сделал я это в самых обязательных выражениях.

* Под честное слово (фр.).

— Меня радует, милый Мурр, — возразил Понто, причем по своему обыкновению, осматрелся кругом, сверкая своими веселыми плутовскими глазами, — что этот дряхлый педагг не ввел тебя в заблуждение, но, напротив, что ты постиг мое доброе сердце. Не правда ли, Мурр, я здорово отделал дерзкого мальчишку? Он это надолго запомнит. Собственно говоря, я к нему нынче уже целый день присматриваюсь, этот прощельяга вчера похитил у меня колбасу, и его за это следовало проучить. А уж при этом заодно была отомщена и несправедливость с его стороны, которую испытал ты, и таким образом я смог доказать тебе мои дружеские чувства, это мне весьма по душе; я, как говорится в пословице, убил двух мух одной хлопущкой. Однако, давай вернемся к нашему прежнему разговору. Осмотри-ка меня, милый мой друг, еще раз со всем вниманием и скажи-ка мне, не замечаешь ли ты каких-либо примечательных перемен в моей наружности?

Я внимательно присмотрелся к моему юному другу и — ах, вот проклятье! Лишь теперь мне впервые бросился в глаза серебряный ошейник изящнейшей работы и выгравированные на этом ошейнике слова: «Барон Алквиад фон Випп. Маршаллштрассе № 46».

— Как, Понто, — воскликнул я, пораженный, — ты покинул своего хозяина, профессора эстетики, и ушел к какому-то барону?

— Собственно говоря, — возразил Понто, — я вовсе не покинул профессора, а напротив — он сам прогнал меня пинками и колотушками.

— Как же могло произойти такое? — сказал я, — ведь твой господин всегда проявлял к тебе любовь и доброе отношение, какие только возможны?

— Ах, — ответил Понто, — это глупая, пренеприятная история, которую только особая игра случая обратила к моей пользе. Всему этому было виной только лишь мое дурацкое благодушие, к которому, конечно, примешалось чуточку тщеславной похвальбы. Всякую минуту я хотел доказывать свое внимание к моему господину, да еще к тому же показать ему при этом мою ловкость, образованность и благосовпитанность. Ну, и вот что стряслось! Ты знаешь, может быть, что у профессора Лотарио молоденькая и к тому же прехорошенькая супруга, ну просто заглядение, жена, которая любит его нежнейшим образом, в чем он вовсе не вправе сомневаться, ибо она его всякое мгновение уверяет в этом, и как раз тогда преимущественно осыпает его ласками, когда он, зарывшись в книги, готовится к очередной лекции. Она — сама домовитость — так как никогда не покидает дом до двенадцати часов дня, а ведь уже в половине одиннадцатого она на ногах и, будучи простой в своих нравах и обычаях, обсуждает с кухаркой и с горничной вплоть до тончайших деталей всяческие домашние обстоятельства, и если деньги, отпущенные на неделю, по случаю некоторых сверхсметных расходов — слишком рано оказываются исчерпанными, она, не желая докучать господину профессору, пользуется при случае кассой своих слуг, не желая обращаться к нему. Проценты по этим займам она выплачивает почти неношенными платьями, поскольку

платья эти, а также шляпу с перьями, в которых изумленный мир служанок видит по воскресеньям на расфуфыренной горничной в качестве платы за тайные услуги при всяких непредвиденных обстоятельствах и этой платой их можно считать. При столь многих совершенствах этой приятнейшей дамы не стоит, право, обижаться на простительное сумасбродство, если это вообще можно назвать сумасбродством, а именно что ее ревностнейшие устремления сосредоточены на том, чтобы быть всегда одетой по последней моде, и самое элегантное, самое дорогое платье не кажется ей достаточно элегантным и достаточно дорогим, если она надела его трижды, а одну и ту же шляпу четырежды, а турецкую шаль проносила месяц; она начинает испытывать к этим вещам некую идиосинкразию, и ценнейшие наряды из своего гардероба продает по дешевке или же, как уже сказано, отдает их своим щеголихам-служанкам. То, что супруга профессора эстетики понимает толк в красоте нарядов, этому, пожалуй, вовсе не следует удивляться, и ее супруг должен был бы только радоваться, когда этот вкус и понимание находят выражение в том, что его супруга с явным благоволением пылающими глазками посматривает на пригожих юнцов и порою даже несколько навязывается им. Я неоднократно замечал, что тот или иной молодой человек, из числа посещающих лекции профессора, пренебрегал дверями аудитории и предпочитал им двери, ведущие в комнату профессорши, тихо отворял их и столь же неслышно вступал в покои профессорши. Мне почти казалось, что эта путаница происходила не совсем случайно или, по крайней мере, никого не удручала, ибо никто из них не спешил исправить свою ошибку, напротив, всякий, кто входил туда, выходил только по прошествии порядочного времени и к тому же со столь веселым и смеющимся взором, как будто визит к профессорше был столь же приятен и полезен, как эстетическая лекция профессора. Прекрасная Летиция (так звали жену профессора) была ко мне не слишком благосклонна. Она не терпела моего присутствия в своей комнате, и, пожалуй, была права, ибо воспитанному пуделю нечего делать там, где он на каждом шагу может разорвать кружева или запачкать платья, которые висят там на всех стульях. Но злой гений профессора пожелал, чтобы я однажды проник в ее будуар. Господин профессор в этот прекрасный день выпил за обедом немного больше вина, чем следовало бы, и находился поэтому в весьма повышенном настроении. Вернувшись домой, он, совершенно против своего обыкновения, прошел прямо в кабинет своей жены, и я, сам не знаю почему, тоже прошмыгнул туда вместе с ним. Профессорша была в домашнем платье, чью белизну можно было сравнить разве что с белоснежностью свежавывавшего снега, весь ее наряд выказывал скорее не столько известную беззаботность, сколько глубочайшее искусство туалета, которое таится за простотой, и, как враг, сидящий в засаде, тем неотвратимее одерживает победу. Она и впрямь выглядела премоило, и полупьяный профессор сильнее, чем когда-либо прежде, ощутил это. Будучи весь любовь и восторг, он стал именовать свою чудную супругу сладчайшими именами, осыпал ее нежнейшими ласками и

занятый всем этим, не заметил некоторой рассеянности, некоторого тревожного неудовольствия, которое слишком явственно высказывалось в поведении профессорши. Все возрастающая нежность восторженного эстетика была мне неприятна и даже докучна. Я обратился к моему старому времяпрепровождению и стал шнырять по комнате. И как раз, когда профессор в высочайшем экстазе громко воскликнул: «Божественная, величественная, небесная фемина, о, дай мне...», я пританцевал к нему на задних лапах и аппортировал ему преизящно и, как всегда при выполнении этого фокуса, чуть-чуть виляя обрубок хвоста, прекрасную мужскую перчатку апельсинового цвета, которую я обнаружил под софой госпожи профессорши. Профессор очумело уставился на перчатку и воскликнул, как бы внезапно пробуждаясь от сладкого сна: «Что это? Кому принадлежит эта перчатка? Как она попала в эту комнату?» — С этими словами он взял перчатку у меня из пасти, осмотрел ее, поднес ее к носу и затем опять воскликнул: «Откуда эта перчатка? Летиция, скажи, кто у тебя был?» — «Какой ты странный сейчас, милый Лотарио, — ответила очаровательная, верная Летиция неуверенным тоном, столь свойственным дамам, попавшим в затруднительное положение, — кому же может принадлежать эта перчатка? Здесь была майорша, и, прощаясь, она все никак не могла найти перчатку, она полагала, что потеряла ее на лестнице». «Майорша? — воскликнул профессор, совершенно выйдя из себя. — Маленькая хрупкая женщина, вся рука которой войдет в этот вот большой палец! Ад и сто тысяч дьяволов, что за шикарный господин тут побывал? Потому что эта проклятая штукавина пахнет душистым мылом! Несчастливая, кто был здесь, что за преступный адский обман разрушил мое счастье и мой покой? О, опозоренная, о, нечестивая женщина!»

Профессорша тотчас же сочла необходимым лишиться чувств, как вдруг вошла горничная, и я, обрадованный возможностью избавиться от роковой семейной сцены, поводом к которой послужил я сам, быстро выскочил из комнаты.

На следующий день профессор будто совершенно онемел и выглядел всецело погруженным в себя, казалось, что его занимает единственная мысль. «А что, если это он!» Таковы были слова, которые время от времени невольно срывались с его уст. Под вечер он взял шляпу и трость, я выпрыгнул и радостно залаял, он посмотрел на меня долгим взглядом, светлые слезы выступили у него на глазах, и он произнес тоном, исполненным глубочайшей внутренней печали: «Мой милый Понто! Верная, честная душа!» Затем он быстро выбежал из ворот, и я увязался за ним, твердо решив развеселить бедного моего хозяина всеми средствами, какие только имелись в моем распоряжении. Почти у самых ворот нас встретил барон Алквиад фон Випп на великолепном английском жеребце. Как только барон увидел профессора, он, сделав искусный курбет, подскочил к нему и осведомился о том, как поживает профессор, а также о том, как поживает супруга господина профессора. Профессор в полнейшем смятении чувств, заикаясь, выдал из себя несколько невразумительных слов.

«И в самом деле необыкновенно жаркая погода!» — проговорил барон и, вытащив из кармана сюртука шелковый платочек, вытащил, однако, тем же движением перчатку, которую я, по привычному для меня обыкновению, тотчас же поднес моему хозяину. Профессор стремительно вырвал у меня перчатку и воскликнул: «Это ваша перчатка, г-н барон?» «Безусловно моя, — ответил этот последний, удивленный порывистостью профессора, — полагаю, я выронил ее из кармана фрака, и услужливый пудель поднял ее». «Таким образом, я, — сказал профессор резким тоном, вручая барону перчатку, найденную им, профессором, под софой в комнате профессора, — имею удовольствие вручить вам близнеца той самой перчатки, которую вы вчера изволили потерять».

Не дожидаясь ответа от явно уязвленного барона, профессор дикими скачками удалился восвояси.

Я, конечно, остерегся последовать за профессором в комнату его дражайшей половины, так как предчувствовал бурю, которая вскоре, захлестывая и самые сени, разыграется здесь. Но, притаившись в углу в сенях, я стал прислушиваться и был свидетелем того, как профессор, чья пунцовая физиономия еще более побагровела от ярости, вышвырнул горничную из комнаты, когда же она еще попыталась сказать несколько дерзких слов, выставил ее из дома.

Наконец, поздно ночью профессор, совсем измученный, пришел в свою комнату. Я дал ему понять свое глубочайшее участие в его горестном злополучии, тихонько заскулив. Тогда он обнял меня и прижал к груди, как если бы я был его лучшим задушевым другом. «Милый, порядочный Понто, — сказал он совершенно жалостным тоном, — о, верная душа, ты, ты один пробудил меня от бездумного сновидения, которое не давало мне возможности распознать свой позор, ты привел меня к тому, что я сбросил ярмо, которое надела на меня эта лживая женщина, так что я снова могу стать свободным, независимым человеком, — как мне тебя за это благодарить! Нет, никогда ты не должен меня покидать, я стану нежить и холить тебя, как моего лучшего, драгоценнейшего друга, ты один будешь утешать меня, когда я стану отчаиваться из-за моей жестокой судьбы».

Эти трогательные излияния благородной и благодарной души прервала своим появлением кухарка, которая, бледная и расстроенная, ворвалась в комнату и принесла профессору ужасную весть, что госпожа профессорша лежит в страшнейших судорогах и вот-вот отдаст богу душу. Профессор сбежал вниз.

Несколько дней подряд я почти не видел профессора. Мое кормление, о котором прежде заботился сам хозяин, было теперь передоверено кухарке, ворчливой и гадкой особе. Она с явным отвращением швыряла мне вместо прежних вкусных блюд только какие-то жалкие, почти несъедобные объедки. Порой она и вовсе забывала о моем существовании, так что я бывал вынужденным побираться у знакомых и даже отправляться на охоту, чтобы только утолить терзавший меня голод.

Наконец, однажды, когда я, голодный и вялый, с повисшими ушами, слонялся по дому, профессор обратил на меня некоторое внимание. «Понто, — воскликнул он с улыбкой, ибо вообще лицо его сияло, как ясное солнышко. — Понто, мой старый, честный пес, куда же ты запропастился? Я же ведь так давно тебя не видал! Я думаю даже, что ты оказался в таком запущенном состоянии, совершенно против моей воли, тебя, видно, и кормили прескверно? Ну, иди, иди сюда, нынче я опять накормлю тебя из собственных рук».

Я последовал за добрым господином в столовую. Госпожа профессорша, расцветшая, как роза, вышла ему навстречу с таким же точно, как у ее благоверного, необыкновенно сияющим лицом. Оба были куда нежнее друг с другом, чем когда-либо прежде, она называла его «дусиком-ангелочком», он же ее именовал «моей мышкой», и при этом они осыпали друг друга ласками, ворковали и целовались, как голубок и горлица. Истинной радостью было глядеть на это. Да и со мной милая госпожа профессорша была учтива, как никогда, и ты можешь вообразить себе, дружище Мурр, что я, с моей врожденной галантностью, старался вести себя любезно и изящно. Кто бы мог предполагать, что мне было суждено судьбою! Мне самому даже нелегко было бы рассказать тебе в подробностях обо всех этих коварных фокусах, которые разыгрывали со мною мои недруги, чтобы меня погубить, — мне есть о чем рассказать тебе, но это утомило бы тебя!

Я ограничусь тем, что упомяну только кое о чем, что даст тебе верную картину моего злополучного положения. Мой господин имел привычку кормить меня в столовой, в уголке у печи, давая мне сам привычные порции супа, овощей и мяса. Я кушал с такой благовоспитанностью и опрятностью, что на паркете не было ни малейшего жирного пятнышка. Сколь велик был поэтому мой ужас, когда однажды за обедом миска, едва я приблизился к ней, раскололась на сотню кусочков, и жирный бульон щедро хлынул на великолепный паркет. Профессор в гневе накинулся на меня со злобной бранью, и невзирая на то, что профессорша пыталась меня извинить, хотя на ее бледном лице все же можно было прочесть горькую досаду. Она сказала, что если даже эти мерзкие пятна не удастся вывести, то ведь можно отциклевать это место или же вставить новую досочку паркета. Профессор питал глубочайшее отвращение к такого рода починкам, он уже слышал, как подмастерья столяра строгают и стучат молотками, и, таким образом, ласковые извинения профессорши заставили его впервые прочувствовать всю мою мнимую неловкость и принесли мне помимо вышеупомянутых бранных слов еще пару крепких пощечин. Я стоял там в полном сознании своей невинности, совершенно сбитый с толку, и вовсе не знал, что и думать, что и говорить. Только тогда, когда подобное происшествие случилось со мной два-три раза, я заметил, в чем тут все коварство! Мне начали ставить полуразбитые мисочки, которые при легчайшем прикосновении непременно разбивались вдребезги. Мне не позволяли больше оставаться в комнате, а за ее пределами я по-

лучал еду от кухарки, но в таких ничтожных количествах, что, побуждаемый гложущим голодом, вынужден был жадно хватать то кусочек хлеба, то какую-нибудь косточку. Из-за этого всякий раз возникал отчаянный шум, и мне приходилось терпеливо сносить упреки в воровстве там, где речь могла идти разве что об удовлетворении настоятельнейших природных потребностей. Затем стало еще хуже! С ужасным криком кухарка пожаловалась однажды, что у нее из кухни исчезла прекрасная баранья ножка и что, конечно, стащил ее именно я! Как весьма важное домашнее происшествие, дело дошло до самого профессора. Тот сказал, что прежде он никогда не замечал во мне склонности к хищениям и что шишка воровства у меня также отнюдь не развита. Да и весьма, мол, маловероятно, чтобы я управлялся с целой бараньей ногой так, чтобы от нее более не обнаружилось никаких следов. Начались поиски и—на моей подстилке нашли остатки бараньей ноги! Мурр! Взгляни сюда, с лапой на сердце клянусь тебе, что я был совершенно неповинен в этом, что мне никогда и в голову не приходило красть жаркое, но чем могли помочь все мои уверения в полнейшей невинности тут, когда вещественное доказательство говорило против меня! Профессор озлобился тем более, что он стал, было, на мою сторону и так обманулся при этом в своем добром мнении обо мне. Я получил здоровую порцию колотушек. Если профессор после этого давал мне почувствовать отвращение, которое я в нем вызывал, то госпожа профессорша была тем дружелюбней ко мне, чем злее ее супруг,—она даже гладила меня по спине, чего никогда прежде не делала, и даже время от времени подбрасывала мне добрый лакомый кусочек. Ну, как я мог предполагать, что все это было лишь лицемерным обманом, и все-таки это вскоре выяснилось! Двери столовой были открыты нараспашку, желудок мой был пуст, и я со страстной печалью глядел туда и с болезненным чувством вспоминал о тех добрых временах, когда я, едва только распространялись сладостные ароматы жаркого, не напрасно начинал взирать с мольбой на господина профессора и при этом, как это говорится, даже нарочито принохивался. И вот тогда-то профессорша, восклицая «Понто! Понто!», ловко протягивала мне аппетитный кусочек баранины, зажатый ею между нежным большим пальцем и миловидным указательным; очень возможно, что в энтузиастическом порыве возбужденного аппетита я схватил кусок с большей, чем именно следовало, жадностью, но я не укусил эту нежно-лилейную руку, ты уж поверь мне, я не лгу, милый Мурр. И все-таки профессорша громко воскликнула: «Злюка-пес!» и упала, как бы потеряв сознание обратно в кресло, и я, к моему великому ужасу, увидел несколько капель крови на большом пальце профессорши. Профессор пришел в безумную ярость, он побил меня, даже стал пинать меня злобно, он обращался со мной с такой жестокостью, что я, пожалуй, не сидел бы здесь с тобой, мой милый котик, на парадном и не грелся бы на солнышке, если бы не спасся бегством из дому! О возвращении нечего было и думать. Я не мог не видеть, что я не смогу ничего предпринять против коварных замыслов профессорши, ведь всему виной была жажда

мести за злополучную перчатку барона, — и решил немедленно пуститься на поиски нового хозяина. Прежде это было не слишком трудным, учитывая прекрасные дары, которыми наградила меня столь добрая ко мне Мать-Природа. Однако голод и грусть довели меня до такого жалкого состояния, что я при ставшей столь мизерабельной наружности на самом деле должен был страшиться того, что везде буду наткаться на отказ. Печальный, терзаемый настоятельной необходимостью безотлагательно раздобыть себе пропитание, я прокрался за ворота. Я увидел господина барона Алквиада фон Випп, который шел передо мной, и, уж не знаю как, но мне пришла в голову мысль предложить ему свои услуги. Быть может, это было темное, необъяснимое предчувствие, что таким образом мне предстанитсл случай отомстить неблагодарному профессору, как это впоследствии в самом деле и случилось. Я подтанцевал на задних лапах к барону, подождал, когда он приблизится ко мне, увязался за ним, когда он стал рассматривать меня, и с некоторым даже удовольствием без долгих разговоров последовал за ним вплоть до самого его дома. «Взгляните, Фридрих, — сказал он молодому человеку, которого он называл своим камердинером, невзирая на то, что у него больше не было никаких других слуг, — что это за пудель, который, можно сказать, сам нашелся. Если бы он только был поприманней!» Фридрих, однако же, весьма похвалил выражение моей физиономии, а также изящество моей фигуры и сказал, что мой хозяин, должно быть, прескверно со мной обращался, видимо, оттого я его покинул. Он прибавил к этому, что пудели, которые по собственной охоте отыскивают себе хозяина, обычно бывают верными, порядочными животными; таким образом, барон не мог отказаться от того, чтобы удержать меня при себе. Невзирая на то, что я теперь вследствие забот и попечения Фридриха приобрел весьма гладкий вид, мне казалось все же, что барон был обо мне невысокого мнения и только вынужден был терпеть, что я сопровождаю его на прогулках. Это положение должно было измениться. На одной из прогулок мы встретили профессоршу. Узнай, милый Мурр, приятнейший характер, да, именно так я хочу выразиться, порядочного пуделя, — когда я заверю тебя в том, что, несмотря на то, что эта женщина причинила мне много зла, я испытал истинное счастье, когда вновь увидел ее. Я плясал перед ней на задних лапах, весело лаял и давал ей понять, что я ей очень рад — всеми возможными для меня способами. «Смотрите, — да это Понто!» — воскликнула она, погладив меня и весьма многозначительно взглянув на господина барона фон Випп. Я прыгнул обратно к моему хозяину, который меня приласкал. Казалось, ему пришла в голову какая-то особенная мысль; не раз в этот день он бурчал себе под нос: «Понто! Понто, ах, если бы это было только возможно!»

Мы достигли расположенного поблизости увеселительного сада, профессорша заняла место в кругу своих знакомых, однако рядом с ней не было милого, благодушного господина профессора. Неподалеку от нее уселся барон Випп, так что он, не обращая на себя особого внимания

окружающих, мог все время следить за профессоршей. Я стал перед моим господином и глядел на него, тихо виляя хвостом, как бы ожидая от него дальнейших приказаний. «Понто, — повторил он, — ах, Понто, да неужели же это возможно! Что ж, — прибавил он после недолгого молчания, — попробуем!» С этими словами он вытащил из бумажника маленькую полоску бумаги, написал на ней карандашом несколько слов, свернул бумажку, сунул ее мне под ошейник, указал на профессоршу и негромко сказал: «Понто, allons!» * Я не был бы таким мудрым, наученным житейским опытом пуделем, каким я в действительности являюсь, если бы я тотчас не угадал все его намерения. Поэтому я сразу же отправился к столу, за которым сидела профессорша, и сделал вид, будто я испытываю величайшее желание отведать вкуснейшее пирожное, которое стояло перед ней на столе. Профессорша была само радушие, она дала мне пирожное одной рукой, в то время как другой пощекотала меня по шее. Я чувствовал, что она вытащила из-под ошейника полоску бумаги. Вскоре она покинула общество и отправилась в боковую аллею. Я последовал за ней. Я видел, как она жадно читала записку барона, как из своей шкатулочки для рукоделия она извлекла карандашик и на той же записочке написала несколько слов, а затем снова свернула ее. «Понто, — сказала она затем, оглядев меня плутовато, — Понто! Ты будешь очень умным и благоразумным пуделем, если ты отнесешь это куда следует!» Затем она сунула мне записочку под ошейник, и я не преминул помчаться к своему хозяину. Тот тотчас же понял, что я приношу ответ, ибо сразу же вытащил записку из-под моего ошейника. Слова профессорши, должно быть, звучали очень утешительно и приятно, ибо глаза барона сверкали от радости, и он воскликнул в восторге: «Понто, Понто, ты великолепный пудель, моя добрая звезда привела тебя ко мне!» Ты понимаешь, конечно, милый Мурр, что я был обрадован не менее его, ибо предвидел, как, после того что только что произошло, я высоко поднимусь в глазах благосклонного моего хозяина.

Чрезвычайно обрадовавшись, я почти без всяких требований с чьей бы то ни было стороны стал проделывать всевозможные фокусы. Я разговаривал по-собачьи, умирал, оживал снова, пренебрегал куском белого хлеба из рук иудея и пожирал с аппетитом тот, который мне протягивал христианин и т. д. «Необычайно понятливый пес!» — воскликнула одна старая дама, которая сидела рядом с профессоршей. — «Необычайно понятлив!» — подхватил барон. «Необычайно понятлив» — эхом откликнулся голос профессорши. Я хочу тебе только совсем сжато рассказать, милый Мурр, о том, что я непрерывно обеспечиваю переписку на подобный лад и еще теперь обеспечиваю, так как я порою бегаю с письмецом даже в профессорский дом, как раз тогда, когда сам господин эстетик отсутствует. Порою, когда в вечерних сумерках господин барон Алквиад фон Випп прокрадывается в покои божественной Летиции, я остаюсь на

* Вперед (фр.).

страже у дверей дома, готовый поднять, ежели увижу маячащего вдали господина профессора, такой яростный визг, шум и лай, что мой господин столь же прекрасно, как я, ощущает приближение неприятеля и уклоняется от встречи с ним.

Мне показалось, что я не могу вполне одобрить поведение юного Понто, я подумал об усопшем Муции, о моем собственном глубоком отращивании к любому ошейнику или ленте на шее, и это одно уже сделало для меня совершенно ясным, что честная душа, такая, какую скрывает в своей груди добропорядочный кот, отвергает подобного рода амурное сводничество; все это я, совершенно не кривя душой, и выложил юному Понто. Однако тот рассмеялся мне в лицо и сказал, что неужели мораль кошек так уж строга и разве мне самому не приходилось разок-другой сходить со стези добродетели — то есть совершать что-либо, что оказывалось слишком широко для той узенькой морали, которая вся способна уместиться в выдвижном ящике письменного стола. Я подумал о Мине и смолк.

— Во-первых, милый мой Мурр, — продолжал Понто, — это же совершенно общая, вульгарная истина, основанная на житейском опыте, что от судьбы не уйдешь, как там ни вертись! Ты можешь как высокообразованный кот прочесть об этом в весьма поучительной и чрезвычайно стильной книжке под заглавием «Jacques le fataliste»*. Разве не было определено от века, что профессор эстетики, господин Лотарио, должен был стать... — ну, да ты понимаешь меня, милый котик, но к тому же профессор должен был стать украшенным рогами, хотя бы уже из-за того, как он вел себя в престранной истории с перчаткой... кстати, история эта стоит того, чтобы придать ей широкую огласку. — Напиши-ка что-нибудь об этом, Мурр; итак, тем, как он вел себя в этой истории, он доказал свое от природы назначенное ему призвание или предназначение — вступить в тот великий орден, знаки которого такое великое множество мужей носят с необычайным достоинством, с прекраснейшей благопристойностью, сами того не ведая. Призвание это господин Лотарио все равно исполнил бы, даже если бы не существовало никакого барона Алквиада фон Виппа, никакого пуделя Понто. Но разве вообще господин Лотарио заслужил от меня чего-либо другого, лучшего, чем то, что я бросился в объятья именно его заклятого врага? Затем и барон, несомненно, также нашел бы иные средства, чтобы столкнуться с профессоршей, и тот же самый позор пал бы на голову профессора, не принеся мне ни малейшей пользы, а ведь пользу эту я теперь явно получаю от приятной связи господина барона с божественной Летицией. Мы, пуделя, вовсе не такие уж моралисты, чтобы, так сказать, растравлять свои собственные раны и пренебрегать аппетитными кусочками — ведь их не так уж много перепадает на нашу долю!

* «Жак-фаталист»⁴ (фр.).

Я спросил у юного Понто: неужели же выгоды, которые дает ему его служба у барона Алкивиада фон Випп, и впрямь настолько велики, что они перевешивают все то неприятное, что присуще неразрывно связанному с этими выгодами холопству?! Тем самым я весьма недвусмысленно дал ему понять, что именно это холопство всегда должно остаться совершенно отвратительным и абсолютно неприемлемым для кота, в чьей груди пламенует неугасимое стремление к вольности.

— Ты говоришь, милый Мурр, так, — возразил Понто, надменно улыбаясь, — как ты это понимаешь или, скорее, как тебе это видится сквозь призму твоей полнейшей неопытности по части высших житейских взаимоотношений. Ты не ведаешь, что это значит: быть в фаворе у такого галантного и благовоспитанного человека, каким на самом деле является барон Алкивиад фон Випп. Ибо то, что с тех пор, как я повел себя с таким умом и с такой готовностью услужить, я сделался его величайшим любимцем, мне, пожалуй, даже не требуется тебе объяснять о, мой вольнолюбивый котик! Краткое описание нашего образа жизни позволит тебе очень живо ощутить все то приятное и благодетельное, что заключено в моем нынешнем положении. Поутру мы (то есть — я и мой господин) встаем не слишком рано, но также и не слишком поздно, а именно когда пробьет одиннадцать. Мне следует при этом заметить, что мое просторное белое ложе находится неподалеку от постели барона и что мы храпим до того гармонично, что при внезапном пробуждении совершенно невозможно заключить, кто именно из нас храпел?! Барон звонит, и тотчас же является камердинер, который приносит барону чашку благоухающего шоколада, а мне — фарфоровую миску, полную прекраснейшего сладкого кофе со сливками, которую я опустошаю с таким же аппетитом, как барон свою чашку. После завтрака мы с полчаса играем друг с другом, каковые телодвижения не только приносят пользу нашему здоровью, но и веселие нашим душам. В хорошую погоду барон обычно благоволит глядеть в открытое окно и лорнировать прохожих. Если прохожих не слишком много, то имеется другое развлечение, которому барон может предаваться целый час, не уставая. Под окном барона находится булыжник мостовой, отличающийся особенным, красноватым оттенком. В середине же этого камня имеется маленькая искрошенная дырка. Благодаря неоднократным длительным упражнениям барон добился того, что попадает в дырку с третьего плевка, и уже выиграл не одно пари. После этого развлечения наступает очень важный момент одевания. Хитроумное причесывание и завивку волос и в особенности же искуснейшее завязывание галстука барон осуществляет сам, без какой бы то ни было помощи камердинера! Так как обе эти трудные операции все же чрезвычайно продолжительны, то камердинер Фридрих использует это время, чтобы одеть меня. Так, он моет мне шерсть мягкой губкой, смоченной в теплой воде, причесывает длинные волосы, которые куафер в соответствующих местах заставил красиво стоять. Фридрих проделывает все это особым частым гребнем, а засим надевает на меня красивый серебряный ошейник, кото-

рым барон удостоил меня сразу же, как только обнаружил мои добродетели. Следующие часы посвящены изящной словесности и прочим изящным искусствам. А именно: мы идем в ресторацию или в кофейню, вкушаем бифштекс или карбонат, осушаем стаканчик мадеры и немножко просматриваем свежие журналы и газеты. Затем начинаются предобеденные визиты. Мы посещаем кое-каких великих актрис, певиц и пожалуй даже танцовщиц, чтобы рассказать им новости, особенно же о том, как проходил чей-нибудь дебют вчера вечером. Удивительно занятно, с какой ловкостью барон Алквиад фон Випп умеет изложить свои новости, чтобы поддержать своих дам в хорошем настроении. Никогда ни противнице, ни, по крайней мере, сопернице не удавалось присвоить себе хоть часть славы, которая венчает ту обожаемую им даму, которую он как раз посещает в ее уединенном будуаре. Несчастную соперницу высмеяли и осvistали! Если же барону не удается умолчать о том, что на самом деле эта соперница выступала с блестящим успехом, то барон умеет так замечательно сервировать новейшие скандальные истории об упомянутой даме, которые столь же жадно выслушиваются, сколь и широко распространяются, с тем чтобы соответствующий яд преждевременно умертвил цветы ее венка. Визиты в более знатном кругу, т. е. у графини А., у баронессы В., у посланницы С. и т. д., заполняют время до половины четвертого, к этому времени барон обделяет все свои неотложные делишки, так что в четыре часа дня барон, успокоенный, садится за стол. Это совершается обычно опять-таки в какой-нибудь ресторации. Отобедав, мы идем в кафе, играем иногда партию в бильярд и проделываем затем, если погода благоприятствует, небольшой променад; я всегда пешком, барон же иногда верхом. Наступает час спектакля, который барон никогда не пропускает. Он непременно должен в театре играть чрезвычайно важную роль, так как не только осведомляет публику обо всех закулисных взаимоотношениях и прочих подробностях жизни выступающих актеров, но также и распределяет надлежащую хвалу и хулу, дабы вообще хороший вкус не выбивался из должной колеи. К такого рода занятиям он чувствует естественное призвание. Так как даже и утонченнейшим представителям моего племени, как правило, не разрешают входить в театр, то часы спектакля — это единственная пора, когда я разлучаюсь с моим бароном и развлекаюсь один, так сказать на собственный страх и риск. Как именно это происходит и как я использую свои связи с левретками, английскими легавыми и другими знатными особами, это ты скоро узнаешь, мой любезный Мурр! — После театра мы опять-таки ужинаем в ресторации, и барон в веселом обществе предается капризам своего благодушного настроения, то есть все говорят наперебой, и все смеются, и все присутствующие находят всё, как есть, — кланюсь честью, божественным! — и никто не знает, что он говорит и над чем он смеется и что следует превозносить, но в том-то как раз и состоит вся утонченная суть светского разговора, вся общественная жизнь тех, которые исповедуют вероучение эlegantности, подобно моему хозяину. Порой

также и мой барон ездит, видимо, уже поздно ночью, в то или иное общество, и, должно быть, он и там совершенно неподражаемо великолепен. Но об этом я ничего не знаю, так как барон еще ни разу не захватил меня с собой, на что у него, возможно, имеются свои важные соображения. О том же, как я сплю на своей мягкой перинке, неподалеку от барона — я тебе уже рассказал. Итак, суди теперь сам, милый кот, вправе ли мой старый брюзгливый дядюшка приписывать мне распутное и непристойное поведение, в то время когда я веду такой воистину примерный образ жизни? Впрочем, я тебе уже признавался, что некоторое время назад я действительно давал повод ко всякого рода справедливым упрекам. Я шлялся где ни попало, в прескверном к тому же обществе, и находил необычайную приятность в том, чтобы втираться повсюду непрощенным, в особенности же на свадебные пирушки, и затевать совершенно ненужные скандалы. Все это происходило, однако, отнюдь не из чистой склонности к диким дракам, но попросту из-за некоторого недостатка высшей культуры, которую я в условиях, сложившихся под профессорским кровом, безусловно не мог приобрести. Теперь же это все в корне изменилось. Однако! Кого я вижу? Вон идет барон Алкивиад фон Випп! Он озирается, он ищет, где я, — он свистит! *Au revoir* *, мой дорогой!

Понто молниеносно бросился наперерез своему господину. Внешность барона вполне соответствовала тому образу, который возник перед моими духовными очами на основании всего того, что Понто мне о нем поведал. Барон Алкивиад фон Випп был сверхъестественно долговяз и не столько строен, сколько веретенообразен. Одежда, осанка, походка, жесты — все у него было по самой последней моде, однако доведенной до поистине фантазмагорического абсурда, и это придавало всему его облику нечто странное, чудаческое и даже скандальное. В руках он вертел коротенькую тоненькую тросточку со стальной ручкой. Через эту тросточку он несколько раз заставил перепрыгнуть юного Понто. Сколь ни унижительными и недостойными показались мне эти прыжки, я все-таки вынужден был признать, что пудель Понто сочетал теперь с величайшей ловкостью и силой также и удивительную прелесть, которой я никогда прежде в нем не замечал. Вообще же, когда теперь передо мной барон, выпятив грудь и втянув живот, выступал престранным широким окоченело-петушиным шагом и шествовал дальше, а пудель Понто, выделявая весьма изящные курбеты, прыгал то перед бароном, то рядом с ним, разрешая себе при этом лишь очень короткие, а отчасти даже и надменные кивки пробегающим мимо своим сотоварищам, то в этом всем высказывалось некое Нечто, которое, хотя и оставалось для меня не вполне ясным, но все же весьма мне импонировало. Я лишь отчасти понимал, что разумеет мой друг Понто под словами «высшая культура», и старался насколько возможно добиться полной ясности в этом вопросе. Это было,


* До свиданья (фр.).

однако, необычайно трудным делом. Или, вернее сказать, мои усилия остались совершенно тщетными.

Впоследствии я постиг, что об известные предметы, как о камень преткновения, спотыкаются все проблемы, все теории, которые формируются в нашем разуме. Все они оказываются напрасными и неприменимыми, и только в живой, практической деятельности мы начинаем познавать их толком. *Высшая культура*, которой оба они — барон Алквиад фон Випп и пудель Понто — набрались в элегантном обществе, принадлежит, должно быть, к числу этих некоторых предметов.

Барон Алквиад фон Випп, проходя мимо, лорнировал меня самым пристрастным образом. Мне показалось, что я читаю в его взоре любопытство и гнев. Быть может, он заметил, как Понто беседовал со мной, и взирает теперь на наши отношения весьма неблагоприятно?

Я, по правде сказать, немного оробел и мгновенно бросился ввех по лестнице. Теперь мне следовало бы, дабы выполнить все обязанности дельного автобиографа-мемуариста, опять-таки описать мое душевное состояние. Я, пожалуй, не смогу это сделать лучше, чем посредством нескольких изящно-утонченных стихотворений, которыми я с некоторых пор, как говорится, сыплю не глядя. Мне хочется, однако...

 (Мак. л.):.. с этой глупой, никчемной игрушкой растратил лучшие годы жизни. И вот теперь ты жалуешься, старый сумасброд, и клянешь судьбу, которой ты дерзко, надменно противился. Какое тебе дело было до знатных особ, какое тебе дело было до всего света, — ведь ты высмеивал этот свет, который ты считал глупым, а сам был глупее всех! Ремеслом, ремеслом тебе следовало заниматься, строить органы и не корчить чудодея и оракула! Они не похитили бы ее у меня, моя жена была бы со мной, заправский ремесленник, я сидел бы в своей мастерской и плечистые подмастерья стучали бы и гремели молотками вокруг меня, и мы создавали бы такие творения, которые радовали бы слух и глаз, как никакие другие, — и широко прославили бы нас. И Кьяра! — быть может, резвые мальчишки цеплялись бы мне за шею, быть может, я качал бы на коленях хорошенькую дочурку! Тысяча дьяволов, что удерживает меня от того, чтобы не умчаться отсюда в сей же миг и не отправиться искать утраченную жену по всему далекому и широкому свету!». С этими словами маэстро Абрагам, — а это именно он вел этот разговор с самим собой, — швырнул начатый им маленький автомат под стол, вскочил и яростно забегал из угла в угол. Его теперь почти никогда не покидала мысль о Кьяре, и эта мысль вызывала в его душе совершенно безысходную, болезненную тоску, и точно так же, как тогда, с Кьярой началась его высшая жизнь, так и теперь его никогда не покидало то строптивое, происшедшее из рутинного порядка, неудовольствие и нежелание понять то, что он давно уже смотрит вдаль, за пределы ремесла, и давно уже творит истинное искусство. Он раскрыл книгу Северино, и взор его надолго припал к чертам божественной Кьяры. Подобно лунатику, который, будучи лишен на время внешних чувств, дей-

ствует автоматически, подошел маэстро Абрагам к своему сундуку, который стоял в одном из углов комнаты, снял с него и положил на пол книги и вещи, которыми он был завален, отворил его, вынул стеклянный шар и всю аппаратуру для эксперимента с невидимой девушкой, укрепил этот шар на тонкой шелковой нити, свисавшей с потолка, расставил в комнате все так, как это было нужно спрятанному оракулу. Лишь закончив со всем этим, он пробудился от своей мечтательной отрешенности и немало был поражен тем, что сделал. «Ах, — громко запричитал он тогда, совершенно измученный и безутешный, падая в кресло, — ах, Кьяра, бедная, утраченная Кьяра, никогда уже я не услышу вновь твой сладостный голос, возвещающий то, что заключено в глубочайших глубинах души человеческой. Нет мне больше на свете утешения, нет у меня другой надежды, кроме могилы!

И вдруг стеклянный шар заколыхался и послышался мелодичный звук, нечто вроде веяния легкого ветерка под струнами арфы. И вскоре звуки превратились в слова:

Разве это эпилог?
Иль надежды расточились?
Или клятвы омрачились?
В скорби — радости залог!
Мастер мудрый и пытливый,
Я тебя не узнаю!
Сердце Многотерпеливой
Исцелит печаль твою!

— О, ты, милостивое небо, — прошептал старик трепещущими устами, — это она сама, она говорит со мной, снизойдя ко мне с высоты небесной, стало быть, ее уже нет среди нас, живых! И тут вновь послышался все тот же мелодический звук, и еще тише, еще отдаленнее зазвучали слова:

В чьей душе любовь жива,
Смерть того унести не может;
Вяжет Вечер кружева
Тем, чье сердце Утро гложет!
Час пробьет — и подытожит
Жизнь, мелькнувшую едва;
Смелый — сам себе поможет:
Воля неба такова!

Усиливаясь и вновь ослабевая, сладостные звуки навевали дремоту, которая окутала старика своей черной пеленой. Но в темноте взмошел, мерцая, как волшебная звезда, сон былого счастья, и Кьяра вновь лежала на груди маэстро, и они оба снова были молоды, и никакой злобный дух не в силах был омрачить чистое небо их любви!

(Здесь издатель должен обратить внимание благосклонного читателя на то, что кот снова начисто выдрал несколько макулатурных листов, благодаря чему в этой истории, полной пробелов, возник еще один пробел.

По нумерации страниц выходит, однако, что недостает всего лишь восьми столбцов, в которых, должно быть, не содержалось ничего особенно важного, так как абзацы, следующие за пробелом, в общем вполне увязываются с предшествующими пробелу. Итак, дальше следует такой текст):

... не вправе был ожидать. Князь Ириней был вообще решительный враг всяких необыкновенных случаев, в особенности ежели в эти события вплеталась его собственная персона, он отнюдь не склонен был в подобных случаях исследовать дело повнимательнее.

Посему он взял из табакерки, как обычно поступал в подобных критических случаях, двойную понюшку, уставился на лейб-егеря своим прославленным всеистребляющим фридриховским взором и молвил: «Лебрехт, я полагаю, что мы превращаемся в беспробудных лунатиков и видим призраков и вообще натворили необычайно много совершенно излишнего шума?»

— Ваша светлость, — спокойно возразил лейб-егерь, — вы можете выгнать меня в шею, как самого заурядного негодяя, ежели все, что я говорю, не чистойшей правда, и если все не происходило именно так, как я вам это рассказал. Я повторяю это — откровенно и смело: Руперт — законченный негодяй!

— Как, — воскликнул князь в превеликом гневе, — как, Руперт, мой старый верный кастеллан, который полвека прослужил княжескому дому, ни разу не допустив, чтобы, скажем, заржавел замок, а также не допускал и мысли о том, чтобы манкировать отпиранием и запираанием, так неужели же он законченный негодяй? Лебрехт! Да вы одержимы, вы спятили, должно быть! Сто тысяч прокля...

Князь запинаясь как всегда, когда он ловил себя на том, что начинает браниться, что шло в разрез со всеми правилами сиятельной благопристойности. Лейб-егерь использовал это мгновение, чтобы с крайней поспешностью вернуть в разговор свое слово: «Ваша светлость, вы, конечно, будете теперь совершенно разгорячены и к тому же вспыльчивы, и бранитесь и клянете все на свете, хотя это и некрасиво, но все-таки я никак не смогу умолчать об этом, ведь, что ни говорите, это чистойшей правда!» «Кто горячится? — сказал князь сдержанней, — кто вспыльчив, кто бранится? Ослы бранятся! Я хочу, чтобы вы мне все повторили, как было дело, только коротко и ясно, с тем, чтобы я на тайном заседании мог все это пересказать моим советникам для пристойного обсуждения и решения — какие же в дальнейшем следует принять меры по этому поводу. Ежели Руперт и в самом деле негодяй, ну что ж, впрочем, там видно будет!

— Как уже сказано, начал лейб-егерь, — когда я вчера освещал до-

рогу фрейлейн Юлии, тот самый человек, который здесь давно уже бродит перед нами, проскользнул совсем под моим носом. Стой, — подумал я про себя, — обязательно надо изловить этого прохвоста и, доведя милую барышню доверху, погасил свой факел и застыл в темноте. Немного времени спустя тот самый человек вылез из кустов и тихо постучался у дверей. Я осторожно прокрался за ним. Дверь отворили, вышла девушка, и вместе с этой девушкой чужак прошел внутрь. Это была Нанни, вы ведь знаете ее, ваша светлость, хорошенькую Нанни, служанку госпожи советницы?

— Соquin *, — воскликнул князь, — с высокими коронованными особами не болтают легкомысленно о каких-то хорошеньких Нанни, но! — продолжайте, продолжайте, mon fils **. «Да, — продолжал лейб-егерь, — это была она самая, хорошенькая Нанни, я никогда бы не подумал, что у нее могут быть такие подозрительные знакомства. Итак, ничего, кроме пустяковой любовной интрижки, подумал я про себя, но я никак не мог примириться с тем, что здесь только амурные шашни и ничего более, — такое мне прямо в голову не лезло! И я остался стоять у самого дома. Тут, довольно много времени спустя, явилась госпожа советница, и едва она вошла в дом, как наверху раскрылось окно и оттуда с необычайным проворством выпрыгнул тот самый чужак, как раз прямо на гвоздики и левкой. Садовник ужасно опечален и проклинает все на свете, он, кстати, стоит сейчас за дверью с разбитыми горшками и хочет самолично пожаловаться вашему сиятельству! Но я его не впустил, потому что этот старый прохвост насосался уже с утра пораньше». «Лебрехт, — прервал князь своего лейб-егеря, — Лебрехт, это кажется мне какой-то подделкой, имитацией, что ли, ибо то же самое происходило уже в опере господина Моцарта, называемой «Женитьба Фигаро», каковую оперу я видел в Праге. Оставайся же верен истине, о, мой егерь!» «Ни словечка, — продолжал говорить Лебрехт, — ни даже полсловечка я не говорю, которого бы я не мог подтвердить под личной присягой! Стало быть, этот парень выпрыгнул из окошка, и я думал было его схватить, но он с быстротой молнии вскочил и помчался во весь опор — куда? Ну что вы думаете, ваша светлость, куда он помчался?» «Я ничего не думаю, — возразил князь торжественно, — не беспокойте меня, егерь, излишними риторическими вопросами о моих помыслах, а рассказывайте все спокойно и осмотнительно вплоть до самого конца рассказа, — вот тогда, когда вы кончите, егерь, я и соизволю думать».

— Прямиком, — продолжал егерь, — в необитаемый павильон помчался этот человек. Да — необитаемый! Как только он постучался у дверей павильона, внутри вспыхнул свет, и тот, кто вышел из дверей на этот стук, был не кто иной, как чистенький, опрятный и высокопорядочный господин Руперт, за которым чужак и проследовал прямо в дом, и Руперт

* Негодяй (фр.).

** Мой сын (фр.).

снова накрепко запер двери. Вот видите, ваша светлость, этот Руперт занят какими-то делишками с бог весть откуда взявшимися опасными гостями, которые при ихнем отчаянном пронырстве непременно замыслили нечто худое! Кто знает, на что все это нацелено, ведь очень даже возможно, что и сам мой сиятельный князь здесь в тихом и спокойном Зигхартсхофе не находится в безопасности— а вдруг ему угрожают дурные люди.

Поскольку князь Ириней считал себя чрезвычайно значительной царствующей особой, то, конечно же, ему множество раз снились гордые сны о всяческих придворных коварствах и прочих злобных каверзах. Посему последнее суждение лейб-егеря тяжким бременем пало на его душу, и он на несколько мгновений погрузился в глубочайшие раздумья. «Егерь, — заговорил он затем, расширив и округлив глаза до полнейшей невозможности, — егерь, вы правы. История с посторонним человеком, с чужаком, который бродит и околачивается здесь, история со светом, который виден в окне необитаемого павильона глубокой ночью, — все это куда опасней и подозрительней, чем может показаться на первый взгляд. Жизнь моя в руке божией! Но я окружен верными слугами, и если бы одному из них пришлось пожертвовать собой ради меня, я непременно щедро награжу семейство его! Итак, распространите же это мое обещание среди моей челяди, добрый Лебрехт! Вам должно быть известно, княжеское сердце чуждо какой бы то ни было боязни и боязливости, всякая свойственная людям боязнь смерти ему опять-таки чужда, однако же мы, монархи, должны выполнять свой долг и свои обязанности по отношению к народу своему, ради народа нашего должны мы беречь себя, тем паче, что наследник престола еще не достиг совершеннолетия. Поэтому я не покину замка моего, пока не будет разоблачен и раздавлен коварный заговор в павильоне. Лесничий с подчиненными ему егерями-объездчиками и всеми прочими чинами лесного округа должен прибыть сюда, все мои люди должны вооружиться до зубов. Павильон следует тотчас окружить, замок запереть, позаботьтесь об этом, добрый Лебрехт. Я сам привяжу к поясу свой охотничий нож, а вы, егерь, зарядите мои двуствольные пистолеты, но не забудьте поставить предохранитель, чтобы ничего такого не стряслось! И чтобы мне немедленно сообщили, как только комната в павильоне будет взята штурмом и таким образом заговорщики окажутся вынужденными сдаться, чтобы я тотчас же смог вернуться во внутренние покои. И потом — чтобы непременно тщательнейшим образом обыскать пленных, прежде чем они предстанут перед моим троном, дабы никто из них — с отчаяния не совершил бы... но, что же вы стоите, как вкопанный? Что же вы так устались на меня? Что же вы улыбаетесь? Что все это значит, милейший Лебрехт?

— Ах, — ответил лейб-егерь, чуть лукаво, — ах, ваша милость, я полагаю только, что это решительно ни к чему — вызывать сюда лесничего со всеми его людьми.

— Почему же это — не надо? — разгневанно осведомился князь, — почему не надо? Мне показалось вдруг, что вы решаетесь мне противоречить? Ведь с каждой секундой опасность возрастает. Тысячу прок... — Лебрехт, мигом на коня, к лесничему — собрать людей — ружья зарядить — пусть выступают сию же минуту!

— Они уже, — сказал лейб-егерь, — они ведь уже здесь, ваша милость!

— Как это — почему это? — воскликнул князь, раскрыв рот, дабы его изумление вдоволь надышалось.

— Уже, — продолжал лейб-егерь, — уже едва рассвело, я побывал у лесничего... Павильон уже осажден, да так старательно, что из него и кошка не выбежит незамеченной, а не то, что человек!

— Вы, — растроганно воскликнул князь, — вы замечательный егерь, Лебрехт, и верный слуга к тому же, верный слуга княжеского дома! Спасите меня от этой опасности, и вы определенно сможете рассчитывать на получение медали за заслугу, медали, которую я сам лично придумую, набросаю, и велю отчеканить из серебра или из золота, в зависимости от того, сколько людей падет при штурме павильона!

— Если вы позволите, ваша милость, — сказал егерь, — мы тут же приступим к делу. То есть, мы вышибем двери павильона, возьмем в плен сволочь, которая там засела, и со всем этим будет покончено. О, да, этого парня, который от меня все время ускользал, того самого, который такой великолепный прыгун, ну, словом, этого проклятувшего субъекта, который забрался в павильон и квартирует там как непрошенный гость, ужо я его, этого негодяя, изловлю, того самого, который так встревожил барышню Юлию!

— Что за негодяй? — спросила советница Бенцон, входя в комнату, — что за негодяй встревожил Юлию? О чем вы говорите, милейший Лебрехт? Князь торжественно, с особым значением, как некто, кто столкнулся с чем-то великим, чудовищным, что он изо всех душевных сил пытается перенести, — прошествовал навстречу Бенцон. Он схватил ее руку, нежно пожал ее и проговорил затем чрезвычайно мягким тоном: «Бенцон! Даже в одиночестве, даже в глубочайшем уединении опасность угрожает жизни государя. Такова уж судьба князей, что вся кротость их, все их добросердечие не в силах защитит их от демона вражды, которую зависть и властолюбие возжигают в груди предателей-вассалов! Бенцон, чернейшее предательство воздымает свою змеиноволосую голову — голову Медузы! — против меня; вы находите меня в величайшей опасности! Но вскоре наступит момент перелома, этому вот верному слуге я, быть может, буду обязан моей жизнью и моим престолом! — если же небо все это решило иначе, — что ж, я предаю себя в руки провидения! Я знаю, Бенцон, вы сохранили свои чувства ко мне, и поэтому я могу, подобно тому королю в трагедии одного немецкого автора, которой принцесса Гедвига недавно испортила мне чаепитие, великодушно воскликнуть: «Не все погибло, ибо вы моя!»⁵ Поцелуйте меня, моя милая Бенцон!

«Драгоценнейшая моя Амальхен, мы были, мы есть и мы останемся прежними! О, милостивый боже, я, кажется, от большого испуга стал молотъ чепуху? Мы должны владеть собой, дорогая моя, когда предатели будут взяты в плен, я испепелю их одним взглядом. — Лейб-егерь, готовьтесь, готовьтесь к штурму!» Егерь тотчас же направился к выходу. «Стойте, — воскликнула Бенцон, — что это там еще за штурм? Какой это павильон вы намерены взять приступом?»

Лейб-егерю пришлось по приказанию князя вновь дать подробный отчет обо всем инциденте.

Слушая рассказ егеря, Бенцон казалась все более и более заинтересованной. Когда он окончил, Бенцон, смеясь, воскликнула: «Ах, да ведь это же забавнейшее недоразумение, какое только могло произойти. Я умоляю, ваша милость, чтобы лесничий со своими людьми был тотчас отслан домой. Ни о каком заговоре нет и речи, ни малейшая опасность не угрожает вам, ваша милость! Неизвестный обитатель павильона уже и так ваш пленник.

— Кто, — спросил князь, исполненный изумления, — кто, какой несчастный живет в павильоне без моего разрешения?

— Это, — тихонько шепнула Бенцон на ухо князю, — это принц Гектор прячется в павильоне!

Князь отпрянул на несколько шагов назад, как будто пораженный внезапным ударом, нанесенным незримой рукой, и затем вскричал: «Кто? Как? Est-il possible*! Бенцон! Не сплю ли я? Принц Гектор?» Взор князя упал на лейб-егеря, который в полнейшем смущении теребил шляпу в руках. . . — Егерь, — крикнул ему князь, — егерь, убирайтесь прочь, лесничий и его люди, все прочь — прочь домой! Чтобы никто не смел показываться, никто не смел попадаться на глаза! Бенцон! — обратился он затем к советнице, — милая Бенцон, вы можете представить себе, что Лебрехт назвал принца Гектора — парнем и негодяем! О, несчастный! Но это останется между нами, Бенцон, это государственная тайна. Скажите же, объясните мне только, как это могло случиться, что принц сделал вид, что уезжает — и спрятался здесь, как будто бы с какой-то авантюрной целью?»

Наблюдения лейб-егеря вывели советницу Бенцон из немалого затруднения. Хотя она и была совершенно убеждена в том, что ей не стоит открывать князю пребывание принца в Зигхартсгофе, либо, что еще хуже, его покушения на Юлию, но дело все же не могло оставаться в таком положении, которое с каждой минутой должно было складываться все более угрожающе для Юлии, да и для всей совокупности дел, которую сама Бенцон с такими трудами поддерживала.

Теперь, когда лейб-егерь выследил убежище принца и тому грозила опасность быть обнаруженным и извлеченным оттуда не очень почетным образом, она была вправе выдать его, не подвергая Юлию опасности.

* Возможно ли это (фр.).

Посему она и объяснила князю, что, видимо, какой-то любовный разлад с принцессой Гедвигой заставил принца сделать вид, что он поспешно уезжает и со своим преданнейшим камердинером спрятаться так близко от возлюбленной своей. Что в этом поступке есть нечто в духе романов, нечто авантюрное — нельзя, конечно, отрицать, но какой любящий не обладает склонностью к такого рода поступкам?! Кстати, камердинер принца очень ревностный поклонник ее Нанни и через эту последнюю ей, советнице Бенцон, и стала известна тайна.

— Ах, — воскликнул князь, — слава богу, что камердинер, а не сам принц пробрался к вам и потом выпрыгнул из окошка прямо на горшки с цветами, словно паж Керубино. Мне уже приходили в голову всякого рода неприятные мысли. Принц — и вдруг — прыгать в окошко — это же решительно никак не вяжется!

— Ах, — возразила Бенцон с лукавой улыбкой, — я ведь знаю одну сиятельную особу, которая отнюдь не пренебрегала дорогой через окно — наружу, когда...

— Вы, — прервал князь советницу, — вы смутите меня, Бенцон, вы попросту приведете меня в замешательство. Умолчим о былых делах, давайте поразмыслим лучше, как поступить теперь с принцем! Любая дипломатия, любые параграфы государственного права, любые придворные обычаи летят ко всем чертям в этом проклятом положении! Должен ли я игнорировать его? Должен ли я по чистой случайности встретиться с ним? Должен ли я? Должен ли я? Голова моя идет кругом, как будто ее уносит какой-то вихрь? Вот что получается, когда сиятельные особы снисходят до таких вот странных романтических проказ!

Бенцон и в самом деле не знала, как уладить дальнейшие взаимоотношения с принцем Гектором. Но из этого затруднительного положения нашелся выход. А именно — еще прежде, чем советница успела ответить князю, вошел старый кастеллан Руперт и вручил князю маленькую, сложенную в несколько раз записочку, заверяя при этом с плутовской усмешкой, что он послан высокой персоной, которую он имел честь весьма неподалеку отсюда держать под замком. «Стало быть, вы знали, Руперт, что...», — сказал князь старику весьма благосклонно. — Что ж, я всегда считал вас порядочным и верным слугой моего семейства, и вы теперь именно таким и оказались, ибо вы, так как это и было вашим долгом, повиновались повелению моего достойного зятя. Я подумаю о том, как наградить вас». Руперт поблагодарил князя в униженнейших выражениях и покинул комнату.

В жизни не так уж редко случается, что какого-либо человека считают особенно порядочным и добродетельным именно тогда, когда он как раз совершает какой-нибудь скверный поступок. Об этом подумала Бенцон, которая знала о наглом покушении принца Гектора много больше, и была вполне убеждена в том, что престарелый лицемер Руперт был посвящен в эту мерзкую тайну.

Князь сломил печать на записке и прочел:

«Che dolce più, che più giocondo stato
Saria, di quel d'un amoroso core?
Che viver più felice e più beato,
Che ritrovarsi in servitù d'Amore?
Se non fosse l'huom sempre stimolato
Da quel sospetto rio, da quel timore,
Da quel martir, da quella frenesia,
Da quella rabbia, detta gelosia.

В этих стихах великого поэта вы, мой государь, найдете причину моего таинственного поведения. Я полагал, что не любим тою, которой поклоняюсь, в которой — вся моя жизнь, все мои порывы и упования, для которой одной жарко пламенеет моя пылающая грудь. О, до чего же я счастлив! Я убедился теперь, что все обстоит иначе, вот уже несколько часов, как я знаю, что я любим, и я выхожу из моего убежища. Любовь и счастье — вот заветный пароль, возвещающий о моем прибытии. Вскоре я смогу приветствовать вас с сыновним благоговением.

Гектор».

Быть может, благосклонному читателю не покажется излишним, если биограф здесь ненадолго оставит в стороне течение событий и вставит в текст свой опыт перевода этих итальянских стихов. Они могли бы звучать в переводе примерно следующим образом:

Когда Любовь возносит нас крылато⁶,
Какое пламя блещет в нашем взоре!
Кто любит так восторженно и свято,
Не дразнит Купидона в тщетном споре;
Но нет на свете злее супостата,
Чем тот, который — с радостью в раздоре
Над нашей задушевностью смеется, --
Злой дух, который Ревностью зовется!

Князь дважды и трижды с чрезвычайным вниманием прочел записку и, чем чаще он читал, тем сумрачней становились морщины на его челе. «Бенцон, — проговорил он, наконец, — Бенцон! Что это такое стряслось с принцем? Стихи, итальянские стихи он посылает сиятельной особе, коронованному тестю, вместо четкого, разумного объяснения? Что же это такое?! В этом нет никакого смысла! Мне кажется, что принц возбужден и экзальтирован совершенно неприличным образом. В стихах говорится, насколько я понимаю, о счастье любви и о муках ревности. Причем тут ревность, хотел бы я узнать у принца; к кому, о праведное небо, может он здесь приревновать? Скажите мне, милая Бенцон, нахо-

дите ли вы в этом клочке бумаги хотя бы проблеск здравого человеческого рассудка?»

Бенцон была уязвлена тайным смыслом, заключавшимся в словах принца, который она, после того, что случилось в ее доме, без труда могла угадать. В то же время она вынуждена была удивиться тончайшему обороту, который придумал принц, чтобы без долгих разговоров выйти из своего убежища. Весьма далекая от того, чтобы хоть незначительнейшим намеком высказать это князю, она все же постаралась извлечь из сложившегося положения вещей всю выгоду, какая только возможна! Крейслер и маэстро Абрагам — это были люди, которые, как она страшилась, нарушат ее тайные планы, против них она готова была применить любое оружие, которое только предоставляла ей судьба. Она напомнила князю о том, что она ему говорила прежде о страсти, которая пылает в груди принцессы. От острого взора принца Гектора, продолжала она далее, не могло ускользнуть настроение принцессы, и точно так же странное экзальтированное поведение Крейслера должно было дать ему достаточный повод, чтобы заподозрить, что между ними существуют какие-то сумасбродные взаимоотношения. Таким образом, вполне убедительно объясняется, почему принц преследовал Крейслера не на жизнь, а на смерть, почему он, думая, что убил Крейслера, избегал горя и отчаяния принцессы, однако потом, узнав о том, что Крейслер здравствует, вернулся, гонимый любовью и тоской, и тайно наблюдал за принцессой. Ни к кому другому, кроме Крейслера, не мог принц Гектор приревновать принцессу, именно к капельмейстеру и относилось чувство ревности, о котором шла речь в стихах принца, и потому-то тем более необходимо и тем более разумно — более не предоставлять Крейслеру возможности пребывать в Зигхартсгофе, поскольку он, как кажется, вместе с маэстро Абрагамом плетет заговор, направленный против всех придворных взаимоотношений.

— Бенцон, — сказал князь чрезвычайно серьезно, — Бенцон, я подумал о том, что вы мне сказали, о недостойных симпатиях принцессы, и не верю теперь ни единому слову из всего этого. Ведь в жилах принцессы струится княжеская кровь.

— Вы полагаете, — стремительно подхватила Бенцон, заалев до самых глаз, — вы полагаете, ваша светлость, что женщина из сиятельного рода способна повелевать, как никакая другая, своим пульсом, самым внутренним трепетом своих чувств?

— Вы сегодня, — с досадой сказал князь, — вы сегодня в очень странном настроении, госпожа советница! Я повторяю, что если в сердце принцессы зародилась какая-то недостойная страсть, то это была всего лишь болезненная случайность, так сказать судорога, — ведь она же страдает спазмами — итак, это была судорога, от которой она очень скоро совершенно оправится! Что же, однако, касается Крейслера, то это весьма забавный человек, которому недостает только надлежащей культуры. Я не могу даже заподозрить его в такой отчаянной дерзости, как

в желании приблизиться к принцессе. Да, он дерзок, но совсем на иной лад! Подумайте, Бенцон, — ведь как раз из-за его странного и чудаческого поведения именно принцесса не имела бы у него успеха, если бы это было, разумеется, мыслимо, чтобы такого рода высокая особа могла спуститься настолько, чтобы влюбиться в него? Ибо, Бенцон, *entre nous soit dit **, — он ведь не такого уж высокого мнения о нас — знатных особах, и это именно и есть то смехотворное и нелепое безрассудство, из-за которого он и не способен пребывать при дворе. Поэтому, пусть он пребывает в отдалении от нас, если же, однако, он вернется, то что ж, он услышит, добро пожаловать от всей души! Ибо, если не довольно того, что он, как я узнал от маэстро Абрагама — да, так вот маэстро Абрагама вы в эту свою игру не впутывайте, Бенцон, заговоры, которые он плетет, всегда оказывались направленными ко благу княжеского семейства... Так что же это я хотел сказать?!.. Да! Но довольно того, что капельмейстер, как говорил мне маэстро Абрагам, вынужден был бежать самым странным образом, невзирая на то, что он был мною радушно принят, все же он является и остается весьма разумным человеком, который меня забавляет, вопреки своему чудаческому поведению, *et cela suffit **!*

Советница застыла от внутренней ярости, что ее версию так холодно отвели. Нисколько не предвидя этого, она, желая легко поплыть по течению, наткнулась на досадный подводный камень...

А во дворе замка возник страшный переполох. Целая вереница экипажей подъехала туда, эскортируемая усиленной командой гусаров великого герцога. Обергофмаршал, президент, советники князя, а также несколько представителей зигхартсвейлерской знати вышли из экипажей. Туда пришла весть, что в Зигхартсгофе произошла революция, направленная против жизни князя, и вот верные его приверженцы вместе с другими почитателями иринеевского двора прибыли, чтобы встать рядом с особой князя, и уж кстати захватили с собой защитников отечества, которых они с немалым трудом выклянчили у губернатора.

От сплошных заверений собравшихся, что они душой и телом преданы своему все милостивейшему государю и готовы пожертвовать за него жизнью, князь все никак не мог заговорить. Он как раз хотел начать свою речь, когда офицер, предводительствующий командой, вошел и спросил у князя — каков будет план операции.

Человеческой природе свойственно, что, когда опасность, которая нагнала на нас страх, на наших глазах превращается в мираж и оказывается лишь пустым никчемным пугалом, это вызывает в нас досаду. Радость в нас возбуждает то, что мы счастливо избежали действительной опасности, а отнюдь не то, что вовсе никакой опасности не было.

Вот так и получилось, что князь едва мог подавить свою досаду, свое неудовольствие по случаю ненужного переполоха.

* Между нами будь сказано (фр.).

** И этого достаточно (фр.).

То, что весь сыр-бор загорелся из-за свидания камердинера с горничной, да из-за романтической ревности влюбленного принца, — ну мог ли он, князь, сказать это? Ну, вправе ли он был говорить это? Он раздумывал, маялся; исполненная предчувствий тишина в зале, прерываемая только мужественным, победоносным ржанием гусарских лошадей, привязанных снаружи, легла на него свинцовым бременем. Наконец он перевел дух и начал весьма патетически: «Господа! Чудесным соизволением небесным... Что вам угодно, топ ами? *»

Этим вопросом, адресованным гофмаршалу, князь перебил сам себя. И в самом деле — гофмаршал все что-то кланялся и вращал глазами, давая понять, что он должен передать важную весть. Оказалось, что принц Гектор только что доложил о своем прибытии.

Княжеская физиономия прояснилась, он увидел, что по поводу мнимой опасности, от которой чуть было не заколебался его престол, он может высказаться очень кратко и, словно бы неким взмахом волшебной палочки, обратить все это достопочтенное собрание в сборище лиц, явившихся любезно приветствовать его. Что он и сделал!

Спустя недолгое время в зал вступил принц Гектор; на нем был сверкающий парадный мундир, он был красив, силен, горд, как молодой бог, спустившийся из-за облачных высей. Князь сделал несколько шагов вперед, навстречу ему, и вдруг — отпрянул назад, как будто пораженный молнией. За спиной принца Гектора, в двух шагах за ним, в зал ворвался принц Игнатий. Этот светлейший юноша, увы, с каждым днем становился все бестолковей и глупее. Гусары во дворе замка, должно быть, необыкновенно понравились ему, ибо он упросил одного гусара дать ему саблю, ташку и кивер и роскошно выступал во всей этой чудной амуниции. Он выделывал такие курбеты, как будто он сидит на коне, короткими прыжками со сверкающей саблей в руке он передвигался по залу, а между тем железные ножи громко дребезжали, волочась по паркету, при этом он смеялся и хихикал чрезвычайно обворожительно.

«Partez — décampez — Allez-vous-en — tout de suite!» ** — так воскликнул князь, глаза его пылали, а голос раскатывался как гром, он кричал это испуганному Игнатию, и тот убрался из зала со всей только возможной поспешностью.

Никто из присутствующих не был настолько бестактен, чтобы заметить присутствие принца Игнатия и вообще — всю разыгравшуюся пред их очами сценку.

Князь в ярчайшем сиянии прежней кротости и дружелюбия сказал теперь принцу несколько слов, и затем оба они, князь и принц Гектор, стали рассказывать в кругу собравшихся, перебрасываясь несколькими словами то с тем, то с этим. Прием был окончен, т. е. остроумные, глупокомысленные фразы, которыми принято пользоваться в подобных слу-

* Мой друг (фр.).

** Уходите прочь! Убирайтесь отсюда немедленно! (фр.).

чаях, были должным образом произнесены, и князь отправился с принцем Гектором в покои княгини, затем, однако, так как принц настаивал на том, чтобы сделать сюрприз своей любимой невесте, — в покои принцессы. Они нашли Юлию у принцессы Гедвиги.

С нетерпением пламеннейшего возлюбленного принц бросился к принцессе, стократно и с необычайной нежностью прижал ее руку к губам, поклялся, что он жил одними лишь мыслями о ней, что злополучное недоразумение заставило его терпеть адские муки, что он больше не в силах вынести разлуки с той, которую он боготворит и что только теперь для него отверзлись врата райского блаженства.

Гедвига приняла принца с непринужденной веселостью, которая, впрочем, никогда прежде не была ей свойственна. Она встретила нежные любовные уверения принца точно так, как это, пожалуй, и могла бы сделать невеста, без того, чтобы заранее слишком уж идти жениху навстречу, — да, она не преминула даже немножко поддразнить принца его игрой в прятки и даже стала уверять, что никакое превращение не кажется ей столь прекрасным и прелестным, как превращение шляпной болванки в голову сиятельного принца. Ибо именно за шляпную болванку она приняла ту самую голову, которая маячила в окне на фронтоне павильона. Это дало повод ко всякого рода вполне пристойным взаимным поддразниваниям счастливой пары, которые как будто забавляли даже самого князя. Теперь ему казалось, что он, наконец, в истинном свете увидел заблуждение советницы Бенцон относительно Крейслера, ибо, по его сиятельному мнению, любовь Гедвиги к прекраснейшему из мужчин выражалась теперь достаточно ясно. Ум и тело принцессы казались теперь в самом своем высочайшем цвету, как это в особенности свойственно счастливым невестам. Как раз совершенно противоположное происходило с Юлией. Как только она увидела принца, ее охватил ужас. Бледная как смерть, стояла она, потупив глаза, едва держась на ногах.

Спустя довольно продолжительное время принц обратился к Юлии со словами: «Мадмуазель Бенцон, если я не ошибаюсь?» — «Подруга принцессы с ранних дней, они как две сестры!» — в то время как князь произнес эти слова, принц Гектор схватил руку Юлии и тихо-тихо шепнул ей: «Только ты та, о которой я думаю!» Юлия едва держалась на ногах, слезы горчайшего страха хлынули из-под ресниц ее; она упала бы, если бы принцесса поспешно не подвинула ей кресло.

— Юлия, — тихо проговорила принцесса, склоняясь над несчастной, — Юлия, возьми себя в руки! Неужели ты не чувствуешь, какую тяжелую борьбу веду я сейчас?» Князь распахнул двери и потребовал eau de Luce. «Этого средства, при мне нет, — сказал вошедший в этот миг маэстро Абрагам, — но у меня есть превосходный эфир. С кем-нибудь обморок? Эфир тоже отлично помогает!»

— Так входите, — ответил князь, — входите скорее сюда, маэстро Абрагам, и помогите фрейлейн Юлии.

Но как только маэстро Абрагам вошел в залу, случилось нечто неожиданное. Принц Гектор, бледный, как привидение, неподвижно уставился на маэстро Абрагама, казалось, волосы его вот-вот встанут дыбом, лоб покрылся потом, должно быть, от смертельного ужаса. Сделав шаг вперед, чуть отклонившись, протянув руки к маэстро, он казался живым воплощением Макбета, внезапно узревшего жуткий окровавленный дух Банко, занимающий место за столом. Маэстро преспокойно извлек флакончик и хотел подойти к Юлии.

Тут всем почудилось, словно принц вновь несколько приободрился и ожил. «Это вы, Северино? Ужели это вы?»

Так воскликнул принц, и голос его звучал глухо от великого ужаса. «Конечно, — возразил маэстро Абрагам, несколько не взволновавшись и не изменившись в лице, — конечно... Мне очень приятно, что вы меня вспомнили, ваша милость, я имел честь несколько лет назад, в Неаполе, оказать вам маленькую услугу».

Маэстро шагнул еще немного вперед, но тут принц схватил его за локоть и с силой увлек в сторону. А затем последовал короткий разговор, в котором никто из находившихся в зале не разобрал ни слова, потому что собеседники разговаривали очень быстро, да еще на неаполитанском диалекте.

— Северино! — Откуда у этого человека миниатюра?

— Я дал ее ему для защиты от вас?

— Он знает?

— Нет!

— Вы будете молчать?

— До поры до времени — да!

— Северино! Провалитесь вы ко всем чертям! Что вы называете до поры до времени?

— До тех пор, пока вы будете вести себя разумно и оставите Крейсера в покое, а заодно и ее, вот там!..

И тут принц покинул маэстро Абрагама и подошел к окну. Юлия за это время успела прийти в себя. С неопишым выражением душевиздирающей боли, глядя на маэстро Абрагама, она скорее прошептала, чем вымолвила: «О мой добрый, милый маэстро, вы, должно быть, можете спасти меня! Не правда ли, вы способны повелевать многими тайными силами? Ваши познания могут еще обратить все ко благу». Маэстро ощутил в словах Юлии чудеснейшую взаимосвязь с тем разговором, как будто она, в состоянии высшего ясновидения постигла все и знает все, все, всю тайну!

— Ты ангел, — тихонько шепнул маэстро Юлии на ушко. — Ты крошечный, милый ангел, и потому мрачный греховный дух преисподней не властен над тобой! Всецело доверься мне; не бойся и соберись с духом. Подумай о нашем Иоганнесе.

— Ах, — с болью воскликнула Юлия, — Ах, Иоганнес! Он вернется не правда ли, маэстро? Я вновь увижу его!

— Конечно, вернется, — ответил маэстро и приложил палец к губам, Юлия поняла его.

Принц очень старался казаться непринужденным, он рассказал, что человек, которого здесь, как он узнал, именуют маэстро Абрагамом, несколько лет тому назад в Неаполе был свидетелем одного весьма трагического происшествия, к которому и сам он, принц, был некоторым образом причастен, как он вынужден признать. Сейчас еще не время рассказывать подробности этого происшествия, но в будущем он непременно расскажет и об этом.

Буря, которая потрясла все его существо, была слишком сильна, чтобы ее порывы не выступили зримо на поверхность, и, таким образом, расстроенное, побледневшее лицо принца никак не согласовывалось с небрежным тоном его беседы, к которому он себя теперь вынуждал только затем, чтобы как-то преодолеть критический момент. Но принцессе Гедвиге куда лучше, чем принцу Гектору, удалось преодолеть напряженность мгновения. С иронией, превращающей даже подозрение, даже ожесточение в утонченнейшую издевку, Гедвига заманила принца Гектора в лабиринт своих собственных помыслов. Он, ловчайший светский человек, более того, во всеоружии нечестивости уничтожающий все истинное, все доброе в жизни, не смог противостоять этому странному существу. Чем оживленнее говорила Гедвига, тем пламенней и зажигательней били молнии остроумнейшей издевки, тем более сбитым с толку, тем более запуганным чувствовал себя принц, пока это чувство не сделалось настолько невыносимым, что он счел за благо поспешно удалиться.

Князь вел себя так, как это с ним всегда происходило в подобных случаях; он попросту не знал, что ему следует обо всем этом думать. Он удовольствовался тем, что произнес, обращаясь к принцу, несколько французских фраз, лишенных определенного значения, а последний отвечал ему на это такими же фразами.

Принц был уже у самых дверей, когда Гедвига, внезапно изменившись всем существом, уставилась в пол и с престранным, душераздирающим выражением громогласно воскликнула: «Я вижу кровавый след убийцы!» Затем показалось, что она словно пробудилась от сна, она бурно прижала Юлию к груди и прошептала ей: «Дитя, бедное мое дитя, не позволяй себя одурачить!»

— Тайны, — с досадой произнес князь, — тайны, плоды воображения, нелепицы, романтические бредни! *Ma foi!** Я больше не узнаю собственного двора! Маэстро Абрагам! Вы приводите мои часы в порядок, когда они идут неправильно, мне, право, хотелось бы, чтобы вы рассмотрели, что нарушило ход механизма, который прежде никогда не портился! Но что это еще за история с этим «Северином»?

Под этим именем, — ответил маэстро Абрагам, — я демонстрировал в Неаполе мои оптические и механические фокусы.

* Честное слово (фр.).

— Так-так, — проговорил князь, неподвижно устремив взор на маэстро, — как будто у него на языке вертится некий невысказанный вопрос, но затем быстро повернулся и молча покинул комнату.

Думали, что Бенцон находится у княгини, но это было не так, она отправилась к себе домой.

Юлия рвалась на свежий воздух; маэстро повел ее в парк, и, бродя по полуогороженным аллеям, они беседовали о Крейсере и о его пребывании в аббатстве. Они дошли до рыбацкой хижины, Юлия вошла в нее, чтобы отдохнуть; письмо Крейсера лежало на столе, маэстро решил, что в нем нет ничего такого, что могло бы причинить Юлии боль.

Когда Юлия читала письмо, ее щеки вдруг заалели, и нежное пламя, отсвет повеселевшей души, стало лучиться из ее очей!

— Теперь ты видишь, — милое мое дитя, сказал маэстро ласково, — как добрый дух моего Иоганнеса даже из дальней дали несет тебе слово утешения? Зачем тебе страшиться опасных покушений, когда постоянство, любовь и отвага защищают тебя от злодея, который гонится за тобой!

— Милостивое небо! — воскликнула Юлия, глядя ввысь, — защити меня от меня самой! Она затрепетала, как будто во внезапном испуге, от слов, которые невольно вырвались у нее. Почти лишившись чувств, она опустила в кресло и закрыла руками свое пылающее лицо.

— Я не понимаю, — сказал маэстро, — я не понимаю тебя, девочка, да ты и сама себя, пожалуй, не вполне понимаешь, и поэтому тебе следовало бы основательно испытать собственную душу до самой ее глубины и ни о чем не умалчивать, ничего не утаивать от самой себя, не щадить себя, не быть к себе по-женски сострадательной!

Маэстро предоставил Юлии погрузиться в глубокие размышления и, скрестив руки на груди, взглянул ввысь на таинственный стеклянный шар. В груди его как будто вздымалась пылкая тоска и какие-то чудесные предчувствия.

— С тобой я должен посоветоваться, — заговорил он, — с тобой, о моя сладостная, чудная тайна моей жизни! Не молчи, дай мне услышать твой голос! Ты ведь знаешь, я никогда не был человеком обыденным, низменным, пошлым, невзирая на то, что многие считали меня таковым. Ибо во мне пылала вся любовь, которая и является самим Мировым Духом, и искра тлела в моей груди, которую дыхание твоего существа раздувало в яркое и радостное пламя! .. Ты не думай, Кьяра, что это сердце, потому, что оно сделалось старше, оледенело и больше не может биться так быстро, как тогда, когда я вырвал тебя из рук бесчеловечного Северино; ты не думай, что я стал теперь менее достоин тебя, чем был тогда, когда ты сама меня отыскала! Да! Дай мне только услышать твой голос, и я стану проворно, как юноша, бежать за этим звуком так долго, пока я не найду тебя, и тогда мы вновь станем жить вместе и станем в колдовском союзе заниматься высшей магией, к которой поневоле примкнут все люди, даже самые низменные, хотя они и не верят в нее! А если ты больше не считаешься здесь по земле во плоти, то пусть твой голос с высот мира

духов заговорит со мной, я и этим буду доволен, да и тогда еще я, пожалуй, буду еще более хитроумным искусником, чем я был когда бы то ни было прежде! Но нет, нет! Как звучали слова утешения, с которыми ты обращалась ко мне?

В чьей душе любовь жива,
Смерть того унести не может;
Вяжет Вечер кружева
Тем, кого рассвет тревожит.

— Маэстро, — воскликнула Юлия, поднявшись с кресла, и в глубоком изумлении прислушиваясь к словам старика, — маэстро! С кем это вы говорите? Что вы хотите предпринять? Вы назвали имя Северино, о, правое небо! Ведь разве принц, когда он несколько справился со своим испугом, не называл вас этим самым именем? Что за ужасная тайна здесь сокрыта?

При этих словах Юлии старик мгновенно вышел из своего приподнятого состояния и на его лице появилось, чего уже давно с ним не случилось, та самая странная, почти насмешливая улыбка, которая удивительно не гармонировала со всем его прочим чистосердечным существом и придавала всему его облику какой-то жутко карикатурный оттенок.

— Милая моя барышня, — заговорил он резким тоном, таким, каким хвастливые ярмарочные шарлатаны расхваливают свои необыкновенные чудеса, — милая моя, прекрасная барышня, еще немножечко терпения, вскоре я буду иметь честь показать вам здесь, в рыбацкой хижине, самые удивительные из моих чудес. Я покажу вам пляшущих человечков, покажу карлика-турка, который знает, сколько лет каждому из присутствующих в гостиной, покажу вам эти автоматы, эти палингенезы, или зародыши, покажу вам эти загадочные картинки, эти оптические зеркала — все прелестные волшебные игрушки, но вот самой-то лучшей изо всех них я еще и не назвал! Моя невидимая девушка уже тут! Взгляните-ка, там наверху она уже сидит наготове в стеклянном шаре! Правда, она пока еще не вещает, она еще не отдохнула после далекого путешествия, ибо она прибыла сюда прямо из далекой Индии.

Через несколько дней, милая моя барышня, придет сюда моя невидимка, и тогда мы расспросим ее о принце Гекторе, о Северино и обо всех прочих происшествиях прежних и будущих времен! Ну, а покамест — немножечко простых развлечений!

Сказав это, маэстро с быстротой и проворством юноши запрыгал по комнате, завел свои механизмы и отрегулировал магическое зеркало. И во всех уголках все ожило и зашевелилось, автоматы зашагали и завертели головами, и искусственный петух захлопал крыльями и закукарекал, и сама Юлия и маэстро стояли как бы в одно и то же время в комнате и вне ее — на свежем воздухе, в парке! Юлия давно привыкла к такого рода штукам и забавам, но все-таки странное настроение маэстро чем-то

ужаснуло ее. «Маэстро, — заговорила она в полном испуге, — маэстро, что это вдруг случилось с вами?»

— Дитя мое, — ответил ей маэстро самым серьезным образом, — это нечто прекрасное и чудесное, но нет, никак не годится, чтобы ты теперь узнала об этом, И все-таки, пусть все эти вещицы — живые и мертвые в одно и то же время — выделывают здесь свои штуки, а я тебе тем временем поведаю кое о чем, доверю тебе ровно столько, сколько тебе нужно знать! Милая моя Юлия, твоя собственная мать замкнула перед тобой свое материнское сердце, я хочу открыть тебе это, чтобы ты смогла заглянуть в него, в это сердце, чтобы ты смогла увидеть опасность, которая тебе угрожает, и чтобы ты смогла избежать ее. Узнай же, во-первых, безо всяких обиняков, что твоя мать твердо задумала ни много, ни мало, как...



(*Мурр пр.*): .. лучше пока все остается как есть — Юноша-кот, будь скромнее, как я, и не суйся всюду со своими стихами, когда вполне достаточно простой и честной прозы, чтобы связать твои мысли воедино. Вставные стихи в книге, которая написана прозой, имеют то же назначение, что шпиг в колбасе, а именно — они должны быть рассеяны там и сям, мелкими кусочками, чтобы придать всей смеси больше жирного блеска, больше сладостной прелести вкусу всего колбасного изделия! Я не боюсь, что мои коллеги-поэты сочтут это уподобление чересчур низменным и неблагородным, ибо, поскольку оно заимствовано у нашего любимого, наиболее вкусного блюда, то оно несомненно справедливо; и в самом деле — порой хороший стих столь же полезен для посредственного романа, как жирный шпиг полезен для тощей колбасы! Я говорю это как эстетически образованный и вообще многоопытный кот. Хотя при моих принципах, которые я исповедовал до сих пор, принципах философских и нравственных, — все поведение пуделя Понто, его манера обеспечивать себе благосклонность своего хозяина казались мне весьма недостойными, даже, пожалуй, мизерабельными, все же его непринужденное приличие, его элегантность, его прелестная легкость обращения — все это меня весьма подкупало. Со всей горячностью я пытался переубедить себя, доказать себе, что я — при моей учености, при моем воспитании, при моей серьезности во всех моих деяниях и моих поступках — стою на гораздо более высокой ступени, чем невежда Понто, который лишь там и сям нахватался кое-каких верхов из разных наук. Однако некое неотвязное чувство подсказало мне, и совершенно недвусмысленно, что Понто везде будет стараться затмить меня, — вот почему я оказываюсь вынужденным признать существование более знатного сословия и причислить пуделя Понто к этому избранному сословию.

Гениальная голова, подобная моей, при всяком жизненном испытании всегда порождает свои особливые, своеобразные мысли, и так точно случилось со мной, когда я раздумывал о моем душевном настроении, обо всех моих взаимоотношениях с Понто, обо всех весьма занятных наблюдениях, которые, пожалуй, достойны того, чтобы поведать о них в дальнейшем. «Как это получается», — говорил я, обращаясь к себе самому,

в раздумье положив лапу на свое чело, — что великие поэты, великие философы, во всех прочих отношениях остроумные, обладающие житейской мудростью, — проявляют такую явную беспомощность во взаимоотношениях с так называемым светским обществом? Они почему-то всегда ухитряются очутиться там, где им как раз в это мгновение не следует быть; они говорят, когда им, собственно, следовало бы помолчать, и, напротив, они молчат там, где нужны слова; они как бы вталкивают себя в общественные круги, везде, идя при этом наперекор течению, и уязвляют при этом самих себя и других; одним словом, они напоминают человека, который, когда целая шеренга людей, вознамерившихся прогуляться, без разногласий выходит на прогулку, почему-то один рвется к воротам, и затем, с яростью продолжая свой путь, нарушает всю эту стройную шеренгу. Это приписывают, я знаю, отсутствию светской культуры, а культуры этой нельзя достичь попросту торча за письменным столом, — я думаю, впрочем, что эту самую культуру можно без труда приобрести и что наша непреоборимая беспомощность, пожалуй, должна иметь какую-то иную причину. Великий поэт или философ не стал бы таковым, если бы он не ощущал своего умственного превосходства; но точно так же он должен был бы быть лишен глубокого чутья, присущего каждому мыслящему человеку, чтобы не уразуметь, что это его умственное превосходство именно потому не может быть признанным, что оно нарушает равновесие, постоянное поддержание которого является основной тенденцией так называемого светского общества. Всякий голос вправе звучать здесь, лишь вступая в совершенный общий аккорд, но голос поэта диссонирует, и, даже если он в других обстоятельствах и может быть весьма хорошим, тем не менее именно в этот миг он может оказаться прескверным голосом, ибо не гармонирует с целым, нарушает его. Хороший тон, однако, так же как и хороший вкус, заключается именно в том, чтобы миновать все ненадлежащее, негармонирующее.

Итак, как я полагаю далее, именно то самое дурное настроение, которое вызывается противоречием между чувством внутреннего превосходства и этими досадными неуместными явлениями и мешает не обладающим светской опытностью поэту и философу распознать, в чем состоит это целое, и воспарить над ним. Непременно необходимо, конечно, чтобы он, поэт или философ, в этот миг не слишком высоко оценивал это свое внутреннее духовное превосходство, ибо, сумев сделать это, он также не станет слишком высоко ценить и ту так называемую высшую светскую культуру, которая состоит именно в старании сглазить все углы и шероховатости, сформировать все физиономии по образу и подобию одной, которая как раз поэтому тут же перестает быть единственной и неповторимой! Только тогда он сможет, преодолев бывшее неприятное чувство, легко и непринужденно распознавать внутреннюю сущность этой светской культуры и те шаткие основания, на которых она зиждется, и благодаря этому обретенному познанию и пронизательному проникновению в суть дела непременно ощутит себя полноправным гражданином того самого удивитель-

ного мирка, который и требует от него всенепременного наличия этой культуры. Совершенно иначе обстоит дело с художниками, а также с поэтами и прочими сочинителями, которых знатные господа порою имеют обыкновение приглашать в свой круг, дабы, как это положено людям хорошего тона, иметь возможность притязать на роль покровителей искусств, слыть в некотором роде меценатом. Впрочем, этим людям искусства, увы, обычно свойственно нечто этакое ремесленное, и поэтому они обычно либо смиренны и унижены почти до рабологии, либо неблаговоспитанны и даже по-мальчишески неотесанны!

(Примечание издателя: — Мурр, мне, право, очень жаль, что ты так часто рядишься в чужие перья! Из-за этого ты, как я справедливо опасаясь, можешь много потерять в глазах благосклонных читателей. Разве все эти замечания, которыми ты так кичишься, не исходят непосредственно из уст капельмейстера Иоганнеса Крейсlera, да и вообще возможно ли, чтобы ты смог набраться такой житейской мудрости, что сумел так глубоко проникнуть в душу писателя-человека, самую чудесную и поразительную вещь на нашей грешной земле?)

— Почему, — подумалось мне далее, — почему бы пронизательному и остроумному коту, который к тому же является поэтом, прозаиком, и вообще художественной натурой, почему бы такому коту не удалось воспарить ввысь, вплоть до такого проникновения в суть высшей культуры во всей ее совокупной значимости, чтобы самому стать причастным к ней, ко всей красоте и прелести ее внешних проявлений? И разве природа одно только собачье племя наделила всеми преимуществами этой высшей культуры? Если мы, коты, в том, что касается одеяния, образа жизни, нравов и обычаев, и отличаемся несколько от этого гордого племени, то ведь и мы, так же, как и они, сотворены из плоти и крови, у нас ведь — точно так же, как и у них, — есть тело и душа, и, в конечном счете, и собаки поддерживают свое существование точно таким же образом, как и мы, коты. И собаки должны есть, пить, спать и т. д., и им тоже больно, когда их накалывают. Ну, так что же дальше! — я решил пойти по стопам моего юного знатного друга Понто, и, вполне удовлетворенный самим собой, отправился вновь в комнату моего маэстро: взгляд в зеркало убедил меня в том, что одно только могучее усилие воли, одна только твердая решимость устремиться к вершинам высшей культуры уже оказали самое благотворное воздействие на мою наружность и осанку. Я смотрелся в зеркало с чувством глубочайшего внутреннего удовлетворения. Есть ли более приятное состояние, чем когда мы совершенно собой довольны? — Я замурыкал!

На другой день я не удовольствовался сидением под дверью на пороге, я стал гулять по улице, и тут-то я увидел издали господина барона Алквивада фон Випп, а вслед за ним вприпрыжку бежал мой бодрый друг Понто. Это было для меня более чем кстати; я собрал все свое достоинство, все свое благоприличие и приблизился к моему другу с той самой неподражаемой грацией, которой, как бесценному дару благосклонной природы, не в силах научить никакое искусство! — Но как это ужасно!

Что случилось, что стряслось! Как только барон увидел меня, он остановился и стал чрезвычайно пристально лорнировать меня, а затем он воскликнул: «Allons! * — Понто! Ату-ату! Кота, кота! Куси, куси!» И Понто, этот фальшивый друг, с яростью напустился на меня! В ужасе, совершенно выйдя из себя, огорошенный этим позорным предательством, я был не способен ни на какое сопротивление, напротив, я прижался к земле, как только мог, чтобы избежать острых зубов пуделя Понто, которые он мне показал, рыча и скалясь. Однако же затем Понто немного попрыгал вокруг меня, отнюдь меня не хватая и не кусая, и шепнул мне на ухо: «Мурр! — не валяй же дурака — не бойся меня — ты же видишь, я же не всерьез, я все это просто выделываю в угоду моему господину!» И вот Понто стал повторять свои прыжки и даже прикинулся, будто куснул меня за уши, тем не менее, не причинив мне ни малейшей боли. «А теперь, — наконец прорычал мне Понто, — убирайся-ка, дружок Мурр, да поскорей в подвальный люк!» Я не заставил себя повторять это дважды и ретировался с быстротой молнии. Невзирая на заверения пуделя Понто, что он не причинит мне никакого вреда, мне все-таки было очень страшно, ибо в подобного рода критических случаях никогда не знаешь толком: достаточно ли сильно в наших друзьях чувство дружбы к нам и способно ли оно, это чувство, победить и преодолеть их природные предрассудки и предубеждения.

Когда я уже юркнул в подвал, Понто стал продолжать разыгрывать ту комедию, которую он начал ранее, так сказать в честь своего хозяина. А именно — он рычал и лаял у чердачного окна, всовывая свою мордочку между прутьями решетки, делал вид, что совершенно вне себя из-за того, что я ускользнул от него и что он теперь не в состоянии преследовать меня! «Вот теперь ты видишь, — сказал, однако, Понто, обращаясь ко мне, пребывающему в погребе, — каковы выгодные и высокополезные следствия высшей культуры? Ведь вот только что я доказал моему господину, до чего я послушен и предан ему, без того, чтобы проявить враждебность по отношению к тебе, милейший Мурр. Вот именно так всегда и поступает истинно светский человек, которому судьба предопределила быть орудием в руке другого, более могущественного, чем он сам. Натравляемый и понукаемый, он вынужден кинуться вперед, но при этом он может проявить такую ловкость, чтобы действительно кусаться лишь тогда, когда это оказывается выгодным и ему самому, а не только его хозяину». Не медля ни минуты, я открылся моему юному другу Понто, я растолковал ему, до чего я жажду усвоить хоть нечто из его высшей культуры, и спросил у него, не согласится ли он, а если да, то как взять меня к себе в науку? Понто несколько минут поразмышлял и затем заметил, что лучше всего было бы, если бы он для начала сразу же представил мне живую и четкую картину высшего общества, в котором он теперь имеет удовольствие жить, и в этих видах удобнее всего, пожалуй, чтобы я сопровождал его нынче

* Вперед! (фр.).

вечером к прелестной Бадине, у которой именно теперь, в часы театрального представления, собирается весьма изысканное общество. Бадина же была левреткой, состоявшей в услужении у княжеской обергофмейстерины.

Я умылся и вообще, как только мог, навел красоту, еще немного полистал руководство Книжке и наспех пробежал несколько новейших комедий Пикара⁷, чтобы, ежели будет необходимость, показать, что я также силен и во французском, и затем спустился вниз, к дверям. Понто не заставил себя ждать. Мы пошли вниз по улице и вскоре попали в ярко освещенную гостиную Бадины, где я нашел пестрое собрание пуделей, шпицов, мопсов, болонок, левреток, — одни из них сидели кружком, другие — группировались по углам.

Сердце тревожно забилося в моей груди, когда я попал в это чуждое мне общество враждебных натур. Иные пудели взирали на меня с пренебрежительным удивлением, как будто хотели сказать: «Что ему нужно здесь, этому подлому коту? Зачем он затесался в наше великосветское общество?»

Кое-кто из шпицев-щеголей даже порой скрежетал зубами, так что я мог понять, что он, этот шпиц, с превеликой охотой вцепился бы мне в горло, если бы приличие, достоинство, воспитанность и образованность гостей не запрещали бы им ввязываться в какую бы то ни было драку! Понто исторг меня из моей нерешительности, представив прелестной хозяйке, которая с милой снисходительностью стала уверять, что она необычайно рада видеть у себя кота, обладающего моей славой и моей репутацией. И только тогда, когда Бадина обменялась со мной несколькими словами, кое-кто из присутствующих с истинно собачьим добродушием стал оказывать мне явные знаки внимания: они стали заговаривать со мной, упоминая при этом о моем писательстве, о моих творениях, которые порой доставляли им немалое удовольствие. Это, естественно, весьма польстило моему тщеславию, и я чуть было не упустил из виду, что мне задавали вопросы, отнюдь не ожидая моих ответов; что моему таланту воздавали хвалу, не имея, однако, о нем ни малейшего представления; что превозносили мои творения, хотя никто из них в них ровно ничего не смыслил! Природный инстинкт, впрочем, подсказал мне, как отвечать на эти вопросы: а именно, не обращая особого внимания на суть вопроса, отвечать коротко и в столь неопределенно-общих выражениях, чтобы их можно было по желанию отнести к чему угодно, и, помимо того, следовало не иметь никакого определенного мнения, никогда не сходить с гладкой поверхности салонной болтовни и никоим образом не углубляться в суть предмета! Понто мимоходом заверил меня, что один маститый шпиц говорил ему, что если учесть, что я всего лишь кот, то весьма интересен и забавен, и у меня есть данные для отличного ведения светской беседы. Ах, такое ободрит и робкого и малодушного!

Жан-Жак Руссо, рассказывая в своей «Исповеди» историю о ленте, которую он похитил, а потом увидел, как бедную, ни в чем не повинную девушку наказывают на его глазах, — а он так и не сказал правду, —

итак, Руссо признается, как ему тяжело преодолевать эти мелководья своей души! Я, однако, нахожусь теперь именно в таком же положении, как этот прославленный мемуарист. Правда, если мне не приходится признаваться в преступлении, то все же, желая остаться правдивым, я не вправе умолчать о великой глупости, которую я совершил в тот же вечер и которая долгое время сбивала меня с толку и даже угрожала моему рассудку. Но разве не столь же трудно, да порою и еще трудней — признаться в глупости, чем в преступлении?

Спустя недолгое время я начал испытывать какую-то неловкость, какое-то явно выраженное неприятное чувство, так что мне захотелось даже поскорее убраться прочь, поскорее оказаться под печкой в комнате моего маэстро. Это было чувство отвратительной скуки, которая как бы прижимала меня к земле, и которая, наконец, заставила меня позабыть все мои политесы, всю присущую мне деликатность поведения. Тихонечко прокрался я в дальний угол, чтобы предаться дремоте, которую навевал на меня слитный гул разговоров, звучавших вокруг. Это были именно такие разговоры, которые я, по своей наивности, быть может, и весьма заблуждаясь, принимал за самую бессмысленную, самую пошлую болтовню, — разговоры эти почему-то напоминали мне монотонный стук мельницы, под который очень легко впасть в приятнейшую, бессмысленную, но задумчивую апатию, за которой весьма скоро следует настоящий сон. Как раз именно в состоянии этой лишенной мысли апатии, в этом сладчайшем полубреду, мне вдруг почудилось, что яркий светоч вспыхнул перед моими очами. Я взглянул вверх: чуть ли не вплотную ко мне стояла прелестнейшая белоснежная барышня-левреточка, хорошенькая племянница Бадины, ее звали Минона, как я узнал впоследствии.

— Милостивый государь, — произнесла Минона тем сладостно-лепечущим голоском, который так звонко отдается в пламенной и чувствительной юношеской груди, — милостивый государь, вы сидите здесь в таком одиночестве, кажется, вам скучно? Ах, как мне жаль! Но, конечно, великий глубокомысленный поэт, подобный вам, милостивый государь, непременно должен, витая в высших сферах, находить пустым и поверхностным наше обыденное великосветское существование!

Я поднялся в некотором смущении, мне было горько, что естество мое, пересилив все теории образованного благоприличия, заставило меня изогнуть спину высоким горбом на самый что ни на есть кошачий лад, и мне показалось, что Минона язвительно улыбнулась, заметив это.

Однако, тут же возвратившись в лоно хороших манер, я схватил Минонину лапку, прижал ее к моим устам и заговорил о мгновеньях вдохновения, жертвой которых нередко становится истинный поэт. Минона внимала мне с такими явными знаками глубочайшего внутреннего участия, с таким благоговейным выражением, что я все более и более воодушевлялся, воспарил во все более и более головокружительные поэтические эмпиреи и в конце-концов до того зарпортовался, что и сам решительно перестал соображать, о чем это я, собственно, толкую! Минона, должно

быть, столь же мало разумела меня, как и я сам, однако она впала в необыкновенный восторг и стала уверять меня, сколь часто ее самым сокровенным желанием было свести знакомство с гениальным Мурром и что это мгновение она считает счастливейшим, прекраснейшим мгновением всей ее жизни. Ах, и самому не верится! Вскоре оказалось, что Минона читала мои произведения, читала утонченнейшие из моих поэм, — о, нет! не только читала, но даже — в высшем значении этого слова — усвоила и впитала! Некоторые из них она знала наизусть и декламировала их мне с таким воодушевлением, с такой прелестью, которые словно вознесли меня на поэтические небеса, тем паче, что ведь это — мои стихи, мои, мои — скандировала мне прелестнейшая из всех ее единоплеменниц!

— Мадмуазель, — воскликнул я в полнейшем восторге, — прелестная, очаровательная барышня, вы постигли мою душу, вот эту душу! Вы выучили мои стихи наизусть; о, небо! Есть ли большее, есть ли высшее блаженство для устремляющегося ввысь поэта?!

— Милый Мурр, — залепетала Минона, — гениальный кот, поверите ли вы, что чувствительное сердце, поэтично-задушевная душа может оставаться чуждой вам? — После этих слов Минона вздохнула всей грудью — и этот вздох досказал мне все! Ну, что же мне еще сказать? Я влюбился в очаровательную левреточку настолько, что, совершенно обезумевший и ослепленный, не замечал, как она, в самый разгар наших воодушевленных объяснений, внезапно прервала их поток, чтобы обменяться несколькими пошлыми замечаниями с неким фатоватым красавчиком-мопсом, как она весь вечер избегала меня, — как она обращалась со мной на такой манер, что, конечно же, я должен был ясно уразуметь, что ее похвалы, ее энтузиазм относились не к кому другому, как только к ней самой! Одним словом, я был и остался слепым глупцом, я бежал за Миноной всюду и всегда, где и когда только мог, я воспевал ее в прекраснейших стихах, я сделал ее героиней нескольких прелестных, но безумных историй, проникал в те кружки, к которым я вовсе не принадлежал, и пожинал поэтому множество неприятностей, проглотил столько издевок, испытал столько отчаянных бед и ужасных огорчений!

Нередко в часы трезвых раздумий перед моими очами явственно вставала вся необычайная глупость моего поведения; затем, однако, я вновь, простофиля! — вспоминал о Тассо и о некоторых новейших поэтах, — настроенных на рыцарский лад, ищущих недосягаемую Даму Сердца, посвящающих ей свои песнопения и боготворящих ее из далека, точь в точь как незабвенный идадьго из Ла-Манчи — свою Дульцинею. Ах, как мне хотелось быть не хуже его, быть нисколько не менее поэтичным, чем этот идадьго, и я поклялся иллюзорному образу моих любовных грез, очаровательной беленькой левреточке в нерушимой верности и в непреклонной решимости рыцарственно служить ей по гроб жизни! Когда охваченный этим странным безумием, я впадал из одной глупости в другую, даже сам мой друг Понто счел необходимым весьма серьезно предо-


стеречь меня от ужасных мистификаций, в которые меня везде старались впутать, и сказал, что собирается извлечь меня из этого омута! Кто знает, что еще бы я натворил, если бы меня не оберегала моя благосклонная звезда! Именно благодаря этой звезде случилось так, что однажды поздним вечером я прокрался к самому дому прекрасной Бадины только лишь за тем, чтобы лицезреть любимую мою Минону. Однако я нашел все двери запертыми, и все мои упования на то, что мне, быть может, вдруг представится случай проскользнуть в покои прелестниц, остались совершенно напрасными! Сердце мое было исполнено любви и тоски, и я хотел по крайней мере возвестить моей несравненной о том, что я тут, рядом, и я завел у нее под окном одну из тех нежнейших испанских серенад, самую нежную из когда-либо прочувствованных и сочиненных! Думается мне, что ее нельзя было даже слушать без чувства боли и жалости!

Я услышал лай Бадины, и Минона сладчайшим голоском что-то протявала. Однако прежде чем я осмотрелся, окно молниеносно раскрылось и меня окатили целым ведром ледяной воды. Легко себе представить, с какой быстротой отбыл я в свои родные края. Жарчайший пыл в недрах души и ледяная вода на шкуре столь скверно гармонируют, что невозможно, чтобы из их сочетания вышло нечто хорошее — ничего хорошего, кроме озноба! Именно так произошло и со мной. Вернувшись в дом маэстро, я весь трясся от жесточайшего озноба. Мой маэстро по бледности моего лица, по угасшему пламени моих очей, по моему пылающему челу, по прерывистости моего пульса понял, что я захворал. Маэстро дал мне теплого молока, которое я, так как язык мой от жажды прилип к небу, жадно поглотил; потом он закутал меня в одеяльце и я на моей постели весь предался на волю недуга. Сперва я впал во всякого рода горячечные фантазии о высшей культуре, о левретках и т. д., затем сон мой сделался спокойнее и в конце концов я впал в такой глубокий сон, что, скажу без преувеличения, хотя в это мне и самому трудно поверить, что я без просыпу проспал трое суток!

Когда я, наконец, пробудился, я ощутил себя свободным и легким, я вполне исцелился от моей лихорадки, и — о чудо! — также и от моей безумной любви! Мне стала совершенно ясна глупость, в которую вверг меня пудель Понто, и я увидел, до чего дурацкое дело, мне, природному коту, втираться в густопсовую компанию, в компанию собак, которые высмеивали меня, будучи не в силах понять все величие моего духа, и которые, по незначительности всего их существа, вынуждены были придерживаться формы и, следовательно, ничего не могли мне дать, кроме скорлупы, лишенной ядра! Любовь к искусствам и наукам проснулась во мне с новой силой, и домашний уют жилища моего маэстро привлекал меня к себе теперь более, чем когда-либо прежде. Итак, наступили месяцы большей зрелости, месяцы мужества; я стал теперь настоящим мужчиной, я перестал быть кошачьим буршем, но не был уже больше и поверхностно культивированным щеголем, и живо почувствовал, что не следует быть ни тем, ни другим, нет, обязательно следует определиться, дабы сформи-

ровать себя так, как того требуют глубочайшие и прекраснейшие запросы жизни!

Мой маэстро должен был отбыть в путешествие и счел за благо отдать меня на время в нахлебники своему другу, капельмейстеру Иоганнесу Крейслеру. Поскольку с этой переменой моего местожительства открывается новый период моей жизни, то я заключаю нынешний период, из которого ты, о, юноша-кот, сможешь извлечь так много благотворно-поучительного для грядущего твоего...

 (Макл. л.): .. как будто отдаленные глухие звуки доносятся до его ушей, и он слышит, как монахи идут по коридорам и переходам. Когда Крейслер окончательно пробудился, он и в самом деле увидел из своего окна, что храм освещен, и услышал приглушенное пение хора. Всенощную уже отслужили, и должно было случиться что-то экстраординарное, и Крейслер предположил, что, по всей вероятности, скоропостижная смерть настигла одного из престарелых монахов, и вот теперь его, согласно монастырскому уставу, отпевают в храме. Капельмейстер наспех оделся и отправился в храм. В коридоре ему встретился отец Гиларий, который, громко зевая и совсем еще сонный, шел, пошатываясь, не в силах твердо ступить, он держал зажженную свечу, но не вверх, а вниз пламенем, так что воск, потрескивая, капал на пол и каждое мгновение казалось, что свет вот-вот угаснет. «Преподобный отец, — пробормотал Гиларий, — преподобный господин аббат, это против всякого прежнего порядка. Отпевание ночью! — и в этот час — и только потому, что брат Киприан настаивает на этом! Domine — libera nos de hoc monacho! *

Наконец капельмейстеру удалось убедить заспанного, не вполне проснувшегося Гилария в том, что он отнюдь не аббат, а Крейслер, и не без труда выведать у него, что этой ночью, он, Гиларий, и сам не знает, откуда именно в монастырь доставили тело какого-то постороннего человека, по-видимому, знакомого одному лишь брату Киприану, и что покойник, должно быть, был не простого звания, так как аббат по настоянию Киприана согласился на то, чтобы сразу же совершить отпевание, с тем чтобы завтра, после ранней мессы, был произведен вынос тела.

Крейслер последовал за отцом Гиларием в храм — он был лишь скудно освещен и производил странное, даже жуткое впечатление.

Были зажжены только свечи большого металлического паникадила, свисавшего с высокого потолка над главным алтарем, так что колеблющееся сияние озаряло лишь неф храма, отбрасывая в боковые приделы таинственные блики, в которых изваяния святых, пробужденные к призрачной жизни, казалось, движутся и шагают к молящимся. Под паникадиллом, в месте, озаренном ярче всего, стоял открытый гроб, в котором лежало тело, и монахи, окружавшие его, бледные и недвижные, сами были похожи на мертвецов, восставших из могил в полночный час. Глухими,

* Господи, избавь нас от этого монаха! (лат.).

хриплыми голосами пели они монотонные строфы реквиема, и когда они по временам замолкали, снаружи доносилось таинственное завывание ночного ветра, и высокие окна храма странно дребезжали, как будто бы духи умерших стучатся в дом, из которого к ним доносятся благочестивые звуки заупокойных молитв. Крейслер приблизился к рядам монахов и узнал в покойнике адъютанта принца Гектора.

И вот пробудились мрачные духи, которые столь часто обретали власть над ним, и беспощадно впились своими острыми когтями в его израненную грудь.

— Дразнящий, измывающийся призрак, — сказал он, обращаясь к себе самому, — ужели ты пригнал меня сюда, чтобы этот окоченевший юноша облился кровью, ведь говорят же, что мертвец истекает кровью, когда к нему приближается убийца?! — Ха-ха! Да разве я не знаю, что он пролил всю свою кровь в те скверные дни, когда он покаялся в грехах своих на одре недуга? В нем не осталось больше ни одной капли злой крови, которой он бы мог отравить своего убийцу, если бы тот даже приблизился к нему; но менее всего он способен отравить Иоганнеса Крейслера, потому что тот не имеет ничего общего с гадюкой, которую он растоптал, когда она уже высунула свое жало, чтобы нанести ему смертельную рану! Открой глаза свои, умерший, чтобы я твердо взглянул тебе в лицо, чтобы ты узрел, что я не причастен к греху, — но ты не можешь их открыть! — Кто велел тебе поставить жизнь на карту против жизни? Почему ты затеял обманную игру с убийством — ведь ты не думал проиграть ее? Но черты твои кротки и добры, о, тихий, бледный юноша, смертельная боль стерла все следы греха с твоего прекрасного лица, и я мог бы сказать, что небеса отверзли перед тобой врата милосердия, ибо в груди твоей была любовь, если бы это теперь подобало тебе.

Но как! — что, если я ошибся в тебе? Если не ты, если не злобный демон, нет, если моя добрая звезда подняла твою руку против меня, чтобы вырвать меня из объятий ужасного рока, который подстерегает меня в сумерках? Так открой же теперь глаза, бледный юноша, теперь ты можешь единым взором примирения объяснить все, все, и пусть овладеет мною тоска по тебе или ужасающий страх, что черная тень, которая крадется за мною повсюду, вот-вот схватит меня, вот-вот сдавит меня в своих объятиях! Да! взгляни на меня, — и все же! Нет, нет, ты мог бы взглянуть, как Леонгард Эттлингер, я мог бы поверить, что он — это ты, и тогда тебе пришлось бы спуститься со мной в те пучины, из которых ко мне часто доносится его глухой, призрачный голос! Но что это, ты усмехаешься? — твои щеки, твои губы порозовели? Разве тебя не сразило смертоносное оружие? Нет, нет, я не хочу еще раз вступать в схватку с тобой, но...

Крейслер, который во время этого разговора с самим собой непроизвольно опустился на одно колено, опершись локтями на другое, теперь поспешно вскочил и, конечно же, совершил бы что-нибудь дикое и странное; но в этот самый миг монахи умолкли, и отроки-певчие

из хора затянули под тихий аккомпанемент органа «Salve regina» *⁸. Гроб был заколочен, и монахи торжественно зашагали прочь из храма. И тут мрачные духи оставили бедного Иоганнеса, и, растроганный, весь печаль и скорбь, склонив голову, он пошел за монахами. Он уже собрался переступить порог и выйти из церкви, как вдруг из темного угла поднялся какой-то человек и направился к нему. Монахи остановились, и свечи в их руках ярко озарили рослого сильного парня, лет, пожалуй, восемнадцати—двадцати. Лицо его менее всего можно было бы назвать безобразным, однако оно было искажено выражением дикой ярости; черные волосы его растрепались и повисли, разорванная холщовая куртка в пестрых полосах еле прикрывала его наготу, а матросские штаны, тоже из холста, доходили только до его голых икр, так что его геркулесовское телосложение было явно видно.

— О, проклятый, зачем ты убил моего брата? — дико воскликнул парень, так что эхо его крика отпрянуло от стен храма; как тигр, бросился он на Крейсера и смертельной хваткой сжал его горло.

Но прежде чем Крейслер, пораженный неожиданным нападением, смог подумать об отпоре, отец Киприан вырос перед ним и произнес громким повелительным голосом: «Джузеппе, подлый грешник! Что ты тут творишь? Где ты оставил свою старуху? Немедленно убирайся из храма! Высокопреподобный господин аббат, прикажите созвать монастырских служек, пусть вышвырнут этого малого, жаждущего крови, из обители!»

Как только Киприан встал перед ним, дикарь отпустил Крейсера. «Да что там, — сердито крикнул он, — зачем ты поднимаешь столько шума, когда я всего лишь хотел вступить за свои права, господин святой! Я ведь и сам уйду, нечего на меня служек натравливать!» И, сказав это, парень мгновенно выскочил в дверь, которую почему-то забыли запереть и через которую он, по всей вероятности, и проник в храм. Явились служки, но уже ни к чему было преследовать этого отчаянного парня во мраке ночи.

В природе Крейсера было что-то напряженное, что-то чрезвычайное, что-то таинственное, благотворно действовавшее на его душу, как только он победоносно преодолевал бурное мгновение, грозившее уничтожить его.

Так и случилось, и аббату удивительным и странным показалось спокойствие, с которым Крейслер на следующий день предстал перед ним и заговорил о потрясающем впечатлении, которое при подобных странных обстоятельствах произвел на него вид тела того самого человека, который хотел умертвить его, и которого Крейслер убил в справедливой самообороне.

— Нет, — сказал аббат, — ни церковь, ни светский закон не смогут обвинить вас, милый Иоганнес, в смерти этого грешного человека и наказать вас. Однако вы долго не сможете заглушить упреки некоего внутреннего голоса, который говорит вам, что лучше было бы самому пасть,

* Привет тебе, царица [небесная] (лат.).

чем умертвить противника, и это доказывает, что Предвечному жертва собственной жизни угодней, чем поддержание собственной жизни, если оно возможно лишь путем кровавого деяния. Но оставим эту тему, ибо я хочу поговорить с вами об ином, что ближе касается нас.

Какой смертный способен предвидеть, каково будет соотношение вещей в следующее же мгновение? Еще не так давно я был твердо убежден в том, что ничто не может быть полезнее для блага вашей души, чем отречься от света и вступить в наш орден. Но теперь, хоть вы мне очень дороги, любезный Иоганнес, вы должны как можно скорее покинуть аббатство. Мои слова сбили вас с толку. Не спрашивайте меня, почему я, вопреки моим убеждениям, подчиняюсь воле другого человека, который способен разрушить все, что я создал с таким трудом. Вы должны были бы быть посвящены в самые глубины церковных тайн, чтобы понять меня, если бы я даже захотел рассказать вам о мотивах моего нынешнего образа действий. Но все же с вами я, пожалуй, могу говорить свободней, чем с кем-либо другим. Итак, да будет вам известно, что спустя короткое время пребывание в аббатстве не будет более для вас благодетельным покоем, как это было доселе, да, что ваше внутреннее устремление получило смертельный удар и что монастырь вскоре покажется вам мрачной и безутешной темницей. Весь порядок в обители изменится, свобода, сочетающаяся с истинным благочестием, пресекается, и мрачный дух монашеского фанатизма вскоре с неумолимой строгостью воцарится в этих стенах. О, мой Иоганнес, ваши прекрасные гимны не будут больше возвышать наши души к горнему благоговению, хор будет уничтожен, и скоро эти стены будут оглашаться одними только монотонными респонзориями*⁸, которые через силу будут, фальшивя, тянуть старейшие из наших братьев своими хрипылыми голосами. И все это произойдет, — спросил Крейслер, — по воле монаха-пришельца Киприана?

— Да, это так, — ответил аббат почти печально, потупив взор, — это именно так, мой добрый Иоганнес, и не я повинен в том, что это так, а не иначе. И тем не менее, — прибавил аббат после недолгого молчания, торжественно возвысив голос, — все, что содействует крепости церковного здания, все это должно произойти, и никакая жертва не может быть признана слишком великой для этого.

— Но кто же тот повелитель, — с досадой спросил Крейслер, — кто же тот могущественный и святой, который наставляет вас и который был в состоянии одним только словом прогнать того убийцу, который уже было схватил меня за горло?

— Вы, милый Иоганнес, — ответил аббат, — вовлечены в некую тайну, суть которой вам пока не вполне ясна. Но скоро вы узнаете больше, быть может, даже больше, чем мне самому об этом известно, и именно от маэстро Абрагама. Киприан же, которого мы еще теперь называем нашим братом, — это один из избранных. Он удостоился вступить в непосред-

* Пение, в котором возгласы священнослужителя чередуются с репликами.

ственное соприкосновение с Предвечной Мощью, и мы уже теперь должны воздавать ему почести как святому. Что касается того отчаянного малого, который во время заупокойной службы проник в церковь и хотел вас задушить, то это просто заблудшая душа, полусумасшедший дыган, и наш управитель даже несколько раз велел его здорово отдрать, потому что он у наших деревенских соседей крал кур, которые пожирнее. Для того, чтобы выгнать его, впрочем, не требовалось быть таким уже особым чудотворцем. — Когда аббат произнес последние слова, в уголках его губ на мгновение промелькнула чуть заметная бледная ироническая усмешка и столь же мгновенно исчезла.

Душу Крейсlera наполнила глубочайшая и горчайшая досада; было очевидно, что аббат, невзирая на все достоинства своего ума и рассудка, говорит живо и лицемерно, и что все основания, которые он прежде приводил, чтобы склонить его, Крейсlera, к вступлению в монастырь, в такой же мере были предназначены для того, чтобы служить предлогом для какого-то тайного намерения, как и те доводы, которые он выдвигал теперь, чтобы вынудить Крейсlera покинуть обитель. Крейслер решил оставить аббатство, чтобы полностью освободиться от всех тех грозных тайн, которые, ежели бы он задержался здесь, могли бы, чего доброго, втянуть его во всяческие хитросплетения, и он, быть может, так никогда бы и не выбрался из них. Однако стоило ему только подумать о том, что он сможет сразу же вернуться в Зигхартсгоф к маэстро Абрагаму, о том, как он снова увидит, снова услышит ее, ту, его единственную грезу, он вдруг почувствовал, как в груди его что-то сладостно защемило, — так возвещала о себе пламеннейшая любовная тоска.

Совершенно углубившись в себя, блуждал Крейслер по главной аллее монастырского парка, когда его нагнал отец Гиларий и тотчас же начал: «Вы были у аббата, Крейслер, он сказал вам все! Что же, разве я был не прав? Мы все погибли! Этот священник-комедиант — ну, да, словечко уж вырвалось, чего уж там, — мы с вами — свои люди! Итак, когда он, — вы знаете, о ком я говорю, — явился в Рим в своей власянице, его святейшество тут же дал ему аудиенцию. Он упал на колени и поцеловал туфлю. Но его папское святейшество все не велел ему вставать, и наш святой провалялся целый час, ожидая кивка, означающего дозволение подняться. «Это первая твоя церковная кара», — молвил его святейшество, обращаясь к нему, когда он, наконец, получил разрешение встать, и его святейшество прочел ему длинную проповедь о грехах, в которые впал монах Киприан. Затем он получил пространные инструкции в неких тайных покаях — и отправился в путь! Давненько уже не было у нас собственного святого! Это самое чудо, — ну, да что там, вы же сами видели эту картину, Крейслер, — это чудо, говорю я, именно там, в Риме, приобрело свою окончательную отделку! Я всего лишь честный бенедиктинец, недурной praefectus chori *, вы этого, я полагаю, не станете отрицать,

* Регент хора (лат.).

и попиваю в честь церкви нашей, которая одна только дарует нам вечное блаженство, вот в ее честь я и осушаю порой стаканчик ниренштейнера или боксбейтера, но все-таки, все-таки! Я был бы очень рад, если бы он поскорей убрался отсюда. Пусть возвращается туда, откуда прибыл. *Monachus in claustro non valet ova duo: sed quando est extra bene valet triginta* *. Он ведь и впрямь начнет творить чудеса: взгляните-ка, взгляните-ка, Крейслер, вот он идет по аллее нам навстречу. Он заметил нас и теперь уж начнет лицедействовать!»

Крейслер увидел монаха Киприана, который медленно и торжественно шагал, устремив ввысь неподвижный взгляд, молитвенно сложив руки, как бы охваченный благочестивым экстазом, он приближался по аллее, обсаженной густыми деревьями.

Гиларий поспешно удалился, Крейслер же остался, вглядываясь в облик монаха, во всем существе которого было что-то странное, чуждое, что, казалось, отличало его от всех прочих людей. Великая, необыкновенная судьба оставляет на челе избранника ясно зримые следы, и очень может быть, что чудесный жребий монаха по-своему воздействовал и на его наружность, на то, каким он нынче выглядел!

Монах явно хотел пройти мимо, не желая, в своем экстазе, замечать Крейслера, однако капельмейстер ощутил в себе вдохновение преградить дорогу строгому посланнику главы церкви, неумолимому гонителю прекраснейшего искусства!

Он так и поступил, сказав при этом: «Разрешите, достопочтеннейший отче, поблагодарить вас от всей души. Своим мощным словом вы весьма своевременно освободили нас от мертвой хватки этого грубияна, этого цыгана-забуддыги, — а ведь он непременно задушил бы меня, как украденную курицу!»

Монах, казалось, пробудился от своих грез, он провел рукой по лбу и долго и неподвижно взирал на Крейслера, как будто должен был вспомнить, кто это вдруг возник на его пути. Потом вдруг все лицо его сделалось необыкновенно серьезным и мрачным, и, с гневным пламенем в очах, он громогласно воскликнул: «Отчаянный, кощунственный человек, ты заслужил, чтобы я оставил тебя погибать в грехах твоих! Разве вы не профанировали святой церковный культ, величайшую опору религии своим пустопорожним мирским бряцанием? Разве вы не тот, который своими тщеславными фокусами одурачивал набожные души, так что они отворачивались от святого и предавались светскому веселью в игривых песенках, исполненных сладострастия и сластолюбия?» Крейслер ощутил, что его столь же удивляют безумные упреки фанатичного монаха, сколь и укрепляет в желании стоять на своем глупая надменность, прозвучавшая в услышанных речах; не слишком ли легкое оружие избрал его противник, — подумалось ему.

* Монах в монастыре не стоит и двух яиц, но когда он вне обители — цена ему три десятка (лат.).

— Неужели же грешно, — весьма спокойно произнес Крейслер, твердо глядя в глаза монаху, — восхвалять всевышнего тем языком, который он сам даровал нам, чтобы мы пробуждали в своей груди небесный дар пламенного благочестия, и, более того, сознание потусторонней жизни в груди нашей? Греховно ли взмывать надо всем земным на серафических крыльях песнопения, воспарять к высшему? Если это греховно, то вы правы, достопочтеннейший, в таком случае я и впрямь закоренелый грешник. Позвольте мне, однако, быть иного мнения, ибо я твердо верю, что церковному культу недоставало бы истинной славы священного вдохновения, если бы гимны должны были смолкнуть.

— Так молитесь же пречистую деву, — возразил монах холодно и строго, — чтобы она сняла пелену с ваших глаз, дабы вы смогли узреть, в чем ваше дьявольское заблуждение!

— Одного композитора*, — сказал Крейслер с мягкой улыбкой, — однажды кто-то спросил, как это у него получается, что его духовные сочинения всегда дышат восторгом благочестия. «Ежели, — ответил на это благочестивый маэстро, истый ребенок душою, — с сочинением музыки дело не идет на лад, я прочитываю, расхаживая взад и вперед по комнате, несколько раз «Богородице, дево, радуйся», и тогда музыкальные идеи вновь осеняют меня!» Тот же маэстро сказал однажды об одном своем великом духовном сочинении**: «Лишь дойдя до середины моего сочинения, я заметил, что оно удалось; я никогда не был так благочестив, как в ту пору, когда трудился над ним; ежедневно я преклонял колени и молил господа, чтобы он дал мне сил для благополучного завершения этого моего труда». Мне хочется верить, достопочтеннейший отче, что ни этот помянутый мной маэстро, ни старик Палестрина⁹ не сочинили ничего греховного; мне думается даже, что только ледяное сердце, закосневшее в бесплодном аскетизме, неспособно воспламениться от высочайшего благочестия истинных песнопений.

— Ничтожество! — гневно воскликнул монах, — кто ты, собственно, такой, чтобы я пререкался с тобою, с тобою, который должен был бы повергнуться во прах передо мной? Прочь из аббатства, не смей осквернять более святыню присутствием своим!

Глубоко оскорбленный надменно-повелительным тоном монаха, Крейслер яростно вскричал: «А кто ты такой, ты, безумный монах, что хочешь восстать против всего, что человечно? Ужели ты явился на свет свободным от греха? Разве никогда адские помыслы не возникали в душе твоей? Ужели ты никогда не сбивался со скользкой стези, по которой ты шествовал? И если и впрямь пречистая дева милостиво исторгла тебя из объятий смерти, то это случилось для того, чтобы ты, смирившись, искупил свои грехи, а вовсе не за тем, чтобы ты кощунственно кичился милостью небес, более того, тем нимбом святого, которого ты никогда не удостоишься».

* Иосифа Гайдна (прим. Гофмана).

** «Сотворение мира» (прим. Гофмана).

Монах воззрился на Крейсера: взор его излучал смерть и гибель, и невнятные слова срывались с его уст.

— И, горделивый монах, — продолжал Крейслер все с большей яростью, — когда ты еще носил этот мундир...

С этими словами Крейслер поднес миниатюру, которую дал ему маэстро Абрагам, прямо к самым глазам монаха; но как только Киприан увидел эту миниатюру, он в глубочайшем отчаянии стал колотить себя кулаками по лбу и испустил душераздирающий, исполненный боли, вопль, как будто настигнутый смертельным ударом.

— Убирайся прочь ты, — воскликнул теперь Крейслер, — убирайся ты прочь из аббатства, ты, ты, преступный монах! Ха-ха, милейший праведник, уж если ты, чего доброго, встретишься с тем самым куроедом, с которыми ты в стачке, так, будь добр, скажи ему, что ты не хочешь и не желаешь в другой раз защитить меня, но уж пускай и он наматает себе на ус, что ему следует держаться подальше от моей шпаги, не то я проткну его, как жаворонка, или же как его братца, одним словом, насажу на вертел... В этот миг Крейслер ужаснулся сам себе; ибо монах стоял перед ним, будто окаменев, недвижно, все еще прижав кулаки ко лбу, не в состоянии издать ни звука. Крейслеру почудилось, будто что-то зашуршало неподалеку в кустарнике, точно вот-вот из кустов выскочит дикарь-Джузеппе. И Крейслер побежал прочь; монахи как раз хором пели вечерню, и он отправился в храм, ибо надеялся, что там успокоит свою возбужденную, глубоко израненную душу.

Вечерня была окончена, монахи сошли с хоров, свечи погасли. Душа Крейсера обратилась к старинным набожным благочестивым мастерам, о которых он только что говорил в споре с монахом Киприаном. Музыка, благочестивая музыка зазвучала в нем. Юлия пела — и буря в его душе утихла. Он хотел пройти к себе через боковой придел, двери из коего выходили в длинный коридор, который вел к лестнице и оттуда наверх, в его комнату.

Когда Крейслер вошел в придел, некий монах с трудом поднялся с пола, где он только что лежал, простершись ниц перед чудотворным образом богородицы. В слабом сиянии неугасимой лампы Крейслер узнал монаха Киприана, но тот казался изнуренным и жалким, как будто только что пришедшим в себя после обморока. Крейслер протянул ему руку; и тут монах произнес тихим трепещущим голосом: — Я знаю вас — вы Крейслер! Будьте милосердны, не покидайте меня, помогите мне добраться до вон тех ступеней, я хочу там присесть, но и вы садитесь рядом, совсем рядом со мной, ибо только всеблагая вправе услышать нас! Итак, будьте милосердны, — продолжал теперь монах, когда оба уселись на ступенях алтаря, явите милосердие и милость, доверьтесь мне, скажите мне, ведь вы получили роковую миниатюру от старого Северино, ведь вы знаете все, знаете всю ужасную тайну?

Крейслер откровенно рассказал, что он получил портрет от маэстро Абрагама Лискова, и без боязни рассказал все, что случилось в Зигхартс-

гофе, и как он, сопоставив кое-что, пришел к заключению, что, должно быть, портрет связан с каким-то ужасным преступлением, и что он, этот портрет, явно пробуждает в иных душах живое воспоминание об этом злодеянии и боязнь предательства. Монах (а для него несомненно были потрясением кое-какие подробности в рассказе Крейсlera!) несколько мгновений молчал. Затем он, приободрившись, начал уже окрепшим голосом: «Вы слишком много знаете, Крейслер, и именно поэтому от вас нельзя ничего скрывать. Узнайте же, Крейслер, — тот самый принц Гектор, который преследовал вас не на жизнь, а на смерть, — мой младший брат. Мы — сыновья государя, чей престол я бы унаследовал, если бы буря наших дней не опрокинула его. Мы оба, ибо как раз началась война, вступили в военную службу, и именно служба эта привела сперва меня, а потом и моего брата в Неаполь. Я предавался тогда всем гнусным мирским наслаждениям, и особенно дикая страсть к женщинам всецело охватила меня. Некая танцовщица, столь же очаровательная, сколь и распутная, стала моей содержанкой, и кроме того, я волочился за всеми развратными девками, где я их только ни находил».

Так и случилось, что однажды, уже в сумерки, я на набережной преследовал двух женщин, двух созданий этого рода. Я уж почти было догнал их, когда совсем рядом с собой услышал чей-то пронзительный голос: «Ах, что за премилый бездельник наш красавчик-принц! Бегает себе за первыми встречными девками, а ведь мог бы теперь лежать в объятьях прекраснейшей принцессочки!» И тут я заметил старуху-цыганку в лохмотьях, мне вспомнилось, что я уже видел ее несколько дней тому назад на улице Толедо: сбиры задержали ее за то, что она в пылу ссоры сбила с ног своей клюкой весьма дюжего с виду водоноса. «Чего ты хочешь от меня, старая ведьма?», — крикнул я этой бабе, она же в тот же миг окатила меня целым потоком отвратительнейших и подлейших бранных слов, так что празднующиеся зеваки вскоре начали собираться вокруг нас и дико хохотали, высмеивая мое смущение и нерешительность. Я хотел было уйти прочь, но она схватила меня за край плаща, не поднимаясь с земли, и, внезапно прекратив поток брани, тихонько проговорила, причем ее отвратительный лик скривился в измывающейся усмешке: «Ай-яй-яй, мой сахарный принц, разве ты не хочешь остаться со мной? Разве ты не хочешь услышать о прелестнейшей девице — сущем ангелочке, которая влюбилась в тебя по уши?» Сказав это, старуха с трудом поднялась, как будто щипцами впившись в мою руку, и стала нашептывать мне на ухо про юную девushку, которая хороша и прелестна, как ясный день, и к тому же еще невинна! Я счел старуху самой заурядной сводней и хотел отделаться от нее несколькими дукатами, так как у меня вовсе не было желания впутываться в новую интрижку. Она, однако, не взяла денег и, громко смеясь, крикнула мне прямо в спину, когда я уходил: «Ну, идите, идите, золотой мой, ненаглядный, ей-ей, вскоре вам придется искать меня с превеликой тоской-кручиной на сердце!» Прошло немного времени, я было уж вовсе забыл и думать о старухе-цыганке, но вот как-то однажды, прогуливаясь

по Вилла Реале, я увидел идущую передо мной даму, которая была так чудесна и так прелестна, как никто из виденных мною женщин! Я поспешил за ней вслед, обогнал ее, и когда я увидел перед собой ее лицо, мне почудилось, что передо мной отверзаются сияющие небеса красоты и прелести.

Конечно, так думал я тогда, когда был еще грешным человеком, и то, что я теперь повторяю эти кощунственные мысли, — да послужит вам вместо какого бы то ни было описания того любовного очарования, которым всевышний украсил милую Анджелу, и да послужит это описанием ее красоты, тем паче, что мне теперь не подобает, да, пожалуй, и не удалось бы много говорить о земной красоте. Рядом с юной девицей шла или, вернее, ковыляла, опираясь на палку, очень старая, весьма пристойно одетая особа, в ней поражала только ее необычная полнота и некоторая странная беспомощность. Невзирая на то, что она была теперь одета совсем иначе, несмотря на то, что на ней был чепец, сильно прикрывавший лицо, я тотчас узнал в ней памятную мне цыганку с набережной. Лукавая улыбка старухи и ее легкий кивок послужили мне доказательством, что я не ошибся. Я не мог оторвать глаз от прелестного чуда; девушка потупилась, веер выпал из ее руки. Я мгновенно поднял веер, и потом, когда она брала его, я прикоснулся к ее пальцам; они дрожали, трепетали; и тут в моей груди ярко вспыхнуло пламя проклятой адской страсти, и я не ведал, что наступила первая минута ужасного испытания, которое судили мне небеса. Совершенно оглушенный, в полном расстройстве чувств, замер я, и едва заметил, что дама с ее престарелой спутницей села в коляску, которая стояла в конце аллеи. Лишь когда экипаж укатил прочь, я пришел в себя и как безумный бросился вслед за ним. Я успел догнать их и увидеть, что экипаж остановился перед домом в узенькой коротенькой улочке, ведущей к просторной площади Largo delle Piane. Обе они, дама и ее спутница, вышли из экипажа, и так как коляска уехала, как только они вступили в дом, я справедливо предположил, что они там и живут. На площади Largo delle Piane жил мой банкир, синьор Алессандро Сперци, и я, даже сам не знаю, как мне взбрела в голову эта мысль, — решил тут же навестить его. Он подумал, что я пришел к нему с деловым визитом, и начал весьма красноречиво и многословно распространяться о том, в каком состоянии находятся мои денежные дела. Однако голова моя была всецело занята мыслями о моей прекрасной даме, я ни о чем другом не думал, ничто другое не доходило до моего слуха: вот так и вышло, что я вместо толковых ответов, поведен синьору Сперци о только что случившемся со мной прелестном приключении. Синьор Сперци, оказывается, мог рассказать мне о моей красавице гораздо больше, чем я мог предполагать. Именно он, мой банкир, каждые полгода получал на свое имя от одного аугсбургского торгового дома перевод на значительную сумму, предназначенный для той самой прелестной дамы. Ее звали Анджела Бенцони, а старуху — госпожа Магдала Сигрун. Синьор Сперци, в свою очередь, должен был посылать в адрес этого торгового

дома в Аугсбурге самые подробные отчеты обо всем образе жизни этой девушки, так что он, как ему и прежде полагалось делать это, наблюдал за ее воспитанием и за всем ведением ее дома, и в какой-то мере мог считаться ее опекуном. Банкир полагал, что эта девушка — плод запретной связи весьма знатных особ. Я выразил синьору Сперци свое изумление по поводу того, что такое сокровище, истинный клейнод, доверено особе с такой сомнительной репутацией, как эта старуха, которая в грязных цыганских отрепьях разгуливает по городу и, пожалуй, не прочь была бы даже сыграть роль сводни. Банкир, однако, заверил меня, что невозможно отыскать более верную и более заботливую няньку, чем старуха, которая, кстати, прибыла в Неаполь вместе с Анджелой, когда той едва минуло два года. Ну, а то, что старуха порой рядится цыганкой, это всего лишь диковинная причуда, которую, пожалуй, можно ей простить в этой стране, где каждый порой волен носить маску! Но нет, я не смею, я не должен рассказывать слишком пространно. Старуха вскоре отыскала меня, она вновь была переряжена цыганкой и сама привела меня в дом к Анджеле, которая, мило зарумянившись, с девичьей стыдливостью призналась мне в своей любви. Я все еще, сбитый с толку, полагал, что старуха — бессовестная сводня и греховодница, но вскоре убедился в обратном. Анджела была целомудренна и чиста, как снег, и там, где я, грешник, собирался развратничать, я научился верить в добродетель, которую я, впрочем, вынужден считать теперь бесовским наваждением. И чем выше и выше вздымалась моя страсть, тем все более поддавался я уговорам старухи, которая неустанно твердила мне, прожужжала мне все уши, что я должен обвенчаться с Анджелой. Если это пока и должно было произойти в тайне, то, конечно же, должен был наступить день, когда я открыто смогу надеть княжескую диадему на чело моей супруги. Анджела по рождению ровня мне.

Нас обвенчали в капелле церкви Сан-Филиппо. Мне казалось, что я воспарил на небеса блаженства, я разорвал все свои сомнительные связи, вышел в отставку, меня больше никто не встречал в тех кругах, где я прежде кощунственно утопал во всяческих пороках. Именно это изменение прежнего образа жизни послужило к моей гибели. Та самая танцовщица, отношения с которой я порвал, выследила, куда я отправляюсь каждый вечер, и, предчувствуя, что из этого, быть может, разовьется зерно ее мести, открыла моему брату тайну моей любви. Брат мой прокрался вслед за мной в наше гнездышко и застал меня в объятьях Анджелы. Гектор обратил все в шутку, попросил извинить ему его настойчивость и стал упрекать меня в том, что я оказался таким скрытным и не доверяю ему, хотя бы как откровенному другу; но я слишком явственно заметил, до чего поразила его возвышенная прелесть Анджелы. Искра была заронена, пламя бешеной страсти вспыхнуло в его душе. Он часто приходил к нам, хотя только в те часы, когда он заведомо знал, что я дома. Мне показалось, будто я замечаю, что безумная страсть Гектора встречает взаимность, и все фурии ревности терзали грудь мою. Тут-то я и постиг

все ужасы преисподней! Однажды, когда я вошел в покои Анджелы, мне показалось, что из соседней комнаты донесся голос Гектора. Со смертью в душе я остался стоять, как будто врос корнями в пол. Но внезапно Гектор ворвался из соседней комнаты, — лицо его пылало и дикий взгляд блуждал, как у иступленного. «Проклятый, больше ты не будешь стоять на моем пути!» — так воскликнул он, кипя от злости, мгновенно выхватил кинжал и вонзил его по рукоять в грудь мою. Подоспевший хирург обнаружил, что удар пришелся в самое сердце. Всеблагая удостоила меня великой милости своей, свершив чудо и даровав мне жизнь.

Монах произнес эти последние слова тихим, дрожащим голосом и затем, казалось, погрузился в горестные раздумья.

— Но что же, — спросил Крейслер, — но что же стало с Анджелой?

— Когда убийца хотел вкусить плоды своего злодеяния, — ответил монах глухо, как бы голосом привидения, — любимую мою охватила смертельная судорога и она умерла у него на руках. Яд...

Произнеся эти слова, монах пал наземь, лицом вниз, и захрипел, как будто в агонии. Крейслер дернул за веревку колокола и взбудоражил всю обитель. Сбежались братья-монахи и унесли Киприана, лишившегося чувств, в монастырскую больницу.

На следующее утро Крейслер нашел аббата в необыкновенно веселом настроении. «Ха-ха, мой милый Иоганнес, вы никак не хотели верить в чудеса новейших времен, а ведь вы вчера в церкви сами, собственной персоной, совершили удивительнейшее из чудес, какие только бывают на этом свете! Ну скажите, что вы такое сотворили с нашим надменным, заносчивым святым: он лежит, будто мучающийся угрызениями совести грешник, раздавленный бременем грехов своих, и в детском страхе смерти молит нас о прощении за то, что он-де желал вознестись превыше нас всех! Неужели же вы заставили его, который требовал от вас исповеди, исповедаться самого?»

Крейслер счел, что нет никаких причин умалчивать о том, что произошло у него с монахом Киприаном. Посему он подробнейшим образом рассказал о той прямодушной, но карающей проповеди, которую он прочел высокомерному монаху, когда тот пытался унижить святое музыкальное искусство, рассказал обо всем, даже и о том ужасном состоянии, в которое брат Киприан впал, произнеся слово «Яд!». Затем Крейслер признался, что он, собственно, все еще не понимает, почему портрет, который так испугал принца Гектора, оказал такое же воздействие на монаха Киприана. Точно так же, он, Крейслер, доселе еще находится в полном неведении относительно того, каким образом маэстро Абрагам оказался вовлечен во всю эту жуткую историю.

— И в самом деле, — молвил аббат с очаровательной улыбкой, — милейший сын мой Иоганнес, наши отношения приняли теперь совсем иной характер, чем это было совсем недавно. Стойкая душа, твердый, ясный ум, но преимущественно, пожалуй, глубокое истинное чувство, которое подобно чудесному, вещающему правду откровению, сокрытому в нашей

грудь, направляют нас куда вернее, нежели острейший разум, нежели самый наметанный глаз! Ты доказал это, милейший мой Иоганнес, воспользовавшись оружием, врученным тебе, хотя тебе и никто не объяснил, каково его действие, ты использовал его так ловко и в такой подходящий момент, что сразу же поверг недруга наземь, а ведь, пожалуй, и продуманнейший план военных действий не обратил бы его так быстро в бегство! Сам того не ведая, ты оказал мне, оказал нашей обители, а, быть может, и самой церкви нашей великую услугу, благодетельные следствия коей воистину необозримы. Я хочу, я могу теперь быть с тобой совершенно откровенным, я отвращаю слух от тех, которые хотели лживыми наветами причинить тебе вред; итак, ты Иоганнес, вправе на меня рассчитывать. То, что прекраснейшее желание, которое таится в твоей груди, исполнится, об этом позволь мне позаботиться самому. Твоя Цецилия, ты и сам знаешь, о каком милом создании веду я речь, — но пока — ни слова более об этом! Ну, а то, что ты еще хочешь узнать об этом ужасном происшествии в Неаполе, можно изложить в нескольких словах. Во-первых, нашему достойному брату Киприану угодно было опустить в своем рассказе одну незначительную подробность. Анджела скончалась от яда, который он сам ей дал, ослепленный адской ревностью. Маэстро Абрагам находился тогда в Неаполе под именем Северино. Он хотел отыскать следы исчезнувшей Кьяры и действительно нашел их, когда ему повстречалась на пути та старуха-цыганка по имени Магдала Сигрун, о которой ты уже знаешь. Старуха обратилась к нашему маэстро, когда случилось самое ужасное, и она доверила ему, прежде чем он покинул Неаполь, тот самый миниатюрный портрет, тайны которого ты еще не знаешь. Нажми стальную кнопку у ободка, и портрет Антонио, который служит всего лишь капсулой, отскочит, и ты увидишь не только портрет Анджелы, но тебе в руки упадут несколько листков, которые необыкновенно важны, ибо в них содержится доказательство двойного убийства. Итак, теперь ты видишь, почему твой талисман оказывает такое могущественное воздействие. Маэстро Абрагам, должно быть, еще не раз встречался с достойными братьями при каких-то иных обстоятельствах, но об этом он куда лучше расскажет тебе сам, чем это могу сделать я. А теперь, Иоганнес, давай-ка узнаем, как обстоит дело с болящим братом Киприаном!

— Ну, а как же чудо? — так спросил Крейслер, обратив свой взор к тому месту на стене повыше малого алтаря, где он же сам, вместе с аббатом, укрепил ту самую картину, о которой еще, пожалуй, помнит любезный читатель. Капельмейстер, однако, был немало удивлен, увидя вместо этой картины вновь святое семейство кисти Леонардо да Винчи, возвращенное на свое прежнее место. — Ну, а как же чудо? — вновь спросил Крейслер.

— Вы подразумеваете, — странно взглянув на него, сказал аббат, — ту прекрасную картину, которая прежде висела здесь? Я покамест распорядился повесить ее в нашей больнице. Быть может, лицезрение ее укрепит душу бедного нашего брата Киприана, быть может, всеблагая вновь поможет ему.

В своей комнате Крейслер нашел письмо от маэстро Абрагама, следующего содержания:

«Дражайший Иоганнес!

Скорее! Скорее! Нечего медлить — пора покинуть аббатство, спешите сюда как можно быстрее. Сам дьявол устроил здесь к утехе своей совершенно особую травлю! Устно я сообщу больше, а пишу через силу, ибо вся эта история стала мне поперек горла, как кость, от которой я, чего доброго, могу и задохнуться. Обо мне, о той звезде упования, которая взошла надо мной, ни слова более! Но все-таки, хоть наспех, вот как, в двух словах, обстоят дела: Советницу Бенцон вы больше не обнаружите у нас — теперь она — важная персона, имперская графиня фон Эшенау. Диплом из Вены уже прибыл, и предстоящее бракосочетание Юлии с достойным принцем Игнатием уже, собственно говоря, почти что объявлено. Князь Ириней весьма занят идеей нового трона, на коем он будет восседать как несомненно правящий государь. Госпожа Бенцон, или, вернее, графиня фон Эшенау ему это обещала. Принц Гектор между тем все играл в прятки, пока ему и в самом деле не пришлось вернуться в свой полк. Впрочем, вскоре он возвратится-и тогда уже непременно сыграют две свадьбы. Вот уж, верно, будет потеха! Трубачи уже полощут глотки, скрипачи натирают смычки канифолью, зигхартсвейлерские свечники готовят факелы, — вот тут-то я и устрою великое представление, но только приезжай, пожалуйста, ты непременно должен быть здесь! Право, немедленно приезжай, как только прочтешь это послание! Беги сюда что есть силы. Мы вскоре увидимся. Argoros* — остерегайтесь попов, хотя, впрочем, аббата я очень люблю. Adieu!»

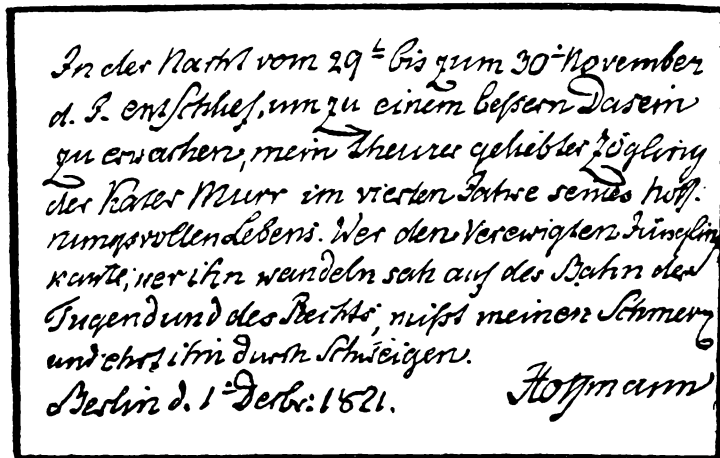
Письмо старого маэстро было настолько кратким и настолько содержательным, что...

* Кстати (фр.).

Приписка издателя

В конце второго тома издатель вынужден сообщить благосклонным читателям весьма прискорбное известие. Умнейшего, ученейшего, философичнейшего, поэтического кота Мурра похитила безжалостная смерть в самой середине его славного жизненного пути. Он скончался в ночь с двадцать девятого на тридцатое ноября¹⁰ после непродолжительной, но тяжелой болезни, сохраняя спокойствие и самообладание, достойные истинного мудреца. Итак, вот еще одно доказательство того, что с преждевременно созревшими гениями, увы, не все обстоит благополучно; они либо явно увядают, становясь при этом бесхарактерными и бездушными, вплоть до полной безучастности, и так сказать, растворяются в массе, либо не достигают зрелых лет. Бедняга Мурр! Кончина твоего друга Муция была предвестницей твоей собственной кончины, и если бы мне пришлось держать траурную речь над твоей могилой, слова мои шли бы от самого сердца, не то что бесчувственная болтовня равнодушного кота Гинцмана, ибо я любил тебя, любил гораздо более, чем многих иных. Ну, что же! Спи спокойно! Мир твоему праху!

Скверно, правда, что покойный не успел завершить книгу своих житейских воззрений, которая, следовательно, должна остаться незавершенной, фрагментарной. Однако, впрочем, в неопубликованных бумагах ушедшего к праотцам кота были найдены еще кое-какие рассуждения и замечания,



In der Nacht vom 29^{ten} bis zum 30^{ten} November
d. J. entschieb, um zu einem bessern Dasein
zu erwachen, mein theurer geliebter Jünger
des Kater Murr im vierten Jahre seines hinf.
rumgerollten Lebens. Wer den Verewigerten Jüngling
kannte, wer ihn wandeln sah auf der Bahn der
Jugend und des Rechts, mußte meinem Schmerz
und erst ihn durch Schweißern.
Berlin d. 1^{ten} Decbr: 1821. Hoffmann

Траурное извещение о смерти Кота Мурра,
разосланное Гофманом друзьям

которые, по-видимому, были записаны им в ту пору, когда он находился у капельмейстера Крейсера. Помимо этого обнаружилась также довольно большая часть книги, растерзанной котом, книги, в которой содержится биография Крейсера.

Поэтому издатель считает вполне целесообразным сообщить благосклонному читателю в третьем томе, который должен выйти из печати к пасхальной ярмарке, эти новонайденные отрывки из биографии Крейсера и заодно уж в надлежащих местах намерен вставить те фразы из замечаний и раздумий кота, которые представляются ему, издателю, вполне достойными опубликования.

ДНЕВНИКИ



1803

Т. А. В.

1 октября: Позавчера я наконец решил, как давно уже собирался, — по-настоящему вести регулярный дневник и в качестве начальной даты беру сегодняшний день. — Собственно говоря, я думал, что можно начать радостно и с полным удовольствием из-за полученной свободы; то обстоятельство, что сегодня первое число, было для меня делом второстепенным, — но письмо из Берлина, запечатанное черным сургучом, содержало известие, что дядюшка скончался¹ от воспаления легких в ночь с 24 на 25 сентября. — Слезы не хлынули у меня из глаз — я не кричал от ужаса и боли, но облик человека, которого я почитал и любил, неотступно стоит перед моими глазами — это видение не покидает меня. — Целый день моя душа в смятении — мои нервы настолько напряжены, что я при малейшем шорохе вздрагиваю...

Впрочем, с усилием я закончил последние рисунки с ваз², это мне удалось.

Боже милостивый, почему именно дядюшка должен был умереть в Берлине, почему не³...

На прошлой неделе ночью послышался стук в дверь — моя жена уверяет, что дядюшка приходил проститься — сегодня я склонен даже поверить в нечто подобное, и вместе со всеми мечтателями спрятаться за гамлетовским изречением⁴. — Впрочем, мои дела, кажется, устраиваются неплохо, ведь Шметтау очень обнадежил меня насчет моего перемещения! —

Как давно уже у меня эта надежда! — Сегодня я смотрю на все через траурный флер. — Смерть дядюшки меня невероятно расстроила — плохое начало — но *non olim sic erit*^{*5}. — Моя жена пошла спать, и меня охватывает детский страх в пустой комнате. — Я считаю это слабостью. — Я хотел бы, чтобы было уже утро, — пусть бы только пролегла хоть ночь между таким событием и продолжением шума из ничего⁶ — жалким

* Не всегда будет так (лат.).

фарсом, из которого, однако, состоят все человеческие занятия и дела, тогда вещи предстанут в более благоприятном свете. — Держу пари, что следующая страница будет звучать лучше.

Мало радости, однако, видел старик — трудами он довел себя до смерти — такова была расплата за долголетнюю службу — о — ремесло юриста сопряжено с большими неприятностями⁷: чем становишься старше, тем больше появляется работы — совсем как у Уленшпигеля. — Если бы я не задался целью стать концертмейстером или. . .

2 (воскр): Сегодня в полдень слушал у монахинь-норбертинок мессу⁸ — музыка была блестяще исполнена — хотя они ухали, как совы, — часть «Incarnatus» * из g-moll была исполнена очень хорошо. — Монахиня пела так, как будто у нее можно было чему-нибудь поучиться, и это действовало на меня неотразимо. Что бы я чувствовал, если бы мне посчастливилось услышать Шик, Маркетти⁹ — если бы снова я услышал мессу в Дрездене! — это нельзя было бы выдержать, я плакал бы, как ребенок! — Днем у Гильдебрандта¹⁰ — много говорили о переводе — он настаивает, что нужно держать это в тайне! — После обеда написал кузену и Фокке¹¹ грустное и смиренное письмо — весь вечер самым нелепым образом читал Виглебову «Магию»¹² и решил как-нибудь, когда будет время, изготовить автомат¹³ на пользу и радость всем толковым людям, которые у меня бывают. — Quod deus bene vertat! — Что за мысли приходят мне в голову! — Еще одна хорошая мысль! — С моими музыкальными идеями дело обстоит так же, как с провидениями флорентийского мученика Савонаролы¹⁴, историю которого я читаю в эти дни: — сначала в моей голове творится нечто невообразимое — затем я принимаюсь поститься и молиться, это значит — я оказываюсь за роялем, закрываю глаза, отгоняю от себя все пустые мысли и стараюсь уловить музыкальные видения, проносящиеся в моей голове, — вскоре идея становится ясной — я схватываю и записываю ее, как Савонарола свои проповеди. — Разве другие композиторы творят так же? — но этого не узнает прусский государственный советник в Плоцке!¹⁵ — Я все еще очень расстроен.

3: Я должен непременно написать Гиппелю!¹⁶
— Жалкий во всех отношениях день. — Утром и днем до десяти часов работал, как лошадь, — рылся в пыльных актах. Работы теперь полным-полно, и было бы подлинной удачей, если бы именно теперь приказ о переводе мгновенно извлек бы меня из этого потока! — После обеда провел час

* [И] воплотившегося (лат.).

у Рейхенберга¹⁷, показал ему отдельные партии и сыграл новую мессу¹⁸ — она ему не особенно понравилась, но он был в восторге, когда я играл ему «Benedictus»*.

Когда я вновь увижу Тебя, Твое бледное лицо — когда я буду снова слушать, как Ты играешь с глубоким чувством, добряк Х[ампе]¹⁹! —

Клянусь небом, я так утомлен, стал таким прозаичным из-за проклятых актов — я не смог бы сегодня набросать и вальса! —

Я хочу еще сделать несколько записей и затем пойду спать — я заметил, что дневник становится все короче — но совершенно сойти на нет он не должен! —

- 4 (вт): Утром скучнейшая сессия, как обычно. — Днем у Гильдебрандта, затем вместе с ним до 10 часов у Рейхенберга. — Много говорили о музыке. — Мара²⁰ — скрипач Локателли²¹ выступил в Берлине приблизительно в 1720 г. в августейшем присутствии. — Король Ф[ридрих] В[ильгельм] I послал ему за это через Рита 3 фридрихсдора. Смогу ли я еще когда-нибудь начать подлинную музыкальную карьеру? — Когда я слушаю о старых и новых композиторах, я вспоминаю «Anch'io son pittore»**²² —

Небо праведное, что за нудный день я сегодня прожил. — Однако терпение — вскоре забрежит заря.

- 5: Плохо обстоит дело с дневником. — Снова почтовый день и снова ничего — ничего. Ничего! —

- 6: Написал Гиппелю короткое забавное письмо. Самое примечательное событие сегодняшнего нудного дня — то, что были просмотрены circa 40 Volumnia ad informationem*** господина децурнента, как деликатно выражается dulce praesidium****²³

δερ γυτεν Βελιτз ἀβ ιχ γεσκίεβεν υνδ εϊνε Δενονιатиων γεγεν дер
 Флухт дер Мадам Вунсхел авс Пωснер ПопілленСоллеріум βεϊγ-
 ελεγт***** —

Какое это произведет впечатление! — Кроме того я нарисовал карикатуру «Ребенок-великан» с хорошенькими рожицами!

* Благословен [еси] (лат.).

** И я то же художник (ит.).

*** Около 40 томов для сообщения (лат.).

**** Верная опора (лат.).

***** Я написал добряку Белицу и приложил донесение по поводу бегства мадам Вуншель, направленное в познаньский опекунский суд.²⁴

Когда только кончатся мои страдания! Сказал Frédéric le grand* на поле боя. Я, Н. le petit**, говорю это, когда отрываюсь от пыльных актов!

Когда переменится моя судьба!

- 7: До обеда прозябал на сессии. — Вечером квартет у Рейхенберга. Господин фон Пивницкий, начинающий судебный следователь и, как он сам рассказал о себе, великий виолончелист, услаждал наш слух, мы его проверили, прощупали и убедились, что он самый жалкий дилетант. — Несчастный отрывок из Плейеля²⁵, и то никак не мог сдвинуться с места. — Затем были исполнены отрывки из Гайдна — очень скверно; как обыкновенно, вся музыка здесь, в этом отвратительном захолустье, ниже всякой критики, но оригинальный, небесный ход гармонии восхитил меня — Г[айдн] был бы неопишимо велик в инструментальной музыке, если бы бросил пустяки. — Вся эта мишура в его <квартетах> вредит целому. — Маленькие менуэты, которые он обыкновенно писал Scherzo Allegro, очень пикантны благодаря оригинальным модуляциям — очень часто они также не что иное, как скерцо, как, например²⁶



— Затем мы разучивали мессу G-dur — шло плохо. — Фуга E-b²⁷ совершенно не получалась! — Небо праведное, здесь ничего не получается! —

- 8: Снова почтовый день, и снова я обманулся в своих ожиданиях! — Иногда мне кажется, что я получу сухое официальное письмо с отказом и вынужден буду принять решение! — Что же я решу? — Я никому нигде не желал смерти, но почему дядюшка в Берлине должен был так рано умереть, а его старший брат — одинокий — всеми покинутый старый холостяк, до чьей жизни никому нет дела, который не трудится ни на каком поприще, который так скучает с утра, когда встает, до того момента, когда пунктуально в девять часов вечера снова отправляется спать, почему этот должен был остаться в живых? — Если бы он умер, я, вероятно, получил бы наследство, и, весьма возможно, что поэтому я не смог бы [!] тогда осуществить лирическую мечту²⁸ о деятельной, свободной жизни человека искусства. Я сбросил бы невыносимое ярмо и вознесся бы в свой Эдем! — Когда я снова буду бродить по райским кушам! — Когда я снова увижу Дрезден!²⁹ —

* Фридрих Великий (фр.).

** Гофман Малый (фр.).

Я сегодня так не в духе, так раздосадован, что мне ничего не удается! — Я уже давно не был перегружен работой и мог много сделать для искусства; это единственное преимущество изгнания. Но это тоже кончилось! —

От тоски днем я перелистал роман Крамера под названием «Порочный Юлиус»³⁰! По излюбленному обычаю, перед каждой главой помещены стихи — между прочим и к гл. 18, ч. 2:

Титул у главы недлинный
И глава-то с гулькин нос,
Но, возясь с подобной глиной,
Трудно вылепить колосс! *

Можно ли представить себе что-либо более убогое, чем эти стихи! — Вся эта писанина действительно ниже всякой критики. — Нет ничего смешнее, когда скверный писатель надевает личину мудреца и разыгрывает ментора. Кропанье господина К[рамера] в этом смысле просто тошнотворно — за некоторыми главами идет форменное поучение с «итак» и «поэтому»! — В предисловии он говорит, что многое еще осталось в его письменном столе, что следовало бы опубликовать после его смерти, — Боже, сохрани и помилуй нас от таких крамеровских Posthumi **! — Я учился в предпоследнем классе, когда читал «Немецкого Алкивиада»³¹ — эта вещь произвела на меня огромное впечатление — я считал автора первым гением под солнцем, а Штольцельна³², который, как я полагал, выполнил гравюры на меди, помещенные в начале глав, вторым Рафаэлем. — Риза с шаловливо поднятым над губами пальчиком была для меня истинным идеалом женской красоты, и я так же пытался скопировать шедевр, как я еще раньше изо всех сил пытался копировать жалкую английскую гравюру на меди, представляющую Элоизу, — это, однако, не удалось! —

Если бы только я получил вести из Швейцарии. — Если Негели готов награвировать мою «Фантазию»³³, то это будет очень важно для моей музыкальной карьеры. — Я мучаюсь идеей трио для фортепиано, скрипки и виолончели³⁴. — Я убежден, что могу создать нечто в этом жанре — Гайдн должен быть наставником для меня — подобно тому, как в области музыки вокальной Гендель и Моцарт.

Я заканчиваю глубоким вздохом, ежедневной моей литаний

Когда я обрету свободу! —

Когда я был в Глогау³⁵, я однажды услышал, как один русский майор — родом поляк — который из-за участия в дуэли

* Перевод А. С. Голембы.

** Посмертных произведений (лат.).

сидел в крепости — в день, когда кончился срок ареста и комендант объявил ему, что он свободен, воскликнул

Ah, je suis libre! *

Интонация его голоса тронула меня до глубины души, я разделял его восторг — я думал о Йорике — о пойманном скворце — о Бастилии!³⁶ — О — я пойман! — я в оковах! — Когда же пробьет час освобождения!

9 (воскр): Черный день. — Работал до 12 часов ночи.

10: Dito черный день —

11: — Вечером нас поразила Г.³⁷ Самое замечательное и самое лучшее —

12: Заурядный день. — Вечером — пунш.

13: Dito — dito

14: Dito — жалкое однообразие!

15: Dito — снова ничего в моих делах.

Der σχλαγ át γεωίρηт — der Vaerр át der Ρεγίερωγ die Fluχт δενυγίεрт und die Ρεγίερωγ σολл die Uητερωχυνγ uerφυγт αβεν — εσ ιστ ενтσχίεδεν δασζ сіе 'іер βλείβт** —

Gratulor toto ex animo ***

16: (воскр) — Когда я избавляюсь, наконец, от этой здешней вечной мертвой скуки. — Детскую группу я уже совсем закончил. — Родился ли я художником или композитором? — Я должен предложить этот вопрос президенту Б[ейеру] или осведомиться об этом у великого канцлера [фон Гольдбека]³⁹, которые должны это знать. — В «Досугах» Беккера я нашел одно музыкальное стихотворение «Sfärodion»⁴⁰ — у меня зародилась мысль положить его на музыку и сделать из него ораторию. — «Всякое дыхание да хвалит господу» — должно превратиться в фугу.

Аминь, пусть это сбудется!

17: Работал целый день. — Увы! — я все больше превращаюсь в государственного советника. — Кто мог предположить это три года тому назад. — Муза ускользает — архивная пыль делает взгляд на мир мрачным и пасмурным! —

Дневник становится любопытным, так как он — свидетельство жалкого состояния, в которое я здесь погружаюсь. — Где мои намерения! — где мои прекрасные планы в отношении искусства? —

* Ah, я свободен! (фр.).

** Удар подействовал — отец донес властям о побеге³⁸, и власти должны принять решение о расследовании — решено, чтобы она оставалась здесь —

*** Приветствую от всей души (лат.).

Всемогущий Б[ейме] ⁴¹—проси за меня! — вознеси меня из этой долины скорби в рай на берега Эльбы — или дай мне увидеть хоть издалека Рейн ⁴², как Моисей увидел землю обетованную!

18:

	19	
	20	
	21	
	22	
Dies	23	tristes et
	24	miserabiles
	25	
	26	

26:

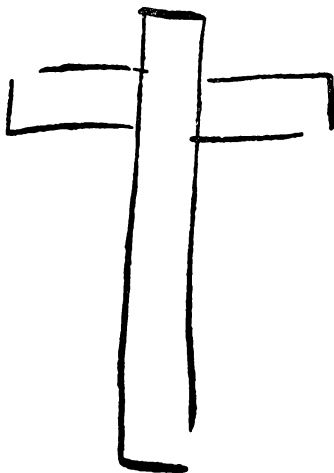
Увидел себя в первый раз напечатанным в «Независимом» ⁴³ — раз двадцать окидывал листок умиленным, полным отцовской любви и радости взглядом — славные виды на литературную карьеру! — Теперь нужно сделать что-нибудь очень остроумное!

27:

Dies tristis

28—29—30—31. 1—2. 3. 4. 5. 6. 7. 8—

Большая пауза — если так пойдет дальше, из дневника немного можно будет извлечь — но это были сплошь dies tristes. Я остаюсь прозябать — я забыт! —



9 ноября: И все же я хочу каждый день непременно что-то записывать. — Я чувствую себя так, словно во мне созревает какое-то великое решение — достаточно нескольких солнечных лучей, и росток поднимется пышным растением с — золотыми цветами? — Небо праведное, моя бездеятельность погубит меня. — С самого утра я хочу управлять собой и заставлять себя дей-

ствовать. — Сегодня я написал Г[иппелю] по поводу 100 фридрихсдоров. — гр[афу] К.⁴⁴ по поводу остатка в 100 рт. — А что ответят господа [?] — Достаточно на сегодня!

Получил письмо от Альбрехта⁴⁵.

10: Неинтересный день *comme à l'ordinaire* *. Строительный инспектор Вернике из Познани вместе со страховым инспектором Теппером нанесли мне официальный визит. —

---- 16 -: Это все-таки ужасно — ничего не удастся! — Так получается со всеми решениями! —

17: Собственно говоря, я должен был бы начать с нового года, я думаю, что это удалось бы лучше! —

Господин Негели сказал мне, на что я могу рассчитывать⁴⁶. — Весьма странно, что в тот же самый день, когда я убедился в ничтожности моих музыкальных сочинений, я имел мужество сочинить анданте! —

А теперь я хочу написать книгу!

1804

ЯНВАРЬ

1 (воскр): Октябрьские и ноябрьские записи дневника, мирно покоящегося с 17 ноября, были лишь вступлением — с сегодняшнего дня будет вестись регулярный отчет о житейских делах, а также о пестром мире, заключенном в моей черепной коробке, со всеми его событиями.

Два важных для меня обстоятельства скоро придадут моей слишком уж будничной жизни новый размах — предложенный мне перевод в Варшаву, на который я согласился, и смерть старой тетушки в Кенигсберге¹, сделавшая меня, возможно, состоятельным человеком. — Как-то все сложится? — Насколько продвинусь я со своими далеко идущими планами по части искусства в этом году? — Я послал Хампе к новому году сонату *As-dur*



Кирхгейм², Гильдебрандт и Ланге³ были здесь. — Все трое готовы были ринуться в огненную печь попойки в Редутном зале! — Они звали меня с собой! — Боже, сохрани и помилуй! мои способности саламандры имеют предел!

* Как обычно (фр.).

- 2: Полон ожидания — утомлен — обессилен — вял — беден мыслями — Приятная перспектива: «будуар», полный судебных актов, которые я должен прочесть.
- 3: Сессия! — В П[лоцке] мои дневники превратились в *libri tristes et miserabiles*. Я с известным злорадством рассказал моему доброму коллеге Г[ильдебрандту] о своем путешествии в Шафхаузен⁴ и в этом же приступе злорадства приговорил себя сидеть в «Ресурсе» Плоцка! — О! горе!
- 4: Конкурс Сераковского⁵ прошел, помост для «фейерверка», который я хочу зажечь в будущую пятницу, готов! — Я твердо рассчитывал сегодня получить письмо из К[енигсберга]⁶. — Ведь все мои планы зависят от этих известий — неприятно вот так пребывать в ожидании —

Право, как только кончится эта праздная жизнь, должна начаться настоящая деятельность! — Мало событий, мало идей — Мой дневник скучен и пуст, как дорога из Познани в Берлин, но как подумаешь о жандармских будках, легче становится продираться сквозь всякие тернии . . .ничего, выпутаюсь. . .

Сейчас у меня нет дела более важного, чем ожидать посещения той, что отворяет врата царства фей.

- 5: Вот это называется усердие на поприще государственного советника! — Составлено 6 реляций — доклады. . . — распоряжения . . . но приятная — да что там «приятная» — великолепная перспектива рая на Эльбе и на Рейне, которая наполняет меня железной силой. . .

Моя жена вместе с Г. была у Кирхгейм. — Я послал Шотту сонату *As-dur*⁷ — понравится ли она ему! — Послезавтра, надеюсь, придут вести из К[енигсберга]!

- 6: Утром сессия — докладывалось дело Сераковского. С 4 до 10 часов в «Новой ресурсе» — с Бахманом⁸ и Ланге выпили епископского. — Ужасное напряжение вечера. — Все нервы взбудоражены пряным вином — приступ страха смерти — двойник⁹ —
- 7: Встал сегодня с неприятным ощущением — следствие вчерашнего опьянения — надо теперь соблюдать строгую диету, чтобы мое недомогание прошло совсем. — Днем читал «Кандида»¹⁰ — образец хорошего романа — главная философская мысль скрывается под покровом карикатур, — глупость человеческого изображения живыми красками, в этом вся соль. — Вечером писал мессу¹¹. — У меня настроение сочинять музыку — я придумал такую фразу¹²



- 8: Работал все утро — несчастный день
 9: Dito написал Бергу в В[аршаву] по поводу квартиры¹³.
 10: Сессия. — Вечером в «Ресурсе» — с Бахманом и Гильдебранд-
 том ел икру, а с Ланге пил епископское — очень смешно было
 слушать проекты законов. — Большой медведь¹⁴ высказывал
 свои пожелания с таким выражением лица и таким тоном, что
 смысл слова «пожелание» сразу был ясен: «Я — большой мед-
 ведей, и кто не хочет испытать на себе, сколь тяжелы мои лапы,
 пусть спешит выполнять мои приказания». — Бессонной ночью
 все думал о путешествии — а когда задремывал, мне снился
 11: Хампе. — Выбраться бы только из этой проклятой дыры —
 — Сегодня опять никаких известий из К[енигсберга]! — Это
 начинает казаться подозрительным — беспокоит меня; вот оно,
 состояние напряжения! — Надеюсь, через месяц все решится;
 дольше и выдержать невозможно! — Дела — повседневная жизнь
 с каждым днем вызывают во мне все большее отвращение! —
 12: — Обыкновенный день! —
 13: — Вечером в «Ресурсе» — выпил слишком много епископ-
 ского! —



- 14: Dies tristis et miserabilis. — Получил письмо от издателя Кюна¹⁵.
 15: Днем обедал у военного советника Хакебека с Рейхенбергом и
 краснолицым упитанным попилом — фельдкуратором ван Ше-
 вен¹⁶ — характерная шведская физиономия — выглядит он cir-
 citer * так



Идеал пустоты! — молили всякий вздор об искусстве
 и понимании искусства — боже, какие неинтересные люди! —
 Если они могут с грехом пополам отличить пастель от масла,
 то они уже знатоки —

* Примерно (лат.).

- 16: — Работал. — Вечером пришла смелая идея нарисовать «Освящение креста» и «Битву при Абукире»¹⁷ в стиле Хаккерта¹⁸ просвечивающими — Сначала я должен накропать реляции!
- 17: Dies miserabilis
- 18: Пришло завещание! — Ничего, ровно ничего! — Все планы прахом — надо предпринять что-то серьезное — я еду в К[енигсберг] — заняв 100 рт у Гильдебрандта. — Вечером не пошел в «Ресурсу»!
- 19: — Работал —
- 20: Приготовления к отъезду — написал Кюну, он должен издать ноты! —
- 21, 22, 23: Дни в дороге.
- 24: Приехал в Кенигсберг¹⁹ в 12-ом часу ночи — так что, собственно говоря, 25-го—25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Увы!! Увы!!

ФЕВРАЛЬ

- 1, 2, 3, 4, 5, 6: Это ужасно!! — Многое можно было бы записать в эти дни, а я этого не сделал! — Каждый день я бывал в театре и видел
1. «Старика Везде и Нигде».
 2. «Красную шапочку».
 3. «Разбойников».
 4. «Чем безумнее, тем лучше».
 5. «Дона Ранудо де Колибрадос».
 6. «Пикколомини».
 7. «Смерть Валленштейна»^{1!}
- Хочу написать что-нибудь для «Эlegantной газеты»^{2!} О театре в К[енигсберге]!
- 7: Тиме и Линденберг³ давали концерт — я присутствовал! — Симфония Иосифа Гайдна была пламенной, но мне не хватало в ней последовательности и целостности, которые и делают иные симфонии подлинными шедеврами. — Мадам Дорн⁴, некая soi-disante* дилетантка, прискучила мне в сцене из «Марии Стюарт» — увы!! — Цумштеег⁵ — Линденберг взял неверный тон — он дул вместо фагота в гребень! — Эмтер пел арию Арбака из «Идомедея»!⁶ —



Ария эта, собственно, — убийственная насмешка божественного Моцарта над кастратами и их манерой пения — он сочи-

* Так называемая (фр.).

нил это лишь *ironise* *, но некоторые господа этого не замечают! Вечером я шел домой с *Вейсом* и *Шварцем* ⁷. — Можно принять это за каламбур — но они действительно носят такие фамилии! —

8: *Dies ordin[arius]* — Напрасно ждал Вейса — Днем прогулка. — Вечером с дядюшкой распили бутылку липари и были в хорошем настроении —

9: Днем получил от Гиппеля ⁸ письмо, которого с нетерпением ждал, и ответил сразу же, что я выезжаю 15-го сего месяца. — Все идет прекрасно! —

Вечером видел «Графа Беневского» ⁹ — это была скорее пародия Шлегеля ¹⁰ — по крайней мере, актеры играли так. — Свое раздражение по поводу бездуховной и бесчувственной, вернее, даже, безголовной игры я излил в карикатуре: *le cœur rapite* **! Я хочу завести альбом для зарисовок!

10: — Как обыкновенно. — Вечером смотрел «Жрицу солнца» ¹¹ — чего не сделаешь со скуки! —

11: — *Dito* — Чертовская Еппи *** — Сражаться весь вечер с проповедницей Оллех! — с ума можно сойти от досады! —

12: Весь день провел дома в халате —пил епископское и днем и вечером!

13: — Происшествие! — нет, не происшествие, — событие — важное для ума и сердца — возвышает сегодняшний день над его унылыми старшими братьями. — Молодая цветущая девушка, прекрасная, как Магдалина Корреджо ¹², — с фигурой грации Анжелики Кауфман ¹³, предстала вечером передо мной! — это была Мальхен Хатт ¹⁴. — У нее грация матери — идеал моих детских фантазий о прошлом моей *Inpatogeta* **** стоял передо мной — сладкая незнакомая боль пронзила меня — она несколько раз выразительно посмотрела на меня — конечно, я для нее был не менее интересен, чем она для меня. — Мамзель Ринк младшая представила ее — дядюшка бесконечно долго рассказывал о похоронах ¹⁵ — напрасно я старался придать разговору интересное направление — я хотел заключить цветущую девушку в объятия своего духа — я хотел незаметно ввести ее в магический круг своего воображения ¹⁶ — несколько выразительных взоров вознаградили бы меня за смертельно скучное однообразие минувшей недели — но ничего не вышло — Ринк все испортила своей свинцовой скукой —

* Иронически (ит.).

** Сердце бьется (фр.).

*** Скука (фр.).

**** Возлюбленной (ит.).

Я перечитываю «Исповедь» Руссо, наверно, в 30-й раз — и нахожу, что я во многом похож на него. — У меня также спутываются мысли, когда надо облечь чувства в слова! — Я бываю невероятно взволнован! — Какой памятник воздвигнут здесь умершей! — Он живет, чем обычно бывают *Castra doloris* *, потому что там главную роль играет мраморный ангел смерти, а здесь — живая грация. . .

Любезность при расставании вышла очень плоской — я хотел сказать слишком много — на досуге, как часто и во сне, я говорю всего лучше — у меня получаются даже экспромты, но все, как я сказал, на досуге! —

Почему я не записываю своих озарений, как покойный тайный советник Баумгартен ¹⁷? — Ведь при случае их можно было бы с эффектом пустить в ход — Вольтер тоже так делал — у него, наверно, осталось множество неиспользованных мыслей! — Драгоценное наследие — бесценное достояние для высокого ума!

14: Утром наносил визиты — как ни странно, двум старым мамашам Штюмер — Прейфер — из рода Лезгеванг ¹⁸. Последняя поставила хорошую малагу и получила за это. . . — «Воспоминания из сцен детства в Кузиттен» ¹⁹!! —

Вечером с Вейсом на концерте — Риль ²⁰ играл скучную сонату — можно было уснуть. — Затем хоры из «Аталии» ²¹. Академия пения — цветник Кенигсберга — самые милые девушки — три из них с великолепными голосами — со мной не могло случиться того, что с Руссо в Консерватории в Венеции! ²² Одну звали мамзель Бремер

15: Отъезд из К[енигсберга] утром в 9^{1/2}.

16: Утром в половине 4-го в провинции Пруссии — меня ждали лошади от Гипшеля — приехал в час дня.

17, 18, 19,

20: В Лейстенау ²³

21: Вечером в 11 часов в Пл[оцке].

22—10 Получен рескрипт ²⁴.

марта:

1809

ЯНВАРЬ

1 (воскр): Получил от Куно 15 фл¹. — заплатил за квартиру 12 фл — жалованье. — Хорошее начало! — В театре «Арлекин» моего сочинения ².

* Надгробия (лат.).

- 2 (пон): Письмо от Крамера из Берлина с 43 рт³ — в «Барашек» заплатил 57 фл
- 3 (вт): Написал дядюшке в Кенигсберг и приложил письмо к Гиппелю. — От гр[афини] Рот[енхан]⁴ 6 —
- 4 (ср): Послал в Цюрих Негели сонату⁵ — обратился к нему по поводу канцонетт и продажи моих сочинений
- 7 (субб): Написал в Вюрцбург Содену по поводу пересылки «Напитка бессмертия»⁶, так же как и по поводу сочинения «Miserere» для великого герцога⁷
- 9 (пятн): Получил от мадам Марк⁸ 8 лаубталеров. — 22
- 10 (вт): Начато сочинение «Miserere» * ~~→~~
- 11 (ср): Написал надворному советнику Рохлицу⁹ в Лейпциг и послал ему «Кавалера Глюка» для «Музыкальной газеты» и предложил себя в качестве сотрудника!¹⁰ —
Над «Miserere» однако, работал мало — пока не ладится
- 12 (четв): Серьезно и с радостью работал над «Miserere»; закончил вокальные партии первого фугированного предложения.
- 13 (пятн): Получил ответ от графа Содена — он просит для себя «Напиток бессмертия» и советует переслать «Miserere» великому герцогу. — Концертмейстер Гризи¹¹. — Сразу же ответил. — Работал над «Miserere». — Nulla dies sine linea! ** —
- 14 (субб): Послал Содену партитуру «Напитка бессмертия». — Над «Miserere» работал *не очень успешно*. «Secundum misericordiam tuam» ***
- 15: «Secundum misericordiam tuam» закончил! — Работая, заболел (воскр) и вынужден был лечь в постель — головокружение и тошнота. — Потом оправился и закончил вокальные партии «dele iniquitatem meam» ****
- 16 (пон): Послал письмо в Познань¹². Первое предложение до «Ессе» совершенно закончил. — Несколько болезненное состояние или вернее, тяготение к романтически религиозному в (...) к «Miserere».
- 17 (вт): Записал хорошую мысль для «Asperges me hysopo» *****. — Впрочем, бездельничал. Вечером пел на концерте у герцога арию «Констанца, вижу тебя вновь»¹³. — Гризи не сочиняет! — Очень холодно, — Пианист Маркс¹⁴ из Вюрцбурга
- 18 (ср): Невероятный холод. — Работал над «Ессе enim» ***** — с легкостью, но лениво! — Увы, Увы!

* Miserere [nobis] — Помилуй [ны (нас)] (лат.).

** Ни дня без строчки (лат.).

*** По [велицей] милости твоей (лат.).

**** Уголи моя печали (лат.).

***** Иссопом окропи мя (лат.).

***** Ессе enim [in iniquitatibus] — Се бо смятен пред Тобою (лат.).

Allegro

Allergo moder.

Melodica

Allegro molto

Den 14 März 1808

Eruchte den Herrn Hofrath aus der
 Hofkapelle mit C. minor an Haegels
 in Zürich den 15. März 1808

Последняя страница письма Гофмана к Негели от 15 марта 1808 г..

- 19 (четв): Невероятный холод. — Над «Miserere» работал плохо. *Увы! Увы!* — Скверное состояние в любом отношении. — *ria desideria* * и т. д.
- 20 (пятн): Более мягкая погода. — Хорошо работал над «Miserere», закончил вокальные партии «*Ecce enim in iniquitatibus*». Начинает подвигаться
- 21 (субб): Удачный день! — *Прилежно* работал над «Miserere». Послание от Куно, я должен сочинять музыку к «Привидению» Коцебу¹⁵. — Чего только я — не должен и не хочу! — Мужество и выдержка! —
- 22: (воскр) (Трудные времена) — Целый день сидел дома и *прилежно* работал над «Miserere». — «*Ecce enim veritatem*» ** закончил совершенно и, как мне кажется, получилось! — Сейчас я в ударе.
- 23 (пон): Плохой день. — Над «Miserere» почти не работал! — *Увы! Увы!*
- 24 (вт): Получил письмо от Содена — «Напиток» *pp* должен ставиться в Вюрцбурге¹⁶. — Вечером у мадам Марк. Над «Miserere» совершенно не работал. — Ротенхан 6.
- 25 (ср): Очень приятное письмо от Рохлица из Лейпцига. Он берет для начала «Кавалера Глюка» и меня в качестве *сотрудника в «Музыкальную газ[ету]»*¹⁷. Вечером на чаепитии у советника земельного управления Фукса. Когда мы в половине десятого собрались домой, Регниц разлился до самой Юденштрассе, так что мы не смогли попасть домой; мы пошли к мадам Куно, которая приняла нас, — нужда заставит пойти на все. — Моя жена очень испугалась, а я нет.
- 26 (четв): Провел скучнейший день у мадам Куно — все читал комедии и, естественно, из-за обстановки не сделал ничего путного. — От мадам Фукс 6 фл.
- 27 (пятн): Утром вернулся к себе на квартиру. — Написал Куно по поводу Пролога в честь Каролины¹⁸. Вечером работал над «Miserere». Готовы вокальные партии «*Asperges me hyso*». — Моя литературная карьера, кажется, начинается.
- 28 (субб): Утром слушал мессу в соборе — удивительная музыка. — Искусные фанфары напомнили мне кое-что прочитанное о старых временах — «*In gloria dei patris*» ***. — Вечером совершенно закончил «*Lava me et super*» **** *pp*. Великолепная весенняя погода.
- Этой ночью во сне абсолютно явственно видел известие о смерти дяди.

* Благие намерения (лат.).

** Се бо истину [ишу] (лат.).

*** Во славу бога отца (лат.).

**** Искупление [грехов] даруй мне (лат.).

- 29: Утром в евангелической церкви слушал жалкую музыку. — (воскр) Кантаты Цумштега¹⁹ никуда не годятся! — Написал Рохлицу — Впрочем, ленился — над «Miserere» совершенно не работал!
- 30 (пон): Вечером на балу в «Кассино»²⁰. Новые знакомства: советник апелляционного суда Фракассини²¹, президент фон Секендорф²². Говорил также с генеральным комиссаром фон Штенгелем — безрезультатно!²³ —
- 31 (вт): Утром занимался Прологом к празднику в честь Каролины. — Вечером на спектакле. — Погода держится великолепная.

ФЕВРАЛЬ

- 1 (ср): Болен и грустен. — Работал над «Miserere» — «Auditui meo dabis» Редвиц 8 фл.
- 2 (четв): Закончил «Auditui meo dabis»*. — Вечером на представлении «Мессинской невесты» — очень хороший спектакль.
- 3 (пятн): Никакой охоты работать! — Снова в театре.
- 4 (субб): Закончил «Averte faciem tuam»** до «Et iniquitates». — Все еще теплая погода —
- 5 (воскр): «Et dele iniquitates meas». — Вечером в театре. — Скверный спектакль «Алины»¹ — От мадам Марк 14
- 6 (пон): Начал арию, заказанную для оперы «Тайна»². (Заказ был отменен, и ария не закончена)
- 7 (вт): Письмо из Швейцарии — соната возвращена снова³ — кстати, заказывает вокальную музыку и фортепианные пьесы с сопровождением — очень хвалит канцонетты⁴ и фортепианные пьесы и хочет получить какие-нибудь. — Переслал перевод на 89 ливров —
- 8 (ср): Dies tristis — Закончил вокальные партии «Redde mihi»***, подготовил одну арию к «Фаншон»⁵. — Вообще скверное настроение и болезненное состояние
- 9 (четв): Обедал у Фукса и слышал назидательный разговор о Шлейермахере⁶ — Würzburgiana. — Работал над «Redde mihi»
Был принят в общество⁷ почетных членов
- 10 (пятн): Закончил «Redde mihi». (Впрочем, dies tristis — ужасная вялость, никакой охоты ни к чему).
- 11 (субб): Завершил «Dosebo iniquos»****. — Написал Содену вместе с вложением к Бонитасу⁸ и К⁰ по поводу ассигновки.

* Внемли мне (лат.).

** [Да не] отклонишь лица своего (лат.).

*** Услыши мя (лат.).

**** Гнев грядет неправеден (лат.).

- 12: Оставался дома, усиленно работал над фугой «Et exultabit» * — однако она не продвигается как следует.
- 13 (пон): Работал над фугой — театральная история идет к взрыву⁹ — Куно заявляет, что он не может больше держаться. Труппа сокращена, а жалованье уменьшено на 25%. — Как это кончится!! — Вечером на балу в «Кассино»
- 14 (вт): Закончил вокальные партии фуги «Et exultabit» — Начал заключительную фугу и, как мне кажется, нашел удачную тему. — (Канун поста) Уже не так вял —
- 15 (ср): Вечером в театре — «Водонос»¹⁰. Кроме этого ничего!
- 16 (четв): Ничего!!
- 17 (пятн): Над заключительной фугой работал очень мало. Впрочем, не произошло ничего особенного. Великолепная весенняя погода — прогулка —
- 18 (субб): Закончил вокальные партии заключительной фуги и усердно трудился над «Libera me» **. Впрочем, ничего нового и достопримечательного. Обыкновенный день
- 19: Утром был у генерального комиссара и получил разрешение (воскр) на открытие школы пения¹¹. — Днем закончил фугу «Et exultabit» и хорошо начал «Sacrificium» ***
- 20 (пон): Утром слушание дела в городском суде между театральной труппой и Куно. — Вечером концерт в «Кассино». Скверная музыка. — Закончил «Sacrificium»
- 21 (вт): В театре! — Решение в пользу Франкфурта. — Кроме этого ничего —
- 22 (ср): В театре. «Камилла». Ничего.
- 23 (четв): Занимался корреспонденцией Куно и при этом забыл о своей собственной. Директор Шмидт¹² во Франкфурте ~~21~~
- 24 (пятн): Хоры к «Смерти Роллы»¹³. — Ничего, хотя и не из-за лени, а из-за болезненного состояния.
- 25 (субб): Закончил «Venigne fac» **** и усиленно работал над заключительной фугой. — Письмо от Содена. Бонитас платит неважно¹⁴ — опера будет поставлена
- 26: Писал письма — Шмидту во Франкфурт, Гюсбахеру, Куно в (воскр) Вюрцбург, Моргенроту¹⁵ в Дрезден, Брейткопфу¹⁶ в Лейпциг, Крамеру pp
- 27 (пон): Ничего примечательного
- 28 (вт): Dito — на представлении

* И воззовет мя (лат.).

** Избави мя (лат.).

*** Пресуществление (досл.: жертвоприношение) (лат.).

**** Окажи благодеяние (лат.).

МАРТ

- 1 (ср): Получил письмо от Хитцига ¹. Закончил «*Miserere*»
- 2 (четв): Получил письмо от редакции «Музыкальной газеты» вместе с музыкальными произведениями для рецензирования ². — Начал сочинение «Привидения».
- 3 (пятн): В театре. — Работал над «Привидением».
- 4 (субб): «Привидение» — на чаепитии у мадам Марк
- 5 (воскр): Закончил первый акт «Привидения». — Кроме этого ничего примечательного. — *В театре*
- 6 (пон): Работал над «Привидением» — познакомился с Лео ³ — (актер Лео из Штутгарта — и т. д.)
- 7 (вт): Dito — пропустил много уроков — был в Буге ⁴
- 8 (ср): Закончил второй акт «Привидения». — Все по-старому
- 9 (четв): Закончил 3-й акт «Привидения» и начал 4! — Кроме этого ничего нового! —
- 10 (пятн): Вечером в театре. — Опять ничего нового!
- 11 (субб): Закончил «Привидение» кроме увертюры
- 12: Начал увертюру к «Привидению». В театре —
- (воскр)
- 13 (пон): В концерте. — Читал напечатанного «Кавалера Глюка!» ⁵ — это удивительно, что напечатанная вещь воспринимается иначе, чем написанная.
- 14 (вт): Письмо от Хампе ⁶ и от Брайткопфа и Гертеля ⁷. — Они вполне единодушны — Хампе чрезвычайно хвалит увертюру «Веселых музыкантов»
- 15 (ср): Очень усиленно работал — Ротенханы уехали — плохие известия — война и слухи о войне ⁸ — французы! —
- 16 (четв): *Dies ordinarius atque tristis* — работал над увертюрой ⁹ —
- 17 (пятн): *dito — nihil*
- 18 (субб): Закончил увертюру — начал переписывать «*Miserere*» — начал канцонетты
- 19: Письмо от *Моргенрота* — он требует от меня, чтобы я принял шаги для получения места музыкального директора в *Бреслау* — Бирей ¹⁰ уезжает.
- (воскр)
- 20 (пон): *Ничего!*
- 21 (вт): Написал в Бреслау Бирею, в Дрезден — Моргенроту — Содену ¹¹
- 22 (ср): *Dies ordin[arius]*
- 23 (четв): *Dies ordin[arius]*. Начал 2 канцонетты
- 24 (пятн): Dito — ответ от Содена — он не принимает театр
- 25 (субб): Dito
- 26: Пел целый день — утром репетиция «*Così fan tutte*» *
(воскр) днем. — Вечером спектакль. — Кроме этого ничего

* Так поступают все [женщины] (ит.).

- 27 (пон): Огромная, ужасающая лень — беспокойство — война и бранные кличи — 12,2 кирасирские полки — 25—21, 45, 85, линейный полк — кроме этого много повозок с боеприпасами *pp* — австрийские дезертиры —
- 28 (вт): Сочинил хороший канон для третьей канцонетты, и последняя почти готова — все идет много лучше. — Написал Куно. — Моя судьба должна теперь измениться — так или иначе —
- 29 (ср): *Dies ordin[arius]*
- 30 (четв): Знакомство с купцом Кунце¹². — В остальном *dies ordin[arius]*
- 31 (пятн): Решение по поводу «Цветка и перевязи»¹³ — немедленно приняла необходимые меры

АПРЕЛЬ

- 3 (пон): Театр. — Написал в Вюрцбург Куну
- 4 (вт): бал
- 5 (ср): Новое предложение занять место оперного режиссера¹. Получил ноты из Лейпцига
- 6 (четв): Послал письма в Лейпциг Б[реиткопфу и] Г[ертелю]², а также в Лигниц Хампе
- 9 (воскр): Исполнено «Привидение», во всех отношениях скверная постановка — почти освистана! —
- 10 (пон): Бездельничал — *dies ordin[arius]*
- 11 (вт): Начал переписывать канцонетты — заплатил в «Барашек» 26 фл
- 12 (ср): В театре — кроме этого ничего
- 13 (четв): Закончил канцонетты — даже и в набело переписанном виде
- 14 (пятн): Начал переписку партий из «Цветка и перевязи» (*Opus horgendum**)
- 16: Ходил в Буг — затем в театре
- (воскр)
- 16 (пон): *Расторжение театрального контракта на 6 недель* — в «Кассино» на балу. — Все французские и баварские войска оставили город.
Австрийцы должны быть близко
- 18 (вт): Приглашен на чай к Фукс. — Получил канцонетты из Лейпцига³. — В городе тягостная тишина
- 19 (ср): Писал рецензию на обе симфонии Витта — *opus I.* этого рода — пошло легче, чем я предполагал. — Герцог выехал из города
- 20 (четв): Закончил рецензию и написал в редакцию «Музыкальной газеты»⁴
- 21 (пятн): В театре — бенефис Квандта⁵

* Ужасная работа (лат.).

- 22 (субб): Отослал рецензию в Лейпциг. Вечером на чаепитии у мадам Марк — генеральный комиссар был там — *ennuyant** — вялость, дурное настроение
- 23: В театре *enpuiciert*
(воскр)
- 24 (пон): В Лейпциг Б[рейткопфу и] Г[ертелю] сочинял новую музыку для Диттмейера⁶.
- 25 (вт): Сообщение о битве; австрийцы полностью разгромлены⁷. — В Буге. — Великолепная погода
- 26 (ср): Закончил немецкие тексты к канцонеттам
- 27 (четв): Ничего. — Известия от 25 сомнительны, судя по новому бюллетеню. — Письма из Познани
- 28 (пятн): В театре — много уроков утром и днем — настроение недурное
- 29 (субб): Нарисовал группу: гражданское ополчение — кроме этого ничего примечательного и нового! — Замысел трех канцонетт. — Известия от 25, конечно, ложны
- 30: В театре
(воскр)

МАЙ

- 1 (пон): Перебрался в новую *приятную* квартиру с великолепным видом на горы и долину. — При этом и поэтическая келья!! —
- 2 (вт): Составил объявление о школе пения
- 4 (четв): Получил ноты из Лейпцига¹
- 6 (субб): Октябрьская погода и октябрьское настроение. Составил подробный план для школы пения
- 7 (воскр): *Dies ordin[arius]*
- 9 (вт): Поместил в «Еженедельном листке» объявление о школе
- 10 (ср): Сочинил две канцонетты — доброе творческое настроение — несчастная глупость — *la biondina*** — великолепная весенняя погода
- 11 (четв): Прекрасный день, *впрочем, ничего*
- 12 (пятн): *dito*
- 13 (субб): *dito*
- 17 (ср): Закончил канцонетты
- 18 (четв): Несчастная глупость *la biondina* — днем прогулка в Буг
- 19 (пятн): Ничего
- 20 (субб): Очень неприятный разговор с Диттмейером
- 21: Юльхен Марк выступила в первый раз с арией из «Sargino»²
(воскр) — «*Gran Dio*» имела успех
- 25 (четв): Написал в Кенигсберг. — Хорошие замыслы — трио для фортепиано. — Новый период — полковник Шилль³ *ppp*

* Скучал (фр.).

** Блондинка (ит.).

- 26 (пятн): Вступил в «Музеум»⁴. Вернер⁵ получил от князя-архиепископа пенсию в 1000 фл — известие, которое подействовало на меня странно, — какой князь сделает в будущем что-нибудь для меня.
- 27 (субб): Шесть канцонетт, а также «Miserege» послал Н[егели] в Цюрих⁶, послал и письмо старику в Кенигсберг. — Разговаривал с la biondina
- 28: (воскр) Сделал театральный обзор для «Эlegantной газеты»⁷ — написал Хитцигу⁸. La biondina должна быть оставлена рош toutjours * Новый взгляд на вещи
- 29 (пон): Новые знакомства у мадам Фукс. — Сицилианская графиня. — Добрые надежды — это же общество встретил в Буге. Фрау ф. Мелич
- 30 (вт): Отправил театральный обзор и письмо Хитцигу с приложением письма к трибунальной советнице Дерфер⁹. —
- 31 (ср): Ничего важного — в Буге — надежды на место музыкального директора — Квандт. —


ИЮНЬ

- 1 (четв): Принял участие в процессии в честь праздника Тела Господня — в церкви с хором пел мессу Гайдна
- 2 (пятн): Предложение приехать к саксен-кобургскому министру фон Кречману¹ в Терен, что в 8 часах от Бамберга. Готовность принять его. —
Сообщение о битве — французы разбиты²
- 3 (субб): Новые решения — не ехать в Терен — австрийцы разбиты, и все кончено —
- 4 (воскр): Дурные вести от 3-го неверны. — Прихварываю
- 5 (пон): Получил письмо от фон р Кречмана, он настойчиво приглашает меня. — Визит к фрейлейн фон Хоенхаузен. Нездоров
- 6 (вт): Чувствовал себя лучше после нескольких дней недомогания — ответил Кречману — я требую [более] значительного гонорара
Вечером в Буге — с la biondina покончено
- 7 (ср): Послал письмо Кречману
- 8 (четв): Начал арии к «Геновеве» Мюллера Живописца³
- 14 (ср): Ночью прибыли дозорные части австрийцев, которые остановились на бивуаке перед Каменными воротами
- 15 (четв): В 12 часов ночи австрийцы ушли
- 17 (субб): Сегодня днем 35 французских chasseurs ** на конях и части вюрцбургской Cheveaux légers *** вступили в город и расположились бивуаком перед Каменными воротами

* Навсегда (фр.).

** Стрелков (фр.).

*** Легкой кавалерии (фр.).

- Вечером в 8^{1/2} ко мне явился граф Соден, и таким образом я наконец познакомился с ним лично
- 18: Днем ответный визит Содену — я должен сочинить музыку к мелодраме
- 21 (ср): Граф Соден принес мне мелодраму «Дирна»⁴. — От мадам Марк задаток 54 фл —
- 22 (ср): Начал новый урок у мадмуазель Молитор 
Начал сочинение музыки к «Дирне» Содена. — Я должен надеяться на лучшие времена! — Написал в Вюрцбург Мюнхаузену по поводу «Напитка бессмертия»⁵. — Соден был у меня.
- 23 (пятн): Получил необычайно приятное письмо от редакции «Музыкальной газеты». — Они спрашивают, не хочу ли я написать рецензии на симфонии Бетховена⁶. — Работал над «Дирной». — Вечером, как обычно, в Буге
- 24 (субб): Работал над «Дирной»
- 25: Dito
- (воскр)
- 26 (пон): Dito
- 27 (вт): Dito
- 28 (ср): Получил письмо из Кенигсберга. — Первый урок у мадмуазель Штепф
- 29 (четв): Работал над «Дирной»
- 30 (пятн): Работал над «Дирной». — Квандт уехал

ИЮЛЬ

- 3 (пон): Написал в редакцию «Музыкальной газеты»¹. — Вечером бал в Буге — мад[ам] Альтенхофен — фрау фон Хоенхаузен — фрейлейн фон Мозель (Роткопф.) — катались на яхте — скучная прогулка
- 4 (вт): Письмо от Мюнхаузена из Вюрцбурга — он направляет меня к Гисбахеру. — Немного поработал над «Дирной»
- 5 (ср): 8000 французов под командованием маршала Жюно² вступили в город — великий грохот! — Вечером в Буге
- 6 (четв): В 2 или 3 часа ночи основные силы были разбиты, и французы стремительно отступили. — Впрочем, in publicis* и privatis** полнейшее затишье. — Недомогание
- 7 (пятн): Усиленно работал над «Дирной»
- 9 (воскр): Визит к Кунцу — и наконец получил вторую часть «Испанского театра». — Нашел, что пьеса «Мост Мантибля»³ очень

* В общественной жизни (лат.).

** В частной жизни (лат.).

- подходит в качестве великолепного оперного сюжета! — Отступление — Днем французский обоз *поспешно* отступил
- 10 (пон): Занимался сценарием «Моста Мантибля»... Начал переработку
- 11 (вт): Сценарий закончил —
- 12 (ср): «Дирна» — politica * плохи — австрийцы наголову разбиты под Веной⁴
- 13 (четв): «Дирна» —
- 14 (пятн): Dies ordin[arius] atque trist[is]
- 15 (субб): Dies ordin[arius] atque tristis
- 16: In politicis удивительные новости, я с усилием смогу их переварить — как бы я хотел ничего об этом не знать. — *Письмо из Лейпцига от Б[рейткопфа и] Г[ертеля]*.
- 17 (пон): Работал над «Дирной» — кроме этого ничего — pp
- 18 (вт): Порядочно работал над «Дирной», впрочем, dies tristis atque mis[erabilis]
- 19 (ср): Официальное сообщение о заключенном перемирии. (Праздник победы). Визит к мадам Фукс. — Вечером, как каждый день, в Буге у мадам Марк
- 20 (четв): «Дирна»
- 21 (пятн): Получил пакет с музыкальными сочинениями для рецензирования⁵ из Лейпцига вместе с очень лестным письмом от редакции «М[узыкальной] г[азеты]»
- 22 (субб): Прилежно работал над «Дирной»
- 27 (четв): Усиленно работал над «Дирной» — даже с жаром!!
- 28 (пятн): Усиленно работал над «Дирной» — к своей радости сочинил сложный хор с двукратным повторением тактов $\frac{2}{4}$ и $\frac{4}{4}$
- 31 (пон): Получил через Гебхардта фортепиано от Брейткопфа и Гертеля —

АВГУСТ

- 1 (вт): Я должен начать трио в E-dur¹ — «Фантазию»² pp
- 2 (ср): Начал трио
- 3 (четв): Работал над трио
- 4 (пятн): Работал над трио
- 7 (пон): Первый урок с Вольфом и Фризом
- 9 (ср): Первый урок у мадам Вильд
- 10 (четв): Трио
- 11 (пятн): Трио
- 12 (субб): Написал Куну — Гюсбахеру, также ... Берлин³ ∇
- 13: Dies ordinarius
- (воскр)

* Политические дела (лат.).

- 17 (четв): Различные визиты — кроме этого ничего
 18 (пятн): Сочинял очень лениво — однако хорошие замыслы. —
 Фантазировал на старый лад — la biondina — здравый смысл —
 19 (субб): Визит к мадам Кратцер⁴
 20 (воск): Усиленно работал над трио. — Вечером, как обычно, в Буге
 21 (пон): Анданте к трио. Получил письмо от Квандта⁵.
 22 (вт): Усиленно и с успехом работал над трио
 23 (ср): Dito
 24 (четв): Работал над трио
 25 (пятн): Наконец завершил трио и сразу же запаковал — написал Негели⁶
 26 (субб): Отослал трио — много разнообразных визитов. — Соден взял
 на себя руководство театром, и я снова играю роль
 27: Ничего
 (воскр)
 28 (пон): Сегодня трио отправилось в путь
 30 (ср): Написал заключительный хор к «Дирне». — Режиссер Дейч⁷
 из вюрцбургского театра

СЕНТЯБРЬ

- 3 (воскр): Начал портрет трех детей [мадам] Марк¹
 4 (пон): Написал Моргенроту. Касательно места здешнего музыкального
 директора
 7 (четв): Закончил увертюру к «Дирне». — Работал над портретом
 11 (пон): Написал тетушке Дерфер по поводу мад[муазель] Крейц²,
 записку Содену по поводу ангажемента³ —
 13 (ср): Серьезно заболел
 14 (четв): Болен
 15 (пятн): Болен
 16 (субб): Болен
 17: В театре — «Армида»⁴
 (воскр)
 18 (пон): Рецидив
 19 (вт): Болен
 20 (ср): Болен. — Ответ от Моргенрота, он хочет приехать
 21 (четв): Болен
 22 (пятн): Улучшение — во время болезни читал много разнообразных
 книг
 23 (субб): Вышел из дому. — Получил из Вюрцбурга партитуру «Напитка
 бессмертия»⁵
 24: Написал счет Брейкопфу и Гертелю, согласно которому мне
 (воскр) причитается остаток в 17 рт — написал Моргенроту в Дрезден,
 Дейчу в Вюрцбург

- 6 (пон): Ужасная распущенность! — Странная идея на балу 6-го. — Я как бы смотрю на себя в увеличительное стекло — все фигуры, которые двигаются вокруг меня, — это я сам, и я догадую на их поведение *ppp*
- 20 (пон): Бал
- 21 (вт): Послал редакции «Музык[альной] газеты» рецензию на «*Virtuosi ambulanti*, «*Pater noster*» Ромберга¹
- 22 (ср): Первый урок у Вейт
- 27 (пон): Получил из Швейцарии музыкальные сочинения. — [Начал переписывать «*Miserere*»]

ДЕКАБРЬ

- 22 (пятн): Получил музыкальные сочинения из Лейпцига¹
- 23 (субб): Закончил переписку «*Miserere*»

1811

ЯНВАРЬ

- 1 (вт): In p[omine] d[omini]! — * Закончил переписку «Дирны» для театра в Зальцбурге¹. — Вечером видел «Пумперникель»². — Был не в духе — головная боль — фантазии
- 2 (ср): Марк—Теодори—Ротенхан³. — Вечером у Кунца *p* ☒
— Dito дурное настроение
- 3 (четв): Получил письмо от Квандта. Отослал «Дирну». — Вечером на чаепитии у Ротенхан, обедал в «Розе» — возбужденное состояние — К[етхен из] Г[ейльбронна]⁴

in der P. / a. y. g. p. - ex. aut. Dr. K. v. H. v. H.
☒ ☒ ☒

- 4 (пятн): Утром, как обычно, уроки. Днем прогулка в Буг по большому холоду — у Кунца — головная боль, дурное настроение. Чтение книги «Галле и Иерусалим, студенческая пьеса и приключение пилигрима» Ахима фон Арнима⁵ — никак не шло — в 9 часов немного ☒ отправился к консульше Марк, где была моя жена. — Бессонная ночь —

* Во имя господне! (лат.).

- 5 (субб): Утром один урок у Марк. Болен и в дурном настроении — спал с 2 до 6. Теперь действительно должны быть переработаны «Виндзорские проказницы»⁶. — Читал комедию Фосса *сop Arlechino* *⁷ — музыкальные замыслы — *bona notte* **
- 6 (воскр): Утром уроки. — Днем у Беверна, необычайно экзотический вечер в «Пумперникеле», затем в Редутном зале⁸ до 6^{1/2} часов — экзальтированное, юмористическое настроение — напряженное состояние вплоть до мыслей о безумии, которые часто приходят мне в голову. Почему и во сне и наяву я так часто думаю о безумии? — Я полагаю, что духовное очищение может действовать как кровопускание
- 7 (пон): Встал в экзальтированном настроении — ужасающая бодрость — уроки — в Буге — затем в «Кассино» — затем у профессора Пфейфера⁹ — затем в «Розе». — Дополнение экзотического вечера в Редутном зале. Тучки на безоблачном небе
- 8 (ср): Уроки. — Раздраженно-насмешливое настроение — у Кетхен. — Днем у Гольбейна¹⁰ — репетиция «Бельмонта и Констанцы»¹¹ — возбужден музыкой — затем у Кунца. — Получил вексель из Познани¹² от Гирша на 90 рт. — *Sic eunt fata hominum* *** *Облака*
- 9 (ср): — Уроки. — Днем в «Розе» — в театре, «Бельмонт и Констанца» — сильный приступ ревматизма, схватило спину и грудь
- 10 (четв): Бессонная ночь — очень болен — меня лихорадило, и я фантазировал — ясное предчувствие, что Юльхен придет — и днем она пришла. — Затем доктор Шпейер — я перенес ужасную боль, но читал «Доктора Катценбергера»¹³ и *Гете*
- 11 (пятн): Более спокойная ночь — лихорадка уменьшилась, но невероятная слабость — сильная боль в груди, Шпейер грозит кровопусканием — Юльхен и Минхен были у меня. — В высшей степени противное состояние
- 12 (субб): Скверная ночь. — Плохое утро. У меня был Шпейер. — Утром Минхен, страшно утомила меня — меня лихорадило. В тоске забрался в постель — читал лекции Шлегеля¹⁴ о драматическом искусстве. — Я хочу выписать важнейшие определения из этого сочинения *ad usum* ****
- 13: Несколько более спокойная ночь. — Большая усталость. — (воскр) Кунц и Шпейер у меня. Днем Юльхен — скверное настроение. — Вечером Кунц и Шпейер ужинали у меня. — Было очень весело *ma senza furore ed un poco smorfio* *****¹⁵

* С Арлекином (*ит.*).

** Хорошая ночь (*ит.*).

*** Так разворачиваются людские судьбы (*лат.*).

**** Для употребления (*лат.*).

***** Но без подъема и немного взбалмошно (*ит.*).

- 14 (пон): Наступило полное улучшение. — Утром Шпейер. — Днем Минхен. — Вечером у меня был Гольбейн. — Начал сочинение «Авроры»¹⁶, срочно стал приводить в порядок первый акт
- 15 (вт): Совершенно здоров, если не считать некоторой раздражительности. Утром и днем усиленно трудился над «Авророй». Утром Шпейер. — Поздно вечером после театра Кунц у меня. — *Брожение в театральных делах.* — Получил письмо от редакции «М[узыкальной] г[азеты]» — получил хоралы Пусткухена для рецензирования¹⁷
- 16 (ср): Здоров. — Уроки у Марк и Теодори, затем был у Кунца — там оставался с полудня до вечера — немного возбужден senza roetisa ☒ — мадера. — Ничего не сделал. О горе!!!!!!!
- 17 (четв): Утром уроки у Марк — Кратцер. Днем работал у Гольбейна — Революция в театре. — Вместе с Кунцем у Реннер¹⁸. Затем вечер у Кунца и после этого еще в «Розе». — *Нужно сочинять увертюру к «Quodlibet»*¹⁹
- 18 (пятн): Утром... Уроки у Марк — у Кунца только на минуту. — Днем спал, потом очень усердно и удачно работал над «Авророй». Совершенно закончил хор № 4 до вступления секстета
- 19 (субб): Утром Марк, Теодори. — Днем Гольбейн, «Роза», затем успешно работал над «Авророй» — сочинение продвигается, и я чувствую некое воодушевление — quod deus bene vertat —
- 20: Утром уроки у Марк. — Днем Реннер у меня. — Днем сочинял «Аврору». Вечером до 12^{1/2} у Марк — очень приятно провели время — много музицировали из «Дон Жуана»
- 21 (пон): Утром уроки. — Днем сочинял — чувствую себя неважно — «Кассино» — вечером ☒ — Е
- 22 (вт): Утром уроки у Марк и Штепф. — Днем у Кунца ☒ очень сильно ☒
- 23 (ср): Утром очень долго спал, затем пошел на урок к Теодори и Ротенхан. — Днем у Гольбейна, потом в театре («Деревенские певички»)²⁰, затем у господина Кунца. — Г[ольбейн] принимает вюрцбургский театр, и открываются лучшие возможности на будущее²¹.
- 24 (четв): День рождения! — Утром уроки у Марк — Штепф — Ротенхан — до этого ненадолго у Кунца. — Письмо Жана Поля Кунцу. Днем у Гольбейна. — Вечером начал увертюру к «Quodlibet» — потом в «Розе» — Шпейер, Диттмейер, Гутенберг pp. — Хорошее настроение. — Мне кажется — теперь все идет лучше, чем раньше —
- 25 (пятн): Весь день дома — совершенно закончил увертюру к «Quodlibet» — Днем Кунц с женой²² у меня. — Вечером пил пунш и работал над секстетом к «Авроре»
- 26 (субб): Утром урок у Марк — настроение непоэтическое. — Днем у Гольбейна. — Вечером с вдохновением работал над «Авро-

- рой». Секстет закончил в голосах, и получилось удачно, — пил бургундское, item * помогает. Очень бодрое настроение.
- 27: Утром сочинял танец для «Quodlibet», затем на урок к Марк, (воскр) потом отправился к Кунцу. — Днем, после обеда и до вечера оставался там ☒ — пребывал в скверном, угнетенном состоянии
- 28 (пон): Утром уроки — у Марк и Ротенхан, затем обедал у Зейферта вместе с Гольбейном — потом дома — к Марк. Вечером ужинал, пребывая в прекрасном, поэтическом настроении, воодушевленный великолепным пением Кетхен из Гейльброна — удачно импровизировал на рояле. — Ночью еще два часа в Редутном зале — был очень подавлен отсутствием приятных ощущений, которые соответствовали бы всему предшествующему
- 29 (вт): Утром уроки у Марк — Рот[енхан]. — Днем работал у Гольбейна — потом в «Розе» и в театре — группа канатных плясунов из Когена — в «Розе» — приятное, но безразличное настроение —
- 30 (ср): Утром уроки у Марк, Теодори, Рот[енхан], оттуда на обед к господину Кунцу. Прогулялся в Буг. Вечером в театре — «Игрок» — Вечером ужинал в «Розе».
- 31 (четв): Утром уроки у Марк и Штепф. — Днем работал у Гольбейна — потом спал — немного сочинял — на балу — затем оттуда с 8^{1/2} до 10^{1/2} у господина Кунца — шампанское поп ... — на балу неприятно возбужденное состояние — школьная любовь — из-за Ктх во мне пробудился странный юмор — в 2^{1/2} ночи дома ☒

ФЕВРАЛЬ

- 1 (пятн): Утром уроки у Марк, Кратцер, Ротенхан. Днем у Гольбейна. — Вечером в театре — затем немного сочинял музыку — утомление после вчерашних Efforts **
- 2 (субб): Утром у Гольбейна, затем уроки у Марк. — Днем у Гольбейна — затем в театре («Quodlibet» — увертюра мной...) — «романтическое» настроение. — Вечером в «Розе» — выпил много пуншу. — Ктх будет обязательно — о miserere mei domine ***
- 3 (воскр): Утром уроки у Марк, затем был у Гольбейна. Днем там же — затем в Буге оттуда поздно — в театр! — В высшей степени раздраженное состояние — вплоть до романтически причудливых порывов. Ктх De profundis clamamus ****. — Вечером в «Розе» нагрузился пуншем

* Также (лат.).

** Усилий (фр.).

*** Смилуйся надо мной, боже (лат.).

**** Из бездны взываем (лат.).

- 4 (пон): Утром уроки у Марк—Кратцер—Ротенхан. Днем у Гольбейна—перед этим у Кунца.—Вечером у Кунца в катакомбах¹ ☿. После этого в «Розе»—настроение сносное
- 5 (вт): Утром уроки у Марк.—Днем у Кунца—затем у Гольбейна—дома—затем на детский бал—Ктх: plus belle que jamais et moi—amoureux comme quatre vingt diables*—вздоражен—был приглашен к Кунцу ☿ ночью potrawka**—очень хорошее настроение.—Закончил секстет
- 6 (ср): Утром у Марк—Рот[енхан],—затем у Кунца. Днем сочинял хор к «Убору невесты»², потом у Марк на чаепитии и ужине—очень приятно провели время—хорошее настроение—Ктх
- 7 (четв): Утром уроки у Марк—Ротенхан—разговаривал с [графиней] Ротенхан о Кунце.—Затем был у Кунца—потом дома—Шпейер. Заболела жена—мадам Кунц при ней, она же привела ее в театр и затем отвела домой—«Аврора»—Ктх
- 8 (пятн): Утром уроки у Марк—дома. Днем дома—в театре—снова дома.—Вечером в «Розе»—выпил пуншу—возбужден несколько менее.—Настроение скверное. Жена больна—Ктх
- 9 (субб): Утром у Марк—дома—жена больна.—Вечером, дома, дописал до финала 1 акта «Авроры»—Ктх
- 10: Утром Марк—Гольбейн. Днем у Зейферта—возбужден ☿.—(воскр) Вечером театр («Убор невесты») — в «Розе» нагрузился пуншем—приятное и несколько романтическое настроение—Ктх
- 11 (пон): Утром уроки у Марк—Рот[енхан]—был у Гольбейна.—Днем у Гольбейна—(он отправляется в Вюрцбург), у Кунца—настроение плохое, но чувствую себя гражданином вселенной—Ктх
- 12 (вт): Утром у Марк, у Ротенхан.—Днем Гольбейн—дома.—Гулял со Шпейером—в «Розе»—возбужденное состояние, скверная ночь—совершенно не спал—Ктх
- 13 (ср): Утром у Марк—Теодори—Ротенхан. Кунц—взял у него взаймы 30 фл.—Вечером у Марк—Ромео и Юлия³—экзальтированное романтическое настроение—Ктх
- 14 (четв): Утром Марк—Гольбейн—Ротенхан. Днем Гольбейн—прогулка—«Роза»—все время бодрствующая фантазия в сочетании с невероятной ленью—Ктх—Ктх Ктх
- 15 (пятн): Утром уроки у Гольбейна—Рот[енхан].—Днем у Марк—Ктх—стремление уйти в мир фантазии.—Вечером в театре, «Жизненный путь художника», Леммермейер!⁴—Допоздна в «Розе»—Ктх

* Прекрасна, как никогда, и я—влюблен, как сто чертей (фр.).

** Рагу (польск.).

- 16: Утром у Марк — Теод[ори] — Рот[енхан]. Новый костюм. — (воскр) (Юлиана) Днем в «Розе». — Вечером у Марк очень торжественно отпраздновали день Юлии — экзальтированное состояние — *dieſe romantiſche Stimmung greift über mich ſich und ich fürchte es wird unheil daraus ev[t]reten** — Ктх
- 17: Утром у Кунца — Марк. — Днем в Буге, потом в театре — (воскр) Гольбейн возвратился из Вюрцбурга. — Вечером в «Розе» — болезненные ощущения — вчерашнее греческое замечание подходит к сегодняшнему дню вдвойне — Ктх
- 18 (пон): Утром Марк — Ротенхан. Вечером в «Кассино» — Ктх⁵ — в ней вся наша жизнь и все наше существо! — *iv ip leβev***
- 19 (вт): Утром Марк, после этого в Аурахе на охоте и поздно вечером в 10 часов обратно — спал, как сурок
- 20 (ср): Утром Марк — Ротенх[ан] — Гольбейн. — Днем болезненная сонливость и расслабленность — спал — затем отправился гулять — потом в театре («Жизненный путь художника») Ктх в театре
- 21 (вт): Утром Марк — Штепф, Ротенхан. Днем Гольбейн. — Репетиция «Бельмонта и Констанцы» — мадам Кель⁶ — великолепная певица. — Энтузиазм по отношению к Ктх. — Вечером в «Розе» — 22 (пятн): Утром Марк — Гольбейн — до 1 дня работал. — Днем в Буге — боль в глазах, симптом воспаления глаз. — Вечером в театре — «Бель[монт] и Конст[анца]» — вместе с Ктх в театре — энтузиазм — безрассудство и страдания — *quod deus bene vertat*
- 23 (субб): Ночью обострение воспаления глаз. Кунц у меня — читал «Шмельцле»⁷ — в общем тоскливый день *senza Enthusiasmo****
- 24: Утром Марк — Кунц на минуту. Днем. — Вечером у Марк — (воскр) Ктх немного слабее. — Был расстроен из-за двух маленьких крикунов⁸ — *o dio—che smania*****
- 25 (пон): Утром Марк — Ротенхан. — Днем гулял с Кунцем. Вечером в театре, потом на балу — у Кунца — снова на балу ☞ в высшей степени — эксцентричные выходы во множестве. — Ктх — Ктх — Ктх!!! Возбужден до безумия
- 26 (вт): Спал до 11^{1/2} часов — потом встал, все еще возбужденный — Ктх. — Отправился гулять. — Днем у Гольбейна, вечером Кунц у меня — очень приятно провели время. Ненадолго в Редутном зале
- 27 (ср): Утром у Марк — Ротенхан. Обедал у Кунца, пошел с ним гулять и потом он у меня — редкое вино. — Вечером еще в «Розе»

* Это романтическое настроение охватывает меня все больше, и я боюсь, как бы оно не привело к несчастью.

** Жить в ней.

*** Без одушевления (ит.).

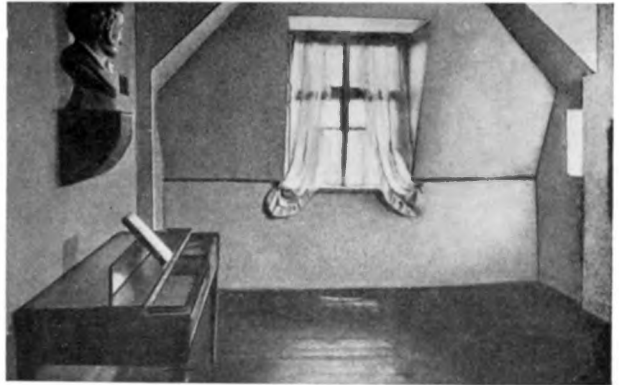
**** О боже — что за безумие (ит.).



Франц Гольбейн.



Жан Поль Рихтер.



„Поэтическая келья“ Гофмана.

„Дом Гофмана“ на площади Шиллера в Бамберге.

28 (четв): Утром Марк, Штепф, Ротенх[ан]. Днем Гольбейн, в Буге — в театре, у Кунца. — Черт поberi это странное настроение — я или застрелю себя, как собаку, или сойду с ума! — *quod deus bene vertat!*

МАРТ

- 1 (пятн): Утром Марк — Ротенхан — Гольбейн. — Днем и вечером у Кунца — ☞ — Ктх
- 2 (субб): Утром Марк — с женой в городском суде по поводу переговоров с Познанью¹. Днем Гольбейн — репетиция «Праздника жертвоприношения»²
- 3 (воскр): Утром у Марк. — Днем «Роза». — Вечером в театре («Прерванный праздник жертвоприношения») с Ктх — *enthusiasmo** — в «Розе» познакомился с композитором Мария фон Вебер³. Ктх — Ктх — Ктх
- 4 (пон): Утром Марк — Ротенх[ан]. — Днем Гольбейн. Начал 2-й акт «Авроры». Вечером очень приятно беседовали. — *Вебер!*
- 5 (вт): Утром Марк — Штепф — Ротенхан — Кунц. — Днем Буг. Вечером у Марк — весь погрузился в фантазии — невероятно странное состояние Ктх — ???
- 6 (ср): Марк — усиленно сочинял музыку. — Днем в Буге — вечером сочинял музыку
- 7 (четв): Утром Марк — Рот[енхан]; сочинял «Аврору»
- 8 (пятн): Утром Марк — Рот[енхан]. — Днем в Буге. Вечером у Марк, настроен очень хорошо — Ктх *crescendo*
- 14 (четв): Днем обедал в Буге. — Вечером очень приятно беседовали у Марк — Ктх
- 15 (пятн): у Кунца
- 16 (субб): Дома
- 17: Утром у Марк — у Гольбейна. Днем в Буге — Вечером в театре (воскр) «Ида Мюнстер»⁴ — мой хорал был исполнен очень хорошо — «Роза». — Ночью написал такой сонет⁵
- 18 (пон): Утром Марк — приготовления к отправке куста роз и сонета. — Днем *solissimo*** в Буге. — Вечером великолепное пение Кель — *enthusiasmo* по поводу Ктх достиг чуть ли не высшей степени. Вечером Рісіатри и мысленное нарушение супружеской верности
- 19—22
- (вт-пятн): *Dies tristes et miserabiles*
- 23 (субб): У Кунца — вечером вместе со Шпейером
- 24: Целый день рисовал картину для театра — в Буге, вечером (воскр) в театре

* Энтузиазм (ит.).

** В полнейшем одиночестве (ит.).

- 25 (пон): Утром у Марк. — Из ряда вон выходящий, мерзкий, убийственно раздражающий разговор с консульшей Марк⁶ — презрение, оскорбленная гордость — infamie *
- Сразу же переговорил с Гольбейном — чтобы не отказаться от твердого решения покинуть Бамберг
- 26 (вт): Утром Марк — Ротенхан. — Днем Гольбейн — потом в Буге — со вчерашнего дня совершенно болен!
- 27 (ср): Утром Марк — затем обедал у Кунца — потом вместе с Кунцем в Буге. Вечером очень возбужденное, но чистое, поэтическое настроение
- 28 (четв): Утром Марк — Ротенхан. — Настроение скверное. — Днем Гольбейн в Буге до 8½ часов. Вечером Кунц — «Роза»
- 29 (пятн): Поездка в Байрейт. Вечером в Хольфельде —
- 30 (субб): В Байрейте — оперный театр — театр — визит к Жану Полю. — Его жена узнала меня и не думает об odiosa **⁷
- 31: Возвращение. — Вечером в 8½ часов приехал в Бамберг, настроение в высшей степени мрачное
- (воскр)

АПРЕЛЬ—МАЙ

- 1 (пон): Рано утром у Марк в самом ужасном, фатальном настроении, странное состояние не проходит
- 2 (вт): У Марк — Гольбейна — Ротенхан. Буг. — Вечером в театре («Жертвоприношение») — настроение несколько лучше. Ктх Ктх —
- 4—20 В общем в течение всех этих дней в жизни не произошло ничего примечательного. Некое необыкновенное состояние, о котором так часто идет речь, не прошло, оно остается особым, примечательным эпизодом неприятного характера.
- 21: Получил подтверждение от Гольбейна, что я должен ехать в Вюрцбург. — В театре в первый раз близко прикоснулся к Ктх — следствие — совершенно caduce *** настроение
- 22
- апреля — Сейчас наступил несколько лучший период, который выражается в усиленной деятельности. Мелодрама «Саул»¹ сочинялась напряженно, упорно, и, как я полагаю, с успехом, нарисованы также эскизы к готической башне в Альтенбурге² — я написал Гольбейну — оказывается, он предназначает меня для Бамберга — таким образом, я остаюсь здесь³
- 13—14 Герцог готов оказать большую поддержку театру, да и мое положение теперь прочно — настроение особенно приятное

* Гнусность, бесчестье (фр.).

** Неприятностях (лат.).

*** Упадочное (ит. диал.).

- 15—18: Это настроение портят только странные фантазии — Ктх — небо, приведи все к добру
 16 (четв): У Марк
 17 (пятн): У Марк на чаепитии и вечером — Театр — «Синяя борода»⁴
 18 (субб): Снова начал «Аврору» — имел единственное в своем роде столкновение с женой — потом ∇ (Сцена ревности со стороны жены⁵)

Добавление к примечательным событиям прошедшего года:

— ангажирован Гольбейном в качестве театрального архитектора⁶ за 50 фл в месяц:

- 27 7: получил сообщение о смерти дяди⁷ в Кенигсберге — считаюсь наследником всего его имущества.

Вскоре после этого завещание.


27:

(декабря) Получил вексель на 500 рт из Кенигсберга

1812

ЯНВАРЬ

quod deus bene vertat!

- 1 (ср): В театре: «Звездная девушка»¹ — работал, как лошадь, в качестве театрального архитектора — настроение скверное — болен — плохое начало.
 2 (четв): Утром у Марк — Ротенхан. — Днем спал, отдыхал — настроение довольно хорошее — Ктх. — Вечером в «Розе» — приятное настроение
 3 (пятн): Утром у Кунца — Гольбейна — Марк — Ротенхан. — Днем очень большая вялость, скверное настроение. — Вечером театр — Ктх в театре — странное, неприятное настроение. — Ночью в «Розе» — ∇ — quod deus bene vertat — Некий молодой человек по фамилии Шулерт был заколот 
 4 (субб): Утром у Марк — днем дома. — Днем у Марк. Вечером «Роза». — Концерт. Пел дуэт с Ктх. После этого «Роза» — В высшей степени взволнованное состояние ∇ — горький опыт — столкновение поэтического мира с прозаическим. Exaltati[one] — exaltatione grandissima!!! *

* Экзальтация — величайшая экзальтация!!! (ит.).

5 (воскр): Утром театр — у Кунца — получил из Кенигсберга вексель, подлежащий оплате, — заплатил долги. Днем поехал в Штралендорф — возбужденное, но плохое настроение — Ктх — Ктх — в «Розе» ∇∇

Как — и Что? — Поспешные решения — Потом будь что будет — Это должно — это должно быть решено. — *Roma — Roma tu eris mihi salutaris — Italia **

Italia

- 6 (пон): Утром у Марк. — Днем с Гольбейном и Шпейером в Буге — делал рисунки декорации для «Кассино» — египетский храм — в театре. Вечером в «Розе». Ночью до 4-х часов в Редутном зале — состояние не очень возбужденное, но немного ∇ Ктх
- 7 (вт): Утром у консульши Марк — сразу в театр — обедал в «Розе» — затем к Гольбейну. Небольшая репетиция великолепной оперы «Иосиф»² — спал — в изнеможении — Ктх — *Roma — tu eris pp ***
- 8 (ср): Утром в театре — у Ротенхан. — Днем «Роза» — сооружал декорации. — Вечером — Н[ейхерр]³ — нашел, что возможно отвлечься от Ктх — говорил — и с ней и не с ней — взволнованное состояние — острословие в «Розе» — *увы — увы —*
- 9 (четв): Утром у консульши Марк — Ротенхан. — Днем у Гольбейна — в Буге — взрывы острословия с Сутовым⁴. — Вечером в «Кассино» — Ктх — странные, противоречивые события — возбужденное состояние — взбешен до крайности — Ктх — Ктх — Ктх
Гибель витает надо мной, и я не могу ее избежать —
- 10 (пятн): Утром у Гольбейна. — Днем у Кунца, очень тяжелый разговор⁵ — «Роза» — театр, вечером «Роза» — предложение сочинить веселую мелодраму — «Родерика и Кунигунду»⁶ — хоры «Аттилы»⁷ — безразличное настроение — спад напряжения —
- 11 (субб): Утром Марк — Ротенхан. Днем разрисовывал большой занавес. — «Роза» — с Боде⁸ ∇ — безумные мысли — Ктх в высшей

* Рим — Рим, ты будешь моим спасением — Италия (лат.).

** Рим — ты будешь и т. д. (лат.).

- степени — О dei* — это слишком жестоко — ее взгляд — ее взгляд — предсказание — кольцо — che fate voi**
- 12: Рано утром у меня Кунц — сочинял в его присутствии музыку (воскр) для «Вольфеншисена»⁹. — Днем у него. Затем сооружал [декора- ции] в театре — «Роза». — Вечером театр. Мадам Марк вместе с Ктх — Ротенх[ан] в театре — безразличное настроение, так и лег спать, — спад напряжения
- 13 (пон): Утром Марк. — Днем до 7 часов рисовал египетский храм в 17 футов высотой для дня Каролины. — Вечером на балу. — Танцевал без воодушевления
- 14 (вт): Утром рисовал — у Ротенхан. Днем рисовал. — Вечером у Марк без волнений — в отношении Ктх спад. — «Роза» — хорошее на- строение — без —
- 15 (ср): Утром и днем рисовал. — Вечером «Роза» — театр — театраль- ные девицы — Н[ейхе]рр — Ктх в театре — сдерживал возбуж- дение. — Вечером Кунц — ужинал в «Розе» ∇ — игра Дитт- мейера вдохновила меня сочинить что-нибудь инструменталь- ное и притом Ктх — ах, ах! —
- 16 (четв): Утром у Марк — Ротенхан. Днем работал в театре — репетиция «Иосифа» — послал князя Эстергази «Miserege»¹⁰. — Вечером «Роза» — безразличное состояние! — После «Miserege» в Вену
- 17 (пятн): Утром сооружал [декораии] в театре. — Днем dito «Поклоне- ние кресту»!¹¹ — Ктх — не в театре — потерянная надежда. Вечером у Гольбейна, потом в «Розе» — безразличное настро- ение! —
- 18 (субб): Утром Марк — Ротенхан. Днем — Гольбейн — рисовал. — Вече- ром на концерте, Диттмейер... пел с Фредерикой Ротенхан. В высшей степени возбужденное состояние. Решения ∇ решения
- 19: Утром театр — Ктх у окна. — Днем у Кунца. — Вечером вместе (воскр) со Шпейером и Гольбейном — Вейсом¹² — у Кунца — шампан- ское ∇
- Еще можно заметить следы вчерашнего необычайно воз- бужденного настроения — Ктх — Ктх. О дьявол, — дьявол — я думаю, что в этом демоне скрывается нечто в высшей степени поэтическое, и нужно видеть в Ктх только маску — *demasquez vous donc, mon petit Monsieur!**** —
- 20 (пон): Утром у Марк — Ротенхан. Днем репетиция «Иосифа». — Вече- ром очень много танцевал в «Кассино» с Теодори — Юльхен, вся семья Ротенхан — удивительные открытия, в отношении Ктх — *sie weiß alles oder vielmehr 'ahdet*****

* О боги (ит.).

** Что вы делаете [со мной] (ит.).

*** Сбросьте маску, мой маленький господин! (фр.).

**** Она все знает или, скорее, обо всем догадывается.


- 21 (вт): Утром и днем театр — работал, на одну минуту у Кунца — «Роза» — театр, Ктх в театре — у Гольбейна ужасно скучал, затем в «Розе» — пил пунш в компании с цирюльником — Диттмейером и Вейсом. — Возбужденное приятное настроение
- 22 (ср): Утром у Гольбейна — Марк — Ктх очень любезна. — Днем дома, рисовал — театр. — Вечером «Роза», настроение безразличное
- 23 (четв): Утром рисовал декорации у Гольбейна — Марк — валет трэф и король червей! Ротенхан. — Днем у Гольбейна — дома. — Вечером играл «Цветок и перевязь», сочинял вальс¹³ ко дню Каролины. — Ночью до 12 часов «Роза» — настроение отвратительное — Ктх во все возрастающей степени — + + +. Здесь вспоминается замечание от 20-го, а именно, что *sie weiß alles* одер *andert vielmer*
- 24 (пятн): *Мой день рождения!* Утром рисовал. Днем рисовал! — Вечером у Марк! — Настолько неприятно, что я твердо решил больше не ходить туда — Юльхен послали в театр, так что мы сидели одни. — После этого вдребезги напился в «Розе». В 1 ночи дома, но вел себя прилично —
- 25 (субб): Утром все в том же возбужденном состоянии после вчерашнего дня +. — Рисовал — у Марк — очень неприятное столкновение с Гольбейном у Марк. Днем рисовал у Гольбейна — вечером в «Розе» приятное музыкальное общество — Кель — пение — + *Даже сон!* (*Videatur* * «Дон Кихот»¹⁴: Господи, спаси же меня *pp*, но), при всей своей благотворной, но, по-видимому, только отрицательной силе, он не может прогнать этот призрак
- 26: Утром рисовал, пребывая в роковом настроении. Днем (воскр) у Кунца. — После обеда рисовал. — Вечером в театре «Иосиф» — после этого нагрузился пуншем у Кунца. Экзальтированное состояние — предчувствие необычайных событий, которые дадут направление моей жизни или ее — — — — — оборвут! Вплетаются мысли



- 27 (пон): Утром усиленно работал в театре. — Днем — Большая декорация «Открытия Америки»¹⁵. — Вечером в «Розе». Настроение хорошее — но с постоянными мыслями о Ктх —
- 28 (вт): Утром у Ротенхан. — Днем обед в «Розе» — пировал. Вечером до 6 часов утра в Редутном зале. *Partie de plaisir* ** с маленькой Н[ейхерр], однако в высшей степени приличная, чтобы не слишком возбуждать себя и не искать в ней громоотвода. Я могу быть доволен собой, потому что сознательно и планомерно


* Смотри (лат.).

** Прогулка (фр.).

- борюсь против дурного настроения, которое ни к чему хорошему не приведет
- 29 (ср): Утром у Марк. Днем у Кунца лечил желудок русийоном. Вечером на некоторое время в театре, затем спал.
- 30 (четв): Утром у Марк — Ротенхан. — Днем дома. Вечером «Кассино» — танцевал с Минхен Кунц, Юлией и Фредерикой Ротенхан — возбужденное состояние — моя ярость и боль дошли до такого предела, что, вероятно, будут иметь какие-то последствия
- 31 (пятн): Утром у Кунца — на минуту у Марк, у Ротенхан. — Днем дома — «Роза». Ктх в театре — давно уже не было такого скверного отвратительного настроения — ☒ чтобы его прогнать. Семейная сцена в театре — все напрасно. — В ярости — раздражен до 

Уже во второй раз роковой знак!!!!

ФЕВРАЛЬ

- 1 (субб): Утром у Марк — Юльхен заболела — Ктх — репетиция одной арии — дурные симптомы. После обеда визит к Марк по поводу болезни — в Буге. — Вечером концерт, после которого очень дурное настроение
- 2 (воскр): Утром рисовал в театре аллегорическую картину для «Кассино» — в гардеробной — новые странные предзнаменования — масонский знак  передал Нейхерр вечером. — Ночью в «Розе», перед этим у Гольбейна. Визит соболезнования к Марк. Заметные приливы и отливы в отношении к Ктх — контрасты —
- 3 (пон): Утром установил декорации в зале «Кассино». Днем у Кунца ☒ — Вечером в Редутном зале, отвратительное настроение — несмотря на это, с успехом вывел гулять старого щеголя. — *Удивительное, романтически нежное настроение Ктх — она больна, мысли о смерти вдвоем с ней, странные взгляды в глубины сердца!* — Что-то должно произойти — со страхом жду я. . . , но этот страх благотворен
- 4 (вт): Целый день работал над «Родериком и Кунигундой». — Отзвук вчерашнего настроения глубоко в душе — избирательное сродство? ¹ — *Seroit il possible?* — *Non, il n'est pas possible* *

* Возможно ли это? — Нет, это невозможно (фр.).

- 5 (ср): Dito работал — в некоем поистине ужасном настроении — Ктх до безумия, до подлинного безумия — ревность к Г [ольбейну], совсем поздно в «Розе» — настроение переменялось
Наблюдения над самим собой — которому грозит гибель — что-то необычное, еще неизведенное
- 6 (четв): Dito работал. Марк, как я и думал, справлялась — боже, если бы я мог ответить — горловое кровотечение!! — Вечером у Кунца — «Роза» — настроение несколько улучшилось
- 7 (пятн): Утром работал над «Родериком». Затем у Марк. — Настроение приятное. — Днем в театре, «Роза». — Вечером помогал в «Кетхен из Гейльбронна» при пожаре замка². Необычайно насмешливое настроение — ирония над самим собой — почти так же, как у Шекспира, где люди танцуют вокруг разверстой могилы —
- 8 (субб): Утром у Марк — Ротенхан. Днем с женой до 7³/₄ в Буге. — Настроение довольно веселое — наблюдения над самим собой — постоянные мысли (Ктх) могут превратиться в навязчивую идею! — Музыкальный роман³
- 9 (воскр): Рано утром по специальному приглашению у Марк. — Днем на обеде у капуцинов⁴ — приятное настроение под влиянием религиозного окружения превратилось в восторженное. — Вечером в театре Ктх — затем до 5 часов в Редутном зале, глупые, вульгарные выходки с г [осподином Кунцем]
Великолепные патриархальные головы капуцинов — стенные часы, *hora certa — hora incerta — una ex his** — фантазии — в Редутном зале совершенно потряхнул с себя это настроение
- 10 (пон): Утром у Марк — Ктх очень любезна. — После обеда предварительная репетиция «Родерика и Кунигунды». Вечером на балу в «Кассино» танцевал с Фредерикой, Юлией, Теодори и мадмуазель Эюсс (Роткопф). — Приятное настроение, но не без импульса к невероятному возбуждению. Ктх была удивительно хороша
- 11 (вт): Утром у Ротенхан, днем у Кунца. Отправился гулять. Вечером (ночь Великого поста) на скучном ужине у Герц⁵ — в 12 пошел в Редутный зал почти до 7 часов утра. — Очень радостное настроение — *un cavaliero amoroso*** — Нейхерр — черные глаза (Эйгензатц⁶)
- 12: (Пельсная среда) Утром встал в 10¹/₂ утра — Ротенхан. Днем «Роза». — После обеда дома — вскоре лег спать — возбужден
- 13 (четв): Провел очень неприятную ночь — чувствую себя плохо. — Утром у Марк. — Днем дома, нездоровилось — спал, работал над «Авророй» — продвигается неважно — «Роза». Вечером до

* Смерть неминуема — час [смерти], неведом — один из них [часов] (лат.).

** Влюбленный кавалер (ит.).

- 9 часов вечера снова работал над «Авророй» — потом в «Розе»
 ☿ до 1 ночи...
- 14 (пятн): Утром у Ротенхан. — Днем в Буге. — Вечером с Вейсом пили
 пуш у Кунца, настроение несколько улучшилось, хотя все еще
 и не очень хорошее —
- 15 (субб): Утром у Марк — у Ротенхан. — Днем работал в театре, вече-
 ром музыкальное общество, Юльхен прекрасно спела арию
 Ригини — Ктх — Ктх — Ктх — в высшей степени угрюмое,
 фатальное, раздраженное состояние, настолько, что в 11 часов
 был уже дома и лег спать
- 16:
 (воскр) Утром раздражен на весь мир *propter** дня Ктх. — Днем обед
 в «Розе», вечером театр — ночью «Роза», тщетно боролся про-
 (Юлиана) тив дурного настроения
- 17 (пон): Утром работал в театре. — Днем *ditto*. Вечером «Золушка»⁷,
 Ктх в театре. — Вечером ужин с вюрцбургскими актерами и
 актрисами, засиделись до 3 часов ночи
- 18 (вт): Утром у Марк. — Днем дома, потом у Гольбейна — рисовал
 фигуру гения искусства для занавеса вюрцбургского театра —
 в театре повторение «Золушки». Вечером «Роза». Мад[ам]
 Линднер — довольно приятное настроение
- 19 (ср): Утром у Марк — Ротенхан — очень приятное настроение — Ктх
 благотворно подействовала на меня — поэзия. — Днем «Роза». —
 Вечером усиленно сочинял музыку, в 9½ «Роза» — 11 часов —
 продолжал сочинять, создавая редкостные образы!
- 20 (четв): Утром у Марк — настроение неприятное, так как Ктх не было
 дома — на репетиции «Гризельды»⁸ — глупости — всевозмож-
 ные безумные мысли о Ктх — особенно старался разыграть
 роль *roué*** с Нейхерр *in praesentia**** — После обеда в Буге,
 затем в театре — Н[ейхе]рр — нашел, что Ктх при разъезде
 была очень опечалена — «Роза» ☿
- 21 (пятн): Утром сочинял, днем в Буге. — Вечером у Кунца, сильно ☿
 впрочем, настроение приятное *senza Exaltatione***** — отдал
 первый акт «Авроры» для переписки
- 22 (субб): Утром у Марк — настроение приятное, у Ротенхан. — Днем
 в театре репетиция «Родерика и Кунигунды», прошедшая очень
 неудачно — вечером в «Розе»
- 23:
 (воскр) Утром репетиция «Родерика и Кунигунды», у Марк по поводу
 концерта в «Кассино»: Юльхен должна *петь!* — Днем у Кунца ☿
 — Вечером в театре — «Р[одерик] и К[унигунда]» осви-
 стана, но это не произвело на меня ни малейшего впечатле-
 ния — настроение приятное

* Из-за (лат.).

** Повесы (фр.).

*** В присутствии (лат.).

**** Без экзальтации (ит.).

- 24 (пон): Утром сочинял, затем репетиция концерта, из которой, однако, ничего не получилось. — Днем сочинял — потом отправился на концерт — обнаружил при сочинении по запаху что-то в этом самодельном епископском — «Роза» — дурное, раздраженное состояние — Юльхен Паргије*.
- 25 (вт): Утром работал дома в приятном настроении над *Solo finale***, затем Кунц послал за мной и испортил мне весь день. — Установилось какое-то совершенно равнодушное настроение в отношении Ктх и еще только иногда вспыхивает вновь. —
Добрые предзнаменования.
- 26 (ср): Утром у Марк — Ротенхан. — Днем театр. — Вечером в театре — «Роза» — не такое равнодушное настроение, как вчера, — видения из-за возбуждения музыкой. Пение!
- 27 (четв): Утром у Марк — Рот[енхан]. — Днем у Кунца до 7 вечера ☒ — после этого в театре — затем «Роза» — экзальтированное музыкальное настроение — шутивное письмо Гольбейну⁹ —
- 28 (пятн): Утром дома — работал, днем у Кунца — поехали на прогулку. — После этого мучительно скучал. — Вялое, глупое состояние
- 29 (субб): Утром у Марк — Ротенх[ан]. Днем с Кунцем и женой в Буге. — Вечером музыкальное общество — Ктх в высшей степени мила, оживлена и *pp.* — Вечером ужин до 3 часов ночи. . . . странные выходки ☒ — влюбленное настроение — особенно ухаживал за мадам Кунц — целовал ручки *ppp*

МАРТ

- 1 (воскр): Утром у Реннер. — Днем у Кунца, — отправились гулять — затем в театре — балет. — После этого в «Розе» — возбуждение прошло
- 2 (пон): Утром у Реннер — денежные дела — у Марк. — Днем работал дома.
Вечером в 7 часов в «Розе» с Кунцем. Равнодушное настроение
- 3 (вт): Утром дома. — Днем в «Розе» — вместе с Кунцем и Шпейером пошли гулять, затем вечером у Кунца ☒ — приятное настроение
- 4 (вт): Утром у Марк — у Ротенхан. Днем «Роза». — Вечером у консулши Марк до 10 часов — Кель — пели. — Известные мысли о Ктх приняла более приятный, спокойный характер.
- 5 (четв): Утром расстроившаяся репетиция концерта. — Днем традиционный месячный обед в «Розе». — Вечером концерт Кель — Юльхен превосходно пела¹ — мысли об этой поре искусства. — Ктх — ☒ — Вечером в «Розе» — Диттмейер *dito* взволнован из-за Ктх — плохая ночь

* Нездорова

** Заключительным хором (ит.).

- 6 (пятн): Утром дома до 6 часов — сочинил две канцонетты к 18 марта².
Болен — вечером «Роза»
- 7 (субб): Утром Марк. — Днем работал. — Вечером вместе с Кунцем в «Розе», безразличное настроение
- 8 (воскр): Утром дома. — Днем у Кунца ☿. Вечером театр — Ктх — я в гнуснейшем, мучительнейшем настроении — безумства ревности!! o dei —
O dei quel smania *
- 9 (пон): Рано утром в 9 часов утра уехал с Кунцем в Эрланген
- 10 (вт): Фюрт — Нюренберг
- 11—12: Фюрт Нюренберг
(ср-четв)
- 13 (пятн): Нюренберг, Фюрт, Эрланген
- 14 (субб): Эрланген. В 7 часов вечера снова возвратился в Бамберг
- 15: Утром приятный визит к Марк—Ктх чрезвычайно любезна. —
(воскр) Днем «Роза» — шп росо ** ☿. Днем у Кунца, потом в театре — Юльхен в театре — очень хорошо провели время
- 16 (пон): Утром у Марк — Ротенхан. — Днем до 11 часов ночи усиленно [Ansel- работал над канцонеттами к 18-му — почувствовал себя очень mus³] плохо — ужасная головная боль
- 17 (вт): Утром работал над канцонеттами — написал Гольбейну. — Вечером совершенно разболелся. *Воспаление горла* — Шпейер допоздна был здесь
- 18 (вт): Утром послал Юльхен ко дню ее рождения 3 канцонетты с элегантным и галантным письмом⁴, вскоре пришел Мориц с известием, что Юльхен тоже больна и лежит в постели — иначе она поблагодарила бы письмом — очень вял — головная боль
- 19 (четв): Весь день пролежал больной в постели в ужасном настроении, не впадая в странное состояние
- 20 (пятн): Утром встал — чувствовал себя хорошо, но в высшей степени вял. — Под вечер у меня Вейс до 10 часов. Выпил епископского, настроение приятное
- 21 (субб): Утром у Марк. — Днем приятное настроение. — Удивительные наблюдения относительно Ктх — причина для странных надежд. — Вечером у Кунца — ☿ — был с женой в Буге. — Начало надежд
- 22: Утром работал. — Днем утомлен — театр — в 9 часов в по-
(воскр) стели. Написал Гольбейну.
- 23 (пон): Утром Марк — настроение неприятное, равнодушен ко всему. — Написал Гольбейну. После обеда в Буге — вечером у Кунца
- 24 (вт): Работал — ничего примечательного

* О боги — о боги, что за безумие (ит.).

** Немного (ит.).

- 25 (ср): Марк — dito —
 26: Утром работал — Марк — «Роза» — поляки и итальянцы возвращаются на родину⁵. — Вечером у Марк — настроен особенно хорошо — говорил по-итальянски и по-французски с неким итальянским полковником. Ктх пела — впрочем un rосо exaltato* и vide** 21-е марта — кажется, что это подтверждается, — нет ничего невероятного, что не могло бы произойти на самом деле
 Приехал из Гамбурга купец Греспель⁶
 27: Отвратительный, дурно прошедший день — вялость — сучал рр
 (Страстная пятница)
 28 (субб): Утром у Марк. — Днем «Роза» — Кунц. Вечером Марк — в приятнейшем настроении — ах — ах — ах! Продолжение от 21 и 26 — Seroit-il possible***
 29 (Пасхальное воскр): — Днем у Кунца — очень неприятное ощущение — потом оттаял. — Вечером оставался там до 11^{1/2} час^в X
 30 (Пасхальный пон): Утром визит в Марк. — Днем обедал в «Розе» — со Шпейером — сообщение, что Греспель, возможно, женится на Юльхен — одолевают мысли о Ктх с... — приятно. Вечером Марк — продолжение от 21—26—28 — Судьба желает добра мне и моему творчеству —
 31 (вт): Утром дома — рисовал. — Днем со Шпейером отправился в Буг — затем у Марк — настроение приятное. Вновь продолжение — 21, 26, 28, 30. — Охватывает странное малодушие!!! —

АПРЕЛЬ

- 1 (ср): Утром Марк, Ротенхан — Греспель после обеда уехал. Днем Кунц. Вечером у консульши Марк, Штенгель, господин Р. Вальтер из Мюнхена, Лихтенштейн¹, Шпейер — Маркус. — Большое чаепитие — un rосо**** скучно — Юльхен очень расстроена из-за отъезда. Imiginationes***** — 21, 26, 28, 30, 31, или vel quasi***** продолжались

* Немного взволнован (ит.).

** Смотри (лат.).

*** Возможно ли это (фр.).

**** Немного (ит.).

***** Видения (лат.).

***** Вроде того (лат.).

- 2 (четв): Утром Марк — Ротенхан — настроение приятное. Днем в «Розе» на традиционном месячном обеде — кошмарная боль в желудке — но пересилил себя — в возбужденном состоянии в Буге — в 7 часов в «Кассино». — Был настроен отвратительно, так как пришел к убеждению, что 21, 26, 28, 30, 31, 1 я был ужасным идиотом — Юльхен отказалась танцевать со мной и была еще, сверх того, невыносимо груба (я казался ей пьяным), это меня... ужасно раздражало, впрочем, un poco innamorato nella Signora Kunzowisowa *, несчастная ночь
- 3 (пятн): Неприятное настроение — рано утром у Ротенхан. — Днем дома. Вечером у Кунца ☿
- 4 (субб): Утром у Марк, Ротенхан — у Марк. Хейдиш заболел — настроение скверное. — Днем Кунц послал за мной — просить к себе — мило. — Со Шпейером до 11¹/₂ часов в «Розе»
- 5 (воскр): В 9 часов утра поехал с Кунцем на охоту. — Вечером у Кунца ☿ — настроение приятное
- 6 (пон): Утром у Марк — Ротенхан — я помирился с Ктх и пришел в хорошее настроение. Вечером танцевал в «Кассино» и немного ☿ — очень innamorato **
- 7 (вт): Утром Ротенхан. — Днем с женой в Буге — вечером в «Розе»
- 8 (ср): Утром Марк, Ротенхан. — Днем гулял с Кунцем, затем до 10³/₄ часов у него. Приятное настроение — un poco innamorato come 6 ***
- 9 (четв): Утром Марк. — Днем дома — в Буге с Вейсом — Шпейер — Кунц — очень приятное настроение — весел. — Вечером до 9 часов у Марк — очень мило, но не особенно интересно. Ктх — дружески нежна, как женщина, сделавшая удивительные открытия, — странное настроение. — Ночью в «Розе» до 12 часов — провел время неважно
- 10 (пятн): Утром у Ротенхан, впрочем, до 9¹/₂ часов прилежно работал над перепиской текста «Авроры», затем до 11 часов в «Розе». — Снова появилась способность работать!
- 11 (субб): Утром Марк. — Днем с Кунцем на охоте, где я убил птицу и радовался — вечером у Кунца. —
- 12: С самого утра до 6 часов с Кунцем на охоте. — Вечером (воскр) у Кунца в высшей степени неприятное столкновение — ссора — спор с Кунцем — ночью «Роза» ☿ —
- 13 (пон): Утром работал дома. — Днем solo **** в Буге — в Буге познакомился с пианистом Мейер-Беером². — Вечером «Кассино», очень веселое настроение — Ктх ослабевает

* Немножко влюблен в мадам Кунц (ит., польск.).

** Влюблен (ит.).

*** Немного влюблен, как 6 (ит.).

**** В одиночестве (ит.).

- 14 (вт): Утром Марк — очень приятное настроение *senza exaltatione* *
Днем с женой в Буге. — Вечером дома, работал над коррек-
турой партий «Авроры»
- 15 (ср): Утром у Марк — как 14-го. — Занял у Кунца 2 фридрихсдора
или 19 фл 30 р — я в великой нужде — он пришел сам —
отправились гулять. — Вечером у него ☒
- 16 (четв): Утром у Марк как 14, 15. — Днем дал урок у Кунца — остался
у Кунца. Шпейер пришел туда, приятный вечер — ☒ —
- 17 (пятн): Дома. — После обеда *dito* читал Новалиса и испытал большую
радость (изучение натурфилософии — Шеллинг³)
- 18 (субб): Утром у Марк. — Днем «Роза». — Вечером у Марк до 9¼ час-
сов — *весьма* приятно — Ктх — необычайно ясное небо, что
снова пробуждает почти побежденную обезьянью природу
- 19 (воскр): Утром работал над арией (*prendi l'acciar ti rendo ***)⁴. — Днем
пришел Кунц и утащил меня к себе — оставался там до 11 час-
сов ☒, взволнованное поэтическое настроение, в котором
я проникся глубоким почтением к самому себе и неумеренно
хвалил самого себя.
- 20 (пон): Утром у Марк — Ротенхан. Днем дал урок у Кунца. — Ве-
чером «Кассино» — *inamorato nella Signora K[unz] come il dia-
volo ****
- 21 (вт): Ротенхан, позже дома — *dies ordin[arius]*
- 22 (ср): Марк — Ротенхан — *dies ordin[arius]*
- 23 (четв): Утром Марк. — Рисовал — с женой и Кунцем в Буге. — Вече-
ром у Кунца — поэтическое настроение. Равнодушие к *Inamo-
rata *****, так как Ктх была необычайно хороша, когда я ее
встретил
Награда в 100 дукатов за лучшую серьезную оперу (на ан-
тичный сюжет, трагический сюжет), *dito* за лучшую комиче-
скую оперу —
Дирекции Королевского оперного театра князей Лобковиц⁵
- 24 (пятн): Утром дома. — Днем обедал в «Розе», затем в Буге — потом
в «Розе» — ☒ в совершенно поэтическом, приятном настрое-
нии
- 25 (субб): Утром Марк — Ротенхан. — Днем обедал в «Розе» с господи-
ном Кунцем — не так приятно. — Потом с Вейсом у Кунца —
потом на чаепитии у Марк. — В высшей степени любопытный
разговор с Ктх: «Вы меня не знаете — моя мать тоже —
никто — я должна многое глубоко прятать в себе — я никогда
не буду счастлива». — Что это значит? — Поздно вечером
снова у Кунца

* Без экзальтации (*ит.*).** Возьми, передаю тебе меч (*ит.*).*** Влюблен в госпожу Кунц, как дьявол (*ит.*).**** Возлюбленной (*ит.*).

- Videatur * загадка, отгадку которой должно дать будущее
- 26: Утром дома.— Днем ушел с Кунцем, чтобы скоротать невероятно скучный день и провести вечер
- 27 (пон): Утром у Марк—Ротенхан.— Днем с женой в Буге— Вечером в «Кассино», танцевал с Юльхен, Минхен и Теодори. Важные разговоры *con exaltatione* **. Бóльшее понимание в отношении 25-го.— Я чувствую себя наивным ребенком и ослом, и поделом мне— Письмо Хитцигу и Браузеветтеру ⁶
- Первый проблеск в отношении загадки—сфинкс схватил меня за волосы и швыряет в отвратительную трясику, если не отгадываю.— После разгадки туманная завеса упадет, и те, кто был за ней, проникнутся поэзией—о *ch'affanno* о *che smania* ***
- 28 (вт): Утром Ротенхан.— Днем был приглашен к 3 часам к Шпейеру, консульша, Ю[льхен] М[арк]. Продолжение любопытного разговора, страстное настроение.— После того, как это кончилось, я впал в мерзкое, гнусное настроение, которое вечером в 9 часов привело меня в Буг
- 29 (ср): Утром у Марк—дело становится любопытным, и я приближаюсь к настоящей разгадке.— Божественная ирония!— великолепнейшее средство скрыть и изгнать безумие,— помоги мне!!— Днем в Буге с Кунцем. Вечером *ditto*— плохое настроение— отвратительная усталость
- Теперь наступило время серьезно поработать *in litteris* ****
- 30 (четв): Утром Марк—Ротенхан— мрачное, вялое состояние— доходящее почти до меланхолии.— Бездеятелен—неработоспособен.— Со Шпейером в Буге—вечером с трудом взвинтил себя—с помощью вина и пунша—это очень странно, что в голове *постоянно* вертятся Ктх и музыка

МАЙ

- 1 (пятн): Утром в Буге.— Днем в Альтенбурге с женой и Шпейером—настроение приятное.— Вечером с Вейсом снова отправились гулять—словно бы я хотел убежать от самого себя и от всех роковых мыслей—что в общем-то удалось
- 2 (субб): Утром Марк—приятное настроение Ктх—небольшую часть того, что я часто намеревался сказать самому себе, я действительно сказал, и это произвело огромное впечатление.—

* По-видимому (лат.).

** В экзальтированном настроении (ит.).

*** О, какая тревога и какое безумие! (ит.).

**** В литературе (лат.).

- Днем с Вейсом, Кунцем, Шпейером в Бишберге. — Вечером «Роза» —
- 3 (воскр): Утром в саду Маркуса в павильоне рисовал перспективы¹. — Днем обедал в «Розе» — затем в Буге. Фейерверк — Кунц — совершенно особенно *inamorto nella Donna Kunziwowa** — я замечаю, что много мню о себе, что не плохо. . .
 Когда я в фантазиях представляю самого себя, пусть никто не вмешивается. — 3-го мая с 4-х часов до вечера я был ужасным трусом — *quod deus bene vertat in saecula saeculorum amen!!!!!!!!!!* **
- 4 (пон): Утром у Марк — Ротенхан. — Днем в «Розовом саду» с господином Кунцем. — Вечером до 1 ночи на балу, танцевал с Юльхен — довольно приятное настроение — окровавленный платок!² — в остальном очевидно, что это идет на убыль — слава богу!
 Одна молния часто гасит другую — загадка постепенно уничтожает себя.
- 5 (вт): Ничего!
- 6 (ср): У Марк. — После обеда рисовал
- 7 (четв): Утром рисовал в павильоне у Маркуса, у Марк — примечательный разговор с директором Маркусом. Днем у Кунца — в высшей степени возбужден ☩ настроен на чистый, поэтический лад. — Вечером прогулка с Ктх — очень приятно —
- 8 (пятн): Утром рисовал. — Днем *dito* — в 5 часов отправился в Бишберг со Шпейером *весьма приятно* провел время. Вечером «Роза» ☩ *un rochetino**** — знакомство с музыкальным директором Френцлем³
- 9 (субб): У Марк — Диттмейер и Френцль там — удивительный, странный разговор с Ктх. Днем в «Розе» с Френцлем. — Вечером со Шпейером и семьей Марк в Альтенбурге — очень веселое, приятное настроение. Дурачились, как дети, — при возвращении домой по всем правилам разыграл обиду — надул губы и затем помирился с Ктх — ну, ну! —
- 10: Утром и днем в павильоне Маркуса, улицы нарисованы, кроме фигур. — Вечером с женой в Буге. — Вечером с Диттмейером и Френцлем в «Розе» — настроение приятное —
- 11 (пон): Утром репетиция концерта Френцля. — Днем с Френцлем и Диттмейером в зрительном зале, там концерт — Юльхен пела превосходно. — Все безумства вырвались наружу — я готов был убить всякого, кто приблизится к ней, — раздражен, взвинчен. Вечером «Роза» — Френцль уехал

* Увлечен госпожой Кунц (ит.).

** Пусть бог сделает все к лучшему, во веки веков аминь!!!!!!!!!! (лат.).

*** Самую малость (ит.).



*Юлиана Марк.
Портрет работы художника В. Каульбаха.*



*Э. Т. А. Гофман.
Медаль.*

- o dio *
- 11 мая puncto ** в 8^{1/2} часов я был ослом — o dio che smania — o dio che piacere — o dio che desinganno — o dio quelle follie ***
- 12 (вт): Утром у Лорбеер — Ротенхан. — Днем в саду «Розы» с Кунцем. — Вечером «Роза»
- 13 (ср): Утром ожидали прибытия императора с 9 до 11^{1/2} у Шпейера с семьей Марк — немного ☒ обедал у Кунца. — Вечером в «Розе» очень сильно ☒ —
- 14 (четв): Утром ожидали прибытия императора с 8^{1/2} часов у Шпейера вместе с семьей Марк — в 3^{1/2} часа он, наконец, прибыл — император и императрица ⁴ — в высшей степени приятное настроение в отношении Ктх — необычайная любезность — Ohe jam satis **** — обедал в «Розе». — Вечером хватил пуншу у Кунца — невероятно замучен, величайшая усталость (Вечером собрался к Марк, но не был принят)
- 15 (пятн): Утром Лорбеер — Ротенхан. — Днем в Буге, потом у Кунца —
- 16 (субб): Утром у Марк — Ротенхан. — Днем в Буге, затем у директора Маркуса с Ротенхан и Эглофштейном ⁵ — хорошая декламация и плохое пение — настроение весьма приятное
- 17 (воскр
Троицын
день) Утром бродил по улицам, зашел в кабачок и промочил горло — обедал в «Розе», в высшей степени неприятное состояние. — Вечером у консульши Марк, Ктх очень доверчива pp — почти добавление к Esperansen *****, отмеченных 1 апреля.
- 18 (поне-
дельник
Троицы) Утром у Марк в веселом настроении. — Днем дома, наконец успешно начал «Часы просветления некоего безумного музыканта» ⁶. — Вечером в Буге — Затем в саду «Розы» и ☒ — Неприятное столкновение с Кунцем, которое, возможно, навсегда нас рассорило! — Мне это, в сущности, приятно. . .
- 19 (вт): Утром успешно работал над «Часами просветления», затем у Ротенхан, днем dito усердно работал до 7 часов — потом с женой в хорошем настроении в Буге — потом в «Розе» выпил стаканчик и в хорошем настроении пришел домой.
Я доволен собой — деятельность оживляет меня — письмо от Гольбейна — «Аврора» должна быть поставлена в «Свободном театре» ⁷ в честь императрицы — возможно, это мое счастье!
- 20 (ср): Утром работал над «Часами просветления» — Марк, Ротенхан. — Вечером «Роза» — отправился гулять с [консульшей]

* О боже (ит.).

** Ровно (ит.).

*** О боже, что за волнение — о боже, что за наслаждение — о боже, что за разочарование — о боже, что за безумие (ит.).

**** Увы, это слишком (лат.).

***** Надеждам (фр.).

- Марк — настроение очень хорошее, встретил господина Кунца — неприятное ощущение. Вечером дома, так как этот толстый господин [Кунц] был в «Розе».
- 21 (четв): Утром — Марк — Ротенхан — Ктх была настроена странным образом — надежды. — Днем рисовал в павильоне Маркуса до 7 часов — затем в Буге — затем в «Розе» — видел Кунца и совершенно игнорировал его —
- 22 (пятн): Утром Лорбеер — Ротенхан. — Днем работал. Вечером в «Розе» — Кунц как 21-го
- 23 (субб): Утром Марк — Ротенхан. — Днем работал. Вечером в «Розе» — Кунц как 21-го—22-го
- 24: Утром работал и написал в Кенигсберг меланхолическое письмо по поводу 500 рт. — Днем с большим удовольствием пообедал у Ротенханов. — Вечером у Марк — немного ☿ — Ктх показала aimable * Poveri affetti miei **
- 25 (пон): Утром у Марк и Ротенхан. — Днем бездельничал в «Розе». — Вечером концерт на моллахорде⁸ — после этого импровизировал сам. — Вечером «Роза» — senza exaltatione *** с грехом пополам —
- 26 (вт): Утром Лорбеер, Теодори, Ротенхан. Днем дома. — Вечером Буг, Ротенханы в Буге — говорили о пустыках
- 27 (ср): Утром Марк — Ктх amabilis ****
- 28 (четв): Утром с 7 до 12 — у консульши из-за процессии⁹ — настроение Праздник в высшей степени приятное. — Днем обедал в «Розе». Днем Тела Гос-пирушка в «Кассино» — по поводу «Музеума». — Вечером подня) в Буге — потом в «Розе» — весь день пировал
- 29 (пятн): Утром Лорбеер, Теодори — Ротенхан, бездельничал, унылое настроение!
- 30 (субб): Утром Марк — Ротенхан. Днем очень унылое настроение dito бездельничал
- 31: Утром рисовал в саду Маркуса. — Днем в саду «Розы» — (воскр) Вечером у консульши — так приятно — дело принимает другой оборот со многими надеждами — которым никогда не сбыться

ИЮНЬ

- 1 (пон): Утром Марк — Ротенхан. — Днем «Роза» — мадам Реннер и мадам Лархер, скрипачка, un peu exotique ***** — неистовая

* Любезной, милой (фр.).
 ** Бедная моя любовь (ит.).
 *** Без воодушевления (ит.).
 **** Мила (лат.).
 ***** Немного странная (фр.).

- головная боль. — Настроение скверное. Вечером бал — Ктх в высшей степени любезна *ah che Smania!* * (если бы она не дразнила, она не была бы девушкой)
- 2 (вт): Утром и днем рисовал в павильоне. Вечером до 10¹/₂ часов в Буге со Шпейером и Маркусом —
- 3 (ср): Утром консульша Марк — Ротенхан. — Днем головная боль — спал. После этого рисовал. — Вечером в «Розе», познакомился с Гутенбергом —
- 4 (вт): Утром консульша — Ротенхан. Днем традиционный месячный обед в «Розе», возбужден. . . в мерзком настроении. — Вечером форменный приступ безумия — при возвращении домой из Буга —
- 5 (пятн): Лорбеер, Теодори — Ротенхан. Днем вялость — ничего
- 6 (субб): Утром Марк — Ктх очень хорошо пела *exaltatio* **. — Днем закончил роспись павильона
- 7 (воскр): Утром работал — переписывал канцонетту. Днем *ditto*. Вечером Буг — мерзкое настроение
- 8 (пон): Марк — Ротенхан — *ditto* мерзкое настроение и *qua Causa?* *** — Глупость в отношении Ктх возрастает. — Днем шатался без дела, в «Розе» сильно выпил. — Вечером прогулка с консульшей, после которой совершенно развеселился
- 9 (вт): Утром Лорбеер, Теодори, Рот[енхан]. — Днем наконец закончил павильон. — Вечером у Марк, очень веселое настроение — Ктх совершенно необычайно любезна — надежды —
- 10 (ср): Утром Марк — Ротенхан. — Днем работал дома. — Вечером в «Розе» познакомился с двумя братьями Бейтлер, придворными музыкантами из Мюнхена¹. . .
- 11 (четв): Утром Марк — Ротенхан. — Днем приятное письмо от Хитцига — канцонетту Зимроку. — Днем говорил с Кунцем. — Вечером у Марк. Ктх в высшей степени любезна — *un raso inatogato ma non troppo — niente smania* **** — послал канцонетты Зимроку²
- 12 (пятн): Утром Лорбеер. — Репетиция концерта Бейтлера. — Вечером концерт — жестокое обращение Ктх со мной — настроение в высшей степени мерзкое
- 13 (субб): Утром Марк — ссора с Ктх по поводу вчерашнего — раздражен до безумия. — Вечером у Марк с Бейтлером — продолжаю пребывать в омерзительнейшем настроении — наконец дикие выходы под влиянием паров пунша

* Ах, что за безумие! (ит.).

** Экзальтация (лат.).

*** По какой причине? (лат.).

**** Немного влюблен, но не слишком — никакого волнения (ит.).

- 14: Утром не находил себе места, как дурак, из-за вчерашнего.
(воскр) Днем «Роза» un poco * ☿. Спал — совсем поздно отправился гулять — затем «Роза» — Кунц —
- 15 (пон): Утром Марк — Ротенхан. — Днем работал над планом театра — «Роза» — (примирение с Ктх) довольно хорошо и piano ** настроен. Ктх, особенное, вдохновенное состояние
- 16 (вт): Утром Лорбеер — Теодори, Ротен[хан]. Равнодушие — в Буге. Вечером «Роза»
- 17 (ср): Марк — Ротенхан. — Работал — равнодушие —
- 18 (четв): Утром Марк, Роте[нхан]. — Ктх настроена mezza voce *** Все надежды не исчезли — странное состояние. — Вечером «Роза», после этого видел Ктх и разговаривал... exaltatione ☿ — под влиянием паров асманскойзера
- 19 (пятн): Утром Лорбеер — Ротенхан — несчастная ночь. — Днем немного поработал, затем в Буге. — Вечером «Роза» —
- 20 (субб): Утром Марк — Ротенхан. — Днем работал над сочинением: «Мысли Иоганна Крейсера о высокой ценности музыки»³. — Вечером «Роза». Кунц — чтение вслух
- 21: Утром работал — не находил себе места. — Днем «Роза» — ☿
(воскр) Вечером Марк, возбужденное состояние, dito у Ктх
- 22 (пон): Утром Марк, продолжение вчерашнего. — Днем поехал в Альтенбург — винный погребок. Вечером вернулся в Альтенбург

22-го поехал в Альтенбург

- 23 (вт): Встал в 4 часа утра, в очень веселом настроении, после обеда лег и из-за плохой погоды пришел в скверное настроение —
Дождь целый вечер — l'homme de qualité qui se rétirait du monde ****⁴
- 24 (ср): Утром из-за плохой погоды вышел из дому и целый день про-слонялся без дела. Буг — «Роза» — досадное настроение — равнодушие к Ктх — мой план относительно надежд
- 25 (четв): Утром снова съездил в Альтенбург — затем Марк, Ротенхан — возвратился в Альтенбург; очень хорошая погода, но досадное, скучное настроение. Замыслы росписей декораций
- 26 (пятн): Утром прекрасное утро. — Работал, потом отправился в город, обедал в «Розе». — Днем ушел. — Вечером в 9 часов ужасная погода — впрочем, настроение хорошее
(как сильно влияет Ктх на мою душу — настолько, что маленькое безумство в этом отношении сразу ощущается — это навязчивая идея. Например, одно сообщение Ш[пейера], что

* Немного (ит.).

** Эд.: мирно (ит.).

*** Средне (ит.).

**** Знатный человек, который удалился от мира (фр.).

- Гр[епель] не уезжает, подействовало самым решительным образом на мое настроение) —
- 27 (субб): Утром дождь. — Днем хорошая погода — семья Ротенхан поехала в Альтенбург, и они привели меня в веселое, приятное настроение, которое продолжалось до ночи — жизнь отшельника по мне —
- 28: Целый день шел дождь — очень усердно работал над партитурой Overture * к «Кориолану» Бетховена для рецензии⁵. Вечером выглянуло солнце на улице и в душе
- 29 (пон): Утром сквернейшая погода. — Днем месил грязь, отправившись в город, в «Розе» ☩. Пошел к консульше, удивительные разговоры с Ктх — снова впал в величайший энтузиазм — совершенно болен от любви и от безумия. — Quod deus bene vertat; non ego più innamorato che oggi **
- 30 (вт): Холодная, неприятная погода — на душе un poco meglio *** — отголоски вчерашнего. — [утром в город на урок у] Лорбеер, Теодори, Ротенхан. — Днем обратно. Рецензия на увертюру к «Кориолану»

ИЮЛЬ

- 1 (ср): Утром Марк — Ротенхан, обратно из Альтенбурга. — Вечером у Марк — настроение приятное. Вернулись из Альтенбурга —
- 2 (четв): Утром Марк — Ротенхан. — К вечеру в Буге — Зелигман¹ — «Роза» — ... ☩ впрочем, равнодушие
- 3 (пятн): Утром Лорбеер — Теод[ори] — Ротенх[ан]. К вечеру большое чаепитие у Ротенханов — мучительная головная боль со вчерашнего дня — однако настроение хорошее — трио Бетховена — высказал идеи о сущности музыки², которые не были поняты, — сочинял «Mi lagnerò tacendo» ****³
- 4 (субб): Утром Марк (сердился, так как Ктх <Рарујезна> и поэтому не пела). — Комический... — Днем пирушка в «Музеуме», вечером «Роза» — головная боль, равнодушие
- 5 (воскр): Утром дома. — Днем обед в «Розе». Уже в 9½ дома и из-за головной боли лег в постель. — Совершенно невыразительный день
- 6 (пон): Утром Марк — Ротенхан — снова впал в невероятно возбужденное состояние, так что ни на какое улучшение надеяться не приходится и необходимо искать решение. Вечером 9—12 на улице — иллюминация в честь французской императрицы⁴

* Увертюры (ит.).

** Пусть бог все сделает ко благу (лат.); никогда я не был так влюблен (ит.).

*** Немного лучше (ит.).

**** Буду жаловаться молча (ит.).

- 7 (вт): Все утро ходил по городу, чтобы видеть отъезд императрицы. — Днем работал. Затем «Роза»
- 8 (ср): Утром Марк — Ротенхан. — Днем поехал в Форхейм вместе с директором Маркусом, Кунцем и Диттмейером. Встреча с Рейтером по поводу театра — quod deus bene vertat
- 9 (четв): Утром Марк — Ротенхан. — Днем и вечером в «Музеуме» — настроение приятное — однако известная навязчивая идея берет верх над всем, и я замечаю, что страдаю от постоянной головной боли. — Ротенханы собираются в деревню — последняя новость — Гольбейн отказался от театра⁵ —
- 10 (пятн): Утром Лорбеер, Теодори. Днем работал. — Вечером в Буге — «Музеум».
- 11 (субб): Утром Марк (Ктх очень мила). Днем сочинял дуэтино. — Вечером «Музеум» — веселое настроение!
- 12: Утром сочинял два итальянских дуэтино⁶. Днем в «Музеуме».
- (воскр) Вечером у консульши Марк — настроение в высшей степени приятное — Ктх необычайно любезна, чтобы умножить *mania* * и *desprezazione* **, которые повергают меня в бездеятельность.
- 13 (пон): Утром Марк — очень приятно. — Днем обедал в «Музеуме». — После обеда отправился гулять. — Вечером в «Музеуме» с Кунцем и Зелигм[аном] —
- 14 (вт): Утром Лорбеер, Теодори. — Днем работал Буг. — Вечером у консульши с Диттмейером и Зелигманом — в высшей степени экзальтированное состояние — жемчужины — *il cog non più a me* ***⁷ — *un rосо* ☿ в «Розе», необычайно бодрое настроение
- 15 (ср): Утром Марк. — Днем в саду «Розы». На охоте. Неприятное сообщение из Бонна — Зимрок отказал в просьбе⁸ — *dies tristis*
- 16 (четв): Утром Марк — странный разговор — едва не выдал слишком много — безумные порывы, которые влекут меня к гибели, в конце концов неизбежно грозящей мне. — Хотел бы я уснуть и чтобы все это уже миновало!⁹ Незримый червь etc. — Неприятные известия из Кенигсберга — не получил денег. Вечером в Буге — затем в «Розе»
- 17 (пятн): Утром Лорбеер 9—11 — Теод[ори]. — Днем работал. — Перед вечером гулял один и встретил консульшу Марк с Юльхен — довольно приятный разговор — равнодушен. — Вечером «Роза»! — Скверное настроение
- 18 (субб): Утром Марк. — В отношении Ктх: доказательство — яснее ясного — что нужно быть ослом, чтобы питать хоть какую-нибудь надежду — возрастающая гибельность. Написал в *Кенигсберги*

* Безумие (ит.).

** Отчаяние (ит.).

*** Сердце больше не в моей власти (ит.).

- и Берлин, Хитцигу статью о пьесах Кальдерона для «Муз»¹⁰. — Днем и вечером с Кунцем в «Розе», но не особенно веселились — *настроение скверное*
- 19: Утром необычайно дурное настроение. — Днем у Кунца и (воскр) с ним, Циглером¹¹, Айценбергером¹² поехали пострелять дичь в Лихтенфельз — настроение приятное
- 20 (пон): Лихтенфельз — возбужденное состояние. Ночью в 12 часов в Бамберге
- 21 (вт): В полном изнеможении — Лорбеер, Теодори. Днем спал. — Дурное настроение
- 22 (ср): Марк — необычайно веселое настроение. Ктх в высшей степени экзальтирована. — Днем «Роза». Вечером Кунц ☿
- 23 (четв): Утром Марк. — Днем никакого желания работать, как обыкновенно теперь. — Вечером Кунц в «Розе» — разговор о «Часах просветления» pp — разволновался из-за этого. — Прогулка с консульшей Марк — очень приятная. Ктх. — Постепенное приближение к моей гибели. — Дьявол вырвался — *mania**
- 24 (пятн): Утром Теодори. — Днем праздновали [годовщину] свадьбы¹³ — настроение приятное. После обеда так же, как и вечером, в саду «Розы» приятно провел время с Кунцем
- 25 (субб): Утром Марк. — Очень веселое настроение. — Вечером у консульши Марк с Диттмейером и Зелигманом — в совершенно проклятом настроении — («*Ombra adorata*»)**¹⁴ в «Розе» *vel quasi**** поссорился с Вейсом, — Дома в высшей степени неприятном расположении духа лег спать.
- Ощущение, что я — хороший композитор, я решил посвятить себя композиторской деятельности!
- 26: Утром у Кунца — у Зелигмана на завтраке, затем с Кунцем (воскр) обедал в «Розе» — немного ☿, отправился гулять с женой, встретил Марк — в отношении к Ктх возбужден почти слишком. — Новые надежды
- 27 (пон): Утром Марк — прозаическое низвержение вчерашней поэзии. — Рейтер — заседание в театре. Полнейшая неопределенность в отношении моей судьбы — отсюда дурное настроение. — Вечером «Роза»
- 28 (вт): Утром Теодори. — Днем дома — затем к больному Шпейеру — встретил директора. . .
- Послал важное письмо в Эрланген Рейтеру по поводу моего определения на место*¹⁵
- 29 (ср): Утром Марк. — Днем дома. Вечером прогулка — встретил [семью] Марк. — Настроение хорошее. — Вечером «Роза» —

* Безумие (ит.).

** Обожаемая тень (ит.).

*** Эд.: почти (лат.).

- возбужденное настроение, которое не нашло отклика. — Приятное письмо из Лейпцига¹⁶
- 30 (четв): Утром Марк, неприятно — настроение испорчено на целый день. Днем у Кунца ип росо ☿. Вечером «Роза»
- 31 (пятн): Утром Лорбеер — Теодори. — Днем, как обычно, бездеятельно провел время в «Розе»

АВГУСТ

- 1 (субб): Утром Марк. — Днем «Роза». Вечером вместе с Зелигманом у Марк — музыка — весьма приятно — ип росо ☿ в «Розе» при этом пришел в возбужденное состояние и чувствовал себя великим композитором благодаря дуэту: «Ombre amene» *¹
- 2 (воскр): Утром дома сочинял дуэтино. Днем визит ассессора Бургера из Донауверта и капельмейстера Дюрмейера («Дирна»)² «Роза». — Вечером в Буге с мадам Кунц — ип росо inamorato some ** — скучал в «Розе» — рано лег спать
- 3 (пон): Утром Марк. — Днем «Роза». Вечером свадьба в «Розе», во время которой господин ф. Эккардт, танцую, упал мертвым. — Странное ироническое настроение — пуш ☿
- 4 (вт): Днем у Кунца — приятно. — После обеда «Роза». — Вечером вскрытие Эккардта. — Зрелище, вызывающее ужас. — Рассеченная грудь. — ☿ — Безумная боль в желудке
- 5 (ср): Утром Марк. — Очень приятное настроение! — Несмотря на недомогание. — Днем у Кунца — Буг — распаковывал музыкальные сочинения³. Отправился гулять, встретил Марк. — Вечером Кунц
(В 1 раз чувственное ощущение в отношении Ктх). — Нечто опять приобретает теперь губительную силу — Ктх —
- 6 (четв): Утром Марк. — Неприятно — скверное настроение — болен. — Утром консульша у моей жены! — Днем отправился гулять. — Вечером «Роза»
- 7 (пятн): Лорбеер — Теодори. — В остальном как 6. — Ничего особенного
- 8 (субб): Утром Марк — приехал Грпель. — Днем дома. — Вечером у консульши до 11 часов — в высшей степени возбужденное состояние — дик и строптив — после этого немного успокоился. — Мысли о развитии хода событий меня очень волнуют — j'l sera decidé dans peu jour ***

* Милые тени (ит.).

** Немного влюблен как (ит.).

*** Это решится на днях (фр.).

- 9 (воскр): Целый день с Кунцем, Циглером, Шпейером, Вейсом и Пфейфером в Ламе, в высшей степени приятно, un poco innamorato nella Signora K-e piacevole — quest'una cosa singulare *
- 10 (пон): Il colpo e fatto! ⁴ — La Donna e diventa la sposa bi questo maledetto asino di mercante, e mi pare che tutta la mia vita musicale e poetica e smorzata — bisogna di prender una risoluzione degna d'un uomo come io credo d'esser — quest'era un giorno diabolico **
- 11 (вт): Утром на аукционе Хутта ⁵ вместе с Кунцем. Днем до вечера у него, затем в Буге — семейство Марк, Греспель, Юльхен — веселое настроение — e gia passato ed credo che l'immaginazione fa molto ***
- 12 (ср): Лорбеер — Марк — великолепное письмо от Хитцига, Фуге сам переработал «Ундину» ⁶. Вдохновенное экзальтированное состояние. — Вечером у Кунца ☿
- 13 (четв): Утром у консульши — вечером dito. — Кроме этого ничего выдающегося — настроение перешло в decrescendo **** и я сознаю, что великая мечта обманула меня —
- 14 (пятн): Утром Лорбеер, Теодори. — Днем «Роза», вечером с Марк на Михельсберге, грустнейшее настроение!
- 15 (субб): Утром написал Фуге и ответил Хитцигу ⁷ — у консульши Марк. — Днем веселое настроение, вместе с консульшей в Альтенбурге
- 16: Утром наблюдал процессию у Кунца (у которого из-за великой нужды занял 11 фл). Днем «Роза» — к вечеру в Буге с Кунцем, Вейс — Шпейер. — Приятное настроение — un poco innamorato nel Signora Kunz *****
- 17 (ср): Утром Марк. Юльхен пела gli miei duetti con molta espressione il signor asino sposo e molto geloso e questa cosa mi fa molto piacere *****
Днем «Роза» — отправился гулять с Кунцем. — Вечером «Роза» — Рейтер аннулировал свой договор с театром
- 18 (четв): Лорбеер. — Днем... Вечером в Буге вместе с Кунцем, настроение весьма приятное
- 19 (ср): Утром Марк. — Днем у Кунца. — Вечером забавная прогулка с Кунцем, Вейсом, Шпейером, Циглером и целой оравой герцогских поваров и камердинеров в винный погребок. — Ко-

* Немного влюблен в любезную госпожу Кунц — это даже странно (ит.).

** Удар нанесен! — Возлюбленная стала невестой этого проклятого осла-торгаша, и мне кажется, что вся моя музыкальная и поэтическая жизнь померкла — необходимо принять решение, достойное человека, каким я себя считаю, — что за дьявольский день (ит.).

*** Уже прошло, и я думаю, что воображение делает многое (ит.).

**** Упадочное (ит.).

***** Немного ухаживал за госпожой Кунц (ит.).

***** Мои дуэты с большим чувством — господин осел-жених очень ревнив, и это обстоятельство доставило мне большое удовольствие (ит.).

- мическое столкновение с Циглером, который вместе с Кунцем, напившись, поверил мне секреты своей любовной связи с мадам Кунц etc. Пакет из Лейпцига для рецензирования.
- 20 (четв): Утром Марк. — Днем у Кунца. Вечером отправился в Хальштадт на освящение церкви. Встретил там консульшу с семьей и вместе с ними отужинал в хорошем настроении, — по возвращении домой выпил стаканчик — впрочем, не работал
- 21 (пятн): Утром Теодори. — Днем в «Тире», вечером в Буге ужинал с консульшей в прекрасном настроении — (странные наблюдения в отношении Ктх с возможной ссылкой на 21-е марта и т. д.)
- 22 (субб): Утром у Марк. — Днем «Роза». — затем с Кунцем, Вейсом и Шпейером отправился в сад «Золотого льва» и выпил пива. Вечером «Роза». Вовремя домой —
- 23: Утром дома. — Днем с Кунцем обедал в «Розе». — После (воскр) обеда «Тир» — отправился гулять. Вечером в «Розе» с Кунцем и дамами ужинал в саду — много пил без всякого действия — un poco innamorato nelle Sg *
- 24 (пон): Утром Марк. — Днем «Роза». Вечером со Шпейером в Буге. Dies ordinarius.
- 25 (вт): Утром Лорбеер — Теодори. — Днем «Роза». Вечером торжественный ужин у Марк — приятное настроение, но с некоторыми рецидивами — «Ombra adorata» — il mercante e un asino ** —
- 26 (ср): Утром Лорбеер. — Днем визит Диттмейера — Кунц. — После обеда «Роза» — «Тир». — Вечером ужинал в «Розе» — безумная головная боль.
- 27 (четв): Утром Марк. — Днем у Кунца до 10³/₄ вечера — настроение не очень хорошее
- Ктх остается на зиму здесь et il Signor mercante anda via ***
- 28 (пятн): Утром Лорбеер, Теодори. — Днем «Роза», вечером в Буге — dies ordinarius
- 29 (субб): Утром Марк. — Неприятно. Днем до вечера дома. — «Роза» — со Шпейером отправился к Марк. — Особая связь в отношении Ктх с 21-м марта, вечером разнообразные надежды, которые могут свести меня с ума. Ночью у Шпейера осушили бутылку штейнвейна. — Приятное настроение
- 30: Утром дома. — Днем «Тир», затем в Буге (воскр)
- 31 (пон): Утром Марк. — Днем дома до 4-х часов, затем с Кунцем, Ницольди, Вейсом, Шпейером, Циглером в винном погребеке ☒ — Не слишком приятно

* Немного ухаживал за госпожой (ит.).

** «Возлюбленная тень» — торгош-осел (ит.).

*** А господин торгош уедет (ит.).

СЕНТЯБРЬ

- 1 (вт): Утром Лорбеер, Теодори — затем обедал у Кунца. — Днем отправился с Кунцем гулять, потом снова в Буг со Шпейером, Вейсом и Грепелем. После этого были приглашены к Марк, так как там был неаполитанский офицер Сен-Анжело — Юльхен великолепно пела, o dio che spavia
- 2 (ср): Утром Марк. — Днем с Вейсом в Буге. — Вечером зван к Марк и хорошо провел время senza exaltatione *
- 3 (четв): Утром Марк — настроение скверное. — Днём «Роза». — Вечером с женой в Буге — напрасная попытка навестить Кунца — скверное настроение — пустота — недомогание —
- 4 (пятн): Утром оставался дома и работал. Рецензия на «Chasse» Мегюля — очень удалась ¹. Болен. — Днем пошел с женой в Буг. Вечером «Роза» —
- 5 (субб): Утром консульша Марк — Диттмейер был там. Вечером с Кунцем в Буге
- 6 (воскр): Прогулка в Поммерсфельден ² — ужасно напился и позволил себе безобразнейшие выходки. В отношении Ктх форменное безумие, бранил sprozo ** который был так пьян, что упал
(Несомненно, что причина всего — что-то тайное, связанное с Ктх)
- 7 (пон): Утром дома после бессонной от ярости ночи. — Днем и вечером у Кунца. Видел Шпейера —
(Рано утром написал [консульше] Марк письмо с извинениями ³)
- 8 (вт): Утром бродил по улицам в скверном настроении. — Днем в Бишберге со Шпейером, Кунцем, Лейкампом, весьма приятно — (Ответ от [консульши] Марк — уроки должны быть ненадолго прекращены)
- 9 (ср): Утром дома. — Днем в Буге. Вечером в 7 часов дома, в полубольном состоянии лег в постель и до позднего утра спал
- 10 (четв): Работал дома над рецензией на трио Бетховена. — Днем «Роза», затем в Буге. — Поздно в «Розе» —
Продолжаю пребывать в безразличном, вялом состоянии, к которому привело безумие б-го — прочь! — Я почти не верю, что снова увижу Ктх, как прежде! — я хотел бы, чтобы все это миновало
- 11 (пятн): Утром Лорбеер — Теодори. — Днем с Кунцем и Вейсом в «Тире». — Вечером «Роза» — настроение весьма приятное. — Утром успешно работал над рецензией

* Без экзальтации (ит.).

** Жениха (ит.).

- 12 (субб): Утром работал дома. Днем «Тир», затем отправился гулять; вечером у Кунца — ип росо ☿ выпил пуншу, оставался до ночи
- 13: Утром у господина Кунца. — Днем обедал там. После обеда (воскр) «Тир». — Вечером у господина Кунца пил пунш вместе с Циглером и остался ночевать, так как мадам Кунц была в Эрлангене. — Безразличное настроение
- 14 (пон): Утром господин Кунц — «Тир». — Днем обедал. — Письмо от Брейткопфа и Гертеля — предложение перевести «Школу [игры на] скрипке»⁴. Вечером у Зейферта
- 16 (ср): Утром работал дома — рецензия на трио № 1 совершенно готова. — Вечером «Тир» — Зейферт
- 17 (четв): Никогда еще не было сразу столько неприятностей, угнетающих рассудок и сердце, — знак Ктх никогда больше не появится. — Записка от консульши Марк, которая в некотором смысле запрещает мне появляться у нее в доме. — Пошел к Кунцу и одолжил у него 11 фл. — обедал у него. — К вечеру в Буге и оставался там до 11 часов — (загадка остается неразгаданной, но *разгадано* то, что она существует).
(Из записки консульши Марк: «Что-то, происшедшее в душе Юлии, делает для нее невозможным продолжать уроки»)
- 18 (пятн): Утром Лорбеер — Теодори. — Днем работал — Вечером в «Музеуме» — вовремя домой. — Лег спать в скверном настроении
- 19 (субб): Утром и днем усердно и *con amore** работал над моим сочинением для предполагаемого театрального альманаха⁵. — Вечером Кунц позвал меня в «Тир» — затем у него на весь вечер
- 20: Утром желание работать — но не выходит, обедал у Кунца (воскр) ☿ — «Тир» — там же жалкий бал. — Пал духом — скверное настроение
- 21 (пон): Утром дома. — Днем в Буге — консульша — Кунц — я вел себя прилично! — Вечером с Кунцем в «Кассино». Кунц сказал мне, что консульша необычайно гневается на меня. — Шпейер — жалкий, ребяческий Мефистофель! —
- 22 (вт): Утром Лорбеер. — Днем у Кунца. — После обеда «Тир». Вечером у Кунца — поэтическое настроение, затем читал отдельные места из моего сочинения о «Дон Жуане» и нашел, что оно удалось
- 23 (ср): Утром читал. — Теодори. — Днем до 8½ дома, затем в «Розе» — безумная головная боль! —
- 24 (четв): Работал целый день и закончил «Дон Жуана»⁶
- 25 (пятн): Dies
- 26 (субб): ordinarii
- 27: atque
(воскр) valde tristes

* С любовью (ит.).

- 29 (вт): С Кунцем во Френцдорфе на охоте
Репетиция «Реквиема» Моцарта в церкви св. Мартина⁷ — в смиренном и подавленном настроении — снова видел Ктх, так как она принимает участие в исполнении — Буг — величайшая нужда
- 30 (ср): Утром исполнение «Реквиема» — Ктх — я в хорошем настроении. — Днем удачно начал портрет семьи Кунц.
Винный погребок с Кунцем — «Роза»

ОКТЯБРЬ

- 1 (четв): Все утро пролежал в постели из-за безумной головной боли.
Днем встал. Буг. Вечером пил у Бургера — в весьма хорошем настроении с Вейсом, Шпейером и Диттмейером. — Пошлая жизнь!
- 2 (пятн): Утром Лорбеер — затем у Кунца и успешно работал над семейным портретом. Днем там. — После обеда «Тир». — Вечером Кунц — забавная выпивка с Кунцем, Айценбергером и Форстером¹ — un rосо ☞ —
- 3 (субб): Весь день вместе с Кунцем в Аурахе на охоте. — В 5 часов обедал у него и остался там
- 4 (воскр): Утром дома. — Днем работал у Кунца над семейным портретом и остался у него — («Бамбокциаден» Тика²). Наконец-то впервые снова поэтическое вдохновение
- 5 (пон): Утром дома. Работал. — Днем трудился над семейным портретом — Буг — танцевал в «Кассино», как дурак, — Ктх — с полнейшим равнодушием — *tempri passati* * — ☞
- 6 (вт): Утром Лорбеер, Теодори. — Днем семейный портрет. — Вечером Буг — «Роза». Очень приятное настроение, однако un rосо ☞ из Буга
- 7 (ср): С 9 до 1 работал над семейным портретом. Вечером театр — Кунц ☞ поэтически возбужденное настроение
Заплатил цирюльнику 4 фл — еще 2 фл осталось заплатить 1 ноября
- 8 (четв): Прихварываю — читал. — Днем Буг. Вечером дома — *dies ordinarius*
- 9 (пятн): Утром Лорбеер — Теодори. — Днем рисовал — в театре — «Роза» —
- 10 (субб): Весь день на охоте во Френцдорфе с Кунцем — настроение приятное
- 11: С утра рисовал у Кунца — потом дома. Днем снова рисовал и (воскр) остался у Кунца ужинать — un rосо ☞

* Прошедшие времена (ит.).

- 12 (пон): С раннего утра работал — затем, поздно, до половины 5 в Редутном зале с женой — кутил с ожесточением
- 13 (вт): С раннего утра в Дебрихе на охоте с Кунцем — поздно в «Розе»
- 14 (ср): Измучен и опустошен. — Вечером в театре «Сиротский приют»[†]. Вечером с Кунцем в «Розе» — мадам Рейтер с дочерью
- 15 (четв): Утром работал. — Днем в 4 часа в «Розе». — Вечером бал — видел Ктх, но *senza exaltatione**. — Это действительно миновало, и только некоторый отблеск возвышенных романтических видений делает ее еще притягательной для меня! —
- 16 (пятн): *Dies ordin[arius]*. — Работал
- 17 (субб): *Dies ordin[arius]*
- 18: В ужасную дождливую погоду с Кунцем на охоту во Френцдорф (воскр)
- 19 (пон): Во Френцдорфе
- 20 (вт): Возвратился обратно со всей семьей Форстеров, обедал у Кунца и провел у него весь день —
- 21 (ср): Утром бродил по улицам. — Днем работал. — Вечером «Роза»
- 22 (четв): Работал над семейным портретом. — Вечером остался у Кунца
- 23 (пятн): Утром уроки — Лорбеер, Теодори. — Вечером театр — настроение скверное
- 24 (субб): Целый день работал над семейным портретом. — Вечером скверное настроение — размолвка с господином Кунцем — «Роза» — пробудились воспоминания о Ктх —
- 25: Днем пешком во Френцдорф — охота. — Вечером убил козулю (воскр) и радовался! —
- 26 (пон): Френцдорф. — Днем под проливным дождем пешком оттуда — в «Кассино», неистово танцевал — Ктх — пробуждение старой любви — в высшей степени прилично — *un poco exaltato***
- 27 (вт): Возбужден — *dies ordin[arius]*
- 28 (ср): Рисовал семейный портрет
- 29 (четв): Рисовал. — Вечером в первый раз у Зелигмана —
- 30 (пятн): Утром Лорбеер — Теодори. — Днем рисовал. — Вечером «Роза».
- 31 (субб): Рисовал. — Вечером «Роза»

НОЯБРЬ

- 1 (воскр): Рисовал. — Утром с Кунцем на охоту во Френцдорф
- 2 (пон): Френцдорф — весь день охотился —
- 3 (вт): Френцдорф. — Вечером ужинал у Кунца, затем домой
- 4 (ср): Утром сильная вялость. — Ни к чему особенному не расположен. — Вечером в театре — в «Розе», весьма приятное настроение. — Письмо из К[енигсберга] — сразу же ответил.

* Без воодушевления (ит.).

** Немного взволнован (ит.).

Письмо в К[енигсберг]

- 5 (четв): К Кунцу — работал над его каталогом музыкальных сочинений¹ — настроение хорошее; приятное письмо от Фуке относительно «Ундины». Вечером у Кунца Гете «Из моей жизни», вторая часть — совсем поздно в 12 часов домой
- 6 (пятн): Лорбеер — у Кунца вечером читал до 12 часов — Гете
- 7 (субб): Утром работал. — Днем Кунц *ditto* до 12 часов за Гете
- 8 (воскр): Утром дома. — Днем в «Розе» с Кунцем
- 9 (пон): Утром дома — писал оперу. Приятное письмо от Брейткопфа и Гертеля — заказ на перевод «Школы [игры на] скрипке»
- 10 (вт): Письмо от Ротенханов — настроение приятное. — В Буге с женой, вечером писал оперу «Аврора» — 1-й урок у Рот[енхан], «Роза»
- 11 (ср): Утром Лорбеер. Днем писал «Аврору». — Вечером «Роза»
- 12 (четв): Утром работал над «Авророй». Днем с Кунцем — Шпейером, Вейсом *pp* в Буге угощались колбасой
- 13 (пятн): Утром Ротенхан, Теодори — получил наконец гонорар из Донауверта². — Вечером у Кунца работал над каталогом
- 14 (субб): Писал «Аврору». — Днем получил оперу «Ундина» — выдающийся шедевр³ — получил пакет из Лейпцига⁴ — месса Бетховена *pp*. — Читал Кунцу «Ундину» — в высшей степени счастливое настроение — позднее еще в «Розе»
- 15: Утром писал «Аврору». Днем «Роза». — Вечером писал — (воскр) [в] «Розе» с Кунцем —
- 16 (пон): Утром работал. Днем *ditto* до «Кассино» — много танцевал. Письмо от Маркуса, который хочет взять меня на место оперного режиссера⁵.
- 17 (вт): Рано утром у Маркуса — (Как обыкновенно, у него сплошные предрассудки! — это, право, слишком скверно —) Ротенх[ан], Теодори. Днем усердно писал. Вечером «Роза» —
- 18 (ср): Ротенхан. — Днем, как всегда, «Аврора». Вечером «Роза» ∇
- 19 (четв): Утром Лорбеер — Ротенхан. — Днем не шло это вечное переписывание — но я заставил себя сделать 1½ листа. Надо быть *tenax propositi!* *⁶
- 20 (пятн): Утром Ротенхан. — Днем работал над «Авророй». Вечером «Роза» —
- 21 (субб): Утром Ротенхан. — Днем репетиция «Дианы»⁷. — Мадмуазель Низер⁸ пела плохо. — Вечером у Штенгеля, прелюдия к прежним отношениям с Ктх. — Вечером «Роза» ∇∇
- 22: Утром дома. — Днем обедал в «Розе». Мадмуазель Низер — (воскр) артисты из Нюренберга. — После обеда возбужден ∇. — Вечером торжественный ужин в «Розе» до 2½. — Кунц — Шпейер — Маркус — настроение весьма приятное

* Упорным в своем намерении! (лат.).

- 23 (пон): Утром Ротенхан. — Днем Кунц. — Вечером бал — в последний раз танцевал с Ктх — и в очень взволнованном состоянии еще раз сказал ей *Adio** со всеми украшениями стиля — до 2^{1/2} часов —
- 24 (вт): Утром Ротенхан. — Днем рисовал у Кунца и остался там
- 25 (ср): Утром прихворнул, дома — величайшая, подлейшая нужда — Кунц не дал ничего — мерзкое настроение — «Роза»
- 26 (четв): Утром Лорбеер — Ротенхан. — Из-за величайшей нужды продал старый фрак, чтобы только можно было хоть немного пожрать!! — Работал дома. Вечером «Роза»
- 27 (пятн): Утром Теодори, Ротенх[ан]. — Днем дома. — Вечером «Роза»
- 28 (субб): Утром Лорбеер, Ротенхан. — Днем «Роза». Вечером у Зелигмана — Ктх — большое общество — воспламененное настроение. — «Роза»
- 29: Утром до 12 часов в постели — затем «Роза» — театр «Гуситы под Науленбургом». Хоры⁹. — Вечером «Роза»
- 30 (пон): Целый день работал дома. Вечером в 9^{1/2} часов в «Розе» — *dies ordinarius*

ДЕКАБРЬ

- 1 (вт): Dito — работал — Теодори, Ротенхан; получил деньги — *dies ordinarius atque tristis*
- 2 (ср): Оставался дома и дописал второй акт¹. — Вечером «Роза»
- 3 (четв): Лорбеер — Ротенхан —
*Sвадьба Юльхен con questo maledetto mercante** —*
 Днем традиционный ежемесячный обед в «Розе» — *un raso**** выпил шампанского с Хольстом². — Вечером оставался в «Розе» — *ma senza exaltatione***** — нелепый период в отношениях с Ктх прошел совсем —
- 4 (пятн): Прихварывал. . . — *dies ordin[arius]*
- 5 (субб): *dies ordin[arius]*
- 6 (воскр): *dies ordin[arius]*
- 7 (пон): *dies ordin[arius]*
- 8 (вт): У Кунца вечером . . . настроение приятное
- 9 (ср): Написал для Кунца предисловие³. — Вечером у него, с Циглером настроение скверное
- 10 (четв): Дома — работал
- 11 (пятн): Работал дома

* Прощай (*ит.*).** С проклятым торгашом (*ит.*).*** Немного (*ит.*).**** Но без воодушевления (*ит.*).

- 12 (субб): Утром Ротенхан. — Днем «Роза», написал в Лейпциг по поводу гонорара⁴. Вечером приглашен к консульше Марк. — Зелиг-м[ан] — Ротенх[ан] — Винценти⁵ и др. Подтверждение того, что было замечено 3-го — в полной мере
- 13: Работал дома. — Днем «Роза». Вечером вместе с [семейством]
(воскр) Марк на чаепитии у Ротенхан — Греспель со свитой — весьма приятное, но несколько взвинченное настроение...
(Любовь готова превратиться в ненависть)
- 14 (пон): Утром Ротенхан. — Днем и вечером дома работал над «Авророй»⁶ в приятном, но безразличном настроении
- 17 (четв): Утром Ротенхан. — Днем Кунц. — Вечером большое чаепитие у директора Маркуса — детская комедия — ироническое настроение
- 18 (пятн): Утром Кунц — остался обедать ☿. — Прощальный визит к Юльхен roux jamais! * — Странное, взволнованное состояние — заснул в «Розе». — Вечером Греспель —
- 19 (субб): Утром Ротенхан. — Вечером «Роза» — Греспель — Хольст уехал в Веймар — напряженное состояние в связи со Шпейером
- 20: Утром бездельничал. — Днем — дома. Вечером «Роза» — Ко-
(воскр) пия «Ундины»
В 9 часов Юльхен действительно уехала —
- 21 (пон): Утром Ротенхан. — Днем в первый раз видел в госпитале сомнамбулу. — Сомнения! — Вечером «Роза», необычайное настроение — Ктх — Ктх — Ктх
- 22 (вт): Утром Ротенхан. — Вечером скучный театр — dies ordinarius
- 23 (ср): Перед обедом 10—12 Ротенхан. Вечером «Роза» — театр. Кунц ип росо ☿
- 24 (четв): Утром репетиция концерта Диттмейера. Днем «Роза». — Вечером в театре — видел консульшу — Кунц ☿ бургундское. Нет денег, поэтому в высшей степени скверное настроение
(Удивительные политические сообщения, бюллетень 29: французы totaliter ** разбиты⁷)
- 25 (пятн): Утром дома. — Днем «Роза» — «Музеум». Вечером концерт Диттмейера. — Очень плохое настроение, так же, как вчера — выдохся и опустошен. После концерта в «Розе!» — senza exaltatione
- 26 (субб): Утром успешно начал перевод «Школы» [игры на] скрипке с французского, усердно работал. Вечером «Роза» —
Продолжение политических сообщений, которые вторгаются в жизнь
- 27: Утром работал над переводом. — Днем у Кунца. — Вечером
(воскр) остался там, довольно приятное настроение

* Навсегда! (фр.).

** Полностью (лат.).

- 28 (пон): Работал дома над переводом. Вечером в «Кассино» — не танцевал — однако был хорошо настроен. Разнообразные воспоминания о Ктх
- 29 (вт): Ротенхан. — Днем работал дома. Вечером в «Музеуме» буйствовал и шумел, но senza exaltatione вместе с Кунцем, Шпейером, Лейстом⁸, Диттмейером —
- 30 (ср): Утром Ротенхан. После этого очень усердно работал над переводом. — Вечером «Роза». — Снова являются странные, фантастические мысли в отношении Ктх — было решено вести переписку — quod deus bene vertat
- 31 (четв): Большой новогодний бал — был не особенно настроен по особенной причине — отвратительно, пошло и пусто!!

1813

In nomine domini

ЯНВАРЬ

- 1 (пятн): С плохими приметами, в самых тяжелых обстоятельствах начался новый год — каким он будет?
- 2 (субб): Ротенхан. — Усердно работал над переводом
- 3 (воскр): dito dies orolin[arius] atque tristis
- 4 (пон): dito
- 7 (четв): Приехал из Вюрцбурга Брандт¹ и привез мне письмо от Гольбейна, который решил, что в марте я roug jamais* оставляю Б[амберг] и перееду в Вюрцбург²
- 8 (пятн): Закончил переписку перевода и написал Брейткопфу и Гертелю³, а также Гольбейну по поводу пересылки «Авроры» в Вену⁴. — Вечером, как обыкновенно, в «Розе» с Кунцем, который, ввиду моей крайней нужды, ссудил мне 6 фл
- 9 (субб): Первый радостный день за такое долгое время: получил из Лейпцига 36 рт! — Днем обедал у Кунца. — Вечером очень приятно посидел в «Музеуме».
- 10: Днем — традиционный ежемесячный обед в «Розе», настроение сносное. — На минуту в театре, затем оставался в «Розе». —
- 11 (пон): Утром совершил прогулку со Шпейером в деревню Ремерсдорф — в 4 часа обедал в «Музеуме» — затем поздно на

* Навсегда (фр.).



Набросок Гофмана «Часы просветления некоего безумного музыканта»
с автопортретом»

- балу — настроение приятное, очень много крутился с Ротенханами etc etc —
- 12 (вт): Утром очень утомлен и раздражен — грустное настроение. — Теод[ори], Ротенх[ан]. — Днем «Роза» — «Музеум». — Работал дома над перепиской «Авроры». — Вечером «Роза»
- 13 (ср): Днем у господина Кунца и затем вместе с ним отправился во Френцдорф на охоту.
- 14 (четв): Охота во Френцдорфе. — Вечером вернулся обратно и пошел в «Музеум» — настроение безразличия
- 15 (пятн): Утром Ротенхан. — Вечером смотрел скверный спектакль «Поклонения кресту» и из-за этого впал в дурное настроение. — Вечером у господина Кунца до 1 ночи in raso exaltato ☿
- 16 (субб): Утром Рот[енхан]. — Днем обедал у господина Кунца — затем прогулка — после этого «Роза». — Безразличное, отвратительное, скверное и опустошенное настроение. — Удивительно, что все краски как бы исчезли из жизни и кажется, что чувство это проникло гораздо глубже, чем я это себе представлял. — Ктх — Ктх
- 17: Утром работал до 4 часов, потом с Кунцем в «Музеуме» и (воскр) оставался там до 11¹/₂ часов — хорошо развлекался. Впрочем см. запись от 16-го
- 18 (пон): Утром Ротенхан. — Визит к мадам Раулино. — Под вечер у Хольста вместе с Кунцем — Вейс и Ветцель⁵ — читал «Зербино»⁶ — равнодушное настроение — «Роза» — как 16-го

- 19 (вт): Утром Ротенхан — Теодори. — К вечеру у Кунца — Вейс — Ветцель, Хольст, Шпейер — читал «Зербино» — как 18-го
- 20 (ср): Целый день писал. Вечером в 9 часов в «Розе» с Кунцем — настроение сквернейшее. — Неприятное письмо от Гольбейна — еще отсрочка с «Авророй»
- 21 (вт): Ротенхан. — Днем у Кунца, с ним отправился в «Розу» и целый вечер мучительно скучал — внутренние упреки по поводу большой лени и равнодушия. — Я должен найти в себе силы для деятельности
- 22 (пятн): Утром Теодори — Ротенхан. Днем Кунц зашел за мной, и я остался у него — настроение равнодушное — *dies ordin[arius]*
- 23 (субб): Утром Ротенх[ан]. — Днем сообщения газет из Кенигсберга — русские наступают — взволнован этим без особой причины, отправился в «Музеум» с Кунцем и \bar{x} необычайно глупо. — Неестественная веселость
- 24: Несчастливая ночь — рвота и спазмы желудка — проснулся совершенно разбитый. — Пришел Кунц поздравить меня со днем рождения — обедал с женой у него и остался там в почти непереносимом из-за головной боли настроении
- (воскр)
- 25 (пон): Утром Ротенхан. — Днем в «Розе». — Вечером в «Кассино» — танцевал — приятное, но несколько напряженное состояние. — Тяжело груз этих дней⁷ —
- 26 (вт): Утром Теодори — Ротенхан. — Днем «Роза». — Вечером на чаепитии у Ротенхан, хорошо провели время. — Вечером «Роза». — Уроки у Раулино с 10 до 11 в первый раз
- 27 (ср): Утром Ротенх[ан]. — Днем «Роза». — Вечером у Кунца в повышенном настроении — «Роза». — Совершенно отвратительное, гнусное настроение
- 28 (четв): Утром полубольной, остался лежать в постели, но был в хорошем настроении — лихорадочная экзальтация. Вечером встал и работал. Наконец отправился в Редутный зал и оставался там до 6 часов — *ma senza exaltatione* * .
Постоянные воспоминания о Ктх
- 29 (пятн): Утром уже в 9^{1/2} часов у Ротенхан, потом у Кунца и остался там, настроение приятное
Воспоминания о Ктх
- 30 (субб): Утром Раулино — Ротенхан. Вечером пошел в «Музеум», однако дома вовремя —
- 31: Утром работал над рецензией на трио Бетховена⁸. — После (воскр) обеда *dito*. Вечером «Роза» — *dies ordinarius*

* Но без волнения (*ит.*).

ФЕВРАЛЬ

- 1 (пон): Утром Ротенхан. — После этого усердно работал над рецензией на трио Бетховена. — Вечером на балу до 4^{1/2} часов — в весьма приятном настроении. — Воспоминания о Ктх
- 2 (вт): Дома и успешно работал, как 1-го
- 3 (ср): Ротенхан. — Визит к Кратцер по поводу уроков. Письмо в Лейпциг с приложением рецензии и «Дон Жуана»¹, чтобы получить задаток в 25 рт. — Днем и вечером у Кунца — провели время весьма приятно
- 4 (четв): Dies
- 5 (пятн): tristis
- 6 (субб): atque
- 7 (воскр): ordinarii
- 8 (пон): Очень много танцевал в «Кассино» — смехотворность обыденной жизни
- 9 (вт): Quod deus bene vertat! Некоторая ирония
- 10 (ср): Получил новый импульс из-за «Титуса»², в постановке которого я принимаю участие — хоры — *чувство собственного достоинства* — Anche io son pittore *
- 11 (четв): Ротенхан — Раулино — работал над семейным портретом³. — Из-за нового импульса снова прослушал в театре хоры «Титуса». — Вечером «Роза» — в духе —
- 12 (пятн): Ротенхан — Теодори. — Работал над семейным портретом. Вечером театр — «Музеум», ужасно скучал — настроение неприятное
- 13 (субб): Ротенхан, Раулино, Лорбеер. — Закончил семейный портрет и вечером выставил его в «Розе». Большой успех — Кунц, приятное настроение
- 14: Наконец начал «Ундину», как мне кажется, успешно. — Вечером в театре — настроение будничное
- 15 (пон): Рот[енхан], Кратцер. — Вечером у Кунца приятное, приподнятое настроение — он хочет во что бы то ни стало издать рукописи — решение по поводу «Часов просветления»!⁴ —
- 16 (вт): Утром Раулино — Теодори. — Днем «Роза». — Вечером маскарадная академия — развлекались весьма неудачно! —
- 17 (ср): Ротенхан — Лорбеер. — Приятное письмо из Лейпцига⁵ с 25 рт. — Вечером «Музеум» — после этого я успешно работал над «Берганцей»⁶ — сцена ведьмы — возбужденное состояние.
- 18 (четв): Утром Ротенхан, Раулино, Кратцер. — Днем. «Роза», очень раздражен и в плохом настроении, так что работа совершенно не шла, — поэтому отправился в «Розу»
- 19 (пятн): dies

* Ведь и я художник (ит.).

- 20 (субб): ordinarii
 21: atque
 (воскр)
 22 (пон): tristes. Вечером у Кунца
 23 (вт): У Кунца — очень беспокойный день. В высшей степени неприятное столкновение с Вармут⁷ из-за задержанной платы за квартиру — величайшая нужда
 24 (ср): Утром у Кунца — ввиду моей нужды он ссудил мне 30 фл, приготовления к маскараду в самом неприятном настроении
 25 (четв): Наконец совершенно неожиданно получил 485 саксонских рт из Кенигсберга⁸ — конец всем печалям. — Вечером на маскированном балу в костюме Мазетто в свите Дон Жуана⁹ — несмотря на все хорошие события, не слишком веселился, дома поздно — не однажды ☒
 Счет того, что получил от господина Кунца с 25-го

Из старого счета	3	12
	фл	р
1 бут[ылка] киршвассера	1	18
3 бут[ылки] русийона	3	
10 марта 2 бутылки бург[ундского]	3	
12 " 1 фляжка киршвассера	1	18
22 — 1 фл[яжка] бургундского	1	30
24 — dito	1	30

- 26 (пятн): Оставался дома. — После обеда «Роза». Буг. — Вечером у Кунца
 27 (субб): Совершенно неожиданно получил письмо из Лейпцига, в котором Иозеф Секонда приглашает меня на место музыкального директора¹⁰
 Не работал совсем — голова полна —
 28: У Кунца на крестинах¹¹. — В высшей степени неприятная (воскр) сцена, когда он за моей спиной самым гнусным образом оклеветал меня. — Вечером Редутный зал до 6 часов — раздражен.

МАРТ

- 1 (пон): Спал до 12 часов. — После этого обедал в «Розе», остался там посидеть. — Вечером бал в «Кассино» — танцевал до 2 часов senza exaltatione — много говорил с [консульшей] Марк — однако не без ощущения невероятной ожесточенности
 Ктх
 2 (вт. Канун Великого поста): Спал до 11 часов. — Днем с Лео и Шпейером с его женой в Буге. — Вечером в Редутном зале, где шло все самым жалким образом, и все же было забавно — senza exaltatione

- 3 (Пепель-Утром остался дома. — Днем «Роза», — потом спал. — Вечером
ная сре- «Роза». —
да): Написал в Лейпциг Секонде и Рохлицу¹
- 4 (четв): Ротенханы — Кратцер. — Получил записку от Кунца — пригла-
шает меня к себе. Большая ироническая сцена примирения за
русийномом — un rосо ☿ — die einzige Naхрихт, dasс Ktch схwа-
ger — траф μιχ νίε εiv Σχλαγ*
- 5 (пятн): Утром пел вместе с исполнителями «Реквием» во время заупо-
койной службы по 16-тилетней девушке — похороны купца
Беме — после этого у Кунца — в театре — настроение веселое.
С сегодняшнего дня начинаю платить в «Розе» за все, что
я съем и выпью
- 6 (субб): Заупокойная служба по Беме. — После этого у Кунца.
Вечером невероятно скучал в «Музеуме»
- 7 (воскр): Утром дома — затем визит к Шпессарт — у Симони. —
«Роза». — Вечером театр, как мало...
- 8 (пон): Утром Ротенхан, Кратцер, Лорбеер. — Днем сочинял марши и
хор к «Мессинской невесте» — затем успешно работал над
«Берганцей». — Поздно вечером в «Музеуме»
- 9 (вт): Рот[енхан], Раул[ино]. — Вечером в театре «Гамлет», взвол-
нованное состояние из-за великолепной игры Лео
- 10 (ср): Ротенхан. — Прихварываю. — К вечеру отправился в «Розу» —
настроение приятное — выпил пуншу с Диттмейером, Кунцем —
Штейнау
- 11 (четв): Рот[енхан] — Раулино, Кратцер. — Вечером театр — не был
там —
- 12 (пятн): Утром Ротенхан — Шпессарт — настроение весьма приятное. —
Вечером «Мессинская невеста», после театра торжественный
ужин в «Розе» — Шпитцедер² — без подъема. Смешные про-
исшествия: Фриз³ и прочий вульгарный сброд перепились —
- 13 (субб): Письмо из Лейпцига от Рохлица, который поддерживает мое
решение стать музыкальным директором у Секонды⁴
Днем Буг: — Вечером отвратительный музыкальный разговор
в «Музеуме». — Позднее невыносимая нервная головная боль
- 14:
(воскр) Целый день провел в постели с безумной головной болью. —
Вечером немного поработал над перепиской «Берганцы»
- 15 (пон): Еще прихварываю — но уроки
- 16 (вт): dies ordin[arius], в Буге
- 17 (ср): Получил письмо, которое подтверждает мое поступление на
службу к Секонде
Великая радость!
- 18 (четв): Получил письмо, из которого узнал, что «Аврора» будет по-
(Ansel- ставлена в Вене⁵. Днем у Кунца контракт на издание моих
mus) литературных сочинений⁶

* Одно сообщение, что Ктх беременна, — поразило меня, как удар.

- 19 (пятн): Секонда ответил, и условия приняты, так что дело верное. — Целый день с Кунцем на утомительной охоте на жаворонков —
- 20 (субб): Заболела жена — и совершенно непонятно, что за болезнь. — Днем в Буге, очень приятно провел время с ассессором Фридрихом⁷. Настроение хорошее
- 21: Ночью совершенно разболелся — однако бодр духом — писал (воскр) «Берганцу». — После обеда Буг — Кунц — консульша Марк рр
- 22 (пон): Прихварываю дома. — Под вечер в «Розе». — Настроение приятное
- 23 (вт): Прихварываю. — Написал в Лейпциг⁸ и Вену⁹. — Вечером «Роза»
- 24 (ср): Все
- 25 (четв): эти
- 26 (пятн): дни
- 27 (субб): успешно работал над «Берганцей» — NB. все время оставался дома
- 28: dito
- (воскр)
- 29 (пон): У Кунца с рукописью «Берганцы»
Написал в Лейпциг Секонде по поводу неизвестных обстоятельств войны. Вечером большое чаепитие у Ротенханов
- 30 (вт): Ротенхан. — В церкви похороны доктора Риттера¹⁰. После обеда Буг — dies ordin[arius]

АПРЕЛЬ

- 9 (пятн): Наконец послал в Вену мад[муазель] Бухвизер «Аврору»¹
- 18 (пас-хальное воскр): Днем в Буге на прощальном обеде — изливал свои чувства Диттмейеру
- 19 (Пас-хальный пон): Вечером прощальный ужин у Кунца
- 20 (вт): Вечером у Кунца — прощался со слезами — (от [мадам] Кунц получил прядь волос — ~~за~~ — m'intendo *)
- 21 (ср): Отъезд рано утром в 6 часов — ночевали в Байрейте
- 22 (четв): В Менхберге завизировали паспорта у коменданта форпостов и благополучно проехали через форпосты на постоялый двор
- 23 (пятн): В часе езды перед Плауеном первые прусские форпосты — по дороге в Рейхенбах в лесу совершенно неожиданно пикет казачков, в Рейхенбахе заночевали в сквернейшем настроении — два полка калмыков — прусские гусары —

* Я понимаю (ит.).

- 24 (субб): Цвиккау 2 батареи пушек — Лангвиц прусские зеленые гусары — заночевали на лугу в самой гуще казаков. — Настроение более бодрое
- 25: (воскр) *Фрейберг* — герцогство Вальдау, неприятное, тревожное настроение — приехали в Дрезден. Секонду не встретили; денежные затруднения² — мост!!
- 26 (пон): Вышел — совершенно ободрился — нашел Моргенрота — расплатился с кучером. — Днем господин фон Лейпцигер. — Великолепный «Реквием» Хассе³, в Линковых купальнях⁴ встретил *Гиппеля*, *Штегеманна*, которые стали тайными советниками. — В высшей степени счастливое настроение! — Письма в Лейпциг.
- 27 (вт): Утром прогуливался по улицам. Днем осматривал квартиру неподалеку от Линковых купален — Вечером в Линковых купальнях с *Гиппелем*, *Бартольди*⁵ и вместе с ними ужинал в «Ангеле» — Настроение весьма приятное
- 28 (ср): Приятный визит Моргенрота — который вдохнул в меня мужество — Днем за table d'hôte — 5 кирсирских полков — видел императора и короля⁶. — Днем в городе. — Не без забот, вероятно, я должен [отправиться] в Лейпциг
- 29 (четв): Dies tristic провел в разнообразных хлопотах. — Начал переписывать «Глюка», напрасный визит к *Гиппелю*⁷
- 30 (пятн): dito. — Вечером за столом совершенно неожиданное письмо из Лейпцига с переводом 70 рт⁸, который освобождает меня от всех забот! — Великая радость! — Счастливое настроение!

МАЙ

- 1 (субб): У Моргенрота — затем к Секонде, который посылает меня в Лейпциг¹ — недобрые вести, однако, удерживают меня. — Прослушал великолепную мессу *Шустера*². — Пение *Сассаролли*³. Вечером «Il matrimonio segreto»⁴ — *Бонавери*⁵ — *Каравалья* *Сандрини*⁶ — *Бенелли*⁷ — необычайно счастливый вечер —
- 2 (воскр): Утром на мессе *Наумана*⁸ — весьма поэтическое настроение. — Вечером в Линковых купальнях — Моргенрот — придворный музыкант *Шмигель*⁹ — приятные знакомства — в очень веселом настроении выпил пуншу у *Конради*¹⁰. — Военные события достигли наивысшей точки напряжения
- 3 (пон): С этого времени начинаются дни величайшего беспокойства
- 4 (вт): величайшего напряжения — появляются военные сообщения,
- 5 (ср): даже *Гиппель* обеспокоен исходом событий и советует мне переждать еще несколько дней

- 6 (четв): явное отступление русских и пруссаков. Обозы — орудия передвигаются через [город] — французских пленных, однако, очень мало —
- 7 (пятн): Государственный канцлер фон Гарденберг¹¹ покинул город. Гиппеля я больше не видел. — Комендант города также уехал. — Ужасное беспокойство и озабоченность — когда же я уеду в Лейпциг — (Прослушал репетицию «Кортеца»¹², и это доставило мне большое удовольствие)
- 8 (субб): В высшей степени беспокойная ночь — казаки спешно провели через город множество артиллерии — в 11 часов мост через Эльбу горел, так же как и оба плавающих моста — горящие лодки плыли вниз по реке, величайшее смятение — грохот орудий совершенно рядом — французы вошли в город. — В 5 часов пополудни император. — В течение всего времени непрекращающаяся перестрелка — Удивительное зрелище: на городском валу видел русских, как они прицеливались и стреляли во французов, которые показывались на мосту. — Поздно вечером у меня Моргенрот — настроение приятное, вопреки бедствию
- Всего за час перед вступлением французов прусский король проехал верхом по мосту через Эльбу
- 9 (воскр): Довольно спокойная ночь — но с 4 часов непрекращающаяся стрельба. — Французы расположились на башне и на галерее католической церкви — я стоял у самых Замоквых ворот и чуть не был убит, когда 5—6 снарядов, шипя, ударились в стену и отскочили обратно. — Днем, в 1½ часов на Старом рынке разорвалась граната и повергла всех в немалый ужас. — Вечером с Моргенротом в Саду Тильке — настроение весьма веселое, невзирая на тревогу — пушечные залпы — после этого стрельба прекратилась. — Впрочем, сегодня тяжело ранен один старик, который рано утром хотел пойти в церковь
- 10 (пон): Утром отправился к мадам Веттер на Старый Рынок, где раньше жил Моргенрот. — Маленькая квартира художника — пятый этаж — написал Кунцу. — Русские оставили Новый город
- 11 (вт): Написал в Лейпциг Секонде¹³ и в Бамберг Кунцу. — Сегодня по направлению к Пирнаэру — к Вильдсдрюфферу и к Озерным воротам по восстановленному мосту через Эльбу прошли вюртембергцы, французы, итальянцы, поляки, по меньшей мере от 30 до 40 000 человек и много артиллерии. — Русские отсюда, говорят, всего в двух часах. — Голод — ни мяса, ни хлеба. — Страшное время — все полно ожидания
- Вечером с женой в Саду Тильке, настроение приятное, несмотря на тяжелые заботы. — Общее настроение совпадает с моим — к сожалению, я все еще не в состоянии работать над чем-нибудь большим —

- 12 (ср): Рано утром работал над рецензией на симфонию Брауна и Вильмса¹⁴ — затем в Саду Брюля. — Днем видел императора, вице-короля¹⁵ и прочих на мосту, где он наблюдал, как мимо него продефилировали кавалерия и артиллерия (особенные ощущения). Саксонский король тоже прибыл¹⁶ под звон колоколов и гром пушек. — Говорят, что он остается здесь и, значит, я все-таки не попаду в Лейпциг. — Ожидания. — Вечером Моргенрот у меня
- 13 (четв): Впервые снова усердно работал над рецензией на симфонию Вильмса и успешно закончил ее. — Вечером был в академии пения Дрейсига¹⁷ и слушал великолепное «Misereere» Наумана, которое, однако, было не очень хорошо исполнено. — После этого пребывал в приятном настроении. — Со всех сторон жалобные стоны и несчастье — не хватает хлеба —
- 14 (пятн): Переписал рецензию и послал ее Гертелю вместе с письмом. — После этого в Саду Брюля. — Видел войска, продефилировавшие через мост, — сомнительные сообщения об успехе французов — дела там обстоят, кажется, не лучшим образом. — Вечером с женой в Саду Тильке — настроение весьма приятное, несмотря на страх и заботы
- 15 (субб): Начал рецензию на мессу Бетховена¹⁸. — Радостное и все же робкое сообщение, что левое крыло французов разбито, — впрочем, dies ordin[arius]. — Вечером в Саду Брюля — прибыло множество раненых —
- 16: (воскр) Рано утром в приятном настроении позавтракал с Моргенротом в Большом саду. — После этого в церкви прослушал весьма посредственную мессу. — Вечером в Саду Тильке — с театра военных действий больше никаких известий — все еще нет письма из Л[ейпцига]!!
- 17 (пон): Целый день дома, закончил рецензию на мессу Бетховена и переписал ее — письмо Гертелю, главным образом по поводу Секонды, — от которого я все еще не получил ответа — настроение хорошее
- 18 (вт): Утром отослал по почте письмо Гертелю вместе с рецензией — затем хлопотал по поводу паспорта в Лейпциг и т. д. Днем император в сопровождении гвардии покинул город. — В Саду Брюля — в Саду Тильке. — Вечером в оперном театре, «Весталка»¹⁹ — был не особенно доволен постановкой — костюмы и декорации плохи.
- 19 (ср): Сегодня днем получил письмо от Секонды вместе с банковым билетом в 20 рт, сейчас же приготовления к отъезду — все запаковано. Вечером Моргенрот у меня. — *Весьма успешно начал сочинение «Что пена в вине, то сны в голове»*²⁰
- 20 (четв): В 10 часов в приятном настроении выехали почтовым дилижансом — французские офицеры, граф Фриче с супругой²¹,

купцы и прочие. Неподалеку от Мейсена с нами случилось ужасное несчастье — моя бедная жена была тяжело ранена в голову — юную, очаровательную, хорошенькую графиню Ф[риче] в самом страшном виде вынесли мертвой — ужасное впечатление. — Когда я хотел довести жену в Мейсен, нас захватили с собой совершенно незнакомые люди, сенатор Гольдберг [с супругой] дружески отнеслись к нам, подкрепили вином и послали за портшезом, в котором моя жена при большом стечении народа была перенесена в гостиницу «Солнце», — где ей оказали первую помощь, — я сам совершенно невредим, но все тело болит и едва двигаюсь. — Что я должен еще пережить — слава богу, что моя жена жива и вне опасности, как уверяет хирург

- 21 (пятн): Моя жена совершенно вне опасности, хотя очень слаба и в лихорадке *pp* — поэтому я остался в Мейсене и вечерами успешно работал над сочинением «Что пена в вине, то сны в голове», или как там я его назову еще. — Сам очень страдал от большой боли во всем теле
- 22 (субб): Спокойная ночь. — Врач и хирург единодушно разрешили дальнейшее путешествие, в 11 часов я выехал специальным дилижансом до Вермсдорфа, куда прибыл уже в 5 часов и остался там — моя жена чувствует себя хорошо — я страдаю больше, чем могу выразить —
- 23: (воскр) Рано утром в 7 часов выехал из Вермсдорфа и в 2¹/₂ часа благополучно прибыл в Лейпциг, остановился в «Hôtel de France» в ужасной дыре с окном, выходящим во двор, и поэтому пришел в дурное настроение. — Вечером отправился к Секонде и был принят очень любезно. — Вечером «Ифигения в Тавриде»²², довольно хорошо. Мадам Крамер²³, господин Миллер²⁴
- 24 (пон): *В честь прибытия* в Лейпциг — выпил немного вина с *Signor il primo huoto* * Миллером
В первый раз успешно провел репетицию «Черного замка» Далеярака²⁵ под рояль. — Гертель, Рохлиц, очень дружески и любезно принят и очень хорошо настроен; снял уютную квартиру в «Золотом сердце», Мясной переулок; моя жена также уже весела — *sit laudatus Dominus deus!!* **
24. Получил 14 рт жалования
- 25 (вт): Оркестровая репетиция — очень хорошо удалась. — Днем бродил по городу, у мадам Крамер. — Вечером представление, все шло хорошо до финала второго акта — мне сделалось дурно, и у меня закружилась голова. — Как только я пришел домой, то сразу лег в постель

* Господином первым героем (ит.).

** Слава богу!! (лат.).

- 26 (ср): Утром репетиция спектаклей «Старик Везде и Нигде» и «Сарджино». —
Вечером у Рохлица — немного натянуто — но в общем приятно — хорошие политические новости
- 27 (четв): Целый день после полученного от Секонды освобождения полубольной дома — пичкал себя лекарствами — впрочем, в хорошем настроении — написал Кунцу, усердно и с успехом работал над «Что пена в вине, то сны в голове»
- 28 (пятн): Утром репетиция «Старика Везде» рр, затем «Сарджино». — Днем свободен. — Работал над «Пеной». — Вечером в «Голисе» с мадам Крамер и Миллером — хорошо провели время, вообще настроение по-прежнему приятное
- 29 (субб): Утром репетиция «Сарджино». — Днем репетиция «Старика» в театре. — Вечером со многими актерами и актрисами в «Зеленой липе» — весьма приличном саду — господин Секонда и декоратор также были там — приятное настроение — Хорошие политические новости
Получил 14 рт жалования
- 30: Рано утром: репетиция квартета из «Старика Везде». — Днем (воскр) с женой в Саду Бозе. — Вечером спектакль — прошел гладко — настроение приятное
- 31 (пон): Утром репетиция «Сарджино». После этого с женой у Секонды и Рохлица. — Днем с женой в «Зеленой липе». — Продолжающееся хорошее настроение

ИЮНЬ

- 1 (вт): Утром квартетная репетиция «Сарджино». — Днем с женой в «Голисе». — Настроение приятное
Написал Моргенроту, послал 10 рт¹
- 2 (ср): Утром оркестровая репетиция «Сарджино». Днем вместе с женой обедал у Рохлица — провели время весьма приятно, однако все же ип росо натянуто. — Вечером совершенно удавшееся представление «Сарджино!» — Принимал похвалы — от радости отправился в «Погребок Трейбера». — Взял напрокат инструмент
- 3 (четв): Утром небольшая репетиция «Золушки»; днем работал над «Пеной». — Вечером вместе с женой в «Зеленой липе». — Партитура «Весталки».
- 4 (пятн): Утром репетиция «Золушки». Днем дома, усердно трудился. — Говорят, что сократят жалование
- 5 (субб): Репетиция «Золушки». — Печальные перспективы. Секонда собирается распустить труппу, и в понедельник должно состояться уже последнее представление. — Несмотря на эти

- скверные перспективы, я не особенно расстроен. — Впрочем, удивительные политические новости — сам Наполеон, говорят, ранен.
- 6 (воскр): Утром у Рохлица по поводу театра. После этого у Се- (Троицын конды — не добился ничего определенного — дело продолжает день) тянуться. —
Вечером дома — ... минуты в «Зеленой липе»
- 7 (понед. Троицы) Рано утром прогулка и встретил раненых французских драгун. В 11 часов совершенно неожиданно перед городом появились русские, сильная перестрелка — пришлось испытать некоторый страх. — Затем все стихло, — как говорят, заключено перемирие². Со спектаклем оперы «Сарджино» ничего не получилось.
- 8 (вт): Сообщение о перемирии. — Театральные дела идут плохо — поэтому дурное настроение. Вечером с женой в Саду Бозе, там же концерт. — После этого в театре «Крестоносец»³, много народу. — Принял парикмахера
- 9 (ср): Утром репетиция «Золушки». — Днем у меня dito — затем был у Гертеля по поводу издания моего перевода «Школы [игры на] скрипке»⁴. — Затем в «Зеленой липе». — (Семья гравера Шуле) настроение сносное
- 10 (четв): Утром и днем репетиции «Золушки» и «Фигаро». Успешно работал над новым сочинением «Что пена в вине, то сны в голове» — Впрочем, настроение убийственное —
- 11 (пятн): Утром репетиция «Оберона»⁵. — Днем получил отрадное известие, что Секонда едет в Дрезден и будет играть в придворном театре. — Вечером спектакль «Сарджино» — прошел хорошо. В кафе Рейхеля. —
Настроение весьма приятное.
- 12 (субб): Целый день с 8 часов утра до 8^{1/2} часов вечера работал, как лошадь. — Репетиция «Золушки» и «Оберона». — После этого до 12 часов в Саду Бозе с Крамер и Миллером, хорошо повеселились — Секонда действительно получил разрешение играть в Дрездене на сцене придворного театра и потому уехал туда. Он заплатил мне также 10 рт жалованья. — Хорошие перспективы
- 13: Утром репетиция «Золушки» до 12 часов. — Днем безумная (воскр) головная боль. — Вечером совершенно удавшийся спектакль — я все больше свыкаюсь с моей новой службой — это мне уже становится легко — настроение прекрасное. После театра в кафе Рейхардта
- 14 (пон): Утром репетиция «Оберона». — Днем «Фигаро»⁶. — Вечером в «Зеленой липе»
- 15 (вт): Утром репетиция «Оберона». — Днем «Фигаро». Вечером в Саду Бозе — концерт — Крамер, Миллер — настроение приятное

- 16 (ср): Утром репетиция «Оберона» под оркестр. — Днем... Вечером представление его же, настроение хорошее
- 17 (четв): Утром вюртембергцы и французы с артиллерией выступили, как говорят, в обход русских и пруссаков, у которых есть один свободный проход, чтобы все вывезти, — распространяются самые разнообразные, необычайные слухи. — Вечером в «Зеленой липе», судебный писец Вагнер⁷ — недюжинный человек, копирует Опица⁸, Иффланда⁹ *pp* и притом остроумно — кажется, что он тоже приверженец лучшей школы — *un rose exaltato* из-за обильных возлияний рома
- 18 (пятн): Утром видел прусских офицеров из свободного корпуса [майора] Лютцова¹⁰, захваченных в плен самым бесчестным образом, частью тяжело раненных и поэтому страшно изуродованных. — Днем репетиция «Фигаро», затем в «Голисе» — домой обессилевший и в изнеможении. — Теперь совершенно точно известно, что Секонда едет в Дрезден
- 19: Репетиция «Фигаро». — Днем дома. — Вечером с Крамер и (субб) Миллером кутил в Саду Бозе
- 20: Утром дома, однако кутил. — Днем *ditto*. Вечером «Сарджино» — спектакль прошел с успехом. — *Написал Моргенроту* (воскр)
- 21 (пон): Дома и писал рецензию на музыку Бетховена к «Эгмонту»¹¹. — *Лейпциг официально объявлен на осадном положении* — всеобщее замешательство. Днем был в Коннвитце у надворного советника Рохлица — очень хорошее настроение, так как в «Зеленой липе» разнообразные сообщения по поводу приближения русских.
- 22 (вт): Утром завтрак в «Hôtel de Bavière». Вечером скверно прошедший спектакль «Золушки», в чем я не виноват. — Настроение неприятное
- 23 (ср): Приготовление к путешествию в Дрезден. — Отрицательный ответ Гертеля по поводу денег¹² — сквернейшее настроение
- 24 (четв): В жалкой телеге совершил
- 25 (пятн): отвратительнейшее путешествие в Дрезден¹³ в самом неприятном настроении — проклятый Секонда. В 8 часов приехал в Дрезден, квартиры не нашел, переночевал у Секонды
- 26 (субб): Снял маленькую квартиру у господина Фурмана на аллее, которая ведет к Линковым купальням. — Измучен и вял — все оказалось хуже, чем я предполагал
- 27: Величайшая нужда. — Гнусное настроение — плохой оркестр — (воскр) неприятное столкновение с Секондой, который обвинял меня в том, что лучше не вышло — он — грубый осел — я хотел бы уехать отсюда. — Жалкий спектакль «Дон Жуана»
- 28 (пон): Репетиция «Водоноса» в 7 часов. — Удачный спектакль его же — несколько улучшившееся настроение — продолжающаяся

грубость Секонды — не надо этого принимать близко к сердцу. —

Получил от него немного денег

29 (вт): Дома, работал над «Магнетизером». Безденежье

30 (ср): dito

ИЮЛЬ

1 (четв): В 8 часов репетиция «Сарджино» — прошла довольно хорошо. Днем дома — начал сочинение «Ундины»¹. Вечером в Линковых купальнях

2 (пятн): Утром в 7 часов репетиция «Сарджино». — После этого прослушал службу в церкви. Днем писал «Магнетизера». Вечером удачный спектакль «Сарджино» —

Итак, я выступал как дирижер там, где Паэр в первый раз дирижировал оперой²

Очень хорошее настроение, несмотря на великую нужду

3 (субб): В эти дни

4 (воскр): в разнообразном

5 (пон): настроении

6 (вт): усиленно и успешно

7 (ср): работал

8 (четв): над «Ундиной»,

9 (пятн): хотя

10 (субб): в общем

11: ничего

(воскр)

12 (пон): достойного упоминания (Нездоровилось)

13 (вт): не пережил (Нездоровилось)

14 (ср): Получил письмо от Шпейера.

15 (четв): Получил письмо от Кунца с приложением 2 первых листов «Фантазий в манере Калло»³. — Вечером в «Дощатом баркасе»

16 (пятн): Продолжение

17 (субб): как

18: в

(воскр)

19 (пон): предыдущие дни,

20 (вт): трудовой

21 (ср): отшельнической

22 (четв): жизни —

23 (пятн): продолжал.

25: Письмо от Кунца с приложением 2 листов «Фантазий»⁴

(воскр)

- 26 (пон): Написал Кунцу⁵
 28 (ср): Вечером в имении лорда Финдлейтера
 29 (четв): Репетиция «Фаниски»⁶, сообщения о мире
 30 (пятн): Удачный спектакль «Лодоиски»⁷. — Хорошее настроение
 31 (субб): Репетиция «Фаниски». — Вечером в «Баркасе»

АВГУСТ

- 1 (воскр): Утром дома — работал над «Ундиной». Вечером повторение «Лодоиски», веселое настроение
 2 (пон): В эти
 3 (вт): дни
 4 (ср): усердно и
 5 (четв): в самом
 6 (пятн): разнообразном настроении
 7 (субб): работал над продолжением «Магнетизера» — а также сделал наброски обещанных рисунков к виньеткам для Кунца. Закончил письмо Марии
 ... Начал письмо Альбана¹
 8 (воскр): Dies
 9 (пон): ordinarii
 10 (вт): Дни праздника Наполеона² — настроение скверное; путаная, неудачная постановка «Разбойников»³
 11 (ср): Дома. — Вечером в Линковых купальнях — настроение скверное
 12 (четв): Написал Кунцу и послал ему рисунки двух виньеток так же, как и первый лист рукописи. — Кроме того заболел поносом
 13 (пятн): Болен и дома. — Работал над «Магнетиз[ером]»
 14 (субб): Болен и дома
 15: Император в сопровождении гвардии отбыл, ждут сражения
 (воскр)
 16 (пон): Сочинение — «Магнетизер» закончил
 17 (вт): Получил через Моргенрота письмо от Кунца⁴. Хвалит «Магнетизера». — Вечером театр
 18 (ср): Неудачная репетиция «Ифигении» — однако настроение хорошее. Вечером «Баркас»
 19 (четв): Репетиция «Ифигении». Совсем закончил «Магнетизера» и послал его Кунцу⁵. Таким образом произведение завершено! —
 20 (пятн): Удавшийся спектакль «Ифигении». Упаковывался к отъезду
 21 (субб): Репетиция. — Вечером «Баркас». — Явное отступление французов. Удивительные политические сообщения
 22: В высшей степени беспокойный день — русские и пруссаки
 (воскр) приближаются. — Удавшийся спектакль «Ифигении»
 Снял квартиру в городе

- 23 (пон): Непрекращающиеся волнения. — Возвращаются окровавленные раненые. — *Простреленный глаз*. Вечером очень близко от *Озерных ворот канонада*
- 24 (вт): Утром из-за беспокойного положения репетиция не состоялась. — Днем в Линковых купальнях видел, как идет обстрел из орудий, русские стоят на расстоянии получаса отсюда. Вечером в честь победы при *Левенберге* праздничный салют
Утром спокойно — днем великое смятение, вдалеке был виден бой между русскими и французами. Истекающие кровью, кричащие раненые, — горящий дом — надежды! Вечером у меня *Моргенрот*
- 26 (четв): Один из самых примечательных дней моей жизни. — Уже рано утром в 7^{1/2} часов я видел с чердака соседнего дома, как русские наступают колоннами, в 11 часов появился император Наполеон с частью гвардии — я долго следил, как он, окруженный своими маршалами, отдавал приказания *pp*. Между 4 и 5 часами русские и австрийцы окружили город со всех сторон, и я наблюдал с чердака ужасную канонаду, удар за ударом. Как только я собрался идти домой, над моей головой пролетела граната и упала в десяти шагах от меня между телегами, нагруженными порохом! — вторая ударилась в крышу противоположного дома. — Все жильцы дома собрались на лестнице второго этажа, и каждую минуту мы слышали, как рвутся гранаты. — Канонада продолжалась до тех пор, пока совсем не стемнело, и тогда, увидев кроваво-красное небо, мы поняли, что все охвачено огнем. — Русские вероятно, отступили и надо ждать сражения. (Многие горожане были ранены и убиты гранатами)
- 27 (пятн): Спокойная ночь. — В 8 часов начался сильный обстрел, так что дребезжали окна. — Днем стрельба стала удаляться, и в 6 часов пришло сообщение о том, что русские и австрийцы оттеснены на расстояние 5-ти часов; 16 000 пленных и 10 знамен. — Я видел приблизительно 1200 пленных. — Вечером все небо было красное от зарева, и я слышал, как вдали еще стреляли
Как еще развернутся события! — По-видимому, французы действительно одержали победу, однако не столь решительную. — Только бы они не вернулись! *quod deus bene vertat*
- 28 (субб): Русские и австрийцы все еще стоят на высотах *Кессельдорфа*, и целый день была слышна пушечная канонада и пороховые взрывы. — Сообщение, что французы под *Берлином* разбиты *наголову*⁶ и преследуются по пятам. Заметил явное отступление через мост — на поле битвы под звуки барабана и флейт проходили могильщики — я хотел пойти туда, но вернулся, из опасения, что мне придется выносить раненых. — Уже поздно, в 8 вечера я еще слышал канонаду

29: [Первая редакция:]

(воскр)

Грохот сражения затих вдали, император остался в Дрездене. — Утром был в хмельнике на поле сражения ужасающее зрелище — трупы с размозженными головами и изуродованными телами. — Один русский был не очень тяжело ранен и курил свою трубочку, лежа на земле, — мы дали ему водки и хлеба, и он был очень растроган. — Явное отступление из Силезии. — Днем в высшей степени раздраженное, скверное настроение — Что только будет!

[Вторая редакция:]

Утром довольно спокойно — робкое движение туда и сюда — на улице ... убитые... — Видел поле битвы — ужасный вид, размозженные головы. — *Живой русский*, который, будучи легко ранен, курил свою трубочку и пил водку. — Незабываемые впечатления

Что я часто видел во сне, все предстало наяву — ужасным образом. — Искалеченные, разорванные люди!!

30 (пон): Утром длительная мертвая тишина — сообщение из Берлина подтверждается. — Утром у Секонды, затем в Купальнях, после этого с Келлером и неким молодым соседом — встретили императора с его *ужасным взглядом тирана*. «*Vooups*»*, — прорычал он лыным голосом адъютанту — переправляясь через мост с опасностью для жизни. Артиллерия и кавалерия вышла через Черные ворота, русские будто бы стоят около Гросенхана

31 (вт): Утром репетиция. — Совершенно ничего нового, определенного — *Вандам*, должно быть, разбит⁷ и остался. — Войска, отступившие вчера, снова вошли в город и вышли через Пирнайские ворота, снова ... должны вернуться русские и *прусаки*.

СЕНТЯБРЬ

1 (ср): Необычайно приятное письмо от Кунца — Жан Поль пишет предисловие к «Фантазиям в манере Калло»¹. Ассигновка на 24 бутылки вина. — In politicis** совершенное затишье. Сообщение о Вандаме подтверждается. — Вечером у Йозефа, настроение веселое, но бездеятельное

2 (четв): Утром репетиция «Сильваны» — на улицах все на удивление спокойно. In politicis ничего! — Молва и слухи противоречивы: говорят, французы вступили в Берлин 31-го. Днем с женой у Йозефа, и бесчисленная артиллерия, кавалерия и пехота передвигались по всем 3 мостам, император со свитой также

* Посмотрим (фр.).

** В политических [делах] (лат.).

- проскакал через мост. Болезненное и неприятное настроение — получил очень дрянное вино²
- 3 (пятн): Утром репетиция «Сильваны»³. Днем дома закончил первый акт «Ундины», после этого у Йозефа. — Император проскакал (на маленькой буланой лошади, на которой он прибыл) через мост, затем проследовали гвардия и обоз; говорят, что штаб-квартира переводится в Кенигсбрюк. — Впрочем, все тихо, и не удастся узнать ничего определенного. — Известие о Берлине ложно
- 4 (субб): Утром репетиция «Сильваны» и «Фаниски». — Полнейшая мертвая тишина в городе. — Вечером у Йозефа
- 5 (воскр): Полнейшая мертвая тишина. — Перед обедом у Кагиорги ☩ Вечером с женой у Йозефа, после чего ужинали в «Городе Наумбурге». — Затянувшаяся мертвая тишина
- 6 (пон): Утром репетиция «Сильваны» и «Фаниски». К вечеру неожиданно прибыл император в сопровождении гвардии. Днем осматривал Галерею. Мадонна Гольбейна, Цецилия Карло Дольчи⁴. Вечером с Келлером⁵ очень приятно провели время в «Зеленом желуде». — Видел Фридриха Лауна⁶, но не разговаривал
- 7 (вт): Репетиция, как обычно, — dies ordinarius
- 8 (ср): Император в сопровождении гвардии отбыл в Эрфурт — «Праздник сборщиков винограда»⁷
- 9 (четв): Репетиция, как обычно, в остальном затишье — грустное настроение — Dies ordinarius
- 10 (пятн): Репетиция «Глазного врача»⁸. Неудачный спектакль его же. Неприятности с Секондой — грустное настроение! — dies ordinarius — затишье
- 11 (субб): Утром репетиция, как обычно. — Днем с Келлером у Кагиорги ☩ — заболел
- 12: Репетиция «Счастливого»⁹. — Днем с женой в Саду Дильке — (воскр) веселое настроение. — Император в сопровождении гвардии прибыл снова. Удачный спектакль «Счастливого»
- 13 (пон): Утром репетиция. — Днем в картинной галерее получил огромное удовольствие. Инспектор Швейкардт¹⁰ — Вечером «Зеленый желудь». Прекрасное настроение
- 14 (вт): Утром репетиция квартета в театре. — Затем с Келлером у Кагиорги. Днем работал дома. Вечером в «Зеленом желуде» Французы возвращаются по мосту через Эльбу, гвардия вышла по направлению к Пирнайским воротам, император намеревается снова уйти
- 15 (ср): Утром репетиция, как обычно. — Вечером представление «Тайны»¹¹ и «Пленника»¹². — Совершенное затишье
- 16 (четв): Утром репетиция «[Марии фон] Монтальбан»¹³.

Казаки и прусские гусары ночью перешли в траншеи перед Черными воротами; у них 30 лошадей, походная кузница и 1 пушка —

- У Кагиорги выпивал с Келлером. — Днем в *Галерее*
- 17 (пятн): Утром репетиция. — Днем у художника Этлингера¹⁴ видел прекрасные картины — настроение хорошее. — Вечером удачный спектакль «[Марии фон] Монтальбан»
Впрочем, совершенное затишье — отсутствие каких бы то ни было важных новостей.
- 18 (субб): Утром репетиция «Прекрасной мельничихи»¹⁵. — Вечером спектакль «Монтальбан». — Впрочем, абсолютное затишье и продолжающееся бездействие
- 19 (воскр): Утром дома. Удачно начал статью «Поэт и композитор» для «М[узыкальной] г[азеты]»¹⁶. Днем Келлер у меня, настроение хорошее. — Вечером неприятная сцена с Герц и Секондой. — Совершенное расстройство. — Впрочем, полнейшее затишье. — Заплатил за квартиру
- 20 (пон): Утром репетиция «Мельничихи» и «Сильваны». — Некоторое оживление военных действий — госпиталь эвакуирован. Днем и вечером дома работал над статьей для «Музыкальной газеты»
- 21 (вт): Утром репетиция «Фаниски». — Днем большое смятение на улице. —
Внезапно возвратился император с гвардией. — Стремительное отступление французов через Пирнайские ворота. — Говорят, что император разбит. Вечером в «Зеленом желуде»
- 22 (ср): Утром репетиция «Иеронима»¹⁷ — в остальных никаких нов^{*} с Келлером у Кагиорги Я. — Вечером представление «Иеронима» — весьма приятное настроение в ожидании великих событий
- 23 (четв): Репетиция оперы «Земира и Азор»¹⁸. — Вечером ее представление — скверное настроение из-за большой работы — впрочем, затишье
- 24 (пятн): Репетиция «Прекрасной мельничихи». — Вечером жалкий спектакль этой оперы — настроение в высшей степени неприятное. — Ночью загорелся французский хлебный склад — была слышна канонада — император отсутствовал
- 25 (субб): Французы поспешно отступают через мосты из Нового города сюда — император разбит русскими и пруссаками и находится здесь. — Утром репетиция «Разбойников с большой дороги». Вечером удачный спектакль этой оперы — говорят, что французы очистили правый берег Эльбы — настроение прекрасное

* Новостей (лат.).

- 26: В эти дни
(воскр)
27 (пон): слышал
28 (вт): продолжающиеся (Канонада)
29 (ср): благоприятные известия
30 (четв): бездеятельность и

ОКТЯБРЬ

- 1 (пятн): дурное настроение
(Имел удовольствие познакомиться с Лауном)
2 (субб): исчезли
(Жалкий спектакль «Водоноса»)
Получил прибавку в 2 рт
3 (воскр): Удачный спектакль «Выигранной кареты»¹
4 (пон): Работал над статьей «Поэт и композитор» — на душе легче, с Келлером и женой в Саду Дильке, вечером в «Зеленом желуде»
5 (вт): Дома —
6 (ср): Великое смятение — целый корпус отступает к Мейсену, говорят, французы оставляют Дрезден. — Похоже на то, что это правда. Настроение великолепное — спектакль «Molina» *
7 (четв): Император, саксонский король, принцы покинули Дрезден. Все госпитали эвакуируются. Кажется, что Дрезден действительно не будет удержан. Бегал целый день. — Днем картинная галерея — с Моргенротом в академии пения Дрейсига, великолепное пение певицы Грюнвальд. Вечером «Зеленый желудь». Лаун весьма приятный разговор
8 (пятн): Отступление все еще продолжается. — Дома усердно трудился. Днем сильный бой между французами и русскими прямо перед воротами у Финнледерс — я видел разрывы пушечных ядер и ружейный огонь. Вечером «Зеленый желудь»
9 (субб): Спокойный день — на ...
Закончил статью «Поэт и композитор». Вечером в «Зеленом желуде»
10 Утром репетиция «Тайны», вечером спектакль, затем у «Иозефа» — впрочем никаких Nova ** (автоматы Кауфмана²)
11 (пон): Утром работал дома. — В 4 часа послышалась канонада. В 4 1/2 часа я вместе с господином Келлером перед боем у Озерных ворот — началась сильная перестрелка, я видел, как французы спускались с гор и поджигали свои бараки — что создавало жутковато-прекрасное зрелище. Французы отступали

* Мельничихи (ит.).

** Новостей (лат.).

до деревни Рекнитц, а русские и пруссаки стремительно их преследовали, пока внезапно наступившая темнота не положила конец бою —

Говорят, что император убит в великой битве под Лейпцигом.

- 12 (вт): Спокойный день. — Утром работал над гимном для академии пения Дрейсига. Вечером «Зеленый желудь»: — «Заболел — воспаление горла»
- 13 (ср): Дома полубольной — с 7^{1/2} часов утра до 6 часов вечера неслыханно сильная стрельба совсем близко от Плауена, приближаются основные силы русских. Канонада с шанцевых укреплений.
- 14 (четв): Спокойный день — одна колонна русских прошла мимо Дрездена по направлению к Мейсену (Это был корпус Бенигсена³)
- 15 (пятн): Ditto спокойный день — визит к арфистке фрейлен [Терезе] Винкель⁴ — ужасно скучал. — Вечером в «Зеленом желуде» настроение хорошее
- 16 (субб): Утром у Секонды, получил жалованье. Днем сильная стрельба поблизости — самые противоречивые сообщения о Лейпциге: очевидно, союзники разбиты и император уже в Тройенбрицене. Настроение скверное
- 17 (воск): Dies fatalis! * — Днем во время репетиции «Земиры и Авора» раздалась сильная канонада у самых ворот — я видел из слухового окна дома Бауманна, что русские совершенно разбиты и отеснены со своих позиций. Захвачены пленные
- 18 (пон): Утром репетиция «Волшебной флейты». — 6 захваченных пушек и 15 телег с порохом вместе с походной кузницей стояли на Новом рынке. Скверное настроение. — Вечером в «Зеленом желуде»; сообщение от 16 ложно; напротив, император отеснен от Дессау и снова в Лейпциге — битва, очевидно, продолжается, не затихая, и Лейпциг почти разрушен — quod deus bene vertat
- 19 (вт): Репетиция «Волшебной флейты» — dies ordina [rius]
- 20 (ср): Репетиция — спектакль «Волшебной флейты». — Огромная усталость и истощение
- 21 (четв): Распространяются темные слухи о битве под Лейпцигом. — Император будто бы проиграл генеральное сражение; поэтому настроение великолепное — Впрочем, dies ordin[arius]
- 22 (пятн): Император разбит и отступает к Эрфурту. — Саксонский король попал в плен —

Поэтому возымел надежду на более радостную жизнь в искустве и на то, что все горести окончатся.

(Неаполитанский король будто бы погиб⁵, Даву⁶ и вице-король Италии перешли на сторону союзников)

* Роковой день! (лат.).

- 23 (субб): Сообщение подтверждается — поэтому настроение особенно хорошее — с Келлером $\bar{\text{X}}$. Вечером удачный спектакль «Волшебной флейты»
- 24: Утром оставался дома в постели, после этого переписывал (воскр) «Поэта и композитора» —
Сообщения о *решающей победе* все время подтверждаются, впрочем, совершенное затишье. — Вечером удачный спектакль «Волшебной флейты»
- 25 (пон): Утром репетиция «Шкатулки с секретом»⁷ — настроение хорошее. — Днем у Иозефа. — Закончил «Поэта и композитора». Вечером в «Зеленом желуде» передал «Ундину» Лауну — настроение хорошее. Дальнейшее подтверждение сообщений *150 пушек*
- 26 (вт): Утром репетиция «Шкатулки с секретом» — настроение хорошее. — Днем работал. — Вечером в «Зеленом желуде» получил от Лауна «Ундину» со многими похвалами — состояние полного удовлетворения — впрочем все тихо.
- 27 (ср): Утром работал дома. — Днем у Иозефа. — Вечером *ditto* дома — *dies ordinarius* — читал бюллетень от 19 Рейнье⁸ — Лористон⁹ — Понятовский¹⁰ —
- 28 (четв): Утром репетиция «Деревенского цирюльника» и «Шкатулки с секретом». — Днем в кабачке — затем дома с Келлером — позже в «Зеленом желуде» — *dies ordin[arius]*
- 29 (пятн): Репетиция. — Днем. . . в кабачке Вечером в «Зеленом желуде». — Жители должны обеспечить себя сами продовольствием на 2 месяца или покинуть город — в высшей степени угрожающее положение и очень скверное настроение
- 30 (субб): Утром репетиция «Деревенского цирюльника»¹¹. — Вечером спектакль его же. — . . . настроение скверное. Русские со всех сторон блокировали Дрезден. — Все без исключения саксонские — вестфальские и баварские войска отстранены, и французы собираются прочно закрепиться — что-то из всего этого получится. (В первый раз захотелось уехать).
- 31: Репетиция «Водоноса». — Днем у «Иозефа» весьма приятно — (воскр) после этого скверное настроение из-за необычайно печальных и тревожных перспектив. — Многие жители покидают Дрезден — должно быть, ждут бомбардировки. Вечером удачный спектакль «Водоноса» — очень приятно у «Иозефа» с Келлером

НОЯБРЬ

- 1 (пон): Утром утомительная репетиция «Фаниски». — Днем за стаканом вина и с Келлером $\bar{\text{X}}$ самым ужасным образом — а отсюда возникшее неприятное состояние и болезнь

- 2 (вт): Весь день дома из-за болезни, а, впрочем, *dies ordinarius atque tristis*
- 3 (ср): Утром репетиция «Фаниски». — Днем дома начал рецензию на ораторию Бергта¹, получено радостное известие, что Дрезден передан посредством капитуляции, — сегодня солдаты в первый раз получили лошадиное мясо.
- 4 (четв): Репетиция «Фаниски» — из официального объявления стало известно, что ворота заперты, — французы перешли из укреплений в город — вчерашнее сообщение, к сожалению, ложно и, напротив, будут непрерывно приниматься самые серьезные меры для обороны города — нехватка хлеба и мяса — эпидемия — короче, бедствие со всех сторон — настроение мрачное. — Вечером представление «Волшебной флейты» — сдержанность и терпение — покорность судьбе — император, очевидно, снова был разбит у Эрфурта — я видел у «Иозефа» прусских офицеров, которые были в веселом настроении
- 5 (пятн): Сегодня были видны открытые приготовления к выступлению, — вечером многочисленные полки выходили через ворота — обоз пушек; можно надеяться, что они действительно уйдут прочь. — Поэтому настроение великолепное —
- 6 (субб): Французы хотели пробиться в Торгау и были *разбиты*, командовал граф Лобау² — все снова движется обратно. — Удачный спектакль «Фаниски»
- 7 (воскр): Утром дома. — Ничего не сделал. — Сильная стрельба — без успеха. — «Фаниска»
- 8 (пон): Утром репетиция «Шкатулки с секретом». Днем дома — удачно начал Atto II* «Ундины». — Вечером «Зеленый желудь» — *странные болезненные ощущения*
- 9 (вт): Утром репетиция — вечером спектакль «Земиры и Азора» — впрочем, все благополучно, и все заботы исчезли
- 10 (ср): Репетиция — Коррадини³ принес радостное известие о заключенной капитуляции, в силу которой Дрезден будет передан, — сообщение подтверждается со всех сторон — радостные надежды, прекрасное настроение — удачно сочинял
- 11 (четв): Утром и днем репетиция — сообщение подтверждается. — Днем видел одного австрийского и одного русского офицера в полной парадной форме — своеобразное великолепное ощущение — *да, это правда! Свобода!* Вечером в «Зеленом желуде» читал капитуляцию. Французы — *военнопленные*. — Прекраснейшее настроение — *удачно сочинял*
- 12 (пятн): Уже сегодня ушла первая колонна французов — после того как они *сдали* оружие — впрочем, репетиция. — Днем усердно сочинял. — Настроение приятное

* Второй акт (ит.).

- 13 (субб): Вторичный уход французов — настроение хорошее. — Спектакль «Шкатулки с секретом»
- 14: Видел третью колонну французов, которая ушла, — без ору-
(воскр) жия, с позором — «Шкатулка с секретом» — послал письмо в Лейпциг⁴...
- 15 (пон): До вечера оставался дома и с успехом сочинял. — Город переполнен австрийцами и французами. — Читал газеты
- 16 (вт): Снова дома — прилежно сочинял. — Вечером у меня Моргенрот — настроение хорошее — «День в столице»⁵
- 17 (ср): Репетиция «Дерева Дианы» — настроение прекрасное; прилежно сочинял — «Зеленый желудь» — Полный отход французов
- Dies
- 18 (четв): Письмо в Бамберг⁶ и Кенигсберг⁷
- ordinarii
- 19 (пятн): «Шкатулка с секретом»
- atque
- 20 (субб): in Politicis тишина
- miserabilis
- 21: Неудачный спектакль «Фаниски». — Поэтому неприятная
(воскр) сцена
- 22 (пон): Утром репетиция. — Днем у Секонды по поводу нашего бенефиса. Вечером «Зеленый желудь» — довольно хорошее настроение — Данциг должен быть по пути
- 23 (вт): Сообщение, что мы едем в Лейпциг. Посредственный спектакль «Мельничихи»
- 24 (ср): Утром и днем репетиция «Села в горах»⁸ в качестве бенефисного спектакля для труппы, необычайно трудный день — грустное настроение
- 25 (четв): Репетиция «Села в горах» — удачный спектакль — жалкая вырочка. — Прихварываю
- 26 (пятн): Болен и дома — однако удачно начал сказку «Золотой горшок»
- 27 (субб): dito дома — успешно работал над сказкой
- 28: Утром отправился к Иозефу — вечером спектакль «Села в горах» — настроение хорошее
- (воскр)
- 29 (пон): Репетиция «Дерева Дианы» — весьма приятное настроение. — Вечером работал над сказкой, затем в приятнейшем настроении в «Зеленом желуде»
- 30 (вт): Репетиция «Швейцарской семьи»⁹. — После этого с Келлером в кабачке — пошло не в прок — прихварываю. Вечером спектакль «Швейцарской семьи» удался за исключением фальшивого дуэта — поэтому в высшей степени раздраженное состояние — гнусная ночь —

ДЕКАБРЬ

- 1 (ср): Утром репетиция «Дерева Дианы». — Хорошее настроение. — Днем и вечером до 9^{1/2} часов усердно и с успехом работал над сказкой
- 2 (четв): dito в хорошем настроении работал над сказкой
- 3 (пятн): dies ordinarius. С успехом прошла «Выигранная карета»
- 4 (субб): dito
- 5 (воскр): Спектакль «Праздника сборщиков винограда» — весьма хорошее настроение
- 6 (пон): «Водонос»
- 7 (вт): «Фаниска» — удачный спектакль — настроение отвратительное, так как завтра еще надо играть (деньги от Секонды получил, хотя только 12 рт)
- 8 (ср): Утром репетиция «Разбойников с большой дороги». — Днем упаковывался к отъезду. Вечером очень удачный спектакль той же оперы
- 9 (четв): Утром отъезд в Лейпциг в очень удобной карете вместе с Нейманом¹, настроение безразличное
- 10 (пятн): В пути. — Вечером в 6 часов в Лейпциге нанял очень маленькую квартирку en Miniature* — в кафе Рейхардта настроение весьма приятное
- 11 (субб): Рано утром у Секонды — ослиная глупость последнего — впрочем, обошлось благополучно. — Получил от Гертеля 15 рт² — очень мрачное письмо от Моргенрота — из-за затрат, которые он должен сделать
- 12: Репетиция «Шкатулки с секретом». — Вечером удачный спектакль этой оперы —
- 13 (пон): Послал Моргенроту... фридрихсдорв³. — Переписывал сказку, в остальном dies ordinarius
- 14 (вт): Dies ordinarius — писал сказку
- 15 (ср): Утром репетиция «Праздника сборщиков винограда». — Вечером удачный спектакль — (идея некоей брошюры⁴)
- 16 (четв): Утром репетиция «Водоноса» и «Дерева Дианы». — Вечером — начал «Видение на поле битвы под Дрезденом» — у Келлера в приятном настроении
- 17 (пятн): Репетиция «Водоноса» — получил 13 рт жалования. Вечером хороший спектакль этой оперы. — В театре удачно закончил «Видение» (*К своей радости, начал вести какой-то размеренный образ жизни*)
- 18 (субб): Репетиция «Дерева Дианы» — После обеда работал

* В миниатюре (фр.).

- 19: Утром работал над *рецензией*⁵. Днем пребывал в мерзком, (воскр) тревожном настроении из-за оперы: «Швейцарская семья» без *репетиции* — после этого она прошла хорошо. — Вечером у Келлера выпил много русского пунша
- 20 (пон): Утром репетиция «Деревенского цирюльника» и «Дерева Дианы». Днем работал над *рецензией* на ораторию Бергта и закончил ее. Вечером *неудачный спектакль* «Деревенского цирюльника»
- 21 (вт): Утром репетиция квартета из «Дерева Дианы». — *Послал Гертелю рецензию* вместе с музыкальными сочинениями. — Получил *письмо от Кунца*, не содержащее ничего особенного
- 22 (ср): Полная репетиция «Дерева». — *Удавшийся спектакль* этой оперы — кроме этого ничего примечательного
- 23 (четв): *dies ordinarius*. — Репетиция хоров «Фаниски». — Вечером чрезвычайно утомительная репетиция «Фаниски». — Раздраженное, грустное настроение — у Рейхардта
- 24 (пятн): Репетиция «Фаниски». — Большое празднество в честь дня [рождения] *Александра*⁶. — Настроение приятное. Вечером *удачный спектакль* «Фаниски» — радость по поводу *преодоленных трудностей*. Иллюминация со смехотворными, по большей части, надписями
- 25 (субб): Дома. — *Работал* — писал рецензию на увертюры Эльснера⁷
- 26: Утром работал. — Вечером *спектакль «Дерева Дианы»*
(воскр)
- 27 (пон): Днем полная репетиция «Села в горах». Вечером *удачный спектакль* этой оперы
- 28 (вт): Визит к Гертелю — принес ему рецензию на увертюры — написал Кунцу по поводу брошюры и послал ему «Видение» вместе с первым письмом
- 29 (ср): Утром репетиция «Разбойников с большой дороги». — Вечером *удачный спектакль* этой оперы. У Рейхардта — в остальном *dies ordinarius*
- 30 (четв): Квартетная репетиция «Мельничихи» — Герштекер⁸ заболел, поэтому дали «Деревенского цирюльника»
- 31 (пятн): Утром визит к Рохлицу. Вечером переписывал набело сказку и снова нашел, что она удалась. — Поздно, до половины второго ночи, у Келлера пил пунш, однако без настоящего воодушевления — пока оставленных друзей ничто не заменяет — и с этой стороны никаких радостей не предвидится. — Пунш был достоин сожаления и общество ему под стать! — Адольф Вагнер⁹ — образованный человек — говорит на 1700 языках — но ничего не получается. —

И вот я прожил в высшей степени примечательный год! — Что принесет новый? Хочу надеяться — хорошее!

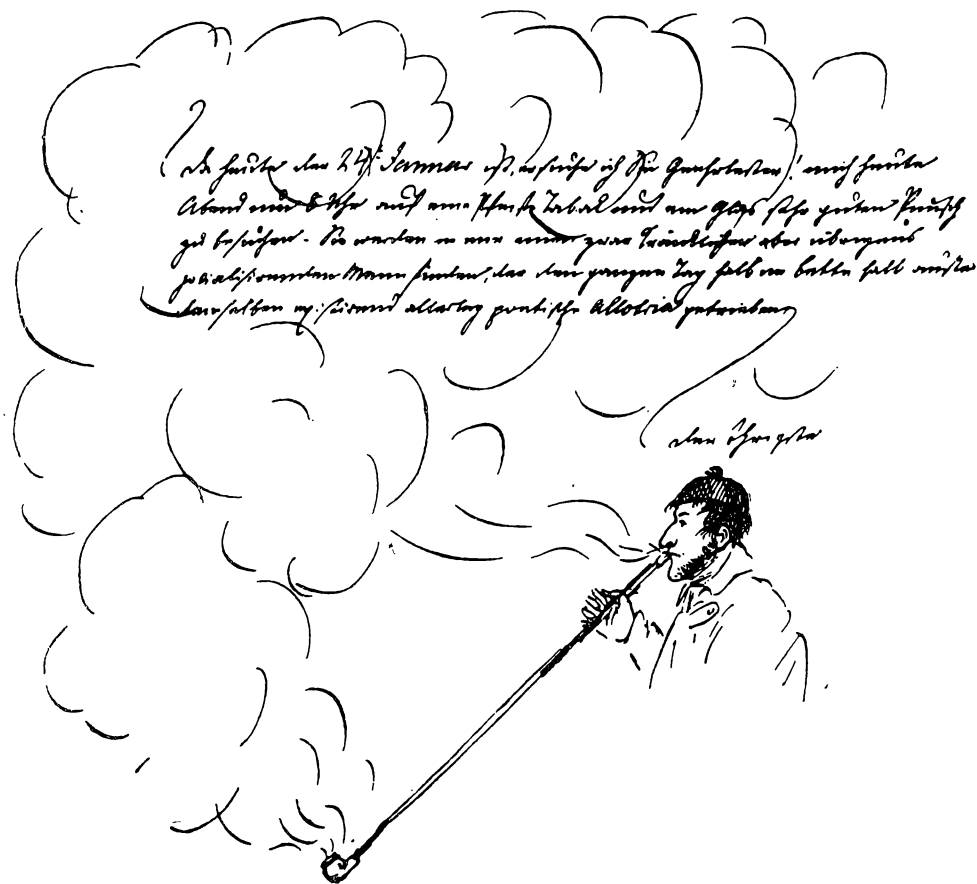
1814

ЯНВАРЬ

In nomine domini! *

- 1 (субб): Болен — скверно настроен — из-за вчерашнего вечера. Репетиция «Водоноса». — Вечером ужасный спектакль его же. Господин Нейман в роли Армана — *dies tristis*
- 2 (воскр): Дома. — Днем кофейня. — Вечером дома. — удачно начал «Письмо образованной обезьяны Мило» — «Письмо Мило» для «Музыкальной газеты»¹ — впрочем, настроение приятное — в театре «*День в столице*»
- 3 (пон): Утром репетиция «*Счастливчика*» — «Охота» — «Тайна» — «Письмо Мило» закончил и не без успеха — настроен весьма хорошо, но ип росо прихварываю
- 4 (вт): Утром репетиция «Тайны». — Начал «Автоматы» для «Музыкальной газеты»²
- 6 (четв): «Охота» — работал над «Автоматами» — огромное усердие!
- 7 (пятн): «Выигранная карета». До 12 часов ночи в прекрасном настроении трудился над «Автоматами» — *письмо от Шпейера*
- 8 (субб): Репетиция «*Virtuosi ambulanti*» — «Шкатулка с секретом» — Вечером в кофейне. — Работал мало — настроение хорошее — заплатил за квартиру 5 рт 12 г — получил 13 рт жалованья
- 9 (воскр): Репетиция «*Пумперникеля*» — спектакль — *dito* работал мало
- 10 (пон): Репетиция «*Vir[tuosii] amb[ulanti]*»³ — «Дерево Дианы» — работал
- 11 (вт): Репетиция «*Фаниски*» — удачный спектакль. Неприятное письмо от Кунца⁴. — Скверное настроение
Письмо от Кунца. Ежедневные спектакли меня очень тяготят — происходящее отсюда скверное состояние мешает моей высокой цели — уже 8 дней я сплю беспокойно и измучен пророческими снами, предвещающими ужасное несчастье, — впрочем, я довольно давно живу как некий анахорет — без общества, без друзей!
- 12 (ср): «Фаншон». Успешно работал над «Автоматами»
- 13 (четв): «*Швейцарская семья*» } *dies ordinarii* — однако работал над
- 14 (пятн): «Мельничиха» } «Автоматами»
- 15 (субб): Репетиция «*Virtuosi ambulanti*» Вечером закончил «Автоматы». Келлер у меня — пили грог — настроение хорошее. — Заплатил цирюльнику 10 г

* Во имя господал (лат.).



Письмо к актеру Келлеру от 24 января 1814 г.

- 16: «Праздник сборщиков винограда» — dies ordin[arius] — послал (воскр) «Автоматы» Рохлицу⁵
- 17 (пон): Репетиция «Virtuosi» — Рохлиц посылает «Автоматы» обратно для сокращения⁶. — Вечером у него — затем дома
- 18 (вт): Репетиция — Вечером читал — не работал совсем
- 19 (ср): Репетиция «Казачьего офицера»⁷ — «Автоматы» совершенно готовы — совершенно готово переложение
- 20 (четв): Репетиция, как обычно, — послал Рохлицу переложение
- 21 (пятн): Репетиция, как обычно, — «Село в горах» — dies ordin[arius]
- 22 (субб): Репетиция. — Днем в «Липе». — Вечером у Келлера. Не работал совсем

- 23: Рано утром у Секонды в «Hôtel de Bav[ière]» «Пумперникель»
(воскр)
- 24 (пон): С утра дома полубольной — затем написал 5-ую вигилию⁸
сказки. — Келлер у меня к пуншу. Приятный вечер — прият-
ный вечер дня рождения — наслаждался собственной славой
и тем, что возложил на самого себя
- 25 (вт): Утром репетиция. Вечером написал 6-ую вигилию — настроение
хорошее — получил от Рохлица Recensenda⁹
- 26 (ср):
- 27 (четв): В честь императрицы «Фаниска»¹⁰ — настроение неприят-
ное
- 28 (пятн):
- 29 (субб): Репетиция. — За стаканом вина — un poco exaltato... по-
лучил 14 рт жалованья
- 30: «Фаншон» — настроение скверное
- (воскр)
- 31 (пон): За стаканом вина — неприятное столкновение с Секондой —
ослиная глупость... — Кауэрин взяла вексель¹¹ — настроение
грустное — была исполнена «Камилла»¹² для улучшения [дел]
труппы. Получил 13 рт 6 г

ФЕВРАЛЬ

- 1 (вт): Репетиция... «Похищение» — dies ordin[arius]
- 2 (ср): — Вечером «Водонос» — весьма удачный спектакль — не рабо-
тал совсем — письмо в Кенигсберг по поводу 200 рт
- 3 (четв): Репетиция
- 4 (пятн): Репетиция — «Похищение из сераля» — удачный спектакль
- 5 (субб): Репетиция. Вечером писал сказку
- 6 (воскр): Утром за стаканом вина у Рейхардта — после этого расстро-
ился и заболел; скверный спектакль «Разбойников с большой
дороги»
- 7 (пон): Репетиция. — Перед обедом успешно закончил трудную вось-
мую вигилию сказки — настроение хорошее
- 8 (вт): Репетиция. Перед обедом и вечером удачно трудился над
10 вигилией. Поздно у Рейхардта. — Заплатил за квартиру и
за прислуживание 6 рт 12 г
- 9 (ср): Репетиция «Волшебной флейты». — Вечером плохой спектакль,
однако только в театре приятное настроение
- 10 (четв): Репетиция «Virtuosi ambulanti» — Вечером у Рохлица порядочно
скучал — не работал совсем
- 11 (пятн): Спектакль «Virtuosi ambulanti»
- 12 (субб): Репетиция — dies ordinarius
- 13: Утром у Рейхардта ∇. — Вечером «Virtuosi am[bulanti]»
(воскр)

- 14 (пон): Усердно трудился
 15 (вт): За пуншем счастливое завершение сказки — закончил сказку «Золотой горшок» — и закончил удачно, с полной приятностью за стаканом пунша, который приготовила мне жена —
- 16 (ср): «Сарджино»
 17 (четв): } dies
 18 (пятн): «Похищение из сераля» } ordinarii
 19 (субб): Репетиция... — Днем «Камилла»
 20 (воскр): Спектакль «Сарджино» — dies ordin[arius]
- 21 (пон): Репетиция до и после обеда. dies ordin[arius]
 22 (вт): Репетиция утром и днем. — Письмо из К[енигсберга]. — Настроение хорошее. — Совершенно неожиданное письмо из Кенигсберга со 189 рт — и мне предложено место музыкального директора в Кенигсберге, которое я, однако, решил не принимать¹.
- 23—26: В высшей степени тягостное, неприятное, отвратительное время. Перед обедом и после обеда репетиции «Камиллы» — 25. Ссора с Секондой²
- 26 (субб): *Извещеие об отказе от места!! Сегодня Секонда отказал мне от места — ошеломлен — я должен был вечером присутствовать на репетиции с неописуемым чувством — вся моя карьера меняется во второй раз!! Мужество покинуло меня — После скверной ночи репетиция «Скупца Иеронима»*
- 27: (воскр)
 28 (пон): Хороший спектакль «Камиллы» — в высшей степени приятная записка от Рохлица по поводу «Miserere» — совершенно приободрился

МАРТ

- 1 (вт): Спокойный день — настроение хорошее
 2 (ср): Утром раздражающая репетиция. — Днем совсем расхворался. Ломота в костях — боль в груди — лег в постель — доктор Клуге¹
- 3 (четв): Болен, в постели, сильные боли
 4 (пятн): Наконец совсем переписал сказку и дописал письмо Кунцу. — Очень хорошее настроение, невзирая на боль — совершенно проникся мужеством в отношении будущего — идея книги «Эликсиры сатаны»²
- 5 (субб): Отослал сказку — сделал рисунок для Баумгертнера. Начал «Эликсиры сатаны»
- 6 (воскр): Работал над «рисунком». — Вечером «Эликсиры сатаны»
 7 (пон): Dito совершенно закончил — Баумг[ертнеру]³ — Мальману по поводу «Элег[антной] г[азеты]»⁴

- 8 (вт): Дома. — Работал — Рохлиц у меня⁵ — послал Баумгертнеру рисунок
- 9 (ср): Dito — Баумгертнер взял рисунок за 4 рт
- 10 (четв): В первый раз *вышел* — встретил Секонду и снова очень разъярился. — Для меня теперь в высшей степени желательно, чтобы эти мерзкие отношения, которые уносят весь покой и все вдохновение, были прекращены —
- 11 (пятн): Целый день оставался дома, работал
- 12 (субб): Утром работал — Рейхардт — получил 14 рт жалования
- 13: Дома рисовал. «Эликс[иры] с[атаны]».
- (воскр)
- 14 (пон): Утром рисовал карикатуру⁶. — Вечером Рохлиц — я все больше привыкаю к мысли о моей катастрофе с Секондой; но известное беспокойство духа, которое меня очень мучает, не покидает меня и очень затрудняет мою поэтическую работу. — Как еще это все будет! — Временами меня покидает мужество, и я отчаиваюсь в самом себе
- 15 (вт): Рисовал карикатуру — кроме этого ничего не делал
- 16 (ср): Отослал карикатуру — кроме этого ничего не делал — у Вагнера. Вечером расхворался и лег в постель — однако настроение хорошее. *Записка от Рохлица*, в которой он предлагает мне много заказов для «Музык[альной] г[азеты]»⁷. Записка от адвоката Мюллера⁸, согласно которой я буду сотрудником «Элег[антной] газеты»
- 17 (четв): Работал — в остальном *dies ordin[arius]*. — *Письмо от Кунца* с радостными известиями⁹
- 18 (пятн): Рецензия на сонату Рейхардта¹⁰ — «Эликсиры сатаны», получил гонорар от Баумг[ертнера] — очень обрадовался



Шутливый автопортрет во время болезни. 1814 г.

- 19—27: На этой неделе нарисовал карикатуру «The ehequies of the universal Monarchy» *¹¹ и продал Иоахиму за 5 рт. — Более близко познакомился с Адольфом Вагнером. — Как обычно, меняющееся настроение
- 26: Написал Кунцу и послал ему изображение Карла Великого¹²
(воскр)
- 28—31: dito — ничего примечательного

АПРЕЛЬ

- 1 (пятн): Dies ordin[arius]
- 2 (субб): Записка от Секонды — я должен отправиться в Дрезден — сразу же ответил¹
- 3 (воскр): Отправился гулять с Вагнером, после чего он у меня на чашку чая — настроение хорошее
- 4 (пон): Утром закончил 1-ю часть «Эликс[иров]». — Днем прогулка. — Вечером вдохновился на сочинение «Ундины»
- 5 (вт): Работал
- 6 (ср): Работал
- 7 (четв): Работал над «Эликс[ирами]». — «Ундина» — получил письмо от Шпейера
- 8 (пятн): Утром «Эликс[иры]». Днем прогулка с Вагнером —
- 9 (субб): Сообщение о взятии Парижа² — пылкая радость
- 10 (пасх. воскр):
- 11 (пасх. пон):
- 12 (пасх. вт):
- 13 (ср): Письмо из Кенигсберга от 4 апреля
- 14 (четв): Рисовал карикатуру —
- 15 (пятн): Утром расхворался и целый день ничего не делал — послал карикатуру Баумг[ертнеру]
- 16 (субб): Письмо в Кенигсберг
- 17—23: Завершил первую часть «Эликсиров сатаны»
- 24—30: Все дни без передышки переписывал «Эликсир сатаны»

МАЙ

- 1—5: Наконец закончил трудоемкую переписку
- 6 (пятн): Неприятная записка от Рохлица, который отказывает мне для издательства к...¹

* Похороны всемирной монархии (англ.).

- 7 (субб): Из Кенигсберга 100 рт, от Мальмана гонорар 15 рт 15 г.²
 Великая радость
 8 (воскр): Днем с Вагнером у Кунце³. Начал «Бландину»⁴. — Известия от Кунца через Вагнера
 9—19: Удачно и с воодушевлением работал
 18 (ср): Знакомство с Бурмейстером⁵
 19 (четв): Успешно закончил первый акт «Бландины»
 20 (пятн): Начал «Окружного егеря»⁶
 21 (субб): Работал
 22: Целый день ленился и не работал
 (воскр)
 23—31: Успешно работал над «Окружным егерем» и «Бландиной»

ИЮНЬ

- 1 (ср): Закончил «Окружного егеря»
 4 (субб): Написал Краловскому¹ и Келлеру
 8 (ср): Письмо Хитцигу с приложением «Эликсиров сатаны»²
 11 (субб): Письмо Котте³ и в Кенигсберг
 12—18: «Ундины» — «Музык[альная] г[азета]»
 15 (ср): Послал Рохлицу статью для «М[узыкальной] г[азеты]»⁴
 17 (пятн): Завершил большую сцену 2-го акта «Ундины»
 18 (субб): Письмо в Кенигсберг
 19—30: Успешно сочинял «Ундины»
 25 (субб): Письмо от Хитцига с успокоительными известиями⁵
 29 (ср): Письмо от Хитцига
 30 (четв): Закончил II акт «Ундины»

ИЮЛЬ

- 1—5: Работал над статьей о церковной музыке¹
 6/7: Два памятных дня! — 6-го абсолютно неожиданно появился в Лейпциге Гиппель — совершенный старик! — обещал мне мгновенно место в Берлине² — подарил золотые часы с репетиром etc etc —
 11 (пон): 20 рт от Гертеля³
 12 (вт): Получил 160 рт из Кенигсберга

АВГУСТ

- 5 (пятн): Полностью закончил сочинение «Ундины».
 8—10: Сочинял «Битву под Лейпцигом» по заказу Баумгертнера под именем Арнульфа Фолльвейлера¹
 11—16: Dies tristis

- 17 (ср): Письмо в Кенигсберг
 19 (пятн): Получил письмо от Гиппеля — надежда на место по юридической части²
 20 (субб): Письмо Гиппелю, Кирхейзену-Дидериксу³
 28—31: *Dies tristes* — бездеятельность — возникшая из необычайных снов. Внутренний поэт созидает и парит над *Criticus* * и над внешним художником — романтическое настроение в отношении Кетхен, которое пробудилось, будет живо во мне и утверждает свое старое право сводить меня с ума с помощью *Fantasmatis* **. — Так завершился месяц

СЕНТЯБРЬ

- 2 (пятн): Официальное письмо великого канцлера, в котором он просит разъяснений, хотел бы я быть советником или только секретарем¹
 3 (субб): Послал Рохлицу рецензию на песни Рима²
 4 (воскр): Кутил
 5 (пон): Письмо Кирхейзену — Дидериксу³ — в Кенигсберг
 10 (субб): Письмо из Кенигсберга без ассиг[новки], несмотря на то, что они должны были приложить ее, — сейчас же написал
 11 и 12: *Dies tristes*
 13 (вт): Письмо из Кенигсберга с приложением векселя на 231 рт
 14 (ср): Получил оплаченный вексель — суматошный день. Вечером Вагнер у меня. Знакомство с Апелем⁴, и я был неприятным образом разочарован, в то время как он заблуждался в порыве благородной деловитости

14-го получил 231 рт 15 г

14 на расход	15 рт
15 — жене на платье	20 рт
16 " "	5 рт
17 " "	5 рт
20 " "	7—2

- 24 (субб): Уехал из Лейпцига
 26 (пон): Прибыл в Берлин — остановился у Матье⁵.
 27—30: Хитциг — познакомился с Фуке. Певицы Маркузе⁶ — весел и дела хороши

ОКТЯБРЬ

- 3 (пон): Получил оплаченный вексель на 100 рт
 4 (вт): Нанял квартиру на Французской улице

* Критиком (лат.).

** Порождения фантазии (лат.).

1815

ЯНВАРЬ

Quod beus bene vertat!

- 1 (воскр): Утром болен — ... Целый день дома — работал над рассказом.
- 2 (пон): Прощальный пир у художника Вейта¹ с Хитцигом — Шамиссо² рр Эйхгорн³ и т. д. Успешно...
- 4 (ср): Получил 300 рт из Кенигсберга
- 5 (четв): Утром сессия. — Вечером у Пуппа — очень неудачно провел время или, вернее, скучал
- 6 (пятн): Утром и днем рассказ для «Калло» рр. Успешно закончил «Приключения в новогоднюю ночь»⁴. Затем в «Мандерлее»
- 7 (субб): Утром переписывал рассказ. — Днем dito затем у Леви⁵ — было весело — потом в «Мандерлее» с Хитцигом — Шамиссо и Отцель⁶ — *con exaltatione*
- 8 (воскр): Целый день переписывал рассказ. — Поздно вечером в «Мандерлее»
- 9 (пон): Вечером с Крамером у Годта⁷ — не слишком весело — настроение безразличное
- 10 (вт): Писал сказку — потом в «Мандерлее» — серенький день
- 11 (ср): Вернул 50 рт Хитцигу — катался с ним и Отцелем, потом у Пуппа ~~х~~. Днем спал. Вечером снова познакомился с Зелигманом — *id est* * юным Пуппом⁸
- 12 (четв): Цирюльнику 1 рт 8 г. Соугант ** оплатил — сессия — Вечером дома — в «Мандерлее»
- 13 (пятн): Вечером Шамиссо, Хитциг и Контесса⁹ у меня. — Читал рассказ — замысел романа *en quatre* ***¹⁰ — настроение весьма хорошее — «Мандерлее»
- 14 (субб): Послал Шпейеру письмо для Кунца с приложением рассказа¹¹ — у Пуппа. — Вечером «Мандерлее» — Письмо Кунцу
- 15 (воскр): Утром о женой у Шонерта, затем у Пуппа. — Днем «Дикая яблоня». — Вечером «Мандерлее»
- 16 (пон): Утром сессия. — Днем «Дикая яблоня», затем у Гропиуса¹² — после этого в «Мандерлее» — Хитциг, очень приятное настроение. Идея рассказа для «Урании» — «Ферматы» стала совершенно ясной¹³
- (Неприятность из-за Вармута¹⁴...) — получил рескрипт¹⁵
- 17 (вт): Ночью заболел: понос и катар горла — поэтому целый день ничего не мог делать. Приятное письмо от редакции «Муз[ы-

* То есть (лат.).

** Звонкой монетой (фр.).

*** Вчетвером (фр.).

кальной] г[азеты]». — Последняя статья о Ромберге и «Кортеце» опубликована ¹⁶.

- 18 (ср): Утром прихварывал — работал. Днем и вечером рассказ: начал «Фермату», настроение весьма приятное.

Письмо от Гертеля из Лейпцига ¹⁷

- 19 (четв): Утром сессия. — Вечером у Пуппа — с Хитцигом, после этого в «Мандерлее» — безразличие
- 20 (пятн): У Иордана ¹⁸, Вильгельмсплатц № 2. Вечером на музыкальном чаепитии — Фишер ¹⁹ — мад[ам] Вернье ²⁰, у меня так приятно поднялось настроение —
- 21 (субб): Утром работал — затем больной в постели. — Вечером у Леви с Шамиссо, Хитцигом, Отцелем — министры Гумбольдт ²¹ — Уден ²² — смертельно скучал, затем у Шонерта.
- 22: Работал над докладом об уголовном деле Ульбриха утром и (воскр) днем. — Поздно вечером в «Мандерлее»
- 23 (пон): Утром сессия. — Днем с Хитцигом, Отцелем и Шамиссо у Матье — потом в «Звезде» ждал Фуке, который не пришел — поэтому плохое настроение —
- 24 (вт): Утром у Фуке — познакомился с баронессой ²³ — в скверном настроении. — Днем пообедал в немецком обществе фон Белица — невероятно скучал — болен. — Вечером *веселый день рождения*: Хитциг, Оцель, Шамиссо у меня
- 25 (ср): Целый день дома — работал
- 26 (четв): Оставался дома. — В 3 часа отправился к Дитриху. — Встретил Фуке, Шамиссо — Хитциг. Вечером у Пуппа — с Францем Горном ²⁴
- 27 (четв): У Дитриха в ресторане обедал с Фуке, Шамиссо, Хитцигом и Контессой. — Приятное настроение. Вечером в «Мандерлее» — ужасно скучал
- 28 (пятн): Дома — закончил доклад. — Вечером с Хитцигом у Пуппа. — Короткая ... — потом у Шонерта — «Мандерлее»
- 29: Утром работал — Шамиссо у меня. — Днем *ditto* — Вечером (воскр) Шамиссо у меня в очень приятном настроении до 11 часов — совершенно восхитительные *Exhortatoria* * — план книги карикатур. *Первый попавшийся* — кто больше даст — *Мысль о первом попавшемся*
- 30 (пон): Утром сессия. — Днем жена Фуке, которая чтением плохого романа заставила меня невероятно скучать и прийти в плохое настроение ²⁵. — В омерзительном настроении отправился в «Мандерлее», развеселился
- 31 (вт): Целый день бездельничал — наконец вечером несколько собрался с духом и работал над рассказом для «Урании»

* Замыслы (лат.).

ФЕВРАЛЬ

- 1 (ср): Утром письмо от Дидерикса и Штегемана¹. После обеда работал. — Вечером легко и удачно писал рассказ для «Урании». В 9¹/₄ часов первый пришел в «Мандерлее» — после работал еще
«Высказывания Крейсlera»² — форма — получил письмо от Кунца с «Окружным егерем»³
- 2 (четв): Утром сессия. Днем у Шеде⁴ вместе с Хитцигом, Фуке, Шамиссо, Вольфартом — я не слишком в восторге. Вечером Шамиссо у меня — un poco exaltato
- 3 (пятн): Утром у Пуппа с Фуке. Рассказ для «Урании» «Фермата» закончил. Поздно вечером в «Мандерлее»
- 4 (субб): Послал через Шульца⁵ письмо Штегеманну. Вечером у Хитцига с Фуке, Шамиссо, Контессой и Эйхендорфом⁶
- 5 (воскр): Утром работал. Днем обедал у Дитриха с Фуке, Шамиссо, Хитцигом, полковником и майором фон Пфуль⁷ и Контессой — очень приятно провели время — затем на скачках. — Дома — «Мандерлее» — притворщик
- 6 (пон): Сессия — работал — головная боль, раздражен. — Вечером в «Мандерлее»
(Рескрипт от 21 декабря: 1809)
Замысел взять судьбу Делла Марии в качестве сюжета для новеллы⁸
- 7 (вт): Утром Juridica*. — Днем переписал начисто новеллу «Фермата», после чего в «Мандерлее»
- 8 (ср): Утром Juridica. — Днем у Кемпфера пришел в невероятное раздражение из-за плохой музыки — в самом скверном настроении — домой — после этого в «Мандерлее»
- 9 (четв): Утром сессия. — Днем дома. Вечером в «Мандерлее»
- 10 (пятн): Дома — К вечеру Хитциг у меня
- 11 (субб): Днем на обеде у господина фон Герр⁹. — Вечером Шамиссо и Контесса у меня —
- 12: Целый день работал дома. — Вечером Шамиссо у меня.
(воскр)
- 13 (пон): Днем у Дитриха обедал с Фуке и Шамиссо — затем у Контессы — радужные надежды. — Рассказ «Фермата» передал для «Дамской карманной книги».
- 14 (вт): Утром у Пуппа. — Днем дома. — Рассказ — «Артусов двор»
- 15 (ср): Утром в судебной палате — у Хитцига. Днем у Кемпфера — потом у Волланка¹⁰, наконец в «Мандерлее»
- 16 (четв): Вечером с Хитцигом и Шамиссо у Контессы, не особенно развлекались — «Абрагам Тунелли»¹¹

* Юридические занятия (лат.).

*Nachgesang
aus der Opereta bei Manderlees?*

Erster Chor

Zweiter Chor

Abgesungen *Glänzelang* *Des Künstlers* *gen Strauch*

Strauchel am den Reim f. Manderlees hinführt *Manderlees hinführt glänzelang* *des Künstlers gen Strauch*

Manderlees *Manderlees* *Manderlees*

*Herrn Kapellmeisters Spoths um
gütigen Andenken erweisen mit
Respekt* *E. S. Hoffmann*
D. 14. Novbr 1819

Запись в альбоме Луи Шпора 14 ноября 1819 г. Автограф Гофмана

- 17 (пятн): Работал. — Вечером удачно начал рассказ: «Артусов двор». — Поздно в «Мандерлее»
- 18 (субб): Утром работал in officio*. — Днем с женой у Кемпфера — затем писал рассказ. — Вечером в «Мандерлее»
- 19: Утром работал — Хитциг у меня — затем у Кемпфера — настроен на фантастический лад ил росо X спал — еще поздно нужно работать, что будет тяжело
- 20 (пон): Утром сессия. — Вечером в «Мандерлее». Сообщение из Неннауза — Фуке прислал мне письмо к Брюлю по поводу «Ундины»¹², и дело гораздо быстрее движется вперед
- 21 (вт): Весь день трудился над перепиской текста «Ундины»¹³. — Вечером в «Мандерлее»

* В присутствии (лат.).

- 22 (ср): Работал — в судебной палате — у Пуппа. — Вечером у Тодта — хорошо развлекся. Амброш¹⁴ — Шмидт¹⁵ — военная советница Витте
- 23 (четв): Сессия — закончил переписывать «Ундину». Вечером у Крамера — до 1 ночи
- 24 (пятн): Письмо Брюлю¹⁶. — После обеда отослал Брюлю письмо с приложением письма Фукке

Брюль — «Ундина»

- 25 (субб): Работал. — Вечером Шамиссо у меня.

Письмо от Кунца и Ветцеля¹⁷

- 26: Очень усердно трудился — Kreislerianum совершенно закончил. «Мандерлее»
(воскр)
- 27 (пон): Утром сессия. — Днем. — Вечером у Пуппа. «Мандерлее»
- 28 (вт): Утром письмо с рукописью Кунцу¹⁸ — к Фукке — с рассказом¹⁹

МАРТ

- 1 (ср): Утром работал Juridica. Днем у Кемпфера — надворный советник Гейн¹. — Вечером Хитциг и Шамиссо у меня
- 2 (четв): Сессия —
- 3 (пятн): Усердно работал над «Артусовым двором»²

ПРИЛОЖЕНИЯ



ИГОРЬ БЭЛЗА

КАПЕЛЬМЕЙСТЕР ИОГАННЕС КРЕЙСЛЕР

Я не питаю дерзостных надежд,
Я ничего не требую, но видеть
Вас должен я, когда уже на жизнь
Я осужден.

Пушк и н. «Каменный гость».

1

Тяжкой и трудной была жизнь, на которую был осужден Эрнст Теодор Амадей Гофман, самый пленительный из всех немецких романтиков — прославленный писатель, непризнанный композитор, талантливый певец и дирижер, театральный художник, декоратор, график и опытный юрист, поднявшийся довольно высоко по ступеням сложной прусской иерархической лестницы. Он никогда не был «любителем искусства», не был дилетантом ни в одной из областей, к которым он обращался, но, судя по всему, чувствовал себя прежде всего музыкантом, и образы музыки и музыкантов пронизывают его литературное творчество, столь причудливое и своеобразное. И, если в ранний период развития романтической литературы властителем дум был Новалис, герой которого, рыцарь Генрих фон Офтердинген, скитался в поисках «голубого цветка», ставшего как бы символом романтизма, то Гейне все же считал, что Фридрих фон Гарденберг, писавший под псевдонимом Новалис, «со своими идеальными образами постоянно витает в голубом тумане, тогда как Гофман со своими причудливыми карикатурами всегда и неизменно держится земной реальности»¹.

Эти слова автора «Двойника», казалось бы, не вяжутся с широко распространенным и, кстати сказать, глубоко ошибочным представлением о Гофмане как авторе фантастических, а то и мистических произведений, влияние которых по традиции определяется словом «гофманиада». В действительности же как Гофман, так и Гейне неустанно создавали произведения, обличавшие окружающую их косность и социальную несправедливость. Но у обоих мастеров эта тематика сочеталась с лирической романтичностью, источником которой у Гофмана обычно была музыка, властно вторгаясь в его жизнь еще в юные годы.

К «искусству дивному» Гофман начал прибегать еще в Кенигсберге, где он родился и провел первые двадцать лет своей жизни. Немец по происхождению, Гофман насчитывал среди своих предков многих поляков и нескольких венгров. Почти все они, включая его отца, были юристами, и

¹ *Генрих Гейне. Собрание сочинений в десяти томах, т. 6. М., 1958, стр. 219.*

эта наследственная традиция обусловила поступление юноши на юридический факультет Кенигсбергского университета (1792—1795), хотя он уже до этого высказывал желание стать композитором. Он сам описывает, какое сильное впечатление производило на него пение сестры его матери, в какое возбужденное состояние он приходил, слушая это пение. Уже в 12 лет Гофман свободно импровизировал на клавире и органе, играл на скрипке и гамбе, пел, изучал теорию музыки, в частности гармонию, имевшуюся тогда генерал-басом.

Учителем его был соборный органист и композитор Христиан Подбельский, один из самых выдающихся представителей династии польских музыкантов, жизнь и творчество которых, как, впрочем, и многих других западнославянских мастеров того времени, пока еще очень плохо изучены. Известно, что Христиан Подбельский послужил Гофману прототипом для Мастера Абрагама Лискова. И, как бы фантастичен ни был этот образ столь заботливого опекуна прославленного кота Мурра, нельзя не почувствовать, каким обаянием наделил его Гофман, пересоздавая историю своей любви к Юльхен Марк, становящейся, впрочем, на последних страницах недописанной книги невестой не преуспевающего коммерсанта, а (тоже по настоянию матери, как в Бамберге!) слабоумного титулованного выродка.

Но Гофман вряд ли придумал все черты облика Мастера, руки которого так прочно держат все нити невероятно сложного и запутанного сюжета. Конечно, искренняя любовь к учителю согревает все страницы книги, на которых появляется этот мудрый друг Крейсlera и Мурра. Но, вместе с тем, человек, благодаря умению и опыту которого так дивно зазвучал старый орган бенедиктинского монастыря, приютившего Крейсlera, окружен атмосферой таинственности, заставляющей вспомнить годы юности Гофмана. Несомненно, славой и гордостью Кенигсбергского университета был в те годы Иммануил Кант, имя которого привлекало в город многих молодых, да, собственно, и не только молодых, людей. Однако, несмотря на стройность и убедительность кантовских концепций, туманные высказывания «Северного мага», как прозвали жившего в Кенигсберге Иоганна Георга Гамана (Hamann, 1730—1788), обладали какой-то странной притягательной силой. Высказывания эти были лишены какой бы то ни было систематичности или хотя бы отчетливости. Наиболее важным, судя по отдельным книжкам (скорее, брошюрам) Гамана, ему представлялось развитие человеческих чувств, дающее возможность обостренного восприятия благороднейших переживаний человека, связанных с любовью, дружбой, преданностью, созерцанием природы и погружением в мир образов искусства, в особенности музыки.

Напомним, что то были годы возрождения интереса к трудам Генриха Корнелия Агриппы Неттесгеймского (во второй половине XVIII века они переводились и на русский язык), который, как известно, послужил прообразом гетевского Фауста (именно поэтому названного Генрихом, а не Иоганном, как того требовала традиция). В трактате «О тайной

философии» Агриппа подчеркивает (приводя, в частности, миф об Арионе, столь блистательно преображенный Пушкиным) древность верований в чудесную силу музыки. Заметим попутно, что у нас нет никаких данных, позволяющих утверждать, что соборный органист Кенигсберга умел делать такие чудесные автоматы, которые поразили воображение не только старого князя, но и самого Мурра. Однако Агриппа, вне всякого сомнения, умел делать их, да еще и обладал незаурядными педагогическими способностями, ибо тогда, когда птички, изготовленные по его указаниям императором Карлом Пятым, начали петь, чирикать и перелетать с одного дерева на другое, святая инквизиция, пораженная всем этим не менее, чем кот Мурр, сочла за благо завести досье на самого императора.

Итак, тема автоматов в «Песочном человеке» могла появиться из такого же далекого прошлого, как герой «Фауста» и вера в магическую силу музыки, свято хранившаяся Гофманом до конца его недолгой жизни. Нелишне заметить попутно, что рассуждениями «Северного мага» увлекался и другой учитель Гофмана, кстати сказать, тоже поляк по происхождению, Стефан Ванновский — ректор городской лютеранской школы, в которую Гофман поступил в 1781 (или 1782) году. В старших классах школы Ванновский преподавал закон божий и историю философии. Канта, разумеется, он изучал, даже встречался с ним лично, но, как отмечают биографы его прославленного ученика, читал и Гамана. А Гофман к Канту оставался равнодушным.

И нужно еще сказать, что как в школе, так и в университете Гофман работал с поистине лихорадочной напряженностью. Не то, чтобы он старался выделиться среди своих соучеников, — нет, Гофман просто добросовестно выполнял то, что от него требовалось, а поэтому благополучно прошел 27 марта 1800 г. «испытание огнем» (die Feuerprobe, как он сам выразился), т. е. сдал «большой экзамен», необходимый для получения ассессорского чина и получения соответствующей должности². Но, вместе с тем, Гофман овладевал серьезными познаниями и навыками, необходимыми для воплощения в художественных образах того сложного мира, который создавался у него путем сочетания остро и своеобразно воспринимаемой действительности и ее преломления в его необычайно чуткой психике и сильном интеллекте.

Творческий процесс уже с юных лет отличался у Гофмана сложностью, и в этом отношении наиболее показательна, видимо, фраза, содержащаяся в его письме от 28 февраля 1804 г. к школьному товарищу, к «единственному другу» («mein einziger Freund») Теодору Гиппелю, сыну кенигсбергского пастора и племяннику известного тогда писателя Теодора Готлиба Гиппеля. В этой фразе говорится об избытке ощущений, из хаоса которых должны выкристаллизоваться художественные образы

² Предыдущий государственный экзамен, давший Гофману чин референдаря, был сдан летом 1798 г.

(«ein Kunst-Produkt»), «будь то книга, опера или картина — quod diis placebit»³.

Заметим попутно, что судьба эпистолярного наследия Гофмана обусловила многие пробелы в его творческой биографии. Так, из письма Гиппеля другу и биографу Гофмана Юлиусу Эдуарду Хитцигу (16 ноября 1822 г.) явствует, что в 1794—1806 гг. Гофман послал Гиппелю «приблизительно 150 писем». Из них мы знаем лишь 49 (не считая 21 письма, относящегося к более позднему времени), да и то почти исключительно в сокращенных копиях, снятых для биографии Гофмана, над которой работал Хитциг⁴, не отдававший себе, видимо, отчета в ценности автографов скончавшегося мастера. Достоверно известно (из дневниковых и других записей), что в 1809 г. Гофман послал не менее 87 существенно важных писем. Из них дошло до нас 19. Сотни писем Гофмана и адресованных ему деловых и дружеских писем были сожжены как ненужная макулатура.

Музыкальные произведения Гофмана дошли до нас далеко не в таком количестве, которое позволило бы создать отчетливое представление о Гофмане как о композиторе. Кроме того, авторы работ, посвященных разносторонней музыкальной деятельности Гофмана, как правило, недооценивают годы пребывания его в Варшаве, ознаменовавшиеся чрезвычайно важными событиями, о которых речь пойдет дальше. Так или иначе, в высшей степени важно подчеркнуть, что перед тем, как появились первенцы литературного творчества Гофмана, он имел огромные, разносторонние навыки в области музыкального творчества и исполнительского искусства (еще будучи школьником, он хорошо играл на скрипке) и его профессионализм в этой области совершенно неоспорим. Но, даже добившись блистательных успехов и выдвинувшись в первые ряды немецких писателей, Гофман не переставал быть музыкантом. И, так как музыка все глубже и глубже проникала в его литературное творчество, придавая ему тем самым неповторимое обаяние, целесообразно проследить этапы развития Гофмана как музыканта, тем более что, вне всякого сомнения, никто до него не раскрывал с такой глубиной и силой образы музыки и музыкантов в художественной литературе Запада.

2

Судя по всему, под руководством Подбельского юный Гофман делал быстрые успехи. Уже осенью 1795 года он задумывает зингшпиль «Claudine von Villa Bella» на слова Гете, но, видимо, даже не приступив к работе над ним, с увлечением пишет вокально-оркестровый мотет на

³ Т. е., дословно, «что богам будет угодно». E. T. A. Hoffmanns Briefwechsel. Herausgegeben von Friedrich Schnapp. Bd. I. München, 1967, S. 183.

⁴ *Eduard Hitzig*. Aus Hoffmanns Leben und Nachlass, herausgegeben von dem Verfasser des Leben-Abrisses Ludwigs Zacharias Werners. Berlin, 1823.

текст, взятый из «Фауста», и доводит его до заключительной фуги, много размышляя — подчеркнем это — над тембральной окраской звучания. Жанр мотета требует вместе с тем, не только мелодической изобретательности и гармонического чутья, но и контрапунктической техники, т. е. умения развивать многоголосную музыкальную ткань, сохраняя самостоятельность каждого голоса.

Дошедшие до нас произведения Гофмана доказывают, что он уже в относительно юные годы вполне овладел композиторской техникой, позволившей ему обратиться к большим музыкально-сценическим формам и крупным инструментальным ансамблям.

Как правило, либретто для своих опер Гофман писал сам. Первой из них, которая была типичным для того времени немецким зингспиелем, — оказалась трехактная «Маска», созданная в 1799 г. в Берлине. Она никогда не исполнялась, несмотря на обращение композитора к королеве Луизе и длительные переговоры с дирекцией берлинского театра. Тщательно переписанная и даже украшенная виньетками, партитура «Маски» долгое время считалась утерянной. В 1923 году либретто и несколько отрывков из этого зингспиля опубликовал в Берлине Фридрих Шнапп, один из крупнейших исследователей жизни, творчества и эпистолярного наследия Гофмана. Местонахождение автографа нам неизвестно, а снятая для королевы иллюминированная копия партитуры в настоящее время находится в Государственной библиотеке в Берлине на улице Унтер ден Линден, которую так любил Гофман.

Перед тем, как провести годы 1798—1800 в Берлине, Гофман получил назначение в небольшой польский город Глогув (переименованный прусской администрацией в Глогау), где он добросовестно выполнял свои обязанности как юрист, но томился из-за отсутствия театра и концертного зала. Из Берлина Гофман был послан в Познань, где его ожидало повышение по службе. В Познани был театр — и это было самое важное. Начинаясь девятнадцатый век, и год 1801, который был встречен в кругу друзей исполнением кантаты Гофмана, ознаменовался также первой постановкой его музыкально-сценического произведения — зингспиля «Шутка, хитрость и месть». В основу этого зингспиля был положен, правда, текст Гете, но композитор основательно переделал его, превратив трехактное произведение в одноактное.

Партитура и голоса этого зингспиля сгорели вскоре после того, как он несколько раз был исполнен в Познани труппой Карла Деббелина, с которой Гофману вскоре суждено было встретиться в «городе Сирены». Пребывание в Познани ознаменовалось для композитора и другими событиями. Прежде всего, он встретил девушку, которая стала его женой и верной подругой. Звали ее Мария Текла Михалина Тшциньская (о немецком «варианте», т. е. перевод фамилии ее отца, был Рорер), она была полькой. Так же, как булгаковской Маргарите, ей не нужны были ни роскошные апартаменты, ни дорогие уборы, ей нужен был Мастер. С этим мастером она делила немногие радости и столь частые невзгоды,

начавшиеся с того, что Гофмана, по его собственным словам, вскоре после женитьбы «выгнали» в Плоцк.

В немилость Гофман попал из-за того, что нарисовал карикатуру на высокопоставленного прусского чиновника. Надо сказать, что рисованием карикатур Гофман начал усердно заниматься еще в студенческие годы. Здесь невольно напрашивается сопоставление с другим великим романтиком, — Шопен, как известно, тоже с юношеских лет увлекался этим занятием, причем его, так же, как Гофмана, особенно раздражали парадные мундиры, сопоставлявшиеся им с лакейскими, и регалии высокопоставленных лиц. Но даже после того, как Гофман получил столь жестокий урок и вырвался, наконец, из Плоцка, получив назначение в Варшаву, он написал своему другу Гиппелю (к тому времени также женившемуся на польке), что «местный бургомистр поднимает нос на $\frac{1}{8}$ дюйма над горизонтом и носит три ордена»⁵.

Сравнительно краткий период пребывания Гофмана в польской столице был чрезвычайно плодотворным, хотя многое хотелось бы, разумеется, выяснить. Видимо, еще в Плоцке Гофман усиленно работал над клавирными сонатами. Но попытки опубликовать хотя бы одну из них остались безуспешными. Шотт отклонил Сонату As-dur (она была опубликована лишь через сто двадцать лет). Цюрихский издатель Негели тоже отказался напечатать сонату (вероятно, ту же). Такая же судьба постигла до-минорную клавирную Фантазию, рукопись которой не дошла до нас. Но будущий учитель Шопена, один из самых выдающихся строителей польской музыкальной культуры XIX в., Юзеф Эльснер в июльский выпуск своего собрания «Прекрасных музыкальных произведений» («Wybór pięknych Dzieł Muzycznych i Pieśni Polskich na rok 1805, wydany w Warszawie przez Józefa Elsnera, Dyrektora Muzyki przy Teatrze Polskim») включил гофмановскую Сонату A-dur⁶.

К столетию со дня смерти композитора в Лейпциге были изданы еще четыре его сонаты — f-moll, F-dur, f-moll и cis-moll, которые были подготовлены к печати в качестве первого тома собрания музыкальных произведений Гофмана Густавом Бекингом⁷, так что о фортепианном

⁵ Е. Т. А. Hoffmanns Briefwechsel, I, 190. Дошедшие до нас карикатуры Гофмана воспроизведены в альбоме: Handzeichnungen E. T. A. Hoffmanns, in Faksimilelichtdruck nach den Originalen, herausgegeben von Walter Steffen und Hans von Müller, Berlin, 1926. Из карикатур Шопена сохранилась лишь ничтожная часть.

⁶ Сведениями об этом издании исследователи творчества Гофмана долгое время не располагали (см., напр.: *Hans Ehinger. E. T. A. Hoffmanns als Musiker und Musikschriststeller.* Olten und Köln, 1954, SS. 213, 220). Экземпляр этого выпуска эльснеровского собрания автору этих строк удалось обнаружить в Ягеллонской библиотеке в Кракове («Cimelia», 1307) лишь в 1954 г. (см.: *Игорь Бэла. История польской музыкальной культуры*, том 2. М.—Л., 1957, стр. 280—281). Второй экземпляр данного выпуска недавно поступил в Музыкальный отдел Национальной библиотеки в Варшаве (Mus. II 20723/7 Cim.).

⁷ За год до этого Г. фон Вестерман издал в Мюнхене Сонату cis-moll и Анданте из Сонаты F-dur.

творчестве Гофмана мы можем судить уже на основании пяти сонат, хотя из перечня произведений, составленного им самим в 1807 г., известно о существовании еще трех сонат, «сочиненных по старым принципам и состоящих преимущественно из интродукций в медленном темпе и последующего Аллегро с контрапунктическим развитием». Указывая тональности этих сонат — си бемоль минор, фа-минор, до-мажор, Гофман добавляет (не указывая тональностей): «Три другие сонаты, по стилю такие же, как и предыдущие»⁸.

Знакомясь с фортепианными сочинениями Гофмана, нигде не встречаешься с той экзальтированностью, которая как-то невольно связывается в нашем представлении с образом «безумного» (а ведь это — гофмановский эпитет) капельмейстера Крейслера. Сонаты и камерно-инструментальные ансамбли Гофмана говорят зато о преемственных связях с Моцартом (прежде всего!), Гайдном, Бахом и его сыновьями. Можно заметить также, что композитор придавал особенное значение тембральной окраске звучания, добавив, например, в своем Квинтете (Бекинг поместил его во втором томе издания 1922 г.) к четырем струнным инструментам арфу, на которой он, как известно, любил играть. Часть нотных рукописей Гофмана, в том числе одна из сонат, видимо, затерялась у Негели, который, заметим попутно, доходил до того, что «правил» Бетховена и позволял себе нагло отзываться о Моцарте. Гофман, который в честь своего кумира заменил свое третье крестное имя (Вильгельм) на Амадеус⁹, не знал, разумеется, повадок цюрихского «знатока». Но, впрочем, многие другие издатели были не лучше.

Варшава, однако, принесла Гофману не только издание сонаты¹⁰, но и другие радости. В конце 1804 г. он закончил двухактный зингшпиль «Веселые музыканты», положив в основу его текст Клеменса Брентано. 6 апреля 1805 г. по решению «отца польского театра» Войцеха Богуславского в Варшаве состоялась под управлением дирижера Вебера премьера этого зингшпиля с пометкой на афише «Die Musik ist von einem hiesigen Dilettanten». В следующем сезоне гастролировавшая тогда в польской столице труппа Деббелина, установившая дружеские связи с Богуславским, показала еще один зингшпиль Гофмана — «Непрошенные гости, или Каноник из Милана». Никаких отзывов об этой постановке, состоявшейся в Радзивилловском дворце¹¹, где проходили спектакли труппы Деббелина, мы не знаем¹².

⁸ E. T. A. Hoffmanns Briefwechsel, I, 224.

⁹ Впервые это имя встречается на рукописи «Miserere posto in musica». Бамберг, 1809.

¹⁰ Уточним этот факт: в 1805 г. выпуски эльснеровского собрания гравировались и печатались во Вроцлаве, но на титульных листах неизменно указывалась и Варшава.

¹¹ Ныне — резиденция Правительства ПНР на Краковском предместье.

¹² О том, что этот зингшпиль был поставлен, сообщают только польские источники (см., напр.: *Cezary Jellenta. E. T. A. Hoffmann v Polsce. «Muzyka», Warszawa, 1929, N. 2*), неполностью использованные в немецкой «гофманиане», как явствует, например, из цитированной книги Эхингера. То, что Гофман в своих письмах не упоминает о постановке данного зингшпиля, не может служить аргументом, т. к.

Если, однако, в начале своего пребывания в Варшаве представитель прусской администрации (кругозор которой, как мы помним, был определен мастером с точностью до одной восьмой дюйма) молодой юрист Гофман считался в музыкальных кругах Варшавы «одним из местных дилетантов» — даже несмотря на то, что его сонату опубликовал Эльснер, — то вскоре будущий автор «Ундины» превратился в одну из центральных фигур музыкальной жизни Города Сирены. Уже 31 мая 1805 г. в Варшаве был напечатан устав музыкального общества, подписанный его учредителями — акционерными (перечень их содержит 121 имя), включая Гофмана, который именовался «Zweiter Vorsteher und Censor» (?!). Очень трудно представить себе Иоганна Крейсера в роли цензора, но, видимо, прусский Justizrath весьма устраивал тогдашних хозяев многотрапедального города. А советник юстиции организовал симфонический оркестр, исполнявший по пятницам (летом — раз в две недели) произведения Моцарта, Гайдна, Глюка, Керубини, Бетховена, причем многими концертами дирижировал Гофман. И, если Мария Шимановская была первой известной нам польской пианисткой, игравшей произведения Бетховена, то Гофман был первым музыкантом, под управлением которого в Польше прозвучали симфонии Бетховена.

Гофман, Эльснер, Генрих Лентц и Кульман (варшавский адвокат и музыкант-любитель) организовали читальню, в которой была обильно представлена периодика, в Музыкальном Обществе читались лекции на польском, немецком и французском языках, наконец, была создана школа пения. И в ней не раз появлялся советник юстиции, звучный тенор которого варшавяне слушали на воскресных концертах, знакомясь с отрывками из опер и зингшпилей. Гофман пел и в костеле ордена святого Бернарда (в 1802 г. композитор перешел в католичество, — возможно не без влияния своей жены) — и часто посещал храм Антония Падуанского; расположенный неподалеку от дворца Мнишков на Сенаторской улице. В этом дворце, получившем тогда название «Музыкального собрания» (Resursa Muzyczna), и состоялось торжественное открытие Ресурса 3 августа 1806 г.¹³

Вскоре варшавяне познакомились еще с одной областью творчества Гофмана, который, обнаружив незаурядные технические навыки, расписал некоторые помещения дворца, включая так называемый египетский каби-

ни одно из его писем, посланных из Варшавы друзьям в промежуток с 26 октября 1805 г. по 6 марта 1806 г., не дошло до нас. Нелишне заметить, что немецкие источники упоминают этот зингшпиль под названием «Die ungebetenen Gäste», тогда как польские (см., напр., упомянутую статью) приводят несколько иное название — «Die ungeladenen Gäste», т. е. именно то, которое применял сам Гофман (см. его письмо Гиппелю «Briefwechsel» I, 194). Быть может, именно после этой постановки (трудно сказать, сколько раз спектакль прошел в том сезоне) Гофман пришел к выводу, что «в музыке много слабых мест» и перестал добиваться постановки зингшпиля в Берлине (там же, стр. 204).

¹³ Этим концертом дирижировал Гофман.

нет¹⁴. Росписи эти в значительной части были утрачены при перестройке дворца Мнишков в 1824 г. Через 120 лет, во время Варшавского восстания 1944 г., невзирая на то, что над этим зданием было поднято знамя с восьмиконечным крестом, под которым начиная с XI в. находили убежище больные и раненые, дворец подвергся ожесточенной бомбардировке и превратился в груды развалин.

Годы жизни в Варшаве принесли также Гофману первое исполнение его единственной симфонии ми-бемоль мажор. Он сам дирижировал немногими концертами, в которых она исполнялась. Дирижерский жест его был властным, но скупым (даже по тем временам) и крейслеровская «stravaganza» была заменена спокойствием и выдержкой. Все больше и больше любил Гофман Варшаву, ибо то был единственный город, где он «предался одной музыке» — пел, играл, дирижировал, приобщал людей к музыке, — прежде всего, разумеется, к Моцарту, влияние которого так отчетливо проявилось и в Симфонии; единственный город, где постановки его музыкально-сценических произведений перемежались с изданием и исполнением его сонатно-симфонических произведений. Соната его, изданная Эльснером, прозвучала в том же дворце Мнишков (имени исполнителя мы, к сожалению, не знаем).

Разумеется, нельзя примитивно понимать и объяснять поступки, вкусы и симпатии такого сложного человека, как Гофман, но, быть может, есть какая-то доля истины в ставшей столь известной фразе Эльснера, который сказал, что поток гофмановских карикатур на Наполеона объясняется тем, что император отнял у мастера Варшаву. После того, как французские войска вошли в город, Гофман еще некоторое время жил в мансарде дворца Мнишков. Генерал Дарю принимал участие в судьбе мастера. Летом 1807 г. Гофман приехал ненадолго в Берлин. В Варшаве он приобрел такой опыт, что без колебаний принял предложение занять пост дирижера в театре в Бамберге¹⁵.

3

Годы, проведенные Гофманом в Бамберге (1808—1813), были посвящены преимущественно музыкально-сценическому искусству. Помимо дирижерской деятельности, протекавшей с осложнениями, на которых нет надобности останавливаться, Гофман был по-прежнему занят своей композиторской работой. Возможно, что в Бамберге были поставлены его оперы «Любовь и ревность» (начатая в Варшаве в апреле 1807 г.

¹⁴ «Allgemeine Deutsche Biographie». Leipzig, 1886, t. XII. S. 577.

¹⁵ Утверждение варшавского музыковеда Э. Лиссы, что Гофман якобы направился в 1808 г. в Быдгощь и работал там дирижером, основано на непонятной путанице: Быдгощь называлась во времена немецкого захвата Бромберг, а не Бамберг (*Zofia Lissa. Polonica Beethovenowskie. Kraków, PWM, 1970, str. 36*).

и законченная в июле либо там же, либо в Берлине) и написанная уже в Бамберге¹⁶ в начале 1808 г. романтическая (так назвал ее сам Гофман) четырехактная опера «Напиток бессмертия» на текст графа Юлиуса фон Содена, основателя бамбергского театра. Возможно, однако, что премьера этой оперы (если она вообще была поставлена при жизни Гофмана) состоялась не в Бамберге, а в Вюрцбурге.

Здесь следует сделать одну чрезвычайно важную оговорку, чтобы уяснить особенность творческого процесса Гофмана. Если мы читаем, что опера «Напиток бессмертия» — напомним: четырехактная! — сочинялась с 23 января до конца февраля 1808 г. в Берлине, то, вероятно, нужно сделать оговорку и слово «сочинялась» заменить словом «записывалась». Ибо из высказываний и писем самого Гофмана явствует, что он, как и подобает мастеру, вынашивал замысел (даже крупного музыкально-сценического произведения) до такой степени его созревания, которая уже позволяет приступить к его фиксации и сопутствующей ей отделке. Что же касается варшавских плодов творчества композитора, то нужно пополнить их список еще музыкой к трагедии хорошо известного из истории немецкой литературы писателя и драматурга Фридриха Людвига Захарии Вернера «Крест над Балтикой».

Музыку эту Гофман написал в начале варшавского периода своей жизни, т. е. в 1804—1805 гг., но исполнению ее воспрепятствовал генеральный директор королевских театров Иффланд, тот же берлинский «друг» Гофмана, который помешал «Маске» увидеть огни рампы. Но если отрывки из этой первой оперы Гофмана и появились в печати только через сто лет после его смерти, то «Польская народная песня» и «Марш рыцарей Ордена» были изданы в Берлине уже в 1806 г. в качестве приложения к тексту трагедии, но без указания имени композитора. Эти небольшие отрывки также свидетельствуют о профессиональных навыках, даровании и близости к венской школе. Гораздо явственнее черты романтизма выступают в «Напитке бессмертия», а еще более отчетливо в сочиненной в Бамберге в 1811—1812 гг. «большой романтической опере» — так назвал Гофман «Аврору», написанную на текст Франца фон Гольбейна, с которым он познакомился еще во время первого своего пребывания в Берлине.

Именно в Бамберге началась литературная деятельность Гофмана как писателя и музыкального критика. Об этой деятельности речь пойдет дальше, а сейчас следует довести до конца краткое обозрение этапов его творческого пути как композитора. Обозрение это не может быть хоть сколько-нибудь полным, так как значительная часть музыкального наследия Гофмана либо утеряна, либо рассеяна по различным архивам и

¹⁶ Заметим лишь, что некоторые местные музыканты, претендовавшие на место дирижера, ставили в вину Гофману, что он дирижировал зингшпилями, находясь не за пультом, а за фортепиано (чтобы аккомпанировать речитативам, как это принято, кстати сказать, и до сих пор, — скажем, в Вене).

библиотекам. Так, из написанной в конце 1805 г. в Варшаве Мессы d-moll опубликована, и то почти через сто лет (Лейпциг, 1903), лишь одна последняя часть — «Agnus Dei». Об исполнении этой мессы, написанной для солистов, хора, органа и симфонического оркестра, у нас никаких сведений нет. Но мы знаем, что жанр мессы на протяжении нескольких лет интересовал Гофмана, ибо в конце рукописи его Увертюры (Overtura с добавлением «Musica per la Chiesa», т. е. «Церковная музыка», 1801) стоит пометка «Attacca Kyrie», т. е. перейти (без перерыва) на «Kyrie» (первая часть мессы!). Известно, кроме того, что в монастыре норбертинков близ Плоцка исполнялась месса Гофмана D-dur, написанная для крошечного состава: два сопрано, две скрипки и орган.

Но Гофман овладевал не только композиторской техникой, а и графической и декораторской, причем пластические образы привлекали его, как уже говорилось, с детства и — a fortiori в сочетании с музыкой. Трагедии и драмы Вернера привлекали его своей романтичностью, поступь которой уже была слышна в рыцарском марше «Креста над Балтикой». Романтическое направление утверждалось в европейской литературе, живописи и музыке, и постепенно Гофман становился центральной фигурой раннего периода этого направления, утверждая его в различных областях художественной культуры, прежде всего — в музыке. Об этом свидетельствуют его оперы, бамбергская мелодрама «Дирна» (1809), музыка ко многим пьесам, но также и дошедшие до нас эскизы театральных декораций, — хотя бы, например, мастерски выполненный в 1812 г. рисунок тушью. Это, как полагают немецкие исследователи, — начало сцены пожара укрепленного замка в знаменитой романтической драме Генриха фон Клейста «Кетхен из Гейльбронна», через год после самоубийства прославленного писателя поставленной в Бамберге.

В Бамберге Гофман влюбился в девушку — подростка Юлию Марк, и история этой любви вызывает в памяти слова Пастернака о поэте, который переживает такое чувство, как «бог неприкаянный». Это слово «неприкаянность» действительно может быть отнесено к мастеру, который был уже автором десятков произведений чуть ли не во всех музыкальных жанрах, которого уже начали издавать — сперва в Варшаве, а затем в Берлине, где в 1808 г. вышли в свет его вокальные сочинения.

Гофман посылает экземпляр этого издания Рохлицу в Лейпциг и сообщает, что Негели опять обещает издать его сонаты (но цюрихский «знаток» и на этот раз обманул мастера). Незадолго до этого Гофман пишет Гиппелю: «Вот уже пять дней, как я ничего не ел, кроме хлеба, — такого еще никогда не было»¹⁷. Он одинок, ибо больная жена лежит в Познани, где, едва достигнув двух лет, умерла в 1807 г. их дочурка Цецилия. Только музыка спасает Гофмана. А хлеб он покупает на деньги, полученные за рисунки, которые он сделал в Варшаве и привез с собой...

¹⁷ «Briefwechsel», I, 242.

И в Бамберге все шло далеко не так гладко, как он надеялся. Оперы не ставились, музыка его исполнялась редко. Но к трем канцонеттам добавились еще три «Tre canzonette italiane per un soprano solo, due tenore (sic!) e basso col accompagnamento di pianoforte e dedicate alla signora Giulietta Mark», и, наконец, в том же 1812 г. Гофман пишет речитатив и арию «Prendi l'acciar ti rendo» и ставшую знаменитой благодаря капельмейстеру Крейслеру арию о страдании в одиночестве «Mi lagnerò tacendo». Итак, «ангелизация» Юлии Марк началась еще задолго до того, как она превратилась в подругу и соперницу принцессы Гедвиги, созданной гением Гофмана.

И, видимо, в прямой связи с образом Юлии находится и образ Ундины — центральный образ первой немецкой романтической оперы, написанной именно Гофманом. Нелишне напомнить, что премьера «Ундины», начатой в 1812 г., состоялась в Берлине 3 августа 1816 г., а веберовский «Фрейшютц» писался в 1817—1820 гг. Значение «Ундины» в истории романтического искусства, видимо, все еще не оценено в полной мере. Гофман не был просто «предшественником» Вебера, а мастером, создавшим произведение, на котором лежала печать своеобразия, художественного и философского. Тема любви и венчающей ее смерти (гибель рыцаря Гульдбранда фон Рингштеттена, полюбившего приемную дочь рыбаков — Ундину, но увлекшегося затем «земной» девушкой Бертальдой) надолго утвердилась в мировой литературе и музыке. И не только там, где напрашиваются прямые параллели с «Ундиной», — скажем, в «Русалке» Дворжака, — но и в «Тристане и Изольде» Вагнера.

Очень трудно проследить этапы духовного сближения Гофмана с либреттистом «Ундины» — бароном Фридрихом Генрихом де ля Мотт Фуке, но, даже судя по тем скудным сведениям, которыми мы располагаем, человек этот сыграл большую роль в жизни Гофмана, и концепция романтического преображения действительности окончательно созрела у него именно в эти годы, ознаменовавшиеся горестными раздумьями, творческими радостями капельмейстера Иоганнеса Крейслера и поцелуем, принесшим смерть возлюбленному Ундины. Незадолго до смерти Гофмана де ля Мотт Фуке назвал себя его «верным братом»¹⁸.

Когда историки музыки говорят об «Удине» как о романтической опере, а в последнее время даже, в соответствии с действительностью, как об одном из краеугольных камней романтической музыки, то, разумеется, останавливаются на романсе рыбака («Wir weinten still»), где вокальная партия так удивительно сочетается с «вздохами» флейт и фаготов, на финале первого акта (рыцарь и Ундина клянутся в верности друг другу) и трагических возгласах («Weh, er ist verloren»), подчеркивающих тему «смертельного поцелуя». Но дело не только в тембрах, которым Гофман, следуя заветам Моцарта, придавал, как уже говорилось, особое значение, а и в принципах оперной драматургии, в «персонафика-

¹⁸ «Briefwechsel», II, 377. Надпись на книге, датированная 8 апреля 1822 г.

ции тем» (если можно так выразиться), сыгравшей такую громадную роль в дальнейшем развитии музыкально-сценического искусства¹⁹. И все-же Гофман-писатель заслонил собою Гофмана-музыканта. Говоря о «Житейских воззрениях Кота Мурра», наш современник, немецкий литературовед и историк культуры Дитер Уриг назвал это произведение «одним из наиболее типичных и глубочайших творений германской мысли наряду с «Фаустом» Гете и «Дон Жуаном» Моцарта²⁰.

Но истинный герой «Житейских воззрений» — капельмейстер Иоганнес Крейслер — музыкант. И, можно сказать, единственный в мире музыкант, который поныне живет такой же реальной жизнью, какой жили действительно существовавшие его собратья по искусству, музыкант, очаровавший Шумана, запечатлевшего его имя и благородный облик в «Крейслериане». Да только ли Шумана? Автобиографичность Крейслера, подчеркнутая гофмановскими карикатурами, на одной из которых виднеется рукопись «Ундины», общеизвестна. По мнению некоторых гофмановедов, «Воззрения» — «двойная автобиография», включающая некие горькие пассажи, о которых скорбно повествует Кот Мурр. Вероятно, булгаковский Мастер, обращаясь к нему, повторил бы свои достопамятные слова: «Мне кажется, что вы не очень-то кот. . .»²¹

4

Дочь Гвидо Миноре да Полента, проявлявшая склонность к любовным утехам даже после рождения дочурки Конкордии, а также немолодой уже капитан Паоло, опытный ловелас и завзятый щеголь («более склонный к отдыху, чем к труду», как свидетельствуют современники), заплатили «непоправимой гибелью последней» под ударами кинжала Джанчотто Малатеста, заставшего своего брата и свою супругу в весьма недвусмысленной ситуации. Но вскоре Франческа и ее очередной амант обрели бессмертие, преобразенные гением Данте в пленительную джентильдонну и робкого юношу, не устоявших против соблазнов книги, которая заставила их сблизить уста.

Однако бессмертие это даровано было им, прошедшим второе рождение, отнюдь не прототипами дантовских героев. Ибо, собственно говоря, вовсе не этих прототипов видел Данте, когда завершил свое торжественное шествие по Лимбу и вступил во второй круг, где метались души, описанные с таким смятением чувств и ритма: «Di qua, di la, di giù, di

¹⁹ См., в частности: *Hans von Wolzogen*. E. T. A. Hoffmann und Richard Wagner. Harmonien und Parallelen. Berlin, 1906. Напомним, что фрейхерр фон Вольцоген был одним из ближайших друзей Вагнера и с 1877 г. редактировал «Bayreuther Blätter».

²⁰ *Dieter Uurig*. E. T. A. Hoffmann. Leipzig, 1961, S. 35.

²¹ *Михаил Булгаков*. Мастер и Маргарита. Роман, книга вторая. — «Москва», 1967. № 1, стр. 92.

su...» Но разве сравнил бы Данте с голубками (*quali colombe*) мчавшиеся к нему тени риминийских любовников, если бы не пересоздал их образы с такой поэтической силой, которая навеки запечатлела их в сердцах людей²².

Вспомним попутно и знаменитую последнюю строку Пятой песни «Ада» — слова Данте о том, что, преисполненный состраданием к представшим перед ним теньям (не только к Франческе, как почему-то полагают некоторые комментаторы), он «упал, как падает мертвое тело». Но и Пушкин, перечисляя высокие чувства истинного поэта, писал: «Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь...» Флобер назвал бы это «иной жаждой» (*une autre soif*). Но, какие бы отклики ни вызывали в нас слова Данте и Пушкина, все же самым главным, самым поразительным остается в них утверждение правдивости созданного гением художественного образа, вызывающего в человеке такие же сильные потрясения, как вполне реальные события. Нередко причиной такой реальной «ощутимости» образа считают автобиографичность событий. Мы не знаем, правда, можно ли с полной уверенностью отождествлять юную Беатриче Портинари с премудрой «райской наставницей» Данте. И трудно постичь, кем была «та, с которой образован Татьяна милый идеал». Но твердо уверены мы только в одном — в том, что все подлинно великие, подлинно волнующие человека художественные произведения возникли из жизненной правды, в которую так пылливо вглядывались глаза их творцов.

Из такой жизненной правды рождались и многие произведения Гофмана, которого, — вероятно, именно поэтому — назвал Белинский «чудным, великим гением» (письмо к В. П. Боткину от 16 апреля 1840 г.). И нетрудно заметить, что сам Гофман считал непобедимой силой, побеждающей и преобразующей окружавшую его действительность, — музыку. Более того, музыка, которой он так самозабвенно служил всю свою сознательную жизнь, обладала дивной силой пересоздавать эту действительность. Партитура «Ундины», правда, видна на карикатуре, изображающей капельмейстера Крейсера на фоне «трагической повседневности», но ария, действительно сочиненная Гофманом, звучит в «Житейских воззрениях кота Мурра» как некий лейтмотив, наделенный магической силой. Но разве еще в древности музыка не считалась наделенной именно такой силой?

Гофман, даже достигнув вершин литературного творчества, не переставал оставаться музыкантом-профессионалом, понимающим к тому же силу воздействия «искусства дивного». Уже ранняя новелла Гофмана — «Кавалер Глюк» — дает ключ к постижению этой веры писателя в музыку, одержимость которой господствовала в его жизни и столь много-

²² Напомним, что количество поэтических, драматических, музыкально-сценических произведений, картин и рисунков, посвященных этим героям Данте, исчисляется не десятками, а сотнями.

образом творчестве. Эта новелла вызвала самые разнообразные комментарии и попытки понять и того мастера, который создал ее, и героя новеллы, открывшего человечеству — вспомним пушкинские слова — «глубокие, пленительные тайны».

Напомним прежде всего, что новелла как бы пронизана звуками произведений Глюка — начиная с увертюры к «Ифигении в Авлиде», отрывков из «Ифигении в Тавриде» и кончая громом труб и литавр «Армиды», которую затем играет и поет незнакомец, появляющийся затем «в парадном расшитом кафтане, богатым камзоле и при шпаге...» Автор новеллы припоминает далее, что тогда, когда человек, назвавшийся «кавалером Глюком» играл и пел «Армиду», то перед ним лежала нотная бумага, «но на ней ни единой ноты». Действие «Кавалера Глюка», как указал автор, происходит в Берлине поздней осенью 1809 г., между тем Глюк скончался в Вене еще в сентябре 1787 г., и содержание новеллы, именно из-за авторского указания времени и места действия, показалось настолько таинственным, что французские критики договорились даже до метампсихоза, утверждая, что в героя новеллы, как показал якобы Гофман, воплотилась душа Глюка²³.

После пресловутой и, к сожалению, продиктованной не очень благородными побуждениями статьи В. Скотта, попытавшегося разделаться со своим мертвым соперником, новеллу «Кавалер Глюк» вспоминали критики, ополчившиеся на французскую романтическую школу, рождение которой было возведено «Фантастической симфонией» Берлиоза. И, каково бы ни было отношение к музыкальному творчеству самого Гофмана, именно его объявили родоначальником романтического (иногда его называли «фантастическим») направления не только в литературе, но и в музыке²⁴. Справедливость требует отметить, что многие французские критики ответили резкими полемическими репликами. Впрочем, нам нет надобности останавливаться на этой полемике, сыгравшей, бесспорно, значительную роль в международном признании Гофмана как одной из центральной фигур западноевропейской литературы²⁵.

Вернемся, однако, к «Кавалеру Глюку». Едва ли, конечно, предположение о гофмановской «концепции метампсихоза» было случайным, ибо вскоре после того, как эта концепция была высказана печатно (летом 1829 г.), Словацкий, вчитываясь в «Божественную комедию», обнаружил в великой книге следы «предыдущей жизни» Данте, ограничившись,

²³ Elizabeth Teichmann. La fortune d'Hoffmann en France. Genève—Paris, 1961, p. 23—24.

²⁴ См.: Henri Blaze. Musiciens français. II: De l'école fantastique et de M. Berlioz. — «Revue des deux mondes», 1 octobre. Напомним попутно, что то был год создания шумановской «Крейслерианы». Не лишено интереса то обстоятельство, что тот же Анри Бляз, подписавшись, правда, инициалами H. W., ровно через полгода после «проработки» Берлиоза (а за «Бенвенуто Челлини» на него ополчился даже Готье!) уже восхищался «гармоничной фантазией Гофмана и Новалиса».

²⁵ Срвн.: Léon Lemonnier. Edgar Poe et la critique française de 1845 à 1875. Paris, 1928; Léon Guichard. La Musique et les lettres au temps du romantisme. P., 1955 (обе книги были выпущены изд-вом «Presses universitaires de France»).

правда, лаконичной, но достаточно категорической заметкой в записной книжке²⁶. Упомянуть об этой заметке, впрочем, необходимо хотя бы для того, чтобы показать, как возникало и утверждалось представление о Гофмане, поныне именуемом «lo stravagante poeta, musicista e pittore tedesco»²⁷. Но «stravaganza», о которой (порой понаслышке!) пишут люди, вряд ли знакомившиеся с музыкой Гофмана, никогда не проявлялась в ней. «Причудливость» (если так перевести это итальянское слово, не вполне и не всегда соответствующее «экстравагантности») отличает поведение и, прежде всего, восприятие музыки, свойственное «безумному» (wahnsinniger — это эпитет, которым наделил своего героя сам Гофман) капельмейстеру Крейслеру, воспринимающему зачастую как alter ego мастера.

Но нельзя принимать «метампсихоза подозрительные бредни» (В. Макавейский) за основу, скажем, «Кавалера Глюка». Наш современник И. В. Миримский во вступительной статье к первому послевоенному русскому изданию собрания сочинений Гофмана пишет об этой новелле: «Она имеет, видимо не лишенный лукавства, подзаголовок «Воспоминание 1809 года», обещающий рассказ о чем-то действительно происшедшем, но финал ее, называющий имя героя, великого композитора, умершего за двадцать с лишним лет до этой даты, сразу придает повествованию фантастический или даже мистический характер, который может быть нейтрализован только догадкой, что это какой-то, несомненно, гениальный, но странный человек, чудак, вжившийся в музыку Глюка и вообразивший себя ее творцом. Во всяком случае, ясна идея новеллы, составляющая рациональную основу всей эстетики Гофмана. Он вызывает из «царства грез» тень великого немецкого композитора, чтобы показать, что в современном мире нет места для истинного искусства, а жизнь настоящего, неподкупного художника — непрерывное восхождение на голгофу»²⁸.

Такая интерпретация гофмановской новеллы едва ли может быть признана приемлемой. Вряд ли Гофман, именно в те годы, когда он писал вдохновенные статьи о бетховенских произведениях, когда расцветал гений Шуберта, а затем появлялись и другие предвестники романтизма²⁹, — вряд ли Гофман мог считать, что «в современном мире нет места для истинного искусства». Наоборот, автор «Фантазий в манере Калло» был твердо убежден, что именно искусство может и должно облагородить людей. Именно поэтому Гофман увидел в 1809 г. ворвавшийся в «трагическую повседневность» образ кавалера Глюка, именно поэтому умерла донна Анна, которой суждено было полюбить Дон Жуана (Гофман был первым, давшим такое истолкование встрече героев моцартовской оперы!). И тогда, когда улеглись страсти после «первого взрыва европейского гоф-

²⁶ Juliusz Słowacki. Dzieła. Wydanie trzecie. Wrocław, 1959, str. 266 (Raptularz).

²⁷ Franco Abbati. Storia della musica, vol. III. Milano, 1967, p. 19.

²⁸ И. Миримский. Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822) в кн.: Эрнст Теодор Амадей Гофман. Избранные произведения в трех томах, т. 1. М., 1962, стр. 12.

²⁹ И. Миримский без каких бы то ни было оснований пишет о «программном характере» музыки венских классиков. Там же, стр. 13.

манианства»³⁰, нашелся писатель, который сказал, что только Флобер объяснил истинную причину смерти гофмановской донны Анны³¹, сгоревшей в «высоком пламени» (*fiamma alta*) любви, — так же, как дочь Гамилькара заплатила жизнью за чувство, вспыхнувшее в ней к ливийцу Мато, осененному магическим заимфом.

Как известно, нашлись и такие критики, которые упрекали Флобера в том, что он «изменил принципам историзма». Но две с половиной тысячи томов, чтение которых предшествовало созданию романа, так потрясшего Мусоргского, не могли превратиться в нагромождение построек, доспехов, обрядов, а лишь помогли мастеру создать фон для картины, в центре которой возвышаются образы иступленной, всепоглощающей любви, преобразующей людей. Для Гофмана такой неотразимой преобразующей силой была музыка. Он никогда, напомним это еще раз, не был дилетантом, он был профессиональным музыкантом, «одаренным выдающимися свойствами» — так выразился Бетховен, благодаря Гофмана за рецензии на его произведения. Будем справедливы: именно Гофман начал новую эпоху в музыкальной критике, подняв ее на высоту, которой никто до него не достигал. Истинным продолжателем Гофмана стал Шуман, подчеркнувший свою творческую связь с ним заглавием, данным знаменитому фортепианному циклу пьес «Крейслериана». Но вряд ли можно говорить только о заглавии, ибо Гофман своим литературным творчеством оказал сильнейшее влияние на развитие романтического направления в музыке. А в критике его статьи выделялись не только высочайшей компетентностью, но и доброжелательностью. И, если вскоре после смерти Гофмана появились в печати злобные зубоскальства Людвиг Рельштаба, то его имя стало нарицательным для критика-пасквилянта. Этот «тип» критика, независимо от того, назовем ли мы его Рельштабом, гнусно поносившим Шопена, Латунским или Ариманом, затравившими Мастера, по существу говоря, всегда прикрывал свою безграмотность и дремучее невежество, приправленное «слюною бешеной собаки».

Гофман понимал этическую силу воздействия музыки и раскрывал эту силу в своих, к сожалению, немногочисленных, великолепных критических статьях, а еще более проникновенно — в литературно-художественных произведениях, в которых так ощутимо и выразительно звучит музыка. «Фантазии в манере Калло» — книга, в которой собраны ранние произведения Гофмана (едва ли точным будет отнесение их к жанру новеллы или рассказа), — открываются «Кавалером Глюком» и «Дон Жуаном». В первую

³⁰ Срвн.: Kurt Schönher. Die Bedeutung E. T. A. Hoffmann's für die Entwicklung des musikalischen Gefühls in der französischen Romantik. München, 1931, passim.

³¹ Giancarlo Turcremata. Ainsi mourut... Roma, 1891. Заглавие книги (напечатанной небольшим тиражом в Женеве, как явствует из колофона) взято из последней фразы флоберовской «Саламбо»: «Ainsi mourut la fille d'Hamilcar pour avoir touché au manteau de Tanit» (так умерла дочь Гамилькара за то, что прикоснулась к покрывалу Танит). Книга итальянского эссеиста, назвавшего Флобера «величайшим французским писателем», содержит также сопоставление гофмановских новелл с «Искушением святого Антония».

из этих условно говоря новелл властно врывается образ великого композитора, в ореоле, затмевающим «трагическую повседневность», во второй Гофман как бы заново прочитывает партитуру «оперы опер», нет, это — не полемика с Моцартом, а такое глубокое постижение его замысла, которое до Гофмана не было дано еще никому, даже Бетховену, считавшему, как известно, сюжет оперы «предосудительным». Но ведь нельзя отождествлять образы да Понте и образы Моцарта, пытавшегося править либретто. И тот же Бетховен в конце первой картины услышал то, чего до него, наверное, никто не услышал. Он понял, что в наступающей после злополучной дуэли тишине мерные триоли отмечают ритм уходящей жизни Командора, и записал эти триоли, а рядом с ними набросал рожденные ими триоли своей Лунной сонаты. А Гофман понял, что донна Анна не может расстаться со своим «соблазнителем», ибо пламенно полюбила — пусть даже не его, а тот всепокоряющий небывало-прекрасный музыкальный образ, который создал Моцарт.

Погрузившись в мир музыки, Гофман обратился к своей горькой жизни. Собственно говоря, музыка была неразлучна с ним. Даже в такой сатире, как «Крошка Цахес», звучат волшебные звуки «стеклянной гармоникки» («полные, все усиливающиеся и приближающиеся аккорды были подобны звукам стеклянной гармоникки, но только неслыханной величины и силы...»), гл. IV), а в «Майорате» герой пытается «арпеджированными аккордами вызвать утешительных духов». И, конечно, в «Крейслериане» Гофман пишет не только о своем герое, ставшем — в той или иной степени — его литературным двойником, но и о музыке, о «могучем духе Бетховена», о Моцарте, который «вводит нас в глубины царства духов», создавая «предчувствие бесконечного», о сонатно-симфоническом цикле, о «великом Себастьяне Бахе», — пишет, не применяя специальной терминологии, не как музыковед, а как поэт, в котором все время угадывается композитор. Недаром он признается: «...числовые соотношения в музыке и таинственные правила контрапункта вызывают во мне какой-то глубокий ужас». Это — не «гофманианское» преувеличение. Тот, кто анализировал последнюю симфонию Моцарта, знает, что звучащие подобно изящной импровизации построения допускают 720 перемещений.

Итак, во многих своих литературных произведениях Гофман обращался к музыке, овладев уже в юношеские годы тайнами «искусства дивного». Никто никогда до Гофмана не обращался в художественной литературе к музыкальным образам, жанрам и формам с такой поразительной уверенностью, основанной на компетентности и опыте мастера. Но Гофман, создавая литературное произведение, никогда не переставал быть композитором и, судя по всему, живописцем и графиком, обладавшим и в области пластических искусств профессиональными навыками, сказывавшимися порой даже невольно. Вспомним попутно, для пояснения этой мысли, что Микельанджело, сочиняя свой знаменитый сонет о бессоннице, слушал сверчка, поющего в одном его ухе, и паука, скребущегося в другом. Гофман, работая над литературными произведениями, отчет-

ливо видел своих героев и слышал музыку, в атмосфере которой они находятся и совершают те или иные поступки, объясняемые музыкой и только музыкой, ибо «Музыкант, то есть тот, в душе которого музыка воплощается в ясно осознанное чувство, вечно одержим мелодией и гармонией» («Аттестат Иоганнеса Крейслера»).

«Житейские воззрения кота Мурра» не были закончены Гофманом, но концепция этого произведения оказалась настолько значительной и, можно сказать, уникальной, что приведенное уже суждение Дитера Урига вряд ли можно считать преувеличением. Музыка пронизывает эти удивительные страницы и, вчитываясь в них, постепенно удается раскрыть необычайный замысел автора — пересоздать по крайней мере десять лет своей недолгой и горькой жизни. Конечно, черты автобиографичности, порой не фактической, а чисто психологической, присущи многим героям достаточно хорошо известных литературных произведений («Господа, мадам Бовари это — я»). Не менее хорошо известно и «вживание» писателя в образ, позволившее, например, современному французскому эссеисту заметить, что если Флобер «отдаляется» от какого-нибудь своего персонажа (с Мато и Саламбо он оставался до их последнего вздоха), то лишь затем, чтобы осудить (*condamner* в данном контексте скорее значит обречь) его, ибо становление образа для Флобера было немислимо без психологического отождествления с ним³².

Итак, капельмейстер Иоганнес Крейслер, вне всякого сомнения, — сам Гофман, заново переживающий свою любовь к Юлии Марк, носящей здесь фамилию Бенцон. Это чувство, доводившее его некогда в Бамберге до иступления, запечатлено в лихорадочных записях дневника, публикуемого в этой книге. В Бамберге Юлия по настоянию своей матери («советницы Бенцон») вышла замуж за преуспевающего коммерсанта, который, как уже говорилось, преобразился в «Житейских воззрениях» в титулованного кретина и, быть может, в последней, ненаписанной части этой лебединой песни великого писателя, сложные сюжетные узлы оказались бы так и нерассеченными.

Но вся книга насыщена музыкой самого Гофмана. Это его гимн «*Ave maris stella*» слушают, преклонив колена, Юлия и принцесса. Это его арию слушает Юлия, и в музыку эту вплетаются цветы, и уже на первых страницах книги возникают нити, тянущиеся от сердца к сердцу. Вот этот поэтический отрывок: «Как только литавры и трубы смолкли, на грудь Юлии упал, спрятанный среди душистых ночных фиалок, распускающийся бутон розы, и, как струящиеся порывы ночного ветра, поплыли звуки твоей песни: «*Mi lagnero tacendo della mia sorte amara*» — Юлия испугалась, но когда песня, которую я, признаюсь, для того, чтобы тебе не пришлось потом краснеть, где-то совсем в отдалении заставил играть четырех наших лучших басетгорнистов, — итак, когда песня на-

³² *Jean-Pierre Richard. Stendhal. Flaubert. Paris, 1970, p. 175—176.* Это тонкое наблюдение вполне объясняет фиаско «Бувара и Пекюше».

чалась, легкое «ах» слетело с ее уст, и я превосходно расслышал, как она сказала принцессе: «Конечно, он снова здесь!»³³.

Необходимо, однако, остановиться на «родословной» капельмейстера Йоганнеса Крейсlera, образ которого в творчестве Гофмана принято считать автобиографическим. Прочитируем, впрочем, датированное сентябрем 1834 г. письмо Шумана своему другу Эрнестине фон Фрикен, которой он обещал прислать сведения об артистической жизни Лейпцига («Nachrichten von unserer Kunstkarte»): «Самое новое и самое важное это то, что старый Людвиг Бенер вчера дал здесь концерт. Вы знаете, что в свое время он был знаменит так же, как Бетховен, и послужил Гофману прототипом его капельмейстера Крейсlera. Но его убогий вид произвел на меня удручающее впечатление. Он был похож на старого льва с занозой в лапе»³⁴. Через четыре года Шуман написал рецензию на фортепианную Фантазию op. 48 Бенера и нашел в ней неисчислимое количество недостатков, которые нет надобности перечислять. Редко когда Шуман писал такие резкие рецензии. Но в конце этих десяти строк он признался, что, играя некоторые страницы Фантазии, он думал, что автором их мог бы быть Моцарт³⁵.

Людвиг Йоганн Бенер (Böhner, 1787—1860) в настоящее время уже почти совсем забыт. Правда, некоторые из его многочисленных произведений были переизданы немногочисленным и недолго просуществовавшим «Бёнеровским обществом» (Böhner-Verein), но и они вскоре перестали исполняться. Сэр Джордж Гров в своем знаменитом музыкальном словаре, сославшись на распространенное мнение, высказанное и в цитированном письме Шумана, отметил, что Бенер якобы был прототипом гофмановского капельмейстера Крейсlera и навеянной этим образом шумановской «Крейслерианы». В последнем издании словаря Римана (1959, стр. 186) говорится о том, что Бенер, отказавшись в 1814 г. от поста дирижера нюрнбергского театра, вел странствующий образ жизни, задерживаясь преимущественно в Тюрингии; в конце концов он прослыл чудаком и был изображен в нескольких рассказах.

Последние слова рецензии Шумана, написанной тогда, когда создавалась «Крейслериана», прямо говорят о незаурядном даровании Бенера, заслуживающего того, чтобы его вспомнить в связи с историей немецкой романтической музыки (заметим попутно, что уже первые такты одного из его трех фортепианных концертов, исполнявшегося в Лейпциге

³³ Исследователи Гофмана были настолько убеждены в автобиографичности всех деталей данного произведения, что упоминавшийся выше Эхингер в списке произведений Гофмана указал, что ария «Буду молча сетовать на судьбу свою горькую» написана для голоса в сопровождении четырех бассетгорнов, тогда как в действительности ария эта написана для голоса с кларнетом.

³⁴ Aus Robert Schumanns Briefen und Schriften. Ausgewählt... von Richard Münnich. Weimar, 1956, S. 105—106.

³⁵ Gesammelte Schriften über Musik und Musiker von Robert Schumann, Bd. II. Leipzig, 1883, S. 39.

в 1814 г., можно считать прообразом знаменитой арии Агаты из веберовского «Фрейшюца»). Но «stravaganza» Бенера, о которой столько говорилось, никогда не была свойственна Гофману, в творчестве своем стремившемуся ориентироваться на классические образцы. Его исполнительское искусство также отличалось уравновешенностью, и лишь в своем чувстве пламенной любви к Юльхен он доходил до неистовства, проявившегося, впрочем, лишь один раз — тогда, когда он поднял руку на ее жениха. Литературные произведения Гофмана были попыткой продлить его «жизнь в музыке».

Но музыка в романе — далеко не только поэма о любви Юлии и Иоганнеса Крейслера. Ранг мастера определяет отношение Крейслера (и, конечно, Абрагама Лискова — так назван в книге Подбельский, учитель Гофмана) к «сильным мира сего». Автор неизменно подчеркивает, что сатирическая линия, развивающаяся в книге параллельно с музыкальной, гармонирует с ней, ибо подчеркивает контраст между мастерами и властями предрержащими. Тогда, когда Гофман хоронил своего котика, возникали его последние карикатуры, грозившие ему высылкой из Берлина. Да и как мог понравиться в Пруссии тех времен верно-подданнический «Поцелуй руки» (*Der Handkuss*), на котором монарх был изображен таким же кретином, как и его подданные. Перед нами проходят жирная, наглая физиономия Иффланда, мешавшего постановке произведений Гофмана и даже пьес с его музыкой, волчий оскал прусского министра внутренних дел Каспара Фридриха фон Шухмана, тупое лицо обвешанного орденами («*strasznie orderowu*», как сказал о ком-то Шопен) директора прусского министерства полиции Генриха фон Камптца — всех тех, кто хотел упечь Гофмана в Инстербург, подальше от двора и его «милостей», но мастеру сужден был более короткий путь — на Третье кладбище храма Иоанна Иерусалимского.

Но еще перед смертью Гофмана появился его «Повелитель блох», вызвавший ярость цензуры, ибо образ тайного советника Кнаррпанти странным образом напоминал господина директора министерства полиции. «Думание, полагал Кнаррпанти, уже само по себе, как таковое, есть опасная операция, а думание опасных людей тем более опасно...» Несомненно, Гофман не мог оставаться в Берлине! Однако уже двадцатые годы прошлого столетия принесли мировую славу крамольному юстиции советнику. Еще при жизни он познал невыразимое счастье, когда на страницах его последней книги Юлия с любовью устремляла на него взгляд, когда звучала его музыка, и он видел вокруг себя лица друзей.

Не подлежит никакому сомнению, что врагов у него было гораздо больше, чем друзей, ибо поэтичные образы «трижды романтичнее мастера» сочетались с образами разрушительного обличения. Его друг Хитциг, наживший немалые деньги на биографии Гофмана, в процессе работы над которой он, кстати сказать, уничтожил несколько сот писем мастера, объявил его алкоголиком. Но известно также, что вплоть до того дня, когда Гофман имел силы держать перо в руке, его почерк оставался

неизменно ровным и изящным. Нотные рукописи Гофмана доживавшая свой век в нищете вдова мастера передала Прусской королевской библиотеке, как сообщает Франц Куглер, пасынок Хитцига. Его величество король Фридрих Вильгельм IV собственноручно (и это неоднократно подчеркивали летописцы его царствования) подписал благодарственное письмо фрау Марии Текле Михалине Гофман, не переставшей, разумеется, и после этой «монаршей милости» испытывать острую нужду в хлебе насущном.

Впрочем, мало кто помнит имя этого щедрого короля. Гораздо более известно имя дерзкого, мятежного и гениального подданного Прусского королевства, композитора, писателя и художника, юстиции советника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Ему в одинаковой мере удавались поэтически-возвышенные и гневно-обличительные образы, сопоставление которых обусловило этическую и художественную мощь и непреходящую ценность гофмановского творчества.

Именно эти драгоценные черты обусловили обращение многих композиторов к литературным произведениям Гофмана. Наиболее поэтичным музыкально-сценическим произведением на его сюжет мы вправе признать последний балет Чайковского — «Щелкунчик», созданный в последние годы жизни композитора и обошедший многие сцены и симфонические эстрады (в качестве сюиты) мира. Наиболее популярной оперой Жака Оффенбаха и, несомненно, его лучшей оперой остались посмертно поставленные «Сказки Гофмана», в основу либретто которых легла одноименная драма Жюль Барбье и Мишеля Карре (1851). И в драме, и в опере появляется фигура самого Гофмана — рассказчика (в оригинале опера называется «Hoffmanns Erzählungen»). Начинается опера отрывком из «Дон Жуана» и появлением Гофмана, спускающегося к друзьям в винный погреб. Там он повествует о своих возлюбленных — об Олимпии, оказавшейся куклой-автоматом (из «Песочного человека»), о Джульетте (одном из персонажей «Приключений в новогоднюю ночь») и Антонии («Советник Креспель»). Отсутствие подлинно симфонического развития в этой опере Оффенбаха искупается порой мастерством исполнителей и сценической живописностью, которой, например, отличалась венская постановка 1957—1958 гг. (после восстановления оперного театра, разрушенного американской авиацией). Особенно впечатляющим был в этой постановке «венецианский» акт.

Можно назвать еще несколько опер, написанных на сюжеты Гофмана на Западе. Наиболее значительной из них, бесспорно, является «Кардильяк» Пауля Хиндемита. В первой редакции то была трехактная опера, впервые поставленная в Дрездене в 1926 г. Либретто ее было основано на гофмановской «Мадемуазель Скюдери». Во время встреч с автором этих строк в Вене в июне 1947 г. композитор сказал, что он собирается переделать данное произведение, в центре которого, как он выразился, «должны быть не события, а произведения искусства — так, как в «Художнике Матисе». Говоря о том, что в трех основных симфонических частях сюиты (иногда называемой симфонией) из этой оперы, он стремился

средствами музыкальной выразительности раскрыть образы картин («Ангельские песнопения», «Положение во гроб», «Искушение святого Антония»), — так же точно в «Кардильяке» будет показано трагедийное отношение мастера («скажем, нового Бенвенуто») к своим произведениям, ради которых он идет на преступление. «Я разверну эту оперу», — сказал Хиндемит, — и в 1952 г. в Цюрихе состоялась премьера «Кардильяка» в новой, четырехактной редакции. Примененный композитором громадный состав оркестра позволил достичь ярких колористических эффектов, выделив все голоса сложной полифонической ткани, сливающиеся в гимн «одержимости» художника. Это, несомненно, — «крейслерианская» тема.

12 апреля 1912 г. в Гамбурге состоялась премьера оперы «Выбор невесты», созданный Ферруччо Бенвенуто Бузони на сюжет одноименной новеллы Гофмана. То была первая опера великого итальянского музыканта и, несмотря на то, что в оперном репертуаре она не удержалась, мимо нее нельзя пройти, так как многие эпизоды свидетельствовали о глубоком проникновении композитора в замысел произведения писателя, о котором он всегда отзывался восторженно. Бузони даже знакомился с музыкальным творчеством Гофмана, но оно не получило одобрения мастера. Что же касается «Выбора невесты», то, как считал авторитетнейший английский музыковед сэр Эдуард Дент, она оказалась перегруженной музыкально-тематическим материалом. Впрочем, не оперным творчеством, а своим гениальным пианистическим мастерством Бузони завоевал себе столь прочное место в истории мировой музыкальной культуры. Но нет сомнения, что приобщение к поэтике Гофмана оказало благотворное влияние на него, так же, как и на других композиторов, обращавшихся к творчеству великого немецкого романтика. И, каковы бы ни были версии и легенды о создании образа капельмейстера Йоганнеса Крейслера, все же истинным создателем его был именно Эрнст Теодор Амадей Гофман, до конца жизни врывшийся в благородство и возвышенность музыкального искусства.

О. К. ЛОГИНОВА

ДНЕВНИКИ ГОФМАНА

Дневники Гофмана охватывают сравнительно небольшой промежуток времени — около 7 лет¹, но это семилетие было решающим в его жизни: оно не только утвердило его в убеждении, что он — человек искусства, но и привело к осознанию его подлинного призвания — призвания писателя, дав одновременно громадный запас разнообразнейших жизненных впечатлений.

С самого начала Гофман собирался писать дневник только для себя, и хотя ежедневные записи немногословны, а в последние годы совсем кратки, они необычайно красноречивы. В них — вся его жизнь: творческие замыслы, успехи и неудачи, проза жизни — работа, служебные неприятности, уроки, долги, и ее поэзия — любовь и музыка. Дневник и памятная книжка разнообразных дел, и поверенный всех его горестей, и свидетельство его симпатий и антипатий в искусстве, и — прежде всего — поразительной творческой энергии и работоспособности, отличавших Гофмана и особенно ярко проявившихся в эти переломные годы.

Очевидно, не случайно дневник, который молодой ассессор начинает, мечтая стать человеком искусства (а его привлекали тогда и музыка, и живопись, и литература, и театр), охватывает период, когда Гофман действительно становится свободным художником. Композитор и учитель пения, художник, театральный декоратор и дирижер, критик «Всеобщей музыкальной газеты» и остро-злободневный карикатурист и, наконец, писатель — Гофман перепробовал самые разнообразные занятия. Завершается дневник тогда, когда свободный художник вновь становится советником юстиции, но одновременно и одной из центральных фигур немецкой романтической литературы.

* * *

1 октября 1803 г. — дата начала дневника — застаёт Гофмана в захолустном польском городке Плоцке, куда он был переведен в апреле 1802 г. после скандальной истории, разыгравшейся в познаньском клубе, где на

¹ Мы имеем в виду прежде всего дневники 1809—1815 гг.; дневниковые записи 1803—1804 гг. велись Гофманом только 4 месяца — октябрь—ноябрь 1803 г. и январь—февраль 1804 г.

масленичном маскараде (28. II—2.III) среди публики были распространены раскрашенные карикатуры; некоторые из них задевали почтенных горожан и видных лиц администрации, в частности, генерал-майора фон Цастрова, изображенного в виде барабанщика, выбивающего на самоваре двумя чайными ложечками сигнал: «К чаю!» Участие молодого Гофмана в этой эскападе было несомненным, и месть последовала незамедлительно.

Очутившись в Плоцке, 26-летний Гофман глубоко переживает тяжесть изгнания, оторванность от большого города с его культурой, невозможность применить таланты, которые он в себе ощущает. Он усердно трудится на поприще юриста, роется в пыльных актах, заседает на сессиях и в то же время настойчиво хлопочет о переводе в Берлин или Дрезден. Одновременно он пытается приобщиться и к искусству — пишет мессу, посылает нотоиздателю Негели свою Большую фантазию для фортепиано и сонату, в «Независимый» — журнал, издаваемый Коцебу, — первый литературный опыт — «Письмо монаха своему столичному другу», который он с удовольствием видит напечатанным, а по вечерам музицирует вместе с другими любителями. И хотя Негели отклоняет его сочинения, Гофман упорно продолжает писать музыку.

Запись от 17 ноября 1803 г., завершающая этот год, кончается пророческим восклицанием: «А теперь я хочу написать книгу!»

1804 год открывает более радостные перспективы для деятельности в области искусства — Гофману предлагают перевод в Варшаву. Однако он колеблется, надеясь, что смерть тетушки сделает его состоятельным человеком и он сможет бросить службу. Но увя, из текста завещания становится известным, что он унаследует тетушкины деньги только после смерти дяди Отто Вильгельма Дерфера, который назначен душеприказчиком покойной. 10 марта Гофман получает уведомление о новом назначении и уезжает в Варшаву. Дневник обрывается до 1809 г.

Варшава, пережившая на рубеже XVIII—XIX вв. один из самых важных периодов своей истории, гостеприимно встречает Гофмана, который, не оставляя службы, уже гораздо больше, чем в прежние годы, уделяет времени искусству — и живописи, и музыке. Он не только пишет музыку, но даже слышит свои вещи исполненными в театре². Однако и этот период жизни Гофмана прерывается довольно скоро. Наполеоновские войны меняют карту Европы: осенью 1806 г. Наполеон вошел в Варшаву и распустил прусскую администрацию. Гофман остается без службы и пытается просуществовать искусством. Отправив семью в Познань, он решает переехать в Берлин и найти себе какое-нибудь занятие. Но его усилия тщетны: его рисунки не покупают, музыкальные произведения не издают, никто не заказывает ему портретов. Наконец Гофман дает объявление в газете и в начале ноября 1807 г. получает приглашение занять место капельмейстера в бамбергском театре. Граф фон Соден, принимав-

² О пребывании Гофмана в Варшаве см. выше статью Игоря Бэлзы.

ший участие в руководстве бамбергским театром, приглашает Гофмана провести лето 1808 г. у него, под Бамбергом. В течение месяца Гофман сочиняет оперу «Напиток бессмертия» на текст Содена, выдержав тем самым как бы экзамен на звание музыканта. С начала сезона 1808/1809 гг. Гофман приступает к своим обязанностям. Платили ему очень мало, и он вынужден был, как когда-то в своем родном городе Кенигсберге, одновременно стать учителем пения.

С января 1809 г. Гофман снова ведет дневник. Этот год был для него годом, наполненным разнообразными трудами. *Nulla dies sine linea!** — его девиз. Он стремится осуществить, наконец, подлинную музыкальную карьеру, о которой давно мечтал, — пишет «*Miserere*» для австрийского эрцгерцога Фердинанда (январь—февраль), музыку к пьесе Коцебу «Привидение» (март) и другие произведения. Долго хлопочет о разрешении открыть школу пения и добивается своего. Все время расширяется круг его учеников.

Начинается столь важное и для Гофмана-музыканта и для Гофмана-писателя сотрудничество во «Всеобщей музыкальной газете». 11 января 1809 г. он обратился в редакцию с просьбой напечатать новеллу «Кавалер Глюк» и принять его в качестве сотрудника. 25 января редактор газеты Фридрих Рохлиц извещает его о согласии, и с этого времени до 1815 г. Гофман регулярно помещает в «Газете» свои статьи и рецензии.

Он полон творческих замыслов, но еще только нащупывает основное направление своей творческой деятельности — хочет написать оперу «Мост Мантбля» и работает над сценарием, пишет фортепианное трио, Пролог в честь возвращения гессенского принца Эмиля из похода, канцонетты. 11 октября состоялась премьера его оперы «Дирна» на текст Содена. Дирижировал сам автор, записавший в дневнике, что после успешного представления публика вызывала его. Этот успех открывал уже хорошие перспективы на будущее.

1810 год выпадает из дневника. Это год усиленной работы Гофмана в «Газете», когда появилось много его рецензий, в том числе и рецензия на Пятую симфонию Бетховена.

1811 год знаменует собой новый этап в жизни Гофмана. Он переживает великую любовь. Как и первая его горячая любовь к Доре Хатт, это любовь, вдохновленная музыкой. Юлиана Элеонора Марк (род. 18 марта 1796 г.) была его ученицей. Занятия с нею Гофман начал, как видно из дневника, еще в 1809 г., но тогда она не произвела на него никакого впечатления. Впервые имя Юлии упоминается 21 мая 1809 г. — она исполняла арию из оперы «Сарджино» и имела большой успех. Однако годы шли, и, подобно Пигмалиону, создав свой шедевр, Гофман влюбился, хотя с житейской точки зрения любовь 35-летнего учителя

* Ни дня без строчки! (лат.).

к 15-летней ученице не могла принести ничего, кроме страданий. Дневник рассказывает эту горестную повесть ежедневных страданий, напрасных надежд и горьких разочарований.

Если в 1809 г. в дневнике промелькнула загадочная *la biondina* *, то она так же быстро исчезает *roug toujours* ** после многозначительного замечания «здравый смысл». Но эта легкая интрижка была не похожа на любовь к Юлии, захватившей Гофмана целиком.

Уже с январских записей 1811 г. в дневнике появляется шифр «Ктх», означающий Юльхен. «Ктх» — Кетхен из Гейльбронна, имя героини одноименной пьесы Клейста «из рыцарских времен», повествующей о романтической любви.

Сначала эта любовь еще не причиняет ему страданий, и он пребывает «в прекрасном, поэтическом настроении, воодушевленный великолепным пением Кетхен из Гейльбронна» (28.I.1811). Но постепенно любовь охватывает его все сильнее, и он начинает понимать, что ему трудно противостоять этому чувству: «Ктх: *plus belle que jamais et moi—amoureux comme quatre vingt diables*» ***, — пишет от 5 февраля 1811 г. 16 февраля он замечает: «это романтическое настроение охватывает меня все больше, и я боюсь, как бы оно не привело к несчастью». Каждый день заканчивается, как заклинанием, шифром «Ктх». «Здравый смысл» уже бессилён: в дневнике впервые появляются столь характерные для Гофмана мотивы — «безрассудство и страдания», «экзальтация», «энтузиазм» и др. «Черт побери это странное настроение, — пишет он 28 февраля, — я или застрелю себя, как собаку, или сойду с ума!» Ко дню рождения Ктх он посылает ей сонет, рисующий расцвет весны и чувства (см. стр. 622). Однако проза жизни тоже властно заявляет о себе. Ему приходится выдержать необычайно унижительный разговор с мадам Марк, после которого он сразу обращается к антрепренеру Францу Гольбейну, актеру и драматургу, с просьбой помочь ему переехать в другой город. Но Гольбейн пожелал, чтобы Гофман остался в Бамберге, и поэтому нужно было покориться. Гофман пытается забыться и трудится с особенным рвением: сочиняет музыку к мелодраме «Саул», рисует эскизы фресок, ведет занятия с учениками. Но, хотя записи и зашифрованы, его любовь — не секрет для его жены Михалины. После сцены ревности, разыгравшейся 18 мая, фрау Миша уносит к себе дневник, так и оставшийся на этот год незавершенным.

Среди событий творческой жизни Гофмана в 1811 г. весьма интересной является его работа над фресками старой готической башни в Альтенбурге, эскизы которых упоминаются в дневнике 22 апреля—11 мая. В тот год башня реставрировалась, и созданные Гофманом фрески представляли собой историю пленения графа Адальберта фон Бабенберга.

* Блондинка (ит.).

** Навсегда (фр.).

*** Ктх: прекрасна, как никогда, и я — влюблен, как сто чертей (фр.).

Среди нарисованных фигур многие были портретами и один из них — портретом самого Гофмана³.

В начале сентября 1811 г. умер дядя Гофмана Отто Вильгельм Дерфер, и его душеприказчик перевел Гофману некоторую сумму, однако дела Гофмана были столь запутаны, что получение наследства растянулось на несколько лет и не принесло больших денег. Приходилось надеяться только на свои силы.

Наступает 1812 год — год, когда любовь к Юльхен достигла наибольшей силы. Это чувствуется с первых же записей. Гофман уже не пытается уверить себя, что это лишь поэтическое настроение, а мечется в поисках выхода: «Как и что? — Поспешные решения — Потом будь что будет — Это должно — Это должно быть решено», — записывает он 5 января. Выходов два: бежать или... убить себя. Несколько раз возвращается он к мечте об Италии, которая для него раньше была только обетованной землей искусства, а теперь может стать спасением. Появляется в дневнике и изображение пистолета, который Гофман рисует как символ самоубийства.

Однако ни того, ни другого ему не дано. Ему приходится жить и ежедневно, ежечасно, ежеминутно бороться с самим собой. Отрывочные, лихорадочные фразы дневника запечатлевают эту борьбу. И ни на одно мгновение он не перестает наблюдать за самим собой. Он как бы хочет познать не только предмет своей любви, но прежде всего самого себя, измерить силу и глубину своего чувства: «Наблюдения над самим собой — которому грозит гибель — что-то необычное, еще неизведанное», — записывает он 5 февраля 1812 г. И уже тогда — тогда! — мы встречаем многозначительную запись: «Наблюдения над самим собой — постоянные мысли (Ктх) могут превратиться в навязчивую идею! — *Музыкальный роман* (8. II; курс. мой. — О. Л.). Здесь уже зародыш будущей «Крейслерианы» и «Кота Мурра». В его воображении любовь неотделима от музыки — «и любовь мелодия...»

Стремясь скрыть свои чувства, Гофман, как и Данте, прибегает к помощи «дамы-ширмы»: он открыто ухаживает за артисткой бамбергского театра Нейхерр, но, увы, иногда и не только для того, чтобы окружающие не догадались о его чувствах к Ктх, а и для того, чтобы вызвать ее ревность, так как сам мучается ревностью. Все чаще на страницах дневника появляется слово «безумие». Впервые мы встречаем его еще 6 января 1811 г.: «... напряженное состояние вплоть до мыслей о безумии, которые часто приходят мне в голову, — пишет он. — Почему и во сне и наяву я так часто думаю о безумии?»

Вспоминается пушкинское «Не дай мне бог сойти с ума», которое звучит так же трагично и естественно, как и эти слова Гофмана о безу-

³ См.: E. T. A. Hoffmanns Briefwechsel. Gesammelt und erläutert von Hans von Müller und Friedrich Schnapp. Hrsg. von Friedrich Schnapp, Bd I. München, Winkler-Verlag, 1967, S. 338.

мии. Конечно, виной этому была не только внезапно вспыхнувшая любовь, — но и вся обстановка, окружавшая Гофмана в Бамберге, — тяжелое зависимое положение, неудачи, неустроенность, невозможность осуществить творческие планы, недовольство собой, тупость и пошлость высокомерных обывателей. Достаточно почитать «Крейслериану», рисующую не только музыкальные страдания капельмейстера Крейсlera, но и более горькие, душевные. Все, что ему пришлось пережить и перечувствовать, Гофман выразительно описал своему единственному настоящему другу в Бамберге — доктору Шпейеру, кузену Юлии, вскоре после того как уехал из Бамберга (письмо от 13. VII. 1813⁴). Пишет он и о том, что все чаще вынужден был прибегать к вину, как средству забыться.

История его любви к Юлии, любви платонической и безнадежной, развивается чрезвычайно драматично: «Моя ярость и боль дошли до такого предела, что, вероятно, будут иметь какие-то последствия», — пишет он 30 января 1812 г. Иногда ему кажется, что он уже преодолел это чувство и оно ему уже больше не опасно, иногда проникается самыми разнообразными надеждами, которые появляются всякий раз, когда Юльхен нежна и любезна. «Нет ничего невероятного, что не могло бы произойти на самом деле» (26. III), но через несколько дней записывает: «Был настроен отвратительно, так как пришел к убеждению, что... я был ужасным идиотом» (2. IV). Сами по себе эти записи чрезвычайно человечны, но вот рядом появляются другие — в которых уже весь Гофман: «Божественная ирония!! — взывает он, — великолепнейшее средство скрыть и изгнать безумие, — помоги мне!» (29. IV). Так и слышатся слова советницы Бенцон, обращенные к Крейслеру: «вы... с... вашей фантастической восторженностью, с этой душераздирающей иронией... вносите полнейший диссонанс во все общепринятые человеческие отношения...».

Среди всех этих борений вдруг как будто неожиданные, но чрезвычайно многозначительные записи: «Теперь наступило время серьезно поработать *in litteris* *» (29. IV); «...это очень странно, что в голове постоянно вертятся Ктх и музыка» (30. IV). В этот период он начинает «Часы просветления некоего безумного музыканта» (18. V. 1812) — прообраз будущего романа «Житейские воззрения кота Мурра». Пройдет еще много лет, прежде чем эта идея «музыкального романа» наконец обретет плоть и кровь, и то, что в течение этих лет воспоминания о пережитом не заглохли, а, напротив, очистились от всего наносного и зазвучали столь возвышенно, свидетельствует и о силе чувства и о силе таланта Гофмана.

События между тем развиваются стремительно. В Бамберг приезжает из Гамбурга сын коммерсанта, ставшего сенатором, Грпель, который, по

⁴ «Briefwechsel», I, 392—398.

* В литературе (лат.).

желанию мадам Марк, должен жениться на Юлии. Узнав об этом, Гофман с горькой иронией записывает: «Судьба желает добра мне и моему творчеству» (30.III); «Я доволен собой — деятельность оживляет меня» (19.V). Но любовь оказывается сильнее всего, и вот Гофман снова «совершенно болен от любви и от безумия» (29.VI). Именно тогда он сочиняет посвященную Юльхен арию «*Mi lagnerò tacendo*»*. Стремясь заглушить «безумные порывы, которые... влекут меня к гибели» (16.VII), Гофман усиленно работает, чтобы отвлечься от «известной навязчивой идеи», которая «берет верх над всем» (9.VII). 10 августа, узнав о помолвке Юлии, он в отчаянии пишет: «Удар нанесен! — Возлюбленная стала невестой этого проклятого осла-торгаша, и мне кажется, что вся моя музыкальная и поэтическая жизнь померкла — необходимо принять решение, достойное человека, каким я себя считаю, — что за дьявольский день».

Ему не удалось легко пережить этот удар. «Я сознаю, что великая мечта обманула меня», — записывает он 13 августа, однако все еще питает «разнообразные надежды, ... которые могут свести с ума» (29.III). Вскоре наступила развязка. 6 сентября на загородной прогулке в Поммерсфельдене разыгралась тяжелая сцена: измученный переживаниями последних недель, потерявший контроль над собой, Гофман оскорбляет пьяного жениха и мадам Марк. Попытки извиниться и возобновить уроки и прежние отношения были безуспешны. Впервые он снова видит Ктх уже только через две недели на исполнении «Реквиема» Моцарта, в котором они оба принимают участие. Но это уже одна из их последних встреч. 3 декабря Юлия вышла замуж за «проклятого осла-торгаша». 18 декабря Гофман наносит прощальный визит молодой фрау Грпель. 20 декабря она уезжает из Бамберга. И теперь для Гофмана в Бамберге «отвратительно, пошло и пусто» даже в веселую новогоднюю ночь 1813 г.

Тяжелые переживания, связанные с Юльхен Марк, совпали со временем крайней нужды, когда Гофман должен был даже продать «старый фрак, чтобы только можно было хоть немного пожрать» (26.XI). Приходится снова обращаться к Кунце, хотя дружба с этим человеком никогда не была настоящей, и между ними часто возникали ссоры. Карл Фридрих Кунц — фигура чрезвычайно своеобразная. Виноторговец и затем издатель, он был владельцем библиотеки в пять тысяч томов, составленной весьма оригинальным способом: большая часть книг была прислана Кунцу книгоиздателями и авторами в обмен на содержимое его погребов. Очень характерны портреты Кунца, сделанные Гофманом (см. вклейку), — крупный, толстый человек с выражением крестьянской хитрости на лице. Кунц был первым издателем Гофмана. Впоследствии, в 1835 г., вышли его воспоминания, в которых он стремился представить себя другом и благодетелем Гофмана⁵.

* Жалуюсь молча (ит.).

⁵ «Supplemente zu Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann's Leben». — «Phönix», 1835.

Начало 1813 г. — очень грустное время для Гофмана: «Безразличное, опустошительное и опустошенное настроение. — Удивительно, что все краски как бы исчезли из жизни, и кажется, что чувство это проникло гораздо глубже, чем я это представлял. *Ктх—Ктх*», — пишет он 16 января.

Единственное, что его поддерживает, — это творчество. Именно в это время Гофман начинает работать над своим самым большим музыкальным произведением — оперой «Ундина». Мысль написать оперу на этот сюжет возникла еще летом 1812 г. В письме Хитцигу от 1 июля 1812 г. Гофман очень поэтично рассказывает о том, как он провел две недели с женой в Альтенбурге, где жил в башне, которую расписывал летом 1811 г.: «Буря, дождь, потоки низвергавшейся воды постоянно напоминали мне о дядюшке Кюлеборне⁶, которого я призывал успокоиться, и так как он был столь невежлив, что ничего не ответил мне, то я решил накрепко сковать его с помощью таинственных существ, называемых нотами! — Другими словами: «Ундина» должна дать мне великолепный сюжет для оперы!»⁷ Через Хитцига Гофман получает обещание Фуке составить либретто будущей оперы. 15 августа Гофман пишет Фуке письмо об «Ундине», восторженно благодаря его за согласие написать либретто⁸. Особенно интересно то, что он рассказывает, как в его воображении образы поэмы уже при чтении выступают в музыкальном облике. 14 ноября 1812 г. Гофман записывает в дневнике: «Получил оперу «Ундина» — выдающийся шедевр» и уже в письме Хитцигу от 30 ноября пишет, как он работает над оперой: «...когда я освобождаюсь от своих занятий, то спешу в 7 часов вечера с «Ундиной» в кармане в один расположенный... неподалеку кабачок, соединенный с театром [«Роза»], где я в укромном уголке выкуриваю трубку, пью чай и — сочиняю. В 9 часов приходят многочисленные друзья из театра... обыкновенно мы расстаемся в половине одиннадцатого — я сажусь за свое фортепиано — раскрытая «Ундина» передо мной, и только тут я начинаю по-настоящему вдохновенно сочинять — вот так это происходит, так что я, когда заканчиваю, очень быстро и не меняя ни единой ноты, переписываю весь кусок»⁹.

Одновременно с сочинением «Ундины» Гофман работает и для «Музыкальной газеты» — пишет рецензию на Трио Бетховена, ор. 70.

Творчество помогает Гофману не только забыть и отвлечься, запечатлеть «пестрый мир, заключенный в моей черепной коробке» (1. X. 1804), но и снова ощутить себя человеком, стоящим выше окружающей его среды и человеком искусства. Очень характерна запись 10 февраля 1813 г.: «Получил новый импульс из-за «Титуса», в поста-

⁶ Персонаж поэмы Фуке, водяной.

⁷ «Briefwechsel», I, 338—339.

⁸ Подробнее об этом см. прим. стр. 627, 629.

⁹ «Briefwechsel», I, 358. Это описание напоминает запись 2 октября 1803 г., где Гофман рассказывает о том, как он погружается в свои музыкальные видения, чтобы потом быстро записать их за фортепиано.

новке которого я принимаю участие, — хоры — *чувство собственного достоинства*».

И все же он стремится уехать из Бамберга. Уже в начале января возникает план переезда в Вюрцбург, оставшийся неосуществленным, а 27 февраля Гофман получает от антрепренера оперной труппы Иозефа Секонды приглашение занять место музыкального директора в Лейпциге. До отъезда из Бамберга, 18 марта, в памятный и дорогой для него день рождения Юльхен, Гофман заключает с Кунцем первый контракт на издание своих литературных сочинений — у него уже созрел замысел «Фантазий в манере Калло»¹⁰.

21 апреля Гофман с женой покинули Бамберг. Начинаясь новый период его жизни. Весь этот год наполнен грохотом войны. Если и раньше наполеоновские походы, завоевания и реформы оказывали огромное влияние на судьбу Гофмана, то теперь Гофман и очевидец, перед глазами которого разворачивается заключительный акт наполеоновской эпопеи. Судьба, как нарочно, приводит его в города, в которых разыгрываются последние сражения, — Дрезден и Лейпциг.

Задержавшись ненадолго в Дрездене, Гофман с женой 20 мая выезжают в Лейпциг, и по дороге их дилижанс попадает под обстрел. Михалина была ранена в голову, но, к счастью, не опасно, а сам Гофман, очевидно, перенес легкую контузию.

В Лейпциге ему приходится погрузиться в каждодневную театральную работу — утром утомительные репетиции многочисленных опер, вечером спектакли. Однако время военное, и «театральные дела идут плохо» (8. VI). Выясняется, что труппа Секонды будет играть в Дрездене — 24—25 июня Гофман снова едет в Дрезден. 2 июля он с гордостью записывает: *«Итак, я выступал как дирижер там, где Паэр в первый раз дирижировал оперой. Очень хорошее настроение, несмотря на великую нужду»*. Это — еще одно свидетельство того, какую роль играла музыка в жизни Гофмана. Одновременно Гофман усиленно работает над «Ундиной», уже печатаются «Фантазии», он получает от Кунца первые листы и пишет продолжение — «Магнетизера».

25 августа Гофман впервые видит Наполеона, который руководит военными действиями, развернувшимися под Дрезденом. Он встречает императора, после сражения переезжавшего через мост. Несмотря на обстрел, неизвестность, голод, «огромную усталость и истощение» (20. X), Гофман необычайно плодотворно трудится в самых разнообразных жанрах: продвигается «Ундина», по горячим следам событий создается статья «Поэт и композитор».

3 ноября — первое сообщение о капитуляции Дрездена. Французы разбиты и сдаются в плен. «Свобода! — Свобода! — Свобода! — пишет Гофман Кунцу 17 ноября 1813 г. — Сбылись мои прекраснейшие надежды, и подтвердилась моя непоколебимая уверенность, которую я верно

¹⁰ См. стр. 631 наст. изд.

сохранял в самые тяжелые времена»¹¹. Несмотря на пережитые волнения и многочисленные лишения, Гофман испытывает подъем радостных чувств, и его творческая энергия бьет ключом: 26 ноября он начинает «дрезденскую сказку» «Золотой горшок», которая является программной для его творчества.

9 декабря он снова переезжает в Лейпциг. «И вот я прожил в высшей степени примечательный год! — записывает он в дневнике 31 декабря. — Что принесет новый? Хочу надеяться — хорошее!»

Начало 1814 г. отмечено тем же высоким творческим подъемом, который был характерен для Гофмана в последние месяцы минувшего года. Он пишет «Письмо обезьяны Мило», «Автоматы», продолжает работу над «Ундиной» и особенно вдохновенно трудится над сказкой «Золотой горшок», не подозревая, что над его головой собираются тучи. 15 февраля он завершает сказку и испытывает особенно радостное чувство. Тем временем его отношения с Секондой, на «ослиную глупость» которого он не раз жалуется в дневнике, чрезвычайно обостряются, и одна за другой следуют записи: «25 [февраля]. Ссора с Секондой»; «26: *Извещение об отказе от места!! Сегодня Секонда отказал мне от места — ошеломлен* — я должен был присутствовать на репетиции с неопишуемым чувством — вся моя карьера меняется во второй раз!! Мужество покинуло меня».

И действительно, конец службы у Секонды знаменует собой конец музыкально-театральной деятельности Гофмана. Разумеется, если не считать работы над оперой «Ундина», закончившейся 5 августа 1813 г., и последующей ее постановки в 1816 г. Но «Ундина» целиком принадлежит этому периоду. Карьера учителя пения, театрального художника и декоратора, дирижера и композитора завершилась. С этого времени все интересы Гофмана сосредоточиваются на литературе, в которой он продвигается гигантскими шагами.

После того, как Гофман потерял место в театре, он в первое время лихорадочно ищет выхода: рисует злободневные политические карикатуры, обращается в «Музыкальную газету» и в «Эlegantную газету» с просьбой о заказах рецензий, в апреле начинает «Эликсиры сатаны», которые пишет с величайшей поспешностью. Дневник точно фиксирует его состояние: отныне он настолько занят, что изменяет даже своему прежнему лапидарному стилю и пишет только: «Работал».

Одно за другим заканчивает он литературные произведения: в начале мая «Эликсиры», затем «Бландину», затем «Окружного егеря». Одновременно он начинает подумывать о возвращении на поприще юриста. 6 июля в Лейпциг приезжает его старинный друг Гиппель, который хлопочет о нем в высоких сферах Берлина. Уже в начале сентября Гофман получает предложение занять место в министерстве юстиции; после недолгих колебаний он принимает это предложение и в конце сентября уезжает в Берлин. *Wanderjahre* капельмейстера Крейслера закончились.

¹¹ «Briefwechsel», I, 417.

В Берлине Гофман попадает в кружок близких ему литераторов — он знакомится с Фридрихом де ла Мотт Фуке¹², возобновляет знакомство с Адальбертом Шамиссо, Христианом Контессой. Все это способствует возникновению многочисленных литературных замыслов, упоминаемых в дневнике. И хотя по утрам Гофману, как и когда-то, приходится заседать на сессиях, он завершает рассказы: «Приключения в новогоднюю ночь», «Фермату», цикл «Крейслерианы», начинает «Артусов двор».

С помощью Фуке Гофман усиленно хлопочет о постановке «Ундины» — но об этом мы не узнаем из дневника — он обрывается 3 марта 1815 г. Впереди было еще одно семилетие трудов, борьбы, творчества и литературной славы.

* * *

Дневник Гофмана не только дает последовательную картину событий его жизни, но и очень ярко характеризует его как личность. Здесь необходимо отметить одно обстоятельство. Чтобы правильно понять не только содержание, но и стиль дневниковых записей, нужно прежде всего иметь в виду то, что сам Гофман превыше всего ставил творчество и рассматривал самого себя как инструмент искусства. Именно поэтому он уделяет такое внимание своему настроению или, вернее, смене настроений («как обычно, меняющееся настроение» — пишет он 19—27. III. 1814). Он боится только одного — перегрузки непродуктивными занятиями, усталости, потери творческой энергии.

Поэтому он почти всегда пишет о своем состоянии, настроении, причем имеет в виду именно это расположение к творчеству, *Lust zu fabulieren*. Если он пишет «ничего», то это не столько отсутствие событий, сколько обозначение того, что ему не удалось ничего сделать за этот день. «Ничего не сделал. О горе!!!!!!!» (16. I. 1811); «Я доволен собой — деятельность оживляет меня» (19. V. 1812); «... внутренние упреки по поводу большой лени и равнодушия. — Я должен найти в себе силы для деятельности» (21. I. 1813) — таков лейтмотив очень многих записей.

И, конечно, в своем дневнике Гофман прежде всего предстает как музыкант. Это сказывается во всем. От большого — изложения взглядов на музыку, творчество, музыкальных идеалов — до мелочей, чисто музыкального способа выражения: «Ktx crescendo» (8. III. 1811); «piano настроен» (15. VI. 1812); «настроение перешло в *descrescendo*» (13. VIII. 1812), так что даже можно поверить, что он «заколетса увеличенной квинтой», хотя в таких случаях чаще появляется револьвер.

Даже страдания его — «музыкальные»: «Вечером отвратительный музыкальный разговор в «Музеуме». — Позднее невыносимая нервная головная боль» (13. III. 1813); «Был расстроен из-за двух маленьких крикунов» (24. II. 1811); «Днем ... пришел в невероятное раздражение из-за плохой музыки» (8. II. 1815) и т. д.

¹² Переписка с ним началась значительно раньше — в период работы над «Ундиной».

Из дневника мы узнаем, что он сам не только преподавал пение своим ученицам, но и исполнял различные теноровые партии: пел арию Бельмонте в резиденции герцога Баварского (17. I. 1809), в церкви с хором — мессу Гайдна (I. VI. 1809), на концерте пел дуэт с Юльхен (4. I. 1812), принимал участие в исполнении «Реквиема» Моцарта (30. IX. 1812) и др.

Весьма четко определяются его музыкальные симпатии: Гайдн, Моцарт, Бетховен — наиболее чтимые им композиторы. В дневнике мы находим меткую характеристику инструментальной музыки Гайдна (7. X. 1803; 7. II. 1804), которая прекрасно дополняется впоследствии высказываниями Крейсlera. Гофман считал, что Гайдн должен быть для него самого образцом при создании инструментальной музыки. Перед Моцартом Гофман преклонялся: постоянные упоминания о Моцарте в различных произведениях Гофмана, новелла «Дон Жуан», соединяющая в себе все достоинства профессионального музыкального анализа с глубочайшим постижением моцартовского шедевра, то, что в честь Моцарта Гофман переименовал одно из своих имен — Вильгельм — на Амадей — все это говорит само за себя. И в дневнике много раз встречаются имя Моцарта и названия его произведений; весьма интересна неожиданная характеристика вокальной музыки Моцарта (7. II. 1804).

Имя Бетховена также встречается в дневнике множество раз: мы узнаем, как работал Гофман над бетховенскими сочинениями, когда писал рецензии для «Музыкальной газеты». Можно без преувеличения сказать, что Гофман сделал очень много для правильной оценки бетховенского творчества, положив начало углубленному его изучению.

И не было для него большей награды, чем письмо, написанное Бетховеном, тогда уже знаменитым маэстро:

Вена, 23 марта 1820

Ваше превосходительство

Я пользуюсь предоставленной мне господином Неберихом возможностью приблизиться ко столь выдающемуся человеку, каким Вы являетесь —

Вы написали о моей скромной особе, и наш *слабый* господин Штарке показал мне в своем альбоме несколько Ваших строк обо мне, я, стало быть, Вам не совсем безразличен; позвольте сказать Вам, что мне отменно внимание человека столь превосходных качеств, как Вы.

Я желаю Вам всего лучшего

С уважением
Вашего превосходительства
покорнейший слуга
Бетховен¹³

¹³ «Briefwechsel», II, 245. Штарке Фридрих (1774—1835) — полковой капелмейстер, валторнист и композитор в Вене. В своем письме Бетховен шуточно обыгрывает фамилию Штарке (stark — по-немецки «сильный»), давая ему противоположное определение — «слабый» (schwach).

Hand. op. Beethoven 121
autogr.

Handwritten note in the top right corner, possibly a date or recipient's name.

Ihre Hochachtung

Handwritten letter text, starting with "Ich erlaube mir..." and ending with "Mit Hochachtung".

Beethoven

Письмо Бетховена Гофману

В конце марта 1820 г. в бетховенской разговорной тетради неизвестный собеседник Бетховена пишет великому композитору: «В «Фантазиях» Гофмана много говорится о Вас. Гофман был музыкальным директором в Бамберге, теперь он государственный советник. В Берлине ставилась его опера». На это Бетховен отвечает каламбуром: «Hoffmann — du bist kein Hof-mann» (непереводимая игра слов: «Гофман — ты не царедворец») ¹⁴.

Необычайно интересны также упоминания о знакомстве Гофмана с будущим автором «Гугенотов» — Мейербером, тогда еще выступавшим как пианист, и особенно с Карлом Марией фон Вебером, который вошел в историю музыки как создатель первой романтической оперы «Фрейшютц», но в лице Гофмана имел своего предшественника — ведь «Ундина» была поставлена на сцене берлинского театра в 1816 г., опередив на несколько лет «Фрейшютца». «Ундина», прошедшая в сезон с необычайным успехом, погибла при пожаре театра и была восстановлена лишь в начале XX в. Поэтому подлинная роль Гофмана в создании романтической оперы была известна в основном людям, которые специально занимались этим вопросом.

Характеристика музыкальной деятельности Гофмана периода 1809—1815 гг. была бы неполной без упоминания его сотрудничества во «Всеобщей музыкальной газете». Интересно, что эта крайне важная и плодотворная работа приходится именно на эти годы. 11 января 1809 г., как мы уже говорили, Гофман впервые обращается к Рохлицу с просьбой напечатать «Кавалера Глюка» и принять его самого в качестве сотрудника. До 11 января 1815 г. — даты последней публикации рецензий — Гофманом было написано множество статей, посвященных самым разнообразным вопросам. Здесь и симфоническая музыка, и вокальная, музыка духовная и музыка для театра. Особого внимания заслуживают рецензии на бетховенские сочинения, особенно такие крупные, как Четвертая и Пятая симфонии, Фантазия для фортепьяно, хора и оркестра ор. 80, Месса C-dur, Трио ор. 70, увертюра к «Кориолану», увертюра к «Эгмонту», оратория «Христос на горе Елеонской», а также статья «О старинной и новой церковной музыке», рецензия на «Ифигению в Авлиде» Глюка и др. Работа Гофмана во «Всеобщей музыкальной газете» имела огромное влияние на развитие немецкой музыкально-критической мысли и подготовила будущие выступления Шумана в этом же жанре.

Дневники Гофмана дают богатый материал для того, чтобы представить себе и разностороннюю театральную деятельность Гофмана. Еще в раннем дневнике 1804 г. (6 февраля) он упоминает о том, что, просмотрев несколько спектаклей, хотел бы написать о них для газеты. В дальнейшем его интерес к театру приобретает уже вполне профессиональный характер, тем более что с 1809 г. он работает в качестве дирижера, а с 1812 г. и в качестве театрального архитектора, где ему прихо-

¹⁴ «Briefwechsel», II, 245.

дится трудиться «как лошадь» (1. I. 1812): он рисует картины для театра (24. III. 1811), декорации (23. I. 1812; 27. I. 1812 и др.), расписывает занавес (18. II. 1812), принимает участие в организации зрелищных эффектов.

Но интерес Гофмана к театру не сводится к музыкальной стороне, когда он работает как дирижер, или к зрелищной, когда он трудится как декоратор. Его интересует весь комплекс вопросов, связанных с театром. И можно без преувеличения сказать, что значение и глубокое понимание принципов театрального искусства помогло в дальнейшем Гофману в его литературной деятельности: острый, драматически развертывающийся сюжет, умение в немногих словах дать портрет, общий живописный колорит произведения — все это, несомненно, приобретено и работой в театре, и глубоким изучением драматургии.

Среди драматургов кумиром Гофмана был Шекспир, подобно тому как среди музыкантов — Моцарт. С Шекспиром мы сталкиваемся на первой же странице дневника. И далее имя Шекспира неоднократно упоминается. Одна из частей «Крейслерианы» — «Совершенный машинист» — заканчивается достопамятным монологом почтенного ткача Основы из «Сна в летнюю ночь». В дальнейшем Гофман обращается к шекспировским пьесам и в поисках сюжета для оперы. Однако замыслы «Виндзорских проказниц» и «Ромео и Джульетты» остались неосуществленными.

Обращается Гофман и к величайшему испанскому драматургу — Кальдерону. В 1806—1808 гг. он пишет оперы на текст пьесы Кальдерона «Цветок и перевязь», и в дневнике встречаются упоминания о хлопотах Гофмана в связи с постановкой этой оперы. Гофман задумал написать музыку и к другой пьесе Кальдерона — «Мост Мантибля».

Среди отечественных драматургов, чьи имена мелькают на страницах дневника (Клейст, Иффланд, Вернер, Коцебу и др.), Гофман особенно высоко ценил Шиллера; к постановке «Мессинской невесты» он написал марш и хоры.

Дневник не отразил, к сожалению, глубокого интереса Гофмана к итальянскому театру, в частности, к итальянской народной комедии, нашедшей столь яркое отражение в «Принцессе Брамбилле».

Мы уже упоминали о том, что в начале своего творческого пути Гофман колебался в выборе между музыкой и живописью, к которой его сильно влекло. В дневнике содержатся многочисленные сведения и о занятиях Гофмана живописью, причем в самых разнообразных жанрах. Уже на первой странице дневника Гофман пишет о своих копиях рисунков с этрусских ваз; затем сообщает о замыслах картин «Освящение креста» и «Битва при Абукире» (16. I. 1804); в 1809 г. он рисует портрет трех детей консульши Марк; в 1811 г., как мы уже говорили, создает фрески в готической башне Альтенбурга, в 1812 г. — расписывает павильон в саду Маркуса, пишет портрет семьи Кунц, в 1814 г. рисует злободневные карикатуры, посвященные крушению наполеоновской импе-

рии. Все это — не считая многочисленных рисунков, эскизов, карикатур, сделанных им просто для себя.

Живопись — вторая после музыки страсть Гофмана, и недаром в решающие дни 1814 г., когда грохот сражения раздавался уже у ворот Дрездена, Гофман проводит многие часы в Галерее, где любимые им старые немецкие мастера — Дюрер, Гольбейн — помогали ему переносить тяжелые испытания.

Интересны и свидетельства дневника о литературных симпатиях и антипатиях Гофмана. Так, он сообщает о чтении «Кандида» Вольтера (7. I. 1804), и ему импонирует сарказм фернейского философа; в тридцатый раз перечитывает он «Исповедь» Руссо, читает Гете (на текст которого ранее написал зингшпиль), внимательно штудировал лекции Шлегеля о драматическом искусстве, изучает натурфилософию Шеллинга, с увлечением читает романтиков — Новалиса, Тика, Арнима и др. Уничтожающую характеристику дает он забытым ныне морализаторским романам Крамера, которые были популярны в свое время (8. X. 1803). Все это также подготавливает неповторимый гофмановский стиль.

Но, разумеется, наиболее интересны собственно гофмановские мотивы, которые появляются в дневнике в виде отдельных мыслей и высказываний.

Один из самых характерных мотивов творчества Гофмана — противоречие прозы жизни и поэзии, стремления к возвышенному. В дневнике он не раз возвращается к этой мысли, то с горечью, то с иронией. Уже в ранних дневниках мы встречаем записи, рисующие повседневную жизнь Гофмана, весьма далекую от поэзии: томительная скука судебных заседаний, копанье в пыльных актах и реляциях, бесконечные письма издателям с предложениями напечатать сочинения молодого автора, многочисленные просьбы и напоминания о деньгах, ссоры с хозяевами из-за задержанной квартирной платы, записи гонораров и расходов, пометки о крупных и мелких займах. Не менее тяжелы и «музыкальные страдания». Еще будучи юристом в Плоцке, Гофман музицирует по вечерам в обществе любителей и испытывает мучения от тщетных потуг бездарных провинциальных меломанов. В Бамберге, где он становится уже профессиональным музыкантом, ему приходится еще больше страдать от неустроенности и необходимости присутствовать в гостиных местных видных дам. Лаконичные дневниковые записи о чаепитиях у мадам Марк или графини Ротенхан развертываются в «Крейслериане» в сатирические зарисовки глупости, косности, невежества и претенциозной игры в искусство, когда музыка на подобных «музыкальных» чаепитиях подается наравне с ромом и мороженым. Все эти переживания и впечатления Гофман определяет как «смехотворность обыденной жизни» (8. II. 1813).

Но возвышенная любовь к искусству и привязанность к Юлии, составляющие другую сторону его существования, оказывают на Гофмана самое сильное и благотворное влияние. Поэтому рядом с этой прозой

очень скоро возникают слова «поэзия», «поэтический», определяющие для него все лучшее в жизни. Не раз он записывает: «поэтическое настроение» (19.23.24.IV.1812 г.); «настроен на чистый, поэтический лад» (7.V.1812). Особенно интересна запись от 4 января 1812 г.: «... горький опыт — столкновение поэтического мира с прозаическим». Отсюда уже один шаг к творчеству, которое питается жизненными впечатлениями: «О дьявол, — дьявол, — записывает он 19 января 1812 г., я думаю, что в этом демоне скрывается нечто в высшей степени поэтическое, и нужно видеть в Ктх только маску».

Одновременно со словом и понятием «поэзия», «поэтический» возникает другое — «фантазия». Это понятие у Гофмана необычайно широкое и емкое, встречающееся в самом разнообразном контексте. Он подразумевает под ним и свои мысли, и мечты, и сны, и идеи, и творческие замыслы. «Фантазировал на старый лад — *la biondina*» (18. VIII. 1809); «меня лихорадило, и я фантазировал» (10. I. 1811); «это настроение было испорчено странными фантазиями» (15—18. V. 1812) и др. И, наконец, самая интересная запись, во многом объясняющая для нас не только особенности творческой манеры Гофмана, но и судьбу его литературных произведений.

Август 1814 г. Уже более полутора лет прошло с тех пор, как Гофман в последний раз сказал «Прощай!» своей великой любви и знак «Ктх» исчез со страниц дневника. И вот после всех событий, скитаний и потерь, 28—31 августа он записывает: «Внутренний поэт созидает и парит над *Criticus* * и над внешним художником — романтическое настроение в отношении Кетхен, которое пробудилось, будет живо во мне, и утверждает свое старое право сводить меня с ума с помощью *Fantasmatis* **».

Здесь Кетхен уже не столько имя юной расцветающей девушки, сколько романтический идеал, импульс к творчеству. Несчастливая любовь делает его подлинным поэтом, и очень скоро Юлия появляется в его творчестве в самых разнообразных воплощениях, не только запечатлевших его любовь к ней, но и попытки угадать ее подлинную сущность, ту загадку, о которой он пишет в дневнике¹⁵. Поэтому рядом с очень автобиографической мадемуазель Б. и Амалией Редерлейн («Крейслериана»), чистой и невинной Цецилией («Берганца»), кроткой и возвышенной Аврелией («Эликсиры сатаны») под его пером рождается вероломная и холодная Юлия («Приключения в новогоднюю ночь»). И эти образы сами по себе рассказы являются и порождением фантазии Гофмана и как бы его музыкальными импровизациями на тему: жизнь — поэзия — любовь — искусство — художник. Один за другим Гофман создает целый цикл рассказов, и недаром это свое первое крупное произведение он называет «*Фантазии* в манере Калло».

* Критиком (лат.).

** Порождения фантазии (лат.).

¹⁵ Записи 25.IV, 27.IV, 29.IV, 17.IX.1812 г.

Можно привести множество примеров того, как жизненные впечатления, зафиксированные Гофманом в дневнике, находят затем отражение в его творчестве. Так, чрезвычайно интересна запись от 9. II. 1812 г. о посещении им монастыря капуцинов, что впоследствии дало толчок к созданию «Эликсиров сатаны» и описаний пребывания Крейслера в аббатстве Канцгейм («Кот Мурр»); воспоминание о том, как он впервые увидел в госпитале сомнамбулу (21. XII. 1812), разработано Гофманом в рассказе «Магнетизер».

Многие важнейшие темы и мотивы творчества Гофмана тоже уже встречаются в дневнике — например, весьма характерно упоминание чтения им «Магии Виглебса (2. X. 1803), — вопросами которой Гофман, как и все романтики, чрезвычайно интересовался, что нашло отражение в «Золотом горшке», «Крошке Цахесе», «Повелителе блох» и других его произведениях, или мысль об изобретении автомата (2. X. 1803), развернутая Гофманом в новеллах «Песочный человек», «Щелкунчик», «Автоматы».

Именно в дневнике Гофмана впервые появляется слово «двойник» (6. I. 1804). 6. XI. 1809 г. он снова возвращается к этой мысли: «Странная идея, — пишет он, — ... я как бы смотрю на себя в увеличительное стекло — все фигуры, которые двигаются вокруг меня, — это я сам, и я досажаю на их поведение...» Эти многозначительные записи — предвестия будущего «Двойника».

Иногда одно только упоминание в дневнике названия или имени раскрывает для нас целую страницу жизни и творчества писателя. Так, 27. I. 1809 г. он делает пометку в дневнике: «Написал Куно по поводу Пролога в честь Каролины».

Каролина, дочь герцога Баварского-Биркенфельского Вильгельма, вышла замуж за наполеоновского маршала Бертье, получившего от императора титул герцога Невшательского. Когда за несколько месяцев до упоминания Гофманом в дневнике ее имени она посетила родителей, то Гофман в ноябре 1808 г. написал в ее честь пролог под названием «Паломница». Этот свой пролог Гофман со свойственным ему едким юмором высмеял в письме к Эдуарду Хитцигу от 1 января 1809 г.: «Я сочинил нечто в высшей степени сентиментальное с подобающей тому музыкой, — все это было исполнено — огни — рожки — эхо — горы — потоки — мосты — деревья — имена, вырезанные на коре, — цветы — венки — ничто не было пощажено; сочинение понравилось чрезвычайно и для полного умиления я получил от принцессы-матери вместе с весьма любезными изъявлениями благодарности 30 карлино... В известном месте пролога «Я иду — я лечу — я падаю в ее объятия... мать и дочь, в слезах, обнялись в герцогской ложе, в то время как публика иронически аплодировала...»¹⁶.

¹⁶ «Briefwechsel», I, 257.

После успеха «Паломницы» Гофман был приглашен в резиденцию герцога, где принимал участие в концерте, и гофмаршал заверил его, что супруга Пия — сына Вильгельма — герцогиня Амалия Луиза будет брать у него уроки пения, как только выздоровеет после легкого катара. И хотя уроков в резиденции Гофман впоследствии не давал, герцогская семья запечатлена им в «Житейских воззрениях Кота Мурра». Исследователь Отто Кратцер пишет, что Гофман в этом романе изобразил «...двор герцога Вильгельма Баварского, который вследствие Пресбургского мира¹⁷ должен был уступить свое герцогство Берг Мюрату и с 1806 г. имел резиденцию в Бамберге. В принце Игнатии, который должен был жениться на Юлии, можно легко узнать слабоумного сына герцога Вильгельма — Пия, который из-за многочисленных диких выходов был удален в Байрейт. Принцесса Амалия, учителем музыки которой Гофман надеялся стать, — прототип принцессы Гедвиги, в то время как ее жених, неаполитанский принц, очевидно, может быть идентифицирован с маршалом Бертье»¹⁸.

И несомненно, что столь красочное описание неудавшегося праздника в честь дня ангела княгини, открывающее роман¹⁹, дано по личным наблюдениям Гофмана над жизнью этого игрушечного двора во время исполнения двух его прологов, об одном из которых он упоминает в дневнике. Вряд ли, правда, образ принца наделен чертами характера прославленного маршала.

В отличие от тех писателей, которые в своем творчестве стремятся избегать всего, что связано с ними самими и их судьбами, Гофман сознательно подчеркивает автобиографические черты своих героев. Поэтому материалы дневника вдвойне ценны и как комментарий, раскрывающий и дополняющий эти произведения. Среди них в биографическом отношении особенно интересны те, которые были написаны по горячим следам событий, как, например, «Известия о последних судьбах собаки Берганца».

Эта новелла, входящая в «Фантазии в манере Калло», стоит в сборнике особняком. Ее можно было бы назвать литературным памфлетом, настолько каждая ее страница проникнута «горечью и злостью». Главным героем Гофман изобразил черного бульдога Берганцу, в котором, как предполагают, он изобразил пуделя из гостиницы «Роза» — Поллукса, сопровождавшего обычно Гофмана во время его долгих одиноких прогулок в Буге.

¹⁷ В Братиславе (называвшейся в империи Габсбургов Пресбургом) в 1805 г. был заключен продиктованный Наполеоном мир между Францией и Австрией, потерявшей Венецию, Истрию, Далмацию и признавшей королевство Италии. Была перекроена также Центральная Европа. В 1806 г. Наполеон провозгласил Баварию королевством.

¹⁸ *Kratzer Otto. Hoffmann und Bamberg. Bamberg, 1922, S. 22.*

¹⁹ См. стр. 108 наст. изд. и сл.

Берганца рассказывает автору горестную повесть о своей юной хозяйке, которая, как и рано скончавшаяся дочь Гофмана, носит символическое имя Цецилии. Описывает Берганца и маменьку Цецилии, еще весьма молодавую, но уже отяжелевшую и непременно желавшую блистать; она одержима манией заниматься всеми искусствами — сочинять музыку, рисовать, лепить, писать стихи, играть, представлять в живых картинах, а ее гости обязаны все это хвалить, тем более, что кухня и вино почтенной дамы и впрямь очень хороши.

Одного за другим изображает Гофман завсегдатаев салона мадам Марк — самого себя, Иоахима Иека — библиотекаря в Бамберге, философа Георга Клейна, ученика Шеллинга, драматурга и актера Франца Гольбейна, к которому он ревновал Юлию. Очень интересно описание живой картины, где героиня — великолепная певица — предстает в образе святой Цецилии Карло Дольчи — одного из самых любимых Гофманом произведений живописи²⁰. Далее дается уничтожающий портрет Грепеля, выведенного под именем Жорж, которого предусмотрительная маменька, желая поправить свои пошатнувшиеся денежные дела, специально приглашает приехать, чтобы он женился на ее дочери. Гофман вкладывает в уста Цецилии подлинные слова Юлии: «Они меня не понимают. — Никто — и моя мать тоже»²¹.

История Цецилии заканчивается гротескной картиной брачной ночи, когда рассвирепевший Берганца мертвой хваткой вцепляется в икры пьяного жениха.

Если «Берганца» — памфлет и своего рода литературная месть Гофмана, глубоко переживавшего потерю своего идеала, то диалог «Поэт и композитор» рисует нам Гофмана в дни обороны Дрездена. Приведем начало этого диалога: «Враг стоял у ворот; пушечные выстрелы гремели, как гром; огненные гранаты, шипя, пронизывали воздух. Жители с бледными от страха лицами спешили по домам, а на мостовой пустых улиц раздавался звук подков конных патрулей, с бранью гнавших отставших солдат к укреплениям. Один только Людвиг сидел в своей отдаленной комнате, погруженный в чудесный фантастический мир, вызванный им звуками фортепиано. Он только что окончил сочинение симфонии, в которой пытался выразить видимыми нотными знаками то, что прозвучало в глубине его души. . . В эту минуту вошла хозяйка и начала ворчать на жильца, что он бренчит на свое фортепиано в такую пору всеобщего бедствия, и что, верно, он хочет быть убитым на своем чердаке осколками бомб. Людвиг не сразу понял, что ему говорила хозяйка, как вдруг в эту самую минуту, с треском ворвалась в комнату граната, оторвав часть крыши и разбив вдребезги оконные стекла. Хозяйка с криком

²⁰ См. запись 6.IX.1813 г.

²¹ См. запись 25.IV.1812 г.: «В высшей степени любопытный разговор с Ктх: «Вы меня не знаете — моя мать также — никто — я должна многое глубоко прятать в себе — я никогда не буду счастлива». —

бросилась вниз по лестнице, а Людвиг, захватив поспешно то, что было для него всего дороже, т. е. партитуру своей симфонии, побежал вслед за хозяйкою в подвал».

Если сравнить эти описания, то они почти буквально повторяют дневниковые записи. Вот запись 26.VIII.1813 г.: «...Я наблюдал с чердака ужасную канонаду, удар за ударом. Как только я собрался идти домой, над моей головой пролетела граната и упала в десяти шагах от меня между телегами, нагруженными порохом! — вторая ударилась в крышу противоположного дома. — Все жильцы дома собрались на лестнице второго этажа, и каждую минуту мы слышали, как рвутся гранаты...»²²

Интересно отметить, что музыкант Людвиг, так же как и музыкант Гофман, занят не столько мыслью о том, как спастись от пуль и ядер, сколько мыслью о том, как сочетать музыку и поэзию, или, говоря прозой, как положить на музыку оперное либретто. Поэтому только первые две-три страницы диалога говорят о войне — весь он в основном посвящен вопросам роли поэта и композитора в создании оперы.

Здесь запечатлена углубленная работа Гофмана над «Ундиной», которая создавалась в июльские дни 1813 г., о чем свидетельствуют, например, лаконичные записи 3—13 июля: «В эти дни... усиленно и успешно работал над «Ундиной»»; «Продолжение ... трудовой отшельнической жизни...» (16—22.VII.1813).

Но, пожалуй, ни одно из гофмановских произведений не связано до такой степени с дневником, как «Крейслериана». Общий причудливо-иронический стиль, музыкальная стихия, пронизывающая все это произведение, которое действительно может быть названо «каприччио», многие мысли и даже отдельные реминисценции, целиком заимствованные из дневника, — все это воспринимается как развернутый художественный комментарий к дневнику странствующего энтузиаста Гофмана.

Каждый из разделов «Крейслерианы» запечатлевает какие-то события, отраженные в дневнике, и было бы чрезвычайно интересно проанализировать их с этой точки зрения, хотя это тема большой самостоятельной работы. Приведем только несколько примеров.

Второй раздел первой части «Крейслерианы» носит название «Ombra adorata» («Возлюбленная тень») — по названию арии Крешентини, которую тот сочинил для оперы Цингарелли «Ромео и Юлия». Эта ария была, очевидно, одной из самых любимых вещей Юльхен Марк. Впервые упоминание об этой опере мы находим 13.II.1811: «Вечером у Марк — Ромео и Юлия — экзальтированное романтическое настроение — Ктх». Через полтора года, 25.VII.1812 г., мы снова встречаем в дневнике запись: «Ombra adorata». И наконец 25.VIII.1812 г., когда Гофману уже известно, что Юльхен стала невестой Грелея, он записывает: «Вечером торжественный ужин у Марк... «Ombra adorata» — il mercante è

²² См. также записи от 8 и 9.V.1813 г.

un asino *. В «Крейслериане» эти записи под пером Гофмана раскрываются как откровения его большой души: «... тема... арии «Ombra adorata» ... проникая в самое сердце, .. выражает то состояние духа, когда он возносится превыше земных скорбей... Но что мне сказать о тебе, превосходная певица! С пламенным восторгом итальянцев я восклицаю: Благословенна ты небом! Я никогда больше не услышу тебя, но когда меня станет осаждать ничтожество и, считая равным себе, вступит со мною в пошлую борьбу, когда глупость захочет ошеломить меня, а отвратительная насмешка черни — уязвить своим ядовитым жалом, тогда утешающий голос духа шепнет мне твоими звуками: «Tranquillo io sono, fra poco teco sarò mia vità!» **

Если «Ombra adorata» интересна прежде всего как свидетельство глубоких личных переживаний Гофмана, то четвертый раздел первой части «Крейслерианы» — «Инструментальная музыка Бетховена» — наиболее яркое выражение его музыкально-эстетического кредо. Этот раздел суммирует всю работу Гофмана над Бетховенианой, которой он отдал несколько лет, причем если мы станем сравнивать рецензии Гофмана на бетховенские сочинения с этим разделом, то нам бросится в глаза полнейшее их единство вплоть до текстуальных совпадений. В «Крейслериане» Гофман лишь старается избежать специального музыкального анализа и, не жертвуя профессионализмом, прежде всего подчеркивает, по его мнению, главное — романтический характер музыки Бетховена: «Музыка Бетховена движет рычагами страха, трепета, ужаса, скорби и пробуждает именно то бесконечное томление, в котором заключается сущность романтизма. Поэтому он чисто романтический композитор...»

Показав Бетховена как продолжателя традиций Гайдна и Моцарта, Гофман и в «Крейслериане» пропагандирует новую немецкую школу музыки в противовес музыке итальянской, против засилья которой он ратовал²³; и, как естественный вывод, в следующей части «Крейслерианы» — «Крайне бессвязные мысли» — он развивает те же самые идеи; перед нами снова проходят корифеи немецкой музыки — Иоганн Себастьян Бах, Моцарт, Глюк, а во второй части «Крейслерианы» Гофман завершает чисто музыкальную сторону «Крейслерианы» разделом шестым — «Об одном изречении Саккини...» и «Аттестатом Иоганнеса Крейсlera», который является, может быть, самым романтическим гимном музыке.

Но самая интересная и, на наш взгляд, наиболее близкая дневнику часть «Крейслерианы» — третий раздел первой части — «Музыкально-поэтический клуб Крейсlera». Это как бы исповедь Гофмана, облеченная в характерную для него форму музыкальной импровизации, в которой, однако, ясно выступают автобиографические черты.

* «Возлюбленная тень» — а торгаш — осел (ит.).

** Я спокоен, ибо скоро буду с тобою, жизнь моя! (ит.).

²³ См. также и в «Житейских воззрениях кота Мурра».

Уже начало напоминает дневник 1803 г. — собрание клуба друзей, «лелеявших в себе музыкальный дух», но принужденных «целый день суетиться среди пыли и мусора». Ср. запись 17.X.1803 г.: «Музыка ускользает — архивная пыль делает взгляд на мир мрачным и пасмурным!».

Хотя из-за небрежности друга несколько струн фортепиано лопнули, «Крейслер надел свою красную ермолку, китайский халат и сел за рояль». Гофман описывает здесь героя таким, каким он запечатлел Крейсlera и самого себя на акварели, подписанной им «Эразмус Шпикер» — имя, под которым он предстает перед нами в автобиографической новелле «Приключения в новогоднюю ночь»²⁴.

Верный друг тушит свечи, и воцаряется тьма. Далее от имени Гофмана и Крейсlera снова можно было бы сказать словами дневника: «... сначала в моей голове творится нечто невообразимое — затем я ... закрываю глаза, отгоняю от себя все пустые мысли и стараюсь уловить музыкальные видения, проносящиеся в моей голове» (2. X. 1803). Начинается импровизация, и мы снова в том же кругу гофмановских образов: «Куда ты, прекрасная дева? Разве можешь ты убежать, если всюду держат тебя незримые пути? .. Ах, как замирает твое сердце от томления и любви, когда в пылу восторга я заключаю тебя в мелодии, словно в нежные объятия?»

13 февраля 1804 г. в дневнике Гофман взволнованно записывает: «... событие — важное для ума и сердца — возвышает сегодняшний день над его унылыми старшими братьями». Он встретил дочь своей первой возлюбленной, Кору Хатт, — Амалию Хатт: «... идеал моих детских фантазий... стоял передо мной — сладкая незнакомая боль пронзила меня... я хотел заключить цветущую девушку в объятия своего духа — я хотел незаметно ввести ее в магический круг своего воображения»...

Все эти мысли в дальнейшем, в «Коте Мурре», снова вкладываются Гофманом в уста Крейсlera, когда он, беседуя с принцессой Гедвигой, вдохновенно повествует ей о том, что такое любовь артиста: «В том-то все и дело, что с глаз вышесказанных музыкантов незримые руки внезапно срывают пелену, и они, то есть музыканты, здесь в земной юдоли замечают вдруг ангельский образ, который, подобно сладостной неисповедимой тайне, тихо покоился в их груди. И вот теперь чистейшим небесным пламенем вспыхивает весь восторг, все неизъяснимое небесное блаженство высшей жизни, жизни, возрастающей в душевной глубине, и тысячи чутких нитей простирает дух в жгучем порыве, и оплетает словно сетью ту, которую он увидел...»

И недаром Гедвига восклицает в ответ: «Любовь артиста! Быть так любимой! О, это волшебный, красивый, божественный сон...»

²⁴ Еще один автобиографический штрих: на попире у Крейсlera стоит раскрытая партитура «Ундины» (см. вклейку).

Импровизация продолжается, — но далее колорит темнеет, и музыка приобретает более мрачный характер: «В диком, бешеном веселье пляшем мы над разверстыми могилами!»

Этот мотив запечатлен в записи 3. VIII. 1812 г. «Вечером свадьба, ... во время которой господин ф. Экардт, *танцуя, упал мертвым*. — Странное ироническое настроение». А вот другая запись, уже буквально повторяющая (вернее, предвосхищающая) «Крейслериану»: 7 февраля 1812 г. в бамбергском театре дают «Кетхен из Гейльбронна» Клейста, именем которой, как мы уже упоминали, Гофман называет Юльхен Марк. Он помогает театральному машинисту и пиротехнику в сцене пожара замка, где находится Кетхен. Ему кажется, что он сжигает свою любовь... Придя домой, Гофман записывает: «Необычайно насмешливое настроение — ирония над самим собой — почти так же, как у Шекспира, где люди танцуют вокруг разверстой могилы...»

Импровизация все более становится диким *danse macabre*: «Знаете вы его? Знаете вы его? Смотрите, он впивается мне в сердце раскаленными когтями! Он принимает диковинные личины от волшебного стрелка, то концертмейстера, то буквоеда, то *ricco mercante**...» *Ricco mercante* — самая скверная и страшная личина того зла, которое убивает красоту, поэзию и любовь, и еще одно воплощение ненавистного Грелея, фигурирующего в дневнике как *mercante*, *asino mercante***.

Напряжение нарастает, раздается крик ужаса: «Крейслер! Возьми себя в руки! Смотри, вот притаилось бледное привидение с горящими красными глазами: «Это — безумие!»

И записи дневника. «Совершенно болен от любви и от безумия (29. IV. 1812), «Дьявол вырвался — *mania****! (23. VII. 1812); «Продолжаю пребывать в безразличном... состоянии, которое приводит к безумию 6-го²⁵ — прочь!» (10. IX. 1812).

В музыке — горестные вздохи и жалобы: «Нелепая, нелепая игра в жизнь! Зачем завлекаешь ты меня в свой круг?»

Запись 1. X. 1803: «Я хотел бы, чтобы было уже утро, — пусть бы только пролегла хоть ночь между таким событием²⁶ и продолжением шума из ничего — жалким фарсом, из которого, однако, состоят все человеческие занятия и дела...»

И, наконец, заключительные трагические аккорды: «Разве не могу я убежать от тебя?.. В ужасающей пустыне не зеленеет ни травинки — повсюду смерть, смерть, смерть!..»

И запись 9. I. 1812 г.: «Гибель витает надо мной, и я не могу ее избежать...» —

* Богатого купца (*ит.*).

** Купец, торгаш-осел (*ит.*).

*** Безумие (*ит.*).

²⁵ 6 сентября 1812 г. — день помолвки Юльхен и Грелея, см. об этом выше, стр. 570.

²⁶ Смертью дяди Иоганна, Людвига Дерфера.

Импровизация обрывается.

Нам кажется символичной одна из последних дневниковых записей. 26 февраля 1815 г. Гофман отмечает: «Kreislerianum совершенно закончил».

Родился капельмейстер Крейслер — главный герой и alter ego Гофмана, и закончился дневник. Капельмейстер Иоганнес Крейслер зажил своей самостоятельной жизнью, удивляя и привлекая сердца своих многочисленных почитателей и поклонников.

* * *

После смерти Гофмана его вдова передала все бумаги его другу Хитцигу (см. стр. 616), который включил отдельные куски дневников в свою книгу «Из жизни и наследия Гофмана»²⁷. Однако Хитциг очень вольно обращался с документами, перекраивая их по своему усмотрению, так как были еще живы Михалина Гофман и Юлия, которая, овдовев в 1821 г., вышла замуж за своего кузена²⁸.

После смерти Хитцига дневники в течение долгого времени находились в руках его наследников и не издавались, пока, наконец, с начала 900-х годов к ним не обратился самый крупный немецкий исследователь Гофмана — Ганс фон Мюллер. Много лет он собирал и изучал оставшиеся после Гофмана документы и материалы и публиковал их²⁹.

В 1915 г. появилось тщательно подготовленное Мюллером полное издание дошедших до нас дневниковых записей Гофмана³⁰.

В обширном предисловии к этой книге Мюллер подробно описывает ход своих разысканий, этапы работы над дневником и текстологические принципы, положенные им в основу публикации. Во втором томе Мюллер предполагал дать обширный комментарий к дневникам. Однако это издание осталось незаконченным — второй том так и не был подготовлен ученым.

В 1924 г. дневник снова был напечатан в последних двух томах пятнадцатитомного собрания сочинений Гофмана, подготовленного другим исследователем Гофмана — Вальтером Гарихом, который во многом уже основывался на издании Мюллера³¹.

²⁷ *Hitzig Julius Eduard*. Aus Hoffmanns Leben und Nachlass. Hrsg. von dem Verfasser des Lebens-Abrisses Friedrich Ludwig Zacharias Werners, Bd. 1—2. Berlin, Dümmler, 1823.

²⁸ Доктора медицины Луи Марка (1796—1857).

²⁹ См. *Müller Hans von*. Hoffmann contra Spontini. Eine nachdenkliche Neujahrsgabe für 1908. Wittenberg, 1908; Hoffmanns Ende. Briefe, Urkunden, Verhandlungen aus den Monaten Januar bis Oktober 1822. Vorgelegt Hans von Müller. München, 1909; Fragmente einer Biographie E. T. A. Hoffmanns in freier Folge vorgelegt von Hans von Müller. Erstes Stück: Letzte Monat in Posen und Aufenthalt in Plock, Anfang 1802 bis März 1804. Berlin, 1914.

³⁰ E. T. A. Hoffmanns Tagebücher und literarische Entwürfe. Hrsg. von Hans von Müller. Berlin, 1915.

³¹ *E. T. A. Hoffmann*. Dichtungen und Schriften sowie Briefe und Tagebücher. Hrsg. von Walter Harich, Bd. XIV, XV. Weimar, 1924.

При подготовке данной книги были использованы оба этих издания с учетом вышедших в последние годы трех томов переписки Гофмана, подготовку которых начинал еще сам Ганс фон Мюллер в содружестве с Фридрихом Шнаппом, доведшим эту работу до конца³².

Текст дневников, при всем кажущемся однообразии, весьма труден для прочтения не только из-за краткости, но и потому, что нужно учитывать особенности стиля Гофмана и обстоятельства появления этих записей.

Как уже говорилось, Гофман многое должен был зашифровывать. Так появляются в дневниках *ad usum uxoris** знак «Kтх» или отдельные куски «греческого» текста, которые представляют собой не что иное, как немецкий текст, написанный греческими буквами.

Будучи юристом, Гофман прекрасно знал латинский язык, и поэтому в дневнике часто встречаются латинские слова и выражения. К самым употребительным относятся: *dies tristis* («печальный день»); *dies tristis et miserabilis* («печальный и жалкий день», впервые 18. X. 1803); *dies ordinarius* («ординарный, обыкновенный день», впервые 7. V. 1809); *dies ordinarius atque tristis* («обыкновенный печальный день», впервые 14. VII. 1804); *dito* («то же», «то же самое», впервые 28. II. 1804); *pp* «и т. д.», «и т. п.», впервые 24. I. 1804); *nihil* («ничего», впервые 17. III. 1804). Правда, и здесь он остается верен самому себе и грамматически меняет их по собственному усмотрению; так в некоторых выражениях слово *dies* у него мужского рода.

Иногда Гофман употребляет отрывки латинских молитв в совершенно ином контексте. Например, в начале 1811 г., когда его охватила любовь к Юльхен, он записывает: *De profundis clamamus* (3, II), слегка меняя текст реквиема («*De profundis clamavi*»), или взывает: *O miserere mei domine* (2. II). Самое излюбленное его латинское выражение: *Quod deus bene vertat* («Пусть бог повернет все ко благу»), которое он употребляет столь же часто, как Лев Толстой в своих записях сокращение «ебж».

Весьма часто Гофман пишет по-итальянски (очевидно, Михалина не знала итальянского языка). Но следует отметить также, что Гофман, который изучал различные диалекты итальянского языка, нередко в своих записях пользовался своего рода сплавом этих диалектов (в частности, венецианского и неаполитанского) с латинским (например, лат. *exaltatio*, ит. *esaltazione* — у Гофмана *exaltatione*).

В 1811 г. впервые (24. II) появляется итальянское слово «*smania*» — «безумие», которое в дальнейшем мы часто встречаем на страницах дневника, как и два других итальянских слова: *enthussiasmo* («энтузиазм», впервые 3. III. 1811) и *exaltatione* («экзальтация», впервые 4. I. 1812).

³² Ссылки на это изд. см. выше стр. 568.

* Для употребления жены (лат.).

Он соединяет французские слова с итальянскими или латинские выражения с итальянскими (*Quod deus bene vertat; non ero più inamato che oggi* — 9. VI. 1812).

Встречаются и польские слова, напоминающие о пребывании Гофмана в Польше; особенно часто он называет по-польски *Kunsewiczowa* мадам Кунц, другую свою «даму-ширму».

В своих ежедневных записях Гофман часто прибегал к сокращениям. Так, при обозначении времени дня он пишет обычно «V. M.» — «перед обедом», т. е. утром, и «N. M.» — днем. Для удобства чтения мы даем это полностью в связном тексте. Как и у Гофмана, мы даем сокращения в написании монет — «рт» — рейхсталер, «фл» — флорин, «г» — грош. В тех случаях, когда фамилия обозначена начальными буквами, она дается в квадратных скобках.

Следует обратить внимание и на манеру записей Гофмана. Так как писал он на календарях, то иногда, особенно когда он очень торопился, записи нескольких дней составляют одну фразу. Например мартовские записи 1813 г.:

24 (ср): Все

25 (четв): эти

26 (пятн): дни

27 (субб): успешно работал над «Берганцей» —

Все особенности дневников выступают и в тех небольших рисунках, которые набрасывал на его страницах Гофман.

В дневниках 1803—1804 гг., когда он еще мечтает о музыке и собирается вести подробный дневник, он записывает несколько музыкальных фраз, двумя-тремя штрихами набрасывает физиономию ожившего фельдквата, рассуждающего об искусстве, рисует большой выразительный крест, поставленный на нем самом и на его надеждах.

В дневнике 1809 г. появляется рисунок руки с вытянутым указательным пальцем, означающим масонский знак (10. I), который впоследствии встречается довольно часто.

В дневнике 1811 г. (3. I) Гофман изображает бабочку, которая, как и знак «Kтх», символизирует Юльхен Марк. 3. I. 1811 г. впервые употреблен знак ∇ , а затем и знак ∇^* , что означает вино, к которому Гофман прибегал как к средству забыться. 3. I. 1812 г. он рисует скрещенные шпаги, рассказывающие о поединке, во время которого один из противников погиб. 26. I появляется пистолет, символ самоубийства.

В дневниках 1813 г. знаки эти почти исчезают, с 22. IV. 1813 г. общий тон дневников совершенно меняется — идет описание военных событий и уже нет никаких рисунков³³.

Дневник второй половины 1814 г. и дневник 1815 г., как уже говорилось, очень лапидарны. Все чаще встречаются записи, которые объеди-

³³ Несколько значков позднее — в дневнике 1814 и 1815 гг.

няют несколько дней, особенно в период работы над «Ундиной»), например: 23—31 мая; 12—18 июня; 1—5 июля Гофман работал над статьей о церковной музыке.

В своих записях Гофман почти не употреблял никаких знаков пунктуации. Гансу фон Мюллеру и Вальтеру Гариху пришлось очень много работать, чтобы привести гофмановские записи в единую систему. Мы стремились как можно точнее следовать за этими изданиями. Записи чисел и дней недели мы даем, как у Гариха, рядом, не воспроизводя издания Мюллера, который, будучи первым публикатором, старался скрупулезно передать и расположение записей в дневниках. Нам кажется, что издание Гариха дает читателю более доступный и связный текст. В тексте дневников по сравнению с изданием Мюллера нами выпущены маленькие отрывки «Agenda» и «Memoranda», а также два отрывка из «Briefbuch», которые не даются в издании Гариха.

Когда наша книга была уже подведена к набору, в Москве было получено новое издание дневников Гофмана, подготовленное упоминавшимся выше Фридрихом Шнаппом и выпущенное в 1971 г.³⁴ Это издание, в основу которого положена первая публикация дневников, осуществленная Гансом фон Мюллером (1915), отличается от него не только тем, что туда внесены текстологические уточнения, но и тем, что содержит расширенный комментарий и систематизированный именной указатель. Таким образом, впервые вышло в свет комментированное издание дневников Гофмана. По мере возможности нами были внесены уточнения в текст дневников и добавления в примечания в соответствии с этим новым, образцовым изданием.

* * *

Изучение творчества и личности Гофмана — задача необычайно трудная и сложная, как трудна и сложна была его жизнь. Временами он должен был казаться «безумцем, гулякой праздным» тем пошлым и ограниченным людям, которых он высмеял в своих произведениях, подобно тому, как Сальери в своем ослеплении ищет эти черты в Моцарте-человеке. Поэтому дневники Гофмана призваны пролить свет на то, что остается еще малоизученным или просто неизвестным. Ибо эти записи, сделанные рукой великого писателя, поистине — *dissecti membra poetae* *.

³⁴ E. T. A. Hoffmann. Tagebücher. Nach der Ausgabe Hans v. Müllers mit Erläuterungen herausgegeben von Friedrich Schnapp. München, Winkler-Verlag, 1971.

* Разъятые части поэта (лат.).

ПРИМЕЧАНИЯ

КАВАЛЕР ГЛЮК

В этом рассказе, который может считаться первым произведением Гофмана-писателя, отразились его впечатления от вторичного пребывания в Берлине с 18 июня 1807 г. по 9 июня 1808 г. Гофман писал «Кавалера Глюка», очевидно, еще в Глогау, когда он гостил у своего друга Хампе (с июня по август 1808 г.), а, может быть, и в Бамберге, куда он приехал к 1 сентября 1808 г. 12 января 1809 г. Гофман пересылает «Кавалера» Рохлицу (см. об этом дневник и прим. стр. 446, 615). С небольшими изменениями «Кавалер Глюк» вошел в первый том «Фантазий в манере Калло».

- ¹ *Кавалер Глюк*. — Имеется в виду, что Глюк был кавалером ордена Золотой Шпоры, которым он был награжден в 1756 г. Орден Золотой Шпоры был учрежден папой Пием IV в 1559 г. и существовал до 1840 г. Такой же орден имели Моцарт (был награжден им в 14 лет!) и Лист.
- ² *Клаус и Вебер* — имена владельцев ресторана в парке Тиргартен.
- ³ ... *морковный кофе*. — После объявления Наполеоном в конце 1806 г. континентальной блокады, направленной против Англии, в продаже не было натурального кофе, экспортером которого была именно Англия.
- ⁴ *Бетман Фредерика Августа Каролина* (1760—1815) — модная в то время актриса и певица.
- ⁵ ... о «*замкнутом торговом государстве*». — Имеется в виду трактат Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814) под этим же названием, вызвавший ожесточенные споры, особенно в связи с тем, что немецкий философ затронул проблемы, непосредственно связанные с континентальной блокадой.
- ⁶ «*Фаншон*» — самая известная опера Фридриха Генриха Гиммеля (1765—1814), которой Гофман впоследствии не раз дирижировал.
- ⁷ ... *генерал-бас* — так во времена Гофмана называлось учение о гармонии. Подробнее о своих годах учения Гофман рассказывает от имени Иоганна Крейсlera в «Житейских воззрениях кота Мурра» (см. стр. 165 и сл.).
- ⁸ «*Ифигения в Авлиде*» — опера Глюка, поставленная впервые в Париже 19 апреля 1774 г. В 1810 г. Гофман напечатал во *ВМГ** рецензию на «Ифигению в Авлиде».
- ⁹ ... *хор жриц из «Ифигении в Тавриде»* — хор № 26 из оперы Глюка «Ифигения в Тавриде», которая была поставлена впервые в Париже 23 сентября 1779 г.
- ¹⁰ ... *к замку Альцины*. — Имеется в виду охраняемый страшным чудовищем замок волшебницы Альцины, описанный в поэме Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (VI, 61—67).
- ¹¹ *Эвфон* (греч. εὐφών — благозвучие) — творческая, созидаящая сила музыканта.
- ¹² *Фридрихштрассе* — во время своего вторичного пребывания в Берлине Гофман жил на Фридрихштрассе, 179.

* *ВМГ* — «Всеобщая музыкальная газета».

ДОН ЖУАН

НЕБЫВАЛЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С НЕКИМ
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ЭНТУЗИАСТОМ

22 сентября 1812 г. Гофман впервые прочел новеллу своему будущему издателю Кунцу (см. дневник стр. 492). «Дон Жуан» был напечатан во *ВМГ* 31 марта 1813 г.

- ¹ ...наша гостиница соединена с театром.—Г. изобразил здесь свой излюбленный бамбергский кабачок «Роза» (см. стр. 571), который действительно соединялся с театром.
- ² дон Оттавио...—Сохранились сообщения о том, что сам Г. исполнял эту роль.
- ³ Мазетто—см. в дневнике (стр. 502) о появлении Г. на маскараде в костюме Мазетто.
- ⁴ Циморк (Цимоско)—персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» (IX, 66).
- ⁵ ...друг Теодор...—обращение Г. к своему другу Теодору Гиппелю (см. о нем стр. 610).
- ⁶ ...у тебя в последней опере ... безумие вечно неуголенной любви.—В это время Г. уже работал над оперой «Ундина» (см. стр. 571 и сл.).
- ⁷ Фугированный хор—т. е. полифонически построенный хор, в котором голоса вступают так же, как в первой части фуги (тема—ответ—тема и т. д., причём ответом называется проведение темы на квинту выше, или, соответственно, на кварту ниже).
- ⁸ Джиннистан—царство фей «Тысяча и одной ночи».
- ⁹ ...пролежала без чувств—образ донны Анны Г. вновь связан с Юльхен Марк. См. в дневнике о ее болезни (стр. 472). Однако концепция новеллы, разумеется, выходит далеко за пределы автобиографических реминисценций.

КРЕЙСЛЕРИАНА

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Под названием «Крейслериана» в первых двух томах «Фантазий» Г. объединил тринадцать статей и отрывков, в которых постепенно складывается тот образ Крейслера, который потом стал выразителем его собственных мыслей и переживаний. Литературным прототипом Иоганнеса Крейслера мог послужить рассказ Вильгельма Генриха Вакенродера (1773—1798) «Удивительная музыкальная жизнь композитора Иозефа Берлингера» (1797). Самым первым рассказом в «Крейслериане» был небольшой отрывок под названием «Музыкальные страдания капельмейстера Крейслера», напечатанный во *ВМГ* 26 сентября 1810 г. Прообразом этого забавного музыкального рассказа могло послужить письмо Т. Гиппелю от 14 мая 1804 г., которое он написал из Варшавы и в котором описал страдания композитора, который должен писать музыку, пытаясь отрешиться от всего, что его окружает.

- ¹ ...оказывал предпочтение ... одной молодой девице, которую обучал пению.—Г. имеет в виду Юлию Марк.
- ² Метастазियो—псевдоним Пьетро Трапасси (1698—1782), знаменитого итальянского поэта, драматурга и либреттиста.
- ³ Раштр—чертежный инструмент, с помощью которого на бумагу наносятся пять нотных линеек.
- ⁴ ...фрейлейн фон Б.—снова Юльхен Марк (в «Коте Мурре» Бенцон).

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА ИОГАННЕСА КРЕЙСЛЕРА

- ¹ ...стоящий... на пюпитре мой старый друг...—Г. подразумевает так называемые «гольдберговские вариации», которые Иоганн Себастьян Бах посвятил своему другу и ученику, органисту и клавесинисту Иоганну Готтлибу Гольдбергу. Вышли они под

- названием «Упражнения для клавичембала с двумя мануальями, состоящее из арии с тридцатью вариациями» («Клавирные упражнения», часть IV); в тексте имеется в виду издание, появившееся у нотопечатателя Негели под названием «Вариации для фортепиано».
- ² «*Мщение ада*» («Ария мести») — ария Царицы ночи из II акта оперы Моцарта «Волшебная флейта», одна из труднейших в репертуаре колоратурного сопрано.
- ³ «*Геба, смотри*» — излюбленная в то время песня, написанная популярным композитором Фридрихом Генрихом Гиммелем (впервые появилась в 1798 г. в его «Немецких песнях»).
- ⁴ «*Ах, я любила*» — ария Констанцы из II акта оперы Моцарта «Похищение из сераля».
- ⁵ «*Фиалка на лугу*» — песня Моцарта на слова стихотворения Гете «Фиалка». По мнению Дж. Б. Шоу, из этой песни Моцарта родилась вся лирика Шуберта.
- ⁶ ... в прическе *à la Titus* — модная в те годы прическа с короткими локонами, как на скульптурном портрете римского императора Тита.
- ⁷ ... *устраивается все для первого хора из «Тита»*. — Хор из оперы Моцарта «Тит» («Милосердие Тита») № 5 — «О боги, защитите Тита».
- ⁸ «*Nel cor mi non rii sento*» — дуэтино № 6 из оперы Джованни Паэзиэлло (1740—1816) «Мельничиха», на мотив которого часто писали вариации, в частности, Бетховен (1795) и чешский композитор Йозеф Йелинек (1758—1825).
- ⁹ «*Ah, vous dirais-je, tatan!*» — небольшая французская песенка, также часто использовавшаяся в качестве темы для вариаций, в частности, Моцартом и Людвигом Бергером (1777—1839).
- ¹⁰ «*Когда меня твой взор манит*» — ария из популярной в то время оперы Петера Винтера (1754—1825) «Прерванное жертвоприношение», которой сам Гофман неоднократно дирижировал.
- ¹¹ ... *легкие у него, как у племянника Рамо*... — В своем знаменитом диалоге «Племянник Рамо» Дени Дидро (1713—1784) приписывает своему герою необычайную силу легких. В Германии этот диалог был известен в переводе и с обширными комментариями Гете, причем это издание появилось раньше, чем французский оригинал.
- ¹² ... *восхитительная племянница Редерлейна, привязывающая меня к этому дому узами, свитыми искусством*. — Снова портрет Юльхен Марк, и недаром Гофман пишет о ее исполнении арий самых любимых им композиторов — Глюка (финальная сцена «Армиды») и Моцарта (ария Донны Анны из «Дон Жуана» — вспомним новеллу Гофмана «Дон Жуан»).
- ¹³ *Роде* (Род) Жак Пьер Жозеф (1774—1830) — один из известнейших скрипачей того времени, ученик Виотти; автор знаменитых этюдов для скрипки. Г. слышал его игру во время гастролей Роде в Бамберге в 1811 г.; позднее он переводил книгу Роде, Байо и Крейдера «Школа игры на скрипке» («Méthode de violon») — см. дневник стр. 510.
- ¹⁴ *Корелли* Арканджело (1653—1713) — великий итальянский скрипач-виртуоз и композитор; автор концертов и трио-сонат, начавших новую эпоху в развитии мирового скрипичного искусства.
- ¹⁵ ... *на эстерлейновском фортепиано* — Эстерлейн — строитель фортепиано в Берлине.

3. МЫСЛИ О ВЫСОКОМ ЗНАЧЕНИИ МУЗЫКИ

«Мысли о высоком значении музыки» появились первоначально анонимно во *ВМГ* 29 июля 1812 г. Г. обработал свои музыкальные впечатления о занятиях музыкой в различных домах Бамберга в духе сатир Георга Кристофа Лихтенберга (1742—1799). Позднее «Мысли о высоком значении музыки» были включены Г. как третий рассказ «Крейслерианы» в первый том «Фантазий в манере Калло».

- ¹ ... *чья речь, согласно известному изречению, содержит лишь «Да, да!» и «Нет, нет!»* — Г. имеет в виду известное изречение из Евангелия от Матфея (5, 37).
- ² «*Цвети, милая фиалка*» — песня Иоганна Петера Шульца (1747—1800) на текст

Кристиана Адольфа Овербека (1755—1821); как и *Дессаусский марш*, была чрезвычайно популярна в свое время.

- ³ ... *miscere utili dulci* — реминисценция из «Искусства поэзии» Горация (343).
- ⁴ ... искусство... ведет его в храм Изиды... — Намек на «Учеников в Саисе» Новалиса (1772—1801), произведения, представляющего опыт философии природы и роли искусства в ее постижении.
- ⁵ *Тувалкаин* (Тубалкаин) — в Ветхом Завете мастер изготовления различных орудий из меди и железа, потомок Каина (Бытие, IV, 22).

4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА БЕТХОВЕНА

Эту часть Г. написал в начале 1813 г., как раз тогда, когда он работал над рецензией на два Трио ор. 70 для фортепиано, скрипки и виолончели (во *ВМГ* 3 марта 1813 г.). Эта рецензия вместе с рецензией на Пятую симфонию Бетховена (во *ВМГ* 4 и 11 июля 1810 г.) послужила основой для этой части «Крейслерианы».

- ¹ *Batailles des trois Empereurs* (Битвы трех императоров). — Среди многочисленных музыкальных произведений на эту тему Г. мог, в частности, иметь в виду «Битву под Аустерлицем» Луи Эманюэля Жадена (1768—1853). Даже сам Бетховен писал в этом жанре и его «Победа Веллингтона, или битва при Виттории» (1813) относится к произведениям этого же рода.
- ² ... симфония Моцарта в *Es-dur*, известная под названием «Лебединой песни» (по каталогу Кехеля № 543, в нов. изд. 553) — одна из трех последних, так называемых «великих симфоний» Моцарта, написанных летом 1788 г. (рукопись этой симфонии датирована 28 июня) и возвестивших начало новой эпохи развития симфонизма.
- ³ *Ничего не может быть проще основной мысли первого Allegro, состоящей только из двух тактов...* — Это два первых такта (так называемая «тема судьбы»), которые могут быть восприняты и в до-миноре и в ми-бемоль мажоре, составляют лейттему всей первой части.
- ⁴ *Прелестная тема в G-dur, затронутая сначала валторной в Es-dur...* — Имеется в виду реплика валторны, предшествующая возвращению второй темы в первой части симфонии.
- ⁵ *А что сказать о мснзете?* — т. е. скерцо, которым Бетховен заменил традиционный менуэт. Как установил Ноттебом по разговорным тетрадам композитора, четыре первых такта этой части Бетховен взял из начальных тактов соль-минорной симфонии Моцарта (одной из трех последних симфоний, см. прим. 2). Интересно отметить, что именно этот «дон-жуанский» период творчества Моцарта более всего привлекал не только Гофмана, но и Бетховена. Из его записной книжки известно, например, что медленные триоли сцены смерти Командора в первом акте «Дон Жуана» преобразились в первую часть «Лунной сонаты» (ор 27, № 1).
- ⁶ ... *сыграла мне ... трио № 1...* — как уже говорилось, Г. в то время работал над двумя трио Бетховена ор. 70 — отсюда и углубленный их анализ.

5. КРАЙНЕ БЕССВЯЗНЫЕ МЫСЛИ

Вероятно, эта часть обдумывалась Г. в первой половине 1813 г. Впервые была напечатана в «Газете для эlegantного мира» 4, 6, 7 и 8 января 1814 г. Затем с незначительными исправлениями в I томе «Фантазий» весной 1814 г.

- ¹ *Мой двоюродный брат* — Эрнст Людвиг Гартманн Дерфер (1778—1831); Г. вспоминает о их совместной жизни в Глогау в 1796—1798 гг.
- ² *Мотет*. — многоголосное хоровое произведение, в котором каждая фраза текста «распеваётся» всеми голосами при помощи имитации.

- ³ *Беневоли* Орацио (1602—1672) — итальянский композитор, писавший духовную музыку, капельмейстер в различных церквях Рима.
- ⁴ *Перги Джакомо* Антонио (1661—1756) — итальянский композитор, автор многочисленных опер и различных сочинений духовного характера.
- ⁵ *Не столько во сне...* — Подобные мысли можно встретить в очень глубоко изучавшейся Гофманом книге Готхильф Генриха Шуберта «Символика сна» (Бамберг, 1814).
- ⁶ ...художник уже давно носил в душе своего «Дон Жуана»... — В действительности Моцарт сочинил три увертюры к «Дон Жуану» — ми-бемоль мажор, до мажор и ре минор. Фр. Ксавер Душек и Лунджи Басси (первый исполнитель партии Дон Жуана) прослушали все три и единодушно отдали предпочтение третьей, которой Моцарт и открыл оперу.
- ⁷ «Жанна де Монфоко» — пьеса Коцебу того же названия, имеющая подзаголовок: «Романтическая картина из четырнадцатого столетия» (1800).
- ⁸ *Когда я читаю в «Музыкальной библиотеке» Форкеля низкий... отзыв об «Ифигении в Авлиде» Глюка...* — Г. имеет в виду трехтомную «Музыкально-критическую библиотеку» (1778—1779), составленную Иоганном Николаем Форкелем (1749—1818); — о Глюке стр. 53—210 в т. I; упомянутое Г. место стр. 132—173.
- ⁹ *Пиччини* Никколо (1728—1800) — итальянский оперный композитор.
- ¹⁰ ...по отношению к напиткам можно было бы установить некоторые общие правила. — Этот шуточный регистр вин и соответствующих им музыкальных жанров (при сочинении церковной музыки употреблять старые рейнские и французские вина, для серьезной оперы — очень тонкое бургонское и т. д.), очевидно, является пародийной параллелью знаменитым словам Карла V о том, в каких случаях следует говорить на том или ином языке: по-латыни с богом, по-французски с друзьями, по-итальянски с женщинами и т. д.
- ¹¹ *Рамо* Жан Филипп (1683—1764) — французский композитор и музыкальный теоретик, первый великий музыкант Запада, оценивший гений Моцарта.

6. СОВЕРШЕННЫЙ МАШИНИСТ

Впервые напечатано в I томе «Фантазий» в 1814 г.

- ¹ *Когда я еще дирижировал оперою в ***...* — имеется в виду, конечно, работа Г. в бамбергском театре.
- ² ...я много занимался декорациями и машинами — о работе Г. в качестве «театрального архитектора» см. дневник, стр. 467 и др.
- ³ «*Камилла*» — опера Фердинанда Паэра (1771—1839); была поставлена в Бамберге в 1810 г.
- ⁴ ...в «*Севильском цирюльнике*» — имеется в виду опера Джиованни Паэзиэлло (1741—1816), написанная им на текст Бомарше в 1776 г.
- ⁵ ...я разумею доброго ткача Основу. — Г. имеет в виду персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»; ниже цитируются слова из монолога Основы — III д., сц. 1.

КРЕЙСЛЕРИАНА

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Эти части «Крейслерианы» (№№ 1—7) были напечатаны в четвертом томе «Фантазий»; четыре из них (3, 4, 5 и 6) были написаны в первой половине 1814 г. в Лейпциге и Дрездене, остальные — по прибытии в Берлин.

- ¹ ...издатель ... проводил время с титулованным автором «Сигурда»... — Г. имеет в виду Фридриха Генриха Карла барона де ла Мотт Фуке (1777—1843) и его

сочинения — «Сигурд, губитель змей» (1810); «Корона» (1814); «Волшебное кольцо» (1812); об «Ундине» см. дневник и статью стр. 501 и др.

- ² ... в новелле, озаглавленной «Иксион»... — эта новелла Фуке впервые была напечатана в «Урании, карманной книге для дам на 1812 год».
- ³ Письмо Вальборна, любезно доставленное де ла Мотт Фуке... — Это письмо было написано Фуке.
- ⁴ ... фантастическая любовь к одной певице — снова Юльхен Марк.
- ⁵ «Проблески сознания безумного музыканта» — имеется в виду задуманное Г. сочинение «Часы просветления некоего безумного музыканта» — см. дневник и прим. к нему, стр. 481.

1. ПИСЬМО БАРОНА ВАЛЬБОРНА КАПЕЛЬМЕЙСТЕРУ КРЕЙСЛЕРУ

- ¹ ... фрейлейн фон Б. — см. прим. стр. 593.
- ² ... лицом похожий на Сократа, которого прославил Алкивиад... — В диалоге Платона «Пир» (гл. 32) Алкивиад произносит хвалу Сократу, который под внешностью силена или сатира Марсия таит величайшее нравственное совершенство.
- ³ ... он назвал себя доктором Шульцем из Ратенова... — Фуке имеет в виду подлинный случай из жизни Г. — см. дневник стр. 532.
- ⁴ Нет в жизни ничего более скорбного... чем Юнона, превратившаяся в облако. — Здесь намек на миф о супруге Юпитера Юноне и на героиню новеллы Фуке «Иксион» — вдову Юнону.

2. ПИСЬМО КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА КРЕЙСЛЕРА БАРОНУ ВАЛЬБОРНУ

- ¹ Эльф Пэк — персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».
- ² Цвет платья был выдержан в *cis-moll* — т. е. в до-диез миноре, «лирико-драматической» тональности, в которой написана, например, первая часть «Лунной сонаты» Бетховена.
- ³ ... для некоторого успокоения... я велел пришить к нему воротник цвета *E-dur* — т. е. в ми-мажоре, более «светлой», «радостной» тональности, которую так любил Римский-Корсаков, написавший в ми-мажоре некоторые свои романсы — «Люблю тебя, месяц», «Для берегов отчизны дальней», и другие произведения. Отметим также, что одна из неопубликованных сонат Гофмана была написана в ми-мажоре.
- ⁴ ... я был доктором Шульцем из Ратенова, так как лишь под этим именем дерзал... слушать пение двух сестер. — см. прим. 3 к «Письму барона Вальборна».

3. МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ КРЕЙСЛЕРА

- ¹ ... всем членам клуба, лелеявшим в себе музыкальный дух, но принужденным целый день суетиться среди пыли и мусора — см. стр. 586.
- ² Крейслер надел свою красную ермолку, китайский халат... — Г. описывает Крейслера так, как он нарисовал его — см. цветную вклейку.
- ³ ... полный аккорд *As-dur* — ля-бемоль мажор.
- ⁴ Аккорд *as-moll* — т. е. трезвучие ля-бемоль минора; в этой тональности написан похоронный марш 12 сонаты Бетховена.
- ⁵ Секстаккорд *E-dur* — первое обращение трезвучия ми-мажора.
- ⁶ Разве ты можешь убежать, если всюду держат тебя незримые пути? — ср. дневник, стр. 444; см. также статью, стр. 586.
- ⁷ *B-dur* с малой септимой — т. е. си-бемоль—ре—фа—ля-бемоль.
- ⁸ Терцквартсекстаккорд *D* — ми—соль—ля—до-диез.
- ⁹ Терцквартсекстаккорд *C-dur* — до—соль—ми.
- ¹⁰ *Hoppy soit qui mal у pense* (да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает) —

девиз высшего английского ордена Подвязки, учрежденного в 1350 г. королем Эдуардом III. Этот девиз трижды повторен на орденских регалиях — на нагрудной цепи, звезде и ленте у колена (т. е. на подвязке).

- ¹¹ *Калибан* — персонаж шекспировской пьесы «Буря» (имеется в виду 2 сц. II действия).
- ¹² *basso ostinato* — дословно «упрямый бас» (ит.) — прием, основанный на постоянном (обычно динамизированном) повторении в басу одной и той же фигуры.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОДНОМ ОБРАЗОВАННОМ МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Задумано в конце ноября 1813 г., впервые напечатано 16 марта во *ВМГ*. В «Фантазиях» с небольшими изменениями в 1815 г.

- ¹ *Дюпор* Луи (1786—1853) — знаменитый французский танцовщик, славившийся своей грацией.
- ² ... а о каком-нибудь счете — даже о вновь изобретенном на 7/8 или 13/14 — нет и речи. — Последнего метрического обозначения быть не может. Г. приводит его в качестве гротескного примера охоты за причудливыми ритмами.
- ³ ... задатки душевных качеств и талантов помещаются в голове и торчат в виде шишек... — насмешка над теорией Иоганна Каспара Лафатера (1741—1801), согласно которой характер и способности людей можно определить по строению черепа и лица.
- ⁴ *Писать за меня tutti для концертов...* — Классические, а иногда и концерты композиторов-романтиков начинались вступлением всего оркестра, в звучание которого вступал затем солирующий инструмент.
- ⁵ *Мордент* — орнаментальное украшение, состоящее из быстро следующих друг за другом соседних звуков.
- ⁶ *Генерал-бас* — так называлась тогда наука о гармонии.
- ⁷ *Не верь, что землю солнце греет...* — цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (II д., 2 сц.). Это — строка из письма Гамлета к Офелии, которое Полоний читает королю и королеве (в подлиннике говорится о свете звезд и о движении солнца).

5. ВРАГ МУЗЫКИ

Эта часть «Крейслерианы», носящая ярко выраженный автобиографический характер, была написана в первой половине 1814 г. и напечатана во *ВМГ* 1 июня 1814 г., а затем с небольшими изменениями в «Фантазиях».

- ¹ *Бах* Филипп Эммануил (1714—1788) — второй сын Иоганна Себастиана Баха, композитор, придворный музыкант Фридриха II.
- ² *Вольф Эрнст Вильгельм* (1735—1792) — известный инструментальный композитор, автор многочисленных опер, ораторий, монодрамы «Поликсена» и других сочинений.
- ³ *Бенда Йиржи* (1721—1795) — знаменитый чешский композитор, создатель жанра мелодрамы.
- ⁴ ... сестра моей матери... — Шарлотта Вильгельмина Дерфер (1755—1779), тетушка Фюсхен.
- ⁵ *Хассе* Иоганн Адольф (1699—1783) — известный в свое время композитор. Г. писал рецензию на «Реквием» Хассе (см. стр. 505).
- ⁶ *Тразетта Томмазо* (1727—1779) — итальянский оперный и церковный композитор, в 1768—1774 гг. был придворным композитором в Петербурге.
- ⁷ *Scherzando presto*. — *Scherzando* — итальянский термин, указывающий на шуточный характер музыки; *presto* — быстро (последняя градация пяти ступеней обозначения темпов — *Largo*, *Adagio*, *Andante*, *Allegro*, *Presto*). Однако все приведенные термины употребляются не только в музыкальной терминологии, а и в более широком литературном обиходе.
- ⁸ «Ученики в Саусе» — см. прим. стр. 595.

6. ОБ ОДНОМ ИЗРЕЧЕНИИ САККИНИ И ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЭФФЕКТАХ

Впервые напечатано во *ВМГ* 20 июля 1814 г. С незначительными изменениями напечатано в томе «Фантазий» в 1819 г.

- ¹ Саккини Антонио Мария Гаспаро (1734—1786) — итальянский композитор, писавший оперы, инструментальную и церковную музыку. Находился под влиянием Глюка и потому считался соперником Пиччини. Весь очерк является изложением музыкально-эстетического кредо Гомфана.
- ² ... в музыкальном словаре Гербера... — Имеется в виду «Историко-биографический словарь музыкального искусства» (1790—1792), составленный Эрнстом Людвигом Гербером (1746—1819) и появившийся вторично после переработки в 1812—1814 гг.
- ³ Лебрен Людвиг Август (1746—1790) — знаменитый гобоист-виртуоз.
- ⁴ ... последние недостаточно модулируют. — Модуляция — переход из одной тональности в другую.
- ⁵ В «Дон Жуане» статуя Командора произносит свое страшное «да» в основном тоне E... — имеется в виду дуэт из II акта.
- ⁶ «Эдип в Колоне» — самая знаменитая опера Саккини, поставленная в Версале в 1786 г.
- ⁷ «Из моей жизни» — Г. внимательно изучал это произведение Гете, о чем свидетельствует дневник, см. стр. 495.
- ⁸ ... как в шекспировской «Буре», висит на веревке и влечет за собою грубую толпу. — Ср. «Буря», IV действие, сц. 1.
- ⁹ Керубини Мария Луиджи Зенобио Карло Сальваторе (1760—1842) — знаменитый композитор, педагог и теоретик, уроженец Флоренции, где были исполнены его первые оперы и религиозные произведения. Деятельность К. протекала в разных странах и завершилась во Франции, где он был с 1821 г. директором Парижской консерватории.
- ¹⁰ Родственные тональности — т. е. те, которые имеют общие трезвучия.
- ¹¹ Энгармонизм — тождественность звучания (при условии применения так называемого темперированного строя) различно именуемых, но одинаково звучащих нот (например, ми-бемоль — ре-диез).
- ¹² К инструментовке относятся и различные фигуры сопровождающих инструментов — речь идет об инструментальной фактуре.
- ¹³ *Non ti dir bel idol mio* — Нет, [жестокой], милый друг мой, ты меня не называй. «Дон Жуан», акт II.

7. АТТЕСТАТ ИОГАННЕСА КРЕЙСЛЕРА

Эту последнюю часть «Крейслерианы» Г. послал в 1814 г. в редакцию тюбингенского «Утреннего листка для образованных сословий»; «Аттестат» был напечатан там гораздо позднее, 21—22 февраля 1816 г.

В начале 1815 г. Г. послал «Аттестат» Кунцу для 2 тома «Фантазий».

- ¹ ... выражаясь словами Шуберта — имеется в виду Готхильф Генрих Шуберт, см. прим. на стр. 596.
- ² ... юноша по имени Хризостом — как уже говорилось выше, Хризостом — одно из имен Вольфганга Моцарта, родившегося 27 января в день святого Иоанна Златоуста (Хризостома). Полное имя Моцарта, данное ему при крещении, было Иоганн Хризостом Вольфганг Теофиль (последнее переводится по-латыни Амадеус).
- ³ Клавичембало — так назывался клавишный инструмент, принадлежавший к числу предшественников фортепиано (клавесин, клавичембало, гравичембало, спинет и мн. др.).

- ⁴ ...я немало гордился собой, когда мне удавалось выдумать тему, подчинявшуюся всем контрапунктическим правилам. — Речь идет о мелодии, удобной для полифонического развития, предусмотренного учением о контрапункте.
- ⁵ «Наше царство — не от мира сего...» — перифраз слов Иисуса: «Царствие мое не от мира сего» (Евангелие от Иоанна 18, 36), подчеркивающий романтический тезис о высоком значении искусства.
- ⁶ ...по остроумному выражению одного физика... — Имеется в виду Иоганн Вильгельм Риттер (1776—1810), друг Новалиса.

ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КОТА МУРРА

«Житейские воззрения кота Мурра» — последний роман Гофмана. Прообразом одного из героев послужил его собственный кот, о котором он так написал 1 мая 1820 г. Шпейеру (см. о нем стр. 619): «Я рекомендую вам высокоумного и глубокомысленного кота Мурра, который в это самое мгновение расположился рядом со мной на маленьком мягком стульчике и, по-видимому, предается экстраординарнейшим размышлениям и фантазиям, ибо он многозначительно мурлычет. — Это кот дивной красоты (на обложке книги он изображен с необыкновенным сходством) и еще большего ума, которого я воспитал, он-то и дал мне повод к той забавной мистификации, которой пронизана эта, собственно говоря, серьезная весьма книга». И действительно, «Житейские воззрения кота Мурра» — книга весьма серьезная, занимающая центральное место в его литературном творчестве. В этом романе, который является наиболее автобиографическим из всех его произведений, образ Иоганнеса Крейсера, так ярко обрисованный в «Крейслериане», получает окончательное развитие и завершение — все, что было пережито и передумано, Гофман вложил в уста своего героя.

Роман был начат в мае 1819 г. и закончен в октябре—ноябре 1819 г. Первый том вышел в издательстве Фердинанда Дюммлера в декабре 1819 г., но уже с обозначением 1820 г. Второй том, начатый в августе 1821 г., был закончен в начале декабря того же года; подобно первому, второй том, вышедший в рождественские дни 1821 г., имел на титульном листе обозначение — 1822 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

- ¹ ...господину Дюммлеру. — Фердинанд Дюммлер (ум. 1846), издатель и книгопродавец в Берлине.
- ² «Ночные рассказы» — собрание восьми новелл и рассказов Гофмана, появившееся в Берлине в 1817 г. в двух частях.
- ³ «Мадмуазель де Скюдери», рассказ из времен Людовика Четырнадцатого — новелла Гофмана, впервые напечатанная в «Карманной книге на 1820 г.».
- ⁴ Портрет его, открывающий эту книгу... — Г. имеет в виду портрет подлинного кота Мурра, который он нарисовал в октябре—ноябре 1819 г. (см. вклейку); фрагмент этого портрета, а также автопортрет Г. в виде Крейсера в нашем издании использованы как заставки.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

- ⁵ *Murr (Étudiant en belles lettres)* — так шуточно подписывался и сам Гофман; в частности, так подписан им сонет, посвященный певице Иоанне Эунике, исполнительнице роли Ундины в одноименной опере Гофмана.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

- ¹ ...воскликает пресловутый героический нидерландец в общеизвестной трагедии. — Мурр имеет в виду слова Эгмонта в одноименной трагедии Гете (V акт).
- ² «О, сколь безмерна нежность к тебе, родимый край!» — цитата из зингшпиля Фридриха Вильгельма Готтера (1746—1797) «Остров духов» (III акт, финал).
- ³ ...Разве вы не вспоминаете... о сильнейшей буре? — далее идет свободный пересказ отрывка из «Сентиментального путешествия» Лоренса Стерна (1713—1768), знаменитого английского писателя, оказавшего сильное влияние как на отечественную, так и на немецкую литературу в предромантический и романтический период развития.
- ⁴ Аталанта — древнегреческая царевна, славившаяся быстротой своего бега.
- ⁵ «Fêtes de Versailles» («Версальские празднества») — название книги, появившейся впервые в Париже в 1664 г. («Празднества зачарованного острова»), которая была написана Мольером, а затем под названием «Версальские празднества» печаталась в различных собраниях.
- ⁶ ...когорта стоических Муциев Сцевол... — Муций Сцевола — легендарный римский герой, который, чтобы доказать свою стойкость врагу, сжег на жертвеннике руку.
- ⁷ ...лаокооновских физиономий... — Г. иронически намекает на знаменитую скульптурную группу жреца Лаокоона и его сыновей, которые гибнут, оплетенные страшными змеями, посланными на них богом Аполлоном.
- ⁸ «Огня! Огня!» — возопил князь, подобно королю в «Гамлете»... — Ср. акт III, сц. 2. Слова эти, однако, принадлежат Полонию.
- ⁹ ...подобно эльфу Пэку, готовым учинить любое сумасбродство... — Имеется в виду 2 сцена III действия комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».
- ¹⁰ «Mi lagnerò tascando della mia sorte atara» — об этой арии, написанной Г. в 1812 г. и посвященной Юльен Марк, см. дневник и прим. стр. 485, 570.
- ¹¹ ...я восхвалял моего Ариэля, как шекспировский Просперо восхвалил своего... — Просперо, Ариэль — персонажи шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь». Г. имеет в виду д. V, сц. 1.
- ¹² «Ave maris stella» — духовный гимн, написанный Г. в 1808 г. на традиционный текст, прославляющий богородицу как «Звезду морей».
- ¹³ ...чувствительный Юст! — Намек на героя пьесы Лессинга «Минна фон Барнхельм»; — в д. I, сц. 8 Юст спасает из канала пуделя.
- ¹⁴ Плутарх (ок. 50—120 гг. н. э.) — древнегреческий философ и писатель, прославившийся своими параллельными биографиями греческих и римских выдающихся деятелей.
- ¹⁵ Корнелий Непот (100—25 гг. до н. э.) — римский историк и автор биографий знаменитых людей древности.
- ¹⁶ Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681) — знаменитый испанский драматург: Г. очень высоко ставил драматургию Кальдерона и собирался писать оперу на сюжет одной из его пьес; кроме того, Г. написал статью в газету о постановках трех пьес Кальдерона на сцене бамбергского театра.
- ¹⁷ ...кот-юноша примется за биографические забавы... — Некоторые комментаторы склонны видеть здесь намек на «Биографические забавы под черепом некоей великаниши» Жана Поля Рихтера (1796 г.).
- ¹⁸ Базедов Иоганн Берггард (1723—1790), немецкий педагог, создавший новую, прогрессивную систему воспитания.
- ¹⁹ Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — последователь Руссо, педагог, придерживающийся так называемой «естественной» системы воспитания. Организовал несколько школ-приютов для бедных детей и сирот.
- ²⁰ Книжке Адольф Франц фон (1752—1796) — автор упоминаемой Мурром книги «Об образовании с людьми», которая впервые была издана в Ганновере в 1788 г.
- ²¹ Гильмар Курас — учитель в гимназии Иоахима в Берлине в XVIII в. Книга, о которой пишет Мурр, — «Calligraphia Regia» (Берлин, 1718).

- ²² Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, автор знаменитой поэмы «Освобожденный Иерусалим». Герой литературных и музыкальных произведений, в основу которых была положена горестная участь поэта, брошенного в тюрьму герцогом феррарским.
- ²³ Ариосто Лодовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор знаменитой эпической поэмы «Неистовый Роланд».
- ²⁴ Князь Иринея и впрямь некогда правил в... миниатюрном княжестве неподалеку от Зигхартсвейлера... — О том, что прототипом двора князя Иринея был двор герцога Баварского, мы уже говорили в статье, см. стр. 582. Г. изобразил как самого Вильгельма Баварского (1752—1837) и его слабоумного сына Пия (1786—1837), так и герцогиню Амалию Луизу, урожденную принцессу Аренберг (1789—1823), супругу Пия, выступающую в романе под именем Гедвиги. Разумеется, хотя эти образы и имеют реальных прототипов, они не являются просто портретами.
- Весьма интересна попытка исследователя Вальтера Гариха, давшего в своей обстоятельной работе о Гофмане (см. стр. 582) генеалогическую таблицу, которая должна представить подлинные родственные отношения персонажей романа. Согласно этой таблице, Крейслер является сыном княгини Марии и художника Этлингера, Гедвига — дочерью маэстро Абрагама и Кьяры, а Кьяра находится в родстве с обоими принцами — Гектором и Антонио (Киприаном) (*Walter Harich. E. T. A. Hoffmann, Bd. 2, S. 233*).
- ²⁵ ...князь Иринея... прозулявшись в сопредельное государство, ненароком потерял свою страну. — Г. имеет в виду, что княжество Иринея было присоединено к соседнему во время бегства князя от наполеоновских войск. См. также статью, стр. 582, где говорится, что Вильгельм Баварский должен был уступить свое княжество Иоахиму Мюрату.
- ²⁶ ...жертвовали собой ради того, чтобы позабавить и потешить князя и его двор, точь в точь как афинские горожане в шекспировском «Сне в летнюю ночь». — Г. имеет в виду представление, подготовленное афинскими ремесленниками для двора своего герцога.
- ²⁷ ...советница Бендон... — Под этим именем Г. вывел (уже не в первый раз!) консульшу Марк.
- ²⁸ ...разве эллины... не приписывали своим богам престранной склонности к пожиранию собственных детей... — Мурр говорит о древнегреческом мифе, согласно которому бог времени Крон каждый раз, как только у его жены Реи рождался ребенок, пожирал его; хитростью она спасла Зевса (Юпитера), который впоследствии победил отца.
- ²⁹ «О аппетит, тебя котом зову я!» — шутливая переделка знаменитой фразы Гамлета «О женщины, ничтожество вам имя» (I д., сц. 2).
- ³⁰ Благочестивый Эней — герой «Энеиды» Вергилия, образчик сыновней любви (он вынес из пылающей Трои на плечах своего беспомощного отца).
- ³¹ Хорошо темперированный клавир... — Два тома прелюдий и фуг для клавира И. С. Баха (по 24 прелюдии и фуги в каждом томе), окончательно утвердившие так называемый темперированный строй, основанный на делении октавы на 12 равных полутонов.
- ³² *Stefano Pacini fec. Venet. 1532.* — Названный Г. Стефано Пачини не засвидетельствован как историческое лицо.
- ³³ ...амбушюр — мунштук на духовых инструментах.
- ³⁴ Эммелина — героиня оперы Йозефа Вейгля (1766—1846) «Швейцарская семья» (1809), которой Г. неоднократно дирижировал.
- ³⁵ ...«вздыхают, словно печи»... — любимая цитата Г. из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (II акт, сц. 7).
- ³⁶ Гиппель Теодор Готлиб (1741—1796); Г. имеет в виду отрывок из сочинения Гиппеля «О браке» (1774).
- ³⁷ «Ah, pietà, pietà, signora!» — шутливое искажение первой фразы «Misereere» Никколо Йомелли (1714—1774) «Ah, pietà, pietà, signore!»

- ³⁸ Подобно незабвенному поэту захотелось мне вкусить приятность идиллических радостей жизни в скромной хижине... — Очевидно, Мурр подразумевает строки из II эпода Горация (V, 23) «*Beatus ille, qui procul negotiis...*»
- ³⁹ Бертольд — Константин Аклитцен, известный под своим монашеским именем Бертольд, в 1259 г. изобрел порох.
- ⁴⁰ ...прославленный человеческий писатель... — Мурр имеет в виду Георга Кристофа Лихтенберга (1742—1799), который в своих «Афоризмах» дал энциклопедию нравов своего времени.
- ⁴¹ «Листья аканта» — пародийный намек на сборник «Листья лотоса» Исидора Ориенталиса (Фердинанда Августа Генриха графа фон Лебена, 1786—1825), напечатанный в Бамберге в 1817 г.
- ⁴² Кот в сапогах — имеется в виду герой пьесы Людвиг Тика в трех актах с прологом и эпилогом (1797).
- ⁴³ «Синяя Борода» — пьеса Людвиг Тика «Рыцарь Синяя Борода» в четырех актах (1796); цитируемые слова взяты из II акта.
- ⁴⁴ Скарамуш — одна из масок итальянской народной комедии, тип дзанны.
- ⁴⁵ Ленотр [Ле Нотр] Андре (1613—1700) — знаменитый садовый архитектор, основоположник классического французского стиля разбивки садов и дворцовых парков, в частности, Версальского.
- ⁴⁶ ...как прекрасно сказал один глубокий поэт... — Г. имеет в виду Людвиг Тика (1773—1853) — поэта, драматурга и прозаика.
- ⁴⁷ ...после гайдновских «Времен года»... — оратория Йозефа Гайдна того же названия (1800).
- ⁴⁸ ...Моцарт и Бетховен решительно ничего не смыслили в пении, и ... Россини, Пучитта и — имена их господи веси! — достигли самых высот того, что именуется оперной музыкой! — Здесь Г. выражает свои взгляды на итальянскую школу музыки. См. также стр. 86—87. Россини Джакомо Антонио (1792—1868) — знаменитый итальянский оперный композитор. Пучитта Винченцо (1778—1861) — итальянский оперный композитор.
- ⁴⁹ Павези Стефано (1778—1850) — итальянский оперный композитор.
- ⁵⁰ Фьораванти Валентино (1764—1837) — итальянский оперный композитор, автор 77 опер, из которых наиболее знамениты комические.
- ⁵¹ ...какого вы мнения о принципе, согласно коему, ... возможно любого ребенка за короткий срок... сделать... светилом науки или замечательным художником? — Гофман имеет в виду основное положение книги о воспитании Карла Генриха Готфрида Витте (1767—1845), которая вышла в свет в 1819 г.
- ⁵² был выставлен... лишь один-единственный продукт подобного воспитательного метода... и ... не из особенно удачных. — Имеется в виду вундеркинд Карл Витте 1800—1883), сын Карла Генриха Витте, с 1817 г. приватдоцент в Берлине.
- ⁵³ Чу, что за чувство в сердце воцарилось? — Первая строфа сонета Мурра представляет собой свободное изложение стихотворения Гете «*Claudina von Villa Bella*», исполняющегося в I действии зингшпиля, написанного Гофманом на текст этого стихотворения.
- ⁵⁴ Глосса — комментарий к основному тексту (на полях или между строк), имевший характер пояснения. Особая ценность глосс заключалась в том, что латинские слова или термины переводились на диалекты, из которых впоследствии сформировались европейские языки.
- ⁵⁵ В день Иоанна Златоуста, стало быть, двадцать четвертого января... — В день Иоанна Златоуста — 27 января — родился кумир Гофмана — Моцарт. Сам Гофман родился 24 января, но он допускает некоторую натяжку для совпадения этих дат.
- ⁵⁶ ...мурки — особый вид басового сопровождения, популярный в пьесах XVIII в.; по имени этого аккомпанемента и пьесы назывались мурки.
- ⁵⁷ ...покойной тетушки Фюсхен... — любимая тетушка Г., младшая сестра его матери, Шарлотта Вильгельмина Дерфер, певица и музыкантша.

- ⁵⁸ *Trompette marine* — смычковый инструмент, представляющий собою узкий, высокий (до 1,5 м) треугольник с одной струной. Употребляется вместо трубы в женских монастырях (*tuba Mariae, tromba marina*).
- ⁵⁹ ... в «Музыкальном лексиконе» Коха... — Имеется в виду вышедший в 1802 г. «Музыкальный лексикон» Генриха Кристофа Коха (1749—1816), немецкого композитора и теоретика.
- ⁶⁰ *Эвфон* — инструмент, изобретенный в 1790 г. немецким физиком Эрнстом Флоренсом Фридрихом Хладни (1756—1827), напоминающий скрипку, но в отличие от нее имеющий вместо струн стеклянные трубочки.
- ⁶¹ *Гербер Эрнст Людвиг* (1746—1819) — автор «Историко-биографического словаря музыкального искусства».
- ⁶² *viola d'amore* — старинный инструмент типа альты, имеющий от пяти до семи струн, под которыми были расположены так же настроенные вибрирующие (бурдонирующие) струны.
- ⁶³ *Эссер Карл Михаэль* (род. ок. 1740) — знаменитый скрипач и композитор.
- ⁶⁴ *viola da gamba* — виола да гамба — так называлось семейство струнных, державшихся наподобие виолончели, у ноги.
- ⁶⁵ ... отец отдал ... меня на воспитание брату моей матери... — Г. имеет в виду Отто Вильгельма Дерфера (см. ниже, стр. 609).
- ⁶⁶ ... ифландовские комедии... — Ифланд Август Вильгельм (1759—1814) — драматург, актер и театральный директор.
- ⁶⁷ ... история о том, как отрок Руссо... без малейших познаний по части гармонии, контрапункта... — решил сочинить оперу... — «Исповедь» Руссо — одна из самых любимых книг Г. (см. дневник стр. 438). Здесь он имеет в виду 7-ю книгу «Исповеди», однако в 1742 г., к которому относится эта книга, Руссо было уже 30 лет.
- ⁶⁸ «Любил я лишь Исмену...» — популярная в XVIII в. песенка неизвестного автора.
- ⁶⁹ ... дядюшка Огорченций — прозвище, данное Гофманом Отто Вильгельму Дерферу по начальным буквам его имени.
- ⁷⁰ ... младший брат моего дядюшки. — Г. имеет в виду Иоганна Людвига Дерфера (1743—1803), который в 1798 г. был произведен в тайные советники.
- ⁷¹ ... я увидел, что на мне оковы, казавшиеся... несокрушимыми — эти слова напоминают мысли в дневнике конца 1803—начала 1804 г. (см. стр. 445).

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

- ¹ *И я рожден в Аркадии...* — начальные слова первой строфы стихотворения Шиллера «Отречение». Аркадия — пастушеская страна невинности и чистых радостей, ставшая нарицательной.
- ² ... как говорится в прославленной трагедии, палка, занесенная для удара, застыла в воздухе... — имеется в виду «Гамлет», II акт, сц. 2.
- ³ ... был однофамильцем известного юмориста... — имеется в виду автор сатирических произведений Кристиан Людвиг Лисков (1701—1760).
- ⁴ ... орган-позитив с восьмифутовым гедактом, — т. е. переносный орган.
- ⁵ *Евгений Каспарини* — органный мастер Евгений Каспар (1624—1706).
- ⁶ ... некий могущественный коронованный колосс — Наполеон, с 1804 г. император французев. Далее Г. намекает на роспуск в 1806 г. прусской администрации в Польше.
- ⁷ *Король Готлиб* — персонаж пьесы Тика «Кот в сапогах».
- ⁸ *Орест и Пилад; Дамон и Пифий* — в греческих мифах легендарные образцы бескорыстной глубокой дружбы.
- ⁹ ... когда беднягу слишком уж терзали демоны и фурии. — Имеется в виду миф о мести Оресту за убийство им матери, Клитемнестры; хотя Орест мстил за отца, погибшего от руки Клитемнестры и ее любовника Эгиста, убийство матери даже из любви к отцу считалось самым тяжким преступлением, и Ореста преследуют богини мести и ярости — Эриннии.

- ¹⁰ ...по примеру одного весьма знатного человека, который ...под недостойной личной презренного заера развлекал самое избранное общество презабавнейшими кунштштюками. — Имеется в виду граф Александр де Калностро (Джузеппе Балзамо, 1743—1795) — путешественник и авантюрист, выдававший себя за человека, владевшего тайной философского камня, вызывателя духов и т. д.
- ¹¹ ...пример некоего храброго офицера, который пробежался от Лейпцига до Сиракуз... — Намек на писателя Иоганна Готфрида Зейме (1763—1810), чья книга «Прогулка в Сиракузы» появилась в 1803 г. В ней Зейме описывал свое путешествие пешком из Лейпцига в Сицилию.
- ¹² *Нанетта* (Анна Мария) *Штрейхер* (урожд. Штейн) (1769—1833) — унаследовала от отца, Иоганна Андреаса Штейна, искусство сооружать клавиры. Выступала как пианистка вместе с Моцартом.
- ¹³ ...речитатив *Клитемнестры* — из 6-й сцены III акта «Ифигении в Авлиде» Глюка.
- ¹⁴ «*Мельничиха*» — опера Джованни Паэзэнелло (1788); ариетта «*La Rachelina molinapina*» из 3-й сцены I акта.
- ¹⁵ *Галль Франц Иозеф* (1758—1828) — врач, основатель учения о френологии, науке, которая утверждала, что по форме черепа можно сделать выводы о характере и способностях человека.
- ¹⁶ *Гаманн Иоганн Иозеф* (1730—1738) — прозванный «Северным магом» немецкий писатель и философ, имевший большое влияние на представителей «бури и натиска». См. статью стр. 542.
- ¹⁷ ...вычитал некогда у *Шекспира* и *Шлегеля*. — Август Вильгельм фон Шлегель (1767—1845) перевел 17 драм Шекспира.
- ¹⁸ *Эсхил* (525—456 до н. э.) — один из самых выдающихся древнегреческих трагиков.
- ¹⁹ *Корнель Пьер* (1606—1634) — французский драматург эпохи классицизма.
- ²⁰ ...напоминает мне историю прославленного еще *Сервантесом* превосходного пса *Берганцы*, последние приключения которого описывает новая, необычайно забавная книжка! — Г. имеет в виду свой собственный рассказ, замыкающий первую книгу «Фантазий в манере Калдо» — «Новые приключения собаки Берганцы» (1812), где выведен персонаж новеллы Сервантеса. См. об этом статью стр. 583.
- ²¹ ...приведу вам в пример знаменитого врача, который в своем ученом рассуждении о животном магнетизме... ссылается на *Шиллера*, вложившего в уста *Валленштейна* всем известные слова: «Есть в жизни человеческой мгновенья...» и далее: «Вещанья существуют несомненно»... — Имеется в виду Карл Александр Клуге и его книга «Опыт изложения животного магнетизма как лечебного средства», где Клуге приводит выдержки из трилогии Шекспира «Смерть Валленштейна» (II акт, сц. 3; V акт, сц. 3).
- ²² *Клод Лоррен* (1600—1682) — французский пейзажист; *Берхем Клаас Питерс* (1620—1683) — голландский пейзажист; *Хаккерт Якоб Филипп* (1737—1807) — немецкий пейзажист, о нем см. 443.
- ²³ «*Вы хорошие люди, но плохие музыканты*» — несколько измененные слова из комедии Клеменса Брентано «Понсе де Леон» (1804; V акт, сц. 2).
- ²⁴ ...тысячи чутких нитей простирает дух в жгучем порыве и оплетает ту... — см. дневник и статью, стр. 444, 586.
- ²⁵ ...уподобясь персонажу из комедии масок *Гоцци* — пьесы-сказки Карло Гоцци (1720—1806), написанные на венецианском диалекте, были любимыми пьесами самого Г. (См. «Принцесса Брамбилла» и др.).
- ²⁶ ...господин обер-кухмистер... желают непременно вонзить себе в живот нож для приготовления рагу... — Пародийный намек на метрдотеля Людовика XIV — Ваттеля, который заколол себя шпагой, когда однажды не была вовремя готова рыба к королевскому столу.
- ²⁷ *Астральная лампа* — потолочная лампа с плоским кольцеобразным резервуаром.
- ²⁸ *Невидимая девушка*. — Довольно распространенный в то время фокус. О нем сообщает, например, «Эlegantная газета» (1809, № 52). Г. воспользовался этим сообщением.

- ²⁹ ... советник Мейстер из Геттингена — Абрагам имеет в виду Альберта Фридриха Мейстера (ум. 1788), упоминаемого Абрагамом создателя трактата «О водяных органах древних».
- ³⁰ Калиостро — см. выше, прим. на стр. 605.
- ³¹ ... я разбил бы ее... и *diable boiteux* ... предстал бы предо мной... — намек на первую главу романа Алена Рене Лесажа (1668—1747) «Хромой бес», в которой герой освобождает хромого беса, разбив склянку, в которую тот был заключен.
- ³² Котуньо Доменико (1754—1822) — неаполитанский врач; это происшествие сообщается в упомянутой выше (стр. 605) книге Клуге.
- ³³ Месмер Франц Антон (1743—1815) — основатель учения о животном магнетизме и видный венский меценат.
- ³⁴ Кемпелен Вольфганг фон (1734—1804) — механик, изобретатель автоматических фигур; особенно известна была его «шахматная машина» с фигуркой играющего турка, где был спрятан карлик.
- ³⁵ Иоганн Куниспергер (1436—1476), Иоганн Меллер, известный также под латинизированным именем Региомонтанус, известный математик и астроном.
- ³⁶ «*De arte amandi*» («Об искусстве любви») — поэма Овидия Публия Назона (43 г. до н. э.—17 н. э.).
- ³⁷ «Искусство любить» Мансо — имеется в виду поэма в трех книгах Иоганна Каспара Фридриха Мансо (1760—1826).
- ³⁸ «Отважный кот, — ответила она в смущении, — кто ты?» — вся эта сцена пародийно воспроизводит сцену объяснения из романа Жана Поля Рихтера (1763—1826) «Титан».
- ³⁹ ... как «Кавалер, блуждающий по лабиринту любви» — Г. имеет в виду вышедший в 1738 г. роман Иоганна Готфрида Шнабеля.
- ⁴⁰ *Uetus otia amat*... — Мурр цитирует 143—144 ст. из V песни поэмы Овидия «Лекарство от любви» («*Remedia amoris*»).
- ⁴¹ «Сквозь чашу крался я...» — свободное изложение «Вечерней песни охотника» Гете (1780).
- ⁴² *Exige quod cantet*... — Мурр цитирует стт. 333 и 336 из V песни «Лекарства от любви» Овидия.
- ⁴³ ... слово «человечий»... рифмуется самым пренелепым образом... почему, как уже некогда заметил один шутник-комедиограф, — человек, стало быть, пренелепое животное. — Мурр имеет в виду Августа Коцебу (1761—1819), который высказал эту мысль в 1 сцене комедии «Бедный поэт» (1813).
- ⁴⁴ «Ты знаешь край, где апельсины зреют?» — см. «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гете — песня Миньоны (III книга, 1 гл.).
- ⁴⁵ «В портрете прелесть нежных чар...» — слова принца Тамино из I сцены IV действия оперы Моцарта «Волшебная флейта».
- ⁴⁶ «*Ave maris stella*», «*O sanctissima*» — название хоров, написанных в 1808 г. Г-ом для исполнения а *capella*.
- ⁴⁷ «*Di tanti palpiti*» («от такого трепета») — ария из оперы Россини «Танкред».
- ⁴⁸ «Ужели... тебя я не увижу боле!» — терцет из II акта «Волшебной флейты» Моцарта.
- ⁴⁹ О, небо! О, земля! Кого ж еще призвать на помощь? Ад, быть может? — Мурр цитирует монолог Гамлета (I д., сц. 5).
- ⁵⁰ Франклин Бенджамин (1706—1780) — государственный деятель Соединенных Штатов и ученый, изобретатель громоотвода.
- ⁵¹ Баумgarten Зигмунд Якоб (1706—1757) — профессор теологии в Галле, перевел «Всемирную историю» с английского.
- ⁵² ... я постулировал свое «я» в степени капельмейстера — намек на философию Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814).

ТОМ ВТОРОЙ

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

- 1 ... у Тика в «Октавиане» — имеется в виду комедия Людвиг Тика «Император Октавиан» (1 часть).
- 2 «*Gaudeamus igitur*» (Будем веселиться) — старинная студенческая песня.
- 3 «Пусть твердят политики» — песня Леопольда Фридриха фон Гюнтера фон Геккинга (1748—1828); впервые опубликована в «Музыкальном альманахе» Фосса на 1783 г. под названием «Застольная песня».
- 4 «*Esse quam videri*» (Вот как прекрасно) — старинная студенческая песня.
- 5 Гендель Георг Фридрих (1685—1759) — великий немецкий композитор.
- 6 ... когда принц Гамлет еще ходил в фуксах. — Фукс (лисица) — жаргонное студенческое слово, означающее студента первого семестра.
- 7 «*La fin couronne les oeuvres*» (Конец венчает дело) — перевод латинской формулы *finis coronat opus* — Шекспир. Генрих Шестой (II часть, V акт, сц. 2).
- 8 Аякс — легендарный герой троянской войны, славившийся быстротой бега. Победивший Одиссеем в борьбе за доспехи Ахилла, покончил с собой в припадке безумия.
- 9 ... высказывал безумное желание стать перчаткой... как мой кузен Ромео... — Шекспир. Ромео и Джульетта, 2 сц., II д.
- 10 Респонзорное пение — чередующиеся между собой реплики священнослужителя и хора, либо двух хоров.
- 11 *Ergo vivamus*. — Этот и другие латинские обороты преподобного отца Гилария восходят к «Гаргантюа» Франсуа Рабле (1490—1553).
- 12 Тартини Джузеппе (1692—1770) — знаменитый итальянский композитор и скрипач-виртуоз; тайно обвенчавшись с дочерью кардинала, вынужден был скрываться от преследований в францисканском монастыре.
- 13 Зильберман Иоганн Андреас (1712—1783) — органный мастер.
- 14 Морцу Карл Филипп (1756—1793) — писатель, издатель «Журнала опыта психиатрии», где изучались вопросы теории сна.
- 15 Давидсон Вольф — с 1772 по 1800 г. врач в Берлине, автор книги «Опыт о сне» (1786).
- 16 Нудов Генрих (род. 1752) — врач и писатель, автор книги «Опыт теории сна» (Кенигсберг, 1791).
- 17 Тидеман Дитрих (1748—1803) — писатель, занимался вопросами теории сна.
- 18 Вингольт Арнольд, автор книги «О животном магнетизме».
- 19 Райль Иоганн Христиан (1759—1813) — врач и писатель, занимался вопросами теории сна и сновидений.
- 20 Шуберт Готхильф фон (1780—1860) — автор изданной в 1814 г. в Бамберге книги «Символика сна».
- 21 Клуге Карл Александр Фердинанд (1782—1844) — врач и писатель, занимался вопросами теории животного магнетизма.
- 22 ... злоречивый человек дал ему название, явно позорящее нас... — шуточный намек на Katzenjammer — похмелье (буквально «кошачье горе», когда кошки скребут на душе).
- 23 ... что мир... является лучшим из миров... — пародийный намек на знаменитое изречение Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716).
- 24 ... пародией на семижды отвергнутую ложь Оселка в «Как вам это понравится». — Имеется в виду 4-я сцена V действия комедии Шекспира «Как вам это понравится».
- 25 Теден Иоганн Антон Христиан (1714—1797).
- 26 «Кто себе не помогает, тот себе вредит» — К. Гоцци. Счастливые нищие, акт I, сц. 8.
- 27 Палладио — Андреа ди Пьетро, по прозвищу Палладио (1518—1580) — знаменитый архитектор эпохи Возрождения.

- ²⁸ ...воспитанник римской Конгрегации пропаганды... — Конгрегация пропаганды веры — одно из ведущих учреждений римской курии, руководящее деятельностью миссионеров.
- ²⁹ ...бenedиктинцев... — Орден бенедиктинцев — монашеский орден, основанный в VI в. св. Бенедиктом из Нурсии, который был также первым настоятелем первого монастыря этого ордена в Монте-Кассино.
- ³⁰ ...нотариус Пистофолус — персонаж оперы Паэззиелло «Прекрасная мельничиха».
- ³¹ матлот — матросский танец в Уэльсе.
- ³² ...Гамлет говорил одному достойному господину по имени Гильденстерн — III акт, 2 сцена.
- ³³ ...«Немецким отцом семейства» барона фон Геммингена — князь Ириней имеет в виду пьесу Отто Генриха фон Геммингена (1755—1836), написанную в подражание пьесе Дидро «Отец семейства».
- ³⁴ «в будни лихо подметает... но... уж как ласкает в... воскресный день» — свободная цитата из «Фауста» Гете, I часть («У ворот»).
- ³⁵ ...где ж нынче твои резвые прыжки? Где твоя ликующая веселость... — пародийное изложение монолога Гамлета над черепом Йорика — V акт, сц. 1.
- ³⁶ ...воспоминаниям о ... золотых днях Аранхуэца, которые ныне прошли... — Намек на начало драматической поэмы Шиллера «Дон Карлос».
- ³⁷ ...говорят, он умереть хотел! — Цитата из «Смерти Валленштейна» Ф. Шиллера, IV акт, 10 сц.
- ³⁸ О кисаньки, — податливость вам имя! — см. прим. 29, стр. 602.
- ³⁹ «Необычайные приключения Петра Шлемия» — Адальберта Шамиссо (1781—1838), книга, особенно любимая Гофманом; он даже нарисовал несколько иллюстраций к этой повести, см. одну из них (стр. 000).
- ⁴⁰ ...папа Марцелл Второй справедливо намеревался ее, оную музыку, изгнать вовсе! — Марцелл Второй (1501—1555), папа с 9 апреля по 1 мая 1555 г. Палестрина (см. ниже) написал мессу (так называемую «Мессу папы Марцелла»), прослушав которую папа изменил свое намерение.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

- ¹ *Арпе* Петер Фридрих (1682—1748) — филолог и юрист; имеется в виду его сочинение «О чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами», которое появилось в немецком переводе в 1792 г.
- ² «Очарованный мир» Беккера — сочинение голландского богослова Балтазара Беккера (1634—1698), направленное против предрассудков и суеверий; появилось в свет в 1691 г.
- ³ «Книга о вещах достопамятных» Франческо Петрарки — книга знаменитого итальянского поэта-гуманиста Франческо Петрарки (1302—1374 гг.), появившаяся в немецком переводе в Аугсбурге в 1541 г.
- ⁴ «Жак Фаталист» — появившийся в 1797 г. в Париже роман Дени Дидро.
- ⁵ *Не все погибло, ибо вы моя!* — Шиллер. «Орлеанская дева», I д., 4 сц.
- ⁶ «Когда любовь возносит нас крылато» — начало 31 песни «Неистового Роланда» Лодовико Ариосто.
- ⁷ *Пикар Луи Бенуа* (1769—1828 гг.) — французский комедиограф.
- ⁸ «*Salve regina*» — на этот традиционный церковный текст сам Гофман сочинил в 1808 г. музыку (см. стр. 651).
- ⁹ *Палестрина Джованни Пьерлуиджи* (1525—1594) — знаменитый итальянский композитор.
- ¹⁰ ... в ночь с двадцать девятого на тридцатое ноября — см. траурное извещение о смерти Мурра. Текст его таков:
«В ночь с 29 на 30 ноября сего года почил, дабы пробудиться в лучшем мире, мой горячо любимый и подававший большие надежды воспитанник кот Мурр на четвертом году своего земного существования. Все, кто знали покойного юношу,

все, кто видели его шествующим по стезе добродетели и справедливости, разделят мою скорбь и молча почтят его память.

Берлин, 1 декабря 1821 г.»

Самому Гофману тоже уже оставалось недолго жить — смертельный недуг подтачивал его, и он умер семь месяцев спустя — 25 июня 1822 г.

ДНЕВНИКИ

1803

ОКТАБРЬ

- ¹ ... письмо из Берлина... содержало известие, что дядюшка скончался... — Письмо, полученное Г., было написано его двоюродным братом Дерфером Эрнстом Людвигом Гартманном (1778—1831), референдарием государственного суда в Берлине, и извещало о смерти дяди Г. Иоганна Людвиг Дерфера, государственного советника в Глогау (1743—1803). Одновременно кузен извещал Г. о своем разговоре с докладчиком и советником государственного суда Людвигом фон Шметтау (р. 1765 г.), который заверил Дерфера, что у Г. есть большие надежды на перемещение и получение лучшего места.
- ² ... я закончил последние рисунки с ваз... — копии рисунков этрусских ваз собрания лорда Гамильтона; Г. пользовался изданием, подготовленным Вильгельмом Тишбейном, выходявшем в Неаполе в 1791—1809 гг.
- ³ ... почему именно дядюшка должен был умереть... почему не... — Г. думает о своем другом дяде — Отто Вильгельме Дерфере (1741—1811 гг.).
- ⁴ ... спрятаться за гамлетовским изречением. — Очевидно, имеется в виду реплика Гамлета: «Гораций, много в мире есть такого // Что вашей философии не снилось». — Шекспир. Гамлет, д. I, сц. 4. Перевод Б. Пастернака.
- ⁵ ... *non olim sic erit* — излюбленное выражение Г., заимствованное из «Од» Горация (II, X, 17), которое он не только постоянно приводит в своих дневниках, но и в качестве одного из важнейших жизненных принципов вводит в свои произведения. См. одну из последних новелл Г., «Угловое окно», имеющую подзаголовок: «*Et si male nunc, non olim sic erit*».
- ⁶ ... продолжением шума из ничего... — видимо, снова намек на Шекспира, чрезвычайно характерный для Г., так как Шекспир — наиболее любимый и цитируемый Г. автор.
- ⁷ ... ремесло юриста сопряжено с большими неприятностями. — Юриспруденция была профессией, которая в семье Г. передавалась из поколения в поколение. Как уже сказано выше, дядя Г. Иоганн Людвиг был юристом; другой дядя — Отто Вильгельм Дерфер — тоже был советником юстиции.
- ⁸ ... слушал у монахинь-норбертинок мессу... — Г. чрезвычайно интересовался жанрами духовной музыки. Он не только слушал выдающиеся произведения духовной музыки, но и принимал участие в исполнении этих произведений (см. статью об исполнении им теноровых партий в мессе Гайдна, «Реквиеме» Моцарта, заупокойной службе и др.). Перу Г. принадлежит и Месса, о сочинении которой он пишет в «Дневнике» (см. ниже). Кроме того, Г. не только писал о различных произведениях духовной музыки, но и о жанрах духовной музыки вообще («О старинной и новой церковной музыке»). В этом отношении интересны также некоторые фраг-

- менты «Крейслерианы» и особенно части романа «Кот Мурр», относящиеся к пребыванию Иоганнеса Крейсера в аббатстве Канцгейм. Несмотря на критический отзыв о пении норбертинок, Г. написал для них Мессу D-dur.
- ⁹ ... если бы мне посчастливилось услышать Шик, Маркетти... — Г. имеет в виду выдающихся певиц своего времени — Маргариту Луизу Шик, урожд. Хамель (1773—1809 гг.), и Марию Фантоцци, урожд. Маркетти (1767—после 1812 г.).
- ¹⁰ Гильдебрандт Иоганн Фердинанд (1777—1808 гг.) — советник юстиции.
- ¹¹ Фоке Иоганн Дитрих (1751—1813 гг.) — высший советник юстиции верховного трибунального суда в Берлине. Г. обращается к нему с просьбой о содействии в перемещении, но это письмо осталось без ответа и Г. снова пишет Фоке в октябре или в ноябре этого же года и поясняет, что согласен на перемещение в Варшаву.
- ¹² ... читал Виглебову «Магию»... — Иоганн Христиан Виглеб — фармацевт, автор компилятивной книги «Натуральная магия» (1782 г.). Книга эта неоднократно упоминается в произведениях Г. См., например, «Крошка Цахес», гл. пятая. Да и другие произведения Г. обнаруживают его близкое знакомство не только с этим произведением, но и со многими другими сочинениями, трактующими вопросы магии.
- ¹³ ... и решил ... изготовить автомат... — Одно из первых сообщений о том, что Г. чрезвычайно интересовался этой проблемой, которая в дальнейшем заняла столь большое место в его литературном творчестве. Достаточно вспомнить о новеллах «Песочный человек», «Щелкунчик» и других. См. также ниже в «Дневниках» сообщение о том, что Г. начал писать свою новеллу «Автоматы» (стр. 525).
- ¹⁴ Савонарола Джироламо (1452—1498 гг.) — религиозно-политический реформатор и проповедник. Г. имеет в виду книгу, написанную Карлом Фридрихом Бенковцем: «Савонарола, мученик во Флоренции. Удивительная история времен пятнадцатого века». Книга вышла в 1801 г. без имени автора в Лейпциге.
- ¹⁵ ... но этого не узнает прусский королевский государственный советник в Плоцке! — Г. имеет в виду самого себя.
- ¹⁶ Я должен непременно написать Гиппелю! — Гиппель Теодор (1775—1843 гг.) — друг детства и юности Г., как и Г., уроженец Кенигсберга, закончивший юридический факультет и ставший юристом. Гиппель, сделавший блестящую карьеру и занимавший высокое общественное положение, до последних дней жизни Г. оставался его верным другом, всегда приходившим ему на помощь. — Упомянутое письмо было написано 3 октября.
- ¹⁷ Рейхенберг Август Фридрих (1759—1832) — советник государственного суда, музыкант-любитель.
- ¹⁸ ... сыграл новую мессу... — Мессу D-dur для норбертинок.
- ¹⁹ Хампе Иоганн Самюэль (1770—1823 гг.) — музыкант и чиновник, акцизный и таможенный регистратор в Глогау, с 1816 г. государственный советник.
- ²⁰ Мара Гертруда Элизабет (1749—1832 гг.) — певица-сопрано. Выступала в Германии, Италии, Англии, Франции, России. Гете посвятил ей стихи.
- ²¹ Локкателли Пьетро Антонио (1695—1764) — итальянский скрипач-виртуоз и композитор. Рассказанная история относится скорее всего к 1728 г.
- ²² Anchio son pittore (И я тоже художник) — так воскликнул Корреджо, увидев «Святую Цецилию», написанную Рафаэлем.
- ²³ ... dulce praesidium (верная опора) — шутливая цитата из «Песен» Горация (I, 1, 2), где поэт имеет в виду своего благодетеля Мецената. Со своей стороны, Г. имеет в виду Карла Фридриха фон Бейера (1751—1819 гг.), президента департамента Плоцк.
- ²⁴ Я написал добряку Белицу и приложил донесение по поводу бегства мадам Вуншель... в ... опекунский суд. — Эта запись, сделанная Г. греческими буквами, является криптограммой. Мадам Вуншель — вымышленное имя, под которым Г. подразумевает свою свояченицу — старшую сестру Михаелины Гофман — Элизабет Урсулу Катарину (1775 — после 1823). Ее муж, криминальный советник Готвальд, после растраты, совершенной им, был арестован, и его жена с двумя детьми удалилась из Познани в маленький городок. Позднее, уже в Варшаве, Г. взял к себе

- в семью племянницу Михалину Готвальд (1795—после 1859). Белитц Фридрих (1773—1841) — познанский коллега Г.
- ²⁵ ... отрывок из *Плейеля*. — Плейель Игнац (1757—1831) — немецкий композитор, ученик Иозефа Гайдна. Квартеты Плейеля для скрипки и его фортепьянные сонеты пользовались большой популярностью. Впоследствии Плейель основал в Париже фабрику роялей.
- ²⁶ Записанная Г. тема является, очевидно, началом второго предложения квартета Гайдна ор. 33 № 3 (так называемый квартет «Птичьи голоса»).
- ²⁷ *Фуга E—b*. . . — у Гайдна есть только одна месса G-dur (Missa Sancti Nicolai), однако в ней отсутствует фуга e-moll. Поэтому можно предположить, что здесь Г. имеет в виду собственную мессу (для норбертинок, см. выше, стр. 610).
- ²⁸ ... я не смог бы [!] тогда осуществить ... мечту. . . — очевидно, описки Г.
- ²⁹ *Когда я снова увижу Дрезден!* — Г. мечтал быть переведенным в Дрезден. Вместо этого в декабре 1803 г. начинается предоставляться возможность перевода в Варшаву.
- ³⁰ ... роман Крамера «Порочный Юлиус». . . — Крамер Карл Готлоб (1758—1817), автор многочисленных, в свое время популярных романов.
- ³¹ ... читал «Немецкого Алкивиада». . . — Г. имеет в виду роман Крамера.
- ³² *Штольцельн Христиан Фридрих* (1751—1816) — рисовальщик и гравер.
- ³³ *Если Негели готов награвировать мою «Фантазию»*. . . — 9 августа 1803 г. Г. написал в Цюрих музыкальному издателю Гансу Георгу Негели (1773—1836) письмо, в котором содержалась просьба об издании сочиненной им Большой фантазии для фортепьяно. Г. возлагал надежды на то, что это будет удачным началом его музыкальной карьеры, но надежды эти не оправдались.
- ³⁴ *Я мучаюсь идеей трио для фортепиано, скрипки и виолончели*. — Тем не менее, тогда Г. не написал этого трио; трио E-dur для указанных инструментов было написано им в Бамберге, в августе 1809 г.
- ³⁵ *Когда я был еще в Глогау*. . . — Г. провел в Глогау 1796—1798 гг.
- ³⁶ ... я думал о *Йорике* — о пойманном скворце — о *Бастилии!* — Г. имеет в виду одну из своих самых любимых книг, «Сентиментальный дневник мистера Йорика, который он вел во Франции и Италии», где герой рассказывает о Бастилии и говорящем скворце, который все время повторял «Я не могу освободиться».
- ³⁷ ... нас поразила Г. — очевидно, снова имеется в виду Элизабет Готвальд.
- ³⁸ ... отец донес властям о побеге. . . — Тесть Г. — Михаэль Рорер (1739—1814), должен был, ввиду своего официального положения (он был писцом магистрата в Познани), уведомить власти о побеге своей дочери Элизабет; однако это не оказало никакого отрицательного влияния на ее дальнейшую судьбу.
- ³⁹ *Гольдбек унд Рейнхардт, Генрих Юлиус фон* (1738—1818) — великий канцлер в Берлине, который еще в 1798 г. подписывал для Г. перевод из Глогау в Берлин.
- ⁴⁰ В «*Досугах*» Беккера я нашел одно музыкальное стихотворение «*Sfärodion*». . . — Во втором томике «Досугов», изданных В. Г. Беккером в Лейпциге в 1803 г., было помещено это стихотворение, написанное Адольфом фон Ностицем. Г., видимо, хотел положить на музыку первую часть этого стихотворения, заканчивающуюся знаменитым псалмом «Всякое дыхание да хвалит господа».
- ⁴¹ *Бейме* Карл Фридрих (1765—1838) — советник кабинета в Берлине, впоследствии великий канцлер (министр юстиции) Пруссии. Г. мечтает через посредство Бейме быть переведенным в Берлин или в Дрезден.
- ⁴² ... вознеси меня. . . на берега Эльбы — или дай мне увидеть хоть издалека *Рейн*. . . — Г. имеет здесь в виду перевод в Магдебург или Клеве.
- ⁴³ *Увидел себя в первый раз напечатанным в «Независимом»*. — Г. имеет в виду «Письмо монаха к своему столичному другу», написанное им в августе 1803 г. для журнала «Независимый», издаваемого тогда Августом Фридрихом фон Коцебу (1761—1819). Статья была напечатана 9 сентября 1803 г.
- ⁴⁴ ... к *гр[афу] К.* — Очевидно, имеется в виду граф Александр фон Канитц (1778—1850), впоследствии тайный советник, который, как Г. и Гиппель, штудировал в Кенигсберге юриспруденцию.

- ⁴⁵ Получил письмо от Альбрехта. — Альбрехт Карл Фридрих Эрнст (р. ок. 1774) — немецкий писатель, государственный советник, который, как и Г., после истории с карикатурами, в которой и он был замешан, был переведен из Познани в Магдебург.
- ⁴⁶ Господин Негели сказал мне, на что я могу рассчитывать. — Еще в середине октября Негели известил Г. о том, что не может издать присланную ему Г. новую сонату.

1804

ЯНВАРЬ

- ¹ ...смерть старой тетушки в Кенигсберге... — Незамужняя сестра матери Г. — Иоганна София Дерфер (1745—1803) умерла 22 декабря 1803 г. Все имущество она завещала своему брату Отто Вильгельму Дерферу, с тем, чтобы после его смерти оно, согласно тексту завещания, перешло бы ее «крестнику и воспитаннику» Гофману.
- ² Кирхгейм Иоганн Фридрих (1767—1814) — советник.
- ³ Ланге Генрих Фридрих (р. 1777) — ассессор в Плоцке.
- ⁴ Я с известным злорадством рассказал ... о своем путешествии в Шафхаузен... — Сведений об этой поездке не сохранилось; очевидно, она была предпринята в надежде на получение наследства тетушки.
- ⁵ Конкурс Сераковского... — судебное дело местного богатого землевладельца Антона фон Сераковского.
- ⁶ Я рассчитывал... получить письмо из К[енигсберга] — письмо по поводу завещания.
- ⁷ ...послал Шотту сонату *As-dur*... — Очевидно, вопреки надеждам Г., соната не понравилась Бернару Шотту (1748—1809), музыкальному издателю в Майнце (с 1780 г.), и не была издана.
- ⁸ Бахман Вильгельм Людвиг (ок. 1765—1831) — военный советник с 1801 г., служил в Плоцке.
- ⁹ Все нервы взбудоражены... приступ страха смерти — двойник... — Первое упоминание о двойнике — мотиве, столь характерном для всего творчества Г.
- ¹⁰ ...читал «Кандида» — философскую повесть Вольтера «Кандид, или оптимизм» (1759).
- ¹¹ писал мессу. — Мессу d-moll. 10 декабря 1803 г. Г. в письме к Гиппелю пишет, что совершенно забросил рисование, так как это приносит ему слишком много огорчений (конечно, из-за истории с карикатурами в Познани. — О. Л.) и все свое свободное время он посвящает музыке, особенно усердно штудирюя контрапункт.
- ¹² ...придумал такую фразу. — Эта музыкальная тема, однако, отсутствует и в этой мессе и в других сочинениях Г.
- ¹³ ...написал Бергу в В[аршаву] по поводу квартиры — государственному советнику Людвигу Бергу (р. 1775), очевидно, в предвидении возможного скорого переезда в Варшаву.
- ¹⁴ Большой медведь — Г. намекает на строгого К. Ф. фон Бейера (Bäg — медведь).
- ¹⁵ Получил письмо от книгоиздателя Кюна... — Кюн Иоганн Фридрих Август (1776—1847) — книгоиздатель в Познани.
- ¹⁶ Шевен Георг Фридрих (1771—1807) — с 1803 г. фельдкурат в Плоцке.
- ¹⁷ «... Битва при Абукире». — Г., очевидно, хотел нарисовать картину морского сражения при Абукире (1798 г.), в котором английский адмирал Нельсон разбил французский флот.
- ¹⁸ Хаккерт Якоб Филипп (1737—1807) — известный пейзажист, картины которого проникнуты героическим пафосом. О Хакерте писал Гете. Г. имеет в виду 6 картин,

написанных Хаккертом по заказу Екатерины II; они изображали победу, одержанную русским флотом над турками при Чесме (1770).

- ¹⁹ *Приехал в Кенигсберг.* — Г. приехал в родной город в день своего рождения, когда ему исполнилось 28 лет, и остановился у дяди, надеясь получить хотя бы некоторую сумму в счет наследства тетушки. В дневнике ничего не говорится о результате его просьбы, скорее всего она осталась неисполненной.

ФЕВРАЛЬ

- ¹ *«Старик Везде и Нигде»* («Старик Везде-Нигде») — опера Венцеля Мюллера (1765—1835) на сюжет сказки Христиана Генриха Шписа (1755—1799). *«Красная Шапочка»* — опера Карла Диттерсдорфа (1739—1799). *«Разбойники»* — пьеса Ф. Шиллера. *«Чем безумнее, тем лучше»* — опера Этьена Николая Мегюля (1763—1817). *Шла* под названием «*Два хитреца, или чем безумнее, тем лучше*». *«Дон Рандо де Колибрадос»* — пьеса Коцебу. *«Пикколомини»* и *«Смерть Валленштейна»* — вторая и третья части драматической трилогии Ф. Шиллера «Валленштейн».
- ² *«Элегантная газета»* — «Газета для элегантного мира», выходившая в Лейпциге, издатель Зигфрид Август Мальман (1771—1826). Статья о театре в Кенигсберге не была написана.
- ³ *Тиме* — скрипач кенигсбергского оркестра; *Линденберг* — фэготист того же оркестра.
- ⁴ *Мадам Дорн.* — Очевидно, падчерица купца в Плоцке Г. Ф. Дорна, оба сына которого были также страстными любителями музыки и театра. Мадам Дорн исполняла монолог Марии Стюарт из 1 сцены III действия (в переложении Цумштегеа).
- ⁵ *Цумштег* Иоганн Рудольф (1760—1802) — соученик и друг Ф. Шиллера, сочинял бесчисленные баллады, хоры, монологи для пения (особенно используя тексты Шиллера).
- ⁶ *Эмтер пел арию Арбака из «Идомея».*... — Оперный певец-тенор Эмтер (р. 1773) исполнял арию Арбака из 1 сцены II акта оперы Моцарта «Идомея».
- ⁷ *Вейс (Грейс) (р. 1777)* — актер и певец (тенор); с 1813 г. — врач под своей подлинной фамилией Грейс; *Шварц Антон* (Перегринус фон унд цу Гегненберг) (1766—1830) — актер и певец (бас). Г. иронизирует над сочетанием этих имен, так как по-немецки weiss — белый, а schwarz — черный.
- ⁸ ... *получил от Гиппеля письмо* — письмо по поводу займа в 100 рт.
- ⁹ ... *видел «Графа Бенёвского».*... — Бенёвски Мауриций — польский авантюрист, имя которого было связано со многими легендами (так называемый «император Мадагаскара»). На сюжет о Беневском писал трагедию и поэму Юлиуш Словацкий. Г. видел пьесу А. Коцебу «Граф Бенёвски, или изгнанники на Камчатке».
- ¹⁰ ... *пародия Шлегеля.*... — Шлегель Август Вильгельм фон (1767—1845) — поэт, критик, лингвист. Г. намекает на двухактную пародийную пьесу Шлегеля «Спасение Коцебу, или добродетельный изгнанник», где Шлегель вывел самого Коцебу и Беневского.
- ¹¹ *«Жрица Солнца»* — пьеса в 5 актах Коцебу. Именем героини этой пьесы — Коры, Г. называл Дору Хатт (см. ниже).
- ¹² *Магдалина Корреджо* — Г. имеет в виду картину знаменитого итальянского художника Корреджо (Антонио Аллегри, 1489—1534) «Христос и Магдалина» (Прадо, Мадрид).
- ¹³ *Анжелика Кауфман* (1752—1807) — немецкая художница, прославившаяся своими портретами.
- ¹⁴ *Мальхен Хатт* — Амалия Хатт (р. 1789), дочь Доротей (Доры, Коры) Хатт (1766—1803), женщины, которая была первой любовью молодого Г. На полях около имени Мальхен Г. позже написал «Она умерла».
- ¹⁵ ... *дядюшка бесконечно долго рассказывал о похоронах.* — Накануне, 12 февраля, умер Иммануил Кант (1724—1804), который в течение многих лет сам являлся одной из достопримечательностей Кенигсберга. Дядюшка Г., очевидно, рассказывал о его похоронах.

- ¹⁰ ... я хотел незаметно ввести ее в мажорский круг своего воображения... — См. «Житийские воззрения кота Мурра» и статью стр. 586—587.
- ¹⁷ Баумгартен Отто Натаниэль (1745—1802).
- ¹⁸ ... Штюмер — Пфейфер — из рода Лезгванг. — Г. имеет в виду старых приятельниц своей матери, которые, очевидно, жили в соседнем приюте Лезгванг для престарелых дворянок.
- ¹⁹ ... из сцен детства в Кузиттен. — Сами Лезгванги, когда Г. был мальчиком, приглашали его на каникулы в свое имение Кузиттен около Прейсиш-Эйлау. (Ср. в «Майорате» имение Р. . . зиттен).
- ²⁰ Риль Иоганн Фридрих Генрих (1774—1845) — основал школу пения в Кенигсберге.
- ²¹ ... хоры из «Аталии». — Хоры, которые имеет в виду Г., были написаны в конце XVIII в. на сюжет трагедии Жана Расина (1639—1699) тремя известными композиторами: в 1785 г. — Франсуа Иосифом Госсеком (1733—1829) и Иоганном Абрагамом Петером Шульце (1747—1800); в 1791 г. — аббатом Георгом Йозефом Фоглером (1749—1814).
- ²² ... как Руссо в Консерватории в Венеции! — Руссо в своей «Исповеди» рассказывает, что во время его пребывания в Венеции он был в восторге, услышав хор ангелов, исполняемый молодыми девушками. Однако его восторг испарился, когда он увидел некрасивые лица певиц.
- ²³ Лейстенау — имение друга Г. Теодора Гиппеля.
- ²⁴ Получен рескрипт... — Предписание о переводе в Варшаву, которое было подписано Фридрихом Вильгельмом III 16 февраля.

1809

ЯНВАРЬ

- ¹ Получил от Куно 15 фл. — В первой половине 1808 г. Г. вел переговоры с графом Юлиусом фон Соденом (1754—1831), дипломатом, драматургом и в то время содиректором театра в Бамберге, и Генрихом Куно (1772—1829), артистом, книготорговцем и театральным директором в Бамберге. Г. познакомился сначала с Соденом, на сюжет пьесы которого «Напиток бессмертия» он написал оперу, но по вопросу ангажемента Г. на место музыкального директора в Бамберге Соден рекомендовал Г. обратиться прямо к Куно. Около 10 апреля 1808 г. Куно ответил на ходатайство Г. и предложил ему ангажемент на год с оплатой в 600 фл и половинным бенефисом. Кроме того, Куно написал, что в Бамберге мало знающих учителей музыки, которые могут вести уроки в домах видных граждан города, и плата за уроки высокая. Г. принял это предложение. К 1 августа — началу репетиций — Г. прибыл в Бамберг.
- ² В театре «Арлекин» моего сочинения. — Балет «Арлекин» был написан Г. в конце 1808 г. Балет был поставлен танзором и балетмейстером Карлом Макко.
- ³ Письмо от Крамера из Берлина с 43 рт. — Вильгельм Крамер (1777—1837) — государственный чиновник, комиссар юстиции и нотариус, служил в Познани незадолго до того, как Г. выехал оттуда. Еще осенью Г. обратился к нему с просьбой о деньгах.
- ⁴ Графиня Ротенхан — овдовевшая графиня Доретта фон Ротенхан (1765—1840) (урожд. баронесса фон Лихтенштейн). По рекомендации Захарии Вернера, Г. давал уроки пяти ее дочерям — Фредерике, Августе, Габриэль, Шарлотте и Луизе.
- ⁵ Послал в Цюрих Негели сонату... — Еще 15 марта 1808 г. Г. отослал Негели две сонаты и квинтет с арфой; 14 июня того же года Негели пересылает Г. сонаты обратно, чтобы тот исправил ошибки, обнаруженные Негели при просмотре. Имеет ли в виду Г. одну из этих сонат или новую, неизвестно.

- ⁶ «Напиток бессмертия». — Как уже упоминалось, опера Г. на текст Содена. Написана в начале 1808 г. Поставлена в 1809 г. в Вюрцбурге.
- ⁷ ... по поводу сочинения «*Miserege*» для великого герцога... — для эрцгерцога Фердинанда Австрийского, в 1806—1814 гг. великого герцога Вюрцбургского. Г. работал над «*Miserege*» с 10 января по 1 марта 1809 г. Его «*Miserege*» — мотет, в котором полифонически распевается каждая фраза текста (переводы этих текстов для удобства чтения даются в подстрочных примечаниях). «*Miserege*» было написано для 4-х голосов с оркестром, причем Г. сочинял сперва вокальные партии.
- ⁸ ... от мадам Марк... — Франциска (Фанни) Марк (ок. 1770—1849), вдова американского консула Филиппа Марка (ум. 1801), мать Юлианы (Юльхен) Марк (1796—1865), ученицы Г., сыгравшей столь большую роль в его жизни. Г. давал уроки и двум другим детям мадам Марк — младшему брату Юльхен, Морицу (1799—1825), и ее маленькой сестре Минхен (Вильгельмина, 1798—1862).
- ⁹ Рохлиц Фридрих (1769—1842) — поэт, писатель и редактор в Лейпциге, работавший в «Всеобщей музыкальной газете».
- ¹⁰ ... послал ... «Кавалера Глюка» для «Музыкальной газеты» и предложил себя в качестве сотрудника! — Этот первый шаг был началом плодотворнейшей деятельности Г. и в качестве литератора и в качестве музыкального критика. Следует подчеркнуть, что и в данном случае именно музыка была вдохновительницей Г. Новелла написана во второй половине 1808 г., возможно, начата еще в Глогау. Напечатана во *ВМГ* 15 февраля 1809 г.
- ¹¹ Гризи Аттилио (р. 1771) — скрипач из Кремоны, капельмейстер вюрцбургской придворной капеллы, до этого солист капеллы князя Эстергази, руководимой Иозефом Гайдном.
- ¹² Послал письмо в Познань — очевидно, своему поверенному Гиршу, который вел там все дела Г.
- ¹³ «Констанца, вижу тебя вновь» (*Constanza, torno a vederti*) — ария Бельмонте из оперы Моцарта «Похищение из сераля», которую Г. спел в резиденции герцога Баварского.
- ¹⁴ Пианист Маркс — Маркс Йозеф Матерн (1792—1836), пианист и виолончелист.
- ¹⁵ ... я должен сочинять музыку к «Привидению» Коцебу. — Г. написал марш к «романтической пьесе» Коцебу «Привидение». О ее неудачной постановке см. ниже дневник от 19 апреля.
- ¹⁶ «Напиток» *pp* должен ставиться в Вюрцбурге. — Соден объяснил Г., что вюрцбургский театр располагает большими возможностями и ему как содиректору этого театра будет легче осуществить постановку.
- ¹⁷ ... письмо от Рохлица... Он берет ... «Кавалера Глюка» и меня в качестве сотрудника в *Муз[ыкальную] газ[ету]*. — Рохлиц, однако, сделал Г. ряд замечаний; в частности, ему не понравились высказывания против композитора Бернарда Ансельма Вебера (1766—1821). Одновременно Рохлиц выразил желание, чтобы Г. написал о театре в Бамберге, и спрашивал, какие произведения Г. желал бы прорцензировать.
- ¹⁸ ... пролог в честь Каролины... — пролог, который Г. должен был сочинить ко дню именин дочери герцога Баварского, принцессы Невшательской Каролины. См. об этом статью, стр. 581.
- ¹⁹ Кантаты Цумштега... — Иоганн Рудольф Цумштег (см. выше) в 1795 г. написал не менее 14 духовных кантат, изданных в 1803—1805 гг. Брайткопфом и Гертелем.
- ²⁰ «Кассино» — место, где обычно давались балы в Бамберге и происходили собрания местного музыкального общества «Гармония».
- ²¹ Фракассини Альберт Людвиг (ум. 1812) — советник апелляционного суда в Бамберге, директор общества «Гармония».
- ²² Секендорф Карл Август (1774—1828) — председатель апелляционного суда в Бамберге.
- ²³ Говорил также с генеральным комиссаром фон Штенгелем — безрезультатно! — Очевидно, Г. вел переговоры с бароном Стефаном фон Штенгелем (1750—1822) о разрешении основать академию пения, которая позднее все же была открыта Г.

ФЕВРАЛЬ

- ¹ Скверный спектакль «Алины». — «Алина, королева Голконды» — опера Бертона Анри Монтана (1767—1844), написанная на сюжет рассказа французского писателя де Буфле (1738—1815).
- ² Начал арию, заказанную для оперы «Тайна». — Вставная ария Г. к одноактному зингшпилю Жана Пьера Солье (1755—1812).
- ³ Письмо из Швейцарии — соната возвращена снова — см. выше прим. к стр. 612.
- ⁴ ... хвалят канцонетты... — Вероятно, «Три канцонетты для 3-х голосов в сопро-
вождении фортепиано», появившееся в Берлине в мае 1808 г. в издательстве Верк-
мейстера.
- ⁵ «Фанишон, шарманщика» — опера Фридриха Генриха Гиммеля (1765—1814); Г. на-
писал к этой опере вставную арию.
- ⁶ Шлейермахер Фридрих Эрнст Даниель (1768—1834) — немецкий философ, тео-
лог и проповедник. Во многом, в частности, в обостренном интересе к внутренней
душевной жизни человека, был близок к романтикам.
- ⁷ Был принят в общество... — 6 февраля Г. был принят в местное музыкальное
общество «Гармония».
- ⁸ Бонитас Карл Филипп — издатель и книготорговец в Вюрцбурге.
- ⁹ ... театральная история идет к взрыву. — Кончалась антреприза Куно, который
вскоре объявил себя банкротом. Таким образом уже в сентябре 1809 г. Г. стало
ясно, что организационная сторона бамбергского театра не внушает надежд на
обеспеченное существование.
- ¹⁰ «Водонос» — опера итальянского композитора Карло Луиджи Марии Керубини
(1760—1842).
- ¹¹ ... у генерального комиссара и получил разрешение на открытие школы пения —
см. выше о хлопотах Г. по этому поводу.
- ¹² Директор Шмитт. — Йозеф Шмитт (ок. 1760—1818) — музыкальный директор во
Франкфурте. Очевидно, это было письмо по поводу занятия Г. места, так как
дела бамбергского театра были столь запутанны и неопределены.
- ¹³ Хоры к «Смерти Роллы». — Г. имеет в виду хоры, написанные им для трагедии
Коцебу «Испанцы в Перу, или Смерть Роллы».
- ¹⁴ Бонитас платит неважно... — В оригинале игра слов, фамилия Бонитас по-латыни
bonitas — значит «благо», «добро».
- ¹⁵ Гюсбахер Казимир Иозеф — советник суда и экономический директор придворного
герцогского театра в Вюрцбурге. Г. писал ему, очевидно, по поводу постановки
«Напитка бессмертия» на основании полученного письма Содена. Кун Иозеф Кас-
пар — нотариус придворного герцогского суда в Вюрцбурге. Куну Г. писал, ве-
роятно, по поводу не оплаченного Бонитасом векселя. Моргенрот Франц Антон
(1780—1847) — виолончелист в Дрездене. Г. сообщает ему, что Куно обанкротился
и что сам он (Г.) пока не имеет ангажемента и существует уроками и надеждами
на открываемую им академию пения.
- ¹⁶ Брейткопфу [и Гертелю]. — В этом письме Г. рекомендует себя фирме в качестве
постоянного музыкального корреспондента и посредника в приобретении многочис-
ленных сочинений, так как он ведет со своими учениками занятия и по пению и по
игре на фортепиано. Кроме того, Г. пишет, что, хотя он и начинающий композитор,
в Берлине уже напечатаны 3 его канцонетты. С 1800 г. владельцем фирмы стал
Готтфрид Гертель (1763—1827), который, так же как и Рохлиц, сыграл большую
роль в судьбе не только Гофмана-композитора, но и Гофмана-писателя.

МАРТ

- ¹ Получил письмо от Хитцига. — Хитциг Юлиус Эдуард (1780—1849), первоначально
Исаак Элиас Итциг, после крещения в 1799 г. Юлиус Эдуард, с 1809 г. Хитциг.
Познакомился с Г. в Варшаве и в течение долгих лет был его другом. Оказавшись,

- так же, как и Г., без места в 1806 г. после роспуска прусской администрации, в 1808 г. обратился к издательской деятельности и в дальнейшем помогал Г. — В письме Хитциг писал, что его книгоиздательская и книготорговая деятельность идет хорошо.
- ² ... письмо от ... «Музыкальной газеты» вместе с музыкальными произведениями для рецензирования. — Квартет Дотцауэра, Квартет Гензеля, Антракт Штрумпфа, соната Туха, две симфонии Витта (№№ 5 и 6).
 - ³ Лео Карл Фридрих (1780—1824) — знаменитый немецкий актер из Штутгарда, с которым впоследствии Г. связывала глубокая дружба.
 - ⁴ ... был в Буге. — Буг — излюбленное место прогулок Г. в полудне ходьбы от Бамберга, которое Г. посещал почти ежедневно. По воспоминаниям Кунца, впервые он увидел Г. именно в Буге, где с ним и познакомился.
 - ⁵ Читал напечатанного «Кавалера Глюка!» — «Кавалер Глюк» был напечатан во ВМГ 15 февраля 1809 г.
 - ⁶ Письмо от Хампе... — Видимо, Г. передал Хампе «Веселых музыкантов» при своем посещении его в Глогау летом 1808 г. Хампе сообщает также о своем переезде в Лигниц в связи с военными событиями.
 - ⁷ ... Письмо ... от Гертеля. — Гертель советует Г. купить инструмент (Гертель основал в 1806 г. фабрику фортепиано), описывает музыкальные сочинения, которые он пересылает книготорговцу Гебхардту в Бамберг, и любезно уклоняется от вопроса издания сочинений Г.
 - ⁸ ... война и слухи о войне... — Военные действия начались в начале апреля.
 - ⁹ ... работал над увертюрой — к «Привидению».
 - ¹⁰ Бирей Готлоб Бенедикт (1772—1840); был музыкальным директором в различных театрах. 21 марта Г. написал Бирею о том, что так как со слов Моргенрота ему известно, что Бирей уезжает в Вену, то он желал бы занять место музыкального директора в Бреслау. Однако сообщение Моргенрота было ошибочным.
 - ¹¹ ... Содену. — Г. обращается к Содену с вопросом, будет ли тот осуществлять руководство бамбергским театром лично, так как в противном случае он (Г.) желал бы перейти на другое место.
 - ¹² Знакомство с купцом Кунце. — Кунц Карл Фридрих (1785—1849) — виноторговец и с 1813 г. издатель; владеец частной библиотеки в Бамберге.
 - ¹³ Решение по поводу «Цветка и перевязи». — Г. имеет в виду пьесу Кальдерона, на текст которой он написал оперу «Любовь и ревность» (в 1807—1808 гг.). Г. хлопотал о ее постановке.

АПРЕЛЬ

- ¹ Новое предложение занять место оперного режиссера... — Г. снова подписал ангажемент, предложенный Куно.
- ² ... письмо в Лейпциг Брейткопфу и Гертелю. — Письмо это интересно тем, что в нем Г. просит прислать фортепиано для двух семейств, где он дает уроки музыки, и пишет об одном из этих домов — доме «госпожи консульши Марк ... солидным и приятным».
- ³ Получил канцонетты из Лейпцига. — Канцонетты Феррари и Изуара.
- ⁴ Закончил рецензию и написал в редакцию «Музыкальной газеты». — Рецензию на две симфонии Витта и на антракт Штумпфа; напечатаны во ВМГ 17 мая.
- ⁵ Квант Даниель Готтлиб (1762—1815) — театральный директор и актер. Уроженец Лейпцига, сначала преподаватель права и доктор философии, затем литератор, придворный актер в Дрездене, Праге; в 1803 г. — театральный директор в Бамберге, в 1804 г. — в Нюрнберге.
- ⁶ Диттмейер Антон (1774—1835) — скрипач, концертмейстер и музыкальный директор в бамбергском театре; с 1818 г. в Бюрцбурге.
- ⁷ Сообщение о битве; австрийцы полностью разгромлены. — Имеется в виду битва при Регенсбурге (19—23 апреля).

МАЙ

- ¹ Получил ноты из Лейпцига — арии Моцарта, Рондо для голоса Ригини, пьесы для скрипки Виотти, Роде и Крейцера.
- ² «Сарджино» — опера Фердинанда Паэра. Юльхен исполняла арию Софии.
- ³ Шилль Фердинанд (1776—1809) — прусский майор, командующий 2 гусарским полком.
- ⁴ «Музеум» — читальня при бамбергской библиотеке.
- ⁵ Вернер Захария (1768—1823) — драматург. Человек необычайно сложной судьбы, Вернер с детства был знаком с Г., так как они жили в одном доме. В дальнейшем, вплоть до смертного часа Г., пути их постоянно переплетались.
- ⁶ Шесть канцонетт, а также «Miserere» послал [Негели] в Цюрих. — 20 мая написал Негели, что просит его просмотреть «Miserere» и указать контрапунктические погрешности, если таковые будут, как тот ранее сделал для сонаты.
- ⁷ Сделал театральный обзор для «Эlegantной газеты». — Краткий обзор был напечатан в лейпцигской «Газете для эlegantного мира» 19 июня 1809 г.
- ⁸ Написал Хитцигу. — Письмо датировано 25 мая и отправлено 30. В нем Г. рассказывает о событиях театральной жизни в Бамберге, о том, что в связи с войной актеры оказались в бедственном положении и были вынуждены принять предложение новой дирекцией условия; о начале своей музыкальной карьеры (появление «Кавалера Глюка»), о том, что он должен здесь не писать музыку, а «валать» ее.
- ⁹ ... трибунальной советнице Дерфер — тетушке Софии Иоганне Генриетте Дерфер (урожд. Яниш), жене дяди Иоганна Людвига, которая была хорошей певицей. Возможно, что тетушка решила помочь Г. в постановке в Берлине «Любови и ревности».

ИЮНЬ

- ¹ Предложение приехать к саксен-кобургскому министру фон Кречману. — В 1808 г. Теодор фон Кречман (1762—1820) вышел в отставку и жил в своем поместье. Г. был, вероятно, нужен ему как учитель музыки его многочисленных детей.
- ² Сообщение о битве — французы разбиты — при Асперне 21—22 мая.
- ³ Начал арии к «Геновеве» Мюллера Живописца. — Мюллер Фридрих (1749—1825), по прозвищу Мюллер Живописец, немецкий писатель и художник. Гофман написал музыку к его «Пфальцграфине Геновеве» (серенада Голо, акт II, сц. 4); сочинение утеряно.
- ⁴ Мелодрама «Дирна». — Г. написал оперу на этот сюжет (с 6 июня по сентябрь 1809 г.). Опера была поставлена 11 октября в Бамберге, затем в Нюрнберге, Зальцбурге и Донауверте. Сочинение утеряно.
- ⁵ Написал... Мюнхаузену по поводу «Напитка бессмертия». — Мюнхаузен Фридрих фон (1780—1839), барон, директор театра в Вюрцбурге, зять Содена. Три месяца спустя партитура «Напитка» была возвращена обратно.
- ⁶ Они спрашивают, не хочу ли я написать рецензии на симфонии Бетховена. — В сентябре 1808 г. Гертель предпринял путешествие в Вену и приобрел у Бетховена право издания Пятой и Шестой симфоний. Их и имела в виду редакция ВМГ: Рецензия на Симфонию Бетховена с-moll появилась во ВМГ 4 и 11 июля. Часть ее вошла в позднейшую статью «Инструментальная музыка Бетховена» (см. «Крейслериана», стр. 41).

ИЮЛЬ

- ¹ Написал в редакцию «Музыкальной газеты». — Письмо датировано 1 июля 1809 г. Г. благодарит за доверие (поручение рецензии на симфонии Бетховена), сообщает, что у него, если это заинтересует редакцию, есть замысел небольшой статьи

- о взглядах композитора и поэта на вопросы оперного сюжета и другие — то, что впоследствии он осуществил только осенью 1813 г. в статье «Поэт и композитор».
- ² Жюно Андош, герцог д'Абрантес (1771—1813) — наполеоновский полководец.
- ³ «Мост Мантибля» — пьеса Кальдерона в переводе Шлегеля, к которой Г. писал музыку в середине 1809 г.
- ⁴ ... австрийцы наголову разбиты под Веной. — 14 апреля австрийский эрцгерцог Карл вторгся в Баварию и одержал ряд побед. Но французы, оправившись после первого удара, перегруппировали свои силы и 5—6 июля произошло сражение под Ваграмом, закончившееся разгромом австрийской армии.
- ⁵ Получил пакет с музыкальными сочинениями для рецензирования. — Клавираусцуг оперы «I virtuosi ambulanti» Фиораванти, партитуру «Pater noster» Ромберга, партитуру и оркестровые голоса 5-й и голоса 6-й (Пасторальной) симфоний Бетховена.

АВГУСТ

- ¹ ... трио в E-dur. — Трио для фортепиано в E-dur Г. закончил 25 августа.
- ² «Фантазия», о замысле которой упоминает Г., не была написана.
- ³ Написал... также... Берлин — возможно, тетушке Дерфер (см. выше).
- ⁴ Кратцер — дочь богатого торговца сукнами в Бамберге, которой Г. давал уроки.
- ⁵ Получил письмо от Квандта. — Очевидно, Квандт дал Г. какие-то надежды на получение места музыкального директора. С этим связаны и упоминания его имени раньше.
- ⁶ ... написал Негели. — Письмо помечено 23 августа; Г. посылает свое Трио в надежде, что оно может быть напечатано. Он сообщает, что до сих пор не имеет ответа о состоянии дел с постановкой в Вюрцбурге и о том, что война перепутала все его планы; что в таких условиях он особенно ценит то, что Негели вводит его в музыкальный мир. В постскриптуме он скромно осведомляется о том, какова судьба последних посланных им канцонетт. Сразу же вслед за этим письмом он посылает еще одно письмо, в котором вновь обращается с просьбой издать Трио.
- ⁷ Дейч Ксавер — режиссер театра в Вюрцбурге; речь, вероятно, снова шла о постановке «Напитка бессмертия», а, возможно, и о новом месте для Г.

СЕНТЯБРЬ

- ¹ Начал портрет трех детей Марк — небольшой портрет Юльхен, Минхен и Морица Марк Г. начал 3 и закончил 7 сентября.
- ² Написал тетушке Дерфер по поводу ма[демуазель] Крейц... — Возможно, что мадемуазель Крейц, берлинское сопрано, должна была приехать в бамбергский театр.
- ³ ... Содену по поводу ангажемента. — Хотя при дирекции Содена Г. занимался сочинением музыки к его мелодраме «Дирна», он не имел, вероятно, твердого ангажемента в период с 17 сентября 1809 г. по 30 марта 1810 г.
- ⁴ «Армида» — Г. имеет в виду «Армиду и Ринальдо», мелодраму с хорами, музыку к которой написал Петер Винтер (1754—1825).
- ⁵ Получил из Вюрцбурга партитуру «Напитка бессмертия». — Постановка не состоялась.

ОКТАБРЬ

- ¹ Шпейер Фридрих (1780—1839) — кузен Юлии Марк, доктор медицины, главный судебный врач в Бамберге, один из самых близких друзей Г. в этом городе; сблизило их и то, что, подобно Г., Шпейер интересовался вопросами психологии и гипноза.

- ² *Рейтер* Иозеф (1769—1816) — актер, певец и театральный директор в Нюренберге и Бамберге.
- ³ *Опель* — режиссер в Дармштадте, до этого режиссер в Бамберге. Он заказал Г. Пролог «Wiedersehnl!» к празднованию возвращения гессенского принца Эмиля из похода. Принц Эмиль, младший сын великого герцога Людвиг I, проделал вместе с наполеоновской армией поход и вернулся после заключения Венского мира. Пролог в I акте был исполнен 21 января 1810 г. в Дармштадте.
- ⁴ *Дёббелин* Карл Конрад Казимир (1763—1821) — немецкий актер и директор труппы, Г. познакомился с ним еще в Познани, где труппа Дёббелина поставила его зингшпиль «Шутка, хитрость и месть».
- ⁵ «*Кладоискатель*» — комедия в 1 акте с музыкой Этъена Никола Мегюля.
- ⁶ *Еврейский канон* — или так называемый «ракоходный», т. е. такой, где развитие идет справа налево (Krebskanon).
- ⁷ *Мадемуазель Вейраух* — Викторина Вейраух (р. 1791) — певица-сопрано на первых ролях, приехавшая в Бамберг осенью 1808 г.
- ⁸ *Письмо из Швейцарии (снова ничего)*. — В своем письме от 20 октября 1809 г. Негели советует Г. более глубоко штудировать контрапункт. Одобрительно отзываясь о «Miserere». Но фирма отклонила просьбы Г. об издании его сочинений.
- ⁹ ... сразу же написал в *Швейцарию*. — 31 октября Г. снова пишет Негели, благодарит за хорошее мнение о «Miserere» и сообщает, что его дела приняли более благоприятный оборот, имея в виду свой удачный дебют в Бамберге с музыкой к мелодраме «Дирна» (11 октября).

НОЯБРЬ

- ¹ *Послал редакции «Музык[альной] газеты» рецензию на «Virtuosi ambulanti», «Pater poster» Ромберга.* — Рецензия на оперу Фиораванти «Virtuosi ambulanti» появилась во *ВМГ* 27 декабря 1809 г., на «Pater poster» Ромберга — 3 января 1810 г.

ДЕКАБРЬ

- ¹ *Получил музыкальные сочинения из Лейпцига.* — В ответ на письмо Г. от 2 декабря 1809 г., где он просил новые издания различных сочинений, Гертель присылает Г. оперу Винтера «Тимотео», клавираусдуг «Софонисбь» Паэра и сообщает, что новое издание моцартовской «Cosi fan tutte» подготавливается. Очевидно, он присылает также в качестве Recensenda для *ВМГ* клавираусдуг «Сиротского приюта» Вейгля и «Ифигении в Авлиде» Глюка.

1811

ЯНВАРЬ

- ¹ *Закончил переписку «Дирны» для театра в Зальцбурге.* — Ксавер Дейч с 1811 г. стал режиссером Королевского Национального театра в Зальцбурге и 25 марта 1811 г. в бенефис директрисы Анны Феррари поставил «Дирну» Гофмана. Повторение спектакля — 12 июля того же года.
- ² «*Пумперникель*» — «Господин Рохус Пумперникель», опера Маттеуса Штегемайера (1771—1820) — музыкальное «Quodlibet» в 3-х действиях. Мелодии Моцарта, Сальери, Паэзиалло, Вейгля, Диттерсдорфа и т. д., текст «Мнимого больного» и «Мещанина во дворянстве».

- ³ *Марк — Теодори — Ротенхан.* — В период пребывания в Бамберге Г. едва ли не существовал в основном на уроки, которые он давал детям состоятельных горожан. Поэтому дневник и фиксирует его беготню по этим урокам. Теодори Адам Филипп (1755—1819) — канцлер герцога Баварского, 19-летней дочери которого, Эльзе, Г. тоже давал уроки.
- ⁴ *Кетхен из Гейльброна.* — именем героини пьесы Генриха фон Клейста (1777—1811) «Кетхен из Гейльброна» Г. называет свою ученицу Юлию Марк. Здесь же он рисует бабочку, которая символизирует ее же. В дальнейшем Г. в своем дневнике сокращает это имя в «Ктх», и оно проходит через все его записи этого времени, так как его любовь к Юлии властно вторгается во все его помыслы, дела и произведения.
- ⁵ *Галле и Иерусалим, студенческая пьеса и приключение пилигрима» Ахим фон Арнима.* — Арним Людвиг Ахим фон (1781—1831) — писатель, принадлежащий к кругу так называемых гейдельбергских романтиков. Был женат на сестре Брентано, Беттине.
- ⁶ *Теперь... должны быть переработаны «Виндзорские проказницы».* — Замысел Г. остался неосуществленным.
- ⁷ *Читал комедию Фосса сop Arlechino.* — Г. имеет в виду одну из комедий Юлиуса Фосса (1768—1832), драматурга и романиста.
- ⁸ *... в Редутном зале...* — Французское слово *redoute*, употреблявшееся вначале исключительно в военной терминологии, впоследствии начало применяться в переносном смысле и получило международное распространение (германские земли, Австрия и Польша). «Редутами» или «Редутными залами» назывались места общественных собраний и увеселений, в них ставились спектакли, устраивались костюмированные балы (например, Ю. И. Крашевский упоминает о бале, для которого объединили три Редутных зала).
- ⁹ *Пфейфер* Кристиан (1780—1852) — доктор медицины, врач при бамбергском суде.
- ¹⁰ *Гольбейн*, Франц фон (1779—1855) — певец, актер и театральный директор; театральный драматург. Г. очень много работал с Гольбейном, с которым познакомился еще в 1798 г. в Берлине. В апреле 1810 г. Гольбейн приехал в Бамберг и осенью 1810 г. до февраля 1812 г. принял директорство бамбергского театра. О работе с Г. см. ниже в Дневнике.
- ¹¹ *«Бельмонт и Констанца»* — опера Моцарта «Похищение из серая».
- ¹² *... вкосьель из Познани...* — в счет наследства Михалины Г.
- ¹³ *«Доктор Катценбергер»* — произведение Жака Поля Рихтера. Жан Поль Рихтер Фридрих (1763—1825), немецкий писатель, друг Г. Имя его встречается неоднократно в дневниках. В дальнейшем Г. связывали с Жаном Полем не только общие взгляды на творчество и роль художника, но и дружеские отношения. Г. в очень многих своих произведениях упоминает Жана Поля. Тот, со своей стороны, также поддерживал Г. и, в частности, «Фантазии в манере Калло» вышедшие с его предисловием (см. об этом ниже).
- ¹⁴ *... погрузился в чтение лекций Шлегеля...* — Август Шлегель (1767—1845) — выдающийся критик и филолог, один из теоретиков романтической школы. Г. имеет в виду «Лекции о драматическом искусстве и литературе» (читаны в 1808 г., изданы 1809—1811 гг.).
- ¹⁵ *Storfio* — см. «Принцесса Брамбилла», гл. I о сморфии.
- ¹⁶ *Начал сочинение «Авроры».* — «Аврора и Кефал», опера Г. на текст Гольбейна. (Сочинял ее в 1811—1812 гг.). Позднее была поставлена в Вюрцбурге и Вене.
- ¹⁷ *Получил хоралы Пусткухена для рецензирования.* — Пусткухен Антон Генрих (1761—1830) — кантор в Детмольде. Рецензия Г. на его хоралы появилась во *ВМГ* 2 декабря 1812 г. Одновременно с получением произведений Пусткухена Г. отослал в редакцию *ВМГ* свою рецензию на «Софонисбу» Паэра, которая была напечатана во *ВМГ* 13 марта 1811 г.
- ¹⁸ *Реннер* Мария (1782—1824) — немецкая актриса, с 1806 г. жила вместе с Гольбейном до смерти его первой жены, графини Лихтенау, в 1820 г., после чего стало возможным узаконить их отношения.

- ¹⁹ «*Quodlibet*» — см. выше, стр. 620.
²⁰ «*Деревенские певички*» — опера итальянского композитора Валентино Фиораванти (1764—1837). Поставлена в Бамберге 15 и 23 января 1811 г.
²¹ Г[ольбейн] принимает вюрцбургский театр, и открываются лучшие возможности на будущее. — Г., очевидно, надеялся, что Гольбейн мог оставить его своим представителем в бамбергском театре.
²² ... Кунц с женой. . . — Вильгельмина Кунц (1787—1856).

ФЕВРАЛЬ

- ¹ ... в катакомбах — т. е. в винных подвалах Кунца.
² После обеда сочинял хор к «Убору невесты». — Хор Г. к «Убору невесты» — пьесе в 5 актах Гольбейна, продолжению его же пьесы «Фридолин», написанной Гольбейном по стихотворению Шиллера «*Gang nach dem Eisenhammer*». Хоры к «Убору невесты» были исполнены 10 февраля 1811 г.
³ *Ромео и Юлия* — Г. скорее всего имеет в виду оперу Цингарелли «Ромео и Юлия», отрывки из которой они исполняли вместе с Юлией Марк.
⁴ «*Жизненный путь художника*», *Леммермейер!!* — В пятиактной комедии Фосса «Жизненный путь художника» Лео блестяще играл роль магистра Леммермейера.
⁵ *Ктх.* — На полях около шифра «Ктх» Г. пишет (конечно, для жены) — «искусство» («*Ktch*» — «*Kunst*»).
⁶ ... мадам Кель... — Магдалена Кель (р. 1782), певица, выступавшая в Бамберге с февраля 1811 г. по март 1812 г.
⁷ «*Шмельцле*». — Имеется в виду «Путешествие фельдкурата Шмельцле во Флатц» Жана Поля (Штутгарт, 1809).
⁸ Был расстроен из-за двух маленьких крикунов — очевидно, младшие брат и сестра Юльхен Марк — Минхен и Мориз.

МАРТ

- ¹ ... с женой в городском суде по поводу переговоров с Познанью. — Г. через своего поверенного от имени жены вел переговоры с Познанью по поводу наследства Михалины.
² «*Прерванный праздник жертвоприношения*» — опера Петера Винтера (1754—1825).
³ ... в «Розе» познакомился с композитором Мария фон Вебер. — Вебер, который учился композиции в Дармштадте у аббата Фоглера, в феврале 1811 г. предпринял большую концертную поездку в Гисен, Ашафенбург, Вюрцбург, Бамберг и Мюнхен. О Вебере см. статью, стр. 576.
⁴ «*Ида Мюнстер*». — Г. написал хорал к пьесе Карла Августа де ла Мотт.
⁵ Ночь написал такой сонет. — На следующий день — 18 марта — был день рождения Юлии Марк, ей исполнилось 15 лет.

Приводим текст сонета:

К Юлиане Марк в Бамберге
 Вместе с живыми розами

18 марта 1811 г.

Сонет к Цецилии

Весна плывет по облакам крылатым
 Во всем своем сверкающем величьи, —
 В густом лесу звучат напевы птичьи:
 Вернулись певуны к родным пенатам!
 Вновь льнут лучи к чертогам и палатам,
 Голубизну безмерную целуя;
 Соцветья вновь лелеют жизнь живую,
 Вплывая в синь по всем ветвям мохнатым.

А вот — в темно-зеленой колыбели
 Волшебной розы лепестки зарделись:
 В ней — юные пыланья и смятенья!
 Ты — юность, ты подобье птичьей трели,
 Ты — образ розы, ты — бутона прелесть,
 В тебе — залог грядущего цветенья!

(Перевод А. С. Голембы)

Сонет, посвященный Юльхен Марк, был впоследствии использован Г. при написании «Берганцы» (подарок Цецилии — куст роз, покрытый бутонами, к которому был приложен сонет).

- ⁶ ...разговор с консульшей Марк. — Очевидно, по поводу сонета, посвященного Юльхен.
⁷ ...его жена... не думает об odiosa [неприятностях]. — Жена Жана Поля — Минна Мейер, приятельница кузины Г. — Вильгельмины (Минны) Дерфер (1775—1853), не подала виду, что недовольна встречей с неверным женихом ее подруги (Г. расторг помолвку с Минной Дерфер в 1802 г.).

АПРЕЛЬ—МАЙ

- ¹ Мелодрама «Саул» — музыка Г. к мелодраме Йозефа фон Зейфрида (1780—1849) «Саул, царь Израиля» в 3-х актах.
² ...эскизы к готической башне в Альтенбурге. — Все лето Г. расписывал по этим эскизам фресками старый дворец баварских курфюрстов. Этот дворец был куплен Адальбертом Фридрихом Маркусом (1753—1816), родственником семьи Марк, и отремонтировался именно в то лето, когда Г. не вел дневника. См. об этом также статью, стр. 567.
³ ...я написал Гольбейну — оказывается, он предназначает меня для Бамберга — таким образом я остаюсь здесь. — Как уже было сказано, Гольбейн к этому времени принял на себя двойное директорство — и в вюрцбургском и в бамбергском театре; Г. надеялся, что сможет быть его представителем в бамбергском театре.
⁴ «Синяя борода» — «Рыцарь Синяя Борода», драматическая сказка Людвигу Тика (1773—1853). Г. очень часто упоминает ее в своих произведениях.
⁵ Сцена ревности со стороны жены. — Этот дневник был, очевидно, взят женой Г. и более не попал ему в руки. Следующие записи этого года идут на другом календаре.
⁶ ...ангажирован Гольбейном в качестве театрального архитектора. — Эта работа потребовала от Г., видимо, больше сил и времени, чем он предполагал. См. его замечание 1 января 1812 г. — «как театральный директор работал, как лошадь».
⁷ Получил известие о смерти дяди — Отто Вильгельма Дерфера, который скончался 4 сентября 1811 г.

1812

ЯНВАРЬ

- ¹ «Звездная девушка» — романтическая сказка Леопольда Губера (1764 или 1768—1847) с музыкой Фердинанда Кауэра (1751—1831).
² ...репетиция великолепной оперы «Иосиф» — трехактная опера Мегюля «Иосиф».

- ³ *Нейхерр* — актриса бамбергского театра, за которой Г., желающий скрыть свою горячую любовь к Юльхен Марк, и отвлечься от этой привязанности, открыто ухаживал. Наннетта Нейхерр выступала в 1807—1809 гг. в Бамберге и Вюрцбурге в детских ролях, а затем исполняла роли «вторых любовниц» в пьесах и операх на сцене бамбергского театра.
- ⁴ *Сутов* — доктор медицины в Бамберге, член общества «Гармония».
- ⁵ *Днем у Кунца, очень тяжелый разговор.* — Отношения Г. с Кунцем развивались весьма неровно, что видно из дневника, тем более что Г., часто находясь в очень стесненных обстоятельствах, бывал вынужден обращаться к Кунцу с просьбами о денежных займах. Иногда дело доходило и до ссор.
- ⁶ ... предложение сочинить веселую мелодраму — «*Родерика и Кунигунду*». — Родерик и Кунигунда», драматическая галиматья в 2-х действиях (пародия на комедии спасения). Текст Игнаца Франца Каstellи (1781—1862). Музыка была сочинена Г. Исполнена и описана 23 февраля 1812 г.
- ⁷ ... хоры «*Аттилы*». — Г. имеет в виду хоры Бернарда Ансельма Вебера к трагедии Вернера «*Аттила, король гуннов*».
- ⁸ *Боде Карл* — актер и режиссер, исполнял «серьезные» роли.
- ⁹ [«*Генрих фон Вольфеншицен*» — пятиактная трагедия Августа Клингемана (1777—1831), поставленная первый (и единственный) раз 14 января.
- ¹⁰ ... послал князю Эстергази «*Miserere*». — Князю Николаю Эстергази (1765—1833), внуку покровителя Гайдна, владельцу театра в Вене. Этим знакомством Г. обязан Гольбейну, который был ангажирован в качестве директора в венский театр князя Эстергази.
- ¹¹ «*Поклонение кресту*» — пьеса Кальдерона.
- ¹² *Вейс* — доктор медицины, член общества «Гармония».
- ¹³ ... сочинял вальс... — Здесь Г. имеет в виду несколько маленьких вальсов в духе моцартовских «*Немецких танцев*», насчитывающих не более 32 тактов.
- ¹⁴ «*Дон Кихот*» — Г. имеет в виду слова Санчо Пансы из 3 главы XII книги «*Дон Кихота*».
- ¹⁵ «*Открытие Америки*». — Г. нарисовал большую декорацию к пьесе Августа Клингемана «*Открытие Америки*» («*Колумбус*»).

ФЕВРАЛЬ

- ¹ ... избирательное средство? — Это выражение свидетельствует о том, что Г. читал роман Гете того же названия, появившийся поздней осенью 1809 г.
- ² ... помогал в «*Кетхен из Гейльбронна*» при пожаре замка. — Г. зажигает вместе с театральным механиком бенгальские огни для пожара замка, где заключена Кетхен. Он как бы зажигает свою любовь...
- ³ *Музыкальный роман* — первая мысль о «*Часах просветления некоего безумного музыканта*», см. также статью, стр. 569.
- ⁴ *Днем на обеде у капуцинов...* — Это посещение монастыря капуцинов дало впоследствии не только толчок к написанию «*Эликсиров сатаны*», но и нашло отражение в «*Коте Мурре*» — см. главы, посвященные пребыванию Крейсlera в монастыре.
- ⁵ *Герц* — певица в оперной труппе Секонды в Лейпциге и Дрездене.
- ⁶ *Эйлензатц* — возможно, Нейхерр напоминала Г. певицу Кристину Доротею Эйгензатц (1781—1850), которую он мечтал видеть в 1799 г. исполнительницей заглавной роли своего первого зингшпиля «*Маска*».
- ⁷ «*Золушка*» — опера-феерия в 3-х актах французского композитора Никола Изуара (1775—1818).
- ⁸ «*Гризельда*» — 2-х актная опера Фердинанда Паэра.
- ⁹ ... шутивное письмо Гольбейну... — Кончалась антреприза Гольбейна, и Г. был обеспокоен дальнейшим положением в театре. После ухода Гольбейна был образован комитет из 7 человек, который руководил театром. Во главе комитета стоял Адальберт Маркус Кунц тоже входил в число членов комитета.

МАРТ

- ¹ ... концерт Кель — Юльхен превосходно пела... — Юльхен брала в то время уроки и у Кель, что чувствительно задевало Г.
- ² ... сочинил две канцонетты к 18 марта. — 18 марта, как уже было сказано выше, день рождения Юльхен Марк, ей исполнилось 16 лет.
- ³ *Anselmus* — это имя, подчеркнутое Г. в его календаре, впоследствии было дано им герою «Золотого горшка». Таким образом Г. нашел немало имен для своих персонажей.
- ⁴ ... послал Юльхен ко дню ее рождения 3 канцонетты с элегантным и галантным письмом... пришел Мориц. — *Tre Canzonette italiane per un Soprano, due Tenori e Basso coll' Accompagnamento di Pianoforte composte e dedicate alla Signor[in]a Giulietta Mark da E. T. A. Hoffmann compositore e direttore di Musica. N 1: «Spuntar il sol d'aprile» (C-dur); N 9: «La tortorella amante» (g-moll); N 3: «Sento l'amica areme» (Es-dur).* Мориц, как упоминалось выше, — младший брат Юльхен.
- ⁵ ... итальянцы возвращаются на родину. — Итальянская оперная труппа, дававшая спектакли в Бамберге.
- ⁶ Приехал из Гамбурга купец Грпель — Грпель Иоганн Герхардт (1780—1821), гамбургский купец; вместе со своим отцом, купцом и сенатором, вел гамбургский банкирский дом «Грпель и сын»; будущий муж Юльхен Марк.

АПРЕЛЬ

- ¹ Лихтенштейн Мартин Генрих Карл (1780—1857) — исследователь природы и путешественник.
- ² ... познакомился с пианистом Мейер-Беером. — Имеется в виду композитор Мейербер (Якоб Либман Беер) (1791—1864), будущий автор «Гугенотов». С 1800 г. был известен как выдающийся пианист. С апреля 1810 г. до декабря 1812 г. жил в Дармштадте с Вебером. Дебютировал как композитор в 1812 г. в Мюнхенском театре.
- ³ ... изучение натурфилософии — Шеллинг. — Г. имеет в виду книгу «Идеи философии природы» в 2-х томах, написанную Шеллингом в 1797 г.
- ⁴ ... работал над арией (*prendi l'acciar ti rendo*). — *Recitativo ed aria «Prendi l'acciar ti rendo»*, per il soprano, due violini, due oboe, due clarineti, flauto, due fagotti, due corni, viole, violoncello e basso. Текст Джузеппе Мария Фоппа из оперы Цингарелли «Ромео и Юлия».
- ⁵ Награда в 100 дукатов за лучшую... оперу... Дирекции Королевского оперного театра князей Лобковиц. — Имеется в виду объявление об этой награде князя Франца Иозефа Макса Лобковица (1772—1816) (ВМГ 29 апреля 1812 г.). Однако в этом объявлении имелась в виду не опера, а оперное либретто.
- ⁶ Браузеветтер Вильгельм — комиссар юстиции в Кенигсберге; в 1806—1807 гг. театральный директор. Браузеветтер был другом покойного дяди Г. — Отто Вильгельма Дерфера и улаживал дела Г. по наследству.

МАЙ

- ¹ ... в саду Маркуса в павильоне рисовал перспективы. — Росписи, начатые 3 мая, были закончены 9 июня.
- ² ... танцевал с Юльхен... окровавленный платок!... — Все, связанное с Юлией, вырастает впоследствии у Г. в поэтические образы. Так, в «Советнике Креспеле» появляется образ Антонии, умирающей от любви к музыке. И образ певицы, исполняющей роль Донны Анны, и затем умирающей, в новелле «Дон Жуан» — тоже навеян пением Юлии, и упоминание о ее кровохарканье придает лишний штрих этим возвышенным образам.

- ³ Френцль Фердинанд (1770—1833) — композитор, музыкальный директор в Мюнхене.
- ⁴ ... император и императрица — Наполеон и Мария Луиза.
- ⁵ Вероятно, Кристианом фон Эглофштейном (1764—1834).
- ⁶ ... наконец успешно начал «Часы просветления некоего безумного музыканта». — Задуманы 8 февраля 1812 г., затем переработаны в мае 1812 г., затем перерабатывались много раз. В пасхальном каталоге 1818 г. это произведение значится как «Учитель пения» (Meister des Gesanges).
- ⁷ ... письмо от Гольбейна — «Аврора» должна быть поставлена в «Свободном театре» — К сожалению, Гольбейн подал Г. только ложные надежды.
- ⁸ ... концерт на моллахорде... — 24 мая во «Франконском Меркурии» было помещено объявление о концерте в зале общества «Гармония» на новоизобретенном инструменте — моллахорде, который даст изобретатель этого инструмента Клатцовски.
- ⁹ ... у консульши из-за процессии. — По обычаю, в день праздника Тела Господня устраивается торжественная религиозная процессия.

ИЮНЬ

- ¹ ... познакомился с двумя братьями Бейтлер, придворными музыкантами из Мюнхена... — Г. имеет в виду Франца Бейтлер (1787—1852), пианиста и композитора, и его брата, гобойста; сообщение о репетиции концерта Бейтлера см. 12 июня.
- ² ... послал канцонетты Зимроку. — Вероятно, три итальянские канцонетты, которые он сочинил и посвятил Юльхен Марк (см. выше). Зимрок Николай (1751—1832) — музыкальный издатель в Бонне.
- ³ ... работал над сочинением: — «Мысли Иоганна Крейсера о высокой ценности музыки». — Так постепенно писалась «Крейслериана». При публикации в *ВМГ* (29 июля) Рохлиц изменил название: вместо «Мысли» — «Dissertatincula», а по поводу сонаты As-dur Бетховена — «Commentatincula in usum Delphinii». При первом издании «Крейслерианы» весной 1814 г. Г. возвращается к своим названиям.
- ⁴ Знатный человек, который удалился от мира (фр.). — Г. иронически употребляет по отношению к самому себе выражение из романа аббата Прево (1697—1763) «Записки знатного человека».
- ⁵ ... работал над партитурой *Overtura* к «Кориолану» Бетховена для рецензии. — Рецензия была напечатана во *ВМГ* 5 августа.

ИЮЛЬ

- ¹ Зелигман Эдуард (1747—1824) — купец в Бамберге.
- ² ... трио Бетховена — высказал идеи о сущности музыки. — О рецензии Г. на трио Бетховена см. ниже, стр. 630.
- ³ ... сочинял «Mi lagnerò tacendo». См. в «Коте Мурре» неоднократные упоминания этой арии, см. также статью стр. 570.
- ⁴ ... иллюминация в честь французской императрицы. — В честь отбытия супруги Наполеона Марии Луизы (1791—1847).
- ⁵ ... Гольбейн отказался от театра. — Гольбейн полностью отдался делам вюрцбургского театра и бамбергский театр снова реорганизовывался.
- ⁶ ... сочинял два итальянских дуэттино. — Два из шести итальянских дуэтов (посвященных Юлии Марк), которые вышли в издательстве Шлезингера в 1819 г. (о них см. ниже).
- ⁷ ... il cor non [è] più a te... — слова из дуэта Дорабеллы и Гульельмо из оперы Моцарта «Так поступают все женщины».
- ⁸ Неприятное сообщение из Бонна — Зимрок отказал в просьбе. — Имеется в виду отказ Зимрока напечатать 3 итальянских канцонетты, которые Г. послал ему.

- ⁹ Хотел бы я уснуть и чтобы все это уже миновало! — Цитата из «Генриха IV» Шекспира (слова Фальстафа в 1 сц., 5 д., часть I).
- ¹⁰ ... Хитцигу статью о пьесах Кальдерона для «Муз». — Еще 28 апреля Г. написал Хитцигу о том, что в бамбергском театре идут 3 драмы Кальдерона в переводах Шлегеля — «Поклонение кресту», «Дон Фернандо, стойкий в вере принц» и «Мост Мантибля и волшебная башня любви». По желанию Хитцига, Г. послал ему для «Муз» сообщение «О постановках пьес Кальдерона де ла Барка в театре в Бамберге», которое было напечатано в альманахе Фуке «Музы».
- ¹¹ Циглер Адам, доктор медицины.
- ¹² Айценбергер Карл Готтфрид (1772—1827) — адвокат апелляционного суда в Бамберге, член и управляющий делами общества «Гармония».
- ¹³ ... праздновали [годовщину] свадьбы... — десятилетие свадьбы, хотя и на два дня раньше — свадьба Г. и Михалины Рорер состоялась 26 июля 1802 г.
- ¹⁴ «*Ombra adorata*» (обожаемая тень) — ария, написанная кастратом-сопранистом Джироламо Крешентини (1762—1846). См. выше, в «Крейслериане», стр. 35, и статью, стр. 584—585.
- ¹⁵ ... письмо ... Рейтеру по поводу моего определения на место. — Рейтер, директор нюрнбергского театра (см. выше), находился в это время на гастролях в Эрлангене. Г. хлопотал о получении места режиссера.
- ¹⁶ Приятное письмо из Лейпцига. — Гертель выражает согласие с тем, чтобы Г. гашал свою задолженность за полученные от него музыкальные сочинения за счет тех рецензий, которые он напишет, посылает описание отправленных Г. музыкальных сочинений.

АВГУСТ

- ¹ ... дуэт ... «*Ombre amene*». — Этот дуэт, написанный Г. на текст знаменитого итальянского поэта Пьетро Метастазиио (1698—1782), был № 1 «Шести итальянских дуэтов для сопрано и тенора в сопровождении фортепиано», изданных у Шлезингера в 1819 г.
- ² ... визит ассессора Бургера из Донауверта и капельмейстера Дюрмейера («Дирна»). — Бургер Иоганн Баптист (р. 1774) и Дюрмейер навестили Г., чтобы согласовать вопросы постановки «Дирны» в Донауверте.
- ³ ... распаковывал музыкальные сочинения. — Бетховен. Трио, ор. 70, № 1; Йировец «Глазной врач» (клавираусцуг); Мегюль. Увертюра «Охота молодого Генриха» к опере «Молодой Генрих».
- ⁴ *Il colpo è fatto!* (Удар нанесен) — цитата из речитатива графа Альмавивы в опере Моцарта «Женитьба Фигаро» (III д.).
- ⁵ ... на аукционе Хутта... — на распродаже имущества покойного барона Карла Георга фон Хуттен цум Штольценберг.
- ⁶ ... великолепное письмо от Хитцига, Фуке сам переработал «Ундию». — 15 августа Г. пишет Фуке письмо об «Ундине», восторженно благодаря его за желание самому составить либретто для оперы. Особенно интересно то, что Г. рассказывает о том, как в его воображении образы поэмы Фуке уже при его чтении выступают в музыкальном облике и что он с невероятным нетерпением ожидает момента, чтобы начать сочинение музыки.
- ⁷ ... ответил Хитцигу. — Г. восторженно благодарит Хитцига за его содействие в работе над оперой «Ундина», пишет, что он счастлив, раз такой поэт, как Фуке, работает для его музыкальных сочинений, но одновременно просит Хитцига, чтобы тот, после того, как Фуке получил составленный им (Г.) план оперы, обратил бы внимание Фуке на то, что некоторые места потребуют сокращений, а ему самому это неудобно просить. Одновременно он пишет, что для ориентировки в этом случае наиболее удобно любое либретто Эммануэля Шиканедера (1751—1812), так как оно наиболее удачно учитывает оперную специфику.

СЕНТЯБРЬ

- ¹ *Рецензия на «Chasse» Мегюля — очень удалась.* — 5 сентября Г. отсылает Гертелю в Лейпциг для *ВМГ* две рецензии: на «Глазного врача» Йировца и на увертюру к опере Мегюля (см. выше); одновременно он посылает и «Три итальянские канцонетты», которые он посвятил Юльхен Марк и которые в свое время безуспешно посылал Зимроку. В высшей степени интересен небольшой отрывок письма, где Г. говорит о том, что он снабдил их посвящением одной своей ученице и прекрасной певице, и хотел бы, чтобы эти канцонетты увидели свет.
- ² *Прогулка в Поммерсфельден* — празднование помолвки Юльхен с Грепелем. Мадам Марк, Юльхен, мадам Кунц, Шпейер, Кунц, Грепель и Г. составляли общество, принявшее участие в этом торжественном пикнике. Г., который в течение долгого времени вынужден был прятать свои переживания, после того как пьяный Грепель на правах жениха стал расточать нежности Юльхен, не сдержался и наговорил оскорблений и мадам Марк, и обрученному.
- ³ *... написал [консульше] Марк письмо с извинениями.* — В этом письме Г. пишет, что был в состоянии припадка безумия и вспоминает вчерашний день как тяжелый дурной сон; он хотел бы надеяться, что всегдашнее расположение консульши к нему даст ей возможность простить его и не сохранить в сердце злого чувства.
- ⁴ *Письмо от Брейткопфа и Гертеля — предложение перевести «Школу [игры на] скрипке».* — В письме от 8 сентября Гертель писал о книге Байо, Роде и Крейцера — «Школа скрипичной игры» — и сообщал, что в случае согласия Г. придет оригинал. Фирма выражала сожаление, что не может издать «Три итальянских канцонетты». Г. сразу же по получении отвечает на письмо Гертеля (16 сентября), выражает свое согласие сделать перевод «Школы скрипичной игры», тем более, что, по его словам, в свое время он достиг виртуозности в игре на скрипке. Одновременно Г. выражает крайнее сожаление, что фирме невозможно издать его итальянские канцонетты и он не может выполнить своего горячего желания почтить певицу, которой он посвятил это сочинение. Просит совета, каким образом он все же мог бы опубликовать это произведение. Он сделал бы это безвозмездно и позаботился бы о том, чтобы дать хороший немецкий перевод.
- ⁵ *... работал над моим сочинением для предполагаемого театрального альманаха.* — Г. имеет в виду «Дон Жуана». Т. к. альманах не увидел света, то Г. послал новеллу во *ВМГ*.
- ⁶ *... закончил «Дон Жуана».* — Напечатан во *ВМГ* 31 марта 1813 г., затем в I т. «Фантазий» весной 1814 г.
- ⁷ *Репетиция «Реквиема» Моцарта в церкви св. Мартина.* — Г. неоднократно принимал участие в исполнении произведений своего кумира — Моцарта. Несомненно, что он сумел привить эту любовь и Юльхен, которая, как видно из описаний ее пения в «Коте Мурре», также тяготела к возвышенно-поэтической музыке.
- ⁸ *... удачно начал портрет семьи Кунц.* — Г. нарисовал самого Кунца, мадам Кунц, их старшую дочь Эмилию и незамужнюю сестру мадам Кунц — Луизу Беллер. В настоящее время этот портрет хранится в Бамбергском музее.

ОКТЯБРЬ

- ¹ *Форстер Г. К.* — ассессор государственного суда в Бамберге.
- ² *«Бамбокциаден» Тика.* — Во 2-й части издаваемых А. Ф. Бернарда «Бамбокциаден» была помещена историческая пьеса в 5-и актах Тика под названием «Безумный мир».
- ³ *«Сиротский приют»* — зингшпиль Йозефа Вейгля (1766—1846), сына Йозефа Франца Вейгля, солиста капеллы князя Эстергази, дирижером которой был Гайдн.

НОЯБРЬ

- ¹ *... работал над его [Кунца] каталогом музыкальных сочинений* — каталогом частной платной библиотеки Кунца. Библиотека была открыта 2 января 1813 г.

- ² ...наконец получил гонорар из Донауверта. — От дирекции театра в Донауверте за постановку «Дирны» Содена (см. об этом выше).
- ³ ...получил оперу «Ундина» — выдающийся шедевр... — Текст либретто оперы «Ундина», подготовленный Фуке, был переслан Хитцигом, который в своем письме, написанном приблизительно 5 ноября, настоятельно просит Г. прислать уведомление в получении. Кроме того, по просьбе Фуке, он спрашивает Г., в какой степени поэт и композитор, по его мнению, должны принимать участие в постановке оперы.
- ⁴ ...пакет из Лейпцига... — Кроме мессы Бетховена (C-dur, op. 86), о которой пишет Г., и «Школы» Байо, Роде и Крейцера, в посылке от *ВМГ* были также: Симфония Вильмса c-moll, op. 23; Симфония Брауна d-moll; Увертюра Кунцена Эбеля к «Голосам Природы» и к «Эрику Эйгоду», Квартет Эбеля op. 2, Оратория Бергта «Христос, возмездный страданиями», op. 10.
- ⁵ Письмо от Маркуса, который хочет взять меня на место оперного режиссера. — Как уже было сказано, Маркус возглавлял комитет из 7 человек, который управлял бамбергским театром.
- ⁶ ... *tepaх* *proropiti*... — цитата из «Песен» Горация (III, 3, 1).
- ⁷ ...репетиция «Дианы». — Г. имеет в виду музыкальную комедию в 2-х актах Мартина и Сольера (Винченцо Мартини) (1754—1806) «Дерево Дианы».
- ⁸ ...мадемуазель Низер... — певица из нюрнбергского театра, которая выступала в Бамберге с ноября 1812 г. по февраль 1813 г.
- ⁹ «Гуситы под Науленбургом». Хоры. — Г., очевидно, имеет в виду хоры, написанные им к пятиактной «патриотической пьесе» Коцебу под названием «Гуситы под Науленбургом в 1432 году».

ДЕКАБРЬ

- ¹ ...дописал второй акт... — Второй акт партитуры «Авроры» для Вены.
- ² Хольст Генрих фон (1791—1833) — врач из Фелина, впоследствии доктор медицины.
- ³ Написал для Кунца предисловие. — Предисловие к составленному Г. каталогу платной библиотеки Кунца.
- ⁴ ...написал в Лейпциг по поводу гонорара... — Письмо Гертелю в Лейпциг помечено 10 декабря. В нем Г. пишет, что перевод продвигается и одновременно просит выслать хотя бы небольшую сумму в качестве аванса за эту работу, так как в связи с тем, что некоторые семьи, где он давал высокооплачиваемые уроки, покинули Бамберг, он оказался в необычайно стесненном положении.
- ⁵ Винченци Карл фон (1764—1812) — генерал-майор, член общества «Гармония».
- ⁶ ...работал над «Авророй»... — для постановки в Вене.
- ⁷ Удивительные политические сообщения ... французы *totaliter* разбиты. — 23 ноября 1812 г. Наполеон перешел Березину.
- ⁸ Очевидно, Пауль Лейст (1778—1844), бамбергский купец.

1813

ЯНВАРЬ

- ¹ Бранд Луи (ок. 1786—1865) — актер и певец.
- ² ... в марте ... я пересел в Вюрцбург. — С 1 апреля Г. предполагал занять в Вюрцбурге место музыкального директора и театрального композитора.
- ³ Закончил переписку перевода и написал Брейткопфу и Гертелю. — В письме Г. благодарит Гертеля за пересланный гонорар — 65 рт (а не 36, как записано в днев-

нике на следующий день, конечно, для жены. — О. Л.) и сообщает, что он усиленно трудился над переводом «Школы» и что его перевод существенно отличается от старого перевода этого руководства.

- ⁴ ... Гольбейну по поводу пересылки «Авроры» в Вену. — Над перепиской партитуры «Авроры» Г. работал с ноября 1812 г.; о постановке «Авроры» см. в дневнике 18 марта 1813 г.
- ⁵ Ветцель Карл Фридрих Готтлоб (1779—1819) — поэт и писатель, редактор «Франконского Меркурия».
- ⁶ «Зербино» — «Принц Зербино», пьеса в 6 актах Людвиг Тика.
- ⁷ Тяжес груз этих дней — Перефразировка последних слов Валленштейна («Смерть Валленштейна», 5 сд., V д.).
- ⁸ ... работал над рецензией на трио Бетховена. — Рецензия Г. на Трио ор. 70 была напечатана во ВМГ 3 марта 1813 г.

ФЕВРАЛЬ

- ¹ Письмо в Лейпциг с приложением рецензии и «Дон Жуана». — В письме редакции ВМГ, помеченном 2 февраля, Г. пишет, что посвятил довольно много времени изучению классических произведений Бетховена и убежден, что редакция найдет место для того, чтобы напечатать рецензии на сочинения величайшего инструментального композитора. Одновременно он пишет, что присылает и небольшую статью о «Дон Жуане» и надеется, что если ему удалось сказать нечто новое об этой опере, то редакция сочтет возможным поместить эту статью. Как уже говорилось выше, «Дон Жуан» был напечатан во ВМГ 31 марта 1813 г.
- ² «Титус» («Милосердие Тита») — опера Моцарта.
- ³ ... работал над семейным портретом... — Портрет семьи Кунц (см. выше).
- ⁴ ... решение по поводу «Часов просветления!» — Об этом см. выше, прим. 6, стр. 626.
- ⁵ Приятное письмо из Лейпцига с 25 рт. — Сообщение о том, что рецензия Г. и «Дон Жуан» будут напечатаны во ВМГ; редакция ожидает рецензии на мессу Бетховена.
- ⁶ ... успешно работал над «Берганцей»... — «Новые приключения собаки Берганца» — вещь, над которой Г. работал в эти дни, проникнута горечью переживаний последних месяцев его жизни в Бамберге. Убийственное описание мадам Марк, отвратительный портрет расслабленного негодяя и сладострастника Жоржа (Грепеля) и, наконец, издевательски-мучительное описание брачной ночи несчастной Цецилии (Юлии) — все это вплетено в диалог автора и ученой собаки Берганца. См. об этом также стр. 583. «Приключения» были напечатаны в «Фантазиях» весной 1814 г., но Кунц настоял, чтобы кое-где все же было ослаблено чересчур бросающееся в глаза портретное сходство персонажей.
- ⁷ Вармут Маргарета, жена Каспара Вармута, придворного трубача в Бамберге, который был квартирным хозяином Г.
- ⁸ Наконец совершенно неожиданно получил 485... рт из Кенигсберга. — Очевидно, от Браузеветтера в ответ на многочисленные просьбы получить хоть какую-нибудь сумму в счет наследства дяди.
- ⁹ ... в свите Дон Жуана... — Костюмы к маскарадному шествию Дон Жуана были сделаны по рисункам Г.
- ¹⁰ ... неожиданно получил письмо из Лейпцига, в котором Иозеф Секонда приглашает меня на место музыкального директора. — По рекомендации Гертеля и Рохлица, после того как ранее занимавший это место Фридрих Шнейдер стал органистом собора св. Фомы.
- ¹¹ У Кунца на крестинах... — у Кунца родилась вторая дочь. Кунц рассказывает в своих воспоминаниях, что еще до ее рождения Г., который тяжело переживал смерть своей маленькой дочери Цецилии, взял с Кунца слово, что, если родится девочка, он назовет ее Цецилией.

МАРТ

- ¹ Написал в Лейпциг Секонде и Рохлицу. — Секонде Г. сообщил, что принимает место в Лейпциге; в письме Рохлицу он просит последнего сообщить его мнение о труппе Секонды, так как, по словам Г., его друг (конечно, Кунц. — О. Л.) сообщил ему (Г.), что дела Секонды нехороши, что он не всегда платит актерам жалованье и что его музыкальный директор вынужден так много работать, что ему некогда вздохнуть.
- ² Шпитцедер Адельгейда — исполнительница первых драматических ролей; с 2 декабря 1812 г. спектакль «Мессинской невесты», где она играла роль Беатрисы, Лео — Дона Цезаря, мадам Штейнау — Изабеллу, был бенефисом Шпитцедер.
- ³ Фриз — вероятно, Кристоф Фриз (см. выше, стр. 503).
- ⁴ Письмо из Лейпцига от Рохлица, который поддерживает мое решение стать музыкальным директором у Секонды. — Рохлиц охарактеризовал Секонду как человека ограниченного, но достойного доверия, труппа весьма хорошая; музыкальный директор отнюдь не должен перерабатывать: он получает летом оперы, которые следует готовить к будущему сезону, и поэтому осенью и зимой у него остается достаточно свободного времени.
- ⁵ ... «Аврора» будет поставлена в Вене. — Очевидно, в течение 1812 г. Гольбейн вел переговоры об этом. Однако эти хлопоты не увенчались успехом.
- ⁶ ... у Кунца контракт на издание моих литературных сочинений. — Весьма интересно, что Г. заключает договор 18 марта — в дорогой для него день рождения Юльхен, хотя одновременно усиленно работает над «Берганцей». Приводим некоторые параграфы.

ДОГОВОР

§ 1. Господин Гофман, композитор и капельмейстер, обязуется представить господину Кунцу первые четыре произведения, которые он подготовит для печати, начиная с сего числа, независимо от места, где он будет находиться, и от других обстоятельств. Господин Кунц может располагать рукописью как своей собственностью.

§ 2. Со своей стороны, господин Кунц обязуется напечатать указанные произведения если не роскошно, то, во всяком случае, прилично, т. е. хорошим шрифтом и на хорошей бумаге. Он заплатит за первое произведение по 8 талеров за печатный лист, а последующие — по 10 талеров за лист.

§ 3. Первое произведение, озаглавленное «Фантазии в манере Калло», должно быть объемом в 12 печатных листов и содержать несколько рассказов, частью уже опубликованных в «Музыкальной газете». Остальные рассказы должны быть представлены господином Гофманом своевременно, так чтобы печатание могло начаться сразу и продолжаться без перерыва. Если задуманные им рассказы будут в целом объемом больше 12 листов, то господин Гофман не должен предьявлять авторских прав на дополнительные листы...».

Это был первый договор, который подписывал Г.; согласно ему (см. § 2) Г. получил всего 96 талеров за «Фантазии». Если принять во внимание, что написал он не 12 л., а 37,5 л., то это мизерная сумма. Таким образом, деловое чутье не обмануло Кунца, но Г. в конце концов все-таки порвал с ним, хотя и много позже.

- ⁷ Фридрих Иоганн Георг (р. 1778) — ассессор городского суда.
- ⁸ Написал в Лейпциг. — Г. благодарит Гертеля за рекомендации, с помощью которых он может теперь приступить к новой деятельности; Г. надеется, что все это позволит ему стать известным как театральный композитор. Одновременно он просит передать Секонде, что тот найдет в его лице прилежного и горящего любовью к делу человека, но все же он опасается, что обстоятельства войны могут помешать ему быстро добраться до Лейпцига.
- ⁹ ... в Вену — без сомнения, по поводу «Авроры».
- ¹⁰ Риттер Иоганн Филипп (1752—1813) — доктор медицины.

АПРЕЛЬ

- ¹ *Наконец послал в Вену мад[емуазель] Бухвизер «Аврору».*— Г. пишет о певице Катинке Бухвизер (ок. 1789—1828), дочери капельмейстера Балтазара Бузвизера. Катинка Бузвизер была с 1809 г. певицей в труппе венской придворной оперы.
- ² *Секонду не встретили; денежные затруднения...*— В тот же день Г. отправляет письмо из Дрездена в Лейпциг Гертелю. Он описывает свое бедственное положение, когда дорогостоящее и опасное путешествие опустошило его и без того тощий кошелек и то, что в конце концов он остался без средств в совершенно чужом городе. Он просит содействия Гертеля в получении полумесячного гонорара от Секонды и одновременно ссуды в 20 рт: как только будет более спокойная обстановка, он закончит рецензию на мессу Бетховена и симфонию Вильмса.
- ³ *«Реквием» Хассе.*— Хассе Иоганн Адольф (1699—1783).
- ⁴ *Линковы купальни*— излюбленное место гуляний под Дрезденом; см. «Золотой горшок», который начинается с того, что студент Ансельм в день Вознесения отправляется в Линковы купальни, где ему являются золотые змейки.
- ⁵ *Бартольди*— Саломон Якоб (1779—1825); после принятия протестантства взял фамилию Бартольди—кузен Эдуарда Хитцига, брат матери Феликса Мендельсона-Бартольди.
- ⁶ *... видел императора и короля...*— Александра I и прусского короля Фридриха Вильгельма III.
- ⁷ *... напрасный визит к Гиппелю.*— Г. рассчитывал занять у него денег, но безрезультатно.
- ⁸ *... совершенно неожиданное письмо из Лейпцига с переводом 70 рт*— вексель от Гертеля.

МАИ

- ¹ *... затем к Секонде, который посылает меня в Лейпциг.*— Г. имеет в виду брата Иозефа Секонды—Франца Секонду (1755—после 1817), директора театральной труппы, которая, как и оперная труппа его брата Иозефа, играла попеременно то в Дрездене, то в Лейпциге.
- ² *Шустер Иозеф* (1748—1812)—капельмейстер и композитор.
- ³ *Сассаролли Филиппо* (1775—после 1828)—певец-сопранист.
- ⁴ *«Il matrimonio segreto»* (тайный брак)—опера итальянского композитора Доменико Чимарозы (1749—1801).
- ⁵ *Бонавери Паоло* (1740 или 1741—1816)—бас-буфф и режиссер итальянской оперы в Дрездене.
- ⁶ *Сандрини, Лунджия* (урожд. Каравалья) (1782—1869)—певица-сопрано в Дрездене, в 1808—1812 гг.—примадонна тамошней итальянской оперы.
- ⁷ *Бенелли Антонио Перегрино* (1771—1830)—итальянский певец (тенор) и композитор. Сотрудничал во ВМГ, был профессором Берлинской консерватории.
- ⁸ *... месса Наумана.*— Имеется в виду композитор Иоганн Готлиб Науман (1741—1801).
- ⁹ *Шмигель*—Шмидель Карл Трауготт (ок. 1773—1847)—виолончелист и композитор.
- ¹⁰ *Конради*—Кунради Трауготт Амандус, адвокат в Дрездене, выведенный впоследствии Г. в «Серапионовых братьях» («адвокат Р.»).
- ¹¹ *Гарденберг Карл Август фон* (1750—1822)—граф, государственный канцлер Пруссии.
- ¹² *«Кортец»*—опера итальянского композитора Гаспаро Спонтини (1774—1851) «Фердинанд Кортец».
- ¹³ *Написал в Лейпциг Секонде.*— В этом письме Г. спрашивает Секонду, не изменились ли его планы в связи со сложной военной обстановкой; если нет, то он вынужден, как это ему ни неприятно, вновь обратиться к Секонде за небольшой

- суммой на дорожные расходы (20 рт). Господина Франца Секонду он (Г.) больше уже дома не заставлял.
- ¹⁴ ... работал над рецензией на симфонию Брауна и Вильмса. — Браун Карл Антон Филипп (1788—1835). Имеется в виду его Симфония № 4 (C-dur); Вильмс Ян Виллем (1772—1847). Имеется в виду его Симфония c-moll, ор. 23. Рецензия на оба этих произведения появилась во *ВМГ* 9 июня 1813 г.
- ¹⁵ ... видел... вице-короля... — Пасынок Наполеона Евгений Богарне (1781—1824) — французский генерал, вице-король Италии (1805—1814).
- ¹⁶ Саксонский король... прибыл... — Фридрих Август III (1750—1827).
- ¹⁷ ... был в академии пения Дрейсига... — Основана в 1806 г. органистом Антоном Дрейсигом (1774—1815). 12 октября Г. записал в дневнике, что сочиняет гимн для академии пения Дрейсига. К сожалению, этот гимн утерян.
- ¹⁸ Начал рецензию на мессу Бетховена. — 17 мая рецензия была закончена и 18 отслана Гертелю. Она появилась во *ВМГ* 16 и 23 июня 1813 г. Эта статья послужила основой другой статьи — «О старинной и новой церковной музыке».
- ¹⁹ «Весталка» — опера итальянского композитора Гаспаро Спонтини (1774—1851), который одно время был музыкальным директором в Берлине.
- ²⁰ ... начал сочинение «Что пена в вине, то сны в голове» — первоначальное название «Магнетизера». Так перевел название этой повести Д. Вневитинов (напечатана в «Московском вестнике», 1827, ч. 5, № 19). «Магнетизер» впервые был напечатан в «Фантазиях» весной 1814 г.
- ²¹ ... граф Фриче с супругой... — Вероятно, советник апелляционного суда граф Август Фрич со своей первой женой которая до замужества была актрисой.
- ²² «Ифигения в Тавриде» — опера Глюка, одного из самых любимых Г. композиторов. Рецензия на другую оперу Глюка — «Ифигению в Авлиде» — появилась во *ВМГ* 29 августа и 5 сентября 1810 г.
- ²³ Крамер — в 1811—1815 гг. примадонна в труппе Секонды в Лейпциге и Дрездене; с 1817 г. в Ганновере.
- ²⁴ Миллер Юлиус (1781—1851) — тенор в труппе Секонды, с которым Г. подружился в Лейпциге.
- ²⁵ «Черный замок» Далаейрака. — Имеется в виду комическая опера французского композитора Никола Мари Далаейрака (1753—1809) — «Леон, или Замок Монте-негро» (1798).

ИЮНЬ

- ¹ Написал Моргенроту, послал 10 рт. — Очевидно, Г. возвращал деньги, взятые им в долг в Дрездене.
- ² ... заключено перемирие. — 4 июня в Пойшвитце было заключено перемирие до 10 августа.
- ³ «Крестоносец» — пьеса в 5 актах Коцебу.
- ⁴ ... был у Гертеля по поводу издания моего перевода «Школы [игры на] скрипке». — Перевод «Школы», выполненный Г., вышел в свет весной 1814 г.
- ⁵ «Оберон». — «Оберон, король эльфов» — романтически-комическая опера в 3 актах Пауля Враницкого (1756—1808).
- ⁶ «Фигаро» — опера Моцарта «Женитьба Фигаро».
- ⁷ Вагнер Фридрих (1770—1813) — полицейский секретарь в Лейпциге, отец Рихарда Вагнера, который родился незадолго до этого знакомства (девятый ребенок в семье Вагнеров).
- ⁸ Опитц Кристиан Вильгельм (1756—1810) — актер, в последнее время в труппе Секонды в Дрездене.
- ⁹ Иффланд Август Вильгельм (1759—1814) — актер и драматург, с 1796 г. директор Национального театра в Берлине.
- ¹⁰ ... видел офицеров из свободного корпуса [майора] Лютцова... — Командир этого корпуса майор Адольф фон Лютцов (1782—1834) не знал точно условий переми-

рия; его корпус 17 июня был захвачен вюртембергцами и почти полностью уничтожен.

- ¹¹ ... писал рецензию на музыку Бетховена к «Эгмонту». — Рецензия появилась во *ВМГ* 21 июля 1813 г.
- ¹² Отрицательный ответ Гертеля по поводу денег. — Г. обратился с просьбой об авансе в счет будущих работ для *ВМГ*.
- ¹³ В жалкой телеге совершил... отвратительнейшее путешествие в Дрезден. — Комическое описание этого путешествия Г. дает в письме к Шпейеру в Бамберг от 13 июля 1813 г.

ИЮЛЬ

- ¹ ... начал сочинение «Ундины». — Г. начал эту работу еще в феврале 1813 г., затем оставил ее.
- ² Итак, я выступал как дирижер там, где Паэр в первый раз дирижировал оперой. — Паэр Фердинандо (1771—1839), с 1802 по 1806 г. — придворный капельмейстер в Дрездене, с 1808 г. в Париже.
- ³ Получил письмо от Кунца с приложением 2 первых листов «Фантазий в манере Калло». — Кунц предложил назвать имя Г. на титульном листе, украсить титульный лист виньеткой работы Г. (как Г. сделал это для первого издания пьесы Вернера «Крест над Балтикой», 1806); в случае же, если это произведение выйдет анонимным, дать предисловие какого-нибудь известного писателя — лучше всего Жана Поля и, наконец, разделить всю вещь на две части.
- ⁴ Письмо от Кунца с приложением — лист «Фантазий» — конец «Кавалера Глюка» и начало «Крейслерианы» (вступление и первая часть «Музыкальных страданий»).
- ⁵ Написал Кунцу. — Г. пишет о том, что не может назвать своего имени, так как он должен стать известным только с помощью удавшихся музыкальных сочинений и не иначе; он обдумает аллегорические виньетки и перешлет их для печати; он согласен на то, чтобы Кунц обратился к Жану Полю, который, может быть, даст предисловие перед его (Г.) предисловием; по поводу же разделения на два тома Г. выражает опасение, не будут ли эти томики слишком тонкими, и просит написать ему еще по этому поводу, когда Кунц сможет лучше определить объем каждого. Одновременно он пишет о своей работе над «Фантазиями» и просит Кунца показать «Магнетизера» Шпейеру, чтобы тот просмотрел все с точки зрения медика. (Это письмо помечено 20 июля). В следующем письме Кунцу, от 26 июля, Г. снова говорит о разделении «Фантазий» на два тома: 1 — Калло, «Глюк», «Крейслер», «Дон Жуан»; 2 — «Берганца», «Магнетизер». Одновременно Г. приветствует идею Кунца приехать в Дрезден, как тот собирался. Но главное — никаких изменений в рукописи!
- ⁶ «Фаниска» — опера итальянского композитора Лунджи Керубини.
- ⁷ «Лодоиска» — опера Керубини.

АВГУСТ

- ¹ Закончил письмо Марии ... Начал письмо Альбана. — Имеется в виду «Магнетизер».
- ² Дни празднества Наполеона — празднества в честь 44-летней годовщины императора Франции.
- ³ «Разбойники» — комическая опера Паэра «Разбойники с большой дороги».
- ⁴ Получил через Моргенрога письмо от Кунца. — Кунц предложил для титульного листа «Фантазий» вместо виньеток сделать рисованное оформление. Но к тому времени Г. почти закончил виньетки.
- ⁵ Совсем закончил «Магнетизера» и послал его Кунцу. — «Магнетизер» был напечатан весной 1814 г. в «Фантазиях». В письме от 19 августа Г. благодарит Кунца

за хорошее мнение о «Магнетизере», что ему особенно важно как доказательство, что сам он правильно судит о своих собственных делах. Одновременно он сообщает Кунцу, что у него возникла идея новой сказки и рассказывает о будущем «Золотом горшке».

- ⁶ *Сообщение, что французы под Берлином разбиты наголову...*— 23 августа соединенные силы русских, пруссаков и шведов под командованием Бернадотта разбили французские армии под Гросбереном.
- ⁷ *Вандам, должно быть, разбит...*— Вандам Иозеф Доминик, граф фон Гюнеберг (1771—1830) был разбит 30 августа при Кульме и Ноллендорфе.

СЕНТЯБРЬ

- ¹ *Необычайно приятное письмо от Кунца— Жан-Поль пишет предисловие к «Фантазиям на тему Калло».*— В своем письме Кунц рассказывает, что специально принял поездку в Байрейт для того, чтобы передать Жану Полю I том «Фантазий» и «Берганцу» и поговорить с ним по поводу предисловия к первому большому произведению Г. После того, как Кунц передал все эти материалы, 3 часа спустя Жан Поль пришел к Кунцу в его номер в гостинице и сообщил, что уже начал писать предисловие, что он поздравляет Кунца с тем, что тот обрел в лице Г. сокровище; в этот же день за столом Жан Поль сказал, что он счастлив, что ему выпало счастье открыть Германии имя ее нового выдающегося писателя.
- ² *...получил очень дрянное вино.*— Г. обратился к Кунцу, который имел многочисленные связи с виноторговцами, с просьбой помочь ему получить вино по ассигновке. Вино пришло от виноторговца в Дрездене Кагиорги, к которому Г. вместе с актерами и актрисами имел обыкновение заходить после репетиций. Счет за эти две дюжины вина ниже, 16 января 1814 г.
- ³ *«Сильвана»*— опера К. М. фон Вебера.
- ⁴ *Осматривал Галерею. Мадонна Гольбейна, Цецилия Карло Дольчи*— Очень интересно это упоминание Г. посещения Галереи и двух шедевров; Г. был большим поклонником старой немецкой живописи, особенно Альбрехта Дюрера и Гольбейна, о чем он неоднократно пишет в своих произведениях. «Цецилия» же Дольчи была дорога ему не только как шедевр живописи, но и как изображение покровительницы музыки—недаром этим именем Г. назвал свою единственную, рано скончавшуюся дочь; имя Цецилии встречается также в его произведениях. В письме Кунцу от 8 сентября Г. пишет, что в это бурное время Галерея—самое спокойное место в Дрездене и что во время этого посещения у него возникла интересная идея: когда он сравнивал многочисленные изображения Марии в здешней галерее, он нашел, что Марии старых немецких мастеров во многом выигрывают в жизненно правдивом изображении по сравнению с великолепными изображениями Рафаэля.
- ⁵ *Келлер, Август* (ум. после 1841)— актер и певец; в 1812—1814 гг. член оперной труппы Секонды в Лейпциге и Дрездене.
- ⁶ *Видел Фридриха Лауна.*— Имеется в виду немецкий писатель Фридрих Лаун (Фридрих Август Шульце) (1770—1849).
- ⁷ *«Праздник сборщиков винограда»*— зингшпиль в 3 актах Фридриха Людвиг Кунцена (1761—1817).
- ⁸ *«Глазной врач»*— опера Войтеха Гировца (Йировца) (1763—1850); на эту оперу Г. написал рецензию, помещенную во *ВМГ* 30 октября 1809 г.
- ⁹ *«Счастливчик»* («Воскресный ребенок») — зингшпиль немецкого композитора Венцеля Мюллера (1767—1835).
- ¹⁰ *Инспектор Швейкардт.*— В письме к Кунцу от 8 сентября Г. упоминает о том, что беседовал в Галерее с Швейкардом, молодым художником. Г. имеет в виду, очевидно, Иоганна Иозефа Швейгардта (р. 1789).
- ¹¹ *«Тайна»*— комическая опера Жана Пьера Солье (Сулье) (1755—1812).
- ¹² *«Пленник»*— одноактная комическая опера Делла Марии Пьера Антуана (1769—1800).

- ¹³ «[Мария фон] Монтальбан» — опера в 4-х актах Петера Винтера.
- ¹⁴ *Этлинггер* (Эдлинггер) Карл (1788—1823) — художник в Дрездене; впоследствии Г. дает это имя одному из героев «Кота Мурра», тоже художнику.
- ¹⁵ «Мельничиха» — опера итальянского композитора Джованни Паизиелло (1741—1816). Г. неоднократно упоминает об этой опере, см., например в «Коте Мурре».
- ¹⁶ Удачно начал статью «Поэт и композитор» для «Музыкальной газеты». — Как уже упоминалось, мысль об этой теме возникла у Г. еще давно.
- ¹⁷ «Иероним» — Имеется в виду комическая опера Диттерсдорфа «Скупец Иероним».
- ¹⁸ «Земира и Азор» — опера композитора Андре Эрнеста Гретри (1741—1813).

ОКТАБРЬ

- ¹ «Выигранная карета» — опера Мегюля.
- ² ...автоматы Кауфмана. — Имеется в виду музыкальный автомат механиков Иоганна Готфрида Кауфмана (1752—1818) и его сына Фридриха (1785—1866), живших в Дрездене.
- ³ ...одна колонна русских прошла мимо Дрездена... Это был корпус Бенигсена. — Это была так называемая Польская армия под командованием графа Л. Л. Бенигсена (1745—1826). По странной иронии знаменитое толстовское «Die erste Kolonne marschiert» здесь встречается почти в буквальном повторении в связи с тем же Бенигсеном.
- ⁴ Винкель Тереза (1779—1867) — арфистка-виртуоз и учительница. Писала также статьи в музыкальные газеты и журналы.
- ⁵ Неаполитанский король будто бы погиб. — Неаполитанский король — Иоахим Мюрат (1771—1815) был расстрелян союзниками позднее, в 1815 г.
- ⁶ Даву Луи Никола (1770—1823) — французский маршал.
- ⁷ «Шкатулка с секретом» — комическая опера Антонио Сальери (1750—1825), в оригинале «La Cifra».
- ⁸ Рейнье Жан Луи Эбенезер (1771—1814) — французский генерал. После сражения под Лейпцигом прикрывал отступление французской армии, попал в плен, но вскоре был обменен.
- ⁹ Лористон Александр Жак Бернард Лоу, маркиз (1768—1828) — французский государственный деятель и дипломат. В октябре 1812 г. был послан к Кутузову с предложением Наполеона о мире. Под Лейпцигом попал в плен и перешел на сторону союзников.
- ¹⁰ Понятовский Юзеф (1762—1813) — польский политический деятель, племянник короля Станислава Августа. С 1807 г. — военный министр княжества Варшавского. Во время битвы под Лейпцигом получил от Наполеона жезл маршала Франции.
- ¹¹ «Деревенский цирюльник» — одноактный комический зингшпиль Иоганна Шенка (1753—1836).

НОЯБРЬ

- ¹ ...начал рецензию на ораторию Бергта. — Имеется в виду оратория «Христос, возвешенный страданиями» Иоганна Готлиба Августа Бергта (1771—1837). Рецензия была напечатана во *ВМГ* 5 января 1814 г.
- ² Граф Лобау. — Лобау Жорж Мутон (1770—1838) — наполеоновский генерал; после капитуляции взят в плен; с 1831 г. — маршал Франции.
- ³ Коррадини — тенор-буффо, участник труппы Секонды в Дрездене.
- ⁴ ...послал письмо в Лейпциг. — Письмо было написано Г. как сопроводительное к статье «Поэт и композитор». В нем Г. объясняет причину своего длительного молчания — военное положение города и его новая работа, отнимающая очень много сил и времени. Статья появилась в 2-х номерах *ВМГ* — 8 и 15 декабря 1813 г.

- ⁵ «*День в столице*» — комедия в 4 актах Густава Линдена (Карла Штейна) (1773—1855). Однако в тот день шла опера Керубини «Фаниска».
- ⁶ *Письмо в Бамберг* — письмо к Кунцу, помеченное 17 ноября. Г. восторженно начинает его с восклицаний: «Свобода! — Свобода! — Свобода!», затем рассказывает, что после битвы под Лейпцигом театр 14 дней был закрыт и дела были не очень хороши; кроме трудностей военного времени свирепствовал тиф и люди умирали во множестве. Г. выписывает большой кусок из «Поэта и композитора» и сообщает, что совершенно обдумал замысел «Золотого горшка» и «Письма образованной обезьяны Мило». Сообщает, что он вместе с театром, вероятно, переедет в Лейпциг.
- ⁷ *Письмо... в Кенигсберг*. — Г. обратился к своему кенигсбергскому поверенному (Браузеветтеру?) с просьбой о деньгах.
- ⁸ «*Село в горах*» — двухактная опера Бергта.
- ⁹ «*Швейцарская семья*» — зингшпиль Вейгля на текст Игнаца Франца Каstellи (1781—1862).

ДЕКАБРЬ

- ¹ *Нейман* — певец и актер из труппы Секонды в Дрездене.
- ² *Получил от Гертеля 15 рт.* — В письме Гертелю от 11 декабря Г. пишет о том, что нуждается в небольшом авансе в счет будущих работ, выражает надежду, что в скором времени получит перевод на большую сумму из Кенигсберга, и спрашивает, получил ли Гертель статью «Поэт и композитор», которую он переслал вместе с письмом Рохлицу. В тот же день, 11 декабря, получив 15 рт, Г. благодарит Гертеля за выполнение им его просьбы, сообщает, что по просьбе Гертеля сделает все необходимое для перевода «Школы скрипичной игры», и снова заверяет, что в настоящее время он будет много работать для *ВМГ* (Г. имел в виду статьи о Бергте и Эльснере).
- ³ *Послал Моргенроту ... фридрихсдорфов*. — Очевидно, долг, в ответ на письмо Моргенротта от 11 декабря. Вместо суммы, как видно намеренно, бессмысленный росчерк.
- ⁴ *... идея некоей брошюры*. — Очевидно, «Видения на поле битвы под Дрезденом», о чем он пишет на следующий день, отмечая, что удачно начал его. 17 декабря Г. закончил «Видение». В письме Кунцу от 28 декабря Г. подробно рассказывает об этой брошюре, которая состояла из трех писем и в качестве приложения к последнему давалось «Видение на поле битвы под Дрезденом». Г. спрашивает Кунца, сможет ли тот напечатать эту брошюру или дать ему (Г.) разрешение на напечатание ее в другом месте. В конце концов «Видение» было издано как листовка у Кунца.
- ⁵ *Перед обедом работал над рецензией* — на ораторию Бергта.
- ⁶ *Большое празднество в честь дня [рождения] Александра*. — Александра I. В письме Кунцу от 28 декабря Г. описывает это празднество. В театре играли «Фаниску», и когда Г. перед началом 2 акта и в антрактах давал сигнал к тому, чтобы пели трубы и били барабаны, театр сотрясался от «виват» немцев и «ура» русских.
- ⁷ *Писал рецензию на увертюры Эльснера*. — Эльснер Юзеф Ксаверий (1769—1854) — польский композитор, дирижер, педагог и общественный деятель, друг Г. и учитель Шопена. Г. имеет в виду увертюры к «Андромеде» и «Лешку Белому». Рецензия опубликована во *ВМГ* 19 января 1814 г.
- ⁸ *Герштекер Фридрих* (1790—1825) — тенор в труппе Секонды в Лейпциге и Дрездене, затем в Гамбурге и Берлине.
- ⁹ *Адольф Вагнер* (1774—1835) — ученый и писатель, дядя Рихарда Вагнера.

1814

ЯНВАРЬ

- ¹ «Письмо Мило» для «Музыкальной газеты». — Г. писал его два дня — 2 и 3 января 1814 г. Эта юмореска была отослана Рохлицу 4 января. Появилась под названием: «Сообщение некоего образованного молодого человека. Из бумаг капельмейстера Иоганна Крейсlera» во *ВМГ* 16 марта 1814 г.; затем весной 1815 г. в «Фантазиях».
- ² Начал «Автоматы» для «Музыкальной газеты». — Закончил и отослал 16 января.
- ³ «*Vir[tuosi] amb[ulanti]*» (Бродячие артисты) — двухактная музыкальная комедия Валентино Фиораванти (1764—1837).
- ⁴ Неприятное письмо от Кунца. — В этом письме Кунц пишет о том, что ему (Кунцу) следует подумать, прежде чем дать согласие на издание брошюры («Видение»), которая посвящена столь злободневным событиям.
- ⁵ Послал «Автоматы» Рохлицу. — В письме к Рохлицу Г. пишет о том что, по его мнению, это должно заинтересовать *ВМГ*. Некоторые впечатления, отраженные в этом произведении, относятся к его жизни в Восточной Пруссии.
- ⁶ Рохлиц посылает «Автоматы» обратно для сокращения. — Рохлиц просил Г., чтобы он сократил и сделал извлечение, более подходящее для *ВМГ*, что Г. и сделал на следующий день. 20 января Г. вновь посылает «Автоматы» Рохлицу; они появились во *ВМГ* 9 февраля 1814 г. Полный вариант «Автоматов» был напечатан в «Элегантной газете» с 7 по 14 апреля 1814 г.
- ⁷ «Кавачий офицер» — одноактная опера тенора труппы Секонды (и композитора) Юлиуса Миллера (см. стр. 633).
- ⁸ ... написал 5-ую вигилию сказки. — Г. работает над «Золотым горшком». Задумал в августе (19) 1813 г. Начал в Дрездене 26 ноября 1813 г., закончил 15 февраля 1814 г. Напечатан «Золотой горшок» впервые в 3 томе «Фантазий» осенью 1814 г. Вигилия — ночная стража в Древнем Риме; римляне делили ночь на 4 вигилии. В «Золотом горшке» — вигилия — часть (всего 12 вигилий).
- ⁹ ... получил от Рохлица *Recensenda*. — Симфонию *S-dur*, ор. 5 И. П. Пиксиса, Увертюра *S-dur*, ор. 10 Ф. Лесселя, Увертюру № 1 *E-dur* И. Штеркеля, Увертюру № 4 Ф. Паэра (*S-dur*) и др.
- ¹⁰ В честь императрицы «Фаниска» — в честь супруги Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны.
- ¹¹ Кауэрин взяла вексель. — Г. имеет в виду хозяйку гостиницы «Роза» в Бамберге, вдову Анну Марию (Нанетту) Кауэр (1750—1836). С просьбой уладить его дела в Бамберге Г. обратился к Кунцу 17 ноября 1813 г.
- ¹² «Камилла» — опера Паэра.

ФЕВРАЛЬ

- ¹ ... мне предложено место музыкального директора в Кенигсберге, которое я, однако, решил не принимать. — На это решение Г. наверняка имело влияние сообщение о кенигсбергском театре, напечатанное во *ВМГ* 9 февраля 1814 г. В нем говорилось о плачевном состоянии этого театра, труппа которого недосчитывала многих актеров самых необходимых амплуа (первого тенора, первого баса и др.).
- ² Ссора с Секондой. — В письме от 7 марта Рохлицу (см. ниже) Г. пишет, что серьезное столкновение назревало уже давно. 25 февраля дело, наконец, дошло до открытого конфликта. Шел спектакль «Бродячих артистов» Фиораванти и басбуффо Вильгельм Фишер, исполнявший роль Джервазио, с разрешения Г. выпустил одну из своих небольших арий; в антракте Секонда в присутствии артистов, статистов и других лиц грубо обругал Г., чье терпение истощилось, и он резко ответил, что в подобном тоне Секонда может разговаривать только со служителями и лакеями, а не с воспитанными людьми. На следующий день Г. получил уведомление

о том, что будет лишен места. Г. сообщает Рохлицу, что ему предлагают место музыкального директора в Кенигсберге и просит у него совета. Одновременно он спрашивает, не мог ли он (Г.) по рекомендации Рохлица иметь здесь несколько учеников, которых он обучал бы пению.

МАРТ

- ¹ ... доктор Клуге. — Клуге Карл Фридрих Густав (1774—1830), доктор медицины и практикующий врач в Лейпциге.
- ² ... идея книги «Эликсиры сатаны» — первое упоминание этой вещи. См. выше о посещении Г. монастыря капуцинов, стр. 581.
- ³ Баумгертнер Фридрих Готхельф (1759—1843) — книгопродавец в Лейпциге.
- ⁴ ... Мальману по поводу «Эле[антной] и[газеты]». — Г. обращается к Мальману с просьбой принять его в число сотрудников «Газеты» и спрашивает, не мог бы он напечатать в «Газете» полный вариант «Автоматов».
- ⁵ Рохлицу у меня. — Рохлиц посетил Г. в ответ на его письмо от 7 марта, где Г. рассказал о своих неприятностях — о болезни, припадок который приковал его к постели, и ссоре с Секондой (см. выше). Об этом посещении Рохлиц рассказал впоследствии в некрологе Гофману (ВМГ от 9 октября 1822 г.)
- ⁶ ... рисовал карикатуру. — Дама Галлия оплачивает счет врачам, после того как она отчихалась, раскрашенная гравюра на меди.
- ⁷ Записка от Рохлица, в которой он предлагает мне много заказов для «Музыкальной газеты», — Видимо, в разговоре с Рохлицем, который посетил его ранее, они уже договорились, что Г. напишет о старинной и новой церковной музыке.
- ⁸ Мюллер Карл Людвиг Метузалем (1771—1837) — поэт, писатель, редактор в Лейпциге.
- ⁹ Письмо от Кунца с радостными известиями. — Кунц пишет о том, что, как и Жан Поль в предисловии, он желал бы, чтобы появились еще два маленьких томика «В манере Калло». Кроме того, он сообщает, что в Бамберге собираются силами любителей поставить пьесу Фуке «Эгинхардт и Эмма», где основные роли будут играть ученики Г., в частности, роль Эммы графиня Августа Ротенхан, а он сам (Кунц), вероятно, сыграет роль Карла Великого. Кунц просит у Г. советов по поводу постановки, декораций, костюмов и т. д.
- ¹⁰ Рецензия на сонату Рейхардта. — Соната f-moll для фортепиано Иоганна Фридриха Рейхардта (1752—1814): рецензия напечатана во ВМГ 25 мая 1814 г.
- ¹¹ Нарисовал карикатуру «The exequies of the universal Monarchy» (Похороны всемирной монархии). — Карикатура появилась 10 мая 1814 г. и быстро разошлась. В том же письме Кунцу от 24 марта 1814 г. Г. пишет, что его карикатура попадет даже в Англию.
- ¹² Написал Кунцу и послал ему изображение Карла Великого. — В этом очень большом и интересном письме от 24 марта Г. подробно описывает свои творческие планы и дела и прежде всего дела литературные. Он сообщает, что уже сам думал о продолжении «Фантазий в манере Калло» — в качестве этого продолжения, без сомнения, должны быть «Крейслериана» и «Окружной егерь». Затем он подробно рассказывает о своей новой вещи — «Эликсирах сатаны». В разделе письма «Из моей жизни» Г. чрезвычайно интересно рассказывает о своей работе над «Ундиной», которая «является к нему каждое утро и приносит прекраснейшие цветы». В разделе Teatralia Г. дает подробные советы по поводу костюмов и декораций к пьесе Фуке, специально останавливаясь на costume Карла Великого, изображение которого он послал Кунцу для его костюма.

АПРЕЛЬ

- ¹ Записка от Секонды — я должен отправиться в Дрезден — сразу же ответил. — До 20 мая Секонда мог еще, в соответствии с ангажементами, отдавать распоряжения Г.; возможно, он предложил возобновление ангажемента, но Г. так или иначе отклонил это и остался в Лейпциге.

- ² *Сообщение о взятии Парижа.*—Капитуляция Парижа была подписана представителями союзных сил и разбитой французской армии 30 марта 1814 г.; с русской стороны капитуляцию подписывал граф М. Ф. Орлов.
- ³ *...отречение императора...*—1 апреля 1814 г. французский сенат объявил об отречении Наполеона.

МАИ

- ¹ *Неприятная записка от Рохлица, который предлагает мне для издательства к...*—Последнее слово неразборчиво. В данном случае Г., очевидно, имеет в виду, что Рохлиц неблагоприятно отозвался об «Эликсирах сатаны», что было неудивительно для правоверного протестанта и кандидата теологии Фридриха Рохлица, который к тому же еще упрочил свое общественное положение, женившись на очень богатой вдове.
- ² *...от Мальмана гонорар 15 рт 15 г*—видимо, за «Автоматы».
- ³ *Кунце Вильгельм Фридрих (1784—1862)*—купец в Лейпциге.
- ⁴ *Начал «Бландину»*—«Принцесса Бландина» была закончена 31 мая 1814 г. Напечатана весной 1815 г. в «Фантазиях».
- ⁵ *Бурмейстер Фридрих (1771—1851)*—актер, участник труппы Франца Секонды в Дрездене.
- ⁶ *Начал «Окружного егеря».*—Имеется в виду рассказ «Игнац Деннер»; Г. закончил его 1 июня 1814 г. Напечатан в конце 1816 г. в «Ночных рассказах».

ИЮНЬ

- ¹ *Краловский Фридрих (1765—1821?)*—книгопродавец и библиотекарь в Берлине (?).
- ² *Письмо Хитцигу с приложением «Эликсиров сатаны».*—Г. пишет Хитцигу о том, что он узнал о его тяжелой утрате (о том, что у Хитцига умерла жена, оставив ему шестерых детей из восьми, двое из которых умерли до нее). Г. описывает свою жизнь в Лейпциге, дипломатично изображая свои взаимоотношения с Секондой, и обращается к Хитцигу с главной просьбой—устроить в Берлине издание «Эликсиров сатаны», сообщая при этом, что он будет доволен любым (так!) гонораром. «Эликсиры» были напечатаны весной 1816 г. в издательстве Дюнкера и Гумбольдта.
- ³ *Письмо Котте.*—После того как Г. обратился к Котте 7 мая с просьбой издать «Эликсиры сатаны», которую Котта отклонил, Г. вновь пишет ему и прилагает к письму статью «Представления из мира звуков»—первый вариант «Аттестата Иоганна Крейслера». «Аттестат» был напечатан в издаваемом Коттой «Утреннем листке для образованных сословий» 21—22 февраля 1816 г.
- ⁴ *Послал Рохлицу статью для «М[узыкальной] г[азеты]».*—Имеется в виду одна из частей «Крейслерианы»—«Об одном высказывании Саккини и о так называемом эффекте в музыке»; была напечатана во *ВМГ* 20 июля, затем весной 1816 г. в «Фантазиях».
- ⁵ *Письмо от Хитцига с успокоительными известиями.*—Вероятно, Хитциг обещал приложить все усилия для того, чтобы устроить издание «Эликсиров», и подает надежду на постановку «Ундины» в Берлине.

ИЮЛЬ

- ¹ *Работал над статьей о церковной музыке.*—О работе над этой статьей см. выше, стр. 633. В частности, Г. пишет Гертелю письмо с просьбой переслать различные сочинения духовного содержания, в том числе и знаменитое «Misereere» Аллегри, которое 13-летний Моцарт когда-то записал по памяти после прослушивания в Сикстинской капелле.

- ² ...6-го абсолютно неожиданно появился в Лейпциге Гиппель ...обещал мне мгновенно место в Берлине...—К тому времени Гиппель стал вице-президентом правительства в Мариенвердере и мог помочь Г. в его поисках места. Г. желал бы получить в Берлине место секретаря в каком-нибудь министерстве, что дало бы ему возможность, упрочив свое материальное положение, иметь достаточно времени для того, чтобы продолжать писать музыкальные и литературные сочинения.
- ³ 20 рт от Гертеля.—В тот день, 11 июля, Г. послал Гертелю статью о «Старинной и новой церковной музыке» с письмом, что он посылает несколько страниц, в которых, однако, как он полагает, ему удалось высказать самое важное по этому вопросу. «Несколько страниц» были напечатаны тремя частями во *ВМГ* в номерах от 31 августа, 7 и 14 сентября. Одновременно с посылкой статьи Г. просит об авансе в 20 рт, которые Гертель пересылает ему в тот же день.

АВГУСТ

- ¹ Сочинял «Битву под Лейпцигом» по заказу для Баумгертнера под именем Арнцльфа Фольвейлера—фантазию для ф. п. «Битва под Лейпцигом».
- ² Получил письмо от Гиппеля—надежда на место по юридической части.—Гиппель пишет о том, что он не сообщал ничего раньше, так как еще не имел возможности узнать все точно. Место в министерстве внутренних дел получить невозможно. Можно было бы, однако, выхлопотать место в министерстве юстиции. Если Г. желал бы получить такое место в Берлине, то Гиппель устроит так, что Г. может обратиться к министру фон Кирхейзену через советника Дидерикса, так как сам Гиппель в скором времени должен уехать.
- ³ Письмо Гиппелю, Кирхейзену-Дидериксу.—Со ссылкой на Гиппеля Г. посылает прошение на имя министра юстиции Фридриха Леопольда фон Кирхейзена (1749—1825) в Берлин; прошение прилагается к письму докладчика, советнику Кристофу Леопольду Дидериксу (1772—1839); в письме содержится просьба передать прошение министру. Одновременно Г. пишет горячее благодарственное письмо Гиппелю, который пришел ему на помощь в его бедственном положении, сожалеет, что тот должен уехать и выражает надежду на то, что в будущем они все же смогут видиться и больше не разлучаться. Одновременно он сообщает, что вышлет ему свои новые вещи («Фантазии в манере Калло»).

СЕНТЯБРЬ

- ¹ Официальное письмо великого канцлера, в котором он просит разъяснений, хотел бы я быть советником или только секретарем.—Под великим канцлером Г. имеет в виду Кирхейзена, который доводит до его сведения, что место в министерстве юстиции он не может предоставить, но имеется возможность предоставить ему подобное место в верховном суде.
- ² Послал Рохлицу рецензию на песни Рима—рецензию на «Двенадцать песен старых и новых поэтов» композитора Фридриха Вильгельма Рима (1779—1837). Рецензия напечатана во *ВМГ* 12 октября 1814 г.
- ³ Письмо Кирхейзену—Дидериксу.—Г. написал, что он с большим удовольствием принял бы место секретаря в министерстве, но вынужден будет отклонить подобное место в суде. В середине сентября от Кирхейзена последовал ответ, в котором тот делает Г. предложение со стороны министерства юстиции поработать в течение полугода без оклада при высшем суде в Берлине, чтобы со временем, когда он станет известен своей службой, быть снова включенным в штат уже в качестве советника. Около 24 сентября Г. написал, что принимает предложение и с 1 октября согласен работать в апелляционном суде в Берлине.
- ⁴ Апель Иоганн Август (1771—1816)—юрист, композитор, писатель, представитель раннего романтизма. В его «Книге призраков» Вебер нашел сюжет для своего «Волшебного стрелка».

- ⁶ *Прибыл в Берлин — остановился у Матве.* — Г. остановился в гостинице «Золотой орел» у Матве, которого называет своим добрым другом в «Приключениях в новогоднюю ночь».
- ⁶ *Хитциг — познакомился с Фуке. Певицы Маркузе.* — В письме Кунцу от 28 сентября 1814 г. Г. рассказывает о том, как он встретился в Берлине со многими приятными ему людьми. Особенно интересен его рассказ о некоем чаепитии, где он присутствовал под именем доктора Шульца из Ратенова и весьма удачно и долго музицировал из «Ундины», после чего Фуке сказал, обращаясь к присутствующим: «Капельмейстер Крейслер находится среди нас — вот он!». См. об этом во второй части «Крейслерианы» — «Письмо капельмейстера Крейслера барону Вальборну». Маркузе Элизабет (Бетти), в замужестве Гедике (1786—1869), и Юлия, в зам. Ланчицолле (1786—1826), — сестры-близнецы, певицы; в тот вечер пели отрывки из «Ундины» под аккомпанемент автора.

1815

ЯНВАРЬ

- ¹ *Вейт Филипп (1793—1877)* — художник, пасынок Фридриха Шлегеля, родственник Хитцига со стороны своей матери Доротеи, урожд. Мендельсон.
- ² *Шамиссо Адальберт фон (1781—1838)* — немецкий писатель. Г. познакомился с ним еще в 1798 г. Повесть Шамиссо «Петер Шлемиль» была одной из самых любимых книг Г., который даже нарисовал Человека в сером (см. стр. 88) и путешествие Петра Шлемиля на Северный Полюс.
- ³ *Эйхгорн Иоганн Альбрехт Фридрих (1779—1856)* — советник государственного суда в Берлине, впоследствии министр культуры.
- ⁴ ... рассказ для «Калло» *pp.* *Успешно закончил* «Приключения в новогоднюю ночь». — Этот рассказ Г. читал 13 января Шамиссо, Хитцигу и Контессе, а 14 переслал Кунцу.
- ⁶ *Леви Сара (урожд. Итциг) (1761—1854)* — тетка Хитцига.
- ⁶ *Отцель Франц Август (1784—1850)* — аптекарь, доктор философии, занимался не столько фармацевтикой, сколько изучал деятельность гор. Сопровождал Гумбольдта в 1805 г. в Неаполь, в 1807 г. женился на сестре Хитцига Адельгейде; проделал в 1813/14 гг. военную кампанию и в конце концов — генерал-майор фон Этцель.
- ⁷ *Тодт Теодор* — как и *Крамер*, комиссар юстиции в государственном суде в Берлине. Тодт служил также в свое время в Познани.
- ⁸ *Вечером снова познакомился с Зелигманом — id est молодой Пупп.* — Очевидно, Г. намекает на то, что молодой Пупп напомнил ему бамбержца Зелигмана (см. стр. 626).
- ⁹ *Контесса, Карл Вильгельм Салис (1777—1825)* — поэт и писатель. Познакомился с Г. в конце 1814 г.
- ¹⁰ ... *замысел романа en quatre...* — Четыре части должны были написать Гофман, Хитциг, Фуке и Контесса. Г., написавший свою часть, переработал ее в рассказ «Двойник», напечатанный в 1821 г.
- ¹¹ *Послал Шпейеру письмо для Кунца с приложением рассказа* — «Приключения в новогоднюю ночь», предназначенный для 4 т. «Фантазий».
- ¹² *Гропиус Вильгельм (1764—1852)* — владелец «театра» — панорамы с движущимися фигурами — в Берлине.
- ¹³ *Идея рассказа для «Урании» — «Ферматы» стала совершенно ясной.* — 14 декабря 1814 г. редакция «Урании» (Фридрих Арнольд Брокгауз) обратилась к Г. с просьбой написать рассказ для их издания. Но рассказ «Фермата» был передан Г. не «Урании», а редакции «Дамской карманной книги», где он и появился осенью 1815 г. Вместо «Ферматы» Брокгауз получил в начале марта рассказ «Артусов двор».

- ¹⁴ *Неприятность из-за Вармута*... — Кого имеет в виду Г.: своего квартирного хозяина в Бамберге Каспара Вармута или его сына, Иоганна Лоренца, неизвестно.
- ¹⁵ ... получил рескрипт. — Рескрипт датирован 7 января.
- ¹⁶ *Приятное письмо от редакции «Музы[зыкальной] [газеты]»*. — *Последняя статья о Ромберге и «Кортеце» опубликована*. — Приехав в Берлин, Г., по договоренности с газетой, должен был написать ряд статей о музыкальном искусстве в Берлине и первой (и единственной) статьей была эта статья о концерте Ромберга, состоявшемся 23 октября, о спектакле «Эдип в Колоне» Саккини (9 ноября) и спектакле «Кортеца» Спонтини (13 ноября). Статья Г. появилась во *ВМГ* 11 января 1815 г.
- ¹⁷ *Письмо от Гертеля из Лейпцига*. — Гертель прислал Г. большой пакет музыкальных сочинений для рецензирования.
- ¹⁸ *Иордан Карл Людвиг (1769—1847?)* — советник государственного суда в Берлине.
- ¹⁹ *Фишер Иозеф (1780—1862)* — певец (бас), выступал в Берлине.
- ²⁰ *Мадлам Вернье* — сестра Иозефа Фишера, оперная певица Иозефа Вернье-Фишера (1782—после 1835).
- ²¹ *Гумбольдт Вильгельм (1767—1835)* — министр вероисповеданий и образования.
- ²² *Уден Вильгельм (1763—1835)* — археолог; с 1802 г. на государственной службе, впоследствии тайный советник в министерстве культуры.
- ²³ ... *познакомился с баронессой*. — В письме Кунцу от 23 декабря 1815 г. Г. так описывает баронессу Каролину Фуке (1774—1831): упоминая о том, что она еще хороша, — *grande e maestosа* (слова из комического регистра Лепорелло в «Дон Жуане»), он иронически замечает, что как хозяйка дома она гораздо лучше, чем литератор (см. ниже в дневнике о ее чтении ею своего романа, крайне наскучившем Г.).
- ²⁴ *Франц Горн (1781—1837)* — литератор, с 1809 г. жил в Берлине.
- ²⁵ ... *жена Фуке ... чтением плохого романа заставила меня невероятно скучать и прийти в плохое настроение*... — Баронесса Фуке, вероятно, читала Г. свой роман под названием «Праведные и неправедные пути Эдмунда» или же рассказ «Верность до смерти».

ФЕВРАЛЬ

- ¹ ... *письмо от... Штегемана*. — Штегеман Фридрих Август (1763—1840), немецкий писатель, прусский государственный советник.
- ² «*Высказывания Крейслера*» — вероятно, «Аттестат Крейслера».
- ³ ... *получил письмо от Кунца вместе с «Окружным егерем»*. — Кунц в своих воспоминаниях пишет, что первоначально этот рассказ Г. предназначал для «Фантазий», но, так как Кунцу показалось, что рассказ не совсем подходит для этого собрания, то Г. согласился с ним и взял «Егеря» обратно.
- ⁴ *Шеде Карл Вильгельм Людвиг (1774—1833)* — государственный советник и комиссар юстиции в Берлине.
- ⁵ *Шульц* — вероятно, комиссар юстиции при государственном суде в Берлине Людвиг Шульце.
- ⁶ *Эйхендорф Иозеф (1788—1857)*.
- ⁷ *Пфуйль Эрнст фон (1779—1866)* — друг Клейста, майор.
- ⁸ *Замысел взять судьбу Делла Марии в качестве сюжета для новеллы*. — О Делла Марии см. выше, стр. 635. Замысел этот не был осуществлен.
- ⁹ *Герр Фридрих фон (1776—1831)* — советник юстиции, позднее комиссар юстиции и нотариус государственного суда в Берлине. Познакомился с Г. еще в 1801 г. в Познани.
- ¹⁰ *Волланк Фридрих (1782—1831)* — советник юстиции в Берлине; композитор.
- ¹¹ «*Абрагам Тунелли*» — «Удивительное жизнеописание его величества Абрагама Тонелли» — незаконченное произведение Людвигу Тика, напечатанное в Берлине в 1798 г. Г. предполагал написать продолжение этой истории. См. русское изд.: «Немецкие волшебнo-сатирические сказки». Л., «Наука», 1972. Пер. А. А. Морозова.

- ¹² *Сообщение из Неннхауза* — Фуке прислал мне письмо к Брюлю по поводу «Ундины». — Фуке пишет Г. из своего поместья Неннхаузена близ Ратенова. Он пересылает Г. свое официальное письмо генеральному интенданту королевских зрелищ и камергеру, рейхсграфу Карлу фон Брюлю. В этом письме Фуке ходатайствует о том, чтобы опера «Ундины» была поставлена на сцене королевского театра. Он сообщает, что сам переработал свою поэму в оперное либретто, а музыку написал «гениальный Гофман, автор „Фантазий в манере Калло“».
- ¹³ *Весь день трудился над перепиской текста «Ундины»*. — Г. спешил подготовить текст для отправки Брюлю, чтобы ускорить решение вопроса о постановке «Ундины».
- ¹⁴ *Амброш Иозеф Карл (1759—1822)* — первый тенор в Берлинском Национальном театре, композитор.
- ¹⁵ *Шмидт Иоганн Филипп (1779—1853)* — юрист, композитор; как и Г., родился в Кенигсберге. Написал рецензию на «Ундину» Г.
- ¹⁶ *Письмо Брюлю*. — Г. пересылает Брюлю текст оперы «Ундины» и сообщает, что в любой момент может прислать партитуру для ознакомления. Г. пишет также о том, что, хотя при сложившихся обстоятельствах он должен казаться дилетантом в области искусства, он уже в течение нескольких лет после катастрофы 1806 г. (т. е. после роспуска прусской администрации. — О. Л.) живет в искусстве и трудится и как музыкант, и как композитор, и как музыкальный критик и надеется, что партитура подтвердит его профессионализм.
- ¹⁷ *Письмо от Кунца и Ветцеля* — Г., очевидно, интересовался мнением Ветцеля о его «берлинской сказке» («Приключения в новогоднюю ночь»), подобно тому как он просил Кунца сообщить ему мнение Ветцеля о «дрезденской сказке» («Золотой горшок»).
- ¹⁸ *... письмо с рукописью Кунцу...* — очевидно, Г. имеет в виду или «Аттестат Иоганна Крейсера» или «Музыкально-поэтический клуб Крейсера». Обе вещи напечатаны в I т. «Фантазий» весной 1815 г. Возможно, к письму была приложена и акварель Г., изображающая Иоганна Крейсера в шляфроке возле открытого фортепиано, где на пюпитре стояла партитура «Ундины» (подписана «Эразмус Шпикер»).
- ¹⁹ *... к Фуке — с рассказом*. — Г. сообщает Фуке, что переслал Брюлю текст «Ундины» и выражает надежду, что теперь все пойдет быстрее, а если эти надежды не осуществляются, то это будет только его вина. Одновременно он пересылает рассказ «Фермата», который они совместно с Фуке предназначили для издания «Дамской карманной книги».

МАРТ

- ¹ *Гейн (Геун) Карл (1771—1854)* — надворный советник; под псевдонимом Х. Клаурен редактировал карманную книгу «Незабудка».
- ² *Усердно работал над «Артусовым двором»*. — Артус — король Артур, повелитель рыцарей Круглого Стола. Уже 6 марта Г. пересылает рукопись редакции «Урании». Впервые рассказ напечатан осенью 1816 г. в «Урании на 1817 год» Брокгауза.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Э. Т. А. ГОФМАНА

- 1776,
24 января В Кенигсберге у адвоката Кристофа Людвиг Гофмана и его жены Луизы Альбертины (урожд. Дерфер) родился третий сын, Эрнст Теодор Вильгельм.
- 1778 После того как супруги Гофман разошлись, маленький Эрнст Теодор вместе с матерью переселяются в дом Дерферов, где его воспитателем и опекуном становится дядя Отто Вильгельм Дерфер.
- 1782 Г. поступает в лютеранскую школу Стефана Ванновского и занимается дома музыкой сначала с дядей Отто, а затем с органистом Кристианом Вильгельмом Подбельским, а также берет уроки рисования у художника Иоганна Готлиба Земана.
- 1792,
27 марта Г. поступает на юридический факультет Кенигсбергского университета; одновременно он дает уроки музыки.
- 1794 Первые попытки сочинять — сборник афоризмов «Мысли о многом».
- 1795,
весна
27 августа Г. заканчивает курс в университете.
- октябрь Г. получает назначение на место следователя государственного суда в Кенигсберге.
- «—» «Judex ille», мотет на текст из «Фауста» Гете.
- 1796,
13 марта Смерть матери Г. Луизы Альбертины.
- июнь Г. уезжает в Глогау (Глогув), где живет в семье дяди Иоганна Людвиг Дерфера и служит следователем судебной палаты.
- 1797,
27 апреля Смерть отца Г. Кристофа Людвиг Гофмана.
- 1798,
январь Обручение Г. с кузиной Минной Дерфер.
- 20 июня Г. выдерживает экзамен на звание референдария.
- 4 августа Г. получает назначение в Берлин в качестве референдария государственного суда.
- 1799, март «Маска», зингшпиль,

- 1800,
27 марта Г. выдерживает экзамен на звание ассессора.
- лето Г. получает назначение в Познань, где служит ассессором государственного суда.
- осень «Шутка, хитрость и месть», зингшпиль на слова Гете.
- 1802,
21 февраля Г. получает звание государственного советника, однако сразу же после того, как на масленичных празднествах были распространены карикатуры на видных граждан города и представителей администрации, которые рисовал Г., ведется расследование.
- апрель Г. получает извещение о его перемещении в Плоцк; он разрывает помолвку с Минной Дерфер.
- 26 июля Г. женится в Познани на Михалине Рорер-Тщиньской.
- август Молодые супруги Гофман уезжают в Плоцк.
- 1803 Месса (для норбертинок).
- первая
половина
года Большая фантазия для фортепиано.
- август Статья «Письмо монаха своему столичному другу». Впервые напечатана в «Независимом» 9 сентября 1803 г.
- август—
сентябрь «Награда», комедия, написанная на конкурс.
- ноябрь Соната As-dur для фортепиано.
- декабрь Г. принимает предложение о перемещении в Варшаву.
- 1804,
апрель Отъезд Г. с женой и племянницей Михалиной Готвальд в Варшаву.
- декабрь «Веселые музыканты», зингшпиль на текст Брентано. Постановка в апреле 1805 г.
- 1804—
1805 Музыка к трагедии Э. Вернера «Крест над Балтикой»
- 31 мая Основание в Варшаве «Музыкального общества», в котором Г. является вице-председателем, секретарем и библиотекарем.
- 1805,
июль Missa solemne d-moll для солистов и оркестра.
- июль Рождение дочери Г. Цецилии.
- сентябрь «Непрошенные гости, или Каноник из Милана», зингшпиль.
- 1806 Окончание симфонии Es-dur.
- 3 августа Концерт при открытии «Музыкального общества», Г. впервые выступает в качестве дирижера.
- 28 ноября Наполеоновские войска вступают в Варшаву. Роспуск прусской администрации. Г. теряет место чиновника.

- 1807,
январь Михалина Г. с племянницей и дочерью уезжает к родным в Познань. Г. остается в Варшаве один.
- июнь Г. уезжает из Варшавы.
- 18 июня Г. приезжает в Берлин и пытается там просуществовать своим искусством.
- август Тяжелая болезнь Михалины Г. и смерть маленькой Цецилии.
- 1807—
1808 «Любовь и ревность», опера на текст пьесы Кальдерона «Цветок и ревязь».
- 1808,
февраль «Напиток бессмертия», опера на текст Юлиуса Содена.
- апрель—
май Г. получает предложение занять место капельмейстера в бамбергском театре.
- 9 июня Г. уезжает из Берлина в Глогау, где гостит у своего друга Хампе.
- 1 сентября Г. вместе с женой приезжают в Бамберг.
- 1808,
осень—
1809,
зима «Кавалер Глюк». Впервые напечатан во *ВМГ* 15 февраля 1809 г.
- 1809,
июнь—
сентябрь «Дирна», опера на текст Содена. Исполнена 11 октября 1809 г. в Бамберге.
- 1810, лето «Музыкальные страдания капельмейстера Крейсlera». Впервые напечатаны во *ВМГ* 26 сентября 1810 г.
- 1811,
февраль—
1812, зима «Аврора и Кефал», опера на текст Франца Гольбейна.
- 1811,
апрель—
май Работа над фресками готической башни в Альтенбурге.
- 1812, лето Задумана опера «Унди́на».
- 1813,
14 февраля Начало работы над «Ундиной».
- 18 марта Г. подписывает первый контракт на издание своих литературных произведений («Фантазии в манере Калло»).
- 21 апреля Г. с женой уезжают из Бамберга.
- 25 апреля Прибытие в Дрезден.
- 20 мая—
23 мая Г. с женой уезжают из Дрездена в Лейпциг, где Г. начинает свою работу в труппе Иозефа Секонды.
- 24—25
июня Отъезд из Дрездена в Лейпциг в связи с военным положением.
- 15 июля Г. получает первую корректуру «Фантазий».
- 1813,
август—
1814, март «Золотой горшок». Впервые напечатан в 3 т. «Фантазий» осенью 1814 г.

- 1813, 10 декабря Отъезд из Дрездена в Лейпциг.
- 1814, 26 февраля Г. получает извещение от Секонды, что ему отказано от места в его труппе.
- 1814, март—1815, лето «Эликсиры сатаны». Впервые напечатаны весной 1816 г.
- 1814, 24—26 сентября Отъезд Г. с его женой из Лейпцига в Берлин.
- 1 октября Начало служебной деятельности Г. в министерстве юстиции и государственном суде.
- 1815, 24 февраля Партитура «Ундины» послана интенданту королевских театров графу Брюлю для подготовки к постановке.
- ноябрь «Песочный человек». Впервые напечатан в конце 1816 г.
- 1816, лето «Щелкунчик и мышинный король». Впервые напечатан в конце 1816 г.
- 3 августа Первое представление «Ундины».
- сентябрь «Советник Креспель». Впервые напечатан в конце 1816 г.
- 1817 «Майорат». Впервые напечатан в «Ночных рассказах» осенью 1817 г.
- 17 июля Пожар королевского театра в Берлине.
- 1818, март—ноябрь «Мадемуазель де Скюдери». Впервые напечатана осенью 1818 г.
- 1818, февраль—зима 1819 «Крошка Цахес». Впервые напечатан в начале января 1819 г.
- 1818, февраль—зима 1819 «Серапионовы братья». Впервые напечатаны: 1 т. — весна 1819 г., 2 т. — осень 1819 г., 3 т. — осень 1820 г., 4 т. — весна 1821 г.
- 1819, начало года—лето «Житейские воззрения кота Мурра», I т. Впервые напечатаны осенью или в начале зимы 1819 г.
- 1 октября Г. назначен членом комиссии по расследованию политических преступлений.
- ноябрь Г. добивается освобождения арестованного Георга Редигера.
- 1820, 23 марта Г. получает благодарственное письмо от Бетховена.
- лето «Принцесса Брамбилла». Впервые напечатана в ноябре 1820 г.
- август (?) Г. составляет доклад, согласно которому должен быть освобожден Людвиг фон Мюленфельз, арестованный в 1819 г. Директор полиции фон Кампц возражает.
- сентябрь—ноябрь «Житейские воззрения кота Мурра», II т. Впервые напечатаны в декабре 1821 г.

- 1821,
конец
августа— «Повелитель блох».
1822,
1 марта
- 1821, 1 октября Назначение Г. членом высшего апелляционного сената при государственном суде в Берлине.
- 1822, конец января Прусское правительство конфискует рукопись «Повелителя блох» во Франкфурте-на-Майне.
- 23 февраля Допрос Г. в связи с делом о запрещении издания «Повелителя блох»; по специальному приказу короля к протоколу прилагается медицинское свидетельство о тяжелом состоянии Г.
- апрель Выход в свет «Повелителя блох».
- 14 апреля Г. заканчивает «Угловое окно».
- 25 июня Смерть Гофмана.

СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Э. Т. А. ГОФМАНА

I. МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

А. Оригинальные сочинения

- * «Claudine von Villa Bella» на текст Гете (замысел).
- «Маска», зингшпиль в 2 картинах, текст автора.
- * «Ренегат», зингшпиль в 2 картинах, текст автора, незакончен.
- * «Веселые музыканты», зингшпиль в 2 актах, текст К. Brentano.
- * «Непрощенные гости, или Каноник из Милана», комический зингшпиль в 1 акте, текст И. Романа по пьесе Дювала.
- «Любовь и ревность» («Шипы и цветы»), зингшпиль в 3 картинах, текст автора по пьесе Кальдерона «Цветок и перевязь» по переводу Шлегеля.
- * «Фауст», опера, замысел.
- «Напиток бессмертия», романтическая опера в 4 актах, текст Ю. фон Содена.
- «Арлекин», балет на сюжет Макко.
- * Зингшпиль на текст Ф. Рохлица, замысел.
- «Аврора», большая романтическая опера в 3 картинах, текст Ф. Гольбейна.
- * «Ундина», волшебная опера в 3 картинах, текст Ф. де ла Мотт Фуке.
- «Любовники после смерти», опера в 3 картинах, текст Контессы, сочинена, но не написана.

Б. Музыка к постановкам

- * «Иосиф в Египте», текст Ю. фон Содена, мелодрама, замысел.
- «Дирна», мелодрама в 3 картинах Ю. фон Содена.
- «Крест над Балтикой», музыка к I части («Брачная ночь») трагедии Э. Вернера.
- * «Ванда, королева сарматов», романтическая трагедия Э. Вернера, замысел.
- * Паломница», пролог.
- «Свидание» («Wiedersehen»), пролог.
- «Юлий Сабин», музыка к пьесе Ю. фон Содена.
- «Тасилло», музыка к пьесе Ф. де ла Мотт Фуке (1-я и 2-я редакции).
- * «Обет», музыка к одноактной аллегории Куно.

¹ Звездочкой обозначены произведения, которые не сохранились.

II. ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

А. Духовная музыка

- Месса d-moll для 4 солистов и оркестра.
* Месса для 2 сопрано, 2 скрипок и органа.
* Мотеты для 4-голосного хора а capella: «Ave Maria»; «Salve regina».

Четырехголосные хоры «La Santa Vergine» («Ave maris stella», «O sanctissima», «Salve, regina»).

6 Canzoni per 4 voci a capella («Ave maris stella», «De profundis», «Gloria Patri», «Salve Redemptor», «O Sanctissima», «Salve, regina»).

«Misereere», для солистов, 4-голосного хора и оркестра.

Б. Светские хоровые произведения

- * Мотет «Judex ille» из «Фауста» Гете (сцена в соборе) с оркестром и органом, незакончено.
* Кантата в честь празднования Нового года для солистов, хора и оркестра (?), текст И. Л. Шварца.
* Гимн без текста.
* Ночная песня (серенада Голо) из пьесы «Голо и Геновева» Ф. Мюллера для 4-голосного мужского хора а capella.
* Гимн для певческой академии Дрейсига в Дрездене.
* Четырехголосный канон «Schwer ist die Kunst und kurz das Leben».
* Шесть (или семь) хоров для юношеских хоровых кружков в Берлине.

В. Немецкие и итальянские песни и канцонетты

- * Шесть немецких песен для голоса в сопровождении ф. п. и гитары.
* Канцонетты для одного или нескольких голосов в сопровождении ф. п. на итальянские и немецкие тексты (шесть).
* Песня. Текст Ф. Рохлица.

Шесть итальянских дуэтинно для сопрано и тенора с сопровождением ф. п.

«O nime, che quest'anima» для сопрано соло, 2-х теноров и баса.

Г. Инструментальные произведения

а. Симфонические произведения

Симфония Es-dur.

«Битва под Лейпцигом» (музыкальная картина) (под псевдонимом Арнульф Фольвейер).

б. Камерные ансамбли

Квintет для 2 скрипок, альта, виолончели и арфы (или ф. п.) c-moll.

- * Фортепианный квintет D-dur.

Большое трио для скрипки, виолончели и ф. п. E-dur.

- * Несколько фортепианных трио (замысел).

в. Фортепианная музыка

* Маленькие рондо.

* Фантазия c-moll.

* Соната A \sharp -dur.

* Соната (замысел).

* Соната b-moll.

Сонаты (f-moll, f-dur, f-moll, cis-moll).

Соната A-dur.

Фортепианные переложения Четвертой и Шестой симфоний Бетховена (замысел).

* Фортепианное переложение увертюры «Кориолан» Бетховена (замысел).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

- Агриппа Неттесгеймский 542
— «О тайной философии» 542
Айценбергер Карл Готфрид 487, 493, 627
Александр I 524, 632, 637, 638
Алквиад 64, 597
Аллегри Грегорио 640
— «Miserege» 640
Альбрехт Карл Фридрих 440, 612
Амалия Луиза, герцогиня Баварская 582, 602
Амброш Иозеф Карл 537, 644
Апель Иоганн Август 532, 641
— «Книга призраков» 641
Ариосто Лодовико 123, 592, 593, 602, 608
— «Неистовый Роланд» 592, 593, 602, 608
Арним Ахим Людвиг 459, 579, 621
— «Галле и Иерусалим, студенческая пьеса и приключение пилигрима» 459, 621
Арпе Петер Фридрих 373, 608
— «О чудесных творениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами» 373, 608
Бабенберг Адальберт 567
Базедов Иоганн Бернгард 119, 601
Байо Пьер 628, 629
— «Школа игры на скрипке» (с Роде и Крейцером) 628, 629
Барбье Жюль 562
— «Сказки Гофмана» 562
Бартольди (Саломон) Якоб 505, 632
Басси Луиджи 596
Баумгартен Зигмунд Якоб 261, 606
Баумгартен Отто Натаниэль 445, 614
Баумгернер Адам Фридрих Готхельф 528, 529, 530, 531, 639, 641
Бах Иоганн Себастьян 30, 33, 45, 48, 49, 299, 547, 558, 585, 593, 598, 602
Бах Филипп Эммануил 80, 598
Бахман Вильгельм Людвиг 441, 442, 612
Бейер Карл Фридрих 438, 610, 612
Бейме Карл Фридрих 439, 611
Бейтлер Франц 483, 626
Бекинг Густав 546, 547
Беккер Вильгельм Готлиб 438, 611
— «Досуги» 438, 611
Беккер Балтазар 373, 608
— «Очарованный мир» 373, 608
Белинский В. Г. 554
Белитц Фридрих 435, 534, 610, 611
Беллер Луиза 628
Бенда Йиржи 80, 598
Беневоли Орацио 48, 596
Бенкович Карл Фридрих 610
— «Савонарола» 610
Беневски Морис 613
Бенелли Антонио Перегрини 409, 632
Бенер Людвиг 560, 561
— Фантазия ор. 48, 560
Бенингсен 519, 636
Берг Вильям Людвиг 442, 612
Бергер Людвиг 594
Бертг Август 521, 524, 629, 636
— «Христос, возвеличенный страданиями» 521, 524, 629, 636
Бердиоз Гектор 555
— «Бенвенуто Челлини» 555
— «Фантастическая симфония» 555
Бернадотт Жан Батист (Карл XIV Юхан) 635
Бертье Луи Александр 581, 582
Бертольд (Константин Анклитцен) 143, 603
Бертон Анри Монтан 616
— «Алина, королева Голконды» 616
Берхем Клаас Питер 217, 605
Бетман Фредерика Августа 9, 592
Бетховен Людвиг ван 35, 41—44, 47, 153, 202, 455, 485, 491, 500, 507, 511, 547, 548, 557, 558, 566, 575, 577, 585,

* Указатель составлен О. К. Логиновой.

- 594, 595, 597, 603, 618, 619, 626, 627, 629, 630, 633, 634
 — «Лунная соната» 558, 595, 597
 — Месса C-dur, op. 86, 495, 507, 577, 629, 633
 — Музыка к «Эгмонту» 511, 577, 634
 — «Победа Веллингтона, или Битва при Виттории» 595
 — Пятая симфония 44, 566, 577, 618, 619
 — Соната As-dur 597, 626
 — Трио op. 70 45, 485, 491, 500, 501, 577, 627, 630
 — Увертюра к «Кориолану» 485, 577, 626
 — «Фантазия для ф. п. op. 80, 577
 — «Христос на горе Елеонской» 577
 — Четвертая симфония 577
 — Шестая симфония 618, 619
 Бирей Готлоб Бенедикт 451, 617
 Бляз Анри 555
 Богарне Евгений 633
 Богуславский Войцех 547
 Боден Карл 468, 624
 Бонавери Паоло 505, 632
 Бонитас Карл Филипп 449, 450, 616
 Боткин В. П. 554
 Брандт Луи 498, 629
 Браузеветтер Вильгельм 479, 625, 630, 637
 Браун Карл Антон Филипп 507, 629, 633
 — Симфония № 4 576, 633
 — Симфония d-moll 629
 Брейткопф и Гертель см. Гертель
 Брентано Клеменс 547, 605, 621
 — «Понсе де Леон» 605
 Брокгауз Фридрих Арнольд 642
 Брюль Карл 536, 537, 644
 Бузони Ферруччо Бенвенутто 563
 — «Выбор невесты» 563
 — «Доктор Фауст» 563
 Булгаков М. А. 6, 553
 Бургер Иоганн Баптист 488, 627
 Бурмейстер Фридрих 531, 640
 Бухвизер Катинка 504, 632
 Вагнер Адольф 524, 529—532, 637
 Вагнер Рихард 552, 553, 633, 637
 — «Тристан и Изольда» 552
 Вагнер Фридрих 511, 633
 Вакенродер Вильгельм Генрих 593
 — «Удивительная музыкальная жизнь композитора Йозефа Берлингера» 593
 Вальтер Р. 476
 Вандам Доминик Жозеф 515, 635
 Ванновский Стефан 543
 Вармут Каспар 630, 643
 Вармут Маргарита 502, 630
 Вебер Бернард Ансельм 547, 615, 624
 — «Аттила, король гуннов» (хоры) 624
 Вебер Карл Мария 465, 552, 577, 622, 625, 629, 635
 — «Сильвана» 515—517, 535
 — «Фрейшютц» 552, 561, 577, 641
 Вейгль Йозеф 602, 620, 628
 — «Сиротский приют» 494, 620, 628
 — «Швейцарская семья» 522, 524, 602, 637
 Вейраух Викторина 458, 620
 Вейс (Вейсе) 46, 470, 473, 475, 477—480, 487, 489—491, 493, 495, 499, 500, 624
 Вейс (Грейс) 444, 445, 613
 Вейт Филипп 533, 642
 Веневитинов Д. 633
 Вергилий Публий Марон 602
 — «Энеида» 602
 Вернер Фридрих Людвиг Захария 454, 550, 551, 578, 614, 618, 624, 634
 — «Аттила, король гуннов» 468, 624
 — «Крест над Балтикой» 550, 551, 634
 Вернье (Вернье-Фишер) Йозефа 534, 643
 Вестерман Г. 546
 Ветцель Карл Фридрих 499, 500, 537, 630, 644
 Виглеб Иоганн Кристиан 434, 581, 610
 — «Магия» 434, 581, 610
 Вильгельм, герцог Баварский 575, 581, 582, 602
 Вильмс Ян Виллем 507, 629, 633
 — «Симфония с-moll op. 23 506, 629, 633
 Вингольт Арнольд 305, 607
 Винкель Тереза 519, 636
 Винтер Петер 594, 619, 620, 622, 636
 — «Армида и Ринальдо» 619
 — «Мария фон Монтальбан» 516, 517, 636
 — «Прерванный праздник жертвоприношения» 465, 466, 594, 622
 — «Тимотео» 620
 Винценти Карл 497, 629
 Виотти Джованни Батиста 618
 Витт Фридрих 452, 617
 — Симфония № 5 D-dur 452
 — «Симфония № 6 a-moll (Sinfonie turque) 452
 Витте Карл Генрих Готфрид 603
 Витте Карл Генрих (сын) 603
 Воланк Фридрих 535, 643
 Вольтер Франсуа Мари Аруэ 445, 579, 612
 — «Кандид» 441, 579, 612

- Вольф Эрнст Вильгельм 80, 598
 — «Поликсена» 598
 Вольфарт Карл 535
 Вольцоген Ганс 553
 Враницкий Пауль 510, 633
 — «Оберон, король эльфов» 510, 511, 633
 Гайдн Франц Иозеф 42, 43, 421, 436, 437, 443, 454, 547, 548, 575, 585, 603, 611, 615, 624
 — «Времена года» 153, 421, 603
 — Квартет ор. 33, № 3 611
 — Месса G-dur 611
 Галль Франц Иозеф 211, 605
 Гаманн Иоганн Георг 212, 542, 605
 Гамильтон Александр 609
 Гарденберг Карл Август 506, 632
 Гарих Вальтер 588, 591, 602
 Гебхардт Иозеф Антон 456, 617
 Гезер Шарлотта Генриетта 36
 Гемминген Отто Генрих 340, 608
 — «Немецкий отец семейства» 340, 608
 Гейн (Геун) Карл (Клаурен Х.) 537, 644
 Гейне Генрих 541
 — «Двойник» 541
 Гекинг Леопольд Фридрих 607
 — «Застольная песня» 607
 Гендель Георг Фридрих 437, 607
 Гербер Эрнст Людвиг 86, 171, 599, 604
 — «Историко-биографический словарь музыкального искусства» 599, 604
 Герр Фридрих 535, 543
 Гертель Готфрид 450—453, 456—458, 492, 495, 498, 507, 508, 510, 511, 523, 524, 534, 616—618, 620, 627—629, 632—634, 637, 640, 641, 643
 Герц 472, 517, 624
 Герцен А. И. 6
 Герштекер Фридрих 524, 637
 Гете Иоганн Вольфганг 88, 118, 460, 495, 544, 545, 553, 579, 594, 599, 601, 603, 606, 608, 612, 624
 — «Вечерняя песня охотника» 606
 — «Гец фон Берлихинген» 87
 — «Годы учения Вильгельма Мейстера» 606
 — «Из моей жизни. Поэзия и правда» 88, 495, 599
 — «Фауст» 545, 553, 608
 — «Claudina von Villa Bella» 603
 Гильдебрандт Иоганн Фердинанд 434, 435, 440—443, 610
 Гиммель Фридрих Генрих 592, 594, 616
 — «Фаншон, шарманщица» 449, 458, 525, 527, 592, 616
 — «Немецкие песни» 594
 Гиппель Теодор (дядя) 137, 543, 602
 — «О браке» 602
 Гиппель Теодор (племянник) 64, 435, 440, 444—446, 505, 531, 532, 543, 544, 546, 548, 551, 573, 593, 610, 613, 614, 632, 641
 Гирш 460, 615
 Глюк Кристофор Виллибальд 14, 16, 34, 51, 52, 84, 87, 88, 91, 202, 548, 555, 556, 576, 585, 592, 594, 596, 599, 605, 633
 — «Альцеста» 15
 — «Армида» 14—16, 34, 52, 153, 457, 555, 594
 — «Ифигения в Авлиде» 10, 14, 51, 202, 555, 576, 592, 605
 — «Ифигения в Тавриде» 11, 14, 508, 555, 592, 633
 — «Орфей» 15
 Гоголь Н. В. 6
 Големба А. С. 437, 623
 Гольбейн Ганс 516, 579, 635
 — «Мадонна» 516, 635
 Гольбейн Франц Игнац 460—475, 481, 486, 498, 500, 567, 583, 621—624, 626, 630, 631
 — «Убор невесты» 463, 622
 — «Фридолин» 622
 Гольдбек унд Рейнхардт Генрих Юлиус 438, 611
 Гольдберг Иоганн Георг 593
 Гораций Квинт Флакк 595, 603, 609, 629
 — «Искусство поэзии» 595
 — «Оды» 609
 — «Песни» 610, 629
 Горн Франц 534, 643
 Госсек Франсуа Жозеф 614
 — «Аталия» (хоры) 614
 Готвальд Михалина 611
 Готвальд (ур. Рорер) Элизабет Урсула Катарина 438, 610, 611
 Готвальд 610
 Готтер Фридрих Вильгельм 601
 — «Остров духов» 601
 Готье Теофиль 555
 Гофман (ур. Рорер-Тшцинская) Мария Текла Михалина 545, 562, 567, 572, 588, 589, 610, 622, 627
 Гофман Цецилия 551, 630
 Гоцци Карло 225, 249, 312, 605, 607
 — «Счастливые нищие» 312, 607
 Грпель Иоганн Герхардт 476, 484, 488, 489, 491, 497, 569, 583, 584, 587, 625, 628, 630
 Гретри Андре Эрнест Модест 636
 — «Земира и Азор» 517, 519, 521, 636

- Гризи Аттилио 446, 615
 Гров Джордж 560
 Гропиус Вильгельм 533, 642
 Губер Леопольд 623
 — «Звездная девушка» 467, 623
 Гумбольд Вильгельм 534, 642, 643
 Гюсбахер Казимир Иозеф 450, 456, 616
- Давидсон Вольф 305, 607
 Даву. Луи Никола 519, 636
 Далейрак Никола 508, 633
 — «Черный замок» («Леон, или Замок Монтенегро») 508, 633
 Данте Алигьери 553—555, 568
 — «Ад» 555
 — «Божественная Комедия» 555
 Дарю Пьер Антуан 549
 Деббеллин Карл 458, 545, 547, 620
 Дворжак Антонин 552
 — «Русалка» 552
 Дейч Ксавер 457, 619, 620
 Делла Мария Пьер Антуан Доминик 535, 635, 643
 — «Пленник» 516, 635
 Дент Эдуард 563
 Дерфер Вильгельмина (Минна) 623
 Дерфер Иоганн Людвиг 587, 604, 609, 618
 Дерфер Иоганна София Генриетта 454, 457, 612, 618, 619
 Дерфер Отто Вильгельм 568, 604, 609, 612, 623, 625
 Дерфер Шарлотта Вильгельмина 598, 603
 Дерфер Эрнст Людвиг Гартманн 595, 609
 Дидерикс Кристоф Леопольд 532, 535, 641
 Дидро Дени 594, 608
 — «Отец семейства» 608
 — «Жак Фаталист» 608
 Диттмейер Антон 453, 461, 469, 470, 474, 480, 486, 487, 490, 491, 493, 497, 498, 503, 504, 617
 Диттерсдорф Карл 613, 620, 636
 — «Красная Шапочка» 443, 613
 — «Скупец Иероним» 517, 528, 636
 Дольчи Карло 516, 583, 635
 — «Святая Цецилия» 516, 635
 Дорн, мадам 443, 613
 Дрейсиг Антон 507, 518, 519, 633
 Душек Франтишек Ксавер 596
 Дюммлер Фердинанд 99, 600
 Дюпор Луи 74, 598
 Дюрер Альбрехт 579, 635
 Дюрмейер 488, 627
- Екатерина II 613
 Елизавета Алексеевна, императрица 638
- Жюно Андош, герцог д'Абрантес 455, 619
 Зейме Иоганн Готфрид 605
 — «Прогулка в Сиракузы» 605
 Зейфрид Иозеф 623
 — «Саул, царь Израиля» 623
 Зеллигман Эдуард 485—488, 494, 496, 497, 533, 626, 642
 Зильберман Иоганн Андреас 300, 607
 Зимрок Николай 483, 486, 626, 628
- Иек Иоахим 583
 Иелинек Иозеф 594
 Изуар Никола 624
 — «Золушка» 473, 509—511, 624
 Иировец (Гировец) Войтех 627, 628, 635
 — «Глазной врач» 516, 627, 628, 635
 Иомелли Никколо 602
 — «Miserege» 602
 Иордан Карл Людвиг 534, 643
 Иффланд Август Вильгельм 511, 550, 561, 578, 604, 633
 — «Игрок» 462
- Калиостро Александр (Джузеппе Бальзамо) 230, 605
 Кальдерон де ла Барка Педро 118, 163, 601, 617, 619, 624
 — «Дон Фернандо, стойкий в вере принц» 627
 — «Мост Мантибля» 455, 578, 619, 627
 — «Поклонение кресту» 469, 499, 624, 627
 — «Цветок и перевязь» 578, 617
 Камптц Генрих 561
 Канитц Александр 611
 Кант Иммануил 542, 543, 613
 Карл V 543, 596
 Каролина, принцесса Баварская 581, 615
 Карре Мишель 562
 — «Сказки Гофмана» 562
 Кастелли Игнац Франц 624, 637
 — «Родерик и Кунигунда» 468, 624
 Каспарини (Каспар) Евгений 189, 604
 Кайфман Анжелика 444, 613
 Кауфман Иоганн Готфрид 636
 Кауфман Фридрих 518, 636
 Кауэр(ин) Анна (Наннетта) 527, 638
 Кауэр Фердинанд 623
 Квандт Даниель Готлиб 452, 454, 455, 459, 617, 619
 Келлер Август 515—518, 520, 522—527, 531, 635

- Кель Магдалена 464, 465, 470, 474, 622, 625
 Кемпелен Вольфганг 234, 606
 Керубини Карло Мария Луиджи 634, 637
 — «Водонос» 85, 450, 511, 518, 520, 523, 525, 527, 616
 — «Лодоиска» 513, 634
 — «Фаниска» 513, 516, 517, 521, 523—525, 527, 548, 599, 616, 634, 637, 638
 Кехель Людвиг 595
 Кирхейзен Фридрих Леопольд 531, 641
 Кирхгейм 440, 612
 Клатцовски 626
 Клейн Георг 583
 Клейст Генрих 551, 567, 578, 587, 621, 643
 — «Кетхен из Гейльброна» 472, 551, 587, 621
 Клингеман Август 624
 — «Генрих фон Вольфеншисен» 469, 624
 — «Открытие Америки» 470, 624
 Клуге Карл Александр 227, 305, 605, 606, 607
 Клуг (Клуге) Карл Фридрих Густав 528, 639
 Книгге Адольф Франц 121, 411, 601
 — «Об обхождении с людьми» 121, 601
 Конради (Кунради) Трауготт Амандус 505, 632
 Контесса Карл Вильгельм Салис 533—535, 642
 Корелли Арканджело 34, 594
 Корнель Пьер 213, 605
 Коррадини 521, 636
 Корреджо (Аллегри Антонио) 444, 610, 613
 — «Христос и Магдалина» 444, 613
 Котта Иоганн Фридрих 531, 640
 Котуньо Доменико 232, 606
 Кох Генрих Кристоф 170, 604
 — «Музыкальный лексикон» 170, 604
 Коцебу Август Фридрих 448, 565, 566, 578, 596, 606, 611, 613, 615, 616, 629, 633
 — «Гуситы под Наумбургом в 1432 году» 629
 — «Дон Ранудо де Колибрадос» 443, 613
 — «Жанна де Монфоко» 596
 — «Жрица солнца» 444, 613
 — «Испанцы в Перу, или Смерть Роллы» 450, 616
 — «Крестоносец» 510, 633
 — «Привидение» 448, 566, 615
 — «Бедный поэт» 606
 Краловский Фридрих 531, 640
 Крамер Вильгельм 446, 450, 533, 537, 614, 642
 Крамер Карл Готлиб 437, 579, 611
 — «Немецкий Алкивиад» 437, 611
 — «Порочный Юлиус» 437, 611
 Крамер, мадам 508, 511, 633
 Кратцер, мадам 457, 461—463, 501, 503, 619
 Кратцер Отто 582
 Крейц, мадемуазель 457, 619
 Крейцер Родольф 618, 628, 629
 — «Школа игры на скрипке» (с Байо и Роде) 628, 629
 Кречман 454, 618
 Крешентини Джироламо 35, 36, 584, 627
 — «Ombra adorata» 35, 36, 584, 585, 627
 Куглер Франц 562
 Кульман 548
 Куниспергер (Иоганн Меллер) Иоганн (Региомонтанус) 237, 606
 Куно Генрих 445, 448, 450, 452, 614, 616, 617
 Куно, мадам 448
 Куно Вильгельмина 471, 474, 477, 478, 480, 488, 489, 490, 492, 504, 590, 622, 628
 Куно Карл Фридрих 452, 455, 458—484, 486—504, 506, 509, 512, 513, 515, 524, 525, 529—531, 533, 570, 572, 593, 599, 617, 622, 624, 628—630, 634, 635, 637—639, 643, 644
 Куно Цецилия 630
 Куно Эмилия 628
 Кунце Вильгельм Фридрих 531, 640
 Кунцен Фридрих Людвиг
 — «Праздник сборщиков винограда» 516, 523, 526, 635
 Курас Гильмар 122, 601
 — «Calligraphia Regia» 601
 Кун Иозеф Каспар 450, 456, 616
 Кутузов М. И. 636
 Кюн Иоганн Фридрих Август 442, 443, 612
 Ланге Генрих Фридрих 440, 442, 612
 Лархер, мадам 482
 Лаун Фридрих (Фридрих Август Шульце) 516, 518, 520, 635
 Лафатер Иоганн Каспар 598
 Лебрен Людвиг Август 86, 599
 Леви (ур. Итциг) Сара 533, 534, 642
 Лейбниц Готфрид Вильгельм 607
 Лейкамп Антон 491
 Лейст Пауль 498, 629
 Ленотр Андре 151, 603
 Лентц Генрих 548

- Лео Карл Фридрих 451, 502, 503, 617, 622, 631
 Леонардо да Винчи 427
 Лесаж Ален Рене 606
 — «Хромой бес» 606
 Лессель Франтишек 638
 — Увертюра С-dur, op. 10, 638
 Лессинг Ефраим 601
 — «Минна фон Барнхельм» 601
 Линденберг 443, 613
 Линден Густав (Штейн Карл) 637
 — «День в столице» 522, 525, 637
 Линднер Тереза 473
 Лисков Кристиан Людвиг 604
 Лисса Зофья 549
 Лист Ференц 592
 Лихтенау Вильгельмина 621
 Лихтенберг Георг Христоф 212, 594, 603
 Лихтенштейн Мартин Генрих Карл 476, 625
 Лобау Жорж Мутон 521, 636
 Лобковиц Франц Иозеф 625
 Локатели Пьетро Антонио 435, 610
 Лорbeer Франц Христоф 481—496, 501, 503
 Лористон Жак Александр 520, 636
 Лоррен Клод 217, 605
 Лютцов Адольф 511, 633

 Маккавейский В. 556
 Макко Карл 614
 Малатеста Джанчотто 553
 Мальман Зигфрид Август 528, 531, 613, 639, 640
 Мансо Иоганн Каспар Фридрих 240, 606
 — «Искусство любить» 240, 606
 Мара Гертруда Элизабет 435, 610
 Марк Вильгельмина (Минхен) 460, 461, 471, 479, 615, 619, 622
 Марк Луи 588
 Марк Мориц 475, 615, 619, 622, 625
 Марк Филипп 615
 Марк Франциска (Фанни) 446, 448, 449, 451, 453, 455—457, 459—492, 497, 502, 504, 567, 570, 579, 583, 602, 615, 617, 621, 623, 628, 630
 Марк Юлиана Элеонора (Юльхен) 453, 460, 469, 471—477, 479, 480, 486, 489, 491, 496, 497, 542, 551, 552, 559, 566, 568, 570, 572, 575, 579, 583, 584, 587—590, 593, 594, 597, 601, 615, 619, 621, 622, 623—626, 628, 631
 Маркетти Мария (Фантоцци) 434, 610
 Маркс Иозеф Матерн 446, 615
 Маркузе (Гедике) Элизабет (Бетти) 532, 642
 Маркузе ((Ланчицолле) Юлия 532, 642
 Маркус Адальберт 476, 480—483, 486, 495, 497, 623—625, 629
 Мартин и Солер Висенте (Мартини Винченцо) 629
 — «Дерево Дианы» 522, 523—525, 629
 Марцелл II 608
 Мегюль Этьен Николя 491, 613, 620, 623, 627, 628, 636
 — «Выигранная карета» 443, 518, 523, 525, 513, 636
 — «Иосиф» 468—470, 623
 — «Кладонскатель» 458, 620
 — «Молодой Генрих» 627
 — «Охота молодого Генриха» (увертюра к опере «Молодой Генрих») 491, 627, 628
 Мейер (Рихтер) Вильгельмина 623
 Мейербер Джакомо (Якоб Либман Беер) 477, 577, 625
 — «Гугеноты» 577
 Мейстер Альберт Фридрих 230, 606
 — «О водяных органах древних» 230, 606
 Мендельсон Доротея 642
 Мендельсон-Бартольди Феликс 632
 Мерике Эдуард 6
 — «Моцарт на пути в Прагу» 6
 Месмер Франц Антон 233, 606
 Метастазιο Пьетро (Трапасси) 27, 593, 627
 Меценат 610
 Никеланджело Буонаротти 558
 Миллер Юлиус 508—511, 633, 638
 — «Казачий офицер» 526, 638
 Миримский И. В. 556
 Молитор, мадемуазель 455
 Мольер Жан Батист
 — «Мещанин во дворянстве» 620
 — «Мнимый больной» 620
 Моргенрот Франц Антон 450, 451, 457, 505—507, 509, 511, 518, 523, 616, 617, 633, 634, 637
 Мориц Карл Филипп 305, 607
 Мотт де ла Карл Август 622
 — «Ида Мюнстер» 465, 622
 Моцарт Иоганн Вольфганг Амадей 17, 23, 31, 41—43, 45, 49, 50, 88, 90, 91, 153, 202, 393, 437, 443, 493, 547—549, 552, 553, 558, 560, 570, 575, 585, 591, 593—596, 599, 603, 605, 606, 609, 613, 615, 618, 620, 626—628, 630, 633, 640
 — «Волшебная флейта» 519—521, 594, 606
 — «Дон Жуан» 14, 17, 22, 23, 34, 49, 50, 53, 87, 90, 153, 461, 511, 553, 562, 594—596, 599, 643

- «Женитьба Фигаро» 393, 510, 511, 627, 633
 — «Идоменей» 613, 443
 — «Немецкие танцы» 624
 — «Похищение из сераля» («Бельмонт и Констанца») 460, 464, 527, 528, 594, 615, 621
 — «Реквием» 493, 570, 575, 609, 268
 — Симфония Es-dur («Лебединая песнь») 42, 595
 — «Тит» («Милосердие Тита») 32, 501, 571, 594, 630
 — «Cosi fan tutte» («Так поступают все женщины») 451, 620, 626
 Мусоргский М. П. 557
 Мюллер Венцель 613, 635
 — «Старик Везде и Нигде» («Старик Везде-Нигде») 509, 443, 613
 — «Счастливчик» 516, 525, 635
 Мюллер Ганс фон 588, 589, 591
 Мюллер Карл Людвиг Метузалем 529, 639
 Мюллер Фридрих (Мюллер Живописец) 454, 618
 — «Геновева» 454, 618
 Мюнхаузен Фридрих 455, 618
 Мюрат Иоахим 582, 602, 636
 Наполеон 510, 513, 572, 582, 592, 626, 629, 634, 636
 Науман Иоганн Готлиб 505, 507, 632
 — Месса 505, 632
 — «Misereere» 507
 Негели Ганс Георг 30, 437, 440, 446, 447, 454, 457, 458, 546, 547, 551, 565, 594, 611, 614, 618, 619, 620
 Нейман 523, 525, 637
 Нейхерр Нанетта 468—473, 568, 624
 Нельсон Горацио 612
 Непот Корнелий 118, 601
 Низер, мадемуазель 495, 629
 Николай Густав 6
 — «Ненавистник музыки» 6
 Новалис (Гарденберг Фридрих) 85, 478, 541, 579, 595, 600
 — «Ученики в Саисе» 595, 598
 Ностиц Адольф 611
 — «Sfagrodion» 438, 611
 Нудов Генрих 305, 607
 Овербек Кристиан Адольф 595
 Овидий Назон 240—242, 606
 — «Лекарство от любви» 606
 — «Об искусстве любви» 240, 241, 606
 Одоевский В. Ф. 6
 — «Петербургские ночи» 6
 Опель 458, 459, 620
 Опитц Кристиан Вильгельм 511, 633
 Ориенталис Иосидор (Лебен Фердинанд Август) 603
 — «Листья лотоса» 603
 Орлов М. Ф. 640
 Отцель (Этцель) Франц Август 533, 534, 642
 Оффенбах Жан 562
 — «Сказки Гофмана» 562
 Павези Стефано 155, 603
 Палестрина Джованни Пьерлуиджи 421, 608
 Палладио (Андреа ди Пьетро) 313, 607
 Пастернак Б. Л. 551, 609
 Паэзиэлло Джованни 206, 207, 594, 596, 605, 608, 620, 636, 638
 — «Мельничиха» 207, 517, 518, 522, 524, 525, 594, 605, 608, 636
 — «Севильский цирюльник» 596
 Паэр Фердинандо 512, 572, 596, 618, 620, 624, 634
 — «Гризельда» 473, 624
 — «Камилла» 58, 450, 527, 528, 638
 — «Разбойники с большой дороги» 513, 517, 523, 527, 634
 — «Сарджино» 453, 509, 512, 566, 618
 — «Софонисба» 620
 — Увертюра № 4 638
 Перти Джакомо Антонио 48, 596
 Песталоцци Иоганн Генрих 119, 601
 Петрарка Франческо 373, 608
 — «Книга о вещах достопамятных» 373, 608
 Пивницкий фон 436
 Пискис Иоганн Петер 638
 — Симфония op. 5 C-dur 638
 Пий IV 592
 Пий, герцог Баварский 582, 602
 Пикар Луи Бенуа 411, 608
 Пиччини Никколо 52, 596, 599
 — «Дидона» 52
 Платон 597
 — «Пир» 597
 Плейель Игнац 436, 611
 Плутарх 118, 601
 Подбельский Христиан Вильгельм 542, 544
 Понятовский Юзеф 520, 636
 Прево д'Экзиль Антуан Франсуа 626
 — «Записки знатного человека» 626
 Пусткухен Антон Генрих 461, 621
 — «Хоралы» 461, 621
 Пушкин А. С. 6, 541, 543, 554
 — «Каменный гость» 541
 — «Моцарт и Сальери» 6

- Пучитта Винченцо 153, 155, 603
 Пфейфер Кристиан 445, 460, 489, 621
 Пфуль Эрнст 535, 643
- Рабле Франсуа 107, 607
 — «Гаргантюа» 607
 Райль Иоганн Хризостом 305, 607
 Рамо Жан Филипп 33, 54, 596
 Расин Жан 614
 — «Аталия» 614
 Раулино, мадам 499—501, 503
 Рафаэль 52, 610, 635
 Рейтер Йозеф 458, 486, 487, 620, 627
 Рейхенберг Август Фридрих 434—436, 442, 610
 Рейхардт Иоганн Фридрих 529, 639
 — Соната f-moll 529
 Рельштаб Людвиг 557
 Реннер Мария 461, 474, 482, 621
 Ренье Жан Луи Эбензер 520, 636
 Ригини Винченцо 473, 618
 Риль Иоганн Фридрих Генрих 445, 614
 Рим Фридрих Вильгельм 532, 641
 — «Двенадцать песен старых и новых поэтов» 641
 Римский-Корсаков Н. А. 597
 — «Для берегов отчизны дальней» 597
 — «Люблю тебя, месяц» 597
 Рит (Ридт) Фридрих Вильгельм 435
 Риттер Иоганн Вильгельм 600, 631
 Рихтер Жан Поль Фридрих 461, 466, 515, 601, 606, 621—623, 634, 635, 639
 — «Биографические забавы под черепом некоей великанши» 601
 — «Доктор Катценбергер» 460, 621
 — «Путешествие фельдкурата Шмельцле во Флатц» 464, 622
 — «Титан» 606
 Роде (Род) Жак Пьер Жозеф 34, 594, 618, 628, 629
 — «Школа игры на скрипке» (с Байо и Крейцером) 594, 628, 629
 Ромберг Андреас Якоб 459, 534, 619, 620
 — «Pater noster» 459, 619, 620
 Рорер (Тщиньский) Михаэль 611
 Россини Джакомо Антонио 153, 155, 603, 606
 — «Танкред» 606
 Ротенхан Доретта 446, 448, 451, 459, 461—486, 495—504, 579, 621
 Ротенхан Фредерика 471, 472, 479
 Рохлиц Иоганн Фридрих 446, 448, 449, 502, 503, 508—511, 524, 527—530, 532, 551, 577, 615, 616, 631, 637—641
- Руссо Жан Жак 173, 174, 411, 445, 579, 601, 604, 614
 — «Исповедь» 173, 411, 445, 579, 604, 614
- Савонарола Джироламо 434, 610
 Саккини Антонио Мария Гаспаро 86, 599, 643
 — «Эдип в Колоне» 87, 599, 643
 Сальери Антонио 591, 620, 636
 — «Шкатулка с секретом» 520—523, 636
 Сандрини (Каравалья) Луиджия 505, 632
 Сассаролли Филиппо 409, 632
 Секендорф Карл Август 449, 615
 Секонда Йозеф 502—504, 506—512, 515—517, 519, 522, 523, 527—530, 572, 573, 630—632, 635—640
 Секонда Франц 505, 632, 633, 640
 Сераковский Антон 441, 612
 Сервантес Мигель Сааведра 214, 605
 — «Дон Кихот» 470, 624
 Скотт Вальтер 555
 Словацкий Юлиуш 555, 613
 Соден Юлиус 446, 448, 449—451, 455, 457, 458, 550, 565, 566, 614, 615, 617—619
 — «Напиток бессмертия» 446, 448, 550, 614
 — «Дирна» 455, 619
 Сократ 64, 597
 Солье (Сулье) Жан Пьер 616, 635
 — «Тайна» 616, 635
 Спонтини Гаспаро 202, 632, 633, 643
 — «Весталка» 507, 509, 633
 — «Фердинанд Кортец» 506, 534, 632, 643
 Станислав Август 636
 Стерн Лоренс 601, 611
 — «Сентиментальное путешествие» 601, 611
 Сутов 468, 624
- Гартини Джузеппе 299, 607
 Тассо Торквато 123, 602
 — «Освобожденный Иерусалим» 602
 Теодори Филипп Адам 459, 461, 462, 464, 482—496, 499—501, 621
 Тидеман Дитрих 305, 607
 Тик Людвиг 623, 628, 630, 643
 — «Абрагам Тонелли» (Тунелли) 535, 643
 — «Безумный мир» 628
 — «Император Октавиан» 267, 607
 — «Кот в сапогах» 604
 — «Принц Зербино» 499, 500, 630
 — «Синья Борода» 267, 493, 579, 603, 604, 607

- Тиме 443, 613
Тит 594
Тишбейн Вильгельм 609
Тодт Теодор 533, 537, 642
Толстой Л. Н. 589
Траэтта Томмазо 81, 596
- Уден Вильгельм 534, 643
Уриг Дитер 559
- Фердинанд, эрцгерцог австрийский 566, 615
Феррари Анна 620
Фиораванти Валентино 155, 603, 619, 620, 622, 638
— «Деревенские певичы» 461, 622
— «*Virtuosi ambulanti*» 459, 525—527, 619, 620, 638
Фихте Иоганн Готлиб 592, 606
Фишер Вильгельм 638
Фишер Иозеф 534, 643
Флобер Гюстав 554, 557, 559
— «Искушение святого Антония» 557
— «Саламбо» 557
Фоглер Георг Иозеф 614
— «Аталия» (хоры) 445, 614
Фоке Иоганн Дитрих 434, 610
Фоппа Джузеппе Мария 625
Форкель Иоганн Николай 51, 596
— «Музыкально-критическая библиотека» 51, 596
Форстер Г. К. 493, 628
Фосс Юлиус 460, 621, 622
— «Жизненный путь художника» 463, 464, 622
Фракассини Альберт Людвиг 449, 615
Франклин Бенджамен 260, 606
Френцль Фердинанд 480, 626
Фридрих Август I 633
Фридрих Великий 200—201, 436
Фридрих Вильгельм I 435
Фридрих Вильгельм III 614, 632
Фридрих Вильгельм IV 562
Фридрих Иоганн Георг 504, 631
Фриз Кристоф 503, 631
Фрикен Эрнестина 560
Фриче (Фрич) Август 507, 633
Фуке де ла Мотт Фридрих 62, 64, 489, 495, 532, 534, 535, 536, 552, 571, 574, 596, 597, 627, 629, 639, 642, 644
— «Волшебное кольцо» 62, 597
— «Корона» 62
— «Икснон» 62, 597
— «Сигурд, губитель змей» 62, 596, 597
— «Ундина» 62, 489, 495, 497, 597, 627
— «Эгинхардт и Эмма» 639
- Фуке Каролина 643
— «Верность до смерти» 643
— «Праведные и неправедные пути Эдмунда» 643
Фукс Карл Генрих 448, 449
Фукс Мария Иоанна Фредерика 448, 452, 454, 456
- Хакебек 442
Хаккерт Якоб Филипп 217, 443, 605, 612
Хампе Иоганн Самюэль 435, 440, 442, 451, 592, 610, 617
Хассе Иоганн Адольф 81, 505, 598, 632
Хатт Дора (Кора) 566, 586, 613
Хатт Амалия (Мальхен) 444, 586, 613
Хиллер Иоганн Адам
— «Охота» 525
Хиндемит Пауль 562, 563
— «Кардильяк» 562, 563
Хитциг Юлиус Эдуард 451, 454, 479, 483, 487, 489, 531—535, 536, 544, 561, 562, 571, 588, 616, 618, 627, 629, 632, 640, 642
Хладни Эрнст Флоренс Фридрих 604
Хольст Генрих 496, 497, 499, 500, 629
Хуттен Иозеф Карл 489, 627
- Цастров Вильгельм 565
Циглер Адам 487, 489, 490, 492, 496, 627
Цумштегг Иоганн Рудольф 443, 449, 613, 615
— «Мария Стюарт» 443, 613
Цингарелли Никколо 35, 584, 622, 625
— «Ромео и Юлия» 35, 584, 622, 625
- Чайковский П. И. 562
— «Щелкунчик» 562
Чимароза Доменико 505, 632
- Шамиссо Адальберт 533—535, 537, 608, 642
— «Необычайные приключения Петера Шлемиля» 608, 642
Шварц Антон (Гегенберг Перегринус) 444, 613
Швейкардт (Швейгардт) Иоганн Иозеф 516, 635
Шевен Георг Фридрих ван 442, 612
Шеде Карл Вильгельм 535, 643
Шекспир Вильям 43, 118, 163, 164, 212, 213, 292, 472, 576, 587, 496, 597, 601, 602, 605, 607, 609, 627
— «Буря» 89, 598, 599
— «Виндзорские проказницы» 460, 478, 621
— «Гамлет» 111, 503, 598, 601, 604, 609

- «Генрих IV» 627
 — «Генрих VI» 292, 607
 — «Как вам это понравится» 149, 308, 602, 607
 — «Ромео и Джульетта» 578, 607
 — «Сон в летнюю ночь» 125, 578, 596, 597, 601, 602
 Шеллинг Фридрих Вильгельм 478, 583, 625
 — «Идеи философии природы» 625
 Шенк Иоганн 636
 — «Деревенский цирюльник» 636
 Шик Мария Луиза 434, 610
 Шиканедер Эммануэль 627
 Шиллер Фридрих 118, 163, 215, 578, 604, 605, 608, 613, 622
 — «Дон Карлос» 608
 — «Мессинская невеста» 503, 578, 631
 — «Орлеанская дева» 608
 — «Отречение» 604
 — «Пикколомини» 443, 613
 — «Разбойники» 613
 — «Смерть Валленштейна» 443, 605, 608, 613, 630
 — «Gang nach dem Eisenhammer» 622
 Шилль Фердинанд 453, 618
 Шимановская Мария 548
 Шлегель Август Вильгельм 212, 444, 460, 579, 613, 619, 621, 642
 — «Граф Беневицкий» 444
 — «Лекции о драматическом искусстве» 460, 621
 Шлезингер 626, 627
 Шлейермахер Фридрих Эрнст Даниэль 449, 616
 Шметтау Людвиг 434, 609
 Шмигель (Шмидель) Карл Трауготт 505, 632
 Шмидт Иоганн Филипп 450, 537, 644
 Шмидт Иозеф 616
 Шнабель Иоганн Готфрид 606
 — «Кавалер, скитающийся по лабиринту любви» 606
 Шнапп Фридрих 545, 589, 591
 Шопен Фредерик 546, 557, 637
 Шотт Бернард 441, 612
 Шоу Дж. Бернард 594
 Шпейер Фридрих 458, 460, 461, 463, 465, 468, 469, 474—481, 483, 484, 487—493, 495, 497, 498, 500, 502, 512, 525, 530, 533, 569, 600, 619, 628, 634
 Шпис Кристиан Генрих 613
 Шпитцедер Адельгейда 503, 631
 Штарке Фридрих 575, 576
 Штегеман Фридрих Август 505, 643
 Штегемейер Маттеус 620
 — «Господин Рохус Пумперникель» 459, 525, 527, 620, 622
 Штейнау Август 503
 Штенгель Стефан 449, 476, 495, 615
 Штепф, мадемуазель 455, 461, 462, 465
 Штеркель Иоганн 638
 — Увертюра № 1 638
 Штольцельн Кристиан Фридрих 437, 611
 Штрейхер Наннетта 202, 605
 Штрумпф Иоганн Кристиан 617
 — Антракт 617
 Шуберт Готфрид Генрих Готхильф 305, 596, 599, 607
 — «Символика сна» 596, 607
 Шуберт Франц 556, 594
 Шульце Иоганн Абрагам Петер 594, 614
 — «Аталия» (хоры) 614
 Шульце (Шульц) Людвиг 535, 643
 Шуман Роберт б, 553, 557, 560, 577
 — «Крейслериана» 553, 555, 557, 560
 Шустер Иозеф 505, 632
 — Месса 505
 Шухман Каспар Фридрих 561
 Эглофштейн Кристиан 481, 626
 Эдуард III 598
 Эйгензатц Кристина Доротея 472, 624
 Эйхгорн Иоганн Альбрехт Фридрих 533, 642
 Эйхендорф Иозеф 535, 643
 Эккарт Иероним 488, 587
 Эльснер Юзеф Ксаверий 524, 546, 548, 549, 637
 — «Андромеда» (увертюра) 524, 637
 — «Лешек Белый» (увертюра) 542, 637
 Эмиль, принц гессенский 566, 620
 Эмтер 443, 613
 Эссер Карл Михаэль 172, 604
 Эстергази Николай (внук) 469, 615
 Эстергази Николай (дед) 624
 Эсхил 213, 605
 Этлингер (Эдлингер) Карл 517, 636
 Эунике Иоанна 600
 Эхингер Ганс 547, 560

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДИЙ Э. Т. А. ГОФМАНА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- Автоматы 525, 526, 573, 581, 610, 638—640
Артусов двор 536, 537, 574, 642, 644
Аттестат Иоганнеса Крейсера 559, 585, 599, 640, 643, 644
Видение на поле битвы под Дрезденом 637, 638
Двойник 581, 642
Дон Жуан 6, 492, 501, 557, 575, 593, 594, 625, 628, 630
Житейские воззрения кота Муора 6, 553, 554, 559, 569, 570, 581, 582, 585, 586, 592, 598, 600, 609, 614, 626, 628, 636
Золотой горшок 522, 528, 573, 581, 625, 632, 635, 637, 638, 644
Игнац Деннер (Окружной егерь) 531, 535, 573, 639, 640, 643
Известия о последних судьбах собаки Берганца 501, 503, 504, 581, 582, 583, 590, 605, 630, 634, 635
Инструментальная музыка Бетховена 585, 618
Кавалер Глюк 6, 446, 448, 451, 505, 554—557, 566, 577, 592, 615, 617, 618, 634
Крайне бессвязные мысли 585
Крейслериана 5, 6, 558, 568, 569, 574, 580, 581, 584—587, 593, 595, 596, 598, 599, 600, 609, 626, 639, 640, 642
Крошка Цахес по прозвию Циннобер 558, 581, 610
Магнетизер (Что пена в вине, то сны в голове) 507—510, 512, 513, 572, 581, 633—635
Мадемуазель де Скюдери 100, 562, 600
Музыкально-поэтический клуб Крейсера 585, 644
Музыкальные страдания капельмейстера Крейсера 593
Мысли Иоганнеса Крейсера о высокой ценности музыки 484, 626
Ночные рассказы 600, 640
Об одном изречении Саккини 585
Песочный человек 543, 562, 581
Письмо монаха своему столичному другу 565, 611
Повелитель блох 561, 581
Приключения в новогоднюю ночь 533, 562, 574, 580, 642, 644
Принцесса Бландина 531, 573, 560
Принцесса Брамбилла 578, 605, 621
Сведения об одном образованном молодом человеке (Письмо обезьяны Мило) 525, 573, 637, 639
Серапионовы братья 632
Советник Креспель 562, 625
Угловое окно 609
Фантазии в манере Калло 29, 64, 512, 515, 533, 556, 557, 572, 577, 581, 582, 592—596, 598, 599, 605, 621, 628, 630, 631, 633—635, 638—641, 643, 644
Фермата 533—535, 574, 642
Часы просветления некоего безумного музыканта 481, 487, 501, 597, 624, 626, 630
Щелкунчик и мышиный король 581, 610
Эликсиры сатаны 528—531, 573, 581, 624, 639, 640

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- Аврора и Кефал (Аврора) 461—463, 465, 467, 472, 473, 477, 481, 495, 497—500, 503, 504, 550, 621, 629—632
Арлекин 445, 614
Битва под Лейпцигом (под именем Арнульфа Фольвейлера) 531, 641
Вальс ко дню Каролины 470, 624
Веселые музыканты 451, 547, 617
Гуситы под Наумбургом в 1432 году (хоры) 496, 629
Дирна 455—459, 488, 551, 566, 618—620, 627, 629

Ида Мюнстер (хорал) 465, 622
 Испанцы в Перу, или Смерть Роллы (хоры) 616
 Квнтет для 2-х скрипок, альты, виолончели и арфы 547, 614
 Любовь и ревность 452, 470, 549, 617, 618
 Марш рыцарей Ордена 550
 Маска 545, 550, 624
 Месса D-dur 551, 610, 611
 Месса d-moll 551, 612
 Мессинская невеста (марши и хор) 503
 Напиток бессмертия 455, 457, 615, 618, 619
 Непрошенные гости, или Каноник из Милана 547
 Паломница (пролог) 581, 582
 Польская народная песня 550
 Привидение 451, 617
 Пролог в честь Каролины 448, 449, 581, 615
 Родерик и Кунигунда 468, 471—473, 624
 Саул 466, 567, 623
 Симфония 549
 Соната As-dur 440, 441, 446, 546, 612
 Тайна (вставная ария) 449, 616
 Трио E-dur 456, 457, 611, 619
 Убор невесты (хор) 463, 622
 Ундина 5, 501, 512, 513, 516, 520, 521, 530, 531, 536, 552—554, 571—574, 577, 584, 586, 593, 629, 634, 639, 640, 642, 644
 Фантазия 437, 546, 565, 611
 Шутка, хитрость и месть 545, 620
 Шесть итальянских дуэтов для сопрано и тенора 627
 Ave maris stella 559, 601, 606
 Claudine von Villa Bella 544
 Mi lagnerò tacendo 485, 570, 601
 Miserere 446—449, 451, 454, 459, 469, 528, 615, 618, 620, 624
 Ombre amene 627
 O sanctissima 606
 Prendi l'acciar ti rendo 478, 552, 625
 Quodlibet 461, 462, 620, 622
 Salve, regina 417, 608
 Tre canzonette italiane... 552, 616, 625, 628
 Wiedersehn 620

РЕЦЕНЗИИ

Рец. на «Глазного врача» Йировца (Гировца) и «La chasse du jeune Henri» Мегюля 491, 628
 Рец. на две симфонии Витта (Пятую и Шестую) и антракт Штрумпфа 617

Рец. на «Двенадцать песен [на слова] старых и новых поэтов» Вильгельма Фридриха Рима 532, 641
 Рец. на «Ифигению в Авлиде» Глюка: 577
 Рец. на Ораторию Бергта «Христос, возвеличенный страданиями» 521, 524, 636
 Рец. на Мессу Бетховена C-dur op. 86 507, 577, 633
 Рец. на музыку Бетховена к «Эгмонту» 511, 577, 634
 Рец. на Пятую симфонию Бетховена (c-moll) 595
 Рецензия на симфонию Брауна (Четвертую) и симфонию c-moll Вильмса 507
 Рец. на Сонату f-moll Рейхардта 529, 639
 Рец. на «Софонисбу» Паэра 621
 Рец. на Трио Бетховена op. 70, 491, 500, 501, 571, 577, 595, 630
 Рец. на увертюру Бетховена к «Кориолану» 626
 Рец. на увертюры Эльснера к «Лешку Белому» и «Андромеде» 524, 637
 Рец. на «Virtuosi ambulanti» Фиораванти и «Pater noster» Ромберга 620

СТАТЬИ

О Бернаде Ромберге и «Кортеце» Спонтини (Письма о музыке из Берлина, 1) 534, 643
 О старинной и новой церковной музыке 577, 633, 641
 О постановках пьес Кальдерона де ла Барка в театре Бамберга 487, 627
 Поэт и композитор 517, 518, 520, 572, 583, 619, 636, 637

ЖИВОПИСЬ

Битва при Абукире (картина, замысел) 443, 578, 612
 Большая декорация к пьесе А. Клинге-мана «Открытие Америки» 470, 624
 Освящение креста (картина, замысел) 443, 578
 Портрет семьи Кунц 493, 501, 578, 628, 630
 Портрет трех детей консульши Марк 578, 619
 Ребенок-великан (карикатура)
 Фрески готической башни Альтенбурга 578, 623
 The exequies of universal Monarchy (Похороны всемирной монархии) (карикатура) 530

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Э. Т. А. Гофман. Портрет работы Вильгельма Гензеля (1821). Фронтиспис	5
Титульный лист первого издания «Фантазий в манере Калло» ра- боты Гофмана	29
Виньетка работы Гофмана для первого издания «Фантазий в манере Калло»	61
Титульный лист первого издания «Фантазий в манере Калло» (том второй) работы Гофмана	63
Капельмейстер Иоганнес Крейслер дома. Рисунок Гофмана (1815)	72
Эскиз декорации к «Водоносу» Керубини работы Гофмана	85
Человек в сером. Рисунок Гофмана к повести Шамиссо «Необычай- ные приключения Петера Шлемиля» (январь 1815)	88
Автопортрет Гофмана с физиогномическими пояснениями (1815— 1816)	88
Автопортрет Гофмана, выполненный по предыдущему наброску Карл Фридрих Кунц. Рисунок Гофмана	89
Кот Мурр трудится над своими записками. Рисунок Гофмана (1819)	272
Иоганнес Крейслер. Рисунок Гофмана	272
Мурр и Мисмис. Рисунок Гофмана	273
Приор Канцгеймского аббатства. Рисунок Гофмана	273
Гимн котов-буршей, сочиненный Гофманом. Автограф	288
Траурное извещение о смерти кота Мурра, разосланное Гофманом друзьям	429
Последняя страница письма Гофмана к Негели от 15 марта 1808 г.	447
Франц Гольбейн	464
Жан Поль Рихтер	464
«Дом Гофмана» на площади Шиллера в Бамберге	465
«Поэтическая келья» Гофмана	465
Юлиана Марк. Портрет работы художника В. Каульбаха	480
Э. Т. А. Гофман. Медаль	481
Набросок Гофмана — «Часы просветления некоего безумного музы- канта» с автопортретом	499
Письмо к актеру Келлеру от 24 января 1814 г.	526
Шутливый автопортрет во время болезни. 1814 г.	529
Запись в альбом Луи Шпора 14 ноября 1819 г.	536
Письмо Бетховена Гофману	576

СО Д Е Р Ж А Н И Е

От редакции	5
КАВАЛЕР ГЛЮК. Воспоминание 1809 года <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	9
ДОН ЖУАН. Небывалый случай, происшедший с неким путеше- ствующим энтузиастом <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	17
КРЕЙСЛЕРИАНА (Из первой части «Фантазий в манере Калло») <i>Перевод П. Морозова</i>	27
1. Музыкальные страдания капельмейстера Иоганнеса Крейсlera	28
2. <i>Ombra adagata</i>	35
3. Мысли о высоком значении музыки	37
4. Инструментальная музыка Бетховена	41
5. Крайне бессвязные мысли	48
6. Совершенный машинист	54
КРЕЙСЛЕРИАНА (Из второй части «Фантазий в манере Калло») <i>Перевод Е. Галати</i>	62
1. Письмо барона Вальборна капельмейстеру Крейслеру	64
2. Письмо капельмейстера Крейсlera барону Вальборну	67
3. Музыкально-поэтический клуб Крейсlera	69
4. Сведения об одном образованном молодом человеке	73
5. Враг музыки	79
6. Об одном изречении Саккини и так называемых музыкальных эффектах	86
7. Аттестат Иоганнеса Крейсlera	91

ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КОТА МУРРА С ПРИСОВО-
КУПЛЕНИЕМ МАКУЛАТУРНЫХ ЛИСТОВ ИЗ БИОГРА-
ФИИ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА ИОГАННЕСА КРЕЙСЛЕРА

Перевод А. Голембы

Предисловие издателя	99
Предисловие автора	101
Предисловие автора	101
Примечание (издателя)	102
Том первый	
Раздел первый	
Ощущения бытия. Месяцы младости	103
Раздел второй	
Жизненный опыт юноши. И я рожден в Аркадии счастливой	178
Том второй	
Раздел третий	
Месяцы учения. Капризная игра случая	267
Раздел четвертый	
Благотворные последствия высшей культуры. Зрелые месяцы муж- чины	371

ДНЕВНИКИ

Перевод О. К. Логиновой

1803	433
1804	440
1809	445
1811	459
1812	467
1813	498
1814	525
1815	533

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>И. Ф. Бэлза. Капельмейстер Иоганнес Крейслер</i>	541
<i>О. К. Логинова. Дневники Гофмана</i>	564
<i>Примечания (Сост. О. К. Логинова)</i>	592
<i>Основные даты жизни и творчества Э. Т. А. Гофмана (Сост. О. К. Логинова)</i>	645
<i>Список музыкальных произведений Э. Т. А. Гофмана (Сост. О. К. Логинова)</i>	650
<i>Указатель имен и названий</i>	653
<i>Указатель произведений Э. Т. А. Гофмана</i>	663
<i>Список иллюстраций</i>	665

Эрнст Теодор Амадей Гофман

КРЕЙСЛЕРИАНА. КОТ МУРР. ДНЕВНИКИ

*Утверждено к печати
редколлекцией серии «Литературные памятники»*

Редакторы издательства *О. К. Лошинова и Д. П. Лобови*

Художественный редактор *Н. Н. Власик*

Художник *С. А. Данилов*

Технический редактор *Н. П. Кузнецова*

Корректор *Л. С. Дялова*

Сдано в набор 26/IV — 1972 г.

Подписано к печати 15/VIII — 1972 г.

Формат 70×90^{1/16}. Бумага № 1.

Усл. печ. л. 50. Уч.-изд. л. 48,9.

Тираж 35000. Тип. зак. 1076.

Цена 3 р. 29 к.

Издательство «Наука»
103717 ГСП, Москва, К-62. Подсосонский пер., 21

1-я типография издательства «Наука».
199034, Ленинград, 9 линия, д. 12